

Конец Коровича

ISBN 978-5-85887-348-8



9 785858 873488

«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

Константин Коровин

«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

КНИГА ПЕРВАЯ

— Константин Коровин







«ТО БЫЛО ДАВНО...
ТАМ...
В РОССИИ...»

Конеч Коровича

Константин Коровин

ВОСПОМИНАНИЯ,
РАССКАЗЫ, ПИСЬМА
В ДВУХ КНИГАХ



Книга первая

Константин Коровин

«ТО БЫЛО ДАВНО... ТАМ... В РОССИИ...»



МЕМУАРЫ «МОЯ ЖИЗНЬ»

РАССКАЗЫ (1929–1935)

МОСКВА
«РУССКИЙ ПУТЬ»
2010

УДК 882,0
ББК 84(2Рос)6
К-681

ISBN 978 5-85557-347-1
ISBN 978 5-85557-348-8



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Составление, вступительная статья
Т.С. Ермолаевой

Примечания
Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной

Оформление
И.И. Антоновой

© Русский путь, 2010
© Т.С. Ермолаева, составление, вступительная статья, 2010
© Т.С. Ермолаева, Т.В. Есиная, примечания, 2010

К.А. КОРОВИН В ЗАРУБЕЖЬЕ
(1922–1939)

«Вы устали от революции, я понимаю. Вам следует уехать за границу. Конечно, мы не можем предоставить вам для этого средства» — так Константин Алексеевич Коровин не без иронии описывает обстоятельства, при которых совершился его судьбоносный отъезд из России.

Эту короткую сцену между Коровиным и А.В. Луначарским изображает сам художник в книге «Шаяпин. Встречи и совместная жизнь», в главе под названием «Отъезд»¹. Судя по источникам того времени, Коровин довольно точно описывает, как и почему его выпустили, или выпроводили, из России. Позже советские исследователи выдвинули совсем иные причины отъезда Коровина с семьей. Официально считалось, что художник выехал, во-первых, только на время, а во-вторых, он якобы хотел, чтобы его больная туберкулезом жена и сын-инвалид смогли поправиться за границей свое здоровье.

На самом же деле одним из стимулов, подтолкнувших Коровина к отъезду, послужил отъезд за границу его друга Федора Шаяпина. Однако основная, еще более глубокая причина кроется в отрицательном отношении Коровина к революции и к тому, что она принесла. Это неприятие революции он как нельзя лучше изобразил в последней части автобиографии «Моя жизнь» — «Воспоминания 1917 г.»².

До революции Константин Коровин снискал в России заслуженную славу как признанный мастер живописи, работающий в разных жанрах, как выдающийся сценограф и замечательный мастер прикладного искусства. Его живопись многократно представлялась на лучших выставках в России и за рубежом и неизменно получала высокую оценку.

Он достиг высочайшего государственного назначения — с 1910 года был главным художником Императорских театров. Начав в двадцать четыре года карьеру в качестве художника-декоратора в Частной опере Саввы Мамонтова (с 1885 г.), почти сразу после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1884), Коровин стал реформатором русского оперного и балетного искусства. Созданные им театральные декорации и костюмы для исполнителей были совершенно не похожи на те, которые публика видела до сих пор. Зрители были в восторге, критика не оставляла его в покое — то хвалила коровинские постановки, то яростно нападала на художника, называя его вошедшим тогда в обиход модным словом «декадент». Всего для оперы Мамонтова и Императорских театров Коровиным было оформлено 64 балета и 84 оперы.

Будучи личностью разнообразных интересов и дарований, Коровин вместе с К.А. Станиславским, А.П. Чеховым, И.И. Левитаном и другими деятелями культуры основал (1898) Литературно-художественный кружок, призванный «способствовать развитию литературы и изящных искусств»³.

¹ См. с. 660 кн. 2 наст. изд. — *Здесь и далее примечания Т.Е. Ермолаевой.*

² См. с. 70–86 кн. 1 наст. изд.

³ См.: Художники Русского Зарубежья (1917–1939): Биографический словарь / Сост. О.Л. Лейкинд, К.В. Махров, Д.Я. Северюхин. СПб., 1999. С. 344–345. (Далее — «Художники Русского Зарубежья».)

Художник много путешествовал. Яркие наблюдения, полученные им во время поездок по России, воплотились в серии декоративных панно, созданных для павильона Крайнего Севера на Нижегородской выставке (1896) и для Международной выставки в Париже (1899–1900). Для этой выставки он сконструировал павильон кустарной промышленности и представил тридцать своих панно. Сюжеты — Сибирь, Крайний Север и Средняя Азия¹. Французы наградили К.А. Коровина орденом Почетного легиона, он был удостоен также двух золотых и нескольких серебряных медалей².

С 1901 года, по предложению В.А. Серова, Коровин возглавил жанрово-портретный класс Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), где учился сам. Среди его учеников — Н. Сапунов, С. Судейкин, М. Сарьян, С. Герасимов, П. Кузнецов, К. Петров-Водкин и др. В 1905 году, по представлению В.Д. Поленова и В.М. Васнецова, его избирают академиком.

Революция 1917 года и разруха, которую она с собой принесла, в том числе и в сферу художественной жизни, оставили Коровина «не у дел». И хотя при новой власти видимость активной деятельности еще сохраняется (он входит в Особое совещание по делам искусств, в президиум Совета организаций художников Москвы и Коллегию художников театра, продолжает участвовать в московских и петроградских выставках, преподает), реорганизация театрального дела и художественных училищ вызывает у него резкое неприятие. И дома тоже не было покоя. Толпы революционных мародеров врываются в любое время суток в квартиру, где он жил, и обчищали ее; оставшиеся вещи приходилось менять на продукты, не на что было покупать краски и холсты, а местные власти к тому же постоянно грозили уплотнением.

В 1919 году Коровин был вынужден бежать с семьей из городской квартиры в глушь Тверской губернии. В деревне Островно он провел последние годы перед отъездом из России. Здесь было спокойнее, да и легче с пропитанием. Этот период нашел отражение в письмах к Ивану Кондратьевичу Крайтору³, организатору выставок его картин (как тогда говорили, агенту). Художник писал, как он бедствует, как его, жену и сына одолевают болезни и как безумно трудно жить. Не имея возможности найти нужные материалы для написания картин, он вынужден был переключиться на миниатюры⁴. О причинах, вынудивших Коровина уехать в деревню, вспоминает в эмиграции и В. Зеелер, секретарь Союза писателей и журналистов: «Несколько лет жизни “под большевиками” совсем изнурили крепкую натуру художника: постоянные, нескончаемые обыски; налеты ночных бандитов; всякие “сокращения”; продовольственные лишения — создали обстановку совершенно непереносимую...»⁵

Можно сказать, что художник стал эмигрантом в собственной стране еще задолго до эмиграции в Европу.

Последние две персональные выставки Коровина в России прошли в Москве в 1921 и 1922 годах.

В 1922 году границы новой, социалистической страны еще не были закрыты, а советское правительство само избавлялось от неугодных деятелей науки, культуры и искусства. «...Осенью 1922 года советское правительство в порядке акта, не имевшего прецедентов и впоследствии уже не повторенного, сделало эмиграции неожиданный и весьма ценный подарок, выслав за границу... свыше 160 представителей интеллигенции...»⁶

¹ Позже, уже в эмиграции, Коровин напишет несколько замечательных очерков о своих поездках. Все они вошли в настоящее издание.

² См.: «Художники Русского Зарубежья». С. 344.

³ Письма К.А. Коровина к И.К. Крайтору см. в разделе письма кн. 2 наст. изд.

⁴ См. с. 765, 768, 769 кн. 2 наст. изд.

⁵ Зеелер В. К.А. Коровин // Последние Новости (Париж). 1929. 18 августа.

⁶ Струве Г. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 18.

Коровин покинул Россию в том же, 1922 году добровольно. Документально эта дата ничем не подтверждается, что ввело в заблуждение его ранних биографов, таких, как Н. Молева и И. Зильберштейн, которые полагали, что художник покинул Россию в 1923 году¹. По словам самого художника, он с семьей выехал «месяца через два» вслед за Шаляпиным², который уехал 29 июня 1922 года³. Коровины сначала оказались в Риге, затем в Германии, но очень скоро, возможно опять вслед за Шаляпиным, они переехали в Париж. В этом знакомом и любимом Константином Алексеевичем городе (художник был здесь дважды — в 1885 и 1900 гг.) началась его другая жизнь, в Зарубежье.

За границей Коровин сразу включается в работу. Он принимает участие в выставках, оформляет оперные и балетные спектакли.

Уже в 1923 году художник выставляет свои картины в галерее Николаи в Берлине, в 1924-м — в Нью-Йорке, в 1925-м — в парижской галерее Бернгейм и снова в Берлине.

С 1924 года Коровин возобновляет работу в театре и оформляет оперу «Золотой петушок» для Туринского театра. Тогда же он создает для труппы Анны Павловой декорации к балету «Дон Кихот» (шедшему в Лондоне и Нью-Йорке). Сотрудничество Коровина с прославленной балериной началось с 1910 г., еще в России, а за годы эмиграции он оформил для нее 15 гастрольных спектаклей: «Дон Кихот» (1924), «Весенние цветы Японии» (1924), «Осенние листья» (1928, 1930), «Русалка» (1931), «Дунай весной» (1935), «Маски» (1935), «Воспоминания о Венеции» (1935), «Спектр розы» (1935), «Кавказская сюита» (1935), «Турецкий танец» (1935), «Вена — 1890» (1935), «Князь Игорь» (1935), «Les Buffon's» (1935), «Русский балет Парижа» (1935), «Славянские и цыганские танцы» (1936). Их с восторгом принимали зрители разных континентов⁴.

Однако получаемых за работу средств не хватало. У всех членов семьи были проблемы со здоровьем. Жена, Анна Яковлевна Фидлер, как уже говорилось, была больна туберкулезом; сын Алексей, ставший инвалидом в результате несчастного случая еще в 1915 году, когда ему перерезало ногу трамваем, нуждался в дорогих протезах, а у самого Константина Алексеевича была стенокардия, или, как тогда говорили, он страдал от грудной жабы.

Коровин пишет своему другу, музыкальному критику Б.Б. Красину (переписка с которым велась до 1925 года, пока еще доходили письма из Франции в Россию и обратно)⁵:

¹ См.: Константин Коровин. Жизнь и творчество: Письма, документы, воспоминания // Сост. Н. Молева. М., 1963. (Далее — «Константин Коровин. Жизнь и творчество».); Константин Коровин вспоминает... // Сост. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. 2-е изд. М., 1990. С. 7. (Далее — «Константин Коровин вспоминает...».)

² См. с. 663 кн. 2 наст. изд.

³ Доказательства того, что Коровин выехал из России именно в 1922 г., приводятся в кн.: *Круглов В. К.А. Коровин. М., 1997. С. 156.* Автор также дает более точные данные о местонахождении Коровина с семьей до приезда в Париж и о перезахоронении праха художника и его жены с кладбища Бьянкур на Сент-Женевьев-де-Буа.

⁴ Перечень спектаклей был составлен Полин Тейлор (1910–1986), нью-йоркским адвокатом. Тейлор изучила русский язык и много писала о советском праве в журнале «Russian Review». Она коллекционировала картины русских художников, интересовалась художниками-декораторами, в особенности творчеством К. Коровина. Чтобы выявить полный список его театральных работ, выполненных в 1920–1930-е годы, она вела многолетнюю переписку с музеями по всему миру. В 1988 г. вся коллекция была передана ее сыном, Карлом Тейлором, в Театральное отделение Гарвардского университета. Когда в 2006 г. я вышла на г-на Тейлора, у которого сохранился архив переписки его матери в связи с запросами о Коровине, выяснилось, что в 1971 г. г-жа Тейлор купила у М. Вейнбаума, редактора газеты «Новое Русское Слово», переписку К. Коровина со С. Дорожинским (о нем см. на с. 00). Обнаруженные письма были переданы в дар Отделу рукописей Государственной Третьяковской галереи и вошли в настоящее издание.

⁵ Письма Коровина к Б.Б. Красину хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), ф. 2004, оп. 1. Впервые напечатаны полностью в кн.: «Константин Коровин. Жизнь и творчество».

«Работал декорации, рисунки костюмов, картины, контракты — славы много, успех, газеты пишут ух! ты. Чести, а денег, денег грош, только-только дышать можно»¹.

В 1925 году семья Коровиных постигает страшная трагедия. Горячо любимый сын Алексей на двадцать восьмом году жизни совершает попытку самоубийства. «...Он все думал, — пишет Коровин Красину, — что он не выздоровеет и что так и решил, кому он теперь нужен, ну, и решил проститься со светом. <...> Леша был плох... он видел, что отец замучился в бедах и болезнях и, будучи сам болен, думал, что не выздоровеет, хотел проститься, бедный парень, а ведь он хороший и честный. <...> Леша был два года на краю гибели... Я ведь боролся все время только с болезнями Леша и по-настоящему ничего не сделал в смысле живописи»². Но Алексей не погиб и долго поправлялся в больнице. Надо сказать, что Константин Алексеевич вообще очень глубоко переживал неудачливость сына. С большой нежностью к сыну и болью за него он пишет о случившемся тому же Красину³.

О жизни Алексея мы знаем мало. В каталоге «Художники русского театра. 1880–1930» приводятся сведения, согласно которым он, как и отец, занимался театрально-декорационным искусством; в 1918 году стал членом общества «Мир Искусства», участвовал в выставках этого объединения (1918 и 1920 гг.) и вообще был довольно талантливым художником⁴. В письме Крайтору Коровин сообщал из Тверской губернии, где он жил с семьей перед отъездом за границу, что Алексей обнаруживает в своих картинах незаурядность таланта и что у него намечается «свой» стиль⁵. Можно сказать, что он стоял на самом пороге своей творческой карьеры. Роковой несчастный случай, сделавший его инвалидом, отъезд из России и тяжелые обстоятельства первых лет эмиграции не дали его таланту нормально развиваться. Так что семья Коровиных могла существовать лишь на те более чем скромные средства, которые получал за свою работу Константин Алексеевич.

В 1926 году он пишет декорации к опере «Севильский цирюльник», в которой был занят Федор Шаляпин, гастролирующий в США и Англии.

В 1927 году Коровин включает в состав выставки парижской группы «Мира Искусства» четыре свои картины, а в 1928-м его полотна украсили Международную выставку художников, скульпторов и архитекторов в Брюсселе. На ней были представлены работы как эмигрантов, так и советских мастеров.

Надо сказать, что 1928-й и, в большей степени, 1929 год были очень плодотворными в жизни художника. Для гастролей Русской оперы М.Н. Кузнецовой в Париже (сезон 1928/29 года) Коровин за один год оформляет четыре оперы: «Снегурочка», «Князь Игорь», «Русалка» и «Град Китеж». Труппа существовала на средства мужа оперной певицы Марии Кузнецовой, Альфреда Массне (племянник известного композитора). Это предприятие было задумано по примеру оперных постановок Саввы Мамонтова, где постановка опер осуществлялась совместными усилиями известных певцов, декораторов-художников и выдающихся танцоров. Вместе с Коровиным над оформлением спектаклей работали Александр Бенуа и Иван Билибин. К сожалению, проект, который всецело зависел от супружеских отношений Кузнецовой и Массне, развалился вместе с разводом этой пары, и спектакли со скандалом прервались в далекой Аргентине. Все же один сезон опера продержалась и была обставлена во всех отношениях роскошно. Даже театральная программа были оформлена, как журналы «Мира Искусства». Красочную обложку выполнил Билибин, а текст перемежался цветными иллюстрациями эскизов сцен и костюмов, выполненных Коровиным.

¹ «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 484.

² Там же. С. 479, 485, 486.

³ См. там же. С. 481.

⁴ См.: Боулт Д.Э. Художники русского театра. 1880–1930. М., 1994. С. 155.

⁵ Письмо К.А. Коровина к И.К. Крайтору от 8 декабря 1919 г. — См. с. 762 кн. 2 наст. изд.

Участие в этом предприятии должно было вдохновить Коровина как живописца, а также могло существенно пополнить семейный бюджет, поскольку даже сын Алексей смог приложить здесь свои силы. Наконец удача улыбнулась. Из письма 1928 года К.А. Коровина к Герману Рубину мы узнаем об этом подъеме: «Моя свеча еще горит»¹. Однако радость была недолгой. Частная опера, как уже говорилось, потерпела крах, и, по всей вероятности, Коровин оказался среди тех, кто к тому же пострадал и материально (он даже собирался подать в суд на Кузнецову, но так этого и не сделал). И все же. За один год им были оформлены четыре оперы!

Критика приняла работу восторженно. По поводу «Снегурочки» и «Князя Игоря» писатель и критик Лоллий Львов опубликовал две статьи². В обеих статьях он уделяет больше внимания «Снегурочке», сравнивая впечатление, полученное от спектакля в России (постановка дореволюционная, до 1900-х годов), с тем, что прочувствовал в Париже. «Мы тогда уходили из театра под обаянием виденного и слышанного, но наша душа все же не отзывалась на виденное с таким трепетом и такой радостью, как теперь. Отчего? Лучше ли стал Коровин теперь? Или, может быть, разгадка в том, что мы стали иными — после пережитой горечи потерь и утрат научились более ценить и более радоваться прекрасным видениям нашей России...»³

Свой отзыв о тех же спектаклях дает вышеупомянутый В. Зеелер. Он пишет, что здесь «весь талант Коровина развернулся в полной силе: декорации, костюмы (а их было сделано до 350) поражали своей красотой и красочностью. Здесь художник — не помогал... а был одним из участников (непрерывных и главных) всего целого; он создавал в спектакле элементы “зрелища”, равноценные музыке»⁴.

Пожалуй, высшей точкой в выставочном деле художника стала его персональная выставка под названием «Впечатления Парижа», открывшаяся в Париже все в том же, 1929 году в галерее Кольбер. Весьма положительно отозвался о ней известный французский художественный критик Луи Воксель в парижской газете «Жиль Блаз» («Gil Blas»). Лоллий Львов в статье «Париж Константина Коровина» цитирует Вокселя в русском переводе: «Коровин — один из прекрасных русских художников данного момента. Его искусство сама жизнь, движение, свет. Он любит Париж, и это пристрастие проходит по его ярко окрашенным холстам... Наши посеребренные, бирюзовые, аметистовые небеса, это наше легкое небо, как бы вымытое после дождей, и атмосфера простонародных предместий, загруженность мостовых и тротуаров, заторы, шум, феерия вечеров Парижа — то, что есть наше существование и наша мука, — все это Коровин глубоко почувствовал, наблюдал любознательным глазом и зарегистрировал с точностью, не потерявшись в деталях. Искусство, конечно, живописца, и несколько не иллюстративное или служащее анекдоту, ибо все в нем пластически преображено»⁵.

Одну из картин этого цикла увидел Илья Ефимович Репин, живший в то время в Финляндии. Он делится с давнишним другом своими впечатлениями: «Какой-то южный город ползет на большую гору. Он, кажется, называл это улицей Марселлы, не помню хорошо. Но это чудо! Bravo, *маэстро!* Bravo! Чудо! Фу ты, прелесть, какие краски! Серые с морозом — солнцем, чудо, чудо!! Я ставлю Бог знает что, если у кого найдутся такие краски!! Простите, дорогой...

*Ваш Илья Репин — коленопреклоненный... аплодирует!!! Коровину»*⁶.

¹ Письмо К.А. Коровина к Г. Рубину хранится в моем личном архиве.

² См.: *Львов Л.* Константин Коровин // Россия и славянство (Париж). 1929. 19 января, 16 февраля.

³ Там же.

⁴ *Зеелер В.Ф.* К.А. Коровин // Последние Новости. 1929. 18 августа.

⁵ *Львов Л.* Париж Константина Коровина // Россия и славянство. 1929. 30 ноября.

⁶ Цит. по: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 487.

В ответ Коровин пишет, что это письмо «с чрезмерными похвалами» подняло его удрученный дух¹.

Итак, можно обобщить, что к 1929 году Коровин переживает взлет творческой деятельности и оказывается в центре художественной жизни. Увы, материального достатка и душевного покоя это не приносит.

Тогда же его приглашают как представителя России наряду с известными художниками, скульпторами и критиками других стран в состав жюри конкурса на звание «Мисс Европа». Коровина радовала оказанная честь, и он с удовольствием согласился на такое же приглашение и в 1930 году. Конечно же, он оценивал красоту конкурсанток как художник. А как начинающий писатель написал об этом очерк².

Приближался семидесятый год жизни... Старость брала свое, и руки уже не так легко владели кистью. По всем признакам, активность Коровина как художника после 1929 года постепенно стала сходить на нет, хотя в 1930-м его работы выставлялись в нескольких европейских городах: Амстердаме, Берлине и Белграде.

В 1931 году, по предложению Натальи Алексеевой, бывшей артистки театра Злобина, которая была знакома с Коровиным еще в России и возобновила с ним свою дружбу в эмиграции, Коровин становится почетным членом Союза деятелей русского искусства во Франции. Он сделался желанным гостем на собраниях Союза и как художник, и как рассказчик. Деятельность Союза деятелей русского искусства сводилась главным образом к устройству вечеров, посвященных русской литературе, и он просуществовал вплоть до 1940 года. Коровин состоял в нем до последних своих дней. Встречи происходили регулярно, организовывались лекции, и устраивались театральные выступления. Со слов Алексеевой, «хозяйки» на собраниях Союза, Коровин часто выступал и был очень популярен благодаря своему таланту рассказчика. Его рассказы о знаменитых современниках и старой Москве приводили слушателей в восторг.

В ноябре 1931 года отмечалось семидесятилетие К.А. Коровина. В честь юбиляра маститый художественный критик Сергей Маковский опубликовал статью, в которой отметил, насколько картины, написанные Коровиным в Париже, отличаются восприятием молодости. Он пишет, что Коровин, превратившись из «саврасовского пейзажиста» в «цветистого парижанина», остался «неувядаемым цветением того русского импрессионизма, который сблизил в конце 19 века наше искусство с французской школой» и что художник не утерял свой особенный талант к «разрешению эмоционально-живописной задачи — к преобразению мира живописной музыкой»³.

Александр Бенуа, один из ярчайших представителей русской эмиграции тех лет, также опубликовал статью по поводу юбилея Коровина. Бенуа пишет о Коровине, что это был «...живописец Божьей милости, необычайно остроумный, необычайно внимательный, восхитительный рассказчик, *моментами и очень изящный литератор* (курсив мой. — Т.Е.)»⁴. Пожалуй, этот отзыв стал первым публичным признанием Коровина-писателя.

¹ См.: Новое о Репине. Статьи и письма художника // Ред. и сост. И.А. Бродский, В.Н. Москвинов. Л., 1969. С. 160. А 24 августа 1933 г. Коровин принял приглашение от В.Ф. Зеелера вступить в Комитет памяти Ильи Ефимовича Репина. Письмо А.К. Коровина хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк, США).

² «Как я выбирал “Мисс Европу”». — См. с. 94–95 кн. 1 наст. изд.

³ Маковский С. Семидесятилетие Константина Коровина // Возрождение (Париж). 1931. 24 ноября.

⁴ Бенуа А. Константин Коровин // Жизнь и творчество (Париж). 1931. № 12 (эта статья в машинописном виде с авторской пометкой «Для дурацкого журнала “Жизнь и творчество”» досталась мне от старшей дочери Бенуа Анны Александровны).

Подобная характеристика приобретает особую ценность, поскольку она дана собратом по цеху художников и литераторов.

Оба живописца, несмотря на полную противоположность характеров и художественных школ, еще в 20-х годах в России принимали участие в таких совместных творческих начинаниях, как оперные реформы у Саввы Мамонтова или «Мир Искусства». В эмиграции, как уже говорилось, они участвовали в театральных проектах Марии Кузнецовой. В Париже, правда, поговаривали, что Бенуа завидовал коровинскому таланту, а Коровин завидовал учености Бенуа. Как бы то ни было, оба художника безусловно уважали и ценили друг друга.

В следующем, 1932 году более широко отмечалась другая дата — пятидесятилетие творческого пути Константина Коровина (со дня поступления в Академию художеств). Газеты широко освещали это событие.

И опять Александр Бенуа первым откликается на это знаменательное событие. В статье, опубликованной в газете «Последние Новости», он дает обстоятельный анализ вклада Коровина в русскую живопись, а также в развитие театрального искусства. Бенуа называет его «учителем» и заканчивает статью такими словами: «Сейчас мастер, невзирая на свой почтенный возраст, полон творческих сил, и талант его так же ярок, как тридцать и сорок лет тому назад»¹.

Чествование художника состоялось в Обществе русского искусства во Франции. С приветственным словом к юбилюру обратился Александр Бенуа. Выступили также представители от Русской академической группы, Московского землячества, Союза деятелей русского искусства, Российского музыкального общества. Коровина называют «гордостью русского искусства»². В переполненном зале Гаво был дан концерт в честь юбиляра. Известные певцы исполняли романсы русских композиторов под аккомпанемент А. Глазунова.

В парижской галерее Гранофф прошла персональная выставка Константина Алексеевича, на которой были представлены его последние работы — пейзажи вечернего Парижа. Интересно, как сами французы отозвались о русском художнике, чье творчество теперь вдохновлялось мотивами и красками города-загадки, города вечных огней. Так, О. де Клем (O. de Klemm) в брошюрке, посвященной выставке, пишет, что Коровина можно встретить вечером на Монмартре, на углу какой-нибудь маленькой улочки. Вот он устраивается со своим мольбертом и специально придуманной лампочкой для того, чтобы писать ночной Париж. Его окружает толпа любопытных. «Живой глаз, борода развевается ветром, он быстро кладет мазки кистью. На полотне нарождаются между мазками красок и благодаря искусной технике террасы кафе, игра разноцветных вывесок, фонарей, афиш... Развивая свой художественный почерк, русский импрессионист сочетал импульсивность русского искусства с гармоническим благоразумием французского искусства»³.

Вс. Малянтович в своем отчете о юбилее в «Последних Новостях» замечает, что если бы юбилей Коровина праздновался в России, то была бы устроена его «громкая ретроспективная выставка». Выставка в Париже, конечно, скромнее, но она отвечает «на один частный, занимающий нас вопрос — в каком состоянии сейчас талант маститого художника. В блестящем, — отвечают нам пленительные этюды ночного и дневного Парижа, воспоминания о русских снежных ночах и театрально-декоративные фантазии»⁴.

¹ Бенуа Александр. Художественные письма: Константин Коровин (По поводу юбилея) // Последние Новости. 1932. 16 января.

² См.: В.М. (Малянтович Вс.) Чествование К.А. Коровина // Последние Новости. 1932. 12 февраля.

³ Пер. с фр. Т.С. Ермолаевой. Брошюрка хранится в Бахметьевском архиве Колумбийского ун-та (Нью-Йорк, США).

⁴ В.М. (Малянтович Вс.) Выставка К.А. Коровина // Последние Новости. 1932. 9 февраля.

Закончить обзор юбилейных выступлений в печати можно «Письмом из Парижа», напечатанным Валерианом Светловым в рижской газете «Сегодня». Он пишет о рассказах и очерках Константина Коровина, появляющихся в печати с 1929 года, так: «Перед читателем возникают образы, пейзажи и сцены, как будто он видит их написанными на холсте в той же живой, блестящей, импрессионистской манере, которая является органической природой этого изумительного художника-поэта». Светлов, таким образом, первым подметил, что мастерство Коровина-писателя вышло из мастерства Коровина-художника, что служит ключом к пониманию литературного дара художника-писателя. Статья заканчивается восторженным возгласом: «Но Коровин не только поэт и художник краски. Он еще поэт и художник слова»¹.

К сожалению, сам юбиляр не прочел этих отзывов. Дело в том, что Коровин перестал обращать внимание на критику еще в России, когда все газеты наперебой ругали его и, что его особенно оскорбляло, «поносили декадентством». Поэтому у него выработалось отрицательное отношение к статьям о себе. Это чувство, по всей вероятности, перенеслось и на почти полное игнорирование им газетных рецензий о своем творчестве и в Париже. К этому мы еще вернемся, когда речь пойдет о семидесятипяtilетнем юбилее.

Внешне все выглядело так, будто художник процветает, как в творческом отношении, так и в житейском плане, что никак не соответствовало реальности. Мастерство Коровина по-прежнему не приносило ему никакого материального благополучия. Ирина Шалапина, посетившая художника в том же, юбилейном 1932 году, ужасалась убогости обстановки, в которой он жил. «То, что представилось моим глазам, — вспоминала она, — потрясло. Я не могла представить, что так может жить один из лучших наших художников. Сырая комната, в углу кровать, задернутая пологом, несколько стульев»².

Жизнь Константина Аلكсеевича в эмиграции сложилась неблагоприятно с самого начала. Покидая Россию, он передал почти все свои картины И.К. Крайтору для устройства выставки по приезде за границу. Из писем Коровина мы узнаем, что Крайтор не выполнил договоренности и исчез вместе с картинами и деньгами из поля зрения художника. На это указывают неоднократные упоминания в письмах Коровина: «...Крайтора я уже с весны не видал...», «Крайтора я не видал два года, и где картины мои, что у него, не знаю»³. В действительности Крайтор жил в Париже, продолжал свою деятельность и не думал скрываться.

По данным, найденным мной в архиве художественного критика и художника И.И. Мозалевского в Государственной Третьяковской галерее, история с выставкой прояснилась. Крайтор объяснял Коровину, что после закрытия выставки, которая проходила в Голландии, картины пропали — очевидно, не без участия ее организаторов. В результате — ни картин, ни денег. Мозалевский даже говорит о том, что Крайтор продолжал быть агентом Коровина до конца. Правда, роль Крайтора, по мнению Мозалевского, была сомнительной, так как тот, беря картины Коровина на продажу, отдавал художнику лишь малую долю выручки, причем учет не велся и никаких расписок не существовало⁴. Из писем Коровина к Красину стало ясно, что между Коровиным и Крайтором еще в России произошла ссора, последствия которой, очевидно, сказались на поведении Крайтора⁵.

К тому же Коровин был абсолютно не приспособлен вести дела самостоятельно. Он писал своему другу и меценату Стефану Дорожинскому, который появился в его жизни в 1932 году:

¹ Светлов Вал. Пятидесятилетний юбилей художественной деятельности К.А. Коровина (Письмо из Парижа) // Сегодня. Рига. 1932. № 47.

² Цит. по: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 488.

³ Там же. С. 470, 486.

⁴ См.: Мозалевский И.И. Моя жизнь в Париже. Машинопись. Архив ГТГ. Ф. 60. Ед. хр. 729. В письмах к Дорожинскому 1932–1938 гг. Коровин никогда не упоминает Крайтора.

⁵ См.: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 470, 481.

«...Я не люблю, ненавижу продавать картины сам. Это меня угнетает»¹. Благодаря этой черте характера он оказался попросту в кабальной зависимости от недобросовестных людей, что, безусловно, усугубило и без того бедственное материальное положение художника. Из писем к Красину мы узнаем, что Коровин обязался написать для кого-то сорок картин, за которые получил небольшой аванс². Кто заказал эти картины (возможно, тот же Крайтор) и сколько именно художник получил за них, неизвестно. Очевидно одно: это обязательство висело камнем на шее художника многие годы. Коровин сообщает Красину, что на выставку в галерее Бернгейма в Париже в 1925 году, где было выставлено двадцать его картин, он не попал, так как был болен. И добавляет, что эти картины «уже были не мои»³, т.е. должны были уйти в счет уплаты долга.

Безденежье удручающе сказывалось на условиях, в которых жили Коровины. Неустроенность быта для самого Алексея Константиновича была привычной с ранних лет. Шаляпин, описывая в юбилейной статье привычки молодого Коровина, говорит, что художник не брезговал устраиваться на «нелепой кровати, устроенной так, что ее ребра обязательно должны вонзиться в позвоночник спящего на ней великомученика...»⁴. Или припоминал чемодан молодого Коровина, в котором соседствовали полуткрытая банка с сардинками, сосуд с засохшими червями, струны от скрипки, краски⁵. И это в те годы, когда художник был на высоте славы! Причем он строго запрещал наводить порядок в своем хозяйстве. «И не дай Бог, если кто-нибудь ненароком перевернет сардинки или червяков! Константин Алексеевич волнуется, кричит: “Не устраивайте мне хаоса в моей жизни!..”»⁶ Н.В. Поленова (дочь художника) описывает похожую обстановку, которую она увидела в Москве в мастерской у Коровина, — все его житейские принадлежности лежали на столе в большой куче, из которой он извлекал все, что ему нужно было в данный момент: гребень, фракную рубашку, вакуу для ботинок, цилиндр, перчатки и т.д.⁷ Вряд ли Коровин изменил своим привычкам в Париже. Но основная причина столь жалкого существования кроется, конечно, в отсутствии необходимых средств. Доказательством материального неблагополучия художника служит также то обстоятельство, что близкий Алексеевой (она жила в том же доме на бульваре Мюрат, что и Коровины) доктор Чекунов лечил всю семью Коровиных чаще всего даром, ибо денег в семье не было. Иногда, правда, он получал вместо платы картины. Художник все же пытался скрыть от окружающих свое бедственное положение. Недаром парижские знакомые рассказывали, что проникнуть в квартиру к Коровиным было почти невозможно.

По рассказам все той же Натальи Алексеевой и Бориса Зайцева, навещавших Коровина, он был очень одинок. Жена вообще не интересовалась его делами, по словам Алексеевой, хоть и была хорошей хозяйкой, обладала тяжелым, мелочным характером и никогда не разделяла художественных устремлений мужа. Совместная жизнь Константина Алексеевича и Анны Яковлевны Фидлер (хористка из Частной оперы Мамонтова) была непростой. У них родился ребенок, мальчик, но прожил недолго. По словам самого Коровина, он умер от недосмотра, потому что он, как отец, не мог обеспечить ребенка ни нормальным питанием, ни уходом. «Дорого и трудно мне доставался хлеб мой. И помню первые награды, когда меня не брали на выставки по случаю новаторства, то за это

¹ Письмо К.А. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 8 сентября 1938 г. — См. с. 786 кн. 2 наст. изд.

² См.: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 479–480.

³ Там же. С. 480.

⁴ Шаляпин Ф. К.А. Коровин (к его юбилею) // Последние Новости. 1932. 24 января.

⁵ См. там же.

⁶ Там же.

⁷ См.: Гусарова А.П. Константин Коровин: Путь художника. Художник и время. М., 1990. С. 216–217.

я в нужде 27-ми лет нес на кладбище своего первого сына Анны Яковлевны...»¹ Тогда они еще не были женаты. Случившееся глубоко потрясло художника. В 1897 году родился второй сын, Алексей. Коровин обвенчался с Анной Яковлевной в 1902 году, и чувство вины перед первым ребенком перелилось у него в непомерно сильную привязанность ко второму сыну. К этому прибавилось увещье, полученное Алексеем, что еще больше расстраивало жалость художника к сыну. В результате Алексей, будучи от природы не совсем уравновешенным, превратился в человека с тяжелым характером. Хотя в меру своих сил Алексей и помогал отцу в создании театральных декораций и подрабатывал иногда оформителем в различных кабаре², все же материально он полностью зависел от отца. Условия жизни намного осложнились после женитьбы Алексея, когда в той же каморке к прежним жильцам прибавилась его жена, а затем и сын, тоже Алексей. Главной опорой разросшейся семьи по-прежнему оставался сам пожилой художник. Ситуация порождала нелегкие отношения в семье, нередко бывали случаи насилия со стороны сына над отцом и над собственной женой.

После активного времяпрепровождения в дореволюционной России, где его вечно окружали друзья, в Париже Коровин духовно оказался совсем один.

Даже Шаляпин, неотлучный сотоварищ Коровина и в театральных исканиях, и на рыбной ловле, как-то отошел в эмиграции от своего друга. В письме к Красину Коровин указывает на свою бедность и неприглядный вид как на причины отчуждения великого певца, ставшего столь знаменитым в Европе и Америке³.

Впрочем, в Париже ходили настойчивые слухи о том, что Шаляпин сторонился Коровина не только из-за бедности художника. Главной причиной назывался якобы несчастный случай, происшедший с дочерью Шаляпина. Говорили, что сын Коровина попал под трамвай в Берлине, спасая дочь Шаляпина, и при этом потерял ногу или даже обе ноги. Просматривая в Третьяковской галерее архив В.А. Самкова, соавтора И.С. Зильберштейна по подготовке издания «Константин Коровин вспоминает...», я обнаружила медицинское заключение о травме, полученной Алексеем Коровиным в 1915 году в Москве. Вот что произошло на самом деле. Алексей оступился, влезая на ступеньку трамвая, и ему смело ступню левой ноги. В лечебнице пришлось отнять на ней три пальца, после чего Алексей стал хромать и нуждался в протезе. Истоки парижских пересудов, связывающих имя Шаляпина с этим происшествием, возможно, породило то обстоятельство, что сразу после несчастного случая Алексея отвезли на квартиру к Шаляпиным, так как она была неподалеку, а уже оттуда — в лечебницу. Сообщение об этом инциденте напечатала газета «Русское слово» от 28 сентября 1915 года. В Париже также поговаривали, что Шаляпин и Коровин едва не подрались во время какого-то спора и что после этого они уже никогда не разговаривали.

Все это не соответствует действительности. Доказательством глубокой привязанности и уважения Коровина к Шаляпину служат его воспоминания «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», написанные сразу после смерти певца и публикуемые в книге второй настоящего издания. Понятно, что в условиях эмиграции жизненные обстоятельства не позволяли друзьям поддерживать тот образ жизни, какой связывал их в России. Там были общая творческая деятельность, увлечение охотой и рыбной ловлей, любовь к жизни в деревен-

¹ «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 473.

² Правда, здесь не обошлось без темных слухов. Хотя эскизы и были подписаны Алексеем, поговаривали, что тут не обошлось без помощи отца, который, якобы чтобы поддержать сына, позволял ему подписываться «А. Коровин» под его (отца) эскизами костюмов и даже картинами. Подробно о творчестве Коровина-младшего см. в кн.: «Художники Русского Зарубежья». С. 344.

³ См.: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 484.

ской глуши. В эмиграции же у них было мало точек соприкосновения. Шаляпин разъезжал с выступлениями по всему миру, а Коровин погряз в семейных невзгодах. Только один раз художник сделал декорации к опере, в которой пел Шаляпин, — это был «Севильский цирюльник», о чем упоминалось выше. Именно эти обстоятельства неизбежно отдаляли закадычных друзей. Однако их связь друг с другом не прерывалась. Известно, что Коровин бывал у Шаляпина, в частности, в 1935 году, когда приезжала из Москвы дочь Шаляпина — Ирина Федоровна.

А Шаляпин к пятидесятилетию художественной деятельности Коровина прислал теплую и полную уважения поздравительную телеграмму, которая была зачитана на торжественном обеде. Шаляпин также поместил в газете «Последние Новости» свои воспоминания о Коровине (цитаты из которых уже приводились выше), где он благодарит друга за все, что он дал ему в начале его карьеры. Что же касается ссор между Коровиным и Шаляпиным, то они на протяжении многих лет были обыденным явлением, ибо оба не отличались мирным характером. Шаляпин мог поссориться и на всю жизнь. Так было, например, с Серовым и Врубелем. С первым Шаляпин как будто все же помирился (незадолго до кончины художника).

Жизнь в Париже и захватывала Коровина, и огорчала. У него поначалу возникало намерение вернуться в Россию, особенно под влиянием писем Красина, зовущего домой. Тот даже прислал Коровину 250 долларов на дорогу. Сумма была выделена комитетом по организации выставок. В своих письмах Коровин неоднократно упоминает об этих деньгах и говорит, что сейчас, т.е. в середине 20-х годов, ехать обратно он никак не может, ибо семейные обстоятельства и долги не отпускают его, а эти 250 долларов припрятаны им на случай отъезда. «...Ехать не могу — весь в долгах... Я попал в тяжелые условия в чужой стране, оставшись с тридцатью франками и семьей, да еще с больными. Я же вынужден работать за то, что дают, а ведь видят, что я нуждаюсь.<...> Крайтор-то выставки так и не сделал, а я на нее надеялся — зачем же я поехал-то? Черт унес меня за границу в надежде на выставку у Крайтора, у которого моя же душа в моих картинах»¹. Получается, что при всей нужде Коровин не позволял себе истратить эту сумму. Это свидетельствует о том, насколько щепетильно художник относился к долгам. По переписке Коровина с Красиным, которая обрывается, как уже говорилось, приблизительно к 1925 году, неизвестно, что стало с деньгами. Сюда можно добавить, что Коровин с нетерпением ожидал приезда Красина в Париж. Ему хотелось, чтобы друг своими глазами увидел, как трудно ему живется. Известно, что Красин действительно был в Париже в 1925 году и навещал Шаляпина. Но мы не знаем, виделся ли он с художником и смог ли тот отдать ему свой долг.

В 1926 году, встретившись в Париже с Сарьяном, Коровин говорил ему: «Моя единственная мечта — вернуться, <...> вернуться на родину, хочу умереть в России»².

С годами желание вернуться на родину ослабевает.

В советских же источниках писалось, что Коровин в Париже «сошел на нет» и что он только и жил мечтой о возвращении на родину. Однако Наталья Алексеева отрицает это: «Он мечтал уехать в Россию, но только не в советскую». Ирина Федоровна Шаляпина также вспоминает, что к 1932 году Коровин определенно решил не возвращаться. На ее приглашение в Москву художник ответил: «Куда теперь, кому я нужен, руки трясутся»³.

¹ «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 478.

² Гусарова А.П. Указ. соч. С. 219.

³ Цит. по: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 488.

После 1932 года проследить появление картин Коровина гораздо труднее, поскольку он уже не очень активно их выставляет. Возможно, потому, что спрос на его пейзажи вечернего Парижа упал. Современники отмечали, что художник все еще возвращался к родным мотивам, но все же чувствовалось, что он утратил с ними ту живую связь, которая была у него, когда он жил на родине. Удивительное дело: как художник Коровин пытался черпать вдохновение из окружающего его пространства, т.е. им уже овладели парижские сюжеты, а на литературном поприще он всеми мыслями был устремлен к утраченной России. И Коровин все чаще и чаще берется не за кисть, а за перо.

Самые первые литературные опыты Коровина относятся ко времени, когда он еще жил в России. В 1914 году вышли в свет два его очерка — о Шалапине¹ и Левитане². А чуть раньше Коровин вместе с Шалапиным писал рассказы «Утехи и горести рыбаков» в еженедельно издаваемом друзьями «Журнале для себя»³. Так что писательское начало проявилось в Коровине задолго до признания его как литератора.

В 1911 году, после смерти В.А. Серова, у Коровина начались проблемы с сердцем — у него стала развиваться стенокардия (грудная жаба). Болезнь прогрессировала, часто приковывая его к постели. В 1918 году художник был определен в санаторий в Севастополе, где, по его словам, он начал писать воспоминания о детстве, которые, однако, остались ненапечатанными.

За границей Коровин обращается к перу в связи с попыткой самоубийства сына, о чем говорилось выше. Он был настолько взволнован этим обстоятельством, что решил активнее влиять на душевный настрой сына и помочь ему избавиться от депрессии. Вот что он пишет Красину: «...Даже написал целую книгу на рыбной ловле и посылаю написанное в больницу к Леше, стараясь развлечь его печальный дух. Я читал Феде (маленькому Шалапину) и дочери П. Ключевского — юные сердца меня похвалили»⁴.

Данная рукопись также не дошла до публикации, однако автору этих строк удалось приобрести ее у вдовы Дорожинского, С.Б. Дорожинская-Курило, и с большим трудом, ввиду очень неразборчивого почерка Коровина, расшифровать⁵. Повествование с литературной точки зрения очень слабое, сырое, однако уже здесь намечается особый стиль Коровина-писателя. Тут и юмор, и радостное восприятие жизни, и поклонение русской природе, и удивительное коровинское слияние с простым людом. В то же время уже в этой начальной литературной попытке содержатся как бы зародыши тем и персонажей, которые потом прорастут в его многочисленных изумительных рассказах о жизни в России.

Первый литературный успех пришел к Коровину в 1929 году, когда парижская газета «Россия и славянство» напечатала его очерк под названием «Из моих встреч с А.П. Чеховым»⁶. В этой газете работал Лоллий Львов, чьи хвалебные отзывы о Коровине-декораторе и художнике мы уже приводили. Именно он, высоко оценивая Коровина как мастера устного рассказа, уговорил художника печататься в его газете. Затем появились на свет очерки

¹ См.: Коровин К. Причуды Шалапина. — Впервые: Заря (М.). 1914. № 14. 6 апреля. Перепеч. в кн.: Константин Коровин. Шалапин. Встречи и совместная жизнь / Сост. И.П. Хабаров. М., 1993.

² См.: Коровин К. Как мы начинали. — Впервые: Заря (М.). 1914. № 14. 6 апреля. Перепеч. в кн.: «Константин Коровин вспоминает...».

³ См.: Комаровская Н.И. О Константине Коровине. Л., 1961. С. 72.

⁴ Цит. по: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 481.

⁵ Эта рукопись под названием «Охота... рыбная ловля... Коля Куров» напечатана в кн. 2 наст. изд., в разделе «Из неопубликованного».

⁶ См.: Коровин К. Из моих встреч с А.П. Чеховым // Россия и славянство. 1929. 13 июля. См. также с. 89–94 кн. 1 наст. изд.

Коровина о Врубеле¹ и о самом себе². Этими публикациями ограничивается сотрудничество Коровина в «России и славянстве». Позже Коровин стал печататься в газете «Возрождение» и — в меньшей степени — в журнале «Иллюстрированная Россия».

Его жанр — короткие очерки или рассказы. В газетах они укладывались по объему в один номер. Если тема требовала продолжения, то бывали серии очерков («На Севере Диком», в шести номерах; «Чуркин», в четырех номерах). Коровина не тянуло к большим формам, таким, как роман или повесть. Его проза носит подчеркнуто мемуарный характер, где под повествованием от первого лица кроется и вымысел, и стилизация, и полемика, и даже целая последовательная философия жизни.

Вопреки давнишней традиции художников писать мемуары или записывать события Коровин никогда не вел дневников, не публиковал статей. Но в старости его охватило желание, как случалось у многих художников во все времена, выразить словами то, что он всю жизнь делал кистью. Сначала ему было очень трудно справиться с новым ремеслом. Он приходил в редакцию с рукописью, и, по словам Юлия Семенова, одного из редакторов «Возрождения», там происходило его обучение писательскому мастерству. «В редакцию «Возрождения» пришел новый эмигрант — К.А. Коровин, уже старый, такой же красивый, такой же талантливый, такой же живой. Он принес рассказ. Рассказ яркий, красочный, как и его живопись, но написанный так, как будто бы автор никогда в жизни ничего не писал. Фразы были без начала и без конца, отдельные слова. Это художник-импрессионист отдельными словами-мазками набрасывал пером какие-то эскизы. Пришлось сильно править и рассказывать ему, почему его правят именно так, а не иначе. Коровин слушал все замечания, которые ему делали другие писатели, другие члены редакции, все слушал и принимал к сведению. И, начав писать в семьдесят лет, — быстро воспринял все, что было нужно для писания»³.

Еще одним человеком, кто настоятельно советовал Коровину заняться литературным творчеством, был Иван Лукаш, писатель, в то время также сотрудник «Возрождения». Его вдова писала мне: «Иван Сазонтович (мой муж), конечно, навел его (Коровина) на мысль записывать свои рассказы и, конечно, редактировал с охотой их»⁴.

В своих воспоминаниях и рассказах о России — здесь и детство, и учеба в Училище живописи, ваяния и зодчества, и дружба юности, и становление творческой зрелости, и старая Москва с ее бытом и знаменитыми личностями, и жизнь в деревенской глуши, куда любят съезжаться приятели, чтобы забыться на охоте и рыбной ловле от городской суеты, — Коровин вновь обретает себя, тот внутренний стержень, которого так не хватает ему в эмиграции. Там, в России, все было по-другому. Он так тоскует по ее просторам, запахам, краскам!

Опыт Коровина-писателя с годами обогащается, и к 1935 году литературная деятельность определенно начинает преобладать над художественной. Его рассказы и очерки появляются в печати со все большей регулярностью. В декабре 1934 года С. Дорожинский предлагает Коровину написать автобиографию и берется издать ее. Коровин с энтузиазмом отнесся к предложению Дорожинского и написал мемуары «Моя жизнь» с удивительной быстротой — к июлю 1935 года. Дорожинский, заказывая мемуары Коровину, настаивал на том, чтобы тот передал ему все права на публикацию, однако машинопись из 120 страниц, которую представил Коровин, так и пролежала ненапечатанной 35 лет. Только в 1970 году ее приобрел у вдовы Дорожинского Марк Вейнбаум, редактор нью-йорк-

¹ См.: Коровин К. Михаил Александрович Врубель // Россия и славянство. 1930. 19 апреля. См. также с. 27–34 кн. 2 наст. изд.

² См.: Коровин К. Мои ранние годы // Россия и славянство. 1932. 23 января. См. также с. 211–214 кн. 1 наст. изд.

³ Семенов Ю. Добрый талант // Возрождение. 1939. 15 сентября.

⁴ Письмо вдовы Ивана Лукаша ко мне от 28 января 1971 г. хранится в моем личном архиве.

ской газеты «Новое Русское Слово», и в том же году она была впервые напечатана в этой газете. Замечательная автобиография в форме очерков открывается описанием самого раннего детства Коровина и заканчивается воспоминаниями 1917 года. Эти мемуары стали известны советскому читателю благодаря публикации И. Зильберштейна и В. Самкова. Они открывают книгу «Константин Коровин вспоминает...», однако были напечатаны с многочисленными разночтениями, вставками, цензурными изъятиями и с искаженным концом. И только в настоящем издании они публикуются в точном соответствии с авторизованной машинописью.

Коровин говорил о себе, что он «не охотник праздности». С 1935 года он приносил в редакцию газеты «Возрождение» по одному рассказу в неделю. В Париже ходили разные слухи о его заработках при таком постоянном сотрудничестве в газете. Кое-кто говорил, что Абрам Гукасов, редактор «Возрождения», хорошо ему платил¹, однако Ирина Шаляпина, посетившая Коровиных во второй свой приезд в Париж в 1935 году, не обнаружила в их быту никаких перемен к лучшему.

В 1936 году Коровину исполнилось семьдесят пять лет, и по этому поводу газета «Возрождение» устроила юбилейный концерт.

Юбилей К.А. Коровина отмечался 12 декабря в соседстве с шестидесятилетним юбилеем А.А. Плещеева и не был таким пышным, как юбилей пятидесятилетия его художественной деятельности, но все же: «Интимный ужин прошел в атмосфере совершенно исключительного подъема, сердечной взволнованности и простоты... В трех коротких обращениях к сотоварищам К.А. Коровин, с совершенно исключительным даже для него юмором и блеском, коснулся всего — от вопросов общественно-злободневных до мелочей редакционной жизни и отношений. Каждое из этих обращений сопровождалось взрывами смеха и подлинными овациями»².

Журнал «Иллюстрированная Россия», в котором Коровин печатался с 1930 года (примечательно, что коровинские очерки в этом издании сопровождались фотографиями или даже эскизами самого автора), также отметил эту дату. Прекрасную статью о юбиляре написал секретарь журнала, известный публицист и критик Георгий Немирович-Данченко. Описав жизнь и творчество Коровина в России, Немирович-Данченко переходит к анализу деятельности художника за рубежом.

«В эмиграции К.А. с 1922 года. И здесь, в изгнании, вдали от родины, которую К.А. так трогательно и нежно любит, в нем открылся другой его талант — талант русского писателя, который сразу же выдвинул гордость нашей живописи в первые ряды русской литературы... Из К.А. выработался русский беллетрист, дарование которого в наши безрадостные дни сразу же засияло ярким блеском самобытности, неподдельного юмора и новизны тех литературных образов, которые он нам дал. Новизны, потому что К.А. нашел такие краски в изображении русского человека и русской действительности, которые до сих пор нам не были знакомы»³. Немирович-Данченко заканчивает свою статью пожеланием юбиляру, кроме стандартных здоровья и сил, того, «чтобы его доброе сердце веселилось служением красоте и русскому слову. И мы счастливы, — добавляет он, — что можем сказать ему, как мы его все любим и как мы ему благодарны...»⁴.

¹ Н.П. Полторацкий называет А.О. Гукасова, нефтяного магната Русского Зарубежья, «последним русским капиталистом». — См.: Полторацкий Н.П. Русская литература в эмиграции. Питсбург, 1972. С. 29.

² Р.Д. Чествование К.А. Коровина и А.А. Плещеева // Возрождение. 1936. 19 декабря.

³ Немирович-Данченко Г. К.А. Коровин (К 75-летию со дня рождения) // Иллюстрированная Россия (Париж). 1936. 5 декабря.

⁴ Там же.

На имя юбиляра в редакцию газеты «Возрождение» поступило много писем читателей, восторженных почитателей его рассказов. Они были переданы Коровину, и тот даже откликнулся благодарственной заметкой. «Глубокоуважаемый господин редактор... Получив в день семидесятипятилетия приветствия от читателей моих незатейливых рассказов про край родной, сердечно и душевно благодарю их всех за внимание и чувства добрые»¹.

Однако, похоже, высокое определение профессиональной критикой статуса юбиляра опять не дошло до адресата, как и отзывы о его творчестве на предыдущем юбилее 1932 года. В 1937-м Коровин жалуется Дорожинскому: «...Вот я в промежутках живописи... пишу рассказы — это ведь искусство, литература... Так, за все десятилетия этого труда я не встретил ни одного печатного отзыва. Ни похвалы, ни брани. Немножко странно»². Странно все-таки то, что никто не сказал Коровину, что ситуация изменилась, даже тот же Дорожинский. Правда, скорее всего, именование Коровина писателем вряд ли пришлось бы ему по душе, поскольку он никогда не любил «идейность» и «поучительность» большинства писателей-современников. Коровин хотел, чтобы читатель никогда не забывал, что он художник и что он пишет свои рассказы, как картины. «Пишу наитием, будто для каких-то несуществующих друзей. Пишу от любви к людям, не идейно, не поучая никого, а как художник»³.

Выше уже говорилось, что Коровину довелось много претерпеть от несправедливой критики. В своих парижских письмах к Красину он обрушивается на рецензентов (скорее, в общем, чем на кого-нибудь определенно) и жалуется на непонимание. Это непонимание он называет «чертом» и относит его к критике, которая, как и в России, враждебно относится к его творчеству⁴. Много позже, в другом письме, к Дорожинскому, Коровин снова возвращается к той же мысли и идет дальше: «Русское наше общество живет в кармане у этого черта»⁵. Тема непонимания критикой проходит красной нитью по многим произведениям Коровина, будь то биографический очерк о Врубеле, заметки о ранней художественной деятельности или воспоминания о 1917 годе.

Как бы то ни было, Коровин продолжает активное сотрудничество с газетой «Возрождение». Однако теперь он спешит, сюжеты рассказов повторяются, а качество становится неровным. И увы, откровенно слабые рассказы понемногу начинают вытеснять подлинные жемчужины. Конечно же, жизненные обстоятельства, когда нужно было худо-бедно содержать большую семью, образно выражаясь, посягали на музу Коровина, и он вынужден был писать, как он сам выражался, «на яичницу» — это касалось как его живописных работ, так и литературных произведений. Картины с видами России с «тройками, деревенскими пейзажами», за что так доставалось Коровину от того же Александра Бенуа, а также пусть небольшие, но регулярные гонорары за газетные публикации все же позволяли выживать. Кое-кто поговаривал даже, что Коровин выпивал и проигрывал в азартной игре то, что зарабатывал.

Находилось также немало охотников, которые вынуждали художника отдавать картины даром. Так, Валентин Федорович Булгаков, последний секретарь Л.Н. Толстого, основавший в Праге за годы своей эмиграции (1923–1948) русский музей и посетивший художника в 1937 году, просил его пожертвовать какую-нибудь картину для музея⁶. На эту просьбу Коровин

¹ Коровин К. Письмо редактору // Возрождение. 1936. 5 декабря.

² Письмо А.К. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 9 мая 1937 г. — См. с. 782–783 кн. 2 наст. изд.

³ Там же. С. 782.

⁴ См.: «Константин Коровин. Жизнь и творчество». С. 472, 473, 477, 478.

⁵ Письмо А.К. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 10 января 1938 г. — См. с. 784 кн. 2 наст. изд.

⁶ Речь идет о Русском музее культуры и истории в Праге, в каталоге которого числятся три картины Коровина, очевидно полученные Булгаковым во время этого визита. См.: Русское искусство за рубежом. Прага; Рига, 1938. К сожалению, во время войны фонды этого музея были разграблены, а что осталось — было вывезено в СССР. См.: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. С. 81–82.

сначала ответил резким отказом, мотивируя его тем, что художники бедствуют, а музеи «заполняются их картинами» и директора богатеют. Тогда Булгаков сказал, что музей, для которого он просит картину, очень скромный, и Коровин все же отдал Булгакову несколько картин. Художник объяснил, почему поначалу он так рассердился. Оказывается, из Праги к нему приезжал сотрудник Славянского института профессор О., который обратился к нему с той же просьбой. Коровин отдал ему четыре картины. В результате — ни денег, ни картин. Повторилась история с Крайтором. Булгакову удалось найти этого профессора, поступившего столь непорядочно, однако ходатайство за Коровина вызвало у того лишь «равнодушную усмешку» и отговорку, что картины присвоил агент.

Нельзя при этом не подивиться поведению самого Булгакова — ведь он видел своими глазами, в каких условиях живет художник. Когда он пришел к нему домой, Коровин полулежал в халате на железной койке, накрытый жестким «армейским» одеялом¹.

В 1938 году Коровин сообщает Дорожинскому, что он собрал 176 рассказов об охоте и рыбной ловле для целой книги². Существование этого плана подтвердил Борис Зайцев, который ценил литературные сочинения Коровина и поддерживал его в этом проекте. Но, очевидно, на претворение его в жизнь требовались деньги, а их не было ни у Коровина, ни у Дорожинского.

Неиссякаемая творческая энергия заставляет Коровина взяться за новый план. В мае 1938 года умер Федор Шаляпин. Коровин пишет Дорожинскому, как он огорчен смертью друга и что написал 150 книжных страниц о своей дружбе с ним. Более того, он даже надеется на то, что одновременно будет сделан перевод рукописи на английский язык для Америки и Англии, где Шаляпин так прославился³. Коровин был, конечно, вправе рассчитывать, что его воспоминания о Шаляпине могут заинтересовать не только русского читателя, но, увы, и этот проект также натывается на безденежье. Тогда он относит рукопись в «Возрождение»⁴. При газете было издательство, и оно в 1939 году выпустило в свет воспоминания Коровина под названием «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь». В том же году появилась большая рецензия на эту книгу Юрия Мандельштама, поэта и литературного критика. Мандельштам высоко оценил эти своеобразные мемуары и отметил, что «Коровин и в писаниях своих остается больше художником, чем писателем»⁵. Этот отзыв Коровин читал. Он сказал Мандельштаму: «Правильно написал... Писатели-то все мысли высказывают, и потому все хуже в мире делается. А я мир вижу, как он есть»⁶.

В конце жизни Коровин все больше жаловался на сердце и «не расставался с тринитрином», как пишет в некрологе о нем А. Шайкевич⁷. Начавшаяся Вторая мировая война практически оборвала его жизнь. Дело в том, что Коровин панически боялся налетов немецкой авиации и воя сирен. 10 сентября 1939 года его разбил паралич, и художник был помещен в госпиталь. На следующий день, 11 сентября, в час дня, Константин Алексеевич скончался, не приходя в сознание⁸.

Подытоживая деятельность К.А. Коровина в Зарубежье, можно сказать, что как художник он своими видами Парижа занял определенное место в пантеоне французского искус-

¹ См.: Булгаков Вал. Последние годы жизни К. Коровина // Искусство (М.). 1961. № 12.

² Письмо К.А. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 10 января 1938 г. — См. с. 784 кн. 2 наст. изд.

³ Письмо К.А. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 25 мая 1938 г. — См. с. 785–786 кн. 2 наст. изд.

⁴ Письмо К.А. Коровина к С.Ф. Дорожинскому от 8 сентября 1938 г. — См. с. 786 кн. 2 наст. изд.

⁵ Мандельштам Ю. Коровин о Шаляпине // Возрождение. 1939. 26 мая.

⁶ Мандельштам Ю. Памяти К.А. Коровина // Возрождение. 1939. 15 сентября.

⁷ Ш. (Шайкевич) А. К.А. Коровин // Последние Новости. 1939. 13 сентября.

⁸ И.И. Мозалевский считает, что на кончину художника в большей степени повлияло то обстоятельство, что Коровин был сильно расстроен после того, как редактор «Возрождения» А. Гукасов не дал ему аванса и «чуть не выгнал из своего кабинета». См.: Архив ГТГ. Фонд И.И. Мозалева. № 60/133.

ства, а как писатель — оставил богатейшее литературное наследие, причем только несколько очерков отражают его жизнь в Париже, все остальное творчество обращено исключительно к России. За десять лет было опубликовано около четырехсот его очерков, рассказов и мемуаров, автобиография «Моя жизнь» и книга о Шалапине.

Однако литературные произведения Коровина после 1939 года попали в полосу забвения на целых тридцать лет. На родине о нем знали только как о художнике. В начале 60-х, когда отмечалось столетие со дня рождения Константина Коровина, возник интерес и к его литературной деятельности в связи с публикацией И.С. Зильберштейна в 1960 году в «Литературном наследстве» (№ 68, посвященный А.П. Чехову) очерка К. Коровина «Мои дни с А.П. Чеховым». Знаменательно, что именно с этого рассказа, опубликованного в журнале «Россия и славянство» в 1929 году, началось истинное становление Коровина-писателя. Хотя научные труды о нем в 60-е годы были посвящены главным образом Коровину-художнику¹, в некоторых из них появились ссылки на его литературные произведения. Однако настоящее открытие Коровина-писателя происходит в 1971 году, когда И.С. Зильберштейн и В.А. Самков выпустили сборник «Константин Коровин вспоминает...». Это издание хронологически охватывает более ранние очерки, написанные художником еще в России, а также смогло вместить лишь треть всего написанного Коровиным за рубежом. Кроме того, как уже говорилось, книга страдает от многочисленных цензурных изъятов, что не позволяло вдумчивому читателю получить объективное представление об истинном отношении Коровина к революции 1917 года. К сожалению, те же недостатки перекочевали во второе издание книги (1990), дополненное иллюстрациями², а также еще в одно переиздание³.

Вместе с тем более подробные комментарии, которыми снабжено издание, придают ему большую ценность. И если в 30-е годы критики, обращаясь к творчеству Коровина-писателя, составляли свои заключения по отдельным его очеркам, разбросанным по газетным «подвалам», разделенным временем, то благодаря изданию Зильберштейна и Самкова в 70-е годы можно было вывести уже более глубокие суждения о литературном даровании Коровина, основываясь на одной трети его литературного наследия, собранного в одну книгу.

После выхода в свет книги «Константин Коровина вспоминает...» в печати появилось несколько положительных отзывов о прозе Коровина. В 1972 году в журнале «Молодая гвардия» появляется рецензия Н. Смирнова. Он пишет: «Словесное искусство Коровина — и мемуариста, и беллетриста — имеет определенную художественную опытность: мера и вкус в пользовании красками, сила изобразительности, умение владеть тайнами сюжета и композиции, сжатость, яркий, щедрый русский язык»⁴.

В 1974 году в журнале «Нева» появилась статья под названием «Жажда общения с миром». В ней отмечается, что проза Коровина «неповторима и самобытна», что она «производит впечатление неизгладимое», что он писал «не традиционные воспоминания» и что такую прозу принято называть «лирической»⁵.

¹ «Константин Коровин. Жизнь и творчество»; *Коган Д.* Константин Коровин. М., 1964; *Власова Р.И.* Константин Коровин. М., 1969; *Комаровская Н.И.* О Константине Коровине. Л., 1961.

² «Константин Коровин вспоминает...». Сост. *И.С. Зильберштейн и В.А. Самков.* 2-е изд.: М., 1990.

³ См.: *Коровин К.* Воспоминания. Минск, 1999.

⁴ См.: *Смирнов Н.* Дважды художник // Молодая гвардия. 1972. № 6.

⁵ См.: *Цурикова Г., Кузьмичев И.* Жажда общения с миром // Нева. 1974. № 6. С. 182. Интересно отметить, что авторы этой статьи пишут о разбросанности произведений Коровина. «Многое затерялось на страницах недолговечной эмигрантской периодики тридцатых годов». На самом деле эмигрантская периодика сохранилась в Гуверовском институте, да и в других собраниях эмигрантской периодики можно найти, за редким исключением, полный комплект произведений Коровина.

Ст. Рассадин в статье «Пером и кистью» даже сравнивает Коровина-писателя с Куприным, причем в пользу первого, и отмечает, что Коровин хорош именно тем, что «не ощущал тяжести законов прозы как профессионал»¹.

Среди работ, посвященных творчеству Коровина-писателя, появившихся в 80-х годах, можно отметить монографию А. Басырова², а также сборник рассказов под названием «Константин Коровин. Краски России». Его составитель — М. Кралин. В книгу вошел ряд рассказов и очерков из издания «Константин Коровин вспоминает...». Причем в своей сопроводительной статье к сборнику составитель подходит к разрешению дилеммы, о которой уже упоминалось выше, а именно: почему Коровин в Зарубежье создавал в основном картины с видами Парижа, а рассказы его были направлены исключительно на Россию. Он объясняет это так. Изобразительное искусство коровинского типа сильно зависит от зрительного восприятия окружающего, а словесное искусство исходит изнутри человеческого сознания, независимо от внешнего окружения. Вот почему картины Коровина парижского периода с русской тематикой были лишены прежнего огня, тогда как в рассказах о жизни в России отразилось все его душевное горение.

«И — чудо — оказалось, что слово подвластно ему ничуть не меньше, чем кисть и краски, что словом он наконец-то может высказать все, что сохранил в душе и не высказал до конца на полотнах...»³

И в 90-е жизнь и творчество Константина Коровина по-прежнему остаются в поле зрения исследователей⁴.

Кроме обзора творчества Коровина в перечисленных изданиях содержатся новые интересные данные о его жизни и деятельности в период после революции 1917 года до эмиграции.

В 1997 году вышла в свет «Литературная энциклопедия Русского Зарубежья», в которой дается высокая оценка литературному творчеству К.А. Коровина. «“Возрождение” 30-х невозможно себе представить без коротеньких рассказов живописца К.А. Коровина. Короткие зарисовки русского пейзажа, охотничьи истории, колоритные описания старого русского быта, подмеченные острым глазом художника, раскрыли в Коровине мастера не только кисти, но и писательского пера»⁵.

Назовем также два альбома с репродукциями картин К. Коровина с пояснительным текстом В.Ф. Круглова (1997 и 2000 гг.)⁶.

Еще в 70-е годы, совершенно независимо от появления интереса к литературному творчеству Коровина в СССР, возникшего в связи с выходом в свет сборника И. Зильберштейна и В. Самкова, я начала работать над докторской диссертацией о Коровине-писателе в Калифорнийском университете. Мне удалось собрать ксерокопии его очерков и рассказов по комплектам газеты «Возрождение», журналам «Иллюстрированная Россия» и «Россия и славянство», а также приобрести в архиве М. Вейнбаума копию авторизованной машинописи мемуаров К.А. Коровина «Моя жизнь» и рукопись «Охота... рыбная ловля... Коля Куров».

Настоящее издание можно по праву назвать полным собранием сочинений писателя К.А. Коровина. Впервые читатель имеет возможность познакомиться со всеми литературными произведениями художника Коровина, без цензурных искажений и купюр.

Остается добавить, что жена К.А. Коровина умерла в 1947 году. Отсутствие сведений о жизни и творчестве Алексея Константиновича после смерти отца дают возможность пред-

¹ Рассадин Ст. Пером и кистью // Литературная газета. 1979. № 6/7. 7 февраля.

² Басыров А.Я. К.А. Коровин. Л., 1985.

³ Константин Коровин. Краски России / Сост. М. Кралин Л., 1986. С. 106.

⁴ Гусарова А.П. Указ. соч.

⁵ Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. М., 1997. С. 74.

⁶ См.: Круглов В.Ф. Коровин. М., 1997; он же: К.А. Коровин. СПб., 2000.

положить, что он не смог избавиться от депрессии, которая продолжала развиваться и привела его к самоубийству в 1950 году. Его жена, Елизавета Владимировна, умерла в 1968-м, а о внуке К.А. Коровина, который родился в 1928 году, определенных сведений пока нет¹.

В 1942 году в «Парижском вестнике» появилась заметка Н.Д. Янчевского «Две эпитафии. Шалапина и Коровина». В ней говорится, что в 1925 году Шалапин и Коровин, сидя в лондонском ресторане в компании друзей великого певца, решили в шутку сочинить свои эпитафии. Эпитафия Коровина, более серьезная, без «позы», как выражается Янчевский, была обращена к сыну.

И на могилу ты
Придешь искать мой крест.
Его увидишь ты, цветами нежными
Роскошно окруженный.
Нарви побольше их на память обо мне.
Взрастило сердце их,
Что так тебя любило.
Те песни милые, не спетые тебе...
Слова любви, что сердце утаило...²

В 1970 году мне довелось побывать на русском кладбище в предместье Парижа Сент-Женевьев-де-Буа. На могиле Коровина стоял простой деревянный православный крест, а вокруг него ветер развевал высокую тонкую травку.

И все же лучший памятник этот замечательный художник и писатель воздвиг себе сам, оставив ярчайший след как в мировой живописи, так и в русской литературе.

Названием настоящего издания послужила заключительная фраза из рассказа К.А. Коровина 1936 года «В сочельник» — «То было давно... там... в России...».

Моя глубокая благодарность:

издательству «Русский путь»: директору Виктору Москвину — за то, что он принял мое предложение об издании настоящей книги, что было моей мечтой на протяжении тридцати лет;

сотрудникам Гуверовской библиотеки Стэнфордского университета — за предоставленную возможность осуществить ксерокопирование произведений К.А. Коровина с подшивок эмигрантских газет и журналов, особая благодарность Георгию и Александру Мейерам — за помощь в получении специальных архивных материалов из Гуверовского института;

Карлу Тейлору — за право воспользоваться архивом его матери, Полин Тейлор;

Памеле Лонг — за помощь в розыске К. Тейлора;

Елене Теркель, Наталье Ильиной и другим сотрудникам Отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи — за содействие в моей работе с архивом К.А. Коровина;

Фрэнку Уилсону, куратору театрального архива при Гарвардском университете, — за содействие в праве использования хранящихся в архиве коллекции эскизов К.А. Коровина для настоящего издания;

¹ Мне удалось разыскать его в 70-е годы, когда он служил во французской жандармерии в Гваделупе, но, к сожалению, он отказался сообщить мне какие-либо сведения о семье. Видимо, ситуация была настолько тяжелой, что ему не хотелось вспоминать о том времени. Его мать ушла от Алексея Коровина, так что, возможно, внук многого и не знал про отца, тем более про деда.

² Янчевский Н.Д. Две эпитафии. Шалапина и Коровина // Парижский вестник. 1942. 26 июня. Янчевский был связан в Париже с театром, и в этой статье он пишет, что эпитафия Коровина была написана на оборотной стороне наброска костюма для Кошечки, который хранится в его театральном архиве.

Татьяне Чеботаревой, куратору Бахметьевского архива при Колумбийском университете, — за содействие в поиске интересующих меня материалов и за указание на архив Вейнбаума при Йельском университете, где мною была обнаружена авторизованная машинопись рукописи К.А. Коровина «Моя жизнь»;

а также моей семье: мужу Г.С. Ермолаеву, дочерям — Наталии Ермолаевой и Екатерине Осоргиной — за многолетнюю духовную и творческую поддержку и оказание технической помощи в моей работе.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Адамович Г. Одиночество и свобода. М., 1996.
2. Басыров А.Я. К.А. Коровин. Л., 1985.
3. Боулт Дж. Э. Художники русского театра. 1880–1930. М., 1994.
4. Брукс Дж. Когда Россия научилась читать. 1861–1917. Принстон, 1985.
5. Вейдле Вл. Традиционное и новое в русской литературе 20-го века. Нью-Йорк, 1952.
6. Власова Р.И. Константин Коровин. Творчество. Л., 1969.
7. Герра Р. Они унесли с собой Россию. СПб., 2004.
8. Гиляровский В.А. Сочинения: В 4 т. М., 1967.
9. Гусарова А.П. Константин Коровин: Путь художника. Художник и время. М., 1990.
10. Зверев А. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920–1940. М., 2003.
11. Коган Д.З. Константин Коровин. М., 1964.
12. Комаровская Н.И. О Константине Коровине. Л., 1961.
13. Круглов В.Ф. Коровин. М., 1997.
14. Круглов В.Ф. К.А. Коровин. СПб., 2000.
15. Носик Б.М. Русские тайны Парижа. СПб., 2000.
16. Пастухов Н.И. Разбойник Чуркин. М., 1908.
17. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956.
18. Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. Париж; Нью-Йорк, 1987.
19. Фостер Л. Библиография русской зарубежной литературы 1918–1968. Бостон, 1970.
20. Щербатов С. Художник в ушедшей России. М., 2000.
21. Константин Коровин. Жизнь и творчество: Письма, документы, воспоминания // Сост. Н.М. Молева. М., 1963.
22. Константин Коровин вспоминает... / Сост. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. 1-е изд. М., 1971; 2-е изд., доп. М., 1990; 3-е изд. Минск, 1999.
23. Константин Коровин. Краски России / Сост. М. Кралин. Л.: Дет. лит.-ра, 1986. М., 1993.
24. Константин Коровин. Шалапин. Встречи и совместная жизнь / Сост. И.П. Хабаров.
25. Летопись жизни и творчества Ф.И. Шалапина / Сост. Ю. Котляров и В. Гармаш. Л., 1989.
26. Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918–1940: В 4 т. О К.А. Коровине см.: Т. 1. С. 218–219, а также: Т. 2. С. 74.
27. Сатирикон, журнал сатиры. Париж, 1931.
28. Художники Русского Зарубежья (1917–1939): Биографический словарь. СПб., 1999.

Татьяна Ермолаева,
Принстонский университет (США)

Моя жизнь

I

Родился я в Москве в 1861 году, 23 ноября, в Рогожской улице, в доме деда моего Михаила Емельяновича Коровина, московского купца первой гильдии. Прадед мой, Емельян Васильевич, был родом из Владимирской губернии, Покровского уезда, села Данилова, которое стояло на Владимирском тракте. Крестьяне этого села были ямщицкого сословия. Тогда не было еще железных дорог, и эти крестьяне были ямщиками. Говорилось — «гоняли ямщину», и не были они крестьянством, а то была вольная ямщина. Они не были крепостными.

Когда родился прадед мой, то в то время в обычаях сел и деревень, находящихся по Владимирскому тракту, при рождении ребенка отец выходил на дорогу и первого, которого или которую гнали в ссылку преступника или преступницу по этой дороге Владимирке, спрашивал имя преступника¹. Это имя и давали родившемуся ребенку. Будто бы это делали для счастья — такая была примета. Нарекали имя родившегося именем преступника², т.е. несчастного. Так полагалось обычаем.

Когда родился мой прадед, по Владимирке везли в клетке с большим конвоем Емельку Пугачева, и прадеда наименовали Емельяном.

Сын ямщика, Емельян Васильевич, был впоследствии управляющим в имениях графа Бестужева-Рюмина, казненного декабриста Николаем I. Графиня Рюмина, лишенная прав дворянства, родила после казни мужа сына и умерла родами, а сын Михаил был усыновлен управляющим графа Рюмина, Емельяном Васильевичем. Но у него был и другой сын, тоже Михаил, который и был мой дед. Говорили, что огромное богатство моего деда пришло ему от графа Рюмина. Дед мой, Михаил Емельянович, был огромного роста, очень красивый, и ростом он был без аршина сажень.

И жил дед до 93-х лет. Я помню дом в Рогожской улице. Огромный особняк с большим двором, и сзади дома был огромный сад, который выходил на другую улицу, в Дурновский переулок. И соседние небольшие деревянные дома, стоящие на просторных дворах, жильцами в которых были ямщики. А на дворах стояли конюшни и экипажи разных фасонов, дормезы, коляски, в которых возили пассажиров из Москвы по арендованным у правительства дедом дорогам, по которым он гонял ямщину из Москвы в Ярославль и в Нижний Новгород.

Я помню прекрасный дом деда в Рогожской улице. Помню большой колонный зал в стиле ампир, где наверху были балконы и круглые ниши, в которых помеща-

¹ Так в рукописи (здесь и далее примечания редактора).

² Так в рукописи.

лись музыканты, играющие на званных обедах. Помню и эти обеды с сановниками, нарядных женщин в кринолинах, военных в орденах. Помню высокого деда, одетого в длинный сюртук с медалями на шее. Он был уже седым стариком. Помню, что дед мой любил музыку, и, бывало, один сидел дед в большом зале, а наверху играл квартет, и дед позволял только мне сидеть около себя. И когда играла музыка, дед был задумчив и, слушая музыку, плакал, вытирая слезу большим платком, который вынимал из кармана халата. Я тихо сидел около деда и думал: «Дед плачет, так, значит, надо».

В большом саду при доме была беседка с цветными стеклами. Отец мой, Алексей Михайлович, тоже был высокого роста, очень красивый, всегда хорошо одетый. И я помню, панталоны на нем были в клетку, и черный галстук высоко закрывал шею.

Я помню, ездил с ним в экипаже, похожем на гитару, где отец садился верхом на эту гитару, а я сидел впереди. Меня держал отец, когда ехали. Лошадь у нас была белая, звали Сметанкой, и я ее кормил с ладони сахаром.

Помню вечер летом, когда на дворах поблизости ямщики пели песни. Мне нравилось, когда пели ямщики. Я сидел с братом Сергеем и своей матерью на крыльце, с няней Таней и слушал их песни, то унылые, то лихие, с посвистом. Они пели про «любушку», про «разбойников»:

Девушки-девицы раз мне говорили,
Нет ли небылицы иль старинной были...

Возле бора сосенок береза стоит,
А под той березою молодец лежит...

Вечерний звон, вечерний звон,
Как много дум наводит он
Про отчий край, про край родной...

Не одна во поле дороженька
Пролегла широка...

Хорошо помню, когда наступал поздний вечер и небо охватывала мгла ночи, над садом показывалась большая красная комета, размером в половину луны. У ней был длинный хвост, пригнутый вниз, который лучился светящимися искрами. Она была красная и будто дышала. Комета была страшная. Говорили, что она к войне. Я любил смотреть на нее и каждый вечер ждал, ходил смотреть на двор с крыльца. И помню, что любил слушать, что говорят про эту комету. И мне хотелось узнать, что это такое и откуда пришла она пугать всех и зачем это.

В большие окна дома я видел, как иногда ехала запряженная четверкой лошадей по улице Рогожской страшная повозка, высокая, с деревянными колесами. Эшафот. И наверху сидели двое людей, в серых арестантских халатах со связанными назад руками. Это везли арестантов. На груди каждого висела большая, привязанная за шею, черная доска, на которой было написано белым: «Вор — убийца». Отец мой высылал с дворником или кучером передать несчастным баранки или калачи. Это, вероятно, так было принято из милосердия к страждущим. Дары эти конвойные солдаты клали в мешок.

В беседке сада летом пили чай, и приходили гости. У отца часто бывали его друзья: доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков и еще молодой человек Латышев, художник Лев Львович Каменев и художник Ларион Михайлович Прянишников, молодой юноша, которого я очень любил, так как он устраивал мне в зале, опрокидывая стол и покрывая его скатертями, корабль «Фрегат Палладу». И я залезал туда и ехал в воображении по морю к мысу Доброй Надежды. Это мне очень нравилось.

Также я любил смотреть, когда у матери моей на столе лежали коробочки с разными красками. Такие хорошенькие коробочки и печатные краски, разноцветные. И она, разводя их на тарелке кистью, рисовала в альбом такие хорошие картинки — зиму, море, — такие, что я улетал куда-то в райские края. Отец мой тоже рисовал карандашом. Очень хорошо, говорили все, и Каменев, и Прянишников. Но мне больше нравилось, как рисовала мать.

Дед мой Михаил Емельянович хворал. Сидел у окна летом, и ноги его были покрыты меховым одеялом. Я и мой брат Сергей сидели тоже с ним. Он нас очень любил и меня расчесывал гребешком. Когда по улице Рогожской шел разносчик, то дед звал его рукой, и разносчик приходил. Он покупал все: пряники, орехи, апельсины, яблоки, свежую рыбу. А у офеней, которые носили большие белые коробки, в которых были игрушки, то офеня, проходя, выкладывал, показывая игрушки, ставил на пол¹. И дед покупал все. Это было радостью для нас. Чего только не было у офени. И зайцы с барабаном, и кузнецы, медведи, лошади, коровы, которые мычали, и куклы, закрывающие глаза, мельник и мельница. Были игрушки и с музыкой. Мы их потом ломали с братом, так хотелось узнать, что внутри их.

Моя сестра Софья заболела коклюшем, и меня мать увезла к няне Тане. Вот где было хорошо... Вот удивление. Новый мир. У ней было совсем по-другому. Небольшой деревянный дом. Я лежал больной в постели. Бревенчатые стены и потолок, иконы, лампадки. Таня около меня и ее сестра. Замечательные, добрые... В окно виден сад зимой в инее. Топится лежанка. Все как-то просто, как надо. Приходит доктор Плосковицкий. Я был рад всегда его видеть, и приписывает² мне лекарства: пилюли в таких хорошеньких коробочках, с картинками. «Такие картинки, что никто не нарисует», — думал я. Часто приезжала и мать. В шляпе и кринолине, нарядная. Привозила мне виноград, апельсины. Но запрещала мне давать есть много и сама привозила только суп, желе, зернистую икру. Доктор не велел меня кормить, так как у меня был сильный жар. Но когда мать уезжала, то моя няня Таня говорила: — Так касатика (это я касатик) уморят.

И мне давали есть жареного поросенка, гуся, огурцы и еще из аптеки приносили длинную конфету, называлась девья кожа, от кашля. И все это я ел. И девью кожу от кашля без счета. Только Таня мне не велела говорить матери, что меня поросенком кормят, и про девью кожу ни гу-гу чтоб. И я ни за что не говорил. Я верил Тане и боялся, как говорила ее сестра Маша, что не евши меня уморят совсем. Это мне не нравилось.

А на коробочках картинки... Такие там горы, елки, беседки. Мне сказала Таня, что это недалеко за Москвой такие растут. И я подумал: как только выздоровлю, уйду

¹ Так в рукописи.

² Так в рукописи.

туда жить. Там мыс Доброй Надежды. Сколько раз я просил отца поехать. Нет, не везет. Уйду сам, погодите. И Таня говорит, что мыс Доброй Надежды недалеко, за Покровским монастырем.

Но вдруг приехала мать прямо не в себе. Плачет навзрыд. Оказалось, что сестра Соня умерла.

— Это что ж такое, как умерла, зачем...

И я ревел. Я не понимал, как же это так. Что такое это: умерла. Такая хорошенькая, маленькая Соня умерла. Это не надо. И я задумался и загрустил. Но когда мне Таня сказала, что у ней теперь крылышки и она летает с ангелами, мне стало легче.

Когда настало лето, то я как-то сговорился с своей двоюродной сестрой, Варей Вяземской, пойти на мыс Доброй Надежды, и мы вышли во двор, в калитку и пошли по улице. Шли, видим, большая белая стена, деревья, а за стеной внизу река. Потом опять улицы. Магазин, в нем фрукты. Вошли и спросили конфеты. Нам дали, спросили, чьи мы. Мы сказали и пошли дальше. Какой-то рынок. Все сидят, кто ходит. Там утки, куры, поросята, рыбы, лавочники. Вдруг какая-то женщина толстая смотрит на нас и говорит:

— Вы чего же это одни...

Я ее насчет мыса Доброй Надежды, а она взяла нас за руки и сказала:

— Пойдемте.

И привела нас в какой-то грязный двор. Повела в крыльцо. В доме у нее так нехорошо, грязно. Она посадила нас за стол и поставила перед нами коробку большую картонную, где были нитки и бисер. Бисер очень понравился. Она привела других женщин, все смотрели на нас. Дала нам к чаю хлеба. В окнах уже было темно. Тогда она нас одела в теплые вязаные платки, меня и сестру Варю, вывела на улицу, позвала извозчика и посадила нас и поехала с нами. Приехали мы к большому дому, грязному, страшному, и башня каланча, и наверху ходил человек, солдат. Очень страшно. Сестра редела. Вошли по каменной лестнице в этот дом. Там какие-то страшные люди. Солдаты с ружьями, с саблями, кричат, ругаются. За столом сидит какой-то человек. Увидев нас, вышел из-за стола и сказал:

— Вот они.

Я испугался. И человек с саблей — чудной, будто баба, — повел нас наружу, и женщина тоже. Посадили на извозчиков и поехали.

— Ишь, пострелы, ушли... неслухи, — слышал я, как говорил человек с саблей женщине.

Привезли нас домой. Отец и мать, много в доме народа, доктор Плосковицкий, Приянишников, много незнакомых. Тут и тетки мои, Занегины, Остаповы, все нам рады.

— Куда делись, где были...

Человек с саблей пил из стакана. Женщина, которая нас нашла, что-то много говорила. Когда человек с саблей уходил, то я просил отца оставить его и просил, чтобы он мне дал саблю, ну хотя бы вынуть. Посмотреть. Эх, хотелось мне такую саблю иметь. Но он мне ее не дал и смеялся. Я слышал, что кругом много говорят в волнении, и все про нас.

— Ну что, видел, Костя, мыс Доброй Надежды? — спросил меня отец.

— Видел. Только это за рекой, там. Я туда не дошел еще, — сказал я.

Помню, что все смеялись.

Как-то зимой дед захватил меня с собой. Проехали мы мимо Кремля, через мост реки и подъехали к большим воротам. Там стояли высокие здания. Мы слезли из саней, прошли во двор. Там были каменные амбары с большими железными дверями. Дед взял меня за руку, и мы спустились по каменным ступеням в подвал. Вошли в железную дверь, и я увидел каменный зал со сводами. Висели лампы, и в стороне стояли в шубах татары в ермолках: в руках у них были саквояжи в узорах из ковровой материи. Еще какие-то люди, знакомые деда моего: Кокарев¹, Чижов, Мамонтов. Они были в шапках и теплых хороших шубах с меховыми воротниками. Дед здоровался с ними. Они посмотрели и на меня и сказали: внук.

Посредине комнаты подвала стоял большой сундук, желтый, железный, окованный, в пуговицах. Сундук блестящий и узорный. Один из них вставил ключ в замок и открыл крышку. Когда поднимали крышку, сундук издавал звуки, как музыка. Из него Кокарев вынимал толстые пачки бумажных денег, перевязанные бечевкой, и бросал эти пачки в мешки подходящих татар. Наложив, подходил другой татарин, и также клали ему. А Мамонтов писал на стене мелом, говоря: «Миллион четыреста тыщ. Два миллиона сто сорок тыщ. Шестьсот тыщ. Миллион триста тыщ». Татары уходили с мешками наружу, а потом все запирали — и сундук, и двери, и мы вышли.

Дед сел в сани с Мамонтовым и посадил меня на колени. Мамонтов сказал дорогой деду, указав на меня:

— Парнишка Алексея. Любишь ты его, Михал Емельянович...

Дед смеялся и сказал:

— Да как их не любить... А кто что потом будет — невесть. Жизнь идет, все меняет. Он ничего парнишка. Музыку любит... слушает, не скучает. Ты спроси его, где мыс Доброй Надежды. Он из дому раз ушел искать его, мыс-то. Что было с матерью, отцом. Вся полиция искала в Москве. Нашли... Мальчишка любознательный.

Это говорили про меня.

Приехали к большому белому дому. Вошли по лестнице в большой зал. Всё столы. За столом сидят люди, и много в белых рубашках подают кушанья. И мы сели за стол. Подали блины и в бурачках икру. Мне положили блин и наклали икру из бурачка ложкой. А я смотрю: один в белой рубашке несет круглый большой вал. Вставил его в такую странную штуку, вроде комода, в стеклах, и вертел сбоку ручку. Эта штука заиграла. А за стеклами что-то вертелось. Очень интересно. И я пошел смотреть.

Потом дед, милый добрый дед, взял и умер. Мне сказала утром Таня. Я удивился и думал: зачем это. И увидел: в зале большой гроб-колода, а там дед, бледный, глаза закрыты. Кругом свечи, чад, дым. И все поют. Много, много в золотых кафтанах. Как нехорошо, что это такое? Так нехорошо... Так жалко деда... Я всю ночь не спал. А потом его вынесли на двор, и все пели. Народу, народу... ужас сколько. И плакали все, и я... Деда повезли по улице. Я ехал с отцом и матерью за дедом. Увезли... Приехали в церковь, опять пели и потом опустили деда в яму, закопали. Это невозможно... И я не мог понять, что же это такое. Нет деда. Вот горько. Все я плакал, и отец плакал, и брат Сергей, и мать, и тетки, и няня Таня. Я спрашивал у приказчика Ечкина, увидав его в саду, зачем дед умер.

А он говорит: «Бог взял».

¹ Правильно: Кокорев.

Думаю: «Вот так штука... Сестру Соню тоже взял. Зачем ему надо...»

И я очень задумался над этим. И когда пошел из сада, то с крыльца увидел на небе огромное светлое сияние — крест. Я закричал. Ко мне вышла мать. Я говорю:

— Смотри...

Крест таял.

— Видишь, крест...

Мать увела меня домой.

Это единственное, что помню в жизни своей видение. Такого больше никогда не было.

II

Мальчиком шести лет я не знал и не понимал, что мой отец был студент и кончал Московский университет. Это я потом узнал, вероятно, мне рассказали. Но я помню, как к отцу моему приходили молодые люди и даже не совсем молодые, а старше отца, — все это были товарищи его, студенты. Они завтракали летом в беседке сада нашего и проводили там время весело. Там собирались и другие друзья отца, среди них был и доктор Плосковицкий, судебный следователь Поляков, Латышев и Прянишников. Там, я слышал, пели, и некоторые отрывки этих песен остались в моей памяти.

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницы студентов
Шатаются.

Студенты были особенные люди. Одеты как-то особенно, с длинными волосами, некоторые в темных блузах, а кто в куртках, толстые палки в руках, с шеями, перекрученными темными галстуками. Они были не похожи на других наших знакомых и моих родственников. И отец мой иначе одевался.

На стене беседки было написано мелом:

Двуголовье — эмблема, основа
Всех убийц, идиотов, воров.

Или пели они. Все какие-то особенные песни, совсем другие, чем песни ямщиков.

[Плачет государство,
Плачет весь народ,
Едет к нам на царство
Константину в род.

Но Царю вселенной,
Богу вышних сил,
Царь благословенный
Грамотку учил.

Грамотку читая,
Сжалился Творец,
Дал нам Николая
.....

Или:

Когда-то в вечность переселился
Наш незабвенный Николай.
К Петру Апостолу явился,
Чтоб отпер двери ему в рай.

— Ты кто? — спросил его ключарь.
— Как кто? Не видишь, русский царь.
— Ах, русский царь?
Так подожди немножко.
Ты видишь, в рай тесна дорожка.
— А это что за сброд —
Цари или простой народ?
— А это подданные Ваши,
Которые по миру пошли
И нищими к нам в рай вошли.

И пишет с того света царь:
«Милый Саша, плоха на небе участь наша.
А если подданных ты любишь,
Богатством всех ты их погубишь.
И если хочешь в рай ввести —
То по миру их всех пусти».]

Трудно преодолевалось во мне понимание этих особенных настроений и мыслей людей этих, студентов. Они мне казались особенными, какими-то другими. Их вид, долгие споры, походка и самая речь была иная, и впечатляла меня странным беспокойством. Я видел, как управляющий моего отца, который каждое утро приходил к отцу в кабинет, что-то долго докладывал, считал на счетах, приносил и уносил какие-то бумаги, — этот Ечкин сердито смотрел на знакомых отца, студентов. Студенты, сверстники отца, приносили к отцу книги, вместе читали. Отец тоже имел много книг и много читал. Студенты спорили по вечерам, когда я уже уходил спать. Я слышал, что они часто говорили про крепостное право, слышал слова «конституция», «свобода», «тирания»...

Однажды к отцу пришел человек высокого роста, брюнет, с причесанным посреди пробором. Это был профессор университета, которому отец показывал небольшой портрет тоже какого-то брюнета. Профессор смотрел его. Портрет этот находился у деда моего, Михаила Емельяновича, в его спальне и висел на стене перед постелью. Я спросил Ечкина, что это за портрет и кто этот дядя. Ечкин мне ответил, что это граф разжалованный.

— Он в родстве вашем будет. А что вот студенты — Бог с ними... Только деньги с отца твоего тянут. Страмота, — сказал Ечкин.

Я никогда не видал с ними ни деда, ни Льва Каменева, ни моих теток, ни Волковых, ни Остаповых. И бабушка моя со стороны матери, редко бывавшая у нас, и Алексеевы никогда не говорили и не были при этих студентах. Я видел, как отец вынимал из бумажника деньги и давал их людям с длинными волосами. У них были какие-то острые глаза, они смотрели сурово. Одеты они были плохо, грязно, сапоги высокие, нечищенные; волосы не стрижены.

— Это все студенты, — говорила мне, вздыхая, няня Таня.

У отца была большая библиотека, и он часто приносил книги. Я любил их смотреть, где были картинки. О прочитанной книге он много говорил со своими знакомыми, и много спорили.

Однажды отец с волнением рассказывал матери про Латышева, который перестал бывать у нас. Он мне нравился. Он такой был тихий, мягкий человек. Но я слышал из разговора, что его арестовали и сослали в Сибирь. Отец ездил в арестный дом, и однажды отец взял меня с собой. И мы приехали к какому-то огромному зданию. Большие коридоры. И стояли солдаты, одетые в черное, и держали сабли сверху у плеча. Это было что-то страшное. Потом нас провели через узкий коридор, и я увидел длинную решетку, железные толстые прутья. И там, за решеткой, был Латышев. Отец передал ему сверток с едой — там был хлеб и ветчина — и говорил с ним через решетку. Потом мы пошли назад и вышли из этого страшного дома. Особенно мне было неприятно, что через решетку много людей кричало и разговаривало с людьми, которые были за ней. Это сильно повлияло на меня, и я спрашивал мать, няню Таню, бабушку, но никто мне ничего не отвечал. Отец мне ответил раз, что он не виноват и это все зря.

— Ты не понимаешь, — сказал он мне.

Но я видел, что отец мой был расстроен, и помню, что он сказал матери, что Ечкину нельзя верить.

— Меня все обманывают. Я не хочу судиться, мне это противно. У них нет чести.

Мать тоже была расстроена. Ездил к своей матери, Екатерине Ивановне, и брала меня и брата с собой. У бабушки Екатерины Ивановны в доме было так хорошо. Комнаты в коврах, цветы у окон в корзинках, пузатые комоды из красного дерева, горки с фарфором, вазы золотые под стеклом с цветами. Так все красиво. Картины... Чашки внутри золотые. Вкусное варенье из китайских яблочков. Такой сад за зеленой загородкой. Там росли эти китайские яблочки. Дом снаружи зеленый со ставнями. Бабушка высокая, в кружевной накидке, в черном шелковом платье. Помню, как мои тети, Сушкины и Остаповы, красивые, в пышных кринолинах, и моя мать играли на больших золотых арфах. Было много гостей. Все другие какие-то, не похожие на этих студентов и на доктора Плосковицкого. Все нарядные гости. И за столом кушанья подавали слуги в перчатках, и шляпы у женщин были большие с нарядными лентами. И они отъезжали от подъезда в каретах.

На дворе в нашем доме, за колодцем у сада, жила собака в собачнике — такой маленький домик, — а в нем круглая лазейка. Там-то и жила большая лохматая собака. И привязана она была на цепи. Вот это-то мне и не нравилось. А собака такая хорошая, звали ее Дружок. За каждым обедом я оставлял ей кости и выпрашивал куски чего-нибудь и потом уносил и кормил Дружка. И спускал его с цепи. Пускал его в сад и в беседку. Дружок любил меня и при встрече клал лапы мне на плечи, отчего я чуть не падал. Языком лизал меня прямо в лицо. Дружок также любил и бра-

та моего Сережу. На крыльце всегда сидел с нами Дружок и голову клал мне на колени. Но только как кто идет в калитку — Дружок срывался опретью и в злобе бросался на входящего и лаял, так что пугал невозможно всех.

Зимой Дружку было холодно, и я тихонько, никому не говоря, проводил его через кухню к себе в комнату наверх. И он спал около моей постели. Но мне это запретили, как я ни просил отца, мать — ничего не выходило. Говорили: нельзя. Я говорил это Дружку. Но я все-таки ухитрялся брать Дружка к себе в комнату и прятал его под постель.

Дружок был сильно лохматый, большая собака. И мы с братом Сережей как-то летом решили его обстричь. И обстригли так, что сделали из него льва: до половины обстригли. Дружок вышел лев настоящий, и его стали еще больше бояться. Приходящий утром булочник, который носил хлеб, жаловался, что ходить нельзя, зачем спускают Дружка, он чисто лев бросается. Я помню, отец смеялся — он тоже любил собак и всяких животных.

Как-то он купил медвежонка и отправил его в Борисово. Это было недалеко от Москвы, поблизости Царицына, за Москвой-рекой. Это было небольшое имение моей бабушки, где был дом-дача и где летом мы жили. Медвежонок Верка — почему так называлась? — скоро выросла с меня и была замечательно добрая. Играла со мной и братом в деревянный шар на лужку перед дачей. Кувыркались и мы с ней вместе. А ночью спала с нами и как-то особенно бурлыкала, каким-то особым звуком, который, казалось, доносился издалека. Она была очень ласковая, и кажется мне, что она думала про нас, что и мы медвежата. Целый день и вечером мы играли с нею около дачи. Играли в прятки, катались кубарем с горки у леса. К осени Верка выросла выше меня, и как-то раз мы с братом ушли с Веркой к Царицыну. А там она залезла на огромную сосну. Какие-то дачники, увидав медведя, заволновались. А Верка, сколько я ее ни звал, не шла с сосны. Пришли какие-то люди, начальники, с ружьем и хотели ее застрелить. Я разревелся, умолял не убивать Верку и в отчаянии звал Верку, и она слезла с сосны. Я и брат увели ее домой, к себе, а начальники тоже пришли к нам и запретили держать медведя.

Помню, это было мое горе. Обнял я Верку и горячо плакал. А Верка бурлыкала и лизала мне лицо. Странно, что Верка никогда не сердилась. Но когда ее заколачивали в ящик, чтоб увезти на телеге в Москву, Верка редела страшным зверем, и глаза у ней были маленькие, звериные и злые. Верку привезли в Москву в дом и поместили в большую оранжерею сада. Но тут Дружок совсем сошел с ума: лаял и выл не переставая. «Как бы этого Дружка помирить с Веркой», — думал я. Но когда Дружка мы с братом взяли и повели в сад в оранжерею, где была Верка, то Верка, увидав Дружка, отчаянно напугалась, бросилась кверху на длинную кирпичную печку оранжереи, повалила горшки с цветами и прыгнула на окно. Она была вне себя. Дружок, увидав Верку, отчаянно завыл и завизжал, бросившись нам в ноги. «Вот так история, — подумал я. — Отчего же это они испугались друг друга?» И как мы ни старались с братом успокоить Верку и Дружка, ничего не выходило. Дружок бросался к двери, чтобы уйти от Верки. Видно было, что они друг другу не нравились. Почему испугалась Верка, она была чуть не вдвое больше Дружка, но боялась собаки. И это продолжалось всегда. Дружок был обеспокоен, что в саду в оранжерее живет медведь.

В один прекрасный день, утром, к отцу пришел полицейский надзиратель и сказал ему, что получил приказание арестовать медведя и отправить его на псарню по

приказу губернатора. Это был для меня отчаянный день. Я пришел в оранжерею, обнимал, гладил Верку, целовал морду и горько плакал. Верка пристально смотрела звериными глазками. Что-то думала и была обеспокоена. А вечером пришли солдаты, связали ей ноги, морду и увезли.

Я ревел всю ночь и не пошел в сад. Мне было страшно смотреть на оранжерею, в которой не было уже Верки.

Когда я уехал с матерью к бабушке, то рассказал ей свое горе. Она успокаивала меня, сказала: «Костя, люди злые, люди очень злые».

Я как-то в первый раз услышал, и мне показалось, правда, что, должно быть, люди злы. Они водят других людей по улице, с саблями наголо. Те идут такие несчастные. И это я тоже сказал бабушке. Но она мне сказала, что и эти несчастные люди, которых водят конвойные, тоже очень злые люди и нехорошие. Я задумался над этим и думал, что же это значит и зачем это. Зачем же они злые? Это, что первое я слышал о злых людях, как-то омрачило и озаботило меня. Неужели там, где мыс Доброй Надежды, где вся эта музыка, неужели там есть такие люди? Не может быть. Не может быть, чтобы там, за этим садом, где опускается солнце и делается такой прекрасный вечер, где клубятся розовые облака на прекрасном небе, там, где мыс Доброй Надежды, — нет, там не может быть, чтоб были злые люди. Ведь это же глупо и гадко... так не может быть, там не может человек быть зол. Там нет этих людей, которые говорят «черт возьми», «ступай к черту», те, которые это говорят, — всегда около моего отца. Нет, их нет там, да их туда и не пустят. Там нельзя говорить «черт тебя возьми». Там музыка. А музыка, это там, где небо, где розовые облака.

У бабушки мне очень нравилось. Там было совсем другое, другое настроение. Сама бабушка и гости были приветливы, когда говорили, смотрели в глаза друг другу, говорили тихо, не было этих резких споров — у бабушки как-то соглашались. Так просто. А у нас в доме окружающие отца всегда как-то ни с чем не соглашались. Кричали: «не то», «ерунда», «яйца всмятку». Часто я слышал слово «черт». «Ну его к черту», «черт возьми совсем». У бабушки никто не чертыхался. Потом, у бабушки эта музыка, когда играли на арфах, тихо слушали; гости были нарядные, большие кринолины, волосы у женщин пышные, пахло духами. Ходили они, не стучали так высокими сапогами; уезжая, со мной все прощались. За обедом у бабушки не было квасу и не били рюмки с вином, не чавкали, не сидели, облокотясь на стол локтями. Потом было чисто как-то, прибрано. Не валялось книг, газет. Музыка арф так красива, и мне казалось, что эта музыка похожа на синее небо, на облака вечерние, которые ходили над садом, на ветви деревьев, которые спускались к забору, где к вечеру розовела заря, и там, за этим садом, там, далеко, где-то есть мыс Доброй Надежды. Я чувствовал это у бабушки, что есть мыс Доброй Надежды. А у нас не было этого чувства. Что-то было грубое, и мне казалось, что все кого-то бранили, что-то не так, кто-то виноват... Не было этого отрадного, далекого, прекрасного, которое там, которое придет, желанное, доброе. И когда я возвращался домой, то мне было грустно. Придут студенты, будут кричать: «Какой Бог?», «Где он, Бог?» И какой-то студент скажет: «Я не верю в Бога»... И глаза у него мутные, злые, тупые. И он груб. И я будто чужой. Я ничего. Никто не подойдет, не скажет мне: «Здравствуй». А у бабушки мне скажут, спросят: «Что ты учишь?» Покажут книжку с картинками. *Когда рисовала мать*¹, то тоже я

¹ Здесь и далее курсив автора.

чувствовал себя около матери, как и у бабушки. И в картинках, которые рисует мать, мне все казалось, что она рисует все это там, где мыс Доброй Надежды. Когда я остаюсь ночевать у бабушки, то бабушка велит мне в постели на коленях читать молитвы и молиться Богу, и после я уже ложусь спать. А дома мне ничего не говорят. Скажут: «Ложись спать», и только.

Тетки мои, которые бывают у нас в доме моего деда в Рогожской, тоже другие — толстые, с черными глазами. А дочери их, молодые, худые, бледные, робкие, сказать боятся, конфузятся. «Какие разные люди, — думал я. — Отчего это?»

Пришла тетка Алексеева и сидела в зале на кресле и горько плакала, вытирая слезы кружевным платочком. Говорила в слезах, что Аннушка залила настурции — поливает и поливает. Я подумал: «Какая чудная тетка. О чем плачет».

Другая моя тетка, помню, сказала про мою мать: «Белоручка. Она не знает до сих пор, куда в самовар воду наливают и куда угли кладут». А я и спросил мать: «Куда угли кладут в самовар?» Мать посмотрела на меня с удивлением и сказала: «Пойдем, Костя». Повела меня в коридор и показала в окно в сад.

Зима. Сад был весь в инее мороза. Я увидел, и действительно, это было так хорошо — все белое, пушистое. Что-то родное, свежее и чистое. Зима.

А потом мать рисовала эту зиму. Но не выходило. Там были узоры ветвей, покрытые снегом. Это очень трудно.

— Да, — согласилась мать со мной, — эти узоры трудно сделать.

Тогда я тоже начал рисовать, и ничего не выходило.

III

После смерти деда в доме на Рогожской улице все постепенно изменилось. Мало осталось ямщиков. Уж не было слышно вечером их песен, и конюшни опустели. Стояли покрытые пылью огромные дормезы. Унылы и пусты были дворы ямщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме. Отец мой был озабочен. Много приходило людей в дом. Помню, как отец платил им много денег, и какие-то белые бумажки длинные, векселя, он складывал вечером вместе, перевязывал бечевкой и клал их в сундук, запирая. Как-то, уезжая, в парадном ходе крыльца дома, мать провожала его. Задумчиво смотрел отец на окно, покрытое инеем мороза. Отец в руках держал ключ и, задумавшись, прикладывал ключ к стеклу. Там образовалась форма ключа. Он переставлял его в новое место и сказал матери:

— Я разорен... Дом этот продадут.

* * *

Уже прошла Николаевская железная дорога и окончена была до Троице-Сергия, а также и до Нижнего Новгорода. Так что ямщина была кончена. По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях: ямщина была не нужна... Значит, отец сказал — «я разорен», потому что дело кончилось. Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чижов, друзья моего деда. Вскоре я с матерью переехал к бабушке, Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк дома фабриканта Збука. Кажется — хорошо не помню, — отец мой был мировой судья. Большой двор был у дома Збука, и большой сад с заборами, а дальше шли полянки. Еще не отстроена была хорошо

Москва. Вдали были видны фабричные трубы, и помню я, как на праздниках на эти полянки выходили рабочие, сначала молодые, потом постарше, друг перед другом кричали «выходи», «отдай наша» и дрались друг с другом. Это называлось «стенка». До самого вечера слышался крик: то были игры драк. Я много раз видел эти драки. Мебель в особняке Збука была перевезена из нашего Рогожского дома, который уже был продан. Но и эта жизнь в Москве была недолгой. Летом с отцом, матерью я довольно часто ездил под Москву в Петровский парк, на дачу к тетке Алексеевой. Это была толстая женщина с красным лицом и темными глазами. Дача была нарядная, выкрашенная желтой краской, загородка тоже. Дача была в резных финтифлюшках; перед террасой была куртина цветов, а посередке железный крашенный журавль: подняв нос кверху, пускал фонтан. И какие-то на столбах два ярких-ярких серебряных шара, в которых отражался сад. Дорожки, покрытые желтым песком, с бордюром, — все это было похоже на бисквитный пирог. Хорошо было на даче у тетки, нарядно, но мне почему-то не нравилось. Когда надо было сворачивать с Петровского шоссе в аллею парка, то мне шоссе казалось далекой синей далью, и мне хотелось ехать не на дачу к тетке, а туда, в эту дальнюю, синюю даль. И я думал: там, должно быть, мыс Доброй Надежды... А у тетки на даче все раскрашено, даже пожарная бочка тоже желтая. Мне хотелось совсем другое видеть: там где-то есть леса, таинственные долины... Там — мыс Доброй Надежды. И там, в лесу, стоит избушка — я бы ушел туда один жить, в избушке этой. Туда бы взял с собой собаку Дружка, жил бы с ним, там маленькое окошко, дремучий лес — я поймал бы оленя, его бы доил, еще корову дикую... Только вот одно: наверно, она бодается. Я бы ей отпилил рога, жили бы вместе. У отца есть удочка — я взял бы с собой, на крючок посадил бы мяса и бросил бы ночью из окна. Там ведь волки, пришел бы волк — цап мяса — попался. Я бы его к окну-то и притащил и сказал бы: «Что, попался, теперь не уйдешь... Нечего зубы скалить, сдавайся, живи со мной». Он ведь не дурак: понял бы — жили бы вместе. Вот что мне хотелось... А что у тетки. Ну, мороженое, ну, а эта дача-то — это ерунда, куда ни пойдешь — загородка, дорожки желтые, чушь. А мне бы в дремучий лес, в избушку... Вот что хотелось мне.

Возвращаясь от тетки, я говорил отцу:

— Как бы мне хотелось уйти в дремучий лес. Только ружье у меня, конечно, не настоящее, горохом стреляет, ерунда. Купи мне, пожалуйста, настоящее ружье, я буду охотничать.

Отец слушал меня, и вот однажды утром я вижу, на столике около меня лежит настоящее ружье. Небольшая одностволка. Курок новый. Я схватил — как оно пахнет, какие замки, стволы какие-то в полосках. Я бросился к отцу на шею благодарить, а он говорит:

— Костя, настоящее ружье. И вот коробочка пистонов. Только пороху не дам тебе — еще рано. Смотри-ка, ствол-то — дамасский.

Целый день я ходил по двору с ружьем. На дворе растет бузина у забора, забор старый, в щелях. А по ту сторону живет приятель — мальчик Левушка. Я ему показывал ружье, он ничего не понял. У него тачка, он возит песок, большое желтое колесо, словом — ерунда. Нет, ружье — это совсем другое.

Я уже видел, как я застрелил, бегая с Дружком, и уток, и гусей, и павлина, и волка... Эх, как бы уехать в дремучий лес. Как там хорошо, там — мыс Доброй Надежды... А здесь — этот пыльный двор, погребка, желтые конюшни, купола церкви, что делать.

Я сплю с ружьем и двадцать раз в день его чищу. Отец поставил на стол свечку и зажег, посадил пистон, курок поднял, стрельнул в свечку на пять шагов — свечка потухла. Я расстрелял три коробки пистонов, тушил свечку, без промаха — все не то. Надо же порох и пулю.

— Погоди, — сказал отец, — скоро мы переедем в деревню Мытищи, там будем жить. Вот там я тебе дам пороху и дробь, ты будешь стрелять дичь.

Долго ждал я этого счастья. Прошло лето, зима, и вот в один прекрасный день, когда только распустились березки, отец поехал со мной по железной дороге. Какая красота. Что видно в окно — леса, поля, все в весне. И приехали в Большие Мытищи. С краю был дом — изба большая. Нам ее показывала какая-то женщина, и с ней мальчик Игнатка. До чего хорошо в избе: две деревянных комнаты, потом печка, двор, на дворе стоят две коровы и лошадь, маленькая собачка, замечательная — все время лает. А как вышел на крыльцо, видим большой синий лес. Блестят на солнце луга. Лес — Лосиный Остров, огромный. То есть так хорошо, что я никогда не видел. Вся Москва никуда не годится, такая красота...

Через неделю мы переехали туда. Отец где-то получил службу на фабрике недалеко. Но что это такое за Мытищи. Там есть речка — Яуза, и идет она из большого леса до Лосиного Острова.

Я сейчас же подружился с мальчишками. Дружок ходил со мной. Сначала я побаивался ходить далеко, а за речкой был виден лес и синяя даль. Вот туда-то я и пойду... Там-то и есть мыс Доброй Надежды. И пошел. Со мной Игнашка, Сенька и Сережка — замечательные люди, сразу приятели: у меня ружье, все понимают. Пошли на охоту. Отец мне показал, как заряжается ружье: очень мало пороху клад, но все-таки я вешал какую-то газету, делал круг и стрелял, и дробь попадала в круг. То есть это не жизнь, а рай. Берег речки, трава, кусты ольхи. То она очень маленькая, мелкая, то переходит в широкие бочаги темные, невероятной глубины. На поверхности плещется рыба. Дальше и дальше идем мы с приятелями.

— Смотри, — говорит Игнашка, — вон, видишь, за кустами утки плавают. Это дикие.

Тихонько крадемся мы в кустах. Болото. И близко я подполз к уткам. Прицелился и выстрелил в утку, которая ближе. Взвились с криком утки, целая стая, а утка, в которую я стрелял, лежала на поверхности и била крыльями. Живо разделся Игнашка и бросился в воду, саженками поплыл к утке. Дружок лаял на берегу. Игнашка схватил зубами за крыло и возвращался с уткой. Это было торжество. Вылез на берег — большая утка. Голова синяя с розовым отливом. Это было торжество. Я ходил от восторга на цыпочках. И пошли дальше. Место становилось более болотным, трудно было идти, качалась земля. Но река, и в глубине видно все дно, и я увидел у кустов, в глубине шли большие рыбы и дышали ртом. Боже, какие рыбы. Вот их надо поймать. Но очень глубоко. Сбоку был огромный сосновый лес, в который мы пришли. Это — мыс Доброй Надежды. Мох зеленый. Игнашка и Серега собрали хворост и развели костер. Мокрые, мы грелись около костра. Утка лежала около. Что скажет отец! А за заворотом реки, через сосны, синяя даль, и там большой был плес реки. Нет, не это мыс Доброй Надежды, а он там, где синяя даль. Потом я пойду непременно туда... там есть избушка, там буду жить. Ну что Москва, что дом наш рогожский с колоннами, что он стоит перед этими бочагами воды, перед этими цветами — лиловыми султанами, которые стоят у ольхи... И эти ольхи зеленые отражаются в воде,

как в зеркале, и там синее небо, а наверху, вдали синеют далекие леса — мыс Доброй Надежды... Когда я попаду туда?

Надо возвращаться домой. Отец «ступай на охоту» сказал мне, а мать чуть не плакала, говорила: «Разве можно это, он еще мальчик». Это я-то. Я утку застрелил. Да я сейчас эту реку переплыву, когда хотите. Чего она боится? Говорит: «Зайдет в чашу-ру». Я вылезу, я охотник, я утку застрелил.

И я шел домой торжественно, гордо. А через плечо я нес перевешенную утку.

Придя домой, было торжество¹. Отец сказал: «Молодец», — и поцеловал меня, а мать сказала: «Доведет этот вздор до того, что он заблудится и пропадет...»

— Ты разве не видишь, — говорит мать отцу, — что он ищет мыс Доброй Надежды? Эх, — сказала она, — где мыс этот? Ты разве не видишь, что он, *он всегда* будет искать этот мыс. Это же нельзя. Он не понимает жизнь как есть, он все хочет идти туда, туда. Разве это можно. Смотри, он ничему не учится.

Каждый день я ходил с приятелями на охоту. Главным-то образом все, чтобы подалее, увидеть новые места, все новые и новые. И вот как-то раз далеко мы ушли краем большого леса. Товарищи мои взяли с собой плетеную корзинку, залезали в реку, подставляли ее к прибрежным кустам в воде, хлопали ногой, как бы выгоняя рыбу из кустов, поднимали корзинку, и туда попадались маленькие рыбешки. Но раз всплеснулась большая рыба, и в корзинке лежали два темных больших налима. Это было удивленье. Мы взяли котелок, который был для чаю, сделали костер и сварили налимов. Была уха. «Вот как жить-то надо», — подумал я. А Игнашка говорит мне:

— Посмотри-ка, вон, видишь, с краю леса стоит маленькая избушка...

Действительно, когда мы подошли, была маленькая, пустая избушка, с дверью, и маленькое сбоку окно... со стеклом. Мы ходили у избушки и потом толкнули дверь. Дверь отворилась. Там никого не было. Земляной пол. Избушка низенькая, так что человек взрослый достанет до потолка головой. А нам — в самый раз. Ну что это за избушка, красота. Наверху солома, маленькая печка кирпичная. Сейчас же зажгли хворост. Замечательно. Тепло. Вот — мыс Доброй Надежды. Сюда я перееду жить...

И до того мы топили печку, что в избушке было невыносимо жарко. Отворили дверь, время было осеннее. Снаружи все посинело. Были сумерки. Лес, стоящий около, был огромный. Тишина...

И вдруг сделалось страшно. Как-то одиноко, сиротливо. В избушке темно, и круглый месяц вышел сбоку над лесом. Думаю: «Моя мать уехала в Москву, не будет беспокоиться. Чуть свет уйдем отсюда, очень уж хорошо здесь, в избушке. Ну прямо замечательно». Как трещат кузнечики, кругом тишина, высокие травы и темный лес. Огромные сосны около дремлют в синем небе, на котором уж показались звезды. Все замирает. Станный звук вдали у реки, как будто кто-то дует в бутылку: «Ву-у, ву-у...»

Игнашка говорит:

— Это лесовик. Ничего, мы ему покажем.

А что-то жутко... Лес темнеет. Стволы сосен осветились таинственно луной. Печка погасла. Выйти за хворостом боимся. Дверь заперли. Ручку двери завязали поясами от рубашек к костылю, чтоб нельзя было дверь отворить, в случае лесовик придет. Баба-Яга еще есть, это такая гадость.

¹ Так в рукописи.

Мы примолкли и смотрим в маленькое окошко. И вдруг мы видим: какие-то огромные лошади с белой грудью, огромными головами, идут... и резко остановились и смотрят. Эти огромные чудовища, с рогами, как ветви деревьев, освещены луной. Они были так громадны, что мы все замерли в страхе. И молчим... Они ровно ходили на тоненьких ногах. Зад их опущен был книзу. Их — восемь.

— Это лоси... — сказал шепотом Игнашка.

Мы не отрываясь смотрели на них. И в голову не пришло, чтоб стрельнуть в этих чудовищных зверей. Глаза у них были большие, и один лось близко подошел к окну. Белая грудь его светилась, как снег, под луной. Вдруг они сразу бросились и пропали. Только мы слышали треск их ног, как будто бы разгрызали орехи. Вот так штука...

Всю ночь не спали мы. И, чуть забрезжил свет, утром, мы пошли домой.

IV

Жизнь в деревне мне, мальчику, была наслаждением. Мне казалось, что нет и не может быть лучше жизни моей. Целый день я в лесу, в каких-то песчаных оврагах, где высокие травы, огромные ели упали к речке. Там я с товарищами выкопал себе в обрыве дом, за ветвями упавших елей. Какой дом. Желтые стены песку, потолок мы укрепили палками, постелили ветви елей, сделали, как звери, логовище, печку, провели трубу, ловили рыбу, достали сковородку, жарили эту рыбу вместе с крыжовником, который воровали в саду. Собака была уже не одна — Дружок, а четыре целых. Собаки замечательные. Сторожили нас, и собакам казалось, как и нам, что это самая лучшая жизнь, какая только может быть, за что можно восхвалять и благодарить Создателя. Какая жизнь. Купанье в реке, каких зверей видели мы, каких и нет. Пушкин сказал верно: «Там на невиданных дорожках следы невиданных зверей...» Это был барсук, но мы-то не знали, что барсук. Какой-то особенный большой поросенок. Собаки гнали его, и мы бежали, хотелось поймать, приручить его, чтоб вместе жил. Но не поймали — убежал. Прямо ушел в землю, пропал.

Чудесна жизнь...

Прошло лето. Наступили дожди, осень. Опали деревья. Но хорошо было в нашем доме, которого никто не знал. Топили печку — тепло. Но отец пришел как-то домой с учителем, человеком высокого роста, худым, с маленькой бородкой. Такой сухой и строгий. Он показал на меня: завтра идти в школу. Было страшно. Школа — ведь это особенное что-то... А что страшно — неизвестно, но страшно.

В большом каменном доме, на котором орел, написано «Волостное правление» Мытищи, на шоссе, у самой заставы¹. В левой половине дома помещалась, в большой комнате, школа.

Парты. Черные. Ученики все в сборе. Молебен у икон. Пахнет ладаном. Священник читает молитву и кропит водой. Подходим к кресту. Садимся на² парты.

Учитель нам раздает перья, ручки, карандаши и тетради, и книгу — замечательную книгу: «Родное слово» с картинками. Мы, уже грамотные, помещаемся на одной стороне парт, а младшие — на другой.

Первый урок начинается с чтения. Приходит другой учитель, румяный, низенького роста, веселый и добрый, и велит петь за ним. Поем:

¹ Так в рукописи.

² Так в рукописи.

Ах, ты воля, моя воля,
Золотая ты моя,
Воля сокол поднебесный,
Воля светлая заря...
Не с росой ли ты спустилась,
Не во сне ли вижу я,
Иль горячая молитва
Долетела до царя.

Замечательная песня. В первый раз я слышал. Тут никого не ругали.

Второй урок был — арифметика. Надо было выходить к доске и писать цифры, и сколько будет одно с другим. Ошибались.

И так началось учение каждый день. В школе ничего не было страшного, а просто замечательно. И так мне нравилась школа.

Учитель, Сергей Иванович, приходил к моему отцу — пить чай, обедать. Был человек серьезный. И с отцом все говорили они хитрые вещи, и казалось мне, что отец ему говорил, что все не так — не так он говорит.

Помню, как-то раз захворал отец, лежал в постели. У него был жар и лихорадка. И он мне дал рубль и сказал:

— Сходи, Костя, на станцию и достань там лекарство, вот я написал записочку, покажи ее на станции.

Я пошел на станцию и показал записочку жандарму. Он мне сказал, выйдя на крыльцо:

— Вон, видишь, мальчик, тот вон маленький домик, тот, вон там, с краю, у моста. Вот в этом домике живет человек, у которого есть лекарство.

Я пришел в этот дом. Вошел. Грязно в доме. Какие-то стоят меры с овсом, гири, весы, кульки, мешки, сбруя. Потом комната: стол, всюду все навалено, заставлено. Шкафик, стулья, и за столом, у свечки, сальной, сидел старик в очках, и лежала большая книга. Я подошел к нему и дал записку.

— Вот, — говорю, — за лекарством пришел.

Он прочел записку и сказал: «Подожди». Пошел к шкафчику, открыл его, достал маленькие весы и из банки клал белый порошок на весы, а на другую чашечку весов положил маленькие плоские медяшки. Отвесил и завернул в бумагу и сказал:

— Двадцать копеек.

Я дал рубль. Он пошел к постели, и тут я увидел, что у него на затылке была надета маленькая ермолка. Долго он что-то делал, доставал сдачу, а я смотрел на книгу — нерусская книга. Какие-то большие черные знаки подряд. Чудная книга.

Когда он мне отдал сдачи и лекарство, я спросил его, показав пальцем:

— Что это здесь написано, что это за книга?

Он мне ответил:

— Мальчик, это книга мудрости. А вот где ты держишь палец, тут написано: «Бойся больше всякого злодея дурака».

«Вот так штука», — подумал я. И дорогой думал: «Что же это за дурак такой?» И когда пришел к отцу, отдал ему лекарство, которое он развел в рюмке с водой и сморщился, — видно, что лекарство горькое, — то я ему рассказал, что я достал лекарство у такого странного старика, который читает книгу, нерусскую, особенную, и сказал мне, что в ней написано — «Бойся больше всякого разбойника дурака».

— Кто же, скажи мне, — спросил я отца, — этот дурак и где он живет? В Мытищах есть?

— Костя, — сказал отец. — Он, такой дурак, живет везде... А правду тебе сказал этот старик, самое страшное — дурак.

Очень задумался я над этим. «Кто ж это такой? — все думал я. — Учитель умный, Игнашка умный, Сережка тоже». Так я и не мог узнать — кто этот дурак.

Вспомнив как-то в школе во время перемены, я подошел к учителю и спросил его, рассказав про старика, и кто дурак.

— Много будешь знать — скоро состаришься, — сказал мне учитель. И только. Так я и не узнал, кто дурак.

Помню, я учил урок. А учитель был в другой комнате у нас в гостях, с моим отцом. И они все спорили. И помню — отец говорил:

— Это хорошо — любить народ, желать ему блага. Это похвально — желать сделать ему счастье и благополучие. Но это мало. Этого может желать и дурак...

Я тут насторожился.

— И дурак желает блага народу, — продолжал отец, — благими намерениями вымощен ад. Это ничего не стоит — желать. Надо уметь сделать. Вот это и есть суть жизни. А у нас и горе от того, что все только желают, и от этого могут пропасть, как можно пропасть от дурака.

Еще страшней мне показалось. Кто же этот дурак? Разбойники. Я знаю, они стоят у леса или у дороги, с дубиной и с топором. Пойдешь — он и убьет, как убили извозчика Петра. Я с товарищами — Сережкой и Игнашкой — ходили за село — смотреть. Он лежал под рогожей, зарезанный. Стра-а-ашно. Я всю ночь не спал... И стал бояться ходить вечером за село. В лес, к речке — ничего, он не поймает, я убегу. Да у меня ружье, я его сам ахну. Но дурак страшней. Какой же он?

Я не мог себе представить и опять пристал к отцу; спрашивал:

— Он в красной шапке?

— Нет, Костя, — сказал отец, — они разные. Это те, которые хотят хорошего, но сделать этого хорошего не умеют. И все выходит скверно.

Я был в недоумении.

* * *

Как странно. Я несколько раз ездил с отцом в Москву. Был у бабушки, Екатерины Ивановны, был в большом ресторане, и ничто, ни Москва, ни у бабушки, ни ресторан, мне не нравилось. Не нравилось так, как эта убогая квартира в деревне, как эта темная ночь зимой, где подряд спят темные избы, где глухая, снежная, скучная дорога, где месяц светит круглый и воет собака на улице. Какая сердечная тоска, какая прелесть в этой тоске, какое замирание, какая красота в этой скромной жизни, в черном хлебе, изредка в баранке, в кружке квасу. Какая печаль в избе, когда светит лампада, как мне нравится Игнашка, Сережка, Кирюшка. Какие друзья закадычные. Какая прелесть в них, какая дружба. Как ласкова собака, как мне нравится деревня. Какие добрые тети, чужие, ненарядные. Мне уже неприятна была роскошь моих нарядных теток — Остаповых, тетки Алексеевой, где эти кринолины, этот изысканный стол, где так чинно все сидят. Какая скука. Как мне нравится воля лугов, леса, этих бедных хижин. Нравится топить печь, рубить хворост и косить травы — я уже умел, и меня похвалил дядя Петр, сказав мне: «Молодец, гоже косишь». И я пил, усталый, квас из деревянного ковша.

В Москве я выйду — каменные мостовые, чужие люди. А здесь я выйду — трава или сугробы снега, далеко... И люди родные... свои. Все добрые, никто меня не ругает. Все погладят по голове или посмеются... Как странно. Я никогда не поеду в город. Ни за что не буду студентом. Они все злые. Они всегда всех ругают.

Тут никто не просит денег, да у меня и есть только семитка. И все время она у меня лежит. Да и у отца мало денег. А как было много. Я помню — сколько у деда было денег. Ящики были наполнены золотом. А теперь нет. До чего у Сереги хорошо. Там портной-солдат шубу шьет ему. Дак вот рассказывал... как он в лесу заблудился, как разбойники напали, да как он их всех топил... Вот до чего хорошо слушать. А как он лешего в болото загнал да хвост ему оторвал. Вот он его молил отпустить. А тот держит за хвост и говорит: «Нет». Тот говорит: «Выкуп какой?» — «Вези, — говорит, — меня в Петербург, — говорит, — к царю». А тот сел ему на шею, прямо к царю и привез. Царь и говорит: «Молодец, солдат!» И дал ему рупь серебряный. Он и рупь показывал... Большой рупь такой, старинный. Вот это люди. Не дурак.

Много в деревне интересного. Куда ни придешь, все рассказывают то, что не бывает. Что же рассказывать, что бывает, как в Москве. В Москве рассказывают все, что бывает. А тут — нет. Тут сейчас так, а через час — неизвестно, что будет. Это ведь, конечно, деревня глухая. А как бревенчатые дома хороши! Новая изба... эх, сосной пахнет. Не ушел бы никогда. Вот только сапоги у меня худые, надо починить, подметки как-то... Говорят мне: сапоги каши просят, разворотились. Говорил отцу: двадцать копеек просят починить. Отец велел отдать, я, говорит, заплачу. А вот неделю не отдают. Хожу в валенках. Отец какие просфоры привез, до чего вкусно с чаем. Просфору нельзя собаке давать; мне сказала Маланья, что если дать просфору собаке, то сейчас же помрешь. А я хотел. Вот хорошо, что не дал.

V

В деревне мне казалось, что я только теперь вижу зиму, так как в городе какая же зима? Здесь все покрыто огромными сугробами. Спит Лосиный Остров, побелевший в инее. Тихий, торжественный и жуткий. Тихо в лесу, ни звука, будто заколдовано. Замело дороги, и до самых окон дом наш занесло снегом, насилиу выйдешь с крыльца. Валенки тонут в пышном снегу. Утром в школе топится печка, придут товарищи. Так весело, отрадно. Что-то свое, родное в школе, необходимое и интересное, всегда новое. И открывается другой мир. А стоящий на шкафу глобус показывает какие-то другие земли, моря. Вот бы поехать... И думаю: хорошо, должно быть, ехать на корабле по морю. И какое море, синее, глубокое, сквозь землю проходит.

Я не замечал, что была разница большая в средствах отца, и совсем не знал, что пришла бедность. Я не понимал ее. Мне так нравилась жизнь в деревне, что лучше я и представить не мог. И совсем забыл прежнюю, богатую жизнь: игрушки, нарядных людей, и они мне казались, когда я приезжал в Москву, такими странными, говорят все, что не нужно. А только там — жизнь, в этом маленьком доме... Даже среди снега и жутких ночей, где воет ветер и метет метель, где озябший приходит дедушка Никанор и принесет муку и масло. До чего хорошо зимой топить печи, особенно приятно пахнет испеченный хлеб. Вечером придут Игнашка, Серега, мы смотрим кубари, которые гоняем по льду. А в праздник идем в церкву, взбираемся на колокольню и трезвоним. Это замечательно. У священника пьем чай и едим про-

сфору. Зайдем в праздник в избу к соседям, а там повадные, собираются девушки и парни. Девушки поют:

Ах, грибы, грибочки,
Темные лесочки.
Кто вас позабудет,
Кто про вас не вспомнит.

Или:

Иван да Марья в реке купались.
Где Иван купался — берег колыхался,
Где Марья купалась — трава распласталась...

Или:

Родила меня кручина,
Горе вскармило,
Беды вырастили,
И спозналась я, несчастная,
С тоской-печалью,
Счастья в жизни не видать...
С ней век мне вековать,
Счастья в жизни не видать...

Были и веселые, и грустные.

Но все это было полно, в деревне всегда, неожиданным впечатлением, какой-то простой, настоящей, доброй жизнью. Но однажды отец уехал по делу, а мать была в Москве. И остался я один. С вечера у меня сидел Игнашка, мы сделали чай и говорили о том, кто кем бы хотел быть, и оба мы думали, что ничего нет лучше, как быть нам в деревне такими же крестьянами, как все. Поздно ушел Игнашка, и я лег спать. На ночь я немножко трусил, без отца и матери. Запер дверь на крючок, а еще от ручки к костылю дверной рамы перевязал кушаком. К ночи как-то жутко, а так как мы много слышали про разбойников, то боялись. И я побаивался разбойников. Придут эдакие разбойники, кто их знает, разбойники... И вдруг ночью я проснулся. И слышу, как на дворе лает собачонка Дружок. И потом слышу, что в сенях за дверью что-то упало с шумом. Упала лестница, которая, приставленная, шла на чердак дома. Я вскочил и зажег свечу, и вижу в коридоре, как в дверь выглядывает рука, которая хочет снять кушак с костыля. «Где топор?» Искал я, топора нет. Бросаюсь к печке, у печки нет. Я хотел топором махнуть по руке — топора нет. Окно в кухне, рама вторая была вставлена на гвоздях, но не замазана. Я ухватил руками, выдернул гвозди, выставив раму, открыл окно и босиком, в одной рубашке, выскочил в окно и побежал напротив через дорогу. В крайней избе жил знакомый садовник, и сын его Костя был мой приятель. Я изо всех сил стучал в окно. Вышла мать Кости и спрашивает — что случилось. Когда я вбежал в избу, то, задыхаясь, озябнув, едва говорил:

— Разбойники...

И ноги у меня были как немые. Мать Кости схватила снег и терла мне ноги. Мороз был отчаянный. Проснулся садовник, и я рассказал им. Но садовник не по-

шел никого будить и боялся выйти из избы. Изба садовника была в стороне от деревни, на краю.

Меня посадили на печку греться и дали чаю. Я заснул, и к утру мне принесли одежду. Пришел Игнашка и сказал:

— Воры были. На чердаке белье висело — все стащили, а у тебя самовар, — сказал он мне.

Как-то было страшно. Приходили, значит, разбойники. Я с Игнашкой вернулся в дом, по лестнице залезли на чердак, с топорами. Там лежали мешки с овсом, и один мешок показался нам длинным и неуклюжим. И Игнашка, посмотрев на мешок, сказал мне тихо:

— Смотри-ка на мешок...

И мы, как звери, подкрались, ударили топорами по мешку, думали, что там разбойник. Но оттуда выпятились отруби... Так-то мы разбойника и не решили... Но я боялся уж к вечеру быть в доме и ушел к Игнашке. Мы и сидели с топорами, оба в страхе.

Когда приехали отец и мать, то узнали, что белье, которое висело на чердаке, все было украдено и что работал не один человек. Страшное впечатление руки, просунутой в дверь, осталось впечатлением на всю жизнь. Это было очень страшно...

* * *

К весне я и мать поехали к бабушке моей, Екатерине Ивановне, в Вышний Волочек, где жила бабушка моя неподалеку от дома сына своего Ивана Волкова, у которого был построен близ железной дороги на шоссе великолепный новый дом. У бабушки был другой дом — в тихой улице города, деревянный дом, сад, заборы. А за ними были видны луга и голубая река Тверца. Было так вольно и хорошо. У бабушки было прелестно: комнаты большие, дом теплый, в окна были видны соседние деревянные домики, сады, и шла дорога, по краям которой были тропки, поросшие весенней зеленой травой.

Новая жизнь. Новый рай. Учителем ко мне был приглашен Петр Афанасьевич, широкоплечий, с рыжей шевелюрой и все лицо в веснушках. Человек еще молодой, но серьезный, строгий и часто говоривший: «Ну, а priori¹...»

Чтобы не скучно было заниматься со мной серьезными науками, его угощали водочкой, а дробь, историю и грамматику я уже проходил. Очень все трудно учить. А я больше норовил попасть на реку, познакомился с замечательным человеком — охотником Дубининым, который жил на другой стороне города, к выезду на дорогу, которая шла на большое озеро, называемое Водохранилище. Чудесный город Вышний Волочек, стоит вроде как на болоте. Старые каменные дома улицы, около каналов, наполовину ушли в землю. Мне это так нравилось, и я начал рисовать эти дома. Бабушка мне купила акварельные краски, и я все рисовал в свободное время. Нарисовал Дубинину картину — охоту и ездил с Дубининым на лодке по большому озеру Водохранилищу. Какая красота! Далеко, на той стороне, на самом горизонте, лежат пески, а потом леса. Я пристроил удочки, купил лески, и попадали мне рыбы, которые я приносил домой. Тут я выучился ловить налимов, язей, щук. Это восхитительно. Так как мое желание было, конечно, сделаться моряком, то, получив программу

¹ От лат. *a priori* — из предшествующего.

штурманского училища, усиленно занимался с Петром Афанасьевичем. А Петр Афанасьевич сказал моей матери, что «рано ему еще, не одолеть, где же, нужна алгебра. Года два надо заниматься».

Я представлял себя, как мальчишка, в матросской рубашке, вообще на кораблях. Но мать не препятствовала моим желаниям. Но все смотрела и *поощряла, когда я рисую*. И я видел, что матери нравится, что я рисую. Она даже сама носила со мной краски и бумагу в папке и сидела около, иногда говоря:

— Там светлее, ты очень густо кладешь краски... — и иногда поправляла мне рисунок.

И у нее тоже не выходило, так, как в натуре, а все больше похоже на другое место. Очень хорошо, но такого места не было.

Летом я всегда уходил к Дубинину и ходил с ним на охоту. Купался в реке, промокал под дождем, и эта жизнь охотника сделала то, что я скоро вырос, и уж на двенадцатом году был крепкий и выносливый. Иногда мы ходили с Дубининым по тридцати верст в день. В каких только местах мы не были, какие леса, речки, реки, долины. И, стреляя дичь, Дубинин иногда делился со мной, так как моя одностволочка не всегда меня выручала. Ружьишко у меня было плохое. Я не мог стрелять так далеко, как стрелял Дубинин. Больше всего я жалел собаку — Дружка, которого я оставил в Мытищах. Я их видел во сне и послал Игнашке в письме рубль бумажный, который выпросил у бабушки. И Игнашка ответил, что рубль получил, но Дружок сдох. Трудно было перенести мне горе. Новую собаку я завести не мог, потому что бабушка была очень чистоплотна и не позволяла держать собаку в доме.

Помню, сосед по квартире, молодой человек, только что женившийся, служащий на железной дороге, все играл на гитаре и пел:

Чувиль мой, чувиль,
Чувиль-навель, мой чувиль,
Чувиль-навель, вил-виль-виль,
Еще чудо-перечудо,
Чудо — родина моя...

И я сказал ему один раз, сидя с ним внизу, на лавочке у дома, что поет он ерунду. Он на меня ужасно обиделся и пожаловался бабушке. Супруга его была очень красивая и милая молодая женщина. И просила меня, чтобы я ее нарисовал. Трудно было мне ее нарисовать, как-то не выходило. Пейзаж казался мне легче, а вот лицо трудно.

— Непохоже, — говорил муж, — вы никогда не будете художником.

Я очень старался сделать похожее, и, наконец, она сделалась похожа.

Приехал мой брат Сергей, который уже поступил в Московскую школу живописи, ваяния и зодчества. И писал с натуры этюды. Мне казалось, что очень хорошо он пишет, но я не был согласен с цветом. В природе ярче и свежей, что я и говорил ему. Осенью он взял мои наброски и портрет этой женщины. Показав работы мои в Училище, написал письмо матери, что Костю примут в Школу без экзамена, потому что очень понравились мои работы профессорам *Саврасову* и *Перову*, и советует мне серьезно заняться живописью, причем прислал из Москвы замечательные вещи: краски в коробках, кисти, палитру, ящичек старый, — все это было до того замечательно и упоительно. Какие краски, как они приятно пахли, я был взволнован и не стал всю ночь. А наутро взял холст в ящик, краски, кисти и ушел к Дубинину, сказав,

что не приду три дня, — звал Дубинина по ту сторону озера, где камыши и пески, где старый челн на песке, где ночью кричит кукуля. Что это такое кукуля — я не знал, но кричала — я слышал. И вот там, только там, можно написать картину...

Два дня я жил на этом берегу. Написал черный челн, белый песок, отражения — все до того трудно. Туда меня звала мечта, поэзия.

VI

Окружение, *природа*, созерцание ее было самым существенным в моем детстве. Природа захватывала всего меня, давая настроение, как бы ее изменения вместе слиты с моей душой. Гроза, мрачная непогода, сумрак, бурные ночи — все впечатляло меня... Это было для моей жизни и чувства самое главное. Охотник Дубинин, должно быть, и был мне дорог потому, что он приучил меня к себе, к этим хождениям по болотам, к лесам, на лодке по озеру, к ночлегам в стогах, по глухим деревьям... И люди другие — мой дядя, его окружение, бабушка и учитель Петр Афанасьевич — все это было как-то не то. Их разговоры, их заботы мне казались несерьезными. Ненужными. Мне моя жизнь, жизнь мальчика, охотника, и уже *мои краски и рисование* казались самым важным и самым серьезным в жизни. Остальное все как-то ерунда. Не то. Дешево и неинтересно. Одно еще, что хотелось, очень хотелось — сделаться моряком. Одного я видел в церкви. Он был одет матросом, такой со светлыми пуговицами¹. Вот мне хотелось чего. Потому-то я и начал учить алгебру. Очень трудная алгебра. Я учил, конечно, для того, чтобы более отделаться, не потому, чтобы мне это нравилось. Нравилось совсем другое, нравилось читать. Я уже так много прочел...

Петр Афанасьевич, который тоже познакомился с Дубининым, потому что я рассказал ему, что это замечательный человек и знает такие секреты в медицине, что когда у меня сделался жар, то он мне принес к бабушке какую-то траву, горчайшую, и сварил ее в печке, как чай, в медном чайнике. Горькое питье. Три стакана заставил выпить. Но через час кончился жар, и болезнь прошла. К утру я был здоров. Он знал какие-то травы и, достав мне из воды на речке какие-то длинные камышины, концы которых он ел, предложил и мне. Это были вкуснейшие концы этой странной спаржи, и я и потом их ел, все время, когда был на таких заросших речках, и предлагал другим. В деревне Охотино, где я жил перед войной, я показал эти камышины приятелям-охотникам. Они смеялись, но ели. А потом я заметил, на челноке ездили деревенские девки, рвали эти камыши, набирали их в кучи и ели, как гостинцы. Но как называются эти камышины, я не знаю.

У Петра Афанасьевича лицо было всегда в веснушках; он был довольно полный из себя. Карие глаза всегда смотрели как-то в сторону, и в этом его взгляде, когда я смотрел на него, то видел, что он жестокий. Большой рот его был всегда крепко сжат. Я узнал, что он не верит в иконы, и говорил мне, что Бога никакого нет, и рассказал мне, что в Техническом училище, где он окончил курс, в иконе во рту угодника Божия просверлили дырку, вставили папиросу и зажгли. «Так и не узнали, кто это сделал», — сказал он мне, улыбнувшись. Мне почему-то не понравилось это. Он всегда был серьезен, никогда не смеялся. Я видел, что он завидовал достатку и ненавидел богатых людей.

¹ Так в рукописи.

Когда с ним познакомился мой дядя, Иван Иванович Волков, у которого было большое дело на железных дорогах, дело обмундирования служащих и еще какие-то поставки, то он взял его к себе на службу по моей просьбе. Но потом мне дядя сказал:

— Твой Петр Афанасьевич не очень... — и не позволил мне больше заниматься с ним.

Я пришел к Петру Афанасьевичу и увидел, что он совсем по-другому жил. Квартира у него была хорошая, и на столе был серебряный самовар, новые ковры, хорошая мебель, письменный стол. И Петр Афанасьевич сделался какой-то другой.

Встретил я Петра Афанасьевича раз вечером у охотника Дубинина. Дубинин лечил его от веснушек, особенным образом. Он должен был утром до восхода солнца выходить на реку, становиться в воду по колени и умываться, стоя против течения. Каждый день. Я через некоторое время заметил, что у Петра Афанасьевича рожа стала красная, а веснушек нет. «Вот какой Дубинин», — подумал я. Рассказал своей тетке.

— Ну, — сказала тетка, — ты мне не говори про Петра Афанасьевича. Он — дрянь.

А почему дрянь — я так и не узнал. Петр Афанасьевич видал меня у Дубинина и говорил мне, что «ты много смеешься, ты не серьезный. Надо влиять на всех. Ты будь серьезный и не смейся, тогда ты будешь влиять». Дубинин тоже на охоте как-то сказал мне:

— Петр Афанасьевич из себя умного делает больно. «Кто я?» Он ведь против царя, у него все дураки. А он сам дурак. Сквалыга. Лечил его, а он хошь бы што. Пиджачишко у него попросил, дак не дал. У него все виноваты, а он у всех бы себе все взял... Знаем мы этаких-то. Они только говорят — за народ, что народ страдает, а он сам вот у этого народа последние портки свистнет. Девчонку-то брюхатую — бросил. А от сраму уехал из Волочка.

* * *

У меня появилось новое увлечение. На больших картонах красками, которые я купил в порошках в москательной лавке в Вышнем Волочке, с гуммиарабиком и водой, писать картины мест и настроений, которые я встречал в бесконечных хождениях с Дубининым по лесам, трущобам, рекам, кругом озера. Костры, стога, сарай — писать от себя, не с натуры. Ночи, тоскливые берега... И странно, почему-то нравилось все изображать тоскливо, печально, унылое настроение. И потом вдруг мне показалось, что это не то. Трудно мне было брать эти банки с кистями, красками и нести с собой картину. Далеко, в те красивые места, которые мне понравились, чтобы писать с натуры. Писать с натуры — это совсем другое. И трудно писать было быстро сменяемый мотив — нависших туч перед грозой. Это так быстро менялось, что я не мог схватить даже цвета проходящего момента. Не выходит, и потому я стал писать просто солнце, серый день. Но это невероятно трудно. Немыслимо постигнуть всю мелкость рисунка природы. Например, мелкого леса. Как сделать весь этот бисер ветвей с листьями, эту траву в цветах...

Мучился я ужасно. Я заметил, что картина, которую я видел, в ней пишутся не близкие предметы природы, а как-то на расстоянии, и я то же старался делать в общем. Это выходило легче.

Когда приехал мой брат, Сережа, который был уже в Москве в Школе живописи, ваяния и зодчества, то долго смотрел мои работы. И сказал мне: «Молодец. Я так не

вижу, у тебя хорошие краски, но ты не умеешь рисовать». Странно — что писал он с натуры — мне не нравилось.

— Чтобы выучиться рисовать, — говорил мне брат, — нужно рисовать людей, рисовать можно и краской (так как я думал, что рисовать только карандашом можно).

Тогда я стал рисовать друга своего Дубинина и мучил его ужасно. Да еще рядом хотел написать его собаку Дианку. Это просто невозможно, до чего трудно. Мне казалось, что это совершенно нельзя написать. Дианка вертится. Дубинин тоже вращает голову во все стороны, и я должен был постоянно переделывать. Так я и не мог дописать с него картину и подарил ее Дубинину. Дубинин говорил:

— Картина хороша, только усов у меня эдаких нет. Чего же усы-то сделал рыжие, а у меня усы-то черные. Ты черной краской делай.

Я для удовольствия сделал ему черные усы — все испортил. Усы прямо лезут одни, хоть ты что. А Дубинину нравилось, и он сказал:

— Вот теперь правильно...

И очень был доволен, и все его приятели говорили:

— Похож. Усы вот как есть его.

«Ерунда, — думал я. — Усы — просто безобразие».

Было горе у меня: собаку я нашел себе, а держать дома нельзя. Бабушка не позволяла. Собаку — ни под каким видом. А Дубинин тоже мою собаку не держал:

— Что же, — говорил, — завел кобеля, Дианку испортит, пойдут щенки не охотничьи.

— Как же не охотничьи щенки. Мой же Польшетрон сеттер.

А Дубинин смеется:

— Какой, — говорит, — сеттер. Был раньше.

Держал собаку на стороне, у одной вдовы, которая любила собак. Носил ему еду, каждый раз думал, когда ел, что отнести Польшетрону. Такой чудный Польшетрон. Когда я его купил за полтинник у охотника, то привел его на веревочке к бабушке. Покормил его молоком на кухне, но в дом его не пустили. Повел его по улице искать, куда его поместить, пошел к Дубинину и с веревочки его спустил. Он и побежал от меня в сторону, у забора, у огорода, побежал... Я бегу за ним, а он от меня. Кричу: «Польшетрон!» Он обернулся и побежал дальше. Я за ним. «Польшетрон!» — кричу я и заплакал. Польшетрон остановился и подошел ко мне. Польшетрон больше не бежал от меня... И пошел со мной. Дубинин посмотрел на Польшетрона и не оставил его у себя. Только к вечеру, по совету Дубинина, я его увел к заводскому водохранилищу, и приютила его пожилая толстая добрая женщина. Она гладила его голову и поцеловала.

— Пускай, — говорит, — у меня живет, у меня всегда собаки жили, а теперь нету...

И Польшетрон жил у ней. Я заходил к ней, брал его с собой на охоту, и в первый же день ушел очень далеко с Польшетроном, к Осеченке. Зашел в лес, в места, которых не знал раньше, и не знал, где нахожусь. Места глухие, у высокого дубового леса, где была болотина.

Польшетрон оказался замечательной собакой, он причуял и медленно шел и вдруг сделал стойку. Огромные тетерева с острым треском вылетели передо мной. И я убил большого глухаря. Польшетрон схватил его и принес. Вот какой Польшетрон. Я убил с ним трех глухарей тут же и шел краем леса. Вдруг сбоку выехал верховой и закричал мне:

— Ты чего это?

Я остановился и смотрю на него.

— Билет есть у тебя? — спросил верховой.

Я говорю:

— Нету.

— Да как ты чего, ты знаешь, ты где?

Я говорю:

— Где. Не знаю. Я вот здесь...

— Да как здесь. Это ведь Тарлецкого имение, лес его весь. Ты еще козу убьешь, здесь дикие козы есть. В тюрьму тебя.

Я говорю:

— Послушайте, я же не знал.

— Так пойдем в контору.

Он ехал верхом, а я шел с Польшоном и с тетеревами рядом. Версты три шел я с ним. Сначала меня ругая, молодой парень-объездчик смягчился сердцем.

— Ничего, ничего, — говорил, — а штраф отдашь. По пятерке за каждого. Нешто можно так. Вон видишь столб: «Охота строго воспрещается» написано.

Действительно, на столбе была дощечка, на которой написано: «Охота воспрещается», а вправо был уже дом, куда мы с ним пришли. В доме, когда я вошел, было хорошо. Дом новый. Молодая жена сторожа, самовар. Сторож показывал себя, вынул из шкафчика чернильницу и книжку, сел передо мной, как начальник, и говорит:

— Вот пиши тут: «За неправильную охоту строго воспрещается, местожительство имею...».

Я думаю: «Что такое?»

— Пиши сам, — говорю.

Он говорит:

— Да я-то писать плох. Можешь вот как ответить за это.

А жена его, ставя на стол жареные грибы, смеясь, говорит:

— Ишь, какого охотника пымал. Чего вы это. А ты тоже, писака, ишь какой. Чего рассердился. Садись грибы есть.

Парень еще был в гневе начальства.

— Чего пишешь, — передразнил он ее, — а как же, эдакие-то еще козу убьют... а я его не пымал. Тогда што. А кто скажет, меня ведь вон выгонят.

— Да полно, — говорит жена, — кто узнает... Целый день гоняешь, а чего здесь — никто и не ходит. Вишь — барчук, он нечаянно зашел. Бро-ось... Садись чай пить.

И муж послушал ее. Сел есть грибы, а я, как преступник, сидел у столика с книгой... Посмотрев на меня сердито, сторож сказал:

— Садись, небось не ел...

Я сел за стол.

— Анна, — сказал он жене, — достань-ка...

Анна поставила на стол бутылку и рюмки и села сама. Он налил мне рюмку и жене и выпил сам. Посмотрел на меня и спросил:

— А ты кто?

— Я из Волочка, — говорю.

— Э-э, куда ты пехтурой-то дошел. Смотри-ка, вечерет, ведь это тридцать верст... Ты что ж, при деле каком?

— Нет еще, — говорю я.

— Отчего же?

— Учусь. Не знаю еще, во что выйдет ученье мое. Охота мне живописцем сделаться.

— Ишь ты... Вот что! По иконной части.

Я говорю:

— Нет, по иконной не хочу. А вот хочу так охоту написать, картину охотничью. Вот как ты меня поймал в лесу, вот в сторожке с тобой грибы едим.

— Дак чего ж тут?

— Как чего? Хорошо очень... — сказал я и засмеялся. — Уж очень хорошо ты на меня протокол писал...

Жена тоже расхохоталась.

— «Хорошо, хорошо», — передразнил он меня, — а чего ж. Ишь, трех убил глухарей, а напорешься на кого, пойдешь, — в ответе я буду.

А жена говорит:

— Да кто здесь ходит?

— А все-таки, — он говорит, — 15 рублей штрафа.

Я говорю:

— У меня пятнадцати рублей нету.

— Нет, дак в тюрьму посадют.

Жена смеется.

— Чего, — говорит она, — Тарлецкий-то не велит, верно, коз стрелять?

— Да разве здесь есть козы?

— Есть, — сказал сторож. — Тарлецкий сам говорил.

— А ты видал?

— Не-ет, я-то не видывал...

Жена, смеясь, говорит:

— Дак никаких коз и нет, а это в прежнем году охотники были, господа какие-то, не русские. Вот были — пьяней вина. Дак верно, им козу пустили, белую, молодую. Вот, показали, значит, чтоб в козу стрелять. Ну, а она убежала. Видели ее, стреляли, да нешто им охота. Вот они здесь пили. И вино хорошо, бутылки хлопают, а вино бежит, жарко было. Дак они прямо бутылку в рот суют. Ну чего, они ничего не застрелили... Собаки с ними, только собаки за козой не бегут. Она не дикая — знать, оттого не бегут.

VII

В августе месяце я вернулся в Москву. Сущево. Бедная квартира отца. Отец болен, лежит. Мать все время удручена его болезнью. Отец худой, в красивых глазах его — болезнь.

Жалко мне отца. Он лежит и читает. Кругом него книги. Он был рад меня видеть. Я смотрю — на книге написано: «Достоевский». Взял себе одну книгу и читал. Замечательно...

Пришел брат Сережа. Он жил отдельно с художником Святославским¹, в большом каком-то сарае. Называлось — мастерская. Там было хорошо. Святославский

¹ Правильно: Светославским.

писал большую картину — Днепр, а брат мой делал иллюстрации, на которых изобразилась мчавшаяся на лошадях кавалерия, разрываются снаряды, ядра, — война. Шла война с турками.

— Послезавтра экзамен, — сказал мне брат. — Ты боишься?

— Нет, — говорю, — ничего.

— Твои этюды видел Алексей Кондратьевич Саврасов и очень тебя похвалил. А Левитан сказал, что ты особенный и ни на кого не похож на нас. Но боится — поступишь ли ты? Ты ведь никогда не рисовал с гипса, а это экзамен.

Я подумал: «С гипса, что это значит? Гипсовые головы, как это скучно». И сразу улетел туда, где озеро, Дубинин, костер ночью, охота, Польша. Ну, Польшана-то я взял с собой. Польша и спит со мной. Но я и Польша терпеть не можем города, и думаю я — зачем устроены эти города? «Что может быть мерзей каменного тротуара, с тумбами, пыль, какие-то дома, окна скучные. Не так живут. Надо же всем жить около леса, где речка, огород, частокол, корова, лошади, собаки. Там надо жить. Как глупо. Дивные реки России — какая красота. Какие дали, какие вечера, утро какое. Заря всегда сменяется, все для людей. Там надо жить. Сколько простора. А они — вот тут... где помойные ямы на дворах, все какие-то злые, озабоченные, все ищут денег, да цепей», — сказал я, вспомнив «Цыган» Пушкина. А я так любил Пушкина, что плакал, читая его, всегда плакал. Вот это — был человек. Он же все сказал, и сказал правду. Нет, провалюсь я на экзамене, уйду жить с Дубининым. Отца жалко... и мать...

И шел я дорогой вечером к себе, в Суцеево, и слезы капали из глаз как-то сами собой...

Печально было дома, бедно. А отец все читал. Я смотрел в окно своей маленькой комнатки, и Польша лежал около меня. Я погладил, и он сел со мной рядом, посмотрел в окно, сбоку видна площадь — Яузская часть, желтый дом, ворота, скучные и грязные окна... На скамейке сидят пожарные в блестящих касках римского фасона, курят махорку, сплевывают.

Когда я лег в постель, то слышу, вдали пел голос:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой темной лестницей,
С завешенным окном.

Какой-то далекой грустью и таинственным чувством какого-то дома с высокой лестницей сливалось в моей душе воображение этого дома, лестницы, и песня арестанта, который пел в остроге, была полна печали.

Утром я пошел на Мясницкую в Училище живописи, ваяния и зодчества. Было много учеников. Мимо меня проходили в классы, несли свернутую бумагу, озабоченные, напуганные. Почему-то все с большими волосами. И я заметил, как они все угрюмы, и подумал: они, должно быть, не охотники. Лица бледные. Мне казалось, что будто бы их где-то сначала мочили, в каком-то рассоле, а потом сушили. Почему-то мне не очень нравились они. Выражение у многих, почти у всех, было похоже на Петра Афанасьевича. «Наверно, все они умеют влиять, — подумал я. — Какая гадость. Зачем влиять? В чем дело — влиять?»

Но на другой день я прочел, что назначен экзамен для вступающих: Закон Божий. И только я прочел, как увидел, что в приемную вошел священник, в роскошной шелковой рясе, с большим наперсным золотым крестом на толстой цепочке. У него было большое лицо, умное и сердитое, и на носу росла картошина. Грузно прошел он в канцелярию мимо меня. Думаю: «Вот завтра-то...» И я побежал домой и засел за катехизис.

Утром, в половине одиннадцатого, солдат при классах, входя из комнаты в дверь, где был экзамен, крикнул: «Коровин!»

У меня екнуло сердце. Я вошел в большую комнату. За столом, покрытым синим сукном, сидел священник, рядом с ним инспектор Трутовский и еще кто-то, должно быть, преподаватель. Он подал веером мне большие билеты. Когда я взял — перевернул, прочел: «Патриарх Никон». А я думал про себя: «Ну, это я знаю, так как я читал историю Карамзина».

И начал отвечать, что вот Никон был очень образованный человек и потому, что он был очень образованный человек, то он знал и западную литературу, и религиозные стремления Европы и старался ввести многие изменения в рутине веры.

Батюшка смотрел на меня пристально.

— Вероятнее всего, что Никон думал о соединениях христианской религии, — продолжал я.

— Да ты постой, — сказал мне священник, посмотрев сердито, — да ты что ересь-то несешь, а? Это где ты набрался так, а? Выучи сначала программу нашу, — говорил он сердито, — а тогда приходи.

— Постойте, — говорит Трутовский, — это он, конечно, прочел.

— Ты что прочел?

Я говорю:

— Да я много прочел, я Карамзина прочел... Я Соловьева прочел...

— Спросимте его другое, — сказал Трутовский.

— Ну, говори, третий Вселенский собор.

Я рассказал, робея, про Вселенский собор.

Священник задумался и что-то писал в тетрадку, и я видел, как он перечеркивал ноль и поставил мне тройку.

— Ступай, — сказал он.

Когда я проходил в дверь, солдат кричал: «Пустышкин!», и мимо меня, с бледным лицом, толкнув меня, прошел в дверь другой ученик.

Экзамены прошли хорошо. По другим предметам я получил хорошие отметки, особенно по истории искусств. Рисуя с гипсовой головы, выходило плохо, и, вероятно, мне помогли выставленные мной летние работы пейзажей. Я был принят в Школу.

Школа была прекрасная. В столовой за стойкой Афанасий, у него огромная чаша-котел. Там теплая колбаса, прекрасная, котлеты. Он разрезал ловко ножом пеклеванный хлеб и в него вкладывал горячую колбасу. Это называлось «до пяточка». Вкуснейшая колбаса, или котлеты. стакан чаю с сахаром, калачи. Богатые ели на гривенник, я на пяточок. С утра живопись с натуры — лицо старика или старухи, потом научные предметы до 3-х с половиной, а с 5-ти — вечерние классы с гипсовых голов. Класс амфитеатром, парты идут выше и выше, и на больших папках большой лист бумаги, на котором надо рисовать тушевальным карандашом — черный такой.

С одной стороны у меня сбоку сидит Курчевский, а слева — архитектор Мазырин, которого зовут Анчутка. Почему Анчутка — очень на девицу похож. Если надеть на него платок бабий, ну, готово — просто девица. Анчутка рисует чисто и голову держит набок. Очень старается. А Курчевский часто выходит из класса:

— Пойдем курить, — говорит.

Я говорю:

— Я не курю.

— У тебя есть два рубля? — спрашивает.

Я говорю:

— Нету, а что?

— Достать можешь?

Говорю:

— Могу, только у матери.

— Пойдем на Соболевку... Танцевать ляμποпо, там Женька есть, увидишь — умрешь...

— Это кто ж такое? — спрашиваю я.

— Как кто? Девки.

Мне представились сейчас же деревенские девки. «В чем дело?» — думаю я.

Вдруг идет преподаватель Павел Семенович — лысый, высокого роста, с длиннейшей черной с проседью бородой. Говорили, что этот профессор долго жил на Афоне монахом, — и прямо идет к нам. Подошел к Курчевскому. Взял его папку и сел на его место. Смотрел рисунок и сказал тихо, шепотом, вздохнув:

— Эх-ма... Все курить бегаете...

Отодвинул папку и перешел ко мне. Я подвинулся на парту рядом. Он смотрел рисунок и посмотрел на меня.

— Толково, — сказал, — а вот не разговаривали бы — лучше бы было... Искусство не терпит суеты, разговоров, это ведь высокое дело. Эх-ма... о чем говорили-то?

— Да так, — я говорю, — Павел Семеныч...

— Да что так-то...

— Да вот хотели поехать... он звал ляμποпо танцевать...

— Чего... — спросил меня Павел Семенович.

Я говорю:

— Ляμποпо...

— Не слышал я таких танцев что-то... Эх-ма...

И он пересел к Анчутке. И вздохнул.

— Горе, горе, — сказал он, — чего это вы? Посмотрели бы на формы-то немножко. Вы кто — живописец или архитектор?

— Архитектор, — ответил Анчутка.

— То-то и видно... — сказал, вздохнув, Павел Семенович и подвинулся к следующему.

* * *

Когда я пришел домой, за чаем, где был брат Сережа, я сказал матери:

— Мама, дай мне два рубля, пожалуйста, очень нужно. Меня Курчевский звал, который рисует рядом со мной, — он такой веселый... поехать с ним на Соболевку, там такая Женька есть, что, когда увидишь, умрешь прямо.

Мать посмотрела на меня с удивлением, а Сережа даже встал из-за стола и сказал:

— Да ты что...

Я увидел такой испуг и думаю: «В чем дело?» Сережа и мать пошли к отцу. Отец позвал меня, и прекрасное лицо отца смеялось.

— Это куда ты, Костя, собрался? — спросил он.

— Да вот, — говорю, — не понимаю, в чем дело, отчего все испугались. Курчевский звал на Соболевку к девкам, там Женька... Говорил — весело, лямпопо танцевать...

Отец смеялся и сказал:

— Поезжай. Но ты знаешь, вот что лучше — подожди, я поправлюсь... — говорил он смеясь, — я с тобой поеду вместе. Будем танцевать лямпопо...

VIII

Профессор Е.С. Сорокин

Преподаватели московской Школы живописи и ваяния были известные художники В.Г. Перов, Е.С. Сорокин, В.С. Сорокин¹, его брат, Е.М. Прянишников², В.Г. Маковский³, А.К. Саврасов и В.Д. Поленов.

Перов, картины которого были всем известны, и лучшие были в галерее Третьякова: «Охотники на привале», «Птицелов», «Пьяное духовенство» и «Пугачев». У Прянишникова там же — «Купанье лошадей», «Охотники на зайцев», «Пленные французы», «Купцы в ножовой линии». У Маковского — «Вечеринка студентов», «Адвокат», «Охотники в избе», «Крах банка», «Четыре руки». «Друзья-приятели» и «Благотворители». У Е.С. Сорокина, не помню, были ли картины в Третьяковской галерее. У Саврасова была картина «Грачи прилетели». У Поленова «Дворик», «Бабушкин сад», «Мельница», «Большая девочка», «Генисаретское озеро» и «Христианская мученица». Но Поленов вступил в Школу, как преподаватель пейзажного класса. Он был выбран советом преподавателей как пейзажист. И потому не был преподавателем в натурном классе, где ученики писали тело с натурщиков.

За Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист. В натурном классе были проф. Перов, В.Е. Маковский и Е.С. Сорокин.

Сорокин был замечательный рисовальщик, блестяще окончил Академию художеств в Петербурге и получил золотую медаль за программную большую картину и был отправлен за границу, в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии. О Брюллове, Бруни, Егорове и других рисовальщиках он говорил нам:

— Вы все срисовываете, а не рисуете. А Микеланджело рисовал.

Е.С. писал большие работы для храма. Они многочисленны, и все его работы сделаны от себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святые его были благопристойны, хороши по форме, но как-то одинаковы. Живопись была покойной, однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись его ничего нам не говорила.

¹ Правильно: П.С. Сорокин.

² Правильно: И.М. Прянишников.

³ Правильно: В.Е. Маковский.

Однажды Е.С., когда я был учеником в натурном классе и писал голого натурщика, позвал меня к себе на дачу, которая была у него в Сокольниках. Была весна — он сказал мне:

— Ты пейзажист. Приезжай ко мне. Я пишу уж третье лето пейзаж. Приезжай, посмотри.

В саду его дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача, желтого цвета, а сзади сосны, Сокольники. Тень ложилась от дачи на землю его двора. Был солнечный день. Меня поразило, что в окнах было отражение на стеклах удивительно нарисовано, верно, поразительно, и вся дача приведена в перспективу. Это был какой-то архитектурный чертеж, гладко раскрашенный, жидко масляными красками. По светам неверный и не похожий на натуру. Все было соразмерно. Но натура была совсем другая. Сосны были написаны сухо, темно, не было никаких отношений и контрастов. Я смотрел и сказал просто:

— Не так. Сухо, мертво.

Он внимательно слушал и ответил мне:

— Правду говоришь. Не вижу я, что ль? Третье лето пишу. В чем дело, не понимаю. Не выходит. Никогда пейзажа не писал. И вот, не выходит. Ты попробуй, поправь.

Я смутился. Но согласился.

— Не испортить бы, — сказал я ему.

— Ну, ничего, не бойся, вот краски.

Я искал в ящичке краски. Вижу — терр де съен, охры, черная кость и синяя прусская, — а где же кадмиум?

— Что? — спросил он.

— Кадмиум, краплак, индейская, кобальт.

— Этих красок у меня нет, — говорит Сорокин. — Вот синяя берлинская лазурь — я этим пишу.

— Нет, — говорю я, — это не годится. Тут краски горят в природе. Охрой это не сделать.

Сорокин послал за красками, и мы пошли куда-то в дом-дачу завтракать.

— Вот ты какой, — говорил Евграф Семенович, улыбаясь. — Краски не те. — И его глаза так добро смотрели на меня, улыбаясь. — Вот что, ты, — продолжал Сорокин, — совсем другой. Тебя все бранят. Но тело ты пишешь хорошо. А пейзажист? Удивляюсь я. Бранят тебя, говорят, что пишешь ты по-другому. Вроде как нарочно. А я думаю — нет, не нарочно. А так уж, в тебе это есть что-то.

— Что же есть, — говорю я. — Просто повернее хочу отношение взять — контрасты, пятна.

— Пятна, пятна, — сказал Сорокин. — Какие пятна?

— Да ведь там, в натуре, разное — а вы все одинаково. Вы видите бревна, стекла в окне, деревья. А для меня это краски только. Мне все равно что — пятна.

— Ну постой. Как же это? Я вижу бревна, дача-то моя из бревен?

— Нет, — отвечаю я.

— Как нет, да что ты? — удивлялся Сорокин.

— Когда верно взять краску, тон в контрасте — то выйдут бревна.

— Ну уж это нет. Надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить.

— Нет, ничего не выйдет, — ответил я.

— Ну вот тебя за это и бранят. Рисунок — первое в искусстве.

— Рисунок нет, — говорю я.

— Ну вот что ты, взбесился, что ли? Что ты?

— Нет его. Есть только цвет в форме.

Сорокин смотрел на меня и сказал:

— Странно. Тогда что ж, а как же ты сделаешь картину не с натуры, не зная рисунка?

— Я говорю только про натуру. Вы ведь пишете с натуры дачу.

— Да. С натуры. И вижу — у меня не выходит. Ведь это пейзаж. Я думал — просто. А на вот, поди, что делать — не пойму. Отчего это? Фигуру человека, быка нарисую. А вот пейзаж, дачу — пустыки — и вот, поди, не выходит. Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне — говорит:

— Эта жалкая крашенная дача — мне смотреть противно, не то что писать.

Вот чудак какой. Он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки. Рисует тоже, но неверно. Удивлялся — зачем это я дачу пишу, — и Сорокин добродушно засмеялся.

После завтрака принесли краски. Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много и говорю:

— Боюсь я, Евграф Семенович, испорчу.

— Ничего, порти, — сказал он.

Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома. Водил широкой кистью.

— Постой, — сказал Сорокин. — Где же это синее? Разве синие тени?

— А как же? — ответил я. — Синие.

— Ну, хорошо.

Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен.

— Верно, — сказал Сорокин.

Бревна от земли шли в желтых, оранжевых рефлексах. Света горели невероятной силой, почти белые. Под крышей, в крыльце были тени красноватые с ультра-марином. И зеленые травы на земле горели так, что не знаешь, чем их взять. Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядели кое-где темно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугало моего дорогого, милого Евграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовал, что это выходит каким-то озорством.

— Молодец, — сказал, смеясь, Сорокин, закрывая глаза от смеха. — Ну только что же это такое? Где же бревна?

— Да не надо бревен, — говорю я. — Когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна — то там видно в общем.

— Верно, что-то есть, но что это?

— Вот что-то есть — свет. Вот это нужно. Это и есть. Весна.

— Как весна, да что ты? Вот что-то я не пойму.

Я стал проводить бревна, отделяя полутонем, и сделал штампы сосен.

— Вот теперь хорошо, — сказал Сорокин. — Молодец.

— Ну вот, — ответил я. — Теперь хуже. Суше. Меньше горит солнце. Весны-то меньше.

— Чудно. Вот оттого тебя и бранят. Все ты как-то вроде, как нарочно. Назло.

— Как назло, что вы говорите, Евграф Семенович?

— Да нет, я-то понимаю, а говорят, все говорят про тебя.

— Пускай говорят, только вот довести, все соединить, трудно, — говорю я. — Трудно сделать эти весы в картине, что к чему. Краска к краске.

— Вот тут-то вся и штука. Вот что. Надо сначала нарисовать верно, а потом вот как ты. Раскрасить.

— Нет, — не соглашаюсь я.

И долго, до поздней ночи, спорил я с своим милым профессором, Евграфом Семеновичем. И посоветовал я ему показать это Василию Дмитриевичу Поленову.

— Боюсь я его, — сказал Евграф Семенович. — Важный он как-то.

— Что вы, — говорю я, — это самый простой и милый человек. Художник настоящий, поэт.

— Ну и не понравится ему моя дача, как Алексею Кондратьевичу. Чудаки ведь поэты.

— Нет, — говорю. — Он не смотрит на дачу. Он живопись любит, не сюжет.

Конечно, дача не очень нравилась, но не в том дело. Цвет и свет важно, вот что. И я сказал Сорокину:

— Свет.

— А ты знаешь, я никогда об этом не думал. Пейзаж — это, я так полагал, — дай, попробую, думаю — просто...

Уходя от Сорокина, он простился со мной, смеясь, сказав:

— Ну и урок. Да, задал ты мне урок, — и он сунул мне в карман пальто конверт.

— Что это вы, Евграф Семенович?

— Ничего, возьми. Это я тебе... годится.

Я ехал домой на извозчике. Я вынул и разорвал конверт. Там лежала бумажка в сто рублей. Какая была радость...

IX

Частная опера Мамонтова в Москве открылась в Газетном переулке в небольшом театре. С.И. Мамонтов обожал итальянскую оперу. Первые артисты, которые пели у него, были итальянцы: Падилло¹, Франческо и Антонио д'Анраде. Они скоро сделались любимцами Москвы. Но Москва враждебно встретила оперу Мамонтова. Солидно деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идет. С.И. Мамонтов поручил *И.И. Левитану* исполнение декораций к опере «Жизнь за Царя». А мне «Аиду» и потом «Снегурочку» Римского-Корсакова. Я работал совместно с *В.Н. Васнецовым*², который сделал прекрасные четыре эскиза декораций для «Снегурочки», а я исполнял остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Васнецова были замечательные. Снегурочку исполняла Савина³, Леля — Леватович⁴, Мизгиря — Малинин, Берендея — Лодий, Бермягу — Бедлевич. «Снегурочка» прошла впервые, и ее холодно встретила печать и Москва. С.И. говорил:

— Что ж, не понимают.

¹ Правильно: Падила.

² Правильно: В.М. Васнецовым.

³ Правильно: Салина.

⁴ Правильно: Любатович.

Васнецов был вместе со мной у *Островского*. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о «Снегурочке», Островский как-то особенно ответил:

— Да что... Все это я так... Сказка...

Видно было, что это дивное произведение было интимной стороной души Островского. Он как-то уклонялся от разговора.

— Снегурочка, — говорил он, — ну разве вам нравится? Я удивляюсь. Это так я согрешил. Никому не нравится. Никто и знать не хочет.

Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это свое мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймет. Это было так особенно и так рисовало время.

А Римский-Корсаков даже не приехал в Москву посмотреть постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне:

— Знаменательно. Эти два больших человека, Островский и Римский-Корсаков, не верят, что их поймут, не допускают мысли, так же, как и Мусоргский не верил и не ценил своих произведений. Холодность и снобизм общества к дивным авторам — это плохой признак, это отсутствие понимания, *плохой патриотизм*. Эх, Костенька, — говорил мне Савва Иванович, — плохо, косо, не слышат, не видят... Вот «Аида» полна, а на «Снегурочку» не идут, и газеты ругают. А верно сказал офицер:

Создания искусств мечтою сладостной наш ум не шевелят...

— Большой и умный был человек *Лермонтов*, — сказал Савва Иванович. — Подумайте, как странно: я дал студентам университета много билетов на «Снегурочку» — не идут. Не странно ли это? А вот Виктор (Васнецов) говорит — надо ставить «Бориса», «Хованщину» Мусоргского. Не пойдут. Меня спрашивает Вите, зачем я театр-оперу держу, это несерьезно. «Это серьезнее железных дорог», — ответил я.

Он, конечно, очень удивился, но приятно, когда и по железной дороге едут люди. Искусство — его не так много, это не одно развлечение только и увеселение. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из Суконной слободы. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По-моему, это только увеселение. Не странно ли это, — говорит Мамонтов. — А ведь умный человек. Вот и подите. Как все странно.

Императрица Екатерина, когда было крепостное право и она была крепостница, на здании Академии художеств в Петербурге приказала начертать: «Свободным художествам». Вельможи заволновались. «Успокойтесь, вельможи, это не отмена крепостного права, не волнуйтесь. *Эта свобода иная*, ее поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам». «А вдохновение имеет высшие права». Вот Консерватория тоже существует, а в Императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни Мусоргского, ни Римского-Корсакова. *Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина*. А министр финансов говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать *только о хлебе едином*, пожалуй, не будет и хлеба.

С.И. увлекался театром. Русских артистов он старался оживить. В опере он был режиссер и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. Но печать, газеты были

придирчивы к артистам, и театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были поставлены новые иностранные авторы: «Лакмэ» Делиба, где пела партию Лакмэ знаменитая Ванзанд¹. Также был поставлен «Лоэнгрин» Вагнера, «Отелло» Верди, где пел Таманьо, певцы Мазини, Броджи, Падилла — все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова.

Москва была богата и избалована. Не только Москва, но даже Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и труппа Мамонтова была и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе.

Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью — рыбой, икрой, птицей, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров. Промышленность шла, Россия богатела. Рынки были завалены товарами, из-за границы поступало все самое лучшее. Заграница была в моде, и много русских ездило за границу. Это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами — оперетка, шансонетки, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями, где пели венгерские, цыганские, румынские хоры. Летом большинство жителей Москвы уезжало на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе. Москву в жару не выносили, уезжали на дачи. Оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно, несмотря на *довольство жизнью, многие из поместий и городов стремились уехать за границу. Меня это удивляло. Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет.* В этом было что-то непонятное. *Я нигде не видал лучше лета, чем в России, и не знаю моря и берега лучше Крыма.* Но Крым считался «не то», чего-то <не> хватало. «Не рулетки ли, — думал я, — или баккара, которые были запрещены в России?»

Театр Мамонтова и декоративные работы для опер дали мне возможность заниматься личной живописью, хотя театр много отнимал времени. В то же время я имел возможность писать с натуры, не подчиняясь времени и влияниям. Работал лично, как мне хотелось, *свободно ища в живописи своих достижений.* Я был сам себе меценатом. Сначала я выставлял на передвижных выставках, а потом встретил в Петербурге С.П. Дягилева, *который нашел меня.* Я увидел — Дягилев восторженно любит живопись и театр. И тут мы затеяли с ним издать журнал «Мир Искусства». Я нарисовал первую обложку для журнала и сделал несколько рисунков красками. Из первых денег, мной заработанных, я дал Дягилеву 5000 для издания журнала. Еще выпросил у Саввы Ивановича 12 000 рублей и познакомил Дягилева с Мамонтовым. Журнал Дягилева был встречен очень враждебно. Он сделал какую-то революцию в искусстве. Но журнал шел нарасхват.

В 1900 году я был приглашен профессором в Училище живописи, ваяния и зодчества, в отдельный класс, для преподавания живописи. Ко мне поступали ученики, окончившие натурный класс. Также был приглашен совместно со мной и Серов. В нашем классе мы впервые поставили живую модель — обнаженную женщину, и учениками лучшими были: Сапунов, Судейкин, Туржанский, Крымов, Кузнецов, Машков, Фальк и много других, которые как-то расплылись и не были заметны. Дорого стоят государству художники, да и их всегда мало. *Как это странно, несмотря на огромную Россию. Что-то мешало,* и мало было влюбленности в искусство и жизнь, в радость жизни и в искусство! Озабоченная политикой *пресса,* постоянно

¹ Здесь и далее — правильно: Ван-Зандт.

находясь в оппозиции правительству, *мало интересовалась искусством*, считала правилом *все поносить, ругать*, разносить все, что являлось в искусстве *выдающимся*. Пресса сама сделалась хозяином, вершителем судеб художников, писателей. Появилась какая-то дудка гражданской скорби, очень модная дудка. В нее дул торжествующий Стасов и «Новое время». «Нашей прессе никто не мог угодить», — говорил мне А.П. Чехов. Общество и интеллигенция были избалованы, жизнь легка и роскошна. Богата была Россия. Но в ней образовались какие-то скорбные плакальщики, которые неплохо жили, ничего не делая, а только хныкали о горях и лгали. Невежество самовластия этих плакальщиков было глупо, так как *они не знали ни народа, ни России*. Плакальщики искали тенденции, клеветы и ругали красоту; они кричали о свободе, *не понимая свободы*, и их жажда была властвовать и угнетать все, в чем нужна свобода. Эти люди составили касту и убеждали общество и народ, что они дадут ему счастье и свободу. Не понимая, что такое государство, вся их ненужная энергия была только отрицанием всего того, в чем они не смыслили, как совесть и возвышенность. Скромные на вид, они не были скромны в жизни. *И знали ли они, что такое Россия и что такое государство?* — сомнительно. Все в ажитации проводили время в кабаках у «Яра» и в «Стрельне», в бесконечном пустословии. Несчастливая Россия, попавшая в страшную войну, не знала в это время — кто и куда ее ведет. *Трагедия потрясений пришла от ловких и хитрых людей.*

Х

На меня произвел чрезвычайно сильное впечатление неожиданный случай. Как-то утром в мою мастерскую на Садовой, в доме Червенко, пришел В.Д. Поленов и сказал:

— Ты слышал, вчера арестован Савва и увезен в тюрьму. Я спрашивал у Васнецова, у Третьякова и у председателя суда, моего знакомого, — никто не знает, почему арестован Савва Иванович.

Я был поражен. Тут же пришел В.А. Серов, который тоже очень удивился.

— В чем дело? — спросил Серов. — Я вчера утром был у Саввы Ивановича, и он был в хорошем настроении...

У кого мы ни спрашивали и как ни старались узнать, нам никто не мог объяснить причину ареста Мамонтова. Я видел А.И. Чоколова, Кривошеина, Суббербиллера¹ и других знакомых общественных деятелей, адвоката Муромцева — никто ничего сказать не мог. Семья Мамонтова тоже ничего не знала. Что сделал Савва Иванович, почему такой быстрый арест — мы никто не могли себе объяснить. Политикой Савва Иванович не занимался, он не был похож на человека, который мог совершить растрату, потому что Савва Иванович был всегда довольно расчетлив, не был игроком и кутилой, в деньгах был скромен и даже несколько скуп. Постепенно мы узнали, что это, по слухам, арест из-за растраты при постройке Архангельской железной дороги, которая в это время проводилась и уже заканчивалась. Я, узнав, где находится Савва Иванович, поехал получить с ним свидание. Очень долго добивались этого свидания — Серов и я. Увидав Савву Ивановича в тюрьме, где нам дали 5 минут на

¹ Правильно: Цубербиллера.

свидание, Савва Иванович, одетый в свое платье, вышел к нам в приемную комнату для свиданий. Как всегда, он улыбался, и когда мы его спросили — в чем же дело, то он сказал нам:

— Я не знаю.

И так прошло долгое время. Я поехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.

— Против Саввы Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинения его «Новым временем» в растрате, как душеприказчик Чижовских капиталов, он ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчет. Из оставленных Чижовым капиталов, которых он был душеприказчиком, он увеличил его в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича могло и сейчас сыграть такую же для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.

И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:

— Что делать, сердца нет...

Серов, Валентин Александрович, писал в это время портрет Государя и, окончив, сказал царю:

— Вот Мамонтов арестован, и мы, его друзья, не знаем, за что.

— Мне говорят все, что он виноват, — сказал Государь. — Но жаль старика и мне. И я сейчас же дам приказ, чтоб он был переведен на домашний арест.

На другой же день Мамонтов был переведен в дом своего сына Сергея Саввича, где мы видели его и приходили к нему. Как известно, на процессе Мамонтова, где прокурор Курлов произнес обвинительную речь, присяжные заседатели в полном составе вынесли Савве Ивановичу Мамонтову оправдательный вердикт. Выйдя из суда, Савва Иванович поехал на свой гончарный завод на Бутырках, где он с Врубелем делал из глины прекрасные произведения майолики. Савва Иванович заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице, пригласил меня к себе, и мы вместе с ним поехали в его две комнаты в маленьком домике, на гончарный завод. Было поздно. Ворота были заперты. Мы звонили, но никто не открывал. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Саввой Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич, который заведовал обжигом майолики. Савва Иванович сказал мне:

— Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар, идите за калачами.

Я — в ворота, побежал в лавочку, достал калачей, баранок, колбасы, каких-то закусок и принес Савве Ивановичу. Савва Иванович был, как всегда, весел. Потеря состояния, тюрьма и суд на него не произвели никакого впечатления. Он только сказал мне:

— Как странно; пункт обвинения был, что в отчете нашли место, очень забавное: мох для оленя — 30 рублей. Костенька, помните вы этого оленя, бедного, который умер у Северного павильона на Нижегородской выставке? Его не знали, чем кормить, и вы так жалели: мох-то, должно быть, не тот, он не ел. Бедный олень...

И Савва Иванович смеялся.

— Видите, его положение было хуже, чем мое. Мошенники-то мох-то, должно быть, не тот дали, не с Севера.

Савва Иванович так и остался жить на своем заводе. И сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры которых он покупал и разыгрывал с артистами, которых всегда так любил. Однажды Савва Иванович, спустя много времени, приехал ко мне и сказал:

— Я был вызван в Петербург Государем. Он вышел ко мне, протянув обе руки, и сказал:

— Савва Иванович, знаете, я виноват. Вы не были виновны... Я прошу вас принять от меня все ваши прежние средства, какие были у вас, и все ваше положение.

И он меня обнял. Я сказал ему:

— Больше и красивее для меня в жизни не было момента... и мне ничего не надо. Красота счастья моего вся испортится. Мне ничего не надо...

И Савва Иванович, рассказывая мне, заплакал. Я, глядя на моего друга, тоже заплакал и сказал ему:

— Вы поступили, как нужно... — и подумал про себя: «А неплохие все же есть русские люди... Из купцов, которых так много бранят».

Савва Иванович был очень рад, что, работая в качестве консультанта-художника при устройстве Всемирной парижской выставки 1900 года отдела окраин России, я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Серов и Малявин. В это время Врубель приехал из-за границы и жил со мной. И странное было веяние в печати по отношению к художникам. Из-за границы кто-то привез модное слово «декадентство», и оно обильно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было дня, чтоб газеты на все лады неустанно, в виде бранного отзыва и полного отрицания нас как художников, не применяли этого слова. Но, несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий конторой московских Императорских театров, Владимир Аркадьевич Теляковский и сделал мне предложение вступить в театр как художник, для чего он делает особое новое положение, и помочь ему в деле реформы московских Императорских театров.

— Причем, — сказал он мне, — вам предоставляется создать постановки, столь же художественные, как те, которые были в театре Мамонтова. Но, к сожалению, должен сказать вам, что вы встретите много препятствий, главным образом, в печати от непонимания, а в театре от артистов — и рутины. Но я постараюсь всегда поддержать вас. Театры до такой степени пали художественно, что, например, балет не имеет возможности быть дальше в театре в таком положении. Он совсем не посещается публикой, его сборы не превышают тридцати рублей. Театр пуст, и на каждое представление балета чиновники конторы и посыльные едут в казенные учебные заведения, институты и кадетские корпуса, военные учебные заведения пополнять балетные спектакли учениками этих заведений. Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, с балетов, не готовят уроков, и это отразилось ненормально на положении казенных учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директора Всеволожского, и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Безвкусный балет, данный в последнее время, «Звезды», с бенгальским огнем, с безвкусной постановкой, дал два раза сборы по триста с чем-то рублей. Публика на балеты не ходит. Надо внести вкус и понимание.

Я предложил Теляковскому пригласить художника А.Я. Головина, человека большого вкуса.

Первый балет, для которого мы работали костюмы и декорации, был «Дон Кихот». Удивительно, что, несмотря на вопль газет, «декадентство на образцовой сцене», балет шел при полных сборах. Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их. Я ввел новые фасоны пачек, вместо тех, которые были ранее, похожие на абажуры для ламп. Пресса, газеты с остервенением ругали меня: «декадентство». Гринвуд¹ писал: «Декадентство и невежество на образцовой сцене...» Прекрасный артист Малого театра, Ленский, считавший себя художником и знатоком, писал в «Русских ведомостях»: «Импрессионизм на сцене Императорского театра», причем слово «импрессионизм» бралось, похоже, как ругательство, так же, как и «декадентство».

В декорационной мастерской, где я писал декорации, я увидел, что холст, на котором я писал клеевой краской, не сох и темные пятна не пропадали. Я не понимал, в чем дело. И получил анонимное письмо, в котором безграмотно мне кто-то писал, что маляры-рабочие кладут в краски соль, которая не дает краскам сохнуть. На В.А. Теляковского, который сидел в партере на репетиции в Малом театре, бросилась с криком какая-то женщина, желая ему нанести оскорбление — ударить. Теляковский схватил эту женщину за руки, но в конторе Императорских театров в это время сидел в телефонной будке рецензент из «Московских ведомостей», где телефон уже был соединен с Петербургом, куда условлено было дать знать, что Теляковскому нанесено оскорбление действием во время репетиции. Наутро в Петербурге газеты оповестили, что управляющему московской конторой Императорских театров нанесено оскорбление действием. Так Теляковский был принят в Москве, в Императорских театрах.

Я купил себе револьвер и большую кобуру и писал декорации с револьвером на поясе. К удивлению, это произвело впечатление.

Не понравилось прессе то, что ранее журналисты имели право, когда им угодно, ходить за кулисы, а Теляковский запретил, а также запретил и всем богатым москвичам-меценатам вход за кулисы, где те в уборных ранее пили шампанское с артистами. Теляковского ругали в газетах, и все то, что он реформировал, улучшал, ставили ни во что. Видно было, что это была сплоченная компания, и появление новых сил в театре было почти невозможно. Теляковскому было трудно справляться со всеми препятствиями, но странно то, что, несмотря на всю травлю прессой Теляковского, меня, Головина, — сборы Императорских театров были полные.

По выходе князя Волконского из директоров Императорских театров, Государь назначил В.А. Теляковского директором петербургских театров. Я старался сделать как можно лучше постановки и работал дни и ночи в мастерских. Казалось, как будто ничего не было в России другого важного, кроме критиков и крика прессы о театрах. Все газеты были полны критикой и бранью по адресу Императорских театров. В печати шипела злоба и невежество, а театры были полны. Теляковский в Петербурге, куда я ездил делать постановки². Я вводил в костюмерные мастерские новое понимание работ костюмов, сделал окраску материй и узоров данной формы, согласно эпохе, в операх и гармонии красок в балете, в костюмах, желая дать праздник красок, за роскошь которых упрекали газеты. Контроль Императорского двора тоже хотел придраться к роскоши постановок и был невольно удивлен, узнав, что новые поста-

¹ Правильно: Грингмут.

² Так в рукописи.

новки выходили вчетверо дешевле прежних. Когда Теляковский пригласил Шаляпина, то я и Головин хотели создать для великого певца красоту окружения. Теляковский любил Шаляпина. Как-то раз, когда Федор Иванович, зайдя ко мне утром на мою квартиру в Петербурге, на Театральной улице, которая была над квартирой директора Теляковского, вместе со мной спустился к директору, мы в большой зале — приемной услышали в кабинете директора, что кто-то играл на рояле.

— Слышишь, — сказал мне Шаляпин, — у него играет кто-то. Хорошо играет... Кто это?

Из кабинета вышел Владимир Аркадьевич и пригласил нас из зала к нему в кабинет. Шаляпин, видя, что никого нет, кроме нас, спросил Теляковского:

— А где же этот пианист?

— Это я согрешал, — сказал, смеясь, Теляковский.

— Как — вы? — удивился Шаляпин.

— А что? — спросил Теляковский.

— Как — что? Да ведь это играл настоящий музыкант.

— Вы думаете? Нет, это я, Федор Иванович. — Я ведь консерваторию кончил. Но прежде играл, старался. Меня Антон Григорьевич Рубинштейн любил. Играли с ним в четыре руки часто. Говорил про меня: «Люблю, — говорит, — играть с ним. У него, — говорит, — “раз” есть...»

Только тут мы узнали, что Теляковский был хороший пианист. По скромности он никогда не говорил об этом раньше. Дирижеры всегда удивлялись, когда директор Теляковский делал иногда замечания по поводу ошибок в исполнении. И все думали — кто это ему сказал, не зная, что Теляковский был музыкант.

Владимир Аркадьевич имел желание и не один раз вел разговор с Саввой Ивановичем Мамонтовым. Он хотел его назначить управляющим московских Императорских театров, но Савва Иванович не соглашался и не шел в театр.

— Почему? — спрашивал я Савву Ивановича.

— Нет, Костенька, — говорил мне Савва Иванович, — поздно, старый я. И опять сидеть в тюрьме не хочется... Довольно уж. Он, Владимир Аркадьевич, господин настоящий, и управлять он может. А я не гожусь — съедят, подведут, сил нет у меня таких, бороться...

Так Савва Иванович Мамонтов и не пошел в Императорские театры.

XI

Я немало страдал в жизни, так сказать, от непонимания, а больше от клеветы, от зависти, выражаемой часто под видом дружбы, от тех, которые ко мне приближались. Я чувствовал ее от многих, с которыми в жизни сталкивался. Мне казалось, что это какой-то страшный дьявол у людей, дьявол в человеческой душе, более страшный, чем непонимание. Я испытывал это чувство от общения со многими притворными друзьями. По большей части эти люди подражали мне, подражали живописи, моей инициативе, моей радости в жизни, моей манере говорить и жить. Среди моих друзей, которые были лишены этих низких чувств зависти, были В.А. Серов и М.А. Врубель. Почти все другие были ревнивы и завистливы.

Среди художников и артистов я видел какую-то одну особенную черту ловкачества. Когда кого-либо хвалили или восторгались его созданием, то всегда находи-

лись люди и голоса, тут же говорили: «жаль, пьёт». Или «он мот», или вообще «знаете, ведет себя невозможно». Огромную зависть вызывал М.А. Врубель своим настоящим гениальным талантом. Он был злобно гоним. Видевшие его великий талант его травили и поносили, и звали темные силы непонимания растоптать его, уничтожить и не дать ему жить. Пресса отличалась в первых рядах этого странного гонения на не повинного ни в чем человека. М.А. Врубель — чистейший из людей, кротко сносил все удары судьбы и терпел от злобы и невежества всю свою жизнь. Врубель был беден и голодал, голодал среди окружавшего богатства огромной России. В моей жизни великое счастье — встреча и жизнь с этим замечательным человеком возвышенной души и чистого сердцем, с человеком просвещенным, светлого ума. Это был один из самых просвещенных людей, которых я знал. Врубель никогда не сказал, что это не так, что не интересно. Он видел только то, что значительно и высоко. Я не чувствовал себя никогда с ним в одиночестве.

Савва Иванович Мамонтов только в конце жизни понял талант М.А. Врубеля. В.И. Суриков был поражен работами Врубеля. Прочие долго не понимали его. П.М. Третьяков приехал ко мне, в мою мастерскую, уже во время болезни Врубеля и спросил меня об эскизе Врубеля «Хождение по водам Христа». Я вынул этот эскиз из папки, который приобрел у Врубеля раньше и раньше показывал его Павлу Михайловичу в своей мастерской на Долгоруковской улице, где мы жили вместе с Врубелем. Павел Михайлович раньше не обратил на него никакого внимания и сказал мне, что он не понимает таких работ. Помню, когда вернулся Врубель, то я сказал ему:

— Как странно... Я показывал твои эскизы, вот этот — «Хождение по водам», а также иллюстрации к «Демону», он сказал, что он не понимает.

Врубель засмеялся.

Я говорю:

— Чему ж ты рад?

— А знаешь ли, я бы огорчился, если бы он сказал, что он это понимает.

Я был удивлен таким взглядом. Я достал эскиз Врубеля и поставил его на мольберт перед Третьяковым.

— Да, — сказал тот, — я не понял раньше. Уж очень это как-то по-другому.

На другой стороне этого картона, где был эскиз Врубеля, был тоже акварельный эскиз его работы театральной занавеси, изображающий ночь в Италии, где музыканты играют на инструментах и женщины слушают их. Костюмы этих фигур говорили об эпохе Чинквеченто¹. Павел Михайлович хотел разрезать этот картон и эскиз занавеса возратить мне. Третьяков хотел мне заплатить деньги за эскиз «Хождение по водам». Я просил Павла Михайловича принять эскиз этот как дар.

Умер Врубель. Умер и Павел Михайлович Третьяков. Эскиз «Хождение по водам» был выставлен им при жизни в галерее. И когда, после его смерти, заведовали галереей Остроухов, Серов и Щербатов, то я написал письмо им, что нет ли сзади картона «Хождение по водам» другого чудесного эскиза Врубеля. Они посмотрели, вынули из рамы и увидели, что на той стороне картона был эскиз занавеса. Как странно, что Павел Михайлович на всю жизнь заклеил в раму и обернул к стене замечательный эскиз Врубеля. Остроухов разрезал картон, и эскиз занавеса хотел

¹ От *um. cinquecento* — XVI век.

отдать мне, но я и его пожертвовал галерее. Закупочная комиссия Третьяковской галереи не приобрела у Врубеля его картины «Демон», находившейся на выставке «Мира Искусства» в Петербурге, еще при жизни Врубеля. Но после смерти та же комиссия перекупила его для Третьяковской галереи от фон Мекка и заплатила в пять раз дороже, чем просил за свою картину Врубель. Странно, что Врубель относился к театру С.И. Мамонтова без особого увлечения. Говорил, что певцы поют как бы на каком-то особенном языке — непонятно, и предпочитал итальянцев. Про Шаляпина сказал Савве Ивановичу, что он скучный человек и ему очень тяжелы его разговоры. «Он все что-то говорит, так похоже, как плохая прислуга, всегда обиженная на своих господ».

Это оригинальное мнение удивило и меня, и Савву Ивановича. Врубель никогда не смотрел ничьих картин. Раз он как-то немножко похвалил меня, сказав:

— Ты видишь краски цветно и начинаешь понимать декоративную концепцию...

Репину сказал как-то у Мамонтова в Абрамцеве, что он не умеет рисовать. Савва Иванович обиделся за Репина и говорит мне:

— Ну и странный этот человек — Врубель.

Гостив в Абрамцеве, Врубель подружился с гувернером-французом, стариком Таньоном, и они целый день разговаривали.

— Вы думаете, о чем они говорят? — сказал мне Савва Иванович. — О лошадях, о парижских модах, о том, как повязывается теперь галстук и какие лучшие марки шампанского. А странный это артист, а какой он элегантный и как беспокоится о том, как он одет.

Когда я спросил Врубеля о Репине, он ответил, что это тоска, и как живопись, и как мышление. «Что же он любит? — подумал я. — Кажется, только старую Италию. Из русских — Иванова и Академию художеств».

— Любишь ли ты деревню? — спросил я его.

— Конечно, — ответил Врубель, — как же не любить природу. Но я не люблю людей деревни, они постоянно ругают мать: «мать», «мать твою...». Это отвратительно, — сказал он. — Потом они жестоки с животными и с собаками...

И я подумал: «Все же Врубель особенный человек».

Врубель окружал себя странными людьми, какими-то снобами, кутилами, цирковыми артистами, итальянцами, бедняками, алкоголиками. Врубель никогда не говорил о политике, любил скачки, не играл в тотализатор, совершенно презирал игру в карты и игроков. Будучи в Монте-Карло с Сергеем Мамонтовым, ушел из казино, сказав: «Какая скука». Но любил загородные трактиры и убогую харчевню, любил смотреть ярлыки бутылок, особенно шампанского разных марок. И однажды сказал мне, показав бутылку:

— Смотри, ярлык, какая красота. Попробуй-ка сделать — это трудно. Французы умеют, а тебе не сделать.

Врубель поразительно рисовал орнамент, ниоткуда никогда не заимствуя, всегда свой. Когда он брал бумагу, то, отметив размер, держа карандаш, или перо, или кисть как-то в твердой руке боком, в разных местах бумаги наносил твердо удары-черты, постоянно соединяя в разных местах, потом вырисовывалась вся картина. Меня и Серова поражало это.

— Ты знаешь костюм и убор лошади? — спросил я, увидав средневековую сцену, которую он поразительно нарисовал.

— Как сказать, — ответил Врубель, — конечно, знаю, в общем. Но я ее вижу перед собой, и вижу такую, каких не было...

Врубель рисовал женщин, их лица, их красоту с поразительным сходством, увидав их только раз в обществе. Он нарисовал в полчаса портрет поэта Валерия Брюсова, только два раза посмотрев на него. Это был поразительный рисунок. Он мог рисовать пейзаж от себя, только увидав его одну минуту. Притом всегда он твердо строил форму. Врубель поразительно писал с натуры, но совершенно особенно, как-то превращая ее, раскладывая, не ища никогда протокола. Особенно он оживлял глаза. Врубель превосходно рисовал и видел характер форм. Он как бы был *предшественником* всего грядущего течения, искания художников Запада. Из русского искусства он был восхищен иконами новгородцев. Фарфоры Попова и Гарднера восторгали его так же, как в литературе Пушкин и Лермонтов; он считал, что после них в литературе русской наступил упадок.

— Нет возвышенности, — говорил Врубель.

Про Левитана он сказал, что это слабое подражание барбизонцам — французам; импрессионисты это всегда делают лучше. Ценил Левицкого, Боровиковского, Крапивинова, Иванова, Брюллова и старых академиков... Как-то его спросил мой приятель Павел Сучков о крепостном праве.

— Да, недоразумения были везде, и на Западе. Чем лучше узаконенное право первой ночи? А раньше — инквизиция. Этого, кажется, как-то мало было в России. Но жаль, что народ оставили без понимания своих творцов красоты. Ведь у нас не знают Пушкина, а если и читают, то это такое малое количество. А жаль...

Раз кто-то сказал при Врубеле, что в России — повальное пьянство.

— Неправда, — ответил он, — за границей пьют больше. Но там на это не обращают внимания, и пьяных сейчас же убирает отлично поставленная полиция. И это незаметно.

Как-то летом у Врубеля, который жил со мной в мастерской на Долгоруковской улице, не было денег. Он взял у меня 25 рублей и уехал. Приехав вскоре обратно, он взял большой таз и ведро воды и в воду вылил из пузырька духи, из красивого флакончика от «Коти». Разделся и встал в таз, поливая себя из ведра. Потом затопил железную печь в мастерской и положил туда четыре яйца и ел их с печеным хлебом. За флакон духов он заплатил 20 рублей.

— А чудно, — говорю я ему. — Что же это ты, Миша...

Он не понял. Это было будто так необходимо. Раз он продал дивный рисунок из «Каменного гостя» — Дон Жуан — за 3 рубля. Так просто кому-то. И купил себе белые лайковые перчатки. Надев их раз, бросил, сказав: «Как вульгарно...»

Врубель мог жить месяц на 3 рубля, ел один хлеб с водой, но никогда ни у кого, кроме меня, не брал займы. Врубель много рисовал, делал акварели-фантазии, портреты и бросал их там, где рисовал. Я никогда не видал более бескорыстного человека. Когда он за написанные Морозову панно получил 5000 рублей, то он устроил обед в гостинице «Париж», где жил. На этот обед он позвал всех там живущих. Когда я пришел поздно из театра и увидел столы, покрытые бутылками вин, шампанским, массу народа, среди них цыганки, гитаристы, оркестр музыки, каких-то военных, актеров, и Миша Врубель угощал всех. Как метрдотель носил завернутое в салфетку шампанское и наливал всем.

— Как я счастлив, — сказал он мне. — Я испытываю чувство богатого человека. Посмотри, как хорошо все настроены и как рады.

Все пять тысяч ушли, и еще не хватило. И Врубель работал усиленно два месяца, чтобы покрыть долг.

Метрдотель-иностранец из ресторана «Эрмитаж» в Москве однажды сказал мне про Врубеля, что ему приятно служить, так как он понимает. «Это господин настоящий, и с ним я говорю по-английски».

Врубель говорил на восьми языках; он окончил Петербургский университет — два факультета: юридический и историко-филологический, оба с золотыми медалями, и Академию художеств, где в оригиналах, рядом с Бушневым, Егоровым, Бруней, Брюлловым, висели его замечательные рисунки с нагой натуры. Будучи славянином, Врубель был в отдаленности поляк по происхождению. Много жил за границей. Любил ли он за границу? Я его как-то спросил об этом.

— Да, — ответил он, — мне нравится: там как-то больше *равенства, понимания*. Но я не люблю одного: *там презирают бедность*. Это несправедливо и неверно, и нехорошо. *В России есть доброта и нет меркантильной скупости*. За границей неплохо жить, я люблю, так как там о тебе никто не заботится. Здесь как-то все хотят тобой владеть и учить взглядам, убеждениям. Это так скучно, надоело. Подумай, как трудно угодить, например, Льву Николаевичу Толстому. Просто невозможно. А сколько всех, которые убеждены в своей истине и требуют покорности, именно там и в том, где нужна свобода. Императрица Екатерина женщина была умная и на проекте Академии начертала: «Свободным художествам»...

Воспоминания 1917 г.

1917 год. Как странно, что бы это значило? Неужели будет так постоянно, что благая энергия труда для культуры, что рабочие будут строить, а потом разрушать? А так ведь есть на самом деле. И вот что сейчас происходит. И это только у людей.

Во время русской смуты я слышал от солдат и вооруженных рабочих одну и ту же фразу: «*Бей, все ломай*. Потом еще лучше построим!»

* * *

Странно тоже, что в бунте бунтующие были враждебны ко всему, а особенно к хозяину, купцу, барину, и в то же время сами тут же торговали и *хотели походить* на хозяина, купца и одеться барином.

* * *

Все были настроены против техников, мастеров, инженеров, которых бросали в котел с расплавленным металлом. Старались попасть на железную дорогу, ехать было трудно, растеривались, не попав, отчаивались, когда испорченные вагоны не шли, и защищали и дрались из-за места в вагонах. Они не знали, что это создание техники и что это делают инженеры.

Весь русский бунт был против власти, людей распоряжающихся, начальствующих, но бунтующие люди были полны любоначалия; такого начальствующего тона, такой надменности я никогда не слыхал и не видал в другое время. Это было какое-то сладострастие начальствовать и только начальствовать.

Странно то, что среди русских людей есть особенности отрадных вождедений души, радости и как бы самой большой и торжественной победы; как бы какие-то заключения важного дела, как бы служение чему-то нужному и высокому. Это есть желание сделать какую-либо особенную пакость счастью, успеху, удаче своему собрату, русскому же. Эта таинственная черта души русского мне, тоже русскому, совершенно не была понятна. И эту черту можно проследить в отношении друг к другу среди писателей и нашей критики.

Что бы кто ни говорил, а говорили очень много, нельзя было сказать никому, что то, что он говорит, неверно. Сказать этого было нельзя. Надо было говорить: «Да, верно». Говорить «нет» было нельзя — смерть. И эти люди через каждое слово говорили: «Свобода». Как странно.

Я сказал одному «умному» парню: «Слыхал, в Самарской-то губернии лошади взбунтовались, сели на пролетки, а народ заставили возить себя. Слыхал». — «Вот так штука, — сказал он и, посмотрев, добавил: — Неужто. Во ловко-то».

Ученики Школы живописи постоянно митинговали, с утра до глубокой ночи. Они реформировали Школу. Реформа заключалась в выборе старост и устройстве столовой (которая была ранее, но называлась буфет). Странно было видеть, когда подавали в столовой какую-то соленую воду с плавающими в ней маленькими кусочками гнилой воблы. Но при этом точно соблюдался черед, кому служить, и старосты были важны, распоряжались ловко и с достоинством, как важные метрдотели.

Ученики сделали реформу Школы, открыли клуб (клуб Сезанна) и в живописи подражали его манере писать, увидав его картины в галереях Щукина и Морозова. Никому не было стыдно делать камлоты и подражать. В клубе только курили. Была устроена своя столоярная для работ подрамников, мольбертов. Но я увидел, что там делали гробы, так как свирепствовала в Москве эпидемия сыпного тифа, много умирало. Я спросил, что это значит. Мне ответили, что получили заказ: *хорошо платят!*

Трамвай ходил по Москве, но только для избранных, привилегированных, т.е. рабочих фабрик и бесчисленной власти. Я видел, что вагоны трамвая полны; первый женщинами, а второй мужчинами рабочими. Они ехали и не очень складно пели «Черные дни миновали».

Когда я ехал на извозчике, которых уж было мало, то он, обернувшись, сказал мне: «Слобода-то хороша, но вот когда в кучу деньги все сложат и зачнут делить, тут драки бы не вышло. Вот что». А я спросил его, а давно он в Москве возит. «Лет сорок», — ответил он.

Была борьба с торговлей вообще. Торговля была воспрещена. Торговали тихонько, из-под полы все.

Была борьба с спекуляцией. Спекулировали все.

Была борьба с эксплуатацией — соль стоила три рубля золотом фунт, крестьяне давали четыре пуда муки за полфунта соли.

Покупал спички у торговца, у Сухаревой башни, поместившегося у панели мостовой, где были кучи пыли, грязи и лошадиной мочи. Около лотка торговца лежал солдат, лицом прямо упирая в пыль. Я спросил торговца, что это он лежит, больной, должно быть. «Не, — ответил торговец, — так свой это, земляк, спит. Да мы знаем, это не всегда так будет, опять подберут. *Мы хошь немного поживем по-нашему*».

При обыске у моего знакомого нашли бутылку водки. Ее схватили и кричали на него: «За это, товарищ, к стенке поставим». И тут же стали ее распивать. Но оказалась в бутылке вода. Какая разразилась брань... Власти так озлились, что арестовали знакомого и увезли. Он что-то долго просидел.

Власть на местах. Один латыш, бывший садовник-агроном, был комиссар в Переславле. По фамилии Штюрге. Говорил мне: «На днях я на одной мельнице нашел сорок тысяч денег у мельника». — «Где нашли?» — спросил я. — «В сундуке у него. Подумайте, какой жулик. Эксплуататор. Я у него деньги, конечно, реквизировал и купил себе мотоциклетку. Деньги *народные* ведь». — «Что же вы их не отдали тем, кого он эксплуатировал?» — сказал я. Он удивился — «Где же их найдешь. И кому отдашь. Это нельзя... запрещено... Это будет разращение народных масс. За это мы расстреливаем».

Учительницы сельской школы под Москвой, в Листвянах, взяли себе мебель и постели из дачи, принадлежавшей профессору Московского университета. Когда тот заспорил и получил мандат на возвращение мебели, то учительницы визжали от злости. Кричали: «Мы ведь народные учительницы. На кой нам черт эти профессора. Они буржуи».

Я спросил одного умного комиссара: «А кто такой буржуй, по-вашему?» Он ответил: «Кто чисто одет».

После митинга в Большом театре, где была масса артистов и всякого народа, причастных к театру, уборная при ложах так называемых министерских и ложи директора, в которых стены были покрыты красным штофом, по окончании митинга были все загажены пятнами испражнений, замазаны пальцами.

Один мой родственник, кончивший университет, юридический факультет, горел деятельностью. Он целый день распоряжался, сердился, кричал, был важен и строг. Он знал все, говорил без усталости. «Я начальник домового комитета», — кричал он. И тут же он себе завел артистку, называя ее Лидия Павловна. Относился к ней почтительно, часто говоря: «Лидия Павловна этого желают». Потом украл у меня деньги и кстати чемодан с платьем. Управляя домовым комитетом, неустанно распоряжался, так что живущий там доктор Певзнер от него слег в постель и прочие жильцы плакали и, наконец, выгнали его с большим трудом. Теперь он коммунист.

— Что бы тебе хотелось всего больше получить на свете? — спросил я крестьянина Курочкина, бывшего солдата.

— Золотые часы, — ответил он.

Крестьянка Дарья убирала граблями сено, а я писал этюд красками с натуры, око-ло. Она подошла ко мне и смотрела. Я говорю ей:

— Дарья, слышала ль, Москва-то вся вчера сгорела.

— Да, ну что.

— Тебе, Дарья, — говорю я, — жалко Москвы-то?

— Чего, — отвечает она. — У меня родных там ведь нету.

— В Дубровицах-то барыню, старуху восьмидесяти лет, зарезали. За махонькие серебряные часики. Генеральша она была.

— Что ж, поймали преступника? — спросил я.

— Нет, чего, ведь она енеральша была. За ее ответа-то ведь нет.

Один коммунист, Иван из совхоза, увидел у меня маленькую коробочку жестя-ную из-под кнопок. Она была покрыта желтым лаком, блестяла. Он взял ее в руки и сказал:

— А все вы и посейчас лучше нашего живете.

— А почему? — спросил я. — Ты видишь, Иван, я тоже овес ем толченый, как лошадь. Ни соли, ни сахару нет. Чем же лучше?

— Да вот, вишь, у вас коробочка-то какая.

— Хочешь, возьми, я тебе подарю.

Он, ничего не говоря, схватил коробочку и понес показывать жене.

* * *

Нюша-коммунистка жила в доме, где жил и я. Она позировала мне. У ней был «рабенок», как она говорила. От начальника родила и была очень бедна и жалка, не имела ботинок, тряпками завязывала ноги, ходя по весеннему снегу. Говорила мне так:

— Вот нам говорили в совдепе: поделят богачей — все нам раздадут, разделят равно. А теперь говорят в совдепе-то нам: слышь, у нас-то было мало богатых-то. А вот когда аглицких да мериканских милардеров разделют, то нам всем хватит тогда. Только старайтесь, говорят.

* * *

Деревня Тюбилки взяла ночью все сено у деревни Горки. В Тюбилке 120 мужиков, а в Горках 31. Я говорю:

— Дарья (которая из Тюбилок, и муж ее солидный, бывший солдат). Что же это, — говорю, — вы делаете? Ведь теперь без сена-то к осени весь скот падет не емши в Горках-то.

— Вестимо, падет, — отвечает она.

— Да как же вы это? Неужто и муж твой брал?

— А чего ж, все берут.

— Так как же, ведь вы же соседи, такие же крестьяне. Ведь и дети там помрут. Как же жить так?

— Чего ж... вестимо, все помрут.

Я растерялся, не знал, что и сказать.

— Ведь это же нехорошо, пойми, Дарья.

— Чего хорошего. Что уж тут... — отвечает она.

— Так зачем же вы так.

— Ну, на вот, поди... Все так.

* * *

Когда была Бабушка революции, то я спросил одного учителя, не знает ли он, отчего это бабушка русской революции есть, а дедушки нет. Он очень задумался и сказал:

— А правда, отчего это дедушки нет?

* * *

На рынке в углу Сухаревой площади лежала огромная куча книг, и их продавал какой-то солдат. Стоял парень и смотрел на кучу книг.

— Купи вот Пушкина.

— А чего это?

— Сочинитель первый сорт.

— А чего, а косить он умел?

— Не-ет... чего косить... Сочинитель.

— Так на кой он мне ляд.

— А вот тебе Толстой. Этот, брат, пахал, косил... чего хочешь.

Парень купил три книги и, отойдя, вырвал лист для раскурки.

Тенор Собинов, который окончил университет, юридический факультет, всегда протестовавший против директора Императорских театров Теляковского, сам сделался директором Большого оперного театра. Сейчас же заказал мне писать с него портрет в серьезной позе. Портрет взял себе, не заплатив мне ничего. Ясно, что я подчиненный и должен работать для директора. Просто и правильно.

Шаляпин сочинил гимн революции и пел его в театре при огромном числе матросов и прочей публики из народа.

К знаменам, граждане, к знаменам,
Свобода счастье нам несет.

Когда приехал домой, то без него из его подвала реквизировали все его вино и продали в какой-то соседний трактир. Он обиделся.

На митинге в Большом театре в Москве бас Трезвинский говорил речь:
— Посмотрите, тут балет. Вот он, балет, — показывал он на партер.
Действительно, в партере сидели артистки балета.
— Балет, балет... А сколько получает кордебалет? А? 50 рублей в месяц, и это деньги. Да. И им, чтобы жить, нужно торговать собой, своим несчастным телом...
Раздался оглушительный аплодисмент.

— Теперь никакой собственности нет, — говорил мне умный один комиссар в провинции. — Все всеобщее.
— Это верно, — говорю я. — Но вот штаны у вас, товарищ, верно, что ваши.
— Не, не, — ответил он. — Эти-то вот, с пузырями, — показал он на свои штаны, — я от убитого полковника снял.

В Тверской губернии, где я жил в Островне, пришла баба и горько жаловалась на судьбу. Помер у нее сын, выла она, теперь один остался.
— Еще другой сын, тоже кормилец хороший. Не при мне живет, только приезжает.
— Что же, тетенька, он работает что? — спросил я.
— Да вот по машинам-то ездит, обирает, значит. Надысь какую шинель привез, воротник-то бобровый, с полковника снял. Этот-то хоша жив, кормилец.

В Школу живописи в Москве вошли новые профессора: Машков, Кончаловский, Кузнецов, Куприн — и постановили: отменить прежнее название. Так. Преподавателей называть мастерами, а учеников подмастерьями, чтобы больше было похоже на завод или фабрику. Самые новые преподаватели оделись, как мастера, т.е. надели черные картузы, жилеты, застегнутые пуговицами до горла, как у разносчиков, штаны убрали в

высокие сапоги, все новое. Действительно, были похожи на каких-то заводских мастеров. Поддевки. Я увидел, как Машков доставал носовой платок. Я сказал ему:

— Это не годится. Нужно сморкаться в руку наотмашь, а платки — это уж надо оставить.

Он свирепо посмотрел на меня.

* * *

Один староста — ученик, крестьянин, говорил на собрании:

— Вот мастер придет в мастерскую (класс) и говорит, что хочет, и уйдет, а жалованье получает. А что из этого? Положите мне жалованье, я тоже буду говорить, еще больше его.

Ученики ему аплодировали, мастера молчали.

* * *

Ученики в мастерской сказали мне, что надо учиться у народа, но только где его достать.

— Как где? Вот у вас тут швейцары, солдаты бывшие, что у вешалки служат, мастерскую убирают, ведь это тоже народ.

Раздался аплодисмент.

— Ну, знаете, — сказал я, — что же вы аплодируете, я ведь сказал ерунду.

Они сконфузились.

* * *

Староста мастерской ничего не работал, только распоряжался. Я заметил ему, что все же надо работать, иначе что же будет, раз вы не будете учиться и практиковаться в работе. Он ответил мне:

— Мы, старосты, работаем не для себя, а для других.

* * *

Один взволнованный человек говорил мне, что надо все уничтожить и все сжечь. А потом все построить заново.

— Как, — спросил я, — и дома все сжечь?

— Конечно, и дома, — ответил он.

— А где же вы будете жить, пока построят новые?

— В земле, — ответил он без запинки.

* * *

Один коммунист по имени Сима говорил женщине, у которой было трое детей, своей тетке:

— Надо уничтожить эксплуатацию детьми матерей. Безобразие: непременно корми его грудью. А надо выдумать такие машины, чтобы кормить. Матери некогда — а она корми — возмутительно.

* * *

Коммунисты в доме поезда Троцкого получали много пищевых продуктов: ветчину, рыбу, икру, сахар, конфеты, шоколад и пр. Зернистую икру они ели деревянными ложками по три фунта и больше каждый. Говорили при этом:

— Эти сволочи, буржуи, любят икру.

* * *

К доктору Краковскому на прием пришел солдат, говорил, что болит голова. Доктор положил его на кушетку и стал выслушивать и пощупал живот.

— Глухой черт, — закричал солдат, — тебе говорю, голова болит, а чего ты в брюхо лезешь?

* * *

Больше всего любили делать обыски. Хорошее дело, и украсть можно кое-что при обыске. Вид был у всех важный, деловой, серьезный. Но если находили съестное, то тотчас же ели и уже добрее говорили:

— Нельзя же, товарищ, сверх нормы продукт держать. Понимать надо. Жрать любите боле других.

* * *

Когда не было дров, а были холода, то ломали в квартирах пол, паркет, топили им печи, а потом с трудом ходили по одной доске в квартирах. Женщины очень сердились на это.

* * *

Рыболов Василий Захаров, переплетчик, приятель мой, пришел ко мне. Смотрю, у него под глазом синяк.

— Что же это, Василий, с тобой, где это ты?

— Да чего, — говорит, — то же самое, что и было. Подошел я к милиционеру, говорю ему: «Товарищ хожалый, где бы тут пивца раздобыть, бутылочку?» А он как даст мне разá по морде, два. «Вот тебе, — говорит, — хожалый, а вот и пивцо».

* * *

Один молодой адвокат совершенно лишился голоса, ничего не может сказать, хрип один, и потому он стал писать на бумаге и написал, что на митинге адвокатов лишился голоса. Один из моих приятелей ответил ему, что это ему свыше, так как он, вероятно, все сказал, и больше, значит, не надо.

* * *

На кухню моего дома в деревне вошли вооруженные солдаты и спросили у служанки Афросиньи спички и папиросы. Собака моя, колли, Марсик, спряталась под стол и стала лаять.

— Ты что, подлая, лаешь? — и хотели ее стрелять.

Афросинья заступилась за собаку, кричала:

— Почто ее стрелять, собака хорошая.

— А чего она лает, — сказали солдаты.

* * *

Один солдат из малороссов на митинге говорил:

— Когда мы на войне с ими братались, мы им говорим: мы, горим, свово Николая убрали, когда вы свово Вильгельма уберете? А они нам говорят: как ты его, горят, уберешь. Он нам всем холовы поотвергает.

* * *

В доме, где я жил, был комендант Ильин, бывший заварщик пирогов на фабрике Эйнем. Он говорил:

— Трудная служба (его, коменданта), куда ни гляди — воры. У меня два самовара украли и шубу. У меня, у коменданта. Чего тут.

Он забил досками все парадные входы дома: ходить можно было только через задние двери, выходящие на двор, где он поставил у ворот часовых с ружьями. Тут же, в тот же день у него украли опять шубу у жены его и дочери.

— У меня ум раскорячился, — говорил комендант Ильин. — Ничего не пойму, как есть.

* * *

— Вы буржуазейного класса? — спросил меня комендант Ильин.

— Буржуазейного, — отвечаю я.

— Значит, элемент.

— Элемент, значит, — отвечаю я.

— Не трудовой, значит.

— Не трудовой, — отвечаю.

— Значит, вам жить тут нельзя в фатере, значит. Вы ведь не рабочий.

— Нет, — говорю я ему, — я рабочий. Портреты пишу, списываю, какой, что и как.

Комендант Ильин прищурился, и лицо превратилось в улыбку.

— А меня можешь списать?

— Могу, — говорю.

— Спиши, товарищ Коровин, меня для семейства мово.

— Хорошо, — говорю, — товарищ Ильин, только так, как есть, и выйдешь — выпивши. (А он всегда с утра был пьян.)

— А нельзя ли тверезым?

— Невозможно, — говорю, — не выйдет.

— Ну ладно. погоди, я приду тверезый, тогда спиши.

— Хорошо, — говорю, — Ильин. Спишу, приходи.

Больше он не просил себя списать.

* * *

Разные девчонки и подростки держались моды носить белые высокие чулки. Подруги ходили парами. Все парами: подруги, значит. В этом была какая-то особенность. Они были очень серьезные и сразу расхохотывались. Они ходили под руку одна с другой, и все куда-то торопились. Но если кавалер заговаривал, они останавливались.

— Я вчера вас, барышня, видел на Тверской, вы с кавалером шли, — говорил молодец.

— Извиняюсь, ничего подобного, — отвечала девица.

Видно было, что свобода в кавычках ах как понравилась девицам. Одна горничная, Катя, очень милая и довольно развитая и добрая, забеременела. Оказался любовник женатый, вроде комиссара: отбирал хлеб, который в деревне ее был, где она была временно на побывке.

— Катя, — говорили ей ее родные, — у тебя были хорошие женихи. Что ж ты замуж-то не вышла? А вот этот-то, женатый, тебя бросил беременной.

— Нешто я знала, что он женатый. Он не говорил. Мне понравилось, что все же он какой ни на есть начальник.

* * *

Были дома с балконами. Ужасно не нравилось проходящим, если кто-нибудь выходил на балкон. Поглядывали, останавливались и ругались. Не нравилось. Но мне один знакомый сказал:

— Да, балконы не нравятся. Это ничего — выйти, еще не так сердятся. А вот что совершенно невозможно: выйти на балкон, взять стакан чаю, сесть и начать пить. Этого никто выдержать не может. Летят камни, убьют.

* * *

Алешка Орчека со станции Титлы, где недалеко от станции была моя мастерская, пришел ко мне и рассказывал:

— Когда я на Лубянке служил, послали нас бандитов ловить на Москву-реку. Они там у реки держались. Мы идем и видим: кто-то трое в водосток лезет, большая труба-то к реке. Мы туда. Да. Они в трубу залезли. Мы их оттуда за ноги. Ну, что смеху-то было.

— Ну, они, что ж, — спросил я, — ругаются?

— Чего тут. Смеху что... — и он смеялся. — Чего ж ругаться. Они мертвые ведь. Мы их в трубе наганами всех кончили.

* * *

Во время так называемой революции собаки бегали по улицам одиноко. Они не подходили к людям, как бы совершенно отчуждавшись от них. Они имели вид потерянных и грустных существ. Они даже не оглядывались на свист: не верили больше людям. А также улетели из Москвы все голуби.

* * *

На одном молодом адвокате из армян, на его шинели, вроде солдатской, были пришиты крючки металлические из толстой проволоки. Он, когда пришел ко мне, то на одном висел мешочек с мукой, на другом — картошка, на третьем — мясо лошадиное, ребра, кишки, какая-то требуха. И, взяв у меня картину для обмена на продукт, он ее тоже повесил на крючок и, уходя, прощался. Я спросил его:

— А чудно вы это придумали, крючки-то.

— А что? — спросил он. — Удобно, всем нравится.

* * *

У меня было кольцо — фальшивый бриллиант Тэта. Мой слуга, Алексей Кобарев, думал, что оно настоящее, и очень о нем беспокоился. Я понял, что он верит, что оно настоящее, и говорил ему, что оно стоит невероятно дорого. Он давал совет мне кольцо спрятать куда-нибудь подальше.

— А то, — говорит, — чего бы не было. Не убили бы.

Я говорю:

— Верно, надо убрать.

Когда поехал в деревню, я взял кольцо с собой. Думаю, променяю, может быть, дадут фунта два муки.

В вагоне я надел кольцо на палец. В вагоне ехало начальство, много солдат и еще пассажиров битком. Все обратили внимание на кольцо: прямо останавливались и замирали. Алексей Кобарев был в отчаянии и даже отошел от меня подальше. Ко мне подошел какой-то человек в черной кожаной куртке, при нагане. Посмотрел на коль-

цо, потом на меня, столкнул соседа, который сидел напротив, сел сам. Посмотрев пристально, сказал мне:

— Скажите, товарищ, рублей пять дали за кольцо?

— Нет, товарищ, — ответил я. — Я за него заплатил три рубля.

— Снимите, товарищ, — сказал он мне на ухо. — А то народ волнуется, думает, настоящее. А я-то ведь вижу.

* * *

Ехал в вагоне сапожник и говорил соседям:

— Теперь сапожки-то, что стоят. Принеси мне триста тысяч, да в ногах у меня поваляйся — сошью, а то и нет. Во как нынче.

* * *

Художник Машков на собрании свободных мастерских горел во время русской смуты невероятной энергией. Он кричал:

— Я рабочий. Я сам себе нужник чистил!

И при этом засучивал рукава.

— Я все могу! Я рабочий! Я и вагон могу раскрасить, и вывеску.

— А вот трамвай можете пустить, товарищ Машков? — спросил его один ученик. Машков молчал.

* * *

Один ученик мой пришел ко мне. Я в это время ел что-то за столом. Я пригласил его. Он, кушая, спросил меня:

— Что это за портреты у вас на стене висят?

Я говорю:

— Это неважные портреты. Моего деда один, а другой моей бабушки.

— А вот у вас нет портрета нашего наркомпроса, товарища Луначарского.

— Нет, — говорю я, — нет...

— А портрета Владимира Ильича, я вижу, тоже нету, — говорит он.

— Нет, — говорю я, — нету.

— А жаль, — сказал он, вздохнув. — Какие личности... Не мешало бы вам завести.

Выходя из-за стола, я говорю ученику:

— Товарищ ученик, вот мы поели, споемте теперь «Интернационал». Начинайте, товарищ.

Он молчал.

— Что же, — говорю, — вы не знаете.

Он робко ответил:

— Знаю немного, да не твердо.

— Ну, к субботе чтоб знали. Помните это. Прощайте.

* * *

Товарищ комендант дома Ильин, мрачный, пришел ко мне.

— Что, — говорит, — товарищ Коровин, жить нельзя боле. Хочу уходить.

— Что же такое? — говорю я.

— Ну что... воры, жулики все.

— Да что ж это такое?

— Тебя еще не обокрали?
— Не совсем, — говорю я. — Украли шубу и пальто.
— Это хорошо, — говорит комендант. — Высоко живешь. А я не знаю, как и быть. Деньги ведь у меня разные, казенные тоже... не держу дома: нельзя... Своруют.
— Кто же?
— Все, все... И жена, и дочь, и отец, и все, кто зайдет, — никому веры нет.
— Да что ты, Ильин... Это безобразие.
— Чего тут. Держу деньги, товарищ Коровин, веришь ли, в дровах, в стружках, в помойке или где под камнем, на улице... и то хоронюсь, ночью прячу, чтоб не увидал кто.
— Но отчего же ты, Ильин, при себе не держишь, за пазухой или в сапогах?
— Что ты, нешто можно? Эк сказал. А узнают — непременно убьют. Все жулики. И чего их стреляют — мертво прямо. А их боле и боле еще. Да и то сказать — нельзя же весь народ перестрелять.
— Что же это, — говорю я, — как же тут быть?
— Я думаю так, — говорит Ильин. — Лучше бы все, что ни на есть, деньги, разделили бы поровну — ну и шабаш. Как хочешь потом. Хочешь, пей, хочешь, что хочешь, — и шабаш.
— Ну, а потом-то что ж, товарищ Ильин? — Ну, кто пропьет — значит, опять воровать начнет.
— Да, верно. Что тут делать?
И он, качая головой, с грустью ушел от меня.

* * *

Никто ни за что не хотел думать и брать всерьез, что я художник и что пишу картины. А что это так, а делаю я это просто для дурачества. В мастерскую мою в деревне приходили разные люди со станции, она была в трех верстах от меня. И вот приходили и считали меня за что-то другое, не за художника, а за какую-то власть. Приходили с просьбой помочь в деле о незаконном взятии сарая или что у одного выкопали из сада все яблони. И мне это было неприятно и очень надоедало. Я посоветовал им обращаться к гостившему у меня служащему в конторе Государственных театров, Борису Заходеру, неглупый молодой парень. Он сейчас же принимался за дело и всерьез разговаривал.

— Зачем сарай сносить. Сарай народное здание. Нешто можно трогать сарай?
Ему говорили:
— Да ён на чужой, на нашей земле стоит.
— Какой вашей земле? Такой нет больше. Земля всеобщая. Нет чужой земли, она всем принадлежит, всему народу, и тебе, и мне, всем нам. Потому земля народная, теперь нет «твоя, моя», а вся наша.

Мужики смотрели, выпучив глаза.
— Ловко судит, — говорили мне потом. — Ничего ему не ответишь. Ну, голова парень. Во, во... А мальчишка, глядеть-то...

* * *

«Повез я картошку, три мешка, в Ярославль продавать. А меня со станции-то в город и не пушают. Отряд, значит, стоит. Говорят мне: “Торговать нельзя боле”. Что тут. А мне какой-то человек и говорит: “Скажи, — говорит, — им про себя, что я, мол, помещиков грабил и жег. Пустьят тогда тебя”. Я и подошел к отряду опять и говорю: я так-то и так-то, помещиков грабил, жег. Они глядят на меня, а старшой-то и гово-

рит: “Ладно, — говорит, — óдень, значит, куда девал ты?” А я не знаю, что сказать. “Ну, — говорит, — где у тебя картофель-то?” А я, на мешки показывая, говорю: “Во”. А он приказывает, говорит: “Бери”. Те картофель ташут у меня. И говорит: “А его надо рестовать. Потому народные деньги, — говорит, — он утаил. Его, — говорит, — к расстрелу надо поставить”. Я бегом. Во бежал. И спрятался в яме. Беда».

* * *

— А чего ему не жить: дом железом крыт и крашен, одежды много.

— Но ведь он и грамотный, — говорю я.

— Что грамотный... Грамотой-то сыт не будешь. Его за дом-то сажали. Ишь, говорят, дом-то железом крыт. Ну и посадили. В тюрьме-то парашки носил. Выпустили. Все на дом-то глаза пялют: крашенный потому и железом крыт. Все к нему и идут: давай деньги. Не верят, что у него денег-то нет. Ну, двое со станции надьсь ему рыло набили больно. Значит, что деньги не дает. Не верят. Дом-то крашен, железом крыт. А у Сергея-то рыбака дом без двора, лачуга, солома. И стекла-то нет в окне — прямо дыра, тряпкой заткнута. К нему никто и не идет. А деньги-то у его есть. Теперь все рвань одна. Нельзя чистую рубаху одеть. Наденешь — все глядят: богатей. Опасно. Ей-ей, опасно. Придут свечи («свечи» назывались отряды красноармейцев с винтовками). Ну и давай яйца, хлеб, масло, кто что. А к Сергею не идут. Чище дом выбирают. Вот надьсь к Шаляпину в дачу приходили из Переяславля, пятеро с наганами. Казовые такие. Видно, что начальники.

— Где, — говорят, — у его тут брильянты лежат?

Ну, глядели. Стол у его в комнате заперт, значит. Ну его вертеть. А в столе-то, в ящике, что-то стучает, что-то лежит. Они говорят:

— Брильянты тут, значит.

Ковыряли гвоздем. Открыли. А там пузырек с лекарством — боле ничего.

* * *

Один, встретивший моего приятеля, сказал ему, подняв палец кверху:

— «Русский бунт, бессмысленный и беспощадный», — так сказал Пушкин. Мы, наша партия, все сделали, чтоб его не было. Ну что же делать — стихия оказалась выше нас. Кадетская партия не могла предвидеть этого.

— Про что же говорил вам Пушкин? Про то именно, что вы не предвидели, — ответил ему мой знакомый.

* * *

— Вот какая шутка со мной случилась, — говорит один знакомый. — Сейчас что ни прочту — все в голову другое лезет, тут же.

— Т.е. как же это?

— Да так. Вот читаю стихи:

В этот час все движенья ее,
Как невольник, безмолвно следил я.
Развязаться был пояс готов
И не скоро камеей замыкался.

— Камей... Был камей у меня. Камей в голову лезет. Вот заложить бы, думаю, продать, обменять бы. Сколько соли дадут или муки. Соображаю, возьмут ли еще. Читаю Некрасова:

Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь, дорогой,
И застонут...

— «До рубля», — думаю. Серебряный рубль, может. Если серебряный, ведь это можно два фунта соли купить. «Побираясь, дорогой...» Иди, побирайся, сейчас-то — никто ничего не даст.

* * *

Князь Сумбатов, он же артист Малого театра Южин, во время Временного правительствa, которое только объявилось, по приезде из Петербурга, прислал утром ко мне какого-то человека с неотложным делом, чтобы я немедленно к нему явился. «Очень нужно», — говорил приехавший ко мне человек.

Когда я приехал к нему, то он умывался с дороги, и так <как> дело было не требующее промедлений, то князь принял меня, умываясь, у себя. В чрезвычайно серьезном тоне и виде, серьезно мигая, сказал, что вызвал меня, чтоб поручить мне, чтоб я распорядился, все эмблемы, орлы, короны, инициалы, которые находятся в виде украшений в залах и фойе и на занавесях Императорских театров, немедленно убрать, отбить, словом, уничтожить, и как можно скорей, как невероятно раздражающие и его, и общество.

Странно было видеть этого толстого человека, умывающегося впопыхах и притом артиста Южина, который так любил ордена и надевал их с утра, на парадных праздниках, каждый раз при приезде директора, приезжая к нему на доклады. Надевал эти ордена и какой-то большой белый крест болгарского Фердинанда.

— Это все требуют, — говорил он. — Уберите немедленно. Я вас за этим вызывал. Прикажите. Прошу вас убедительно.

— Да, князь, конечно, — согласился я. — Теперь уж республика, не терпит Императорские театры, Императорские университеты, Академии художеств, Технические училища; клиника, артисты, солисты Их Величеств... Странно. А вот скажите, князь, кажется, не было императорского сумасшедшего дома?

Сумбатов удивленно посмотрел на меня.

* * *

Императорский Малый театр торжественно чествовал дни свободы. На сцене Малого театра был устроен фестиваль. На большом пьедестале, одетая боярышней в кокошнике, артистка Яблочкина. Руки ее были подняты к небу, на руках оборванные цепи, под мышкой одной руки привязан сноп ржи и серп, у ног лежал солдат. Это — освобожденная Россия. А кругом, внизу у пьедестала, артисты и артистки. Артисты во фраках, а артистки декольте, шляпы — перья паради. Оркестр играл «Марсельезу».

У нас, так сказать, как во Франции. Артисты с серьезными лицами пели:

Вы, граждане, на бой,
Вы, граждане, вперед,
Впи-пи-пи-пи-вперед,
Вы, граждане, на бой.

Ловко выходило, совсем «Марсельеза».

Я посмотрел на толстого князя Сумбатова, на пухлого Головина, на Рыбакова... Какие все толстые. Какие толстяки, а вот на бой идут.

Когда в 1919 году совершенно нечего было есть, а есть все же привыкли, то находились дома, люди, какие-то остатки средств, в которых все <еще> сохранилось московское гостеприимство. Среди гостей у этих людей были всегда артисты. Они играли роль утешителей. Приходили и важно шепотом передавали радостные новости:

— Кончается, — говорили, — да, да, кончается. Вчера на Ходынке солдаты все лапти сожгли, да.

Все смотрят с вниманием, что такое.

— Ну и что же?

— Как что, — говорит удивленный артист. — Ясно, что конец.

Его сажали, угощали каким-то пирогом с творогом, с солониной. Артист сидел, ел и говорил совершенно как фельдмаршал, с важностью:

— В понедельник фабрику Абрамовичу вернули. Рабочие пришли с хлеб-солью к хозяину: «Бери, — говорят, — себе назад. Нам без тебя никак не управиться». Ресторан «Эрмитаж» на днях открывается.

— Да что вы, неужели? Кушайте, голубчик, кушайте.

И голубчик кушал...

— Да, — говорит он, — я вчера сказал в банке, как его, Ше... ше... Шешкевичу. Говорю ему: «Ну что вы, товарищ, отдайте вы из сейфа-то Ивану Ивановичу Корзинину-то. Хороший он парень. Ну что вам». — «Ну, — говорит, — для вас только. Пускай завтра приходит».

— Да что вы. Господи. Кушайте, голубчик.

И голубчик кушал.

На каком-то собрании артистов говорили:

«Главное — справедливость. Это верно. В театрах из артистов есть любимцы публики, и эти артисты другим ходу не дают. И эти любимцы получают больше других, и им платят. А разве можно и нужно угождать публике? Она ведь не все понимает. Другим работы нет — всё любимцы берут. Главные роли их, они берут их себе, а мы теперь сами директора выберем, чтоб равенство ввел и черед. Вот Шаляпин — все нарушает. А вот в равенстве-то узнает, кто он. А если он товарищ, то не должен высказывать, пой, как поют, не подлизываясь к публике. Надо же достоинство иметь и подлизой не быть. Да и партию своего товарищества и театра, так сказать, учреждения, не подрывать. Революционную совесть иметь надо. Эти прежние штучки империалистические надо бросить раз навсегда. Товарищ в год две тысячи получает, а он норовит в вечер один забрать их. Теперь после постановления товарищеского — это не выйдет, не пройдет... Справедливость-то, пожалуй, не понравится. А сами поют о правде. Где правда-то тут? Правда-то не понравится. Но мы теперь сплотились, договорились и поставим дело как надо. На то и товарищество, и союз».

Равенство и справедливость. Был жетон: «Да укрепится свобода и справедливость на Руси». Я получил бланк. Бланк этот был напечатан после долгих и многих обсуждений Всерабиса «Заключение работников искусств, отдела изобразительных искусств». В графах бланка значилось:

Размер.
Какой материал.
Холст, краски, стоимость его.
Время потраченного труда.
Подпись автора.

Цена произведения определялась отделом Всерабиса.

В Школе живописи мастера и подмастерья. Все было хорошо, но с подмастерьем было трудно. Их работу надо было расценивать. Трудно было вводить справедливость. Трудно. Кто сюрреалист, кто кубист, экс-импрессионист, футурист — трудно распределить. Что все это стоит, по аршину или как ценить? Да еще на стене написано: «Кто не работает, тот не ест». А есть вообще нечего было. А справедливость надо вводить. У Всерабиса и мастеров ум раскорячивался, как они говорили. Заседания и дневные, и ночные. Постановления одни вышибали другие. Трудно было, так, один предлагал то, а другой совсем другое. И притом жрать хочется до смерти. Вот как трудно вводить справедливость и равенство. Все ходили измученные, бледные, отрепанные, неумытые, голодные. Но все же горели энергией водворить так реформы, чтоб было как можно справедливее. И их души не догадывались, что главная потуга их энергии — это было не дать другим того, что они сами не имеют. Как успокоить бушующую в себе зависть? А так как она открылась во всех, как прорвавшийся водопад, то в этом сумасшедшем доме нельзя было разобрать с часу на час и с минуты на минуту, что будет и какое постановление справедливости вынесут судьи.

Странно было видеть людей, охваченных *страстью власти и низостью зависти* и уверенно думающих, что они водворяют благо и справедливость.

* * *

Я видел особенную радость друзей, когда у одного порядочного человека ушла жена, очень красивая женщина, к другому человеку, очень неважному и нечестному. Друзья и знакомые бегали один к другому и радостно, со смехом, передавали новость: ушла. К нему же, оставленному мужу, приходили грустные и успокаивали его, говоря:

— Он же дрянь, а она ненормальна.

А оставленный муж не проявлял страданий. Друзья и знакомые, передавая друг другу, что ему одному он сказал по секрету, что он застрелится. И каждый говорил, что это ему он поведал, по секрету, как лучшему другу.

Но оставленный муж вдруг вскоре завел себе миловидную блондинку. Более других всех обиделась жена.

— Вот видите, — говорила она друзьям, — каков он. Я так и знала. А вы говорили, он застрелится. Никогда не застрелится.

Все приятели почему-то тоже загрустили и вроде как-то обиделись. Бегали к бывшей жене и передавали ей новости. Говорили:

— Да вчера на скачках видели его с этой блондинкой. В ложе с ней сидел. Да. Жена оставившая сердилась.

— В ложе, вы говорите, видели? Он всегда со мной ездил, брал эту ложу. Это ложа бенуар? — спрашивала жена.

— Да, бенуар, — говорили ей знакомые.

— Это в той же ложе. В той же, в которой был со мной. Вот он каков оказался, — говорила она с негодованием.

Друзья сочувствовали ей.

— И кто это выдумал, — говорила она, — что он способен страдать? Никогда. Он не понимает и не ценит женщину.

Бывшая жена была недовольна и капризно сердилась и на друзей. А друзья заскучили.

* * *

«Мир хижинам, война дворцам» было крупно написано на бывшей гостинице «Метрополь» в Москве.

— Значит, воевать с дворцами. Так, — говорил человек, одетый в поддевку, другому, одетому в тулуп. — Мир, а воевать-то надо нам. Значит, из хижин. Какой же, значит, мир?..

Тулуп слушал и сказал:

— Ежели теперь кто какой дом построит, то в ем и живи сам. Боле ничего. Так велют, значит, теперь. Я говорю им: значит, ежели печник я, значит, в печке мне и жисть вести? А мне говорят: дурак ты, боле ничего. Вот и поди, разбери тут.

* * *

— Ежели кто безлошадный, лошадей у лошадных отбирать. А те без лошадей — ай, помирай. Значит, они опять у лошадных лошадей забирать, значит, зачнут. Тогда что.

— А тогда ты, — говорит другой, — а тогда ты ему его лошадь, что отобрал у него, продай ему. У тебя деньги, а у него она опять. А то у тебя ничего, а тут деньги в кармане у тебя, вот что.

— Вот правильно, ей-ей. Ну и ловко надумали. Верно. А скажи, товарищ, сколько разов-то у него, лошадного-то, лошадь-то угонять себе можно? Скажи, как это-то постановлено?

* * *

— Значит, у купцов все товары взяли, и торговать, значит, нельзя боле. Не наживай, значит, боле. И из лавки его вон. И из фатеры вон, и иди куда хочешь. А товар, значит, его весь раздадут. В черед, значит, всем равно.

— Вот ловко, — говорит слушающий. — А дале как?

— А, значит, дале опять: работать будут товар, только купцам давать нипочем не будут, а сами мастера торговать зачнут. Вот что.

— А как же ему торговать, ежели он при работе?

— Как торговать? Прикащики торговать будут, а деньги тебе, кто работает.

— Вот ловко, вот хорошо придумано. Хорошо прикащиком быть. Вот бы место получить этакое-то. Сам не работаешь, а нажить можно.

Из моих встреч с А.П. Чеховым

I

Это было, если не ошибаюсь, в 1883 году.

В Москве, на углу Дьяковской и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера», — почему «восточные», неизвестно... Это были самые захудалые мебелированные комнаты. У «парадного» входа, чтобы плотнее закрывалась входная дверь, к ней приспособлены были висевшие на веревке три кирпича.

В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, — И.И. Левитан, бывший в то время еще учеником Училища живописи, ваяния и зодчества.

Была весна. Мы вместе с Левитаном шли из Школы, с Мясницкой, после третьего, последнего, экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали: я — за рисунок, Левитан — за живопись...

Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне:

— Зайдем к Антоше (т.е. Чехову)...

В номере Антона Павловича было сильно накурено, на столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадами лекций — Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете, на врача.

Он сидел на краю дивана. На нем была серая куртка — в то время много студентов ходило в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди — студенты.

Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы.

Он был красавец. У него было большое, открытое лицо с добрыми, смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особенное к нему доверие — от него как бы исходили флюиды сердечности и защиты... Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, спросить о горе, и поверить ему что-то самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. Антон Павлович был прост и естествен, он ничего из себя не делал, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собою. Природная скромность, особая мера, даже застенчивость — всегда были в Антоне Павловиче.

Был весенний солнечный день... Левитан и я звали Антона Павловича пойти в Сокольники.

Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствовавших студентов спросил:

— Что же, на шее будете носить? Как швейцары?

Ему ответил Левитан:

— Нет, их не носят... Это просто так... Дается в знак отличия при окончании Школы...

— Как на выставках собаки получают... — прибавил другой студент.

Студенты были другие, чем Антон Павлович. Они были большие спорщики и в какой-то своеобразной оппозиции ко всему.

— Если у вас нет убеждений, — говорил один студент, обращаясь к Чехову, — то вы не можете быть писателем...

— Нельзя же говорить, что у меня нет убеждений, — говорил другой, — я даже не понимаю, как это можно не иметь убеждений...

— У меня нет убеждений, — отвечал Антон Павлович.

— Вы говорите, что вы человек без убеждений... Как же можно написать произведение без идей? У вас нет идей?..

— Нет ни идей, ни убеждений... — ответил Чехов.

Странно спорили эти студенты. Они были, очевидно, недовольны Антоном Павловичем. Было видно, что он не отвечал какой-то дидактике их направления, их идейному и поучительному толку. Они хотели управлять, поучать, руководить, влиять. Они знали все — все понимали. А Антону Павловичу все это, видимо, было очень скучно, и он на настойчивые вопросы отвечал отдельными словами, повторяя, что у него нет убеждений, нет идей...

— Кому нужны ваши рассказы?.. К чему они ведут? В них нет ни оппозиции, ни идеи... Вы не нужны «Русским Ведомостям», например. Да, развлечение, и только...

— И только, — ответил Антон Павлович.

— А почему вы, позвольте вас спросить, подписываетесь «Чехонте»?.. К чему такой китайский псевдоним?..

Чехов засмеялся.

— А потому, — продолжал студент, — что когда вы будете доктором медицины, то вам будет совестно за то, что вы писали, без идеи и без протеста...

— Вы правы... — отвечал Чехов, продолжая смеяться.

И прибавил:

— Пойдемте-ка в Сокольники... Прекрасный день... Там уже цветут фиалки... Воздух, весна.

И мы отправились в Сокольники.

От Красных Ворот мы сели на конку и проехали мимо вокзалов, мимо Красного пруда и деревянных домов с зелеными и красными железными крышами. Мы ехали по окраине Москвы...

Дорогой Левитан продолжал прерванный разговор:

— Как вы думаете?.. — говорил он. — Вот у меня тоже так-таки нет никаких идей... Можно мне быть художником или нет?..

— Невозможно, — ответил студент, — человек не может быть без идей...

— Но вы же крокодил!.. — сказал студенту Левитан. — Как же мне теперь быть?.. Бросить?..

— Бросить...

Антон Павлович, смеясь, вмешался в разговор:

— Как же он бросит живопись?.. Нет! Исаак хитрый, не бросит... Он медаль на шею получил... Ждет теперь Станислава... А Станислав, это не так просто... Так и называется: «Станислав, не бей меня в морду...».

Мы смеялись, студенты сердились.

— Какая же идея, если я хочу написать сосны на солнце, весну...

— Позвольте... сосна — продукт, понимаете?.. Продукт стройки... Понимаете?.. Дрова — народное достояние... Это природа создает для народа... Понимаете?.. — горячился студент, — для народа...

— А мне противно, когда рубят дерево... Они такие же живые, как и мы, и на них поют птицы... Они — птицы — лучше нас... Я пишу и не думаю, что это дрова... Это я не могу думать... Но вы же крокодил!.. — говорил Левитан.

— А почему это птицы певчие лучше нас?.. Позвольте... — негодовал студент.

— Это и я обижен, — сказал Антон Павлович, — Исаак, ты должен это доказать.

— Потрудитесь доказать... — серьезно настаивал студент, смотря на Левитана своими острыми глазами, с выражением чрезвычайной важности.

Антон Павлович смеялся.

— Глупо... — отрезал Левитан.

— Вот скоро Сокольники, мы уже подъезжаем...

Сидевшая рядом с Левитаном какая-то тетка из мешанок протянула ему красное пасхальное яйцо и сказала:

— Съешь, красавчик... (Левитан был очень красив). Батюшка мой помер... Нынче сороков... Помяни его...

Левитан и Чехов рассмеялись. Левитан взял яйцо и спросил, как звали отца, чтобы знать, кого поминать...

— Да ты што, красавчик, нешто поп?

Баба была немножко навеселе.

— Студенты, студенты... А народ — под мышкой книжка, боле ничего... тоже...

Мы приехали к кругу в Сокольники.

Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Левитану, сказала на прощание:

— Помяни родителя... Звали Никита Никитич... А как семинарию окончишь, волосы у тебя будут хороши... Приходи в Печатники... Анфису Никитишну все знают... Накормлю... Небось голодные, хоша ученые...

Антон Павлович смеялся, студенты были серьезны. У студентов была какая-то придавленность. Казалось, что забота-старуха по пятам преследовала их. Они были полны каких-то навязчивых идей. Что-то тяжелое и выдуманное тяготело над ними, как какая-то служба, сковывающая их молодость. У них не было простоты и умения отдаться минуте жизни. А весна была так хороша! Но когда Левитан, указывая на красоту леса, говорил: «Посмотрите, как хорошо», один из студентов ответил: «Ничего особенного... Просто тоска... Лес, и черт с ним!.. Что тут хорошего...»

— Ничего-то вы, цапка, не понимаете! — повторил Левитан.

Мы шли по аллее.

Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, и кукушки вдали таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на этой нашей темной земле.

Студенты, с пледями на плечах, тоже оживились и запели:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,

Выпьем мы за него,
За его идеал...

Антон Павлович и Левитан шли, рядом, а впереди шли студенты... Издали видно было, как большие их волосы лежали на их плечах, что было своеобразно красиво.

— Что это там летит?.. — крикнул один из них, обращаясь к Левитану.

— Это, вероятно, сокол... — пошутил Антон Павлович.

Летела ворона!

— А в Сокольниках, должно быть, и нет больше соколов... — прибавил Чехов. — Я никогда не видал, какой сокол... Сокол ясный... О чем задумались, соколики?.. Должно быть, сокола и охота с ними были распространены на Руси...

Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, где лежал путь железной дороги. Показались столы, покрытые скатертями. Много народу пило чай... Самовары дымились... Мы тоже сели за один из столиков, — чаепитие было принято в Сокольниках. Сразу же к нам подошли разносчики...

Булки, сухари, балык, колбаса копченая наполняли их лотки...

— Пожалуйте, господа хорошие...

Около нас за другим столом разместились сильно подвыпившие торговцы типа Охотного ряда и недружелюбно оглядывали нас.

— Вы, студенты... — заговорил один, сильно пьяный, обращаясь в нашу сторону, — которые ежели... — и он показал нам кулак.

Другой уговаривал его не приставать к нам.

— Не лезь к им... Чево тебе... Может, они и не студенты... Чево тебе...

— Слуга служи, шатун шатайся... — говорил в нашу сторону пьяный с осоловевшими глазами...

Видно было, что мы не нравились этой компании, — трудно понимаемая вражда к нам, «студентам», прорывалась наружу.

Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в ней.

И помню, он сказал мне, когда мы шли обратно:

— А в весне есть какая-то тоска... Глубокая тоска и беспокойство... Все живет, но, несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней.

А когда мы расстались с нашими студентами, он сказал, улыбаясь мне и Левитану:

— Эти студенты будут отличными докторами... Народ они хороший... И я зави-
дую им, что у них головы полны идей...

II

Много прошло времени после этой прогулки нашей в Сокольниках, и по приезде в Крым, в Ялту — весной 1904 года, — я был у Антона Павловича Чехова в доме его в Верхней Алушке. На дворе дачи, когда я вошел в калитку, передо мной, вытянув шею, на одной ноге стоял журавль. Увидев меня, он расправил крылья и начал прыгать и делать движения, танцуя, — как бы показывая мне, какие выкрутасы он умеет разделять.

Антон Павловича я застал в его комнате. Он сидел у окна и читал газету «Новое время».

— Какой милый журавль у вас, — сказал я Антону Павловичу, — он так забавно танцует...

— Да, это замечательнейшее и добрейшее существо... Он любит всех нас, — сказал Антон Павлович. — Знаете ли, он весной прилетел к нам вторично. Он улетел на зиму в путешествие в другие, там, разные страны, к гиппопотамам, и вот опять к нам пожаловал. Его мы так любим, Маша (сестра) и я, — не правда ли, странно это и таинственно?.. — улететь и прилететь опять... Я не думаю, что это только за лягушками, которых он в саду здесь казнит... Нет, он горд и доволен еще тем, что его просят танцевать. Он — артист и любит, когда мы смеемся на его забавные танцы. Артисты любят играть в разных местах и улетают... Жена вот улетела в Москву, в Художественный театр...

Антон Павлович взял бумажку со стола, свернутую в короткую трубочку, закашлялся и плюнул в нее, бросил в банку с раствором.

В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто — немножко как у больных. Пахло креозотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий — портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии — тоже портреты, и среди них — Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенки, Левитана и других.

В комнату вошла Марья Павловна и сказала, что прислуга-кухарка заболела, лежит, что у ней сильная головная боль. Антон Павлович сначала не обратил на это внимания, но потом внезапно встал и сказал:

— Ах, я и забыл... Ведь я доктор... Как же, я ведь доктор. Пойду, посмотрю, что с ней...

И он пошел на кухню к больной. Я шел за ним и, помнится, обратил внимание на его поддавшуюся под натиском болезни фигуру: он был худ, и его плечи, остро выдаваясь, свидетельствовали об обессиливавшем его злом недуге...

Кухня была в стороне от дома. Я остался на дворе с журавлем, который опять танцевал и так развеселился, подпрыгивая, что расправил крылья, полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился передо мной.

— Журка, журка!.. — позвал я его, и он близко подошел ко мне и боком смотрел своим острым глазом, вероятно, дожидаясь награды за искусство. Я подал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал... Что? Вероятно — «мошенник!» или еще что-нибудь худшее, так как я ничего ему не заплатил за представление.

После я показал Антону Павловичу бывшие со мной только что написанные в Крыму свои вещи, думая его немножко развлечь... — это были, ночью спящие, большие корабли... Он попросил меня оставить их у себя.

— Оставьте... Я еще хочу посмотреть их, один... — сказал он...

Антон Павлович собирался ехать в Москву. Я не советовал ему делать этого — он выглядел совсем больным и сипло кашлял. За обедом он говорил мне:

— Отчего вы не пьете вино?.. Если бы я был здоров, я бы пил... Я так люблю вино...

На всем лежала печать болезни и грусти.

Я сказал ему, что хочу купить в Крыму маленький кусочек земли и построить себе здесь мастерскую, но не в Ялте, а где-нибудь около.

— Маша, — сказал он сестре, — знаешь что, отдадим ему свой участок... Хотите, в Гурзуфе, у самых скал... Я там жил два года, у самого моря... Слушай, Маша, я подарю эту землю Константину Алексеевичу... Хотите?.. Только там очень море шумит, «вечно»... Хотите? И там есть маленький домик. Я буду рад, что вы возьмете его...

Я поблагодарил Антона Павловича, но и я у самого моря не смог бы жить — я не люблю спать так близко от него, и у меня всегда сердцебиение...

Это была последняя моя встреча с А.П. Чеховым.

После я жил в Гурзуфе и построил себе там мастерскую. И из окна моего был виден домик у скалы, где когда-то жил Антон Павлович. Этот домик я часто воспроизводил в своих картинах. Розы... и на фоне моря интимно выделялся домик Антона Павловича. Он давал настроение далекого края, и море шумело около бедного домика, где жила душа великого писателя, плохо понятого своим временем.

— Меня ведь женщины не любят... Меня все считают насмешником, юмористом, а это не верно... — не раз говорил мне Антон Павлович.

Как я выбирал «Мисс Европу»

Второй раз мне приходится представлять Россию в международном жюри по выбору красивой девушки Европы и второй раз я переживаю незабываемое чувство радости, которое дается зрелищем самоудовлеющей, абсолютной красоты.

Когда перед нами, судьями, проходили красавицы, посланные всеми странами Европы, трудно было отделаться от мысли, что это — какие-то особые существа, отмеченные печатью высшей милости. Не потому только, что они — красивы: нетрудно и в Париже набрать два десятка красивых женщин. Поражало меня в избранницах, во-первых, их личное обаяние, шарм, та невидимая атмосфера очарования, которая окружает всякую из них и действует на людей прямо магнетически. В них нет ни тени вульгарности, ни капли кокетства. Они несут свою красоту как высший дар и, в свою очередь, одаряют ею нас, простых смертных. И как все кажется серым, когда выходить потом на улицу, в повседневную, некрасивую жизнь!..

Второе обстоятельство, которое я хотел бы отметить, — глубокая «национальность» каждой кандидатки. По-видимому, выборы по отдельным странам производились правильно, в обстановке, исключающей какую-либо подготовку, ибо всякая отдельная «мисс» является, поистине, воплощением своего народа, живым выражением его главных национальных черт. Вот «мисс Франция», напоминающая прекрасную, гордую лань лесов Иль-де-Франс. Вот белокурая Грегхен, со скромной, застенчивой улыбкой красиво очерченного рта — «мисс Германия». Морем дышит цветущая неаполитанка, «мисс Италия»; ведь вот белокурая она, с голубыми глазами, — и все-таки какая типичная, какая несомненная неаполитанка! Мне думается, что, если нам показали бы всех конкуренток, не называя их национальности, — мы бы могли верно указать соответствующие страны...

Наша «мисс Россия» произвела на жюри чарующее впечатление. Веселая, приветливая, наивная — она была живым образом русской девушки. Все в ней русское — от родного, знакомого изгиба бровей и до открытой, радостной улыбки. Глядя на нее, я не переставал думать о нехитром крестьянском слове: «улыбнется — как рублем подарит». Выбор, сделанный жюри «Иллюстрированной России», следует признать в этом году сугубо удачным.

Подивился я еще тому, что некоторые красавицы казались сошедшими с картин известных художников. «Мисс Греция», на которой остановился после долгих колебаний наш выбор, напоминает женщин с полотен английского художника Альма Тадема. Белокурая англичанка напоминает тип Берн Джонса, а стройная как тополь «мисс Франция» заставила меня подумать о Пюви де Шаванне, о его грустных, тяну-

щихся к небу женских силуэтах. Для меня было волнующей радостью это сопоставление: как верно должен был чувствовать художник женский тип, чтобы мы могли в один прекрасный день узреть на земле его реальное воплощение!

О самих выборах можно сказать одно: задача была бесконечно трудна. В наше жюри входили: от Франции — славный художник Альбер Бенар, чья патриархальная фигура производила не только на конкурентов, но и на самих членов ареопага сильное впечатление; от Германии — известный художник и издатель Кебнер; от Англии — также художник, академик Вильям Аблетт; от Австрии — художник Тишлер; от Бельгии — живописец Эмиль Баэс; от Болгарии — скульптор Георгиев; от Дании — художница Герда Вегенер; от Испании — скульптор Сантьяго Бономе; от Греции — художник Галанис; от Голландии — художник-портретист Ван Донген; от Венгрии — живописец Вертес; от Ирландии — художественный критик Ален Денкан; от Италии — скульптор Аутера Маразани; от Польши — скульптор граф Замойский; от Румынии — художник Стоенеско; от Чехословакии — художник Купка; от Турции — художник Мидхат бей; от Югославии — скульптор Ораоватц; и ваш покорный слуга — от России. Победила, как известно, мисс Греция. Она не воплощает тип древней Эллады, как приходилось читать в газетах: нос у нее с горбинкой. Но она прекрасна как богиня; особенно неотразимое впечатление производят ее глаза — бездонные и полные тайной жизни. И рот у нее под стать обитательнице Олимпа...

Я придаю выборам красивейших женщин большое облагораживающее значение. Женщина есть тайна жизни, ее красота и вдохновение. Недаром у Вагнера, в «Сумерках богов», когда увели Фрею, — «боги соскучились». Как посланницы небес, женщины спускаются на нашу серую землю, дают нам жизнь, окружают нас теплом и лаской, смотрят в наши глаза любовным взглядом, — и так же неслышно от земли отлетают... «Ehret die Frauen»¹ — пел юноша Шиллер. Но как чтить их иначе, чем дав им возможность поднести нам, как нездешний дар, вид их гордой и чистой красоты!

Врубель

В конце октября поздно вечером возвращался в свою мастерскую на Долгоруковской улице в Москве. Шел мелкий дождь.

Мимо меня быстро прошел человек, одетый в летнее пальто, с поднятым воротником, с опущенными в карманы руками.

И вдруг я услышал знакомый голос:

— Коровин...

Я обернулся: передо мною стоял Михаил Александрович Врубель. Я не ожидал, что он в Москве, и спросил:

— Давно ты в Москве? Отчего же ты до сих пор не отыскал меня? И Антон здесь... «Антоном» мы звали Серова («Валентин — Валентоша — Антоша — Антон»).

— Я недавно приехал. Не в том дело. Пойдем в цирк...

— В цирк? Зачем? Поздно...

— Ты никогда не видел такой женщины. Понимаешь? Ты никогда не видел такой красоты...

¹ «Чтите женщин» (нем.).

Врубель стоял передо мной. Котелок его был надвинут на лоб. Худое прекрасное лицо Врубеля выражало в эту минуту какую-то особенную радость, какой-то полет.

— Что ты говоришь?.. Какая красота, — сказал я, — ну, пойдём...

Мы прошли за кулисы цирка мимо каких-то артисток, артистов, собак, лошадей...

— Постой... — остановил меня Врубель, — сейчас как раз ее номер.

Действительно, мимо нас проезжала нарядно одетая балериной — с бледным лицом и нежным взором темных глаз — сидящая высоко на лошади женщина.

— Вот она, смотри...

За ней двигались другие лошади. Несли большие кольца-обручи с натянутой бумагой, через которые прыгают в цирках. Несли высокие табуреты, какие-то другие предметы.

К нам подошел низкого роста человек, перевязанный у пояса красным шарфом, в синей вязаной рубашке, красивый, коренастый и с очень широкой сильной шеей. Он поздоровался с Врубелем, и они заговорили по-итальянски (Врубель говорил на восьми иностранных языках). Врубель познакомил меня с ним. Это был муж цирковой наездницы.

Издали я видел, как она на своей лошади носилась по арене. Она прыгала через обручи. За ней бегал рыжий клоун. Но вот ее номер кончился, и, возвратившись со сцены, она соскочила с лошади, подошла к Врубелю и быстро заговорила с ним по-итальянски. Познакомив меня и с ней, Врубель сказал:

— Мы сейчас поедем вместе... Я живу с ними... Здесь недалеко... Пойдем туда...

Мы пришли с ним в убогую московскую квартиру, где-то на Третьей Мещанской, в деревянном доме, на втором этаже.

На некоторое время мы остались с Врубелем одни. Он зажег лампу. Лампа осветила небольшой, покрытый вязаной салфеткой стол. На нем грудой лежали пустые коробки из-под папирос, краски, кисти. Тут же я увидел стоящие на диване две большие — до самого потолка — картины.

На одной из них огромное лицо женщины, с прямой, высящейся, как столб, шеей, большими глазами, прямо в упор смотрело на меня. В этих глазах была непостижимая глубина взора. Матовые губы, алые, извилистые, выражали печальную кротость. Лики мадонн вспоминались мне!..

На фоне картины были облака — мягко-ритмические, как бы излучающие пучки разложенного на цвета радуги спектра... Лицо женщины было подобно видению... Оно терялось в облаках, переходя в них, ритмически соединяясь с ними и очертаниями формы, и цветовыми созвучиями. Странная, невиданная картина!.. Она не походила ни на что, созданное доселе в живописи...

— Что? — сказал Врубель. — Это она... Ты увидишь... *Большая* потому, что я так хочу... Эти избитые, вечно одни и те же, размеры мне надоели... Они вовсе не нужны... К чему нужно это подобие правды?.. Все эти головы в прическах куаферов? А вот я делаю ее так, как она является воображению... Я знаю, что это испугает всех. Но ведь ничего не существует в отдельности. Эти облака и она — они равно прекрасны. Но формы, формы!.. Я о них думаю... Вы, никто, не знаете, что такое форма... Вы просто все списываете... Как всегда... Ах, как мне все это надоело!..

¹ От *фр. coiffeur* — парикмахер.

На том же диване, рядом с картиной женщины, стоял такой же большой картон, и на нем было написано распятие поникшего головой Христа.

Все тело Христа было как бы из мелких-мелких филигранных бриллиантов, и каждая грань их светилась радужным сиянием. По обе стороны Христа — два херувима; и они сияли гранями рубинов и изумрудов. На расстоянии очертания самих фигур не были различимы за этим сиянием... Спускавшиеся драпировки и ткани были отделаны золотом. Фон — Поль Веронез¹, *a verte émeraude*². И на нем — пейзаж с склоняющимися оливковыми деревьями, каких-то удивительных форм, как мелкий-мелкий изысканный узор. Эти две картины, столь противоположные друг другу, были совершенно своеобразны. Они покоряли своей торжественной мощью.

В комнату вошла артистка-наездница и с нею ее муж. Поспешно и ловко они убрали стол для чая. Муж и жена хлопотали оба. Откупорили красное вино, и хозяйка, посмотрев на меня, на ломаном русском языке сказала:

— Господин, раздевайтесь... Садитесь... Есть... Я вас любит... Вы друг Миша...

А тем временем Врубель и ее муж уже быстро и горячо говорили о каких-то делах цирка, о каких-то несправедливостях, о каких-то завистях и интригах артистической цирковой среды.

Я, невольно глядяваясь в лицо женщины, увидел какую-то особенную торжественность. Ее наряд — зеленая кофта из шерсти-жерсе³, красная юбка, пестрый безвкусный наряд, напоминающий попугая, — и бархатная лента на шее с большим помятым золотым медальоном — составляли чрезвычайный контраст с ее прекрасным лицом, как бы явившимся к нам из другого далекого века. Прямая посадка... Изумительной красоты удлинненное лицо... Его торжественность... Какой-то царственной формы лебединая шея... И на ней прекрасная голова с опущенными вниз глазами — глазами невыразимой кротости — такие прекрасные глаза бывают у лошадей и оленей...

Я помню — у одного убитого на моей охоте лося были такие же чистые, такие же кроткие глаза...

Мы долго сидели за столом, и разговор Врубеля с хозяином квартиры продолжался по-прежнему оживленно. В их разговор, все о той же цирковой жизни, изредка вмещивалась и она, вставляя в него отдельные замечания.

«Странно, — подумал я, — какой особенный человек Врубель!.. Почему он увлечен этими далекими от него интересами цирка?.. И как он оживлен, разговаривая о том, что кто-то кого-то победил в цирковом трюке и что кто-то не смог спрыгнуть с трапеции на каком-то восьмом кругу... Странно...»

Так прошел этот вечер.

Я поднялся из-за стола и стал прощаться. Я условился с Врубелем, что он на другой же день утром придет в мою мастерскую.

Помню, помогая надеть пальто, артистка-наездница сказала мне:

— Я вас очень любит... Картины Врубель тоже... Он Джотто... Да, да, даже больше... Искусство понимает очень трудно... Мало понимает искусство... Бог и искусство мало понимает...

По дороге домой, на Долгоруковскую улицу, на убогом московском извозчике, в 2 часа ночи, я думал:

¹ Правильно: Веронезе.

² Изумрудно-зеленый (фр.).

³ Современное название: джерси.

«Особенный человек Врубель... Какой замечательной, какой искренней души!.. Но что это такое?.. Поклонение красоте этой женщины?.. Да, она красива — особенно красива. “Искусство и Бога мало кто понимает”... Как странно было услышать это из уст цирковой артистки».

На другое утро, в 10 часов, Врубель приехал ко мне. Моя большая деревянная мастерская в саду архитектора Червенки на Долгоруковской улице в Москве была прекрасна. Врубель восхищался ею. Я предложил ему поселиться у меня. И спустя два часа Врубель и его картины поместились у меня в мастерской.

Кроме картин, красок и кистей у Врубеля не было ровно ничего. И в то же время, как всегда, он был чрезвычайно элегантно одет. Мы поехали с ним завтракать в «Эрмитаж». Дорогой, по его желанию, мы заехали на Кузнецкий Мост, в магазин Дарзанс, — и он накупил там одеколона, парижских духов, модных рубах, галстуков...

Помню, за завтраком в «Эрмитаже» он очень интересовался разными сортами вин и поспорил по поводу марки поданной нам бутылки с метрдротелем. Тут же, в «Эрмитаже», я познакомил тогда его с Мамонтовым, Саввой Ивановичем...

Когда к нам в мастерскую пришел Серов, он недоуменными глазами посмотрел на большие картины Врубеля и опустил голову.

— Замечательно... — сказал я. — Не правда ли?..

— Не знаю... — ответил Серов.

— По-твоему, это не то? — спросил Врубель, обращаясь к Серову. — А т-а-к я не хочу... Скучно... Все одинаковы, как гробы... Я не хочу этого... Я не интересуюсь, кто как умеет... Все уже написано так, как никому уже не написать... А я хочу *другого*...

— Может быть, ты и прав, Михаил Александрович, — сказал Серов, — но я-то этого не понимаю...

— А я не понимаю середины... Я не люблю то, что похоже на натуру... Я вижу не людей, а сплав чего-то... прекрасного и ужасного!.. Слово и язык искусства не есть копия и натура, а художник и его восхищение... Но об этом не стоит говорить... Это долго и бесполезно... Ах, меня совсем не интересует — кто как пишет теперь... Я просто не могу смотреть на все это... Неприятно. Краски в тубах прекраснее, чем теперешние произведения художников! Вы счастливы... Вы смотрите выставки, восхищаетесь... Находите какую-то разницу нового от старого, какие-то достижения... А я никаких не вижу... Не смотрю и не люблю смотреть... Мне просто представляется все одинаково плохим и невозможно скучным... Лучшее, что я вижу теперь, это — ярлыки на бутылках коньяков и ликеров... Какие они бывают замечательные!.. За границу с этим ушли очень далеко вперед. А какие ярлыки на шампанском!.. Сделать их вовсе не просто... Не думайте...

Серов вскоре простился и ушел. А мы поехали к Мамонтову.

— Какой же русский художник тебе нравится? — спросил я однажды Врубеля.

— Какой?.. Много хороших художников русских... — ответил Врубель. — Иванов — величайший... Он очень постиг декоративность форм. Декоративность кон-

цепции на холсте... Его этюды поразительные... Но он не оставил после себя следа... А Тропинин?..

— А кто за границей восхищает тебя?

— Ватикан.

Врубель хорошо знал искусство итальянцев, Ренессанс. Он постиг его глубины. Любил Италию и много раз ездил туда.

* * *

Чем более жили мы с Врубелем, тем более я убеждался, что он нездешний жилец, что он пришел к нам откуда-то, издалека, и что вся бездна глубины души его нездешняя, что он пришелец, мимоходом проходящий по путям нашей жизни. Порой внешне он казался таким же, как и все... Он мог дружить со всеми. В ресторанах он мог часами разговаривать с метрдотелем, с промотавшимся игроком, с каким-нибудь помещиком или персидским ханом, с самим содержателем трактира «Теремок» в Сокольниках. Но однажды, познакомившись у меня с Поленовым, он промолчал целый вечер.

* * *

Получив от Кушнерева наказ иллюстрировать Лермонтова, он разрезал свой эскиз Распятия, о котором я говорил выше, на части, и оклеив бумагой, сделал на этих разрезанных кусках свои знаменитые иллюстрации к «Демону». Тогда же он уничтожил и свой огромный холст с портретом итальянки-наездницы, которую, кстати сказать, переехав ко мне, он более никогда не встречал.

— Зачем ты погубил свое «Распятие»? — спросил я Врубеля.

— Все равно... Никому это не нужно...

* * *

Однажды в мою мастерскую пришел П.М. Третьяков. Он смотрел мои работы. А в стороне, тут же, рядом, стояли эскизы Врубеля «Тамара в гробу», «Выстрел», «Хожение Христа по водам»...

Я сказал:

— Посмотрите. Это Врубель. Какие у него замечательные произведения...

Павел Михайлович посмотрел. Потом, отвернувшись, сразу стал прощаться со мной...

— Я этого не понимаю... Прощайте, — сказал он и ушел.

Пришел Врубель. Я рассказал ему, что был Третьяков и что он сказал.

Врубель сразу повеселел и рассмеялся.

— Чему же ты радуешься? — спросил я.

— Плохо было бы, если бы он сказал, что хорошо...

Какая добрая была улыбка у Врубеля! Какая мягкость была в ней... В нем не было ничего злого, ни в малейшей степени, ничуть... Он смеялся и всегда был остроумным... Временами Врубель, конечно, и сердился. Но — странная вещь! — чаще на плохо пришитую пуговицу, чем на не понравившуюся ему мысль или неприятное в человеке... Когда ему бывали неприятны чьи-нибудь слова, он опускал голову и торопился перевести разговор на другую тему. Он никогда не спорил с художниками. При Репине, Васнецове, Сурикове, встречаясь с ними у Мамонто-

ва, он обычно не участвовал в общей беседе. Во время подобных встреч — на людях — он выглядел иностранцем, чужаком, появившимся в русской среде откуда-то со стороны...

Однажды я застал Врубеля за довольно странной работой: на голубом атласе широкой ленты он витиеватыми буквами, какого-то чрезвычайно сложного и фантастического стиля, отчетливо и остро, без всякого предварительного эскиза, делал надпись золотом:

Карлу Евгеньевичу слава!
Боже, Левочку храни!
Шурочке привет!

И все.

— Что это такое ты делаешь? — спросил я.

Врубель, смеясь, рассказал мне, что из соседнего дома пришел хозяин-немец, у которого серебряная свадьба, и что эта лента нужна для украшения золотого рога изобилия, в котором будут конфеты. Карл Евгеньевич — доктор: он вылечил Левочку, а Шурочка, это — мать его, героиня серебряной свадьбы...

Но как эта работа была выполнена! Какой редкой красоты были буквы и как великолепен был стильный орнамент!.. А сделано это было в полчаса.

Врубелевские иллюстрации к «Демону» Лермонтова вызвали бурное негодование. Все завопило по его адресу: «декадентство». Меня эта кличка бессмысленно и глупо увенчала еще до этого. Но по отношению к Врубелю эта травля дошла до величайшего ожесточения. Его начали сторониться. И заказанные ему графом С.Ю. Витте для Нижегородской Промышленной выставки два огромных панно — «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза»¹, — уже доставленные в Нижний, по приговору Академии художеств были сняты и вынесены из павильона вон.

Вместе с Врубелем мы приехали в Нижний (на этой выставке мною был построен отдел, посвященный Крайнему Северу, и в нем висели мои панно природных богатств нашего русского Севера). Помню, мы сидели с ним в этот день и час в ресторане. Мимо нас прошел ареопаг судей — академиков. Среди них были Беклемишев, Мясоедов, Ярошенко, Вл. Маковский, Киселев... Они шли судить Врубеля. Лишь один из них поздоровался с Врубелем: это был Киселев. Остальные сделали вид, что не заметили его. Академический ареопаг постановил — снять панно, и их сняли.

С.И. Мамонтов тогда же немедленно, тут же, рядом с выставкой, выстроил на свой счет особый павильон и выставил в нем огромные панно Врубеля.

Пресса выла: «декадент!» — и радовалась расправе над Врубелем.

Когда мамонтовский павильон был готов, я был на его открытии с самим Саввой Ивановичем, и на наших глазах там разыгралась удивительная сцена.

¹ Правильно: «Принцесса Грёза».

Несколько студентов с барышнями стояли у барьера, отделявшего панно от публики, и, рассматривая их, громко обсуждали и отчаянно смеялись над ними. Один из студентов, самый старший по внешности, однако, не ограничился одними насмешками, но, подойдя возможно ближе к «Микуле Селяниновичу», плюнул прямо на холст Врубеля. И общий одобрительный смех поддержал его.

Савва Иванович выразительно посмотрел мне в глаза:

— А шестая-то держава, — сказал он, — силища. Ох, страшная штука — пропаганда! Я думаю: а что Пушкин? Не был ли бы и он оплеван теперь? Наверное, тоже называли бы «декадентом»... А кто понимает, в сущности, это иностранное слово: «декадентство»...

* * *

Выставка «Мира Искусства» в Петербурге.

Врубель в это время был уже в больнице. На этой выставке была выставлена его «Сирень» и мои парижские панно.

Государь и Великий Князь Владимир Александрович были на этой выставке. Дягилев, организатор выставки, сопровождал Государя. Позади, в свите, был и гр. И.И. Толстой, вице-президент Академии художеств.

Государь, посмотрев на картину Врубеля, сказал:

— Это мне нравится. Кто это?

Владимир Александрович, наоборот, громким голосом запротестовал.

— Это Врубель, Ваше Величество, — ответил Дягилев.

— Врубель, Врубель... — как бы что-то вспоминая, проговорил Государь и вдруг, обернувшись назад, прибавил: — Граф! Иван Иванович! Ведь это тот, которого казнили в Нижнем?..

На лице гр. И.И. Толстого, на обращенные к нему слова Государя, несколько подавшегося вперед, расплылась странная улыбка.

* * *

Врубель умер.

Я не был в России в то время и не мог быть на его погребении. Но я слышал, что его гроб несли его гонители и его несправедливые судьи. Теперь их тоже нет в живых. Но, помню, как-то я сказал Михаилу Александровичу:

— Есть страшный черт, дьявол... Я его боюсь... Этот дьявол есть непонимание...

* * *

Ко мне в мастерскую пришел П.М. Третьяков и спросил:

— Нет ли у вас чего-нибудь из эскизов Врубеля?

— Как же... вот это его эскиз.

Я показал ему «Хождение по водам Христа». На другой стороне этого же картона был эскиз занавеса для Частной оперы Мамонтова: на нем — вся роскошь эпохи Чинквеченто — певцы Италии, окруженные прекрасными девушками на фоне итальянской ночи.

Третьяков долго смотрел на эту вещь и спросил меня, не могу ли я уступить ему ее.

— Я очень рад, — сказал я Павлу Михайловичу, — что вы хотите приобрести эту вещь... Она прекрасна... Позвольте мне подарить ее вам...

После смерти П.М. Третьякова вывешенный в раме в Третьяковской галерее эскиз Врубеля «Хожение по водам» заставил меня обратиться в комитет, заведующий галереей, с указанием, что на обратной стороне его находится другой отличный эскиз занавеса того же автора. Комитет Третьяковской галереи внимательно отнесся к моим словам и, разделив картон на два листа, извлек на свет Божий и этот второй врубелевский эскиз, спрятанный было навеки за рамой.

Как все это странно!..

В Третьяковской галерее и сейчас висят эти два эскиза Врубеля.

Да, Врубель был проходящий по нашей земле пришелец к нам из другого мира... И он был гений...

А.Я. Головин

В Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества, в 1886 году появился у нас ученик и в классе В.Д. Поленова писал натюрморты (как сейчас помню, один из них — череп лошади). И писал он очень хорошо. Внешний вид, манера держать себя сразу же обратили на него особое внимание всех учеников, да и преподавателей. Это был А.Я. Головин.

Красавец-юноша, блондин, с расчесанным пробором вьющейся шевелюры — с пробором, тщательно приглаженным даже на затылке, — он удивил лохматых учеников нашей Школы. Фигура, прекрасный рост, изящное платье, изысканные манеры (он был лицеистом), конечно, составляли резкий контраст с бедно одетыми учениками Школы. И к тому еще на мизинце А.Я. Головина было кольцо — кольцо с бриллиантом!

Да простит мне читатель, что по поводу этого кольца я отвлекусь немного в сторону от воспоминаний о прекрасном художнике А.Я. Головине.

В 1920 году, в России, я после многих хлопот получил, наконец, разрешение для проезда по железной дороге в деревню, где была моя мастерская. Я собирал в дорогу краски, кисти, а также платье, сапоги, занавески с окон — все, что годилось для «обмена» в деревне на хлеб, молоко, масло, — и в ящике стола нашел, как оказалось, уцелевшее у меня кольцо «с бриллиантом». Это кольцо с бриллиантом, но не с настоящим, а подделкой Тэта, я отыскал в столе среди другой мелочи — осколков цветных стекол, обрезков материй, бус, покрытых от времени чудесной патиной греческих и римских древних монет,.. — все это было когда-то «натурщиками» для меня в моих исканиях гармонии красок в декоративной работе для театра...

Когда я надел это кольцо себе на палец, подумав — вот я и его сменяю на фунт-два масла, верный слуга Алексей, человек «умственный», посмотрел и ужаснулся.

— Снимите, нешто можно это теперь? Так что за него погибнуть можно... Не надевайте. Ей-ей, убьют!

Но я не снял.

Сидя после в переполненном вагоне, я держал кольцо на виду у всех и спокойно курил, посматривая на своего Алексея, пугливо озиравшегося из-за моего кольца вокруг.

Тэтовский бриллиант блистал нахально.

Пассажиры полно набитого вагона — мешочники, солдаты, власти, — увидев кольцо, замирили...

Ко мне подошел человек в кожаной куртке, в черном кожаном картузе, с наганом у пояса. Согнав с места соседнего пассажира, он уселся против меня и пристально смотрел на меня.

— Рублей пять дали, товарищ? — спросил он меня, показав на кольцо.

— Нет, оно стоило всего два рубля, — ответил я.

— Снимите, товарищ... — повелительно предписал он мне. — Я-то ведь вижу, а то кругом народ волнуется: думает, оно настоящее...

* * *

Так и в Школе живописи в Москве — давно то было — не понравилось кольцо Головина, а вместе с ним и сам Головин — его элегантный вид, пробор, изысканный костюм и то, что говорил он нежно.

Но писал этот «франт» лучше других — что делать! — и за это получал от преподавателей похвалу и благодарность.

Нередко я встречал А.Я. Головина у Поленова. Он делал рисунки для кустарей: по его рисункам вышивали, ткали, делали ковры, мебель... Они печатались тогда в «Мире Искусства».

Отправляясь в свою поездку на Север, в Архангельск, я пригласил с собой А.Я. Головина. В Архангельске мы смотрели с ним церкви, работы крестьян, дуги, сани, рубахи, вышивки, валеные сапоги... Любовались и разглядывали их узор, окраску...

На Парижской выставке 1900 года он выставил свои прекрасные майолики, мебель...

* * *

А.Я. Головин человек был замкнутый. Он не говорил о своей жизни. Но где-то глубоко в нем жила грусть, и его блестящие красивые глаза часто выражали тревогу и сдержанное волнение.

Головин был спрятанный в себе человек. Никто из нас не знал, где он живет. Он часто уходил куда-то и пропадал.

— Посылал за Александром Яковлевичем. Он опять куда-то пропал... И где искать его? По его адресу его никогда не застанешь дома... Декорации не готовы, придется отложить спектакль... — говорил не раз директор Императорских театров, любивший Головина В.А. Теляковский...

И он был добрым человеком. Он никогда ни о ком не сказал ничего плохого. Никогда ни на кого не обиделся. Деликатная натура его кротко принимала все хулы и несправедливости — он никогда не бывал зол или гневен. Он был кротким человеком и нежно учтив. В нем всегда жило чувство прощения ко всем. На всякое злое мнение, на несправедливость и непонимание он только махал своей мягкой и женской рукой и, смеясь, говорил:

— Пускай... Что же делать!..

А.Я. Головин чрезвычайно нравился женщинам. Они перед ним распускали крылья своих чарований и вдохновляли его в творчестве. Он написал много чудесных пастелей красивых женщин. Но порою — очень странных, страшных...

Головин никогда не пил никакого вина и не курил... Но слабостью его были конфекты — он уничтожал их целыми коробками...

Сколько раз А.Я. Головин говорил мне, что он нежно обожает Аполлона и красоту античного мира!..

* * *

Я познакомил В.А. Теляковского, вскоре после его вступления в управление московскими Императорскими театрами, с А.Я. Головиным, и тот поручил ему декорации к опере Корещенки — «Ледяной дом»... И сразу же А.Я. Головин сумел показать силу большого художественного вкуса.

В декоративной мастерской я видел у него Кустодиева, работающего в качестве помощника, и Анисфельда...

Его балет «Волшебное зеркало» было нежно и изящно¹. Но ново — и пресса ругательски ругала и его, как ругала и меня, и Врубеля.

В его творчестве — в театральных эскизах — любимым мотивом его было как бы изящное кружево, тонкая ювелирная работа... Он был как бы зачарован изысканностью орнамента... Его рисунки костюмов замечательные... Он был изящнейший художник...

Мир праху прекрасного художника, доброго человека, приятеля, встреченного мною на пути жизни.

Рассказ старого монаха

Кубенское озеро большое. С одного берега не видно другого. И высится вдаль, как бы выступая из вод, каменный монастырь.

В эпоху удельной Руси, в междоусобие, сюда ушел младший брат князя Вологодского и поселился на камнях маленького островка на озере Кубени. Пошла молва об отшельнике, стали почитать его и ездить к нему за советами. Слава его росла, все говорили о нем как о человеке праведном и кротком. Услышал об этом и старший его брат, князь Вологодский, и послал однажды к нему слуг с подарками и нарядами княжескими и просил его вернуться назад в Вологду. Тот благодарил, но не вернулся. Тогда в другой раз послал к нему слуг старший брат и приказал им ослепить его, и они ослепили его. А после на месте том, на маленьком острове, вырос большой каменный монастырь...

Вместе с В.А. Серовым мы взяли лодку на озере этом и поплыли на другую сторону. Плыли долго и убедились, что озеро Кубенское — мелкое озеро, вода светлая, все дно видно, песок, камушки, рыбешки бежали от лодки нашей, и как стрелы пронеслись крупные рыбы.

Остановились мы у берега, покрытого сочной травой и осокой. Утки стаями взлетали перед нами.

На берегу увидели мы жалкую нищенскую постройку — из бревен с одним окном и покосившимся крылечком.

Мы постучались, дверь отпер нам большого роста, с густыми волосами и седой бородой, старик-монах.

¹ Так в рукописи.

— Войдите, здравствуйте! — просто сказал он.

Убогая изба, и в ней стол, скамья, аналой с книгой в углу, образа. Перед образами лампада. Помню на столе тарелку с рыбками, похожими на кильки, хлеб, бутылку и рюмку.

Монах, предложив нам сесть, опустился на скамью. Тут я заметил огромный рост его и богатырские плечи. Он смотрел на нас черными глазами, отяжелевшим взором. Спросил — кто мы и откуда, и, когда узнал, что мы художники, как-то сразу повеселел и попросил выпить — «вот винцо!» — и закусить рыбкой.

— Только вот солона не в меру, — сказал старик, угощая нас.

Я заметил:

— Какое хорошее у вас озеро, раздольное.

Он согласился:

— Чего же еще? Приволье здесь и радость, и берега ласковые. Летом рай земной. Красота Творца Всевышнего...

И через несколько минут он рассказывал нам:

— Вот по весне лед идет, из реки Кубино, а там треба, ну, и шествуешь... В челне нельзя — лед сшибет. Бывает вода во-о! — монах показал на шею, — Дары держишь и Евангелие над головою. Холод, вода холодная... Ведь вот, кажется, утонешь — ничего, мелкое озеро. И что бы тут? Ничего, не простужался. Сила во мне есть, а уж стар я... Голос был у меня. И посейчас вот... Вот рюмка налита, глядите-ка!

Монах уперся глазами в рюмку с водкой, раскрыл рот и громко густым басом вдруг возопил:

— Высокопреосвященнейшему господину нашему, митрополиту...

И под воздействием мощных звуков его голоса водка вся вылилась из рюмки на стол.

— Видите, голос-то у меня какой! Все знают. За голос-то и подносят... Ну, да слабость это. Живу я здесь в пустыни один. Кругом никого. Это вот вы зашли, редко кто завернет, а то деревни тут далече. Все по ту сторону. До Каменного-то монастыря верст пятнадцать есть. Хожу туда... Ну, дадут вот, что ли, рыбку соленую, а что скоромного — ни-ни, никогда...

— А давно это вы в монахи пошли, отец? — спросил я.

— Давно... — И, помолчав, он добавил: — Через женщину, соблазнился я женщиной... Теперь я монах, а ее благодарю и каждый день приношу молитву за нее, аз, грешный...

— А почему? — заинтересовался Серов.

— А потому, что она в том не виновата, красота... Я был семнадцати годов, служил в лавке купцов Зверевых. Дуж парень я был. Волосы, как у Самсона, кудрявые. Вот так я и соблазнился... И я так ее полубил, что все бросил — и лавку, и отца, и мать. Только ею и жил. И дожидался ее по оврагам да загородам целыми днями и ночами... И наберу я, бывало, цветов, красоты земной, когда придет она, надену на нее цветы и невестой своей называл ее. Что бы она ни захотела, все делал... Воровал... Да ловко так! А она не была свободна, замужем. Я и не знал ничего долго — все лгала мне... И ее я тут, как узнал, чуть не убил за неправду... Очужался и ушел в затвор, стал Писанию учиться и принял сан монашеский... Вот и все... И в Вологде не был с тех пор я. Не мог смотреть мест тех, где шаги ее шли... И слышал я, что стала она жизни блудной, красота ее сгубила ее... Вот и все... И слышал я, померла она. Долго я ее видел

в сонном видении, глаза ее видел, — а как померла, то более не видел... Вот и все... Да соберу я цветов на лугу, посмотрю кругом — никого нет. И брошу я цветы в ту сторону, где Вологда и там могила ее, и молюсь я, и плачу. И так легко и радостно станет в душе моей. И жалко мне, так жалко чего-то.

Монах остановился, в глазах его блеснули слезы, но тотчас же, оправившись, он прибавил: «Ну, вот и все...»

— И верю я, — продолжал он, — что в смертный час придет она после вздоха последнего моего. Вся она, белая и красивая, вся в цветах, ясная. Но молчат уста ее и никогда не скажут ничего, ни хулы, ни греха... И аз, грешный монах, в вине тону-щий, приемлю неведомо грех и грешу, бросаю по весне цветы туда, в ту сторону...

Старик махнул рукой в пространство и опять прибавил только свое: «Вот и все...»

Мы стали прощаться.

Взяв в свои руки медный крест, висевший на его груди на грязном подряснике, монах сказал:

— Да хранит вас светлая правда Господня и мир человеческий! Простите меня...

Мы вышли. Озеро было тихое, и облака, большие, розовые, отражались в нем, и чайки, блестя крыльями, в вольном полете носились над водой.

Минули года, умер В.А. Серов, и жена его Ольга Федоровна рассказала мне, что последняя фраза Валентина Серова перед смертью была: «Вот и все». И вспомнился мне старый монах на Кубенском озере, к которому зашли мы в годы юные, в годы надежд.

Арестанты

В детские годы часто видел я из окна дома нашего, по Рогожской улице в Москве, толпу так называемых бродяг. Вели их по улице под конвоем солдат или полицейских. В зимние морозные дни, одетые в лохмотья и опорки, они имели вид иззябших, очень бедных и жалких людей. Все обитатели Москвы привыкли к такой встрече. Говорили: «Ведут арестантов, бродяг, мазуру», т.е. мазуриков, мошенников. Особые конвои тюремной стражи, с саблями наголо, водили по Москве в кандалах преступников, приговоренных к каторжной работе. Ввели этапным порядком, на каторгу. И лязг кандалов сопровождал их. Прохожие останавливались и смотрели на каторжан, подавали им милостыню через конвойных солдат, приговаривая: «На калачик примите». И крестились.

* * *

Прошли годы. Революция.

Впустили всех арестованных политических, да и других кстати. Временное правительство, веря вдохновенно в величие свобод, не думало о тайных человеческих злобах. «Теперь все поймут и все станут как херувимы». Но каждый понимал свободу только для себя, и углублялись взаимные счеты, и зависть обуюла душу русских людей.

И в эти дни гнали арестантов. Толпы их становились все многочисленнее. Но по виду были они другие, и одеты были иначе. Часто это были попросту хорошо одетые горожане. Но вели их, как и прежде. Во все времена одинаково водили по Москве виноватых русских людей, арестантов.

Как много виноватых, всегда казалось мне. Виноватыми были прежде нарушители собственности, воры, мошенники, бродяги бездомные, алкоголики, скандалисты, хулиганы, политические враги (впрочем, последних больше в каретах возили). Ну, а теперь кучами гонят собственников, владельцев имущества, торговли, земли, своего дома, квартиры, мебели, словом, достатка...

«Страна виноватых, — думал я. — Все виноваты. Вот страна Россия, страна виноватых! И всё водят одни других: прямо по улицам, под конвоем. А другие смотрят. Скучно! Всё арестанты, сколько! О, Господи!»

— Кого ведете-то?

— Кого? Мазуру!

Завтра — других ведут.

— А это теперь кого?

— Домовладельцев.

— Виноваты, значит?

— Конечно, виноваты! Ишь, разжились. Построит дом и пьет кровь с жильцов как паук.

— А офицеров-то чего гоните?

— Вот те покажут теперь, как им честь отдавать, дисциплину!

— Виноваты, значит?

— Еще бы!

Особенная толпа молодых, задумчивых, очень задумчивых людей. Политики, вероятно? Оказывается — студенты. Гонят. Идут быстро.

— Что это? Кого гоните?

— Студентов.

— За что?

— На сходки не ходят. Сделали забастовку. Надоели, говорят, сходки. Каждый день на сходку собираться велят. Дважды в день.

— Вот странно! За сходку прежде гнали. Теперь — «зачем не идешь», гонят. Все виноваты!

Виноваты купцы: «зачем торговали». Гонят. Глаза у всех вытаращены, у купцов-то. Виноваты, что торговали?

— Конечно, виноваты, эксплуататоры!

У тех, кто ведет этих эксплуататоров, — глаза как надо, ровные, а у купцов выпучены от удивления.

Вследствие постоянной виновности российского народа глаза получают выражение удивления — выпучиваются, как говорил мне приятель, комендант дома, где я жил, Ильин. Человек серьезный и умственный, ранее бывший заварщиком пирогов у Эйнема. Человек красный больше от алкоголя, чем от «внутреннего уклона». Говорил: «Ум теперь у всех раскорячился, глаза растопырились...»

— Ишь ты! Нынче народу что гнали, — говорит Дарья Марье. — Ну, и глядеть жалко, сердешные, идут, а глаза, как у раков, выпучены.

— Кого гонят-то?

— Социалистов.

— Чего это?

— Из человеческой кожи сапоги стали шить, дешевле выходит.

— Вот что! Поди ты. И носки?

— А кто знает! Только много их прогнали...

— Виноваты, значит?

— Еще бы!

— Анфиса Ивановна, посмотрите в окошко. Вон, видите, гонют кого-то. Смотрите, кажется, этот, высокий-то, муж Натальи Николаевны — Алексей Васильевич... Голубушка, он, он! Ведь он кадет. Гонют прямо под арест. Матросы гонют. Сколько их! Страсть! Матросни-то...

— А сегодня утром иду это я у Цепного моста. Матросов гонят — ну, сколько! Ужас! И глаза у них, как у тараканов, выпучены. Глядят, как звери.

— Виноваты, значит?

— Объявили себя. Мы, говорят, конные матросы, и начали бунтовать. Ну, им и показали. Сказали, будет вам, говорят, гордиться, что матросы вы. Довольно, говорят!

— И вредителей сегодня прогнали, видела я нынче утром. Попались, голубчики.

— Еще бы — вредители.

— Вот что.

— Да как же?

— Тюрьмы всеобщие строятся, а они-то построят, глядь, рассыпется. Ну, арестанты, само собой, бегут кто куда.

— Опять же лови их! Тоже и их сажать надо — вредителей. Сколько заботы со всеми — беда.

Что же это?

Не сплошная ли тюрьма Россия? И есть ли в ней невиноватые? Оказывается, нет. Чем-нибудь да виноват.

* * *

Лежал я у бабушки своей, Екатерины Ивановны Волковой, больной. Было мне восемь лет. В углу комнаты стоял иконостас. Иконы древние. И в серебряной ризе одна побольше. А в ней, под ризой, длинные фигурки угодников Божьих. Много их написано в иконе. И спрашиваю я бабушку свою: «Что это за человечки в ризе?» А она так добро и ласково отвечает: «Это сорок мучеников».

— За что же, бабушка милая, их мучили? — спрашиваю.

— За правду, — отвечает бабушка. — Не любят люди правды — так их и замучили до смерти.

— Вот так штука, — думал я. — За правду!

А сам-то я четыре плитки шоколаду съел, а сказал отцу, что одну. Он меня и отодрал за уши. «Врешь, — сказал, — захвораешь ты от шоколада». Так, значит, я за неправду мученик, а они за правду? Сказали правду, а их и замучили.

— Бабушка милая, а где их замучили? В Москве? — пристававал я с расспросами, так как маленьких человечков в серебряной ризе мне было жаль.

— Нет, — говорит бабушка, — это давно было — в Царьграде.

— В Царьграде? И там царь был?

— Был, — ответила бабушка.

«Как странно», — думал я.

— Бабушка милая, отчего же мучили их за правду, и царь не заступился?

— Ну, знаешь ли, помолчи, а то у тебя температура поднимется, — ответила бабушка.

Я помалкивал и лежа в постели думал: «А странно это вообще — мучить людей!»
Пришел отец. Я обратился к нему насчет мучеников. За что мучают? Он отвечал — за ложь, за зло, за злую волю, неправду.

— Нет, — сказал я отцу, — нет, мучают за правду! Посмотри-ка вот на этих человечков длинненьких, на иконе. Вот их замучили за правду, сорок мучеников!

— Помолчи, — ответил отец, — а то у тебя поднимется температура. Доктор не велел с тобой много говорить...

Тихо было в комнате, ночь. Горела лампада в иконостасе, а в окне синее темное небо, кровли сараев и большой тополь. Там двор, который я любил. Травка зеленая летом на нем растет, и обожаемый мною кучер Герасим, толстый, с серыми глазами, в малиновой рубаше, живет там на дворе. Этот-то мне скажет, за что мучают человечков, — он знает.

А края ризы освещались лампадой, и было мне жарко. Хотелось мне взять этих человечков, вынуть из ризы и погреть их под одеялом. Они были такие несчастные, худенькие. И голые ребрышки у них...

По выздоровлении я бегал по двору и увидел Герасима в конюшне. Конюшня просто замечательное место: лошади, тепло, пахнет сеном, навозом. Ах! Как хорошо жить! Герасиму я рассказал о мучениках и какие они хорошие. Он ответил, что все они угодники Божии, и вина не пили, и табачища никогда не курили, — и вздохнул.

Я смотрел на него и думал, какой он толстый, вот его нельзя в ризу вставить, и вином от него пахнет. А там, на иконе, все такие худые. И притом его не мучили еще.

— Скажи, голубчик Герасим, как это мучают людей и кто мучает?

— Как мучают-то? Да так, бросают в темницу и бьют кажинный день, есть не дают.

— За правду? — спросил я.

— И за правду, и как придется. Иного за дело, за пьянствие, и почем зря сажают.

— А потом под ризу и молятся?

— Нешто можно, это срамота пойдет всех под ризу сажать. Отбирают, кто жизни праведной и вина не пьет, а то всех разве можно!

* * *

Когда из окна дома я видел, как гнали арестантов, то думал: «Вот опять в темницу ведут, бросать будут и бить».

Как было жаль их, всех этих виноватых за правду! Кому бы сказать? Заступиться? Их будут мучить, а потом спишут икону с них, замученных человечков с голыми ребрышками, и поставят их под ризу, зажгут лампаду и будут молиться. И зачем это так делают? Странно...

Дом честной

В июльский день, когда уже нивами полной и желтой ржи покрыты холмы и доли России и синие васильки радостно мигают в ней, когда жужжат мухи и раскаты далеких гроз несутся в небесах и дождь свежит жаркий день, — я ехал на мельницу ловить рыбу удочкой. На мельницу глухую, в лесу, на реке Нерле. По краям, обросшим ольхой, ехал я в места, похожие на рай, и, право, это был рай земной — старая

мельница. Вез меня знакомый крестьянин, Иван Васильевич Баторин, человек хороший, рассудительный, серьезный, так сказать, настоящий крестьянин. Семейство большое, трое сыновей и трое дочерей. Сам он старший был в семье.

Ехали мы лугами... День, красота! По обе стороны овсы и рожь, и трава около проселочной дороги покрыта цветами кашки. Дикая рябина в цвету, в небе весело, синее оно, и кучами клубятся белые облака. Ах, как хорошо на свете жить, как хороши простые раздольные долины родины моей России!

— Ноне у нас праздник храмовой, — сказал Иван Васильевич, — Пречистая, приход-то наш. И я ездил, раннюю отстоял. Да вот потом к вам приехал.

— То-то, Иван Васильевич, — говорю я, — нынче ты нарядный. Картуз новый и рубаха голубая. Я думал — ишь принарядился! Так из церкви? Ну, поздравляю с праздником. Что же из дому уехал, поди, у вас веселье сегодня?

— Да, в деревне праздник. Я-то не пью. Ноне угощение у нас-то. Да мне что! Завтра успею, завтра родня приедет. Ну, а ноне я с вами поехал. Тоже повадно с вами-то. Я ведь любитель погулять этак, по охоте.

— Тпру!.. — остановил вдруг лошадь Иван Васильевич, — слепень одолевает...

Он слез с тарантаса и стал поправлять подпругу и дугу.

За ним и я вылез из тарантаса и сел на бугорке у дороги. В это время подошел к нам прохожий. Я узнал в нем крестьянина той же деревни, Павла. Поздоровались. Павел попросил как-то у меня работы — послужить, зимой ведь дела нет в деревне, — и я устроил его дворником в Москве. Человек он был кроткий и робкий. Как спросишь его что-нибудь, раньше, чем ответить, — поднимет плечи и переступает на одном месте, потом уж говорит.

— Откуда идешь, Павел? — спросил я.

— Да вот с карьера, от мастера железнодорожного, — показал он на длинные расчетные книжки, которые держал под мышкой. — За подписями иду в деревню, подписи набирать.

— Какие подписи?

— Какие! Мошенство, вот какие.

— Так, значит: кто грамотный и пишет — такой-то, ну и получает за это десять копеек. Вроде как он работал, выходит. А он и на карьере-то не был и на ремонте не был. Остальное получает главный мастер. Наживает. Конечно, плутовство одно. Ну что ж — посылают...

— Но ведь это мошенничество? — говорю я.

— Вестимо, плутня. Да кто скажет? Гривенник получает ни за что. Нешто скажет! Мы сели в тарантас, поехали дальше.

— Хорошо было сегодня в Пречистом, — обратился ко мне Иван Васильевич. — Певчие были, облачение новое, боголепие.

— Что ж, Иван Васильевич, певчие были, молитвы пели по случаю праздника храмового-то?

— Да, всякое разное пели.

— А ну, какую молитву?

— Как сказать, Киститин Лесеич, ведь не упомнишь.

— Но все же, что-нибудь торжественное?

— Все вполне хорошо, только не по-нашему.

— Как — не по-нашему?

— Нет, верно. Вот поют «аллилуия, аллилуия... двери, двери», а чего это — неведомо. А один, на станции, этак говорит мне: «Новую молитву знаешь?», а я говорю: «Какую?» А он говорит — новая молитва: «Отыми у всех, Господи, отдай мне».

— Кто это тебе сказал? Что ты! Это тебе нарочно.

— Да вот, нарочно! А он говорит — есть...

— Удивил ты меня, Иван Васильевич, нешто можно такой молитве быть? Совсем ты чудное говоришь, даже странно слушать.

— Верно, я-то неграмотный, а вот этот-то человек, что встречный, — Павел, этот, — ах, скажу вам, — грамотный, но беду дому нашему сделал вот какую! Сестру мою через него в молодости в землю отдали. Вот какой человек. Глядеть-то тихий, а лиходей. Вот, — продолжал он, — у нас в деревне, по осени, повадные вечером собираются в избе — парни, девки. Ну — и танцы, гармонь, пряники, угощения. Моя сестра на возрасте семнадцати годов. И она на повадные ходит, как и все прочие. Но вот отец Павла посылает сватьев. Значит, за Павла сестру мою прочат. Да Павлово дело крестьянское слабо. Он все больше по станции да по службе норовит. Не крестьянин он. Лошадь плохая, коровы нет, хозяйства нет настоящего. Значит — отказ. И просватали ее в Покров за вдовца, человека крепкого, молодого еще, двадцати шести годов, богатого крестьянина. Все — как надо, свадьбу сыграли богатую. Гостей что было!.. А через ночь одну он и подъезжает к дому нашему тройкой и входит с женой-то в дом к нам. Мы все обедаем. Вошел, перекрестился, за руку ее берет, ставит посреди горницы и говорит: «Берите ее себе, — говорит, — мне такой в жены не надо. Она порчена». Сел на тройку и уехал... В эту ночь-то у нас крыльцо все дегтем крашено, прямо вся деревня видит. Понять надоть, чего тут! И кто той чести рад. Спасибо этому-то, что встретили! Вот этому-то тихому крестьянину грамотному.

Он задумался.

— Ну вот, значит, дом наш бесчестный. Деревня знает. К колодцу сестрам пойти нельзя — воды взять. Смеются. Ночью парни стучат в окно, приговаривают: «Выходи, милашка Аннушка, погулять». Ну что тут, похабство одно! Она, значит, сознается нам. А дальше что?.. Первый бил отец, потом я, братья. Мать не хотела, уходила в сарай, плакала. Ну, били. Крепка была сестра Анна! Вот, Кинстинтин Лексеич, вот и посейчас слезы из глаз идут. Она, сердяга, мне говорит: «Вася, чего ты, бей меня по сердцу, по голове, скорей кончусь. Братец, не бей по грудям!» И вот били месяц, другой. Крепка была. Наконец, кровь пошла у ней горлом. Легла и стонать зачала. Видно, скоро конец. Не били уже больше. Померла через две недели — сама, значит, по себе. Соборовали. Прощения просила, поцеловалась со всеми: «Простите, — говорит, — горе вам принесла, не зная того».

— Вы убийцы! — сказал я.

— А-а, да... Убивцы, да. Да нет! Ну а сестры, а вся деревня? Ведь ежели это так, то надо допускать. Тогда что? Честь-то дому какая? Эх, убивцы! Вон он, убивца-то, пошел — тихой. Уби-ив-цы... тоже вы скажете... А как же жить в этаким обмане? Дураком все его крестить кругом будут. А он-то, прохожий с карьера, Павел, прямо в лицо смеяться будет. Да, убивцы! А сестры, что? Кто возьмет их в дом в жены-то себе? Этаких-то? А дети-то чьи пойдут в эдаком разе? Чье дитя-то? — повернулся ко мне Иван Васильевич и глядел на меня. — Убивцы, говоришь? А что ты делать должен с эдакой-то? Что ей дом твой, муж, отец, на что? Какой совет мужу от ее или радость жисти какая? Какая вера ей, какая правда от ее? Не-ет! Этаких правильному крестья-

янину не надоть. Он ее правильно отдал, ему не надоть такой. Чего, чего! Последнее дело, чести нет, шабаш. На эвтом весь дом держится, да и все.

— Да ведь он брал-то ее, Павел-то, посылал к вам сватов. Вы ведь отказали?

— Чего ж он? Бери ее, уводи, венчайся. Нет, он тоже — свадьбу править хотел с нами. Ровней быть. А он кто такой — мотыга! Как же это до венца невесту в полюбовницы определять, где же тут венец честной? Ну-ка, скажи. Пропала сестра Анна.

Иван Васильевич снял картуз, перекрестился, сказав: «Прости ей, Господи, а нам простить никак невозможно. Дом честной дороже жисти».

* * *

В 1915 году я заехал в дом крестьянина Баторина. В доме я застал Катерину, мать семьи Баториных. Состарившаяся Екатерина Ивановна стряпала на столе в избе творожники. Увидав меня, она ласково обрадовалась.

— Здравствуйте, родной, Кистинтин Лисеич, как Бог милует? Все ли здоровы?

— Где же Иван Васильевич? — спрашиваю я.

— Тоже на войне. Вот Григорий радость принес: убили на войне, за землю посто-ял, за нас, родимый. Убили. Пишут письмо-то полчане: на штыках повис у их, с лошади сняли. Конногвардейский он был.

Катерина вытерла нос фартуком и ушла за печку. Я молчал. Выйдя из-за печки с заплаканными глазами, сказала, обратясь ко мне:

— Убили нешто, за честь, а вот жаль мне Анну-то, дочь. — Катерина заплакала. — Пошто сгибла?

— Что же ты, Катерина, — говорю я, — не защитила? Отправила бы ее.

— Да как? Ведь две-то дочери. Еще ведь их замуж надо отдавать. Теперь отдали хорошо, уж внучата есть. А то, поди, кто возьмет? А ему-то, Павлу, я сто двадцать рублей давала, что за жисть скопила тихонько. А он туда-сюда. Говорит, мало! Слабый он. Ах, горе! Кажинную ночь во сне Аннушку вижу. И венец на ней смертный. Ну вот как заря утренья — пунцовый.

Мельник

Камин пылал, веселил всю большую комнату дома моего — мою мастерскую.

На больших фарфоровых вазах горело золото контрастами с темно-синими высокими окнами и розовым штофом драпировок. Большие тени ложились от шкафов и стола по деревянным сосновым бревнам мастерской. Силуэты огромных елей торжественно глядели в окна. Горизонт далеких лесов был таинственен...

Как прекрасна Россия, какая музыка в образе твоём, в холмах твоих, в дорогах, бегущих туда, туда, где будто счастье. Там, за этой далью, другая жизнь. Там что-то оставлено, забыто, что-то манит, зовет несбыточной радостью, родной, ласковой, чудесной, которой не было в жизни, но будет, будет, подожди. Что это? не смерть ли?

Когда дни стали короче и последние поблекшие листья падали с обнаженного леса, когда снегири в красных жилетах чирикали у окон на ветвях обнаженной сирени, когда в прохладе осеннего воздуха пахло хлебом и дымом овинов, когда приветливой глядел огонек в окне соседа, как-то к ночи приехал ко мне приятель и вошел в мою мастерскую.

Сказал: «Здравствуй! Господи, как хорошо у тебя».

Собаки мои бросились к нему, поднимаясь, клали на него лапы, урчали носами, взвизгивали от радости. Я сейчас же распорядился о чае и закуске. Подали маринованную щуку, утку, вальдшнепов, бруснику, моченые яблоки, рыжики в сметане, грузди, жареного леща, окорок ветчины и водку, настоенную гонобобелем, деревенские лепешки на масле, варенье. Приятель мой был голоден. При свете лампы я заметил, что он похудел.

— Ты сильно похудел, — сказал я ему.

— Похудеешь, — ответил он. — Хочу отдохнуть у тебя от всего этого веселого, от Москвы. Какая закуска! Грузди, рыжики, красота! Да ты Крез! Ах, если бы на душе было столько добра, сколько у тебя на столе. Как здесь осенью хорошо... Люблю ее, в ней есть бодрость. И зеленое небо горизонта, и эти лиловые облака с синими краями. Вчера все деревья, и березы, и липы, покрылись сотнями каких-то маленьких птичек. Это они собираются стаями и хотят лететь за границу, далеко. Как весело чирикают и прыгают по обнаженным веткам. Все веселые такие, толстенькие, какие-то чижики. Хорошо, брат, на этом свете. Да и страдаем-то мы от потери созерцания природы, от ненужных трудов и непонимания.

Приятель мой развеселился. Он стал весь сразу каким-то другим. Лицо сделалось красным, и весело смотрели его желтые смеющиеся глаза.

В мастерскую вошел низенького роста старик. Звали его дедушка. Другого имени у него не было. Жил он у меня по случаю того, что ему нигде было жить. А раньше, давно, был он мельником, охотником, рыбаком.

— Кискинкин Лесеич, — обратился он ко мне. — Выдь-ка! В моховом-то болоте как волки, чу, воют.

— Да что ты? — И мы вышли с приятелем на лужок перед домом. Через ели было видно моховое болото. Почти над головой светил полный месяц. Мы стояли молча. Тишина, ели, темная, осенняя земля, ее бугры в тенях были почти черны. Ночь молчала. Глубокий свод неба сиял в звездах, и посреди — полный месяц ясный.

И вдруг таинственная ночь покрылась звуком, странным и протяжным. Где? Не то в земле, не то близко, далеко, и откуда идет — не поймешь. Его подхватил другой, третий, и, все повышаясь, вой слился в странную гармонию, отвечавшую настроению ночи. Он как бы дополнял ее. Сразу сделалось жутко и печально. Как смерть, как кончина любви! Звуки воя были сильны. В них слышался дружный протест. И сразу оборвалось. Сразу наступила тишина.

— Их боле пятка, — сказал дедушка. — Во где, у Остеева или у Грезина.

Мы стояли долго. Ничего. Приятель сказал: «Перестали».

— Да ты спицу зажег, папиросу раскурил, — сказал дедушка. — Они, брат, видят, хитрая тварь, понимают, боятся. Враги — сами знают.

— А вот летом-то, дедушка, — их не видать, — сказал я. — Никто не встречал.

— Они тут смирней овцы, около стада ходят, хоть что, пастух-то знает. Хитры они. В чужой стране работают. Верст за сорок. А живут здесь. Так уж, чтоб их здесь не замали. Потому выводок у них здесь, молодые. Берегут их, что люди.

Мы вошли в дом, подали самовар.

— Как у тебя хорошо, — сказал приятель. — Живешь ты замечательно. Правда, в чем дело? Никто так не живет!

— Это верно, — сказал дедушка, — точно. Киститин Лесеич живет очень хорошо. Потому он от рук своих живет, и никому от этого обиды нет. И вот в округе говорят:

ён, говорят, от рук своих живет, боле ничего. Планты спишет, и денежки пожалте, боле ничего. Шуку списал и корзину мою. Ну вот — как живая! Наши в деревне говорят: «Видали? Сто рублей ему за картину рыбак дал — деньги. Чего ж не жить? Рука такая, за руку платят».

— Это верно, — сказал приятель. — Но вот скажите, дедушка, отчего это он, этот Киститин Лесеич, не все время списывает? А то так просто шляется. Рыбу удит. Вот и сейчас без дела зря сидит. Ежели бы он все время списывал, то денег бы много нагрел. Богатей бы стал. Почему он зря время много теряет?

Дедушка пристально посмотрел на моего приятеля и сказал:

— Да, вот что, видишь! Ишь ты, что! Ну вот скажи, барин хороший: ежели одному человеку все золото отдать, что с ним будет?

— Что будет? Будет он самый богатый человек, — отвечал мой приятель.

— Нет, — сказал старик, — его не будет. Его сгубят, убьют.

— Почему ж? Он защитится, наймет защиту.

— Нет! Вот эта-то самая защита его и сгубит, убьет.

— Особенный ты человек, дедушка, — сказал мой приятель.

— Я-то какой? Никакой. Таракан я малый. Был я, барин ты мой хороший, мельник. Мельницу держал в Кержачах, что на Волге поодаль. И был самый что ни на есть волк. Мошенством занимался. И наказал меня Бог, как надо. Да, вот что.

— Как же это? На тебя что-то непохоже, — возразил приятель.

— Да вот... Знаешь, за помол-то мы мукой берем, мельники-то, ну и отсыпаем. Мужик прост. И отсыпал я почем зря. А в доме вино держал. Помольцу-то рюмку, а то две, три. Он и рад, лучше меня нет. И помолу у меня конца нет...

Он помолчал.

— Только сын у меня был, Андрюша, десяти годов. Я его тоже научил отсыпать-то, да... Только в Покров Андрюша — где? Пропал! Помольцев много. Никто — ничто. Нет Андрюши. Туда-сюда, не утонул ли? День, ночь, Андрюши нет, беда! Помольцы приезжают, уезжают, мельница большая, восемь постав, кулей муки куча. Утонул, значит. Я за становым, объявляю — не ушел ли, аль что, утонул? Становой приехал, с ним подручный, народ смышленный. Смотрели, глядели, ну — везде. И за овином все, и за кулями, а его-то сподручный, шустрый такой, пришел и говорит: «Неладно дело». Утром пришел, становой еще спал. Пошли. От одного-то куля дух идет. Посмотрели, а в куле Андрюша мукой засыпан. Так, померши, и голова проломлена.

Старик помолчал и положил кусок сахару на перевернутый стакан.

— Ну, я, денег у меня гора. Пошел в церковь и отдал, мало взял себе. Жена все скорбит, к родным отправилась в Заозерье, родина ее. А я бросил мельницу — на кули, муку смотреть тяжело — и ушел на Мурман, в Печенский монастырь, обет дал на три года. Меня Трифоном звать. Отец Ионафан — праведный человек. Утешал меня и сеги плести научил. И вот давно-то я один. Жена померла.

— Ну что же, нашли убийцу?

— Кто знает? Нет, — говорили, будто не нашли. Да кто виноват, нешто он? Нет — я. Не отсыпай! Волк я был. Из-за мошенства все, вот что.

— Нет, дедушка, ты не виноват. Виноват, да не очень. Это, брат, убили душегубы, злые люди. Твой сын невинно пострадал, — сказал я. — У них было право жаловаться на тебя. Но убить они не смели. Это были подлые убийцы.

— Вот и Инофан так мне говорил, но и меня не прощал. Епитимью на меня наложил, и ночью на колени, кажинную ночь на камень, ставил. «Молись, — говорит, — а как Святого Трифона увидишь, прощение, значит, тебе пришло».

— Ну что же, видел?

— Видел.

— Как же так, скажи, — спрашивает мой приятель.

— По ночи стою на коленях в тундре, на камени. Молюсь. И так тяжело-тяжко мне. Чую, вина во мне есть. На лестовице третью тысячу считаю: «помилуй мя». Гляжу, а сбоку-то идет этакий согбенный. А на спине жернов большой. Остановился, да ко мне повернул лицо, такое белое, и глядит — строго. Думаю я: «Пошто мельник идет, и хлеба не родит земля здешняя...» Вдруг голос:

«Прия зависть, яко Дух Свят, много крови невинно ляху дурость ваша. Не спасетесь хитростью во тьме дьявола. Стерва тленная, дураки вы все!»

И пропал. И голос его грозный прошел во мне, и затрясло меня всего. Упал я оземь и сказал только:

— Помилуй!

— Вот так история, — заметил мой приятель. — Так и сказал: «Дураки вы все?»

— Да, родной, так и сказал. А голос у его, как у начальника какого или царя. И вот встал я, и стало мне так легко, сразу, и ясно вдруг, что — кто я. Вот — пылина, таракан малый, ну вот — ничто. А ране думал: «Кто я! Умный, какой такой!» И совести своей не слушал, и других за людей не почитал. Волк я был. А теперь — кто? Таракан... И рад, да!

Старик встал, перекрестился на угол, на икону, поклонился и пошел спать.

— Ну, страшную штучку рассказал старик, — сказал мой приятель. — Вот совесть что делает, какая история! Жернов на спине несет: в жернове-то пудов десять, поди. «Дурость ваша!» Вот так! А пожалуй — верно.

Апельсины

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницы студентов
Шатаются...

Мы были молоды, и горе еще не коснулось нас... Весной, после долгой московской зимы, мы любили «пошататься» в предместьях Москвы...

— Пойдемте в Петровско-Разумовское, — предложил Антон Павлович Чехов.

Брат его Николай, художник, уговаривал идти в Останкино: «Там Панин Луг и пруд, будем купаться».

— Нет, купаться рано! — сказал Антон Павлович, — только пятое мая. Я не позволю, я доктор. Никого еще не лечил покуда, и кто будет лечиться у меня — тоже не знаю, но все-таки — врач и купаться запрещаю... Да, я врач! Диплом повешу в рамке на стену и буду брать за визит. Раньше не думал об этом. А забавно, как это в руку при прощании незаметно сунут свернутую бумажку. Буду брать и опускать глаза или, лучше, — глядеть нахально: посмотрю, что дали, и положу в жилетный карман.

Этак, развязно. Вот, так! — показал А.П. — А откуда что немного денег есть. Пойдем, Исаак, — обратился он к Левитану, — сбегает в лавочку и купим на дорогу чего-нибудь поесть.

У Чехова мы всегда встречали много незнакомых нам людей: студентов-сверстников его, рецензентов, журналистов, — в это время он писал под псевдонимом Чехонте.

На сей раз в его комнатке в гостинице «Восточные номера» был особый человек. Небольшого роста, белобрысый, лицо в веснушках, рот дудочкой, светлые усики и сердитые брови. Серые глаза глядели остро, сразу было видно, что это человек серьезный. Говорил он резко и очень строго. И смешливости, какая была в нас, не было и следа.

Он говорил, обращаясь к брату Чехова:

— Медицина не наука, фикция! Никакой уважающий себя человек не возьмет этой профессии. Я это сознал и выбрал филологический факультет.

Он сдвинул брови и вытянул губы в дудочку.

«Какой сердитый!» — подумал я.

А.П. и Левитан вернулись. Положили покупку на стол.

— Ну, собирайся, Николай, — сказал А.П. — Давай вот эту корзинку.

— Антоша, послушай! Новичков уверяет, что медицина ерунда, фикция, а ты теперь лекарь, плут и мошенник, — говорил брат А.П., завертывая в бумагу печеные яйца.

— Да, да, верно, все верно, — ответил А.П.

— Половина кладбищ жертва докторов, — сказал Новичков и сдвинул бровки.

Антон Павлович засмеялся.

— Я один сколько народу уморю! Вы замечательный человек, Новичков. Вам надо бы юридический факультет. Вы — судья праведный. Ну, идем!

Мы вышли.

Как хорошо на улице! Тарахтят колеса по сухим мостовым, солнце светит радостью, синие тени отделяют заборы, деревья и резко ложатся на землю.

Какой контраст: солнце, весна, воздух и накуренная комната номеров!

Идем, а навстречу процессия похорон. Шагают понурые люди, жена, наклонив голову, у самого гроба; потом кареты, извозчики с родными, знакомыми.

— Весной лучше жениться... Как вы думаете? — обратился Антон Павлович к Новичкову, но тот ничего не ответил.

Сады, за заборами бузина, зеленая, яркая. Тверская, Ямская, лавки, магазины, церкви. А вот и «Трухмальные» ворота.

— Читайте, — сказал Николай Чехов, — что написано: нашествие галлов и с ними двенадцати языков. Вот они здесь когда-то были, чувствовали. Изящные кирасиры, гусары, гвардия, французы, испанцы, итальянцы, саксонцы, поляки, далматийцы, монегаски, мамелюки и сам Наполеон. Когда он увидел впервые самовар, здесь в Москве, то... И брат Николай пропел:

Что за странная машина!
Усмехнувшись, молвил галл.
Это русская утеха,
Это... русский самовар...

— Правда, мне надо быть поэтом? Как я стихом-то владею.

Вдруг и новый наш знакомый Новичков открыл ротик и с серьезной миной запел тенорком:

И всегда вперед стремился
Ты, идейный человек,
Сеять правду не скупился,
Презирая жалкий век.

Мы остановились и глядели на Новичкова. Что будет дальше? Но он презрительно замолчал.

А.П., севши на край канавы, на травку, вынул из кармана маленькую книгу и что-то быстро записал.

Мы шли сухой дорогой — шоссе. Справа прятались и выглядывали из пуховых весенних садов деревянные дачи, были в садах вишневые в цвету деревья, яблони, акации и желтоватые пышные тополя. На всем блестело солнце. Домики были, как детские игрушки: весело раскрашены, ставни закрыты. Москвичи еще не переезжали в них.

Слева протянулось большое поле Ходыньское. Мы подходили к Петровскому дворцу. Я любовался архитектурой. Такие формы бывают на старых фарфоровых вазах, где пейзажи и все дышит радостью, обещанием чего-то восхитительного, фантастического...

О своем впечатлении я сказал Антону Павловичу.

— Да, — ответил он, — вся жизнь должна быть красивой, но у красоты, пожалуй, больше врагов, чем даже было у Наполеона. Защиты красоты ведь нет.

Дворец стоял на кругу ровной площадки. Впереди шло Петербургское шоссе. По кругу, прислоненные к большим серебристым тополям, стояли длинные скамьи, выкрашенные в яркий зеленый цвет. На одну из них мы сели. Все были голодны и занялись едой.

К нам подошел разносчик, снял с головы лоток, поставил рядом на скамейку и пропел: «Пельсины хороши!»

Антон Павлович спросил:

— Сколько, молодец, за всё возьмешь?

Разносчик сосчитал апельсины.

— Два сорок.

— Ну, ладно, я дам тебе три рубля, только посиди часок тут. Я поторгую. Я раньше торговал, лавочником был. Тоже хочется не забыть это дело.

Разносчик посмотрел хитро:

— Ваше дело, пожалуйста.

Он взял трехрублевую бумажку, положил в большой кошель, который спрятал за голенище сапога, сел рядом и добавил:

— Чего выдумают!

Подошли две женщины с серьезными скромными лицами и с ними старик в военной фуражке. Он взял апельсин в руки и спросил, почем.

— Десять копеек, — ответил Чехов.

Старик посмотрел на разносчика и на Чехова:

— Кто торгует-то?

— Я-с, все равно-с, — сказал Чехов. — Мы сродни-с.
— Пятнадцать копеек пара. Хотите? — сухо предложил старик.
— Пожалуйте-с, — согласился А.П.
— Ну и торговля! — сказал разносчик. — Этак всякий торговать может.
Подошел какой-то франт изнуренного вида. На руках его были светлые лайковые перчатки. Спросил, почем апельсины.

— Если один, то десять копеек. Если десяток, то рубль пятьдесят.
— То есть как же это? — недоумевал франт, — считать не выучились еще?
Взял апельсин и ушел.

Какая-то молоденькая барышня спросила, сколько стоит десяток.

— Рубль, — ответил Чехов.

— Дорого. А полтинник хотите?

— Пожалуйте, — ответил Чехов.

— Ишь, запрашивают! — Барышня выбирала апельсины и клала сама в мешок.

— Может быть, кислые они у вас?

— Кисловаты, — сказал Чехов.

Она посмотрела на него и выложила все апельсины по одному обратно.

— Попробуйте один, денег не надо.

Она облупила апельсин и съела.

— Кисловаты, — сказала барышня и ушла.

— Ну и торговля! — возмутился разносчик.

— Хотите сорок копеек за десяток? — вернувшись, предложила барышня.

— Хорошо-с, пожалуйста, — ответил Чехов. — Только без кожи.

— То есть как же это — без кожи?

— Кожей отдельно торгуем-с.

Барышня глядела удивленно.

— Кто же кожу покупает?

— Иностранцы-с, они кожу едят.

Барышня рассмеялась.

— Хорошо, давайте без кожи, но это так странно, я в первый раз слышу.

Чехов уступил апельсины с кожей.

— Ну, торговля! Торговать-то — надо орешек в голове иметь. А это что? Отец тебя мало, знать, бил. Этак-то товар отдавать дарма. Дурацкое дело не хитрость. Али деньги крадены.

Разносчик сердился.

— Десяток остался. Это берем себе в дорогу, а вот пяток бери себе, — сказал ему Чехов.

Мы пошли дорогой на Петровско-Разумовское. Но, пройдя немного, услышали сзади свистки. Оглянулись и увидели бежавших в нашу сторону двух городских и разносчика.

Мы остановились. Разносчик показывал на нас городovým и кричал:

— Эти самые студенты!

Подбежали полицейские:

— Пожалуйте в участок.

— Зачем в участок? — взъерошился Новичков.

— Не-че, пожалте! Евонные пельсины усе съели. Пожалте, там разберут.

Чехов смотрел на разносчика. Левитан возбужденно повторял:

— Ах, как подло, как подло!

Нас повели, как полагается — как арестантов, сзади и спереди по городовому. Они поглядывали на нас серыми глазами, похожими на пуговицы. Видно было, что им нравилось то, что поймали студентов и ведут их на суд праведный.

У самой Петровской заставы ввели нас во двор и приказали подняться на крыльцо грязного одноэтажного кирпичного дома с обвалившейся штукатуркой. Мы вошли в комнату, где пахло затхлостью и сыростью. Комната разделялась деревянной решеткой желтого цвета, за решеткой был человек в котелке, с русой бородкой и румянцем во всю щеку. Увидев нас, он завопил.

— Книжники, фарисеи, попались голубчики! Папиросу немедленно потомственному почетному!

Нас провели в другую большую комнату участка, где справа за столом сидел писарь. Мы присели на лавки. В тишине комнаты было слышно, как перо писаря скрипело. Полная печали, с заплаканными глазами, плохо одетая женщина, наклонясь, шепотом говорила писарю:

— Андрей, а может, и не Андрей, кто знает? А ее канарейкой звали, а кто Шурка-Пароход...

Вдруг быстро отворилась дверь справа, и вошел высокого роста пристав в короткой венгерке со светлыми пуговицами. Кудрявые волосы, ухарски причесанные на пробор, кольцами закрученные усы. Карие глаза квартального улыбались.

Севши за стол, покрытый синим сукном, он посмотрел на нас. Сложил руки вместе, опять посмотрел и сказал:

— Ну, которые? Коршунов!

Городовой выскочил вперед и стал докладывать:

— Вот эвти студенты у ево, — он пальцем указал назад, не глядя, — у разносчика усе пельсины поели, а деньги не платят.

— Сколько у тебя апельсинов съели? — спросил пристав.

— Так что очинно много, ваше благородие.

— Сколько?

— Так что боле ста.

— Много, — заметил пристав. — Как же ты, ярославец, парень не дурак, дал съесть сотню апельсинов четверым без денег?

— Признаться, ваше благородие, я маленько отлучился по нужде.

— Коршунов! — крикнул пристав.

Городовой выскочил к столу.

— Где он стоял? — спросил пристав.

— На кругу, ваше благородие.

— Ты что же это, братец, на кругу? Там дворец, а бегаешь по малости? Невежа!

И, обратясь к нам, сказал:

— Прошу, подойдите. Документы при вас?

У Левитана была бумага на право писать с натуры от московского губернатора, князя Долгорукова, у меня тоже. Чехов дал карточку журналиста, брат Чехова не имел ничего, а Новичков как-то ушел раньше.

Пристав перелистал документы и обратился ко мне:

— Вы, значит, художники будете?

И, глядя на карточку Чехова:

— Чехонте? Знаю-с, читал... Скажите, как же это? Трудно верить, чтобы по двадцать пять апельсинов съесть, даже очень трудно!

— Да нешто у меня считано, может, и меньше, — говорил разносчик.

— Садитесь, — предложил пристав.

Он с улыбкой обратился к Чехову:

— Скажите мне, в чем здесь дело?

Чехов коротко рассказал эпизод с апельсинами. Квартальный пристально посмотрел на него и, переведя глаза на разносчика, сказал:

— Послушай, молодец, ты говоришь, апельсины поели они без тебя? А знаешь ли, они, вот эти люди, теперь должны за это в тюрьму идти, а тебе все равно не жаль их?

— Чево ж, это нешто дело, так торговать-то. Я чего, ничего, пушай на чай дадут. Нешто это торговля!

Пристав полез в карман.

Я вынул полтинник и хотел дать разносчику.

— Нельзя, — сказал пристав и, протянув разносчику какую-то мелочь, крикнул:

— Ну, пшел вон!

Тот выскочил.

— Ах, ну и плут, а не дурак, — и, обратясь к нам, пристав показал на дверь справа.

— Зайдемте закусь. Коршунов! Подбодри самоварчик.

В это время раздался крик в соседней комнате, где сидел человек за решеткой.

— Матрена Гавриловна, кто дал денег на обзаведение? Я дал. Кто тут? Я — потомственный, почетный...

Входя в квартиру пристава, Антон Павлович спросил его, кто этот человек за решеткой.

— Рогожкин, старообрядец, он запойный. Трезвый когда — хороший человек. А запьет на месяц — беда, куролесит. Вы думаете, я его сажаю? Нет. Сам идет. Сажай меня, говорит, Алексей Петрович, в клетку, яко зверя. Я, говорит, дошел до пустыни Вифлеемской. Любит меня. Трое суток только огуречный рассол пьет, не спит. Но потом ничего, здоров опять. Полгода не пьет ничего и не курит. Это вы все замечайте, господин Чехонте, все напишите!

Комната пристава была с низеньким потолком, окна выходили в сад. На подоконниках стояли длинные ящики с землей, на которой взошел посев какой-то зеленой травки. Все было неряшливо. Грязная салфетка на комод с зеркалом, и фарфоровая собачка перед ней; в углу умывальник, на стене ковер, на котором висели две скрещенные сабли, и тахта внизу. Пыль на коврах, большое кресло и венские стулья. Все говорило о жизни холостецком.

У круглого стола пристав и городской хлопотали и ставили закуску. Пристав налил рюмки водки и сказал Чехову:

— Вы ко мне заживайте! Вам тут есть что увидеть. Такие ли апельсины бывают. На днях один богатый человек покойника купил да как ловко всех провел. Вышло так, что себя похоронил, чтобы от жены отделаться, заела его. Но та нашла его. Так он в Турцию уехал.

— Что это за красавица? — спросил Антон Павлович, показывая на портрет красивой женщины в круглой раме, висевший на стене.

— Это? Это владычица моя, моя жена.

Пристав клал пирог с капустой к нам на тарелки и часто наливал рюмки с березовкой.

— Отличная настойка, — говорил он, — Коршунов почку собирал.

— Да-с, владычица моя, подлинная красавица. Я ведь кавалерист-сумец. У меня есть сын. И вот позвал я к сыну репетитора, а он у меня ее и украл, — пристав указал на портрет. — Вот и разбил семью. Слышал, что где-то он теперь философию права читает.

Он помолчал.

— Хорошенькое право для молодого человека отнять женщину вдвое старше и разбить жизнь... Что вы скажете, господин Чехонте? — наливая рюмку с березовой, спросил пристав, обратясь к Антону Павловичу.

— А на гитаре он не играл?

— Нет, не играл.

— Ну, вот я и не знаю, — ответил Чехов, — отчего это они так легко отнимаются...

Толстовцы

Близ города Руза Московской губернии жил я летом у приятеля своего, крестьянина Комаровского. По приезде к нему в глухую деревню увидел я по другую сторону небольшой речки деревянный дом-усадьбу, стоявшую на возвышенности. Позади усадьбы был большой сад, а от крыльца спускались к реке тропинки. По этим тропинкам шли люди. Они несли ведра к речке и, набрав воды, уходили к небольшой деревне, поблизости от дома, где я остановился. Люди были в поддевках и рубашках, похожие на крестьян, но в шляпах, — самый характер их внешности был какой-то другой, не крестьянский.

— Что это за люди? — спросил я у Комаровского.

— Толстовцы, — ответил он. — Они здесь живут, в доме-то. Сняли на лето и живут. Их человек тридцать пять, все молодые, и девицы. Воду носят в деревню, помогают крестьянам в труде. Они — кто их знает? — молчаливые. Живут дружно, не пьют, не курят. Тихие. Да крестьяне не больно их любят. Я-то хорошо не знаю. Так, люди молодые, учащиеся, а летом в деревне хорошо, дешево, ну и живут здесь...

Я писал с натуры красками. Сидел у речки. Берега ее покрыты ольхой. Лето. Вся небольшая речка в бочагах. Два крестьянина ловят рыбу. Ходят в воде по пояс, подводят сеть под кусты и бьют по ним палкой — батают, т.е. выгоняют рыбу от берегов.

С того берега реки подошел один из толстовцев и, сказав «Бог помощь», стал тоже бить палкой по берегу и по воде.

— Эва, ты... ты брось. Без понятиев пугать неча. Книжку читай, а рыбу пугать брось, — закричали ему рыбаки.

Толстовец ушел. Рыбаки вылезли и остановились около меня, смотря, что я списываю. Раскуривают махорку.

— Что же вы его прогнали? — говорю я. — Он ведь помочь вам хотел.

— Уж больно одолели. Теперь маленько поотвадились, а то беда. Гляди ты, с утра в избу лезет. Печь топит, воду несет. Ну, ладно, неси. А то вот пишет в книжку: сколько в доме народу, сколько пьешь воды, чаю, сколько кур, сколько кура пьет, собака тоже. Ну — чего? Печку тебе растопляет, дует — часа два. Глядишь, не горит.

Что тут? Какое дело? Ну, наши обложили их по трешнику в месяц, значит, за их работу. Да и то мало... Что выдумали — трудовая помощь, говорят... А девицы их тоже читать придут в избу. Читает, читает. Да, хороший они народ, только одолели очень. Беда!

— Это у них от жисти господской на разум вышло, — вставил другой рыбак. — Без дела-работы скучно жить. Вот и надумали трудовую подмогу, значит. Но только от этого много зря выходит. Лучше бы свое дело вели правильно.

— Где тут, — сказал первый. — Он хворостину два часа рубит: не привычный. А их граф, говорят, пашет и жнет все сам. И лапоть вяжет. Сам на своем обиходе живет, значит. А они покуда не обучились.

— Да, но ведь они хотят вам помочь! Люди хорошие, — возражаю я.

— Верно, так, все верно! Только — вот, помоги деньгами, а то — что? Только утеху свою над нами пытаться. Деньгами — нет, тпру! За ягоду, яйцо — тпру, не дадут лишок, торгуются.

— Ну, озябли, — сказали рыбаки и пошли ловить рыбу дальше.

* * *

Меня обступила компания толстовцев. Молодые люди с длинными волосами и девицы.

— Можно ли посмотреть?

Подошли. В руках почти у всех книги. Все скромные и задумчивые. Девицы, когда я взглядывал на них, отводили глаза в сторону. На лицах ни у кого не было улыбки. Кавалеры имели вид «сурьезный», углубленный. Заметно было, что они все знают и еще что-то, чего не знают другие. Это чувствовалось и придавало им какую-то особенную властную важность.

— Позвольте вас спросить, — сказал один, — с какой целью вы пишете несудоходную реку?

— Речка эта очень красива, — объяснил я. — Заросла кустами, пышными, веселыми. Как прозрачны струи вод ее! Нравится мне, потому и пишу.

Толстовец стал в позу:

— Картины есть утешение праздных и сытых, — сказал он, — искусства идут вразрез идее учителя. Например: музыка служит развращению праздных масс.

Когда он заговорил, все девицы, повернув к нему свои головки, выражали взорами поощрение. Когда же заговорил другой, они все повернулись к новому оратору и так же пристально и поощрительно его слушали. Это было как-то особенно характерно. Видно было, что ораторы влияли на них, и нравилось девицам все, что бы они ни говорили.

— Сомневаюсь, — вставил я, — чтобы Толстой думал так. Это отдает Калибаном...

Толстовцы посмотрели на меня вопросительно.

Я пояснил:

— Калибан — это «Буря» Шекспира.

— Да, — ответил презрительно толстовец, — но Шекспира не признает учитель.

* * *

На террасе дома моего приятеля сидели за столом приехавшие к нему соседи. Они покупали жеребенка. Пили чай. Присел и я. Один из соседей сказал:

— Чудной это народ живет тут у вас — толстовцы! Лошадь хотели купить для верховой езды — не купили. Я был у них наемни на собрании. Один доказывал, что жить людям не надо боле, — что, говорит, людям одно мучение выходит на свете; больше ничего. Граф, сам учитель их, в годах, значит. Ну, видит — дитев у него много, и все дочиста графья. Как быть? К тому же и кругом народу всякого родится уйма. Что такое? Куда народу столько родят, все для мучения на свете. Притом много без капиталу, конечно. Ну, и мыкаются по свету: нужда; горе; войны-сражения. Все труд да труд. С ребятами забота — расти их! Беда, думает. Куда от дитев деться, от народу: много оченно. По этому случаю стал у него ум раскорячиваться. Кончатъ надо это дело. Шабаш, Малашка, закрывай крышку. Довольно! Людям пора в голову взять, что довольно глупостями заниматься. И конец. Прикрывай все, более не надо дитев, помирай. И конец. Не будет более мучений здесь на земле человекам.

Ну, это он читает, на собрании-то, а у нас парнишка такой бедовый, Димитрий Уткин, и говорит ему: позвольте, говорит, господин барин, вам ответ дать. Тот говорит: пожалуйста. Конечно, говорит, ваше дело господское, вы на барышень ваших глядите, и все оченно хорошо. А у нас в крестьянстве никак невозможно. Конечно, вам о всяких пустяках думать не приходится, даже срамно. У вас и других делов много, а у нас не то. Хоша я себя возьму. Вот два года женат. Сын у меня. Жена тоже у меня женщина твердая. Но ежели бы я на нее глядел да глаза пялил, и боле ничего, она, может быть, и молчала бы, но подумала бы, муж у меня или дурак, или порча на ем есть. Ваше, говорит, дело господское, вам эти глупости в голову и не идут. А у нас, господин барин, засмеют, на улицу нельзя выйти будет... Ах, Уткин, озорной!

А он и еще:

— Вы, господин барин, говорите про одеялы. А таких людей нет. Нешто возможно, ежели под одеялом с ней выдержать! Это невозможно. Конечно, вам, господам... Ну, и озорной Уткин, смеху-то что было!

* * *

Однажды рано утром зашел ко мне приятель Комаровский и рассказывает:

— Встал я рано, смотрю с террасы, а толстовцы вроде как взбесились, бегают по лугу перед домом, друг другу что-то машут, собираются по трое, четверо, толпами. Волнение у них. Я спросил: «Что это?» А мне Ольга Игнатьевна говорит: «У них нынче радость, у их графа, учителя, позавчера дочь родилась...»

Как-то по весне следующего года Комаровский приехал ко мне в Москву и в разговоре спросил, не был ли у меня толстовец.

Я удивился:

— А зачем ему приходиться?

— Да, неприятность вышла. На него три девицы подали в суд на содержание ребенка. Будто они от него родили. Но он сын богатого отца, очень боится, просил меня быть свидетелем, что с такими-то никогда я его вместе не встречал. К тебе хотел прийти. Девицы подали в суд, кто с кого, сколько. Женился кое-кто. Трудно разобрать, поди, дело такое.

— Не выдержали светлого учения, — говорю я приятелю.

— Да ведь мальчишки, молодые. Из них какой хочешь крендель пеки. Старших не слушаются. Грех один. Вот скопцы отчетливей работают... И чего только на Руси муки-мученической бывает от учения этакого разного.

На смерть Репина

Умер Репин... И одолевает меня чувство тревожного огорчения... Когда умирает большой человек, оставляя нас более одинокими на тайной земле нашей, сознание осиротелости охватывает душу. Утрата его — как бы потеря защиты близкого, справедливого, доброго гения от горестей и ничтожеств жизни сей.

Когда Репин был жив, радостно было сознание: есть Репин. Было менее одиноко... И вот не стало еще одного великого сына родной страны, России. Репин был подлинным живописцем, художником-артистом. В произведениях Репина — мощь, огромная изобразительная сила: кованая форма, ритмически крепкий рисунок, пламенный темперамент.

Он был живописцем больших психологических достижений, передававшим живописью, с яркостью необыкновенной, характеры, бытовой и духовный облик людей. Они живут на его холстах, предстают нам живыми, неотразимо впечатляющими, особенными репинскими людьми. Из русских художников он был, пожалуй, наибольшим мастером мужского портрета, и тем же непревзойденным мастерством отмечены и многие его сюжетные картины: «Грозный», «Николай Чудотворец», «Пушкин в лице» и др. В них полет истинно художественный.

Но у Репина был и враг: тенденциозность, литературщина. На него имел влияние Стасов, из рук Стасова чистый сердцем Репин, художник прямодушный, принял чашу нашей российской гражданской скорби, и в нем, внутри душевных его переживаний, мук и запросов, началась борьба. Парящий высоко над суетным миром художник то и дело низвергался на землю с высот Аполлона. Честный, ищущий правды Репин как бы поступал на службу к идейщикам своего времени, становился жертвой сентимента, полу-истины, фрондирующего вздора. Заслушался могучий Репин-живописец фальшивой дудки гражданских плакальчиков. Ему казалось, как стольким русским «идейным» художникам, что главное в живописи не «как», а «что», и в этом «что» должна быть помощь «страдающему брату», гражданский протест. Так-то усомнился Репин и в Чинквеченто, и в Ватикане, заодно признав рыночным «ажиотажем» и барбизонцев, и импрессионистов...

Великий Толстой, писатель земли русской, облачившись в крестьянскую рубаху и портки, пошел пахать землю. Лошаденка белая, хилая да многострадальная соха... И вот пашет Толстой, учитель и труженик. Умилительно, но ведь и забавно! Такой же кажется и картина Репина, пахущий Толстой.

Наша передовая интеллигенция пришла в восхищение. Профессора задумались, покачивая головами; студенты стали опрощаться; визжали от радости курсистки. А крестьяне понимали по-своему, когда случалось им услышать о Толстом. «Ишь, — говорили, — сам, сердяга, пашет, на свой обиход садится, на свои харчи». — «Нет, — замечал другой, — это он не зря. Понять надо. Он начальству показать хочет, что вот на каком одре крестьянин хлеб дает им, барам».

Эстеты фыркали. Зато радикалы многозначительно шептали: «Начинается!» Репродукции этой картины долгое время расхватывались. Очень понравилась. За что — неизвестно. Но понравилась. Не за живопись, нет, — за другое...

Как-то раз спросил я Илью Ефимовича — отчего у него пашет Толстой, а не просто крестьянин? Илья Ефимович ответил:

— Толстой хочет равенства.

К этой философии уравниения был чуток Репин от юности. Так, на некрасовские стихи — «Выдь на Волгу: чей стон раздается?.. Этот стон у нас песней зовется, то бурлаки идут бечевою» — Репин написал знаменитых своих бурлаков, изобразив их какими-то жалкими, изможденными, какими, конечно, никогда наши волжские бурлаки не бывали.

Но тенденциозность его направлена была не только в сторону скорбей гражданских. Вот еще картина с Толстым, значительно позднейшая. Толстой на фоне цветущих яблонь — кверху поднятая голова, в радости умиления дарами земными... Восхищенный Толстой... Это так естественно. Но почему все восхищались? К чему нужен был именно Толстой на фоне яблонь? Разве женщина в цветущей зелени была бы хуже Толстого? Или виноваты мы, что не утратили способности восторгаться прекрасным садом, весенним солнцем, цветами, и нужно, чтобы художник, словно прощая нам эту глупость, сказал своей картиной: не бойтесь, ничего, и вам можно, ведь Толстой тоже восхищался!

Нет, правда Репина оказалась другой. Именно там, где Репин тенденциозно указывал на истину, он куда слабее. Подлинно великим остается он именно в тех местах своих картин, где радуется живописи как чистый художник, где горит его энтузиазм живописца. — Когда Репин радовался, как художник, он бодр и прекрасен («Вечерницы», «Крестный ход», «Запорожцы»), и насколько слабее в его творчестве то, что в нем от надуманной идейности.

И все — от чистого сердца. Репин хотел помочь скорбям, обличить несправедливость людскую, всех осчастливить. И разве ему не удалось это? Только не живописной проповедью, конечно, а великим даром от Бога, и потому останется в истории русского искусства Репин не только как выразитель гражданской своей эпохи, но как живописец чистой воды на все времена.

Трагик

У артистки театра Корша Смирновой устраивались для друзей вечеринки. Муж ее, Н.Е. Эфрос, был «мужчина серьезный», но до чего непоседливый! Бегаёт из одной комнаты в другую, вертится, вечно о чем-то хлопочет. Будто с утра ключом его заводили, вот как заводят игрушки.

Так и в тот вечер... Эфрос не унимался ни на минуту, подходил то к одному, то к другому актеру, спрашивал, где что идет, и записывал в книжечку.

Был тут и другой человек, тоже серьезный и задумчивый, — забыл, как его звали. Но, помню, за ужином этот человек все норовил сказать, должно быть, что-то весьма дельное и значительное.

Он встал, поднял бокал и начал официально:

— Милостивые государины и милостивые государи...

Но актеры говорить ему не дали. Только он начал — «Драматическое действие в своем начале имеет две неопровержимых конкретных формы, первая из них...», как актер Климов перебил его:

— Господа, канделябры в прошлом году были фарфоровые, а нынче бронзовые сделались. Странно! Почему бы это, Надежда Александровна?

Все стали смотреть на канделябры, удивлялись.

Оратор пробормотал:

— Виноват, я не окончил мысль... В действие самого действия, в сокровенной его психологии...

Но актер Вовка опять перебил:

— Ежели кошке дать валерьянку, так она...

Оратор умолк, снова начал. Однако опять кто-нибудь заметит: «На пять тысяч держу пари, что это не рябиновка, а бузиновка», — и покажет бутылку, а гости смотрят и кричат: «Врешь!»

Так и не дали договорить задумчивому человеку.

В чем дело? Оказывается, уже давно, чуть ли не год перед тем, актеры сговорились мешать этому красноречию. Год целый длится эта история. Задумчивый человек всем жалуется: «Не дают говорить», а самому невдомек, что они его и на вечера для того самого приглашают.

Еще был на вечеринке известный доктор, психиатр Баженов, одетый изысканно. Он постоянно складывал руки, как бы молясь или прося прощения у молодых актрис. Те позволяли ему целовать себя, подставляя щеку. Он целовал, закрывая глаза, и замирал надолго. Они называли себя именами и двойными фамилиями и кокетничали, каждая по-своему. Одна щурилась — что очень шло к ней, и она это знала, другая, обладательница больших глаз, — старалась расширить их еще больше. Та говорила трепетно и немного как бы вздрагивала или пугаясь, та — небрежно-ласково, будто растворялась в истоме.

Был тут и Борисов, вечно подпевавший романсы, а в сторонке сидел мрачный, огромного роста провинциальный трагик Задунаев-Врайский и пил стаканами коньяк. Когда его спрашивали — «Что это ты коньяк хлещешь?», — он отвечал: «Глаза болят».

Как-то после выпивки, пения, веселья, уже к утру, гости стали расходиться. На подъезде Задунаев-Врайский остановился, склонил грустно голову и стал жаловаться:

— Живу, играю, веселюсь, а моя Ольга прошлой весной — ах! И всегда я чувствую себя скверно после веселья. Прошедшей весной умерла Ольга. Она похоронена вон там, отсюда недалеко, — он показал рукой вдаль Тверской, — на Даниловском. Еду к ней. Не могу! Еду.

— И мы с тобой поедem, — предложили все в один голос. — Все поедem!

Взяли извозчиков. До кладбища было верст пять.

Раннее утро, чуть брезжит свет. На пролетке я оказался рядом с очень красивой актрисой. На ней была большая шляпа с висящими вишнями и темный жакет с белыми обшивками, похожий на жука, гладкий и тугой, а талия была тонюсенькой. Как она нравилась мне — тогда, в это раннее утро, на Тверской! И жакет ее, и тонкая талия, и вишни в шляпе. Молод я был, и божественно-прекрасной казалась мне она в весеннем сумраке. До жути радостно было трястись рядом с ней на извозчике.

Когда мы въехали под каменную арку Триумфальных ворот, она обернулась ко мне и сказала:

— Ах, как хорошо, как торжественно. Ах, арка! Я чувствую себя маркизой, а вы — мой верный паж.

На кладбище Задунаев-Врайский отыскал могилу. Она была еще свежа. Трагик имел вид сугубо мрачный. Он встал на колени перед насыпанной горкой земли,

долго крестился и кланялся, касаясь головой края насыпи, и когда поднялся, на лбу его и на седевших уже волосах видны были комья глины. Он простер над могилой руки и дрожащим голосом сказал:

— Вот она, Ольга. Моя Ольга — здесь. Бедная моя Ольга! В Нижнем я играл Кина. Театр гремел. А она кашляла. Номера Трофимова — сырые...

Прекрасная актриса в шляпке с вишнями тоже истово крестилась и подносила к глазам батистовый платочек.

Трагик бил себя в грудь и рыдал:

— Не будь такой сволочью этот Линеви́ч, была бы она жива. Еще буду ему морду бить. А полицмейстер хорош! Дал убежать антрепренеру, бродяга. А доктора? Опе-рируют, вынимают легкие, прокалывают женщину, и это...

И вдруг растерянно посмотрел на могилу, на нас, кругом:

— А ведь могила-то не та, — сказал он.

— Что же ты, чертова кукла, зря нас возишь! — кричали ему актеры.

— За каким дьяволом тряслись этакую даль!

— Какая тут застава? — грозно спросил Задуняев-Врайский.

Ему ответили:

— Тверская.

— Да, ошибка! Та застава — Бутырская. И притом темно было. Стал я малость рассеян. Старость. Вне жизни я уже — понимаете? Вне жизни... Перепутал.

И затем, как бы обидевшись на нас, трагик добавил:

— Она похоронена в Ростове!

Васина супруга

Приехал ко мне в деревню приятель с женой. Пара была статная. Вася — великан, сажень в плечах, здоровенный. Она — тоже большого роста, красивая, румяная. Темные глаза, ровные жемчужные зубы и большой, какой-то положительный рот. Говорила немного нараспев и вкрадчиво. Была у нее дочь от первого брака, тоже большая и тоже положительная, хорошо училась и занималась живописью.

За обедом супруга спросила, что стоят в деревне яйца и творог. Я не знал.

— Ну вы все такой же, в облаках живете.

— А куры почему?

— Три рубля, — ответил я.

— Три рубля курица! Ну вот. А ты говоришь — деревня. В деревне все дороже.

— Да ведь это он нарочно, — вмешалась моя сестра, — разве это можно, чтобы три рубля? Зря болтает.

— Нет, не нарочно. Сама помню. Жили мы в Листвянах, на даче, Вася курицу захотел к обеду. Я послала. Так тоже говорили, два или три рубля.

— Что же, — поинтересовался я, — купили?

— Нет... Вы подумайте! Принесла баба курицу — худую. «Сколько?» — спрашиваю. — «Два рубля». Я и говорю: «Ты в Бога веруешь?» А она в ответ: «Я, — говорит, — вам не Бога продаю, а курицу». Повернулась и ушла. Подумайте! Нет, жить в деревне нипочем не стану.

Обед продолжался.

Посмотрев на мужа, она опять спросила:

— Ложки серебряные?

— А что? — удивился я.

— Не стала бы держать серебряных в деревне.

— Как же не стала бы, — вмешался муж, — да ведь у нас на даче тоже серебряные?

— На даче другое, — ответила супруга не без строгости и губы сложила бантиком. — Дача все же не деревня, там почище. Здесь все глаза пялят и прислуга тоже скажет — «серебро». Не очень-то хорошо.

Подали клубнику. Супруга не унималась.

— Своя?

Она посмотрела на мужа.

— Стоит ягоды собирать! Столько хлопот. В Москве прямо с лотка, и заботы нет. Так, в милых и положительных разговорах, прошел обед.

Чай пить мы пошли ко мне в мастерскую. Там на мольбертах стояли мои неоконченные картины.

Глядя на картины, она опять спросила:

— А вот рамки, я думаю, тоже дорого стоят?

— Дорого, — согласился я.

— А без рамок кто же купит? И повесить-то некуда.

За чаем разговор шел о том, сколько сахара кладется в варенье и что в Москве варенья готового сколько угодно, и дешевле.

Потом мы отправились с Васей на реку ловить рыбу.

Сидя в лодке на чудесной реке Нерли, у леса, как-то сразу стало хорошо и вольно. Цветные поплавки весело прыгали на светлой и ровной поверхности воды. Вечерело. Камыши и кусты ольхи ярко отражались у берегов. Насвистывала иволга. Когда поплавки окунались, мы вытаскивали горбатых окуней, золотых яззей.

На бугре показалась жена.

— Что, ловится? — издали спросила она.

В это время Вася вытащил окуня.

— Ах, прелесть, они вкусны, как сахар, — радовалась супруга. — А я по грибы пойду. Вот нашла подосиновик. Хоть и не едят их в Москве.

— Ушла, — сказал Вася и, вынув из кармана бутылку, разом выпил половину.

— Хочешь? — предложил он мне.

— Что ты этак коньяк пьешь? — заметил я.

— Нельзя, брат, только этим лекарством и спасаюсь... Смотри-ка. Это у меня повело.

Он вытащил большую рыбу. В сачке лежал крупный лещ и хлопал хвостом. Рыба в сажалку, повешенную в лодке, влезть не могла.

— Пущу-ка я его. Пусть себе плавает, — вздохнул Вася. — Пусть живет, а то его сейчас живым жарить станут. Я этого, признаюсь, терпеть не могу. Пускай другие жарят... Она-то ведь женщина, а это, страсть, любит... Будет обсасывать косточки и приговаривать: «Кушай! Ах, они как сахар».

Вася опять глотнул коньяку и охмелел. Пойманную рыбу он всю выпустил в реку, оставил только сонную, и стал купаться. Отплыл от берега, окунулся и, высунув из воды голову, сказал:

— Знаешь, ведь она, жена моя, тебя терпеть не может.

— Да что ты? Почему?

— А вот, конечно, главное: что ты небогат. Второе — живешь в деревне, художник. Все это, взятое вместе, ей не по вкусу. Будь ты фабрикант, помещик, инженер, адвокат, известный доктор, а то — художник. Это же, брат, ерунда.

— Позволь, — возразил я. — Ведь и ты архитектор.

— Не-ет. Архитектор не то. Тут вещь серьезная, — говорил Вася, вытираясь рубашкой. — Понять надо. Тут капиталом пахнет, домами доходными. И вот еще: терпеть она не может писателей разных. Это, брат, я вижу. Но она, конечно, никому ни за что не скажет.

— Будто? Да ведь она высшие курсы окончила.

— Да, окончила. Но эти курсы она в грош не ставит. Ты ей — Пушкин, Шекспир, Виктор Гюго, а она — «сколько они получали?» — подумает. Понимаешь? Подумает. Но не скажет. Ни-ни. Знает, что не годится. Вот что.

Мы вернулись домой.

Вечером, за ужином, Васина супруга говорила:

— Вот уж никогда не стала бы жить в деревне. Мухи, комары. Ужас. Конечно, вам ничего, вы картины пишете. В картинах все хорошо выходит, даже болото... А на самом деле: что в болоте хорошего? Просто гадость, и кому нужна картина с болотом?

Она торжествующе улыбнулась.

— Вы думаете, я дочь живописи зря учу? Ошибаетесь. Художницу скорее замуж возьмут. Мужу лестно, что жена его художница, а не просто так. Я и учителя позвала такого, который гладко и ровно пишет. Гладко — всем понятно, а эти ваши мазки разные для немногих. Жених-то, может, и не поймет вашей живописи, разных ваших импрессионистов, а гладкую всякий дурак понимает. Гладко, и рад.

Она встала и ушла с террасы.

Мы остались с Васей одни. Долго молчали.

— Ну что? — сказал он наконец. — Правду ли я говорил? Терпеть она не может людей, как ты, и называет их дурацкими мечтателями. Что она обо мне думает, не возьму в толк, но во всякую мою работу всегда вмешивается. А главное, при получении заказов — чтобы дороже брал. И, представь, бывает права! Что говорить, деловая у меня жена. Да только, только... так это мне надоело, что бежал бы куда глаза глядят. Вот уж понимаю, как в монастыри уходили, прятались в кельи, делались затворниками — наверное, все от таких баб. Я тоже в монастырь уйду.

— Ну, нет, тебя в монахи не возьмут.

— Это почему же?

— Да ты поди, посмотри на себя в зеркало. На лицо свое, потом на всю фигуру.

— Что же лицо? У монахов всякие рожи бывают.

— Нет, не возьмут, — повторил я с убеждением. — Посмотрят и не возьмут. Таких страдальцев нам, скажут, не надо.

— Почему же? А может, я и есть страдалец больше всех. Ведь души моей никто не видит...

Я пошел спать в сарай на сено. До чего хорошо спать на сухом сене! Никаких духов не сравнить с нашим русским сеном. Сбоку, в дырявой крыше сарая, видно глубокое летнее небо, усыпанное звездами. Собаки мои, клубочками съживившись, спят рядом. Слышно, как стрекочут кузнецы. Вдали трещит коростель. Ночь. Русская ночь в деревне! Какой гимн земли, равный величию небес...

— Ты спишь? — слышу голос приятеля.

— Нет. А что?

— Я к тебе, на сено. Жарко в доме, на сене лучше. Замечательная ночь! Месяц вышел над мелколесьем. Посмотри, до чего хорошо. Пахнет польнюю. Я, брат, в крапиву попал, ноги обожгло. Я — босиком...

— Зачем же босиком?

— Да, черт. Пошел тихонько бутылку доставать, а у тебя там еж бегаёт. Я испугался: урчит. Злой.

— Куда там злой, он тебя напугался — ручной.

Приятель залез на сено.

— Знаешь что? — сказал он мне. — Жена завтра хочет ехать. Я, говорит, не могу больше. Скука, говорит, и комары. Что тебе, говорит, здесь нравится? Что? На даче по крайности музыка, крут, знакомые, танцы, а здесь — просто ссылка, ссылка... Вот и поди. Что на это ответишь? Потом, говорит, эта птица противная, как дура, всю ночь кричит. Какой, говорит, это соловей! Да здесь и соловьев-то нет.

— Ты бы ей сказал, что в конце июля соловьи уже не поют. Это коростель трещит.

— Вот еще, — продолжал Вася. — На даче все друг с другом знакомы. Знакомства она любит! Только бы знакомиться. Она знакомится и говорит: «Муж мой в Нижнем только что окончил постройку собора». А я никогда никаких соборов не строил. Понимаешь? Я и говорю ей дома: «Что ты врешь?» А она — «Как глупо! — говорит. — Будешь ты иметь заказы, если не соврать. Все, — говорит, — врут и имеют заказы...» Опять же — верно. Она права. Но не нравится мне все это... Противно.

Мы проснулись поздно. Солнце заглядывало во все щели сарая, собаки радостно вертели хвостами.

Солнце розовыми лучами освещало березы, сарай и мой дом на пригорке. Длинные тени далеко ложились от деревьев и от нас на росистый луг сада.

Васина супруга еще почивала. На террасе мы принялись без нее за молоко с черным хлебом. Но скоро появилась и она, с нарядной большой брошью, наколотой у самого подбородка.

— Всю ночь мне спать не дала эта птица. Отчего вы ее не застрелите? Как орет и, должно быть, думает, что хорошо. Прошу вас, застрелите... Я уезжаю.

Сборы к отъезду были долгие. На кухне и крыльце слышались голоса. Какое-то беспокойство охватило всех. Бегали в деревню и обратно. Все что-то приносили. Сестра моя с серьезным видом носила банки с вареньем, корзинки с ягодами. У крыльца стояли подводы, кучера хлопали кнутами по сапогам и глядели вниз, раскуривая махорку.

Я чувствовал себя лишним. Супруга приятеля и сестра моя проходили мимо меня как-то особенно важно, как пароходы, — вот-вот загудят в трубу. Подводы нагружались корзинами, кулками, мешками, куры кричали, собаки лаяли. По лугу перед домом бегали женщины и мальчишки и ловили резаных кур и индюшек, которые умеют и без голов летать.

Наконец вбежала в комнату сестра:

— Ты перепортил все банки для варенья. Скипидаром пахнут, кисти в них ставишь.

Я молчал и чувствовал себя скверно. А Вася стоял в саду в сторонке, на нем было дождевое пальто, и смотрел он вдаль. Мне хотелось сказать ему: «Какая хорошая

даль!», но я чего-то опасался. Точно виноват был в чем. Крикнул ему в окно: «Иди, иди сюда!» Он, не оборачиваясь, махнул рукой, потом вдруг лег на траву.

Ко мне вошли в комнату — и он, и она.

— Ну, прощайте, — сказала супруга ласково. — Желаю вам наслаждаться здесь. А ты, может быть, остаться хочешь? — обратилась она к мужу.

— Да, я бы денек, два побыл еще, — ответил он робко. — Уж очень вдали там елка хороша. Вон там! Я бы пошел посмотреть...

Покраснев, она сказала быстро:

— Ну, желаю вам смотреть на елку, а я еду.

Подводы тронулись. Она не обернулась. За воротами мелькнула ее синяя шляпа с розовым шарфом. Сестра шла от ворот и тоже не взглянула на нас. Прошла молча к себе в комнату.

— Уехала, — сказал приятель.

И вдруг начал с диким топотом прыгать на одном месте, выходило вроде какого-то танца.

— Что ты, что с тобой, чему радуешься?

Но он продолжал прыгать все быстрее, притоптывая и выкрикивая:

— Гоню, выгоняю. Выдыбай, выдыбай!

И вдруг стал как вкопанный.

Я подошел к нему: в голубых глазах Васи осветились слезы.

Русалка

Однажды, — мне было семнадцать лет, — я поехал на охоту во Владимирскую губернию, по Нижегородской железной дороге, и слез на станции Боголюбово. Я любил ездить в неизвестные места, идти пешком со станции куда глаза глядят, по проселкам и тропам, а потом — лесами, болотами, лугами, берегами рек и озер русских...

Какая волнующая радость для глаз — эти долины, покрытые цветами, нежными и пахучими, эти зеленые дубравы, серые облачные дни или грозы и солнце, озаряющее рай земли нашей! Неизъяснима красота природы русской. Россия, Россия, несказанно прекрасна ты!

Долго шел я в тот день дорогой и тропинками и, пройдя опушку большого бора, увидел поля ржи и небольшую деревню, название которой было Грезино. Я зашел в первый дом, он был на отлете. Старик-хозяин принял меня, жена его Василиса Михайловна поставила самовар. Вынув дичь из ягдташа моего, тетеревов, хозяин сказал:

— Ну, вот это хорошо. Да, ну что, ничего! Я тебе, барин, его стготовлю. Тогда узнаешь Гаврилу Иванова. Да, я повар был, да! — и он ушел на кухню.

Дом был не крестьянский. Горница — большая, чистая, печь и кухня отделены. Оказалось, что постройка старая, уцелевшая от времен крепостного права, и хозяин еще помнил эти времена. Постройка дворовая; самый дом барский давно сгорел. Вся же деревня Грезино состояла из семи домов и окружена лесом.

На столе появился чудесно приготовленный тетерев, жареная утка и грузди. Мы с хозяином выпили, Василиса Михайловна тоже пила водочку. После выпитой рюмки обводила рот пальцем и говорила: «Крепка!» — и смеялась.

Хозяин рад был гостю, разговорился.

— Жили здесь господа бедно. Две девицы, незамужние. Я был молодой тогда. И такие-то девицы чистые, — старик набожно перекрестился, Царство Небесное, да хорошие такие, сироты обе. Звали их Тата и Аня. И вот... ничего... Только на музыке играли, фортепьяне, и пели, более ничего. И приехал это к ним одна раз эдакий, что вот вы, тоже молодой барин, и они, значит, рады ему. И гостил он долго, вроде жениха стал у Ани... Да вот тоже охота в нем была с ружьем ходить. Одна пошел, да и не вернулся. Ночь, а его нет. Туды-сюды, искать... Что тут! Ищут день, другой, нету его нигде. Место глухое у нас, машины не было тогда, и дорог мало. Заблудился, значит, закрутило. Только на пятый день выплыл. И где? Она — в семи верстах, к пойме, на Поганой Луже.

— На Поганой Луже? Где это? Почему поганая? — спросил я.

— А, да есть тут, — ответил старик, — не ходи. Такая это лужа — не лужа, а озеро в овраге. Вертит там, и место плохое. Вода глубокая, черная. И всегда по ночи хлещет и охает, и живет там она, эдакая, такая... Глаза у ней белые, а сама, волосы все зеленые, ну вот, как бодяга! По ночи поет — «Нет крови во мне живой, не ходи ко мне милой!» Да так жалостно... Много слышали наших-то. Да вот, был я молодой парнишка, ехал с отцом из Добрынскова. Ну, по ночи, и закрутило нас. Дорога-то — вроде та, да не та. Темно. Смотрим — спуск. Спускаемся. Вдруг чего-то захлестало внизу, вроде как кнутовищем по воде. Лошадь в сторону. Слышим, кто-то глухо так говорит: «Вот сто веков тебя бью, а убить не могу!» И чего это? Просто удивленье. Мой-то родитель тут и сказал: «Да воскреснет... расточатся врази...» А она-то в воду из череды, бурьяна, с берегу, хлясть, в воду-то. Вот-вот, я сам видел. Русалка! Она там живет.

— Как пройти туда, скажи мне, дедушка? — спрашиваю я Гаврилу.

— Хоша днем ничего. Утиц там много, но яма здоровая, дна нет. Ну и рыбы много, только не возьмешь, глыбока. Все корье да дубы в ей. Днем-то в солнце видать, страсть глубина. Это мельничий омут был... По старине там мельница стояла. Не ходи, закрутит. Пошто идти? — продолжал старик. — И вот на этой мельнице жил мельник. Сердитый, все молчал. И была у ево дочь, красы такой, что и не видано. И пела она песню в вечер, да так сладко и складно, что все дивились. А боле всего тому, что никогда ее в доме у отца, мельника, не видать. Не видали и за столом... А он вдовый был, с ним мать, глухая, старая была да работник, и более никого. Приедут дочь сватать, а он: «Нет, — говорит, — у меня никакой дочери!» А то видют: она около мельницы на мосту сидит, по ягоды с девицами ходит. Ну и краса, все говорят... Ну и поет... «Грезится вам, — говорит мельник. — Нету дочери у меня». А женихи-то, кто пытаются свататься, топнут. «А поет кто?» — «Кто знает, — отвечает мельник, — я не слыхивал...» Что тут?! Прошло это дело в город Володимир. Приехал архиерей святой водой кропить. Тонут — надо место освятить... Так что ты: архиерей утоп сам! Ну и мельник уехал, мельница сгорела. Вот Погана Лужа что!

Выслушав рассказ старика, я взял ружье и со своим лучшим другом, пойнтером Фебом, спросил у мельника дорогу, пошел на Погану Лужу.

Было пять часов дня. Идя крутыми берегами вдоль речки, покрытой чередой и зарослями ольхи, в лесах, ели и осине, часто встречались тетерева и рябчики¹.

¹ Так в тексте.

Я набил полный ягдташ дичи. Вечерело. И все же мне хотелось дойти до Поганой Лужи.

Я шел, а речка стала уже, и ушла потом в сплошной камыш и лесную заросль. Я поднялся в горку. Лежала глухая дорога, вроде тех, по которым ездят за сеном. Лес кончался, и частая заросль ивняка покрывала далеко до горизонта бугры песчаные.

Я все шел, поднимаясь. И вдруг дорога сразу — вниз. Внизу передо мною открылось как бы озерцо, почти круглое. По сторонам — заросший большими кустами ивняка, развалившийся, старый, темный мост. Темные столбы торчали из воды. А с другой стороны — обвал: седые ели попадали в воду. Темный омут был тих.

«Поганая Лужа!» — подумал я. Брошенная дорога к мосту и старые, гнилые бревна, покрытые мохом, и черный силуэт остатков жилья вызывали унылые, грустные чувства. Я пошел назад дорогой и повернул ближе к речке.

Становилось все темней. Иду, иду долго, — все ивняк. Опять спуск вниз. Что же это? Место — тоже Поганая Лужа, только совсем темная.

Неприятное чувство жути охватило меня. Я побрел назад, стараясь идти так же, как шел раньше. Сумрак сгустился, над ивняком выплыл серп месяца. Собаки нет около. Я свистнул и слышу, как вдали, там, на Поганой Луже, залаял Феб... Потом прибежал ко мне. Не заблудиться бы! Я быстро шел, и леса больше не было — все частый ивняк.

Вот уж и вовсе темно. Опять спуск... Темный омут внизу: тот же! Господи, что же это? Дед-то говорил «не закрутило бы»... Вот ведь крутит. И опять страх овладел мной. Я пошел прямо прочь от омута: уйти! Я не знал места, заблудиться было нетрудно... И вдруг, вдали, там, сзади меня, за буграми ивняка, я услышал голос и оцепенел. Он тихо пел, будто и далеко, и близко. Я остановился. Жуткой тайной легла тень на мою душу.

Голос пел:

Сиротою душу сделал
Ты, один среди людей,
Заплету бодягой кудри —
Вот мой горестный удел...

Не могу тебя ласкать я,
Жалок вид мой, холодна.
В волосах моих палава
И бодяга вплетена...

Я стоял и слушал. Мне так хотелось увидеть, узнать, кто это поет. Пробираясь кустами, я подошел к краю обрыва...

Внизу, по другую сторону омута, у самой воды я увидел костер. Огонь мерцал и отражался в воде. У костра никого не было.

Вдруг я услышал голоса и смех. С горки, приближаясь к костру, шли двое парней и вели лошадей. С ними была женщина в ярком красном платке, накинутом на плечи. Когда костер осветил их, я увидел, что это цыгане. Тогда я спустился вниз и крикнул: — Здорово! Как бы мне пройти к вам? Я охотник!

Они вскочили на лошадей и с криками «Бенгаро, Бенгаро» — умчались.

К рассвету я пришел в деревню Горки на реке Клязьме в 30 верстах от Грезина.

Копченое небо

Дремучий лес, высокая песчаная осыпь, внизу — небольшая река Шаха, по берегам сочные кусты ольхи. Рядом бедная небольшая мельница. Мельник — Никон Осипович, высокий мужик с серыми добрыми глазами.

Я поставил холщовую палатку недалеко от мельницы, у самой реки. Сижусь около палатки и пишу красками этюд с натуры. Перед палаткой стол и скамьи, а на столе самовар, баранки, калачи, балык, вино. За столом сидят приятели. Один — очень толстый, музыкант-композитор, умный и злой, другой — напротив — музыкальный критик Коля Куркин. А в двух шагах, на плотине, саженного роста архитектор ловит рыбу удочкой. Зовут его Вася, страстный рыбовод. Подпоясан он ремнем, на котором висит большой охотничий нож в черной кобуре, только что из магазина. У Васи в руках большая рыба. Он подходит к палатке и сажает рыбу в сетку, привязанную на кол и наполовину опущенную в реку.

— Какого, однако, карасищу поймал ты, Вася, — говорит критик. — Молодец, ловко рыбу ловишь.

— Во-первых, это не карась, — отвечает Вася, — а окунь. Ешь рыбу и не знаешь, а еще университет кончил.

— То есть как это, позвольте, не знаю? Нет, извините, я-то ихтиологию учил назубок, уж позвольте.

— Ах, ихтиолух ты липовый! Какой же это карась?

— По-моему, карась, брат.

— А вот ты лучше скажи, ихтиолух, где ловятся копчушки? — спросил толстяк-композитор.

Критик задумывается.

— А миноги?

— Миноги, миноги... Это, брат, не рыба...

— А сардинки?

— Ну, брат, это, конечно, в Сардинии...

— А где Сардиния?

— Сардиния? Конечно, в Сардинии... Я же не обязан знать, где что ловится...

В магазине продаются Ревельские кильки, сардинки, все вместе.

— А сига копченого ты ел?

— Еще бы, отличная штука, брат.

— Хорошо. Ну, а зачем у него палка внутри?

Бедный критик Коля Куркин хлопает глазами:

— Действительно — внутри у него палка. Зачем?

— Не знаешь, а говоришь, ихтиолог. Затем палка, чтобы он не рассыпался копченный. Понял? Вот, если бы тебя коптили, — толстый композитор говорил это, сочно выпив рюмку водки, — то палку вставили бы в тебя в живого. Ты бы, во-первых, сразу стал смиренный, а во-вторых, не писал ерунды. Понял?

— Что понял? Глупо! Людей не коптят...

— То есть как это — не коптят? Видно, брат, что ни черта ты не смыслишь, а еще лезешь критиковать музыку. Или забыл живые факелы Нерона? Это, брат, наверное, — жгли. Людей жгли. Нерон не очень церемонился.

Критик Коля смотрел виновато.

— Но не для того же, — сказал он, — чтобы их есть...

— Неизвестно, — возразил композитор. — А может быть, вот сейчас я здесь водку пью и закусываю балыком, а где-нибудь в Африке или в Полинезии человечка этакого, вроде тебя, например, путешественника, коптят да кушают, и больше ничего!

Критик сделал серьезное лицо и пристально посмотрел черными глазками на композитора.

— Нет, ничего ты не понимаешь, — продолжал он. — А известно ли тебе, что при крушении корабля, когда он утонет — корабль, то спасшиеся на плоту или на лодке пассажиры эдак месяца три странствуют по океану. Есть нечего, запасов нет, голодно, — ну, возьмут и скушают такого-то, как ты. Все одно, окончил ты университет или нет, критик или не критик. Тут, брат, все безразлично. Съедят, и шабаш.

Толстый композитор не унимался:

— Эх ты, критик... Говоришь, людей не коптят. Нет, брат, не только людей, а небо коптят и как еще коптят-то. В истории — целые страницы копчения неба. Человечество заврется и не знает, как что. Прямо запах копоти идет. Смотрят люди — университет кончил! А вот музыка — это тебе не копчение неба. Это нечто: дружба небесная с землей. А ты вот пишешь, университет окончил...

— То есть, как же это не писать? — пробует защищаться критик. — А справедливость-то? Нужна она? Ты, брат Юрий, что-то заврался.

— Какая же это справедливость, которую к черту загоняют? Справедливость ясна и чиста, как вот эта река, как солнце, как собака эта... Собака справедливость знает. И музыка знает. В ней есть тютелька такая... Ну, словом, жизнь не порть, не смей. Не трогай дружбу с небом, не копти его! На нем звезды без конца и начала. Не смей! Да никогда не поймешь ты, критик... И не только ты — никто. Университет кончил! Ну-ка, роди воду эту, чистую, как кристалл. Не можешь?.. Родишь одних коптителей. Коптители эти закоптили небо, оно и молчит, и только. И жалуется. Что же оно молчит? Ничего душе не поет?.. Радость отнята — понимаешь? — радость, коптили отняли радость.

— Юрий, — вмешался я, — что же это ты так на Колю напал? Травишь без конца...

— Нет, я говорю только, что он ни черта не смыслит. Кандидат прав, а — ни бельмеса. Ну, что такое бельмес? Видишь, молчит, тоже не знает. Ни, ни. Ведь это же странно — а пишет.

— Экую-то рыбину тащит, глядит-ка, — говорит старик-мельник.

Вася нес торжественно огромную щуку.

— На пескаря взяла, — сказал он и бросил рыбу перед палаткой на траву. Потом вынул нож, нагнулся и отрезал щуке голову.

— Послушай, зачем же ты ей голову отрезал?

— Довольно. Теперь пусть, голубушка, знает, как рыбу есть.

— Да ведь ты тоже рыбу ешь!

— Так я не щука, а человек.

— Вот она, справедливость, слышишь! Понял теперь? — хохотал композитор.

— Что понял? Понимать нечего, — возражал критик. — Я ведь в университете право изучал, человеческое право. Ну, международное, а не рыбье. У рыбы никакого права нет. Едят друг друга без всякого права.

— А вот, — заговорил старик-мельник, — волк на что уж зверь, верно, а пьяного не трогает.

Композитор удивленно посмотрел на Никона Осиповича.

— Да неужели?

— Верно. Вот у нас в Заозерье кузнец Семен в Покров чего-то пропал. Ну, жена пошла его искать. И видит: у кузницы — на отлете она у деревне стояла — волчина, во! — здоровый. Она испужалась, да в сарай пролезла и глядит в плетень. И лежит это ее Семен, муж ее, а волк около него — понюхал, затряс головой и побежал прочь. Смотрит она, а Семен-то все на ноги стать хочет и никак, ну вот не может, пьяней вина. Кто выпивши, — закончил он, — ен нипочем не тронет.

— Налей мне, Юрий, — попросил Вася.

— А ты все споришь, — заметил архитектор, обращаясь к критику. — Потому вот, вероятно, и пили на Руси в старину, что волков было много, стаи огромные, а пьяный ходи себе среди них, и ничего. Вот откуда пьянство началось на Руси.

— А что, Никон Осипович, медведь тоже не трогает пьяниц?

— Но нет, — отвечал старик, — тот, брат, не глядит, кто выпивши али тверез, ему все одно. У нас по осени запрошлый год вот эдакого — показал он на Васю — в Астееве сломал, черепок-то он ему снял, мозги и поел.

— Мозги он любит, — сказал критик.

— Ну твои есть не станет, — вставил композитор.

— То есть, позволь, почему же не станет есть мои, а твои станет? Это еще неизвестно, чьи съест, — мои или твои. Совсем неизвестно, — отходя от палатки, говорил обиженно критик Коля Куркин.

Утопленник

По окончании Школы живописи и ваяния в Москве, на 21-м году жизни, я поступил в театр писать декорации. Молодые актрисы производили на меня впечатлительное неотразимое. Нравилась мне все без исключения. Какие глаза, и в глазах какая душа! У одной они большие, открытые, у другой — как у Джиоконды, с опущенными ресницами. А как говорят! Одна совсем поразила мне сердце. Она меня называла «мой Зибель, мой паж».

Но скоро она куда-то уехала, пропала... Прошло лет пять, и я встретил ее случайно на развеселом вечере, в компании артистов, где шел кутеж и гремела гитара. А затем я получил от нее телеграмму: «Мой витязь, жду». «Витязь, — подумал я, — какой я витязь?» Но на вокзал помчался.

Ночь, глубокое небо; звезды играют в тихом лунном воздухе, насыщенном запахом трав и лесов; щелкают соловьи. На террасе деревянной дачи под Москвой горит лампа: розовый бумажный абажур виден издали — с дороги, по которой я еду со станции. Вот ближе, и вижу лицо — ее прекрасное лицо. Она наклонилась над книгой. Ждет меня...

Быстро вбегаю на террасу.

— Ах, — вскрикивает она, — мой коробейник!

— Почему — коробейник?

— Да, сегодня вы коробейник, — отвечает она и весело напевает: «Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча».

— Аннушка, подайте чай. А мы пойдем — пойдем в рожь, в рожь высокую! — И она пропела: «Только знала рожь высокая».

Я говорю:

— Но рожь еще не высокая. Зачем идти в рожь?

— Нет, нет, идем. Ты мой коробейник!

Как молния пронизывает меня странное чувство, где-то там в душе глубоко: «мой коробейник, рожь высокая», и зачем это? Зачем?

Но мы идем. Она говорит опять:

— Слушайте: «Была ночь, они шли вдвоем, он дал ей руку...» Подайте мне руку!

Я подал ей руку.

— «Они шли и молчали, — продолжала актриса. — Она положила ему голову на плечо». — И она прислонилась головой к моему плечу. — «Тогда он впился в ее влажные губы своими губами...» Ну же! Впивайтесь!

Я впиваюсь... Но почему-то так нехорошо на душе...

— Скажи мне: «Я твой!»

Я говорю: «Я твой».

Слева начинается ржаное поле.

— Рожь, рожь, — восклицает она. — Пусть знает рожь высокая, только она...

Но рожь еще совсем низкая... Май месяц, весна в начале... Заметив обильную росу на ржи, она выскакивает из нее на дорогу.

— Зачем рожь? — говорю я. — Вот лес. «Там опять в ночи туманы. Отдаленные леса, белые дреманы».

Она спросила: «Это чье?»

— Как чье? Фирдоуси, — вру я.

Мы идем в лес. Во мне чувство какого-то негодования. Странное и горькое. Хотелось сказать, спросить: почему не просто так — вот вы и я, почему я — то Базаров, то Алеша Карамазов, коробейник, Фома Гордеев, Чацкий, Лель и еще черт его знает, кто?!

А она не унималась:

— Милый, молю, ты знаешь — Виктор клялся возлюбленной: «Я умираю от любви». Ну и ты скажи. Умоляю!

Думаю: «Откуда взялся этот Виктор?» — и отвечаю прямо:

— От любви умереть не могу. Откровенно признаюсь: не могу.

Она посмотрела на меня своими прекрасными глазами, огорченно и удивленно. Выражение ее лица было какое-то печальное и жалкое.

— Нет, правда? Ты не знаешь, как умирают от любви?.. А ты не можешь украсть для меня, как Виктор?

— Что украсть?

— Все.

— То есть как — все?

— Виктор сказал Ольге: «Все брошу к твоим ногам».

— Ворованное?

— Как это пошло, не тонко!

Какой-то особенный, злой огонек мелькнул в ее глазах.

В конце концов — мы повздорили. А соловьи заливались... Я возвращался на станцию один. Пахло рекой. Проходя по мосту, я остановился и стал смотреть на воду. Темны были отражения берегов, и в глубине сияли звезды. На душе было тихо, странно, радостно. Вдруг слышу крик: «Постой, умоляю!» Я обернулся и увидел бегущую фигуру в белом платье. Она!

— Я поняла, я все поняла! — подбежала актриса ко мне. — Ты хочешь броситься в воду. Я знала, я чувствовала. Но я спасу тебя.

— А вам бы понравилось, кабы из любви к вам кто-нибудь утопился или застрелился?..

— Еще бы, — ответила она, не задумываясь, — вот из-за Ады Дурвенд четверо застрелились. А в меня — трое стреляли.

Луна осветила ее на фоне темных ольх. В тишине ночи она была торжественно-прекрасна.

— Прощай! — крикнул я и бросился в воду.

Послышался ее отчаянный крик.

Река несла меня по течению. Было глубоко, но я хорошо плавал. И вижу — уже вдаль мост, на котором я был. Бегут люди с фонарем, крики, ее крик «спасите», кто-то вопит «караул»... За поворотом реки подплываю к берегу и хватаюсь за ветки ольхи. Мне бросают веревку. Вылезаю. На берегу — люди, дачники. Один из них наливает мне в стакан какого-то вина, говорит: «Скорей пейте», — держит меня за пульс. Он взволнованно шепчет: «Я все знаю. Идемте».

— Куда?

— К нам. Она у нас, там доктор. Хорошо, что спасли вас. Петр Сергеевич смотрит с террасы, говорит: «Вот на мосту человек. Наверно топить хочет. Ночью в реку смотрят не зря...» А та, барынька ваша, кричит: «Это из-за меня, утонет!» Плачет... Идемте... Если бы не Петр Сергеевич, то — ау! Уж вы начали за ветки хвататься... Ну, не стоит говорить. Не унывайте, молодой человек.

Мы пришли на большую дачу. Я переоделся. Мне дали очень широкие панталоны и японский женский халат, все что попало под руку. Народу полна дача — все милейшие люди. С террасы доносятся голоса: «Утопленник».

— Вот история! — думал я. Надо все же для приличия делать вид, что я в самом деле хотел топить.

Женщины, приоткрыв дверь, разглядывали меня испуганными глазами. Мужчины успокаивали. Доктор брал за пульс, говоря в сторону, в пространство:

— Пальпитацио кордис!¹

Какой-то дачник приносил вино стакан за стаканом и повторял: «Вы пейте, и я с вами. Ах, эти драмы, у меня их... Ну что, пейте!»

Меня вывели в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Один из дачников поднял бокал:

— Поблагодарим Петра Сергеевича и доктора, которые первые откачали молодого человека... И да послужит наше дружеское сочувствие в знак того, что он не так забыт, как многие из прочих утопленников!..

Другой дачник, огромного роста с белым лицом и с туловищем, похожим на комод, тоже сказал спич²:

¹ От *лат.* *palpitacio cordis* — пальпация в области сердца.

² От *англ.* *speech* — речь.

— Не только в молодые, а даже в наши года могут случаться от женщины такие реприманды¹, что просто ум раздвигается на части. Все мы знаем по делам нашим, что в прошлом году случилось с нами, от Эмилии Карловны... То есть, я хочу сказать — с ее мужем. В этакое разе, ежели бы с ним не сладил Веревкин Костя, под Новый год у «Яра», то скажу прямо: фабрика пошла бы к дьяволу.

На меня все глядели с сожалением и радостью. Дамы ухаживали за мной, особенно одна... Она жала мне руку и повторяла на ухо:

— Ну, что за охота! Вы так молоды...

Тут в комнату, где я сидел и пил со всеми, вошла она, виновница моей гибели. Вошла торжественно.

— Как счастлива... Вы спасены. Как я страдала! Но вот и доктор говорит, что нет ни в одной литературе мира, чтобы человек топился от любви при женщине. Вы не понимаете красоты драмы...

— Верно, — сказал я. — В следующий раз я утоплюсь один.

С террасы закричали: «Сюда, сюда. Смотрите. Там опять что-то на мосту, кричит кто-то. Опять народ с фонарем. Еще кто-то утопился».

И впрямь, по мосту бегали люди. Мы все толпой пошли к мосту. Тишина майской ночи, роса, трава бьет мои туфли, и она, новая моя красавица, рядом со мной, я чувствую ее около себя. Как пахнут ее плечи, платье. И эта ночь! Медовый запах тополей, звезды, темные ольхи у реки. Глаза ее смотрят прямо в мои:

— А из-за меня вы бы утонули?

«Что же это такое, — думаю, — опять купаться?»

— Утонул бы, — отвечаю.

— Милый... — шепчет она.

На мосту стоит толстый исправник, станционный жандарм и еще кто-то. По воде ведут невод. На берегу народу — весь поселок.

— Теперь все едино, — кричит голос, — опоздали. Не откачать.

— Наши-то не откачают?

Все ринулись к неводу. Исправник впереди. Жандарм говорит:

— Хучь увыпей ею усю, реку, а его чтобы достать!

Невод волокут по берегу. В мотне плещется, блестя чешуей, освещенная луной рыба.

— Нету!

«Это меня ищут, — думаю я, — дали знать на станцию исправнику. Меня ищут...»

— Вы у нас ночуете? — спрашивает новая дама. — Наверху я приготовила для вас комнату — светелку...

— Но ведь мне, сударыня, из любви к вам надо еще топиться?

— Ах, какие глупости... Какой вы, право!

Бежит Петр Сергеевич, запыхался, кричит:

— Опять утопился, вот дурак-то. Я так и знал...

Увидав меня, остановился в недоумении:

— Вот он. Где же утопленник?

Петр Сергеевич пьян.

— Что это вы с ним делаете, — обращается он к моей новой даме. — Довольно вам, молодой человек! Не верьте женщинам. Анна Васильевна, фюить, дудки! Нет, из-за прекрасных глаз не утону. Уж как вам уютно-с, фюить!

¹ От фр. *réprimande* — выговор, внушение.

Затем мы жарили лещей, а перед дачей на лужке сидели крестьяне с неводом и еще какие-то люди. Варили уху. Серьезно и деловито пили водку, по очереди, ровно, закусывая ветчиной с хлебом. Серьезный народ. Крестьяне говорили:

— Завтрева второго найдем. Поди, где теперь? Ночь-то... Утопленника, его надо сразу брать, не то ён уйдет. Бывало дело, сколько таскали! Завтра откачаем. Одново раза сердягу качали, ну что! Фабришные индо руки ему все повывернули — а он ништо: храпит. Зачали ему на брюхо прыгать, приказывали: «Выпускай воду, сволочь!» — а он ништо, так и помер.

Подали на стол жареных лещей. Исправник сел посередине. Опять пили, опять пир горой. Исправник — большой седой старик, усы белые торчат вперед. Говорит, как будто плюнуть хочет:

— Медаль спасение утопающего получить нелегко: по представлении губернатором министру внутренних дел. Помилуйте, если так будут давать, тогда — вот я купаюсь и говорю: «Тщи меня, братец». Ну и тщит приятель. «Медаль пожалте!» Так и медавтопленник. Па-а-азвольте!

— Нет, па-а-азвольте, — говорит Петр Сергеевич. — Я ему веревку, а то — ау! Верно, — обращается он ко мне. — Па-а-азвольте! Хоть он это и из-за бабы, конечно, ерунда, но все же утопленник. Па-а-азвольте.

— Ура, — кричат на лугу. — Еще полведра. С Ангелом вас! Кто именинник? Исправник — именинник. Вот он. Ловко!

— Да, — говорит исправник, — есть тот грех.

Начинается все сначала. Доктор входит. С ним моя актриса.

— Позвольте представить вам, — заявляет он, — виновница спасения, т.е. не спасения, а торжества: Вера из «Оврага».

— Как-с? — спрашивает исправник.

— Из «Обрыва», — поправляет красавица.

— То есть — из романа Тургенева или Гончарова, все равно, — не смущается доктор.

Сквозь звуки рояля, пения и песен на лугу я слышу шепот моей новой дамы.

— Пойдемте, я вам покажу комнату.

Ну и жизнь была... Только где вы, прекрасные мои дамы? Где вы, и актриса моя, Вера из «Оврага»?

Не знаю, которым по счету, но все же и я ведь был вашим... утопленником.

Вышнее сердце

Опушками лесов и проселками бродил я с двустволкой и пойнтером.

Был бодрый, хотя и серый, осенний день. Я вышел к большому стогу сена. Кругом было сухо. Я лег под стогом и стал опораживать ягдташ от копченой колбасы, печеных яиц и черных деревенских лепешек.

Хорошо, тепло, хочется есть, опрокинуть рюмку рябиновки! В душе бодрость и созерцание, а кругом бесконечные дали, мелколесье, красные осины, темный ельник и нежно-желтый березняк, — синие дали, воздух прозрачный. Не шелхнет. Тихий день.

Мой Феб с удовольствием ест со мной лепешки, а я осматриваюсь и далеко перед собою, над толпой деревьев, вижу высокую крышу дома.

Темный дом полуспрятан деревьями. Должно быть, чье-то поместье. Я тут никогда не бывал и не знаю, чей там дом. Одинокий, высокий среди лесов, он как бы поет что-то, рассказывает о чем-то. Я встал. Феб запрыгал от радости и расфыркался: пойнтера любят охоту.

Я пошел прямыми к дому, сквозь частый осинник. Буро-желтые папоротники и красные листья осины горели пятнами в темной траве. Феб что-то почуял. С треском вылетел черныш. Темным кружком, быстро и ровно полетел над лесом.

Я шагал по кочкам и болотам, в высокой траве. На стволах сосенок обглодана кора. Видно, тут угощались лоси.

Лес кончался, и открылся ровный луг. За лугом я увидел сад и деревянный дом, огромный дом с заколоченными окнами. К саду были обращены фальшивые окна, их черная краска сильно полиняла. Я увидел боковое крыльцо с колонками, забитое досками. В саду, куда я вошел, огромные серебристые тополя касались ветвями обвалившейся крыши дома. Темный сад, такой же темный пруд, заросший ивами, разрушенная терраса, — все впечатляло тут унылостью, печалью и тайной. Ни души кругом, ничто не говорит о жизни!..

Я обошел дом, взобрался по сгнившей, иструшенной лестнице на террасу. Точечные белые столбики, кое-где оставшиеся, говорили о былой роскоши. Я посмотрел сквозь ставню в окно.

В сумраке его мне открылась большая комната, с изразцовой белой печью до самого потолка. На стене — внушительные зеркала в карельской березе, в углу — ободранный длинный диван. Обои упали грудой с оголенных стен.

У окна, близко ко мне, я увидел ветхое кресло и перед ним — пяльцы. На пяльцах — красное пятно. Я всмотрелся и увидел, что на пяльцах вышито большое сердце. Кругом сердца — узор зеленых потемневших листьев, а сверху вышиты большие латинские буквы «*adoremus*»¹.

Вдруг страх охватил меня, и я быстро пошел к повисшим на петлях воротам, к давно заросшей дороге.

С дороги обернулся к дому: сад снова спрятал его. Только высокая крыша печально возвышалась над вершинами деревьев.

На проселке, слышу, кто-то едет сзади. Я остановился. Подъезжает телега. Сидит в ней крестьянка. Я говорю:

— Подвези меня, тетенька, до деревни.

— А ты чей будешь?

— Охотник, — говорю. — Из Старого.

— Ишь ты. Далече зашел. А Блохина знаешь?

— Как же, — отвечаю. — Василия Иваныча.

— Ну, садись.

— Чей это дом, тетенька?

— Дом-то? Осуровский дом, господской.

— И никто в нем не живет?

— Нет.

— И сторожа нет?

— Теперя нет, допрежь был: Семен Баран. Он и нынче в нашей деревне. Баран. Состарел.

¹ Будем любить (*лат.*).

— Вот ты меня к нему и вези.

— Во, сичас завернем тутотка. Он вдовый, Баран, он тебе будет рад. Он тоже на охоте был ловкий. Знатно лосей бил. Таперя состарел.

Семен Баран, высокий старик, встретил меня у крылец. Я залюбовался его седой курчавой головой и веселыми голубыми глазами.

— Ты Коровин, а? — сказал Баран и засмеялся.

— Чего ты смеешься? — удивился я.

— Ты один?

— Один.

— Ишь ты!.. Одному тут и не выйти. Плутал, чай, по лесам.

— Верно, плутал.

— Ну, иди в избу, я самовар тебе вздую.

Изба у Семена была чистая, покойная, на стене — портреты в резных рамах и ружье. Скоро появилась на столе лампа, самовар, грибы, оладьи, чай со сливками... — словом, то, чего нигде нет на свете, а только в России: ни оладьев таких, ни сливок, ни Семена — нигде нет!

Пьем мы с ним анисовую и едим лосяную солонину, с огурцами свежего просола... Вы, пожалуй, читатель, и не пробовали никогда лосины-то с огурцами. Вспомнил я, и вот стало мне грустно: загрустил о России, какой теперь нет...

А Семен Баран, высокий старик в седых кудрях, в тот вечер мне говорит:

— Я тебе, — говорит, — завтра глухарей покажу. Ты один не найдешь... Ты, чай, забыл меня, а я у тебя был, когда ты нашу охоту покупал. Помню, красенькую дал и нынче по красенькой мужикам посылаешь. Мужики говорят: «чудак — барин, тут всё вольно в лесинах, а платит». Ну, пьют за твое здоровье вино.

— Постой, Семен, а что за дом, где ты сторожем был?

— Эва, брат, ты о чем... Дивий дом, и все. Я там мертвечиху видал.

— Мертвечиху?

— А то нет? Страсть. И посейчас к дому нипочем не пойду. Днем, когда хожу к пруду за карасями, и то поглядываю. А ночью — ни-ни...

— А как же это тебе показалось, Семен?

— А так... Пробил я, помню, в пруду у дома ледок и поставил верши: карась в пруду хорош. Ну, пошел я ночью мои верши смотреть. Под праздник было. Месяц, ночь светлая. Смотрю, карася набило — не протолкнуть. Рад я, вытряхиваю их в корзину и чего-ой-то, и обернись. А в ставнях-то, в щели, вижу огонь. Что, думаю, такое? Залез я на балкон, гляжу в окно. А в покое свеча горит. Сидит барыня. На пальцах шьет — живо так, быстро. А головы у барыни нет!.. Я так и обмер. Бежать, а ноги не идут. Едва добрался до деревни, созвал народ.

Народ глядеть пошел. Точно, в щели ставень огонь. Все забоялись, не идут ближе, к дому-то, то есть. Вдруг огонь погас и стало слышно, как по дому кто-то побег. Да по лестнице, да наверх. Ну, все испужались и в деревню бегом... Все — домой. А нынче и днем дом обходят. Там в саду малины много. Но девки опасаются. Никто не пойдет.

— Ну, а когда ты сторожем был, — говорю я, — разве никого не жило в доме?

— Верно, был сторожем. Еще молодой вовсе, только из солдат пришел. Верно, тогда из Питера наезжал барин, — красивый. Панихиду служил в доме-то. Она-то, барыня, сзади пруда схоронена. Там и хрест ейный. Вот, помню, барин меня сторожем и нанял. Со мной в дом пришел. Долго стоял барин у пялец, поцеловал их! Ей-Богу! Тут-то, у пялец, гусар сабелью ей голову и отсек...

— Как голову отсек? Какой гусар?

— А такой. Давно было. Я еще махонький был. Сказывали, она, значит, барыня, была русская. А слюбилась с каким вельможей, сказывали, не русским. Муж-то про все и прознал. Муж-то, который в гусарах служил. Он и послал ее жить сюды, в дом. И жила она здесь в доме одна, а за ней глядела старуха. Барыня, значит, жила, вышивала на пяльцах, а старуха за ней глядела. Барыня, сказывают, и пела хорошо, горестно, про неправду и про горе лютое...

А он, муж-то ейный, самый тот гусар, однова и приехал сюда. Тихонько пришел и видит: она вышивает сердце на пяльцах. Он, знать, и подумал: «Она ему, полюбовнику, сердце на пяльцах шьет». Вынул он тут сабель, а-ан ей голову прочь и отсек. Его потом взяли, гусара. Начальства много наехало. Увезли, значит, гусара прямо в Сибирь.

— Послушай, Семен, да ведь верно... Верно, я сегодня смотрел в окно с террасы и видел, что на пяльцах сердце вышито. Это верно, я видел...

— Видел? То-то... Он ей голову сабелью прочь и отсек за эфто самое сердце...

Встреча

...Иду это я мостом через Клязьму, а из Боголюбова, вижу, едет на белой лошади мостом Катерина, купецкая дочь. Пасху крестила, к дому от утрени едет. И как поравнялись мы на мосту, я и говорю ей: «Катерина Васильевна, Христос Воскресе!» Она остановила лошадь и глядит на меня. «Воистину Воскресе», — говорит. Похристосовалась со мной, прямо губами целовала. И говорит мне:

— Сережа, вот что. Поедешь на ярмарку во Владимир, палатку держать, то я скажу отцу. Касимовский за меня сватается, богатый, вдовый, отец уговаривает... А он-то мне не люб, хуже нет! Ежели у тебя, Сережа, есть душа Божья, выручай меня, постарайся... Отведи как-нибудь его! Он на тракту касимовском трактир держит. Фураев он. Ох, горе мое! Отец за него идтить велит. Выручай, Сережа, Христос Воскресе!

И опять поцеловала меня.

— Прощай, — говорит, — никому ни гу-гу. Твоя я буду. Доставай меня, ты по сердцу мне, Сережа. Выручай, будь смелым.

И поехала по мосту.

А я пошел к дому и чую, что в меня сила вошла и такая радость, сам не пойму, что! Перешел я мост, обернулся: синяя Клязьма — весна! — а за нею далеко дорога вьется. И вижу я ее возок, платок красный и пасха белая, святая, на руках у нее. Солнышко осветило ее. И она смотрит, и увидела меня далече, и рукой мне машет, и такая радость вошла в меня! Снял я картуз и кланяюсь ей, говорю про себя: «Катерина Васильевна, Катюша, люблю я тебя, вот так люблю, и вот радость во мне, сила какая-то. Чисто я сверх земли хожу». А отец-то ее меня прогонит. Кто я, иконостасчик, резчик... Скажет: куда ты лезешь, неровня? Да и сирота я. Одна сестра, и то малолетка, десяти годов.

Пришел я домой, взял сумку, положил туда хлеба да творожников, надел сапоги простые и говорю хозяйину:

— Прощай, Иван Васильич. На всю Пасху пойду гулять во Владимир. Без меня хороводы в Боголюбове пусть ведут. Без меня пусть запевают. Охота погулять, поглядеть на город.

А сам думаю про себя: «Пойду на Касимов тракт. В трактир».

— Если ты чего-то затеял, паря, — засмеялся хозяин. — Ох, и глаза у тебя чего-то горят! Не приметил ли ты такую-какую?..

Иду это я долго. Много селений прошел. Весна, Пасха. Гулянье в селах. Пьяные, а мне все равно — мимо иду. И вот леса поначались — большие, муромские. Заночевал я в лесу. Развел тепленку и греюсь, лежу около. И вот птицы поют. И так к ночи одна жалостно да сладко поет, будто мне про Катерину выщелкивает: «Купецкая дочь! Купецкая дочь! Неровня! Неровня!» А я только ее и вижу. Вот-вот около она меня. Говорю сам с собою: «Катерина Васильевна! Как я люблю тебя! Христос Воскресе!»

Уснуло это я. Только слышу, меня кто-то толкает в плечо. Смотрю — а предо мною стоит этакой человек, молодой, роста большого, черные кудрявые волосы и ружье за спиной. Глазищами водит да, зычно смеясь, говорит мне:

— Ты почто здесь, бродяга, шляешься? Чей ты?

А я ему в ответ говорю:

— Дорога никому не заказана. И почто мастера бродягой звать? Ты сам, может, бродяга.

Он сел около костра. Глядит на меня, смеется. И говорит:

— Деньги у тебя есть?

— Деньги? Ну, какие деньги у мастера... Хоша есть малость — а почто тебе знать?

— А какой ты мастер? — спрашивает. — И куда идешь?..

— Резчик, — говорю, — а иду на Касимов.

— Вот дура, — говорит мне встречный. — Это не та дорога. Пойдем вместе, я тебе покажу.

— Ладно, — говорю, — а вы кто будете?

— Охотник, — говорит.

— А отчего это вы ночью? Заплутались, что ли?

— Нет, — смеется. — Я охотник по карманной дичи, по дуракам. Вот что, вижу я, ты молодец смелый и смышленный. Сослужи мне дело. Надо мне одного здесь человека попутать да поучить малость и денег у него взять. Это как раз на Касимовском тракте. Но одному мне опасно. Охрану он держит, и оружие у него есть. Придумал я к нему ход, но сподручного нет. Растерял я команду, забрали их. Потому дураки, пьянствуют!.. Сволочь все. Не слушаются.

Смотрю это я на него: парень в сажень роста. Ну, и глаза чисто у быка. И думаю: «Не Чуркин ли это разбойник? Его никак взять-найти власти не могут. Он это!» Спросил я его:

— А послушай, друг, а не Чуркин ли ты?

А он мне в ответ:

— А что, ежели б да? А тебе-то что? Я ведь мастера не обижу, еще помогу. Чего ты глядишь?

— Знать, ты Чуркин, — говорю я. — Но вот ежели хочешь не загубить меня — возьми, у меня тут с собою сорок пять целковых. Возьми себе и помоги мне в жизни. Помоги в самом мне нужном, в любви. Понимаешь, люблю я неровню, и она меня любит. Помоги мне. Хоша ты и разбойник, помоги.

Слушал он меня. И серьезно смотрели глаза разбойника. Засмеялся он и говорит:

— Ну, ладно. Ты еще молодой, бабам веришь. Ну, ладно. Деньги-то у тебя малые, на кой они мне ляд...

И заржал, смеется.

— Ладно, дело веселое. Одного раза тоже женил я. Смех. На свадьбе дьяконом был. Напились. Меня и забрали. Ну, насилиу выскочил. Ну, ладно. Черт с тобой. Парень ты, я вижу, ничего — не трусь. Женю тебя. Только службу мне сослужи. Пойдем.

Пошли мы с Чуркиным прямо лесом, чащей. И еще в ямах кое-где снег лежит. Весна. Спускаемся в овраг. Внизу речка бежит. Шумит вода. Спускается Чуркин. У речки осыпь песчаная.

— Иди сюда, — говорит мне.

А сам кругом оглядывает. Иду я вниз и вижу — пещера. Потолок бревном подперт. Вошли, стол, на столе кувшин, сковорода, жареный тетерев, водка, стаканы. Самовар и просфоры.

— Ставь, — говорит мне, — самовар, закусим. Нет, постой, не надо.

И, взяв ружье, переменял патроны.

— Выпьем, закусим наскоро и пойдем. Неладно, брат! Третьего дня взяли моих дураков, проговорятся, черти, боюсь. Народ — предатели. Выпьем, да и айда.

Чуркин пьет водку стаканом.

— Пойдем, — говорит.

Мы пошли в обрат по берегу речки.

— Стой!

Я остановился. Чуркин достал из-под густых елей шинель, штаны, фуражку и сказал мне:

— Переодевайся!

Эта одежда была полицейское пальто с погонами и синие штаны с кантом. Я переоделся. Когда было все готово, он взял мою поддевку. Но она на него не лезла. Тогда он достал крестьянский армяк, который лежал под елками, надел рваную шапку и спрятал ружье.

— Вот что, теперь слушай, — сказал он мне. — Скоро дорога на Касимов. Сейчас выйдем. Там трактир Фураева. Ты, значит, помощник исправника будешь. А я понятой из Лемешков. Помни это. Когда зайдем к нему, ты прямо иди к нему в лавку и к весам. У него весы с обманом. И кричи: «Что такое? Мошенник!» И веди кверху, в покои, акт составлять. Он тебе в ноги будет кланяться, а ты взятку бери — тысячу. Понял? Тысячу рублей!

— Понял, — говорю я. — А Фураев-то сватает мою Катерину, — говорю я Чуркину.

— Правда? — спросил Чуркин и засмеялся. — Так вот ты его и путни. Скажи ему, как это он — в острог за весы должен, а жениться хочет. Да еще беспоповку берет. Это что же?

— Она же православная, — говорю.

— Вот дура! А ты ври. Слушай, что я говорю тебе. Говори — беспоповка. Это ведь Сибирью пахнет, говорят.

Фураев — толстый человек, лет под сорок. Побледнел, когда я осматривал большие медные чашки весов, где снизу были припаяны куски олова. В трактире не было народу. Он просил к себе в покои попить чаю и растерянно говорил:

— Закусите, пожалуйста, ваше благородие. Вот, ваше благородие, — говорил он. — И как это все молодцы плутуют, не уследишь. Я, ей-ей, ни при чем. Вот барыш отдам, не побрезгуйте. Только пожалейте долю мою. Сам вдов, трое детей, пожалейте, это-кое дело, помилуйте!

— Вдовый, — говорю я, — а сам сватаешься за Катерину Зиновьеву. Они ведь беспоповцы! Это чем пахнет? Сибирью!

— Ни-ни, что вы, ваше благородие. Нипочем!

— Ну, вот что, — говорю, — давай тыщу. Весы чтоб правильно вешали. А то острог тебе!

— С полным удовольствием, — обрадовался Фураев. — Сейчас принесу. Господи, вот праздник! Прямо спасли. Ну и гости, чем угощать прикажете? Уха налимья...

И он вышел из комнаты.

— Получай деньги, и уходим, — сказал Чуркин мне. — Строже с ним будь. Возьми расписку, протокол. Что ж, больше он плутовать не будет. Она тебе нужна будет, расписка.

* * *

Переодевшись в овраге, Чуркин взял у меня деньги — тысячу рублей — и сказал: — Ну, прощай, Сергей. Ступай к невесте. Я завтра вечер монахом к Зиновьеву приду. К отцу Катерины. Все для тебя улажу.

И верно. Пришел. Уговорил отца и благословение я получил. И как Писание он знал! А разбойник... Удивление!

СОЛОВЬИ

А в России весна! Скоро прилетят соловьи и звонко залиются песней ввечеру над рекою... Черемуха обольется девственным цветом, маленький ландыш растворит свое дыхание в тайне леса, а месяц светлым серпом выглянет из-за острых темных елей и, тронув серебром воду, отразится в ее глубине.

Весна... В больших оврагах, к реке, у моего сада, лежат глыбы снега, но около уже видны сухие пригорки, веселые, приветливые. Частый осинник и ольха чуть зазеленели над берегом, темные ели, как сторожа, стоят среди мутного весеннего леса. А воды бегут все туда, туда, далеко!

В торжественной чистоте неба прозвенит радостный крик журавлей, и розовое утро нежно осветит крыльцо дома, оконные ставни, занавески и полотенце над умывальником.

Как бодрит утро весной! Умываешься холодно-душистой водой, и пахнет от нее радостью сада, землей, смородиной. Запахи весны, земли весенней! Какая тайна в них, как любишь ее весной — землю...

* * *

Иду я по бульвару Конвансьон и вспоминаю деревенский мой дом и сад, русскую весну вспоминаю... Под руку меня берет приятель:

— Здравствуйте. Куда?

Я как-то не сразу ответил.

— Домой, — говорю, а про себя думаю: как странно — домой! Да ведь это там — «домой»... там весна, черемуха, соловьи поют.

— А что? — спрашиваю.

— Завтра у нас в землячестве доклад. Непременно приходите.

И опять недоумеваю: в землячестве?..

— А где земля? — говорю. — Как же это? Земли-то и нет... Впрочем, извините. Это я так. Но ведь там у нас запоют скоро соловьи, в России... Земля-то ведь там...

Приятель посмотрел на меня с удивлением:

— Ну, да... Только все это чушь, романсы. Не такое время, не до соловьев... В землячестве у нас доклад будет, а я — оппонентом. Придете, услышите, как Пустославцеву насыплю. Знаете, батенька, до чего он поправел, ну сил нет... Он-то, помните? А теперь ладан, и только. Ах, как люди меняются! К примеру — Юрочка. Ну, вообразите: наш Юрочка, социал-демократ, — кто бы подумал? поет, заливается, что ваши соловьи, а Анфиса ему подпевает. Ну, Марья Григорьевна и говорит: погодите, говорит, я ей такую евразийку покажу, похудеет она у меня.

— Да и сам я меняюсь, — продолжал приятель, — но есть разница. Ведь это не перчатки менять. Главное — принцип! Он внутри, тут, — и приятель ударил себя ладонью в грудь.

— Вот вы знакомы с моей женой. В сущности, она — попросту алексеевка, не новостянка и не возрожденка, отчасти евлуженка, а вернее, смиРНовка... Словом, сложное дело. Понимать надо. Не пустяки ведь, не соловьи ваши. Сам я, — сказать правду, — немножко полее Александра Григорьича. Верно! Да, кстати, знаете, какая с ним история приключилась?

— Нет, не знаю.

— Нет? Девчонка-то, брюнеточка, ушла от него! Ну и озлился он, прямо рычит. Не подходи. А болгарин рад: «Так, говорит, ему и надо!» А сбежала она с Мишкой. Ловкач — мужчина! Кажется, плехановец, поди — чуть левее меня. Неглупый человек, деловой. Жениться хочет на Карасихе.

— Кто это, — спрашиваю. — Никакого Мишки не припомню...

— Неважно! Слушайте: сидим мы в кафе, а с нами Карасиха. У ней на коленках сумочка кожаная. Мишка с комплиментом: «Какая у вас очаровательная сумочка». А она в ответ: «Что ж, под сумочкой еще лучше...» Я только ахнул, Мишка, тот как рак покраснел. Сверкнул глазами и кричит: «Гарсон, шампанского!» Теперь прямо не отходит от нее. Говорят — женится.

— Как же это, вы только что сказали, что он отбил у Александра Григорьевича... ну — ту...

— Ерунда! Отбил и бросил. Он-то ведь плехановец, а она завзятая антониевка. Разумеется, разошлись. А Карасиха женщина — класс. За ней профессора бегали, лидеры... Очень умна — сразу видно. Лева немножко, но себя не уронит, знает себе цену. Да помните, мы с нею в ресторане встретились в Ницце?..

Приятель мой говорил все это с такой энергией, и эта энергия была та давняя, знакомая, которая поражала меня и там, раньше... Какая-то ненужная энергия! Она не изменилась, осталась тою же, какою-то особенно бесплодной. К чему она, зачем? И пришло мне как-то сразу в голову: да ведь вот они, бессмертные соловьи наши, неподражаемые репетилковы заливистые!

Мы подошли к дому, где я живу. Но как на беду, встретился нам еще один общий знакомый. Решили зайти в кафе. Гарсон подал аперитивы, и новый наш собеседник, сев за стол напротив, очертил перед нами в воздухе круг и сказал:

— Если солнце тут, то земля вертится как? Так? Да? Нет, батенька, в том-то и дело, что не так, а в сторону уходит. Путь ее по эллипсису, а не по кругу. Понимаете? Отсюда ерунда и проистекает. Во-первых — земной шар постепенно холодеет, и вновь ледниковый период близится. Во-вторых — трах, и переворот. И тогда здесь вот, в Париже, получится один полюс, а где-нибудь в Америке — другой. Европа опрокинется в океан, а из океана новый материк выпрет. Понимаете? И все начнется сначала... Нечего сказать, приятная перспектива! Вот что. А вы все о партиях, о России... Не Россия, не Европа, а океан неизвестный. Опять эти ихтиозавры, плезиозавры, мамонты, третичный период, Адам и Ева, Атлантида, Альгамбра и все такое. Не угодно ли? Жизнь — это фата-моргана. А потому советую: допель-кюммель — отличный аперитив. Покуда! А там — фата-моргана, и адье!

Вопрос был серьезный. Мы задумались.

— Земля, — продолжал знакомый, — желает по эллипсису вертеться. Что вы скажете? — Желает. Ну-с и холодеет. Ясно? Чего уж тут! Не поможет ни экономика, ни политика, ничто. Трах! И все эти ваши землячества — к черту! Трах! И вместо Анны Петровны — моржовая морда перед вами. Тогда вы как? Ну-с, как?

— Действительно, неприятно, — согласились мы. — Моржовая морда...

— Это еще что, — не унимался знакомый, — а когда атом разложат, тогда, знаете вы, что будет?

— Что будет?

— Что будет! Вдребезги.

— Что вдребезги?

— Все! — ответил знакомый. — Вселенная разлетится. Все к черту.

Эти неприятные выводы нашего случайного собеседника заставили нас для успокоения проститься с ним. На прощание, посмотрев на нас презрительно, он сказал вдогонку:

— И скоро все это — тарарах, к чертям вверх тормашками!

— Ну вот и привел вас, — сказал приятель у подъезда моего дома. — А завтра вы приходите, меня послушаете. Эта наша мешанина у меня вот где, — он провел по горлу. — Принцип потеряя, принцип — это главное!

Из моего окна виден двор огромного парижского дома и весеннее небо. Прочь из комнаты! Около ног моя собака Тоби. Она прыгает и радуется моему приходу.

— Тоби, пойдем гулять, гулять!

Тоби визжит от восторга. Я надеваю ему ошейник и веду на цепочке по асфальтовой мостовой. Вдоль улицы — высоченные дома, и у стены одного из них, за решеткой, виден кусок зеленой травки. Тоби поднял мордочку и вдыхает ее запах.

— Тоби, Тоби... Там у меня был сад... Какой сад!.. Прилетит туда скоро маленькая серая птичка и будет петь ввечеру у моего дома... Будет петь про весеннюю красу потерянного нами рая.

Мажордом

Большое имение на Волге, только что купленное именитым московским купцом Мамоновым, готовилось к празднику. На первый день Пасхи назначено было «освящение» и торжественный обед.

Обширный дом и собственная церковь в усадьбе. Имение старинное, прежних вельмож, у каменной террасы — пушки времен Екатерины Второй. Хозяин пожелал пригласить на праздник соседей по имению — чтобы познакомиться, — и заодно именитых москвичей, людей солидных и богатых. Надеялся на приезд губернатора...

Было у него трое сынков... — юноши изящные, черноволосые и глаза с поволокой, глаза покойной матери, изумительной красавицы, в крови которой были не то далматинцы, не то неаполитанцы. Все трое блистали учтивостью с отцом и приказания его исполняли беспрекословно, но чуть-чуть по-своему, что-нибудь да не так...

Вообще, парни были с сюрпризами. Один укусил за ухо цыганку у «Яра»... Ну, это пустяки! Или вот: был у Мамонова свой винный погреб, вина все заграничные, шампанское лучших фирм. И случись как-то — гости, именины, что ли. Только смотрят: закупорка цела, печати на местах, а вина в бутылках нет. Что такое? Рассердился отец. А сыновья докладывают: «Папашенька, когда вы хворали, — помните, простудились? — профессор Захарьин прописал вам шампанское. Ну вот...» — «Что, — говорит отец, — вздор брехать! Ведь шампанского пятьсот бутылок было. А впрочем — пустяки, крысы выпили...» И дело похоронили.

Молоденькая горничная забеременела — Аннушка. «Как? Что? У меня в доме, — кричит отец. — Не позволю таких распутств...» А сынок Коля — глаза с поволокой — напоминает учтиво: «Папашенька, Аннушка вам утром кофий подавала...»

— Не пойму я молодежь нынче, не пойму сыновей, — жаловался не раз Мамонов своему приятелю. — Николая женить хочу.

— Пора, — советовал приятель, — пора, а то избалуется.

— Ты посмотри, какую штуку отколот, — продолжал жаловаться Мамонов. — Приехала в Москву мамзель Дюпанель или Карамель, француженка. Помнишь, у Омона пела? Хорошо пела. Так мой-то с ней в знакомство вошел. И вот какой переплет вышел. Она ему: «Что у вас тут, в Москве, холод, снег. У нас в Париже лучше». А Николай заспорил: «Ну нет, далеко вам до нашего климата. У нас, — говорит, — розы сейчас расцветают в лесу. Не угодно ли взглянуть». — «Не может быть», — удивилась Карамель. А на следующий день повез он ее на тройке к «Яру», а оттуда в Разумовское, в самую ночь. И что же? Весь лес в цветах. Под Новый-то год... Француженка ахнула. А мне садовник Ноев счет прислал. Подумай, что делает! Оженить надо скорее, беда...

Но до пасхального праздника Мамонов сыновей так и не оженил.

Приглашения на торжество в новом имении писали сыновья на костяной бумаге, с золотым обрезом. Ехать гостям предлагалось отдельным поездом, а там — паромом, к пристани. Моторная лодка будет подавать — «Чайкой» ее звали, из Америки выписали. Флаги разные приготовили и большой флаг с Меркурием. Этот Меркурий не понравился отцу. Меркурий-то на колесе, как надо, и крылышки у ног, только весь голый и прямо из бутылки водку хлещет. А подписано: «Смирнов С-вья». Что-то нескладно.

Пиротехнику, конечно, заказали, фейерверк: вензелей, лебедей и чтобы букеты валились на небесах. Сыновья советовали змея, но отец змея отменил...

Вот наступил и праздник. Приготовления грандиозные. Повара уже неделю работают... Прекрасный зал в колоннах огнями блещет... Подъезжают гости. Моторная лодка доставляет губернатора, вице-губернатора, исправника. Всех встречает сам хозяин, в сюртуке и при орденах.

— Всеволод Саввич, — говорит в это время сыновьям пиротехник, проводящий шнуры, — нешто можно в пушку пороху по горло сыпать? Ее, ей-ей, разорвет... Николай Саввич, чего вы ракеты гнете? Ведь эдак они понизу пойдут... А вы чего все куртины бенгальским засыпаете? Ведь гости задохнутся!

— Ничего, не задохнутся, — говорят сыновья. — Отец любит покрепче пускать. Мы его знаем, он велел, чтоб торжество крепкое было.

От пиротехника сыновья уже бегут к отцу.

— Папаша, — говорят, — и мы мажордома наняли, чтоб гостей пропускать по докладу. Вы ведь действительный статский.

А мажордом, действительно, был на славу — приземистый, толстый, лицо важное и в руках огромная булава на медном жезле.

— Где-то я эту рожу видел, — проворчал отец недовольно, но так и не вспомнил...

Столы накрыты, при входе в зал стоят губернатор, чиновники, губернаторские дочки, хозяин, знакомые. Приезжают, приезжают... Моторная лодка быстро пересекает Волгу и доставляет гостей кучами. Очень много незнакомых. Мамонов смотрит с беспокойством.

— Кто это? — думает он, а мажордом громким голосом докладывает без передышки: «княгиня Тухлова», «княгиня Мышкина», «графиня Орехова».

«Должно быть, соседки», — успокаивает себя Мамонов.

— Мантохин, волжский пароходчик... Микунчиков и сыновья... Кутузов — фабрикант.

— Ох! — вздыхает Мамонов.

— Князь Задунаев.

— Батюшки! — обращается Мамонов к приятелю. — Какой же это князь, когда он просто Володька, цыган от «Яра»?

Губернатор пристально смотрит, сзади через плечо глядит исправник.

— Женя-Крошка, — докладывает мажордом. — «Спящая красавица» — балет Чайковского, императорская певица Ирма.

— Батюшки...

Когда доложили: «Потемкин-Таврический», губернатор снял очки и протер их платком.

А мажордом так и сыплет: «Финкельсон — бриллианты бразильские, Шишкин с супругой».

— Господи, что делают... — шепчет отец приятелю, — ведь это все Володька. — И зачем я им писать разрешил. Кто виноват? Я виноват!

— Арапзон — Новая Зеландия, — докладывает мажордом.

Действительно, вошел негр: в петлице фрака — большое сахарное яйцо. Улыбается, белые зубы сверкают.

— Ух! — не выдержал хозяин. — Угробили... Господи, что делать... Арап! Кто звал арапа? Гони его вон!..

— Копт Шмулевич, банкир, — Аргентина. Арарат Иванович с супругой... Фабрика «Изюм». Мадемуазель Нанетт — Париж, институт ботэ...

— Умру, загубили! — задыхался хозяин.

А губернатор, наклонясь к нему, смеется:

— Превесело... Какая милая шутка... Скажите, а кто же это княгиня Орехова? Не родственница ли Хвостова?

— Вряд ли, Ваше высокопревосходительство, — отвечает хозяин и дрожит от бешенства.

— Азеф Алексеевич — европейский журналист, — кричит мажордом.

Губернатор только глазами водит.

Тем временем заутреня кончилась. Только стали выходить гости, зарычали фейерверки. Ракеты рвутся, бураки шипят, от бенгальских огней все загорелось зеленым и красным светом. Но ракеты шалят, летят понизу. Дамы взвизгивают. Бенгальский огонь — прямо Везувий. Как лава, ползет кругом дома дым.

— Жарь, жарь! — кричат сыновья. — Давай самый адский огонь.

Гости бегом побежали к столу. Несут блюда — икра во льду, осетры саженные. Городской голова поднимает бокал... Но только сказал — «Наш почтеннейший коммерции со...», — ахнула пушка. Все тарелки, рюмки, стаканы подняло на воздух, все с треском грянуло обратно на стол. Люстры погасли. Вдребезги рассыпались оконные стекла.

Губернатор, дочери, исправник бежали первые. За ними гости, бежали куда глаза глядят. Кто-то кричал: «Караул, спасите!»

Мамонов, очутившись в своей комнате, трясущимися руками вбил патроны в штурцер и открыл стрельбу пачками по Волге, где неслась моторная лодка.

А в лодке, у флага с Меркурием, стояли: «Женя-Крошка», «княгиня Кутузова» и все трое сынков и громко пели «Вниз по матушке по Волге».

— Сам породил, сам и убью! — кричал отец и стрелял.

Несколькими днями позже один из сынков говорил мне скромно и учтиво, щуря далматинские свои глаза с поволокой:

— Папаша уж строг очень... Мы хотели ассамблею повеселее... Что тут дурного? А пушку так и не нашли... Переложили немножко пороху... Ну, что ж...

Губернатор, хороший человек, о мамоновском торжестве говорил так:

— Что ж, повеселились немножко... Только... Только вот... Я и сам артиллерист, однако, это орудие уж слишком: у нас в Твери было слышно, а Тверь за двадцать пять верст... Подумайте сами!

Октябрь в деревне

Москва, зима. Кузнецкий мост, булочная Бартельс... 1917 год... Стекла выбиты, помещение пустует; торговля запрещена. На стене дома, где была булочная, висят большие плакаты — воззвания в тоне благих поучений, как сохранить детей от туберкулеза усиленным питанием...

Как раз перед булочной стоит на панели молодая, по виду интеллигентная женщина, с опухшим от голода лицом, робко озирается и продает маленькие, темные пирожки из ржаной муки.

Лоток ее с пирожками прилепился тут же, на панели, в грязи и рыхлом снегу. Запертая булочная, голодное лицо женщины и эти жалкие пирожки — как все странно противоречит воззванию о детях, какая химера и чушь, нелепость и бессердечие!

* * *

Но толпа ничего не замечает.

Толпа торопится, спешит на бесчисленные заседания... Девицы и юнцы бегают с одного заседания на другое, с озабоченными лицами. Слушают, записывают чрезвычайно деловито, дружно аплодируют всем ораторам, что бы те ни говорили: одно или прямо противоположное — всему рукоплещут...

Как странно... Особенно странной кажется молодежь.

* * *

У Дорогомилова моста я увидел, как две девушки и гимназист тащили на веревках сани.

На санях — плохо сколоченный ящик, из которого торчат ноги покойника. Молодежь весело волочит гроб на кладбище. Я справился о покойнике. Гимназист ответил с улыбкой:

— Хороним отца...

Что означает это веселое, это уверенное настроение молодежи? И как все они довольны! Учреждений образовалось много, всюду толпы служащих: все больше молодые девицы и молодые люди. И нравится им, что они служат, за делом пребывают, что к ним обращаются, просят их, умоляют, что они — власть. Нравится им, что они могут отказать, отменить, запретить.

* * *

Я пришел в некое хозяйственное учреждение просить дров, т.е. ордер на получение дров. Учреждение большое, занимает целый дом. Отделений много: я не знал, куда сунуться. В битком набитой просителями комнате ном. 82-й, куда я, наконец, попал, насилу пробившись по коридорам, барышня ном. 82, выслушав меня, сказала:

— Я вам дам записку в Центротоп. Это на Покровке... Вас зачислят в артель по разбору деревянных домов и заборов на окраинах Москвы, в порядке трудовой повинности...

И снова было видно, что барышне очень нравится ее служба и то, что вот она может изрекать эти высокие справедливости, т.е. что я должен работать по разборке домов и заборов и что выдадут мне за это груду мусора для топки.

Я пытался объяснить барышне, что мне не по силам такая работа: всю жизнь занимался другим, да и стар.

Она посмотрела на меня обиженно:

— Вы отнимаете у меня время ненужными объяснениями. Я принимаю по делу. Большая очередь. Извиняюсь!

И ушла.

Все служили и все стали властью.

Никогда раньше я не видел в России таких самодовольных, надменных лиц, как в дни этого интеллигентского пустословия и фальшивых свобод...

Племянник мой притащил мне дров и объяснил, что надо было обратиться прямо в Комиссию деятелей культуры. Однако ночью все дрова у меня были украдены,

и я стал топить мебелью. Но я так мерз и голодал в погасшей Москве, что вскоре решил перебраться в деревню.

* * *

В сугробах, далеко от Москвы, деревня была сущим раем. Тишина, лес в инее, одинокий огонек в избе.

Как был непохож этот глухой край на сумасшедшую Москву!

Мирно мерцали звезды над огромным бором, когда, в ночной темноте, я подошел к моему дому в лесу.

Я зажег лампу, а старик-рыбак, живший у меня сторожем, поставил самовар. Севши со мною за стол, он спросил:

— Правда, Киститин Лисеич, аль нет, — мужики бают, что из человечесьей кожи в Москве сапоги шьют?..

* * *

Деревенское утро было солнечное. В окно я увидел идущих ко мне каких-то людей, по виду «товарищей». Когда они вошли, я спросил у каждого фамилию. Они ответили. Я вынул деньги и сказал:

— Завтра приедет сюда из Москвы товарищ Кулишов. Постарайтесь встретить его. Вот деньги, надо подрядить подводу.

Они взяли деньги и ушли. Эти люди с наганами у пояса решили, что я тоже — некая власть. Их, вероятно, удивило то, что у меня не отбирают моего дома и что на черной вывеске у входа написано: «Товарищи бандиты, не беспокойтесь, все уже ограблено». А над вывеской — красный флаг.

Эта вывеска и красная тряпка привлекли крестьян из соседних деревень к моему дому: они приходили судиться и жаловаться на обиды, принося в дань яйца и масло. Все это отдавало какими-то давними временами. Я им отказывал. Но сколько я ни говорил крестьянам, что я вовсе не судья и не мое это дело, — те не верили, только одно смекнули: взятка мала.

* * *

Через неделю ко мне шли уже целыми толпами с самыми нелепыми просьбами: можно ли отнять коров у другой деревни, так как в ней ртов меньше, или — можно ли рубить казенник и как делить нарубленное, потому что теперь он ихний. Другие же вступали в спор и говорили, что он «не ихний», а «наш».

Даже друзья мои из крестьян, соседи-охотники, и те изменились ко мне, и видели во мне какое-то особое начальство.

Старший в заградительном отряде солдат, проживавший на дороге, в доме лесничего, когда его спросили: «Отчего не берете дома Коровина? Он и лучше, и больше дома лесничего», — ответил мужикам: — «Да поди-ка возьми у него, он ленинский родственник...»

* * *

Народ шел ко мне судиться, просить разрешений на лес, на отнятие лошадей, земли... А когда я отказывался брать хлеб, яйца или масло, просители искренно обижались.

Гостивший у меня приятель Кулишов и тут нашелся. Он заявил:

— По уставу центрального государственного трибунала профсоюза, приносимые в порядке товарообмена продукты подлежат конфискации на деньги, а потому получайте за продукт деньги...

Кулишов говорил громко, без запинки. На мужиков это действовало, и деньги они брали, приговаривая:

— Ну и барин, — башка, умственный, отчетливо говорит, ловко, деловой!

А цены за приносимое мужики назначали невероятно высокие. В то время ходили керенки. При переводе на золото выходило, примерно, так: десяток яиц — пять рублей. И все-таки то, что я платил деньги, повергало мужичков в грусть. Получалось так, что я не тот, как надо, и неизвестно, можно ли рубить казенник и грабить коров у соседей и у Никольской барыни. А у ней, Никольской барыни, коров много, и куда ей столько, почто?

* * *

Вечером зашли ко мне крестьяне-приятели, охотники, и заявили:

— Мы знаем, что это господа все делают, нас за озорство учат, так им царь велел...

— Царя нет, — сказал я им. — Он убит.

— Да что ты, Лисеич, чего нам ты говоришь? Вот, право, грех. Нет — знаем: жив, и в Англии. Солдат надясь приходил — он в Англии был с пленными. Так вышел к ним царь и сказал: «Поезжайте домой, и я, как народ поучат там, то посла приеду», и по рублю серебряному дал. Солдат нам и рупь показывал...

Странно было слушать это от еще не старых и грамотных крестьян, не раз бывавших в Москве...

— Вот баушка революции все нам обещала отдать, — говорил один. — И товар, и лес, чтобы мы сами торговали, а не купцы. А вот ее боле нет, и нам ничего нет. Господа все — кто, что. Кто тулуп надел, кто поддевку, и все себе берут, а мужику опять ничего. А говорили: «Подымайся, все получите, как господа в спинжаках ходить будете, сапоги, галоши — дарма», и учителька тоже говорила: «Чай, сахар — дарма». Вот! А теперь ничего нету...

Странно было слушать это, и как я ни старался объяснить, они не понимали.

У них сидело там, внутри, глубоко, — галоши, спинжаки, чай и сахар дарма и жажда новой жизни: чтобы ничего не делать и быть, как господа. А когда я доказывал, что и доктор, и инженер, и начальник станции тоже работают, то один из них, опустивши голову, только рассмеялся:

— Ну и работа! Вот пускай-ка пойдет покосить, узнает работу.

— Он не крестьянин, — говорил я. — Доктор лечит, а другой инженер машину делает, вы на ней ездите.

— Нет, пускай-ка он сначала попашет, да посеет, а там делай, что хочешь. А то его корми. Пускай свое ест. Едоков-то много, а крестьянин всех корми...

— Верно, — соглашались другие.

— Мы-то ничего тебе, — говорили мне. — Тебе что, ты здесь приютился и живи. Мы тебя-то дарма прокормим. Только одно: ты все знаешь, а сказать не хочешь. Когда царь-то вернется? А то мы здесь без начальства друг друга косами запорем, вся начисто без народа Россия будет, только в лесу нешто кто спрячется да волком завоет...

Люди уже выли. Даже собаки убежали со дворов и улетали голуби.

Как-то вечером мы пошли с приятелем Кулишовым в соседний Феклин бор.

Последние лучи солнца освещали огромный лес. В нем было торжественно. Большие синие тени ложились от сосен на розоватый снег. Ветви елей, покрытые снегом, склонялись до сугробов, и получались как бы норы, куда хотелось залезть, спрятаться, чтобы не слышать, не видеть всего, что творилось кругом.

А в лесу инеющие ветви переплетались в пышные кружева, посиневшие в зимних сумерках, и казались каким-то чудесным сном о таинственной жизни...

К ночи мы вернулись с приятелем в дом, и я почувствовал, что уже дом не мой, и я в нем как-то нечаянно жив еще.

Кулишов, веселый человек, говорил:

— Ну и идиоты мужики!

Вечером пришли ко мне соседи, тетка Афросинья, Батолин-рыбак. Кулишов и им сказал:

— Идиоты вы, дурачье.

Батолин степенно ответил:

— Это верно, мужик наш, действительно, темный — конешно. Да господа и башка революции все сами зачали: сулили гору, а ан, нет ничего.

— А мужики говорят, — вдруг добавил Батолин, — будто Киститин Лисеича больше не пустят уехать... Хлеба и всё дадут, только чтобы не ехал. «Без его, — говорят, — скучней. И вина он нам не жалел, и угощение от него было, и на обман наш, бывало, смеется, не сердчает... Наши ребята у его гусей поели, а он говорит: “Знать, улетели по осени с дикими”. Простой, — говорят, — пущай живет...»

Наутро у меня на террасе стояло невероятное количество крынок молока, муки, творогу, лепешек, хлебов, огурцов, капусты. Мне сказали, что рано утром принесли мужики старинские, охотские и любильцы. Говорили: «пущай ест и живет с нами». Я посмотрел на дары и понял, что их не съесть и целой роте.

— Чудной народ, — повторял Кулишов.

Я поблагодарил крестьян и упросил взять дары обратно. Хотелось уехать. Жуткое чувство не покидало меня, и утомляли эти постоянные посещения какими-то людьми, крестьянами, «товарищами» из Александрова и Орчека, со станции, и народными хозяевами, — то с угрозами, то с расспросами, то с непрошеными милостями. Я и приятель мой решили уйти из деревни — опять в сумасшедшую Москву.

Мы собрались ночью на станцию Рязанцево, в четырнадцати верстах от меня. Была морозная звездная ночь. Острым серпом блеснул месяц над бором. Деревня спала. Снег хрустел под валенками, дорога сначала шла полем, потом через реку Нерль уходила в лес.

В лесу показался темный дом лесничего, в котором стоял заградительный отряд.

— Обойдем лучше, — сказал Кулишов. Но снег был глубок, и мы пошли прямо на дом.

Все спало, огня в окнах не было. Залаяла собака. Торопливо свернувши на проселок, мы вошли в большой казенный лес. Сосны казались бесконечно высокими, звезды сверкали среди их огромных, темных шапок.

Оступившись, я провалился в яму. Снег покрыл меня с головой, набился за ворот. Вылезая, я ухватился за столб, на котором была выведена цифра 12 черной краской по белому, а наверху двуглавый орел. Это была межевая яма. Только я вылез на дорогу, приятель мой шепотом сказал:

— Смотри, видишь, огонь... Идут с фонарем сюда... Пойдем лучше спрячемся!

Мы быстро вошли в глубь леса. Снег был выше колен. За елями мы прилегли. Фонарь приближался. Мы увидели троих людей с винтовками, они шли по той же дороге от сторожки лесничего. Не доходя ямы остановились, и один, несущий фонарь, сказал:

— Куда идтить? Нешто их тут сыщешь ночью?

— Только бы увидеть, — сказал другой, — а то б дали разá.

Он поднял к плечу винтовку, и раздался выстрел. Просвистела пуля.

— Чего зря хлопаешь, пойдём, робя. Озяб, чего ночью тут!.. Ежели б мешочники, у тех денег што, а у этих ничего нету. Я в окно смотрел — пустые, знать, здешние.

Очевидно, разговор шел о нас, так как у нас были только палки в руках.

— Все равно бить их надоть. Может, поджигатели...

И они ушли назад к дому лесничего.

Лес редел, мы вышли на опушку. Недалеко впереди показалась темная деревня Никольская. Прошли кузницу, запахло дымом. В деревне было глухо, печально. Избы покрыты снегом, ни огонька в окнах. Безнадежно.

Вот и осинник, где до войны я убил на облаве волка.

Мне стало жаль волка и его загубленной мною жизни здесь, среди леса, — зимой, в голоде.

Волк в печальной стране моей лучше нас, озлобленных людей. Волк лучше нас и свободнее...

Дураки и умные

Под Москвой жил я с отцом и матерью, в Больших Мытищах. Отец болел и послал меня на станцию, с запиской, купить лекарство. На станции сказали: «Лекарства такого нет» и послали в дом вблизи станции. Когда я пришел в небольшой домик, то в нем увидел старого седого человека в очках. Он сидел за столом и читал большую книгу. Я подал ему записку отца... Старик поднялся, подошел к шкафу и стал вешать на маленьких весах белый порошок. Я посмотрел на большую книгу и увидел какие-то черные знаки, особенные. Старик подал мне пакетик и сказал: «Сорок капель».

Я отдал ему рубль и спросил у него, что это за книга.

— А это книга мудрости, мальчик, — ответил мне старик и дал мне сдачи.

— А что здесь написано? — допытывался я.

— А вот тут, где ты держишь палец на книге, — тут написано: «Бойся дурака больше, чем злодея».

Придя домой, я рассказал отцу про старика, книгу и спросил его:

— Кто ж это дурак такой? Бывает ли такой на деревне?

Отец мне ответил:

— Нет, здесь нет таких. Это не те дураки — есть другие! Они кажутся умными... Вот эти-то умные — самые страшные. От дураков может погибнуть вся страна. «Вот так история, — подумал я. — Кто ж это?»

* * *

Утром я был в школе. Как хорошо в школе: парты желтые, чистые, товарищи, пенал, перышки, книги с картинками, «Родное слово» и все такие веселые друзья... С Ленькой будем гонять кубари ужо, на льду. Ах, хорошо! А на одном коньке бегать?

Входит учитель Петр Афанасьевич — худой, в очках, и садится. Задаёт задачу, задача легкая. Я смотрю на него и думаю — вот он умный. Не может быть, чтоб он был дурак, не может быть. Он с нами поет тенором «Вечерний звон». Очень хорошо поет.

В перерыве занятий я подхожу к Петру Афанасьевичу и спрашиваю:

— Кто такой дурак, от которого может погибнуть вся страна?

Он смотрит на меня пристально и спрашивает:

— Это кто тебе сказал?

Я ему говорю: «Вот на станции, старик...»

* * *

Эх, как кубари вертятся, когда гоняешь их кнутом по льду! У Леньки зеленый с желтым, а мой красный с черным. Мой лучше... Эх, хороша зима!

Пришел домой, лампа горит и щеки горят. Мать, чай, баранки. У отца сидит Петр Афанасьевич. На столе большая копченая селедка, пятачок стбит. Ленька со мной пьет чай внакладку, собака Шарик, замечательная: хвост крючком, служит, на носу кусок баранки — пиль! — хватает в воздухе баранку. Умная собака Шарик... Слышу, отец говорит:

— Хотеть, желать — это хорошо. Желать блага народу — это благородно, высоко, прекрасно!

— Свободы, равенства, — говорит Петр Афанасьевич.

— Да, верно, — отвечает отец, — но есть еще самое важное.

— Что же? — спрашивает Петр Афанасьевич.

— Самое важное — это уметь сделать это самое благо народу, это равенство, эту свободу. Но желать только — это глупо.

— Как глупо? — говорит Петр Афанасьевич. — Почему?

— Желать и не уметь — глупо. Создается непонимание... Этот страшный черт небесным факелом свободы сожжет и нивы, и жилища. Умные желают и умеют сделать, а дураки только желают.

«Вот к чему старик говорил на станции о дураках!» — подумал я.

* * *

Большой зал. Огромный стол накрыт зеленым сукном. За столом сидят люди в блузах, в пиджаках. Кто в картузах. Ни на ком нет рубашки крахмальной и галстука. Среди них артисты театра, писатель, лица умственные, серьезные, без улыбки. Перед ними в рубашках, в пиджаках, в высоких сапогах здоровые, потные люди, вроде мастеров, рабочих, но не крестьяне. Их огромная толпа, они поют:

А деспот пирует в роскошном дворце.
Тревогу вином залива-а-ает.

Хорошо поют, уверенно так, глаза выпуча на начальство, что за столом. Начальство протягивает и жмет им руки с искренней дружбой, торжественно.

Выхожу из собрания и иду вместе с кучей людей. Переходим Театральную площадь. Ко мне обращается один:

— Ты, отец, чей будешь?

— Какой чей? Я сам — свой. Я ничей. А ты чей?

Он смотрит на меня и говорит:

— Мы водопроводчики. Ежели захотим завтра — вот тебе воды не дадим. Пей чай, тады что? Поговоришь... «Сам сво-о-ой!» Вот тебе, ходи на реку, что лошадь. Понял?

— Понял, — говорю я.

— Вот что — мы главные, понял?

— Понял, — отвечаю я. — Вы главные...

— Да, все наше, понял?

— Чего ж — все ваше...

— Ну вот. Наше право, отец, понял?

— Это верно, — говорю я.

— Лектричество горит. Вот... Вода наша — затопим, тады што — понял?

— Понял, что вот вы, товарищ, и есть деспот.

Он остановился и посмотрел на меня. Его добродушная рожа исказилась. В глазу блеснул злой огонек.

— Я бы вас мог представить куда надо, — сказал он, — но мне некоды. Таку несознательность даже элемент понять должен.

* * *

Калейдоскоп воспоминаний сменяется. Ночь. Зима. Стук в дверь. Приехал отец. Его высокая фигура входит. Шуба, башлык покрыты снегом. На его бровях, усах — снежинки.

— Отойди, — говорит он мне, — холод, простудишься.

Я отхожу к столу. Он смотрит на меня лучшими в мире глазами, добрыми, и говорит:

— На тебе, Костя.

Я развертываю бумагу: книги, тетради и ящичек красненький. Выдвигаю крышку, и там — о красота, о радость! краски и чашечки, обведенные золотом... Я не сплю, и под подушкой моей — этот ящик. Вынул и смотрю — зеленая краска, рядом красная, лиловая, на них печати, короны, — невозможно хорошо. Считаю: четырнадцать красок и чашечек четыре. Петр Афанасьевич говорил: «Рисовать и петь — ты первый».

Нарисую завтра деревню, Леньку, Шарика и снегиря — сидит на дереве, и подарю Петру Афанасьевичу. Нет... отцу! Нет, лучше отдам Леньке!

* * *

Калейдоскоп меняется. Мы посылаем малую лепту. «Так много жертв в ссылке», — говорит мне пришедший добрый человек.

— Доходит ли? — спрашиваю я.

— Говорят — доходит.

— Возьмите эту картину, может быть, выручите что-нибудь.

— Думаю.

* * *

Меняется. Где Ленька, милый друг мой? Давно ушло в даль прошлого все. Нико-го нет... Другой Шарик лает ночью на луну у леса, где был дом мой... там... в России... И лежит снег, замел сугробами дорогу к крыльцу. И никто не идет туда... И нет в нем огня, мной зажженного...

А здесь около меня, свернувшись, собака моя Тоби. Около мордочки — мячик. Тоби смотрит на меня умными глазами. Взял в рот мячик, глаза его говорят...

— Ну что ты все пишешь, поиграй со мной, я так тебя люблю!

— Нельзя, Тоби... Я стар, я пишу сказку смерти...

Человечек за забором

В России — в нашей прежней России — было одно странное явление, изумляв-шее меня с ранних лет... Это было — как бы сказать? — какое-то особое «обществен-ное мнение». Я его слышал постоянно — этот торжествующий голос «общественно-го мнения», и он казался мне голосом какого-то маленького и противного человечка за забором... Жил человечек где-то там, за забором, и таким уверенным голоском коротко и определенно говорил свое мнение, а за ним, как попугаи, повторяли все, и начинали кричать газеты.

Эта российская странность была поистине особенная и отвратительная.

Но откуда брался этот господин из-за забора, с уверенным голоском?

Н.А. Римский-Корсаков создает свои чудесные оперы — «Снегурочку», «Псковщи-ню», «Садко»...

— Не годится, — говорил человек за забором, — не нужно, плохо...

И опер не ставят. Комитет Императорского театра находит их «неподходящи-ми». Пусть ставит их в своем частном театре Савва Мамонтов. Голос за забором твердит: «Не годится...»

За ним тараторят попугаи: «Мамонтов зря деньги тратит, купец не солидный».

Вот уж и министр Витте заявляет Савве Ивановичу: «Что же вы театры держите? Несерьезное дело, не к лицу вам, как председателю правления железной дороги, заниматься увеселениями».

Другие примеры: Чехов, Антон Павлович, писатель глубокий. А господин за за-бором сказал:

— Лавочник!

Или вот Левитан — поэт пейзажа русского, подлинный художник, мастер, а тот же голосок шепотком на ухо:

— Жид.

И пошла сплетня: и Школы-то Левитан не кончил, и пейзажи-то Левитана не пейзажи, а так, какие-то цветные штаны (остроумно, лучше не придумать!).

Да разве один Левитан? И Головин, и аз грешный тоже «не годились». Человечек за забором отрезал:

— Декаденты.

И поехало. А что такое «декаденты» — неизвестно. Новое, уничтожительное. Вот и крестил им человек кого попало. А когда приехал в Москву Врубель, так прямо забыли: «Декадентщина, спасите, страна гибнет!» — Суворин, Грингмут, «Русские ведомости» — все хором...

Видно, человек за забором вовсю работал.

А вот и Шаляпин. Поет он в Частной опере — ставят для него «Псковитянку», «Хованщину», «Моцарта и Сальери», «Опричника», «Рогнеду». Но голос за забором хихикает:

— Пьет Шаляпин...

Лишь бы выдумать ему что-нибудь свое — позлее, попошлее, погаже, ведь он все знает, все понимает...

И кому кадил он, этот человек, кому угождал — неизвестно. Но деятельность его была плодovита. Он поселял в порожних головах многих злобу, и она отравляла ядовитой слюной всех и вся...

Когда я поступил художником в Императорский театр, господин за забором оказался тут как тут. При первых же моих оперных и балетных постановках на меня полились, как из ушата, помои, в расчете на поддержку «общественного мнения». Газеты хором неистовствовали: «Декадентство, импрессионизм на сцене Императорских театров». «Позор и невежество на образцовой сцене», — писал Карл-Амалия-Грингмут, а за ним остальные газеты. «Новое время» и «Русские ведомости» заодно с «Московскими». Красота! Человек за забором работал.

А в театре лица артистов были унылы. Малый театр волновался, балетные рвали на себе новые туники. Не нравились «декадентские» костюмы. Плакали, падали в обморок...

Артист Южин в «Отелло», по укоренившейся традиции, выходил в цветном кафтане с золотыми позументами и почему-то в ярко-красных гамашах — похож был на гуся лапчатого. Я попросил его изменить цвет гамашей. Он обиделся, а успокоился только тогда, когда я заявил:

— У Сальвини — белые, как же вам в красных?

Поверивши, он долго жал мне руку:

— Пожалуй, вы правы, но все так против...

«Все» — вот оно, «общественное мнение».

Вспоминаю я еще случай. В Большом театре в «Демоне» Рубинштейна грузинам почему-то полагалось быть в турецких фесках, и назывались они «бершовцами», по имени Бершова, заведующего постановочной частью.

Бершов, мужчина был «сурьезный», из военных. На репетициях держал себя как брандмайор на пожарах и, осматривая новую постановку, выкрикивал: «Декоратора на сцену!» Декораторы выходили из-за кулис, опустивши голову, попарно. Было похоже на выход пленных в «Аиде», на гневные очи победителя:

— Отблековать повеселей, — кричал Бершов. — В небо лазури поддай!..

Он был в вицмундире, в белом галстуке, при орденах, и расторопностью хотел понравиться Теляковскому, новому директору. Но произошел случай, который его расстроил навсегда. В этом случае повинен я.

Неизвестно с какой стати в постановке «Руслан и Людмила» в пещере Финна ставили большой глобус, тот же, что и в первой картине «Фауста».

Придя в Большой театр на репетицию «Руслана», я позвал Бершова и спросил его: — Кто такой Финн и почему у него в пещере глобус?

Бершов только посмотрел на меня стеклянными глазами, а машинист, которого звали Карлушка, ответил за него:

— Глобус ставят Финну, потому он волшебник-с, как и Фауст.

— Уберите со сцены глобус, — сказал я рабочему-бутафору.

Когда бутафоры уносили глобус, артисты, хор, режиссеры смотрели на меня и на глобус с боязливым удивлением и любопытством. Потом шепотом говорили, что, пожалуй, верно, глобус ни при чем у Финна. А режиссеры из молодых, окрыленные моей смелостью, доказывали, что и при Фаусте не было глобусов. Перестали ставить глобус и в лабораторию Фауста.

Но человек за забором продолжал работать. И вот «Русские ведомости», профессорская газета, с апломбом поставила точку над *i* — воспользовалась первым поводом для уличения меня в полном невежестве.

Дело было так. При постановке «Демона» Рубинштейна я поехал на Кавказ и писал этюды в горах по Военно-Грузинской дороге. Эскизы мои изображали серые огромные глыбы гор ночью: скалы, ущелья, — где Синодал видит Демона и умирает, сраженный пулей осетина...

Мне хотелось сделать мрачными теснины ущелья и согласовать пейзаж с фантастической фигурой Демона, которого так мастерски исполнял Шалапин. Высокую фигуру Шалапина я старался всеми способами сделать еще выше. И, действительно, артист в моем гриме, на фоне такого пейзажа, казался зловеще-величественным и торжественным.

Тогда-то «Русские ведомости» и написали свою злостную критику:

*На постановку «Демона» тратятся казной деньги, на Кавказ посыла-
ется художник Коровин, а он даже не удосужился прочесть поэму нашего
гениального поэта Лермонтова. В поэме «Демон» слуга обращается к кня-
зю Синодалу:*

*Здесь я под чинарой
Бурку разложу
И, уснув, во сне Тамару
Узришь ты свою...*

*А Коровин чинары не изобразил. «Какая дерзость так относиться к
величайшему поэту земли русской! Вот какое невежество приходится
терпеть от новых управителей образцового театра...»*

Конечно, все это было чистейшим вздором: денег на поездку я не брал, а ездил на свой счет. Но дело не в этом. Ошеломил меня больше всего упрек в незнании Лермонтова, и я написал в редакцию «Русских ведомостей» письмо, в котором выражал свое удивление и огорчение... как могла профессорская газета принять вышеприведенные вирши оперного либреттиста за поэму Лермонтова? Тогда приехал ко мне Н.Е. Эфрос и просил забыть эту «ошибку».

Однако «Русское слово», к великому конфузу «Русских ведомостей», письмо мое напечатало.

А вслед затем получил я повестку, приглашающую меня в отдел Министерства внутренних дел...

Во дворе большого дома, напротив Страстного монастыря, — крыльцо. Звоню. Дверь открывает жандарм. Я показываю ему повестку.

— Пожалуйста, — говорит жандарм и ведет меня по коридору, по обе стороны которого — двери; одна из них отперта, и в комнате сидит дама в глубоком трауре, а перед ней жандармы роются в чемоданах.

В конце коридора мне показали на дверь:

— Пожалуйста!

Я вошел в большую комнату. Ковер, письменный стол. Прекрасно одетый господин с баками встает из-за стола, с любезной и сладкой улыбкой рассыпается в приветствиях.

— Очень рад, ну вот, Константин Алексеевич, так-с!

— Я получил от вас повестку, — начинаю я.

— Ну да. Так-с. Но это не я писал. Пустяки-с. Маленькая о вас справочка из Петербурга. Вы так шумели, все газеты кричат. Вот, например, статья Алексея Павловича Ленского...

И он сделал серьезное лицо.

— Вы ведь знаете Александра Павловича? Артист Божьей милостью. Как играет. Боже мой! Я, знаете, плачу. И вот он — тоже. Карл Федорович Вальц, маг и волшебник — тоже... Согласитесь! Ах, что ж это я? Садитесь, пожалуйста...

— Так вот, — продолжал он, — от вас нужно нам маленькое разъяснение... Сигары курите?

И он пододвинул мне серебряный ящик с сигарами и сам закурил.

«Какой любезный человек, — подумал я. — Как расчесан, какая приветливость! Приятный господин!» А в голове мелькнуло: «Не этот ли и есть человек за забором?»

— Нам нужно от вас, Константин Алексеевич, — как ни в чем не бывало, заговорил он опять, — узнать...

Тут он многозначительно запнулся и затем медленно закончил:

— Какая разница между импрессионизмом и социализмом?

По правде сказать, я не знал, что такое социализм, а импрессионистами мы, художники, называли отличных французских мастеров, писавших с натуры красками, полными жизненной правды и радости. Знал я, конечно, также про существование разных социальных учений, но никак не подозревал, что между тем и другим есть что-нибудь общее.

Так я приблизительно и ответил.

— Ну вот, так и запишем, — сказал мой собеседник и стал писать.

— А, скажите, — обратился он ко мне опять, — почему импрессионизм явился как раз в одно время с социализмом?

Я ответил: «Не знаю». И с досады пошутил:

— Впрочем, может быть, открытие Пастером сыворотки от укуса бешеных собак как раз совпадает с днем вашей свадьбы? Почему бы?

— Так-с, — ответил он. — Но я бы просил вас быть искреннее.

Он встал и быстро зашагал взад и вперед по комнате.

— Я тут ни при чем, — повторил он. — Но вот-с, запросец из Петербурга. Согласитесь, могут быть осложнения. Вам это не будет приятно.

— Что же это: допрос? — осведомился я.

— Ну, допрос, не допрос, а... разъяснение. Вот видите, и «Русские ведомости» — тоже. Даже они-с, согласитесь! И весь театр, и Грингмут. Согласитесь! Ленский — тоже. Вот что-с. Прошу вас, к завтрашнему утру приготовьте в письменной форме ваше определение импрессионизма и социализма и принесите мне. Напишите кратко, по вашему разумению. Ну-с, а теперь до свиданья. На дорожку сигару? Отличная сигара, кого-нибудь угостите.

Теляковский, бывший уже управляющим Императорских театров, когда я рассказал ему об этом допросе, посмотрел на меня своими серыми солдатскими глазами и сказал:

— Вот оно понимание красоты и искусства!

Он добавил:

— Подождите, я сейчас оденусь. Поедемте вместе.

В зале дома генерал-губернатора к нам вышел Великий князь Сергей Александрович, высокий, бледный, больной. Теляковский говорил с ним по-английски.

Великий князь обратился ко мне:

— Вы вошли в театр, где было болото интриг, рутин, и, конечно, вызвали зависть прежних. Ничего не отвечайте в министерство.

Через день ко мне приехал какой-то репортер и привез статью для «Московских ведомостей», написанную репортером в защиту моего направления. Эту чью-то статью я должен был подписать, якобы в свое «разъяснение».

Я оставил статью у себя для просмотра — против чего долго возражал репортер, — а наутро послал ее через нотариуса в редакцию «Московских ведомостей», с просьбой не писать от моего имени провокационных статей.

Репортер примчался ко мне взволнованный и, горячась, объяснил, что писал статью он по указанию самого Грингмута.

— Не шутите с Грингмутом, вы его не знаете. О, разве возможно! Это ступ! Патриот! С кем вы спорите, берегитесь!

«Вот он милый человечек за забором», — подумал я опять.

А милый человечек все продолжал работать, неустанно хлопотал, развернулся вовсю: лгал, клеветал, доносил, все знал и жил, вероятно, неплохо. И поклонников у него была уйма...

Ах, как скучно на свете, на прекрасной земле нашей, от этого человечка за забором!

Карла Маркса

Москва, июль, жара. Огромная мастерская. Пол покрыт театральными декорациями. Топится печь — разводятся колориты и клей. В окна видны железные раскаленные крыши домов по Тверской-Ямской, вывески овощной и шорной лавок. Едут ломовые вереницей, везут кули муки, овса; на кулях сидят здоровенные ломовики, покрытые мучной пылью, и слышно — «ы, ы, ы» — понукание лошадей, огромных, в тяжелой блестящей сбруе с кистями. Лошади лениво движутся в знойном дне. В воздухе пахнет квасом и рогожей. Вдали — маковки церковей, горящие золотом.

На извозчике едет полная женщина в зеленой шляпе, в руках коробка — бисквитный пирог — и клетка с чижиком. «На дачу, — думаю я. — Вот бы выкупаться! Поехать в Косино или Кунцево! А пить как хочется!»

— Василий Харитоныч, — говорю я рабочему-маляру, Белову, расторопному парню с круглым лицом, типичному рабочему из солдат, — сбегай, достань лимонаду или ланинской.

— Чего лучше, — говорит Василий, — в жару этакую, как черное пиво! У нас пиво хорошее.

Василий приносит пиво, пьет со мной и рассказывает:

— Вот здесь вчера, на дворе нашем, что было: студенты женщину зарезали... Вот она кричала, когда ее в «скорую помощь» сажали. Ну, доктору засвистела в зубы. Ну, насили удержали. Здоровая! Городовых прямо раскидала...

«Что за ерунда», — подумал я.

— Красивая? — спрашиваю.

— Нет, чего! Толстая. Лет за пятьдесят. Жена сапожника. В подвале живут. Бедные. Двое детей.

— Что же ты ерунду порешь... Рассуди: за что студентам жену сапожника резать?

— Вы никогда не верите... Студенты народ озорной, чего тут... Созорничали. И вот она кричала. Ужаси!

— Чушь. Не может быть...

— Не верите! Так в газетах прочтите.

И он подал мне «Московский листок».

Действительно, в отделе происшествий там было напечатано, что в доме Соловейчика — Тверской части, Садового участка — в припадке острого алкоголизма мещанка Юдина нанесла себе несколько ножевых ран и в карете «скорой помощи» скончалась. А затем... была и другая заметка: такие-то студенты Московского университета за непосещение лекций и невзнос платы увольняются...

* * *

В Архангельске я был с художником Головиным, с нами был и Василий Белов. Как-то я попросил Белова сходить посмотреть на уличную афишу, что идет вечером в театре.

Василий, возвратясь, повесил картуз на гвоздь и бойко, по-солдатски, доложил:

— По всему городу капеллой.

— Что такое, Василий?

— Ну, вот опять не верите. Чего ж, верно: «капеллой по городу», боле ничего.

Василий любил читать и сокращать написанное: все прочитанное поэтому превращалось у него в абракадабру, а события извращались и преувеличивались до чудовищности.

На сей афише было указано, что «проездом через город Архангельск капеллой Славянского будет дан концерт».

— Ну что — верно же? Сами читали! — сказал Василий.

— Верно, Василий. Капеллой... Голые по всему городу поедут. На санях!

— Вот, — возмутился Василий, — голые! Это что ж такое? На санях, летом! Да это нешто город! Чего тут и делать-то.

И он, сморщив глаза, махнул рукой и вышел...

— Ежели наш Государь захочет, все державы победит, — сказал Василий в тот же день за работой.

— А тебе бы хотелось, чтобы всех победил? — спросил его зашедший ко мне В.А. Серов.

— Еще бы! Чего глядеть...
— А зачем?
— Как — зачем, а чего они по-нашему не говорят? Да и в церковь не ходят.
— Они в свою ходят.
— Ну вот, «ходят»! Турки-то. Что вы, нешто это церковь? Там и святой водой не кропят, детей не крестят. Чего тут! Узнали б тогда, что и как...
— Василий Харитоныч, — вмешался я в разговор. — А вот японцев-то не победили наши. А ты говорил — наша возьмет.
— Всех бы в море японцев... Да что тут. Измена да горы.
— Горы, — повторил он. — Верхушек не видать. Страсть какая. А там тучи. Они оттуда наших-то и жарят ночью. А наши-то в Порт-Артуре, сердешные. Выйти и некуда. Ежели бы не тучи, прощай! Всех бы взяли. Да нешто это война? Воевать выходи на ровное место, в чисто поле. А то горы!

* * *

Как-то, уже во время революции, я пошел в мастерскую взять свои эскизы. У ворот дома Соловейчика, где была мастерская, я увидел Василия Белова. Он стоял один и глядел рассеянно; под глазом у него был большой синяк. По улице шли люди, несли знамена с надписями: «Дворцы народу», «Свобода, свобода»...

— Василий Харитоныч, — спрашиваю. — Что это? Ушибся? Глаз-то у тебя затек.
— Ну и свобода, — ответил Василий. — Это что же такое? Вчера я на метенге¹ был у Страстного... Народу... Говорил, как новое начальство дома делить начнет. Кому — ежели я солдат — одно, а ежели мастер — другое. Мне, чисто Шаляпину, хлопали. Да один какой-то стрюцкой мне в морду — хлясть. Ну, за меня народ. «Как драться? Полное право!» А стрюцкой на меня показывает: «Ишь, у него бриллиант на пальце». А у меня кольцо с бирюзой, когда в Самарканде с вами был, вы подарили. «Давай кольцо, — кричат, — бриллиант носит, сволочь!» Сняли кольцо. Чуть палец не оторвали. Насилу сбежал.

В это время мимо нас по Садовой повалила толпа: «Свобода, соединяйтесь». Шли дворники с метлами и пели: «Черные дни миновали». Василий смотрел сердито. Вдруг перед ним остановились двое и стали его разглядывать.

— Это городской переодетый, — сказал один из остановившихся, показывая на Василия. — Ишь, морда бита.

— Городовой это, тащи его. Ишь, переоделся!

Василий закричал:

— Какое полное право!

Но Василия уже держали за руки.

Я вступился за него:

— Это вот из этого дома мастер, — говорю. — Рабочий, сознательный. Из мастерской.

— Веди его туда, узнаем, кто, — загалдели в толпе.

Василия и меня привели в мастерскую.

¹ Так в тексте.

Когда вошедшие увидели краски, кисти и часть декорации, над которой была написана большая голова египетского фараона в тиаре (декорация изображала барельеф к балету «Дочь фараона»), один из освобожденных граждан сказал, сморкнув носом:

— Э-э, товарищи, и верно... Художники... Ишь, Карлу-Марксу малюют. Вот за это, знать, его и били несознательные. А пошто у Карлы-Марксы бутылка на голове?

— Монополия, что ли?

— Монополия, знать.

— Ишь ты!

Через неделю Василий пришел ко мне серьезный и важный.

— Теперь я за старшого, — сказал он. — Бумагу мне дали. Главный мастер. Весь двор меня слушает, ходит смотреть Карлу-Марксу.

Говорил это Василий строго, и лицо его было умственное и гордое.

Вдруг, совершенно другим голосом, Василий сказал:

— Ну, что теперь денег нагрябят — страсть! Часы карманные делить будут. Мне золотые обещали.

— Нехорошо, пожалуй, будет, Василий...

— Чего ж? Народ гуляет. Никто не работает. Кто что. Свобода потому. Очень антиресно. Где подождут, где стащат, своруют, потом ловят, кого бьют. Кто кого. Антиресно. Гуляют. Карла-Маркса велел. Ну, и рады все. Ходят смотреть в мастерскую: голова большая. Ну, спрашивают: что за человек такой намалеван? А я говорю: Карла-Маркса, Фундуклей, царскую дочь за себя взял, в дочери фараона, в балет. Она танцевала да веретеном, от жисти такой, сквозь себя проколола. А его от должности уволили.

— Ловко, — говорю, — ты, Василий, придумал.

— А чего ж? Всем ндравится. А один пожилой так даже заплакал. Говорит — у него тоже вроде было с дочерью. — Так, говорит, в больнице и померла.

Он посмотрел на меня с укоризной:

— А вы, Кистинтин Лисеич, все не верите, смеетесь, а мне вот муку, крупу, сахару за это дают...

Через неделю Василий опять пришел, но грустный, подавленный. Глаза ходили во все стороны.

— Ну, начальство теперь, плюнуть стоит, — сказал он.

Оказалось, что в мастерскую явился человек в кожаной куртке, с портфелем под мышкой и сказал про декорацию: «Это не Карл Маркс», — и велел бороду прималевать.

— Карла-Маркса фабрикантом был, — горячился Василий. — Все фабрики рабочим отдал, капитал на книжку положил... А декорацию взяли и сказали, что из нее знамя сделают.

— Взяли, — повторил с грустью Василий. — Знамя! Какое же из этого знамя выйдет! Знамя есть священная хоругвь против врагов унутренних и унешних, а он

чего понимает? Так, какой-то стрюцкой. Чего тут. Говорили, часы делить будут. Вот тебе и часы! Фабрики рабочим отдал Карла-Маркса, а сам, поди, с золотыми часами ходит. Тоже суфлеры, знаем их.

И, посмотрев на меня, еще раз укорил:

— Вот вы все не верите, все смеетесь... Эх, досмеетесь вы, Кинститин Лисеич...

Пещера

— И что это делается? Понять невозможно, — говорил пришедший ко мне Герасим Дементыч, крестьянин из Лемешков.

— Лужкова посадили в тюрьму. Почто, говорят, дом у него крашен и железом крыт? Идут к нему — деньги давай, говорят; а денег у его нет. И сажают, значит, почто денег нет. А дом железом крыт, и морду ему набили. Ну, его посадили, а сами жить в доме стали. Лучший дом себе выбрали, чтобы себе лучший, а ему за это тюрьма. Значит, теперь — кто лодырь был, то и человек, и, значит, царь над всеми. Таперь голод, значит, есть нечего. Бегут куда кто, где выменять можно картошку или что. Приехали, значит, татарин с женой и два подростка-дочери. Ну, с голоду думают, наменяем чего и поедим. Приехали, значит, искать хлеба из-под Казани: в краю голод, значит. Ну, отец заболел тифом, да и помер. А за ним и жена его, татарка, тоже померла. Ну, сиротки две — одной девять годов, другой одиннадцать. Майоров, что с наганом в Соболеве ходит, их увел по ягоды в лесок, да изнаильничал. Они обе ума решились. А он начальником ходит, хоть бы что, и крест носит. Татаре, говорит. Смех ему. Какой же он человек, скажи пожалуйста? Нет, это не человек.

— Учитель, — продолжал Герасим, — яблони большие выкопал в саду и себе пересадил. Они сейчас засохли, дурак еще, потому. Его дядя — уголовный начальник розыска, потому ему, значит, все можно. На станции у нас весь спирт из ламп выпили. Ну, и ослепли все — много выпили; говорят, потому и ослепли. Надолго дело такое пойдет, потому слобода дана, ну и гуляет кто как. Говорят, хоша маленько по-нашему поживем. Знаем, говорят, потом опять к рукам приберут...

Кто гадит, тот и главный таперь. Надьсь солдат пришел, говорит — до шести десятков живи, а боле нельзя, потому что чужой хлеб старики едят. А его слушает Баторин, а Баторину-то под восемьдесят, мужик крепкий. Да как он ему дал разá по уху, тот и с катушек долой и посейчас лежит на печи, молчит, боле ничего. Ну, у Баторина и удар, даст тебе разá, так семеро дома сдохнут. Вот удар! Наши ребята без понятиев озорничают. Надьсь попа окружили, поют ему: «Ты наш батюшка святой, ты сымай портки долой». Ну, чего тут, озорство какое!..

* * *

Долго рассказывал Герасим. А в окна видны были облака — величавые, они кружились на синем небе. В открытом окне дышали цветы и травы, и мирно под высокими елями розовела дрема, спускалась к обрыву реки. Мирная, божественная природа наполняла душу счастливой радостью бытия...

«Нет, — подумал я, — уйду в глушь; лучше быть зверем, кротом, совой».

И говорю приятелю, гостившему у меня:

— Уйдем отсюда в глушь, на реку Ремжу, уйдем, в пещеру!

— Герасим Дементыич, я на Ремжу уйду, — сказал я и гостю из Лемешков. — Уйду в пещеру, там лучше.

— Правильно, — отвечает Герасим и смеется. — Соли да хлеба возьми. Пойдем, я тебе место хорошее покажу. Ух, хорошо! Я по охоте всегда там отдыхал, ну и место — радость и красота. Только монахам бы там и жить. Пустыня, а есть Бог в ей. Ловко придумал ты это! От людей уйти хочешь. Не уйдешь только... Везде сыщут, дьявол человеческий глазаст. Верно, теперь без людей лучше. Что у них на уме, только душегубство да грабеж. Обиду друг другу чинят. А заметь, ни в ком улыбки нет, все всурьез свое дело ведут, смех-то пропал... Савинов уж чего прямо дурень, а теперь, посмотри, какой умный ходит, сурьезный — кто я! Ехал надьсы в город, дорогой уснул. Лошадь стала, ему ее и повернули, он проснулся и поехал. Ну, лошадь опять его ко двору привезла, а он — вот лошадь и бить. Дура, говорит, лошадь у меня. Менять ее хочет, а сам дурее лошади.

* * *

Ночью вышли мы из дому, нагруженные поклажей, взяли хлеба, соли — сахару не было, — топор, лопату, удочки, ружье, одеяла, подушки, медный чайник, конечно, кастрюлю, сковороду, спички, фонарь. Простились со стариком-сторожем, дедушкой.

— Под Вепревы ямы пойдем, помалкивай, принеси что будет, — сказал Герасим.

Была тихая лунная ночь. Перешли ночной брод, шли лесом. В лесу лунный свет простирал изумрудные тени. В таинственном свете блестела листва... Слева на речке, внизу, показалась глухая мельница. Бедный домик мельника освещен луной, слышен шум воды, пущенной в открытую вешку плотины, — шум печальный, унылый. Мы присели отдохнуть. На мельнице скрипнула дверь, и из дома вышла женщина, стала, освещенная луной. Смотрит на дорогу.

— Ванюша, родимый, ой, горе наше! Я ль говорила, не езд, почто с мукой-то, ой, убьют... Ванюша, где ты? Что пропал где? Саньку убили, Господи, помоги. Где ты, Ванюша? Где?

Женщина, рыдая, ушла в дом...

* * *

Чуть свет мы пришли к песчаному обрыву. Над обрывом огромный ельник, и внизу, как большое зеркало, омут реки, отражавший обрыв и лес. Ельник спускался до воды, длинные стебли иван-чая выглядывали из серых ветвей засохшей ели. В чистой воде омота, на утреннем солнце, поворачивая черными хвостами, медленно плавали голавли.

— Смотрите, рыба! Ишь, какие здоровые. Поймаем, — обрадовался мой приятель.

— Вот это самое место, — сказал Герасим. — Ну и вода, глянь-ка, все дно видать. Смотри, рыбы чтб! И ягоды много, малины, ишь, что здесь! Сюда никто и не ходит — далеко. Да и заросль недалече. Ну, пройти нипочем и нельзя. Топь. Одному здесь жутко, а вот вместе хорошо. От людей прятаться — нет места лучше.

Найдя мелкое место реки, мы перенесли поклажу и выбрали место стоянки у песчаного обрыва.

— Здесь в обрыве сделаем пещеру. А покуда разведи теплину. Я пойду нарву мяты. Эх, сахару-то нет!

Герасим щурит глаза и, ухмыляясь хитро, вынимает из кармана сверток:
— Смотри, сахар, — удивляется приятель. — Сахар, целый фунт куском, гляди-ка!

— Вчера выменял на крупу, — смеется Герасим.

Скоро запылал костер. Над ним висел на палке котелок. Кипела уха из окуней. Герасим таскал кучи зеленых еловых ветвей.

Я рыл пещеру, приятель чистил грибы.

— Дай-ка ружье, — говорит мне Герасим, — дай-ка, я жаркое подглядел.

И ушел с ружьем. Моя собака, Феб, радуется жизни и прыгает у ног Герасима.

«Пустыня», — думаю я и копаю в обрыве пещеру. Кукует кукушка.

— Роскошная жизнь, — говорит приятель, — уха, грибы, дичь, только вот пещеру надо готовить, а то ночь придет, тут медведь, поди, ходит.

— Да что ты — медведь умней людей, он не тронет, — сказал вернувшийся Герасим. — Ты вот на станции поди сейчас — что делается. Вот вчера-то, слышал? Дарья-мельничиха мужа ждет, плачет, а его уже две недели как убили у Боголюбова. Муку вез. Теперь за хлеб убивают. Говорить ей правду неохота, дитев трое осталось, старшего сына тоже убили за муку... А мята не хуже чаю, ежели сахар есть.

Герасим, лежа на песке, попилвал мяту из стакана.

* * *

Теплится костер. Вдали кричит выпь: «Фу, фу, фу...» В пещере, прикрытой ельником, спят глубоким сном мой приятель Вася и Герасим. Костер боком освещает их. На ногах Герасима сапоги во многих заплатках, а жилет моего приятеля с различными пуговицами — перламутровой, большой черной и оловянной. Видимо, он сам их пришивал. В его огромной фигуре что-то трогательное. Его бросила жена, равнодушные делало его сиротливым существом. Огромные его руки и эти пуговицы на жилете вызывали странную к нему жалость.

Искры костра летели в темное небо. Далекие звезды мерцали над лесом. И как хотелось сказать людям: «Придите сюда, посмотрите, как хорошо в этой пустыне, как таинственно тихо, какая красота этой простой ночи, какое дыхание и милая бедность этих песчаных пригорков и величавое торжество звезд в просветах ветвей, опустившихся к таинственным водам. Какой свет и тепло огня, добра, очага. Зачем вы так поссорились и ищите счастья там, где его нет и никогда не будет? А ведь тут, в летнюю ночь, в глуши — высший удел красоты и радости земли...»

Вдруг в тиши ночи, далеко, раздался крик, крик смертный и жуткий. В той стороне, откуда мы пришли. Что-то тяжелое, страшное охватило душу. Крик был женский. Я разбудил Герасима:

— Слушай, далеко кричит женщина, что-то нехорошо кричит.

Герасим смотрит, глаза его освещаются огнем костра.

Вдруг опять крик, а за ним выстрел, один, другой, и залп. Герасим пристально смотрит в темноту ночи.

— Дарья мужа ждала, — это там... Лихо дело... Убили, знать. Чу, слышь, далече.

Я молчал, он слушал. Потом шепотом сказал мне:

— Слышь, галдят.

Я ничего не слышал. Герасим взял ведро воды и полил костер. Он зашипел, и темный дым охватил нас.

— Дезертиры работают, винтовки я слышал, аль самогонщиков ловят... Ишь, что их... Буди Василия Сергеевича, пойдем в лес, собака залает, беда! На огонь пойдут. Пойдем, а то убьют нипочем...

Мы легли в темном лесу над обрывом. Почти над самой головой, громко охая, закричал филин.

— Вишь, орет, как леший, — сказал Герасим. — Это ведь он нарочно пугает, чтобы мы ушли. Уйдем, а ему и легче будет пташек ловить.

Внизу нам видно темную реку и в ней глубоко звезды. Большая рыба плеснула вдаль. В ночи как-то особенно слышится, будто кто-то идет, кто-то хлещет по воде и что-то падает, катится колесом, стонет глухо. Когда прислушаешься, ночь полна невнятных шумов.

Раздался сильный свист. Слышно, как шел кто-то и остановился.

— Тут самогон гонят, — сказал чей-то голос.

— Иде? Огонь-то потушили. Ей, самогонщики, угостите! Купим. Бутылку продайте, — говорил в нашу сторону другой голос.

— Какой ты огонь видел? Ишь, показалось тебе. Самогонщики. Чего еще? Ори! Тебе покажут вот, тогда узнаешь, дурак.

— Ей, ей, видал огонь. Теплушку, только, знать, дале за заворотом...

— Дурак, боле ничего. Сюда и гону, и ходу нет. Тут чертям только жить. Надо на Ремежке идтить.

— Держи их, — крикнул Герасим.

Феб залаял.

Люди на соседнем берегу бросились бежать, и мы долго слышали топот их ног в ночной тишине.

Светало. Мы спустились к пещере. Опять развели костер...

Утро. По светлому голубому небу загорелись розовые, как перья волшебной птицы, облака, и луч солнца позолотил берег. Зеленая осока светится ярко.

Утро. И вновь жизнь! Проснутся люди и начнут искать справедливости, и убивать, и ненавидеть... А какое счастье жить!

И сюда, в нашу пещеру, придет человек и отнимет нашу жизнь, и только эхо нашей смерти пройдет по пустынным долинам...

Печной горшок

Лето. У крыльца моего дома во Владимирской губернии сажу я под большим зонтиком и пишу красками с натуры рыб — золотых язей... Сзади сидят на траве приятели: крестьянин Василий Иванович Блохин и Павел-рыбак, тоже крестьянин.

На деревянной террасе накрывают стол к обеду.

— В Глубоких Ямах в Вепреве и дна нет, — говорит Павел.

— Как дна нет? А что же там?

— Просто глыбь. Ну, и рыбы!..

— Глядять-ка, к вам гости едут! — перебил Василий.

Я обернулся. В ворота заворачивала лошадь; в тарантасе сидят двое, один очень толстый, с широким красным лицом, другой — худенький, черные глаза смотрят через пенсне испуганно.

Я узнаю гостей. Первый — композитор Юрий Сергеевич М., второй — критик, музыкант Коля Курин. Композитор с трудом вылезает из тарантаса, хохочет, показывая на возчика:

— Замечательный человек этот парень, дай ему стакан водки... Здравствуй, здравствуй!

— Я к тебе на неделю, — говорит Коля Курин. — Устал, знаешь. Так устал, что страсть! Юрия я, брат, не понимаю. Этот возчик — скотина... А ему нравится!

— С приездом, — говорит возчик, проглатывая стакан водки, и, улыбаясь, закусывает. — Князев кланяться вам велел. Ежели на охоту пойдете в утро, то на бочагах ждать будет...

Гости пошли купаться, а я с Василием Ивановичем ставили на стол графины полынной, березовку, рябиновую, окорок своего копчения, маринованные белые грибы, словом — дары земли...

— Что ты весь в черном сукне? Переоденься в рубашку. Ведь лето, жарко. Какой ты бледный, однако, скучный, — говорю я Коле Курину. — Что с тобой?

— Да, брат, намучился. Закрутили. Одна меня прозвала «риальто». В чем дело? Ведь это, кажется, мост в Венеции такой?

— Да, мост, — отвечаю я.

— Ну вот, она в Италии петь училась. Странно! Риальто — мост. А я-то при чем? Рад, что к тебе уехал от всех этих историй...

На террасу вошел Юрий Сергеевич в шелковой рубашке, расшитой красными петушками; широкие синие шаровары и лакированные сапоги. Лицо свежее, волосы назад причесаны, карие умные глаза улыбаются. Приятели сели за стол.

— Смотри, Николай, белые грибы и березовка какая!

— Послушай, — обратился ко мне Юрий, — возчик, с которым мы <ехали> со станции, замечательная личность. Везет это он, посмотрит на нас и засмеется.

— Скотина, — отрезал Коля.

— Постой... Знаешь, что он сказал нам? «Часто к Коровину, говорит, вожу. Ну и каких дураков! Эдаких у нас и в деревне нет». Я удивился. Спрашиваю: «В чем дело, любезный?» — «Да как же, — говорит. — На днях тоже двоих вез. Один молодой, здоровый, а другой постарше, махонькой. Ну, подъезжаем к деревне, что вот сейчас проехали. Молодой и говорит: “Глядь-ка, сарай-то какой. Красота, ах! Прелесть! Стой, — говорят мне...” Я стал. Ну, вот они ходили кругом сарая. Вот, говорят, хорош, вот красота! Час ходили. Нравится им очень сарай. Подумай, а ведь это брошенный овин гнилой: развалился весь, его на дрова никто не возьмет. Гниль одна. Что за народ чудной, думаю... Ну, дальше поехали. Я им и показываю дом Глушкова. Дом чистый, новый, крашенный. Говорю: “Вот дом хорош!” А они мне: “Чего, — говорят, — в нем хорошего? Трогай...” Вот ведь дурость какая. Эдакие все к Коровину ездят. И чего это? На станции жандарму рассказал. Не верит: “Врешь ты, — говорит. — Таких людей не бывает...”» Вот и в другой раз к тебе с Николаем ехал. Возчик спросил: «Вы, господа, при каком деле находитесь?» Отвечаем: «Мы — музыканты».

А возчик так и заржет. Я спрашиваю: «Что ты?» А он: «Музыканты, — говорит. — Да нешто это дело? У нас в деревне на гармонии, почитай, все играют».

Юрий, хитро улыбаясь, замолчал.

— А то Шурка вас вез, — подхватил Василий Иванович, смеясь. — Он маненько сам с тараканом в голове... Да только и то сказать, по прошлой-то осени вы, Киститин Лексеич, у речки-то лошадь списывали. Помните? Она — Сергеева, угольщика. Ну, чего она, опоенная, на все ноги не ходит; ее живодеру отдать за трешницу, и то наприсышься. Ну, к ней телегу вы велели с хворостом поставить, и списывал ее Валентин Лександрыч Серов. Пишет, значит, Сергей-угольщик и я сидим, а вы подошли и говорите: «Лошадь-то хороша». — «Замечательная», — отвечает вам Валентин Лександрыч... Ну, Сергей шепчет мне: «Чего это?» А я тихонько Сергею: «Поди, приведи к реке попоить мово вороного жеребенка. Пусть поглядят». Сергей привел. Пьет жеребенок у речки да ржет, чисто зверь. Я и говорю: «Валентин Лександрыч, вот этого-то коня списать, глядеть-ка! А то что?» А он мне в ответ: «А скоро ли он его уведет?..» Не здравится, значит... Не знал я, что и думать. Без обиды говорю. Вот и скажи, пожалуйста, эдакую картину кому глядеть охота?

— Ее, Василий Иванович, фабрикант Третьяков купил. Три тысячи дал.

— Да что ты? Неужто? Батюшки! Это что ж такое? — удивлялся Василий.

«Печной горшок тебе дороже», — громко и обиженно продекламировал Коля Курин в пространство.

Юрий Сергеевич раскатисто хохотал.

«А мрамор сей, ведь бог», — не мог успокоиться Коля.

Крестьяне, улыбаясь, смотрели на него вопросительно, с изумлением.

— На какой это ты горшок сердчаешь, Николай Петрович? — спросил Павел-рыбак.

— Да, верно, верно! Ну-ка, объясни, попробуй, на какой горшок! Объясни, — хохоча приставал Юрий Сергеевич.

— Что ж это такое? Черт-те что! Ты-то чего смеешься? — обратился Коля Курин и ко мне.

— Не знаю, — ответил я. — Прости, Николай. Смешно. Невероятно! К чему ты это «мрамор»? И все так сердито...

Коля встал.

— Вы же Пушкина не понимаете! — закричал он, грозя пальцем.

В это время на стол принесли леща с кашей.

— Посмотри, какой лещ в сметане, — радовался Юрий Сергеевич. — Да что ты, Николай... Как же это с рыбой вишневку? Совсем спятил... А еще Пушкиным пугаешь. Нет, брат, Пушкин ценил леща в сметане, и трюфеля, и Аполлона... А ты наливку с лещом. Противно смотреть.

— Неважно, — огрызнулся Коля.

— Как неважно, — сказал строго Юрий Сергеевич. — Неважно! Не ценить даров жизни неважно? Тогда зачем и жить? Неважно — вино, красота, музыка, картина, любовь, лето, небо, вот этот рыбак, и смех наш, и Пушкин?! Нет, я начинаю думать, что именно ты в Пушкине ни бельмеса не понимаешь.

— Это вот правильно, — сказал Василий Иванович. — Это вот верно... В Пушкине-то я был, у Карла Ивановича, который пуговицей торгует. Он тоже по охоте мастак... Ну, вот и дача у него в Пушкине. Эх! Хороша. Вся в финтифлюшках, желтым

крашена. Заметь — и бочка тоже, скамейки, загородка, — все крашено. А в саду — стеклянные шары голубые. Вот блестят! И журафь из горла фонтан пускает. Вот списать-то. Вот это картина!

— Вы не про то, Василий Иванович... вы про дачу в Пушкине говорите, а мы про сочинителя Пушкина, которому памятник в Москве стоит, — старался объяснить Юрий Сергеевич.

— И это тоже знаем... Я в Москве лоток с сельдей разносчиком год носил. От Громова торговал... Так на Тверской у Пушкина отдыхал завсегда... Он теперь и зимой без шапки стоит, а ране в шапке был. А царь, значит, и ехал. Народ весь без шапок, он один в шапке. Ну, срамота. Чего еще? Вот ему шапку-то и сняли. Вот оно что. Пушкина-то я тоже знаю во как!

Луна

Сегодня ко мне приедут два профессора, люди ученые; как бы их лучше принять, думал я, вставая поутру в своем деревенском доме. Во-первых, у меня гостит архитектор, приятель Вася, страстный рыболов, человек прямой и резкий. Приедут светлые умы, а у меня ничего возвышенного.

— Ленька! — крикнул я слуге.

Ленька вошел. Я посмотрел на него и подумал: это замечательный человек.

— Что же ты — самовар поставил, а воды не налил? Распаялся весь.

— Это от шишек, вы велели шишки класть.

— Шишки? А воду налил?

— Нет, воду забыл налить.

— Так, значит, не шишки виноваты. Отчего тебя все Ленькой зовут?

— Нет, на станции меня Алексей Иваныч зовут, а это здесь, в деревне, Ленькой.

— Кого бы позвать еще? Нет ли в округе кого поумней? Может, ты слышал? А то мы одни, скучно будет.

— Вот старшего лесничего позвать. Только он пьет очень. Недалеко здесь фельшер живет, а то с полустанка жандарма позвать можно. Умный человек.

— Долго ты ведь у меня живешь. Училище кончил. А говоришь — жандарма в гости. Ведь профессора приедут. Съезди, позови фельдшера к обеду.

«Два профессора, — думал я. — Философия права, какая штука. А я прочел когда-то Шопенгауэра и ничего не помню. Надо обдумать, что говорить. Космос, молекула, Гаудеамус... Я же ничего не знаю. Познакомился, позвал, ну, вот приедут. Один восточного типа, потомок Чингисхана, черный, и глаза черные, похож на бочонок, а другой — худ, вдумчив, очень хорошо говорит, знает все и все торопится. Вынимает часы, посмотрит, чтоб зря время не терять. Люди приятные, все же профессора, гости редкие».

— Ленька. Когда профессора купаться пойдут, полезут в воду, ты скажи — гениум акватикус¹. Запиши.

— Хорошо, — сказал Ленька.

Слышу, идет приятель мой, вернулся с рыбной ловли. Всю ночь ловил. Громко говорит:

¹ Стилизация под латынь: *genium aquaticus* — «водяной дух».

— Поймали! Поди-ка, поймаешь их. Полнолуние было. Какая штука, — обратился он ко мне, — налимы не идут. Я думаю, луна действует на них. За налимихами бегают. Луна такая штука, при луне это, знаешь, за бабами все начинают. И рыба тоже. Романсы! Ты послушай, что в кустах соловьи ночью у реки разделяют. Какие трели! Полнолуние потому. Нет, ты не смейся, заметь — все оперы, любовные дуэты, поцелуи — это все при луне. Что-то такое есть в ней, чертовá любовная.

— Я не знаю, а вот сегодня приедут два философа, профессора. Прошу тебя — поднеси эту тему про луну.

— Философы, это ерунда. Моя бывшая жена, Зинуша Кант, ее мать в Москве жила, родственница дальняя, племянница, что ли, жене философа. Черт ли в том! Я им про луну завтра же закачу, они узнают меня тогда.

— Послушай, Вася, ты не очень только, а то как-то так, надо обдумать. «Закачу...» Они все же ученые.

— Не бойтесь, я им заверну метафизику такую. А теперь спать пойду, устал. Не идет рыба...

«Что ж это такое? — подумал я. — “Закачу”, “заверну”, — что будет?»

Приехали. Ужин, чайный стол. Сидят профессора. Приятно видеть профессоров у себя в гостях. Мои приятели, Вася-рыболов и фельдшер, как в рот воды набрали. Посматривают на гостей.

— Дивная уха, феноменальная, — сказал один из них.

— Это из вашей реки? — спросил другой.

— Вот это Василий Сергеич, рыболов.

— Это же солянка из осетрины. Моих два ерша каких-то. В нашей речке осетрины нет. Теперь полнолуние. Рыба не берет. Ни чёрта не поймаешь. А вы знаете, что такое луна? — И Вася, прищурив глаз, смотрел на профессоров. — Луна, это метаморфоза, да-с. Все переворачивает. Какой-нибудь шулер, мошенник, а с ним женщина замечательная. В чем же дело? Оказывается — полнолуние. Выйдет эдакая круглая дура ночью и светит. Вот он и она. Готово! Влюблены. Кто, что — неизвестно. Влюблены, и только. Со стороны видно, да не знаешь, что жулик ее любимец-то, деньги возьмет — не отдаст, бродяга. А скажите ей — не поверит. Озлится, защищать его станет. А кто виноват? — Эта вот луна. Она виновата. Вот и суди тут людей. Кант говорил: за женой гляди да гляди в полнолуние, а то — прощай, Любаша, будь счастлива с другим. Вот что.

— Позвольте, где же это говорил Кант «прощай, Любаша»? И вообще, про луну, позвольте, я знаю все, что писал Кант, — возражал профессор, и черные глаза его загорелись огнем негодования.

— Позвольте вам сказать, — отвечал, горячась, архитектор Вася. — Что вы мне про Канта говорите? Моя свекровь была его племянницей или вроде. Так он ей сам говорил, да-с. А вы спорите. С кем вы говорите, с архитектором говорите. Я по первому абцугу определяю почву. Какой грунт: ползун или глина. А вот вы объясните мне, пожалуйста, вот что — копаем для фундамента землю, а наутро пруд оказался. Подпочвенная вода — ключи. Пруд, смотрю, и караси в нем плавают; прямо фунтовые. Вот скажите, господа философы, что это такое? Откуда караси взялись?

— Вероятно, пустил кто-нибудь их туда, — ответили ему.

— Да-с, у вас все от лица. Нет-с, извините. Это вы по-куриному судите, а вот есть вещи и без яиц ваших такие, что философия не поможет. Да-с.

«Ой, — думаю я, — что-то Вася заврался. Что ж это?» Тороплюсь налить вина.
— Вот луна, — продолжал он. — Думают, просто так месяц этакий светит ясный.
Нет-с. Она такие штуки разделяет через женский пол с нами, что податься некуда.
— Банки ставит, это верно, — сказал фельдшер.
— А вы правы отчасти, в луне есть влияние на сферу мистических подсознаний, — согласился один профессор.
— Ты помнишь, — обратился черный профессор к светлому. — Лиза же при полнолунии мои рукописи выбрасывала из окна в Берлине с шоколадом.
— Как с шоколадом? — спросил Вася. — Зачем?
— Так, накладает на рукопись шоколад и выбрасывает.
— Нет, это у нее был высокий религиозный экстаз, — говорил профессор.
— Это Лиза ваша, а у меня Зина была. У ней во время полнолуния я два раза иностранного офицера из-под кровати за ноги вытаскивал.
— Что вы скажете про это? — встав в позу, спросил Вася. — А потом стихи нашел.

Маленькая крошка, голубой глазок...

Потом «Зинок», а дальше все хуже и хуже.
— Ну да, ну это другое, — сказал профессор. Это пошло. Там была другая сфера, повышенный духовный запрос. Это редкий случай и мало исследованный, высшего порядка; это тема для многих лекций.
— Ну да, а я думал, это просто, вроде любовных штук. Я вот знаю толстого монаха, так он...
— Постой, Вася, довольно, — говорю я. — Это другая среда. А это Лизок — глазок, любовник под кроватью. Это верно, что пошлово.
— Но не говорите, — горячился Вася. — Да что тут. Рога бабы ставят всем. Какая там среда. Везде от этой ночной голубушки горя немало бывает. Я сколько терпел. Она наведет это свои лучи, ну, и прощай, Зинуша, будь счастлива с другим. Не кто-нибудь, а Кант сказал.
— Послушайте, — сердясь, сказал профессор. — Оставьте Канта, он не говорил таких глупостей.
— Смотрите, вон она. Пожалуйте, — и он показал на окно.
В большое окно мастерской моей было видно — в сумраке ночи над темным бором торжественно и таинственно вышла полная луна.
— Как поэтично, — сказал один профессор.
— Вот где это у меня поэтично, — показал на свою шею Вася.
— Какая красота, какой льет мирный свет, — сказал другой.
— Сводня! — крикнул архитектор Вася.
— Что ты, разве можно? Это спутница наша. Что ты взбесился!
— Вот это где у меня спутница ваша сидит.
— Это верно, она банки ставит, — сказал фельдшер.
— Какие банки, банки что? Рога ставит.
— Это верно, — сказал фельдшер. — Вот у нас доктор был в городе. Вот он в актрису влюбился, ужас как. А она на даче его при луне на качелях со студентом качалась.
— Ну и что же?
— Студента он отвадил, ну, и рад был.

Так она одна, ночью проснется, качаться идет на качели, а доктор и слышит ночью, как на крыше кот что-то мяучит очень и ходит кто-то; а она проснулась и качаться идет в сад. Он, доктор-то, и увидал, на крыше кто же? — Студент!

«Вы, — говорит, — что это-то на крыше делаете?» А он отвечает: «Я, — говорит, — лунатик». В городе-то все пациенты — «Что с доктором случилось? Ведь клинический врач, не кто-нибудь, — одну касторку всем больным прописывает, и только». Вот видите, как эта спутница испортить может. А ведь первый врач в городе был.

Случай с Аполлоном

Бывает в жизни так: при самых лучших намерениях получается совсем наоборот...

Однажды у нас в Москве случилась ошибка — пустяжная, как бы это сказать: недоразумение в области науки.

А именно: общество людей хороших и почтенных создало в Москве Училище живописи, валяния и зодчества, откуда вышли художники, архитекторы и ваш покорный слуга, и это московское художественное общество однажды резонно нашло, что художникам надо дать лучшее образование, поднять их научные познания.

Вот и назначен был новый директор. Преподаватели радовались, сияли ученики. В прекрасную квартиру («отопление и освещение») приехал новый директор, человек серьезный, роста небольшого... Его фамилию я теперь забыл: не то Випнер, не то Гриппнер. Извините — память стала изменять.

Преподаватели наши были все художники славные: Саврасов, Перов, Прянишников, братья Павел и Евграф Сорокины, Поленов, Маковский — ныне люди умершие.

Собрались учителя и ученики в актовом зале прекрасной школы нашей послушать нового директора. Он появился на возвышенном месте, где был накрыт зеленым сукном небольшой стол, в вицмундире и при орденах. Посмотрев на нас строго сквозь большие роговые очки, новый директор сказал:

— Отсутствие знания в художниках лишает их произведения смысла, который они должны иметь... Вот пример: картина Куинджи «Украинская ночь», вызвавшая столько шума в публике и имевшая такой успех. Однако художник ошибся... Всякий, кто знаком хотя бы немного с астрономией, видит, что на картине Куинджи нет звезд южного созвездия...

— Скажу, что не только художники, — продолжал директор, — но и поэты русские отличались недостатком научных знаний. Вот хотя бы прославленный Пушкин не знал ботаники... Он написал:

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы...

— Как же это «тайные»? Позвольте! Названия цветов все известны. Не секрет! Никаких тайных цветов в природе не существует... Другой случай: Лермонтов, тоже поэт знаменитый, в зоологии делал непростительные промахи. Вот его стихи:

И Терек прыгает, как львица,
С косматой гривой на хребте.

Какая же у львицы грива? Где же-с? Грива у льва, а львица без гривы. Только мифология античных греков не делала ошибок: боги их и музы имели реальный образ людей.

— Позвольте спросить, господин директор, — вдруг раздался голос одного из учеников, по фамилии Пустышкин, — а что, и теперь в Греции есть кентавры?

Все как-то сразу приумолкло...

* * *

Еще случай... В залах прекрасной школы нашей стояли античные статуи — гипсовые копии с Венеры Милосской, Аполлона Бельведерского, Лаокоона, Германика, Вакха, Дианы, Гладиятора, Гермеса и др. И все они — как есть голые...

Это показалось нашему мужу науки не совсем приличным. Прежде, в Элладе, все это ничего, ну а теперь, в Москве, хотя, конечно, они и гипсовые, да все же нехорошо как будто...

И вот позвал новый директор мастеров-штукатуров, заказал им виноградные листы и в одну ночь все незаметно исправил: антики украсились листками. Аполлон, Лаокоон с сыновьями и даже Венера — все прикрылись листками.

Все бы ничего... Но тут кто-то (из учеников, должно быть) взял потихоньку и нацепил Аполлону штаны, такие легонькие, в полоску. Он проделал это ночью, а утром вся школа хохотала.

И началось... Преподаватели заседали, член Академии художеств приехал из Петербурга. Заседали долго и решили вновь снять виноградные листки. Но как восстановить утраченное? Гипсы стыдливой операцией были до известной степени искалечены. Надо в Рим отправлять, в Париж — формировать... Невозможно!

Вся Москва тогда потешалась.

А московский генерал-губернатор, в ту пору — князь Владимир Андреевич Долгорукий, был попечителем Училища. И вот меня, ученика, вызывают в канцелярию школы и приказывают явиться к одиннадцати утра в контору самого генерал-губернатора, на Тверскую.

— Не знаете ли, зачем? — спрашиваю.

— Там узнаете, — сухо ответил мне письмоводитель и дал письмо от инспектора...

Иду я и думаю: «Что бы это значило? Ведь я стипендиат князя. Сам выбрал за успехи. В чем дело?»

Пришел, секретарю письмо подал. Секретарь прочел и сказал курьеру:

— Проведи к князю.

В большой комнате с каменным полом, около плиты стоял небольшого роста, седой, плотный и бодрый старик. Военная тужурка была расстегнута, в руках он держал вертел, на котором были куски мяса. Он положил вертел в открытую плиту, где пылал огонь. Около стояла изящно одетая в черный шелк женщина с небрежно взбитыми волосами. Ее красивые и ласковые глаза с улыбкой смотрели на меня. Она сказала:

— Ты знай, красивый малчик, нехорош сердить твой добрый нашальник. Ступай на мой Париж полусить изящный манер, снимай шляпа, пред твой добрый экселянс¹.

¹ От *фр.* votre Excellence — Ваше превосходительство.

— Аполлону надеть штаны! — сказал по-французски Долгорукий. — Нет! Вот — правильно. Это ты сделал?

— Нет, не я, — отвечаю.

— А кто?

— Знаю, но сказать не могу.

Старик Долгорукий пристально посмотрел на меня:

— Передай им, что шутить довольно, иначе это уже пошло будет. Ведь Аполлон — ваш бог... Пошлость не может быть рядом с высоким. Ступай...

На другой день шел дождь.

Я видел, как около подъезда Училища ломовые тащили рояль и мебель из квартиры директора: он уезжал...

Вскоре я получил серебряную медаль за живопись. Левитан тоже. В Училище состоялся торжественный годичный акт. В огромном чудесном зале Растрелли за большим столом сидели члены Художественного общества и преподаватели. Посредине — князь Долгорукий, рядом с ним — княгиня С.С. Голицына. Выдавали дипломы Школы и награды.

Меня вызвали. Долгорукий вынул из коробочки медаль и передал Голицыной, а та положила мне блестящий кружочек в протянутую руку в белой перчатке. Долгорукий, смеясь, что-то сказал ей, показывая на меня. «Это про Аполлона», — подумал я. Голицына засмеялась. Долгорукий передал мне два запечатанных конверта. После этого я отошел к ученикам и видел, как Левитан тоже получил медаль и конверты.

Церемония окончилась. Мы оба с Левитаном, удалившись в угол натурального класса, вскрыли конверты: в них оказались дипломы на звание художника и потомственного почетного гражданина. В других конвертах были бумажки по сто рублей, совершенно новые.

Мы тотчас поехали к Антону Павловичу Чехову — звать его в Сокольники. А.П. посмотрел на наши медали и сказал:

— Ерунда! Не настоящие.

— Как — не настоящие! — удивился Левитан.

— Конечно. Ушков-то нет. Носить нельзя. Вас обманули — ясно.

— Да их и не носят, — уверяли мы.

— Не носят!.. Ну вот. Я и говорю, что ерунда. Посмотрите у городских, вот это медали. А это что? — обман.

Зверь

Лисенок... А перед ним самый страшный враг его — человек.

Жалко сиротливы и полны гнева его большие темно-синие глаза, сверкающие остро; жалка его мордочка на худенькой шее; смотрит на меня и дрожит.

Ноги перевязаны туго мочалкой; желтая шерстка взъерошена. Бедный лисенок! Нет ни норы у него, ни матери. И он защищает себя. Его оскаленные белые зубки стучат.

«Не трону, не бойся, — шепчу и думаю: — отпустить в лес — пропадет!»

Тороплюсь, кладу ветки елей в чулан, сена, дров. Руки дрожат. Кричу:

— Дайте ножницы! Скорей! Молока!

Еще укусит... Осторожно разрезаю мочалки, и лисенок прячется в хворост. На тарелках я поставил молоко, вареного мяса, творогу, закрыл дверь чулана и вышел в свою мастерскую.

— Где вы достали лисенка? — спрашиваю я ребят, которые принесли его в мешке.

— Дядя Семен дал. Мать-то он застрелил, лисицу-то.

— А где нора была?

— А кто ее знает... В лесу, знать.

Потом ребятишки ушли, настал вечер, ночь. Мой пойнтер Феб — никакого внимания на лисенка.

Проснулся ночью и думаю: «Что, спит лисенок или нет?»

В доме тихо. Маленький зверек! Как-то он? Ему тяжело, наверное. Мать убили. Он думает, что я убил мать.

Пошел послушать в чулан. В его окне туман, а в тумане серп месяца. Вдали кричат коростели. В самом углу вижу мордочку и большие горящие глазенки. Взял прутик, насадил на него кусок мяса и медленно подвожу к мордочке; лисенок схватил и проглотил, не жуя. Я еще, опять глотает, не жует. «Довольно, — думаю. — Будет жив, должно быть!»

Утром опять его кормил — хлеб с молоком, тоже съел. Молодец лисенок!

А через месяц лисенок взял еду из моих рук. Странно, и Феба не боится, а Феб на него по-прежнему никакого внимания.

Перевел я лисенка в мою мастерскую. Устроил в ящике логовище, положил солому, веток. Когда кормлю Феба хлебом с молоком, лисенок подходит к кормушке и доедает.

Так он рос и стал похож на муфту; нос и глазенки выглядывают из пышной шерсти. Какой красавец... Я с ним разговариваю.

— Я тебе задам, — говорю, — хитрая лисица, кур таскать!

Он слышит, что я говорю без сердца, выходит из ящика и играет с моей туфлей. Ест прямо из рук. Не дает Фебу есть, лезет первый.

* * *

Как-то я писал в моем малиннике красками сарай и загородку. Куры ходили около. Вдруг они отчаянно замяукали. Вижу, мой лисенок тут как тут. Остановился около меня; круглые глазенки горят, вдыхает свободу. Сороки на березах трещат в волнении. Лисенок сел около меня и смотрит кверху.

«Возьму, — думаю, — корзину сенную, накрою его, чтобы не убежал».

Я встал и пошел, а он за мною; я на террасу — и он; в мастерскую — и он туда же.

— Ах ты, милый мой, Лис! Если ты ходишь за мной, тогда пойдем гулять.

Внизу была речка, за нею лес, огромный Феклин бор, на сто верст.

Лис побежал быстро и спрятался в траве. Я подошел. Он притаился и вытянулся весь, лежит; вдруг вскочил и с радостью стал бегать вокруг меня. Так делают и собаки от своей собачьей «радости жизни». Так начались наши прогулки с играми в прятки. Лисенок стал красивым рыжевато-красным и сильным зверем, но он еще сидел у меня на руках, хотя другим не давался. Один мой приятель нечаянно коснулся его палкой; он ее изгрыз со злобой.

«Что это?» — подумал я. Впрочем, однажды и мой прут, которым я тихонько тронул его, он в бешенстве измолот зубами.

Лис, вероятно, решил, что все зло в палке, а не в том, кто ее держит. Так ведь и люди, как звери, — часто видят только «деревья», а «леса-то» и не замечают.

* * *

Зима. Топится камин. Феб, домашний баран и кот лежат на полу. Кот с бараном рядом. Лис не любит огня. Он сидит на окошке и смотрит в сад на верхушки больших елей. Когда летит ворона или снегирь, Лис следит за ними быстрыми своими глазами, поворачивая хитрую остроухую головку.

— Хитрый Лис! — говорю я. Он смотрит на меня, и его глаза светятся синим огоньком.

Ранней весной, когда еще лежат в лесах глыбы снега, хотя солнце уже греет прогалины и покраснелись ветви берез, а верба у сарая блестит белыми пуховками, на фоне заманчиво-синей дали, рано утром вбежал ко мне дедушка-рыбак, живший у меня.

— Глянь-ка, Киститин Лисейч. У нас в саду-то лиса здоровая бегаёт, чужая. Вона она. Глянь-ка. Где ружье?

Я побежал к окну: как заведенная, опутив нос к самой земле, делаю круги, бегала лисица; она нюхала землю, чую следы моего Лиса.

Я выпустил его в сад. Произошла встреча. Зверьки долго смотрели друг на друга. И какой любовью были полны их синие глаза!

И вот обе лисицы быстро помчались по пашне от моего дома и скрылись в соседнем лесу...

Я вернулся в мастерскую. Моя комната показалась мне темной и скучной.

Ушел мой синеглазый пушистый зверь... Потом я видел его только во сне.

Герасим мудрый

Был у меня приятель Герасим Дементьич, охотник. Жил он у себя в деревне Горки. Зимой я поехал к нему... Хороша зима в деревне! Едешь на розвальнях. Ночь, месяц среди неба, светлый снег. Темные леса стоят рядами и спят.

Как отраден огонек в избе! В нем мир и тайна. Вот высокие, темные сараи; жмутся друг к другу, точно говорят что-то, а за ними ели. И глухо, и отрадно.

Проехали колодезь, часовню. Избы спят. Опять поле, бугры, мост, лес. И снега, снега...

Везет меня тетка Авдотья, жена Герасима.

— Письмо от тебя как получили, Герасим налимов наловил, — говорит мне Авдотья. — А я лепешек напекла. Ладно, что приехал. Он рад тебя видеть.

А вот под горой — деревня Горки. Знакомые ивы, плетни. Уж и крыльцо. Встречают Герасим и дочь его Анна.

В избе тепло, светит лампа. Ставлю на стол бутылки, закуски, два куля пряников для загонщиков.

Глаза Герасима улыбаются, как всегда. Он таинственный, умный, он насмешник и выдумщик, он истинный мудрец... Зовет он меня — «Лисейч», а я его — «Герасим Дементьич».

Сидим мы за самоваром, с нами и портной, который по деревням обшивает: так из одной избы в другую переходит и шьет кому что надо.

Он, портной, тоже человек бывалый.

— Ежели земля круглая, — говорит Герасим, — то этакий-то шар — тяжесть какая! Висит, не падает. Значит, солнце его держит. Они заодно, значит, с землею. Ей без солнца никак нельзя. Заметь, как оно ее любит. Кроет всю цветами. Греет. Красой покрывает. Хошь ты же зиму возьми: как узорит! А весны!.. Эх, хороши! Радость... Я тебе-то скажу про солнце...

* * *

— Как был я на войне под Карсом солдатом молодым, когда с турками мы воевали, глядел я однава, как наших убирали после боя... Солнце в том краю жаркое... Глядел я, как оно скоро кровь сушит... А крови много-о. Прямо в глазах ее меняет... Через неделю иду тем местом, а там цветы, где кровь та самая была лита. Иросло цветов разных — страсть. То-то и есть, что земля заодно с солнцем. В любви с ним...

А на земле живет человек... Туды, сюды, так и эдак. А жили бы в любви, тогда бы што-о!.. Эх, много в человеке есть. Чего неведомо и познать трудно. Почто бы то?

— Все для человека сотворено, — сказал портной. — Я знавал ученого, одной семинарии учителя, так тот говорил: все, говорит, для человека, как есть: и вино, и пиво, и все. Только вот он, человек значит, воевать больно любит друг с дружкой. Дратся лезет завсегда. С тем его взять. Чего уж тут! Ничего не поделат.

— Да... — задумался Герасим, — все для человека... и вино. А вот я скажу — что это? Меня послушайте...

Был город, большой, богатый, каменный. Дома, ворота на запоре, стброжев много. И жил там царь. И говорит однава он министру своему главному. Что такое это? Все замки да сторожа. Что же это? Нешто народ мой любезный — вор, что ли, али мошенник? Глядеть срамно. Изловить воров! Выгнать мошенство! Запоры снять! Мне противно с ворами жить. Хочу, чтобы честь была у подданных моих. Вон воров, мошенников! Чтобы не было боле.

Ну, ловили, выгоняли, проверяли. Тоже нелегко жулье-то узнать. Только выгнали — замки сняли и сторожев распустили. Что ж, ты подумай? Вот сызнава воров-то появилось: тащат, грабят, запоров-то нет. Беда!..

— Опять лови! — царь велит. — Гнать вон!

Ну, ловят, гонят — полгорода всего-то народу и осталось. Честно, благородно день-ночь прошла. Устал и царь.

— Трудно дело, — говорит, — мое державное... Но вот хорошо теперь. Нет более плутов, мошенников. Нету воров. Как думаешь, царемейстер мой, что это — напужал я их али впрямь только честные остались подданные?

— Точно так, ваше царское величество, — отвечает царемейстер. — Только одни честные остались.

— Трудное мое дело, — говорит царь. — Еще теперь судьев снимать надоть, без дела останутся, сердяги... Аблокаты тоже... Трудно... Дремота меня клонит. Усну ма-ленько, а ты поглядывай, кто и что.

Да и задремал царь. Видит царемейстер, что царь заснул, и с его, сонного, корону-то и свистнул, да и гайда. Проснулся царь.

— Батюшки-и-и... Иде корона?

Короны и нет. Беда... Выбежал на улицу, кричит народу:

— Держи, лови вора-мошенника.

А вот главный его царемейстер надел на себя корону, да и явился к ворам-то, к выгнанным, собрал их и говорит:

— Идите полонить со мною своо лютого ворога, что замки снял и вас в грех ввел, ворами сделал.

Те кричат:

— Верно, правильно...

Ну и полонили царя, что корону проспал. И под замки царемейстер всех стал жажать и сторожей поставил. Так вот замки остались и посеячас. И сторожа сторожат.

— Как же теперь-то живут в том царстве? — спросил портной с усмешкой. — Поди, друг на дружку поглядывают и знают, который вор, который нет?

— Вестимо, знают, — засмеялся Герасим. И его хитрые серые глаза зажмурились. — Живут так да эдак... Чертовы разной много. Дерутся, а живут...

Помню, в эту минуту наша беседа была прервана: послышался звук колокола вдалеке.

— Чу, набат, — поджался Герасим.

Накинув наскоро тулупы, мы вышли наружу.

Колокол бил часто.

— В Пречистом, — сказал Герасим. — А зарева нигде не видать... Что бы это?

Мимо проехали на розвальнях.

— Пожар, знать? — окликнул проезжающих Герасим.

— Нет, невесть что...

Мы вернулись в избу.

А рано утром я проснулся и вижу, что в окнах идет метель. Анна тихо убирает стол.

— Проснулся, Лисеич? — обернулась она ко мне приветливо, — незадача тебе! Снег идет. Следа не найти. Тятка велел тебя не будить... Метет. Сам ушел узнать, почто ввечор набат народ звал.

Герасим вернулся вскоре, с ним портной. Страхивают оба снег в снях.

— Ну что? — позвал я.

— Погода... У-ух! Метет, — вошел Герасим в горницу.

— А что?

— Церковь в Пречистом обокрали, вот тебе и что... Со стороны кладбища в окно влез, решетку распилит. Причастие-то все выпил, святое вино. Вот это, значит, лихой молодец... Исправник говорит, третий приход в округе обокрали. А кто — найти не могут.

— Колдун ты, Герасим Дементьевич, — говорю я. — Вчера сказку рассказал про воров, и вот...

— Вот на земле-то нашей что творится. — И то, и это. И царь тебе, и воры, и стража... А солнцу, смотри, все едино: оно, знай, все согревает, милует...

— Экой ты, завертыга, — вдруг сказал тут портной, — задумчиво и с уважением глядя на Герасима.

Святая простота

I

Москва... Малый театр торжественно чествовал дни свобод.

На сцене был устроен «фестиваль». Соорудили возвышение-пьедестал, на него встала одетая боярышней актриса в голубом кокошнике — Яблочкина, почтенная красавица театра, подняв к небу руки, обвитые разорванной цепью, а к ногам ее картинно припал солдат (почему солдат — неизвестно)... Эта живая картина называлась «Свободная Россия».

Внизу полукругом стояли артисты во фраках и артистки в открытых платьях и в шляпах с перьями паради (шляпы с паради были у всех — иначе казалось невозможным!). Оркестр играл «Марсельезу». Артисты пели хором:

Вы, граждане, на бой!
Вы, граждане, вперед!
Впи-пи-и-и-ред,
Вы, граждане, на бой!

Выходило отлично, совсем как в Париже на баррикадах...

Я смотрел на толстого князя Сумбатова, на Головина, на многих других. «Какие цветущие, полные, — думалось мне, — такие добродушные толстяки, а вот на бой идут... вперед, куда?»

При звуках нового гимна партер встал. Загремели аплодисменты, из битком набитых лож элегантные дамы махали платками и биноклями, и на их шеях блестели бриллианты...

А за кулисами толпились знакомые актеров, штатские и военные, нарядные девицы, учащая молодежь. В артистические уборные трудно было протиснуться. Тут лилось шампанское и пиво, уничтожались бутерброды; чувства у всех были повышенные, настроение торжественное. Все говорили, спорили, смеялись, поздравляли друг друга, лобызались. Еще бы, такой праздник, такие дни!

За кулисами подошел театральный рабочий Василий Белов. Мы много работали вместе, он даже в Париж со мною ездил.

— Василий, — говорю, — ты рад свободе-то?

Василий посмотрел мне в глаза и засмеялся.

— Чего смеешься?

— Эх, Кистинтин Лисеич, сапоги двести рублей, а жалованья сорок получаешь. Свобода это? Нет, нехорошо будет. Мы-то знаем.

Настроение торжественного праздника продолжалось. По окончании живой картины все гурьбой поехали в Литературный кружок, на Малую Дмитровку, где артисты были как у себя дома: ужин, речи, железка...

А вот уж и тройки. Кто едет? Все едут. Гремят колокольцы. К «Яру» летят тройки.

Еду и я. Летим мимо памятника Скобелеву. Площадь полна народу — черным-черно, митинг. Какой-то всадник — не то чиновник, не то рабочий — говорит речь и кулаком грозится в небо. Гулом одобрения отвечает толпа. И дальше летят тройки по Тверской-Ямской... Рядом со мной сидит толстый кудрявый присяжный пове-

ренный Видиминов. Напротив — Тая, актриса. Видиминов пьян. Он закрыл глаза и водит рукой по платью Тани у колен и пониже, как бы муху отгоняет...

Блестает «Яр», залитый электричеством. Народу тьма. «Нет столов, — объясняет лакей, — все занято». Из залы и тут гремит «Марсельеза».

— Не моя шуба, — кричит какой-то интеллигент, — и шапку украли, кто смел? Я требую!

В другом углу цыганка, прижав к куче повешенных шуб бледного юношу, убеждает его:

— Нет, отдай, отдай, 25 рублей отдай! Ты фрукты спрашивал, — отдай!

А слева, что это? В огромных окнах ресторана, за стеклами, словно привидения, топятся фигуры в длинных белых саванах, с перевязанными головами. Темные тени странно искажают грубые лица в бинтах: это раненые солдаты из соседнего лазарета, — пришли поглазеть, как пируют граждане...

Уже светлело, когда я возвращался домой. Извозчик, пожилой мужик, обернувшись ко мне, сказал:

— Слобода-то, барин, хороша, слов нет, очень хороша. Только вот, когда деньги в кучу сложат да делить зачнут, тут драки бы не вышло. Вот что...

— А ты давно в Москве извозчиком? — полюбопытствовал я.

— Да годов, почитай, сорок, — ответил он.

Позвонив у подъезда, я ждал, пока заспанный дворник возился с ключом.

По мостовой шел сильно выпивший парень в поддевке. Поравнявшись со мной, он погрозил мне огромным кулачищем, остановился и запел:

Ах, туда-то вашу мать
С вашим городишком!
Ну-ка, дайте погулять
Нашим ребятишкам.
И-и-и-х ты!..

II

Я брел долго зимней дорогой, лесами, проселками. Странное было, смутное время...

Ночь. Станция. В окнах тусклый свет. Фонари у крыльца разбиты, навалились сугробы снега. А сбоку от лестницы, на платформе, лежат в снегу — один здесь, другой там — люди ничком: рты открыты, будто кричат. Мертвые? Тифозные?

Я вошел в станционное помещение. Душно, пахнет карболкой, коптит маленькая лампа; на полу, сбившись в тесные ряды, спят пассажиры, ждут поезда. Пробираюсь между спящими в телеграфное отделение. Телеграфист сидит под лампочкой, ленту читает. При моем приходе недовольно спрашивает, стуча ключом:

— Чего надо, товарищ?

— Шура, — говорю, — не узнали?

Обернулся.

— Э! Не узнал, право. Что же вы — пешком? Чего это? Ехать собрались?

— Да вот, еду. Когда поезд-то?

— Когда? Хе-хе! Когда захочет. В Петрове ночует. Разве кто знает? Я один остался. Павлова вчера в больницу увезли. Вот, глядите, лежит солдат, бредит. Тиф. Хоть убежать бы куда. Что делается! Ух, ты! Орчека за санитарями в Петров уехала. Говорят, завтра утром больных уберут. Мешочники мрут, — кто их знает, кто и откуда. Хоронить некому.

В комнату вошел парень лет семнадцати, стражник, за плечами винтовка, в руках фонарь. Веселый. С ним в ярких цветных платках две девицы; у одной в руках жестяной бидон. Хохочут.

— Сонька, полей сапоги карболочкой, — обратился телеграфист к девице с бидоном.

Она, смеясь, плеснула ему на ноги.

— Ишь, а Сережка жив еще! Плесну ему в рот-то, авось очухается.

Лежащий солдат уставил на нее воспаленные глаза и прорычал:

— Мань, дай испить, Мань!

— Самогон тебе припасли, ишь ты, — весело отмахнулась девица.

— Мань, дай испить. Хотца!

Девица пуще засмеялась:

— Ей-ей, давеча этакой лежит, рот открывши, я и плеснула, а он икать зачал. Вот икать! Так Лешка говорит: поливай их усех! Ну, смеху что было! В Александровке, Лешка говорит, варенье дают, а нам еще не пришло. Самогонщиков ловят. Ну, все пьяные. Ведро везут — молоко глядеть. Вот хитрые стали. Цап, а там, в молоке-то, четыре бутылки самогону. Честь-честью отобрали. Конвой пьяней вина!

— Мань, дай испить, — опять застонал солдат, и дико блуждали его глаза. Он переводил их на нас с одного на другого. На открытой груди выступали багровосиние пятна, как ровный узор.

Телеграфист обернулся к одной из девиц:

— Достань ему водицы попить. Болен он. Жалко глядеть.

— Иде достать-то? Наружу позамерзало, взять не во что. Ну, попробую, сбегая.

И девица вышла.

— Из Ярославля вчера ехала одна, — стал рассказывать стражник, — ее сняли в Петрове. Мать честная! У ней ситцу что под юбкой нашли. Страсть — вот ситцу. А в башмаках часов двое золотых, ложки серебряные, вот чего только не было!

— На тебе, Сонька, вши ужаси сколько! — добавил он, обращаясь к другой девице. — Гляди-тка!

Девица стояла у стола, освещенная лампой. Черный из сукна «дипломат» ее был покрыт белым шевелящимся бисером.

— Соня, — попросил и я, — полей мне валенки карболкой. Сделай милость! Вошь-то с полу не полезет.

— А ей что, — ответила Сонька. — Она не боится этого сусла. Вот на костер трясти хорошо. Трещит как!

Манька вернулась с кувшином, наклонилась к больному и поднесла кувшин к его губам. Он смотрел кверху остановившимся взором, будто что-то видел там. И шептали губы.

— Не пьет. Видать, что отходит, — сказала Сонька.

— Чего тут, товарищ, теперь не помочь, — заметил стражник и шинелью покрыл солдату ноги.

Телеграфист опять начал выстукивать. Потом встал.

— Мать их! Не отвечают, сволочи! Бродяги! Поезд, а где он? Черт его ведает!

Он вышел из комнаты и, словно укоряя кого-то, сказал:

— Месяц сахару куска не видал. Говорите, варенье дают? Где-е? Нечего врать зря.

Сволочье одно.

Солдат бредил: «Тятенька, ешь яблочко. Садик мой, гляди — почка? Тятенька, не бей ее, почто. Хорошая она. Я, матушка, прощай! Не бей ее, сукин сын. Караул! Убирай, убирай скорее! Кровь! Эй, караул! Правое плечо вперед... марш! Господи Иисусе. Ну, трогай. Сми...рнооо...»

— Помирает, — тихо сказал стражник.

Я взял табуретку и вышел в станционный зал. Пол по-прежнему покрыт был спящими. Я поставил табурет к окну и сел. На полу всюду мокрые пятна, серые. Вглядываюсь: шевелятся. И тут вши. Сколько!

Сбоку от меня лежит пассажир, под головой мешок; рядом — другой мужик. На одном — рваный тулуп и грязные, в глине, большие дырявые сапоги, а сосед в армяке и лаптях, ноги обмотаны веревкой и мочалой.

Мужик в лаптях проснулся, вынул мешочек с табаком, из бумажки свернул закурку махорки, потом поглядел на меня тупым взором, медленно поднялся и пробормотал:

— Пойти закурить.

— На спичку, — предложил я.

Другой тоже проснулся и попросил:

— Дай затянуться разок.

Лапотник протянул ему сигарку и проворчал хриплым голосом:

— Ишь, тебе-то хорошо, сапоги-то ко-жаные!

В эту минуту из двери справа какие-то люди вытащили за ноги солдата. Сонька вдогонку поливала его карболкой. В дверях солдат захрипел.

— Да он жив еще!

Телеграфист согласился:

— Знать, жив.

— Тащи, на холодке-то лучше отойдет, — сказал стражник.

С платформы закричали: «Поезд вышел из Петрова!»

— Батюшки, Господи! Ваше бародье! Товарищ родной! — бросилась старуха телеграфисту в ноги. — Пусти, соколик, доехать. Сын у меня помирает. Пусти!

Телеграфист ничего не ответил.

Пассажиры поднялись. Потасили мешки, толкая друг друга, ругаясь, с трудом пролезая в дверь на платформу.

На полу, смотрю, у самой стены лежит женщина с зеленым лицом, молодая и мертвая.

Утренний рассвет. Леса, те самые места, где стоял я весной на тяге.

И вдруг вспомнился мне подстреленный мною вальдшнеп с большими дивными глазами: он умирал у меня в руках. Я вспомнил, как трепетало его сердце, как по длинному его клюву струилась кровь и чуть шевелились теплые бархатные крылья. И стало мне как-то сразу все, все равно... Как смел я убивать этого аравийского гостя? И слезы подступили к горлу...

Подходил поезд. На буферах, на крышах вагонов висели люди. И поезд, не оставиваясь, прошел мимо.

— Проехали, — крикнул кто-то. Кто-то засмеялся.

— Тебе хорошо, ты пустой, — говорил один бородач, — а вот мне-то мешок картофеля тащи! Спину не разогнуть, а еще отберут. Вот тебе! Опять жди сутки. А может быть, и неделю.

Я вышел с вокзала и отыскал среди трупов, лежащих в снегу, солдата из телеграфной комнаты. Он был мертв.

Затем я побрел опять дорогой, лесом. Утро было ясное. Иней золотила нежная заря.

Слева едут розвальни. В розвальнях Ленька Ялычев.

— Здравствуй, барин. Чего идешь рань такую? Почто?

— А ты куда?

— На Голубиху за хлебом.

— Достань, Ленька, мне малость.

— Ладно. А менять что будешь?

— Не знаю.

— Во, шуба у тебя. Чаво ж, дадут много.

— А я-то, как же без шубы?

— Ну, чаво, — засмеялся Ленька. — Вы, господа, завсегда найдете. Во, когда стариков перебьют, слышь, всего вдоволь будет. Едоков-то меньше останется. Понял?

Репин, Врубель, Серов

К Савве Ивановичу Мамонтову в Абрамцево, бывшее имение Аксакова, приехал летом Илья Ефимович Репин — гостить. Я и Серов часто бывали в Абрамцево. Атмосфера дома С.И. была артистическая, затейливая. Часто бывали домашние спектакли. В доме Мамонтова жил дух любви к искусствам. Репин, Васнецов, Поленов были друзьями Саввы Ивановича. И вот однажды летом я приехал в Абрамцево с М.А. Врубелем.

За большим чайным столом на террасе дома было много народу. Семья Мамонтова, приехавшие родственники и гости. М.Ф. Якунчикова, С.Ф. Тучкова, Павел Тучков, Ольга Олив, А. Кривошеин, много молодежи. Мы были молоды и веселы.

Илья Ефимович, сидя за столом, рисовал в большой альбом карандашом позирующую ему Елизавету Григорьевну Мамонтову. Врубель куда-то ушел. Куда делся Михаил Александрович?! Он, должно быть, у мосье Таньона. Таньон — француз, был ранее гувернером у Мамонтова, а потом гостил у Саввы Ивановича. Это был большого роста старик, с густыми светлыми волосами. Всегда добрый, одинаковый, он был другом дома и молодежи. Мы его все обожали. Таньон любил Россию. Но когда говорили о Франции, глаза старика загорались.

Где же Врубель? Я поднялся по лестнице, вошел в комнату Таньона и увидел Врубеля и Таньона за работой: с засученными рукавами тупым ножом Таньон открывал устрицы, а Врубель бережно и аккуратно укладывал их на блюдо. Стол с белоснежной скатертью, тарелки, вина, Шабли во льду. За столом сидел Павел Тучков, разрезал лимоны, пил вино.

Но что же это? Это не устрицы! Это из реки наши раковины, слизняки.

— Неужели вы будете это есть?! — спросил я.

Они не обратили на мой вопрос и на меня никакого внимания. Они оба так серьезно, деловито сели за стол, положили на колени салфетки, налили вина, выжали лимоны в раковины, посыпая перцем, глотали этих улиток, запивая Шабли.

«Что ж это такое? — подумал я. — Это ж невозможно!»

— Русский муть, больше перец — хорош, — сказал Таньон, посмотрев на меня.

— Ты этого никогда не поймешь, — обратился ко мне Врубель. — Нет в вас этого.

Вы все там — Репин, Серов и ты — просто каша. Да, нет утонченности.

— Верно, — говорит Тучков, грозя мне пальцем и выпивая вино. — Не понимаешь. Не дано, не дано, откуда взять?! Наполеон, понимаешь, Наполеон, а пред ним пленный, раненый, понимаешь, генерал... в крови. «Я ранен, — сказал мой дед, — трудно стоять. — Вы, кажется, француз?» — спросил он. Наполеон Бонапарт тотчас же поставил ему кресло. Понимаешь, а? Нет, не понимаешь!..

— А ты понимаешь, что ты ешь?

— Ну что? Что такое? — мули, вот он, спроси, — показал он на Таньона.

— Подохнете вы все, черти, отравитесь! — говорю я.

— Мой Костя, «канифоль меня сгубила, но в могилю не звеля...», — сказал Таньон, обращаясь ко мне.

«Замечательные люди», — подумал я и ушел. Спускаясь по лестнице, я услышал голос Саввы Ивановича: «Где вы пропали, где Михаил Александрович?» Посмотрев в веселые глаза Мамонтова, я рассмеялся.

— Миша и Таньон там. Устрицы.

— Милый Таньон, он ест эти раковины и видит себя в дивном своем Париже. Я попробовал. Невозможно — пахнет болотом.

— Это, вероятно, отлично, как знать, акриды!.. — сказал И.Е. Репин.

— А вы тоже их ели? — спросил я.

— Нет, я так думаю...

— Да, думаешь? Нет, ты поди-ка и проглоти, попробуй, — смеясь, посоветовал С.И.

— Но почему же, я думаю, это превосходно! — и он пошел к Таньону...

Ночью у крыльца дома С.И. говорит мне: «Это эскарго!..» Как сейчас вижу лицо его и белую блузу, освещенную луной:

— А Врубель особенный человек. Ведь он очень образован. Я показал ему рисунок Репина, который он нарисовал с Елизаветы Григорьевны. Он сказал, что он не понимает, а Репину сказал, что он не умеет рисовать. Недурно? Не правда ли? — смеясь, добавил С.И. — Посмотрите, с Таньоном они друзья, оба гувернеры (Врубель, когда я с ним познакомился в Полтавской губернии, был гувернер детей). Они говорят, вы думаете, о чем? О модах, перчатках, духах, о скачках. Странно это. Едят эти русские мули, и ничего. Врубель аристократ, он не понимает Репина, совершенно. А Репин его. Врубель — романтик и поэт, крылья другие, полет иной, летает там... Репин — сила, земля, не поймет никогда он этого серафима.

В Москве, в мастерской моей, проснувшись утром, видел, как Врубель брился и потом элегантно повязывал галстук перед зеркалом.

— Миша, а тебе не нравится Репин? — спросил я.

— Репин? Что ты!? Репин вплеп в русское искусство цветов лучшей правды, но я люблю другое.

Умерли друзья мои: Павел Тучков, Серов, Савва Иванович Мамонтов, Врубель, Таньон... Там, в моей стране, могилы их. И умер Репин... Прекрасный артист, художник, живописец, чистый сердцем и мыслью, добрый, оставив дары Духа Свята: любовь к человеку.

Да будет тебе забвенна наша тайна земная скор и непониманья и горе ненужных злоб человеческих...

Верни-ретушэ Лефран

Однажды летом я гостил у своего приятеля Комаровского в Московской губернии, близ Рузы. Местность была прекрасная. Большой зеленый луг, покрытый полевыми цветами, спускался от старого деревянного дома к реке. Сзади дома — заросший сад, старый, с огромными липами и серебристыми тополями. Он был полон волшебным пением птиц. Да, то был рай. За горою выглядывала деревянная церковь и дом священника, отца Василия. Приход бедный. Отец Василий вдовый; его дочь, Наташа, вязала кружева.

— Кому передать приход — не берут дочь, приход беден, — говорил мне отец Василий, которого за его скромность и невзрачность в округе прозвали «попиком».

— Вот теперь приехал один, такой гордый, гостит у меня. Семинарию окончил. «Сколько за дочью дашь, — спрашивает, — деньгами?» А что у меня? Не нравится ему приход. Пахать надо. Ну что, жалко Наташу.

На реке не колыхнет. Зеленые стрекозы летают над водой. Садятся на поплавки, на которые смотрим мы с берега речки. От травы и цветов пахнет медом. Светел летний день.

— У тебя, гляди-ка, повело, — говорит мне отец Василий.

Я вытаскиваю ерша.

— Батя, а ведь грех рыбу ловить. Она тоже жить хочет. Подумай, какой низкий обман, — говорю я отцу Василию.

— Верно говоришь. Одно — что она на нас не похожа. А вот убоину я не ем. Тяжко убивают их. Живут с нами. И видят, и знают, как мы их детенышей едим. И, гляди, прощают и любят нас. И что это — не пойму я. Яйцо ем, а куру — нет. Жалко. Цыплят кормишь, а потом есть. Как-то не того. Жалко.

— Грех? — спрашиваю я.

— Нет, не грех, а так — неловко.

— Убийство же грех. Убийство человека.

— Да и грех, и нет, — ответил попик.

— Как нет? Что ты? Нельзя же жить с убийцей! Государство не может терпеть.

— Верно, не может. Бережет, защищает людей. Но убийцу жалко. Жалок ведь он. Совесть мучает тяжко. Помню я, один просил наказания сам, и как просил! Мать убил. Позвал меня. Рубашку отдает — «Возьми, — говорит, — мать шила». А я ему говорю: «Может, поправится, жива она». Какими глазами он смотрел на меня. Не видал глаз таких. Вдруг закричал: «Врешь ты, поп! Я сам видел, как вся она расколота была». И бросился на стену и бился головой. Так суда и не дождался. Забил себя.

— Что же грех у тебя? — спрашиваю я. — Все прощать надо?

— Все, — ответил попик. — Есть только один грех — ему нет прощения.

— Какой? — спрашиваю я.

— На доброе в человеке — хула. Хула на Духа Святого никогда не прощается. Вся страна погибнуть может.

Собака моя залаяла. К нам подходил щеголеватый молодой человек в широкополой шляпе, с большой пышной шевелюрой. Остановившись, он сказал басом:

— Кто рыбу удит, у того ничего не будет.

— Верно, — ответил я. — А вы не любите это?

— Феноменально не люблю. Пустое занятие. С одной стороны червяк, с другой — чуждак.

— Не чуждак, а дурак, — сказал я.

— Ха-ха-ха. Да и так есть, говорят.

Слышу, кричит нам Комаровский с горки, над речкой:

— Идите чай пить! Князь приехал. Скорей домой.

— Пойдем, батя, — сказал я.

— Одет-то я плохо, не пойду.

— Позвольте познакомиться, — обратился он ко мне. — Апполинарий Рождественский, кончил семинарию, — показал он на молодого человека.

«Это Наташин жених», — подумал я.

— Пойдем, что плохо одет, тут деревня, ничего. Пойдем все.

— Сан хотел принять, — идя со мной, сказал семинарист. — Невозможно — невеста ничтожная. Пятисот дать не могут. Какой это приход. Погост, кладбище! На Пречистую зовут, завтра поеду. Там село, а тут что?

На террасе деревянного дома моего приятеля сидели гости: огромного роста князь, сосед-помещик и дама, тоже большая, в белой шляпе и кружевном легком платье, лет сорока. Она часто качала большим веером, охлаждая полное лицо. Она тоже была княгиня, другой фамилии.

— А вот и вы! Поймали рыбу, что? Много? — спросил князь, когда мы пришли и сели за стол.

Попик робко взял стакан с чаем, откусил кусок сахару и наклонился над блюдцем. Его большие светлые волосы прядями упали и попали в чай. Он сконфузился. Княгиня, обратясь к нему, спросила:

— А много прихожан у вас, батюшка, верующих? Или так, более по привычке, в церкву ходят?

— Клубника со сливками, — что? Это красотище, безумно вкусно, — что? Чертовски! — громко выкрикивал князь, посыпая сахар на тарелку с клубникой.

— В праздники много приходит. Веры больше в зрелом возрасте. И молодые любят церковь. Ходят, но меньше.

— Есть верующие. А я вот не верю в существование Бога. Это большой грех? — спросила княгиня.

«Что же это сегодня, — подумал я, — моего попика одолели: то я на рыбной ловле, а вот теперь нарядная княгиня».

— Это не грех, — ответил, улыбаясь, отец Василий, смотря своими большими серыми глазами на княгиню.

— Это не грех, как же? — удивилась княгиня.

— Нет, не грех. Предвечное величие Господа не приемлет непризнание его вашим сиятельством, так как малый ум наш не может постичь, а не только умалить Его величия.

Княгиня покраснела.

«Ух ты, — подумал я, — что-то попик мой сильно ахнул».

— Клубника чертовски вкусна. А? Что? Скажите, это вы, правда, совсем в Бога, что, совсем не верите, — что?

— Но боги разные, — ответила княгиня. — В таком-то веке — язычество, греческие боги, Будда, потом единобожие.

— Это не Бог, — сказал попик. — Это восхищение, выраженное человеком Богом и страхом перед Ним. И только. А Бог — это другое, совсем другое.

— Это как кто, вольному воля, спасенному рай, — вставил семинарист.

— А что? А пожар, это как — от Бога? — спросил князь. — Что?

Княгиня пристально смотрела на отца Василия и, обратясь ко мне, сказала:

— Ну, покажите нам, что вы рисуете.

— У меня в Михайловке красотище, чертовская, — кричал князь. — В Париже точками, точками. Пуантилизм. Ну, батенька, я вам скажу, — ах, красотище, с ума сойти!

Княгиня смотрела висящие на стене мои этюды, писанные с натуры. На столе были разбросаны краски, кисти, пузырьки скипидара, сиккатива и лак ретушэ. Семинарист взял пузырек и, открыв пробку, нюхал содержимое.

— Отличный запах, — сказал он. — Великолепные духи.

— В Баден-Бадене восхитительные розы, у нас нет таких.

— Я это шиповник написал, — ответил я княгине.

Обернувшись, я увидел, как семинарист Рождественский вылил себе лак ретушэ из пузырька на голову.

— Одождаюсь. Прекрасные духи, — сказал Рождественский, растирая волосы.

— Что вы делаете, это — лак! — сказал я ему.

Он выбежал из комнаты и на кухне мыл себе голову. Но лак от воды и мыла побелел, и волосы как пакля торчали белыми клочьями во все стороны.

— Сан погиб, — кричал он, вбежав к нам.

— Это что такое? Что! Как странно. Что с вами? — говорил князь, посмотрев на семинариста.

— Сан погубили, — рыдал семинарист.

— От холодной воды, — говорил кто-то.

— Отойдет, — успокаивал отец Василий.

— Это черт знает что. И зачем это? Безобразие. Надо его обрить, — кричал князь.

— Нельзя брить, — сказал отец Василий, — он приход ищет.

— Приход, я найду приход, — не плачьте, молодой человек. Отчего это у вас? Как это странно, — успокаивала Рождественского княгиня.

Пара лошадей везла коляску князя и княгини. Они уезжали. На козлах рядом с кучером сидел с повязанной шалью головой семинарист Рождественский, с выпученными от пережитого горя глазами. Его везли к куаферу в город.

Была осень. Поздно вечером стекла моей комнаты обливал сильный дождь. Я собирал свои пожитки, укладывал картины к отъезду в Москву. Постучались в дверь. Открыл.

— А, отец Василий.

— Вот пришел проститься. Медку принес маленько. Я самовар поставлю, — говорил он.

Вот что сказал он мне за чаем:

— Слышал я, из города приехал один, сказывал. Помнишь, Рождественский, что был тут, гостил у меня, приход хотел принять? Ему-то в Москве приход дали. Вот.

— Видишь, батя, лак-то какой у меня. Ведь я его из Парижа выписываю.

— Да, лак у тебя чудесный, — сказал отец Василий. — Чудесный лак.

Наутро я уезжал. Дождь моросил, серое небо. Грязной дорогой проселка я завернул у кладбища и остановился у домика отца Василия. Вошел в чистую горницу. Что-то было грустное, когда Наташа сказала мне — «прощайте» и спешила с отцом мне завернуть в бумагу лепешки в дорогу.

Прошло много времени, взял я как-то, работая, флакон ретушэ и вспомнил Наташу: поди, вяжет кружева и все ждет, что кто-нибудь приедет и возьмет бедный приход, и кладбище, и ее, ничтожную невесту.

Вор

Лето. Смотрю я как-то из окна моей мастерской: у загородки сада стоит крестьянский мальчик лет двенадцати, на руках у него маленькая девочка.

— Дедушка, — обращаюсь я к живущему у меня старику-сторожу, — взгляни, что это за парнишка? Который раз замечаю: стоит у загородки и все смотрит на торфяное болото.

— Э-э, да это Колька, — вор. Глядит на пленных мадьяр, что в торфяном у Блудова работают. Отца-то его на войне убили. Вот он и глядит на них. Думает, дурачок, что они-то и убили отца.

— А почему говоришь — вор?

— Все знают. Из верши у меня в утро рыбу таскал. Я сам видал. Его много били за это самое воровство.

Я пошел к Кольке. Тот было наутек.

— Постой, Коля! — крикнул я.

Он остановился, смотрит пристально. На нем рваная женская кофта, из-под которой торчит грязная рубаха. Худенькая шея, лицо болезненное: бледные губы открыты, длинные ресницы больших карих глаз слиплись, а в глазах обида и печаль. Он уставился на меня недоверчиво. Крепче стиснул в руках сестренку свою, заматанную в жалкие лохмотья.

— Колька, — говорю, — что ты все под гору смотришь на пленных?

Он ответил:

— Они мово тятку убили. Почто?

— Коля, — стал я объяснять ему, — война идет. Может, и не эти мадьяры убили твоего отца. Много воюет и их, и наших.

— А почто?

— Как почто? Враги. Ну и воюют.

— Не-е, — говорит Колька.

— Как — не-е, что ты. Да подневольненькие тоже они...

— Кто тебе сказал?

— Война — понимаешь? Враги и есть. И наши тоже там у мальчика отца убили, и такой же там Колька, как и ты, сиротой остался...

Продолжая пристально смотреть на меня, он спрашивает:

— Я-то ведь мал еще, а тот Колька боле меня?

— Такой же, как ты.

— Ну так чего же? Нам вот и не вспахать. Боронить-то еще можно. А соху — где же! Не достать...

— Твоя мать где?

— Бают, в терпевном доме в Ярославле.

— Ну, что тебе, Коля, наврали! Такого и дома нет, — говорю я, озадаченный. — Пойдем к тебе. С кем живешь?

— Вот с ей, — показал он на сестру.

Коля повел меня к себе в избу. Изба бедная, у самого края небольшой деревни. Окна выбиты, заткнуты соломой и тряпками. Темно, печально.

Коля опустил сестру в корзину с грязным одеяльцем.

Большой лапоть валяется на полу. «Отцовский», — подумал я. Мяучит котенок. На столе стоит крынка, в крынке вода. Тут же — корка хлеба, облепленная мухами, да половина репы.

— Пойдем, Коля, жить ко мне. Бери сестру, а я возьму котенка. А что, рубашки и портки есть?

— Есть еще одна, а то украли.

Он достал с печи грязную рубаху...

Так и пришли ко мне.

— Вот, — говорю, — Коля, живи тут, рядом с дедушкой. Здесь, в этой комнате. Да сбегай к Павлу Киселеву, позови его.

— Не-е, — запротестовал Колька. — Он меня оттаскает.

— За что?

— Я у его лепешки украл.

— Разве ты воруешь?

— Да как же! Я ведь сестре, да и сам поешь.

Тут дедушка отозвал меня на крыльцо.

— Эх, Киститин Лисеич, чего это, право! Почто Кольку привел, беда. Он ведь во-ор...

— Ну, ничего, дедушка, как-нибудь... Пойди за Павлом... А ты — будешь сыт, Коля. Только не воруй. Слышишь? А то пропадешь. Сестру пожалей.

Павел пришел недовольный, сумрачный.

— Послушай, — обратился я к нему, — что это Колька мне про мать сказал?

Павел, сморщив брови и прищутив глаза, процедил:

— Гуляющая она была. Отец-то Колькин из солдат когда пришел, ее не застал уже. Колька-то — его, а девочка от шематона — вроде как дармоед какой был — не то барин, не то что. Не разберешь. Только он ее и увез. А Колька — вор. Все тащит, но, вестимо, больше чтобы съесть. А мать — что! Пила вино. Красива была. Ох, красива...

— Ну, так послушай, Павел, — сказал я, — как же это Кольке одному жить, кормить сестру? Они же дети! Подумай!

— Это верно, — согласился Павел. — Ну что же теперь делать? Отца убили в войне. Три рубля пенсии матери платят. Да где она? Ему по малолетству ее не дадут. Да теперь

и нет уплаты. Царь отказался, с престола сошел. Вот вчера все пленные, что было их, все уехали. Теперь слобода. Мать-то одна приезжала сюда, ну, только били ее очинно. Конечно, парни. Ну, она и не кажет более носа, а пожалуй, ее и нету боле...

— Павел, — распорядился я, — стащи постели с чердака. Знаешь, которую в палатку ставят: надо им постелить. Пусть живут, мне жаль Колю.

— Всех теперь не пережалеешь, — сказал Павел, — явный фахт. Человек — конечно. И мне жалко. Но вот только вор, вот что!

* * *

Утром Колька умывался и пил с сестренкой чай, и видно было, что он доволен.

И необыкновенная радость была в душе моей, будто я нашел драгоценнейший клад в жизни, и не верил тому, что Колька вор...

— Коля, можешь сходить на станцию?

— Знаю, — ответил Колька.

— Купи мне папирос три пачки. Я тебе напишу. Отдай эту записку Козакову в буфете. Вот деньги — керенка. Знаешь деньги?

— Не-е...

— Да ты просто отдай Козакову, он знает.

Через полчаса Колька вернулся, принес папиросы, мелочь сдачи и... толстую стеариновую свечу.

— А свечу где взял? — удивился я.

— Из фонаря украл, — невозмутимо заявил Колька.

— Как из фонаря? Да разве можно?

— Чево ж, никто не видал. Я ведь ничего.

— Коля, да нельзя же этого! Ведь тебя бить будут, ведь это нечестно, бессовестно. Грех! Я с тобой жить не стану. Ты вор. Нельзя этого.

— Не буду боле, — пробормотал Колька.

— Вот что... свечку отнеси назад. Тихонько поставь ее на место, откуда взял.

Говорю Кольке, а сам думаю: поймают Кольку, изобьют.

— Нет, не относи, ее надо в помойку бросить, за сарай.

— Свечка-то больно гожа. Думал, засвечу с дедушкой... — защищался Колька.

Дедушка свечку взял.

— А ты сказал ему, что украл? — спросил я у Кольки.

— Сказал.

— Что ж он, ругал тебя?

— Не.

Ночью слышу, Колька глухо кашляет. Утром, смотрю, — бледный.

Пришел Павел, я ему говорю:

— А ведь Колька нездоров!

— Вестимо, — сказал Павел. — Явный фахт. Еще бы, как его били! Он в Плечове платок украл и сестру повязал. Любит ее очень. Платок-то узнали, ну и били, ногами топтали. Крови вышло что из горла, ужаста. Вор потому, явный фахт...

Я заглянул вечером в полуоткрытую дверь Колькиной комнаты. На постели сидит сестренка и смотрит бирюзовыми глазами на брата. Тот на столе разложил свои богатства: ленточку, остаток тесемки, цветные шерстинки, крашеный поплавок, который я подарил ему, старый пенал, катушку, две пуговицы, ломаный перочинный

ножик... На столе горит огарок украденной свечки, и Колька, нагнувшись, шьет из рубашки, которую я ему подарил, платье для своей сестры. Худые руки Кольки тянут иголку. Он с заботой и вниманием изредка взглядывает на сестру и говорит:

— У Авдотьи видал голубую тесемочку, вот бы обшить шею хорошо. Не даст!

И Колька опять шьет.

— Какую карамель я ел, — рассказывал он сестре, — желтая, красная, зеленая, разная... Вот карамель! Ты не едала, а я успел. Теперь нет боле. Пряник я видал разá в трактире! Большой такой: конь, а на нем вот как мадьяр в каске, что отца убил, с усами, весь белый. Их господа все едали. Теперь нету. Вот украл бы, ежели б где нашел. Вот пряник, посмотрела б ты! Ну и скусный, знать! На станции боле нет буфета. А чего там было! Мать квасу раз дала мне испить. Ты не пивала, а я успел. Белый хлеб, баранки... А вот просфора святая, мать приносила, — как репа! Я успел, едал, а ты нет.

Сестренка с любовью и с любопытством слушает брата. И странно, никогда не плачет. В ней тихая гордость...

Возвратясь в мастерскую, я вспомнил, что у меня в ящике, в шкафу, где аптечка, есть сухая малина. Разбирая, я нашел в бумажном мешке на дне остатки киевского варенья. Десяток сухих ягод в сахаре.

— Коля, — крикнул я, — вот гостинец. Немного, возьми.

Дети сидели друг против друга. Сестра ела, а Коля смотрел близко на нее — смотрел, радуясь, что вот и она успевает изведать этих сокровищ...

* * *

Ноябрь в Москве. Трудно достать сахару, соли, хлеба. Я набрал разной рухляди: занавески с окон, белье, сапоги, старое пальто, шубу — для меня. Достал и пропуск к себе в деревню по железной дороге и залез в теплушку — вагон товарного поезда.

В вагоне едет со мною веселый молодой человек. Галифе, ухарски надетый картуз, военная шинель. С ним молодая женщина, по-видимому — жена. Он — парень разбитной. Тут же в вагоне разрубил скамейку, из щепок разжег костер, вынул чайник, достал стаканы. Откуда-то появились давно не виданный белый хлеб, сало, колбаса. Обратясь ко мне, парень спросил:

— Далеко едете, папаша?

— Да вот, до Павлова.

— Закусите! Копчености. Мы едем дальше, с Ярославля и по Волге.

— Благодарю, — сказал я. — А вы не боитесь так огонь разводите? Ведь прямо костер, а тут большие кипы газет, не попала бы искра, сгорим.

— Папаша, не бойтесь, мой вагон. Это я везу литературу. Вот скушайте, колбаса из Киева, привез копчености. В Киеве еще всего хватит. Белые булки, ой, как выборгские крендели!

Жена засмеялась и мне на ухо:

— Он литературу везет, а внутри-то там мануфактура! Не дурак он у меня.

На станции Павлово народу тьма-тьмуца: мешочники. Подбегает Павел.

— Я без лошади, — говорит. — Пойду поищу, кто довезет. Третьего дня из Переславля приехал какой-то начальник Штюрье. У вас ружья взял, читал бумагу охранную: «Мне, — говорит, — плевать на ее».

— А что Колька?

— Э-э... Да вот что — мать приехала. Ну, с ней такой козырь, платье на ней шелковое, кольца, вот форсит! Кольку и сестру увезла. Поплакала она, когда увидела их, и все целовала. Чего еще, не надо говорить только, ни-ни... Для вас оставила полпуда белой муки и икры, сахару. Вот, поди, барыня чисто!

Я вздрогнул. Глубоко внутри больно кольнуло. Испугался даже. А я-то куда же вез карамель, которую с таким трудом достал в Москве? И стало мне так одиноко, так пусто...

Лесничий

Заря гаснет и отражается на окнах моего дома. Листья клена осыпали террасу.

Позднью осенью все как-то тоскливо... Один я, и в доме темно. Да и жутко на душе: собака моя, Феб, умерла... Надо зарыть...

Иду в сарай. Там — мертвый Феб. У ворот сарая лежит черепок — это его кормушка. Как печален черепок, как беден Феб! Ах, сколько было в нем дружбы, какое сердце, большое, честное, полное любви. Вот осталась кормушка-черепок, а уж нет, не будет никогда этой радости встречи со мною Феба, и не положит он больше своей морды мне на колени, и уж не увижу его умных прекрасных глаз.

Заступ режет землю. Окостенелый труп Феба лежит около на осенних листьях, и страшно вытянуты его лапы.

Заря догорела. Мгла покрыла и сад, и даль лесов. Тишина. Звезды показались, — как много их в торжественной выси.

— Фебушка, — бормочу я, — ты уж не придешь утром ко мне. Помню, я прибил тебя, когда некстати ты погнался за зайцем. А ты так посмотрел на меня, в удивлении и страхе. Прости!

Слышу, от ворот идут к дому люди. «Ишь, — говорят, — и огонь у него не горит. Знать, дома нет».

— Здесь! — окликнул я. — Ты, Герасим Дементыч?

— Я, э-э, чего это ты один?

— Да вот, собаку хоронил. Дедушка сети понес за Озерья продавать. Вот и один.

— Темно уж, меня-то вы не признаете, — сказал другой гость, — помните, вы у меня в лесу были, в доме, из окна списывали зиму? Лесничий я.

— Как же, знаю, очень рад. Помню ваш рассказ, как женщину разбойники топили.

Мы вошли в дом, я зажег лампу, — и как-то все ожило. Будто отлетело что-то. Вернулась тетка Афросинья, затопила камин, самовар поставила, из шкафа достал я рябиновую, лепешки, жареного зайца. Да посмотрел на зайца — опять сразу вспомнил Феба... И стало невыносимо тяжело. Я приложился к оконному стеклу, руками загородил свет и смотрел в ночь. Потом незаметно вышел в темную комнату рядом, и слезы полились из глаз...

* * *

Когда я вернулся к гостям, они говорили о Фебе.

— Да, Феб была собака, — ораторствовал Герасим. — Ах, по охоте первая. Недавно золотую медаль на выставке англичане дали. От их страны она, понтер. О собаке можно вспоминаячи заплакать. Верно то! А вот о людях не о всех. Заметь-

те, — не чудесно ли это на свете? — ежели такой какой сдохнет, может и знатный, так о нем лет на сто радость останется, что сдох. Вот возьми лесничего, — показал он, смеясь, на гостя, с которым пришел, — он служит ночью: тук-тук-тук, мужичок рубит. Надо ему. Испод сгнил, тоже хозяин он. Надо-ть. А он, лесничий-то, сейчас в ночь темную казнить идет. Штраф, тюрьма, и все зря. Человек пустяки уворует, — нужда, — оттого, что надо домишко поправить, косяк нужен, сарай валится, а денег нету, да дети есть. Детев любит, детев нельзя не любить. Это не вор, не разбойник. Понять следует. А вот он, лесничий, самый и есть злодей. Вот о нем, помри, никто плакать не будет.

Оба гостя, смотря друг на друга, засмеялись. Я удивился.

— Это он все нарочно, — заговорил лесничий. — Я ведь тоже отвечаю за порубку. Старший есть. Друг за дружкой смотрим... Обьездчик тоже; если поумней, то ничего, а дурак попадет — ловит, старается, дерется и убивает, случается. Все по глупости. Понятия нет. Инструкцию всерьез, точно... А ее ведь понять надо. Наше дело, лесничье, нелегкое. Сколько и лесников погибает — тоже зря.

Они продолжали смеяться, подмигивая друг другу. А я никак не мог понять, с чего бы это?

— Да вот, — сказал лесничий, — а ежели вам интересно, выйдемте сейчас наружу. Теперь ночь, тихо, слушаем.

Все вышли на крыльцо. От земли несло сыростью, прелым осенним листом. Глубокое небо было полно звезд. Тишина. Вдруг слышим, вдали раздался острый и глухой звук. — Тук, тук! Потом опять — тук-тук, редко и ровно.

— Чуете? — сказал лесничий, — Чуете? Рубит.

— Пойдете ловить? — спрашиваю. — Далеко ведь это...

* * *

— Лисеич, — обратился ко мне Герасим, возвращаясь в дом, — он знает по стуку, какое дерево рубят и каких вершков, двенашену или восьмик. Вот поди ты, а как знает!

— Заметили, — добавил лесничий, садясь за стол, — как он аккуратно, редко бьет топором? Сучья отрубает. Я ведь слышу. Это — нужда. Бойтся. Это Горохов рубит, с Заозерья, и думает, что я не знаю... А мы должны пугать. Допустить нельзя. Знаем — кто что, кто на продажу ворует, на вино, тот смело в бурю работает: пилит. К тому один не ходи — убьет. А мимо этого с обьездчиком едешь, кричишь нарочно: «Это не в нашей делянке, это дале». А он спрячется, думает — слава Богу, проехали казенные разбойники. Вот что, Герасим-то нарочно говорит, чему смеется-то? Хитрый он... Мы страшаем, а вот нельзя сказать: «Руби!» Тогда все пропало. Убьют, и все, весь лес погубят.

«Как странно», — подумал я и еще спросил:

— Отчего же, если у кого нужда, не дать на постройку леса?

Лесничий большими серыми глазами вдумчиво взглянул на меня. Герасим опять рассмеялся:

— Вот я и говорю, когда помирает лесничий, все рады.

Но я все-таки не понимаю, о чем смех...

— Дать лес невозможно, — продолжал лесничий. — Дают, ежели когда погорят, а то никак нельзя. Не к делу пойдет. И все смутится. Все только и будут

ждать — давай лес. Почто тому дали, а мне нет? Мало дали. Что будет, что пойдет! Бунт. Ежели вот ночью рубит, так сам боится, потому что ворует. Это значит, что к делу, а так дать — невозможно. Все на пропой тогда пойдет. Все погибнет. Вся Россия.

— Странно, — заметил я. — Воровать можно, а дать на дело нельзя? Не понимаю.

— Нельзя, — повторил лесничий, — трудно вам понять это.

— Бедного человека в нужде, в необходимости, горе ведь на воровство толкает, — настаивал я.

— Да, — ответил лесничий, — все верно, но не так.

Герасим опять засмеялся:

— А помнишь ли, Лисеич, ты-то часы подарил серебряные с цепью мастеру Чеснокову, что хорошо тебе крышу покрыл? Помнишь, что было? Хозяину он в морду дал: кто я! На станции жандарму опять в морду, и часы пропил, и в тюрьме сидел. Все из-за тебя. Ты испортил человека.

«Помню, верно, — подумал я. — Так что же это такое?»

— А не жутко вам в лесу жить? — чтобы переменить тему, спросил я лесничего.

— Нет, ничего. Лес, вот какая красота. Он ведь живой. Он душистый. Друг на друга овеивает ароматы. Он дышит, он дремлет, он живет... Он в перемене всегда — когда темный, когда в свету солнца сияет. В сиянии луны он дремлет, спокоен, и волнуется в бурю, шумит, — всегда разнен, и жить в нем радость, особый покой... Вот однажды ночью постучался ко мне путник и просил ночлега. Я пустил. Вижу, небольшого роста человек, лицо чистое и худое, длинные волосы. А за спиной мешочек и скрипка в чехле. Поставил я ему на стол молока, хлеба — закусить. Он поел и поблагодарил меня. Потом спросил: «Позвольте, — говорит, — я перед сном всегда играю немного на скрипке. Позвольте поиграть теперь, тут, около, в лесу?» И вот хорошо он играл, так хорошо, что даже слезы пошли у меня. «Жаль, — говорю я ему, — что я один вас слушал». — «Что вы, — отвечает, — а лес? Он меня тоже слушал». Чудно так ответил и так благородно. А утром опять играл. Тут приехала жена моя от матери — она гостила с дочерью у родных. Тоже его спросила: «Что же это, господин, вы в лесу играете, не на людях?» А он улыбнулся и говорит: «Я больше люблю играть лесу и себе». Вот какой чудной. А играл хорошо.

— Не помните фамилию его? — спросил я.

— Нет, забыл. Постойте, немецкая какая-то... Кажется — Шуберт.

— Шуберт! — удивился я. — Что за вздор! Вероятно, он сказал вам, что играет музыку Шуберта?

— Во-во, верно. Он сказал: «Я играю музыку человека, который лесу играл и умер с голоду. Хорошо, — говорит, — что есть такая страна наша Россия, в которой нельзя умереть с голоду».

— Вот какой музыкант бывает, — удивился Герасим. — А верно сказал. В России с голоду не помирают. Что потом будет — невесть, а none... нет, не помирают. Какой хочешь Шуберт, а хлеба дадут...

Плясавица

Как-то летней ночью, на террасе моего усадебного дома, выходящей в большой старый сад, сидели мои городские приятели да сосед из деревни — рыбак Павел.

Хорошо этак в дружеской компании, в летнем бездельи вести разговоры разные! Жизнь проста, от города далеко, место глухое, лесное, красоты неизъяснимой.

Рыбак Павел вел разговор о том, что это место, где дом мой стоит, старинное и ранее здесь стоял другой дом, куда больше моего, и сгорел. «Осталась вот только эта беседка, — показал он с террасы, — да сарай».

— Аллее этой и березкам громадным, — добавил он, — им лет по двести, почитай, есть. За куртиной, что у беседки, видали вы, насыпана горка? Над ней скамейка. Тут и есть могила барина старого, Ступишина. Он тут допрежь жил, в доме-то. Вот я про него от остряков слышал, которые еще его помнили в те поры, когда молодые были. Ну, крепостные его, значит. А был этот Ступишин такой барин — во! Роста саженного и всегда сердитый. Ходил постоянно в халате, и зимой, и летом. Жил один, вдовый был — овдовел молодой. Был он раньше военный, как полагается. Женился, супротив начальства, на плясавице. В зале висел портрет во весь рост, а на нем барыня нарисована была — плясавица-то, в белом платье. Это его-то жена молодая. Сказывали, что видали, как он, значит, перед сном на коленях молился на нее, а потом подойдет к портрету и ногу поцелует, что внизу списана была в белом сапожке с ремешком... Кто знает, верно то али зря говорили, — у него старуха жила, так она сказывала, что будто видала, как он ночью-то не спит, а сидит в кресле и вино пьет один. Ну, а на столе канделябры горят — свечи, значит. Только покойная-то барыня выходила с картины, как живая, и танцевала ему. И до того ловко, что он мундир свой наденет уланский, глядит на нее и тоже танцует. А старый уж был. Вот, будто все это старуха видала.

— Жил он здесь, значит, — продолжал Павел, — ни с кем не говорил и никому не велел с собой говорить. Ну а сам что приказывал — только делай и молчи. Так что, ежели кто слово скажет, он повернется и уйдет, а то тряхнет разок, так узнаешь да похвораешь. Потому сила в нем была до ужаста. Вот слушайте... Приезжали к нему начальники — губернатор, городничий. А он слугам велит: не пущать, я, дескать, их не звал. Архиерея тоже. Ну, вот озорство в нем какое было. Все кругом на него сердчали. И мужики. И захотели мужики его порешить. «Довольно, — говорят, — ему характер свой на людях показывать. Кончим его. Довольно терпели обиды». Сговорились его кончить. Собрались, да и пришли ночью и принесли с собой двенашину, бревно — двенадцать аршин. Раскачали бревно-то, да двинули в окно, прямо в то место, где он сидел. Посыпались стекла, потухли канделябры, и потом ни-ни, тихо стало. Убили — значит. Ну и полезли в окно. Кстати, конечно, думали и поживиться чем. Залезли... Чу! Слышат — барин-то, Ступишин, живехонек. «Чего задумали! Вам, — говорит, — меня нипочем не убить». И смеется. Мужики опешили. А он: «Мне, — говорит, — самому с вами, холопами неверными, жить противно. Я сам удавиться хочу. Только мне вина мово жалко, не допито. Ну, убивцы, засветите-ка свет! Попью я вина напоследок, да и пойду в сарай давиться». Принесли, значит, вина. Барин всем налил: «Пейте, — говорит, — убивцы. Пойду я давиться в сарай. А здесь место чистое. Я не хочу перед призраком светлым дело грязное вершать». Мужики достали веревку. Молчат, пьют вино, а потом в сарай пошли. У барина веревка в руках. «Пора, — говорит, — теперь давиться надо... Я только опосля вас».

Да троим-то веревку и накинул на шею и затянул. Сила в нем — страх! Затянул троих, остальные — бежать. Так он и их догнал. Всех удушил. Восьмерых кончил... Приехало начальства много. Судили, рядили. И духовенство тоже было. Три дня судили. И решили к нему монаха приставить да епитимью на него наложить. Только в первую же ночь прибежал монах в деревню. Собрал народ и говорит: «Народ честной! Что в доме у барина вашего делается! Там барыня спрятана была. Теперь по комнате кружится, танцует. И все свечи зажжены. И такой она красоты, глаз отвести невозможно. А перед ней молодой улан, с сабелью, поклоны кладет. Что епитимью править? Ведь он притворный: он — молодой. Один нипочем в дом не пойду, боюсь...» Трясется монах в страхе и народ зовет. Собрались, кто посмелей, — боятся, ведь удавит. Ну, кто косу взял, кто топор, пошли. В доме свет, канделябры горят. Вошли — никого, тихо. Смотрят в зал и видят: канделябры на столе горят и две чашки хрустальных стоят с вином. Большой портрет: барыня вся в белом глядит и вроде как смеется. А барин лежит на полу в мундире, эполеты и сабель золотая. Лицо белое: старый. И глаза открыты, на портрет глядят. Подошли, кто посмелей, поднять его, а он заостенел — помер, значит. Монах и все, кто были, старуха и мальчик-казачок, все ушли на деревню. Вдруг глядят — осветило в саду. Пожар, дом-то занялся! И от дома бежит по аллее, за беседку, да к реке вниз, белая барыня в кринолине. Да под гору — как летит, да за деревьями и пропала над рекой в тумане... Приехали начальники, дивовались. Жалели — портрет сгорел. Нашли его обгорелое тулово. Вот тут у вас в саду зарыли, за беседкой, где скамейка стоит. Неча говорить: верно. Он и теперь, Ступишин-то, по ночам похаживает да вздыхает. Наши-то когда слышат.

— Но это только так слышится им, — заметил приятель мой Вася.

— Слышится, да! А вот Сергею Макарову, от вас шел, так он ему как по уху — раз! Тот бегом, да кричит: «свят, свят». Также покойники такие бывают, долго от них житья нет. Крепко мстят. Есть это.

— Ерунда, Павел, выдумки. Зря пугаешь, этого не бывает.

— Выдумки? Нет не выдумки. Я ведь жил здесь, когда вы дом строили, так слышал. Как ночь лунная, в полночь, в беседке кто-то вроде топает...

* * *

Вдруг мы все замолкли. В беседке послышались будто шаги...

— Что это?

И опять, да так явственно — шорохи в беседке... Мы насторожились. Невольная жуть охватила нас.

В самом деле, что же это такое?

Беседка, освещенная полной луной, среди осин и елок казалась призрачным видением прошлого... И вдруг тихо отворилась дверь, и женщина в белом платье показалась на пороге. Тонкие руки ее были подняты: она как бы поддерживала ими свою голову.

— Плясавица! — истошным голосом закричал Павел. — Удавит, ей-ей! Беда, братцы!

И он первый пустился бежать.

Мы бросились за ним с террасы в сад. Остановившись у сарая, обернулись... Она шла.

— Что за черт! — прошипел приятель Вася. — Гляди, куда идет!

Призрак повернул в боковую аллею и пропал.

Но к нам двигалась другая темная фигура. Она тоже шла от беседки, то исчезая за деревьями, то показываясь из-за них.

Подойдя ближе, фигура сказала:

— Вот, право, чего вы это?

— Тетка Афросинья, ты? В чем дело? Кто был там в беседке с тобою?

— Чего вы, вот право, «плясавица» кричите! Барынька-то мужа своо ловит — Фофка, которого вы знали, что приезжал к вам по весне. Граф он, что ли. Только он изменник женский, вот что. Она уже третий день здесь живет, сердешная, в беседке-то. Я ей вот есть ношу. Все ждет его, чтобы поймать. А он не едет. Он себе новую достал. Ну, изменник женский — чего тут. «Плясавица» — кричите! А жаль ее, она индо вся дрожит: «Поймаю, — говорит, — его с ей». Вот, поди, любовь зла. А посмотреть на него — жигулястый, плюнуть стоит.

— Кто же она? Афросинья, позови ее. Куда ушла?

— Ушла. На машину, знать. Говорить вам не велела, никому чтоб, нипочем. Ах, изменник женский, потрясучий! Ну, погоди, будет клоч тебе, — говорила, уходя, Афросинья.

Пума американская

У меня была палатка из белого холста. Я ставил ее в глухом лесу, у речки над обрывом, а то — на лугу, в красивых местах. Она была приспособлена для жизни в природе...

Я часто уезжал в отдаленные места деревенские. Брал с собою холсты, краски, ружье и удочки. В этих поездках слугой моим и другом был некий замечательный человек — Василий Княжев, рыболов, поэт и бродяга. Зимой он жил на Хитровке, в бедности и лени. Весной пробуждался, оживал и уходил бродить пешком в леса.

Ездили ко мне и друзья мои — художники В.А. Серов, барон Клод¹ и архитектор Вася. На свободе деревенской нравилось им уединение, полюбились моя палатка. На сей раз я поставил ее у речки Нерли.

Какое красивое место! С обрыва все дно речки — как на ладони. По берегу — ольха, крутая осыпь песку, осока и зеленые стрекозы над водною гладью.

Стояла летняя жара. Утром рано писал я около палатки картину с натуры. Вода чуть-чуть плескалась у самых моих ног. Смотрю — маленький щуренок, как брошка цветная, вышел из осоки и встал близ меня. Я наблюдаю, как он удивителен, как раскрашен, и тихонько сзади хочу его схватить в воде... Не тут-то было: мгновенно исчез и куда — неизвестно.

— Ишь, — сказал Василий, стоявший рядом со мной, — не поймаешь, быстр. А вот вырастет, живоглот будет. Всей рыбе страх. У людей также бывает. Махонькой растет, вот радость! А потом, смотришь, выйдет живоглот тоже.

— Что же ты не купаешься, Василий? — спросил я. — Вода теплая, хорошо.

— Что купаться! Все одно жарко. После купанья еще хуже. Кончайте работу. Уха готова и чай... Вот от жары чай с ромом! Архиерей в Вологде, — помните, мы там были? — так он пить велел. От жары нет лучше, говорил, чаю с ромом.

¹ Правильно: Клодт.

Я понял, что Василий видал, как я бутылку в корзину ставил, — но согласился я с ним не сразу.

— Да я не взял вина-то.

— Ничего подобного, — засмеялся Василий. — Здесь она. Не лопнула бы от жары-то. Соберется в ней пар, и лопнет. Говоровский квас, наемни, у нас весь ушел.

— Верно, иди, откупоривай!

И, как тот щуренок, Василий мгновенно исчез в палатке.

Уха из окуней и чай с ромом после купанья располагают к блаженству. Будто ничего больше и не нужно, лень, истома по всем жилам разливаются... А в лесу дрозд поет, кузнечики стрекочут в траве, и облака кучами белой ваты вздуваются на синем небе.

Василий — в новой ситцевой рубашке в полоску. Сидит напротив, сложив палецки ноги. Пьет чай с ромом. Карие глаза глядят в сторону.

— Василий, — говорю, — отчего это у тебя нос вроде как перешибленный?

— Пума американская, — невозмутимо ответил Василий. — Вот зверь хитрый. Как женщина! От ее это.

— Какая такая пума? Я думал, это природное в тебе.

— Не-ет, это многие спрашивали у меня: нос отчего? А вот служил я в Москве, был в те поры на Трубной площади зверинец — Гаснера Карла Иваныча, и супруга у него была Эмма Августовна. Служил я за старшего. Смотрел за кормлением зверей. Много публики набивалось в зверинец, когда зверей кормили. Антиресно очень жрут. Особенно королевский лев. Ох, жрать здоров был!.. Его тоже Карлом Иванычем звали. Публика его очень любила. Вот рычал! Так это прямо — гроза, когда жрал-то. Бывало, лихачи, что у ресторана «Эрмитаж» стояли, супротив зверинца, — лошади у них хорошие, — так когда Карл Иваныч зачнет рычать, все лошади кто куда, бесятся и с перепугу бросаются во все стороны. Ну, лихачи ловят. Жалобу подали они на Гаснера. Полицеймейстер Огарев приезжал, глядел на льва. При нем кормили его. «Ну, — говорит, — ничего с ним не поделаешь. Не может жрать Карл Иваныч тихо, благородно, потому уж у него нутро такое. У меня, — говорит, — тоже брандмайор был, так водку когда пил, тоже рычал, нутро такое». Полицеймейстер Огарев правильный был человек. Усища черные, сам — зверь. Позвал он лихачей и заявил им: «Гужоеды, — говорит, — ничего я со львом не могу поделать. Он от самой природы такой». Лихачи ни с чем и остались. Только как Карл Иваныч зарычит, тут уж они за узды лошадей держат. Лошади-то никак привыкнуть не могли. Лев! Конечно — боязно им, думают — сожрет. Нет понятия, что он в клетке.

— Большой лев был? — спрашиваю.

— У, огромный. И заметьте, Эмма Августовна, как оденется в голубой леспердон, с золотыми галунами, и в малиновые панталоны, тоже с галунами, — да к тому красная шапочка с пером, волосы светлые завитые, да перчатки и хлыст, — чисто херувим. Так она ему, Карлу Иванычу, не мужу, а льву-то, вот все, что велит, то он и делает. Кланяется и служит, вот как собака. Все удивлялись. Но только как наступает кормление, понять нужно, — доход. Если рычать Карл Иваныч не будет, ведь и доходу меньше.

— После кормления, — продолжал Василий, — я, значит, надеваю на голову феску и беру змею-удаву. Держу около головы ее и кругом оматываю себе на шею. Так и выхожу к публике.

Тут Василий встал в позу и заговорил другим голосом, важно и серьезно: «Карл Иваныч Гаснер благодарит почтеннейшую публику и просит впредь не оставить его своим посещением».

— Ну, публика и уходит, значит, кормление кончено. Да, вот, помню, на Страстной неделе никого не было. Хожу я по зверинцу, курю тихонько папиросу, а в клетке пума американская, как кошка большая, хорошенькая. Сидит у самого края, нос выставила и смотрит на меня. Думаю: «Погоди, красавица, любишь голубков кушать». Набрал я дыма в рот из папиросы, подошел, да ей в нос дым-то и пустил... Но только очнулся, смотрю — лежу на полу, весь мокрый. Стоит Гаснер, доктор, Эмма Августовна и пристав. Вся голова у меня в бинтах. Ну, в больнице два месяца лежал. Вот шрам остался на носу. Заметьте, потом, как приду в зверинец, так она, мериканка, увидит меня и опять садится к краю и мордочку выставит маленько. Думает, я опять ей дамся. Не-ет, буде. Но вот в этой пуме хитрости что! Зверь хорошенький, ну вот, как женщины, ни дать ни взять. Они тоже ведь вроде как пумы мериканские.

Я заметил, что Василий недоверчиво относится к женщинам.

— Почему, — спросил я его, — ты говоришь «удава» — змея. Не удава, а удав.

— Нет, удава, — возразил Василий. — Потому что она женщина была. И вот сама от себя родить могла.

— Как же это, Василий, Бог с тобой!

— Да вот так, брюхатеет сама по себе. Ничего — сама одна.

— Ерунда, — не поверил я, — этого быть не может.

— А вот может.

— Да как же?

— Да вот. Четыре года удава в зверинце была, и никакого удава другого не было, и вдруг она яиц снесла, страсть сколько. Все глядели, дивились. Полицеймейстер Огарев приехал, видит яйца. Рассердился очень. Приказал их в железный сундук на замок запереть. Кричал даже: «Это что же такое будет: змееныши расползутся по Москве, всех пережалят. Я, — говорит, — за порядок отвечаю. Не позволю больше я таких гадов разводить...» Ну, Эмма Августовна на подносе серебряном ему коньяк подносила. Отошел. А то ведь и закрыл бы зверинец... Так-ак, — закончил Василий, — а вот другой глядит на нос мой, на шрам-то, и думает, что у меня трифилис.

— Что такое, Василий?

— Болезнь такая дурная, женская. Знаю я: думают некоторые.

— Глядите-ка, — вдруг закричал Василий, — удилиц-то с берега тащат! Ишь!

И он побежал к реке.

Сильная рыба водила и плескалась, когда Василий тащил ее к берегу, и ушла, оборвав лесу.

— Эх! — крикнул Василий, — как вспомню эту пуму, всегда неудача выходит.

— Ты, брат, что-то, я смотрю, к женщинам плохо относишься. Должно быть, они тебе насолили?

— Это верно вот до чего. Ведь у меня тоже детеныш был от одной (Василий говорил о себе, как о звере, — «детеныш был»). А вот у ней, узнал я, еще хахаль был кроме меня. Вот когда работал я, да деньги были, так она со мной добрая, а денег нету — шабаш: пума! Ну, терпел я это и по весне пошел прямо в Иерусалим, без копей, всего семь рублей.

— Как в Иерусалим? Ведь это далеко, надо морем ехать.

— Ничего, пошел. Далеко — это верно. Только иду и иду. Думаю, узнаю в Иерусалиме, как быть в таком разе. Ну, где накормят, а то и подадут. И встретил на дороге, под Одессой уж, тоже человека, как я, бедного. Дорогой разговорились, я ему рассказал свое горе, а он смеется, да говорит: «У меня так же. Ну, я, — говорит, — богатый был, табачник. У меня-то денег было много. Вот у меня ушла через деньги, да ушла к бедному». Хороший человек, тоже горюет, все рассказал мне. Из евреев он был. «Я, — говорит, — к раввину иду, спросить тоже, как быть». Ну, пришли мы в Одессу, к раввину пришли. Послушал он его и меня кстати. Раввин был строгий. Слушает, а сам кверху смотрит на муху, — на потолке муха ходит. «Ну, что тут, — говорит. — То от бедного к богатому идет, то к бедному; ай, много ходить она будет. Вот как муха ходит — туда-сюда. Ну, чего там, ну зачем они вам нужны? Вот скажу вам — когда в голове мало, то это недолго».

Вышли мы от него и стали на углу на улице и друг на дружку смотрим.

— А что же, в Иерусалим не поехали? — спросил я.

— Не вышло. Он-то, мой знакомый, дело с табаком затеял. Я у него посыльным был, двадцать пять рублей мне дал. Одна я на пароход пошел, чтоб узнать, с матросом познакомился. Вместе в трактире выпили. «Чего, — говорит матрос, — поедем с нами. Шваброй полы мыть будешь. Прокормим». Но только я на пароход взошел — осмотр, полиция, паспорта глядят. «Это чего такое, — спрашивают меня, — паспорт надо загранишный». А у меня нет. В участок, значит, отправили. Кто я, да что, спрашивают, не верят. «Почто бежишь из Рассеи?» Пристав здоровый, из хохлов. Глаза белые, злющий. «Ваше благородие, — говорю я ему, — мне в Иерусалим поехать охота, на Иордань». — «А пошто тебе это затеялось?» — спрашивает. Я ему все рассказал, как есть, начисто. «Ну, — говорит, — ты, — говорит, — с этакими делами блудными Бога одолевать едешь? Вон, — говорит, — сукин сын, отсюда». Вот и все — и Иерусалим.

Василий махнул с досадой рукой, опрокинул стакан на блюдце, аккуратно положил сверху кусочек сахара и пошел в палатку.

По небу полуночи

Там — далеко — спят в ночи покрытые снегами леса, равнины, холмы. Луна освещает пустыню, и кое-где светится таинственно и призывно огонек в избе крестьянина... Пойти, согреться, услышать слово... Унылы и печальны просторы дивной родины моей!

В провинциальном городке — куда приехал на Рождество с моим приятелем, студентом Московского университета Колей Курицыным, в гости к нашему общему другу, только что получившему место городского архитектора, — было удивительно уютно. От улиц Москвы красочной патриархальностью отличались улицы провинциального городка с невысокими разноцветными домиками. Аптека, лавка с кривой вывеской, каланча пожарная, собор, торговые ряды, заборы да изгороди и за ними сады в пушистом инее, каменная гимназия с орлом посередине, пестрые будки двухэтажного дома исправника, — все как-то походило немного на игрушки.

Приехали мы к приятелю. Со станции повез нас толстый кучер, в низких санях. Городок в канун праздника приветливо блестел окнами. На душе было необыкновенно радостно, дух захватывало от какого-то сердечного веселия.

Завтра Рождество! Все мы — молодые, бодрые, нарядные, Коля в студенческом мундире: пуговицы блестят, усики чуть-чуть закручены, и пробор примазан фикса-туаром, не слушаются молодые волосы.

На деревянном крыльце дома, с цветными стеклышками по краям, нас встретил приятель с женой. В доме тепло, топится лежанка, пол покрыт деревянными циновками. Приятель в новом черном сюртуке и белом галстуке, жена — в голубом платье с красным бантиком. Все новое! Пора к вечерне. Пойти необходимо: как же, там все...

В столовой — круглый стол, белоснежная скатерть, и на ней — о, Господи! — окорока, поросенок заливной, поросенок жареный, рыбы маринованные, балыки, семга, навага, целый осетр — кругом узоры гарниров, и кажется, что осетр смеется, — колбасы, цветные вина в графинах и бутылки в золотом песке и серебряном. Стол закусок стоит отдельно. Там обилие невероятное: смирновка, березовка, осин-новка, рябиновка и, черт его знает, еще какая! Икра зернистая и паюсная, соленья, копченья... разве все перечтешь! А рядом еще чайный стол: крендели, бисквиты, баранки, булочки с маком, изюмом... На окнах занавески кружевные, с розовыми бантами, икона в углу, лампы. Жена и сам наш друг Вася блещут молодостью. У нее веселые глаза с заводом и улыбка приветливости, зубы — жемчуг.

И все-то — как новое, как игрушки из магазина. И мы тоже с Колей-студентом — как новенькие игрушки!

* * *

В соборе битком народу. Идем, боком проталкиваемся. Взяли свечи. Среди дыма кадит духовенство в новом облачении. Красавец диакон со светлыми пышными волосами голосисто выводит «Многая лета». Слева от нас — исправник с супругой. Она — высокая, красивая хохлушка. Брюнетка, причесана с челкой. В ушах круглые золотые серьги, как кольца, вся в белом. Сияет. Рядом доктор в очках, чиновники, дамы, барышни, — все расфранченные. Торжественно заливаются певчие.

— Посмотри, — говорит мне Коля, — исправница хорошенькая какая! На нас глядит, брат. Думает — кто такие?

— В храме ты ведь, а и здесь глаза пялишь, — отвечаю ему шепотом.

Коля выпрямился и глаза поднял кверху, как бы в небо.

— Николай, — говорю, — что ты свечой-то, смотри, сюртук Васе закапал. Что все вертишься?

— Посмотри-ка, в розовом, какая хорошенькая! — опять шепчет Коля.

— Опять за свое? Вот, погоди, скажут — социалист!

При выходе остановились на паперти. Начались поздравления. Исправник подал руку Васе, исправница ему что-то сказала, смотря в нашу сторону, и рассмеялась. Мы шли пешком, и с нами знакомые Васи. Говорили, что Евтохий хорошо служил, но ему до Антония далеко. Дома — горничная и кухарка целовались с барыней, а та подносила им отрезы ситца. Кухарка радовалась: вот, мол, я такого и хотела. Гости принялись за водку. Какой-то подрядчик жал Васе руку, говорил:

— Что мне, исеныт, пароход? Я сам пароход буду! Все достанем, Василий Сергеич, не беспокойся. Ассигновку подпишут, так мы у острога стену завернем, исеныт. Самому бы только туда не попасть.

И он неудержно хохотал. Пил и закусывал, щеки его лоснились и горели. Видно было, что Васю окружают деловые люди.

Гости уселись за карты, а мы с Колей пошли спать. Утром узнали, что исправник пригласил нас к себе на вечер, на елку.

— Я рад, — сказал Вася, — только вот, Николай, уж ты очень завираешься, когда с бабами, и глаза пялишь. Надо поосторожней. Исправница ведь это не венгерка какая-нибудь из «Яра». Я здесь положение занимаю. Понять надо. Так что ты — не очень!

— Позвольте, — обиделся Коля, — я-то, брат, знаю тон. Моя мамася (он картавил), брат, Смольный монастырь, то есть институт, кончила с шифром.

— Я, брат... я, брат, — передразнил его Вася. — А помнишь, как тебя сифоном всего облили на станции Пушкино за волокитство?

— Ну да ведь это буфетчик, хам, хамище. Да я и не знал, что это его жена была. Да и за что же? Я в нее цветочки бросал. Ничего тут неприличного нет. А он, хамище, меня из сифона! Ну, протокол на него. Понимаешь, брат, честь мундира? А мне говорят: «Вы не военный, а студент, — какой это мундир?» Вот скоты! Все против меня. За буфетчика все. Студентов, брат, не любят. Это за ум, брат. Завидуют. Студент — это, брат, самое умное сословие.

Мы с Васей засмеялись.

— Погодите, узнают потом. Мы, брат, такую конституцию покажем, все рот разинут. Тогда узнают. Перестанут смеяться. Вы думаете, что? Все, брат, ждут этого. Мы разорвем эти цепи. Придет весна, брат. Такие цветы расцветут, пускай тогда буфетчик попробует сифоном брызгать. Я его, хама, на гильотину отправлю.

Коля рассердился не на шутку.

— Слышишь, Николай, ты не очень-то! А то попадешь в Сибирь вот за эти разговоры.

— Я, брат, за идею готов страдать. Нас таких немало.

— Так чего же ты все за чужими женами волочишься? — засмеялся Вася.

— Да что такое жена? Эмансипация, брат, нужна. Женщина не раба. Тут сифон не поможет...

В большом зале исправника, залитая свечами, украшенная картонажами, конфетами и игрушками, блестела елка. Кругом толпились дети. Исправник и его жена с улыбкой раздавали подарки: хлопушки, пряники, колпаки, куклы. У буфета старшие пили оршад и ели мороженое. Когда гости стали разъезжаться, исправница позвала нас в свою комнату.

— Вы видите, — сказала она, — я очень занята, а потом, когда уедут, мы будем ужинать. Оставайтесь! У меня вот альбом, вы здесь нарисуйте что-нибудь, — обратилась исправница ко мне.

— А вы напишите, — сказала она Коле.

— Я счастлив, — ответил Коля. — Сейчас же напишу вам стихи.

Он взял альбом и написал быстро, потом подвинул мне и сказал:

— Ну, валяй, рисуй!

Я стал читать: «По небу полуночи ангел летел...»

— Что же это? — говорю, — ты Лермонтова списал?

— Не беспокойся, — ответил Коля, — я, брат, знаю, меня не учи. Рисуй себе.

Я нарисовал зиму в деревне.

Подошла исправница:

— Вот хорошо, все мне на память пишут. Прочтите, молодой человек.

Коля прочел: «По небу полуночи ангел летел...»

— Прекрасно, как складно, и как вы это скоро! Да вы сочинитель!

— Я? Сколько хотите, — не сморгнул глазом Коля.

— Ну, напишите еще что-нибудь!

Коля написал:

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна...

Я посмотрел на подпись: «Коля Курицын».

— Да, замечательно, — умилилась исправница. — Вы прелесть! Сочинитель, сочинитель! За обедом прочтем всем.

Мой Коля даже не сконфузился. Взял альбом и написал еще:

Ах, Аннета, вы ли это?
Я устал искать, а вы сели на качели...
Ангел, душка, вы игрушка.

Градоначальница ахнула и погрозила пальчиком.

— Какой вы, право, разве можно? Подумают, вы меня этак... Ведь зовут меня Анна, Анна Петровна... Нет, это надо разорвать.

За ужином слева от исправницы сидел Коля. Исправник заметил, что в ожидании Нового года будет рад передать награды тем, кто их заслужил верной службой, и пожелает более молодым брать пример со старших и в делах не торопиться. Все пили здоровье исправника и его супруги. Благодаря гостей за привет, исправница заявила, что вот среди гостей есть сочинитель, и написал он в альбом стихи. Все стали просить Колю прочесть.

Коля встал в позу и продекламировал стихи не без эффектности. Все хвалили, а исправник заметил:

— Очень приятно, только для праздника надо что-нибудь повеселее.

— Про звезду бы Вифлеемскую, — сказал диакон.

Откуда-то взялась гитара, и чиновник — нос картошкой, — подняв голову, лихо запел:

Чувиль, мой чувиль,
Чувиль-навиль, виль-виль-виль,
Еще чудо-перечудо,
Чудо — родина моя!

Все сразу развеселились.

* * *

Через два дня исправница позвала к себе Колю Курицына вечером. Когда он вернулся, черные глаза его выражали испуг и заботу.

— Что такое?

— Дрянь дело, брат. Надо уезжать скорей.

Мы встревожились. Вася даже встал и рот сделал дудочкой.

— Понимаете, она, брат, исправница-то, кажется, в меня втюрилась. Вот мне поет! Вы, говорит, сочинитель. Я, говорит, это так не оставлю. Ваши, говорит, стихи я в Петербург послала, в журнал «Нива», чтобы напечатали. У меня там кузен служит. Свой человек. Все сделает. Я с эстафетой послала.

— Что же ты натворил? Еще подписался...

— Уголовщина! — закричал Вася.

— А завтра ответ может прийти. Черт-те что выйдет, — бормотал растерянно Коля Курицын, наскоро укладывая свой чемоданишко.

Новогодний волк

Проснулся я рано утром. В окне — всюду кружевное покрывало инея. Над болотом, за большими елями, красным шаром встает зимнее солнце. Лучи его освещают наличники окон деревянного дома и ложатся на бревнах яркими полосами.

Какая радость зимнее солнце! Что-то живое, веселое в его лучах. Оно морозное, особое. Только у нас в России такое солнце зимой. Чувствуешь себя необыкновенно бодро, а вставать не хочется. Приятно, лежа в постели, смотреть в окно на иней... Края изб, овин, сугробы — на утреннем лиловом небе. Вон летит ворона, да так тяжело! Села на овин, наклонилась и крикнула. В ворота идет тетка Афросинья, в полушубке, закутана с головой, несет крынку сливок к чаю и корзину.

Рядом со мной на постели кот Васька, тоже ленится, не хочет вставать и смотрит круглыми глазами в окно. О чем он думает? Неизвестно. Я глажу его, — кот потягивается и мурлычет...

В соседнюю комнату тихо входит слуга Ленька, и собака Феб радостно врывается ко мне, прыгает у постели и кладет мне на колени морду. Тут Васька бьет Феба лапкой по носу — но дружески, шутя, не выпуская коготков. Это его особая манера ласки.

— Самовар готов, — говорит Ленька. — Мороз очень здоровый, градусов сорок.

— Ну и врешь. Посмотри-ка на градусник!

— Я глядел. Не видно... Окно все замерзло, и градусник замерз. Его бы горячей водой полить... Вот едут, глядите-ка, никак Василий Сергеевич и еще кто-то!

Тут я услышал скрип полозьев, вскоре в окне показалась лошадь... Сани остановились у крыльца. В сенях — смех:

— Ухо отмерзло!

Друзья мои, закутанные в шубы, — Вася, музыкант Коля, Юрий, — ввалились в комнату. Физиономии у них красные, волосы и брови заиндевели.

— Смотрите-ка, у Николая ухо белое. Скорей снегом оттереть.

Ленька бежит опрометью из комнаты и возвращается через секунду с миской, полной снега.

— Три живее!

Все присутствующие трут Коле уши.

— Только правое! — протестует он.

— Трите оба, — раздается авторитетный бас приятеля Васи.

— Зачем же оба?

— Так вернее.

Лицо у Коли выражает страдание.

— Хорош музыкант, если без ушей будет. Ни к черту! — говорит Вася, продолжая натирать Колины уши.

— Довольно. Смотрите — теперь оба красные!

— Наливайте ему скорее чаю с коньяком. Ну, вот — отошел, — успокоительно замечает Вася, — а то белые уши, антонов огонь, их надо резать, не то смерть. Понимаешь?

Коля смотрит в покорном испуге и молчит.

— Ну что это, скажи пожалуйста, — не унимается Вася. — Все ничего, а тебя угораздило уши отморозить. Непременно какая-нибудь история с тобой. Отчего бы?

— Верно, — соглашается Юрий. — У тебя, Николай, и физиономия такая. Брови подняты, вечный испуг.

— Вот ерунда, — обиделся Коля. — Конечно, у вас на рожах полное ко всему равнодушие. А я, брат, вижу несправедливость жизни, веду борьбу, оттого и выражение благородных страданий. У тебя — что? Квадратная рожа, вот как у полового.

— Верно. Действительно, у тебя, Юрий, физиономия того... — подтвердил Вася. — Ну и мороз! Хорошо здесь, в доме-то. Смотри-ка — ветчина, лепешки деревенские.

— Это лепешки тетки Афросиньи, — отвечаю, — она принесла. Таких нигде нет. Посмотри: видишь — сверху узоры, рубчики? Да вот и она...

Тетка Афросинья вошла нарядная, а с нею муж Феокист Андреевич. В руках у нее большой пирог с груздями. Тетка Афросинья похожа несколько на репу, но женщина она почтенная и любит подарки и учтивый разговор.

— С наступающим вас. Э-э, чего это вы, Миколай Васильевич? Говорят, ухо отморозили? Долго ли — стужа какая.

Наливаю Феокисту водки, а Афросинье наливки. Феокист пьет и крикает, Афросинья вытирает ротик платочком по-модному, говорит: «С Новым годом вас — чево нечево, а все по-хорошему чтобы».

— Вам я очень благодарен, тетенька Афросинья, — говорю я, — живу среди вас, земляков своих, и единой обиды не видывал. Ценю услуги ваши, пускай-ка друзья пирога изведуют, тогда узнают, кто такая тетенька Афросинья.

Афросинья степенно поклонилась нам и вышла...

— Вот в такой мороз я пойду нынче налимов ловить, — заметил Вася. — Где здесь в реке налимы водятся?

— Под кручей, — ответил Феокист, — у Любилок, здесь весь налим. Павел знает, он тебе покажет. Только, что ты в этакую стужу ловить пойдешь? Замерзнешь, как есть, боле ничего.

— Да где ж морозу с Василием Сергеичем сладить? — смеется входящий сосед — охотник Герасим Дементыч. — Где ж морозу повалить эдакова-то!

И правда: Василий Сергеич и Юрий богатыри хоть куда. Рядом с ними худой и вечно испуганный Коля казался ушибленным судьбой. Но сейчас он уплетал пирог с явным наслаждением, запивал коньяком и похваливал:

— Пирог замечательный. Прелесть! А какая рыба?

— Ну, вот опять, — притворно ужаснулся Вася, — разве я не прав? Ест Николай и уверяет — рыба. Это же грибы.

— Ну, нет, позвольте, я еще с ума не спятил, — запротестовал Коля...

— Конечно, грибы, Николай, — подтверждаю и я.

— Ну, уж извините, позвольте. Нечего из меня дурачка строить. Довольно.

— Да, конечно, рыба, — смеясь, поддакнул Юрий. — Вот только какая?

— Какая? Мыбра, — нашелся Вася.

Тогда Коля взял кусок пирога, выпил рюмку березовки, закусывая пирогом, поднял черные глазки кверху, распознавая вкус рыбы, и сказал:

— Верно — мыбра.

— А я вот шел к вам, — сказал Герасим, — на льжах. По оврагу, что за курганом. Волчьи следы, гляжу. В ночь, значит, прошли трое матерых. Это с Вепревой Крепи. Нагнал. Дал разá. Да стужа велика — зазяб. След кончается здесь, вот в моховом, — показал он в окно. — Где на тяге по весне стояли, там и залегли.

— Хороша штучка, — заметил Вася. — Вот! А я хотел налимов ночью ловить.

— Так возьми ружье, — посоветовал я.

— Благодарю покорно. Тыловишь, а они, голодные, бросятся сзади, и готово. Нет, один не пойду.

* * *

До наступления вечера я отправился в сарай, отыскал ящик из-под рыбы, вырезал небольшие кружки, заклеил их красной бумагой, а внутрь поставил свечи — это волчьи глаза. Герасим мне помогал.

Когда стемнело — зимой темнеет рано, — я поставил ящик в кустах, недалеко от дома. Такие же глаза, в картонках от шляп, поставил в других местах. Осторожно зажег свечи. Эти тусклые огоньки в кустах чуть-чуть мерцали, неожиданно и страшно.

Вася сначала приготовил снасти и насадку. Потом оделся во все охотничье: огромные белые валенки, шапка с наушниками, за спиной ружье, а в руках пешня для прокалывания льда. Вместе с Колей и с Юрием приятели вышли. Но вскоре раздался выстрел, другой, третий. А вслед за тем в комнату вбежали Вася и его друзья.

— Ну и место! Нашли, где домик построить. Смотрите, что делается. Кругом волки. Черт знает что! Благодарю покорно. Живого сожрут.

Он схватил ружье и бросился к двери на чердак дома.

— Послушай, — убеждал меня Коля. — На меня прямо бросался, брат. Злющий, зубами, понимаешь, щелкает. Насилу убежал. Видно, что голодный. Глазищи красные, понимаешь...

Тетка Афросинья, убирая стол к ужину, смеясь, заметила:

— Ах, Юрий Сергеич, ну и герой вы, глядеть. А вот волков спугались. Как мне теперь одной иттить на деревню-то за сметаной? Проводите, ведь боязно.

— Нет, уж спасибо, тетушка Афросинья. И вам ходить не советую. Их тут стаи кругом...

Тем временем Вася открыл огонь с чердака. Он палил непрерывно и вскрикивал: «Вот тебе! Не любишь? Стреляй, Герасим. Стреляй! Добивай его! Один остался, гони его!»

Наконец Вася вернулся к нам с дымящимся ружьем. Посмотрев на меня, на Юрия и Николая, он покачал головой с укором:

— Хороши! Сидеть здесь куда приятно. А там-то что делается! Их стреляешь, а они хоть бы что... Вот бы вы посмотрели.

— Ну что? Прогнал? — спрашиваем.

— Да, все разбежались. Далеко ведь. Может быть, ранил какого. Один больно крепкий — ух, здоров, ничего не боится, стоит, глаза пялит, и ни с места. Смотрите-

ка, стволы у ружья — как огонь горячие! Нет, хороша штучка! Под Новый год, а? И место же здешнее. Глушь лесная верст на сто.

Герасим сидел у камина, сложа руки. Его желтые умные глаза закрывались от сдержанного смеха. Потом он встал и пошел к двери.

— Куда ты, Герасим Дементыч?

— Не могу боле. Пойду волков подбирать.

И ушел.

* * *

Из деревни Любилок пришли гости: рыбак Павел и цыганка Груша с мужем, да еще лесничий. Новый год приближался.

Аккорд гитары, и Груша запела:

И снега-то, и снега,
И любовь, Мотя, твоя.
Ах, чу-чи, ту-то чу-чи...
Э, гори, сердце, гори...

Вдруг Феб с воем и лаем отчаянно бросился к двери.

Она приотворилась... Мы притихли. И в двери показался огромный волк, стоя на задних лапах.

Все бросились в сторону.

— Где ружье?! — кричал Вася.

Юрий Сергеевич, закрыв глаза, вертел стулом, как бы отгоняя кого. Коля упал ничком на тахту, закрывшись пиджаком с головою. Только сказал:

— Это черт-те что, ну и Новый годок!

Дверь отворилась шире: весь в снегу, стоял перед нами Герасим Дементыч и придерживал сзади огромного убитого волка.

— С Новым годом! — говорил он, улыбаясь. — Лисейч, вот тебе и коврик. Не промазал, нашел. Гляди-ка, хорош волчина...

Мои ранние годы

С детства мне страстно нравились музыка и чтение — с самых ранних лет я уже зачитывался книгами. Более других я был влюблен — как это ни странно — в Шекспира, Пушкина и Лермонтова, которого прямо обожал и которого стихотворение «Скажи мне, ветка Палестины» так поразило меня. В нем особенно были милы какие-то неведомые мне «Селима бедные сыны». Девяти лет мне хотелось убежать к этим «Селимам», где я бы мог вместе с ними сплестать ветви пальмы и слушать их песни. Этот край был чудесен в моем воображении — так же, как и мыс Доброй Надежды. Я ездил туда в своем воображении и по вечерам опрокидывал на пол круглый стол красного цвета, завешивал его скатертью — это был парус! — брал воду в бутылки и хлеб, сам влезал на этот корабль и отправлялся в плавание. Читая стихи при свете сальной свечки, чувствовал себя путешественником, едущим к мысу Доброй Надежды, к добрым и бедным «Селимам», к берегам невиданной страны счастья. Однажды я и на самом деле убежал туда из дому и несколько дней пропадал,

пока меня с полицией не вернули назад, к отцу... Помню также альбом бабушки Екатерины Волковой, Пушкинский альбом, — там были стихи, написанные рукою самого Пушкина. Так, через этот свет Пушкина и Лермонтова — через пение их арф, — видел я жизнь настоящую, стройную, гармоничную, не ту, которая кругом, страшная и смешная. Позднее часто я думал: «Почему все эти страдания, зачем они, когда такое небо, солнце, зелень лугов, цветы, когда такая земля, когда так пахнет землей, лесом! Ах, этот лес!..» Господи, сколько раз я ночевал в лесу, целовал кору деревьев... И тогда же, еще в самые ранние свои годы, я полюбил и собак. Собаки, ведь это — замечательные существа! Они уже с детства моего трогали меня своим настоящим величием любви, верности, бодрости. Города не любил я, и только рассказы бабушки моей, Екатерины Волковой, про Париж поразили меня. Тогда, со слов ее, я впервые узнал, какие в Париже бульвары, кафе, куаферы, наряды. Помню, однажды я даже нарисовал Париж — краски были яркие на удивление! И бабушка сказала: «Похоже...» А когда в первый раз был я в театре, шла «Волшебная флейта», и театр сразу показался чем-то замечательным!

Я рано начал рисовать и писать красками — сам, не испытывая ни от кого никакого принуждения или поощрения, веления или внушения. Картины, до чего хороши казались картины мне! Но когда стал я старше, некоторые из них были и непонятны. Было непонятно, зачем художник написал их. Вот одна картина — она пугает. Говорят: «Священник в деревне, пьяный». Мне показалась она очень странной. Это была картина Перова. Или вот — железнодорожная станция, платформа, поезд уходит в дали, какой-то человек с печальным лицом — «Проводил». Никогда не мог понять я, что хорошего в этих картинах. Но вот что внушало мне восторг — «Весна» Васильева и «Грачи прилетели» Саврасова! Сколько жизни на этих картинах, как хороши их краски! И рано понял я, что главное в картине не что написано, а как написано. А когда я писал сам, всегдашним моим горем было, что другие, когда смотрели на мои работы, говорили: «А зачем это? Ни к чему, идеи нет...»

И вот я в мастерской Школы живописи в Москве.

Сам Саврасов, живой, стоит передо мной. Он огромного роста, у него большие руки, и лицо его, как у Бога, и все, что он говорит, как от Бога. До чего я любил его!

— Весна, — говорит нам Саврасов, — фиалки в Сокольниках, уже зелень распустилась. Ступайте туда, да... На стволах ив желтый мох блестит, отражается в воде... Воды весны! Да, ступайте...

— А как писать? — помню, спрашивает его ученик Волков.

— Писать? — недоумевает Саврасов. — Надо почувствовать, чуть тронуть только, надо видеть, да... Почувствовать красоту, природу!

В синей курточке смотрит на него Левитан — смотрит большими глазами и думает. И мы оба были в восторге — все понимали.

Да как сделать, выразить, поймать эту природу? Краски надо, цвет и форму, и только? больше ничего?

— Правду нужно, — говорит Левитан.

— Радость, — говорю ему я.

Вместе с Левитаном мы подолгу бродили под Москвой — в Останкине, Медведкове, Царицыне... Сколько этюдов написали мы здесь и сколько счастливых, радостных часов провели вместе в работе! Солнце, радость, свет... И всегда-всегда одна забота, одна мысль — как передать этот цвет, как выразить эту радость, как закрепить ее на холсте? Принесешь, бывало, домой этюд — солнца нет, темно, скучно. А там-то было столько радости!

Но всегда мне так нравились и сумерки, тот час, когда только что зажигают огни. Какое настроение бывает разлито вокруг тогда! Все перевоплощается, и над всем витает мечтательность поэзии. Так хорошо в эти мгновения на душе! И всегда я не переносил серые дни, дожди. А сумерки зимой! — это сверхъестественно хорошо... Счастье созерцать... Созерцать — вот жизнь...

* * *

Мы у Боткина. Пришли посмотреть французов — Коро и Фортюни.

Вот это хорошо, замечательно!

— Посмотри-ка, как трава тронута чуть-чуть... И все в этом «чуть-чуть»...

Левитан копирует.

Я ему говорю:

— Что ж это такое, французы? Пишут, пишут — каждый свое... И я так думаю, что это верно.

И в самом деле, почему обязательно надо так, как велят в Школе, — притушевывать? Берут на дом рисунок вечерний нагого тела, чтобы ровнее растушевать. Называлось это — «точить фон». Какая ерунда! Главное — тон, полутон, к свету, к форме. Но это страшно трудно. Нужно верно брать краски...

* * *

Помню, в фигурном классе я писал с натурщика-старика голову. Профессор В.Г. Перов послал учеников старшего натурального класса смотреть, как я пишу. А все ученики, все товарищи были против моей живописи. Левитан один часто говорил мне: «Как верен этот цвет», — и долго смотрел мои этюды.

Смотрит профессор Е.С. Сорокин на мой этюд тела и говорит: «Ты пишешь поиному, чем все». Я писал белый фон, как это и в природе, а все другие ученики — темный, краской «красным крапом с костью».

Один раз Евграф Семенович Сорокин позвал меня к себе в Сокольники на дачу и показал картину, которую он писал с природы. Была написана терраса дачи, часть стены, окна и дальше — сарай и двор. Зеленые березы мешались с соснами на этом холсте. Было остро нарисовано, но картина напоминала архитектурный проект. Помню, в окнах отчетливо и верно, с большой тщательностью, было нарисовано отражение света...

— Ну что? — спросил Сорокин меня.

Я ответил смело, не кривя душой:

— Неверно... Сухо, и нет цвета. Красок нет и света.

— Да, но ведь перспектива же верно сделана.

— А к чему перспектива?

— Да что ты!

— Слишком видно, что вы знаете эту перспективу. Не надо этого показывать.

— Ну, на вот, возьми краски. Положи — как хочешь, цвет вот этих берез...

— Не могу одни березы. Надо и тень большую. Одни березы не выйдут. Надо и стены, и воздух. Здесь все неверно.

Милый учитель мой, превосходный рисовальщик — академик, классик, Евграф Семенович Сорокин смотрел мне в лицо через очки своими большими добрыми глазами. Ему, наверное, никогда никто этого не говорил, а вот 16-летний мальчик, ученик, говорит: «Неверно, не так». А когда я положил краски на его холст, он сказал:

— Верно, но на это трудно смотреть... Ничего не кончено... Пятна...

— Не красиво? — спросил я.

— Красиво, но нет никакой школы.

— Какой школы?

— Ты видел Тициана и Рубенса?

— Да, видел гравюры. Там — верно. Вот у Веласкеса все верно!

— Ну, вот. А ты все хочешь — по-другому...

— Нет, я хочу так, как вижу я сам.

— Это трудно. Ты будешь страдать — никто не поймет этого, и сейчас в Школе все против тебя...

— Против! А почему же все они стали писать фон так, как он есть, — белым, и бросили эту «заслонку» — «красный крап»? Это же с меня они взяли...

— Да за тобой пойдут... Но сердятся на тебя... Говорят — «француз»...

— Француз? Да я и французов-то никаких не видал. Вот только одного Коро видел у Боткина — очень хорош. Да еще Фортунни — но это не очень.

— Трудно тебе будет... — говорил мой учитель Евграф Сорокин, кладя мне в тарелку пирог с капустой, когда я обедал у него на террасе его дачи.

* * *

20-ти лет я окончил Школу — «неклассным» художником. Так же и Левитан. «Классного» художника нам не дали — вероятно, за то, что у нас не было «мысли» в картинах. Все тогда было против нашей, вольной, живописи. Опечаленный, я встретил Саврасова. Он сказал с горечью: «Что делать?» И когда после, спустя несколько месяцев, я был болен, он пришел навестить меня. Стояла зима, а на нем было летнее пальто и плед на плечах. Огромная фигура его и большие руки вылезали из короткого пальто. Он был грустен и подавлен. «У тебя есть гривенник?» — спросил он меня. «Есть». — «Дай, я пойду за водкой». Он принес бутылку водки, хлеб, соленые огурцы и, выпивая, говорил мне: «Костя, пей... Трудно... Ведь так мало кому нужен художник...»

* * *

Я был поражен Парижем, когда 26-ти лет приехал в первый раз сюда. Но слово — я уже видел его когда-то. Все было именно таким, как рассказывала мне бабушка. Помню и первое свое впечатление французской живописи.

— Так вот они, «французы». Светлые краски, вот это так... Много и такого, что и у нас, но что-то есть еще и совсем другое. Пювис де Шаванн¹ — как это красиво! И импрессионисты... — у них нашел я все то самое, за что так ругали меня дома, в Москве.

¹ Правильно: Пюви де Шаванн.

Детство

<I>

Я родился в Москве, на Большой Рогожской улице, близ Покровского монастыря. И сейчас в вечном покое — там, в земле, — могилы моего отца, деда, брата Сергея и дальней родни. Есть и у меня там место, рядом с отцом...

Помню я деда моего Михаила Емельяновича Коровина. Смутно, но помню. Вот большая зала, где, бывало, сидел он в кресле, седой, согбенный, огромного роста. Зала — в стиле ампир. Наверху, с двух сторон, широкие полукруглые ниши и золотые балюстрады балконов. На одном из них играет квартет музыкантов. А дед сидит в кресле и слушает (любимый композитор его — Бах), и ноги покрыты меховым одеялом (он болен — подагра), а в руках платок. Он слушает музыку всегда один, никого не пускает, кроме меня, семилетнего внука, слушает и плачет. А я сижу около, сбоку, смиренхонько. Вижу, что дед плачет, и думаю, что так нужно.

Припоминаю и весь большой наш дом, и подле огромный сад, выходящий на Дурновский переулок. В длинном деревянном заборе — маленькая калитка. Вдоль забора бузина. Сад прекрасен, в нем — большая оранжерея, где так сладостно пахнет землей, и старая беседка с колоннами: окна у нее в цветных стеклах, внутри, как войдешь, — все светло и зелено; а у стен кушетки, крытые зеленым сукном.

В этом саду приказчик Ечкин, высокий и стройный, в длинном сюртуке, поднимает меня на руки, позволяя рвать большие желтые сливы, которые я тут же и ем. Другой приказчик, молодой еще, Ларион Прянишников (впоследствии известный художник) устраивает мне в зале корабль: опрокидывает стол, делает парус из ска-терти, а я сажусь и еду в другие страны... А то Анна Остапова, моя тетка, молодая красавица восточного типа, в пышном кринолине и в локонах, читает мне стихи, а моя мать у окна играет на арфе...

Шести лет я был смертельно влюблен в тетю Аню. Ах, как мне нравилось гулять с ней в Кускове, где у нас была большая дача! От тети Ани упоительно пахло духами... Помню церковь, толпу людей и ее, в тюлевом платье, покрытую тюлем, с белыми искусственными цветами... Она наклонилась и поцеловала меня. В руках у нее была большая свеча, перевязанная золотом, с широкими лентами. Какой-то человек водил ее крѣгом перед священником. Это был Ларош (как я узнал позже), ставший довольно известным музыкальным критиком. Тогда он мне не понравился... А долго спустя¹ — мне было уже больше двадцати, — я встретил его в трактире Малый Ярославец. Он пил водку и закусывал икрой в обществе композитора Чайковского и Домерщикова (заведующего постановочной частью в Большом театре). Тогда-то Ларош и сказал мне, что покойная жена его была моей тетей Аней Остаповой. Я в первый раз слышал об этом. И так сразу воскресло в памяти, как я ждал в беседке на Рогожской улице: «Отчего это не идет красивая тетя Аня?»

* * *

...Умер дед. Огромный дубовый гроб стоял в зале. На нем лиловый покров с золотой каймой. Сколько духовенства! Весь дом набит народом, а во дворе полно ямщиков — на них ярко-синие кафтаны и цветные кушаки...

¹ Так в тексте.

Я ехал на кладбище с отцом и матерью. Белая лошадь наша, которую я кормил сахаром, называлась Сметанка. Помню мысли мои, когда деда засыпали землей: «Ну, зачем это так? Не будет больше дед мне и брату игрушек дарить...»

А по возвращении домой было скучно. Я рассказал зайцу, — который, если вернуть ручку, бил лапами в золотой барабан, — что дед, вот, умер, — и горько заплакал. Заплакал и заяц...

За садом тянулись огромные дворы с сараями. В сараях и на дворах стояли большие экипажи. Их было много: все кареты-дормезы. Но вот стал я замечать, давно что-то в них не запрягали лошадей. И на дворах не трубила утренняя труба, и ямщиков не видать, и не поют они песен, которые слушать было для меня отрадой. Скучно стояли пустые дормезы с большими колесами, покрытые пылью.

Отец озабочен. К нему приходят знакомые: доктор Плосковицкий и судебный следователь Поляков, и еще какие-то студенты в шляпах с палками, и часто разговаривают с ним в беседке. Приходят и другие какие-то люди и приносят картины. На меня эти картины не производили особого впечатления. Зато как нравилось то, что рисовала мать! Она рисовала в маленьком альбоме все больше зиму да избушку. И так хотелось мне жить в этакой избушке, около занесенной снегом ели... Милый, бедный, замороженный край! Когда мать рисовала, я и брат Сергей смотрели, любили смотреть. Как-то вошел в это время отец и, сидя около, ключом надавливал на морозное окно. Он был печален и сказал матери:

— Я разорен. Все ямщики пропали.

Позже раскрылась для меня картина этого разорения. Ямское дело, которое наследовал отец от деда и прадеда, вовсе зачахло с проведением железной дороги из Москвы до Троице-Сергиева и Нижнего. Это были дороги деда...

Между тем в саду, в беседке, жил какой-то человек. Его вольной вид и острые глаза, нелюдимость пугали меня. Раз в передней он что-то горячо говорил отцу, подняв руку кверху. Я расслышал:

— Двухголове — эмблема-основа всех убийц, идиотов, воров.

И вот только он вышел, как в передней оказались какие-то военные, и он с ними. К отцу подошел человек в штатском платье:

— Алексей Коровин — вы?

Отец ответил:

— Я.

— Вы арестованы, — сказал строго человек в штатском платье.

Они вошли в столовую и что-то долго спрашивали отца и записывали. Было жутко, и лица у них были страшные, чужие. Затем они уехали вместе с отцом... Я вышел на двор и остался один.

Увоз отца меня сильно встревожил. Хотелось бежать за ним... Понять, спасти. Я посмотрел на небо. И вдруг над сараями и садом, на чистом небе, засиял огромный крест ослепительного блеска. Я замер. Остановил подошедшего к калитке Ечкина:

— Смотри, крест!

Он посмотрел туда, куда я тыкал пальцем, взял меня на руки и понес домой. Мать плакала, укладывая в корзину белье. Меня и брата Сергея вечером увезли к бабушке

Екатерине Иваѡновне. У меня был жар. Стал приходиться доктор Голубков в очках. Я пролежал с неделю в бреду.

У бабушки было так хорошо, тепло, чисто. Комнаты уютнее наших, а сама бабушка — добрая, высокая, нарядная. Приезжало много гостей и разных моих теток. Все нарядные, в шляпах с лентами, в кринолинах. Но глаза были у всех испуганные. Я слышал, они говорили: «Плосковицкий, университет, Поляков, Петропавловская крепость, предатель». Я узнал, что отца увезли в тюрьму. Об этом много говорили потом, изо дня в день.

* * *

Через неделю я, Сергей и мать поехали в арестный дом у Бутырской заставы... Большие стены, солдаты, сабли, коридоры. Повел нас низенький лысый человек в мундире со светлыми пуговицами. Справа отворилась дверь; за нею — толстая железная решетка, а за решеткой несколько человек переговариваются с людьми, которые вошли сюда, как и мы. Заключенные — в длинных серых халатах и белых рубашках, за решеткой — отец. Мать поднимает меня на руки — отец, улыбаясь, целует меня через решетку...

— Пять минут прошло, — говорит лысый человек.

Мы уходим.

Не помню, кажется, с неделю после этого посещения — вернулся отец. Мы переместились на улицу, всю в палисадниках: не то Садовую, не то Долгоруковскую, — забыл. Отец был задумчив. Мать показывала ему мои и Сергея рисунки карандашом. Я рисовал что-то с природы из окна и тоже, как мать, зиму и избушку.

Скоро я захворал корью, и увезли меня к няне Тане. Ничего на свете нет лучше няни Тани! Как у ней хорошо — дом деревянный, лежанка, в окнах вата, покрытая разными шерстинками, а за окном зима... Я лежу больной и целый день ем халву, рахат-лукум, икру, пряники. Доктор Голубков не велел ничего есть, а няня Таня все велела:

— Ешь, касатик, — говорила. — Поросенка, икры, чего хочешь...

Мать навещала меня каждый день, привозила мне винограда и пилюли в хорошеньких коробочках с картинками. На картинках — домики, горы, пастушки. А я рисую купальню в Кускове, где меня отец плавать учил. Но вода не выходит — трудно.

Лекарство приносила Таня и еще девью кожу. Уписывал я этой девьей кожи страсть сколько! Замечательная вещь.

* * *

Мать играла на рояле — арфы уже не было. Отец иногда пел. Мне нравилось, как он поет. Красивый был отец, замечательный! До сих пор не видал красивее человека.

Помню, сказал он раз, когда пришел к нам художник Лев Каменев (служивший раньше у моего деда):

— Зачем я не художник? Жаль. Не могу больше судить. Тьма кромешная. Не могу...

День и ночь сидел отец за книгами или что-то писал. Каждый день читал мне и брату, когда мы подросли, — особенно Достоевского, которым восторгался.

Вдруг остро заболел он сердцем. Я и мать клали ему на грудь свернутые мокрые полотенца.

Однажды в Медведкове, где мы жили на даче, близ Москвы, шли купаться в речку. Знакомый отца спросил его об аресте его. Отец, усмехнувшись, ответил:

— Кто-то написал в беседке стихи:

Бог ночлегов без постелей,
Бог проселочных дорог,
Бог, в особенности, немцев, —
Вот он, вот он, русский Бог.

— Да то и не его было... А меня арестовали, но скоро отпустили.

Мне уже десять лет. Живем мы в Больших Мытищах, в деревянном доме, с самого края села. Отец постоянно уезжал к какому-то Рабенек, где служил. Брат жил у бабушки в Москве. Я слышал, как отец говорил матери:

— Скоро все выплачу, еще не хватает.

Живем мы в деревне в двух комнатах с печкой. Куда беднее, чем прежде. Но мне все равно. Потому, что ничего нет лучше на свете деревни. Главное — товарищи! Вот это и есть самое настоящее, чудесное. Целый день до самой ночи — бегать, драться, возиться, ходить на Лосиный Остров за грибами и ягодами, ловить корзинкой рыбу. А потом еще чудо — собаки. Собаки — самое лучшее, что есть в жизни. Собак у меня восемь.

Ну, и попало мне от отца за собак! Весь хлеб тащил — кормить их. Хорошо еще, что и друзья-мальчишки приворовывали, а то бы подошли они с голоду. Зайцев ловить я им не велел. Жалко зайцев! Но лося до того гонял, что захворал горячкой. Говорили мне потом — чуть не помер.

Замечательно тоже — с кручи кататься, у реки, по траве, голому, кубарем прямо в воду. Потом пускаться вплавь саженками — кто дальше, и уходить вон туда, далеко, где небо с землею сходится, до самого «мыса Доброй Надежды», и еще дальше. А там есть печеные яйца с солью, хлеб да лук. Чего же еще? Главное — избегать старших, которые сделаны для того, чтобы все запрещать...

И еще есть удовольствие. Вот какое: нарисовать картину, как месяц ночью из избы выходит, а собака Шарик сидит и воет. Трудно, но до чего соблазнительно! А еще — гонять лошадей в ночное, к пастуху, и сидеть потом у тепленки, слушать рожок деда-пастуха да рассказы его о лесовых, домовых, как он заводит. Жутко — один-то потом ночью ни за что не пойдешь, а вместе — хорошо... От чертей вместе быть надо, в дружбе. Мы-то, мальчишки, знали это. А вы знаете? Кажется, что нет.

Но, бывало, отец в Москву увезет, — пустое дело. Что Москва? Пылица, трава не растет, месяц не выходит, дедушки Семена-пастуха нет, а дом, где дед помер, большой да скучный. Комнаты огромные, алебастровые колонны, печки хворостом топить нельзя...

Учитель Федор Афанасьевич¹ в Мытищах говорил мне:

— Ты рисовать и петь первый. А вот хлеб через «е» пишешь, болван. Нарисуй мне картину — «Ученье свет, а неученье — тьма».

¹ Правильно: Петр Афанасьевич.

«Вот до чего трудно», — подумал я. Невероятно! А нарисовал-таки. Долго рисовал. Вот так: Ленька — друг мой, мальчишка, как и я, — шагает по дорожке, и у него книжка в руках. Читает ее, значит. А одну ногу он в черную яму занес. Другой же мальчик — Сережа, тоже мой друг, — остановился у ямы и стоит.

— Хорошо, — говорит Петр Афанасьевич, — только ведь надо наоборот. У тебя, дурака, ученый в яму сыплется, а неученый, глядишь, жив останется.

«Верно, — подумал я. — Это я промахнулся».

Так начиналась моя рисовальная наука.

II

Тигр

В Москве, по Колокольному переулку, во дворе — деревянный дом, где мы занимаем квартиру. Помню узкое крыльечко; окна низко, почти у самой земли. Всего три маленьких комнаты. Из моего окна забор виден и сад за ним...

Здесь мы живем скромнехонько. Отец что-то больше лежит, у него болезнь сердца. Мать как-то сразу старухой стала. Я даже сержусь на нее — не понимаю, отчего она такая грустная... Брат Сергей ходит в школу, Училище живописи, приносит рисунки домой: какие-то голые мужики на темном фоне. Не нравится мне...

Помню: однажды весь дом всполошился. Сергей оставил письмо, уехал, убежал на войну к генералу Черняеву сражаться за братьев-болгар. Ах, так вот отчего я видел у него пистолет! Отец, мать, Вяземские, с сердцем говорят про Сережу: «мальчишка». Приехала бабушка. Все негодуют, а я думаю: вот мне бы пистолет (я видел в магазине двухствольный), тоже убежал бы... С кем драться — неизвестно, но убежал бы непременно... А в общем — хорошо! Володя-то, кадет, как пел: «Алла-га, алла-гу, слава нам, смерть врагу». Хорошо!

* * *

Отец сказал, что был у Хлудова, просил его написать о Сергее Черняеву... А у Хлудова — ручной тигр! Живет в доме. Ну вот как собака...

— Возьми меня к Хлудову, — прошу отца, — посмотреть на тигра. Я еще никогда не видал ни льва, ни слона, только на картинках.

Через неделю повел меня отец к Хлудову. Против Садовой части, в тупике — его большой особняк. Со двора ведет лестница во второй этаж. Входим. Большая столовая: за столом, во главе стола, сидит сам Хлудов. Человек внушительный: рост огромный, лицо большое, полное, с желтыми глазами, волосы бобриком и острая бородка. Рядом с ним — доктор Голубков. Тут же еще: священник, сосед Переплетчиков, английская девица-гувернантка и еще кто-то. Отец садится рядом с Хлудовым, а я от него справа. В столовой сзади — стена стеклянная, за стеклами пальмы: зимний сад. А дальше видны деревья настоящего сада перед хлудовским домом.

Богатый был стол, и вина разные. Хлудов пил коньяк. Подали расстегай... Вдруг из стеклянной двери, где пальмы, выбежал пудель, а за ним... Я окаменел от неожиданности — за пуделем показалось чудовище, длиною в сажень по крайней мере, могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами. Беззвучно ступали по пар-

кегу огромные лапы, прямо на меня, показалось мне, уставились большие желтые глаза.

— Смотри, тигр! — шепнул отец.

На появление зверя никто не обратил внимания.

Хлудов рассказывал, смеясь:

— Коньяк — это ведь не олово. Вот как мне в клоповнике, в Персии, олово топили рядом, хотели в горло влить. Ха-ха! Вот это другое дело!

Он был навеселе.

Тигр подошел к хозяину. Хлудов, не глядя, положил ему руку на чудовищно широкий лоб и стал почесывать около ушей. Тигр, как кошка, поворачивал голову от удовольствия.

— Коньяк любишь, каналья? — посмеивался Хлудов, смотря на тигра. — Алкоголики мы, брат, с тобой оба. Что делать!

Он налил рюмку коньяку, взял своей ручищей чудовище за верхнюю губу и влил ему в открытую пасть рюмку. Тот замотал головой, промычал довольно жутко — «ы-ыь».

— Вот, — говорил Хлудов, обращаясь к отцу, — коньяк любит. Сергей Федорович, — показал он на доктора Голубкова, — говорит, что у меня сыроз печени. А у него вот ничего!

Тигр облизывал морду языком, и на языке я заметил как бы голубую щетину. Затем он подвинулся близко ко мне и остановился. Меня поразил, в особенности, огромный его лоб (голова тигра была совсем рядом с моей), весь в складках кожи. Круглые уши расставлены широко, карие глазница смотрят на меня в упор.

— Почеси у него за ушами, — предложил Хлудов. — Ты ему нравишься. Он тоже не ко всем лезет.

Я протянул руку. Она ушла в шерсть, и я начал с опаской чесать зверя за правым ухом, чувствуя, что у меня душа уходит в пятки. Но в умных глазах тигра я прочел: «Не бойся, не трону, ничего. Да и не стоит! Ведь я одним ударом лапы всех вас изничтожил бы в минуту».

Я продолжал чесать его за ухом. Никто больше не обращал на нас внимания. Голубков что-то с увлечением рассказывал, Хлудов смеялся.

Я тихо сказал отцу:

— Я боюсь отнять руку!

Хлудов взглянул на меня.

— Надоел он тебе? Брось, мальчик. Дай ему раз по морде, он и уйдет.

— Я не могу, — сказал я. — Невозможно!

— Асан! — крикнул Хлудов.

Человек восточного типа, служивший у стола, появился в дверях. Что-то не по-русски сказал ему Хлудов. Тигр сразу оживился. Глаза его сверкнули диким гневом. Он отошел от меня, уши его опустились назад, голова вытянулась, нижняя челюсть сдвинулась вперед. И внутри зверя загрохотал жуткий звук, точно во всем его огромном теле шары перекатывались. Я испугался. Этот рыкающий звук был ужасен, ноги у меня сразу обмякли...

— Не надо кормить, он боится, — сказал про меня отец.

Но Асан уже нес на большой деревянной доске с ручкой мясо и, поставив доску на стол перед хозяином, отошел. Тигр продолжал рычать. Тогда Хлудов сильно ударил его одной рукой по морде, а другой — подбросил кусок мяса в воздух. Тигр

прыгнул с невероятной быстротой и схватил мясо на лету. Кусок исчез в пасти рычащего чудовища... Хлудов и во второй раз повторил то же, и зверь прыгнул опять, а то мясо, что осталось, он сожрал прямо с доски. Асан унес ее пустой. Тигр проводил его до двери и опять вернулся с самым добродушным видом и прошел мимо нас в сад. За ним скрылся и пудель.

Я встал потихоньку, чтобы посмотреть через стекла на эту московскую Африку у Красных Ворот. То, что я увидел, поразило меня еще больше кормления мясом...

На песке, около низенькой длинной кирпичной печки, тигр лежал растянувшись, а пудель, подойдя к нему, три раза повернулся на лапках и лег у него на животе. Видно, хорошо ему было, тепло...

* * *

Дома я говорю отцу:

— Понравился мне тигр необыкновенно. Как он рычит, когда ест!

— Да, — ответил отец. — Не может он без мяса. Но и люди без крови не могут. Вон Сергей поехал убивать врагов...

— Что же, он будет убивать из пистолета? — поинтересовался я.

— Может быть, — сказал отец.

— Незнакового?

— Вероятно, незнакового.

Дома дожидался какой-то человек. Я его видал когда-то. Он не был мне приятен, особенно противны были его красные щеки. Отец поздоровался с ним холодно. Потом принял лекарство дигиталис в воде. Сказал:

— Зачем я выпил рюмку коньяку? Опять сердце...

Пришедший незнакомец разбирал бумаги за столом. Отец разговаривал с ним, а лицо у него было печальное.

— Нет-с, видите ли, Алексей Михайлович, — говорил румяный незнакомец, — прадед ваш Емельян, доверенный графа Рюмина-декабриста, усыновил после его казни сына его от графини, которая родами померла. Так вот-с, годами этот сынок сходен с вашим дедушкой Михаилом Емельянычем... Он самый и есть! Был еще у Емельяна и кровный сын, да умер двенадцати лет от роду... Вот почему-с ни у вас, ни у сестры вашей-с нет как нет метрик... А у меня вот это есть!

И он показал какой-то желтый лист пергамента, на котором был герб и орел...

— Дело миллионное, — продолжал он. — И верное. Ведь если купили за 500 рублей такой документ, значит — все правда-с. Чего это? Мне-то все равно. Для вас стараюсь. Подпишите бумажку!

— Нет, — ответил отец, — благодарю вас. Бумажек ваших я не подпишу.

— А все же-с, — убеждал, уходя, незнакомец, — за иконостасом-то у Михаила Емельяновича висел графский портрет. Все знают-с, Алексей Михайлович, все-с.

* * *

Двадцати одного года в большой, пустой мастерской я писал декорации к опере «Аленький цветочек» композитора Гартмана. Как раз напротив мастерской находился Зоологический сад. Я пошел на зверей посмотреть.

Стояла зима. Публики в саду было совсем мало. В помещении диких зверей — половина пустых клеток, но в конце одна, самая большая, была огорожена, чтобы не

подходила публика. В ней ходил из угла в угол огромный худой, костлявый тигр. Голова его была опущена, поворачиваясь, он качал ею маятно. Когда я подошел, зверь, не посмотрев даже в мою сторону, глухо зарычал, болезненно и тяжело. Большой был тигр, большой...

Сторож заметил:

— Вот зверина! Ну и зол! Кормить нельзя, достать тебя хочет, клетку ломает. А, говорят, ручной был. Вот ведь скоро издохнет. Шкуру уж купили. Хорош ковер выйдет в гостиную...

В Училище

Среди учеников в Училище живописи, ваяния и зодчества я оказался моложе всех. Мне шел четырнадцатый год, а находилось там немало юношей куда более взрослых; были даже зрелые, бородатые мужи (почти все — с пышными шевелюрами, такова уж традиция).

В руках учеников — кисти, палитры с густо размазанными красками и длинные палки с шарообразными наконечниками — муштабли. Одеты бедно, по большей части — в грязные от красок блузы, и производят впечатление людей совсем особой породы. Только некоторые смотрят<ся> почище и носят пиджаки — это архитекторы. Они держатся отдельно, и манера у них другая — развязнее. Но никто на архитекторов не обращает внимания.

В классах пронзительно пахнет скипидаром, а в курительной комнате у буфета стоит невообразимый шум: споры, смех, крики... Художники уничтожают аппетитные пеклеванные хлебы, начиненные горячей колбасой. Другой еды не полагается.

В головном классе, под ярко горящими лампами, стоит на возвышении гипсовая копия головы Афины Паллады. От нее полукругом поднимаются сиденья. Расположившись по ступеням амфитеатра и держа перед собой папки на коленях, ученики рисуют эту голову.

Я сел на указанное мне место. С одной стороны от меня расположился очень веселый малый — Курчевский, а с другой — архитектор, по прозвищу Анчутка. «Дай ножичка, — попросил Анчутка у соседа, — почистить уголь». На это владелец перочинного ножа ответил: «Спой “ежичка”». — «Дай же», — настаивал Анчутка. Тот не давал. Тогда Анчутка тихо запел: «Ёжик ходит по траве, чтоб напакостить тебе...» И получил ножик.

В первый же день Курчевский спросил меня:

— У тебя два рубля есть?

— Нет.

— А можешь достать?

— Да, попрошу у матери.

— Поедем, — шепотом объяснил мне Курчевский, — на Соболевку, к Стоецкой. Там такие девки!.. Женька есть! Увидишь, умрешь... Будем танцевать лимпопо.

— А зачем? — удивился я, — танцевать я не умею.

Курчевский, посмотрев на меня, только расхохотался:

— Ах ты, болванское дитя!

Ученик Горбатов, низенького роста, толстый, с выпученными глазами, залез за высокие задние парты.

Сидя на корточках и оттягивая руками часть длинной доски, он порывисто выпускал ее из рук. Доска, дребезжа, издавала громкий и резкий треск — тра-та-та-та. Как раз в это время вошел профессор Павел Семенович Сорокин, высокий, лысый, с очень длинной, но не седой бородой. Говорили, что раньше он был монахом на Афоне. Вошел тихо, — на ногах его мягкие туфли, — и замер. Пущенная Горбатовым доска отчаянно трещала. Черные глаза профессора сверкнули гневом. Он громко крикнул:

— Кто это там? В лес, что ли, зашел?

Доска трещала — тра-та-та-та!

Сорокин мелкими шажками пошел за парту и, наклонившись к Горбатову, спросил:

— Господин Горбатов, что это вы делаете?

— Молчи, болван, — шепотом ответил Горбатов, — Павла Семеныча дразню.

Горбатов был исключен на месяц из Училища.

В отдельных мастерских профессоров В.Г. Перова, Е.С. Сорокина и А.К. Саврасова учеников было немного — только отборные. Перовские ученики, Яковлев, Волков, Цимбалистов, — были люди великовозрастные и «умственные», в головах их бродили «идеи», для картин они искали сюжета и общественных поучений.

Яковлев был человек прямо-таки трагический. На его картине (по живописи неплохой для того времени) «Крестьянин в поле» — стоял мужичок во ржах и смотрел на побитую градом ниву с таким отчаянием, что жуть брала. В другом жанре — «Зимний лес» — изображены были снега и замерзший художник под деревом, около мольберта с начатой картиной. Да, именно так: писал художник картину в морозном лесу и до того увлекся, что за работой с палитрой в руках и замерз. Разве не трогательно?

Яковлев носил бархатную венгерку, а шею повязывал красным ситцевым платком. Под кудрявой шевелюрой лицо у него было совершенно круглое, и на нем — широко расставлены черненькие сердитые глазки. Он был всегда мрачен, любил иностранные слова и пел низким басом.

Однажды он задушил кошку, прибил ее лапками на дощечку, чтобы не падала, подпер лучинками, придал ей позу и заморозил... Хотелось ему написать кошку с натуры, да кошки плохие модели. Вот и придумал способ. Но только начал он писать у себя в комнате, как оттаяла кошка. Ну, ничего не вышло. В другой раз товарищи застали его в большом расстройстве чувств. Он сидел на диване, в мебелированной своей комнатушке, в раздумье и печали. Только сказал нам в глубоком огорчении: «Сюжеты все вышли», — и поник головой.

На экзамене, в конце учебного года, выставил Яковлев большой холст. Тоже — зима: посреди шла вдаль дорога, и на ней уезжающая карета, по бокам — лес. На первом плане — ничком мертвая женщина, одетая в бальное платье: в одной руке полумаска. А из лесу, справа и слева, выходили волки, и глаза у них были густо тронуты киноварью. Подпись под картиной гласила: «Покинутая».

Поставив картину на мольберт, Яковлев отошел к окну и встал в позу, подперев рукой подбородок. Он оглядывал нас торжествующе и презрительно. Его молчание выражало: «Каково!»

К нему подошел инспектор училища, художник К.А. Трутовский, и спросил:

— Что вы хотели сказать картиной?

— Продернуть аристократов, Константин Александрович, — отрезал Яковлев басом.

Ученики натурального класса все были далеко не юноши, иные даже лет сорока пяти. Их звали по имени и отчеству. Часто они пели за работой: «Я не гость пришел, не гоститися, пришел милый друг, оженитися».

Но вот являлся в класс профессор Перов. Из приличия все смолкали. Один Яковлев еще тянул басом нижнюю ногу:

— О-же-нитися.

— Павел Андреевич, — обратился к нему Перов, — какая у вас прекрасная октава!

— Василий Григорьевич, октава еще не есть цивилизация, — пресерьезно ответил Яковлев.

Раз он в гневе крикнул одному ученику:

— Филантроп, твою!..

Весь класс захохотал от смеха. Тогда он застегнул свою венгерку на все пуговицы, обвел злобным взором товарищей в дверях и отчеканил:

— Рас-про-де-фе-ктив-ный абсур...

И ушел.

В мастерской Саврасова, куда я вскоре поступил, я увидел, наконец, его самого, Алексея Кондратьевича. Он был высокого роста и походил на крестьянина. Карие глаза смотрели добро и приветливо.

— Да, — говорил он, — идите туда, в природу, ну вот в дубовую рощу у Останкина. Только любя природу, учась у нее, можно найти себя, свое. Манер живописи много, дело не в манере, а в умении видеть красоту. На днях набрел я на ели в снегу. Какие формы, какое изящество рисунка! Художник должен учиться чувствовать. Главное — чувство.

Мы слушали раскрыв рты. Слова Саврасова были как музыка. В них раскрывались не одни красоты природы, но таинственная даль чего-то еще более желанного, радостного, неведомого, как райское счастье. Мы чувствовали это, хоть объяснить не умели! Были смутно возвышены наши мечты о прекрасном...

Припоминаю фигурку И.И. Левитана, в синей короткой курточке, в эти минуты благоговейного внимания к словам учителя. Глаза его выражали растроганное сочувствие. Он искренне любил Саврасова, и тот заметно благоволил к талантливому ученику. Посмотрев на его картину «Дорога среди сосен», Саврасов заметил:

— Да, да! Только сосны надо богаче. Нужно тронуть ярче...

Как-то показал я ему все свои этюды. Он выбрал один, написанный из окна моей комнаты, — деревянный дом, забор, верхушки деревьев, — и сказал:

— Поставь это на экзамен.

После экзамена я увидел на моем этюде надпись мелом:

«Похвала и благодарность от преподавателей и награда».

Награда состояла в лакированном ящичке с красками, кистями и другими атрибутами живописи. Я понес ящик домой, от радости не чувствуя под собой ног. Со мной был ученик Ордынский, прозванный «братушек» за кротость. Ордынского я угостил в булочной Филиппова, на весь нашедшийся у меня в кармане двугривенный, пирожными. В тот памятный день я привел к себе и Левитана. Он остался ночевать у нас в комнате, где был тогда и вернувшийся с турецкой войны брат мой Сергей.

С запасом колбасы и хлеба мы частенько уходили с Левитаном в предместья Москвы, по дороге писали маленькие этюды с натуры и пили чай в деревенских трактирах Ростокина, Воробьевых гор, Сокольников, Петровско-Разумовского. Сердца наши полны были безмерным очарованием юности... Особенно нравились нам сумерки, час предвечерний, когда зажигались огни в домах. Возвращались мы с этих прогулок пешком. В воздухе разлита была печаль неизъяснимая, и вдали тусклыми огоньками сверкала Москва. Мы возвращались в нашу убогую квартиру, где лежал больной отец, и мать хлопотала о нашем обеде. В семье наступала трудная пора, бедность...

* * *

Сергей был очень недоволен тем, что его вернули с войны. Он рисовал, пользуясь альбомными набросками, композиции атак, военных похорон, бивуаки. Однажды наведаясь к нам генерал, один из начальников покинутой Сергеем армии, по фамилии Рейсик¹. Он перелистал рисунки, отобрал часть и молча протянул брату сто рублей. Тот долго смотрел на радужную бумажку и отдал ее матери.

* * *

Когда генерал уехал, я при матери обратился к брату:
— Сережа, дай мне, пожалуйста, два рубля. Меня Курчевский звал к девкам, на Соболевку. Там Женька...

Мать смотрела на меня и мигала. Сергей, растерявшись, пробормотал только:
— Что ты говоришь?

Мать ушла к отцу. Вскоре отец позвал меня к своей постели, и, помню, красивые глаза его на больном, бледном лице улыбались:

— Костя, куда ты хочешь ехать? А?
— К девкам... Что тут такого? Меня Курчевский звал на Соболевку, танцевать лимпопо...

Отец засмеялся.
— Ну, поезжай!!

«Странно, — думал я, — отец смеется, мать в ужасе, а Сергей глаза пучит... Что же это такое?»

Жил я в деревне, терпеть не мог девчонок: плаксы и что-то пищат. Вообще ерунда! Никто из нас, мальчишек, не любил их и не водился с ними. Но двоюродные мои сестры и дамы намного меня старше казались мне чудесными. Они были нарядны, играли на фортепьяно, от них пахло духами. Я старался говорить с ними изысканно и поднимал плечи, чтобы казаться выше ростом.

А в мастерской у Саврасова работала светловолосая ученица Эмма Августовна. Рассматривая мою картину «Осень», она ласково со мной заговорила, немножко картавя. Как мне нравилась она! Он нее восхитительно пахло духами. Я любил беседовать с такими, где-то внутри меня зарождалось веселье, и все кругом становилось красивым. После знакомства с Эммой Августовной мне показалось, что Курчевский что-то врет, как будто. «Вот в воскресенье придет няня Таня, я пойду с ней к обедне, а потом рассчитаю все насчет девок...»

¹ Правильно: Рейсиг.

Вечером в классе я опять принялся за Афины Палладу. Курчевский не пришел. Рядом сидел Анчутка. Рисовал старательно, даже голову свою держал вбок. Все у него выходило гладко, тушевка была изрядной; одна беда — шлем Афины был мал.

— Кажется, у вас шлем маловат нарисован? — осторожно заметил я.

Анчутка всмотрелся в рисунок и согласился:

— Да, мал, а я уже натусовал...

— Анчутка, — спрашиваю, — вы были у девок на Соболевке? Лимпопо танцевали?

Анчутка воззрился на меня с удивлением:

— А тебя отец не порол еще?

— Нет. А что?

В чем дело? Как все девок боятся! А в деревне девки и сено убирают, и хоровод водят, и все ладно. Видно — здесь по-другому...

Нет, все это — не то. Не так. Не верно!

Подошел ко мне профессор Павел Семеныч Сорокин и сел рядом. Я отодвинулся ближе к Анчутке. Сорокин взял мою папку, положил перед собой. Смотрит на рисунок и потом шепотом говорит:

— Толково. Да! Но могло бы быть лучше. Разговариваете много. Все о пустяках. Внимание-то в работе и пропадает. Да! Искусство ведь серьезно. О чем толкуете-то?

— Правда, Павел Семеныч. Говорим мы о пустяках: о танцах.

— О каких танцах?

— Да я сам не знаю. Говорят — лимпопо...

— Лимпопо? Не слышал. Что за танцы такие? Глупости. Все у вас в голове пустое.

А искусство-то — высоко, «не для житейского волнения»... Эхма, — у всех у вас ветер в голове, и только.

Он вздохнул и пересел к Анчутке.

— Чего это вы ее? — сказал он Анчутке. — Чисто опухла вся! Будто пчелы ее жалили. Архитектор вы, что ли?

— Архитектор, — ответил Анчутка.

— Эхма, — опять вздохнул Павел Семеныч и подвинулся к следующему ученику.

Милый Павел Семеныч... Только вздыхает.

Экзамен.

Все рисунки висят на протянутых веревках. Этюды масляными красками стоят на мольбертах.

Двери класса заперты. Там — преподаватели. Большой толпой стоим мы, ожидая своей участи, в коридорах и курилке. Ждем, что скажут нам, кто получил какой номер, кто переведен в следующий класс.

Натурщики, уборщики мастерских, швейцары при классах озабоченно проходят мимо, переносят рисунки, убирают этюды, остающиеся до весны на большой экзамен. Ученики просят наперерыв посмотреть, какой у кого номер на экзамене. Уборщик выходит, возвращается, неохотно шепчет ученику:

— У вас номер тридцатый, — и получает гривенник.

Анчутка тоже узнал свой номер и заявил с грустью:

— У меня сто четвертый. А я-то старался. Вот тебе на!

— Плаксин, — попросил один из учеников натурщика, идущего в экзаменационную, — узнай, пожалуйста.

Плаксин вскоре вернулся и сказал:

— Ваш отвесили в сторону... И ваш, — обратился он ко мне.

Двери широко открылись, вышел Павел Семенович и, заметив меня, сказал:

— Танцевальщик, вот первый номер заработал! Разговоров много было, да танцуй в голове. А то бы, пожалуй, и похвалу получил в благодарность.

Курчевского я застал в курилке. Он сидел и вырезывал перочинным ножом из черного картона черта с рогами... Хочет положить его в карман шубы Павла Семеновича.

* * *

— Я получил первый номер и перешел в фигурный класс, — сказал я матери дома.

Мать обрадовалась, но почему-то в глазах ее показались слезы.

В воскресенье пришла няня Таня и позвала меня к тетке Ершовой. Двоюродная моя сестра Александра выходила замуж.

Мы поехали на извозчике. Дорогой спрашиваю:

— Таня, отчего ты замуж не вышла?

— Был у меня жених раньше, — ответила Таня, — чего вот, в Пенделке, на шерстомойке служил. Заболел моровой язвой и помер. Тяжко так помирал. Я зарок дала не выходить. Жалко с ним расставаться. Вот когда в ночи приходит ко мне, ласково так говорит, и я поговорю с ним, пожалею, поплачем вместе. Вот и хорошо.

— Как приходит, — удивился я, — да ведь он покойник?

— Что же, что покойник? А хороший! Сердце-то его любит. Вот на могилку приду, возьму — поем на могилке-то, и легко станет. Поплачешь, не уйдешь от сердца-то. Оно любит. Ну вот...

Что-то не захотелось мне спросить Таню насчет девок и танцев лимпопо. Как-то было стыдно!

— Вот, Костя, — говорила Таня, — учишься ты, а после — какая должность будет у тебя? Все говорят, пустое дело это — художество. Это мать твоя рисовала, отец тоже. Это они виноваты. Ведь из бедности-то как выйти? Нельзя не любить Алексея Михайловича, честнее его людей нет, только фанфарон, говорят, книжки любит. Вот гороховые-то за ним и смотрят.

— Какие гороховые?

— Говорят, будто он крови супротивной.

— Крови супротивной? — удивился я.

— Бестужевские вы. Вот за ним и поглядывают-то, — гороховые...

* * *

Рогожская.

В доме дяди Ершова, в гостиной, стоят столы. На них разложено приданое — серебро, посуда, подушки, расшитые пуховые одеяла, духи, ленты, шубы чернубрые, белье полотняное и, отдельно, одна шелковая, вся в кружевах, рубашка.

— Венчанная, — говорит нянька Таня.

Иду в комнаты сестер. В коридоре невеста Саша. Встречает радостно:

— Костя милый, замуж выхожу!

— За кого, Саша?

— Представь себе, за козла!

— Как?!

— Пойдем.

И она тащит меня в комнату, где собрались ее сестры и еще их подружки. Все нарядные, дебелие, все будто сделаны из какой-то крупчатой муки первого сорта. Здоровые, красивые. И среди букета девиц — двоюродный братец Михаил, человек весьма серьезный, — одно время даже болен был белой горячкой.

— Посмотри, — говорит Саша и подает фотографию.

На фотографии человек с длинной бородкой, щеки выбриты, глаза выпучены, на шее орден.

— Ну, не козел разве? — смеется Саша.

— Конечно, козел, — отвечают девицы.

Брат Миша поднялся с кресел, встал в позу, перебирая рукой жилетную цепочку, и сказал, веско, отчеканивая слоги:

— Что же это, в самом деле? Просто безобразие. Декан, доцент, директор высшего учеб...

— Довольно, — закричали все.

Миша пожал плечами, медленно стеклянным взглядом окинул присутствующих, пробормотал — «слушаюсь» и вышел из комнаты.

Святая Русь

Москва, 17 октября 1905 года. Манифест Государя. Россия отныне конституционная монархия. Самодержавие ушло в историю. Объявлены свободы. Государственная дума получила законодательные права.

И ликовала Москва. Народ вышел на улицу, никто не мог усидеть дома, поздравляли друг друга, целовались, словно Пасха.

Вскоре приступили к организации выборов в Государственную думу. Ищут, стараются выбрать умных, мудрых людей.

Россия жила в празднике резона и обновления, где чувствовалось братство и сознание взаимного добра.

Впереди правда, свет и жизнь.

Но недолго длилась эта бодрость. Как бы чья-то посторонняя воля, какой-то «человек за забором» начал свою разрушительную работу; клеветал, лгал, ссорил, травлял...

Казалось, что небесный факел свободы попал в руки вечнослепых и они сожгут все хорошее.

Пришла злая, ненужная энергия... Кончилась и патриархальная жизнь Москвы...

Был быт немудрый, и жила им Москва — жила, любила посты, блины, летала на тройках в рестораны, искала отрады души широкой русской, забвения. И жила Москва, как снега белы, пушисты, сама в себе. Но чуяла, что нужна правда, искала гласности, хотела на места поставить, чтобы справедливость была. И обижать не хотела

никого, — пожить попросту, но чтоб честь была. В свободе узнают, кто и что, думала Москва. Но не совершилось того.

Вот на переломе нашей жизни в Петербурге явился таинственный старец Распутин. Пришлось и мне кое-что услышать о нем.

* * *

Однажды в Петербурге после спектакля сижу я у директора Императорских театров Теляковского за чаем. Спрашиваю:

— Что это за Распутин такой?

— Да, — говорит Теляковский, — странный человек. Привели его к Наследнику. Он болен. Лежит. У него слабые вены. Наследственная, говорят, болезнь. Кровоточит нога. Когда Распутина подвели к Наследнику, мальчик расхохотался.

Конечно, после того как он видел блестящие мундиры и наряды дам, окружающую роскошь, и вот какой-то человек стоит перед ним в поддевке, на голове — скуфейка, нестриженная борода. Чудно показалось ему.

Распутин тоже рассмеялся. Рукой коснулся ноги, кровь точить перестала.

— Хорош мальчик, — сказал Распутин. — Будет здоров. Но знает часы грядущего один только Господь.

Конечно, они теперь думают, что он святой.

* * *

Вскоре ехал я из Петербурга и остановился в Вышнем Волочке у приятеля Дубина, охотника и хорошего человека.

А уже была война в начале. В деревянном доме Дубина жила на квартире полковница.

Вечером пришла она к жене Дубина, и мы мирно сидели за чаем.

Полковница — полная женщина, с желтым болезненным лицом. Около нее две девочки, старшей — лет шесть. Ее дети.

В самом начале войны у нее убили мужа и двух сыновей. Среда военная. У отца еще мать жива, сестры. Жалованье небольшое, и его нет!

Она вдова, ходит узнать, нельзя ли получить пенсии или пособие какое. Но ниоткуда ответа нет. Она все ждет.

— Идите к Распутину, — научил ее содержатель номеров на Мойке, где она оставалась в Петербурге.

— Пошла, — говорит, я. — Дом на Гороховой. Подъезд. Около — народ. И в большой комнате, куда пришла я, много просителей. Есть — богато одетые. Отворилась сбоку дверь, и вошел человек в длинной полотняной рубахе, распоясанный. Ворот расстегнут. Одна штанина вправлена в сапог, другая — навывпуск. Борода — темная. А глаза — как пики. Такой странный! «Что это? — подумала я. — Какой-то Пугачев». Быстро глядит он на просителей. И спросил меня — я стояла ближе — спрашивает: «Что надо?» А сам глядит на одного. Я ему объясняю свое дело. «Неколи им вас слушать, — говорит он мне. — Они бумаги все пишут. У их, дураков, — дела по горло». Потом отошел от меня и обратился к тому, на которого смотрел все, и спросил: «Деньги у тебя есть?» Тот тут же полез в карман. «Давай все», — сказал он ему и взял. «Ну, наживалы, миляги, дяляги! — сказал он другим. — Дайте-ка деньжонок!» И у всех пообирал. В руках у него куча, и, вижу, идет ко мне. «Бери, ваше

высокоблагородие!» И протягивает деньги. Я растерялась. А он говорит: «Идите. Прощайте. Не потеряйте!» И за плечо повернул меня в дверь сильно рукой. Я потом сочла деньги — было двадцать три тысячи. Что за человек такой! — добавила полковница. Глядеть — мужик просто. А глаза — будто стрелы!

* * *

Директор Теляковский говорил мне как-то при моем приезде в Петербург.

— Представьте, ко мне заявился Распутин. Просит принять певицу в оперу. Я его не принял. Знаете, если брать всех певиц по рекомендации министров, журналистов да еще «святых старцев», то хороша опера будет. Но слушала эту певицу приемочная комиссия. Музыканты, я слушал. Поет все мимо, и голоса нет. Правда, у всех есть свои очаровательные певицы. У всех! Удивительно это. Не беру. Враги. Говорят, ничего не понимает директор. Муравьев рекомендовал. Замечательная. Дошли до «самого». Говорю, не могу взять — прикажите. А приказать-то не хотят...

Он смотрел на меня, и глаза директора смеялись.

— А все от доброты. А в искусстве этого нельзя. Вот Шаляпин не просит никого. Я прошу. А вас, помните, просил декорации писать, к вам приезжал, а вы думали: военный, что он понимает? Помните, сказали: «Ваш театр — рутина и тоска». Вы сказали. Я немножко музыкант, люблю артистов и искусство, но я служу. Трудновато. Все ругают. А театры полны. Ну, пойдете завтракать.

Потом однажды ехал я из Петербурга. Встретил в коридоре вагона А.В. Кривошеина. Он уже был министром. Вошли в купе, поговорили о С.И. Мамонтове, у которого раньше часто виделись. И сказал мне Александр Васильевич:

— Вчера, — говорит, — видел я в первый раз Распутина. Он подошел ко мне и сказал: «Кривошеин. Министр ты теперь. Слушай, запомни и другим скажи. “Кривдой весь свет обойдете, домой не вернетесь”. Запомни это».

* * *

Я пишу ночью это воспоминание. А на башне бьют часы бегущего времени. Много погибло. Много тайн утаили. И уйдет в историю страшная сказка страны моей родной. И история поведаст всю ту правду, которую прокричали. И только.

Но мне однажды сказал один бродяга-монах, что правда живет в высоких алтарях чести, и не всем дано уразуметь ее.

Молодость

Далекий быт

Москва... Суцего... Деревянные домики с палисадниками. В одном из них живу я с матерью. Окна моей комнаты выходят на площадь, где суцевская пожарная часть. Площадь мощена булыжником, пожарная часть — деревянная, серая. Ее широкие желтые ворота отперты, и в них видны пожарные повозки.

На лавочках сидят пожарные в медных касках и грызут подсолнухи. Справа — другие ворота, в участок, и конюшня для пожарных лошадей.

Лето. День клонится к вечеру.

Я сижу на террасе овощной лавки. Большие вывески у дверей, на них изображены: китаец, цибики чаю, головы сахара. Лавочник — кудрявый ярославец, красивый и бойкий — ставит мне на стол стакан и бутылку баварского квасу...

По переулку — заборы, а за ними — сады. На скамейках вдоль заборов много народу: молодые парни, рабочие с фабрики Збука. День субботний, работа окончена, время поболтать, позубоскалить. Около рабочих снуют разносчики с колбасой, гречневиками и мочеными дулями. Слышен смех.

По мостовой, стуча в такт сапогами и подымая легкую пыль, идет взвод солдат: «гарниз». Под мышкой каждого — узелок с бельем. Идут солдаты в баню на Антроповы Ямы, — на головах кепи, такие же, как в то время носили французы.

Один рабочий и крикни:

— Глянь-ка! Ишь, крупа в баню прет!

Взвод мгновенно остановился, озирая рабочих сердито. Солдат кормят кашей: «крупа» — это прямой намек. Как же не обидно!

— Какое полное право? — подступили солдаты к скамейке с фабричными. — Мы живот кладем! Вы чего это, сволочи, — крупа?

— Р-а-з! И давай «расчесывать по мордам». Фабричные не выдают. Полетели кепки — битва началась.

Высыпал из домов народ: бабы, девчонки, дворники... Как же! Очень любопытно. Хохот. Пожарные так гогочут, что дрожат и блистают снопами их римские медные каски. Будочник выбегает из участка.

Парень — фабричный, которого я знал в лицо, по прозвищу Горноста́й, ловкий, худой, высокий, — стоит твердо. Как набежал на него будочник, так он его прямо по бляхе на фуражке: хлясь... Будочник упал.

«Вот ловко бьет!»

Толпа пуще хохочет.

— Бей, Горноста́й!

Но из участка вышел квартальный, за ним отряд городовых. Фабричные мимо — через заборы, и пропали... Битва кончилась.

Опять построились солдаты в ряд и, как ни в чем не бывало, — «шагом а-арш!» — пошли, стуча сапогами по мостовой, в баню, на Антроповы Ямы...

Улица опустела. Стало тихо и скучно.

А скоро наша улица и вся Москва погрузились в тишину летней ночи. Только редко-редко громыкает где-то извозчик по булыжникам да проплетается вдоль забора прохожий. Фонарщик зажег поздний уличный фонарь...

В овощной лавке сидят майор и квартальный. Пьют грушевую воду. У майора голос хриплый:

— Поверите ли, четвертый месяц карты не вижу. А вчера вдруг гляжу: у меня в руках тринка. Вот пришло. А?.. А у Анны Петровны три короля!

Мне слышно в открытое окно, как в Бутырской тюрьме арестанты поют:

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном...

Засыпая, я думаю — завтра едем с Мельниковым и Левитаном в Куское писать этюды: проезд — 15 копеек, хлеб — 5, колбаса — 10.

Мать не спит... Молится в углу, все об отце. Он в больнице, сильно болен... Как мне жаль ее, какие у нее худые, беспомощные руки!.. Господи!

Утром пришли Левитан и Мельников (сын писателя — Андрея Печерского). Левитан был в «мерехлюндии», как говорил он о себе.

— Послушай, Константин, — начал он, — вот мы шли к тебе с Мельниковым и говорили... Никому, говорим, мы не нужны — т.е. работы наши, этюды эти, написанные «куски природы», впечатления. Смотрим их друг у друга и говорим «хорошо» или «нехорошо», но это мы смотрим... Подумай, никто другой еще и не смотрел как следует.

— Верно, Исаак, — соглашаюсь я. — Вот и моя родня. Никогда даже не поинтересуется тем, что я делаю. Я и они — разные люди! Когда я им говорю о природе, о красоте — утренняя заря, ручей в лесу, весеннее мелкоколесье! — им и слушать скучно. Думают — у меня блажь, пустяки... А посмотрел на мои работы журналист московский, Кочетов, и спросил этак, деликатно: «Скажите, а зачем вы все это делаете, пишете?» — «Затем, что это красиво, красота жизни...» — «Ну какая тут жизнь? Жизнь в идее, в мысли, в направлении, извините...»

— Все это верно, Цапка, — прервал меня Левитан. — Ты знаешь, и наши в Школе тоже не очень-то понимают. Саврасова не любят. Он одинок.

— Да, правда, — подтвердил и Мельников. — Писателя понимают больше. Моего отца просят писать, ценят. Много людей к нему приходит, не то что к нашему брату. Отец, и тот в душе недоволен, что я художник! Все это смущает меня немало. Хочу даже живопись бросить...

Мы вышли за заставу.

Мирный, тихий, серый день. Шоссе тянется ровно и далеко. Около него, среди травы, покрытой розовой и белой кашкой, бежит много протоптанных дорожек.

У края шоссе, на бугорке, сидят богомольцы, по пути к Троице-Сергию. На них белые рубахи, мешки, суконные зипуны, тоже белые, и палки в руках. Больше женщины.

И мы присели рядом.

— Бабы, куда идете? — спросил Левитан.

Богомолки посмотрели на нас с опаской:

— К Преподобному. Рязанские мы будем.

— А он что тебе хорошего сделал? — спросил Мельников.

— А разве тебе, барин, ничего пользы от него нет? — ответил сидевший тут же богомолец-старик.

— Нет, не заметил...

— Да ведь она и незаметна, она не кошель.

— Ну, а кошель не польза? Как без кошеля-то ты будешь? — нашелся Мельников.

— Верно, барин. Только он-то, Преподобный, то самое держит, без чего и кошель не нужен...

— А ведь правда, — заворачивая в лес, размышлял вслух Мельников. — Есть святость, свет горний, надежда жизни, отчего все красивое и держится в мире... Это и отец мой говорит.

— Константин! — позвал Левитан. — Посмотри, лес-то какой! Суший рай. Как славно!

И в глазах Левитана показались слезы.

— Что ты! — говорю я. — Опять реветь собрался.

— Я не реву, я — рыдаю! Послушай, не могу: тишина, таинственность, лес, травы райские!.. Но все это обман!.. Обман — ведь за всем этим смерть, могила.

— Довольно, Исаак, — говорю я. — Довольно. Сядем.

Мы сели, я вынул из сумки колбасу, бутылку квасу и еще что-то, тщательно завернутое в бумагу. Это мать моя приготовила нам пирожки с визигой.

Я смотрел на окружающий нас лес, на осинки и березы, с листвой, рассыпанной на фоне темных сосен, как тончайший бисер.

— Написать это невозможно, — сказал Мельников и откусил пирога.

— Немыслимо, — согласился с ним Левитан и тоже стал есть пирог. — Надо на расстоянии.

Он улегся на траву навзничь, глядя своими красивыми глазами в серое небо, потом повернулся на бок и указал рукой ввысь:

— Знаешь, — там нет конца... Нет конца... А мы, идиоты, так никогда и не узнаем этой тайны...

— Пожалуй! Но не лучше ли любоваться, чем знать?

— А ты прав, Цапка... У тебя все весело. «Знать не знаю, а все равно».

И глаза Левитана засияли.

* * *

Около села Медведкова мы купаемся в Язуе.

Прелестна эта извилистая речка, а сбоку шумит колесами огромная деревянная мельница.

На зеленый бережок пришли дачники купаться, с отцом дьяконом. Видно, люди между собою знакомые. Дьякон разделся, стал на береговое возвышенье, что-то пропел басом и бросился в воду. Приятели-дачники захохотали и нырнули за ним.

— Смотри-ка, отец дьякон, вон на мосту кто-то остановился, — крикнул из воды дачник. — Поди, думает, что баба с нами купается. Волос у тебя бабий...

Одеваясь, он весело спросил нас:

— Господа — студенты или ученики какие будете?

— Мы — художники.

— А, художники! Очень приятно. Значит —

Твой патрет могу без свечки
Темной ночью я чертить,
В ретивом сердце, как в печке,
Завсегда огонь горит...

И дьякон раскатисто засмеялся:

— Позвольте, господа художники, просить пожаловать в гости к Кутейкину. Разносол и всякое такое, после купания. В утробу человеческую влезет без затруднения,

даже с приятностью феноменальной... Прошу без отказа. Художество я люблю... Даже «Ниву» выписываю.

* * *

У отца дьякона дома было уютно и чисто.

Дьяконица и дочь его — скромные красавицы. Стол накрыт в саду под яблоней. Рядом — пчельник и малинник. А на столе, у самовара, графин водки, полынная-осиновка, закуски, маринованная щука, грибы, пирог с капустой, с морковью, творожники, китайские яблочки, варенье разных сортов. Дьяконица разливает по рюмкам водку.

— Художникам милейшим налей, — говорит дьякон. — Выпьем с ними — самый веселый их народ...

— Не пьем, — отвечаем мы с Левитаном.

Дьякон изумился:

— Как так? Художники не пьют? Батюшки... В первый раз слышу. Я-то художников знал... Я здесь с ними рыбу ловил, так четверть обязательно кончали.

— Удивление, — подхватил один толстенький дачник. — С отца моего один художник тоже портрет списывал. Нужен был папаше в контору: он сорок лет бухгалтером состоял... Так папаша мой того художника до чего любил, и уж пили они вместе, ужас! Пишет он его, и пьют оба. И заметьте, как верно списал. Ну, прямо видно, что выпивши... Конечно, про покойников неладно говорить, но глядеть на портрет — прямо видать, пьян! Художник по фамилии Волков. Здоров писать был! Только помер молодой... Говорили про него, что таланта в нем вот сколько, если бы жил дольше, то был бы Рафаэль прямо, не иначе.

Смерть отца

Как хороша жизнь! Осенний день, небо сине-прозрачное, листва — липы и серебристые тополя — покрыты золотым блеском. Воздух уже холоден. Рано утром прилетели откуда-то стаи крошечных птах и заполонили сад, около которого я живу в Москве — в Сущеве. Птахи слетаются в веселые стаи и болтают друг с дружкой без умолку. Вдруг, словно по приказу, поднимаются разом и исчезнут далеко в небе...

Напротив сада, у пожарной части, на солнце, пожарные вычистили сапоги и расставили их по лавочкам — сами ходят босиком.

Я сижу у окна, в доме старого генерала в отставке и пишу картину по его заказу. А он расположился сзади — белый как лунь, в прокуренной военной тужурке, попыхивает трубкой и указывает мне, как писать:

— Мой юный друг, здесь сделайте гору и на ней замок!

Я пишу, а генерал подбадривает:

— Вот-вот, отлично. Здесь — лес, большой лес. Это Шварцвальд!

Генерал — из немцев. Нет-нет, помолчит и вздохнет:

— Мейн Гот!¹...

А то наклонится к большому, стоящему на его чудесном письменном столе фотографическому портрету императора Александра II в рамке, посмотрит на него и умильно скажет:

¹ Mein Got — Бог мой (нем.).

— Вот это человек, царь наш... Мейн Гот!..

Когда я окончил картину, генерал одобрил:

— Хорошо! Как раз то, что я хотел... Потом будем с вами море писать. Но я сам фрегат пририсую — военный... А вы вперед дым напишете. Это будет бой в море... Мейн Гот!

Он передал мне гонорар в большом запечатанном конверте. Я вышел с ним на дворик, окруженный заборами. Все на этом дворике было необыкновенно чисто, к тому же выкрашены в один цвет — и стена дома, и забор, и собачья будка. Из будки вылез огромный пес на цепи, невероятно лохматый, и нехотя на меня залаял. Собак я люблю, и мне захотелось погладить генеральского пса. Генерал вскрикнул:

— Что вы, он — злой!

Я все же приблизился, и собака легла, ласкаясь, на спину.

— Странно, — недоумевал генерал. — Все время бегаешь по веревке на кольце, сторожишь меня от воров. А как ласков с вами! Сам подходить боюсь...

Но только я отошел, как, весь вытянувшись на цепи, пес стал на меня бросаться, лязгая зубами.

* * *

Гонорар в двадцать пять рублей был для меня большой радостью: я поспешил к отцу в больницу, чтобы взять его домой: он уже был плох в то время... Я надел отцу башлык на голову, завернул его в пальто, посадил с помощью больничной прислуги на извозчика, и мы поехали домой. Лицо отца было мертвенно-бледно, я едва удерживал его подле себя. Видно было, что ему трудно сидеть...

Дня через два я ушел на охоту в Перервы, под Москвой на Москва-реке. Чудесно было в природе. И сколько дичи! Я стрелял куликов, уток. Тут же в береговые капустники влетали дупеля... Вскоре из моего ягташа стали выглядывать их головки с длинными носами.

В вагоне железной дороги какой-то пассажир спросил, не продам ли я ему дичь.

— Ни за что!

С Курского вокзала я возвращался пешком: на мне было ружье и пороховница на зеленом шнуре. Меня с любопытством оглядывали прохожие, и это мне нравилось. В Сущеве из здания гимназии толпой высыпали молоденькие ученицы; иные поглядывали на меня не без удовольствия. Я шел словно не по земле... И все поднимал плечи. Чувствовал себя героем... Ах, эти встречные девушки! Боже, как они мне нравились! Я был влюблен во всех без разбора. Они казались мне богинями...

А ночью меня разбудила мать:

— Костя, встань, отцу плохо... он умирает...

Я привстаю, смотрю в упор на мать, не видя... и непонятная сила усыпляет меня опять.

— Костя, Костя... — будит снова мать, но я никак не могу подняться — сон одолевает. И вдруг вижу во сне: стоит около отец на коленях и пристально смотрит на меня:

— Костя, ты не пришел проститься! Прощай!

И постепенно исчезает, как-то уносится дальше, дальше, дальше...

— Куда ты? — спрашиваю с изумлением.

А он уже издали отвечает:

— Прекрасная тайна. Вечность.

Тут я сразу проснулся, вскочил на ноги и пошел к отцу. У постели я увидел жалкую фигуру матери на коленях. Она обвила руками его голову, и лицо ее было прижато к его лицу. В вытянутые уже руки отца была вложена иконка. Я бросился к нему, стал ощупывать его руки, грудь — он был неподвижен. Я начал целовать его глаза, шею... — Он был еще теплый, но неужели мертвый? Я бросился в кухню, схватил полотенце и, облив водой, клал ему на сердце — вдруг поможет, вдруг жив!

Но отец оставался белым как воск и не дышал.

Мать держала лампаду и читала: «Придите ко мне все страждущие...» Я побежал к доктору-соседу. Тот наспех оделся и пошел со мной. Помню, как он прикладывал голову к груди отца, долго слушал. Потом в дверях показался священник с Дарами, за которым послала мать. Доктор положил мне руку на плечо и сказал:

— Мальчик, не плачьте. У вас больная мать, пожалейте ее. Отец ваш должен был умереть еще в прошедшем году. Сердце у него устало. Умерло сердце.

Я сунул в руку доктора три рубля. Но он не взял, надел галоши в передней и ушел... Так оборвалась последняя моя надежда.

Мать отчего-то не плакала. — А я прикладывался лбом к холодному стеклу окна и лил слезы. А за окном заря занималась, наша русская тайная заря...

* * *

Новый, тяжкий день начался... Отца больше нет. Вот он лежит на столе. Горит одна большая восковая свеча, и старая монашка что-то читает, не поймешь — что.

Я сижу на кровати, в той же комнате, — мне виден профиль отца: глубоко впали глаза с длинными ресницами. Но хорошо мне, что отец, хоть пусть и мертвый, около меня. Я так люблю его! И монашку, которая читает, и даже самую смерть люблю в эти минуты умиленной нежности. Но, Боже мой, как странно все и непонятно в жизни! Зачем все эти тайны? Какое огромное в них величие. Чувствую, но не постигаю, и сердце полно недоуменной любви.

В окно видно небо в звездах. Там — тихо-тихо, просто, величаво... А монашка все читает. Что? Кому? И вообще, разве есть смерть? Не верю! Не верю, что я умру. Ни за что! Я не боюсь смерти. Даже любопытно, что это такое — смерть?

Я встал, близко подошел к мертвецу и, посмотрев на закрытые его глаза, осторожно приподнял мертвые веки. И странно блеснули под ними белые зрачки. И в этом белом взоре было что-то неземное и страшное.

* * *

Пришла няня Таня и, увидав мертвого отца на столе, убежала. Пришел брат Сергей и с ним художник Светославский.

Гробовщик мерил деревянным аршином умершего и говорил Сергею:

— Никак невозможно-с. Чего же-с, самая последняя цена-с.

Вижу в окно двор, от ворот идет толпа. Спешат, почти бегом бегут. Все родные: тетка Ершова, Вяземские, Ечкин, еще кто-то. Входят толпой в комнату, где дым от ладана, целуют мертвого отца, и все плачут. Ечкин, высокий, громоздкий, ползает на коленях и бьется головой об пол. Приезжает и бабушка, а за нею еще какие-то люди, отлично одетые. Вся в шелку, пожилая дама, вытирая вышитым платком слезы, говорит мне:

— Костенька, не узнал меня? И Сереженька тоже... Гордые вы, племянники. Забыли меня, я ведь вам тетка. Гордые...

Я смотрю на нее и не узнаю. Кто она? Вдруг вспомнил — ведь это она говорила: «Зачем художники, к чему это? Пустой народ». Она! И от гнева и горького горя я быстро отхожу прочь, но она нагоняет, берет за руку:

— Ежели не будете гордецами, приходите ко мне по праздникам, как должно племянникам. Что же это такое? Знать не хотят! Ну вот и живите по углам. Ну вот и шатайтесь в художниках!..

В это время раздались рядом громкие голоса.

— Покров ему нужен, покров! Когда гроб принесут?..

Я увидел мать в углу комнаты, подошел к ней и обнял. От горя она как-то вдруг <стала> меньше ростом, сделалась маленькой сгорбленной старушкой...

Я вышел на двор. У крыльца стоял двоюродный брат Миша. Он молча поцеловал меня. От него пахло вином. Озабоченные, заплаканные сестры тоже поцеловались со мною.

— Знаешь, — сказал Миша, — кто был твой отец? Замечательный человек. Какую память по себе оставил! Смотри, как Ечкин-то ползает на коленях. А — приказчик! Мал ты, брат, понять все это.

Я ушел в сад. Там дремали большие липы. Никого. Я прислонился к липе и стал шептать молитву. В саду меня увидел Левитан и, подойдя, заплакал.

— Что ты-то ревешь? — сказал я ему сердито.

— Не смей говорить «ревешь»! Я любил его. Я рыдаю, а не реву! — ответил мне Исаак, с той же горячностью, как намедни в лесу...

* * *

Когда я возвращался в дом, ко мне подошел сосед-доктор, человек огромного роста со светлыми голубыми глазами. Он взял меня за руку и сказал решительно:

— Пойдемте ко мне!

Рядом, в своем особняке, доктор повел меня в свою комнату и налил чего-то в стакан с водой...

— Пейте!

Я выпил.

— А теперь сюда, — продолжал приказывать огромный доктор.

Мы вошли в столовую.

— Садитесь! — он показал мне на стол, накрытый с роскошью, и сел напротив. Затем он наложил мне на тарелку белорыбицы, кусок этак с фунт.

— Ешьте сейчас же!

Я повиновался автоматически. Он тоже ел да на меня посматривал. Потом слуга подал какой-то пирог.

— Мне не хочется, — увертывался я.

— Тшш, — погрозил доктор. — Потрудитесь кушать и не возражать. Я — магистр наук... Тшш... Примите еще облатку и запейте водой. Сидите здесь, в этой комнате, а я пойду дам лекарство вашей матушке... Она нездорова. Я — Николай Александрович Лазарев, магистр наук. Пожалуйте-ка сюда!

И он подвел меня к шкапу, за стеклами которого между книгами находился футлярчик, в котором посерединке лежала золотая медаль.

— Эта медаль, — объяснил доктор, — Венского университета. Дают ее тем, кто посвятил себя наукам. Медаль получил я-с. Так что потрудитесь меня слушаться... Вы останетесь здесь со мной, и мы вместе поедem в Покровский монастырь на похороны вашего родителя.

«Какой особенный человек!» — подумал я и почему-то повиновался доктору во всем и ел все, что он мне клал в тарелку. А потом заснул как убитый.

* * *

В воротах Покровского монастыря было темно от монахов. Они пели, встречая катафалк с гробом. Мне было так тяжело на душе, что я ушел в сторонку, когда отца опустили в землю. Доктор Лазарев стоял возле меня.

Подошел монах и сказал мне:

— Вы сынок Алексея Михайловича? Вот вы и братец — ведь портрет его. Мало пожил батюшка ваш. Рано к нам пришел. А молодым-то, веселый какой был! У нас-то, приходил, уху делали. На всю братию каких стерлядей привозил. С господином Гоголем уху ели. Ну и говорили что! Вот над нами насмешничали. Слушать нельзя было.

— Что же говорили?

— Ну и сказать нельзя. Дразнили монахов-то! Веселый был ваш батюшка.

Доктор Лазарев увез меня с матерью к себе. Не позволил вернуться домой. Мать все жаловалась, говорила, что она виновата: если б не пожалела денег и купила какой-то бальзам, то отец жил бы. Доктор не слушал. Опять дал какое-то лекарство и ей, и мне, а потом заставил есть моченые яблоки, повторяя:

— Потрудитесь кушать. Слушаться меня!

В библиотеке была поставлена постель рядом с моей. Мать не спит. Говорит мне:

— Костя, я пойду в Оптину пустынь, пусти меня. Не до людей мне.

Наутро я спросил доктора:

— Отчего так рано умер отец?

Он показал на бюст Шекспира, что стоял на книжном шкафу, и сказал:

— От разностей среды и запросов жизни. Вот этот человек — гений. Он бы вам объяснил лучше доктора, отчего умер ваш родитель. А матушку отпустите в Оптину пустынь. Ей легче в вере пережить горе...

На Севере диком

На полу раскрытые чемоданы. Я укладываю краски, кисти, мольберт и бинокль, меховую куртку, белье, большие охотничьи сапоги, фонарь и целую аптечку. Ружья я не беру: я еду на Дальний Север, на Ледовитый океан. Писать с природы, а возьмешь ружье, начнется охота, и какие же тогда этюды? Беру только несколько крючков для рыбной ловли и тонкую английскую бечеву. Океан глубок, нужно захватить длинную бечеву и груз. Беру и компас.

— Зачем компас берете... Что ему там показывать? Там же Север. А вот ружье не берете, — говорит мне пришедший приятель, архитектор Вася. — Надо взять штучер и разрывные пули.

— Разрывные пули? Зачем?

— А если вы случайно попадете на льдину, в Белом море? Ведь там этикие голубчики ходят... Тогда вы без штуцера что будете делать?

— Какие голубчики? — удивляюсь я.

Вася прищурил на меня один глаз.

— Белые медведи и моржи — вот какие... Моржей вы видали? Нет? Так у него клыки в два аршина... Да-с... Встретит он, знаете, рыбаков, клыками расшибает лодку, рыбаки, конечно, в воду, а морж и начнет кушать их по очереди...

— Ну, это ерунда, я этого никогда не слышал...

— Вы не слышали, а я читал.

— Постой, где ты читал?

— В «Новом времени». Это не шуточки. Потому там никто и не живет. Посмотрите-ка на карту...

Развернутая географическая карта лежит на столе. Смотрю — действительно, Архангельск, а дальше — за Архангельском — ничего.

— Ага, видали! — говорит Вася. — Никого и ничего, можно сказать, пустое место, а вы, по-моему, зря едете. Туда преступников ссылают. Вы просто замерзнете где-нибудь в тундре, вот и все. Вам хотя бы собак свору взять, на собаках ехать. Там ведь лихачей нет, это вам не Москва. Кастрюлю тоже надо взять, обязательно соли. Там ведь все сырую рыбу жрут, а вы же не можете... Будете навагу ловить, по крайней мере, уха будет. И что это вам в голову пришло ехать к черту на кулички?.. Вон, смотрите на карту — Мурманский берег, Вайгач, Маточкин шар... Шар! Какой же это шар? А это? Зимний берег? Летнего нет. Хороша местность, благодарю покорно. Названия одни чего стоят: Ледовитый океан, Сувой, Паной, Кандалахша¹ — арестантские...

— Ну, Вася, уж очень ты пугаешь... А сам, был бы свободен, наверное поехал бы со мной... Поедем, брат: отложи свадьбу, она подождет...

— Ну уж нет... Хорошо, если самоеды себя или друг друга едят, а как им влезет в башку меня скушать... Нет, уж я туда не поеду...

— Ну, тогда поедем к Егорову завтракать.

— Вот это дело. Поедем.

И только мы выходили, как в подъезде дома нам встретился В.А. Серов.

— Я к тебе, — сказал Серов. — Знаешь, я решил ехать с тобой на Север.

— Отлично! — обрадовался я.

— Савва Иванович Мамонтов говорил, что там дорога строится, но по ней ехать еще нельзя... Как-нибудь с инженерами проедете до Двины, а там — пароход есть.

— Как я рад, что ты едешь. Вот только Вася все пугает, говорит, что нас самоеды съедят.

— Съедят, не съедят, — смеется Вася, — а кому нужно ехать за Полярный круг... И черт его знает, что это за круг такой... Пари держу, как увидите круг, так скажете — «довольно шуток», — и назад...

Кого я ни видал перед отъездом, никто, как и Вася, об этом старом русском крае толком не знал ничего. А мой приятель Тучков привез мне ловушку и просил поймать на Севере какую-либо зверюгу.

— Ну, понимаешь, какого-нибудь там ежа или зайца... И обязательно привези мне буреветника...

¹ Правильно: Кандалакша.

От Вологды на Архангельск ведут железную дорогу.

Прямо, широкой полосой прорублены леса. Уже проложены неровно рельсы. По ним ходит небольшой паровоз с одним вагоном. Называется это — времянка. Кое-где построены бараки для рабочих, сторожки для стрелочников. Новые и чистые домики.

Проехал до конца проруби и остановился в одной сторожке. Там чисто, пахнет свежей сосной и есть большая печь, а кругом бесконечные могучие леса. Века росли, умирали, падали, росли снова. Там никаких дорог нет.

Серов и я увидели, что днем писать с натуры нельзя: мешают мириады всевозможной мошки, комаров, слепней. Лезут в глаза, в уши, в рот и просто едят поедом. Я и Серов намазались гвоздичным маслом — ничуть не помогало. Мошкара темными облаками гонялась не только за нами, но и за паровозиком времянки...

Вечером к нам в сторожку пришел инженер — финляндец. Рассказал, что есть недалеко озера, небольшие, но бездонные, и показал пойманных там больших окуней, черных, как уголь, с оранжевыми перьями, красоты невиданной. Я сейчас же стал их писать.

Финн состряпал из окуней уха, но ее нельзя было есть: пахла тиной. Так мы улеглись без ужина...

А в пять часов утра уже начиналась порубка. Свалив деревья, рабочие оттащивали их в сторону с просеки. И внезапно один из порубщиков увидел вдали высокого, странного оборотня, который тоже таскал старательно и усердно деревья на опушке чащи. Это был огромный медведь. Он пришел к порубкам, посмотрел, что делают люди, и стал делать то же: таскал, рыча, деревья. Хотел помочь, думал, нужно.

Медведь выходил на порубки каждый день. Когда рабочие кончали работу, уходил и он. Но только работа начиналась, он уже на опушке.

Злая пуля уложила занятого бедного зверя. Когда его тушу везли в Вологду на дрезине, я не пошел смотреть, не мог. Так было жаль его. Серов зарисовал труп в альбом.

Как-то Серов и я писали светлой ночью около сторожки этюд леса. В кустах около нас кричала чудно и дико какая-то птица. Мы хотели ее посмотреть. Только подходим к месту, где слышен ее крик, она отойдет и опять кричит. Мы за ней, что за птица: кричит так чудно, но увидеть невозможно. Ходили-ходили, так и бросили и пошли назад. Пришли будто к сторожке, а сторожки нет. Мы — в сторону, туда-сюда. Нет. Мы назад пошли, ищем. Нигде нет.

— Постой, Валентин, — говорю я, — вот заря... Надо на зарю идти.

— Нет, — отвечает Серов, — надо туда.

И показывает в другую сторону.

Мы заблудились. Смотрим, все ветви деревьев повернуты на юг.

— Я ползу на дерево, — говорит Серов.

Я подсаживаю, он ловко взбирается, хватаясь за ветви длинной ели.

— Сторожки не видно, — говорит он с дерева. — А что-то белеет справа, как будто озеро или туман...

Вдруг слышим — идет где-то недалеко паровоз, тарыхтит по рельсам, попыхивает. Мы быстро пошли на приятные звуки времянки, и оба сразу провалились в мох,

в огромное гнилое дерево, пустое внутри, а внизу завалившее яму. Там была холодная вода. Мы оба разом выскочили, из этой гнилой ванны, побежали и скоро увидели нашу сторожку.

Серов посмотрел на меня и сказал:

— А ведь могло быть с нами прости-прощай...

* * *

В сторожке были инженеры, Чоколов и другие.

— Мы завтра поедем на Котлас, на Северную Двину, — сказал Чоколов. — А теперь, хотите, поедемте на дрезине... Здесь есть недалеко село и река. К нему нет дорог, но оно очень красиво...

Вот и село Шалукта.

Деревянная высокая церковь, замечательная. Много куполов, покрыты дранью, как рыбьей чешуей. Размеры церкви гениальны. Она — видение красоты. По бокам церковь украшена белым, желтым и зеленым, точно кантом. Как она подходит к окружающей природе...

Трое стариков-крестьян учтиво попросили нас зайти в соседний дом. В доме большие комнаты и самотканые ковры, изумительной чистоты. Большие деревянные шкафы в стеклах — это библиотека. Среди старых священных книг я увидел Гончарова, Гоголя, Пушкина, Лескова, Достоевского, Толстого.

В горницу вошли доктор и учительница, познакомились с нами.

Я и Серов стали писать у окна небольшие этюды. Нас никто не беспокоил.

— Что за удивление, — сказал Серов. — Это какой-то особенный народ...

Когда мы окончили писать, к нам подошли старики и доктор, посмотрели на нашу работу, и один из стариков предложил нам — не хотим ли мы поехать на лодке, по реке.

— Здесь есть красивое место, — сказал старик, — наши девицы хотят вас показать, показать реку.

Он махнул рукой, подошли четыре нарядные молодые девушки. Доктор сказал нам: — Здесь так принято встречать гостей. Вас будут угощать девицы...

Мы сели в большую лодку, и доктор с нами.

Девицы смело взмахнули веслами, и лодка быстро полетела по тихой и прозрачной воде. Берега реки покрыты лесом, в прогалинах луга с высокой травой.

Лодка причалила у больших камней, заросших соснами. Девушки вышли на чистую лужайку, разостлали большую скатерть, вынули из корзин тарелки, ножи, вилки, разложили жареную рыбу хариус, мед и моченую морошку, налили в стаканы сладкого кваса. Они старательно и учтиво угощали нас и все улыбались.

— Да, — говорил доктор. — Здесь особый народ... Я ведь давно живу с ними... Они вам рады. Ведь здесь никто не бывает, и дорог сюда нет. Это — оазис... Только зимой сюда приезжают, но редко... Это секта, их прозвали еретиками. Они неплохо знают Россию и литературу. Все грамотны.

«Удивление, — подумал я. — В глуши тундры какие милые душевные люди».

Я еще узнал, что в селе Шалукте никто не пьет водки и не курит.

— Село управляется стариками по выбору, — рассказывал доктор, — и я не видел лучших людей, чем здесь... Но жаль, что с проведением дороги здесь все пропадет: исчезнет этот замечательный честный быт... Старики это понимают.

В Шалукте, на прощанье, нам подарили раскрашенные березовые туеса, замечательно сработанные тамошними художниками...

Шалукта, чудесная и прекрасная, что-то случилось теперь с тобой?

* * *

Медленно отходит океанский пароход «Ломоносов» от высокой деревянной пристани.

Шумят винты, взбивая воду, оставляя за пароходом дорогу белой пены. Архангельск, с деревянными крашеными домиками и большим собором с золотыми главами, уходит вдаль, справа песчаные осыпи гор. Сплошь покрытые лесами, они далеко тянутся и пропадают в дождливом дне.

Пассажиры попытались в каютах и под брезентами на палубе. Матросы в желтых рубахах и штанах, пропитанных маслом, связывают огромные канаты. Дождь хлещет по палубе. Берега стали ровные.

— Тощица, — говорит Серов.

— Скоро море? — спрашиваю я у матроса.

— Не... Часа через два, — отвечает тот сумрачно.

На пароходе пахнет рыбой. В столовой, куда мы зашли, тоскливо. Круглые трюмы угрюмо обливают дождь.

— Покачает... — говорит сосед-пассажир. — Ветер с моря.

А другой, поодаль, солидный, сидит за столом. Перед ним бутылка водки и закуска. Он налил рюмку, посмотрел на нее, сказал про себя «поехали» и выпил махом.

— Тоска... — повторяет Серов.

В каюте тоже пахнет рыбой. Ложусь там на койку. Надо мною висят белые спасательные круги и пробковые пояса. Я смотрел-смотрел на круги и пробки и заснул. Вдруг слышу, что-то шумит, трещит, и чувствую — качает. Серов сидит против меня, бледный, и ест лимон.

— Море? — спрашиваю я.

— Гадость! — отвечает Серов. — Качает. Как ты можешь спать?

— Пойдем на палубу, посмотрим море...

— Не могу, — отвечает Серов. — Невозможно. Тошнит.

— Лежи на спине, пройдет...

Я встаю и выхожу из каюты, ударяясь о стенки.

По лестнице выбираюсь наверх.

Волны с шумом бросают брызги на палубу. Пароход опускается вниз, и на него летят волны. Корма, у которой я стою, поднимается высоко. Я выбираю минуту и бегу в конец кормы, хватаюсь там за железное древко флага и вижу, как винты, вращаясь в воздухе, опускаются в темную воду. Корма ниже, ниже... Пароход как бы стал на дыбы... Но вот опять поднимается корма. По палубе бежит вода.

Сбоку от меня, близко, на борт парохода села птица, ярко-зеленая, синяя, — свистнула громко. «Это буревестник», — подумал я. Птица вспорхнула и пропала в волнах.

Иду к Серову. Он лежит в каюте. Около него сидят двое в кожаных пальто и форменных фуражках. Один представляется мне с улыбкой:

— Капитан Постников... А что же вы по палубе гуляете, не боитесь... Волной вмиг смоем.

— Вы — капитан? — говорю я. — У меня к вам есть письмо от Савел-Иваныча Мамонтова.

— От Савел-Иваныча! — обрадовался капитан. — Ах, родной Савел-Иванович! Господи! Да ведь это какой человек. Вот приятель ваш, жаль, хворает... Я ему сейчас из буфета лекарство принесу... Крепко, зато разом полегчает... Ничего, завернем за Сувой, тише станет... Вот я, скажем, и капитан и привык, а и то, бывает, сблונешь... Буря... Другой помор прямо сажень росту, а чуть на море зыбь, хуже бабы — плачет... Ну, я сейчас...

Капитан вышел.

Вскоре он и тучный буфетчик с бледным лицом балансировали перед Серовым с бутылкой какой-то темной жидкости и уговаривали его выпить:

— Крепко, верно... Ром, конечно, и трын-трава в роме... Зато поможет.

Серов, наконец, глотнул.

— Невозможно, — едва не задохся он. — Про... про... просто пламя какое-то.

— Скажите, — обратился я тут к капитану. — А скоро будет Полярный круг?

— Круг? — Да мы его сейчас проходим...

— Ну, тогда давайте, — сказал Серов. — Тогда все равно. Выпью.

— А мы с вами за Савву Иваныча, — предложил капитан. — Это человек. Большой человек, и добрый.

— А знаешь, — говорит мне Серов, — прошло, благодарю. — И он протянул руку капитану.

— Но... кажется, я пьян. Что-то крепко ваше лекарство.

— Оно и хорошо. Пьяному море по колена. Ну, и обед будет — ух ты! Я вас угощу. У меня кумжа, ну и рыба! Через час за Святой Нос завернем... Тихо будет, станем... Обед будет знатный.

— А все же, кажется, я пьян, — повторил Серов. — Я что-то выпил невероятное. Но это омерзительное чувство прошло.

Мы поднялись с Серовым на палубу.

Кругом нас беспредельный и мрачный тяжкий океан. Его чугунные волны вздымаются в бурой мгле. В темном небе, прямо, летит огромный белый орел.

— Альбатрос, — сказал капитан. — Святая птица, говорят, где живет, никто не знает, а всегда летит прямо и далеко. Сердца, говорят, верные, обиженные, к Богу относят...

Слева идут полосы низких скал, которые оканчиваются маленькой одинокой часовенкой, освещенной сбоку проглянувшим полнощным солнцем. Так бедно и глухо и безотрадно кругом, а эта светящаяся часовенка как бы подает надежду. Это и есть Святой Нос.

Долго опускают якорь на дно: должно быть, глубоко. Пароход стал. Тихо.

Черные скалы, наверху — огромные глыбы, будто их поставили великаны. Глыбы похожи на странных чудовищ. Бурые скалы высются как зачарованные. По берегу, до самого моря, громоздятся огромные круглые камни, покрытые черными пятнами мхов. Со скал как стрелы летят черные птицы и садятся на воду.

— Обедать! — зовет капитан.

И вот началось пиршество... Семьдесят сортов закусок, русские, шведские, норвежские, пунш, шампанское. Бутылки, на них ярлыки разных стран, семга, оленьи языки, зубатка, пикша, кумжа, форели, — все это порто-франко, без пошлины.

За столом радушные люди, все знакомятся друг с другом, всем весело, что мы обедаем уже за Полярным кругом... Эх, как видно, хорошо было в России за Полярным кругом...

А ночью мы с Серовым прогуливались по палубе.

Огромный океан покрыт как бы темным шелком. Тихие воды. Слышен шум непотушенного паровика машины. Я и Серов смотрим с палубы на таинственный берег, погруженный в бурюю полумглу — полусвет непогасшей северной зари. Мы смотрим на черные скалы и на огромные кресты поморов. Это их маяки.

Вдруг перед нами, из пучины вод, поднялась черная громада корабля. Вот поворачивается, плавно ныряет. Как-то сразу, неожиданно. Что это? Нас обдало водой, мне залило за шею.

— Э, — кричит нам, смеясь, матрос. — Выкупал вас... Эвона он где.

Вдалеке вывернулась чудовищная тень. Это кит. Сильной струей, фонтаном он пустил воду вверх. Как плавно и красиво огромный кит выворачивается в своей стихии. Должно быть, хорошо быть китом.

— Валентин, — говорю я Серову. — Что же это такое? Где мы? Это замечательно. Сказка.

— Да, невероятно... Ну, и жутковатые тоже места... Эти глыбы как будто говорят — уезжайте-ка лучше отсюда подобру-поздорову...

* * *

Рано утром мокрые скалы весело заблестели на солнце. Они покрыты цветными мхами, яркой зеленью, алыми пятнами. На лодке мы причалили к берегу. У берега глубоко видно дно, а там, под водой, какие-то светлые гроты и большие, в узорах, медузы, розовые, опаловые и белые. За низкими камнями берега открываются песчаные ложбинки и в них низенькие избы, убогие, в одно-два окошка. Я открываю шкатулку, беру палитру, кладу второпях краски. Это так красиво, удивительно: избы на берегу океана. Руки дрожат, так хочется написать это. Вдали, у океана, пишет Серов. Внезапно он кричит мне:

— Иди сюда, скорей!

Я бегу к нему. Вижу, стоит Серов, а перед ним, поднявши голову, — большой тюлень, и смотрит на Серова дивными круглыми своими глазами, похожими на человеческие, только добрее. Тюлень услышал мои шаги, повернул голову, посмотрел на меня и сказал:

— Пять-пять, пять-пять...

Вышедшая из избы старуха-поморка позвала его:

— Васька, Васька.

И Васька, прыгая на плавниках, быстро пошел к избе. У избы я кормил его рыбкой мойвой, любовался его честными красивыми глазами, гладил его по гладкой голове и даже поцеловал его в холодный мокрый нос.

Он повернул набок голову, заглянул мне в глаза и сказал:

— Пять-пять...

Безграничный Ледовитый океан. Над ним — прозрачное холодное небо. К горизонту оно зеленоватое, далекое. Слева идет угрюмый скалистый берег, покрытый мхами.

В.А. Серов и я поместились у кормы парохода. Мы смотрим на белые гребни за бортом, но это не пена от волн, это — белухи, белые особенные тюлени, большие и длинные. Они то появляются, то пропадают. Белух так много, что кажется — океан волнуется. Богат, как видно, жизнью Господин Ледовитый Океан.

Пароход вошел в тихую широкую гавань, залив Святого Трифона у скал. На палубе уже собрались поморы с мешками и с багажом. Пароход остановился. Мы простились с капитаном и вышли из лодки на сырой песок берега, близ которого высились седые скалы.

Вскоре нас приютил небольшой деревянный домик Печинского монастыря. Около него стоят еще три домишка карел. Карелы собрались небольшой толпой и смотрят на нас. Среди них на берегу полулежал парень, одетый в яркий зипун, обшитый зелеными, желтыми, белыми и голубыми кантами. Каков фронт!

На голове у франта белая песцовая меховая шапка с кожаным верхом и с красным помпоном, его белая рубашка в цветных лентах, а на руках кольца, мне показалось — большой бриллиант, изумруды, сапфиры.

Кругом странного человека лежали и сидели белые лайки с острыми ушками. Острые мордочки собак выглядели как бы из пышных муфт. Это было очень красиво, особенно на фоне зеленого мха прибрежных камней.

А около крыльца монастырского дома стоял небольшой олень. Его большие рога, похожие на сучья дерева, были как бы покрыты бурым бархатом. Умно и приветливо смотрели карие олени глаза. Я не мог не погладить его. Монах в камилавке между тем помогал вносить наш багаж.

— Приехали, — сказал Серов, входя в дом.

— До чего любопытно кругом, — восхищался я.

Вскоре на столе появился самовар и лепешки.

Из окна мы видели, как, дымя, ушел «Ломоносов».

Мы осмотрелись в нашем жилье. Что-то особо уютное, тихое и душевное было в этом доме, в двух маленьких монастырских покоях.

— Мне кажется, — сказал Серов, — что еще и здесь качает...

Я не ощущал качки совсем, но все же и я был рад, что нет больше противного паровозного запаха рыбы. В окно виден залив Святого Трифона и скалы. Воздух прозрачный и светлый. Пахнет, как у нас под Москвою, осенним листом.

Я вижу, как старый лопарь прощается с монахом и идет к берегу залива. Олень побежал за ним. Лопарь сел в лодку и поплыл. Подняв голову и закинув на спину рога, олень поплыл за ним, быстро разрезая воду. Это все было красиво, просто и мудро...

А вечером, за самоваром, монашек рассказал нам, что тот фронт с белыми лайками, которого мы видели утром, — тут главный оленин пастух. Он пасет стада в десятки тысяч голов. Олени пасутся в тундрах, и самые умелые пастухи знают, как сохранять стада и приплод. Умелых пастухов ценят и платят им много. Такие пастухи очень богаты. Так вот кем был этот фронт с кольцами.

Всю ночь сквозь сон я слышал прибой и вой ветра, а утром первое, что увидел, — Серова у окна.

— Константин, посмотри, какие чудеса...

Я взглянул в окно.

Берег залива до самого нашего домика был покрыт расплавленным светлым себром.

Это была рыба. Огромными грудами она громоздилась по берегу до нашего дома, загородила калитку, крыльцо.

Я увидел, как, растопыривая ноги, к нашему дому идет урядник и как он, скользя, падает, опять подымается, снова падает.

— Да вот, — говорит, тихо смеясь и разводя руками, монашек. — Рыбы-то! Вот засолили бы, а соли нет... Эх, хороша рыба — сельдь. Это ее кожа загнала ночью... Кожа — иначе сказать, тюлень — загнал сельдь в залив...

Тут в дверях показался урядник — как Лоэнгрин, весь серебряный от рыбьей чешуи.

— Вот, ваше благородие, — сказал он, — как тут идти склизко... Одна — рыба... В кармане лекарство, которое было, — все смокло... Холера... Кому какое давать — не знаешь.

Урядник стал вынимать из карманов пузырьки и мокрые порошки:

— Вот рома бутылка цела... Да и холеры нигде-то и нет, а мне говорят: «Давай им это, Василий Иванович...» А я что? Я на весь район один. От Кеми до границы... Да еще жулика-пастуха лови: олений приплод не сдает... А в Кеми за политиками гляди. Один тебя за папиросами, другой за вином... Посылают... Пристав Репин, хороший человек, неча говорить, но только от скуки, что ль, ей-ей, всю ночь с ими в карты дует... Порто-франко, потому... У нас тут, говорю, порто-франко: тут ром — рупь. Потому... А пуншу шведского всегда достать можно, ей-ей... Крикните «Василий Иванович», и готов пунш... Прощения просим.

Урядник был навеселе.

Он вышел и через минуту вернулся, осторожно неся два стакана шведского пунша. Как-то особенно нам подмигнув, урядник сказал:

— Все понимаю, ей-ей... Только три класса прошел, а все и всех вижу... Будете в Кеми, Кознову не говорите, вот он меня ест. Вот ест, прямо беда, ей-ей... Только и думает, как бы во мне вину найти. Ему охота меня утробить, совсем начисто. Тут и весь крендель.

— Почему же крендель? — с недоумением спросил я.

— Потому что переплет, — пояснил урядник, — из-за жен вышло. Ей-ей. Я прямо Иосиф. А Кознов думает совсем наоборот. Долго рассказывать, ей-ей... Вот так порто-франко!.. Завтра, ей-ей, вам пуншу бутылку достану, прямо янтарь. Вкусно-о! Ар-р-ромат... Скажете спасибо уряднику. Больше ничего...

Внезапно вдали, над океаном, показались какие-то рыжие тучи, вроде паутины, которые быстро неслись, точно пепел по ветру. Странные тучи быстро приближались, летели к нам дымной стеной.

Ясный день стал темнеть.

Я как раз разбирал краски, приготовляясь писать, но стало темнеть. Ко мне вошел Серов.

— Что это, Константин, гроза, что ли? Как потемнело...

Рыжие тучи спускались с неба волнующими полосами. Стало темно совсем. Я зажег свечу.

В окне рыжая мгла и шум, особый шум: в летящем пепле слышны гортанные крики птиц. Это не пепел, это — птицы. Миллиарды птиц спустились на землю. Они покрыли все, как белые фонтаны вздымаются они с криками около дома. Плачущий птичий крик звенит в воздухе.

Когда стало чуть светлее, я выбрался на крыльцо. Но чайки садились на меня, налетали кучей — на плечи, на голову. Я отталкивался, размахивал руками, спасаясь от птичьей силы.

Через несколько минут берег от птиц очистился. На берегу не осталось и рыбы: чайки всю сельдь съели. Кончился этот чудовищный птичий пир, и чайки разместились по скалам. Скалы покрылись ими, как белым снегом.

— Умная птица, — крикнул урядник, — всю подобрала, чисто вымела.

— Хорошо было бы зажарить хотя бы одну, — сказал я монаху.

— Пошто ее жарить? — ответил с улыбкой монашек. — Селедка только в засол хороша... А у нас кумжа есть — вот это рыба.

Так и не попробовал я мурманской селедки.

* * *

На всем Мурмане есть две лошади.

На этих лошадях мы и поехали в Печинский монастырь Святого Трифона.

Дорога идет каменной тундрой, но колеса тарантаса утопают в грязной дороге: между камней болото, мелкий кустарник и кривая поросль низкой карельской березы.

Вдруг на дороге перед нами показались белые куропатки. Взлетают, садятся опять.

На облучке тарантаса сидит наш урядник, Василий Иванович. Рядом с повозкой бежит его собака Шутик, лайка, хвост крючком. Шутик лает на куропаток, сгоняя их с дороги.

— Эх, ружья, жалко, нет, — говорю я. — Из револьвера, я думаю, не попасть...

Но Серов берет мой револьвер, прицеливается — и мимо.

— А жаль, — говорит он. — Все рыба да рыба. Хорошо бы и куропатку съесть.

— Что я скажу, господа, — оборачивается к нам урядник. — Вот у кого хороши ружья, так у политиков... Ну и ружья... Еще бы, ссыльные двадцать шесть рублей в месяц жалованья получают, а я — двадцать! Я, разумеется, урядник, три класса прошел, а они — политические... Из господ больше... А как они за бабами шьют... Вот это, я вам скажу, — крендель!.. У них свои бабы есть, тоже политические... Один козырной парень у них был. Гаудеамус звали. Говорить зачнет, так их бабы от него так и горят. Просто горят. А он прямой дурак...

— Почему же дурак? — спросил Серов.

— Да как же... Женщины, говорит, должны быть всеобщие. Это что же такое?.. Какой крендель?.. Гаудеамус мне говорил, что четырнадцать разов женат был. За это и попал. Каков переплет!.. А то еще, другому, срок вышел. Отбыл, значит, и уехал. Глядь — вернулся. Нет, говорит, здесь лучше. Рыба тут хороша. А мне жаловался: «Когда, — говорит, — я вредный был, мне от казны жалованье шло. А сейчас — ни шиша. Вот что обидно, — говорит, — несправедливо...»

— Что же, уехал?
— Нет, живет еще, ничего... Письма кому, прощения пишет.
— А уголовные тут есть? — спрашивает Серов.
— Всякие есть. И фокусник есть... Вот ловок, право... Кладешь ему на ладонь двугривенный: прямо на виду пропадает, ей-ей. Нет двугривенного, просто удивление. Он и сослан сюда, потому фокусник, ей-ей...

* * *

Так мы подъехали к деревянному монастырю Святого Трифона.

В чистой горнице, где полы крашеные, высокий и красивый отец Ионафан, настоятель монастыря, угостил нас свежим, только что пойманным в речке лососем. После закуски мы с Серовым приготовили краски, чтобы писать неподалеку от монастыря.

— Вот что, — сказал нам отец Ионафан. — Вот ежели списывать тут будете, не пугайтесь, милостивцы... Медведи тут ходят, осемь их. А у вас пистолы али пужала какие. Так вы, милостивцы, медведей не попугайтесь: они тут свои, и человека никак не тронут. Уж вы не застрелите их случаем из пистолы, ежели испугаетесь...

Я и Серов посмотрели на отца Ионафана с полным изумлением:

— Как медведи?.. Почему свои?..

— Медведи, известно, милостивцы, не наши, а лесные звери, вольные, — продолжал настоятель. — Ух, и здоровые, как горы!.. А только они заходят и сюда к нам, иногда — на двор монастырский... Эта скамейка большая, видите, там, под стеною... Сидим мы на скамейке, февраля двадцатого, все в сборе, братия то есть... Ждет братия, как после зимы и ночи непроходимой солнышко впервые заиграет, благодатное... А они, медведи, тоже рядом тут сидят и на небо глядят... Как только солнце выглянет из-за горы, мы молитву поем, а кто из нас что вспомнит, тот и поплачет. А медведи тоже бурлыкать зачнут. Что и мы солнцу рады. Хотя и звери, а понимают: солнышко любят...

И я вспоминаю, как вечером того же дня монах с фонарем в руке нес из монастырской кладовой испеченные хлебы в трапезную, куда мы были приглашены на ужин.

Вдруг мы услышали, как этот монах закричал внизу у ворот:

— Эва, ты, еретик этакой!.. Пусти...

Оказывается, медведь отнимал у крыльца от него каравай хлеба, а монах угощал зверя фонарем по морде.

— Я ему уже дал хлеба, — рассказал нам позже монах, — так он все тащить хочет. Также и у них, медведей, не у всех совесть-то одна. Отнимает хлеб прямо у дому, чисто разбойник... Другие-то поодаль смотрят, у тех совесть есть, а этот, Гришка, он всегда такой озорной...

— Ты заметил, — сказал мне Серов, когда мы с ним укладывались на монастырские койки, — милый монашек, браня медведя, говорил о нем, как о человеке... Странно, правда?..

— Да, Тоша, заметил... Какой чудесный край, Север Дикий! И ни капли злобы здесь нет от людей. И какой тут быт, подумай, и какая красота!.. Тоша, я бы хотел остаться жить здесь, навсегда...

Но на Севере Диком я тогда не остался. Не та была у меня, как видно, судьба.

Велес

Ранняя Пасха, весна...

Я уезжал из Москвы по Ярославской железной дороге на станцию Итларь, к охотнику Герасиму Дементьевичу, крестьянину деревни Буково.

У окраины большого леса, на высохшей прогалине, стою я на тяге, неподалеку от Герасима. Весенний вечер, солнце закатилось за еловый лес, который кажется на погасающей заре каким-то острым большим гребнем. Ровно идет мелкоколесье, смутно сливаясь с землей, белеют пятна тающего снега. Как замороженные, в сумраке стоят весенние леса и дышат. Как грустно пение птиц! Вспоминаются чьи-то милые лица, и дружба, и всегда неразгаданная прекрасная любовь... Уже темнеет, темнеет, и ветки осин узором выделяются предо мной на потухающей заре.

— Чу, — сказал Герасим.

И я слышу, как вдали от меня, хрипя, протянул вальдшнеп. А вот влево другой. Герасим выстрелил. Уже темно.

Я слышу, как Герасим ходит и ищет убитую птицу. Внезапно невдалеке, в лесу пронесся тягостный крик — «А-а-ы-ы-а-а-а...»

Странно и жутко.

Герасим идет ко мне и говорит:

— Пойдем.

— Пойдем. А кто это воет? — спрашиваю я.

— Чего воет: пугает! — отвечает Герасим.

Сзади нас, в лесу, кто-то будто пробежал — та-та-та-та-та...

Я снова спрашиваю на ходу:

— А ты разве веришь, что пугает?

— Верь, не верь, а вот это... это, брат, Бука.

— Какой бука?

— Бука какой? А такой... Жил здесь допрежь, давно, Бука, сын князя киевского Володимера... И жил он здесь в полоне у хана Итларя Половецкого. И жил он один в лесу, в своем терему, и ни с кем, нелюдимец, не знался. Его и прозвали Букой. А ведался он с ведьмами и колдунами, что в Сохотском болоте жили, где мы были с тобой за куропатками. Еще, помнишь, заблудились дюже... Ох, сказать тебе по правде, — напугался я тады, только не говорил тебе... Боярин и люди княжевы пришли ночью к хану Итларю, разобрали крышу и убили его стрелой, стало быть, сонного... Вот где станция теперь стоит, и убили... И сильно жалел князь Бука, что ни за что убили хана, супротя его воли. И перестал князь кланяться Велесу, тому Велесу, что у озера Неро стоял, на Крестовой горе. Называлось то место — Чертово городище. Князь уехал к брату своему Мстиславу в Ростов и крестился, взял себе имя Святослав... До чего, говорят, ведьмы выли на болоте, когда он крест Христов на горе, на погосте, ставил!.. Вот и теперь кой-когда попугивают ведьмы... как было нас с тобой... А я так одна и видал их. Пстой, — перебил вдруг самого себя Герасим. — Да ведь мы не туда идем...

Мы стали. Над темным лесом светилось весеннее тайное небо, в нем острым серпом четко сиял месяц. В молчании, во мраке темных кустов заливался дрозд, восхищенный весенней ночью.

— Неужели ты веришь, Герасим Дементьич, что ведьмы есть?

— Вестимо, есть. Да неужто ты не видал?

— Нет, — говорю, — не видал.

— Они, ведьмы эти, вначале как все, и притом такие прелюбезные, а уж к старости в своем болоте выть начинают. У меня друг был, охотник, тоже московский, как ты... Эх, сердяга, пропал через ведьму, помер... И вот горя принял, страсть.

— Да что же он не послал ее к черту? — говорю я.

— Пошли-ка, ведь она жена ему была.

— Но почему ведьма? Может, просто не любила его...

— А нет... Колдовка была... Не говори... Много их, — и велесова, стало быть, толка... Ну и хороши бывают смолоду, эх, хороши... Вот хоть бы разок с ней поиграть, а потом хошь помереть, все равно... Во какие! Все отдашь. Голову потеряешь.

Герасим смотрел на меня и, оскалив зубы, засмеялся.

— Ну и ведьмы. Таких-то ведьм кто не видал, — ответил я со смехом.

— А которые в болоте, — говорю, — те страшны — серые, вот как мох. Я видел. Сидят, качаются и воют. А глазищи у них серые и глядят на меня. Ну, я — «Да воскресни», да бегом...

— Ерунда, Герасим, выдумки. Показалось тебе...

— Ну, нет! — убежденно потрянул головой Герасим. — Есть такие колдуны. Он всю жисть тебе испортить может. Злой человек есть, укройся от него... Все это от Велеса осталось.

— А какой же Велес был, не слыхал ли?

— Слыхал... Во какой агромадный... Голова золотая с рогами, а в ней жрецы, что ли, сидели, а главного Кича звали... А ночью у него изо рта пламя шло и глаза горели. Далече видать было. Наша деревня, Буково, потому зовется, как князь Бука жил здесь. Детей-то пугают: бука, бука... Это от нас.

* * *

Мы вышли на дорогу.

Показались дремавшие в ночи высокие сараи, запахло дымком деревни.

У дома Герасима залаяла собака и, узнав нас, с радостным визгом запрыгала около. Хорошо прийти домой из лесной чащобы.

Ночью вернулись от заутрени жена и дочь Герасима, привезли освященные куличи, пасху и крашеные красные яйца. Бабы накрыли стол чистой скатертью и хлопотали у печи до утра: пекли оладьи и пироги.

А когда я проснулся — никого в избе не было: все уехали к ранней обедне. На столе — полно угощенья.

Вернулись от обедни все принаряженные. Дочь Герасима, Анна, в черную косу вплела большие пунцовые ленты. Пришли гости: железнодорожный мастер, портной и Василий Иванович Батранов, чудной мужик, из Итлари. Про Батранова идет слава: колдун.

Похристосовались, сели за стол.

В окно льется солнце, видны ветви с распускающимися почками, трава на дороге радостно зеленеет. Красные яйца и белая скатерть, налитые рюмки с водкой блестят, залитые солнцем. Пахнет хлебом и ветчиной. Отраднo на душе.

— Василий Иванович, — говорю я чудному мужику Батранову, — выпьем за Велеса... Про тебя поговаривают, ты — колдун. Вот вечер, в лесу, нас что-то пугало, и Герасим слышал... Должно быть, это — ведьмы твои.

Батранов хитро посмотрел на меня.

— Да, бывает, пуганет, — нехотя ответил он.

Герасим, посмеиваясь, сказал о Батранове:

— На свадьбе, он, Василий Иванович, главный, его в красный угол сажают, пироги, вино ему первому подносят. Колдун, потому. Испортить всю свадьбу может, жениха и невесту, жисть всю. Ну и бояться его, все кланяются, потчуют...

Убоюсья зело,
Чтобы в наше село
Сила вражья не вступила,
Меня в плен не повлечех,

— смеясь, пропел Герасим Дементьич.

— Смешно, а все же есть дело колдовое, — сказал Батранов задумчиво. — Оно в самой жисти заложено. Вот посмотри, весна, краса живая, на землю спускается, все оживает. Отходит печаль и горе. Но не все горя целимы. Неверная дружба и притворная любовь нецелимы. И злодей в весне мрачен, не любит весны, красы живой. Молчит, не гремит бубнами слов своих лживых. Злодею не переспорить весны, солнца, земли. В весне — мать-земля пришла родить, добром кормить детей своих, людей, и платы не просит... Смотри — по оврагу к реке Нерли расцветет черемуха, шиповник, краса какая и запах райский. Встану я там и чему-то молюсь, не знаю. А может, то и Велесу молюсь. И так хорошо в душе... Не колдовство ли это, скажите?.. Вот еще, вспомнил я, было дело малое, пустое. Тоже по весне. В колдуны меня барин произвел. Под Питером поступил я на тоню — невод большой заводили, у стрелки на реке Неве, что в залив входит. Подошел барин и глядит. А хозяин наш, рыбак, у которого мы в поключниках жили, и говорит ему:

— Барин, прикажите, за пятерку невод заведем. Может, на счастье ваше, лосося возьмем. Бывает...

— Ладно, — говорит, — да только вы, мошенники, ничего не поймаете, сжулите. Обидно мне стало. За что, думаю, он нас так хаит?

А барин дает пять рублей и говорит:

— Закидывай на любовь мою, Надюшу, мою звезду вечернюю.

А над берегом, верно, низко так звезда горела. Ночи-то там светлы, в Питере. Ярко так горела, приветливо.

Тянем, смотрим, а в мотне три семги, да какие — по пуду. Прямо редкость. Ну и счастье ему привалило! Связали мы тяжелую рыбу и отдаем ему с поклоном.

— Тащи, — говорит мне барин, — до дому пойдем вместе. Моя звезда гуляет по лесу, вот тут, недалече. Не встретим ли ее?

А я ему и говорю, сам не знаю, с чего:

— Когда, барин, вашу звезду ищите, то на звезду надо идти прямо. Так и придем на вашу звезду-то.

Так и пошли мы прямо, на звезду. Прошли малость, а из кустов-то и выскочили двое — молодая его барыня, а с нею баринок.

Мой барин-то как закричит... Это звезда-то его с полюбовником... Барин и семгу бросил, и меня...

А месяца через два пришел к нам на тоню тот барин и спрашивает у меня:

— Почему ты знал, где Надя была, и повел меня на этакое дело?

— Не знал я, — говорю, — но почудилось мне, когда вы нас зря мошенниками обозвали, что ждет вас лихо.

— Колдун ты чертов, — сказал мне барин. — Пущай она обманывала — а теперь что? Места себе не найду — жалею ее...

Тайное лихо, что и не думалось, мне видать было по звезде. По звезде много узнать можно.

— Верно то, — помолчавши, сказал Герасим, — колдова, верно, что есть... А вот ты мне про то скажи, почто зло на свете живо? Вот на это никем ответа не дадено...

Хозяин мой

Домовладелец... Дом его был в Москве на Третьей Мещанской улице, около церкви Троица-капельки. При доме — небольшой сад, милый и уютный. У сада — крашенная конюшня. За зеленой загородкой цвели сирень и жасмины, в саду — березы, бузина, акации. Сад был густой, заросший. Причудливая беседка с раскрашенной крышей выступала из-за забора и была видна прохожим из переулка.

Приятен был особняк хозяина дома, а на дворе стоял еще приятный деревянный дом в две квартиры. В одной из них жил я.

Помните ли вы, любезные москвичи, такие особняки, как бы утонувшие цветным вечером среди высоких деревьев сада?

Как приветливо зажигались в них лампы и как мирно светились окна с цветными занавесками! Казалось, за ними — «и мир, и любовь, и блаженство», как пели тогда в романах.

* * *

Так и было. Хозяин нашего дома, Александр Петрович, был человек серьезный и положительный. Из себя роста среднего, серые и светлые глаза, румяный, волосы уже с проседью, причесаны назад, холостой. Говорил всегда строго, отчеканивая каждое слово. Утром смотрел лошадей, которых выводил на двор толстый кучер Петр.

Кучер тоже с серыми глазами и тоже серьезный. Хозяин хлопал легонько лошадей рукой и что-то недовольно и строго говорил кучеру.

Потом запрягали Серку или Вороного в пролетку, а зимой в сани, и хозяин уезжал в город по делам. Что он делал в Москве, я не знаю.

Жилец я был исправный, занимал квартиру в три комнаты, и хозяин у меня был только один раз. Пришел для совета, чтобы я березовыми дровами топил печь-голландку, говорил — лучше и выгоднее, чем еловыми.

Хотя березовые и дороже, но жар держат дольше, а еловые — как ветер.

Я истопил по его совету березовыми, а жару все равно нету... Знал я еще, что хозяин мой — так москвичи звали «мой» владельца дома, у которого снимали квартиру, — что он, хозяин «мой», окончил образование в практической академии коммерческих наук.

Это и было видно, что «практик», человек серьезный. Зимой носил он чудесную шубу с бобровым воротником и бобровую шапку — бобер камчатский, — и видал я в окно, что и гости к нему приезжали тоже бобровые, то есть воротники и шапки. Люди солидные.

Я часто возвращался ночью из театра или мастерской, где работал, и видал, как к воротам подъезжали тройки с компаниями и как хозяин мой вылезал из тройки, весело прощаясь с приятелями.

Хозяин не интересовался, как видно, тем, что живет у него художник, и раз только, здороваясь со мной на дворе, улыбаясь, сказал мне:

— Это вы там, в театре, декадентство разводите, газеты все пишут...

При этом, подмигнув мне, как будто что-то зная, хозяин мой сел в сани и скрылся за воротами дома.

* * *

Любил я дом, лежанку у печки и уютный сад, где из-за берез и лип мирно выглядывали золотые купола церкви. Любил я Третью Мещанскую улицу в Москве и переулок у Троица-капельки. Любил мирную жизнь московскую.

Газеты волновались из-за театра и подряд ругали мои декорации и живопись. А в «Московском листке» писали: «Шаляпин опять шумит».

Театры были полны. Балет, ранее мало посещаемый, начал привлекать полный зрительный зал, и на именинах именитого купца Морозова один московский ювелир, Чегелев, с черными глазами, за именинным столом протянул в мою сторону бокал шампанского и сказал, чокаясь со мною:

— Ну, выпьемте за котят...

«За каких котят?» — подумал я с удивлением.

Оказалось, Чегелев так прозвал балет. Это очень развеселило всех гостей за именинным столом.

Все так просто-просто: Москва и ее быт. Быт русский.

Из-за границы приезжали звезды. Поют. Частые бенефисы. Артистам подносят серебряные венки, портсигары, булавки, сервизы. Артистки — восторг и красота. Шляпы — перья паради. Минделевича Саша Климов вылечил от угрей, макая его голову в ведро со свинцовым раствором. Тот хотя немножко и захлебнулся, но вылез. Лицо стало чистое. Все так просто: быт русский... А московские газеты стали писать только о балете, что рассердило Суворина и его «Новое время». Тут-то вдруг и вышел манифест от царя. «Следить за закономерностью поставленных от меня властей», и при этом еще — выборы в Государственную думу.

Это уже было не так просто. Москва взволновалась. Митинги на площадях. Носят знамена. Все много говорят.

* * *

В Училище живописи, где я был старшим преподавателем, ученики-художники тоже замитинговались. Ночные и дневные собрания. Свобода искусству. Изящное искусство или неизящное... Так много вопросов. Вероятно, для того, чтобы разрешить их, вход в Училище забаррикадировали и охраняли по очереди. Глаза учеников горели лихорадочным огнем.

— Вон, смотрите, — говорил мне один юноша-художник ночью, — смотрите, едет черная сотня...

Я смотрю в окно. Напротив, у почтамта, стоит извозчик, и никого больше нет.

Через день или два этот самый юноша пришел к товарищу по Училищу и вложил свои руки в горящую железную печку и сжег обе до костей. Юноша оказался сумасшедшим...

В эти дни, когда все заговорили, а кое-кто стал и сходить с ума, заговорил хозяин моей квартиры на Третьей Мещанской улице.

Так как люди московские сразу поняли все, что и как надо, то первым делом и разделились на партии: кто к какой принадлежит. Это, вероятно, надо и так полагаются по манифесту.

Я, конечно, не знал точно, что хозяин мой расстроился, но он, как видно, расстроился сильно и даже пришел ко мне советоваться. Говорит, что не может определить сам себя и другие тоже — к какой партии больше подходит.

— Если я, — говорит, — коммерсант и коммерческие науки, то полагаю...

И начал, и начал, и при этом держит меня крепко за пуговицу.

— Вы поймите, — говорит, — за закономерностью следить... Раз они закономерны, тогда выходит...

И опять говорит, говорит. Наконец, спрашивает меня:

— Что такое неприкосновенность личности? Я не перехожу Рубикон, да и что такое Рубикон?.. А если перейду, я, с коммерческой стороны, — человек цифры. Туда надо смотреть ясно. Всюду автономии, все отделяется одно к другому. А я кто такой?..

Я думал, что ему ответить, но, как на грех, в политике я — ни черта.

Тут и выручил меня приятель-гость, человек солидный, архитектор, который пил у меня чай и слушал наш разговор.

Он дал серьезный совет хозяину:

— Сходите вы, — говорит гость, — в управу. Не в управу благочиния, нет, а в городскую управу. Там вас поймут и скажут, что надо. Какой вы партии... Там это уж знают. Привыкли определять.

— Вот это дело, — обрадовался хозяин и сжал моему приятелю руку. — Хорошо это вы, — говорит, — придумали. Я сейчас поеду в управу.

— Вася, — говорю я приятелю, — трудно ведь это определить, хозяина.

— Конечно, трудно, черт его определит, кто он, — отвечает Вася серьезно.

— Ну, а отчего, — интересуюсь, — ты его не в управу благочиния послал?

— Тоже хороши вы, видно, много понимаете... Управа благочиния... Что вы, право, ведь это духовное ведомство — благочиние, а не гражданское. Там теперь, наверно, что делается — беда... Вы знаете, вы теперь можете в магометанство перейти, и никаких. А прежде — шалишь. Прежде это — ссылка, куда Макар телят гоняет. А теперь заведите девушек хоть дюжину, спросят вас — что такое? Жены, больше ничего... Свобода совести, понимаете? Вот это что. Надо понять, что делается... Да, вот вчера у «Яра» встретил Смирнова, руки пошли в уборную мыть. Смирнов говорит этому, который полотенце подает: «Ты знаешь, — говорит, — кто я?» Тот отвечает: «Как не знать, ваше степенство, мы всех именитых знаем...» А Смирнов, конечно, уж пьян, говорит ему: «Ошибаешься, любезный, я не ваше степенство, а председатель Автономной Московской Республики!» Вот оно как... Вот и попробуйте определить, кто — что. Это не просто... Художникам, музыкантам, актерам можно как хочешь — у них фантазия трень-брынь, а вот архитектору это не шутки... Ведь это — переверот... Это все равно, что дом перевернуть. Где пол, потолок, вьюшки, форточки — неизвестно. Дверь нельзя открыть. Все — вверх тормашки. Понимать надо. Тут смешного мало...

Тем временем подали хозяину вороного, и я увидел, как он сел в пролетку и, покачивая головой, вероятно от наплыва мыслей, поехал в управу. Я смотрел в окно

и думал: «Вот хозяин, определи-ка его, кто он». Вдруг вижу, идут ко мне по двору ученики.

Ученики пришли и приглашают меня на ночное заседание совместно с банщиками.

«Что за история? — думаю. — Почему с банщиками? Потому, вероятно, что голые они, тело, что ли, писать?» Но на совместное заседание с банщиками мне попасть не довелось, а когда я встретил хозяина, он показался мне расстроенным:

— Ну, — говорит, — был я в городской управе. Четверо меня расспрашивали, час-два. И какое свинство, подумаете... Эти четверо говорят мне: «Мы, — говорят, — не определяем. Это, — говорят, — дело не наше...» Не угодно ли — не определяют... «Почему же, — говорю я им, — вы меня слушали, — говорю, — два часа битых? Зачем?» — «Да так, — говорят, — очень интересно». Теперь все так. Все говорят. Очень даже хорошо послушать... Как вам это нравится! Нет... Еду в Петербург, в Думу! Там узнаю. Все узнаю. Погодите... Узнаю в Петербурге — демократ я, или социал, или другое какое крыло.

На другой день хозяин мой, действительно, уехал в Петербург.

В саду подошел ко мне его кучер Петр. Посмотрев на меня, вздохнул и сказал:

— Заметил я, коды Александр Петрович на сером жеребце едет, завсегда веселый, а на вороном — на ж тебе, всегда сердитый. То ли, се ли, не в духах. И завсегда меня зачнет бранить. А я, признаться, вороного не люблю. Конечно, хотя и черный, а тварь Божия... Вот и соседу нравится. «Пушай, — говорит, — продаст мне вороного твой хозяин. Все равно отберем лошадей у них. Пушай лучше продаст скорей...»

* * *

Из Петербурга хозяин явился мрачнее тучи.

Встретил меня у ворот, на дворе, развел руками и, сняв с головы котелок, помаhal им в воздухе.

— Э-эх, скажу вам, ну и лидеры... У всех был. У всех. Слушали. И не могут... К какой партии я подхожу, не могут определить... Ну, э-эх и Россия — эх ты, Россия! И, склоня голову, хозяин мой пошел в подъезд.

Стоящий рядом кучер Петр сказал:

— Это верно. От эдакого всего у кого хошь ум раскорячится...

* * *

Прошло много, много времени, и встретил я в Париже сухощавого и поседевшего человека. Большие серые глаза его были полны грусти.

Худая желтая рука как-то робко мешала ложечкой кофе. Это был мой московский хозяин. Шумная парижская толпа спешила мимо.

— Дождик все тут идет, — говорил хозяин глухо.

— А помните наш милый сад, — говорил я ему, — стол деревянный в саду, где вы пили чай, в Москве, на Третьей Мещанской, у Троица-капельки?.. Помните?

Он пристально посмотрел на меня серыми глазами.

— Помню. Капельки. Это ведь исстари... Кабак стоял там. Да, кабак. Там водку пили, а остаток из чарок, капельки-то, собирал кабатчик. Вот на эти капельки он и построил храм-то. Да, построил. А я, я-то... Все потерял... все отняли. Все до капельки. Теперь один тут. Вот.

— Ну, а нашли вы, к какому крылу пристать? — попробовал я рассеять его шуткой. — Определили вас, наконец?

— Нет. Трудненько это, не определили... Вертели меня, правда, вертели, а определить не могли ничем. Один очень старался. Полтора года со мной спорил. Даже глаз у него ушел под лоб. Рот скосило. А не мог.

И на лице старика, хозяина моего, показалась довольная улыбка.

В лесной сторожке

После жаркого дня возвращаюсь с охоты. Собака моя, Феб, идет около ног, высунив язык.

Спускается сумрак на дали лесов, но над ними еще алый след погасающей зари. За мелколесьем далеко видна четкая полоска Вепрева озера. Засыпают далекие леса...

Я иду тропой, по краю поруби. Высокие желтые травы, пни и гущи пышно-розовой дремы. Стрекохут без умолку кузнечики, пахнет травой и медом. Передо мною взлетел ночной ястребок, козодой, и, резко затрещав, пропал в воздухе.

Далеко я зашел, надобно завернуть к лесу, там где-то недалеко есть сторожка.

Кажется мне, что я уже был прежде в этом лесу. Вот в той стороне должна быть сторожка. Я долго иду краем леса.

Темнеет, а сторожки все нет. Должно быть, не туда попал. Заблудился.

Вдруг Феб отчаянно, со злобой, залаял, пятясь мне в ноги. Он что-то видит перед собой. Я смотрю вперед — ничего нет, а Феб лает, и шерсть на спине оцетинилась. Я поднял ружье, но ничего не вижу. Пошел в сторону. Феб, идя со мной, бросается назад, ворчит и лает. «Что такое, — подумал я. — Не медведь ли?» Остановился, вложил в ружье патроны картечи...

Крутом тишина. Стрекохут кузнецы, и над мелколесьем в лиловой мгле начинающейся ночи круглым красным шаром вышел месяц. Потемнела земля.

Внезапно я услышал шум колес. Впереди дорога, кто-то едет. Я вышел на дорогу и увидел там белую лошадь и телегу. В телеге лежит парень. Я крикнул:

— Подвези, молодец.

— Садись, — ответил парень.

Поехали.

— Застрелил чего? — спрашивает парень.

— Жара была, — отвечаю. — Вот один бекас.

— Чего это? — засмеялся парень. — Чего, право, неужто ешь эту малость? Приезжай на Вепрь, к нам, что утиц — масса. А это чего...

Справа шел большой лес. Месяц освещал дорогу. Я увидел, наконец, спрятавшуюся в лесу избу сторожа, слез с телеги и попрощался с парнем. В окнах сторожки не было огня. Я отворил дверь и вошел в избу. Темно. Я спросил громко:

— Есть кто дома?

Мне никто не ответил. Как-то грустно стало мне, когда я зажег спичку. Я искал, нет ли свечи или лампы, и ничего не нашел. Луна освещала в окна край стола и угол темной печки. Я сел около стола на лавку. Что-то было тоскливое и жуткое в этой бедной избе, по которой бродил свет луны.

Феб опять заворчал, и мне показалось, что в сени кто-то вошел. Послышались шаги, отворилась дверь, и на пороге показалась странная и страшная фигура.

Это был человек в сером армяке, с тусклым фонарем в руках, но из ворота армяка вместо головы... торчала метла — пучки хвороста. За плечами невероятного человека висела одностволка.

«Что за чертовщина», — подумал я.

Человек расстегнул армяк, посыпались сучья... И белая, лохматая голова старика и его смеющееся лицо показали среди рассыпанного хвороста.

— Эх, чего, барин, ты, а? Что, на охоту приехал али заплутал?

Странный старик говорил, весело смеясь:

— Вот рад... Сейчас чайник растоплю, чайку попьем, рад тебе, барин... Помнишь, малинку купил у меня... Два выводка тебе показал... Награду ты дал, голову сахару купил... И сейчас грызу.

Старик снял армяк и ружье, повесил их на гвоздь. Он достал лампочку из кладовки, зажег ее и стал хлопотать у печки. Потом разложил на столе сахар, лепешки, бурак с черникой.

— Метла, брат, я, вот кто, — сказал он внезапно и засмеялся. — Да как быть, барин, скажи? Хозяин леса-то, Блуднов, купец, придет в три года одна, даст пятерку, и все тут, а то редко-редко трешник пришлет... Старый-то, когда помирал, нака, 25 рублей через попа прислал. Совесть, знать, взяла. Ну, да Бог с ним. Купцы-то крепкие. Сын-то еще хуже... Сорок пять лет у них сторожу... Как жить, скажи? Сторожи лес, а лес велик. Вот и живешь, хлеб жуешь... Да, метла, метла мне помогает. Я в лесу-то тебя видел давеча. Только пужать не хотел и боялся — стрельнешь. Собака твоя лаяла горячо. Ну, а я ни гу-гу. Стою — смотрю... Постой, барин, забыл... У меня вот есть гостинец еще.

И он достал маковых лепешек в сахаре.

— Это бросили мне бабы, — сказал он. — Метле, то есть, чудному...

Видимо, сторож был рад, что я зашел к нему. Я достал из ягдташа коньяк, ветчину, коробку сардин и с жадностью стал пить чай, угощая и старика.

— Хороша этта у тебя наливка, эх, хороша с чаем, — сказал старик, подогревая еще один чайник.

Я помазал ветчиной хлеб и дал Фебу. Старик погладил его.

— Спугал я тебя, собака... А хорошая у тебя, барин, собака, чуткая.

Выпив и закусив, старик разговорился:

— Эх, и жисть здесь... Давно живу здесь и женат был допреж. И дочь была, и сейчас жива... Жила жена, значит, здесь со мной, и одна зашел человек, вот, как и ты, только гармонист... Ходит, значит, по деревням прохожий человек. Играет по свадьбам. Ну и играет, ну прямо душу отдашь, и гармонь у него в сорок ладов. Из себя тоже казист, хорош, и казакин суконный, и шарф красный шелковый на шее. Сам черный и кудрявый. Грамотный... Играет так ловко, жена слушает и плачет... Он и жил у меня тут, и жену у меня увел... Записку оставил. Я взял записку и пошел на Вепрево к попу. Тот мне читает. Написано: «Прости меня, добрый человек, Христа ради. Я так влюбился в твою жену, и она тоже, что оставила дом твой, и оба мы убежали. Жить не могу без нее...» Влюбимши, значит... Ну, подумал я, поплакал маленько. И верно, думаю, пускай, значит, надо так... Что я, жисть моя бедная — сторож, а он из сердца слезы зовет, горячие слезы. Пушай жисть их будет... Живу в лесу,

ничего не знаю, чисто зверь. А он, гармонист, душу человечесью тешит. Пушай... И дочь тоже ушла, к попу в няньки поступила. Один я стал. Одному мне стало лучше.

— А что же ты, — спросил я, — эдак чудно голову хворостом закрываешь? Что такое это?

— Это... Это вот и есть тут самое мое мошенство... Приходили ко мне много. Ну, знаешь, жалеют, расспрашивают — где жена, да как жена, да что жена. И заметил я, что люди будто рады, что такая беда со мной. На слове жалость, а у самих пересуды и злорадство. Тогда стал я людёв бояться, ну, и взял я голову-то свою метлой и сделал. Право слово — метлой... Да по лесу, а то вечером по дороге — иду. Как кого повстречаешь, как кто увидит меня — метлу то есть — просто беда... Бежит... А потом слух прошел, что в лесу-де Блуднова человек, без головы ходит; не человек, а одна метла. Может — леший. Никто в лес-то ко мне нипочем и не идет. Вот я как...

Старик весело рассмеялся.

— А и сам тоже, бывает, побегу кое за кем попутать, — прибавил он, подмигнув мне. — Ну, по всей округе слух и пошел: Метла да Метла... И говорить стали, что ежели той Метле, то есть мне, значит, хлеба или чего бросить, то Метла и не трогает. Бабы, смотри, и бросают... Вот тут и есть мое мошенство...

Старик приятно и лукаво посмеялся, потом умолк.

— Барин, — внимательно посмотрев мне в глаза, сказал он тихо, после молчания. — Чем жить, скажи?... Я животина, тоже человек. Есть надо... Блуднов что ж даст? Видит долю мою бедную, да купец крепкий... А гармонисту тому дают — слышал от попа: хорошо живут... Дочь замуж вышла — тоже хорошо. Трое уже детей... А я, Метла, верно, сторож лесу... Ну, встречные и хлебца бросают, спасибо... Кто что... Вот ты малинку купил, а там лисицы шкурку продам за рупь. Ну, и живешь... Люблю я лес, и чего он сказать может, так того и пересказать нельзя: лес-то. Так и душу до дна нельзя увидеть... Не велено.

Растроганный его рассказом, я сказал:

— И я лес люблю... Скажи же мне, милый дед, что тебе лес говорил...

— Лес-то что говорил... Много он мне, барин, говорил... Да вот, одна сказала он, лес, что он тоже вроде гармониста, и песни поет, и людям утеха, отрада души и покой... А его вот рубят... И уйти ему нельзя от людей... Стоит лес, краса... А вот жена-то из лесу ушла. Любовь ее увела...

Старик помолчал.

— Все же нехорошо, что она покинула тебя, — сказал я.

— Чудак ты, барин... Ты-то подумай, что ведь ей в лесу скучно было, леса-то она не любила, понял. Лес ей все равно что ничего. Значит, и я ей тоже все равно что ничего... Эх, чудак ты, право, барин...

Ночью я спал на сене в сторожке. Рано утром дед ушел, и я его больше не видел. Дома я рассказал крестьянину Павлу, охотнику, что видел Метлу.

— Неужто, — удивился он. — Вот, поди, напугался.

— Да, — пошутил я, — напугался, чуть не помер...

— Ну что ты, ведь вреда от него нету. Так, попугивает, более ничего. За малиной в лес — там по оврагу ее много — бабы пойдут, и лепешек, хлеба берут с собой. Метлу, как увидят, то бегут и бросают ему поесть — кто что.

— Павел, ну подумай — если у него головы-то нет, чем же ест он лепешки, хлеб? — спросил я шутливо.

Сметливый Павел понял, что я шучу, и лукаво ответил:

— Пупком, говорят, ест. У него пупок с зубами, вот что. Это мне майор в Караше, в трактире, пьяный говорил: конечно, у него, говорил, зубы там, в пупке то есть... Вот это-то и есть удивление.

Крыша Мира

Далеко пролегли пустынные степи...

В выси гор загорелись утренними огнями вершины Гималаев. Кондоры плавно кружатся в утренней мгле.

Я долго ехал пустыней Гиндукуша из последнего кишлака Памира. Устал и я, и две красавицы дивные, мои лошади. Они идут тихой ходой. Уже погасли звезды ночи, и утренняя свежесть засияла на небесах...

Скорее бы добраться до жилья: ведь бутылки с зельтерской водой, обмотанные проволокой, лопнули еще вчера днем в сильной жаре, а как быть без воды в пустыне... Скорее туда, к этим огромным, тихим холмам гор. Тайными глыбами, далекими тенями уже видны они. И там — Крыша мира...

Еду, еду, ровно стучат копытцами мои красавицы — Кыс и Карагес, по твердой земле пустыни. Орлы с голыми шеями медленно взлетают и кружатся надо мной. Есть что-то злое и мрачное в их спокойном полете.

Я чувствую вдруг, как я совершенно одинок в пустыне... Куда я заехал!.. Вдруг вспомнилась мне Москва. Как хорошо в Москве... Лучше мне было бы вернуться из Самарканда.

Но так хорошо ехать верхом куда-то... К самой Крыше мира...

Сидит целая куча кондоров, выгибая шеи. Я перехожу на рысь, я чувствую, как пахнуло чем-то тлетворным, и вижу, подвезжая ближе, серые груды, трупы верблюдов. Их три.

У третьего верблюда, который дальше других, как будто сидит сарт в чалме и все кланяется, как бы молится.

Вдруг я остановился, быстро достал из мешка, с соседней лошади, маузер: я вижу — барс откинулся от трупа верблюда, побежал тихонько. Стреляю, передвинул патрон. Огромная куча кондоров сначала побежала по песку, потом поднялась в воздух, качая огромными крыльями. А барс все ближе, ближе: он бежит на нас... Я выстрелил опять и услышал над собой шум крыльев. Барс исчез, но издали я увидел как бы темную кошку, которая прыгнула кверху, хватая птицу.

Лошади сами понесли бешеным карьером. От неожиданности я потерял стремя.

И долго несли они меня по степи...

Забрав влево, едва слушаясь меня, они перешли на иноходь.

В цветных опалах блистают вершины гор. Они громадны. Во мгле глубокой дали, под горами, я вижу как бы темный шар. Там — карагач. Карагач — это дерево. Там, значит, вода, пристанище...

Я хочу осадить лошадей, но умные, милые красавицы мои, Кыс и Карагес, тоже увидели карагач и, не слушая меня, летят к нему карьером. Они храпят от усталости, переходят опять на иноходь.

Влево от меня показался холм, покрытый густой травой, за холмом белеет дорога. Я повернул на нее. Из-под копыт лошадей, как фонтаны, взлетели кверху два золотых фазана. Через минуту — опять.

Я остановился, слез с седла. Ноги дрожат. Я достал дробовик, привязал к поясу повод лошадей и пошел, едва двигаясь от усталости.

Уже светало. Фазаны вылетают все чаще.

Трех золотых фазанов я уложил в охотничий мешок.

* * *

Под огромными ветвями карагача, нависшего над землей круглой шапкой, — чайхана, чайная. В чайной и кругом на циновках и матрасах полулежат проезжие. Пьют зеленый ароматный чай и едят лепешки. Индус, взявший у меня лошадей, постелил мне ковер в тени дерева и поднес чай. Я вижу, как мои Кыс и Карагес легли в тени, кивая индусу красивыми головами, когда тот подал им корм.

Среди проезжих, в стороне, сидели высокие нагие пастухи, как бронзово-зеленые изваяния, цвета нефрита. Под белыми чалмами у виска воткнуты красные маки. Восхитительный, ярко-красочный Восток... Я ел жареного фазана, а глаза пастухов, с большими ресницами, улыбались мне. Оказалось, им смешно, что я ем птицу.

От усталости, будто меня избил, я заснул тут же, на ковре, как убитый, а когда проснулся, был поздний вечер.

Горел костер, лежали верблюды. Около них, отдельно, сидели женщины, и лица их были глухо закрыты, только черные щели из волосяной щетины оставлены были для глаз.

Пестрая толпа сидела и лежала у костра. Из чайханы вышел человек. У него длинная черная шевелюра, набок молодцевато надет русский белый картуз. Он подошел ко мне и весело сказал:

— Добро-здорово, капитан...

Я так обрадовался, что вспрынул с ковра и взял его руки:

— Вы русский?

— Нет, капитан... Я тут — здешний.

— У меня коньяк есть, — сказал я. — Садитесь, выпьем с чаем...

— Хорошо, капитан.

И, наклонившись, человек сказал мне на ухо:

— Вино — можно. Тут есть.

С этими словами человек вошел в чайхану...

Все сидевшие у костра были как-то похожи на русских. Только лица немного потемней от загара. Мне казалось, что это студенты из Московского университета нарядились нарочно, как на святках, в халаты и чалмы. Действительно, как много было в Москве лиц, похожих на сартские...

Мой новый знакомый, индус с шевелюрой, уже сидит со мной на ковре, и мы едим с ним плов из барашка. Он пьет водку как хочет. Оказывается, он бывает в Нижнем Новгороде на ярмарке, покупает ситец московский — морозовский, а индуски делают из ситца шаровары и платья.

Еще удивленье — оказалось, что он не индус, а цыган. И зовут его Арас. Вышло так, что я вроде как к «Яру» попал.

К нам присели и хозяин чайханы, и другие. Я предложил хозяину-индусу выпить, он — одетый весь в белое — сложил руки на груди и поднял глаза к небу — а небо темное, синее и глубокое, в блестящих звездах южной ночи... Индус выпил рюмку коньяку, взял сухарь и шоколад и, приложив руку ко лбу, ушел.

А я до того был рад встрече с Арасом, что мы выпили все вино в этом подворье, под ветвями карагача, на Крыше мира...

Уже погас фонарь чайханы, потемнели дальние Гималаи. Узоры вечных льдов забелелись в выси. Как хорошо написать все это. Я уже взял краски, но Арас говорит мне:

— Афганцы не любят, не снимай, — тут женщины есть... Поедешь — убьют... Вера такая.

Я все же тихонько, в маленький ящик, пометил тона ночи.

— Никто не может перейти гор Гималая, — тихо рассказывал мне тем временем Арас. — Но, слышно, там долго люди живут. Другой пятьсот лет живет, не то старый, не то молодой, никак узнать невозможно. Никто про то не знает: пройти гор нельзя.

— А далеко до гор?

— О-о... далеко, очень далеко: до границы еще двести верст.

— Как странно, а кажется, так близко, точно вот здесь...

Арас, толкуя со мной о великих горах, рассказал, что индусы живут по ту сторону Гималаев:

— Их там пятьсот миллионов, — говорил он, — а здесь, по эту сторону, — все цыгане живут: двести миллионов.

Кажется, Арас приврал изрядно, но нравится мне Арас, и я чувствую себя с ним под тенистым карагачом, как в Москве.

Цыгане, по словам Араса, оказывается, что не просто так себе фараоны, как их звали московские купцы, а есть цыгане-люди, те, которые у нас в России лошадей продают, и есть цыгане-боги, те, которые песни поют.

— Как боги? — спрашиваю.

— Так, — отвечает Арас. — В горах Гималаев давно было много цыган. Жили они добро-здорово в низовьях гор, и были все крестьяне. А повыше в горах жили их господа, тоже цыгане. И эти цыгане не делали ничего, а только пели. Про любовь пели, жизни красу, добро-здорово... И которые жили ниже, те считали тех, кто жил выше, — богами. Только народ, снизу который, выгнал господ сверху — своих богов-то. Иди куда знаешь, довольно петь про любовь. Ступай к черту... И вот пошли они, боги, через Афганистан, Памир, Кавказ, кто куда.

— Скажи правду, — вдруг перебил самого себя Арас. — Есть у вас в Нижнем цыганский банк?

— Нет, — говорю. — Цыганского банка нет.

— А в Москве, Петербурге есть?

— Нет, не слышал.

— Скажи правду, — настаивал Арас, — в Лондоне, Париже есть цыганский банк?

— Тоже будто нет.

— Вот видишь, а цыгане в Москве есть, в Петербурге есть, в Париже, в Мадриде — где хочешь, добро-здорово есть...

Я вспомнил, что правда, в какой-то опере хор поет «Испанские цыгане, мы прямо из Мадрида», и сказал:

— Верно, цыгане всюду есть.

— Вот видишь, капитан, цыгане-то везде есть, а денег у них нет... Они бедные, их вот отсюда выгнали. Они были господа, наши боги, а теперь поют они везде про красоту жизни, про любовь... Вот что Крыша мира-то!

Арас встал, бросил в костер пучок сухой бересты. Пламя вспыхнуло, и я увидел, как из-за веревки, разложенной по земле кругом карагача, смотрят на нас тысячи блистающих и мерцающих глаз.

— Что такое, — сказал я Арасу.

— Это ящеры, капитан, пришли на огонь, а перейти веревку не могут. Она из бараньей шерсти, они и боятся. Баран их ест, ящер, змей...

Арас засмеялся, похлопал в ладоши. Тысячи огоньков-глаз за веревкой мгновенно погасли. Ящерицы исчезли.

— Только не ходи, капитан, за веревку, — сказал мне Арас, — и змеи есть, изжальят, умрешь...

Все притихло под звездами. Все уже спало под карагачом.

* * *

И после, когда я видел цыган и слушал пение одной из богинь, Варвару Панину, в их карих глазах я видел далекие Гималаи, и с песней их я в чувства лучшие летал; в мечту любви заманчивые чары — и вспоминал я мою смелую и радостную юность — горе-березоньку и тайную пустыню Гиндукуша.

Московская жара

Давно было это. Народу в Москве осталось мало. Все уехали на дачу:

Летом все живем на даче.
Невозможно нам иначе,
Будь хоть беден, хоть богат,
Город летом — сущий ад...

Я смотрю в окно. Сосед-часовщик из немцев стоит у своей лавки. Я ему говорю из окна:

— А часы-то, опять не ходят...

— Что же вы хотите, — отвечает часовщик. — Такая раскаленная атмосфера. У меня в магазине все стоят...

Железные крыши московских домов, зеленые и красные, блещут от солнца. На крышах сидят вороны — рты у всех раскрыты: от жары...

Я лег на подоконник и лениво смотрю на улицу, на окна московских домов, на синюю вывеску «Восточные номера», на ворота, овощную лавку.

На углу — городской, бляха сияет на солнце. Воздух как бы тает, струится под солнцем. Едут ломовые, порожные, дребезжат. На углу, поворачивая, задели тумбу. Остановились. Слезают и у овощной лавки распивают квас, опрокидывая бутылку в глотку, стоят долго — какой-то разговор с городovým. Потом поехали, дребезжа по мостовой. Скука и пыль. Лень.

А надо идти в мастерскую. Не поехать ли лучше купаться в Косино? Да одному скучно. Я лег на диван.

Вдруг слышу в коридоре звонок. В дорожном пальто, весь в пыли и обливаясь потом, ко мне вошел мой приятель Кузнецов, из себя полный, помещик, лицо раскалено жарой. Ну, какой помещик, так — живет в деревне. Его можно считать и художником: занимался живописью да бросил.

— Здравствуй, Костя, ну и жара... Приехал на выборы, остановлюсь у тебя.

А дворник уже приносит чемоданы, все серые, в пыли. Глядя на них, я вспомнил дорогу к Кузнецову — Тарусу, луга, леса и Наташу, дочь отца Василия.

— Что тебе за охота, — говорю я, — ехать из деревенского рая в такую жару, в пекло, в Москву. У тебя там и речка, и сад. И какой сад — диво... А ты — выборы... А дочь отца Василия, я слышал, вышла замуж...

— Кто тебе сказал: нет... Да кто возьмет: погост, баздоходное место.

— А хороша Наташа...

— Хороша, это точно...

На столе у меня стояла бутылка Гуниади Янус, с ярлыком, на котором красное яйцо.

Умывшись с дороги, Кузнецов освежился, принарядился, и мы решили поехать с ним обедать. Тут-то, перед самым уходом, Кузнецов и обратил внимание на бутылку с ярлыком.

— Что это? — спрашивает. — Отчего на бутылке яйцо?

— Вода, — отвечаю, — для желудка. Вообще — бодрит. Иногда пью. Вода хорошая...

— Дай-ка, я попробую, — и берет стакан. — Пить хочется... От жары...

И не успел я оглянуться, как он всю бутылку Гуниади и ахнул.

— Что ты, — говорю. — Всю бутылку. Это нельзя.

— Как нельзя, когда жара... Жажда...

Вскоре мы сели на извозчика и поехали в Петровский парк обедать.

От Триумфальных ворот, смотрю, Кузнецов отвернулся, нагнулся с пролетки и как будто выпускает чернила изо рта.

— Володя, что это черное... — затревожился я. — Что это у тебя, точно чернила льются...

— Ничего... Жара, — отвечает он. — Да и вода твоя...

— Но отчего же она почернела?

— Не понимаю, — говорит. — И оставь меня...

Дорога ровная, кремнистый путь, — а по дороге, вижу, сзади, — точно черная змея ползет за нами: Володины чернила...

— Ну, водица, — только качает головой Кузнецов.

Пообедали. Еще где-то ели и пили. В голове от жары туман, в глазах — дым.

По дороге домой Кузнецов объяснил мне, что вода, которую он пил, «черт знает, какая сила, и яйцо не зря там помещено».

И разговорился:

— Яйцо, Костя, это символ жизни, понимаешь... Ты вот пьешь и не понимаешь. А я, брат, понял... Ее надо с водкой пополам, твою воду... Во мне, брат, все играет. Вот яйцо-то почему. Ага... Это Эрос... Понимаешь теперь... В «Мавритании» сегодня четыре из русского хора мне мигали. Адреса в кармане, брат... Понимаешь... И все — твоя вода. Я домой не еду.

— Стой! — закричал он вдруг извозчику у аптеки на Тверской-Ямской.

Вылезая из пролетки, он мне сказал:

— Как называется вода-то... Как ее... Пойдем, пожалуйста: скажи им.

В аптеке одну бутылку Гуниади Янус он положил в карман. А другую ему откупили. Он пил, смотря на провизора. Провизор, брюнет, как все провизоры в Москве, поглядел на Кузнецова через пенсне и кисло сказал:

— Прием не более полутора стаканов...

Кузнецов тоже надел пенсне и, молча глядя на него, выпил всю бутылку.

— Да что ты, подумай! — говорю я ему, садясь на извозчика. — Ведь это же пюргатив, ты заболеешь.

— Оставь, Костя, дай мне жить, я хочу жить. Я хочу жить. Понимаешь... Ты брось нотации — пюргатив — у меня своих довольно... Не понимаешь всей глубины... Что у меня тут...

И Володя ударил себя в грудь.

— Тут, брат, буря! Мне вот как надоела и деревня, и сад... А эта живая вода все уносит к черту... Обновление. Иностранцы понимают, какая вода нужна нам. Другое было бы, если б я эту воду раньше знал... А то что — пошли будни, все так положительно. Спрашивают вечно — что ты любишь, какой соус, телятину... Надоело, понимаешь... Все эти заботы обо мне... Довольно...

Володя говорил, а по его лицу бежал пот. У моего подъезда он сказал:

— Я еду дальше. Прощай... Ваню надо увидеть... И других.

Ни ночью, ни к утру Кузнецов не вернулся — загулял, должно быть.

* * *

Утром опять ясное, раскаленное небо, хоть бы облачко. Жарища. Блещет томи-тельно медь московских куполов.

Я пошел в мастерскую, в Большой театр. Долго шел я кверху со сцены в мастерскую, по железной лестнице: мастерская под самой крышей. На полу там лежит огромный загрунтованный холст для декораций. Маляры спят на куче сшитых холстов, у всех маляров открыты рты, на губах сидят мухи. В мастерской, под самой крышей театра, такая жара, как в печке, и невыносимо пахнет клеем. В медной каске стоит дежурный пожарный.

— Жарко здесь, — говорю ему. — Просто пекло...

— Да-а... — отвечает пожарный. — Мы в огне живем всегда: привычны... А и то здесь рот сохнет...

В темном углу мастерской, там, где бочки с грунтом, я вижу — что-то двигается. Как живой мех. Там кишат тысячи крыс.

Я разбудил маляра Василия и говорю ему:

— Что же это, Василий, — смотри.

— Чего? — отвечает Василий. — Это крысы. Жара теперь. Ишь их што...

— Я принесу малопульку, вот перестреляю, — говорю я.

— Да что вы, нешто можно, изгрызут всего, их тут тышши... От жары оне злые... В них Карл Федорыч однова кистью бросил — так насилу ноги унес. Хорошо, хоть пожарную кишку пустил, а то съели бы...

Из душной мастерской я скоро ушел: лень работать. От жары.

На Тверской, в Английском клубе, куда я забрался, ни души. Только старые лакеи в ливреях. На большом длинном столе, в дивной зале, накрыт стол; сбоку — другой, маленький. На нем водки и закуски. Один я сажусь обедать.

Смотрю — входит старый генерал. Присел недалеко. Я выпил рюмку водки — и он, я закурил икрой — и он.

Лицо у генерала тонкое и красивое, слегка смугловатое, и есть в нем что-то восточное. Когда он наклонил голову над тарелкой, то в больших глазах его мелькнули синие огни и какая-то особая добрая кротость.

Думаю: «Генерал наш и не наш — точно бы другой страны».

— Вот, никого нет, — сказал я ему, чтобы начать разговор.

— Должно быть, все разъехались, — ответил он.

— Жара, лето. Понятно... А вот как странно — когда только пусто, я замечаю, какой у нас красивый клуб... Прекрасные залы, библиотека... Здесь дух прежнего... Много было здесь настоящих людей, которые ушли... Я чувствую, слышу здесь шаги Александра Сергеевича Пушкина.

— Да, правда, — ответил генерал. — Отец мой любил этот клуб.

Смуглый генерал сказал слегка по-английски — «клуб».

Я радостно удивился. Смотрел на него и в чертах лица его увидел я как бы брезжущий облик Пушкина.

— Я помню отца немного, — рассказывал мне генерал. — Но помню, что он любил русскую зиму больше лета... И я, представьте, тоже не люблю жары. Петербург мне кажется лучше, чем московская жара.

— Ну, как же, генерал, — говорю я, — ведь ваши предки — арапы...

— Арап, — а вот, представьте, — жары не люблю...

Я засиделся в тот день в клубе с Александром Александровичем Пушкиным...

А дома я узнал, что Кузнецов еще не возвращался.

Потом посыльный принес записку. Пишет какой-то доктор: «Приезжайте немедленно. Необходимо. Мы вместе с Володей Кузнецовым. Убедительно просим и ждем. Сокольники. “Золотой якорь”. Доктор И.И.».

Я подумал-подумал и поехал: все равно, когда такая жара.

В отдельном кабинете деревянного ресторана «Золотой якорь» — пир. Канделябры освещают стол, заставленный винами. Блестит хрусталь бокалов.

За столом — доктор, присяжный поверенный, архитектор и Володя — приятели мои, все голые, только перевязаны салфетками. Все немножко похожи на банщиков.

— Вот отлично, что приехал, — встретил меня Володя. — Вот это дружба... Понимаешь, это понять надо. Это — воздушные ванны... Понимаешь... Спроси Ивана Ивановича. Он клинический врач, не кто-нибудь... Ванны воздушные принимаем.

— Это верно, — обратился ко мне доктор. — Видите в окнах — леса сосновые, резервуар, гениум¹, сосновый гениум. Извольте видеть: Володя, открой рот, покажи свое небо. Смотрите, видите, — говорит доктор. — Небо видите?

— Да, черное, — говорю я. — Это только у злых собак бывает.

¹ От лат. *genium* — дух.

— Как у собак? — удивился Кузнецов.

— Открой рот, — приказал доктор. — Смотри: это солнечный удар жара, и вы его спаситель — не будь Гуниади Янус, — прощай, Володя...

— Слышишь, что доктор говорит? Еще полчаса, и прощай — потому жара. Благодарю друга...

Володя растроганно пожал мне руку, но при этом сказал мне на ухо:

— Не верь докторам: чепуха, у меня никаких солнечных ударов... А небо мое потому черное и потому изо рта чернила лились, что я, когда от Тарусы ехал, всю дорогу до Москвы одну чернику ел...

Листвянский мертвец

Стояло лето.

Давно то было. Годы мои молодые, радость и веселье! И вот вышел со мною случай. Я влюбился, и довольно странная получилась история: я попал в покойники.

Случилось это так. Вздумал я ехать из Москвы по Ярославской железной дороге в Хотьково на именины. На Кузнецком Мосту в кондитерской Флей заказал бисквитный пирог с инициалами, как полагалось.

В купе вагона 1-го класса ставлю осторожно коробку с пирогом на полку. Входит дама. В шелковой накидке... Прелестна — какие волосы, какие глаза, — тип немноги калмычки, лицо в бронзе загара, духи... И в руках у дамы точно такая же коробка, как у меня: бисквитный пирог от Флей.

Я помогаю ей поставить коробку на полку.

— Это вот ваш, а этот — мой, — говорю я. — Надо запомнить — на моем пироге инициалы. Можно смешать.

Она молча села напротив, посмотрела на меня, и я почувствовал, что сразу становлюсь Ромео.

— Я вас знаю, — вдруг сказала дама.

Я смутился.

— Я даже с вами танцевала, — продолжала она. — А вы забыли.

— Может быть, вы ошибаетесь, принимаете меня за другого. Я не мог бы забыть Вас.

— Вы, — заявила дама, — Дмитрий Васильевич Косович.

Тут, сам не знаю почему, я минутку помолчал, а потом ответил ей неуверенно:

— Вы правы, я Дмитрий Косович... Но как же я мог...

— Я понимаю, ведь это было в провинции. Вы были тогда увлечены. Можно ли вам помнить все, когда вы так много пережили.

— Да, — говорю я смелее. — Пережил много и много времени прошло. Время исцеляет.

А сам думаю: «Что я несу, что вру, сам не знаю».

— Скажу вам, — продолжает дама. — Она вас не стояла. И не стоило из-за нее страдать. Она хотя была и старше вас, но вас не понимала.

— Трудно сказать, — отвечаю. — Все это так сложно.

— Она материалистка и актриса.

— Разве актриса? — спросил я не подумав.

— Что с вами? — удивилась дама. — Она же у Корша служила.

— Ну, да, я подумал, вы говорите актриса... в моральном смысле.
— Нет, вы, кажется, все забыли...
— Да, все. Вернее, все предал забвению. К черту.
— Значит, выздоровели... А снимите-ка шляпу.
— Снимаю, извольте.
— Как волосы потемнели. Без шляпы вы точно не тот, а другой. Я бы вас не узнала без шляпы.

Я скорее надел шляпу.

— Такие страдания, как я пережил, могли изменить кого хотите, — сказал я стро-го и уныло.

— Куда вы едете?

— В Хотьково, на именины.

— Знаете, я тоже, но в Пушкино-Листвяны... Я еду к своему лучшему другу... Знаете, поедemте со мною. Это очень милые люди. Это присяжный поверенный Бол-женов... Немножко серьезный, но радушный человек... Все будут рады. Поедemте. Сейчас остановка. Решайтесь.

— Решаюсь...

И вот мы подъехали вскоре к крыльцу очаровательной дачи в саду.

Подруга моей дамы, жена Болженова, одета, как бабочка. Гости... Мы идем на террасу. Моя дама меня представляет: старой тете, какому-то военному, студенту, дамам, девицам. Мы ставим пироги на чайный стол, и я узнаю, что муж приедет только к обеду.

Идем в сад, там — кусты малины. Обрезав ветви ножницами, именинница и моя дама заставляли меня съедать ягоды, держа их ветки во рту, да так, чтобы я не касал-ся их. Я это проделывал, но неосторожно.

На террасе, куда мы вернулись, в моем бисквитном пироге по-прежнему лежала моя визитная карточка. Дамы, схватив ее, прочли: «Коровин» и спросили удивленно:

— Что это значит?

— Коровин, — ответил я быстро. — Это мой приятель, художник... Так себе, один такой... Так он тоже хотел ехать... Он был со мною в кондитерской...

— Коровин ваш знакомый? Ах, как жаль, что он не поехал с вами... Мой муж его знает.

«Ой, — думаю, — это выходит ни к чему».

— Прошу вас, — говорит моя дама. — Дайте ему срочную телеграмму, и он при-едет сейчас же.

— Знаете ли... Не стоит, право... Он страшно легкомысленный, этот Коровин. Театр... балет... всякая ерунда. Мамонтов... Вообще его трудно застать.

А сам думаю: «Телеграмму себе же, да что это такое происходит: настоящее раз-двоение личности».

— Нет, нет, пишите.

Что поделать. Дамы мне диктуют, а я пишу:

«Приезжай, — пишу я самому себе. — Немедленно. Ждут Надя, Аня и я».

— Знаете, я за ним съезжу! — вдруг осеняет меня мысль.

Но мои мучительницы мне говорят:

— Вы оттого не хотите привезти Коровина, что ревнивы. Оставайтесь. Мы все равно вас не выпустим...

Уже сумерки. Августовское небо, покрытое звездами, видно с террасы среди деревьев. Со мною близко стоит моя дама:

— Смотрите, упала звезда, я загадала.

— Что? — спрашиваю я, не понимая. Я смотрю на ее замечательные глаза.

На террасе ставят лампу. Именинница выбегает в сад и бросает на бегу:

— Слышите, едут...

Почти все вышли встречать мужа и гостей, а я нашел свою шляпу и бросился с террасы, в сад, мимо старухи.

Вышел в калитку палисадника, перешел дорогу и... подался в соседний лес, там и залег. Темно.

Мне ясно видна терраса, освещенная лампой и свечами.

На нее вошел муж и много гостей, приехавших с ним. Его я где-то видел. Остальные незнакомы. Все скоро сели за именинный стол.

— А где же Дмитрий Васильевич? — вдруг донесся до меня вопрос именинницы.

— Дмитрий Васильевич, куда же вы пропали! Дмитрий Васильевич, — зовут с террасы.

— Неужели он уехал? — говорит моя дама и тоже зовет:

— Косович, Дмитрий Васильевич.

— Как Косович? — сказал муж. — Дмитрий Васильевич Косович — мой клиент.

Я вел его дело. Он в октябре прошлого года умер в Киеве...

— Как умер! Он приехал с Надей.

— Да что вы. Это другой... Я же его сам хоронил, Косовича Дмитрия...

— Ай, — вскрикнула старуха-тетка. — Так это мертвец являлся... Правда... Он с лестницы как пошел, вот тут, я видела, — как он все ниже, ниже, в землю и ушел...

— Правда, барыня, — подтвердила и горничная. — Он как шляпу-то схватил в передней, то говорит: «У мужа борода есть», — да как побежит, прямо на террасу. Чего это. Верно, что мертвец...

— Господи, — сказала какая-то гостья. — Я же его пирог ела...

— Да ведь позвольте, он здесь пел с Надей...

— Недурно получается, — сказал еще кто-то. — Прямо путаница какая-то...

Один из гостей, полковник, вдруг поднялся, торжественно сказал: «Позвольте», — и, обратившись в темноту ночи, заговорил, как трагический актер:

— Милостивый государь, господин Косович, так как вы приехали сюда на именины уважаемой и любезной Анны Петровны, то мы льстим себя надеждой — как друзья Анны Петровны и уважаемого супруга ее Петра Петровича — что хотя вы, может быть, и мертвец, но мы просим вас не омрачать дня ее ангела, хотя бы вас уже не было...

Я, лежа напротив в лесочке, набрал еловых шишек, что были под рукой, и стал бросать их в сад, что вызвало шум. Потом в свернутую рупором бумагу мрачно и протяжно прокричал:

— Га-а-а-а...

Все бросились с террасы в комнаты. Только именинница и моя дама храбро остались на террасе. Обе отчаянно смеялись.

Я выбрался из леса и прошел к дому.

— Послушайте, все это вздор. Я не мертвец, — сказал я. — Благодаря вам я принял другое имя...

— Мы знаем, знаем, — зашептали они. — Возьмите простыню и выйдите в белом, как видение. Это так смешно.

— Что вы знаете? — схватил я за руку свою даму.

— Я знаю, что вы Коровин... Молчите... Я буду в отчаянии, если вы не выйдете в простыне... Или вот завернитесь в чайную скатерть... Живее, живее...

И мы с дамой кинулись с террасы бегом.

На террасу снова вышли. Лампа осветила Болженова.

— Прежде всего надо заявить на станцию, — говорил он громко. — И теперь всем начать его розыски. Этот мертвец может быть опасен... Взять фонари... Наш милейший Павел Александрович как военный, знающий стратегию, постарается обследовать местность.

— Я очень рад, — выступил и гордо сказал Павел Александрович. — Первое, что необходимо, — это занять мосты, дабы перерезать ему отступление, и захватить дороги...

— Смотрите, смотрите, — закричали на террасе. — Мертвец! Вон идет!

Я, действительно, закутавшись в скатерть с головой и вытянув под простыней руки, чем сделал себя выше ростом, вышел из лесу на дорогу и медленно подвигался к дому.

На террасе поднялась страшная суматоха и крики. Я быстро спрятался в кусты и снова исчез в лесу.

На террасе почему-то кричали: «Это ужасно, спасите! Спирит!»

Моя дама, Надежда Ивановна, подошла ко мне и сказала тихо:

— Идемте в лес, это весело. Как смешно!

Мы видели, как по дороге бежит толпа с бумажными фонарями.

— Ложитесь, — сказала моя дама. — Это хорошо, это весело...

Мы спустились по тропинке в лес и вышли на полянку. Сырая трава била нас по ногам. В воздухе пахло сеном и водой. Река. Темными тенями стояли купальни. Тихая ночь, зачарованная светлым небом. В перистых облаках мутно проглядывает луна.

— Спрячемся в купальню, — сказала Надежда Ивановна.

Тихо проходим мостками и входим в купальню. Я закрываю за нами деревянную дверь.

Моя дама опускает руку в воду и говорит мне:

— Какая теплая вода, хорошо бы искупаться...

У меня стучит сердце и в висках. Я вижу ее лицо с веселыми искрящимися глазами.

Вдруг мы слышим голоса:

— В купальне надо посмотреть: может, он там, — кричит кто-то.

Мы оба упираемся изо всех сил на дверь. Слышим: идут по мосткам, хотят открыть дверь.

— Заперто, — сказал кто-то.

— Смотрите, вон, на мосту, бегут с фонарями... Идемте туда скорей... Должно быть, мертвеца поймали...

— Лови его, — кричат вдали у моста...

Там бежит кто-то в белом. Какой-то толстый загородил ему дорогу.

— Стой! — кричат там. — Кто вы такой?

— Что вам угодно? — говорит кто-то, запыхавшись. — Я... Я только что приехал.

— Тут покойник бегает, а вы кто такой?

— Да ведь это Иван Иванович, — говорят в толпе. — Иван Иванович, здравствуйте.

Вы только что приехали?

— Да, только что приехал... Какой мертвец, господа?.. А где же моя Надя?

— Она только что ушла...

— Но здесь, знаете, какой-то господин оказался покойником... Мы его ищем.

Делаем обход.

— Господа, — авторитетно заговорил полковник. — Надо не терять стратегического соображения... Вы вот пойдете в лес... Вы — на дорогу к станции и будете ждать у сторожки. А вы, Иван Иванович, так как вы устали, постойте здесь, у купальни... Пароль — «Незабудка». Когда я крикну: «Раз», бросайте ваш пост и идите на мой зов...

— Тише, — шепчет мне Надежда Ивановна, и я чувствую ее дыхание. — Это мой муж... Что делать?

И она тянет меня к воде.

— Идемте в воду, больше некуда, — понял я ее. — Если они войдут, мы окунемся: они увидят, что никого нет, и уйдут...

Мы тихо спускаемся по лестнке в воду.

Приятная теплая вода проникает сквозь платье. Мы стоим в воде по горло и слушаем, как умолкают разговоры и шаги уходящих дачников. Наступает тишина.

Я смотрю на лицо моей дамы. Она близко от меня. Мы стоим в воде, и она держит меня рукой за шею.

Матовое красивое лицо ее с полуоткрытым ртом в лунном сиянии прекрасно. Оно отражается в воде, в такой изумительной красоте мутных красок. Я с восхищением смотрю на нее. Как хорошо бы это написать на холсте. Нет слов передать эту тайну красоты и живого созерцания. Она наклоняется губами к самой воде и, изменив голос, вдруг бормочет страшно в воду:

— Ша-ша-ша — рикатуша — дурака — ша-ша-ша...

— Ой, — вскрикнул ее муж на мостках купальни. — Что это? Это он...

— Ре-шу-шу-ша, — говорит в воду моя дама.

Я едва могу сдерживать смех. Набрав воздуха, окунаюсь в воду, чтобы не рассмеяться. И вдруг, высунув из воды голову, слышу, как муж моей дамы во все горло кричит: «Караул... Мертвец!»

Он побежал от купальни...

А к утру, высохнув в кустах ольхи, на берегу речки, я сел в поезд в Пушкине.

Сосед по вагону спрашивает меня:

— А у вас он тут не бегаёт?

— Кто?

— Как кто... Вы ничего не знаете? Рядом, в Листвянах, мертвец бегаёт... Вы же знаете, у нас в Пушкине всю ночь не спали, ловили... Ну, представьте, он как человек и в то же время как воздух или дым. И пристает к женщинам...

Но я уже не слушал больше приключений листвянского мертвеца. Мне очень хотелось спать...

Похороны мумии

Какой-то небывалою жизнью летят давние события и воспоминания.
Москва, какой-то театр. Родон поет:

Когда я был аркадским принцем,
любил я очень лошадей.
Скакал по Невскому проспекту,
как угорелый дуралей.
Давил народ, но что ж такое,
зато в коляске развалясь,
Я, как бы чудище какое,
нередко ездил напоказ.

Как это странно!.. Опера итальянская, опера русская, драма, оперетка, шансонетки, куплетисты, хоры... Русские хористки выходят, одетые боярынями в кокошниках и золотых душегрейках, в тюлях; складывают руки на груди и низко кланяются. Прелестницы дебелие пускаются в танцы, каблучки стучат.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова.

Дрым, дрым, дрым, дрым — дрым, дрым — дрым... Что играет музыка?..

И как подумать, что все это было во времена «тирании и деспотизма»!

А дети купца Крибова на охоте убили рысь. Отдали сделать из нее чучело и видят, когда сняли кожу, что мясо у рыси белое. Задумались — отчего ее не едят? Ерунда, предрассудки, надо съесть. И отдали приготовить в ресторан «Олимпичу».

Ну, и ели. И, конечно, выпили изрядно. Только она, когда ее ешь, как-то мылится во рту, и никакого вкуса...

А потом все скоропостижно захворали — лежали на постелях в доме Морозова. Приехал к ним доктор Голубков на паре вороных лошадей, покрытых роскошной голубой сеткой, как некий ассирийский бог. Кучер в голубом кафтане, серебряные пуговицы застегнуты на спине. Посмотрел доктор на больных.

— Спаси, — говорят больные. — Все нечаянно вышло. Помогите.

Тот видит — случай редкий, и решил вызвать профессора Захарьина. Но профессор Захарьин шутить не любит, мужчина серьезный, и притом — его высокопревосходительство...

Долго просили, насилу согласился. От самого подъезда дома до больных приказано положить мягкие ковры, остановить все часы, чтоб не били и чтоб маятники не болтались. А больным приказано было отвечать только то, что спросит. Ассистенты шли впереди, потом сам Захарьин — при звезде и с голубой лентой. Передняя у Морозова была в египетском стиле. На колоннах — капители цветные, лотосы, в глубине стоял саркофаг с мумией.

— Это что такое? — спросил Захарьин.

— Мумия-с, из Египта-с, — ответили ему.

Приказывает открыть. Открывают: прекрасная раскрашенная мумия. Лицо золотое, глаза — сапфиры.

Захарьин посмотрел каждому больному в глаза и приказал лежать, дать устриц и шампанского. И сказал хозяину:

— Зачем это у вас в доме покойник?

Хозяин испугался:

— Как покойник?

— А мумия-то.

И приказал ее убрать.

Огорчился хозяин. Но шампанское подняло настроение, и решили мумию похоронить... Но как? Хлопот не оберешься. Во-первых, как отпевать — египетской веры никто не знает. Панихиду надо...

И решили — по русскому обряду, как полагается. И меню поминок сочинили: уха, кутья, икра. Но только кто хоронить возьмется? Иереи не идут...

Однако нашли...

Больные скоро выздоровели и занялись похоронами мумии. Ну и трудное вышло дело. Как ее, мумию, звать — неизвестно. Лет сколько — тоже. Раб или рабыня — тоже неизвестно. Но все же мумию похоронили ночью. Предали земле.

Некто Кольцов, ученый, что ли, или писатель, не знаю, был человек очень начитанный, и говорили — умный, притом революционер и выражал оппозицию правительству всегда. А на диспутах был оппонент. А потому он наговорил на похоронах мумии о тирании, фараонах, рабах, русских крестьянах, полиции, о полицмейстере, губернаторе и что мумия эта — жертва строя, невыносимого и тяжелого произвола. И в конце выковырял у нее сапфировые глаза и взял себе на память...

«Черт-те што теперь будет, — думали молодые люди. — Наговорил!..» Затревожились. — «Как бы манэ-такел-фарес не вышел», — сострил один. Но решили — русские люди, конечно, — все равно: за правду и пострадать хорошо... И поехали все к «Яру», к цыганам. Рассказали все гитаристу Христофору, так как его фараоном звали. Тот с горя выпил и горько сказал:

— Да... Вот Шура-Ветерок была, так вот тоже померла...

И всплакнул.

На поминки приехали все цыгане-певцы, и другим цыганам, так как они фараонами прозывались, те, которые жили на Живодерке, пожертвовали 3000 рублей.

Были московские люди добрые — надо правду сказать...

Поминки удались. Ну и помянули, как надо. Только не нравилось всем, что глаза-то сапфировые у мумии, которые смотрели десять тысяч лет, ну вот как у живой певицы Марфуши, — а их он выковырял. Мало ли, что говорит хлестко. Конечно — сапфиры...

И все бы ничего, только вызвал Огарев, московский полицмейстер, к себе Кольцова и прочих.

«Дело дрянь, — думают, — как быть». Позвали адвокатов на совещание. Адвокаты с виновниками похорон сидели в ресторане, не выходя, трое суток. И до того напугали молодых богатеев, что один с горя женился скорей, а другой верхом поскакал за границу.

Огарев шуток не любит, на пожары ездит парой, стоя в коляске. Голос громкий и всегда охрипший. И такие слова кричит — очень лавочники любили полицмейстера Огарева. Говорили: «Такого не было и не будет...»

Так вот, вызвал к себе Огарев Кольцова и «похоронщиков». Пришли и дожидаются, а им из другой комнаты кто-то говорит:

— Кто тут?

— Я, — говорит Кольцов, — и другие тоже.

— Дурак ты, — отвечает кто-то из соседней комнаты. И такими непечатными словами садит, что все смутились. Кольцов не ожидал, рассердился и, обидевшись, начал протестовать.

— Можете арестовать меня, сослать в Сибирь, но ругаться не имеете права.

Тут к ним вышел Огарев и смеется.

— Это, — говорит, — у меня попугай такой сердитый. Ничего с ним не поделаешь. Научился ругаться и меня кроет тоже. Птица — что с нее взять... А вот вы, что ж это вы-то говорите? Это где же вы видали в России голых рабов? Почему же это я, полицмейстер, — фараон? Что я, цыган, что ли? Вы, любезные, полегче на поворотах, я ведь старик и заслуженный. Страм какой! Тело земле предаете, и в эдаком разе — слова житейской белиберды при покойнике говорите! Может, он души праведной был, а вы это с чего?

В это время попугай — нет сил, что говорит. Такие слова неудобные, что даже Огарев ему крикнул:

— Да замолчишь ли ты, стерва?

Но попугай еще громче тоже кричит: «Стерва».

— Я вас, — говорит Огарев, — благодарю, что земле предали тело. Но чего меня не позвали? Все потихоньку норовите. А я-то все знаю, все вижу. Дурного тут нет, правильно надумали. Держать покойника столько лет дома, ведь это что ж такое, срамота... Кто надумал-то, душа, значит, в нем человечья есть. Кто? — обратился он ко всем.

— Профессор Захарьин, — отвечают ему.

— Ну вот, еще бы. Его высокопревосходительство, — вот кто! Понять надо!

А попугай заладил свое: «Стерва!»

Огарев подошел к попугаю и сердито говорит:

— Зарезать тебя велю, сукин сын. И вот зажарят тебя. Они тебя съедят. Кошку на днях съели, и тебя съедят. Ну, что тут еще, — обратился вновь Огарев к «похоронщикам». — Конечно дело. А ежели вы и впрямь православные, так знайте — сироты остались от инвалидов, что с туркой воевали, им вот помочь надо. Съездите-ка в сиротский суд, там подписка есть на сиротский дом. А вам, сударь, государь милостивый, за то, что вы зря наговорили на нас, на полицию, да на всех и на фараонов...

— Можете сослать меня в Сибирь! — гордо крикнул Кольцов.

— Зачем же? — засмеялся Огарев. — Вот и нет... Зачем ссылать? Теперь, когда ты мелешь такое, тебя слушают, но веса в твоих словах настоящего нет. А посади тебя — так жертва будешь, курсистки, студенты — жертва строя, скажут, за правду пострадал... Что ты тогда народу, девиц перепортишь. Нет, уж увольте.

Огарев сердито покачал головой:

— Греха эдакого брать на душу не хочу. Конечно, вы человек образованнейший, все знаете, народу служите. А мы кто? Мы — деспоты. Но все же увольте, сажать вас не буду. Прощенья просим...

И Огарев ушел.

А попугай кричал: «Давай Тверскую, пятый участок, стерва. Караул...»

В меблированных комнатах «Восточные номера», на Садовой в Москве, вечером, в комнате Антона Павловича Чехова мирно горела лампа.

Антоша Чехов писал что-то для журнала «Развлечение» и улыбался.

Распахнулась дверь, и ворвался человек с накинутым на плечи пледом, который прямо упал в кресло перед Чеховым, взглянул на него и зарыдал. То был Кольцов.

Антон Павлович в беспокойстве накапал капель в стакан с водой, отсчитал и с заботой дал выпить гостю.

— Сегодня на волоске висела жизнь, тюрьма, ссылка в Сибирь, на полюс, во льды... Огарев вызывал...

— Ну, что же? — спросил Чехов.

— О, я был как кремень, и он — он сдался!..

Глаза Кольцова блистали торжеством...

Отрада земная

Летом далеко я жил от Москвы, — «в такой глуши поселился», — говорили про меня.

Но красоты эта самая глушь была непомерной. Какие леса, поляны, розовой дремой зарастал мой сад. А около, у огромного соснового бора, бежали две речки, с хрустальной водой. Деревни были редки. Рожь золотилась у проезжих дорог.

Приходили ко мне люди из соседних мест. Из Москвы любили приезжать друзья — охотники и рыболовы. Однажды заехал ко мне красивый человек, Никита Макаров. Рослый, здоровый и, видимо, что деловой, и предложил мне купить охоту по лугам у большого озера. Далеко было это озеро, но я согласился.

— Что вам, — говорит, — барин? Двадцать пять рублей стоит, а отрады много получите, и утиц там — масса.

Я его спросил:

— А вы это, кто будете — торговец или крестьянин?

— Как сказать, я, — говорит, — больше по торговой части. Что придется. И крестьянствую малость. Но господ очень люблю, и они меня тоже балуют. От них в люди вышел. Им што? Им дарма жизнь дается. Все им можно. От одного господина я жить пошел. Но редко такие-то попадают. А он — с кошечкой играл, более ничего не делал. Дело господское, конечно. Вы вот живописец, поди, по церквам работаете, от рук своих живете? А то ведь разные есть дармоеды. А смотреть на их — одежда хорошая, гляди-ка: часы золотые носят. В городе много таких-то, а чего делают — и невесть. Все из господ, конечно.

— С какими кошечками играет? — спросил я ловкого человека

— Да вот — ответил он, — приехал я к нему в Костромской край. А он — с кошечкой. Она у него на коленках, а в руках у него перышко. Он меня слушает по делу, значит, а сам — с кошечкой играет. Я ему говорю: «Лес-то, — говорю, — господин барин, ежели бы продали. Уступите, пожалуйста, семейство мое пожалейте! Детей у меня четверо сыновей и дочь на возрасте».

Глядит барин на меня, да и говорит:

— Да, детей у вас много. Четверо сыновей, все выйдут народ крепкий. Ишь вы какой рослый, как Еруслан. Хороши солдаты будут из детей ваших, защита от врага.

А вот я, — говорит, — бездетный и один. Зверьков люблю. Кошку, собака у меня тоже хорошая есть.

— Отчего это, — говорю я, — господин барин, женаты не были, что ли, детев-то у вас нет?

— Нет, — ответил барин, — был я женат. Вот на ней, показал он на портрет, что на стене висел. Да только она нездешняя была и уехала, соскучилась здесь. Что ей — место лесное, все не по ней. И сейчас жива — не едет. С другими там кружится. Я только деньги ей туда шлю.

— Эге, — говорю я ему, — что вы ей деньги шлете? Это совсем зря. Нет, — говорю, — нипочем не послал бы.

— А я, — говорит, — не могу, посылаю. А сколько денег задаток за лес мне вы дадите?

— Пять тыщ, — отвечаю.

— Давайте, — говорит, — и вот вам. — И подписал мне запродажную, что получил все сорок тыщ.

— И прощайте. Это вам хорошо для детей будет. Будьте здоровы, — и ушел.

— Вот барин, — думаю, — прямо клад! Счастье какое мне дал. Ну и поехал я в Ярославль. Да в ресторан, что на бульваре. И, признаться, что погулял шибко. Хор позвал, выбрал самую молодую из хора, с ней и гулял. И пришло мне в ум, уговорю я ее, эту певчущку из хора, чтобы к барину этому ее свезти, а сам думаю, да все его имение таким манером — себе. И с ней сговорился. И приехали к нему. Я за дочь ее свою выдал. Глядит это он на ее и обедать нас посадил с собой. И кошку, и собаку кормит тут же. Ишь, грех какой! Прямо вот с тарелки без стыда кормит. После обеда говорю я ему по делу, что вот насчет землицы, усадьбу ему оставить можно, а то продайте землю-то и лес еще.

— А дочь, — говорю, — без стеснения заняться можете с ней. Тоску маленько откинёт у вас, и деньги ей лучше посылать, чем той. Потому удовольствие получите.

Он, это, глядит на меня, да мне в ответ:

— Это, — говорит, — не дочь ваша. Не может быть у такого красавца, — это он меня-то называет, — такая дочь.

— Батюшки, — думаю, — чего это? Знать, ему сказал кто-нибудь.

— Барин, — говорю, — разве не красива она?

— Ничего, — говорит, — только дрянь. Не ваша дочь. Дочь свою вы так не предложите для утехи. Врете вы, это вы, — говорит, — все для наживы. Нехорошо так. Это нечестно. И удивляет меня ваш вид богатырский. Вы — как Еруслан. А внутри вас — гниль одна...

И, значит, не простился и не показался боле. Так я с певчуньей и уехал.

— Во какое дело-то сорвалось, — сказал он, задумавшись. — Какая в господах дурость живет... С кошечкой играет... Мимочка, мимочка моя, — передразнил барина Никита Макарыч. — Скажите, пошто такой народ надобен на свете?

И он плюнул с досады.

* * *

Однажды осенью в деревне сидел я, писал с натуры большие вязы, спускающиеся по обрыву к реке. Был тихий вечер. Деревья покрылись к осени словно цветными коврами в изумительных красках.

Сзади меня лежали и сидели мужички, парни и псаломщик, смотрели, как я пишу. Подошел Никита Макаров и тоже глядел. Одет он был хорошо. Сапоги с набором, в кожаных калошах, на жилете большая цепочка. Рубашка шелковая и поддевка хорошего сукна. Подойдя, он снял новый картуз, смеясь, поздоровался со мной и весело заговорил:

— Вот барин пишет, картину снимает. А вы что? Вы чего глядите? Это понимать надо. Снимет картину, а другая какая барыня глянет и скажет своему барину: «Ах, как хороша картина. Купи, — скажет, — пожалуйста, мой милый, ненаглядный, душа моя». А тот — за кошелек: «Сколько стоит?» Вот барин деньги-то и положит в карман.

Никита Макарыч говорил это весело, захлебываясь от смеха, представляя барина и барыню.

Сидевший на травке псаломщик из Покрова сказал ему:

— Нет, не то ты говоришь. Это — дело другое. Это совсем не то.

— Отчего не то? И чего ты, знаешь, что ли? — сказал Никита Макаров серьезно.

— А не то, — говорил псаломщик, — эта картина в «Живописную Россию» пойдет. Чтобы знали, где какое место в России находится; отрада в чем есть. Чтобы, значит, радовались. Господа это на радость жисти сочинили. Потому это надо.

— А какая в том радость? Чего это? Вязы и вязы. Чего тут еще? — сердито сказал Никита Макаров.

— Вот ты — богатей, а дурь в тебе какая. Тебе-то все одно, что глядеть. Лес — глядишь, а как бы его срубить, продать. А господа по-другому глядят. Свое у них на уме.

— Это ты к господам подлизываешься, — сердился Никита Макаров. — А он не за деньги, что ли, гнется, кисточкой-то старается выводить? Охотно, что ли, ему так корпеть? Зря все ты. Ступай-ка «со святыми упокой». Чего лезешь, понимаешь тоже? Что об себе думаешь, аллилуйщик?

Я, отложив палитру в сторону, посмотрел на спорящих. Никита Макаров в волнении вынимал из кармана поддевки орехи и грыз их, выплевывая скорлупу и зло поглядывая в разные стороны. Видно было, что он обижен. На что-то сердит.

Внизу у речки сидели мои приятели: архитектор Вася и огромного роста охотник-рыболов немец Поге, родившийся в России, но все же говоривший вовсе неправильно и с большим акцентом. Во всех карманах у него были бутылки с пивом. Он подошел ко мне и протянул нарезанную колбасу:

— Когда я эта свинья резала, вот кричала! Ужасно как! Ну, какой колбаса, попробуй, Костатин Лексееч, это роскошь.

— Варум?¹ — говорил Кузнецов, зная это одно слово.

Оба эти приятеля приезжали ко мне ловить рыбу. Уходили на реку, домой не возвращались. Там, на берегу реки, и ночевали.

Вот эти-то охотники-гуляки подошли ко мне, когда я писал, и легли на траву у вяза. Когда шел спор между Никитой и псаломщиком, оба приятеля смотрели внимательно на спорящих осоловелыми глазами и смеялись. Псаломщик не унимался и спросил у Никиты Макарова:

¹ От нем. warum — почему?

— А что в жизни самое важное, самое дорогое, без чего жить нельзя? Ну-ка, богатей, скажи!

— Постой, — встав, сказал Поге, — я знаю, что. Давай пари, Вася, на дюжин пива. Я знаю, что он скажет, — показал он на Никиту Макарова.

— Давай, — согласился Кузнецов, — я тоже знаю.

— Дайте, пожалуйста, Константин Алексеевич, мне кисточка, — обратился Поге ко мне, — я напишу, что он скажет. Пиши и ты, Васенька. Тогда чья правда, тот дюжин пива выиграл.

Я дал им из альбома бумагу и карандаш. Они оба написали и положили отдельно каждую записку в кустах у вяза.

— Я тоже знаю, — сказал я.

— Нет, что вы знаете, — ответил Поге.

— Знаю то, что скажет Никита Макаров, — он ответит — «дети»!

— Ну разве можно, что такое дети? Дети и блоха имеет. Дети — это еще не человек. Нет, пожалуйста, постойте! Не торопитесь. Я пари с Васей держу. Ну, скажите, Никита Макаров.

Тот стал важно в позу и громко ответил:

— Деньги — не бог, а полбога есть!

Поге хохотал.

На его записке, когда мы прочли, было написано:

Этот дурака скажет деньги.

Поге выиграл пари.

— А почто вам так смешно? — обиженно говорил Никита Макаров. — Вы вот и в России держитесь за деньги. И приехали сюда за деньгами.

— А что же, по-вашему, «самое главное, самое нужное»? — спросил Никита Макаров у Поге.

— Радость жизни, — вдруг сказал псаломщик. — А я вот тоже вроде как славлю все. Что я? Ничего, псаломщик! Это вот списывает он, значит, то, что и я. Величает. Славит, значит, отраду земную. И псаломщик запел:

Веселися, Сионе, Ты же, Чистая, красуйся...

Ведь вот как хорошо величали Честнейшую херувим. Я в журнале видел картину такую. Эх! Хороша картина!

В это время шла по дороге баба, закутанная в платке, за спиною ее — коробок. В руках палка и корзина. Видно, прохожая, издалека. Остановилась, посмотрела на псаломщика и на нас, поставила корзину на землю, встала на колени и стала молиться на мою картину.

— Ты, — говорят ей, — чего молишься? Что тебе это, икона, что ли?

— Чего, родные? — робко спросила она сидящих. — Вот радость какую пришлось увидеть. Преподобный-то, как живой глядит, — показала она картину.

И пошла, вытирая слезы концом платка.

— Какой дура баба! — засмеялся Поге, а за ним и все другие.

Псаломщик, выпивая, сказал про себя: «Вера это...»

В дороге

18-й год

Я еду из Москвы.

Вагон набит пассажирами. Против меня сидит очень серьезный человек. Одет в поддевку, фуражка солдатская. Серые глаза, лицо в складках, мужчина лет тридцати пяти. Глядит то на пол вниз, то на потолок. Глаза как бы обиженные. Вот он вынул из корзины узелок. Взял из него кусок малороссийского сала, хлеб, нарезал ломтиками и стал есть. Закусив, закурил папиросу, потом, докурив ее, встал, поднял голову и вдруг заговорил:

— Товарищи вагонные... Теперь время такое — кто ежели сознательный, тот понятие иметь должен. Который, что делать хочет, должен понятие то принять, что кажинный друг другу есть царь. Чтобы в деревне или где понятие держать должен. Ежели кто сбалует или несознательность прямо покажет, то кажинный должен ему прямо его показать, чтобы его несознательность так-то и так-то, чтобы знал. Ежели бабы, как куры, где начнут, то их так-то и так-то — в понятие поставить. А то, что один только крик, более ничего.

Он, что называется, свою отжарил речь и сел. Тогда я ему сказал:

— А ловко это вы все сказали, товарищ, умно.

— Мне все это говорят, завсегда.

— А знаете, товарищ, вот вы говорите, и все это забудут, вам бы это записывать.

— Да, это верно. Только я малограмотный.

— Вам бы поучиться.

— Где теперь учиться, некогда.

— А что ж, вы при деле каком?

— Я сознательный партийный работник, — сказал он озабоченно и серьезно.

«Ах ты, черт! — подумал я. — Хорош. Какой серьезный. Я бы с ним неделю ехал».

— Оттого ответственно, да. В аккурат надобно, — внезапно снова заговорил «партийный». — Ежели революция, то ли, се ли — нипочем зря, все едино, ежели кто прямо, вот кулаком по брюху раз, то другой какой и кричит — зачем. А я-то скажу — нече кричать, а стой... Пришло... Чего возьмешь? Ничего... Значит, пришло — получайте. Чего это? Все-общее. И картошка, и сапоги — кому что. Революция — шабаш, как хошь, а отдавай. Ежели какое бабье визжать зачнет, то отнюдь за волосья женский пол никак нельзя. Должен так и едак сознательность ей показать. Чтобы в сознательность ее поставить... А это, чего зря — шток не было... Ежели в прокламации все ударятся, то какой толк? Кто туды, кто сюды. А прямо так или едак, и все тут... Хоша купца взять, так и едак, мера у его в лавке, весы. Скажем, к примеру, — отчего, чего весит — свое, што ли? Нет. Купил — продал, а не его. Яйца курьи, а зерно его? Нет — не его... А он — бегаёт... Контра-милиционер и есть. Вот его в понятие поставить надоть. Понять должен. Продавай, а неча наживать, дом себе строить... Отдавай его — бездомному, а бездомный из дому глядит в окошко без понятийев. В голове ничего сознания нету, и чаю-сахару нету. Опять же к купцу норовит. А купец сейчас — пожалуйста — вешает и деньги получает. Деньги неча держать, а — сдавай. Ежели лошадь, так безлошадный — бери у лошадного. Все так и у всех, глядишь, лошади, значит, есть. И все так.

— Правильно, — крикнул кто-то.

— Чего правильно? — огрызнулся кто-то другой. — А где лошадь-то купишь, ежели отберут...

— Где купишь, — эка дура: на Конной...

— Чего перебиваешь оратора...

— А чего его не перебивать. Курей взяли. Чего тут... Праздник, а яйца нет... Деньги сдай, а на что купишь?

— Правильно, — опять крикнул тот же.

Оратор замахал рукой, чтобы замолчали и даже напрягся от натуги:

— Товарищи вагонные! Ежели все без сознания говорить зачнут, — скороговоркой кричал он, — как в таком разе рабочему глядеть на эдакое дело? Ежели кто несознательный, одежду носит, жене платья шьет, а поглядеть — у него еще ситец, кусок сукна, сапоги новые заперты лежат в сундуке. Чего ж рабочему? Как ему все это сделать надоть?

— Верно, — заговорили кругом.

— Чего верно! — огрызнулся снова кто-то. — А купишь-то где сахару и чаю?

— Дарма давать будут.

— Кто? В морду тебе дадут...

В это время какая-то пожилая женщина в рваном тулупе, видимо больная, с глазами, в которых застыли слезы скорби, протолкалась между пассажирами и со стоном повалилась в ноги оратору.

— Товарищ, батюшка, сын мой тут болен... Двух война взяла, а этот-то, кормилец, помирает. Дай, Христа ради, сальца... Сальце у тебя хорошо, что ты ел... Дай кусочек, малость малую.

— Ел сальце, — сурово ответил оратор, помолчав и строго оглядев женщину, — ел, точно... Да надо черед держать, старуха. Я ответственный работник, — а тоже черед имей. Сознательность иметь должно. Эдак-то, ты — «дай», он — «дай», — все и растащат, без черед. Черед придет, и ешь. А то что...

— Товарищ, батюшка, — надрывалась баба. — Я ведь не есть, не себе. Сыну-то я грудь бы потеряла... Сало у тебя какое белое, думаю — даст кусочек... Я бы сыну потеряла грудь... Болеть-то... дай, батюшка, товарищ, барин...

— Чего ты, старуха, — рассердился оратор, — бар тут нет, а едешь... И то скажу, кажинный помереть должен... Всех салом тереть тогда надоть — чего тада будет, какая коммуня, без черед?... Жди, когда скажут салом тереть, — черед надо сознательно держать...

Баба пристально посмотрела на него, встала и пошла, вытирая концом платка рот и скорбные глаза.

Оратор сел. Он обиженно и задумчиво посматривал в окно. Потом вынул портсигар со шнурком для зажигания, достал папироску, закурил.

Я говорю ему тихо:

— Товарищ ответственный, — тихо сказал я ему. — Дайте вы ей маленький кусочек сала... Она верит, что поможет сыну.

— Никак нельзя, — также тихо ответил он. — Верит, не верит, а я тоже должен в ответе быть... Не один я тут вагонный, ответственный, еще есть... Узнают, чего будет... Эдакая несознательность в ей.

Как страшен человек, подумал я, глядя на его большеротое, серое лицо.

— Товарищ, — повторил я. — Когда вам нельзя, вы мне дайте тихонько кусочек сала. Я скажу, что оно мое, и дам ей. А вам за это подарок о встрече с вами...

Я дал ему пачку папирос. Он взял, спрятал молча и быстро в карман, так же быстро снял корзину с полки и ушел на площадку вагона.

Возвратясь, он тихонько протянул мне внизу под скамью руку, и я взял там от него кусок сала, и он тихо сказал:

— Жалко старуху, да черед держать должно — вот.

Темнело. Бежали за окном оголенные, лиловые леса. Светила за полями унылая осенняя заря.

Я встал и, проходя мимо лежащих на полу мужиков, солдат и баб, подошел к той бедной женщине. Она сидела, пригнувши голову до самых колен. Я ее тронул за плечо. Она молчала.

— Тетенька, — позвал я.

Она молчала.

Я нагнулся, взял ее голову, приподнял и близко посмотрел ей в лицо. В ее скорбных глазах был испуг и какая-то детская кротость.

— Тетенька, вот тебе кусочек сала.

Она посмотрела прямо на меня светло и скорбно, и опять тяжело упала ее голова на колени.

— Тетенька, что с тобой? — воскликнул я.

Пассажиры услышали. Кое-кто подошел. Толпой окружили меня и сидящую. Я держу ее за плечи, она клонится долу.

— Дайте воды, — сказал я.

— А иде ее взять, воду?

— Вот, есть, что ли, вода, — протянул кто-то жестяной чайник.

— Чего вода, она помирает, — сказал кто-то.

— Клади ее, — сказал мне старик-крестьянин.

Мы кладем ее на скамью. Старик держит ее под мышки, а я за ноги. Ноги, как деревяшки, какие-то худые кости, обмотанные внизу тряпками, обутые в большие мужицкие рваные сапоги...

Вдруг послышался скрипучий и тупой голос оратора:

— Товарищи вагонные, который, ежели должен, ма...

— Постой, — крикнул старик-крестьянин. — Туто женщина помирает. А ты «должен, должен», заладил одно, черт полосатый!

Оратор посмотрел в нашу сторону, взял свою корзинку и пошел на другую сторону вагона, на площадку.

Поезд подошел к станции. Остановился, с лязгом и громом.

— Я сейчас, может, где вода, — сказал кто-то.

Тут в вагон вошел мой оратор, а за ним двое солдат с винтовками и еще какой-то хмурый молодой парень.

Хмурый подошел к старику-крестьянину и сказал:

— Выходи.

— Пошто? — удивился старик.

— Узнаешь там, пошто. Выходи.

Старого крестьянина увели.

— Померла, что ли? — спросил меня оратор.

— Нет ли доктора, товарищ, — в вагоне или...

Я так и держал в руке кусочек сала.

Оратор посмотрел на него, молча отобрал от меня и ушел.

Солдаты вынесли женщину.

Поезд тронулся. Я вышел на площадку из душного вагона. Осенняя ночь. Небо полно звезд. Я смотрел в глубину ночи и думою сердечной страдал. Мне вспомнилась мать и ее глаза такие же — кроткие и ужасные, когда она умирала.

Вдруг из вагона донесся сухой голос оратора:

—Товарищи вагонные, ежели которые...

Какая страшная тоска, какой страх и тьма. И колеса стучат — тьма, тьма, тьма...

Новая Земля

Стальной туман над океаном.

Пароход «Владимир», качаясь в темных водах, медленно подходит к Новой Земле. Над туманами стоят громады гор, острыми полосами ровно лежат снега. Громкий гудок.

Вот уже берег. Я вижу лодки и кучку особенных людей, одетых в меха с пестрыми полосками. Рыжие и белые меха как бы повторяют полосы снега на горах. Уже различаю круглые лица самоедов. Все с черными глазами и смотрят с жадным любопытством. Они похожи на кукол в своих пестро расшитых оленьих малицах.

На берегу жалкие лачужки, сбитые из темных бревен с маленькими окнами. От домика к домику натянуты веревки: это чтобы ходить во время ветра, так как иначе унесет в море.

Вот маленькая часовня с синим куполом, а дальше, к скалам, тянутся самоедские чумы, из которых идет дым. Стаи чаек, чайки белые с черными каймами на крыльях: бело-черные чайки, зеленые мхи, полосы снега на горах — все это похоже на одежды самоедов.

Как будто огромные утюги, мрачные и тяжкие, лежат над берегом горы, точно заковывая Ледовитый океан. Все мертво и одиноко до того, что хочется бежать и никогда больше не видеть этой Новой Земли... Из сиротливого дома вышел молодой урядник с серыми глазами:

— Пожалуйста ко мне, — зовет он. — Вам здесь остановиться надо. Бумагу с парохода дали — приказ. Понравится ли только фатера моя.

Вскоре матрос внес в дом мои вещи. Как бедно в доме сероглазого урядника. Два окошечка с тусклыми стеклами, пахнет рыбой и водкой.

— Не нравится вам, я вижу, — говорит мне хозяин, — один барон тут приехал, так вот — живет наруже... Конечно, какая здесь жизнь. Теперь еще ничего, а зимой, тех же самоедов взять... Воют, как волки. Послушали бы. Я правду говорю. Да, тут завоешь...

Урядник оказался из ссыльных, а барон, действительно, из Вены приехал сюда на охоту: бить белых медведей. «Уже два раза промазал», — рассказал мне урядник.

Вскоре я нашел венского барона.

Постелив на мху плед и повесив над собой простыни на палках, барон лежал в меховом мешке, облокотясь на большие подушки. Перед ним стоял лакей в невероятном костюме синего сукна, с эполетами, подпоясанный широким блестящим по-

ясом и в цилиндре с кокардой; в руках у лакея был серебряный поднос с бокалом и открытой бутылкой шампанского.

Все это было так невероятно, что я, что называется, стоял с разинутым ртом.

Барон, между тем, очень радостно приветствовал меня; он вылез из мешка, предложил мне сесть и сам подал какую-то рыбу, нарезанную кусочками, сильно наперченную, сырую и соленую.

А кругом барона сидели самоеды, ребяташки и подростки. Глотая шампанское, барон доставал из жестяной коробки печенье и бросал его в толпу самоедов. Те мгновенно набрасывались и мгновенно уничтожали все, как... — ну, как тюлени брошенную им рыбу.

— Здесь не пивши не проживешь, — сказал урядник, когда барон предложил ему шампанского, — только я этого не пью. Мне бы рому.

Лакей достал из корзинки ром, и урядник принялся за него. Барон тем временем показал мне свои прекрасные штуцера и пригласил меня с собой на охоту.

Рано утром мы вышли. Либо горы, либо пустой и огромный берег. Все однообразно, дико и уныло. Редко покажется летящий альбатрос.

Мы поднялись на шиферные скалы; выше, выше. Дохнул ледяной ветер. Самоеды шли с нами, перевязанные веревками. Один из них, вожатый Василий, сказал: — Вечером будет медведь. Пойдем — чэма. Сейчас тут...

Мы спустились по круче вниз и увидели чум. Около горел костер. У костра сидели самоеды. Гортанными криками встретили они нас.

Злобно лаяли собаки — лайки. Старуха с длинными седыми волосами протянула мне руку и что-то попросила. Барон приказал дать ей бутылку водки. Она схватила бутылку с дикой радостью, а водку стали пить все вокруг костра, и — дети.

Из чума вышел молодой самоед. На его открытой груди висел медный крест. Он пристально посмотрел на нас большими глазами и внезапно завыл, как собака. И, ужас, — у его сыромятного пояса была привешена за волосы голова человека. Вытекшие глаза и оскаленные зубы сверкали от костра... Это была голова его отца. Он отрезал ее у умершего, не желая расстаться. Он так любил отца, что оставил себе голову, которую целовал и клал на ночь рядом с собой.

«Хорошая жизнь», — подумал я.

Кругом темные, красно-бурые горы: ночное солнце освещает их. Есть неизъяснимо таинственное в этом полярном свете. И страшно таинственны плоские лица самоедов, а глаза, как черные пуговицы. Что-то есть в них звериное...

Утром, только мы вышли с ночлега, как я увидел на пригорке много оленьих костей и рогов. На рогах висели красные и беленькие тряпочки-лоскутки. Оказалось, что это самоедское кладбище.

Посреди стоял деревянный идол, выпиленный из доски, с несколькими нарисованными глазами. Проходя под идиолом, самоеды внезапно запели.

— Они поют: «Приедет пароход, привезет нам водки» — перевел мне с усмешкой урядник.

Перед нами всё скалы и скалы, отвесно спускающиеся к морю. Они — как упавшие в море огромные глыбы камней. Все покрыто инеем и снегом. Кое-где открываются полыньи. Темная вода моря и льды. На отлогих камнях видны тюлени. Вытгиваясь, они бросаются в воду. Скалы у самой воды обледенели и желтого тона.

А в воздухе свежо-свежо. Пахнет сыростью и морозом...

Я смотрю в бинокль. Штуцер ланкастера лежит около меня. Ноги озябли. Самоеды приказали лечь в снег мне и барону, а сами куда-то тихо ушли. Вижу перед собой, как большой тюлень вылез легко и смотрит на меня темными глазами, передвигая усами. Опять нырнул. В бинокль я вижу много тюленей. Вытянув шею, они смотрят в одну сторону, как птицы. «Не собаку ли нашу видят?» — подумал я. Барон выставил перед собой штуцер и пристально смотрит в бинокль. Я посмотрел туда же на белый берег и увидел вдали желтоватое длинное пятно такого же цвета, как и края скал у воды. Пятно двигается, и я вдруг понял, что это большой и длинный белый медведь. Он идет на трех лапах, одной, передней, он закрыл морду. Я не дышу.

Раздался громкий, свистящий выстрел. Эхо пронеслось в горах сзади меня. Самоед прибежал с криком.

— Опять промазал барон, — сказал мне урядник с усмешкой.

— Хорошо вам, вы вот в Петербург поедете, — говорил урядник, когда мы шли назад с неудачной охоты. — Эх, жизнь... Живи здесь... Ходи по веревке к попу, и все тут. А говорят — пьет урядник... И про отца Григория говорят — пьяница. Ну, а как же жизнь наша? Ведь люди тоже, потому и пьем. Не медведи, лапой черный нос не закроешь... Прошу вас. В Архангельске будете, скажите, пожалуйста, губернатору: «Пьяница, — скажите, — урядник...» Лучше, может, еще куда сошлют — хуже не будет...

— Скажите, а почему медведь нос закрывает? — перебил я сетования урядника.

— А потому, — усмехнулся урядник, — ведь медведь, как лед: нипочем его не видать... А нос-то видно — он черный. Тюлени видят нос, ну и в воду. Лови их. Сам он дурак, а — хитрый. Людей не боится, смотрит на них, думает — что такое, смешно ему: нешто станет здесь человек жить... Эх, жисть...

Урядник умолк. Потом вдруг сказал:

— Ведь я здесь из-за бабы нахожусь. Эх, да чего тут говорить... Будьте добры, скажите губернатору Энгельгардту, что пьяней вина урядник, мол... Очень трудно мне здесь... Когда вот сполохи с осени начнутся, северные сияния-то, вот там... — Он рукой показал вдоль гор. — Там льды кончаются, и на них моржи большие, прямо вот с гору — огромные... И какие-то алтари, чисто все в золоте... Как в панораму глядишь... И, верите, будто она — моя-то — в сполохах ходит... А тут самоеды с собаками заодно воют... Страшно... Помогите, ваше благородие, может, дале куда сошлют... Сполохов-то не будет там...

— А вы уголовный ссыльный? — спросил я.

— Я не уголовный. Никак нет. Я вот что ни на есть политический. Чего ж еще, я вам правду скажу. Мне пристав говорит: «Из-за своей шлюхи ты что это делаешь?» А я ему, приставу, значит, и дал разá в личность... За «шлюху»... А может, и верно, как опосля оказалось... Ну, при исполнении служебных обязанностей — чего еще: в ссылку... Я как есть политический.

Через три года я и художник Валентин Серов приехали в Архангельск.

Я писал вечером старую деревянную пристань и корабли, которые освещало солнце косыми лучами, и вдруг услышал около себя:

— Ваше благородие...

Передо мной стоял городской. Я узнал в нем урядника с Новой Земли. Видно было, что он рад видеть меня. Он снял фуражку, вытирал лоб и все говорил:

- Вот рад, вот рад, ваше благородие...
— Как же это, — говорю, — вы здесь городской?
— Все через вас, ваше благородие...

Все начисто рассмотрели, и вышло так, что я ни уголовный, ни политический, а просто зря... Пристав-то Репин, обиду-то которому я нанес, тута, в Архангельске, а я у него. Все по ошибке вышло... Он у меня хрестный, сын, значит, два года женат. Более сполохов тут нет... Я и женился. 22 получаю. А та-то, прежняя жена, померла. Она в сполох-то ходила в венчанном платье, уж покойницей, значит... и какую жисть теперь я вижу: все кругом одна радость... Пристав-то меня «мордой» зовет. «Ну, — говорит, — морда, зря ты совсем пить бросил». Дозвольте, ежели посидите, жену показать...

Городовой быстро ушел.

Высокого роста, дебелия, вскоре стояла передо мной северная красавица, как икона, и, посмотрев, обняла меня обеими руками за шею и расцеловала три раза, как бы христосуясь. Сказала:

— Григорий сызмальства знаком был, а подруга моя его отбила. А она шлюнда была... А вот я своего дождалась. Хотя поздненько немного, мне уж двадцать шесть...

На пристани раздался свисток. Я увидел там людей в мундирах. Городовой побежал туда. Потом быстро вернулся:

— Ваше благородие, не хотите ли поглядеть: на той стороне семга человека убила. Серов, смотревший издали на все мои беседы с городovým и с его женой, подошел и говорит:

— Что такое, Костя, тут происходит?

А на пристани пристав Репин, доктор и какой-то судебный чин. Мы сели в лодку. Я рядом с приставом Репиным.

Я рассказал ему о моей встрече с городovým Григорием на Новой Земле.

— Ну и дурак, — говорит. — Так все и было. Он мне, действительно, прямо в морду... Что вы скажете? Ну, его и сослали, а я все думаю — за что? За женщину. Я хлопотал-хлопотал... Дурака вернули. У него и еще одна заслуга есть: никто так под закуску рыбу засолить не умеет, как он. Под водку. Ценить надо...

На плоском песчаном берегу толпились рыбаки у огромных сетей.

На песке отмели лежал молодой парнишка, мертвый, с полуоткрытым ртом. Рот полон крови. В стороне лежат семги, и ближе к нему одна, очень большая. Голова у нее разбита. Вынимая сеть¹, она выскочила из мотни и, кружась, приближалась к воде. Паренек, чтоб не ушла рыба, бросился на нее, лег, в борьбе она, ударив хвостом, расшибла парнишке грудь...

Умеха

Ехал я из деревни осенью. Вагоны битком набиты. Время смутное, поезда подолгу останавливаются на станции.

Наконец, поезд и совсем остановился в 12 часов ночи, на станции Вышний Волочек. Я пробрался по вокзалу между спящих на полу пассажиров. Ждут поезда. Духота, ругань.

¹ Так в тексте.

Я пошел искать гостиницу в городе. Стучу в дверь на крыльце, долго не открывают. Наконец, какая-то пожилая женщина с фонарем в руках, боязливо поглядывая, пустила меня в сени со словами:

— Время такое, не знаешь, кто и что...

— Нет ли свечки зажечь, — сказал я хозяйке, когда она проводила меня в мой номер.

Хозяйка вскоре принесла мне огарок восковой церковной свечи:

— Вот у иконы взяла — а то больше нет.

Я устал — ехал целые сутки — и когда устроился на шаткой постели, заснул было, но внезапно проснулся: слышу, за стенкой, в соседней комнате, кто-то говорит с расстановкой.

— Социализм, милитаризм, капитализм, монархизм... ух, ну и до чего ж надоело... Все ты такие слова говоришь. Ну, чего ты ворочаешься там, — спи...

Кто-то шумно вздохнул за стенкой, помолчал и заговорил снова:

— А еще — народник... Какой ты народник, когда у собственного дяди из письменного стола две тысячи семьсот свистнул... А еще учился... Чему ты учился? Четыре месяца, говоришь, сидел, за идею страдал... За какую такую идею? За свободу, говоришь! Знаем теперь, за какую свободу... А я, твой дядя родной, за тебя, бродяга, в училище техническое платил... А ты что?.. И велосипед утащил, и чемодан с платьем, и серебряные подсвечники 48-й пробы, и деньги... Молчишь, значит, правда...

Я вот неволей слушаю из моего номера и думаю: «Молчит племянник-то, ни гу-гу. Должно быть, и правда, что виноват. Не нравится правда-то — молчит».

— А кто тебе, — слышится тот же голос за стеной, — кто тебе абонемент в оперу достал? Я достал. А ты ходил? Нет, продал абонемент, сукин сын... Полное собрание сочинений графа Льва Толстого на именины тебе кто подарил? Я подарил. А ты только заладил: капитализм, социализм... Ох, горе... Дурачина...

А дурачина только — легонько вздохнет, повернется.

— Женился, — продолжал сосед, — а спросил дядю? Нет. Ну и на ком женился, па-а-звольте спросить. На девке, гулящей. Дурак.

«Черт знает, действительно, должно быть, дурак», — думаю я о молчаливом племяннике соседа по ночевке.

— А когда я спрашивал тебя: кто она, — ты, дурак, молчал... в карты стал играть, целые ночи просиживать... Олух ты, и все... А еще третьего дня пришел и говоришь: «Товарищ дядя». Ну что за сукин сын, думаю. «Товарищ!» — это я-то, ему-то, мазурику, товарищ. «Товарищ племянник, а как вы это в мой письменный стол залезли?» — «Извиняюсь, — отвечает, — ничего подобного, товарищ». Ах, сукин сын!

Сосед помолчал, а потом опять слышу:

— Нигилизм, демократизм, чертовизм. Завел, олух, свою шарманку... А кто тебя лечил? А кто обувал, одевал? Все я. А как балык-то любишь, навагу, слоеный пирог, блины с икрой.

В комнате соседа при этом кто-то протяжно и сладко зевнул. Потом вдруг слышу, дядя говорит:

— Спи, чего лезешь...

«Должно быть, проснулась совесть у племянника», — думаю я. Молча перед дядей прощенья просит.

— Кто такой, — продолжал, между тем, дядя, — рожу Карла Маркса мне в иконо-стас вставил? Ты. Кому же больше... Ах, угробит он, угробит меня.

Помолчав, сосед опять заговорил:

— Дядя ему — все равно: ночью пришел. «Где был?» — спрашиваю. «Бабушку революции встречал». Вот тебе и ответ. На кой ему черт сдалась эта бабушка? А завтра — дедушку будет встречать... Бродяга, наверное, все в карты дует...

В это время племянник сильно заворчался в углу и жалобно вздохнул.

«Ишь, — думаю, — вот это, должно быть, не нравится племяннику. Ишь как вздыхает».

Дядя опять заговорил:

— А то еще толстовцем был, волосы отпустил, такой умный ходил, в поддевке... Летом на босу ногу... Что делал, — беда. В Ясную Поляну поехал, к самому... Но только что-то не вышло. Мужики или графья, дети, что ль, ему там шею, знать, намылили. Бросил. Ударился в религию. Беда. В Эроса поверил... А какой такой Эрос? Извините — тьфу, вот и Эрос... Профессора какого-то нашел, тот Эроса у себя растил и книгу про него писал. А ну вас всех...

Сосед крепко выбранился. Койка за стеной простонала. Больше я соседа не слышал.

А утром я спросил хозяйку гостиницы:

— Что теперь, в номерах-то у вас, мало, поди, постояльцев?

— Мало, — отвечает. — Теперь пустить боишься. Вот вы с вечера, да еще один, рядом с вами, а боле никого.

— А кто такой рядом-то?

— Да пожилой уж. Купец какой или кто из Питера. На охоту приезжал прежде часто и теперь вот приехал. К псковичу в Осегенку ходит.

— А с ним-то вместе племянник здесь.

— Нет, он один.

— Что вы говорите, матушка, кто же у него в комнате все зевал, ворочался?

— Ишь ты, — сказала хозяйка жалостливо, — спать вам, знать, не дал... А он один: он сам с собой любит говорить, так — для утехи. А у него — собака.

Хозяйка номеров учтиво пригласила меня зайти к ней выпить малинового чайку, так как другого не было.

За столом уже сидел дородный и рослый старик с серебряной головой. Густые брови свисали на серые глаза. Старик был с виду сердитый.

За открытым окном тянулись обнаженные дали лесов, и светлой полоской блестяла река Тверца.

Старик, мой сосед по ночлегу, разбил яйцо ножом, посолил и стал есть, глядя в окно. Я поклонился ему.

— Привольны места здешние, — сказал он мне, когда мы разговорились, — за Тверцой луга большие. Смолоду места все эти я знаю. Покойницу-жену сюда возил. Ну, не нравились ей — и луга, и приволье... А я-то скажу — чего лучше! Пойдешь по лугам, лесам, заночуешь в стогу и вот забудешь эту всю чертову жизнь... И отдохнешь от человеческой зависти...

Он погладил собаку и дал ей корку хлеба.

Большой гончий пес, положив лапу на подоконник, смотрел в окно. Он двигал носом, нюхая свежий воздух и волю. Вспомнилась мне станция — душный вагон,

вся теперешняя тревожная тайна людей и все смятение времени. Какое-то было все другое — покойное и величавое — истовое в словах старика-охотника с серебряной головой.

— Я тоже охотник, — сказал я ему, — пошел бы с вами, да в Москву надо.

Старик посмотрел на меня серыми глазами и сказал задумчиво и рассеянно:

— Теперь дело такое, — куда уйти от них... У всех в голове пожар, горит, значит, — и все. У меня жена, покойница, Царство ей Небесное, тоже душой все моталась, да и сбежала от меня... Ну, я поглядел, да и ушел в места привольные, на реки раздольные.

— «Унеси ты мое горе, быстра реченька, с собой...» — добавил он внезапно — и приятно рассмеялся. — Бродишь с ружьишкой, поговоришь сам с собой, смотришь, ветром в поле тоску и разгонит... Поймешь все, и опять утеха на душу сойдет. Тихое осенение... Сладить, оно, конечно, с дуростью человеческой трудно, а скажу так — на природе, в лесах, далях, в тишине на приволье человек тишаает и умнеет — добрее человек...

Старик надел на себя теплую куртку, перевесил через плечо мешок, позвал собаку и, выходя на крыльцо, приятным баском запел:

Унеси ты мое горе, быстра речушка, с собой...

На прощанье он кивнул мне головой и пошел вдоль плетня огорода — туда, на край дороги, где раздольно блистала вдали Тверца.

Живая мень

Осень. Целый день идет дождь. Пошел вечером на реку, на перелет уток. Дуваю — застрелю утку, приедут приятели — угошу...

Скучный осенний лес в вечеру. Долго стою я у края болота. Вдали за лесом, на дороге, кто-то едет в тарантасе. Не ко мне ли. Со свистом быстро пролетели надо мною чирки. Выстрелил. Эх, поздно, — загляделся на дорогу. Зря. Ничего не убил.

Уже потемнело. Пошел домой. Вижу, в окнах дома моего свет. Приехал, значит, кто-то. Вхожу в дом. Приятели сидят за столом, а один лежит на тахте. Здравуюсь, а мне говорят: «У Николая флюс». Смотрю на лежащего, вижу — действительно, разнесло щеку, и ротик с черненькими усиками весь набок свернуло. Коля сердито смотрит на меня черными глазками сквозь пенсне.

— Ленька, — говорю я слуге, — надо шалфей заварить. Полоскать шалфеем, помогает.

— Нет, брат, — отвечает больной Коля. — Константин-рыбак нашел деревенское средство. Они знают, брат. Надо котенка к щеке привязать — через час флюс проходит... Пошли мне котенка достать.

Приятели у меня были: композитор Юрий, архитектор Василий Сергеич и присяжный поверенный, музыкант и критик Николай Васильевич Курицын. Все люди замечательные. Промокнув на охоте, я пошел переодеться в комнату рядом, вдрут слышу, Коля говорит:

— Надо писать на высочайшее имя так: «Прибегаю к стопам Вашего императорского величества».

— Как глупо, — отвечает ему Юрий. — А еще кандидат прав, адвокат, университет кончил... «Прибегаю» — ерунда, глупо. Что же ты прибегаешь-бежишь. Если бы ты был борзая собака или лошадь, тогда так. А ты же кандидат прав, пойми же, — и бегаешь.

— Юрий прав, — подтверждает, слышу, архитектор Вася. — Надо писать «припадаю к стопам» — понял?

— Ну, нет-с, извините, — протестует Коля. — Припадать я не желаю. Что за рабыштки такие. Я дворянин, а не холуй.

— Ты же подданный, — говорит Вася.

— Не подданный, а верноподданный, — поправляет Юрий.

— Тогда надо писать так, — говорит Коля. — Верноподданный, прибегаю к Вашему императорскому величеству...

— Ну и глупо, — перебивает Юрий. — Государь прочтет прошение и спросит — где же этот дурак, прибежал он или нет еще?

Надев сухое платье, я вышел к приятелям. Константин-рыбак уже пришел. Он держит маленького испуганного котенка. Тетка Афросинья и Ленька его завертывают в большой вязаный платок. Больной, как перед операцией, смотрит испуганно на котенка и даже пьет коньяк для храбрости. Котенка привязывают к щеке. Милая его мордочка видна у сердитых глаз Коли. Тот лег и говорит обиженно:

— Но почему же Государь скажет «дурак»?..

— Да потому, что бежишь бегом — с этакой ерундой к Государю...

— Ну, уж это глупо. Прибегаю — значит, по смыслу, ищу совета, прошу справедливости, а не бегу...

— Ну, уж это совсем ерунда, — продолжает Юрий. — Хорошо это будет, когда всякий будет бегать к Государю за советом. Один спросит — жениться мне или нет. Другой — что лучше — пить коньяк или водку. Черт знает, что будет... Ведь ты просишь переменить фамилию свою — Курицын, действительно, фамилия скверная, а припадаешь, как страдающий...

— Тогда я напишу, — задумчиво говорит Коля, — что, родившись без спросу меня родителями, кончив университет и получив аттестат зрелости, увидел, что фамилия, в которой я совершенно не виновен, не годится ни к черту и, кстати, не нравится невесте моей Раисе. Я уж напишу, как надо.

— Это еще неизвестно, переменят ли тебе фамилию. Конечно, фамилия дрянь, видно, что из крепостных. Какой-нибудь прадед твой кур у барина стерег, щупал...

— То есть как это я — из крепостных, позвольте. Я же столбовой...

— А что такое «столбовой» значит? — спросил архитектор Вася.

— То есть как это — что значит? Значит, столб отечества, твердость устоев...

В это время подали самовар и ужин. Собака моя, пойнтер Феб, вбежала в комнату, приветствует гостей. Она подбежала и к больному. Котенок, увидав Феба, зашипел. Больной вскочил, и тут... мы увидели, что опухоль прошла и что Коля снова такой же красавец, каким и был.

— Ну и знахарь, — говорим мы Константину. — Вот какое средство нашел...

— Э-э, — ответил Константин-рыбак. — В деревне-то многое такое есть: знают...

Доволен был Константин-рыбак, что вылечил Николая Васильевича. Стало и нам как-то веселей, несмотря <на то>, что осенний дождь бил в стекла окон. Мы выпили за лекаря и больного. Константин-рыбак, откушав винца, сказал:

— Эх, Николай Васильевич, чего же, право, на свою хвамилию сердцаешь. У нас в полку штабс-капитан был — Петух по хвामीли, а вот хороший начальник был и выпить любил. Скучно ведь тоже, где стояли, полком-то. У Бессарабии. Тоже дождь всю зиму. А как выпьет, все петухом кричит и говорит: «Я, — говорит, — не штабс-капитан, а петух...»

В это время, слышим, кто-то будто подъехал к крыльцу. Ленька входит и докладывает:

— Приехал охотник какой-то. Промок весь. Вас спрашивает.

— Спроси, кто такой.

Ленька возвращается и говорит:

— Криворож.

— Как? — спрашиваем мы все. — Что такое?

— Криворож, и все: фамилия такая...

Я вышел в переднюю. Там стоял промокший незнакомец-охотник. Два зайца висели у пояса.

— Простите за беспокойство, — сказал он. — Ехал на огонек. Невозможно, ночь. Зги не видать... Промок до костей. Не позволите ли согреться? Озяб ужасно.

Переодевшись во что попало, новый гость скоро сидел с нами за столом. Он, видимо, был доволен, а его зайца мы жарили в сметане на кухне.

— Ну и ночь, — говорил охотник. — Вот так, рядом, свою руку не видно. А дождь проливной. Возчик мой испугался! Парень молодой. «Глядите, — говорит мне, — вот, знать, волки, что-то мелькает...»

Действительно, что-то мелькало. Должно быть, глаза, а потом слышу, там, вдали, глухо завыли. Так жутко стало. В глухом месте вы живете... Я-то ярославский, на охоту иногда в Соболево езжу к псковичу. Я во втором обществе состою. Я кандидат прав на судебную должность, только вот фамилия у меня неприятная.

Приятель Коля надел пенсне, как-то вытянулся и пристально посмотрел и на охотника, и на нас.

— Такая неприятная фамилия, — продолжал охотник. — Конечно, в ней я не виноват, но хочу теперь подать на высочайшее имя прошение: «Прибегаю к стопам» и прочее...

Коля вскочил и, рассердясь, горячо закричал:

— Довольно этих ваших штук! Довольно вам из меня дурачка строить, вечный розыгрыш, надоело!

И Коля, рассердясь, встал из-за стола.

Два моих приятеля, Юрий и архитектор Вася, залились смехом. Коля, обратясь к охотнику, сказал:

— Я не имею чести вас знать, но все-таки, что за охота вам этих дураков слушать, — сказал он резко, показывая в нашу сторону.

Охотник смотрел с недоумением на всех нас. Когда подали зайца, все разъяснилось, что мы тут ни при чем, а все из-за фамилии, и новый гость уже очень любезно говорил Коле:

— Помилуйте, да ваша фамилия прекрасна... Господи, если бы мне такую фамилию. Сознаться должен вам, у меня невеста, я женюсь, и очень уж моей невесте фамилия моя не нравится.

— Довольно! — внезапно снова закричал Коля, вспыхнув. — Я не позволю! Довольно!

Охотник поклялся ему, что не шутит. Опять с ним разговорился, что хочет писать прошение на высочайшее имя, только не знает, как писать: «прибегаю» или «припадаю»...

— Припадаю — это как-то унизительно, — сказал незнакомец. — А я все же столбовой дворянин.

— Идиоты! — закричал Коля нам. — Скотины!

И он, оскорбленный вконец, выбежал из комнаты вон.

Друзья мои, лежа на тахте, вытирали слезы от смеха. В комнате расположились на ночлег. В большой мастерской моего деревянного дома охотнику постелили матрас на полу. Хорошо было разговаривать в теплом доме, перед сном, в такое ненастье. Охотник говорил, что рад приюту, а то сильно озяб и чувствует, как у него ноют зубы.

— Как бы не было флюса, — сказал он и, увидав котенка, позвал его: — кись-кись-кись...

Тогда нам стало немного страшно из-за всех этих необычайных совпадений.

Мы уже не смеялись, а смотрели с едва скрываемым страхом на этого странного гостя — тень нашего бедного Коли, явившегося из ночной тьмы, как бы только за тем, чтобы во всем передразнивать его.

На другое утро мы едва могли убедить Колю, который переночевал один у меня в кабинете, что мы вовсе не подстроили ему всю эту странную ночную встречу.

А когда мы вчетвером пришли в мою мастерскую, неизвестного охотника уже не было, и никто не видел, как он ушел из моего дома...

Лошадиная голова

В конце августа надо будет держать экзамен в Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества. Все кругом говорят: «Тебе надо быть архитектором». А мне совсем не хочется быть архитектором, только приходится молчать. А хочется быть художником, охотником и моряком. Ехать на корабле далеко, в особенное, лазоревое царство.

Мне тринадцать лет и живу я у своей бабушки, Екатерины Ивановны, в Вышнем Волочке, в большом деревянном доме.

Каждый день ко мне приходит учитель Петр Афанасьевич. Лицо у него в веснушках, лохматые светлые волосы. Приходит и говорит всего-навсего: «Ну-с, как?» А я думаю, какое мученье, зубри все — синус, косинус, терпеть не могу.

И в воскресенье я иду к другу своему, лучшему на свете человеку, который живет на краю города в маленьком домике у канала, охотнику Василию Ивановичу Дубину.

Вот человек. До чего у него хорошо! На стене висит ружье, ягдташ, пороховница, труба, и есть еще у него собака Шутик и два щенка. Сам он серьезный, в синей рубахе, усы, похож на старого доброго солдата. Всегда у него уха из налима, и я с ним в лодке закатываю через все озеро, на ту сторону. А там большие кусты и сосновый лес. Эх, хорошо! Костер разожжем на берегу и жарим утку в земле.

Учитель Петр Афанасьевич знает только ерунду: алгебру, синтаксис, все, что хуже. А Василий Иванович знает все хорошее: как на заре в камышах сидеть и глядеть, как утки заворачивают прямо на вас, и как кукулю на озере ночью видели.

Кукулю еще никто никогда не поймал, ее и ловить нельзя — утопит.

И никто про кукулю ничего не знает, а у нее глаза человечьи. А в овраге, за водохранилищем, в лесу, лесового кто видел? — Василий Иванович. А на озере, за Грезинном, ночью темной женщина выходит из воды и поет: «Милый, милый друг далекий, приходи ко мне скорей, а я бодягою шелковой постелю тебе постель...» Ну да что говорить, Петр Афанасьевич, кажется, и в Бога не верит. Я показывал ему икону, которая в серебряной ризе у бабушки в иконостасе стоит. Там все маленькие, длинные человечки написаны, мученики и великомученики, много их. А у одного лошадиная голова. Весь — просто как человек, худенький, а голова лошадиная. Вот что. За уроком катехизиса я и говорю Петру Афанасьевичу:

— Есть святые мученики с лошадиной головой...

Петр Афанасьевич рассердился ужасно.

— Вот дурак! Скажешь такую ерунду на экзамене в Москве и провалишься. Откуда ты все это выдумал?

— Нет, — говорю, — не выдумал. А вот пойдемте, я вам покажу.

Петр Афанасьевич за уроком любил закусывать. Ему приносили, должно быть, чтобы не скучно было. Маленькими рюмочками пил водочку. Как выпьет рюмку, так, закусывая, всегда скажет:

— Ну-с, априори...

Держа на вилке огурец, он пошел за мной в комнату бабушки. Я ему показываю икону в иконостасе. Лампада горит, и видно мне, как он рассматривает, растопырив глаза. Потом откусил огурец, задумался, долго жевал. Потом сказал:

— Верно. Лошадиная. Я это, — говорит, — узнаю. Я-то, — говорит, — не верю в эти иконы. Мало ли что на них намалюют богомазы...

Я думаю: «Эге, не знаешь, бабушка тоже не знает. А Дубинин, Василий Иванович, знает. Все мне рассказал и подробно. Угодник этот отличный, хороший человек». И говорю Петру Афанасьевичу — я, мол, знаю, что вам у других спрашивать.

— Расскажи, — говорит мне, — что знаешь. Ты что же, прочитал, что ли, где?

— Нет, — говорю, — не прочитал, а знаю. Это, — говорю, — был такой человек, красоты непомерной, такой родился на свет красавец. Вот бабы так на него и обливаются, прямо бросаются. Он от них туда-сюда, никакой возможности нет, до того одолели.

— Постой, — остановил меня Петр Афанасьевич. — Тебе сколько лет-то?

— Тринадцать.

— Тринадцать? Да. Так откуда же это ты?..

— Петр Афанасьевич, — говорю я. — Послушайте, что дальше будет, — а сам думаю: погоди, все расскажу. Охотник-то Дубинин знает, а ты нет. И продолжаю.

— До того его бабы одолели — деться ему от них некуда. Красив очень. Он терпел, терпел, но замучился ужасно. Одна срамота выходит. Я тоже, не знаю, как вы, Петр Афанасьевич, а я вот девчонок не очень люблю. Плаксы, что-то пищат. Вот на дворе, в пряталки играть... Я терпеть не могу. Так он, угодник Божий, не знал, куда от них деться. И стал просить Господа: «Господи — молился он. — Спаси и помоги. Как бы от них куда спастись. Уйти от этой нечисти?»

Это я все говорю Петру Афанасьевичу и стараюсь все сказать точь-в-точь, как мне охотник Иван Васильич Дубинин говорил. И стараюсь подражать ему.

Смотрю, Петр Афанасьевич третью рюмку пьет и глаз с меня не спускает. Вижу, что нравится мой рассказ о великомученике.

— И вот, молится он, — продолжал я. — Долго и усердно молился. И долетела, значит, молитва до конца. И у красавца начала расти голова. Лошадиные зубы, уши. Посмотрел он в зеркало и видит, у него лошадиная морда растет. Вот что! Так он обрадовался. Вот, думает, хорошо. Пускай они теперь поглядят. Вот как был рад великомученик. Когда как они его увидят, так все в сторону шарахнутся. Вот, — говорю, — Петр Афанасьевич. Вы не беспокойтесь. Это все, говорю вам, верно. Конечно, это все в старину было, когда такие красавцы родились на свет.

Петр Афанасьевич почему-то задумался. Допил он последнюю рюмку и пошел опять в комнату бабушки, стал смотреть икону великомученика. И видел я, как он зажигал спички и близко рассматривал мученика с лошадиной головой.

— Ну, априори, ты это сам выдумал или тебе рассказал кто? — спросил меня Петр Афанасьевич.

— Ничего не выдумал, — отвечаю. — И это все верно. Рассказал мне, кто это точно знает. Это — друг мой, охотник, что у канала живет, на краю, вот там, — показал я в окно. — Он охотник — Иван Васильевич Дубинин.

— Ну и олух же этот друг твой. Он — тоже лошадь, должно быть. Кто же в такую чушь верить может?

Обидно мне стало за Ивана Васильевича, потому хороший он человек. И мученик мне тоже нравится.

— Петр Афанасьевич, — говорю я. — Не сердитесь. Все это верно. Бывает это. Мне охотник Дубинин говорил: «Вот, — говорил он мне, — когда ты, — говорит, — подрастешь, как бабье к тебе приставать зачнет, узнаешь тогда мученья, помолишься тоже... В них сласть такая — что ау! Пропадешь!»

Петр Афанасьевич слушал меня. Сморщил брови и, положив руки в карман, сердито так ходил по комнате. Потом опять пошел в комнату бабушки моей, вынул горящую лампаду из иконостаса, поднес ее близко к иконе великомученика и долго-долго смотрел.

* * *

В воскресенье утром я ушел к Ивану Васильевичу. Пришел к нему и вижу — у него сидит Петр Афанасьевич.

Сердито так посмотрел на меня, я даже испугался. Дубинин поздоровался со мной ласково и сказал:

— Ничего, пушай, он мальчик еще несмышленый, но озеро наше любит. Видите, какую он картину нарисовал, подарил мне.

И Дубинин показал на стену, на которой висела моя картина. Написано озеро, лес, пески.

— А вон это, вдали-то, — объясняет Иван Васильевич, — вон это, я иду, вон, маленький-то, — это Шутик. Мне за картину эту Фроловский приказчик пять рублей давал. Эге, брат, я не отдал, потому сам глядеть буду. Сам глядеть люблю... Праздник, сейчас зайчика изжарим в сметане. Петр Афанасьевич, чего горевать, только ежели не веришь — то трудно. Чего бывает, чего не бывает, чего все рассмотреть, нешто

можно. Ну, хоша и эту взять, што обиду сердцу и боль тебе причинила. Говоришь, что веснушки, тут веснушки ни при чем. А ты сходи к Казанской, там в притворьи махонькая иконка висит — Прасковии, — дак ты один помолись с верой, поплачь и увидишь, как сразу свободу почувствуешь, и станет горе, как нет... Уйдет. А веснушки — только, как солнцу всходить, стань в реку и умывайся против воды. Через двадцать один день веснушек не будет.

— Костя, — сказал мне Петр Афанасьевич, — сбегай-ка, вот рубль, в трактир, купи бутылку водки, две пачки папирос и две бутылки черного пива.

Я побежал, а он вдогонку кричит мне:

— Бархатного пива, не забудь.

Когда я вернулся, на столе стояли огурцы, соленые грибы, рыба и жареный заяц. Петр Афанасьевич водку пил, а Дубинин не пил.

— Нельзя, — говорил он, — прицел от нее потеряю, нельзя — прицел мне нужен, без прицела не прокормлюсь...

Чуркин

Уговорился я с приятелями моими поехать на охоту в муромские леса. Что все в Москве сидеть? Поедем на Рождество на Касимовский тракт. Там постоянный двор и трактир купца Фураева. Я бывал летом проездом у него. Фураев человек хороший. В доме у него приветливо и уютно. Уху с расстегаями такую ел, что нигде и нет такой. В лесу стоит дом, на дороге. А внизу, под обрывом, течет широкая Клязьма. Ну и хорошо там. Звал меня Фураев в гости приезжать зимой. Говорил: «Вот уха-то зимой из налимов! Много их в перед зимой попадает. Приезжай на праздник. Угощу». Ну, и решили мы поехать на Рождество втроем.

Со станции наняли возчика-крестьянина и поехали в розвальнях. Едем полями, лесами, месяц подымается, ночь светлая, морозная.

— А что, бывают тут разбойники? — спрашивает приятель мой Вася у возчика.

— Тута? Не слыхано. А вот подале, куда едем, похаживает, точно, Чуркин.

— Какой Чуркин?

— Как какой? Разбойник, как есть, — отвечает возчик.

— Благодарю покорно. Хорошенькое место выбрали, — пробормотал Вася.

— Он людев-то не трогает. Только деньги отбирает... Который ежели не отдает — поколотит. Сила в ём огромная. Сказывали про него: возьмет он за ножку кого, да и бросит подале. Ну и лежи, покуда очухаешься. А этого, чтоб ножом горло резать, в ём нет. Не занимается эдаким.

— А ежели я его картечью из ружья угощу. Пожалуй, ему не понравится, — храбрился Вася.

— Пытали, — отвечает возчик. — Только он заговорен. Не берет его пуля. Говорят, его надо серебряной бить пулей-то. А их и нету негде. Вот что!

— Хороши штучки, поехали к черту на кулички, — волнуется Вася.

— Ну, что, — говорю я. — Отдадим деньги. Да и какие деньги у нас? Он и не возьмет.

— Вот только, барин, — обернувшись к нам, сказал возчик, — тоже вот ночью, под праздник, что и вас, позапрошлый год вез я из Суздали монашенку в Гороховец... Везу, значит, ну, еду и вспомнил, что овес забыл захватить. И чертыхнулся,

помянул нечистого, значит. Еду. И слышу, как монашенка кашляет. Но вот чисто, как лошадь. Обернулся, гляжу: а у меня в санях солдат сидит с рогами и трубку курит. И так на меня строго глядит глазищами. А глазищи черные, как вот уголь. «Свят, свят, — думаю, — чего это». Погнал лошадь. Не оборачиваюсь, боюсь. А у города уж, смотрю, кабак. Я остановился да в кабак бегом. Говорю в кабаке: «Православные. Поглядите-ка. Кто в санях-то у меня». Глядят — никого нету. Вот что бывает.

Извозчик стегнул лошадь.

Едем большим лесом; в заколдованной ночи светит месяц. Ложатся большие тени на снег. Скрипят розвальни по мерзлой дороге. Все лес да лес.

Вдруг лошадь стала.

— Чего встал? — спрашиваем мы.

— Да кто знает, — отвечает возчик. И смотрит в лес на поворот дороги.

Мы услышали звон бубенцов. Из лесу выехала тройка. И тихо едет мимо нас. В санях сидят четверо в больших шубах и смотрят на нас молча. Странные красные рожи, оскалены зубы, смеются.

— Свят, свят, — крикнул наш возчик. — «Да воскреснет, да расточатся...»

Тройка взвилась. Послышались свист, смех, и тройка скрылась в тенях леса.

Наш возчик, стоя в санях, гнал лошадь, хлестая кнутом.

— Свят, свят, — повторял возчик. — Не видали вы, что ли, кто едет?

— Да кто? — спрашиваем мы хором.

— Как кто? Черти!

— Какие черти? Что ты?

— А кто же? Это видать!.. Помоги, Господи, а то заплутаем.

А место глухое. Лес огромный. Дорога становится уже. И месяц пропадает за стеной леса. Кое-где освещает верхушки елей. Тяжелы покрытые снегами ветви деревьев, опускаются до земли, соединяясь с сугробами. Какая-то жуткая тайна видится в глубокой темени леса. Морозная ночь сковала снега. И все кругом замерло в тишине.

— Скоро ли Фураев? — спрашиваю я возчика.

— Да вот надо бы быть. Чего, вот скоро. Верно едем. Не отвело бы только. Чу! — сказал возчик.

И мы стали.

Мчится тройка, пролетела бешено мимо нас. Послышался женский смех.

— Невидаль... — со страхом пробормотал возчик.

Вдруг впереди засветился огонек. Показался освещенный лунным светом постоялый двор купца Фураева.

У крыльца большого деревянного дома фонарь на столбе освещал большое крыльцо с навесом. По широкой лестнице мы подошли к дверям трактира. Постучали. Никто не открывал. В окнах не было света. Возчик наш проехал в ворота двора.

— Приехали, благодарю, — говорит Вася. — Никого.

Тут подошел возчик и тихо сказал:

— Слышь, ко всеобщей уехали. Эвона, за десять верст к Пречистой.

— Что ж делать? Мы иззябли. Не ночевать же здесь, наруже. В доме есть же кто-нибудь.

— Да вот работник здесь, — говорит возчик. — Только в сенник спрятался. Боится. Говорит, знает, это Чуркин.

В это время, мы слышим, отворяется засов в дверях трактира. И женщина с фонарем стоит на пороге.

— Кто? Господи, — говорит она. — Вот эка радость, гости дорогие. Вот радость. Побегу сейчас. Хозяин-то и все ведь ушли из дому. Сказывать велели, ко всенощной... А они тут, внизу, у Клязьмы. В баню спрятались... Бают, Чуркин тройкой ездит тут. Вот сейчас побегу. Скажу. Идите в дом. Вот радость...

И женщина побежала вдоль забора и скрылась за поворотом...

Мы вошли в дом, зажгли лампы в большой комнате. Часы пробили десять. Пришел Фураев, жена, дочери, работник, и комната трактира наполнилась народом.

— Вот рад, — говорит Фураев. — Вот гости, охотники. Эх, ну и уха будет. Вот радость. Ну, что налима набило в перед. Страсть сколько.

— Лисеич, тебе охота будет, — обратился он ко мне. — И чего ты любишь — это устрицей зовешь. Грузди — гриб к грибу подобрал. Волвянки — прямо, как хрящ. Свинына во щах такая — ну! Хотели из городка гости приехать, купцы знакомые. Ну, вот праздник встретим. Рады все. Одно, чего это в тройке, вот прямо тут проехали впятером рожки — прямо как черти... Батюшки, думаю, что это. Не Чуркин ли? Погубит. Теперь неповадно: охотники — побоится... И у меня ливорверт есть — да ведь как в человека стрелять — не охота.

В трактире Фураева чисто, тепло. Топится лежанка. Дочери накрывают большой стол. Хлопочет толстый Фураев. Ставит на стол ветчину, грибы, закуски разные. И в бутылках всякие настойки водки. Вася и мы сидим на лежанке.

Столы накрыты. Фураев нарядился в новую розовую рубашку, жилет, цепочка большая, плисовые штаны. Дебелые дочери, румяные, в косы вплетены алые ленты, голубые платья в оборках. Хозяйка в шелковом красном повойнике. Работники в сапогах со скрипом. Двенадцать часов — праздник, разговенье. Все встали. У иконостаса лампы горят. Запел Фураев и все:

Рождество Твое, Христе Боже наш,
Воссия мирове свет разума...

В это время за окнами дома загремели бубенцы, и к крыльцу подлетели тройки. Девицы вскрикнули. Приятель Вася схватил ружье. В коридоре послышался веселый смех, и в комнату ввалились приезжие со страшными рожами, все в масках. Сбросили шубы и пустились в пляс. Женщина, ловко притоптывая каблуками, пела:

Во трактире попляшу,
Сердце надрывается,
Не моя ль тут пьяница
В кабаке шатается...

— Эх, да это ты, Матреша, — сказал Фураев. — Напужали нас. Мы уж думали — Чуркин подъехал. Его тут видали надьсь.

— С праздником, Федор Васильевич, — снимая маски, приветствовали его приехавшие. — Мы из Суздали. Мы и в Гороховце были. Надо праздник начинать. Мы тоже в сумочку гостинцу захватили — бутылочку-другую, которая повеселей... Приехали и цыгане, а с ними — друзья, богатые купцы: женщины в шелковых платьях, нарядные, в больших платках, на руках сверкающие кольца. Праздник оживился.

Все сели за стол, уставленный пирогами, всякой снедью, шипучей брагой. Выпивали, ходила чарочка, звенела гитара.

Вдруг послышался стук в дверь, и на пороге появился человек высокого роста.

На молодом бледном лице его остро блестели серые глаза. Он снял покрытую снегом шапку, и кудри рассыпались на лоб. Сказал:

— Простите, что нарушаю своим непрошеным появлением ваше веселье. Позвольте согреться. Озяб ужасно. Я еду в Грезино к родным, к Курбатовым.

Мы все приветствовали гостя, и он, сняв короткую шубку и перчатки, пошел к лежанке, сел на нее и опустил красивую голову.

— Просим к столу. Пожалуйста, выпить надоть, — позвали его гости.

Он скромно подошел к столу. Сел.

Одет он был изысканно, в венгерку черного сукна, обшитую каракулевым барашковым мехом. В серо-темных глазах его была острота и горечь. Широкая грудь и плечи как-то выделялись. Цыганка Матреша встала и поднесла ему большой стакан водки. Он тоже встал и, взяв стакан, с улыбкою сказал:

— Матрена Гавриловна, счастлив, что принимаю вино это второй раз из прекрасных ручек ваших.

И лихо, залпом, выпил.

Цыганка посмотрела на него с удивлением и сказала:

— Я не знаю вас.

— Вернее, вы забыли, — ответил вежливо незнакомец.

— Не помню что-то.

— А помните, вы так дивно пели раз на столе у «Яра», в Москве? Помните перстень, который показал один...

Матреша покраснела.

— Ах, — сказала она. — Да это вы. Тогда студент были. Помню. Переменились. Тогда у вас усы были. Смеялись еще: ветром шинель подбита... Да, помню. Больше вас я не видала. А Рудаков-то помер, который был с вами. Ну, покушайте тут, у Федора Васильевича. Тут у нас не хуже «Яра» вашего, в праздник-то.

Незнакомцу подали уху, пироги. Он ел, ни на кого не глядя.

«Какой красивый и особенный человек», — подумал я. Что-то холодное было в дымчатых глазах, жутковатое. На столе появился большой самовар, варенье, пряники, лепешки. Сладкие наливки, вишневка, гости подвыпили, разговорились:

— А что это за перстень, который у «Яра» показывали? — спросил кто-то.

Незнакомец сдержанно улыбнулся.

— А это очень серьезно, позвольте вам ответить...

И встал.

— Вот этот перстень, — показал он, подняв руку (на среднем пальце его красивой руки был большой перстень. Посредине перстня — гладкий черный камень). Если я надену его на палец вам или вам, — обратился он к гостям, — словом, всякому, кому я надену, — он покажет верно, сколько этот человек любил в жизни. Матрена Гавриловна знает. Ей мой перстень показал раз: один раз любила Матрена Гавриловна...

— Правда, правда, — ответила цыганка.

Кругом взволновались.

— Этот перстень, — сказал незнакомец, — моего отца. — Он был охотник, здешние мы: Курбатов.

— Знали, — сказал кто-то. — Владимирские. Померли только.

— Однажды, — продолжал незнакомец, — близ Гороховца, отец поймал у Оки, на Клязьме, большого, в пуд, осетра. А в нем, когда его потрошили, нашли этот перстень. Он — старинный, времен Екатерины Великой. Когда на палец его наденут, то видно, на черном камне выступают чешуйки. Их число показывает разлуку и любовь.

— Вот ловко, — кричат гости. — Надень мне.

— И мне, — кричат кругом.

Незнакомца окружили. Он ловко надевал перстень на пальцы: любопытно узнать. Поворачивал руку, глядел вбок. Мотя не дала руки. Сказала:

— Боюсь.

Он, осмотрев, золотым карандашиком писал в карманную книжку и давал, вырывая листки.

— Прочтите потом, — говорил.

У приятеля Коли что-то вышло много любви, на что он сказал:

— Ерунда, ничего подобного.

Незнакомец сунул записку в руку цыганки Моти, шепнул ей что-то на ухо, а всем сказал:

— Прощайте.

И вышел из-за стола:

— Я должен ехать. Родные ждут меня.

Быстро оделся. В дверях надел на кудрявую голову шапку, повернувшись, поклонился.

— Благодарю вас, — сказал он.

И, показывая всем на руке перстень, добавил:

— Он правду говорит. И еще тем хорош, что верно мстит.

И вышел. В окно было видно, как он быстро проскакал мимо окон на вороном жеребце.

— Батюшки, — кричит вдруг одна купчиха. — Иде же кольцо мое, бриллиант?

— И у меня нет, — кричит другая.

— А бумажник иде? — говорит купец.

— Батюшки, и у меня нет, — где брошка?

— Чего это?

Гости взволновались, обыскивая себя. Мотя всплеснула руками.

— Вот, вот... А я-то забыла... Когда у «Яра» он эдак кольцо надевал, — помню тоже, браслет пропал у гостьи. Ишь, записку мне сунул. Прочти, говорит мне, Мотя. Правду тебе говорю.

— Читайте, читайте, — сказали кругом.

Приятель Вася читает: «Брось его, Мотя. Зря себя губишь. Он дурак и вор. Брось. Чуркин».

Все ахнули. В это время распахнулась дверь, и в трактир вбежал исправник и за ним, в тулупах, с ружьями, — полицейские.

— Замерз, — сказал исправник. — Обогреться. Вот замерз. Простите. Праздник нарушил. Где его, черта, найдешь. Сегодня, в вечер, монастырь ограбил. Настоятель и казначей приняли служку. Из Боголюбова прислали с подарками к празднику...

Вот тебе и служка... Пустил настоятель, а он у казначея тридцать две тыщи свистнул. Да еще вороного жеребца с конюшни спер.

— Он сейчас здесь был, — заговорили все. — Ваше благородие, вот только что... У всех кольца снял. Деньги отобрал. Вон тут, на вороном, в лес поехал. Пять минут, не более.

— За мной, — крикнул исправник.

Полицейские бросились наружу. По лесу раздался залп.

Мой приятель Вася тоже стрелял в лес.

— Эдакое дело, — сказал, вернувшись, исправник, сидя на лежанке и выпивая водку. — И где он переодеться-то успел. Мы и по следу гнали. Вот чего делается под праздник. Ну, что в лес стреляли. Дурацкое дело. Только что напугать. Что, мол, погоня за ним. А ему что? Как его поймать? Ему знать дают. У него много таких. За него вся голь. Сегодня он — монах, завтра — офицер. Бумаги — в порядке. В буфете — на станции — официант, купец, священник, матрос...

Мы ушли в верхние комнаты, которые назывались господскими. Там было постла-
но сено. Мы заснули.

Утром спустились вниз в трактир. Фураев поднес исправнику запечатанный па-
кет, говоря: «Почта привезла сегодня рано». Исправник открыл пакет и вскрикнул:

— Боже мой!

«Вас уважаю, жалею, Федор Васильич, — читал он. — Вы — порядочный, поря-
дочный человек. Меня, чего это, не найти вам. Три ружья беру, пришлю. Зря говори-
ли. Все слышал. А колец не отдам. Особенно Афросимову не отдам. Он — плут. Простите за беспокойство. Чуркин».

— Чего ж это он про три ружья? — И позвал полицейских.

— Ну-ка, сколько ружей у вас...

Те замялись.

— И не знамо дело, ваше благородие: трех не хватает. Почтальон не свистнул ли. Сидел у нас, грелся в ночи. Увез, может. Эдакое дело...

— Ну вот, — сказал пристав. — Что я говорил. Он здесь был. Все слышал. Сегод-
ня в отставку подам. С эдаким народом жулью — лафа.

* * *

Как сказка шла моя младость. Был у меня приятель по училищу живописи, Абраша Барашев. Сын крестьянина из большого села Добрынского, Владимирской губернии. У реки Нерли раскинулось село Добрынское, и место было ровное. Нам не нравилось. Отец Абраши был кровельщик и больше жил в отъездах, на постройках.

Были мы с Абрашей охотники и нашли место, где лучше жить, — около леса, у ручья, бегущего по песочку. Деревня всего в шесть домов, название ее Грезино.

На горке стоял деревянный старенький флигель, оставшийся от сгоревшего барского дома. В нем жил старик Гаврила Иванович и жена его Елизавета. Гаврила Иванович помнил хорошо крепостное право, и когда мы поселились у него, то много рассказывал нам о двух барышнях, пречистых девицах, госпожах своих. И крестился, говоря:

— Царство Небесное, чистые были, такими и померли. А на арфе играли, как ангелы Божии.

Красота была кругом. В тихой ночи было слышно, как журчит ручей. А сбоку от дома стоял огромный сосновый бор. Далеко шел он. За бором была широкая пойма и зеленые заливные луга реки Клязьмы. В пойме были озера, поросль непроходимая, осока и камыш, ивняк и ольха.

Здесь мы стреляли уток, а Клязьма протекала лесами, песчаными осыпями несказанной красоты. Отрадно было, устав на охоте, подходить к широкой Клязьме и купаться в синей легкой воде. Весело носились белые чайки и кричали кулики.

Гаврила Иванович был в молодости повар. Он жарил нам уток, тетеревов, рыбу. И жили мы в этом раю, работая над этюдами с натуры.

— Вот, — говорил нам вечером, за чаем, Гаврила Иванович. — В Курбатове, рассказывают, Чуркин монастырь ограбил.

Задумался старик, потом сказал:

— По весне вот тут, по речке, у больших дубов, в зарослях, грибы я, сморчки, собирал. И вижу я — стоит высокий парень, вот на Абрама Ефимыча похож. Только глаза другие. И с ним небольшого роста женщина в красной шали. Он ей говорит: «Мотя, я Чуркин, но не разбойник». Я услышал — батюшки! — прямо наземь присел. Гляжу, а они пропали, прямо как не было, как в землю провалились. Вот он, Чуркин-то, как глаза-то отводит, вот и поймай его. Нет, не пымать...

* * *

Устали мы, идя с охоты из поймы. Наловили рыбы на Клязьме, настроляли уток полные ягдташи. Была жара, и, войдя в сосновый бор, мы прилегли на сухом мху.

Вдруг видим, идут по дорожке двое в подрясниках — молодые послушники. С корзинами, грибы собирают. Остановились и смотрят на нас с испугом.

Мы дали им папирос. Они присели против нас, конфузливо сказали:

— Курим, конечно, потихоньку, а в монастыре нельзя. А вы, господа, откелева будете?

— Мы нездешние. По охоте пришли.

— Да, прогулка прекрасная. От делов отдохнуть, много удовольствия в этом есть.

— У нас и делов-то никаких нет, мы люди вольные, — сказал Абрам Барашев.

Оба послушника впились в него глазами:

— Да-с... — сказал один из них. — Это ведь чего же... Только как без дела-то пропитаться можно? Это вот ежели Чуркину-то — вольно. Берет силком, грабит, значит. А то как же?

— А ты видал Чуркина-то? — спросил его строго Барашев.

— Не, не, — ответили послушники, — и не приведи Господи увидеть... Говорят, страшный, ни за што погубит.

— За что он губить тебя будет? Что у тебя подрясник рваный, опорки, эка дура! А вот ежели б казначей встретился... Ну, пойдёмте в сторожку к лесничему, чаю выпьете. Там и бутылочка найдется.

Мы зашли в сторожку лесника, приветливого и молодого. Жена его поставила самовар. Подали лепешки, яйца, молоко, оказалось и вино. Я в сенях сказал хозяину:

— Послушай, скажи послушникам про Барашева, что этот, мол, человек, кажется, Чуркин и есть... Попугаем послушников.

— Ладно, — рассмеявшись, ответил лесник.

Выпили по рюмочке, и я заметил, как лесник что-то шепнул послушнику. Смотрю, он выпил еще рюмку и ласково посмотрел на Барашева. Тот выпил рюмку, стукнул по столу кулаком и громко сказал в пространство:

— Да, покажем еще им...

— Вот-вот, — обрадовался послушник. — У нас трапезник прямо наживало, и казначей... Вот их бы поучить. Чисто как звери. Придешь с села, сейчас подойдет прямо к рылу: «Дыхни», — говорит, ну, и без ужина оставит, на всю ночь на колени, молись. Гриба белого и не увидишь, сами едят с маслом, квас у них и у нас разный: у нас кислота... И что это. Вот бы их...

Лесник и жена смеялись до упаду.

— Ну, а у Сергея, монаха, — сказал другой послушник, — в келье шкаф заделан, а там и колбаса, закуска разная, и коньяк, и денежки... Эх, ежели б господин Чуркин знал...

В это время отворилась дверь, вошел урядник.

Огромного роста, рыжий, с косматой, комом, бородой. Ситцевым платком у него была завязана щека: болели зубы. Он мрачно оглядел нас и хрипло сказал леснику:

— Сказывают, пикеты ставят, облавой пойдут, приказано Чуркина изловить... Да как его поймать? То он купец, то барин, то вот послушник...

Послушники растерялись.

— Вот вы шляетесь здесь, — сказал строго урядник, — а паспорта у вас есть?

— Где же... нету... — робко ответили они. — Ведь мы боголюбские...

Урядник подошел к столу, подал руку Барашеву и мне, выпил рюмку водки, закусил лепешкой, посмотрел еще раз на послушников и вышел вон.

— Владимирский урядник, а наезжает сюда по службе, — сказал лесник. — Иной раз ночует. Лошадь у него верховая хороша. Как зверь. Он богатый.

А послушники сидели, вытянув рожи, и глядели то на Барашева, то на лесничего. Молодая жена лесничего заливалась смехом, закрывая фартуком лицо.

— Вот узнает ваше начальство, что вы их так обсаживаете, и выгонят из монастыря... К Чуркину на службу пойдете, — сказал Барашев строго.

Лесничиха залилась смехом и выбежала в сени.

Душно было в доме Гаврилы Ивановича. Я и Барашев спали в омшайнике, на чердачке, на сене.

Внизу большие лари с овсом и хлебом. Приятно было слышать далекий звон колокола старинного Боголюбского монастыря. В звоне было что-то надежное, родное, неизъяснимо прекрасное. Рано утром, слышим, стучат в запертую дверь. Я говорю:

— Сейчас встанем, что надо?

— Выходите скорей, начальство приехало, — сказали снизу.

Мы оделись и вышли. У крыльца дома Гаврилы Ивановича стоят три верховых лошади, и военный держит их за уздцы. Мы вошли в дом. Двое в коротких кителях и рейтузах с желтыми шнурами разглядывали карту, разложенную на столе. Один, гладко причесанный, с карими глазами, с улыбкой и ямками на щеках, положив руки в карманы и дымя папироской, поднял голову и остро посмотрел на нас.

— Ваши документы, — сказал он.

Я полез в чемодан, а Барашев сказал:

— У меня нет, я из Добрынского, вот только...

Он полез в карман, там было свидетельство из Школы живописи в Москве.

Я достал паспорт и свидетельство на право писать с натуры, где Школа обращалась к начальствующим лицам с просьбой оказывать мне содействие.

— А что вы здесь делаете? — строго спросил жандарм.

— Живем здесь, пишем с натуры этюды. Вот, — показал я.

На стене висели этюды.

Я говорю, а он все на Барашева смотрит.

— Скажите, — сказал жандарм. — Ваша фамилия Барашев. Вы говорите, что вы из села Добрынского. А скажите, кто у вас сосед?

— Николай Савинов, Сергей Горбачев, — ответил Барашев.

— Вот вы, Барашев, пошутили на днях у лесника, а губернатору был донос, что полиция пьянствует вместе с Чуркиным, и уговаривали послушника побить казначея и трапезника...

Жандармы попеняли Барашеву, а потом сели на лошадей и, сделав под козырек, щеголевато ускакали.

* * *

В пойме по лугам мчался на серой лошади урядник, без шапки. Черные кудри вздымались от быстроты бега, отклеенная рыжая борода висела ключьями.

За ним лихо гналась врассыпную кавалерия. Из лесу наперерез спускались, скача, на тяжелых лошадях конные жандармы.

Урядник держал путь к Клязьме.

Подскавав к крутому берегу, он мигом соскочил с лошади и бросился с бутра в воду.

«Утопился, значит», — подумали подъехавшие. Долго объезжая то место, лодки с сетями искали труп, на берегу был крик. Стояли толпы крестьян.

Вечерело, наступала ночь.

А тот лихой урядник сидел в воде и дышал в высунутый тростник, в пустой стельбел зеленой череды. Ночью он вылез, ползком выбрался в кусты и стрелой побежал в лес...

В ночном у пастуха горит тепленка.

Пастух и подпасок мирно лежат, освещенные огнем. Ходят лошади в ночи, щиплют траву. Подошел черноволосый урядник:

— Пастух, — сказал он. — Вот лошадь меня в воду сбросила, смотри — весь мокрый. Разожги-ка теплицу поболее, я скину одежду высушить, озяб. Ну-ка, а ты дай мне свою, скидай, как подсохнет, мою наденешь, да надо лошадь найти... я возьму из табуна, съезжу на часок.

Молодой здоровый парень, пастух, получив еще рубль на чай, живо разделся. Урядник бросил свое мокрое платье, прыгнул на коня, крикнул: «Скоро вернусь!» и ускакал.

Утром рано в деревне Гаврила Иванович сказал:

— А Чуркина-то поймали, эге, брат... Сейчас вот тут, недалече, в Лемешки повезут, на шоссе. Там в трактире начальство все. Поймали. Вот ведь, не ушел...

По проселку ехали конные жандармы, в телегах сидели солдаты, и в одной из них со связанными руками сидел здоровый, молодой, белобрысый урядник, заливаясь слезами...

— Да ведь это курбатовский пастух... — шепнул мне Гаврила Иванович. — Кой леший в урядники-то его нарядил!

...Право слово — пастух. Вот так Чуркин.

Смерть Чуркина

Песчаные осыпи круто спускаются к широкой заводи реки Клязьмы. Наверху огромный лес. Подмытый берег завален упавшими елями, старыми и седыми. Длинные стеблями иван-чая поросли дебри глухого леса. На берегу горит костер, таинственно освещая высокие обрывы, людей и челны у берега. От толпы рыбаков бросает огромные тени по обрыву желтого песка. У костра хлебают из котла уху. Из большой бутылки разливают водку в стаканы, рыбаки пьют чередом.

— Мы тебе чего-ничего, — говорит один, — благодарны очень, дело наше поправил, снастью наградил, сам гусяк, гусяков не забыл... Одно, что вот монастырь обобрал, тяжесть эдакую на душу всем нам положил... Не гоже... Богатеи бывают — плутней живут: надо — бери дань с их, а эдакого, Божьего, не трог... Монастыри-то, я говорю, почто ты зачал обирать?

Высокий парень в рваном старом зипуне лежал у костра, на ногах парня лапти. Бледное лицо с острыми глазами освещено костром:

— Да я лучше тебя знаю Божье дело, сукин сын, — сказал он тихо и медленно. — Не тебе меня учить, что Божье, что не Божье... А вот не пойму, что со мной: лихорадка треплет, не можется...

Чуркин встал и отошел от костра.

— Не сердчай, — заговорили кругом. — Куда ты?

— Пашка!

Все встали. Молодой парень подбежал к берегу.

— Вот, возьми, — Чуркин дал золотой.

Рыбаки заговорили все вместе:

— Куда едешь, побудь с нами, чего серчаешь?

— Не могу... Захворал, братцы!.. Поеду на Володимер, в аптеку... Пашка, дай твой картуз.

Чуркин поймал брошенный картуз и, взмахнув веслом, быстро скрылся во тьме ночи.

Быстрое весло в сильной руке гонит челн, разрывая воду. Уж засветилась утренняя заря. Сильным поворотом весла Чуркин причалил к песчаной отмели. Берег далеко порос серым ивняком. За ним видны золотые главы Боголюбского монастыря. Река Нерль тихо сходится здесь с Клязьмой.

Чуркин вышел из челна, водой Нерли смочил себе голову.

— Заболел я... лихорадка бьет, — бормочет он.

Его лицо было бледно на бледной заре. Пред ним на небе блестела утренняя звезда. Чуркин смотрел, и его покрасневшие от жара глаза наполнились слезами.

— И ты, прекрасная звезда, — сказал он. — Ты не простишь ли Чуркина?..

Он зябко перетряхнул плечами:

— Ох, что со мной?.. Я болен, вовсе болен... Огонь во мне, жар.

Жутко затрещало в кустах. Чуркин быстро оглянулся. Подошел какой-то мужичонко, с рыжей бороденкой. Он осмотрел Чуркина, положил на берег длинное удилице и сказал:

— Вот хочу попытать, не поймаю ли судачка.

— А ты кто будешь?

— Я-то кто? Я резчик, иконостасчик. С Боголюбова... Ныне иконостасы редки, мало работы у хозяина. Я мастер, винограды режу, а золотит другой. А ты-то на челне, рыбачишь, что ль?

— Нет, по наряду ежду. Охрана по реке, Чуркина ищем. Ну, и приглядываем... Да где его найдешь...

— Во, во, — заметил иконостасчик. — Вот недалече, на мосту, тоже смена. Смотри-ка, сторож чего-то сюда глядит.

И он закинул удочку с поплавком...

— Слышь, ты, иконостасчик, — сказал Чуркин, — я здесь посмотрю за ловлей твоей, а ты сбегай-ка на станцию, купи мне там, братец, порошки хинин. Понял, хинин... У меня лихорадка, принять надо лекарство...

— Хинин, я знаю.

Резчик взял у Чуркина целковый, побежал. Остановился, сказал, смеясь:

— Позволь, сторожевой, за работу бутылочку пивца захватить.

Чуркин кивнул молча.

Когда резчик принес порошки, Чуркин проглотил их и запил водой с ладони, и оттолкнул челн от берега.

Владимир на горе. Блестят купола старинных соборов. Внизу, под горой, недалеко от моста, Чуркин втянул челн на берег. Он пошел, шатаясь, тропой, по берегу. Изгороди, деревянные домики, частоколы, заборы. Он стал у калитки старого деревянного домика в три окошка и постучал в калитку. На крыльцо вышла цыганка Мотя, кутаясь в красную шаль. Цыганка дрогнула вся, узнав Чуркина.

— Я болен, Матрена Гавриловна, помоги, не бойся...

— Что надо, говори скорее.

— Вот деньги, в аптеку, к парикмахеру, в магазин. Я сейчас напишу записку. У парикмахера купи помады и пудры... гуммиарабик... Поскорее... А ты одна?

— Одна.

— Мотя, я буду ждать вот там, за большими амбарами... Дай мне немножко муки, маслица...

Мотя принесла муку в горстях. Чуркин намазал кудри маслом, покрыл мукой.

К вечеру Мотя пришла за амбары и принесла в корзине лекарство и закуски. Чуркин лежал. Мотя сказала:

— Я забежала в часовню, поставила свечу Пантелеимону... А вот просфора. Помолись... Я-то помолиться не успела.

— Ты одна, Мотя, которой верю я. Все кругом сволочь... Помоги мне, я еще могу добраться до моей норы. Я вот сейчас сделаю себя стариком, рыбаком. Помоги, Мотя... Там, может, еще оживу.

Цыганка подумала, перекрестилась и тряхнула головой:

— Хорошо, я тебя повезу...

Ночью в глухой заросли, у больших дубов, по оврагу, у речки, пройдя дупло старого дуба, спустились Чуркин и Мотя в подземелье. Дощатый потолок и стены подпирали деревянные столбы. Стол и скамья, посуда, ковры, большая постель, много навешено разного платья военного, фрак, даже цилиндр. Большое зеркало, много банок и грим, — как в уборной актера. Бутылки, деньги, на столе кучка золотых, маленький самовар, спиртовка. На коврах развешено оружие.

Чуркин лежит, бредит. Мотя кладет ему мокрые полотенца на голову. Приходя в себя, он бормочет:

— Матрена Гавриловна, я не разбойник, я монастыря не грабил... Я спас казначея... Взял на себя, что, мол, Чуркин ограбил. Это он растратил. Его подвела баба, гусятская... Я выручил, отдал свои деньги...

— Не надо, не надо... Молись... — шептала Мотя. — Больше не смей, дай клятву Богу, не смей брать чужое. Смерть есть, все пред смертью ничто. Брось разбой.

Чуркин уже бредил:

— Смерть есть... Все пред смертью... Стой, Трухнов, — фабрикант! Ага-а-а... попался. Давай деньги... Деньги... Неправда... он звал меня... Стой, сукин сын! Обманщик! Неправда... Он хорошо платил...

Чуркин снова очнулся:

— Мотя... Видишь, сума в углу... Умру, возьми себе... Хочешь, раздай, тут много... Возьми... Вот пролезешь в этот ход ползком далеко... к реке... Дерни посильней веревку, прошу, дерни... она землю... И все кончено...

Чуркин впал в забытье.

К утру Мотя забылась на ковре, а когда проснулась, Чуркин был мертв.

Мотя, рыдая, обнимала его холодное лицо. Потом цыганка взяла суму, пробралась ползком к реке и там, на берегу, у березы, потянула, упершись ногами, канат. На нору Чуркина рухнула с глухим стоном земля.

Мотя шла лесом, читая про себя «Упокой, Господи, раба Твоего...»

Ночью дома, закрыв окна, развязала цыганка суму у свечи и вскрикнула: драгоценные камни, кольца, броши, бриллианты блестели там огнями...

— Пропала я! — зарыдала Мотя. — Тюрьма... Что я сделала, зачем взяла?..

Цыганка все зарыла в землю в подполье. Потихоньку брала то одну вещь, то другую и в цыганских хорах, где пела по ярмаркам, дарила бедным цыганам, говоря:

— Вот один любовник в Нижнем мне подарил... Какой дурак... Возьми — детям. Я знаю, что Мотя искала потом нору Чуркина. Но не нашла ее в лесных чащобах.

Святочный рассказ

Утро. Весело трещит хворост в камине, а в окнах моего деревенского дома бело: зима. Всё — березы, ели, ветви сирени и весь сад белый, в инее. А на душе так отраднo. Умываюсь ледяной водой. На столе стоит самовар и поет. Замерзшие сливки в кувшине. И слышу смех в коридоре, подъехали приятели. Все в снегу, раздеваются, хохочут.

— Посмотри-ка на Николая, — говорят мне.

Действительно, странно: Коля Курин, в пальто, в котелке, с палкой и без калош, так девять часов из Москвы ехал. Снимает пальто: черный сюртук и белый галстук.

Коля Курин обиженно смотрит сквозь пенсне, лицо испуганное, бледное. Бровки высоко подняты.

— Не понимаю, — говорит он, — что тут смешного. Я же из консерватории, с урока. Я, брат, профессор, обязан в сюртуке и белом галстуке быть. Не могу же я прийти в консерваторию медвежатником, в валенках...

У камина он берет коньяк и наливает себе на руку и мочит голову:

— Понимаешь, голова озябла, ужас.

И растирает голову коньяком.

— Постой, ты у камина, ведь сгоришь. Простудите вы Колю, — говорю я друзьям. — Ну, Юрий, уж и поесть же я вам дам... Сегодня в ночь разговенье. На мельнице, у Никона Осиповича. Князева послал. Рыбы наловить, лосина будет, гусей изжарят, новая из гонобобеля настойка... А сейчас пороша, след виден. Идем, надо зайца застрелить.

* * *

Тихо идем на лыжах. Все кругом белым запорошило. Вот и след, первая петля — напрыгал заяц. Вторая. Мы встали. Кусты. Сейчас выскочит... Тихо двигаемся. Я остановил приятеля. Заяц выскочил и сел. На фоне запорошенного леса, покрытых снегом сараев деревни, вдаль, он был как какая-то необходимая, живая, чудная брошка на груди красавицы русской зимы, двигал ушами, слушал... Кроткий профиль его был трогательно забавен. Заяц...

— Знаешь, — шепнул я, схватив за ружье, — не будем стрелять. Так много жратвы я приготовил, пускай живет.

С веселыми, смеющимися глазами приятель крикнул: «Беги!»

И заяц понесся стрелой по снегам, удаляясь, и пропал в кустах.

— Ничего? — удивился Юрий, когда мы вернулись домой.

Мы ему рассказали, как нам помешало что-то стрелять в зайца: завтра праздник — не хотелось.

— Какой сентимент! — улыбнулся Юрий. — А я зайца люблю. Должно быть, промазали. Все равно его волк съест. Почему же не я?

— Зайцу-то, брат, все равно, — сказал Коля, — кто его съест, волк ли, ты ли, но почему лучше, что ты его съешь, это еще неизвестно...

* * *

Идем мы в розвальнях снежной дорогой.

Впереди толстый Юрий Сахновский.

С ним Коля в полушубке тетки Афросиньи, голова закутана бабьими платками, — с черненькими усиками и в пенсне. Встречаем под деревней нарядных баб и мужиков. Едут, кланяются. Подъезжая к нам, останавливаются, и спрашивает мужик:

— Это с требой-то к кому едете?

— К Герасиму Дементьевичу, — говорю я.

— Пошто? Захворал, што ли, соборовать?

— Да нет, — говорим мы, трогаясь, — водку пить.

Мужик махнул головой, сказал:

— Ништо, а я думал, помирает.

— Юрий, — кричим мы, — правильно, ты на попа смахиваешь. А Колька на псаломщика.

Проезжаем деревней, избы в снегу, из всех труб идет дым кверху, тихо... А в огоньках окон — уют, радость ожидания, какой-то дружбы, надежды. Что-то родное и доброе поет в сердце. Большие леса, запущенные. Опускаемся вниз. Вот видна мельница, и весело светятся окна дома Никона Осиповича. На крыльцо высыпали все: Никон Осипович, дочери. Работник Василий Князев говорит мне:

— Хорошо поймал, в лунке: лещи и налима много.

Тепло у мельника. В углу горит у икон розовая лампада. Сын мельника Санька рад. Говорит:

— Василь Сергеич, вот здесь, недалече по краю, медведь прошел надысь, спугнули, знать, с берлоги. Вот бы тебе его.

Санька хитрый, пугает приятеля Васю...

В горнице мельника пахнет хлебом. Хлопочет хозяйка и дочери. В корзинке — замерзшие кружками налимы, большие. Сквороды покрыты карасями. Жарится гусь. Утки с груздями будут.

— Пойдем смотреть поставушки на омут, рыбу таскать.

— Ну, — говорит Вася, выйдя на крыльцо. — Мне что-то не хочется... Поставушки смотреть, а он эдак сзади обойдет, да череп свернет... Вот и разговенье.

Большой лес по бугру шел до самого омута. Темная мельница, крыша, бревна покрыты снегом. Колеса обвешаны заледенелыми глыбами.

Из прорубок во льду омута вытаскиваем длинные шнуры лес. Вертящиеся черные налимы тут же замерзают на снегу. Уж месяц встал над лесом. Тихо и таинственно дремлет огромный лес, покрытый снегом.

* * *

Самовар, горит лампа. Окна в доме мельника стали темно-синие. Хорошо, тепло в доме.

— Этакое дело, — говорит Никон Осипович, сидя за чаем. — Поехал я, а чего это с лошастью, прямо не пойму. Я стегнул, и что случилось. Как я ее хлыстну, она встанет и безусловно (он любил слово «безусловно», от нас выучился) на меня рычит. Обернется и начинает прямо, как собака, лаять. Вот что это, а? Завсегда под праздник эдакое выходит... Я ее «Маша, Маша», а она пуще... Эдакой грех с ей.

Весело шло разговенье. Все за столом. Настойка гонобобелевая замечательная. Ну и березовка тоже. Брага шипит. Никон Осипович рассказывал:

— А одна на мельнице я нечистого видел под самый праздник... Уехали помольцы, а я у вешек сед, у колеса-то, и деньги считаю... Поглядел, батюшки, против меня эдакий чертина, здоровый, лохматый... Сидит и на меня прямо глазищами смотрит, говорит: «Ты что это, — говорит, — мельник, все деньги чертовы считаешь?» В колесья бултых, и пропал. Я домой прямо не в себе прибежал: свят, свят... Так кропили водой святой. Ну, теперь ничего...

Много говорили о леших, ведьмах, кто что видел. Вася все принимал всерьез. Юрий смеялся.

В это время внизу окна постучала в стекло рука.

Никон Осипович встал, и мы все.

— Чего это? — сказал он. — Вишь, знать, кто-то...

Он пошел, и мы все за ним. Никого не было за стеклом, и нельзя было достать рукой до окна — высоко.

— Не угодно ли, — заметил Юрий. — Да это восхитительно...

— Видали руку? Рука женская, — прошептал Коля.

— Странно, — повторил Юрий. — Но весело.

— Да ведь это монашенка! — сказал Санька. — Она ночью ходит завсегда, долгая, чисто хворостина. Она и постукала в окошко, Христа ради просить, она без ума, ну и ходит. Это она постукала. Она ничего — смиренная, боится народу. Есть такие — бьют, побьют — она потом ходит по лесу и плачет. Вот, знать, побили, теперь и ходит.

— Верно, — подтвердил Николай Осипович. — Она отсюда недалеко, из деревни Живой Ключ. Она подкидыш, безродная и осталась сирота. Кто и принял — померли, никого родных. Увезли ее, значит, в монастырь, как только через год пришла назад в деревню — без ума, памяти. А красивая какая, высокая, не в меру. Ну, парни над ней потеху да утеху свою держат. Родила она, и били ее много и шибко. Ну, стало то, что все гонют, смотреть на нее — жалость берет, побирается, а она протянет руку, последний кусок хлеба сама отдает, ягоды наберет — отдаст ребятишкам, любит дитев, все смотрит — погладит, да боязно, гонют... Не украла бы... А живет где — под стогом али сараем, — в лесу... От людей спасается. Бегает, в дупле прячется, думают — померла, вдруг опять появится. Теперь уж плоха стала, боле теперь бьют. Это вот, верно, постукала она, потом испужалась.

Летом ест траву, грибы сырые, просит Христа ради, но робеет, в деревню редко приходит, парней боится. Одна к ней монах пришел, священник такой, поп. Тогда она в угольной яме жила, в заимке малой в лесу. Ну какая жисть. Слушала она его, потом в разум вошла, сказала: «А что надо вам, я несчастная». А поп-то ей и говорит: «Помочь тебе хочу, увести отсюда, отдохнуть». — «Помоги, — говорит, — отец, Христа ради, уйди от меня». Вот и все. Одна по лету, вот тут, у речки, вверху, у осыпи песчаной, глядит Наталья, жена, и говорит: «Никон, погляди-ка, чего это женщина у воды сидит, красивая». Я гляжу — монашенка, знать. Сказал работнику: «Отнеси-ка крынку молока да хлеба, дай ей». А она увидала да бегом по осыпи от него и в лес. «Оставь, — говорю, — придет, может, съест». Пришла и ест, чисто зверь, оглядывается, не поймали бы. Вот она, — показал он на жену, — видела...

— Верно, — сказала и жена Наталия. — Нече, — говорит, — блудная она, точно, но мне так жалко ее.

* * *

В соседней комнате настелено сено.

Поздно. Ложимся спать. Вася посередке, и видно ему комнату, в которой пировали: и стол, и иконы. Я потушил лампу. Тихо, уж кое-кто засыпает. И вижу, как Вася сел и, вытаращив глаза, смотрит вперед и крестится, побледнев. Всккивает и кричит:

— Вставайте, скамейка пошла...

Действительно, в соседней комнате сама по себе прыгала скамейка, как лошадь. Вася в отчаянии кричал:

— Ружье скорей, стрелять!

Все ошалели, даже Юрий растерялся, говорит:

— Как странно...

Я бросился к скамейке и снял с нее незаметно шнур. Это Санька, хозяйский сын, как было со мной условлено, тихонько залез на чердак и оттуда спустил в люк потолок-ка скамейку на бечевке. Я осветил комнату. Пришел мельник и все.

— Погоди-ка, — говорил мельник. — Вот покроплю... — и он полез к иконам.

— Я уезжаю, — говорил, одеваясь, Вася, — довольно этих штук, благодарю вас. В последний раз с вами еду...

— Куда ты поедешь? — говорю я. — На дороге медведь бегаёт...

Вася был в отчаянии.

— Чего ехать в ночь эдакую, — говорил мельник. — Мало ль што. Пуццей скамейка ходит, беды нет в этом, это бывает. Вот я ее на стужу выставлю.

И мельник унес скамейку.

Со страху мы все опять выпили... Уже начиналось утро...

Московский полицмейстер

На Трубной площади в Москве ресторан «Эрмитаж», бани и меблированные комнаты.

В большом зале ресторана, в уголке, за столиком, сидит саженного роста человек, в длинном сюртуке со светлыми пуговицами. Темные штаны с красными лампасами вправлены в сапоги с лакированными голенищами. Лицо этого человека особенное, страшное — какой-то Кончак: всё в узлах. Над глазами и под глазами — мешки, большие густые черные брови, нос с наростами, как картошина, топырятся черные усы. Один ус целый, другой — пол-уса. Глаза черные, сердитые. Страшный человек.

Но черные глаза его, когда смотришь ближе, — добрые.

Это и есть московский полицмейстер.

Он выпил, налив из графина, большую порционную рюмку водки, закусил селедкой. Служит ему половой Андрюшка, белобрысый, коротконогий парнишка, которого полицмейстер называет — почему, неизвестно, — героем.

Вот полицмейстер позавтракал и дал половому 25 рублей. Расторопный Андрюшка принес сдачу и счет на тарелке, под салфеткой. Полицмейстер сосчитал деньги, и брови его поднялись кверху. Хриплым басом он сказал:

— Этто что такое, а?

Андрюшка спокойно смотрел серыми глазами.

— Да ты что это, сколько я дал?

— Сто рублей, ваше превосходительство!

— Как сто! Да ты што? Сейчас позови Егора Мочалова.

Егор Иванович Мочалов — главный распорядитель-директор ресторана, человек плотный, простой, с светлыми большими усами и круглыми серыми глазами, мигом явился. Стоит перед полицмейстером спокойно, смотрит кротко.

— Это ты што ж, сколько я дал? Што ж это сдача-то, а? Да ты взятки мне даешь, а! Да я тебя...

— Сто рублей изволили дать, ваше превосходительство, как одну копеечку, — спокойно говорит Егор Иванович.

— Да ты знаешь, с кем говоришь, а! Я тебя в тюрьме сгною! Который раз ты это со мной, то так, то эдак?.. Я тебе Епишкины номера твои закрою!

— Что ж, ваше превосходительство, от тюрьмы я не отказываюсь: за правду и пострадать хорошо.

Полицейстер, нахмурия брови, лезет огромной ручищей в карманы скюртука, вынимает бумажник, пристально разбирает в нем записки, письма и говорит:

— Што-то не пойму, все может быть...

Он берет сдачу, кладет бумажник в карман, встает и грузно сходит по лестнице, держась за перила.

* * *

Опять — «Эрмитаж». Опять — завтрак, и опять гнев полицейстера. На этот раз он дает сто рублей. Половой Андрюшка — герой — приносит сдачу под салфеткой, но сдача — с 25 рублей. Скандал.

— Я сколько дал? — спрашивает полицейстер.

— Двадцать пять рублей, — отвечает половой.

Брови высоко подняты, черные глаза вертятся во все стороны, говорит сердито:

— Позови сейчас Егора Иванова.

Егор Иванович приходит, спокойно смотрят серые глаза на начальника.

— Ты што ж это шутки шутишь? А? Я кто тебе — хвост собачий-то?..

— Первый начальник мой уважаемый.

— Сколько я дал?

— Двадцать пять рублей.

Мочалов и не моргнет.

Опять полицейстер лезет в карманы, выкладывает на стол большой бумажник, записки, прошения, газеты, деньги, лазает по всем карманам и сзади, и на груди, и с боков, говорит:

— Чудеса в решете.

Он берет сдачу и уходит по лестнице вниз.

* * *

В «Эрмитаже» был столик у окна... За ним всегда завтракал артист Малого театра Михайла Провыч Садовский, человек талантливый, остроумный.

Полицейстер Огарев пришел как-то завтракать мрачный — ночью был в Москве большой пожар, он не спал ночь. Говорит Садовскому:

— Слышь, от меня дымом пахнет. Люблю пожары. Первый люблю в огонь бросаться. Вот ус этот потерял: с мясом вместе ус потерял. Что делать, служба... Сколько это я раз горел — не счесть. Но Господь милует. Посидишь в бочке с картофельной мукой, ну и пройдет — ожоги-то. Мученье большое, а нельзя: служба... А кто это, не знаешь, там сидит — черная челка... Хороша. Мне только за седьмой перекаатило, я еще в силе... Но должность такая — польсемейстер — невозможно, — заметно, и некогда...

Полицейстер внезапно понизил свой бас до шепота:

— Дело-то какое тут на днях вышло, в Епишкиных-то номерах... Помер один, здоровый такой; я его знаю. Я приехал. Вхожу — постель. Лежит труп, ну, половые, лакеи, полиция, пристав, следователь. Битком. Вижу — и она тут, узнал — знаменитая. Прямо дрожит от страму. Я посмотрел на нее да как крикну: «А вам чего здесь, сударыня, надо? Вон отсюда!» — Ну, она и рада. Поняла... А то бы — газеты... Ну, и прощай, муж узнает.

Полицмейстер выпил порционную, съел стерлядку кольчиком, усмехнулся:
— А вот гляди, што сейчас со мной Егор Иванов зачнет делать... Вот гляди: даю двадцать пять рублей, смотри, что будет.

— Герой! — позвал он полового. — Получи, да принеси газету.

Герой проворно принес сдачу под салфеткой и газету.

Огарев считает сдачу, смотрит счет. Говорит сердито:

— Ну вот. Смотри. Тут поросенок холодный приписан, а мы его и не ели, видишь.

Нешто я ел, Михайло Провыч?

— Нет, — отвечает, смеясь, Садовский. — Не ели.

— Позови-ка Егора!

Половой бежит.

Подходит Мочалов. В руках у него блюдо с холодным поросенком.

— Ваше превосходительство, — говорит Мочалов. — Ошибочка вышла. Верно изволили гневаться. Поросеночек нынче холодный — прямо сливки, давно таких не было, а мы замешкались вам подать, хотя поставили уже в счетец... Простите милосердно, ваше превосходительство...

— Давай сюда твоего поросенка, — говорит полицмейстер. — А ну-ка, нальем порционную, Михайло Провыч, под этого холодного поросычьего сына...

И полицмейстер снова завтракает с отменным аппетитом.

— Знаем мы гостей наших, Михайло Провыч, — рассказывал Мочалов Садовскому, когда полицмейстер ушел. — Ведь это каждый раз, вот уже четырнадцатый год идет... Хороший человек, сердиться любит... Если ему все правильно — скучает он, ругать некого. Ходить перестает... А вот накричит на меня — «в Сибирь сошлю, в тюрьму», — ему это самое и очень приятно... А то говорит: «Побожись-ка, что сдача верна», а я отвечаю: «Как можно божиться, ваше превосходительство, в эдаком деле, из-за денег. Вера человека ко Господу совсем часть иная, душевная». — «Вот это ты правильно, Егор, говоришь: у Господа, скажем, Лефортовская часть, а у вас... — тьфу ты, все проклятые пожарные мысли в голову лезут... Все перепутал... У Господа-то на каланче... тьфу, что они мне в голову лезут...» Вот у нас какие с им разговоры.

Егор Иванович при этом тихо и ласково посмеялся:

— До чего они пожары любят. Стоючи в коляске, прямо летит. Ну и, правду сказать, тушить ловок, верно. У него дело пожарное поставлено хорошо. Как на войну едет — с огнем сражаться. Он и на войне был, Георгия получил. Еще: если что ему скажешь про сирот — плачет. Сирот любит и еще птиц. Пулярку там, курицу, индейку — никак не ест. «Что ты, разве можно, — говорит. — Яйцо у курицы отнимают — яйцо есть, а потом и ее жрать, ведь это же просто подло...»

А вот — приемная московского полицмейстера Огарева. Каждый проситель входит отдельно. Слышится из-за дверей кабинета хриплый бас начальника.

— Да ты что? Да я тебя, да ты мне, да я...

Посреди комнаты, у стола, стоит полицмейстер. Перед ним кругленький, небольшого роста, с лисьими глазками московский домовладелец Мелюшин.

— Ваше превосходительство, — говорит Мелюшин. — Вот сын отбывает, в Подольск отправили. Без отца там... В Москву если бы перевели, на праздники пришел бы повидать, а то избалуется там один... Похлопочите, окажите милость...

Мелюшин роняет к ногам полицмейстера толстый пакет.

— Это ты что? Подыми-ка!

Мелюшин падает на колени, плача:

— Не погубите, ваше превосходительство! Осмелился, прямо сам не знаю, как и что...

— Дай-ка сюда, — говорит Огарев, берет пакет, разрывает. — Деньги тут. Сколько?

— Пять тыщ, — отвечает побледневший Мелюшин; плачет, повторяя: — Не виноват, простите... Сын... Никому не скажу, ей-Богу, никому... — и он бьет себя в грудь.

А Огарев считает деньги:

— Пять тысяч, верно. Ну-ка, ты, первой гильдии, давай-ка еще пять и всем говори, коли хошь, — на всю Москву ори...

Измученный Мелюшин лезет в карман и достает еще пять тысяч.

Огарев садится за стол, надевает очки, звонит звонком. Приходит его военный человек — и здоровенный же! — как морж с усами.

— Ну-ка, давай сургуч!

Морж усатый зажигает свечу. Полицмейстер что-то пишет, вкладывает деньги и письмо в большой конверт. Капает на конверт сургучом, берет печать у своего военного человека и лижет ее.

— Тю-тю, да она мокрая!..

— Я уж лизал, ваше превосходительство, — рывкает тут его здоровенный усач.

Огарев встает, подходит к Мелюшину.

— Ты купец первой гильдии, московский домовладелец, ты, батюшка, человек богатый. Отнеси-ка ты этот пакет в сиротский дом, что на Девичьем Поле, и там возьми расписку. А в письме сказано, что ты, Мелюшин, жертвуешь сиротам десять тысяч рублей. Понял? И знай: сын твой здесь будет, в Спасских. Но ежели мне скажут, что он по трактирам да скачкам, так я его, Мелюшкина сына, я его... Вся кутиловка из головы выскочит... Ведь я вас всех знаю, купцов, и православных, и прочих... У меня приятель был, Куперник. Голова-человек, умный. Он рассказывал мне — Моисей у них был в старину, так вот к нему приходили такие-то — тоже со взятками. А он поглядит да скажет: «Хге», — и из того дух вон... Погоди, думаю. И пришел ко мне мой приятель Куперник, что и ты, — взятку дать. А я на него поглядел, набрал воздуха в грудь да как гаркну: «Хге», — он так и сел на пол, да и елозит-елозит... Я смотрю — до чего смешно он елозит и встать не может... Так, веришь ли, от моего «хге» его в больницу увезли. Вот ведь как в старину бывало...

И московский полицмейстер предобродушно и раскатисто рассмеялся.

Две Татьяны

О, младость, о, юность! Как прекрасна ты! Татьянин день праздновал Московский университет и все высшие школы, все гимназии, радостно было видеть юность в Татьянин день. Лица оживлялись. Мой приятель, доктор, принарядился, и Николай Дмитриевич Чичагов, следователь судебной палаты, зашел ко мне веселый.

— Сегодня Татьянин день. Поедем.

Всюду собрались компаниями друзья, доктора, юристы, профессора, учителя; Английский клуб, Литературный кружок — полны. Рестораны «Прага», «Эрмитаж», «Мет-

рополь», «Славянский базар», «Петергоф» — всюду полно народа. Бал в Собрании против Охотного ряда. Праздник радости науки, праздник мудрости.

Пусть льется веселия глас,
Раздайтесь вакхальны припевы,
Да здравствуют юные девы,
И жены, любившие нас.

А. Пушкин

И слышался смех, речи, гремела музыка.

На Тверской, у Английского клуба, из тройки кричит нам приятель, присяжный поверенный Гедиминов:

— Стойте, — и останавливает тройку.

Вылезает толстый человек в большой шубе и бобровой шапке и говорит:

— Я расстроен ужасно. Ужасно, понимаешь?

Гедиминов был подшофе.

— Таня, понимаешь, Таня! Ужасно. Она не понимает того, что я должен быть там, где мы! Ведь это мы! Я, Федор Никифорович Плевако, Шуминский, Цубербиллер, Салов, и я, должен же я быть. А она требует ехать к «Яру». Я приеду потом. «Я теперь не принадлежу себе, ни тебе», — говорю я ей. Хотя Татьяна, но не та. Понимаешь, она — огонь, ну прямо огонь. Видишь — оцарапала.

На красной роже Гедиминова были наклеены белеенькие бумажки пластыря.

— Это — в аптеке приклеили, — говорит Гедиминов. — Я обещал вместе в Английском со всеми, а вот теперь ищу ее, езжу. А она — темперамент, понимаешь? Я ей пою — «У ног твоих рабом умру», а она, вот видишь? — показал он на лицо.

— А ты дернул порядочно, — говорим мы ему.

— Ну, конечно, — соглашается он. — Но это не все. Есть еще глубокое — это там, внутри. — И он показал пальцем на свой большой живот. — Там драма, брат. Двойственность.

И он, сев в сани тройки, крикнул:

— Лети к «Яру».

Уезжая, он посылал нам рукой поцелуи.

Нас собралась компания друзей. Иван и Всеволод Мамонтовы и другие. Решили ехать за город, в Петровский парк. Лихо летят ямщики по Тверской-Ямской. Весело звенят бубенцы лошадей. Проехали Триумфальные ворота, начались сады, покрытые инеем; хороша зимняя ночь. Снега, светит месяц серебристый. Я еду с Чичаговым. Он — веселый, остроумный.

— Отчего ты ушел из прокуроров, Чича? — спрашиваю я.

Он как-то особенно посмотрел и ответил:

— Странная история. Я встретил такого подсудимого, который был и виновен, но он мне объяснил так свое преступление, что я не мог его обвинять. И ушел. Не могу быть прокурором. Странно, но это — так.

— В чем же дело? — спрашиваю я Чичу.

— Вот неизвестно! — отвечает он. — Не могу обвинять. Сам не знаю, почему. Но не могу.

«А странный Чича, — думал я. — А умный».

Из души его всегда лилось веселье. Он никогда ни на что не жаловался.

Нас обгоняла тройка, полная седоками. Кто-то в ней пел. Поравнявшись с нами, женщина крикнула:

— Чича! Ах, Чича! Ты все забыл.

— Стой, — кричали они из тройки.

И женщина вылезла из саней, бросилась к Чичагову и быстро вскочила к нам. Села Чичагову на колени.

— К «Яру»! — крикнула она. — Ах, изменник коварный. Это что же? На именины не приехал ко мне? Забыл клятвы твои? — говорила она, весело смеясь.

Луна освещала лицо женщины. Оно было красиво и весело.

— Чича, — кричали с тройки. — Сегодня ты будешь иметь дело со мной.

— Погоди немножко.

И все смеялись.

«Яр» блестел огнями. Сквозь большие стекла, покрытые инеем, виден тропический сад. Быстро заезжают тройки в ворота, останавливаются у деревянного крылечка. Отворив дверь, слышим шум голосов. Проходя по залу, где толпой сидят цыганки, хор венгерок, входим в сад огромных пальм, где полно народу. За столами пьют шампанское, поют, кричат и хохочут. У нас в кабинете поет цыганский хор. Приходят венгерки, русские певицы. Красивый Ваня Мамонтов окружен женщинами. Кривой цыган басом поет:

В Париже не был я давно.
И быть там вовсе не желаю.
Мой сын повез туда вино,
Когда вернется, я не знаю,
Тогда мы с ним вдвоем
И песенку споем.
Буль-буль-буль, бутылочка, бутылочка моя.

— Здесь тесно, идемте в большой пушкинский кабинет, — кричит кто-то. — Там просторнее.

Цыгане роем с гитарами уходят. Потом трое мужчин возвращаются и конфузливо просят денег. Говорят:

— Мужчинам на папиросы.

Какая-то старуха из хора зовет нас и говорит:

— Пушкинской-то занят. Гости хоша и ушли, а Алексей Казимирович Гедиминов сидят еще и сами с собой занимаются. Все-то мокрые, очень расстроены.

— Пойдем, — зовет меня Чичагов. — Пойдемте.

В пушкинском кабинете большой стол, скатерть мокрая. Масса бутылок. И один сидит за столом, большой, толстый Гедиминов. Его фрак и белая крахмальная рубашка, курчавые волосы — все мокрое.

— Ага-а-а, — воскликнул он, увидев нас. — Чича. Я рад... — и он встает с бокалом и целуется с нами. — Нет справедливости, — говорит он, — и здесь, и выше. Это сказал, кажется, Моцарт. Ты посмотри, какая штука, посмотрите-ка, нет, вы посмотрите, — трудно невероятно.

Гедиминов сел за стол, налил бокал шампанского и ставил его себе на голову, осторожно отнимая руку, и хотел, чтобы бокал перевернулся на голове, и на лету выпить потом льющееся шампанское. Бокал опрокинулся и облил его, шампанское шипело в жилете. Он смотрел на нас серыми глазами, вопросительно и серьезно сказал:

— Не вышло... Трудно... попробуйте-ка, какая штука...

— Что ты, ты ж весь мокрый, — говорим мы ему.

— Пойдите, увидим, — наука еще до этого не дошла... Я это сделаю. Таня видела, была здесь, мне аплодировали. Татьянин день... это ее день. Нет, брат, справедливо-сти... Татьяна уехала...

В это время открылась дверь и вошла изысканно одетая, высокого роста женщина. Она улыбалась.

— Поедем, — сказала она, поднимая его под руку, — это еще ничего, но эта Танька, что с ним каждый год делает — выдержать невозможно.

На Гедиминова надевали большую шубу, бобровую шапку, ботики, а он пел: «У ног твоих блаженства жду...»

— До чего я Татьянин день люблю, это выразить невозможно... — говорил Геди-минов, садясь в тройку.

Обняв тонкую, стройную женщину, уезжая, крикнул нам:

— Нет справедливости...

Мертвецкая

...Бегут воспоминания. В их тайне есть неразгаданное волнение. И печально и глухо спрашивает душа — зачем, зачем так было?

Москва. Зал Благородного Собрания. Блестят огнями люстры. Мне девятнадцать лет. Кругом меня — юность. Гремит оркестр. Дирижер кричит: «Гран-рон»¹. Ее рука держит крепко мою руку.

Мы летим в толпе из одной залы в другую. Всюду смех, ленты котильона кружатся в движении танца. Она мне сказала, что ее зовут Тата. Маленький рот, темные глаза, черные брови. Она говорит мне:

— Здесь есть мертвецкая...

— Как?

— Уверю вас...

— Пойдемте.

И вот мы наверху, на хорах.

Слышно откуда-то пение, крик, смех, гам. Открыли дверь, пахло табачным дымом, парами пива. Слабый свет газовых рожков освещал огромный зал. Силуэты людей, как бы в облаках, махали руками, обнимались, плясали. И это отражалось на полу, как в пруде: пол был залит вином и пивом. А на столе стояла девушка с острыми волосами. Она бойко и визгливо пела:

Возле речки, возле моста,
Возле речки, возле моста,
Школа земская стояла.
Да упала...

Девушка взвизгнула:

Порешили эту школу,
Порешили эту школу
Закреть.

¹ От фр. *grand rond* — большой круг.

Вместо школы,
Вместо школы
Кабак открыть.

Ко мне обернулся студент. Он был пьяный, весь мокрый. Взял меня за рубашку у горла, тряхнул длинными волосами и, глядя на Тату, скрипя зубами, заговорил с надрывом:

— «Выдь на Волгу: чей стон раздается... Этот стон у нас песней зовется...» Стон зовется... Я покажу...

— Трифоновский, — кричит кто-то. — Иди, черт, сюда.

Студент отошел. И у бочек, выпивая пиво, обнявшись с кем-то, запел:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал,
За его идеал...

— Я боюсь, — говорит Тата. — Здесь все пьяные...

Я проводил Тату к ее матери. Это была женщина с большими замученными глазами, худая и высокая.

— Напрасно вы повели ее туда, — недовольно сказала мне о мертвецкой.

— Я сам в первый раз был в мертвецкой.

— Вы студент?

— Нет, — говорю, — художник.

— А, это другое дело... Вы еще очень молоды... Послушайте, знайте же, что в мертвецкой покойный сын мой очень пострадал.

— Пострадал?

— Там есть люди, которые подслушивают, что говорят пьяные студенты...

Она взяла у меня мой адрес. Тата просто сказала:

— Приходите поскорей.

Я проводил до подъезда новых знакомых и вернулся в мертвецкую.

Черт знает, что делается, действительно, мертвецкая. На полу так налито пивом, что я промочил ноги. Много пьяных валяются у столов. Гам, крик, песни висят в воздухе. «Гаудеамус» переплетается с «Дубинушкой». Один студент орет:

— «Плачет белой кровью о прошедших днях...»

Ловкая дама, взобравшись на стол, бойко запела:

Милый Саша,
Плоха на небе участь наша,
А если подданных ты любишь,
Богатством всех ты их погубишь.
А если хочешь в рай ввести,
То по миру их всех пусти.

— Bravo, bravo, — закричали кругом.

Бойкая барыня заметила меня... Спрыгнула со стола и, закулив папиросу, она подошла ко мне и сказала:

— Какой красавец.

Села рядом.

— Хороший голос у вас, — сказал я. Она смотрела мне прямо в глаза острыми карими глазками. Была она много старше меня.

— Вам нравится, как я пою? Я рада. Ну правда, какой вы красивый. Вы за народ?

— За какой народ?

— Как странно. Вы студент?

— Нет, архитектор.

— Архитектор? — повторила она, как будто не совсем довольная.

Встала и бойко пошла к бочкам, в толпу студентов.

В дверях мертвецкой меня остановил здоровый пьяный парень. Он взял меня под руки и заговорил:

— В голове, брат, столько идей, ужас... Поедем к девкам... Я тебе все расскажу... Я, брат, страдаю общей идеей, хочу помочь человечеству, а мне не дают... У тебя деньги есть?

— Мало.

— А сколько?

— Шесть гривен.

— А я-то как же, мне домой доехать надо... Завтра надо есть...

Он смерил меня пьяными и дерзкими глазами.

— Ступай к черту, — сказал он. — Тупая личность. Ну, давай полтинник.

— Не могу, вот двугривенный.

Он взял двугривенный и сказал:

— Помни, ты нечаевцу дал.

Простившись с нечаевцем, я в гардеробе дал номер и стал одеваться. Около меня стала певица с карими глазками:

— Проводите меня, пожалуйста, молодой человек.

Помню, мне не очень хотелось провожать эту даму.

— А что же вы будете строить, когда кончите курсы? — спросила она меня на улице.

— Тюрьмы и остроги, — ответил я нарочно.

— С вами прямо нельзя говорить.

Мы идем Самотекой. Поворачиваем вправо.

— Вот я и пришла, — говорит она. — Хотите зайти ко мне? Я вам дам последние номера «Земли и Воли».

— Благодарю... Мне больше нравится в Москве, чем в Сибири.

Она рассмеялась. И вдруг обняла и поцеловала меня.

Здесь, у грязных ворот каменного, мрачного дома, нагнувшись и подняв немного платье, она вынула из чулка пачку свернутых газет, быстро сунула мне в карман пальто, быстро сказала «прощайте» и скрылась в калитке ворот.

Редко горят фонари. У меня мерзнут уши и так скверно на душе от встречи с этой женщиной, от этих сунутых прокламаций. Мне ясно, что она — сыщица. Куда деть эту дрянь? Уронить, а вдруг увидят? Как зло смотрела на меня певица, когда я отказался зайти к ней. А ее поцелуй! Большой рот ящиком.

Иду по глухой Лесной улице. Слышу скрип снега под своими ногами.

— Слу-ша-а-а-ай!

Крикнул протяжно часовой у тюрьмы.

— Слу-ша-а-а-ай!

Повторил вдали другой... А у меня в кармане прокламации. «Вот и будешь сидеть в этой тюрьме», — подумал я, проходя на Долгоруковскую улицу.

За высокими стенами тюрьмы видны вверху мрачные окна. Там «сидят».

У Суцевской части я услышал звонки. Бегали пожарные, и верховой держал зажженный факел. Когда пожарные проехали мимо, я выбросил в канаву пачку прокламаций и вошел в калитку дома, где жил.

Так озяб, и есть хочется. Достал хлеб и соленый огурец. Поел, лег в постель...

После вечернего класса ко мне пришел приятель Мельников. Зайдя в лавочку по соседству, я купил копченую селедку. Селедку мне завернули в печатную бумажку. Принес домой, читаю, а на ней написано: «Рабочие при расчете получают натурой из лавки при фабрике, обязывая его брать товарами расчет. Эксплоататор-фабрикант ставит втрое стоимость». Читаю и вижу, наверху написано: «Земля и Воля».

И опять пошел в лавку и снова купил селедку. Вижу, лавочник завертывает ее опять в прокламацию. Я говорю лавочнику:

— Что это за газетка у вас такая чудная?

— Да вот, городской нынче утром принес заворачивать...

* * *

У Харитония огородника, в деревянном зеленом доме, рядом с церковью, жила Тата. Дом был закрыт деревьями, запушенными инеем. Весело смотрели окна с розовыми занавесками. У крылечка четко белели ветки, покрытые снегом. Как хорошо было в доме: этажерка с фарфоровыми куколками, комод красного дерева, стол с вязаной салфеткой, трещали дрова в изразцовой печке. Так было тепло, чисто, ясно.

Тата в черном платье с белым воротничком, с ней — мохнатая старая собака Роска. Мать Таты ставила на стол варенье к чаю, Тата, открыв роаль, спела:

Для тебя б я пела
Под твоим окошком,
На твоём крылечке,
Но не для лета,
Но не для речки...

Удивление все это было. Так просто было. И эти люди жили, именно такие... И было вот еще что: Тата показывала мне альбом фотографий, где она снята маленькой девочкой и ее отец-доктор; там же большая охотничья собака Трезор, покойный брат, студент Петровской академии, и вдруг я вижу, вижу эту, ее... которую провожал, с карими глазами, — эту...

— Кто это? — спросил я с волнением.

— А что, вы разве знаете ее? — спросила мать Таты.

— Да, знаю, — ответил я нерешительно.

— Скажите, а вот мы не знаем... Когда умер Сережа, сын, у него под подушкой нашли эту карточку... И вот что на ней написано.

Вынув из альбома карточку, она прочла мне: «Мертвецкая, 12 января 1878 года», потом: «Милый друг, я умираю, но спокоен я душою и тебя благословляю, шествую тою же стезею».

Тогда я рассказал про мертвецкую и про то, как провожал певицу. Мать слушала меня внимательно. В глазах ее были печаль и страх.

— Слушайте, — сказала она. — Мой сын, Сережа, тоже познакомился с ней в мертвецкой... Он был, как вы, молодой и доверчивый... Его арестовали, у него нашли прокламации. Он их вешал ночью на стене академии... Был шесть месяцев в тюрьме, а выйдя из тюрьмы — застрелился... И вот эта карточка была у Сережи под подушкой.

Сколько лет прошло с той поры — целая вечность, — и вот не забылся страх, некогда испытанный мною в московской мертвецкой.

Лучинушка

После долгой зимы я и приятели забралась далеко от Москвы на мельницу, у большого леса. В просветах голубого неба, в буграх оттаянных снегов, в мокрой желтой дороге, в бегущей по колесам мельницы воде, в которой блестят отражения облаков и голубые пятна синего неба, — во всем — я чувствую приближение весны. Зачарована душа. Глаза останавливаются. Есть что-то тайно-радостное в этой яркой воде. Начало весны. Зеленые ели еще в больших снегах спускаются к реке веселыми рядами и будто дышат.

Ко мне подходит обсыпанный мукой старик большого роста, отец мельника, Осип Никоньч и говорит:

— Лисеич, чего задумался, пойдем чай пить.

В доме мельника — мои приятели: Юрий Сахновский и Коля Курин. Они снаряжают снасть ловить рыбу. На столе самовар, патроны для ружья, ягдташи: мы приехали на охоту.

Осип Никоньч говорит мне:

— А что ж ты это с собой не привез этого-то казового молодца? Ну и парень лихой! И голос! Как мы с ним «Лучину» пели, а? От, приехал бы, рад бы был...

— Да некогда ему, — говорю я.

— Да ведь пост сейчас. На праздники-то слободно. А приедет ежели, рад буду...

— Это, — я друзьям говорю, — Осип Никоньч про Шаляпина спрашивает. Он летом тут был. Так они вместе «Лучину» пели.

— А он кто такой будет-то, Шаляпин? — спрашивает Никоньч.

Юрий Сахновский отвечает:

— Как — кто? Царский певчий.

— Э-э-э! — сказал Осип Никоньч. — Во он кто! То-то он втору ловко держит.

— Он и в театре поет. Не мог он с нами поехать. Да ведь и холодно: что теперь, не лето, — не поедет. Простудиться боится: ему ведь петь надо.

Пришли помольцы. Сели у стола на лавку пить чай.

— А отчего же это он в театре-то поет? Какие песни, што ли?

— Разные песни, — говорит Юрий. — Вот споет песню и семьдесят пять рублей в вечер получает.

— Ну, полно, что ты? Кажинный день?

— Да, — говорит Юрий, — каждый вечер.

Осип Никоньч встал, пошел. Надел картуз, обернувшись в дверях, и сказал:

— В месяц!

— Чего? Э-хе-хе! Нешто это бывает? — сказал работник Александр. — Эдакие деньги! Я слышал, когда летом-то он был. Пел, верно, складно. Ништо. Но только

голос — вот у дьякона соборного в Рыбинске, дак вот, голос, я скажу, што! В Рыбинске-то я служил на лесопилке. Она прямо вот так у города, внизу, у Волги стоит. Тут и склад лесной. Дак соборный дьякон-то купаться ходил. Там песочек. Купаться-то хорошо. Ну, значит, на Волге-то тихо, а вдруг мы слышим — пароход прямо дуром орет. Чего это, думаем, знать, пароход тонет. Ну, выбегли, глядим, ан и парохода никакого нет. Чистая Волга, просто диво, что такое — понять нельзя. По дороге-то енерал едет. Остановился. Тоже глядит, и кучер глядит. Позвал городского. Все глядят. Узнать велел, что за пароход орет, а его нету. Дак что ж это, это дьякон залез в воду — купается, и зачал пароходом орать. Во голос-то.

— Что ж тут хорошего, — заметил мой приятель Коля Курин. — Орать-то можно, это что, и бык вон как орет, так это не пенье.

— Это верно, барин, — сказал помолоец, — какое это пенье. У нас остеевский Серега-сапожник, как сработает сапожки, ну, и тащит их к заказчику. Ну, конечно, выпивши возвращается домой и завсегда на мосту «караул!» орать зачинает. Вот орет кажинный раз, вся деревня на улицу выходит. Привыкнуть никак невозможно... Тоже голос здоров.

— Почему же это он на мосту орет? — полюбопытствовал приятель Юрий.

— Да ведь вот, взойдет на мост, а перил-то нету. Ну, и боится — не упасть бы в реку...

* * *

Хорошо вечером в деревне. Мы идем с охоты. Оттепель, дорога мокрая, лужи. Пахнет лесом, талым снегом. Далеко в лесу кричит филин. На зеленом небе блестит Венера. В душу входит тайная отрада несказанных чувств, даров природы. А теперь скоро смерть... И одно я хотел бы, хотел бы пробудиться на мгновенье и увидеть весну, только дивную весну печальной родины моей.

Хорошо, как-то родимо в бревенчатом доме мельника. Сидят на лавках помольцы. Старик-мельник, Осип Никонович, и сын его Никон, внук Санька, бойкий парнишка. Ужинаем, пьем чай, разговоры. Разговоры особенные, неожиданные. Говорит старик-мельник:

— Кады я старшиной в Заозерье был, так одного раза в Москву поехал. Громов там, что сельдей в Москве, в Охотном, торговал, он мне в свойстве приходится, с нашей стороны. Ну, человек в достатке живет. Приехал я, значит, к нему. Он меня и позвал в киатр, Большой киатр. Ништо, точно киатр велик. Помню, ложу он взял на все семейство. Значит, и я тоже тут. Весь киатр прямо золотом горит, и народу не счесть. Одних музыкантов сотни с три, и заиграли... Ох, хорошо. Занавеска вздернулась, и что такое. Удивленье. Гляжу — глазам не верю. Все одно девье. Ноги по пояс голые, юбчонки короткие, и давай ногами туды-сюды, без стыда прямо ноги задирают. Батюшки, думаю, чего это? Вышел один молодец, тоже без штанов, прямо так. Начал на одной ноге вертеться, чисто что кубарь. Да как хватит одну — поднял и вертит ее, а та ногами дрыгает туды-сюды. Ну, прямо страмота! А киатр весь хлопает в ладоши и рад. Чего это. Батюшки, думаю. Спрашиваю тихонько Громова: «Скажи, — говорю, — Петр Сергеич, царь-то тута в киастре аль нет». Он отвечает: «Нет, он в Питере». — «То-то, — говорю, — што без его-то делается... Увидал бы, ну бы тогда?» Громов смеется, спрашивает: «А что бы тогда?» — «Нешто допустил бы эдакое-то. Я бы даже, коснись меня, тоже бы плетью». А Громов смеется. Досадно это мне. «Скажи, — говорю, — Петр

Сергеич, скажи — у етих-то танцулек мужья есть?» — «Есть», — говорит. — «Ну, вот и подумай, чего же это они-то глядят, эдакое допускают?» Громов только смеется. «Это, — говорит, — киастр, взаправду так не бывает. Этого со всем народом сделать невозможно, никак нельзя. От дел тогда отобьются вовсе, это просто потехи ради. Ты, — говорит, — не понимаешь». «Э-э, — думаю, — не понимаешь. А он, значит, понял». Я ему и говорю: «Понимать-то нечего, ну и глядеть-то будет». Встал да ушел. Скажи, неужто этот-то Шалапин там тоже пляшет эдак-то?

— Нет, — говорю, — не пляшет.

— Не пляшет... хорошо. Да ведь заставят.

— Ну, его не заставишь.

— А-а, — обрадовался Осип Никонович. — Да ен не станет, нет, нипочем... Лучина — это, брат, другое, совсем другое. Понять надоть. Этого-то, поди, царю и не кажут, а вот «Лучину» он ему споет, он поплачет маненько. А верно он втору-то держит, Шалапин. Парень, нече говорить, казовой. Приехал бы, я бы еще ему песню сказал — хорошая есть.

Приятели мои смеялись и, показывая на меня, говорили:

— Вот это он юбки-то короткие им, танцулькам-то, делает. Он, вот он.

— Э-э, ну полно, што они над тобой, Лисеич, смеются, — уходя, говорил Осип Никонович. — Пошто станет Лисеич эдакое дело делать. Он отроду списывает в картину — воду, лес, небо. А это, полно врать...

И Осип Никонович ушел.

— Ишь ты, — говорит старик-помолец, — он танцуй-то пымает. Помню я, когда Осип парнем был, первый плясун был, двести выбивал. Сам чисто из камня, не дрогнет, а ногами что выделывал. Дробь выбивает. Он и петь был горазд. На крылосе у Пречистой певал. А я тоже слышал, как с Шалапиным-то они пели, на лужайке у столика. Ну, и пили водочку. Я из анбара глядел. Этто они выпили и друг перед дружкой поют и смотрют друг на друга. Глядят, и оба плачут. Я тоже, признаться, не стерпел, под сердце подкатывает, слез-то не удержишь. Тожа хороша песня, «Лучина»-то. Вот, может, летом приедет опять, Шалапин-то, узнать бы, споет, может, што. Послушаем...

* * *

Помольцы ушли. Дом затих в ночи. Горит одна лампада. И звезды видны в небе далеко. Коля Курин, ложась спать, снимает сапоги, говорит:

— Да, брат, балет — это тонкая, брат, штука. Им не понять. Это — эстетика.

— А ты понимаешь? — спросил его Юрий. — Тоже ни черта не понимаешь.

— Позвольте, — обиделся Коля. — То есть как же это? Я же дирижер, и не понимаю. Я, брат, все балеты знаю.

— А знаешь балет «Привал кавалерии»? Чья музыка, ну?

Коля молчал.

— А балет «Сандракулия»? Чья музыка?

— «Сандракулия»? — повторил Коля. — Постой, постой. Кажется, Делиба.

— Ха-ха-ха, — хохотал Юрий. — Дура, такого и балета нет.

Коля растерялся и, скидывая штаны, так задумался, что в задумчивости опять надел. Подошел к столу, выпил рюмку водки, покачал головой и сказал:

— Но «Сандракулия» балет был. Помню, один мне говорил: «У меня жена, — говорит, — такая Сандракулия — ужас». А у него жена из балетных была.

Человек со змеей

Ранней весной в Москве, когда на крышах тает снег и сохнут мостовые, когда солнце весело освещает лица и желтые тулупы торговцев на Грибном рынке, когда синие тени ложатся на мокрую мостовую от возов с бочками, от крестьянских лохматых лошадей, приехавших из деревни со всякой снедью, грибами, капустой, курами, яйцами, рыбой, — любил я смотреть на рынке пеструю толпу простых деревенских людей.

И всегда мне хотелось весной поехать к ним, в деревню, где голубая даль, где распустилась верба, куда прилетели жаворонки. Как хорошо, как вольно там. Уж мчат ручьи, весело и вольно шумя, блестящие воды. Далекие утренние зори полны зачарованной радости. Яркой красой разливаются зори над далекими лесами, перед восходом святого солнца. Как хорошо ехать проселком, весенним лесом, видеть сухие бугры и бревна... изб. А одна московская очаровательница мне сказала, что она не любит весны — «Так грязно, лужи, ростепель» — и что поедет она в Баден-Баден. Там ровные дорожки, покрытые желтым песком, и так приятно ходить под зонтиком...

Надоело в Москве. Надоело все, и театры, и умные картины передвижников, и то, что сказал Толстой; только один рынок Грибной нравится мне: в нем жизнь земли. И накупил я грудей, рыжиков, сетков, балык, кочанной капусты, моченых яблок. Все, что нужно. Так хочется есть весной. И еще купил — большого ручного живого зайца, который ест из рук капусту. Посадил его себе за пазуху в шубу, сел на извозчика и поехал к Бузинову.

Бузинов — торговец. Торговля удочками, крючками, вершами; маленькая лавочка помещается у берега Москва-реки, за Каменным мостом, за плотиной.

Еду — смотрю на зайца. И он смотрит. И так сидит у меня в шубе, как дома. Я достал из кармана морковь, он держит лапками и ест, не обращая ни на что внимания. Чувствую я, что заяц отлично понимает, что я его не съем и в обиду не дам. Потому-то, съев морковь, он как-то особенно застучал лапками мне по руке, как в барабан. «Это значит, — подумал я, — давай еще морковь». Обжора заяц — здоров есть...

У Бузинова при лавке — комната. И там вижу — сидит человек замечательный. Василий Княжев — поэт, бродяга, рыболов. Правит на лампочке камышовые концы удилиц.

— Василий, — обрадовался я. — Вот ты где. Как живешь? Да что это у тебя под глазом синяк... А смотри-ка, заяц какой ручной.

Василий серьезно так смотрит темными глазами на зайца, потом — на меня. И, подняв брови, вздохнув, говорит медленно и деловито:

— Заяц хороший. Чего ж, человеку поверил. А вам — игрушка. Только одно, ежели бегать не будет — то лопнет.

И он взял его за уши, поднял кверху, посмотрел и сказал:

— Кобель.

— Вот что, Василий, — говорю я. — Теперь закусим. Тут все на Грибном купил, что надо. Сбегай винца какого достать. Пост сейчас. Водку нехорошо.

— Нет, — отвечает Василий, — полынную можно.

И, взяв деньги, он живо побежал за вином, а мы с Петром Ивановичем Бузиновым стали жарить снетки в постном масле.

— А в прошлое воскресенье, — рассказывает Бузинов, — я, Баркальс¹, Андрей Иванович, Поплавский и План взяли у Перервы, сбоку, у плотины, где место глубокое у кручи, прямо на отвес, — голавликов порядочных... Один на три фунта был. Вот немцы, План и Баркальс, — любят охоту. И скажу — ловят с понятием... И каждый друг перед дружкой жен вот своих ругали, — ужас. Что и наши: не могут женщины понять охоты или что рыбу ловить. Бранят своих немцев. Вот от этого самого они оба и пьют. Шибко... А Княжеву синяк под глаз поставлен кем? Бабой. За рыбу. Не ходи ловить, не пропадай на реке... тоже она на него и хожалому жаловалась. Ну и хожалый тоже лад. А он — говел. И значит — все стерпел и не пошел исповедаться. Говорит, не знаю, как. Грехов не подберу. Что буду попу говорить. А он личность мою увидит, подумает — врет, грехи есть, а то за что же морда-то бита...

Вернулся Василий. Сели за стол.

Хороша ботвинья с балыком, сметки, жаренные на сковороде. Василий говорит, что полынная водка имеет большую пользу, и даже ее должно пить натощак.

В комнате Бузинова — сети, плетенные из прутьев верши, бамбук, а в окна видно сухую мостовую и деревянные тумбы набережной Москва-реки. А за рекой — весенняя даль, сады и Воробьевы горы. Мирно и радостно светит весеннее солнце.

Василий Княжев, выпив полынной, разговорился:

— И что через рыбу эту от женского пола я огорчения натерпелся — беда... Вот до чего они это не любят, кто рыбу удит. Для них хуже такого человека нет. И до того они терпеть не могут, что одна всю мою снасть в печке сожгла. И сколько у меня их не было, как вот одна — все. Как только до рыбы — шабаш. Пиши прощай. Или драка, или уйдет беспременно... Вот и теперь — весна. Значит, я сам не свой. Мне, что ни на есть, надо на реку и в лес. Потому красу видеть надо. Не могу я без этого жить, чтоб на волю и на радость не поглядеть. А она нипочем не хочет. Что тут делать. Прошлую весну у меня в Хорошеве, под кручей у леса, язь берет. Бесперечь стучит. Я таскаю. А она, значит, нашла меня, видит, что я ловлю да домой не иду, да сверху и давай камни бросать в реку. Конечно, язь отошел. Я думаю — кто это бросает? Гляжу — она. Ну, собрал я донные да берегом, берегом, дальше, дальше, и ушел... Так домой и не вернулся — пропал, значит... Ну, и шел я это по речкам, рекам. Ночевал в лесу да на берегу. Бродяга стал, значит. И до того хорошо на душе. И сам не пойму — отчего... Так хорошо, что сказать нельзя. Конечно, котелок у меня, соль, поймаю рыбку — сварю. Грибков пожарю. И иду все дале, дале. Ну, часы были — продал на рынке за три рубля. Хлеба купил... А то и Христовым именем... Полный бродяга, конечно. Жисть. Прямо чисто в раю живу. Все на воле. Краса кругом такая. Остановишься в месте привольном, поймаешь рыбку. Только денег нет.

Сижу я как-то у речки, — продолжал Василий, — мелкая рыбешка у меня — малек. Ловлю на его окуней и гляжу — ползет ко мне уж-змея, большой, и ест моего малька. Я ему еще подбросил и вспомнил я, как в зверинце Гаснера в Москве служил и змею-удаду на шею себе наматывал и к публике выходил... Номер мой такой был...

Вот поймал это я ужа, а он такой смиренный. Взял на шею себе и обмотал. А он чисто ручной — что вот заяц ваш. Понял, что ли, он нужду мою, только от меня не идет. И я его полюбил. Иду это я и встретил барина, что вот вас, Константин Алексеич... Он меня и спрашивает:

— Ты, — говорит, — человек, откуда идешь и куда?

¹ Правильно: Баргельс.

А я ему отвечаю:

— Иду, — говорю, — куда глаза глядят, от женщины злющей спасаюсь... И вот змея меня возлюбила более той, от которой ушел.

Увидал это он у меня змею на шее и удивился. Сильно удивился. Сказал:

— Человек ты, — говорит, — странный. Послушай, вот и я сомневаюсь, любит ли меня женщина, которую я люблю. Как, скажи, это разгадать?

— Трудно, — отвечаю. — Можно грех на душу принять.

— Стой, — вдруг барин мне говорит. — Продай мне змею твою. Я ее себе на шею надену да попугаю ее. Может, она правду мне скажет.

Думаю, продам — деньги нужны. Только я его хотел с шеи снять, ужа-то, а он как зашипит. Я сам даже спугался. Глаза у него синим засветились, и шипит-шипит. Не идет, значит, к нему уж-змея.

— Знать, ты человек хороший, что тебя и змея любит, — барин сказал. — Послушай, вот что. Как влево пойдешь — тут дорога на Псков будет. Ступай туда... Город Псков двенадцать верст отсюда. Вот тебе деньги.

Вынул он бумажник и дает мне сто пятьдесят рублей, подумай-ка.

— Оденься у портного, — говорит, — постригись, купи сапоги хорошие и остановись в гостинице, что у собора. Змею не показывай никому. Я к тебе приеду. Мы ее змеей попугаем...

Кладу я в карман деньги, а уж — шипит. Не к добру, — думаю я, — дело такое. Простились мы.

Иду это я и прихожу в Псков. Город старинный, соборы. Зашел в трактир. В корзинке у меня, в траве, мой уж. Ну — удочки, котелок. Дальше — больше. Переоделся я. И думаю: «Что-то нехорошо. Чего это я дело эдакое тяжелое узнал». Только в гостинице сижу, пью чай у окошка. И вижу, подъехала барыня, идет. Вышел это я в коридор и вижу: ее какой-то баринок встречает небольшого роста. Она-то куда выше его. И так он ей любезно говорит все такое-эдакое. А она ему:

— Насилу, — говорит, — вырвалась.

Я думаю — эта самая. И почему мне прямо в голову попало — не пойму.

Приходит, значит, ко мне половой — чай убрать. А уж мой шипит в корзинке. Половой спрашивает: «Чего, — говорит, — у вас в корзинке шипит?»

— Это бутылка с квасом там, — отвечаю, — пробка выскочила.

Ну, заговорили с половым-коридорным. Парень, вижу, веселый. Я его и спрашиваю:

— Барыня-то сейчас приехала, нарядная, не здешняя, знать.

— Нет, — говорит, — а что?

— Да так. Муж-то ее здесь стоит?

А половой смеется.

— Нет, — говорит. — Она с другим крутит. Он в полубовниках у ей, хоть и маленький, а вот — любит...

Василий Княжев вдруг замолчал.

— Что же, Василий, — спрашиваю я, — это та и была?

— Эта самая, — ответил Василий серьезно. — Только он, барин, когда приехал, я ничего ему не сказал... Заметьте, как я ушел из номеров, он меня к себе в гости жить, барин-то этот, звал... Нет, не пошел. В дом эдакой. Тоска. Притворный дом. Не могу. Эдакое дело все портит: вся краса кругом пропадает. Одна сволоча в душу лезет. Ничем не утетишь. Вином не утетишь. А в вине — радость есть. Попрощался я с псковским барином. Поплакал.

— А вот теперь у его, — показал он на Бузинова, — концы правлю. С вами в палатку жить пойду...

И Василий, взяв рюмку полынной, весело засмеявшись, сказал:

— Эх, хорошо на свете в воле жить... Погоди, заяц, поглядим еще на леса зеленые, и тебя, дурака, на волю пустим. А то — обожрешься в холопьях у человека. И беспрерменно лопнешь... от удара.

Сирень и шкаф

Как прекрасно весеннее небо утром. Разбросанные в голубом эфире светлыми перьями, весело стелятся облака, спускаясь к розовой дали весеннего леса, отражаясь в голубой воде разлива рек. Еще белеют в оврагах снега. В саду моем пожелтели осины, синие тени кладут ветви больших берез на обсохшую крышу сарая.

Я лежу на скамейке сада и вижу, как сидит скворец у скворечника на ветке и, подняв голову, заливается песнью. Скворец благодарит весну, небо, солнце, волю и жизнь...

Как хорошо лежать на спине и глядеть в самую высь неба. Какая красота в просторе светящемся голубого мира.

У террасы дома вольноопределяющийся Володя саблей наотмашь рубит сухие ветви кустов сирени и боярышника. А на террасе стоит и смотрит молодая девушка Муся, моя натурщица.

— Что это ты сирень всю изрубил, — говорю я Володе.

— Что ж, — отвечает тот, — она еще лучше расти будет. Надо же мне упражняться, а то...

Володя вынул портсигар с желтым шнуром, взял папиросу, постучал «элегантно» по портсигару, глядя на Мусю, и, бросив в рот, закурил.

Ко мне подходит слуга, молодой длинноногий человек, и жалуется:

— Что ж это такое? Володя все время в сарае индюка нашего дразнит. Кричит ему — «здорово, ребята», «рад стараться», а тот злится, весь ощетинился, отвечает. У него даже нос красный треснул...

— Володя, — говорю я, — он защита от врагов. Это, брат, потом будет что.

— Ничего не будет, — перебивает недовольно Ленька.

— Ну да, это оттого ты на него нападаешь, что он Мусе нравится.

— Тоже, Муся. Хороша.

— Ну, а что, уже все гости встали? — спрашиваю я.

— Встали, умываются. Только Павел Петрович спит.

— Ступай, буди его, скажи — скоро блины будут, ведь Масленица сейчас.

— Володя, — уходя, говорит Ленька, — Мусю курить выучил, папиросы ваши искурят все.

— А ты запри.

— Я запер, так они достают...

Весна. Как ярко светит солнце. На фоне зеленых елей четко блестят пуховки вербы. Не хочется идти в дом. Охватывает какая-то лень. Недвижный, смотришь на сучья яблонь и солому. Синицы в кустах щебечут — тьи-тьи-тьи-тьи, — душа замирает.

— Иди скорее, блины уйдут, — кричат мне с террасы дома.

Я иду и думаю: «Блины уйдут. Как странно, куда?»

На кухне хлопоты. Я как вошел, так немного струхнул. Льют на горячую сковороду тесто. Пахнет дымом, трещит масло на сковородке. Тетка Афросинья так строго посмотрела на меня.

— Садитесь, идите за стол уж. Чего тут... — сказал мне так же строго дедушка.

Блины. Это важное дело. На кухне все сердитые, когда пекут блины. Но когда подают целыми столбами их к столу, то ласковы и говорят: «Блинки, кушайте на здоровье».

За столом сидели мои друзья-охотники, приехавшие на тягу, все люди особенные.

Вообще, у нас в России были люди причудливые и очень умные. Это вот теперь все делается ясным. Охотники — это были какие-то другие, «без идей», несколько легкомысленные.

Муся, Володя, Ленка сидели отдельно: молодежь.

Березовка из свежих почек березы весенних замечательная, холодная, пьется сразу, и лезут сами в рот горячие блины с растаявшей сметаной, а там внутри зернистая икра. Блины — это, как сказать, это не социализм, а совсем другое. А еще щучья икра с луком, она как бисер. Но мало кто знает щучью икру с зеленым луком.

— Весна, — говорит приятель Коля Курин. — Я каждую весну до сих пор постоянно был влюблен. Что-то есть в весне такое. Но только один раз неприятность вышла. Черт-те что получилось.

— Я также весной был влюблен, — подтверждает полковник Павел Сучков. — Первая любовь начинается весной. Был влюблен в иностранку, замечательную.

— Кто же она, иностранка?

— Странно. Как это? Иностранка.

— Но какая иностранка — чухонка, испанка, кто?

— Прошу, пошлости бросьте, — обиделся Павел. — Довольно. Это была иностранка или что-то вроде. Одетая в манто. А там — как Ева... Ага! Каково?

— Но это что же такое, — говорим мы. — Странно. Только едва ли дама.

— Довольно пошлостей. Бросьте. Дама общества, и прямо мне, понимаешь, говорит: «Пью такую марку». Ага! Это — класс. Понять надо.

— Странно, — говорим мы. — В одном манто и «марку». Бывалая дама.

— Что ты сказал? Как ты смел? Я не позволю, — рассердился Павел. — Что значит «бывалая дама», — и Павел продолжал: — Понимаешь, в шелковом манто и без рубашки. Это — класс! Каково, а?

— Ну и что же, Павел, в чем же дело? Где же тут любовь?

— Как — где любовь? Глупо. Это и есть любовь. Класс! — и он вынул цепочку, а на ней жетон, крошечная золотая бутылка. — Вот она, — сказал он. — Это ее марка, Помери. Понимаешь, шампанское. Понял? Класс — женщина!

— Понял, — отвечаю я Павлу. — В бутылке, значит.

— Довольно пошлостей, — сердится отставной полковник и, налив себе наливки, поднял стакан кверху и сказал в пространство:

— За женщин, которые хоть раз любили нас, и это надо понять. Да-с...

— Самая любовь, когда сирень распускается, — сказал вдруг Коля. — Тут, брат, не удержишься.

— Что ты это про сирень говоришь, — перебил его приятель Вася. — Я в Нескучном саду два дня дождался одну актрису, в сирени сидел. Смотрю, а в сирени там, недалеко, другой сидит и на меня поглядывает. А она приехала, идет по дорожке, смотрит — двое сидят, повернулась и — ау, уехала. Я подошел к нему и говорю: «Что, выкусил? Чего сидел, дождался?..»

— Это, брат, весной с ними бывает, — утешил Коля. — Двум назначила. Думала, какой, может, и не приедет.

— Ну, чего ты говоришь! Я у него все узнал. Верно, она назначила ему. Так он, идиот, дни перепутал, а еще астроном был.

— Ну-ка, скажи, Коля, когда сирень распустилась? Как это было?

— Я скажу, — говорит Коля, — была весна. Иду это я у Невы, и у меня в руках букет сирени. Публика гуляет. Нева поднялась высоко. Все смотрят, и я вижу — блондиночка, красота. С ней я и заговорил, и букет сирени поднес ей. Она нюхает и говорит: «Приходите ко мне вечером завтра на именины». Она — именинница. Ну, я и пришел. Живет на Песках, квартира небольшая. Там какие-то гости: машинист с поезда, телеграфисты и еще разные. Закуска. Так просто, уютно. Только выпили порядочно. Стали расходиться, мне именинница и говорит: «Оставайтесь» и, провожая меня, в коридоре в шкаф спрятала. Я сижу в шкафу и слышу, как постепенно гости уходят. Долго сидел. Только она отворяет дверки и ко мне в шкаф. Я едва дышу. Шкаф такой неудобный, тесный, ноги трясутся, я едва жив, голова кружится, боюсь, как бы шкаф не упал. Только она уходит и говорит: «Если дядя не придет через час, то опять приду к вам». Вот так штука, думаю. В шкафу сижу. Она мне туда сирени букет бросила и заперла ключом. Сижу я час, другой. Вдруг слышу, кто-то пришел, ругается, а голос у него грубый, видно, что неприятный такой человек. Ругался, говорит: «Жалко, что гостей твоих не застал, а то бы, — говорит, — ножки им повывернул». Понимаете, какая скотина. Я сижу в шкафу и думаю: «Черт-те что, искалечат». Только как стихло, слышу, открывает она шкаф и говорит мне: «Уходите скорей». Я выскочил из шкафа, шепчу ей на ухо: «А пальто?» А она мне: «Бегите так, все равно, а то убьет».

— Ну и что же? — спросили мы.

— Так я без пальто, в жилетке, поехал к отцу — я тогда с отцом был в Петербурге.

— Ну и сирень, — протянул Вася. — Хороша сирень... Это, брат, просто хипесница.

— Ну, нет, извините, — протестовал Коля, — совсем нет. Порядочная женщина. Я ее опять встретил на Неве и спросил, что же это такое. А у ней это дядя алкоголик, который приходил, механик ночной. А она ни при чем. Я у ней в шкафу потом целую неделю жил. Только как-то в шкафу заснул. Устал, должно быть. Тетка-то и услышала. А было утро. Слышу, она шкаф отворяет. Я и притворился, что повесился, сам вытянулся весь, такое лицо сделал, язык высунул. Она как увидела меня, да как заорет. Побежала за дворником. Я вышел из шкафа, бегом по лестнице. А тетка навстречу с дворником. Я говорю: «Что вы, тетушка, я вот пришел, думал, у вас никого нет, стучался». Ну, с тех пор я больше не был там.

— И не видал ее больше? — спросили мы Колю.

— Так года через три встретились случайно. Она так странно мне сказала, холодно: «Вы, — говорит, — удавленник. Тетю мою до чего напугали. Она и шкаф продала».

В это время вбежал Ленька и говорит:

— Посмотрите, какие белые птицы летят...

Мы вышли на крыльцо. По синему весеннему небу летели парами белые лебеди. Их мощные крылья редко взмахивали. Друг за другом они летели ровной линией. Что-то чистое, торжественное было в лебедином полете.

МОСКОВСКИЙ ЗВОН

Праздник Воскресения Христова. Блистает весеннее солнце. По сухим мостовым Москвы тарахтят извозчики, едут, спешат нарядные седоки.

Лаврушка, помощник режиссера, проехал в цилиндре, белые перчатки, в руках желтая трость с набалдашником из слоновой кости — женщина изогнутая. Он только на Пасху берет эту трость, когда едет с визитами к богатым именитым театрам. Оказывается, что набалдашник на палке работы Бенвенуто Челлини. Он говорил, что сам заплатил за нее триста рублей — в Италии купил (где никогда не был).

Несмотря на Великий пост, все актеры у нас в Москве к весне, на Пасхе, как спелые яблоки, — жирные, румяные, нарядные, шляпы новые, лица веселые, даже трагики, и те улыбаются: такой праздник.

Весна, все оживает. Весело на улицах.

* * *

Ко мне пришли из декоративной мастерской казенных театров рабочие. Картузы у всех новые, сапоги с набором, калоши кожаные обязательно. Христосовались по три раза, вынимали из суконных поддевок красные яйца. Говорил каждый — «Христос Воскресе», я отвечал: «Воистину».

Хорошо. Рожи у всех веселые.

— Что же это, — говорю одному, — Василий Харитонович, руки у тебя синие, не отмыл.

— Синие, — говорит Василий, — потому анилиновый эдакий въедущий, ничем не берет. Это когда небо в «Рейморду» писали, с тех пор и осталось.

Василий всегда все слова переделывал.

* * *

За столом куличи, пасхи, ветчина, целый окорок, стол накрыт полно, блестят в графинах смородинные, березовые. Пьют аккуратно. Конечно, утро только. Говорят — «С праздником вас».

* * *

Слышу, в дверях звонок. Входят служники тирании — городовые, становятся по-солдатски в ряд и дружно поют: «Христос Воскресе. С праздником вас». Деловито выпивают по стакану водки, получают трешник, придерживая селедку (саблю), вежливо уходят.

— У их нынче что работы будет, — говорит Василий Харитонович про ушедших городовых, — ну прямо по горло. И у всех, заметьте, морды будут биты сегодня же к вечеру. Когда пьяных будут разводить. Они, конечно, выпивши сильно, дерутся с ними — без понятия. Кажинный прямо в морду лезет. Потому что пьян, ну и праздник. Тоже служба нелегкая их. Студенты тоже. Завсегда драка бывает...

Василий Харитонович Белов был из солдат. От меня и на службу ушел. И был он старший в декоративной мастерской театров. И со мной был строг. Человек был серьезный, я ценил его. Был он колорист. Бывало скажешь — «Василий, составь-ка тон, который, помнишь, в “Лакмэ” на пальмах был».

А это пятнадцать лет назад.

Василий слушает и строго глядит на меня, потом повернется и приказывает другим так определенно: «Желтый хром, крап роза, браншвейх». Те сыплют в тазы краску. Тон готов.

— Молодец, Василий, — говорю я, — правильно.

Василий посматривает в сторону, утрет руки фартуком, потом закурит папиросу, возьмет картуз и уйдет.

У меня в деревне Василий Белов, приходя в мою мастерскую, снимал картуз и вешал на гвоздь около двери, так ловко, проворно. Отчетливо.

В это время у меня гостил художник В.А. Серов и Ф.И. Шаляпин, который обожал разговоры с Василием.

Что разговаривали они, понять было невозможно. Только взяли мы этот гвоздь, на который вешал Василий картуз, вынули из стены, а Серов написал красками гвоздь на том же месте, и даже тень от гвоздя. Гвоздь вышел как живой.

Позвали Василия. Он расторопно вошел, картуз на гвоздь повесил. Картуз упал. Подняв быстро, он опять повесил картуз. А он опять упал. Тогда Василий долго и пристально посмотрел на гвоздь и ушел молча.

Потом я слышал, Василий говорит: «Вот все так у их. Нету в голове серьеза никакого, а жалованье большое получают. Вот что».

Василий Белов был в 1900 году со мной в Париже при устройстве большой выставки. Понравилось ему, что в Париже зельтерская вода задаром, пей, сколько хочешь. И лавочки, когда придешь покупать, по-ихнему говорят — «мое почтение».

Но не понравилось ему, когда в зал при открытии выставки получили все рабочие билеты на вход.

— Ничего, — сказал Василий, — только начальства настоящего у них нет. У нас в праздник, хоша бы Пасху взять, начальство выйдет, чисто пузыри на солнце блещут, мундиры, эполеты, ордена. А здесь — чего это, в гражданском все.

Не знаю, почему, Василий купил в Париже цилиндр.

Василий и в цилиндре был неплох. Но скоро снял, потому что девушки очень одолевали.

А он человек серьезный, притом семейный и пустяками такими не занимался.

Когда ко мне пришли приятели-друзья, мы порядочно закусили и в прекрасный солнечный день Светлого Христова Воскресения решили поехать на Москву-реку полежать на бережке, посмотреть на живую весеннюю воду. По дороге заехали к артисту Клинову.

Тот, увидавши Колю Курина, у которого весной лицо покрывалось угрями, сказал, что надо лечить.

— Такой красавец, и что это такое.

Высокий Клинов нагибал голову худенького Коли в ведро с раствором. Тот, с робости, послушно макал голову в ведро.

— Лечить тебя надо, — говорил Клинов.

После этой операции все поехали на Воробьевы горы.

* * *

Круто спускаются сухие дорожки среди зеленой травы бугра. Так весело блестят воды реки. Широкой лентой стелется Москва-река, в сиянии светлого дня вдали сверкают купола церквей московских, сорока сороков. А в долине гудит звон их, далеко разносится церковный звон.

На широкой лужайке около больших вязов мы лежим и молчим. Отдыхает душа под весенним солнцем. Высоко в синеве неба далеко летят журавли.

Коля Курин, лежа на спине и закрывши лицо шляпой, запел:

Я не сержусь, пусть больно ноет грудь,
Пусть изменила ты, я право не сержусь...

— Слышите, не угодно ли, поет, и какую ерунду поет! — сказал Клинов.

Коля сел, надел шляпу, посмотрел вопросительно на Клинова и переспросил:

— То есть как ерунду, изволь, почему?

— Конечно, чушь... Это какой же человек, которому она изменила, а он хоть бы что? И уверяет, прохвост, что, право, говорит, не сержусь на вас нисколько. Валяй... Это черт же знает что такое. А ты поешь.

— Верно, — подтверждает приятель Вася.

— Да вы что, с ума сошли, — возмутился Коля. — Да вы знаете ли, кто это написал, чья музыка?

— Да не все ли равно. Неверно это. Нет такого человека, если он не прохвост последний, чтобы не рассердился. И потом, что это ты все поешь... Весна кругом, красота, жизнь, а ты что?.. Тут место историческое. Поклонная гора. Поклонная, понял? Здесь вот Наполеон смотрел на Москву и говорил: «На стенах этого азиатского города я напишу свободу и справедливость». Вот что. Тут не шутки шутить, не бабьи измены... Наполеон бы тебе показал.

— Что показал... Что такое? — удивляется Коля.

В это время с горы, из ресторана вышла компания. Остановилась недалеко от нас.

Один из них, веселый румяный человек, показывал на Москву пальцем и говорил:

— Вон, слева, вон, от Кремля-то, — это наш приход Вознесения... Вона краснеет, видишь, жена... Это наша лавка тут. И до чего отсюда видать все, Господи!.. Вся Москва как на ладони. Хорошо. И река-то прямо вьется. Я купаться беспрерывно буду... Пойдемте все купаться. Чего же, тепло. Я прежде каждый раз в эдакий день купаться ходил. Крещусь в Иордани...

— Пойдем, Карл Иваныч, — сказал он толстому человеку, — я тебя выкренцу. Чего тебе, в нашу веру перевертывайся.

Компания, смеясь, пошла к реке. На берегу реки — лодки.

Веселый человек сел на опрокинутую лодку, но лодка была покрыта черным варом. Он прилип. Кругом рассмеялись.

— Эдакое дело, — говорил купец. — Пустяковина, а что сделаешь. В такой праздник и огорчение до невозможности... Насилу отлипнешь. Шура, жена, что делать?..

Жена тащила его за руку с лодки:

— Не подходи, — упирался купец, — не то приклеишься... Ведите меня с Иордана опять в трактир. Нипочем я этому не поддамся, хоша в одной рубашке останусь, а праздник справлю. Не подходи, Шура, приклеишься...

Компания скрылась. Мы снова лежим и молчим. Высоко в небе летят журавли. Слышен московский звон.

Тетеревиный ток

Ранняя весна. Первый день Пасхи. Ко мне в деревенский дом съехались приятели. Весело. Но я побаиваюсь, не поссорились бы. Метафизик, профессор, мой новый знакомый, в коридоре под руку отводит меня в угол и говорит:

— Ну, какой болван этот Николай Васильевич! Кто он? Ну что он говорит... Уши вянут. А этот, архитектор — это что же. Я его спрашиваю: «Какую вы любите бить дичь?» А он отвечает: «Я люблю бить баклуши, а дичь я стреляю». Ну, как вам это нравится?

— Ничего, — отвечаю, — пустяки. Охотники, конечно. Они вас понять не могут. Но зато гофмейстер....

— Ну да, конечно, все-таки видно, что человек воспитанный...

А на крыльце хватает меня под руку приятель Вася тоже. Говорит, смеясь:

— Ну и профессор у вас. Откуда достали эдакого?

— Ну, знаешь, — догоняет нас другой мой приятель, Коля Курочкин, — профессор этот, твой метафизик, — вот забирается... А жена у него ничего, хорошенькая...

— Боюсь, — говорю я. — Как бы вы все не переругались. Ты не очень, Николай, за его женой-то... Весь праздник испортишь.

— Я, брат, ничего. Только знаешь, и этот гофмейстер твой... Тоже, брат, балда.

— Как — балда? — удивился я. — Что ты. Очень воспитанный человек. Почему — балда? Ты, волокита, о гофмейстерах полегче...

Мы возвращаемся в дом.

— Сегодня, в полночь, мы идем на тетеревиный ток, — объявляю я за чаем всем гостям. — Шалашы приготовлены. Там вылет тетеревей и ток.

И я показываю вдаль, в окно, на бесконечные леса...

— Должен тебе сказать, — вмешивается гофмейстер, — уж я никогда на току не был... Что же эти тетерева — они летят, сидят или как?

— Надо сидеть в шалаше, — поясняю я. — Косачи, то есть петухи-тетерева, летят из леса и садятся: их привлекают к шалашам чучела, сделанные под тетерок.

— Удивительно. И они так глупы, что не разбирают чучел?

— Не разбирают ничего. Подлетят и глядят, — объяснил за меня архитектор Вася. — Конечно, тетерев глуп. Да еще весна. Они все влюблены в тетерок. А знаете ли, люди тоже не разбирают чучел. Другой — прямо чучело гороховое, дурак, а вот бабы влюблены в него.

Гофмейстер слушал Васю и мигал. Как-то обрадовавшись, вдруг сказал:

— Это бывает, бывает. Да вот, Чацкий, в театре, Молчалин, милая Софья — очаровательно.

— Но позвольте, Эрос не допускает аномалий. Эрос по существу своему этичен, — вставил профессор очень положительно и непонятно.

— Этичен он там или типичен, — довольно небрежно ответил Коля, — но Эросу-то все равно, черт ли ему. Тоже он здорово очки втирает.

— Эрос, Эрос, — заявил и Вася. — Что ваш Эрос? А вот Николай, мой приятель, — и он указал на Колку Курицына. — Вот он не Эрос, а Стоерос, а за ним бабы все бегают. Неизвестно почему!

— Позвольте, это я — Стоерос? Позволь спросить, что это такое — Стоерос?.. Что ты говоришь?..

Выходила какая-то ерунда. Я чувствовал, что созревает, как говорится, ссора.

— Знаете что, — сказал я. — День прекрасный. Надо подготовиться к охоте. Дробь — шестой номер. Кушайте, надо подкрепиться. Ночью пойдем на ток. Надо в темноте сидеть в шалаше. Вылетают к утру, чуть свет...

Тут вошел мой слуга, Ленька, и громко сказал:

— Диких рябчиков сколько прилетело. Сели на заводи. Вон тут, рядом. Такие здоровые.

Охотники оживились. Быстро схватили ружья, пошли. Один Коля остался. Сидя за столом, он расшибал красные яйца и ел. Вошел профессор с женой. В руках у нее была маленькая книга, как молитвенник. Лицо ее было серьезно, строго. Она открыла книгу и, опустив глаза, прочитала:

Тень любовь твоя,
Тень — твой ласки,
Жизнь и счастье — наша тень.
Ты не верь вчерашней сказке,
Новой жизнью дышит день.

— Замечательно, — хватая ее руки и целуя, восторженно задыхаясь, стал вскрикивать Коля. — Это вы написали? Замечательно. Пушкин — ни к черту!

Она, сложив книжечку, приложила ее к груди, подняла глаза к небу, сказала: «Да, я», и вышла. За ней вышел и профессор. Оставшись с Николаем вдвоем, я сказал:

— Ты насчет стихов-то. Уж очень что-то восторгаешься.

— Ну что же, — отвечает он. — Она, брат, хорошенькая. Показывает, брат, что она — личность свободная, независимая. Эмансипация. А он, сукин сын, метафизик, держит, брат, ее чем-то крепко. Вот чем держит — не поймешь. Темная, брат, штука...

* * *

Ночь. В весеннем небе остро, над синей долиной лесов, блестит серп месяца.

Выходим с крыльца моего дома. Темная земля. Тихо. В лужах у крыльца и в колеях дороги отражается небо. Пахнет землей, мохом, сыростью лесов. Спят в ночи высокие ели моего сада. По спине проходит холодок.

Мы идем мимо сараев в спящей тишине деревни. Спускаемся ниже, к проселку. Перед нами расстелилась однотонная темная долина мелколесья. Стараясь обхо-

дить весенние лужи, мы идем его краем. Впереди охотник, крестьянин Герасим. Он обвешан чучелами тетеревей. Я тихо говорю ему:

— Герасим, посади побольше чучелов у шалаша генерала.

Долго идем. Обходим край мелкого леса. Слева показался большой ельник и край озимого поля. Герасим остановился, говорит тихо:

— Тута...

Видим шалаша из еловых ветвей. В самый дальний садится гофмейстер. Потом Вася и я. Герасим ставит чучела тетерок поодаль от шалашей.

Долго сижу я в шалаше, и мне видно, как бурая даль мелкоколосья порозовела. Чахлые, ровные ели медленно светлеют.

Вдруг понизу, у самой земли, подлетел близко косач и смотрит на чучело.

Вытянув шею, опустив крылья, особенным гортанным звуком косач сказал: «Чу-фы».

И запел:

— Ту-ру-ту-ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту...

Он прыгнул вверх, перевернулся в воздухе и стал на ноги. Вдруг, вижу, подлетел другой. Вытянув шею, они смотрели друг на друга, растопырив крылья, и оба пели «Ту-ру-ту-ту-ту».

Это было так близко, и до того занятно они прыгали, что я забыл, что надо стрелять. Вдали раздались выстрелы, подряд: «Та-та-та-та-та». Мои тетерева с треском полетели. Я выстрелил вдогонку. Упавший косач забил крыльями. А вдали все стреляли.

Герасим подползает ко мне и, смеясь, говорит:

— Чего это? Чисто — война. Ложись, Лисеич, не убили бы.

— Выходите, — кричит архитектор Вася.

У дальнего шалаша, потрясая ружьем, стоит гофмейстер.

— Восхитительная охота! — кричит он. — Кругом меня, понимаешь ли, орут, токуют, масса. Я смотрю, чучела, но, представь, странно, и они орут, чучела... Я стреляю, кто чучело, кто нет, все равно, стреляю, потом узнаем. Невероятно забавно.

Герасим подбирает чучела. Из них сыпятся белые опилки.

— Вот, одного взяли, ваше превосходительство, — говорит Герасим, показывая убитого косача.

— Превосходно, — радуется гофмейстер. — Признаться, не ожидал... Первый раз ведь чучелов стрелял. Черт их разберет.

Из-за елей леса уже показалось солнце, осветило долину мелкоколосья. Весеннее утро. Свежие голубые длинные тени кладет лес. А вдали, за моховым болотом, на бугре, ярко освещенный, среди высокого сада, блестит мой деревянный дом.

Идем лесом. Неизъяснимые стада, крики птиц. Яркая зелень, как пух, покрывает леса.

Мы входим в дом. В сенях слуга Ленька говорит:

— Николай Васильевич захворал. Яиц объелся. За доктором послали.

На кухне жена профессора греет салфетки, утомленно говорит:

— Ах, бедный. Так захворать.

— Болван, объелся, — перебивает ее профессор. — А ты его лечишь.

— Это мой долг, — отвечает профессорша. — Сам отлично знаешь, что я — сестра...

И с горячими салфетками, чайником, мятой она уходит в дом.

— Этот болван, — волнуясь, говорит мне профессор, — съел сотню яиц. А она растирает ему живот. Глупо.

— Неумно и опасно, — согласился и Вася.

На тахте в моей мастерской лежит Коля. Испуганно смотрят в пенсне черные глазки.

— Что, — говорит ему друг Вася. — Обожрался? Сколько съел яиц?

— Я не помню, — отвечает кротко Коля.

— Не помнишь!

— Они все яички съели, — вежливо заявляет Ленька.

— Феноменально глупо! — вставляет профессор. — Его нужно оперировать, а ты его не трогай...

Профессорская жена, уходя с бутылками, посмотрела на мужа и сухо сказала:

— Прошу без указаний. Это — мой долг...

До самого вечера профессорша ухаживала за Колей, а вечером приехал доктор.

Рослый блондин. Он, весело улыбаясь, осмотрел нас и спросил:

— Скажите, пожалуйста. Кто это съел сто яиц? Где этот замечательный человек? Он жив?

— Вот он, — говорим мы, показывая на Колю.

— Христос Воскресе, — сказал ему доктор. — Это вы изволили скушать сто крутых яиц?

— Я, — ответил робко Коля.

— Это невероятно. Это на земле — первый случай. Дайте, пожалуйста, чистую салфетку и оставьте меня с больным...

Ленька достал салфетку в шкафу и подал ее доктору. Мы все вышли. Скоро вышел и доктор и, улыбаясь, объявил нам:

— Господа, не волнуйтесь. Этот милый человек, ваш друг, будет жив... За ним необходим только внимательный уход.

Профессор возмущенно фыркнул. А мой слуга Ленька остановил меня в коридоре, ослабил и сказал:

— А все яйца-то в шкафу так и лежат. И вовсе их Николай Васильевич и не ели...

Правда

Прятели у меня были все люди хорошие, но характеры у всех были разные и даже довольно трудные. Жили каждый как придется в быту русской жизни, но просто. Прежде как-то не удивлялись ничему. Ну а потом, конечно, все удивились. В то время не было таких больших умов, которые явились потом. А потому жизнь шла обыкновенно, так, бытом, устоем. Приходит трубочист, чистит трубу, доктор лечит, разносчик, булочник, утром приносит хлебы, выборгские крендели, рогульки с солью. Адвокаты на суде говорят одну правду, жулики воруют, солдаты поют песни:

Э, греми, слава, трубой,
Мы дрались, турка, с тобой.

Люди умирали, как всегда, как и теперь умирают. Хоронили, плакали — хорошие люди умирали, жалко, но что делать. Словом, все было просто, и никто и не думал,

что трубочист пролетарий, а булочник эксплуататор, а домовладелец буржуй и мошенник. В голову нам не приходило.

У меня был знакомый, вроде профессора, человек университетский, умный. Он мне внушал доверие дипломом и все объяснил, что все не так, как надо, и что я не развит политически, а что он — специалист. Я думал: «Э-э-э, вот умный-то». И брал он у меня деньги взаймы, но никогда не отдавал. Я думал: «Большой человек, что эта мелочь сравнительно с идеей».

А потом мне, по моей мякинности, показалось вдруг — а не с прижухлю ли он.

Вот во время этой патриархальной жизни, в мае месяце, когда красота такая в природе, я как-то позвал к себе в деревню своих приятелей погостить. И так, чтобы и они позвали тоже своих приятелей.

Конец мая месяца — красота. Как поют соловьи! А иволга свистит в саду моем, заслушаешься.

Дом большой, деревянный, а в саду беседка старинная, большая. Когда какой ли романс я слышу или музыку, оркестр, мне все беседка моя вспоминается. Такой чудный сад был у меня.

Ну, приятели собрались, слуге своему говорю я — все захватить: вина фюдосии, румынского винограда — пять ведер, крющон для прохлаждения чтоб делать, так как клубника и земляника поспели. Крющон отличный будет, не пьяный.

Приятели собрались и поехали, а я должен был по делу ехать на день в Петербург. Значит, к себе через сутки возвращусь. Так и вышло.

Из Петербурга я на Бологое, по Рыбинской на Ярославскую железную дорогу, и к себе. Приехал на станцию; мне буфетчик и говорит:

— К вам гости приехали, и граф с ними. У меня в буфете весь коньяк взяли и все вина прочие тоже. Вот и счетик, пожалуйста.

«Это, должно быть, Трубенталь придумал, — подумал я, — для крющона, чтоб крепче выходил. Он, должно быть, и есть граф».

Встречают меня возчик Сергей Баторин и рыболов Княжев — оба в пол-свиста. Дорогой Княжев говорит:

— Ну и люди, вот люди — человеки, эдаких и нет еще. Вот что в беседке у вас делается — ух ты! Заплакать можно, ну, люди — человеки.

— Что делается?

— Вот прямо, что друг друга режут на части.

— Как — режут? — удивился я. — Что ты говоришь?

— Начисто все говорят. Правду-матку режут друг дружке. От сердца, начисто, так что все верно выходит. В открытую. Знай, кто ты и что ты есть. Начисто.

— Что же, пьяные, что ли?

— Нет, — отвечает Василий Княжев. — Выпивши несколько, конечно. Доктору-то вот доказали прямо, лечи, говорят, не лечи, а люди — человеки все одно помирают. И мятные твои капли не помогут ничего. А ты только жулик, деньги зря берешь и людев обманываешь, более ничего. Вот это правильно. Тот прямо ругался, но ничего не поделаешь. Сдался. Большого орла пил.

— Какого орла? — спрашиваю.

— Да у вас есть. Старинная чашка большая. С орлом. Из ее пить велели.

— Да ведь она разбита.

— Ничего. Веревкой связали. Только когда, значит, весь их суд доктор дураками обозвал, так трех орлов пил за это. Ну, он выпивши, конечно. Это верно. А другие ничего.

— Да чего там всего было — не перескажешь. А Василь Сергеич, который архитектор, до того осерчал, что уехать хотел. Они его и спрашивают: «Чем трубы закрываются?» А он не знает. А ему и говорят: «Вьюшками, дурак». Вот обиделся, вот до чего. Насилу удержали. Уехать хотел.

— Да, правду-матку, значит, режут, — сказал я.

— Эх, и до чего хорошо слушать, — продолжал Василий. — Что выходит — ну-у. Вот ежели бы все бы так — ну и жисть была бы... А то, верно, никто и не знает правды-то, а живут. Все помалкивают, думают про себя. Но да ведь скажут, когда придет время. Все скажут. Все узнают правду. Вот как в этой сейчас, в беседке вашей. И до того слушать интересно. И думаешь, что выйдет опосля, неизвестно. Передерутся все али что — не поймешь...

Я подъехал к дому. Только я вылез из тарантаса, как с горькими слезами меня обнял капельмейстер Миша Багровский. Молодой человек. Он, плача, приговаривал:

— Дорогой, милый, умираю, гибну. Моя-то Надечка, моя жена, которой я верил, изменяет мне.

И он мокрыми щеками прилипал ко мне, целуя меня.

— Верно, верно, — говорил он. — Я не верил. А теперь вот они, — показал он на беседку, — все объяснили. Все верно. Все правда. Чистая правда. Матка-правда. Пропал я. Как я страдаю. А с кем, с кем. Подумайте. С Куплером. Это ужасно. Ее косы завтра же я скальпирую. Завтра.

— Миша, это же все пьяные. Что же вы верите, — утешаю я. А сам думаю: «Должно быть, правда».

— Не беспокойтесь, — говорит Миша, падая на траву. — Не утешайте. Я не утоплюсь, не застрелюсь... А у тебя, прелестница, оборву косы... Погоди до завтра.

Вошел в дом. Коля Курин лежит там на тахте без панталон, но в спортуке.

— Здравствуй, — говорит мне Коля. — Хорошо, что приехал. Черт-те что делается. Все, брат, перепились и переругались. Теперь, кажется, купаться ушли. Ленька и Павел пошли на реку с веревкой, чтобы не утопились.

— А ты что же, Коля, без панталон?

— Без штанов, брат. Крюшоном облили. А потом со всех сняли и спрятали, чтобы не уезжали. Ты представить себе не можешь, что идет. Это Юрий выдумал: суд. Всем правду-матку говорить. Не ходи в беседку. А то судить будут. Что говорят — слушать невозможно. Спрашивают черт-те что.

— А что же?

— Знаешь, так вежливо спрашивают, как на суде. «Скажите, — говорят, — господин Курин, к примеру, пожалуйста, честный вы человек, и не стрекулист, и не стрюцкий?» Ну, подумай, это же обидно. Конечно, твой это знакомый, как его — забыл, ну, ученый-то, уехал, брат, сейчас же. Обиделся. Он человек идейный, умный, а они прямо лупят — стрекулист.

— А где же мой аквариум? — спросил я вошедшего слугу Калбанова.

— В беседке, — ответил Калбанов. — В нем крюшон разводят. А окуней голубых канадских ваших в реку пустили. Пускай, говорят, у нас разводятся. Икру пущают.

— Что же это делается, — говорю я Калбанову.

— Да-с, — отвечает Калбанов. — И не поймешь, что. Правду вводят. На той стороне реки целого барана жарят. Палку в него продели, ну и на костре, значит, пекут. Меня послали за ромом. У него — это про вас говорят — есть ром. Велели принести. Поливать барана, говорят, ромом надо. Трубенталь велел. Народу много глядит. Ну, конечно, все выпивши. По реке хотят ехать в лодке, кругоплавание, узнать, куда река выведет.

— Это черт-те что, — говорит приятель Коля. — Утопятся.

— Ничего, — успокаивает Калбанов. — Народу много. Но только где же им проехать реку. Застрянут в осоке. А в Некрасихе на мель сядут беспременно. Граф Трубенталь всем распоряжается. Он ведь моряк был. Все знает. Как и что.

— Он не граф, — говорю я. — И не моряк, а актер.

— Должно быть, граф, — говорит Калбанов. — Велел себя называть так. На станцию посылал за вином, так «граф» подписывался. Но ловко барана жарит. Он веселый, все за него.

— Где панталоны мои? — спрашивает приятель Коля.

— Да, — отвечает Калбанов. — Все сняли друг у друга, а куда девали — не знаю.

— И я не знаю, где. Без штанов-то комары одолевают. Как быть теперь? К вечеру заедят! Никому не выдержать...

Прошло много времени. Приятели мои, которые резали правду-матку в беседке моего сада, почти все умерли.

Появились другие люди — серьезные, которые тоже резали правду-матку по всей России. И не стало у меня ни моего дома, ни беседки, ни моего дивного сада. И не слышу я соловья и свиста иволги. И не могу угостить друзей своих крюшоном с земляникой.

Вот она какова — правда-матка-то.

Стриж

Утром рано пришел ко мне Василий Княжев, рыбовлов. Велел меня разбудить, так как мы собрались ехать на рыбную ловлю. Я уже проснулся и читал «Новое время». Там меня постоянно ругали. И на этот раз я прочел про какую-то постановку в театре и про декорации моей работы. Сказано было: «декадентская мазня Коровина». Писал Ежов. А на столе у меня письмо: «Дорогой. Мы подносим альбом великому Толстому. Просим вас дать рисунок или акварель, что вы найдете подходящим к его произведениям. Заранее жму вашу талантливую руку». Подписано тоже — Ежов.

Входит Василий и говорит:

— Денек самый подходящий к рыбе. Серенький, и тепло. Хорошо мы поедем, под осыпи. Лещ берет. Запремненно спиннинг возьмите. Там шереспера много.

— Василий, — говорю я, вставая. — Едем в Хорошево. Что это опять у тебя лицо исцарапано?

— Ничего, уже подсыхает. Чего говорить... Женщины... Они чисто кошки, всегда царапаются.

— Выпил, должно быть, лишнее.

— Конечно, и это отчасти было, — ответил Василий, собирая удочки, потом засмеялся. — Скажу вам правду. С Планом на Сенеже щук ловили. Ну и пить План

здоров. Жена его неделю ловила. А он на лодке от нее по озеру спасается. Поймать нельзя никак. На четырех лодках его ловили. А он — в камыши — и пропал. А я ему с берега знать даю. А она это заметила, хитрая баба. Да вот меня и исцарапала.

— Что же это она ищет-то его?

— Э-э, ищет... Так он там, на островах, другую бабу держит. С ней и приехал. Она и узнала, жена-то. Ну, что-о. По озерам и по земле от баб — одно и то же получается.

* * *

В Хорошеве шли по берегу Москва-реки и нашли уединенное место.

Небольшой обрыв, спустились к реке на песчаную отмель. Закинули донные удочки с бубенчиками, разостлали плед, вынули закуски. Сидим и поглядываем на бубенчики. Не дернет ли рыба?

Хорошо кругом. День серый, тепло. Берег обрывистый, во многих местах в стрижиных норах. Из этих нор вылетают стрижи. И несутся над водой, весело посвистывая. Я лежу и смотрю, как быстро вылетают стрижи. Думаю, как эта небольшая птичка могла в песке обрыва выкопать эти глубокие норки. Как вдруг, вижу, один стриж схватил другого стрижа при вылете, ударил его и быстро полетел мимо меня через реку. И мне видно, как он опустился на другом берегу реки и бьет клювом унесенного стрижа. Зазвенел бубенчик. Василий вскочил, подошел к удочке, насторожился, бубенчик легко дергался. Леса вытянулась, Василий тянул рыбу, которая плескалась в дали реки.

— Подсадчик, — сказал Василий.

Я ему бросил, а пойманный лещ уже лежал на берегу.

— С охотой, — сказал Василий, сажая леща в саженку.

— Василий, — говорю я ему, — а вот я смотрел, как стриж схватил стрижа немножко меньше себя. И вот, ест на той стороне.

— Это не стриж, — ответил Василий.

— Как не стриж? Я же видел, что стриж.

— Нет, — говорит Василий. — Я знаю. Оно точно, он как есть стриж, только маленько крылья доле и клюв другой. А глядеть — прямо стриж. Заметьте, эти стрижиные гнезда в обрывах, сколько их. Много. Это целые селения. И всегда при них живет этот самый разбойник. Он, как есть, такой же стриж. Они его и не отличают, и не боятся. А он их ест. Вот. И не знают они, что это ястреб махонький при них живет всегда. Вот хитрость какая создана. Как все равно у людей.

— Ну, у людей этого нет. Разве человек человека ест, что ты?

— А как же. Только у людей хуже еще.

— То есть как же это?

— Эх, — хитро посмотрев на меня, кашлянул Василий. — У людей вот до чего хитро сделано. Это — беда. Вы, конечно, художник. Вам это в голову не идет. Чего вам? Простота. О другом думаете. Васька кажинный объегорить норовит. Вы сами как вроде проситесь.

И Василий, вскочив, подсек, дернув удилице. И опять поймал.

— То есть как это — проситесь? Это ты что говоришь?

— Вот заметьте. Я ведь на Хитровом рынке, бывает, ночью. Какой мой заработок? Бывает, что пропьешь и последний пяточок. Так на Хитровом, эх, и народ есть. Од-

ного разá я встретил там человека. Оченно запойного. Так вот человек, вот человек. Прямо, что солнце ясное. А может, и святой, кто его знает. Алексеем Михайловичем его звали. И уважали его. Хоша и пьяный бывал. Так он говорил, что жулик и плут в человеке в нутре природы самой заложены. И из этого покою никакого нет на свете никому. Это, говорит, порода такая. И я хорошо помню, как он слово такое говорил, минитрия такая в природе есть. А в человеке ее более всего. Заметьте, ежели человек живет себе и живет. И трудится, старается. Дом, забор ставит. Это все через женщину бьется. Через бабу, значит. Крови своей верит. И ей сдуру верит. Значит, ее за ручку и в дом введет. Пожалуйте, говорит, милая, ненаглядная, в дом мой. Дитев родим. И коршун тоже ее, коршуницу свою, в гнездо ведет. А дом, это что такое? Тоже гнездо. А город — это улей. Перед миром Божиим что это — пустыки. Одно что есть самое, что надо, — это и есть Божье, это — любовь. В ней чего-то есть поболее суety жисти нашей. Но вот этот Алексей Михалыч так говорил, что среди людев есть тоже люди, прелюбезные. И такие други тебе кажутся, и тебе никогда и не узнать его нипочем. Как вот стрижем этого, который ест их. Так этот и прелюбезный человек все тебе друг первый, все обещает, не то что тебе одному, а всему народу обещает. И говорит то и это. Рот разинешь, что говорит. А глядь — у него все, а тебе — все на потом. Обещает только...

— Дураки, Василий, верят. А умные не станут.

— Не верите?.. А придет ли вам в голову, что вот у меня в кармане рука женская лежит, отрубленная, в кольцах в драгоценных?

— Что ты, Василий, взбесился! — сказал я испуганно.

— А так вот, — отвечает Василий. — Со мной эдакое-то было. Я видел такого молодца, красавца, так он мне вынул да показал: у девки богатой отрезал... Показал мне на пруде в Кускове. Я рыбу ловил. До чего было страшно глядеть. Так я тихонько, тихонько и скатился с бугра да в лес, бегом. Потом газеты читал. Опосля. Смотрю — ничего нет. Так я обрился да на Волгу ушел. На хлебный склад. Мешки с хлебом таскал. А то найдет, увидит меня, запременно убьет. Потому он, когда показывал мне, — выпивши был. Да что это? Пустое. Малое дело... А есть люди пострашней, который знает, как разорить, отнять все, он выше вас смотрит. И сверх вас. А живет между людьми. Ничего не работает, а жулит только. И во всем себя показывает. Ну вот благодетель прямо. Друг народа, за рабочих горой, плачет. Я видал такого. Прямо слезы идут на виду. Вот до чего хитер. А сам — подводчик. Он не убьет никогда. Руки не отрубит. Он подведет, у кого отрубить, а сам — нет. А кольца-то все у его будут. Ведь он бы и рад добру честью служить, да не может, в ём нету этого. Не рождено. Он вот этот стриж-ястребок. А глядеть-то, как вот мы, — тоже человек. И дитев своих любит, а ваших — нет. У вас рубашку отымет, да и жисть...

С бугра к нам на берег в эту минуту спустились двое, одетые в чесучовые светлые костюмы. Видим — дачники.

— Рыбку удите? — сказал один. — Хорошо. Отлично это за ловлей бутылку-другую осушить. Я тоже — любитель ловить. Только одно — что пьешь, кстати, много. Ловил с приятелем. Постановление сделали: ерш — рюмка водки, окунь — две, лещ — бутылка. Ну-ка, выдержи. А идет один лещ... Туды-сюды — что делать? А приятель мне и говорит: «Знаешь, — говорит, — подлость это рыбу обманывать. Вытаскивают ее из ее атмосферы. И прямо жарят. Ведь верно, низость какая. Пей, — говорит приятель, — прямо без постановления. Правильно. И счи-

тать не нужно. Всю это мы бюрократию к черту». Совсем чувство стало другое. И вам советую, — обратился он к нам, — без постановления лучше. А то как-то боком все выходит...

Дачники присели, и мой необычайный разговор с рыбаком Василием о людях и стрижах на этом и оборвался.

«Страшный» огород

Как-то в молодости гостил я у приятеля своего, доктора, который жил у Владимира на Клязьме. Вот этот доктор рассказал мне однажды, что недалеко от Владимира река Нерль сливается с рекой Клязьмой, и такие там раздольные места, большие луга и озера. И стоит там старый Боголюбский монастырь. И есть древняя колокольня. Вот в этой колокольне, на каменной лестнице, был убит, давно то было, князь Андрей Боголюбский за то, что он неправильно Писание понимал. И в пойме реки Клязьмы, в озерах, когда ветер и гроза, то по озерам этим плывут кораба с убийцами князя, заросшие чередой и тиной.

— Конечно, это предание, — сказал мне доктор.

И захотелось нам посмотреть озера и реки, и как это плавают на них гробы. И пошли мы с доктором, взяли с собой удочки ловить окуней. Приятель мой, доктор, показал мне старую колокольню и лестницу, на которой убили князя.

Был серый день. И озера, на которые мы пришли, волновались свинцовой зыбью. Найдя удобное место на берегу, мы забрасывали удочки. Берега были покрыты густой порослью ольхи и сосновым лесом. Сбоку колыхался разбитый рыбачий челн. Поплавки удочек наших качались на бегущих волнах, синие тучи за лесом предвещали грозу.

Ветер креп. Поплавок пропал, и я вытащил большого окуня. Сажая его в саженку, я увидел, как от другого берега к нам по озеру двигается по воде темная куча камыша. За ней другая. Плывут. «Это, должно быть, кораба», — подумал я. И какое-то неприятное чувство вошло в душу, когда они плыли к берегу, прямо ко мне.

Мы вынули удочки и увидели, что на озере плывут еще кучи темных островков. И все — к нам. Ловить было нельзя.

— Ишь, плывут кораба, — сказал доктор. — Пойдем в чайную, тут недалеко, на дороге... К вечеру ветер стихнет, лучше будет ловиться рыба.

В небольшом трактире, на дороге, сели мы с доктором за стол у окошка, спросили чаю. Было видно в окно, как поднялась пыль на дороге, и сразу хлынул дождь. Раздался отдаленный звук грозы.

К крыльцу подкатила повозка, и в трактир вошли трое, не то торговцев, не то зажиточных крестьян. Сели они неподалеку от нас за стол, тоже пить чай. Один из них, бородатый, средних лет, сказал:

— Не спорь, Савиныч. Как есть, написано: «облачок, облачок и нашел его дьячок». Во, гляди, дьячок нашел. На сорок третьем листе.

И он вынул из-за пазухи старую книгу Священного Писания.

— Пустое говоришь. Все это зря, — перебил его человек с черной бородой. — Сказано, на шестьдесят пятой: «яко тело свое омываешь водою банною, так омой ее любовью своею». И боле ничего.

— Не-е, — сказал третий. — Хоша бы мою Марью взять. Пушай ее в баню в субботу. Дабы в храм можно на праздник. А то погану поведешь. Не годится. Вот оно, что на шестьдесят пятой...

— «Облачок, облачок, и нашел его дьячок», — перебил его первый бородач.

— Пустое говоришь, — спорил второй. — «Яко тело свое водою банною...»

— Не свое тело, а ее надо в баню, а то...

— А чего «то»?..

— А то, что сказано. Блюсти надо.

Тихонько доктор мне говорит:

— Что это говорят? Не из коробов ли с озера повылезли? Вот, должно быть, эдакие-то идиоты князя Андрея Боголюбского и убили.

* * *

Как любили у нас говорить, где что сказано, где написано. Толстовцы ходили с его книгой под мышкой и читали барышням-толстовкам; так внушительно где и как у него сказано. И жили «по писанию». А в одном чудном имении, где я гостил, тамошний сынок, очень умный, начитанный, страшный спорщик, на все, кто что ни скажет, протестовал, заявлял:

— Граф Этьен сказал: «От великого до смешного один шаг».

— Позвольте, — перебивали его, — это не Этьен сказал, а Наполеон.

— Ничего подобного, — горячился молодой человек. — Это Этьен... На триста двадцать второй странице...

И сынок бежал в библиотеку искать Этьена.

И выдумал один, в гостях у этих милых людей, тоже истины изрекать. Бывало, за чаем, на чудной террасе сада, скажет:

— Истинная любовь множит жертвы, лампадой чистою горя.

— Это кто сказал? — спрашивают все.

— Мериме, Жан. На сто тридцать второй странице.

Бегут в библиотеку, сынок ищет. Есть Мериме — только не Жан.

— Жаль, — говорит гость. — А у Жана так много истин.

Это хорошо, что так любили истины, сказанные великими людьми. Но еще сильнее любили у нас то, что запрещено. Напечатано, но запрещено. Вот это найти, прочесть, ну просто — радость безмерная. Запрещено цензурой — вот это-то и надо.

Молодые девушки зачитывались до обалдения, ходили после такие умные, таинственные.

Один такой умный спрашивал меня:

— Прочли?

— Прочел, — отвечаю.

— Теперь вы будете влиять. Должны влиять, — сказал он мне поучительно.

Один родственник мой сказал мне:

— Равенство правовых субстанций есть мерило общественного сознания.

Я сразу увидел — «прочел».

— Вали дальше, — говорю я.

— Абстрактные идеи масс не выявляют тезиса законченных прогнозов мышления.

— Замечательно, — говорю. — Это ты откуда?

— Это — мой вывод...

И вот один такой пациент и принес запрещенную книгу тому моему приятелю, владимирскому доктору, который мне о князе Боголюбском рассказывал.

Принес книгу в страхе и трепете. Книга — запрещенная. По-русски написана. Издание Лейпциг. Сверху написано: «Долой камарилью».

Доктор прочел. И сказал мне:

— Тощица. И почему запрещена — неизвестно.

Взял он у себя в библиотеке подходящую по размерам книгу. Попалась — «Огород». И отдал он ее переплести переплетчику. Нутро все запрещенной книги выдернул. А «Огород»-то вставить велел внутрь. Вышла книга с картинками.

— Вот у меня книжка, — говорил он знакомым. — Читать осторожней.

И сзади дома доктора, в саду, в бане, вечером читали, закрыв окошко, учительница его маленького сына, фельдшерница, ее племянник и другие, все читали.

— Ну что? — спросил доктор как-то за чаем. — Какова книжечка?

— Обман, — говорят ему все. — Там все про капусту, репу, морковь, черную смородину.

— Вы ничего не поняли, — сказал мой приятель-доктор. — Надо между строк читать. Черная смородина — вы думаете, просто так, смородина?.. Ан, нет. Это — черная сотня. Морковь — красное знамя.

— Я так и думала, — сказала фельдшерница. — Парники — это, наверное, дворянские институты благородных девиц.

Книгой стали зачитываться опять. Его родственник как-то говорит мне:

— Там черт знает что написано, если между строк читать.

— А что же? — спрашиваю.

— Да про сорные травы!.. Все — вон. Это ясно. Обрезать всходы. Это — «долой камарилью»... Не все, конечно, сразу поймешь. Нарочно запутано. Но, когда вдуматься серьезно, — видно все, что и как. Вот горох убирать на зиму в сухие помещения. Ясно, что это — патроны для восстания.

Словом, книга имела успех.

Один какой-то из судейских, самых махровых политиков, долго думал над книгой. И сказал:

— Ерунда! Тут ничего нет политического. Вас обманывают.

— Как! — завопили все. — Кто обманывает? Вы говорите, как тупица. А красная и белая смородина, по-вашему, — ерунда?

Судья опешил, взял книгу и сидел дня два в бане. Потом заявил, что согласен: намеки есть, ясно, особенно — где молодые всходы.

— А желтая и синяя репа, — стали его перебивать. — Это, по-вашему, что такое?.. Это — жандармы, Третье отделение. Синий и желтый кант.

— Пожалуй, — согласился судья. — Отвезу-ка я ее в Москву... Там лидеры политические, мои друзья, все разом расшифруют.

И увез. Только, возвращаясь назад, забыл он эту книгу на станции. Ну, ее нашли и отдали железнодорожному жандарму. Тот посмотрел книгу — видит, лук, морковь, капусту и подумал: «Отдам я ее начальнику, человеку старому. Он любит лук сажать у себя в огороде. Вот она ему и понравится».

Отнес он эту книгу недалеко, к начальнику. Тот начальник надел очки и вечером за чаем смотрел книгу. Картинки прекрасные. Только сбоку как много написано

пером, карандашом. Когда он прочел, у него на лысой голове встали последние волосы дыбом.

И отнес он ее в управление. Там собралось начальство. Читают — понять ничего невозможно. На картинке клубника, хорошенькая картинка, а написано: «Российская проституция».

Особенно задумались жандармы над хорошенькой картинкой. Решили отправить книгу в Петербург в центральное отделение политического сыска.

В управление, где лежала книга, зашел писарь и, увидев книгу, заинтересовался от нечего делать. Посмотрел картинки, увидел клубнику, засмеялся и сказал:

— Это значит, не иначе как Шурка Кудлашка. Или Машка Клубника.

И написал сбоку: «Верно». И расписался: «Иван Сученко».

Владимирское жандармское управление книгу отправило в Петербург.

Ну и пошла переписка с Петербургом. Писаря Сученко допрашивали:

— Ты знаешь эту книгу?

— Так точно.

— Это ты написал тут?

— Так точно. Я писал. Чего же, все пишут. Так что, это я писал.

— Кто это Шурка Клубника?

— Очень даже приятная проституция.

— Да ты смеешься, что ли, — кричат на него.

— Никак нет. Ее всегда Клубникой зовут. Я у ней наперед всех. А другим не очень. Отхаживает.

— Да ты знаешь ли, сукин сын, — говорят ему, — что через твое тут писание нас всех под суд отдадут.

— Никак нет, не знаю...

Под суд, правда, никого не отдали, а писарь Сученко под арестом сидел.

Вот и весь рассказ про русский «страшный» огород.

Месяц ясный

В позднем вечернем сумраке над далекими лесами взошла таинственная луна. Дорога, извиваясь серой лентой, пропадает вдаль. Прошел летний жаркий день. Медленно наступает заколдованная ночь. Тихо, так тихо, ни души кругом.

Чиркаю спички, подношу к свечам канделябра. Моя бревенчатая деревенская мастерская осветилась, а окна стали темно-синие. Влетела летучая мышь и быстро кружится у потолка, бросая темные тени. Мой сторож-дед ушел в деревню. Лежат на полу его сети, которые он плетет. Как-то все бедно, уныло. Я прохожу по одинокому дому на крыльцо. Спит сад. Высокие ели ушли ввысь, среди темных верхушек мерцают звезды ночи.

Как хорошо. Заманчивые звезды, зовущие к себе радостной тайной. Чего-то так хотелось душе, чего не было. Задумчивый, прикованный, смотрел я в высь небес. Не кольхнет лист, спит темный сад. Тишина.

Какая тайна прекрасной любви, какое дивное соединение чувств с этим темным садом, с этими ветвями у края крыльца, с огнем в окне моего дома, и дорога дальняя, запах трав и звезды, все соединено со мною таинственно. Ночь, забвение. Уйти бы туда, к звездам, ввысь.

Слышу шаги. Кто-то идет от калитки. Мой Феб подбежал ко мне, ласкаясь. Кружится около меня. Подходит дед-сторож:

— Слышь, от ворот-то, — говорит дед, — вона, слышь, далеко бубенец. Кто-то едет, к тебе, знать.

У большого леса, за садом, я слышу, звенит колокольчик и стучат по деревянному мосту колеса тарантаса. Слышу голос. Кажется, бас приятеля Васи:

— Лунатики, черти. Едут не туда. Луна, луна, черт ли луна. Три часа едем...

Тихо подъезжают к крыльцу. Слезают доктор и композитор Юрий. Оба громадные. Коля Курин, вылезая из тарантаса, сердито говорит куда-то в пространство:

— Чья бы мычала, а твоя бы молчала. Тоже... Из-за тебя, дура, ехали не туда.

— Да ведь, барин, чего завертывали, — отвечает, слышу, возчик. — Я дорогу-то знаю. Нешто по месяцу езда. Дорога сюда вертит, туда вертит, а месяц то сзади, то спереди. Нешто езда. Все на месяц брать. Куда приедешь. Эвона, на Соболево ехали. Пошто.

Доктор с композитором, Колей Куриным и Васей вошли в дом.

— В последний раз я с тобой еду, — говорил архитектор Вася Коле Курину. — Как увидит лужу — «стой, пить хочется». А на станции сеledку всю съел, кильки... Из-за тебя и в болото попали.

— Нет ли чего-нибудь? — не смущаясь, спрашивает Коля. — Понимаешь ли, у меня внутри что-то ползает...

Я поспешил приготовить приятелям еду. Позвал тетку Афросинью, наварили ухи, сторож поставил самовар. Доктор разбирал домашнюю аптечку, вынимал пузырьки, долго читал, что на них написано, потом сказал Коле:

— Ну, вот это можно вам дать.

Коля Курин пристально смотрел на него темными глазами сквозь пенсне.

— У вас, — говорил доктор, — теперь от болотной воды внутри личинки разные, бациллы, и все.

— Что же — все? — спросил испуганно Коля.

— Миллиарды бацилл разных, и может быть, биллионы, вот что.

— Вот так история. Это черт-те что.

— Ничего, — успокоил Колю доктор. — Вот вам опиум; он их всех убьет. Немного потанцуете, и пройдет все.

— То есть как это — потанцуете? — испугался Коля.

— С тобой вечные истории, Николай, — говорит архитектор Вася. — Ведь ты мог яйцо змеиное проглотить. Так они в животе уж вывелись быстро. Там жара, двести градусов. Они жару любят, змеюги, ну и ползают теперь...

К столу подали уху и закуску. Вася, выпив рюмку водки, зажмурил глаза и расхохотался.

— Что только делается, что делается, — говорил он, смеясь. — С бабами что делается. Лиза-то, моя-то, взбесилась и ушла. Черт-те куда. Все пела — «Ночь светла над рекой. Светит луна», а мне говорила — «Ты ничего не понимаешь...»

— И у него Анфиса ушла, — показал он пальцем на Колю.

— Да, — согласился тот. — Ушла, не понимаю, почему. К какому-то профессору ушла. Он лекции читает. И вот неделю нет. А как вы думаете, доктор, не от луны ли это?

— Может быть, и от луны. В ней есть эдакое что-то. Ведь вот, все эти романсы, амурсы — все при луне. В театре, опере, обязательно луна. И при ней всегда эти скан-

дали любовные. Поют, режут, убивают, женщины визжат, разные испанцы там дерутся, и понять нельзя, в чем дело. Луна!.. Знаете, Николай Васильевич, она бы не ушла от вас. Вам бы ее под ручку при луне гулять водить.

— Я пробовал, — отвечает Коля, — не помогает.

— В луне есть игра эта, что ни говорите, — продолжал доктор. — Вот я только кончил университет, значит — доктор. Оделся так солидно. Ну, кабинет свой, досщечку медную на дверь — «Доктор, прием с часа до трех» и пр. И поехал я прогуляться из Москвы в Сокольники. Ночь прекрасная, тоже вот, как сейчас, месяц светит. Иду это я по аллее от круга в Сокольниках. Воздух, аромат. Как рай. А на скамейке сидит, вижу, эдакая такая. Ну, словом, предмет прекрасный. Я и присел на скамейку тоже, гляжу — прямо красота. Во мне молодость, конечно, играет, да и луна притом же лупит во всю, светит. Я заговорил. Ну, и она то, другое. Я тоже, как поэты, которые в пятом этаже поют:

Выхожу я из палатки,
Месяц светит во все лопатки...

«Хорошо бы прокатиться», — говорю. Только подходят трое кавалеров. Один из них муж ее оказался. Познакомились. Только он это мне прямо так говорит, муж-то: «Раздевайтесь-ка, любезный», — и на меня револьвер наставил, прямо в лоб...

— Ну и что же?

— Да то же, домой в одном белье приехал. Вот что луна делает.

— При чем же луна. Это просто грабители, — сказал философски Вася.

— Да, верно, только, не будь луны, я бы по аллее не пошел и на скамейку не присел бы, а поехал бы ужинать к знакомым...

В это время вошел крестьянин, Герасим Дементыч, охотник.

— Ненароком, — говорит, — по дороге завернул со станции. Телеграфист Володя приказал: «Тебе по дороге, занеси Коровину телеграмму».

И Герасим достал из кармана поддевки телеграмму, поднес Василию Сергеевичу.

— Читай, Вася, — сказал я.

Вася поднес к свече телеграмму и прочел вслух: «Не беспокойтесь, мамашенька, я уехала с помещиком».

— Что за черт, — засмеялся Юрий. — Читай адрес. Написано — Коровковой.

— Ишь, бродяга, а дает, — усмехнулся добродушно Герасим. — Неси, говорит. Эвона где, на Райовом Коровкова-то.

— Садись, Герасим, выпей, — предлагаю я.

— А в Райове мы были с тобой, Лисеич, — на Глубоких Ямах, помнишь, — сказал Герасим, выпив рюмку.

— Как же, на уток ездили.

— Мать-то ее, Коровковой-то, вдова, — разговорился Герасим. — А дочь до чего хитра. Красавица такая, ну, прямо вот...

Герасим выпил еще рюмку и закусил:

— Красавица, а нутро у нее волчье. И чудно то, как это только месяцу полному быть, вот как сейчас, она, значит, на машину и катается в вагоне. Нарядится и ездит. И всегда с собой опосля какого ни на есть барина к себе привезет. Тот прямо глядит на нее, глаз не сводит. Влюбимшись, значит. Все отдаст. Ну, она и прочь его. На нову луну другого завертывает. Кажинный месяц, значит. Помнишь, Кистинтин,

Лисеич, мы с тобой на этих-то Глубоких Ямах чирков стреляли, у Райова. Так вот из-за ее там шестеро утопили, в ямах-то. Вот ежели бы ты, Николай Васильевич, поглядел на нее, так и знай, — покойник. Запремненно утопился бы...

— Позвольте, почему ж это я утопился бы? — заспорил Коля. — А почему вот не они?

— Кто знает, может, и они. Только вы сами мне говорили, что до баб больно охочи.

Все засмеялись.

— Когда это я говорил, что-то не помню, — обиженно сказал Коля.

— Погоди, Николай, — остановил его я. — Значит, Герасим, это она, Коровкова-то, при луне их обманывает?

— Вот самое то и есть. Рассказывали мне, что был ранее, давно, в Райове колдун, Захаром звали. Так он знал эдакое дело колдовое. Там у Райова красная горка есть, а внизу ключ-свят. Так он, чтобы крепка любовь была, на ту горку невесту с женихом ставил при месяце на всю ночь. А как заре быть, на свят-ключ водил, и из рук друг у дружки невеста и жених воду пили. А Захар месяцу пел:

Ходи светел, ясный,
Друг ночной любви...

Крепко он любовь по гроб вязал. И хорошо жили. Это допреждь было, а когда на деньги все заворачивать пошло, то эту-то Коровкову-красавицу, знать, мать научила, аль кто, иль сама наслухалась про месяц, что он по ночи ходит да везде в каждое окно заглядывает, красой своей, светлотой любовь сердешну в верности держит. Ну, а она к деньге норовит, значит. Месяц этот самый, и тот обманывает. Находит эдаких-то потрясучих...

Герасим замолчал. Помолчавши, встал и сказал:

— Ну, пора домой. Вы не сердчайте, Николай Васильич, что пошутил...

И ушел с поклоном, истовый и таинственный, в лунном свете!

Вскоре мы ложились спать.

Я потушил у себя свет. Над темным садом светил могуче и торжественно месяц, и свет его таинственно ложился по полу и камину в моей мастерской.

Мне показалось, будто лучи его ищут меня, и я отвернулся к стене...

Кокоша

В дни моей юности у меня было много друзей. Они любили жизнь, природу, охоту; среди них были и чудаки, и меланхолики...

Как-то летом зашли ко мне двое приятелей и говорят:

— Едем.

— Куда?

— На охоту, к Тарбееву, в Орловскую. Вот телеграмма.

Читаю: «Жду приезда всех. Охота дрофы, стрепета, куропатки, вепри...»

— Вепри? Это что же такое?

— Вепри, — отвечает мне приятель Павел Сучков, охотник и человек мрачный, — это кабаны. Я беру разрывные пули. Не шутки, кабаньи клыки...

— Странно. Откуда же кабаны могли взяться в Орловской губернии?

— Орловская губерния, — мрачно отвечает Сучков, — вся в оврагах. Еще издавна, должно быть, зашли. От войны, может быть, убежали. Еще во время Шамиля.

Сомневались мы насчет кабанов, да и дроф, и думали, не приврал ли чужак Коля Тарбеев.

Но Павел Сучков, приятель Тарбеева, был уверен, что все это верно. Он крепко рассердился, когда один из приятелей шутя сказал:

— Дроф там нет, а есть мымра, которая в простонародье зовется чепура...

Но на охоту мы поехали. От станции ехали на тройках.

Далеко имение приятеля Тарбеева. Орловская губерния ровная, но в оврагах. И в оврагах — леса.

Едем широкими дорогами, жарница, поля, овраги, пахнет травой, хлебом, медом, Россией...

Остановятся ямщики, из-под зеленых ветвей в овраге почерпнут кристальную воду, попят лошадей, и мы выпьем, помочим волосы — жарко — и едем опять.

Россия... Какую радость и жизнь вдыхала ты в нас дыханием земли твоей, жарою лета и влагой серого осеннего сумрака, и приветом бедной корчмы во вьюге закованной холодной зимы.

Россия, Россия. Как отрадны просторы полей твоих, какая тайна жизни в дыхании твоём.

* * *

Большой сад идет под гору.

Имение Голоновка — Тарбеевых. Барский дом с колоннами. Останавливаемся мы рядом, у небольшого серого деревянного домика. Белые ставни окон. Встречает нас Кокоша, так звали Колю Тарбеева. Лицо такое серьезное, красивое. Говорит всем нам:

— Ну, здравствуй, здравствуй.

А глаза у Кокоши вроде как у птицы мымры, заспанные, серые.

Идем в дом, умываемся с дороги, наряжаемся в лучшие платья к завтраку в большом доме.

За завтраком все: старший брат Кокоши, сановник, занимает большой пост, еще сенатор, словом, люди знатные.

Кокоша зовет нас, охотников, посмотреть на псарку, где большие своры собак для осенней охоты на волков.

Псарка — домик, за ним частокол, а там, как орнаменты, длинные, изящные борзые собаки. Ласкаясь, вертят хвостами.

Тарбеев называет каждую по имени, кормит их сам. Пскович, главный псарь, старик в большом сером сюртуке, немного выпивший. Одной собаке мухи разъели ухо, лечат водкой, примачивают, а потому водки выпили и Кокоша, и пскович. За выздоровление собаки пили все.

Завтрак был накрыт на террасе большого дома. Много было гостей: настоятель монастыря, подруги красивых сестер Кокоши, гувернантки, уже старые, оставшиеся у Тарбеевых жить навсегда.

Кокоша внезапно нам, охотникам, сказал вполголоса:

— А не правда ли, мой брат, сановник-то, как на дупеля похож. Посмотрите, какой нос. Отчего это?

Действительно, нос был большой.

Надо сказать, что Кокоша не завтракал за большим столом, он жил отдельно — на псарне, там и обедал со псковичем среди своих собак.

— Люблю жизнь охотничью, — говорил он.

Казачки в белых перчатках бесшумно подавали блюда к столу, архимандрит что-то тихо говорил торжественному сенатору.

Вдруг отворилась дверь из зала, и на террасе появился Кокоша. Мы замерли. Он был одет в зеленый, невероятного покроя камзол, обшитый серебряным позументом. Через плечо перекинута медная охотничья труба, свистки на шнурках, у пояса ножи, кинжалы, пистолет, арапник, а на голове лихо закинутый на затылок рваный картуз. Не то охотничий Соловей-разбойник, не то Стенька Разин.

Мы замерли в удивлении. Замершие, с поднятыми вилками и ножами, мы так удивленно уставились на него, что он озлился. Кокоша, вдруг обедая нас, друзей своих, прищуренными глазами, сказал:

— Все вы дурачье, идиоты.

И, повернувшись к брату, сановнику, показав пальцем на его нос, добавил резко:

— И ты, дупель, болван...

Он сошел по лестнице с террасы. Все за столом как-то оцепенели. Брат, сановник, глядя на всех растерянно, стучал то ножом, то вилкой по столу и кричал:

— Что это такое — дупель? С какой стати дупель? Вот эти его охоты до чего доходит. Я говорил... Ну, что это такое. Безобразие. Когда это кончится... Какой невежа... Дупель... Странно.

— Да, странно... — заметил Павел Сучков и некстати рассмеялся.

Но к нетрезвым выходкам Кокоши, вероятно, уже все привыкли, и потому завтрак продолжался благополучно.

* * *

На длинной долгуше, запряженной тройкой, все мы едем на охоту к его тетке Наде.

Кокоша едет верхом в своем невероятном егерском костюме.

Встречные крестьяне смотрят на него, поворачивая головы, и почему-то прихлестывают лошадей. Дребезжат колеса телег.

— И чего это? — не без тревоги спрашивает самого себя проезжающий крестьянин.

— Где же вепри? — тем временем спрашиваем мы у гарцующего зеленого Кокоши.

Не отвечая нам, он стегнул жеребца и поскакал вперед, где виднелся дубовый лес.

У глубокого оврага, в кустах, среди могучих больших дубов кони стали. Мы слезли с долгуши и прилегли в тени на зеленой траве. Ямщик отпряг лошадей. Тишина, жара, листья дубов блестят на солнце.

Кокоша приказал ямщику ехать обратно домой. Он сказал, что мы по оврагу, лесом, пойдем охотой, пешком, до поместья тетки Нади.

С пойнтерами мы шли врассыпную по кустарникам оврага.

Долго мы шли. Лениво бежали собаки. Жара. Кто-то выстрелил, далеко пролетел коростель. Ничего нет. Усталые, мы пробирались по краям, у полей гречихи. Ничего не попадалось.

Наступал вечер, красное солнце зашло за поля.

Вдали, на возвышении, показался сад, а за ним небольшой дом тетки Нади. Кругом поля, поля.

Усталые, мы шли сухими дорожками прямо на дом. Сумерки спускались. У края сада, у ворот, пахло запахом лип. Во дворе дома стояли лошади и телеги, и босые девки вилами бросали пучками в сарай гречиху.

Деревянное покосившееся крыльцо небольшого дома с мезонином было уютно. Кокоша пошел один в дом к тетке. Какой-то человек в куртке посмотрел на нас с крыльца и ушел. Долго дожидались мы. Опять показался человек в куртке и сухо сказал:

— Войдите.

Мы вошли в длинный коридор дома и увидели, как в глубине его Кокоша что-то говорит с полной женщиной, показывая на нас. Дородная дама, вероятно тетя Надя, молча посмотрела на нас черными глазами и ушла.

— Идем, — сказал Кокоша. — В мезонин.

По деревянной лестнице мы поднялись наверх.

Темная большая комната, круглая арка из коридора, часы на стене с кукушкой. Кукушка, выскочив, хрипло прокуковала десять часов. Босые девки принесли сена и постелили на пол. Это нам для ночлега.

— Что бы попить, — просили мы у них. Слышим голос человека в куртке. Говорит с Кокошей.

— Никак невозможно. Время трудное. Самая страда. Покос. Где же лошадей-то. Убирать надо.

Кокоша что-то часто отвечает ему: «Ту-ту-ту», не поймешь. Не слышно.

«Ну и заехали», — подумал я.

— Спроси же у тетки молока с хлебом, — сказал Павел Сучков Кокоше, от усталости развалившись на сене.

Вскоре человек в куртке принес кринку молока, краюху черного хлеба и стакан.

Мы с жадностью набрасываемся, но мало. Кокоша мрачен и вертит рукой на лбу прядь волос.

— Ма тант, ма тант... Ерунда твоя — ма тант... Стрепета... вепри... Что это такое? — говорил, сердито выпучив глаза, Павел Сучков. — Достань хоть яиц или вообще что-нибудь... Отпустил лошадей, идиот, мымира...

Мы, остальные охотники, сочувственно молчали.

Кокоша опять пошел вниз, и опять мы слышали его: «Ту-ту-ту».

— Глупо, невозможно, лошадей нет... Никаких охот твоих... Глупости. Не желаю, — доносился довольно неприятный голос тети Нади.

— Ма тант, ма тант... Пешком... Ту-ту-ту, — мрачно спорил Кокоша.

— Ну, дело дрянь, — говорили мы, лежа на сене голодные и вытягивая усталые ноги. — Шутка ли, переть пятьдесят верст назад...

Была уже ночь. Мы стали засыпать. Вернулся и Кокоша. Повозился чего-то: «Может быть, деревни по пути встретим, — думал я, засыпая. — Да где тут деревни, все поля, поля...»

Тут кукушка зашумела пружинами в часах и прокуковала час, два, три. Вдруг самым моим ухом раздался оглушительный выстрел. Мы все вскочили на ноги.

Кокоша держал в руке ружье и смотрел на разбитые часы, из которых пучками во все стороны торчали пружины.

— Убил наповал, — сказал он строго.

В дому поднялась кутерьма. Визгливо кричала тетя Надя, бегали босые девки, управляющий командовал: «Запрягай, запрягай».

Мы одевались.

— Скорее, — командовал Кокоша.

На крыльце мы слышали, как тетя Надя заливалась: «Чтоб твоей ноги здесь...»

Телеги вывезли нас на дорогу. В темном небе мерцали звезды. Кокоша говорил с улыбкой:

— Ма тант завтра поедет в город переписывать духовное завещание. Это вторая тетка... А у меня еще есть третья. Поедемте к ней. Вот там кабаны.

Но к третьей тетке мы не поехали.

* * *

В бурном океане, после морской битвы, двое держались на волнах за спасательный круг: морской офицер Николай Тарбеев и судовой доктор Павел Сучков, оба друзья-охотники.

— Держись, — говорил доктор раненному Тарбееву. — Идет крейсер. Нас заметили...

— Ты держись... А мне... мне довольно. Всего. Увидишь на псарне Загоню, Лебедку, погладь... Они любили меня. Прости. Держись, доктор, а я... До свидания.

И Николай Тарбеев пропал в бездне вод.

Зинаидка

Память хранит часы радости. Вспоминается лето, дом, друзья и милый смех, и образы любимых мест России.

Трещит костер, летят искры в высь летнего ночного неба. Усталые, сидим мы кругом. Огонь костра освещает остро лица. Далеко зашли мы по охоте.

Чахлые ели по берегу спускаются к реке. Из-за бугра появляется Василий, охотник и рыболов. В руках котелок с водой. Он, жмурясь, пристраивает его над пламенем костра. А в песке, под кустом, зарыты две утки и глухарь, осыпанные солью. Василий со строгим лицом готовит ужин, в котелок сыпет чай.

— Вынимать пора, — говорю я.

Комаров и Василий, жмурясь, разгребают в огне песок, палкой достают уток и кладут на красные раскаленные угли дичь. Охотник Герасим стелет салфетку, ставит стаканы, кладет хлеб и говорит мне:

— Дай-ка, Лисеич, сапоги с тебя стащить, а то ногам скушно. Ишь, мы прошли что, и я вот устал.

Он стаскивает с меня длинные охотничьи сапоги.

Хорошо у костра, проголодались, а ужин на славу. Жареная дичь, чай, все какое-то особенное, как чудо. Вижу, друзья мои охотники, поев и выпив, повеселели, только Василий что-то грустен.

— Что ты, Василий, устал, что ль, молчишь? — спрашиваю я.

— Я чего. Ничего... Только зашли, а куда, я эдакой местности и не видывал. Заметьте, как бесперечь орет.

У реки, в стороне, на болоте, кричала выпь. Громко, как будто кто-то дул в бутылку.

— Выпь, — говорю я.

— Выпь, а может, и не выпь, — отвечал Василий.

— А что же?

— Вот как воду-то я внизу черпал, в реке темно, не видать. Как чего-то здоровое в воду прыгнуло, прямо вот, а это кричит: «У-у-ф-ф, уйди». Чего это?

— Тебе показалось, — говорю я.

— Э-э, — вмешался Герасим. — Есть это, бывает. Место, верно, глухое, может, на нем тут и есть эдакий-то, попугивает маненько.

— По ночи завсегда такое бывает, — подтвердил охотник Комаров.

— А неужто, Герасим Дементыч, веришь? — спросил я.

— Как сказать, — ответил Герасим. — Верь — не верь, а есть. Помнишь, Лисец, на тяге стояли за моховым болотом, где ровный лужок и лес кверху в гору. Порубь идет. Помнишь, ты говорил, жуткое место. А, как там орала, чисто черт. А чего это?

— Правда, странно... — сознался я. — Это не лось ли или барсук? А может быть, и волк.

— Чего там лось, — отвечает, смеясь, Герасим. — Ты сам говорил, что нарочно, знать, пугает. Голос-то человеческий. Только и человеку так не сорать. Вот что.

— Я знаю то место, и зовут-то его Лешья Гора, — сказал охотник Комаров. — Там отец мой на кургане много раз ночью огонь видал. И его трясло одного разá. А кто его тряс — не знает. Только он в горячке с месяц лежал опосля...

— Лесовиков-то я видывал, — подтвердил и Герасим. — Верьте, не верьте, а есть, страх такой... Бывает место не страшное, а есть такое, что один ни за что в нем не останешься — жутко. Чего это? Дух в ём такой живет.

Вот раз какое со мною дело было, — снова сказал Василий. — Заснул это я в лесу у речки, рыбу ловил. Пескариков да окуньков. Река не река, а ручей. Кругом травка да ольшаник по берегу, а по ту сторону лес поболее. Чермянка — речка прозывалась, она в Язуз входит, от Москвы недалече, у Медведкова. Только я в вечер вздремнул, да и проспал многое время. Проснулся, вижу, мать честная, по ту сторону речки-то женщина над рекой будто как висит... Большая такая, вся белая, светится да на меня глядит...

— Иди, иди сюда, — слышу, тихонько кличет, — тут травка сухая, тута с тобой поспим. Иди, на заре разбужу, ты на фабрику один пойдешь...

— Батюшки, думаю, что такое, а я-то на фабрике в Ростокине работал, сад у хозяйина поливал. Оттуда в праздник-то и пришел на Чермянку. Вот, думаю, чего это, баба страшная, белая вся и глаза косые, чисто смерть, удушенница. Испугался, вот испугался, хочу бежать, ноги не двигаются, а она глядит на меня, страшно до чего. Я молитву: «расточатся врази» и тихонько, ползком, ползком прополз за ольшаник, цепляясь за него, не видать, темно, да и за сук, а он треснул... Слышу, как побежит она, да лесом, да кричит:

— Беги, скорей, беги...

— Я вскочил да бегом, от нее, бегу, на большую дорогу добежал, задохся и упал у дороги.

Светает. Вижу, по дороге двое идут — молодец и девица. Как поравнялись, смотрю — это с нашей фабрики, племянник хозяина Володя, молодой еще парнишка, ладный собою студент, а с ним Зинаидка. Вот девка-красавица... Увидели меня, испугались. Володя-то отвернулся, а она узнала меня. Говорит:

— Чего ты, Василий, в канаве валяешься? Пьян, знать?

Я обрадовался.

— Да нет, — говорю, — малой росинки не было во рту. Вот рыбу ловил на Чермянке да напужался больно.

И рассказываю. Володя-то мне и говорит тихо:

— Василий, не говори никому, что видал меня с ей.

А Зинаидка глядит на него, так ласково глядит и смеется:

— Володя, милый, — говорит, — ничего не будет, ты глупый. Я про тебя никому не сознаюсь, сапожки ты мне купил хороши.

Она так встала пред нами, платье подобрала и показывает мне сапожки козловенькие, румяная, красавица, зубы чисто жемчуг, смеется. И взяла его за руки, Володю-то, раскинула их перед собой и поцеловала его прямо в губы.

— Чего ты страдаешь, Володя; я, может, пропаду. А тебе чего, глупый.

Она пошла влево, а мы завернули на фабрику. Опосля пришел ко мне в каморку Володя, мрачный, — плакал. Говорил: «Погубил я Зинаидку грехом». А потом Володя и дает мне коробку, а в ней — карамель. Говорит: «Отнеси это Зинаидке». Я отнес. И пошел с Володей на Чермянку, удочки собрать. Удочек не нашли, украли. Смотрю, а на той стороне, где страшная женщина казалась мне, стоит эдакий здоровый пень, олешина гнилая. Володя-то и говорит: «Вот там я с Зинаидкой в грех впал».

«Эва, штука-то какая, — я думаю. — Это, стало, Зинаидка говорила — иди сюда». И бежали-то они. Пень-то я оглядел потом. Он ночью светит огнем синим. Гниль светит, вот что бывает. А кажет-то, что удушенница...

Василий умолк.

— Слышал я, — добавил Василий, — что Володя потом с чего-то помер, а Зинаидка в Нарове, на фабрике, да замужем за самим хозяином. Вот что. Богатейшая стала. Ну и хороша собой — красавица такая, говорят. Увидать бы. Может, красненькую отвалила бы. А может, и прогнала бы.

И Василий засмеялся.

Все мы заслушались рассказа Василия и молчали. Брезжило утро. И синели бесконечные леса. Костер погас.

— Эвона, на лужайке сарай, вона. Пойдемте туда, — сказал Герасим. — Поспим. А то день, знать, будет жаркий. Не спамши идти далеко. Во-о-на.

Вдали был виден у леса сеной сарай. Отходя от костра, собака моя, пойнтер, потянулась и побежала вперед. Босиком шли мы. Была роса. Мокрые травы приятно хлестали ноги.

Лес. Утро. Костер. Какая русская краса. Как это все радовало, наполняло душу. И от восторга у меня проступали слезы. Я благословлял и лес, и даль, и великое счастье жизни, что я вижу все это.

Зарозовели края небес. Четко, гребнями, идет далеко лес. На ровном лугу у леса — ветхий сарай. Мы с горки спускаемся к нему. Герасим остановился. Мы увидели, как из сарая вышел маленький горбатый человек. Остановился, посмотрел кругом и, подойдя к ели, полез на нее. Герасим тихо сказал:

— Видали.

— Чудной какой, — говорю я. — Кто это — пастух, что ль?

— Кто знает, — отвечает тихо Герасим.

Мы быстро спускаемся, бежим к ели у сарая. Глядим кверху на ель — никого. «Что за странность», — думаю я. Собака Феб бегает около беспокойно.

— Видал, — говорит мне Герасим. — Ну, вот и оно. А говоришь — не бывает. Вот он, лесовик-то. Что, видал теперь?

И он, смеясь, хлопнул меня по плечу.

* * *

Проснулись мы в сарае. Солнце освещало дрему лесов. У речки зеленела осока. Вода была прозрачна. Белые купавки отражались, летали зеленые стрекозы. И кулики весело перекликались. Стоя по горло в воде, я видел дно. По песку, к ногам, подплывали кучкой желтые пескари.

— Чего еще? Вот жисть. Всем бы так жить. Только у людей понятия нету. В чем жисть есть. Кто куда глядит. Кто в разбой ударяется, а кто в аблокаты или в священство... Кто чего ищет. Служба все. А я вот в бродяги. Нет жисти лучше бродяжьей. Вот только без Зинаидки этой самой никак нельзя. Скушно без их-то.

И Василий рассмеялся.

В деревне

Сияет звезда вечерняя. Кругом на поля легла мгла. Тени ночи наступают. Тихо засыпают поля ржи. Прошел жаркий день. Усталый иду я с охоты по сухим тропинкам. Слышу — далеко едет телега и кто-то поет:

Э, да не велят Маше за реченьку ходить,
Не-е и-и веля-ят Маше молодчиков любить.
Ка-а-кова э любовь на свете горяча...
Стоит Машенька запла-а-а...
Заплаканы глаза-а-а.

Льется песня в просторе полей. Подхожу к проселку. Встречаю телегу.

— Серега, — говорю я, увидав знакомого парня. — А ловко ты поешь, хорошо.

— А, ну-ка, знать, Лисеич, ничего не настрелил. Запоздался.

— Жарко днем было, — отвечаю. — Да, мало настрелял.

— Ты вот, слышь. Я ехал у Любилоч. Там прямо вот у дороги, что на Вепрево идет, тетеревьев вылетело — бесперечь летит. Тебе бы туда. Недалеко. Ступай с утра завтра. Охпку набьешь. А то Казаков, как узнает, все-ех прищелкает. Дай-ка закурить.

Взяв папиросу и прикуривая у меня, Сергей рассмеялся.

— Чего ты?

— Вот до чего чудно, — смеясь, говорил парень. — Казаков-то с женою не живет. А женился по ту весну. Чудно. Вишь, она ничего себе, вполне как надо. «Только чудно то, — как говорит Казаков, — ночью ее вблизи смотреть нельзя. Когда спать-то ложусь. Вот у ней рожа такая кажет, никак невозможно глядеть. Чисто черт». Вот

и поди. Чего тут. Чего рассказывает. Бабы-то наши смеются. А он сердает. И в охоту через то ударился. Все время в ей проводит. В охоте-то... И домой зайдет на час-другой — и опять прощай.

— Чудно, — говорю я.

— Верно, что чудно. Я тоже стал глядеть Таньку свою. Только не-е-ет этого в ней. Вот она прямо ночью, что и к утру, хороша — что вот звезда эта. А вот Семен Горохов говорит — глядел на свою жену. Говорит — тоже неладно кажет. Все-е глядеть-то опосля такого раза зачали на жен своих. Вот что.

— Ну, — говорю, — что надумаете. Дурацкое дело не хитрость.

— Эй, не говори. Ну, а вот Стрекачев Николай пить до чего зачал. От бабы. От жены. Сам говорил: через ее язык запил. Хороша, говорит, у меня баба. Но язык — хошь отрезай. Ну, язык такой — беда. Чего только говорит про всех. Нет у ней никого. Все, говорит, жулики, знахачи, а родные все — шематоны, — и больше ничего. Всех кроет. Праздник Христов — а к ним никто не идет. Ни родные — никто. Знают ейный язык-то. Кому надо слушать про себя эдакое, всякое.

— Не заметил я такого ничего. Женщина хорошая, учтивая.

— Эх ты, — смеется Сергей. — Ну вот, мы косили во лугу, под Грезином. Вот она тебя шила. И приятелей твоих. «Он-то планты сымает, а потом землю себе отберет». А про твоих-то приятелей говорит — им, говорит, ягоду носить никак невозможно: хоша платят хорошо — только запременно щупать зачинают.

— Вот дура, — говорю я. — Что врет. У меня нет таких знакомых.

— Да. А она говорит — есть. Один ее по грибы будто — то ли, се ли, — в лес звал.

— Кто же это?

— А Борис Николаич.

— Не может быть.

— Кто знает. Нешто скажут. Это верно — язык у ней вредный. Но баба хороша, неча говорить.

— Ты куда едешь-то, Сергей?

— На кузницу. Да поздно уж. Садись, я домой вернусь. Подвезу тебя.

Трусит телега. Едем рысцей. Сергей парень разговорчивый.

— Верно ль то, вот скажи, Кистинтин Лисеич, — говорит он, — будто что ты вот сымаешь краской картину, а посла того — царь ее глядит.

— Многие глядят. На выставку ставлю. И царь видал.

— Ну вот. Верно, значит. Говорят у нас про тебя, что ты спишешь тут — он тебе все это и отдаст. Царь-то.

— Нет, не верно. Нешто можно.

— То-то. Нешто он станет чужое отдавать. А вот говорят.

— Дураки говорят.

— Это верно, что дураки... — Сергей засмеялся. — Надьсь ты от ворот у саду месяц списывал. Я глядел — как царю быть? Как он его отдать может тебе? Никак нельзя. И тебе на кой он? Аль моховое болото ты списывал, помню. Кому его надо. Чертям, нешто. Сейчас завернем — эвона у тебя в дому огонек светит, значит, есть хто.

У крыльца стоит Валентин Александрович Серов.

— Куда ты с утра пропал? — окликнул он меня. — Я уехать хотел. Тощица одному. А где же дичь?

— Жара, — говорю. — Вот настрелял немного.

— Здравствуйте, Левантин Александрыч, давно вас не было, — поздоровался с Серовым Сергей. — Помните, со станции я вез вас сюды с Шаляпиным? Эх, ну и барин! Вот сила. Как на горе-то у Некрасихи спускались, круча там, он как гаркнет — «держи!» — так-то и так-то меня. Во-о голос. Ужаси. Урядник по мостку вниз шел, так тот и чубрик в воду. А у Любилок в болоте, эвона где, утки поднялись стаей, кричат, думают — что такое. Урядник еще опосля говорил на станции: «Он, — говорит, — мне в перепонную барабанку попал».

Сергей получил на чай и поехал, смеясь и качая головой.

Дед-сторож поставил самовар, принес лепешки деревенские, молоко, яйца, жареного тетерева.

— Ну и жара сегодня была днем, — сказал Серов. — Писал там внизу, у речки, в сарае. Пастух подошел. «Дай, — говорит, — мне, господин барин, красной красочки». Я ему дал. Он барану ею рога выкрасил. И смеется. «Это, — пастух говорит, — Серегин баран. Не сказывай». Он теперь всем говорить будет в деревне, что у него баран чертом стал.

— Пожалуй, и поверят... — добавил Серов.

— Беспременно поверят, — подтвердил сторож-дед, смеясь. — Так уж, хотя что тут — а поверят. Пастух — плут. А Серега-то даром, что дурноват, больно врать здоров. Пастуху-то скушно, пасет у реки, по лугу, и видит — идет Серега, вот этот самый. Пастух кнутовищем и зачал по воде хлестать. Серега думает: почто он по воде так хлещет. А пастух ему и говорит: «Во, сейчас водяной с рогами выглядывал из воды. Все на твою корову глядит. Я отогнал. Угостил бы ты, Сережа, меня, а то быть беде». Серега ему водки да капустки несет. Прост. А опосля того вся деревня знает — водяной в реке завелся. Серега сам видал.

На другой день утром, когда Серов писал с природы у речки сарай, к нему подошел Серега.

— В реке здесь водяной живет. Пастух-то видел. И я тоже. Вот страшный.

— Нет никаких водяных.

— Как — нету? Это вам, господам, он не кажет себя, боится. А мы — так видывали не одна.

Сергей ушел, а к вечеру принес нам белых грибов. Говорит — жена прислала Левантину Лесандрычу жарить чтоб.

— Садись, Сергей, чай пить, — предлагаю я.

Он сел у края стола. Лицо у него длинное. Брови подняты. Смотрит на Серова, откусывая кусочек сахару. Вприкуску пьет чай. И так деловито спрашивает:

— Вот, Левантин Лесандрыч, вы с меня в тот раз списывали. Я у лошади стоял. А теперь — в сарае сымали корову мою. Куда это теперь пойдет?

— Серега, — говорю ему я. — Валентин Александрыч Серов и самого царя списывал...

— Да неужто? — удивился Серега. — Вот, поди, страху-то натерпелся.

— Нет, ничего, — отвечает Серов.

— Ведь царь-то — это что. Сердитый, поди.

— Нет, не сердитый.

— Как — не сердитый? А когда он начальников неверных аль плутов плетью порет. Так серчает, поди.

— Он никого... не порет.

— Ну, полно, а кто же порет-то? Неужто другим велит? Нешто можно это. Другие-то легонько отдерут, толку-то и не будет. Меня отец драл. Ну, и порол. У-ух-ты, орешиной порол.

— За что же, Сергей, это он тебя?

— А вот за что. Двенадцати годов это я сигарку свернул и курю. А он увидал. Ну, и порол. И-х-ты. Здорово. И мою сестру Анку тоже порол.

— Ее-то за что же?

— Вот за что. Она наберет малины да на станцию. И продает по вагонам. Которые едут по машине. А себе потом ленту голубую купит али красную. И в косу плетет. И перед парнями фронт держит. Отец увидал. «Ну, молода ты, — говорит, — вернуться перед парнями-то». Ну, и драл. Тут не вышло у него. За нее-то все бабы да девки вступились. Ну, отца повалили. Кто за ноги, кто за руки держут. Вот пороли его — ужаси. Бабы злы драть. Вот царю-то поглядеть. Поучился бы, как порют-то... Еле оттащили. А то — заporоли бы насмерть. Ну и драка была. Вся деревня дралась. И гости дрались. Один — жалобиться к исправнику поехал. Ну, и его драли опосля. Не жалобься.

— Хороши рассказы, — рассмеялся Серов.

Увидав, что рассказы нам нравятся, Серега как-то радостно спросил:

— А неужто вас отец не порол?

— Нет, — ответили мы, — не порол.

— Вот оно и видать.

— Почему? — спросили мы, смеясь.

— Почему. Ну, вот хоша-то взять, в шапке в доме сидишь и чай пьешь. Это чего ж. Пообедал — не хрестишься.

У Серова на голове был белый берет.

— А его вот взять, Лисеича, вот сам я видал. Собак-то своих охотничьих, видал я, прямо в морду целовал. Это что же такое. Последнюю тварь...

— Постой, — сказал тут сторож-дед. — Мели, Емеля, твоя неделя. Только погоди маленько. Эка дура. Заврался. Собаку оставь. Собака — друг верный. Это брось. Собаке дом беречь надоть. Гнездо человечье не трожь. Когда скажут, отымай дом, тогда все прощай. Жисти не будет, никому. Все по свету побегут — куда кто. Прощай, жисть. Собаки много знают. Может — более людев. Погрызутся собаки маненько, а вот пороть друг дружку — этого у них нет. Ум плетью не поставишь. И собаку взять, ежели порют которую. Глядеть жалость. Порчена. Робеет. Вот когда она последняя тварь станет...

Вскоре Серега ушел. Дед ворчал:

— Серега-то с дурью. Теперь будет по деревне гудеть: в шапке едят, лоб не хрестят, собак в морду целуют, царя ругают. И вот чего наврет. Вредный он, сплетюга. Вот что. Хоша его и пороли — все же дурак. Говорю, кнутом ума не вставишь.

— Ну что, — говорю я деду. — Чудак он. Любит поговорить. Не сердись.

Серов чистит палитру на столе и как-то про себя сказал:

— А жутковатая штука.

— Что жутковато? — спросил я, ложась на тахту.

— Деревня, мужики, да и Россия...

Мы замолчали. Уже стояла глубокая <ночь>.

Осень

Еду из Москвы в деревню по Ярославской железной дороге. Пассажиров мало. Осень. Дачи опустели. В окна вагона мерцают оголенные леса. Кучами ваты клубятся вечерние облака, освещенные вечерним солнцем. Какая-то особая бодрость в их осенней красоте. Ложатся тени от лесов на пустые поля. Так отраднo вдали промелькнула белая церковь. На платформе станции какие-то дамы — уезжающие дачники. Держат охапку ярких цветов: маки, георгины. Это последние цветы из сада. Еду в вагоне один. Со станции Троице-Сергиево сел пассажир. Лицо такое веселое. Одет изысканно. На груди — золотая цепь-брелоки. На руках кольца. Он пристально посмотрел на меня, открыл чемодан и достал тетрадь. Перелистывая, опять смеясь, посмотрел на меня и спросил:

— Вы в Ярославль?

— Поблизости, — ответил я.

— Вот я в первый раз еду. Вот это, — он показал на тетрадь, — надо к завтраму выучить. В городском саду в Ярославле я выступаю. Я — артист, — сказал он весело.

— Я бывал в городском саду.

— Хорошо там? — спрашивает артист.

— Очень хорошо, — отвечаю. — Гора, сад, большой ресторан.

— Вот это и надо. Страсть люблю рестораны. Мне кажется, что я в ресторане родился. Вот только теперь выучить это надо. Завтра петь.

— Валяйте, — говорю. — Я мешать не буду.

Он достал из жилетного кармана камертон, стукнул им о край окна и поднес к уху, промышчав:

— Ля-ля-до-ми...

И, держа в руках тетрадь, встал и запел:

Надо знать условия,
Как род людской шалит.
Это пустословие
Дело объяснит.
Дар вдохновения
Поможет угадать
Небесное стремление,
Какого не видать.

И, потряхнув головой, басом добавил:

А оттого-о-о, что забот
Твоих тут нет,
И в упоении поэт
Всегда найдет ответ.

— Что за черт, — невольно сказал я. — Это откуда же?

— Не знаете? — удивился он. — Боккаччио! Должно быть, редко в театрах бываете. А напрасно. Духовной пищи себя лишаете. Напрасно...

Мы простились, и я вылез на станции.

Дождик ночь и день. Кончились ясные дни. Желтые осины осыпают мое крыльцо и дорогу у сарая. Угрюмо серые тучи повисли над темным садом. Скучно. Одиноко старая беседка дремлет под липами. В воздухе пахнет дымом овина. Медленно

идет стадо, мычит, вытянув шею, корова. К ненастью, говорят. Осенний день. Но в этом дожде, в сером дне, в запахе дыма какая родная жизнь. Необъяснимое чувство русской тоски связано живой нитью со мной, с душой, с дружбой, с мокрой крапивой у сарая и с тусклым огнем в окне избы лесного сторожа. Как я люблю ушедшие и уходящие дни, вечера и ночи прекрасной страны моей. Бесценные, живые ковры. Как незабвенны вы в воспоминаниях о моей родине...

— Ненастье, — говорит рыбак Константин, подходя к крыльцу дома с ведром. — Скучно тебе, Лисеич, поди, одному-то. Мало чего попало в вершу, уху-то сварим, ерши и окуньки есть. Эдакое ненастье.

И Константин хрипло рассмеялся, посмотрев на меня.

— А где же Василий Белов? — спросил я. — Он с тобой был.

— Он к лесному объездчику ушел, промок оченно. Упал у яза по пояс в воду. Пошел посушиться.

— Ну, Константин, — говорю я, — озяб, поди. Надо тебе рюмку перцовочки.

— Перцовка завсегда пользительна, — серьезно утверждает мой сторож-дед, зажигая лампу. — Только крепка больно. В жили проходит.

— Оттого и пьют, — кладя рыбу на стол, тоже серьезно сказал Константин-рыбак. — Книгу читали — помню я, — как сам император Петр Великий перцовку пил, кадры корабли строил. Поставит на корабль матросов и перцовкой поит их, а сам глядит. Ну и царь был! Насквозь глядит кажинного. Кто качается маленько — в сторону, ну, а которые крепко стоят — берет на службу. Вот как было допрежь.

— А то как же, — согласился и сторож-дед. — Потому понимал. Шарик у него в голове был.

Уха готова. За столом все — и Василий Белов, старший мастер декоративной мастерской, и лесник объездчик, сосед Феоктист, и Константин рыбак.

Чтоб от простуды — все выпили перцовки. Каждый крякнул, выпивая.

Мои собаки радостно ласкались, подходили к гостям, вертели хвостами. Собаки любят гостей, рады; собаки любят людскую дружбу, они радуются миру дома. Собаки понимают, чувствуют простое, нужное людям содружество. Собаки грустны, когда в доме ссора.

— Что перцовка! — говорит Василий Харитонов-Белов, — не больно крепка. А вот мы с Константин Лисеичем в Париже были, во Франции, вот там перцовка! Эх, вот и город — Париж!

— Как приехали вот с Константин Лисеичем, я гляжу — город этто что — агромадный, а народу нет, одни господа. В каждом доме трактир, а то и три. Господа ходют, одеты чисто, цилиндр на голове, в руках беспрременно перчатки несет и трость. Трактир по-ихнему «кафе». Из одного в другой ходют господа, без дела, значит. Народу нет, и солдат нету. Начальства не видать, одни городовые, и пьяных нету. «Удивление, — думаю я, — столько господ». И сейчас не пойму, как это, как и чем кормятся. Слобода у них всеобщая, и царя нет. Промеж себя, значит, друг дружку слушають. А что вин!.. Этто сказать невозможно. Все пьют, что хочешь. Одно горе: я по-ихнему ничего. Ну, там, значит, как у нас половые, — гарсоны, прямо на подбор, молодец к молодцу, все кудрявые, красавцы прямо. Прямо на пальце поднос несет, а на ем вины разные, да ведь эдаких и не пивали... Я и попросил прямо пальцем, говорю — налей, а он ни черта не понимает. Что делать? И есть хочется, ничего не дают. Сиди прямо хуть целый день, хуть сдохни. Пришел месье Ипполит, он тоже у Константин Лисеича был в столярах, он русский. Он и говорит:

— Тебе, — говорит, — гарсон ничего не даст. Ты, — говорит, — здесь с голоду помрешь. — А ты ему скажи: «Силь ву пле»¹, вот и получай.

Я и сказал «сильвупле», показал — он наливает, я еще, да как зачал пить, дак у меня в глазах огонь. Вот это перцовка была. Что и как, только я был вполне выпивши... А французы ничего. Пьяного, нет, понять невозможно...

— Там полная всеобщая свобода, — продолжал, помолчав, Василий Белов и как-то особенно важно посмотрел на всех. — Делай што хочешь, пей вино, зельтерская вода — даром.

Любил я слушать рассказы Василия.

— Как же это без царя? — удивился Феокист. — А пошто так?

— Никто не идет. Боязно — должность, говорят, больно трудная, и все за всех отвечай, а потом виноват будешь. Ну и не идут.

— Это кто же тебе сказал? — спросил я Василия.

— Мосье Ипполит, — бойко ответил Василий, — он давно там живет. Ух, и французенки хороши, глаза так у них играют, ужаста.

Хороши были рассказы про Париж Василия Белова. Один приятель мой по три часа разговаривал с Василием. После одного рассказа, за чаем на террасе у меня в деревне, приятель мой прямо на пол упал.

— Что с тобой? — говорю я.

— Так, — говорит, — меня Василий укатал рассказом.

Что за рассказ — не знаю. Так он и канул в неизвестное!..

* * *

Выпили еще по рюмке.

— Да-а-а... — раздумчиво заметил Константин-рыбак, — а у нас вот речка этакая есть, пойдем вот рядом — и уха на столе. Нарубим хворостку, и тепло в избе. А лето — везде дом. Вот зима, стужа, снег, холод... Лежишь на печи, один к другому зайдет, кто что расскажет. Я-то жил под Питером, на Неве, в топях. Нет, не ндравится мне. Глядел я жисть господскую, куда... — наша лучше. У них одна чертова, заботы много. Себя обиходить, деньги достать надо все боле да боле, без этого им нельзя никак. А какой же мне еще слободы надо, слободы у меня — девать некуда.

— Вестимо, к дому привыкши, — ответил Белов. — А где чего у тебя есть? Одежа плохая, лапти, на портах заплаты, а барин ходит, в руках перчатки несет, цилиндр на голове, трость, порты навыпуск. А барыня — этто што! Шляпа, сережки, панье, курдюк, тувельки золотые чисто... А што на нас — и глядеть страмно. Ну что тут говорить зря!

— Лисеич, — обратился ко мне Константин-рыбак, — я и забыл тебе сказать. Внизу на реке, за санными сараями, в глубоком омуте, вот я сам третьего дня видал. Знать, пришел сверху по реке сом. Ну и сом, пудов на шесть или более. Тоже, поди, он омут свой лобит. А я, как и он, осыпь меня золотом всего — в городе жить нипочем не стану. Да и перчатки в руках носить — пошто? Еще на руки надеть от стужи, а то чего. У нас тоже девки-модницы есть. Сама босая идет, а новые полсапожки в руках несет. Это малая утеха, пустое... Да что и говорить, где, что, кто и как живет, у всех и горя много — ну и веселье есть. Вот дождь сейчас, ненастье, а выйдет солнушко ясное, осветит землю нашу грешную — вот и осень будь хоть, а все жисть — и радость в душу войдет...

¹ От фр. *s'il vous plaît* — пожалуйста.

Левитан

Наша юность

Мне 15 лет. На экзамене рисования в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве на Мясницкой я получил похвалу от преподавателей с правом выбрать себе профессора и поступить к нему в мастерскую. Пришел домой и говорю матери:

— Вот какая история: если я поступлю к П.С. Сорокину, там у него все иконы пишут, а у В.Г. Перова — жанр; вот приятель моего брата Сергея, Яковлев, пишет такие страшные картины — замерзший художник, градобой, волки едят женщину, грабитель, — а мне бы хотелось к Алексею Кондратьевичу Саврасову. Я только издали его видел. Это он написал «Грачи прилетели». Он такой большой, и у него добрые глаза. Мама, — говорю я, — я не хочу быть архитектором, это так скучно. Пойду к Саврасову. Ты не сердись.

— Как хочешь, учись, у кого вздумаешь, — ответила мать просто.

Долго в эту ночь я не мог заснуть. Все думал — что я буду писать. Надо что-нибудь грустное — деревню, ночь. Деревня спит, один огонек в избе. Это там, где я жил с отцом и матерью. Светит месяц и воет собака. Эта собака моя осталась там, и Ленька и Былычов кормят ли ее — я не знаю. Как она меня любит! Когда приеду — ждет. Как рада она, когда приеду! А я ее ударил еще за утку — зачем не принесла. Хорошая собака. Зачем я ее ударил? Там, может быть, она голодная и бьют ее... А Саврасов какой печальный — глаза добрые, он все поймет. Мама, должно быть, думает — зачем я архитектором не хочу быть. Ну, хорошо, я архитектором кончу курс. Но все же мне живопись больше нравится. Архитектура — это совсем не трудно.

Ночь я провел в тревоге, пошел утром в Училище увидеть профессора Алексея Кондратьевича Саврасова. Свернув в трубочку этюды, которые писал летом из окна моей комнаты в Москве — сараи, забор, ветви деревьев, — пошел по Мясницкой в Училище. Пройдя верхний этаж большого здания, где были мастерские, остановился у двери. Написано — «Мастерская профессора Саврасова». Несмотря на ранний час, за дверью брэнчала гитара и было слышно, кто-то пел. Я постучался. Гитара умолкла, и оттуда крикнули: «Иди!»

Я вошел и увидел освещенную комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах, а слева, в углу, высоко наставлены березовые дрова. Около них сидел на полу С.И. Светославский — художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против на полу лежал юноша с большими кудрями — И. Левитан. Поодаль на железной печке сторож мастерской, солдат Плаксин, кипятил в железном чайнике чай.

Светославского и Левитана я видел раньше у брата моего — Сергея. Это были его приятели.

Светославский взял с печки завернутую в бумагу колбасу, нарезал ее, положил ломтиками на пеклеванный хлеб, дал Левитану а также и мне, сказав: «Ешь».

— Это брат Сережи, — сказал он Левитану, показав на меня.

Налив в стаканы чаю, он сел на табурет и начал петь, аккомпанируя себе на гитаре.

Зажурился чумачина, что копиечки нема,
Сидит, лупает очима, мов голодная сова,
Волоки, волоки вы мои,

Наробили клопоту вы мини.
Пив горилку, пив наливку,
Ище с музыкой ходыв,
А пришлось до расплаты
Так в полиции сидив.
Волоки, волокы вы мои,
Заробляли грошики вы мини.

Левитан надел сапоги и, встав, умывался в углу. Плаксин лил ему воду из ковшика. Вытираясь полотенцем, он смотрел на меня красивыми карими глазами и спросил:

— Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить?

— Да, — ответил я.

— И не боитесь?

Я не понял и спросил:

— А что?

— А то, что мы никому не нужны. Вот что.

И, обернувшись к Светославскому, сказал:

— Я видел этюды его — он совсем другой, ни на кого не похож.

— Ты архитектор, — сказал мне Светославский. — Мне говорил Сережа про тебя...

— Да, я буду потом архитектором... Мне не так нравится город, дома... Природа лучше... Я охотник...

Виют витры, виют буйны,
Аж деревья гнутся,

— запел Светославский.

В мастерскую вошли ученики Саврасова: Мельников, такой одутловатый, небольшого роста, — сын писателя Андрея Печерского; высокий Несслер; маленький Поярков, Комаровский, Арбинский¹, которого называли «братичек» за великую доброту души.

Левитан повел меня к своей картине, она изображала колеи снежной дороги, которая поворачивала в большой сосновый лес. Вечер, сосны освещало заходящее солнце.

— Последний луч, — сказал мне Левитан. — Что делается в лесу, какая печаль! Этот мотив очень трудно передать. Пойдем со мною сегодня в Сокольники. Там увидишь, как хороши последние лучи.

— Пойдемте, — согласился я, — только вот в Мытищах лучше лес, Лосиный Остров. Пойдемте туда.

— Это далеко, а здесь дойдем пешком. Только надо взять немного копченой колбасы и пеклеванный.

— Непременно, — соглашаюсь я, обрадованный, что со мной говорит старший, а сам думаю: «Есть ли у меня деньги, а вдруг нет. Вот те и колбаса!..»

Отворилась дверь, и в мастерскую вошел огромного роста человек в башлыке с палкой. Он хлопал большими озябшими руками, согревая их. Вынул из пальто платок и стал вытирать себе замерзшие усы и бороду; улыбаясь, смотрел на нас добрыми глазами. Это был Саврасов.

— Да, да, — сказал он, как бы причмокивая, — зима... Как сады покрылись инеем! У меня в Печатниках — там из окна видно забор и около бузина, тоже в инее мороза,

¹ Правильно: Ордынский.

колодец заледенел, какие формы! Гм, гм! надо смотреть, наблюдать: кто влюблен в природу, тот будет художник.

И, сняв пальто и боты, он посмотрел на меня и сказал:

— Брат Сергея? Да, мне Ларион Михайлович Прянишников говорил про вас, он помнит вас таким (и он показал маленький рост). Он у вас в доме устраивал вам, опрокинув стол, «Фрегат Палладу». Вы тогда уже рисовали мыс Доброй Надежды. Покажите-ка ваши этюды.

Саврасов сел на табурет. Я развернул написанные на бумаге и холсте этюды с природы и клал их на пол перед ним. Все будущие мои товарищи столпились зади. Я в ужасе смотрел на свои работы и думал — это не то, это не картины: ветви сирени, снег, сарай, конюшня — что это за картины? Все не то...

— Да, да, — сказал, причмокивая, Алексей Кондратьевич, — он другой. Влюблен в цвет. Ну, а что вы скажете? — обратился он к окружающим ученикам.

— Весело, — сказал Левитан.

— Композиции нет, картины нет, — заметил Несслер.

— Что за охота писать заборы? — грустно вставил Поярков. — Это не пейзаж.

— Ну отчего? Забор — если он хочет. Только забор очень трудно написать, — смеясь, сказал Левитан. — Но тон у него есть. Правда — в цвете...

— Классический, романтический пейзаж уходит, умирает, Пруссэн, Калам, — сказал Саврасов, — может быть, будет другой... Гм, гм, да, да — неоромантика... Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан, он любит тайную печаль, настроение...

— Мотив, — вставил Левитан. — Я бы хотел выразить грусть, она разлита в природе. Это какой-то укор нам. А он, — жест в мою сторону, — ищет веселья...

— Красок, — сказал Саврасов.

— Какое веселье в заборах? — удивлялся Поярков.

— Не в заборах, а в красках веселье, — сказал Саврасов.

Я думал про себя: мне просто нравится писать...

Саврасов принял меня в мастерскую.

Преподаватели мои были прекрасные люди. Они все умерли. Последний из них — В.Д. Поленов — недавно. И все они у меня там, где-то внутри меня, глубоко. Воспоминания о них родят слезы несказанной благодарности. Жизнь и характер слагались под влиянием радости и безграничной доброты, которую я встретил в них. Они несли дары высоких чувств, восхищения искусством.

Под Москвой, в Сокольниках, шла дорога, колеи в снегу заворачивали в лес. Потухала зимняя заря, и солнце розовым цветом клало яркие пятна на стволы больших сосен, бросая глубоко в лес синие тени.

— Смотри, — сказал Левитан.

Мы остановились. Посинели снега, и последние лучи солнца в темном лесу были таинственны. Была печаль в вечернем свете.

¹ Правильно: Пуссен.

— Что с вами? — спросил я Левитана.

Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа бегущие слезы.

— Я не могу, — как это хорошо! Не смотрите на меня, Костя. Я не могу, не могу. Как это хорошо! Это — как музыка. Но какая грусть в лучах, в последних лучах! В чем эта грусть и зачем она?

Солнце зашло. Все кругом потухло. Синей мглой покрылся темный лес. Мы пошли обратно. Снег хрустел под ногами, и стало холодно, тоскливо. В деревянных домах пригорода светились окна. Приветливо и весело сияли фонари у трактира. У меня в кармане — кусок копченой колбасы и пеклеванные хлебы и еще двадцать копеек. Это мне дала няня Таня. Она зашла ото Всенощной к нам.

— У меня двадцать копеек, — говорю я Левитану. — Есть еще колбаса и хлеб. Зайдем в трактир погреться.

В трактире было тепло, пахло чаем и сапогами. Ловко нес поднос кудрявый половой и живо поставил нам пару чая. Народу было много: извозчики, какой-то гармонист с подвязанной щекой, разносчики... Пив чай, мы обогрелись. Гармонист заиграл. Сидящие за соседним столом купцы или артельщики в суконных поддевах сказали, глядя на нас: «Бурса, по духовной части, ишь, волосы большие, а по трактирам тоже, из молодых, да ранние, знать...»

— Брось, Гаврюша, ишь, они красавчики какие, дворяне знать, — смеясь, поглядывая на нас, заметила купчиха в лисьей шубе.

— Пойдемте, — сказал Левитан, вставая. — Это отвратительно...

Левитан, придя ко мне, остался ночевать у нас. Мой брат Сергей постелил ему постель, положив матрас на соединенные стулья.

Ложась спать, Левитан не снял синюю суконную курточку, застегнутую до горла. Я видал, что у него не было рубашки. Я снял шерстяную блузу, и мне было неловко, что у меня есть рубашка.

— А что это висит у тебя на стене? Ружье? — спросил Левитан.

— Ружье и патронташ. Я охотник, — ответил я.

— Охотник, это интересно, должно быть. Я когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту, да...

— Пойдемте, — обрадовался я. — Пойдемте в Перервы. Там уьем зайца.

— Зайца? — повторил Левитан испуганно. — Это невозможно, это преступление. Он хочет жить, он любит свой лес. Любит, наверное, иней, эти узоры зимы, где он прячется в пурге, в жути ночи... Он чувствует настроение, у него враги... Как трудно жить, и зачем это так?..

— Я тоже заяц, — вдруг, улыбнувшись, сказал Левитан, — и я восхищен лесом и почему-то хочу, чтобы и другие восхищались им так же, как и я... Эти последние лучи — печаль и тайная тоска души — особенная, как бы отрадная... Зачем это? Неужели этот обман и есть подлинное чувство жизни? Да, и жизнь, и смерть — обман... Зачем это, как странно...

Я проспал. Вижу, Левитан стоит у окна на двор, где деревья были в морозном инее.

— Ты проснулся? — сказал он. — Посмотри, какой дворик! Как хорошо написать это... Говорят — нужно ехать в Италию. Только в Италии можно стать художником.

Но почему? Чем пальма лучше елки? Почему — не знаю. На вокзалах, в ресторане, на столах всегда жалкие пальмы. Как странно это...

И Левитан рассмеялся.

Левитан мало говорил о живописи, в противоположность всем другим. Он скукал, когда о ней говорили другие. Всякая живопись, которая делалась от себя, не с натуры, его не интересовала. Он не любил жанра. Увидав что-либо похожее на природу, он говорил: «Есть правда». Любимым нашим развлечением, учеников мастерской Саврасова, было уйти за город, в окрестности Москвы, где меньше людей.

Левитан всегда искал «мотива и настроения», у него что-то было от литературы — брошенная усадьба, заколоченные ставни, кладбище, потухающая грусть заката, одинокая изба у дороги, — но он не подчеркивал в своей прекрасной живописи этой литературщины.

Левитан был поэт русской природы, он был проникнут любовью к ней — она поглощала всю его чуткую душу, — и этюды его были восхитительны и тонки. Странно то, что он избегал в пейзаже человека. Прекрасный рисовальщик и живописец, он просил моего брата Сергея написать в его картине «Аллея осенью» фигуру сидящего на скамейке.

Левитан как-то сторонился людей. Его мало кто интересовал. Он подружился с А.П. Чеховым, который присоединялся к нам на прогулках за город, еще будучи молодым студентом Московского университета.

Левитан был разочарованный человек, всегда грустный. Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы. Говорил мне с печалью: «Художника не любят — он не нужен. Вот Саврасов, это великий художник — и что же? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против, он чужд даже своим. Писателя легче понять, чем художника. Мне говорят близкие — напиши дачи, платформу, едет поезд или цветы, Москву, а ты все пишешь серый день, осень, мелколесье, кому это надо? Это скучно, это — Россия, не Швейцария, какие тут пейзажи! Ой, я не могу говорить с ними. Я умру — ненавижу...»

Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал — прочесть такое, чтобы вызвало страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. «Мы найдем настроение, это так хорошо, так грустно — душе так нужны слезы...»

Летом Левитан мог лежать на траве целый день и смотреть в высь неба. «Как странно все это и страшно, — говорил он мне, — и как хорошо небо, и никто не смотрит. Какая тайна мира — земля и небо. Нет конца, никто никогда не поймет этой тайны, как не поймут и смерть. А искусство — в нем есть что-то небесное — музыка».

Я разделял его созерцание, но не любил, когда он плакал.

— Довольно реветь, — говорил я ему.

— Константин, я не реву, я рыдаю, — отвечал он, сердясь на меня.

Но делался веселей.

Я любил солнце, радость жизни, цветы, раздолье лугов. И однажды у пригорка за городом, где внизу блестел ручей струей бегущей воды, расцвел шиповник, большие кусты его свежо и ярко горели на солнце, его цветы розовели праздником радости весны.

— Исаак, — сказал я — смотри, шиповник, давай поклонимся ему, помолимся.

И оба мы, еще мальчишки, встали на колени. «Шиповник!» — сказал Левитан смеясь.

— Радостью славить ты солнце, — сказал я, — продолжай, Исаак...

— ...И даришь нас красотой весны своей.

— Мы поклоняемся тебе.

Мы запутались в импровизации, оба кланялись шиповнику и, посмотрев друг на друга, расхохотались. «До чего глупо!»

* * *

Как-то ранней весной в Школу на Мясницкую пришел какой-то простой человек, молодой румяный купец из Охотного ряда.

Зайдя к нам в мастерскую Саврасова, спросил:

— Господа художники, хотелось бы мне купить этюдиков у вас, если цены подходящие будут. Люблю я этюды! Сам балуюсь красками, только от папаши своего берегусь. Ох! очень он не любит это занятие, а я на чердак уйду, там я с этих этюдов картины разведу — да-с. Так люблю это дело, даже вот запах краски люблю!

Когда он спросил, какая цена, то мы смотрели на его розовые щеки и как-то ничего не могли ответить. Тогда он, вынув из кармана пачку бумажных денег, отвел Левитана к окну и отсчитал ему деньги, мигая и говоря что-то шепотом. Потом отозвал меня и сунул мне в руку пачку грязных бумажек, тоже, мигая и жмурясь, шепнул: «Ну что, ничего, художники, берите, годится. Учитесь, конечно». И опять мигнул.

Со Светославским долго спорил, говорил:

— Помилуйте, это никак невозможно, этих денег у меня нет.

— Не отдам, — сказал Светославский.

— Уступите, — уговаривал его молодой купец и рассмеялся, сказав: «Ну, ни твоя, ни моя, молись Богу. Не могу двести, ей-ей. Самому мне папаша сто в месяц, а жена, детеныш, не могу!..»

— Ну ладно, — согласился Светославский, — бери...

Наскоро завернув этюды трубкой, он, прощаясь с нами, сказал:

— Эх, до чего это я люблю этюды, живопись — вот до чего!..

— Пойдите, кулек забыли! — крикнул ему Светославский.

Обернувшись в дверях, купец сказал, смеясь:

— Это вам-с, господа художники, из лавки — икорка и рыбка хорошая, белужка.

С хреном приятно, покушайте.

И ушел.

— Что же он спишет с этюдов наших? — говорили мы, смеясь.

— Посмотри, какие грязные, мятые бумажки он дал, — придя домой, сказал Левитан. — Да все рублевки, трешники...

Дома не было моей бедной матери. Она постарела в горе по умершем отце моем. Уехала в Оптину пустынь молиться за него.

Когда за столом сели друзья — Светославский, мой брат Сергей, Ордынский, Левитан, Мельников, — я не сел. На столе икра, балык, белуга. Мне было так больно, что нет моей матери с нами. Ее печальный образ был передо мной. Такая она стала старая, жалкая, такие горькие глаза!.. Я не мог есть и ушел из дому в сад, где за забором чуть уже зеленели липы, блестели на солнце купола церкви Харитония — весна льет свет радости, к горлу подступили слезы...

— Ах, — ласково сказал Левитан, подойдя ко мне, — и ты реवेशь? Наконец-то весельчак ревет...

— Да, Исаак, что делать, реву... Должно быть, мы бессильны...

— Хочешь сказать — мальчишки?

— Нет, ничего не хочу сказать. Уедем в Останкино, на Панин Луг. Скоро экзамены, их так много, мне еще нужно алгебру, строительное искусство. Там лучше готовиться. Поедем. Есть деньги.

— Хорошо, поедем, ты прав, там лучше...

Вечером утюгом Левитан разглаживал полученные у купца за наши этюды бумажки. Я аккуратно складывал их на стол, считая: «рубль, три, десять», — по пятьдесят рублей дал он каждому. Потом долго мы считали, на что будем тратить деньги: сапоги, краски, шоколад, колбаса, порох, ружье... На ружье не хватало...

* * *

Останкино под Москвой — место дивной красоты. Около дубового леса был Панин Луг и мелколесье. В небольшом деревянном доме взяли комнату за три рубля на месяц. Утром писали с натуры — весна, солнце, дубы только распускались, их светлые стволы покрыты пятнами темного, как плюш, моха, весело сияло голубое небо.

Разложив на столе учебные книги и листы лекций, мы смотрели на них с ужасом. Решили: будем заниматься вечером и ночью. Уговаривали себя — ночью лучше заниматься, а теперь пойдем в мелколесье.

Я говорил:

— У меня ружье, на тягу, увидишь, как тянет вальдшнеп, кричит — «Ар, ар, ар» — замечательно!..

— Какой вальдшнеп? — удивлялся Левитан.

* * *

Долго стоим мы в мелком лесу. Розовая заря погасла.

— Слышишь — тянет, слышишь, — шепчу я.

Сбоку, храпя, показалась темная птица. Я выстрелил. Вальдшнеп качнулся в воздухе и, коркая, полетел опять прямо.

— Промазал, — сознался я.

* * *

В комнате нашей горит лампа, абажур сделали из бумаги, на столе разложены тетради лекций, крынка молока, хлеб. Левитан читает: «В географическом положении Египта мы встречаем две особенности...»

— А вальдшнеп-то, — говорю я Левитану, — он из Египта летел, у него такой нос длинный, египетский, он аравийский красавец.

— Да, наверное, — соглашается Левитан. — Хорошо, но мы не можем лететь. Ну, как это... «в географическом положении Египта...». Или это мы потом, надо сначала хронологию, в котором году что было. Хорошо бы многое забыть, что было...

— Нет, постой, — говорю я. — Давай лучше анатомию...

— Ну зачем это? Я никогда не буду писать человека. Анатомия! Я не хочу знать, какие у меня кости, какой хрусталик в глазу. Ой, это невозможно...

— Нет, обязан знать, — говорю я с умыслом. — Ты сегодня хотел писать вечером «Галки летят»...

— Ну и что же?..

— Значит — должен знать анатомию галки...

Левитан пристально посмотрел на меня и сказал, горячась:

— Но нет же анатомии весны...

— Кажется, еще нет, а будет...

— Ну, довольно. Ты же крокодил! Я не могу, я не хочу знать человека, зачем мне его кости?

— А итальянцы знали анатомию, Микеланджело знал, — говорю я...

— Да, да, правда, но я хочу писать стог сена, в нем же нет костей и анатомии...

* * *

Ученики живописи безвыходно до позднего вечера занимались в Школе. Часов рисунка и живописи было много и много было научных предметов — поэтому все как-то отставали. Между преподавателями был какой-то холод.

Помню — экзамен русской истории. Сидят за столом, покрытым зеленым сукном, преподаватель истории Побойнов, инспектор, художник Трутовский, художник В.Д. Перов.

Преподаватель Побойнов задает вопрос Левитану, который хорошо отвечал на вынутый билет.

— А скажите, в котором году и месяце император Павел Петрович переехал в Гатчину?

Левитан не знает.

— Я тоже не знаю, — подумавши, сказал и профессор Перов.

— А по-моему, хронология является главнейшим предметом художника. Художник обязан знать эпоху, — заявил сухо Побойнов. — Если он, — указал он на Левитана, — будет писать картину «Приезд в Гатчину», не зная хронологии, он не будет знать время: зима, лето, осень... Художники часто ошибаются в истории и вообще...

— Я никогда не буду писать такой картины, — наивно сказал Левитан.

— Ну, теперь вы молодцы, а потом, кто знает... Мы же обязаны дать вам знания...

Экзамен анатомии. Профессор анатомии Тихомиров — красивый человек. Он держит карандаш. Перед ним стоит Светославский, в руках у него череп человека, он пристально смотрит на него.

— Ну, скажите, — говорит ему профессор, — что вы знаете про череп?

Светославский молчит.

— Что это? — указывает профессор карандашом, стучая по черепу.

— Глаза, — отвечает Светославский.

— Простите, тут были раньше глаза, а теперь это глазные впадины. Ну-с, скажите, чем мужской череп отличается от женского?..

— У мужчин борода, — бодро отвечает Светославский.

— Садитесь, — говорит профессор.

— Ну-с, возьмите вы череп, — предлагает профессор Левитану.

— Не могу, — отвечает Левитан.

Тихомиров удивленно смотрит на него.

— Почему не можете?
— Это ужасно! Это смерть! Я не могу видеть мертвых, покойников...
Выручил профессор Перов. Засмеялся и заметил, показывая на нас:
— Они — пейзажисты. Почему их внесли в списки? Им нужно писать с натуры природу. Теперь май, весна, ступайте...
Он нам махнул рукой...
Выйдя на улицу, мой брат, смеясь, говорил Левитану:
— Ну, знаешь ли, Исаак, ты — Гамлет... Сцена с черепом тебе удалась.

Наши встречи

Перед окончанием Левитаном и мною Школы в нее вошел профессор, художник В.Д. Поленов, который внес своим приходом особую атмосферу в Училище, говоря о красках, колорите, об импрессионистах, барбизонцах, о новой западной живописи, — словом, о том, о чем мы не слышали или слышали мало. Он сразу обратил внимание на Левитана и меня, когда мы писали у него в мастерской натюрморт, и познакомил нас с замечательным москвичом — Саввой Ивановичем Мамонтовым, который в то время создавал театр в Москве, «Частная опера».

С.И. Мамонтов поручил Левитану и мне написать декорации для его театра: Левитану — «Жизнь за царя», а мне — «Снегурочку». Я и Левитан редко бывали в театре и декораций как-то старались не видеть, до того они нам казались ужасны, нехудожественны и безвкусны, а также и костюмы. Да и как их пишут? Такие огромные холсты писать надо, должно быть, на колосниках, лестницах. Но когда мы пришли в мастерскую, то увидели, что эти огромные холсты лежат на полу, и оказалось, что это — очень просто.

* * *

Было лето. Жара. Я пришел в мастерскую к Левитану. Он, обернув голову мокрым полотенцем, большой кистью писал лес и Ипатьевский монастырь. И говорил мне:

— Я пишу елку уже месяц. Ничего не выходит. Устал.

— Как — не выходит? Превосходно... — сказал я.

И действительно, картина эта на сцене была восхитительна. Фонарь тускло горел над воротами монастыря. Таинственная ночь. Декорация поразила всех красотой и настроением.

Но Левитан не стал писать больше декораций:

— Я не очень люблю театр, — сознался мне он. — Прежде всего, нет времени сделать так, как хочется и как нужно...

Я же не расставался с театром и с С.И. Мамонтовым. Артисты, певцы, краски, костюмы, оркестр, женщины, жемчуга, золото, свет — все это поглощало меня, я считал оперу высочайшим соединением искусств.

— Да, — соглашался со мною Левитан. — Пожалуй. Это красиво. Высоко. Но я хочу моих чувств и настроений — моих. И их я могу дать только в своей живописи, в своем холсте. Так — как я хочу.

* * *

Когда я написал синие деревья в опере Делиба «Лакмэ», то Мамонтов и другие удивились и были несогласны. Это было ново. Я убеждал, говоря:

— Ведь у Ван-Зандт в «Лакмэ» желто-теплый, настоящий костюм из Индии. Она мне его показывала. Нельзя смотреть декорацию одну. Надо вместе с костюмами.

И на спектакле Поленов и Васнецов поддержали меня:

— Он прав.

Но критика писала: «Синих деревьев не бывает». И все говорили то же.

* * *

Ранней весной мы с Левитаном уезжали в окрестности Москвы на охоту. У него было новое ружье.

В Перервах под Москвой, у разлива Москвы-реки, было много пролетной дичи. Вечером, в Кускове, мы стояли на тяге. И в сетке наших ягдташей была дичь. Носы вальдшнепов выглядывали из нее.

Утром с Курского вокзала мы шли пешком, гордые тем, что охотились и что на нас глядят. У Красных Ворот нам встретились гимназистки, идущие в гимназию. Мы шли, как бы не обращая на них внимания. Но что было в душе! Мы шли как бы не по земле: они смотрят на нас! И как они все прекрасны!

— Видишь, — говорит Левитан. — Вот они смотрят на нас. Потому что мы охотники! А узнай они, что мы художники, — знать бы не захотели...

— Почему? — удивился я.

— Но это так. Я тебе верно говорю. Мы не нужны. Они не понимают. Я же не знаю, что говорить с ними. Когда мне сестра говорит: «Зачем ты пишешь серый день, грязную дорогу?» — я молчу. Но если бы это мне сказала она, которую я люблю бил бы, моя женщина, — я ушел бы тотчас же.

— Какой ты, Исаак, сердитый... — пошутил я.

— Нет, не сердитый. Так нельзя жить. Это был бы обман... Конец любви...

Он остановился и, смотря на меня своими красивыми серьезными глазами, волнуясь, сказал:

— Да, Цапка. Ты этого не понимаешь. Но поймешь, погоди. Ведь мой этюд — это тон, эта синяя дорога, эта тоска в просвете за лесом, это ведь — я, мой дух. Это — во мне. И если она это не видит, не чувствует, то кто же мы? Чужие люди! О чем я с ней буду говорить? Вот Антоша это понимает. И что же, он один, и не влюблен, как ты, всегда (Антоша — это Антон Павлович Чехов).

— Пожалуй, — согласился я. — Но знаешь, я, действительно, кажется — влюблен всегда... А может быть, и нет... Но все нравятся: и Хрусталева, и Гюбнер, и Ван-Зандт, и все мои двоюродные сестры... И прямо не знаешь, какая лучше...

— Ты все шутишь, Цапка. Ты — крокодил. Хрусталева, правда, очень красива. Но говорит: «Стихи читать скучно». «А Пушкин?» — спросил я. Она ответила: «Тоже скучно». Спроси Антошу. Он совсем завял, когда говорил с ней...

* * *

В конце апреля мы с Левитаном уехали к Звенигороду писать этюды. Под горой раскинулась деревня, Саввинская слобода. А на горе стоял красивейший монастырь Святого Саввы. Место было дивное.

Поселились мы в комнате сзади избы, у крестьянки Феодосии Герасимовны. У нее уже жили художники — и потому в комнате было сделано большое окно. Еще в оврагах, у сараев и у плетней лежал тающий снег. Солнце ярко светило. И лес был в розовой дымке...

Вечером мы сидели на завалинке дома. С нами — старуха Феодосья, рассказчица разных случаев, женщина умная. К нам подошла молодая красивая девица, в шляпке, в кружевных перчатках и в черной накидке, отделанной бисером, — в то время называвшейся «дипломат». Франтиха из Звенигорода. Она поздоровалась с Феодосьей Герасимовной и — жеманно — с нами, подав кончики пальцев. Села тоже на завалинку.

Неожиданно для меня Левитан с нею разговорился и даже пошел ее провожать до Нехлюдова, где на речке у плотины стояла небольшая фабрика.

— Вот пришла, воструха! Значит, приедет ее вздохарь, — говорила мне Феодосья Герасимовна.

— Какой вздохарь? — спросил я.

— Да Борис Абрамыч, что вот фабрику держит. Из льна вату гонит на Нехлюдове. Он — лысый, но деньги. Так она с ним эдак, вроде жены...

Только я сел к столу ужинать, дожидаясь Левитана, как к крыльцу подъехал тарантас, и в избу Феодосьи вошел человек небольшого роста, в широком суконном пальто, с чемоданом, зонтиком, в калошах. Когда снял пальто — оказался в спортуке. Большая цепочка. Был лыс. Держал себя развязно с Феодосьей Герасимовной, как свой человек.

Вернулся и Левитан. Познакомились, и все сели за стол.

Новый знакомый, Борис Абрамович, был весел и, нагнувшись к Левитану, рассказывал какой-то анекдот.

— Как от вас пахнет помадой! — сказал ему Левитан. — Какая гадость!

— Ну да... Но это не помада, а мазь для ращения волос. Доктор мне прописал. Деньги берут, а пойдут волосы или нет — кто знает...

Феодосья подала яйца, опущенные в миску с водой, и поставила на стол.

Левитан, взяв яйцо, вдруг раздавил его над лысиной Бориса Абрамовича.

— Вот от чего волосы у вас вырастут непременно!

Борис Абрамович опешил.

— Растирайте скорее!

Фабрикант озадаченно стал растирать голову:

— Может быть, это и помогает, вы знаете. Но так нельзя, прямо на голову...

Позже Левитан у таза с водой мылил себе лицо, говоря:

— Ужасно! От Фроси тоже пахнет этой помадой!.. Она меня, прощаясь, поцеловала. Какая гадость! Я не могу... Дай мне еще воды...

Мы легли в своих комнатах, на матрасы из сена. Левитан молчал.

Вдруг приоткрылась дверь, и Борис Абрамыч спросил:

— Вы спите? А я хотел спросить, что это, каждый день нужно голову яичком мазать?..

* * *

У Левитана был приятель, монах Сережа, молодой, красивейший человек. Они о чем-то много говорили. И раз, вернувшись от него вечером, Левитан сказал:

— Сережа замечательный человек. Он хочет жить в пещере — в пещере, понимаешь! Как это прекрасно! Тихо... у леса... пещера. Конечно, она обделана деревом —

и жить одному... Какие чувства! Затворничество... Одиночество... Я бы, знаешь, пошел с Сережей в пещеру.

Слушая, Феодосья Тарасьевна¹ смеялась:

— Что ж, Исаак Ильич, в угодники, в мученики поступаешь? Тебя в иконостас поставят...

— Как — в иконостас? А разве я не мученик? — спросил Левитан.

Много прошло времени, много Левитан написал восхитительных этюдов, много картин. И получил признание.

Как-то раз, вернувшись из-за границы, зашел ко мне.

— Ну что? — спросил я. — Как тебе понравилось? Ты много видел?

— Знаешь, я хотел написать там одну вещь, такие замечательные деревья. Но внизу какая-то куртинка — и у ней из камыша вставлена в землю загородка, выкрашенная в красное и голубое. Я не могу, это ужасно, это все портит... Я скучал, я люблю Россию... Константин! Я умру, я скоро умру...

И опять прошло много времени. Я встретил на Тверской Исаака Ильича. Щеки его ввалились и глаза потухли. Он был одет щегольски, опирался на палку с золотым набалдашником. Сгорбленный, с тонкой, перевязанной шелковым цветным шарфом шей, — он не понравился мне.

— Ты болен? — спросил я. — Ты очень изменился...

— Да, сердце, знаешь... Болит сердце...

— Плохо с Левитаном, — сказал мне и Антон Павлович, — плохо с сердцем...

А вскоре доктор Беляев говорил у Мамонтова, что Левитан болен серьезно. Это было летом.

Левитан умирал.

— Закройте же окна! — просил он.

— Солнце светит, — отвечали ему, — зачем закрывать окна?

— Закройте! И солнце — обман!..

Это были его последние слова...

Лебеди

Плескаясь свинцовыми волнами, далеко развернулась, заворачивая за темные леса, Северная Двина. Стучит о борт парохода холодная зыбь. Осенние синие тучи несутся над рекой. Далеко, над лесами, яркие просветы вечерней зари.

Небольшая столовая парохода; тепло, тускло горит фонарь. Двое пассажиров, купцов из Великого Устюга, инженер, мой приятель барон Клодт, отец дьякон из Вологды, высокий, красивый. Барон Клодт щиплет дупелей, которых я настрелял в Холмогорах под Архангельском. Готовим ужин. Уютно в столовой парохода. Как-то душевно, отрадно. А снаружи ветер. Наступает мрачная ночь. Медленно идет пароход, хлопая лопастями колес. Впереди слышны голоса — меряют воду.

¹ Правильно: Герасимовна.

— Осемь, о-диннадцать, не мая-ячит. Осемь, осемь. Шесть. Че-еты-ыре...

Кто-то бежит по палубе, кричит — «Стоп!» Бросают якорь. Пароход медленно поворачивает и останавливается. Кричат:

— Боцман! Стоп.

— Ночевать тута будем, — говорит капитан, входя к нам. — Сентябрь, а стужа этакая. В прошлом сентябре теплота была, а теперь хоть шубу надевай.

— Бывает, к концу сентября-то, больше холода-те, — перебивает его купец.

— Чего «холода-те», — ворчит капитан.

— Да некуда боле, акромья дому, на зиму садиться-то, Семен Дмитрич, не привыкать, — разговорился купец. — Прогнали лес. Неча Бога гневить. Хорошо. Под тоску ненастье бутылочку раздавить ничто.

— И чего, господин, — обращается купец к Клодту, — птицу эту припорашиваешь? И чего в ей? Не гусь, мала больно. Какая еда!

— Ведь это самая первая дичь. Самая лучшая. Дупеля, — объясняет ему барон Клодт.

— Ну чего. Какая тут польза. Вот у нас семга свежая, достанем сейчас. Попотчuem вас. Да языки оленьи. Это вот дичь. А чего тут. Заезжайте-ка ко мне в гости, в Устюг. Ухой вас угошу. Вот жирница стерлядинская. На Волге нету эдаких. У меня так исправник, а еще какой-то, из финансов чиновник, что ли, не знаю, да вот такой господин инженер, что дорогу ведут, да настоятель, ну, выпили это мы, чего тут...

Купец вдруг замолчал, стал прислушиваться, глядя на потолок каюты.

— Чу, слышите, — сказал он. — Слышите. Вот дичь-то. Слышь, лебеди шумят...

Какой-то шум пронесся над пароходом.

Я и инженер вышли на палубу. Была темная ночь. Во мгле осенней ночи тысячи лебедей над нами неслись кучами, как белеющие тени.

И звук, то пропадающий, то надвигающийся, входил в душу волей, радостью, обещанием торжества, какой-то правды и радости. Задумалась душа. Я почувствовал сиротливость, когда спустился в столовую. Мундир инженера, купцы и каюта показались мне скучными.

— Ведь это у их, лебедев, тоже, как у людей. Парами летят. У его супруга, у кажинного, — говорил купец, нарезая семгу на столе. — И очень аккуратно живут. Драки никады не бывает. Гордая птица. Только гусь на вкус куда тут лучше.

— И чтó ее по весне тут, по берегам, — заметил другой купец. — Садится — чисто снегом покроются все отмели. И не дерутся меж собой. Отчего бы это? Как вы думаете?

И купец проглотил рюмку водки.

— Летают куда хотят, — сказал задумчиво инженер. — Им простору много. Им железных дорог не надо...

— Это верно, — подтвердил купец. — Хлеба не сеют. Денег у их нет.

— Водку не пьют, — заметил барон Клодт.

Все засмеялись.

— Фарватер у лебедей вольный, на мель не попадут, — угрюмо согласился и капитан.

— А вот у нас, в Устюге, чего вышло на эту весну, послушайте, — сказал внезапно купец. — Вот в слободке красавица такая жила, дочь резчика-иконостасчика. Ну такая, что кажинный, как посмотрит, то прямо станет как вкопанный. И вот убежала

от отца-матери, прямо как есть. И убежала с таким что ни на есть сукиным сыном, жуликом. Шематоном. Ну, сказать стыд. И этот-то шематон ею торговать стал. Прямо ее в знакомство всем сует. И деньги у того-другого через ее берет. Вот что эдакое дело значит?

Он, наливая водку, расплескал ее на скатерти, пальцами помочил себе голову и сказал в сторону:

— К деньгам.

— Это правда, точно — согласился другой купец. — Было это в Устюге. Когда его опосля посадили в тюрьму, так ее спрашивают, почто она такого холуя подобрала себе, эдакая красавица. А она ответила: «Чего, — говорит, — “не по хорошу мил, а по милу хорош”». Вот тебе и возьми.

— Да о чем он? — вмешался отец дьякон. — При такой благодати, — он показал на стол. — И при беседе нашей неохота о дурацком деле говорить. Но она, пословица эта, показывает несознательность. А я вам скажу, что, как у нас, под самый Светлый Праздник помер регент. Соборный хор, без регента невозможно. Прислали другого. Глядят — человек серьезный, такой степенный. Только утреню, в самый праздник, и зачал он хором милитировать. Понять невозможно. Хор врет. Кто куда. Орет просто зря. Ухо режет, сбивается, молитву отымает. Беда, до чего врет. Мальчишки, и то смеются. А ведь по-милому-то он хорош тому, кто его послал к нам. Послал человека знатный. А по-хорошему-то он что? Полный нуль. Одно озорство выходит. Дурацкая пословица, говорю, и для глупца подходящая. И до невозможности безнравственно. И ежели она в жизнь войдет, то прямо погибель.

— Горяч ты больно, отец дьякон, — сказал купец. — Я опосля того дела, что вышло с красавицей у нас, и спросил свою супругу, хозяйку свою: «Что я тебе, Василиса Михайловна, по-хорошу мил, аль по-милу хорош?» Она прямо ответила: «Ты мне, Иван Панкратыч, по-хорошему мил. Ты, — говорит, — наживаешь и капитал крепко держишь». Во как. Прямо как вот лебедь белая, что парами завсегда живут, дружно, и по небу летают.

— Ну, это, брат, твоя лебедь белая, — сказал другой купец, — Василиса-то Михайловна, прямо что дуром брешет. А ежели ты маху дашь? Бывает то в делах-то наших. Обанкрутишься. Тогда как? Хорош-то у ей, когда деньги гонишь в сундук. А нет, так тагды, ау! — прощай, пиши. Выходит дело — дурость, в таком разе... Моя баба, Прасковья Петровна, она эдак-то не скажет. А совсем наоборот. По-милу хорош, вернее будет...

— По-милу, — перебил его купец. — Да твоя-то лебедиха белая вороны черней. Облаката помнишь? Так мы знаем, какой ты милый-то, замолчи.

— Ну что вы! — вступился инженер. — Зачем ссориться. Сплетни разные. Охота вам.

— Охоты мало, — сказал купец. — А зря лясы точить тоже не надоть ему. Ништо. Какое право полное имеет мою супругу законную звать вороной. Ведь это чего? Обида кровная!..

— Что такое, глядите, — вдруг сказал инженер, показывая на стол. — Смотрите, стол кренится.

Капитан вскочил из-за стола и быстро вышел.

— Роя, вставай, — кричал он на палубе. — Дрыхните, черти. Давай якорь.

Было слышно, как забегали по палубе, стуча ногами.

— Одевайтесь, — сказал нам в дверь капитан. И стал кричать: «Гони лодку. Спасай».

Одеваясь наскоро, мы вышли на палубу. Пароход скренило.

— Песком затынуло. Сходите в лодку, — командовал капитан. — А то затынет — не слезть. Эй, черти, якорь заноси.

Лодка тихо отплывала от накренившегося парохода.

У огромной песчной осыпи, покрытой упавшими елями, мы вышли из лодки. Глухой берег. Пахло водой и лесом. Ветер стих. Сидя у кручи, на песке, мне было слышно, как в ночи, на пароходе, бегали люди, стучали колеса парохода, останавливались.

Капитан кричал:

— Заноси, заноси. Бутры. Тащи бутры.

Вдруг кто-то запел:

Э-эх, гармошка, новый тон.

Эх, раз. Эх, раз.

Светло-розовы мехи-и.

Полюбил бы староверку,

Не замолит ли грехи-и.

Эх, раз, еще раз. Раз,

Идет. Еще раз.

Купцы, инженер набрали хворосту, ветвей, елей и развели костер. Радостное тепло у костра. Костер осветил пароход вдали.

Из-за кручи над лесом опять парами вылетели лебеди, свернув от костра. Быстро уносясь, пропадали во тьме ночи.

— Вот ежели бы нам крылья, эдак-то летать, — сказал купец. — А то вот сиди тут-то.

— Что бы тогда было, батюшки, — вздохнул отец дьякон. — Одних беспашпортных-то. А жулья. Тогда попробуй, поймай их, летающих. Жить бы нельзя было. Вот пошто нам крыльев не дадено.

Ночь

Поздно. Стоим в кустах ольшаника, у большого озера Вашутина, на перелете уток. Серый осенний вечер, одна полоска вдали над озером вечереет. Чирки со свистом пронесются. Темно уже, плохо видно. Пронеслись кряквы, и стреляли наудачу. Плохо видно. Идем из болота. Вязнут ноги в трясине. Выходим к берегу озера. Песок. Старый разбитый челн лежит на берегу и тихо большое озеро. Какая печаль и тоска в этом брошенном челне в сумраке осеннего вечера...

Павел Сучков и Герасим — мои приятели — закуривают папиросы. Герасим говорит:

— Если краем пойдем, потом на горки, дорога знамо, а то не дойти. Ночь будет воробьиная.

— Лучше на деревню Вашутино, там лошадь достанем доехать, — предлагаю я.

— Не найти подводы. Праздник, деревня озорная, все пьяные, поди. Кто поедет в ночь. Темно будет. Пойдемте лучше напрямик, на Шаху, вырубками. А там я знаю дорогу.

— Ну, ладно, идем, — согласился я. Мы дружно и быстро пошли. Долго шли молча. Прошли краем мелкого кустарника, порубью, полем. Ночь наступила. Становилось темно. Герасим остановился и сказал:

— Вот что, нам не дойти.

— Это недурно, — заметил Павел Сучков.

— Вот что, — раздумывая, сказал Герасим. — Пойдемте направо, на горки, к лесу. Там дом лесничего. Я знаю, надо вправо брать. У него до утра заночуем, а то — ночь воробьиная.

— То есть, позвольте, ночь воробьиная, в чем дело? — говорит Павел Сучков военному.

— Воробьиная ночь, Павел Александрович, не знаешь. А это такая ночь, что себя не увидишь, не то что дорогу.

— Пойдем на лесников дом.

Мы долго идем молча. И нам уже трудно видеть что-либо, идем по звуку шагов, чувствуя друг друга. Стало казаться — то мы идем в гору, то круто спускаемся вниз, высокая трава, задеваем сучья... Вынимаем спички и близко смотрим на землю. Герасим ищет, наклоняясь, говорит:

— Сюда. Вот сбились...

— Действительно, ночь воробьиная, — сказал Павел Сучков. — Но почему воробьиная?..

— Да вот, не видим ни шиша, и воробьиная, — сказал Герасим.

— А у нас, помню, кавалерийский эскадрон, ночь, зги не видно, как сейчас, — сказал Сучков. — А лошади знают и идут, куда велят. Странно это, а?

— Я тоже помню такую ночь, — сказал и я. — Заблудился — так на дерево наткнулся, у него и ночевал. Спиною к дереву прислоняюсь. Жутко. Хорошо, что собака была со мной.

— Идите! — зовет Герасим.

Мы идем на голос.

— Стой! — сказал вдруг Герасим. — Стой, — ответило впереди эхо.

— Круча, знать! — крикнул Герасим.

— Круча, знать, — ответило эхо.

— Ну-с, благодарим вас, — крикнул Сучков, — я не желаю свалиться к черту.

— К черту, — повторило эхо.

— Зашли куда не весть, знать, река внизу, — потише говорит Герасим.

Мы сели на землю.

— Тоже и место странное, — громко сказал Сучков. — Этот болван, что ни скажешь, — все повторяет.

— Болван повторяет, — отозвалось эхо.

— Глупо, глупо! — крикнул Павел Александрович.

— Глупо, глупо, — разнесло эхо.

— Представь, вот жить тут, — продолжает Павел. — Дом построить. Невозможно жить, постоянно будет эта история. Вы разговариваете, а оно вмешивается. И для чего это эхо существует? Непонятно и глупо. Есть в природе эти дурацкие штуки, такая ерунда.

— Ерунда-да-да-да, — повторило эхо.

— Уйдем отсюда, — сказал с досадой Сучков. — Надоело это дурацкое эхо. Черт!

— Сам ты черт, дурак. Почто орешь, леший?..

— Леший, — сердито повторило эхо.

Мы опешили. Голос был откуда-то снизу.

— Это, знать, внизу на речке кто-то... — сказал шепотом Герасим.

Мы замолчали. В мертвой тишине ночи нам казалось, что кто-то ходит впереди, переступая огромными ногами. Плеск воды внизу, будто он переходит реку. Сбоку лес осветился, и мы увидели, что мы на краю высокого обрыва, а под обрывом слева, где был свет от огня, бросая большие тени на лес, высилась огромная тень человека. По речке тихо плыл челн, и впереди, на его носу, горело смолье. В челне стоял старик, держа в руках острогу, и пристально смотрел в воду реки. Сзади челна сидел другой и медленно шестом правил. Старик ударил к берегу острогой, вынул — на ней вертелась большая рыба. Он на край челна стряхнул ее с остроги, сказал:

— Поверни, покурим, да я смолье подложу.

— Эва вон в ночь какую рыбачит, — сказал, глядя вниз, Герасим. — Эй, мы вот тож по охоте плутаем. Шагу не видать, — крикнул рыбакам Герасим.

— А вы чьи? — спросил снизу голос.

— Из Букова.

— Эвона, отколь зашли.

— Сторож-то Барченков далече ли отсюда?

— Не-е, не больно. По реке ежели, то скоро. Иди за нами по огню. Слезай.

— Тут не спуститься. Крута круча. Насмерть упадешь. Где бы пройтись-то?

Огонь сильно разгорелся. И мы пошли краем обрыва. Река далеко освещалась. Обрыв был отлогий, и мы быстро спустились по песку его. Старик-рыбак посмотрел на нас и сказал:

— Охотники. Ишь, уток что. А мы-то слышим, за бугром кто-то орет в ночь такую. Вы дальние, знать?

— Да, — говорю я. — Вот приятель из Москвы. Герасим из Букова. А я из Охотина.

— Да ты Коровин, знать?

— Да.

— Ты забыл, а я с тобой чай пил у Барана. Помнишь? Ты тоже заплутался тады.

— Как же! — вспомнил я. — Рассказывали про барыню без головы, что казалась в доме.

— Во-во. Помнишь, сердце шито?

— Как же!

— Баран жив. Лося опять засолил. Солонина, значит, будет. Горазд по лосям-то Баран. Стрелок. Не упустит. Ну, по бережку-то на огонь, за нами, идите. А то темь какая. Трогай.

И челн отошел от берега. Мы шли за ним сзади. Поворачивая изгибами реки, старик ловко ударял острогой. И отряхал в челн рыбу.

— Приехали, — крикнул он наконец.

Показался деревянный, без перил, мост. На берегу, у большого соснового леса, дом светился, стали видны и ворота с забором лесничего. Когда мы подошли к нему, залаяла собака. В доме было темно. Герасим постучал в край окна. Долго ждали. Отворилось окно, и молодая девушка спросила:

— Чего надо?

— Охотники, пустите, — ответили мы. Долго ждали. Слышались шаги. Отворилась калитка. Молодой лесничий, с фонарем в руках, сказал, показывая дорогу:

— Пожалуйста, не оступитесь. Эдакая темь.

Большой дом лесника. Чисто. Обе молодые женщины поздоровались с нами, забегали, хлопчут в снях, ставят самовар.

— Рад гостям, — сказал лесничий, расстилая скатерть на столе, и взял уток.

— На двор вынесу — на холодок. Повешу там, а то в доме тепло.

— Простите, хорошо бы уток пожарить, — сказал Павел Сучков. — Я сам приготовлю.

На стол ставят чашки, варенье, грибы, огурцы.

— Уху сварим, — говорят женщины.

— Десять часов, ужин сготовим.

— Мы-то рано спать ложимся, — сказал лесничий. — Скучно. Лес и лес. Дорога проселочная. Редко кто заглянет, и то — по делу. Глухое место. Рад я гостям-охотникам.

Затопили печь в соседней комнате. Лесничий из шкафа достал настойку, поставил рюмки; Павел Александрович налил коньяк в графин и сказал:

— Глушь, глушь. А каково. Жизнь какова, праздник Покрова. Чего еще!!!

— Спасибо дедушке-рыбаку, — сказал Герасим. — А то до утра бы во тьме сидели. А ночь-то, прямо египетская. Шагу не ступишь. Хорошо, дождя не было. А то бы.

Весело в печке трещали дрова. Что-то настоящее, живая жизнь. В этой скатерти, хлебе, грибах, огурцах, в жареных утках и в темной ночи как-то все вместе соединено, так просто и так хорошо душе.

— Эх, гляди, какой праздник вышел. Уха-то, налим, — радовался Герасим.

Слышу, собака скребется в дверь. Я отворил. Большой лохматый пес, вертя хвостом, обошел всех нас, обнюхал. Потом, перед столом, встал на задние лапы, служить. Его желтые глаза смотрели на нас и говорили:

— Видите, я служу. Вот что я умею.

Он получил лепешку и живо проглотил.

— Заметьте, — сказал лесничий, — вот на вас маленько лаял. А то всю ночь рвется, прямо на забор прыгает. И повоет. Когда воет — значит, волки. Обязательно разбудит. В лесу-то тоже жить надо умеючи. Одному с семейством гляди да гляди.

— Что же, лихие люди бывают? — спросил Павел Сучков.

— Как сказать. Бывают... Боязно. Пытались в окно влезть. Вон, в горницу, где одежда висит. Да у меня фейверк припасен.

— Какой фейверк?

— Я зажгу фитиль, а бурак, с порохом да песком запасен, на шесте. Вон, около, тут. Он как ахнет — чисто пушка. Ну и бегут, опрометя. Ну и оружие у меня есть. Вот когда в объезд ежжу, так жена и сестрица остаются. Обе стреляют хорошо. Только по зиме волки вот к воротам подходят. Собаку хотят все выманить. Так вот, сколько видали они, жена и сестрица, а волка жалеют... Не стреляют. Чудно, а? Вот они — показал он на жену и сестру.

Во дворе с лаем завывала собака.

— Слышь, чу! — сказал лесничий. — Это на волков. Музыка будет. Идите-ка на крыльцо.

Мы оделись и вышли все на крыльцо. И слышим, далеко, в той стороне, откуда пришли, протяжный вой.

Тяжкой тоской неслись звуки и необычайной гармонией. Переливались эхом; вой и мольба. Какой-то ужас безысходной доли, неизбежной судьбы был в этом далеком крике жалобы и мольбы. Волки...

Жуть прошла в душу. Мы вернулись в дом. Сестра лесничего смотрела в темное окно. И, улыбнувшись, сказала:

— Брат музыкой зовет волчий вой. А я не люблю. Они это плачут о доле своей лютой.

— Да, жутко воют волки, — согласился я.

— Эх, да, — сказал и Герасим. — А что, Лисеич, люди-то тоже воют. Да ведь горд человек. Не показывает. А ежели долю свою знать, то много горя. И завыл бы другой, да стыдится...

Осенней порой

Конец октября. В деревенском моем доме вставили рамы. Между рам, внутри, внизу положили вату и посыпали ее нарезанными мелко цветными шерстинками — для веселости. Так мне объяснила тетка Афросинья.

— Зимой-то хмуро, скушно, но они, шерстинки, веселят, когда в окошко глядишь.

— Зима-то долга, — говорит и сосед, крестьянин Савелий. — Идет, идет, конца нет.

— Совсем зима ни к чему, — вставил Василий Белов, главный мастер. Он сидит на корточках, топит камин.

— А есть страна такая, где постоянное лето, круглый год, — сказал мой приятель, доктор Иван Иванович, наливая себе чаю.

— Вот где жить-то хорошо, — обрадовался Белов. — Пельсины, лимоны растут, только одно — православных нету, все арапы, черные, прямо вот как уголь. Народ совсем другой: людоеды.

— Это кто же тебе сказал? — спросил мой гость, архитектор.

— Сам видал, в Москве, в саду у Омона. Эх, вот черные — прямо как вот сажа. Один откупоривал бутылку пива, ну, палец себе порезал, дак у него кровь, как чернила, пошла.

— Ну, это ты врешь... — заметил доктор. — Ты видал?

— Я-то не видал, буфетчик говорил.

— У нас барыня, в Гаросове, недалече отсюда, арапа родила, — сказал Савелий. — Ехала она на машине, так напротив арап сидел. Как домой приехала, и разрешилась... Глядят: арап...

— Ну и разговоры! — рассмеялся архитектор Василий Сергеич.

— Герасим пришел, — послышался из кухни голос деда Акима, сторожа моего дома. — Зайчину принес вам здорового. Белый, на зиму переменялся.

Слышно, как Герасим на кухне скидывает сапоги.

— Промок, — говорит он, входя к нам. — Вот два дня по охоте с барином из Москвы ходили. У Соболева были, на Святом Ключе, гуси низко там летали. Ну, пару крякв взяли, чернышша. Да чего вышло — не пойму. Да вот посохну, расскажу.

— Иди, — говорю я, — Герасим, к нам: у камина высохнешь...

* * *

Короче уж осенний день. Зажгли лампу. Темные ветви орешника глядят в окно моего дома. Лампа освещает стол. На столе баранки, деревенские лепешки, сыр. Я налил Герасиму рюмку перцовки, он, выпив, крякнул и сказал: «Ох, хорошо» и, взяв колбасу и калач, сел у камина.

— Вот что бывает, понять нельзя... — заговорил он вновь. — Помните то место, что у Голубихи под кручей, где лес идет вниз. Там дом старый стоит, к реке, что внизу. Заросль. Называется Козариха. Дом брошенный; допрежь там Козырь жил. Слух был, что Козырь фальшивые деньги делал. Место такое, яма, там это можно эдакое-то дело вести. В доме-то и окон нет, и крыша сгнила... Вот в этом самом месте мы с баринном, охотником Грибовым, фабрикант богатейший, проходили в вечер, на Голубиху шли. Взяли трех кряковых да черныша за весь день. Идем, а он и говорит мне: «Устал я больно, Герасим, сяду я внизу, у дома, а ты пойди, достань молока, пить охота».

Ну, ладно. Схожу, думаю, на Голубиху, с версту, не боле будет, принесу ему крынку молочка. И ушел. Взял это я крынку молока у мельника, иду себе. Дом уж этот недалече. Только слышу, кто-то бежит против и охает «ой-ой». Я ему наперерез. Гляжу, барин Грибов бежит без ружья, шапки. Я крикнул, он пуще бежит. Я за ним. «Постой, — кричу, — Федор Дмитрич». А он в гору да упал. Я подбегаю, а он бледный, чисто смерть, лежит. «Это ты, Герасим», — говорит и, глаза вытараща, смотрит на меня. Гляжу, а он мокрый весь. Я ему говорю: «Что это с вами, чего напужались, Господи, помилуй?» Он очухался, оперся на меня, поглядел туда, к дому: «Пойдем отселя, ради Бога».

Пришли мы на Голубиху, ну — в дом к мельнику. Снял он мокрую одежду, сапоги. Надел на себя мельниково, что нашлось. Чай пить, конечно, сели. И вот что ему приключилось. Сел он, значит, у дома того, у Козырихи-то. Крылечко старое. Ждет меня, отдыхает. И слышит — из дому-то пустого женский голос говорит: «Федя, Федя, да иди же сюда».

Грибов как бросится бежать, да в реку. Выскочил — да в гору. Вот и встретил меня. А его-то Федя звать, вот что.

А после того, как одежда его высохла, он, значит, Грибов-то, не хотел более оставаться. И уговорил самого хозяина, чтоб ему лошадь он запряг и на машину, значит, на станцию его отвез. Ну, до станции Рязанцево двенадцать верст. Собрались, поехали. Мельник, значит, ливорверт с собой на случай взял... Остался я на Голубихе, а сам думаю: что это такое, какая такая русалка, что так его, Грибова, напугала? Да и ружье брошено какое. Ружье-то аглицкое! Что стоит, избу можно построить, прямо — дом. Ружье дорогое. Пойду, думаю, погляжу. Пошел. Иду, значит. Уж здорово сумереет. Ближе, ближе. Вижу — дом. И что-то мелькнуло белое. И спряталось. Я прилег. И слышу — кто-то будто ходит в доме.

Я веткой хрустнул или что — как застучит в доме!.. Смотрю — камень около меня в землю ударило. Я уперся оземь рукой, встать хотел. А под рукой-то ягдташ барина Грибова, что обронил. Я взял его да скорее на мельницу.

Пришел это я опять на Голубиху, вошел в дом. Ягдташ припрятал. Помольцы сидят за столом, чай пьют. Ну, и я с ними сел. Помольцы серчают, говорят: «Хозяин уехал, работник ушел. Самим засыпать помол, нешто это дело».

Только гляжу — работник пришел. Вот парень — красавец!

— Чего, — говорит помольцам, — чайники. Идем засыпать помол...

Помольцы пошли. Сижу я один. Поглядел тихонько в ягдташ барина: там папиросник золотой, духи и деньги золотые. Забыл, знать... Что такое, думаю. Схоронил его опять на печь. Работник пришел, говорит:

— Герасим. А что это барин твой, что на Козырихе испужался-то, ружье потерял?

— Потерял.

— А ежели я найду, даст он мне что али нет?

— Даст, — отвечаю. — Он богатей.

— Деньги мне больно нужны, — говорит работник. — Потому мне жениться пора. А то что? Одежи нет. Купил бы. А то обормотом ходишь.

Но только я спать ложиться хотел, как приехал хозяин. Кричит работнику: «Федор, распрягай. Отвез я барина Грибова. Эх, и напугался он. Сказал: скажи, говорит, кто ружье найдет и сумку, награду дам хорошую».

И что же вы думаете, Федор-то, работник, рано утром, я еще спал, принес ружье-то, Грибова, счастье свое. Мельник, хозяин, говорил мне: «Федор в Покрове сватал, да отец не отдает; парень, говорит, настоящий, красавец, только гол, не по плечу нам». У отца-то лавка в Покрове.

— Так вот они, какие русалки в дом-то Федю звали, — сказал Герасим и смеется. — Поняли али нет?

* * *

Утром мы проснулись рано. Герасима уже не было. Мы с доктором ушли в лес. Тишина, оголенность. Кое-где чирикнет снегирь. Мрачен лес в ожидании зимы.

Возвращаясь к дому, услышали смех. На крыльце стоит Василий Сергеевич и кричит уходящему Герасиму:

— Три подводы! Да чтоб буфетчик послал в Покров весь буфет, что у него есть.

У ног Василия Сергеевича — гончие собаки обнюхали мою собаку Феба. Мы зашли в дом.

— Здравствуйте, простите, заехали к вам, — сказал охотник Грибов, вставая из-за стола. — Конечно, по охоте всякое бывает.

* * *

Гоняли гончие зайца. И труба далеко, по осенним лесам, разносила призывной звук. Под обрывом, у речки, охотники смотрели на страшный дом. Грибов рассказывал нам с русалкой происшествие.

В Покрове, в доме Баторина, тем временем Василь Сергеевич, опоясанный полотенцем, со строгим таким лицом говорил дьякону:

— Грибов все жертвует, на всю свадьбу.

На столе, покрытом белой скатертью, стояли иконы и чаша с водой. В задней комнате высокая, сероглазая, белолицая сидела невеста с подругами. Серые красивые глаза с испугом посмотрели на всех нас, когда мы, охотники, с Грибовым ввалились в дом. Грибов сказал отцу невесты:

— Поверьте, папаша. Вот как я счастлив, что жив остался и в своем уме. От русалки-то, от той...

И он добродушно и весело подмигнул невесте.

— Дело так перевернулось: я жив и фабрика при мне. А то — утопленником был бы. За счастье жизни решил человека осчастливить: Федор — парень-душа, а приданое за ним — мое.

Одетый в синюю поддевку, держа за руку, в дом ввел Василь Сергеевич работника Федора. Он и невеста встали перед отцом и матерью на колени и заплакали. За голенище сапога Грибов сунул работнику Федору золотой:

— Вашему русаленку на зубок...

Благословляли жениха и невесту иконами. Дьякон запел, началась помолвка.

На свадьбе Федора с его русалкой охотники, Герасим и псковичи, сидели отдельно от гостей, своей компанией. Грибов пил за всех охотников, которые понимают жизнь, потому что она там, внутри, глубоко сидит, и всякое такое, что в добро обращается, душу тешит, злая нечисть прочь идет, «а потому — выпьем за председателя Московского общества охоты имени императора Александра II, ура!»

— Ура! — кричали все.

Председатель общества был толстейший человек, плясал с Василием Сергеевичем. Оба расходились и сходились и говорили в такт, строго:

Ходи, ходи, ходи, ходи,
Ох, пить будем
И гулять будем,
А смерть придет,
Помирать будем.
Ходи, ходи, ходи, ходи...

Что-то особенное было в этой помолвке, в этом празднике. За столом прямо, и чинно, и строго сидел работник Федор и невеста его Софья! И кругом — русские лица крестьян и деревенских женщин, мельника, священника, дьякона и этих богатых купцов-охотников. Мне казались чем-то давним и бревна дома, и леса, и осенняя ночь, и ладный работник Федор, и невеста его, — все открывалось для меня несказанной красотой и тайной.

Собаки и барсук

Замечательный народ охотники, и все они очень разны, но в одном пункте одинаковы — это когда начинаются рассказы про охоту. Так как я тоже был охотник, то, сознаюсь, любил про охоту поговорить. Не знаю, как другие, а я, рассказывая разные случаи, немного привирал. Такая экзажерация¹ находила на меня, чтобы рассказ выходил ярче. Все грешили тем же, и знали все, что привирают, но уж так водилось.

В молодости у меня бывало много охотников и рыболовов. Рыболовы привирали тоже, но умеренно. Только вот когда рыболов показывал, какого размера рыбу поймал, размеры выходили неправдоподобные, и вес тоже: окунь — восемь фунтов, карась — двадцать.

Один такой, скульптор Бродский, царство ему небесное, покойнику, говорил:

— Шуку взял на два пуда шестнадцать фунтов.

— Где?

— На Сенепсе.

— Ну, врешь.

А он ничего, не обижается.

¹ От *фр.* *exagération* — преувеличение.

Другой мой приятель, гофмейстер, уверял, что на перелете у Ладоги подстрелил гуся в два с половиною пуда. Все слушатели замолчали: неловко, все же — гофмейстер. Надо сознаться, что прежде все были как-то скромнее: только помалкивали, не желая обидеть приятеля в большом чине.

* * *

Тоже был у меня в молодости друг, мужчина серьезный, охотник Дубинин. Жил он на краю города Вышний Волочек, в маленьком покосившемся домишке. Любил я его всей душой. Я-то мальчишка был, а он средних лет, худой, лицо все в складках. Сам вроде как из военных. По весне пускал себе кровь из жил, брил бороду, оставлял только усы, а когда смеялся, то шипел, вроде как гири у часов передвигались. Человек был особенный, наблюдательный, говорил всегда серьезно и все как-то особенно.

Сижу я у него с приятелем Колей Хитровым в его низенькой лачужке, чай пьем, а у печки в уголке в соседней комнатухе лежит сука Дианка, и сосут ее пятеро маленьких щенят. Милые, добрые глаза Дианки смотрят на нас. Она — пойнтер. Смотрит мать-собака и как бы говорит — вот вам для утехи родила детей-собак, на охоту ходить будут и стеречь вас будут. И довольна Дианка, что не бросили детей ее в реку, и благодарна.

— Андрей Иванович, — говорю я Дубинину, — дашь мне кобелька от Дианки?

— Чего ж, можно, — подумав, ответил Дубинин. — Молоды вы только.

— А что же?

— Да то. Вот она тварь душевная, за ней тоже внимание обязательно; должно, чтобы она видела к себе его. А ваше дело молодое: ушел, бросил, ну какая тогда жисть ее.

Видим мы — щенки у Дианки как-то засуетились, бросили мать, поползли, и один даже чудно так залаял.

— Глядите, — сказал, встав, Дубинин, — вот что сейчас будет.

Он сел на лавку с нами и сказал: «Сидите смирно и смотрите. Они прозрели, слепые были, теперь глядят. Вот сидите, они нас увидят, что будет — чудеса...»

Мы сидели и смотрели на щенят, Дубинин потушил папиросу.

— В первый раз они свет увидели и свою мать, ишь, по ней лазают. Гляди, что будет.

Один щенок обернулся в нашу сторону, остановился и смотрел маленькими молочно-серыми глазками, потом сразу, падая, побежал прямо к нам, к Дубинину; за ним другой, и все к Дубинину полезли, на сапог подымались к нему, падали, и все вертели в радости маленькими хвостами.

— Видишь, что, — сказал Дубинин, — не чудо ли это? Не боятся, идут к человеку, только прозрев, к другу идут и не страшно им. А посмотреть-то на человека — страшен ведь он, на ногах ходит, голый без шерсти, личность, глаза, рот; ушей вроде как нет. И заметьте — они все ко мне, хозяин, значит. Ну-ка, кто им сказал? Вот оно что в жисти есть, какое правильное чудо, а?!. Отчего это? Это любовь и вера в человека, понять надо. А у людей по-другому: дитя на руках, а другой его поласкать хочет, «деточка, деточка» говорит, а он — нет, в слезы, боится. Вложено, значит, другое: «Не верь!» Не больно хорошо это, значит, знает душа-то, что много горя и слез смертных встретит он потом от друга-то своего, человека...

* * *

Надолго остались у меня в душе слова Дубинина. Потом я видел щенят своих собак, и все они, прозрев, тоже бежали ко мне.

Здесь, в Париже, у моего фокса Тоби родились щенята. Увидав меня, они, шатаясь, поползли ко мне, вертя приветливо от радости хвостиками. Мать, увидав это, в беспокойстве таскала их от меня за шиворот обратно в уголок, где родила их. Но фоксы не унимались, лезли ко мне. Спустя некоторое время мать просто утром принесла их всех по одному на постель ко мне — решила, чтобы вообще всем вместе быть и спать. Пришел и отец, Тоби...

* * *

Какие милые существа собаки. Маленькое сердце щенка, как горошина, полно любви к человеку и такта. Тоби-отец не обращает внимания на детей — их воспитывает мать, — но, видимо, он рад, что есть у него семейство. Когда щенята подросли, то мать кусала и дразнила их всех по очереди ужасно. Они в злобе бросались на мать. Видимо, она была довольна.

— Этак она из них собак делает, — объяснил мне приятель, — чтобы могли себя защитить в жизни...

* * *

— А вот, — рассказывал мне когда-то Дубинин, — у меня ручной барсук был, ну и затейник. До того ко мне привык, прямо не идет от меня, но погладить если его захочешь — кусается. Кусается не дай Бог как, зубы — беда. Что же вы думаете, какой это зверь? Человеку он ничего не верит и собаку мою, — сеттерок такой был у меня, — заметьте, испортил вот как. Значит, живет это он у меня и все себя чистит: такой чистюга, как кошка, ну вот прямо барин.

Сделал он себе нору под крыльцом, вот тут, — показал Дубинин на дверь, — и все туда тащит, и у собаки ворует, и все себе. Поглядел это я в его нору без него, чудеса прямо: в норе-то вроде комнаты, чисто, и полки из земли, и лежат там чередом, как в овощной лавке, орехи и баранки, мятный пряник и хлеб, и лекарство мое в капсульках. Я-то думаю — куда лекарство делось, а он своровал. И тащит он все крадучи, а показывает, будто ест.

Так вот, собака у меня была, сеттерок, он у барсука и перенял все тащить себе, тоже прячет под сарай, все носом зарывает на случай — не верит человеку, что прокормит его, не надеется. Вот он ей, собаке, какое в душу горе вложил. Сказал, значит, — не надейся на человека, он тебя с голоду уморит, погоди. И заметьте — собака Трезор другая стала, скушная. Вот этот какой сукин сын барсук был.

Я сам думать стал, тоже смотрю, хотел рубашку сшить, нет, думаю, погожу, ситец припрятал. Стучит прохожий в окно, Христа ради, значит, просит, — бывало, дашь краюху, а вспомнишь барсука — жалко станет. Говорю — Бог подаст.

— Барсукам без этого никак нельзя, это они на зиму запасаются, а то с голоду помрут, — заметил мой приятель Коля Хитров.

— Да, это правильно, — согласился рассеянно Дубинин. — Им никак нельзя, тварь такая. На Бога надейся, а сам не плошай. Как у людей. Я сам стал подумывать о себе, жизнь моя бедная, домишка плохой. Что я — одинокий, помрешь один, вот заболеть боюсь, кто собаку прокормит, кому она попадет — бить будут. Охотой как

прожить? По зиме-то худо, зайцев не всегда возьмешь. Один трактирщик и говорит мне:

— Вот, Андрей, барыня, генеральская дочь, велела тебе, чтоб тетеревов достал, настреляй, значит.

Ну, ходил я очень много, чуть не замерз — зимой-то трудно, — принес барыне тетеревов. Она меня встретила, нарядная такая, красивая, и говорит:

— Чего это вы принесли большие такие — мне маленьких птичек надо.

— Каких, — спрашиваю, — сударыня?

— Ну как — каких. Рябчики, кажется, называются.

Вот и поди, как быть? Да вот я слышал от господ охотников, что есть такой Тургенев. Любил он нашего брата, охотников простых, — читал мне Ермолай, был такой. Про нас книжку составил Тургенев-то.

— Я плакал, когда читали, хороша книжка, — сказал Дубинин и задумался.

И мы тоже тогда неизвестно почему задумались.

Наступили сумерки. Вдали сквозь серое небо светила красная полоска зари. Дианка оставила щенят, подошла к нам и ласково глядела. Дубинин крошил хлеб в черепок и налил молока.

— Есть хочет, кормить детей надо, — приговаривал он. — Тоже пяток их, засосут.

Мы погладили Дианку, она опять ушла в уголок к щенятам. Как все просто и как понятно и как нужно.

К окошку подошла женщина и постучала в стекло. Дубинин открыл половинку окна и протянул руку с краюхой хлеба. «Благодарю, — сказала женщина, — я спросить хотела, где здесь Дубинин живет?»

— Я самый, — ответил Дубинин.

— Вот-вот, — обрадовалась женщина, — живу-то я одна-одинешенька у водохранилища. Сказывали мне, что сука у вас ощенилась, мне бы одного дали, все поваднее жить, вроде как дитя будет. А то одна, все померли, сына вода отняла по весне.

— Ладно, матушка, — сказал Дубинин, — приходите через недельку, а то малы больно.

Женщина развернула платок, вынула просфору, подала Дубинину и ушла.

— Эти-то, Дианки-то, щенки ей не годятся, — сказал Дубинин после ее ухода, — что же им со старухой жить; они охотники. Я ей найду, есть этакие-то, которые ее сторожить будут, прелюбезные.

И Дубинин тихо рассмеялся.

Савва Иванович Мамонтов

<I>

Москва. Новый Газетный переулок. Театр в доме Лианозова, тот, который потом назывался Художественный театр. По окончании мною Школы, на двадцать первом году, С.И. Мамонтов предложил мне работать в театре, писать декорации, делать рисунки костюмов для опер, которые ставились у него в театре, называвшемся Московская частная опера. Мамонтов взял меня с собой в театр, и в первый раз я был за кулисами.

Шла опера «Фауст». Я никогда ранее не видал артистов вблизи, а тут, за кулисами, где поставил меня Мамонтов, прямо передо мною на сцене, одетый в голубой плащ, в шляпе с пером, стоял красавец Антонио Анраде¹. Надо мной рабочие держат фонарь с лунным голубым светом и, залитый им, красавец итальянец, приложив руки к сердцу, как бы замирая, поет в кулису:

Salve d'amore casa pura...²

А рядом со мной, в белом платье, в светлом парике с длинными косами, стоит Маргарита, певица Дюран. Служанка около нее держит в руках стакан с водой. Раздаются аплодисменты, кричат «бис». У меня бьется сердце. Как восхитительно! Занавес падает. Аплодисменты. Артисты, держа за руки друг друга, выходят к рампе с деланной радостной улыбкой. И все это около меня, совсем рядом, так что пудра от них летит на меня, и я чувствую запах духов...

На сцене декорации летят кверху и опускаются другие. Театральные рабочие бегают второпях. Мамонтов стоит на сцене, окруженный артистами, и небольшого роста человек, в накрахмаленной рубашке, обняв за талию артистку, смеясь, что-то рассказывает. Это дирижер Бевиньяни.

— Вот Жуйкин, машинист, переговорите с ним, — сказал мне Савва Иванович, проходя мимо.

Жуйкин пригласил меня к себе в комнату, за сценой. Это был худой человек болезненного вида. Нехотя, мрачно он сказал мне:

— Ажур на сетке помене пушайте, а то беда — негде резать.

Его слова были для меня какой-то кабалистикой.

— Со второго места не лезьте, — продолжал он. — А то проходу нет, боле двух нельзя делать подвесную.

«Куда не лезьте, вот чертовщина», — подумал я.

Я ответил:

— Хорошо. Я не буду.

Возвращались из театра с Мамонтовым. Дорогой он сказал мне:

— Напишите декорации «Аиды», сделайте рисунки костюмов, переговорите с Поленовым, он был в Египте. Только вы сделайте свое, как хотите. Надо написать скорее, в месяц можете?

— Могу.

— Вот и отлично. Только у солисток свои костюмы. Это такая мишура, рутина. Вы сделайте по-другому.

В доме Мамонтова, в большой мастерской, карлик Фотинька, слуга Мамонтова, подавал на стол холодную курицу, фрукты, вино.

¹ Правильно: д'Анраде.

² «Привет тебе, приют священный...» (ит.).

— Эти зеленые деревья с коричневыми стволами невозможны, — говорил Савва Иванович. — Художников нет. Непонятно. Опера — это все, это полное торжество искусства, возвышение, а глазу зрителя дается какая-то безвкусица. И все мимо, ничто не отвечает настроению, какие-то крашенные кубари. Мне Васнецов говорил о русских операх — он сделал дивные эскизы «Снегурочки». Только посад Берендея не вышел. Он сказал мне, чтоб сделали вы. Потом надо «Лакмэ» Делиба. Приедет Ван-Зандт.

Я почему-то засмеялся.

— Что вы?

— Я никогда не писал декораций.

Савва Иванович тоже засмеялся:

— Вы напишете, я вижу. Вот вам мастерская. Если хотите, работайте здесь эскизы, а вот большой диван Федора Васильевича Чижова.

Он взял со стола канделябр и осветил картину Репина, на ней был изображен лежащий седой человек.

— Он был замечательный человек. Знаете, что он сказал мне, — я был такой же мальчик, как вы: «Артисты, художники, поэты есть достояние народа, и страна будет сильна, если народ будет проникнут пониманием их».

«Особенный человек Савва Иванович», — подумал я, когда он ушел и я остался один в его мастерской.

* * *

Мамонтов любил певцов, артистов, оперу, художников. Он любил героев, самую суть драматизма, ценил фразу, брошенную певцом с темпераментом. По лицу его было видно, как он восторгался, слушая певца. Для него пение было высшее восхищение. Любил итальянских певцов. Странно: он редко бывал в Большом императорском театре.

— Скучно, — говорил он. — Что-то казенное, условное.

* * *

Открытие Частной оперы Мамонтова было встречено Москвой и прессой холодно и враждебно. Мамонтов — председатель Московско-Ярославской железной дороги, построенной его отцом, делец, богатый человек, занимал большое положение, и вот — итальянская опера... Москвичи думали — цель коммерческая. Нет, убыток, а держит. Не понимали.

— Опеку бы на него, — говорили некоторые из солидных москвичей.

* * *

Через несколько дней, сделав эскизы к опере «Аида», я приехал в большую деревянную декорационную мастерскую, которая помещалась за Крестовской заставой. Раньше это была какая-то брошенная фабрика.

На полу лежали большие загрунтованные холсты, горели подвесные лампы с абажурами. В больших газах были разведены яркие краски, синие, зеленые, розовые, желтые. Красивы были краски. «Вот, — подумал, глядя на них, — я и буду писать ими, цельными».

В мастерской были маляры. Размерив холст на квадраты, я нарисовал углем, в общем, контуры, формы колонн и фрески.

— Крась это синей краской, — сказал я маляру. — А это желтой.

Приятно было большой кистью писать по белому холсту. Краски сохли и меняли цвет.

— Надо составить еще цвета, — сказал я, — вот для этих фигур.

Долго составляли маляры цвета, переливая в горшок из горшка, мешая краски, подбирая по эскизу.

— Вот это для фундуклеев, — сказал один бойкий маляр, Василий Белов.

— Каких фундуклеев? — спросил я.

— Вон для энтих самых, которых нарисовали.

— Почему же фундуклеи?

— А кто же они? Видно, что народ такой.

В мастерскую пришел Поленов.

— Как я люблю писать декорации! — сказал он. — Это настоящая живопись. Превосходно. Сильные краски.

— А как «фундуклеи» вам нравятся, Василий Дмитриевич? — спросил я.

— Как? Фундуклеи? Что такое? — удивился Поленов.

— Вот я пишу фундуклеев, а вы в Египте были и не знаете. А вот он знает, — указал я на Василия Белова.

— Что такое? — рассмеялся Поленов. — Сейчас приедет Савва.

Поленов взял синюю краску и сказал:

— Я немножко вот тут колонну... лотос сделаю...

Мамонтов приехал с Дюран, остановился, смотря на декорации. Его веселые, красивые золотые глаза весело смотрели на меня.

— Это что же вы делаете? — сказал он мне. — Чересчур ярко.

— Нет, так надо, — сказал Поленов, — я сам сначала испугался.

— Костюмы ваши не нравятся Амнерис и вот ей, — сказал Савва Иванович. — У них свои, со шлейфами.

— Шлейфов тогда не было, — сказал Поленов Дюран, — это невозможно.

— Может быть, — ответила итальянка. — Но так как у Амнерис шлейф, то я тоже хотела бы шлейф.

— Аида — эфиопка, какой же у нее шлейф? Шлейф невозможно, — говорю я.

— Я вас очень прошу, — по-итальянски просила Дюран, — хотя бы небольшой...

— Ну, едемте обедать в «Мавританию», здесь недалеко.

Савва Иванович отлично говорил по-итальянски и на других языках. Он часто бывал в Италии и, видимо, любил эту прекрасную страну и ее упоительное искусство. В Милане проводил время с артистами, слушал молодых певцов. Один из них был выдающийся тенор Пецорни¹. Много было споров с Мамонтовым об искусстве, когда собирались у него кружком, где П.С. Спиро, Виктор Васнецов, Поленов, Н.С. Кротков обсуждали постановки опер Римского-Корсакова.

¹ Правильно: Пиццорни.

В.М. Васнецов пригласил меня поехать к Островскому, он хотел узнать об его поэме «Снегурочка» и как он думает об опере, как видит ее оформление.

Мы застали Островского, он принял нас в комнате в стеганом полухалате. Он встал из-за стола, на котором были разложены карты и начерчен мелом на сукне план павильона на сцене, входы и выходы. Карты были — короли, валеты, дамы. На них наклеены ярлыки действующих лиц, фамилии артистов: на валете червей я прочел: «Правдин», а на пиковой даме — «Ермолова».

Островский, видя, что я молодой человек с большой шевелюрой, засмотрелся, спросил меня:

— Вам интересно?

— Да, — ответил я робко.

— А вот видите, часы, — сказал Островский. — Стрелка больших часов двигала минуты. — А вот моя рукопись «Не в свои сани не садись». А вот это артисты, — показал он на карты. — Они у меня войдут на сцену здесь, а я за них говорю по часам. В меру надо действие сделать, страсти человеческие надо в меру показать. А то я распишусь, — сказал он, улыбнувшись, — публика-то в три часа и уедет из театра ночью, скажет: «Островский-то замучил». Мера должна быть в искусстве театра. Вот они, карты, меня учат... Простите, Виктор Михайлович, — объяснял молодому человеку технику дела.

Виктор Михайлович взял его за руку и сказал, волнуясь:

— «Снегурочка»... спасибо вам... Это так замечательно, это так высоко, я не могу даже выразить...

У Васнецова были слезы на глазах.

Лицо у Островского было серьезно, он как-то запахнул халат и растерялся, как бы что-то скрывая.

— Да ведь это я так написал, эту сказку... Вряд ли понравится сказка. В первый раз слышу. Очень рад, что нравится вам. Оперы не знаю, делайте, как хотите. Я видел эскизы ваши, Савва Иванович привозил, очень хорошо.

Я увидел, что Островский не хочет говорить, не верит, что его «Снегурочка» — самое святое место его души — замечательная поэма и что кто-то смеет это понимать. Посмотрев нам в глаза, он спросил:

— Но почему это вам так нравится — «Снегурочка»-то? Писал я ее шутя, это несерьезно, да и никто и не поймет ее — лирика, мечты старости, так, пустяки...

Возвращаясь со мной на извозчике, В.М. Васнецов говорил:

— Правду, правду сказал он — никто не поймет. Тяжело, печально, вот оно что, люди живут-то другим. Это искусство не нужно. А эта поэма «Снегурочка» — лучшее, что есть. Молитва русская и мудрость, мудрость пророка...

И видел я, что Виктор Михайлович был взволнован.

Я был мальчишкой, но я понял что-то горькое и печальное... Что-то такое, что жило в жизни, так, около, — непонимание.

«Снегурочка» была поставлена, была отличная певица Салина — Снегурочка. Берендей был Лодий, Бермята — Бедлевич, Лель — Любарович¹, Мизгирь — Малинин. Часто шла «Снегурочка» в Частной опере, но успеха не имела, не делала сборов. Потом, через сезон, вдруг стала делать полные сборы в том же составе артистов.

¹ Правильно: Любатович.

— Эх, Костенька, — сказал мне как-то С.И. — Пение может быть в опере при самой условной форме игры, но это только для богов. Мазини понимает эту меру. Он не мешает игрой своему чуду-голосу. У него изумительная мера.

Но вскоре явился русский певец, который заставил всех удивиться. Один из первых — Савва Иванович Мамонтов обратил на него свое внимание.

II

Я приехал по делу к Савве Ивановичу и, не застав его, стал дожидаться. Вскоре он вернулся с высокой и полной дамой. Она была расстроена и заплакана. Савва Иванович, проходя мимо меня, сказал:

— Подождите, Костенька.

Дама была его родственницей — Башмакова, — муж ее был фабрикант, человек солидный.

Стояло лето, жара, в окно была видна Садовая улица. Спасские казармы, выкрашенные в желтый цвет, ровные окна. Лениво едет извозчик. Тоска.

— Савва Иванович вас зовет, — сказал карлик Фотинька.

— Какие странные вещи бывают, — сказал мне Савва Иванович. — Вы не поврите. Вы знаете Башмакова, Василия Григорьевича. Серьезный человек, без улыбки, как утюг, делец, человек умный и гордый, самолюбивый. В городские головы не шел, как ни просили. А я сейчас был в Жуковке, под Москвой, там у него дом-дворец. Семья, порядок, жену ведь вы видели — она сейчас была тут. Представьте, он заперся в бане, взял с собой вино и пьет. Один гуляет. Поет. Пляшет. Поет все вроде как из опер. Меня бранит ужасно. «Савва! Вот тебе опера, — кричит, — на, возьми!»

— Да неужели, не похоже на него. Что ж это такое? Что это значит?

— Он всегда в деле озабоченный. Не выдерживает — запыет. Но опера тут причем? Странно. Артистов он терпеть не может, а поет — скверно поет, издевается, принимает позы артистов. Вообще непонятно.

— Вероятно, болен.

— Нет, здоров. Там доктора. Сам Захарьин. У него запой. Поедемте в Абрамцево, Илья Ефимович приехал, Васнецов там, Серов.

— Я только возьму с собой краски...

В это время вошел бухгалтер, с ним трое артельщиков. Они внесли небольшой тюк, тщательно завернутый. Наклонившись, передавая бумаги, бухгалтер что-то тихо говорил Савве Ивановичу.

— В Абрамцево поедем в четыре часа, — сказал Мамонтов, когда артельщик и бухгалтер ушли. — У меня есть к вам просьба. Вот вам сейчас подадут лошадь. Будьте добры, отвезите тюк в правление, вы знаете — на Ярославскую дорогу, — и передайте его Анатолию Ивановичу. Это ценные бумаги. А оттуда проедете к себе, захватите краски, холст. А я должен съездить в банк. Возвращайтесь назад сюда, мы поедем.

Тюк был довольно тяжелый. Мне его поставили в пролетку. Мамонтов смотрел.

— Здесь важные бумаги, — повторил он мне тихо, провожая меня.

* * *

Подъехав к правлению, я увидел, что Анатолий Иванович, брат Саввы Ивановича, уже дожидался меня с какими-то людьми. Тюк у меня взяли. Вернувшись с холстом и красками, я увидел Мамонтова в столовой. Он предложил мне наскоро закутить.

— Ну, а теперь мы можем ехать, — сказал он весело. — Спасибо, Костенька. А вы знаете, что вы отвезли?

— Нет.

— Деньги. Десять миллионов.

Глаза Саввы Ивановича смеялись, и я засмеялся, глядя на него.

— Что же вы мне не сказали?

— Вы бы не повезли, испугались. Я бы и сам не повез.

— Чьи же это деньги?

— Государства, казны. Взнос по постройке Архангельской дороги.

— Отчего же артельщики не отвезли?

— Мало ли что могло быть, а вас никто не знает. В голову не придет.

* * *

Когда мы приехали на Ярославский вокзал, я заметил, как любили Савву Ивановича простые служащие, носильщики, кондуктора, начальник станции. Он имел особое обаяние. Никогда не показывал себя надменным хозяином, не придирался, не взыскивал, со всеми был прост. По многу лет люди служили в его учреждениях. Он не сказал мне никогда ни про кого плохо. Если были трения, он отвечал иронией.

* * *

Наш поезд отошел от станции Москва.

— Видите шоссе, — сказал Мамонтов, показывая в окно вагона. — Оно — на Троицу-Сергия. Это место памятно мне. Давно, когда еще был мальчишкой, я пришел сюда с отцом. Тут мы с ним сидели у шоссе и считали идущих к Троице-Сергию богомольцев и подводки, едущие с товарами. Каждый день отец заставлял меня приходить сюда по утрам, считать, сколько пройдет и проедет по дороге. Отец хотел узнать, стоит ли строить железную дорогу. Тогда в Пушкине, я помню, не было никаких дач. Глухие леса, иногда по дороге проезжал дормез с господами. Ведь это мой отец виноват, это он разорил неволью вашего деда Михаила Емельяновича. Вам принадлежала дорога до Ярославля и право по тракту «гонять ямщину», как прежде говорили. Я хорошо помню вашего деда. Он был другом Чижова. Особенный был человек. Любил музыку, когда играли — плакал. Признавал только Баха. Он похоронен в Покровском монастыре.

— Да, — говорю я. — И отец мой там же...

* * *

В Абрамцеве, вечером, в большом деревянном доме Аксакова Васнецов и много гостей. Репин говорит:

— Мы пьем чай китайский, а у нас здесь есть свои растения чудные: черника, анис, липа, малина, земляника — прекрасные травы. Малиновый лист ведь это превосходный напиток, ежевика... Я не пью чаю... Чай — внушение. А какие сильные

существа — лошадь, корова, но едят одну траву, мяса не едят. Я не ем мяса. Лев Николаевич прав: он думает, что потому, что люди едят мясо, они так взволнованы, может быть, потому и войны ведут. Да и, пожалуй, может ли быть справедлив человек, который ест мясо? Ведь это ужасно — убивать чудных животных, птиц. Есть, говорят, племена, которые никогда не ели мяса и живут будто бы до пятисот лет.

— А вот волки, Илья Ефимович, — сказал сын Мамонтова, Сергей, — едят овец.

— Оттого они так и злы, — ответил Репин. — А вот слоны едят только фрукты. И как слоны прекрасны, могущественны и добры.

— А ты это все серьезно? Убеден? — спросил Савва Иванович Репина.

— Совершенно. В сущности, надо пить только воду. Я думаю, что жить в доме очень вредно. Надо жить на воздухе. Я зимой сплю с открытыми окнами, тепло одетый, и только.

— Ты из Петербурга ехал ведь по железной дороге? — спросил Мамонтов.

— Да. А что?

— А тебе надо бы, по убеждениям, пешком пойти.

— Ты совершенно прав! Я из Петербурга и ходил в Москву пешком раз. Какая чудная прогулка. Поэзия. Какие любопытные люди встречались мне, какой пейзаж, смены природы...

— А как же в дождь, Илья Ефимович? — заговорили вдруг дамы. — И потом ведь идти так долго.

— Конечно, надо зонтик взять. А что долго, так ведь время — все это условно.

— Одеваться, значит, не нужно, — сказал Серов, — а ходить можно просто так, по-райски. Только у нас холодно.

— Ну, такой пустяка ви говорит, так нельзя, — сказал старик высокого роста, француз-гувернер Таньон. — Все моя юноша, который я воспитал, не была б жива. Я не желает кушать трава, потому что я не корова. Вот в река здесь есть раковин прекрасный huitres¹ — никто не понимай кушать, и все на меня смеются. А Париж кушают эскарго, такой хорошая раковин...

— А все же Илья Ефимович прав, — задумчиво сказал Васнецов.

* * *

Савва Иванович увлеклся керамикой. В Абрамцах была мастерская, где он лепил вазы, украшая их скульптурой, разнообразнейшей фантастикой. Он и Серов как-то при мне лепили из глины какого-то горбатенького человека, и оба смеялись.

— Нет, — говорил Серов, — шишига, он ни веселый, ни грустный. Он так себе — ходит, глядит, что-то знает, и так живет в стороне как-то.

— Постой, Антон, ему уши нужно вот так...

И Мамонтов глиной вылепил на странной лысой голове уши летучей мыши.

— Ниже, ниже, — говорил Серов. — Вот теперь что-то есть... Постойте — бородку козлиную.

— Это управляющий... ну, как его, — говорил между тем Серов.

— Шмит, — помог ему Мамонтов.

— Да, Шмит. В Шмите шишига есть.

— А верно, он шишига, верно...

¹ Устрицы (фр.).

И оба, лепя шишигу, смеялись.

Вошел Репин, посмотрев, сказал:

— А интересно. Но что это такое?

— Шишига, — ответил Мамонтов.

— Что? Шишига? — удивился Репин.

— Знаешь, он такой, — продолжал Мамонтов, — небольшого роста, в шерсти, живет так у дома, в деревне у сарая, такой домовый, все знает, помалкивает, немного портит жизнь, мешает, прольет крынку молока, вывалит из саней, — ну, словом, — шишига.

— Неужели? — сказал Репин серьезно. — Я этого никогда не слышал. Но кажется, это вздор.

— А ты спроси у Льва Николаевича, — сказал Савва Иванович. — Он, наверно, видал шишигу.

— Какой вздор...

— Вздор. А ведь это наши русские дары, хранители быта и дома, поэзия русская.

— Нет, я в это не верю, никогда шишигу не видал, я думаю, и ты, Антон, тоже.

— Я сам на шишигу смахиваю, — ответил Серов.

И улыбнулся приятно.

III

Однажды утром к Савве Ивановичу Мамонтову из конторы московских Императорских театров приехал чиновник Торожев.

— Вас просит приехать неотложно в Петербург директор Императорского театра, — сказал мне Погожев. — Вот телеграмма. Если угодно, я пришлю курьера. Он возьмет билет и проводит вас на вокзал.

— А вы не знаете, какое дело? — спросил я, озадаченный.

— Не знаю.

— Сегодня же поезжайте, — посоветовал мне Савва Иванович, бывший в мастерской.

Чиновник ушел.

— Ну, прощайте, Костенька, — сказал мне Савва Иванович, — там вам не с кем будет ссориться, там не с кем будет спорить.

«Эх-ма!» — добавил он как-то горько и расстроено.

— Я не поеду, Савва Иванович, — догнал я его и схватил за руку.

— Нет, нельзя, надо ехать. Вы не понимаете: не поедете — виноват останусь я. Но странно как-то переманивать мастера, некрасиво как-то. Не того. Вы там долго не останетесь: вам не сладить. Поезжайте и постарайтесь сделать хорошо. Хотя хорошо-то, может быть, там и не понравится.

Таинственно улыбнувшись, Савва Иванович ушел.

* * *

В Петербурге я остановился на Большой Морской, в номерах Мухина, и тотчас отправился к директору Императорских театров.

В подъезде на Театральной улице швейцар в красной ливрее, шитой черными орлами, в медалях, проводил меня во второй этаж, передав для доклада чиновнику особых поручений.

В большом кабинете, в котором потом, много позже, в течение 23-х лет было много пережито вместе в области искусства, балета и оперы с В.А. Теляковским, — я увидел директора Императорских театров Всеволожского.

Это был очень деликатный и, видимо, очень запуганный человек.

— Я видел ваши работы в театре Мамонтова в Москве, — сказал он. — Нам нужно быстро сделать декорации к опере «Виндзорские кумушки». Вы, говорят, скоро работаете, а наши не могут. Вы могли бы сделать в неделю?

— Да. Только для этого сейчас же надобны готовый холст, сшитый, краски и двое хороших театральных рабочих, а также свет: придется писать ночью...

— Отлично, — сказал Всеволожский и позвонил.

— Померщикова, — приказал он курьеру.

— Вы только с нашими поменьше говорите, — сказал Всеволожский, когда курьер ушел.

«С какими нашими?» — подумал я.

Явился высокого роста чиновник.

— Есть сшитый холст? — спросил его директор.

— Сейчас узнаю. Но мастерских свободных нет, заняты, — ответил чиновник, посмотрев вбок на меня.

— У вас нет, а у меня есть, — сказал директор раздраженно. — Константин Алексеевич будет работать в Таврическом дворце, в большом зале. Я скажу графу. Узнайте сейчас же о холсте....

Всеволожский опять позвонил. Пришел другой чиновник, полный, серьезный. Тоже не знал ничего насчет холста, а о театральных рабочих сказал, что отпущены на праздники.

— Да, вот, действительно, время — праздники, — сказал, задумавшись, директор. — Как быть?

— Знаете, нельзя ли без этих затруднений, — предложил я по привычке говорить с С.И. Мамонтовым просто, — прикажите прислать сегодня же холст мне во дворец, а я найду маляров в другом театре.

Всеволожский дал мне пропуски в Таврический дворец и для входа на сцену в Мариинский театр.

* * *

Утром, приехав в Таврический дворец, я увидел посреди огромного зала, на полу, в куче — холсты, краски, кисти... Тут же ходили какие-то люди. Я их спросил, что они здесь делают. Они мне как-то нехотя ответили, что они — сторожа.

— Вы не можете ли мне помочь немножко?

— Отчего же, можно, — ответил один из них.

— Не можете ли съездить купить в гончарной лавке простые большие горшки и столярного клею, пуд?

Я записал им на бумажке, что нужно. Дал записку и деньги. А сам поехал в частные театры искать мастеров.

Вернувшись снова в Таврический дворец, я попросил тех же людей помочь мне натянуть холст. Они, улыбаясь, помогали. Я разводил краски, а эти неизвестные, слоняющиеся люди смотрели и говорили, смеясь:

— Это дело нам незнакомо.

Рабочих, нанятых мною, эти люди почему-то не пустили, сказав мне, что нет на то пропусков. «В чем дело?» — подумал я. И хотя уже было поздно, поехал в Мариинский театр объяснить директору мои затруднения.

Директор выслушал меня и сказал, что завтра обо всем сам распорядится.

* * *

С утра я уже писал декорацию красками. В мастерскую вошел какой-то господин, отлично одетый. За ним шел ливрейный слуга в цилиндре и в пальто со светлыми пуговицами. Этот господин осмотрел декорации и, обратясь ко мне, вежливо сказал:

— Вы из Москвы?

— Да.

— Если вам нужен материал, то я вам сейчас же его пришлю. У меня есть издания и гравюры английской готики.

— Очень вам благодарен. А вы, должно быть, при здешнем театре?

— Отчасти при театре, — ответил незнакомец.

— Вот как! Очень рад, — сказал я. — Может, вы можете посодействовать, чтобы мне дали двух хороших театральных маляров — развести клей и краски. Эти люди, которых здесь так много болтается, ровно ничего не умеют делать...

Тогда незнакомый господин отвел меня в сторону и тихо сказал:

— Эти люди — охрана. Вы видите за окнами, в саду, каток, горы...

— Да. Там все кто-то катается, на санках возят друг друга какие-то военные, дети...

— Да. Но тот высокий — Государь. А с муфтой, вот стоит — это Государыня Мария Федоровна, а вот и Наследник.

— Да что вы? — удивился я. — А я все смотрю, ходят там, катаются. Теперь я понимаю, отчего не пустили сюда моих рабочих...

— Я вам советую, не приводите сюда никого, — сказал мне незнакомец строго.

— Скажите пожалуйста, а это ничего, что я охрану посылал за папиросами, сардинками, хлебом?

— Ничего, — сказал весело незнакомец.

* * *

Я писал декорации и ночью. Не спал уже пятые сутки, устал отчаянно и едва ходил по холсту.

Опять пришел тот незнакомый господин. Я ему говорю:

— Устал, как бы допинг принять, чтобы не спать?

— А, погодите, — ответил он, смеясь, и что-то сказал сопровождавшему его ливрейному слуге. — А где же та декорация, то прекрасное окно? — спросил он меня.

— Ее взяли в театр.

— Вы никому не скажете, честное слово?

— Нет, а что?

— Главное, нашим никому... Без вас смотрел декорацию Государь. Он сказал: «Окно как живое, прямо стекло, но отчего внизу дверь не вырезана?»

— Дверь раньше была, она отправлена в театр, — сказал я.

— Да, вот что. А то и мы все думали: отчего двери нет.

Ливрейный слуга принес шампанское.

— Шампанское дает дух. Желаю успеха, — сказал незнакомец, чокаясь со мною. Он вскоре ушел, а я прилег на остатках холста, которые лежали в куче, и заснул как убитый.

* * *

Я проснулся глубокой ночью. Темень. Старинные огромные люстры надо мною блистают хрусталем, отражая зимний свет больших окон. Жуть в огромном зале Потемкинского дворца. Я уже хотел встать, как далеко, в конце зала, чей-то голос зашел:

И он, не говоря ни слова,
Спокойно вышел из дворца.

— Его нет, уехал, — сказал чей-то знакомый голос вдали.

— Да кто вы? — крикнул я.

— А, вот он где. Мы за вами. Насилу нашли.

Теперь я узнал голос Саввы Ивановича.

— Едем с нами...

Я был так рад увидеть Савву Ивановича. С ним был певец Чернов.

— Что же вы здесь ночью делаете впотьмах? — удивился Мамонтов.

— Дописывал декорации, устал ужасно и заснул на холстах.

— А я уже два дня как приехал, искали вас. Сейчас два часа. Едем к Дону. Этот дворец Потемкина — какая красота...

Когда мы садились в сани у подъезда дворца, была тихая зимняя ночь. Одиноким фонарь освещал снег, большие деревья старинного сада темнели кущами. Духом Петербурга дышало огромное здание Таврического дворца.

<IV>

В ресторане Донона, у вешалки, Чернов, увидев меня, рассмеялся: я был весь в красках. Мы прошли в кабинет. Мамонтов сказал, что искал меня, спрашивал в номерах Мухина, там говорят — ушел и не приходил. Были и в Таврическом дворце, но нас туда не пустили. «Это уж вот Чернов добился».

Я рассказал про охрану дворца и как туда никого не пускают.

— Ага, так вот почему об вас меня спрашивали в Москве. Полицмейстер Огарев о вас дал отзыв: «Прекрасный молодой человек, но повеса».

— Но почему повеса? — удивился я.

— И я его спросил, — сказал Савва Иванович. — Он ответил: «А так-то вернее...»

— Какой-то придворный приходил ко мне в мастерскую, — рассказал я. — Очень любезный человек. Мы с ним шампанское пили...

— А кто же этот придворный?

— Воронцов-Дашков.

— Послушайте, да ведь это же министр двора.

— А я и не знал, просил его маляров мне поискать...

— Эх, вы, другой бы на вашем месте...

— Не браните меня, Савва Иванович, тут все не по-нашему, не по-московски. Тут чудеса, если не чепуха: много разных начальников, сцен, костюмерных, монтиро-

вочных, декораторов, помощников освещения, главных помощников; потом на афишах пишут — «обувь Пироне», в чем дело, почему Пироне? Потом еще «бутафор-гробовщик», еще «наши-ваши»...

— Какой гробовщик? — удивился и Савва Иванович. — Какие «наши-ваши»?

— Есть какие-то «наши», а кто это, я сам не знаю...

— Но вы меня послушайте, — оживился вдруг Савва Иванович, — вчера я в Панаевском театре слушал молодого артиста: фигура, руки, голова, все — красота; а голос — превосходный; тембр — ну что и говорить. И откуда? — говорят, с Волги. Сапожник был, певчий. Шаляпин. Ритм — удивление. Россия! Вот это будет певец. Русская опера воссияет. Вот кто будет Борис, Опричник, Грозный, Руслан, Фарлаф. А живет этот Шаляпин на Песках; искал его недели две, на квартире нет и неизвестно где.

И это было первое, что я услышал в моей жизни о Федоре Ивановиче Шаляпине.

* * *

На генеральной репетиции в Мариинском театре я говорю осветителю:

— Первый софит потушите.

— Не могу-с, — отвечает он. — Спросите Померщикова, они заведуют.

— Но ведь я отдал вам записку об освещении.

— Не могу-с, они заведуют.

В поисках на сцене Померщикова я видел много молодых людей в вицмундирах, которые смотрели на проходящих артистов. Все молодые люди были озабоченные и утомленные. К ним подходили артисты и что-то просили, но они как-то не слушали. Чувствовалось, что это главные люди на сцене, которые заводят эту машину и управляют ею.

«Не это ли и есть “наши”?» — подумал я.

Уже поднялся занавес, когда пришел Померщиков.

— Первый софит потушить надо, — сказал я ему. — А то окно пропадает.

— Ну уж простите, — ответил Померщиков. — Освещение — это я. В этом не уступлю, хоть что. Хорошо ведь и так, чего вы еще хотите?

«Ах, горе», — подумал я и расстроился ужасно. Никогда бы не мог Савва Иванович сказать мне, как этот петербургский чиновник, «освещение — это я». Нет. Я здесь не останусь.

* * *

Моим соседом по креслу оказался один московский знакомый, Ларош.

— После репетиции едемте в «Малый Ярославец», — сказал нам обоим Померщиков.

Дорогой в «Малый Ярославец» я сказал тихо Ларошу:

— Невозможно тут трудно.

— Какой вы чудак, — сказал Ларош. — Вас, вероятно, Померщиков задел... Так он же должен показывать, что делает дело. Он сейчас едет на извозчике сзади с Чайковским. Ему тоже о музыке говорит. Что же делать?

— Разве это Чайковский, что с вами в партере сидел?

— Да. А что?

— А я думал — тоже какой-нибудь чиновник.

— Верно. Он похож на чиновника, — засмеялся Ларош. — Только у него глазок есть. Когда он о музыке говорит, у него в глазах поэт виден. Он понимает. Но должен уступить то же...

«Малый Ярославец»... Поднимаемся по лестнице во второй этаж. Небольшие комнаты, половые, напомнило Москву, трактир. За столом я все смотрел на Чайковского.

— Очень хорошо. Директору нравится, — выпив рюмку, сказал мне Померщиков.

— Сад бы ему дать написать, — заметил Чайковский, показав на меня.

— Ну, нет, — ответил Померщиков. — Это уже Бочаров. И не заикайтесь...

— Я ведь только прошу, — говорил Чайковский. — Чтоб видно было, что дом там, березка, ну как у нас всегда в деревне. А подальше так — липы. Поместье. А то деревья неизвестно какие написаны, не похоже на сад, на Россию. Зачем-то там всегда сзади горы большие. А у меня — просто Россия, не нужно мне гор.

— Ну уж это, простите, — возражает строго Померщиков. — Музыка — музыкой, а ландшафт — ландшафтом. Что же это будет: береза, липа. Крапиву еще захотите. Этого никак нельзя. Петербург здесь — столица, а не просто как-нибудь так, город. Какой же тут интерес смотреть деревню? Сад у меня на даче посмотрите, а не в театре. И так удивляться будут — варенье варят и поют. А чем бы хуже, если бы венки из цветов плели?..

Чайковский и я смотрели в тарелки.

И.А. Всеволожский был доволен исполнением мною декораций и сказал мне наедине:

— Вот что, сделайте эскизы к «Фаусту», только ничего не говорите нашим — они все против. Я пришлю за ними Кондратьева. Я вам могу предложить хороший оклад и аршинные. Вот я начал рисунки, посмотрите...

И он показал мне свои маленькие рисунки костюмов.

— Ну что? — спросил он.

Что я мог сказать, такие добрые глаза смотрели на меня сквозь очки.

— Краски бы поярче, — сказал я.

— Краски? — повторил Всеволожский с грустным лицом. — У меня краски акварельные, но, может быть, прибавить гуашь?

— Прибавьте.

— Направо, — показал он в окно, — касса Императорского двора, ход с Невского. Вот вам ассигновка за работу. И он дал мне длинную синюю бумажку.

— Получите деньги, вам-с пригодятся. Ну, до свидания. Не забудьте же о «Фаусте», только никому не говорите.

— Что же вы будете делать с этими деньгами? — спросил меня в тот же день Савва Иванович, смеясь.

— Построю маленький деревянный дом-мастерскую на Долгоруковской, в саду Червенко, и буду писать картины.

— Ну, на две тысячи нельзя построить дома. Какой вы, Коровин, чудак!..

Павильон Крайнего Севера

...В опере «Лакмэ», где пела Ван-Зандт, кто-то поставил на сцену голубой столик с красными ножками, очень яркий. Я увидел его на спектакле и в огорчении говорю Савве Ивановичу:

— Откуда взялся этот столик? Он не в тон. Его так видно. Он убивает Ван-Зандт.

— Это настоящий, индусский, — говорит Савва Иванович. — Прахов привез, просил поставить на сцену.

— Ужасно.

Я так огорчился, что почувствовал себя несчастным и уехал домой. Говорю своей собаке:

— Польшетрон, милый. Никто ничего не понимает, уедем, Польшетрон. Уедем далеко в Сибирь, забуду я театр, будем жить в лесу, охотиться, построим избушку.

При слове «охотиться» собака оживилась и смотрела на меня пристально, махая хвостом.

Я собрал краски, холсты и написал Савве Ивановичу письмо, что больше не могу, уезжаю в деревню. Он прислал за мною артиста Малинина. Я с ним приехал к Мамонтову.

В столовой, как сейчас помню, сидели Поленов, Васнецов, Серов, профес. Прахов. Столовая была большая, в романском стиле. Громадный каменный камин, по бокам висели щиты из кожи и красные древки, пики киргизов, а по стенам — отличные панно, картины В.М. Васнецова «Ковер-самолет» и «Витязи».

— Мы собрались судить вас, — сказал Савва Иванович, смеясь.

— Да, этот столик настоящий, — объявил профессор Прахов.

— Может быть, и настоящий, но не в тон.

— Константин прав, — сказал Серов, — вероятно, не в тон портит ему всю гамму.

— Это ужас, — говорю я, — хотя бы дали его перекрасить, но по форме он ерунда, мелко, понимаете, мелко... И в театре не должно быть ничего настоящего. Все, что принадлежит глазу зрителя, весь цвет, форма — есть создание художника.

— Верно, — сказал Васнецов и, видя, что я расстроен, обнял меня и кротко сказал:

— Такая доля наша, всегда будете страдать за правду, вы еще молоды, а будет всегда.

— Но все же, — заметил Савва Иванович, — мы вас приговорили в Сибирь, в ссылку. Вот что, в Нижнем будет Всероссийская выставка, мы решили предложить вас сделать проект павильона отдела «Крайний Север», и вы должны поехать на Мурман. Вот и Антон Серов хочет ехать с вами. Покуда Архангельская дорога еще строится, вы поедете от Вологды по Сухоне, Северной Двине, а там на пароходе «Ломоносов» по Ледовитому океану. Я уже говорил с Витте, и он сочувствует моей затее построить этот отдел на выставке.

— Мой сын поедет с вами, — сказал Прахов. — Он будет собирать разные сведения об улове рыбы, составлять статистику.

— Ну, Константин, — сказал Серов, — сдавайся, значит, мы в эскимосы с тобой поступаем.

— Интересно, и я бы поехал, — сказал Поленов, — полярное солнце, океан, северное сияние, олени, киты, белые медведи...

Все как-то задумались, смотря на большую карту, которую Савва Иванович развернул на столе.

— Вот тут, — В.М. Васнецов указал на карту, — какое искусство было прежде, удивление, иконы какие, диво-дивное. Теперь не очень-то поймут все величие искусства этого края...

* * *

В Нижнем Новгороде достраивалась большая выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон, построенный по моему проекту.

Кругом шла терраса и резная балюстрада, в которой выпилено было солнце и самоеды, идущие на оленях по снегу. В огромных бочках, за стеклами, лежали рыбы морского промысла. Павильон Крайнего Севера, названный Двадцатым отделом, был совершенно особенный и отличался от всех. Проходящие останавливались и долго смотрели. Подрядчик Бабушкин, который его строил, говорил:

— Эдакое дело, ведь это што, сколько дач я построил, у меня дело паркетное, а тут все топором... Велит красить, так, верите ли, краску целый день составляли и составили прямо дым; какая тут красота? А кантик по краям чуть шире я сделал. «Нельзя, — говорит, — переделывай». И найдет же этаких-то Савва Иванович, прямо знал бы... Так только, из уважения к Савве Ивановичу делаешь, смотреть чудно, канаты, бочки, сырье... Человека привез с собой, так рыбу прямо вот живую жрет. Ведь достать эдакова тоже где!..

— Ну что, — сказал он Савве Ивановичу, — сарай и сарай. Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках, потом бы в дачу переделали, поставили бы в Пушкине...

* * *

Большое здание Северного отдела. На днях выставка открывается. Стараюсь сделать в павильоне то впечатление, то чувство, которое я испытал там, на Севере. Вешаю необделанные меха белых медведей, ставлю грубые бочки с рыбой, кожи тюленей, шерстяные рубашки помор, морские канаты, якоря, яруса, снасти, крючки, челюсти кита, длинные шкуры чудовищ белух. Думаю, как бы передать этот особенный запах океана и скал. Из бочек вынимают мох, который я привез с собой, и кладут его под пол павильона. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, уже выпил, он тоже старается; меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой.

Самоед Василий кормит его живой плотвой и сам ее ест, кстати; плотву вынимает из ведра, показывает ее тюленю, кричит перед ним «Ур, ур, ур... а, а, а». Тюлень так чудно подражает и быстро проглатывает рыбу.

Большие панно моей работы висят на стенах павильона, окруженные белыми мехами.

— Можно посмотреть? — говорит вошедший в павильон худой и очень высокий молодой человек, в длинном сюртуке, блондин с светлыми ресницами серых глаз.

— Смотри, — отвечает самоед Василий...

Из квадратного чана с водой высунулся тюлень Васька, темными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул «ур-а» и, плеснув лапами, пропал в воде.

— Это же черт знает что такое! — сказал высокий молодой человек, как бы обращаясь к кому-то.

Василий съел живую плотицу. Молодой человек близко смотрел прямо ему в рот. В это время я выходил с художником Рубо завтракать.

Савва Иванович сидел с каким-то озабоченным человеком. Увидав меня, он встал и спросил:

— Вы куда?

— Идем в ресторан, — ответил я.

— Отлично. Идемте вместе. — И Савва Иванович, простясь с озабоченным человеком, пошел с нами. — В день открытия выставки в городском театре я даю «Жизнь за царя». Вчера приехал Шаляпин. Он был здесь. Он пошел посмотреть ваш отдел.

«Этот молодой человек, должно быть, и был Шаляпин», — подумал я.

За завтраком Савва Иванович был грустен, я его спросил, что с ним.

— Сейчас узнал, что жюри Академии художеств постановило снять дивные панно Врубеля как нехудожественные. Что это такое!.. Какое непонимание!..

* * *

Открытие выставки было торжественное. Служили молебен, был министр Витте, много петербургской знати.

Смотрели отдел Крайнего Севера. Витте расспрашивал меня про Екатерининскую гавань и удивлялся, отчего рыбу не привозят сюда к нам. Тюлень прокричал «ура», что всех развеселило.

— А умные глаза у этого тюленя, — сказал Витте Савве Ивановичу.

По уходе Витте в павильон набился народ. Васька-тюлень и Василий-самоед имели успех. Василий то и дело ел живую рыбу, и восхищенные зрители давали ему на чай. Как-то грустно было мне, когда тюлень Васька с чудными глазами потешал публику; весь его океан был в этом оцинкованном ящике с водою. А панно, написанное мною, висящее на стене павильона, изображало, как люди бьют на льду палками этих бедных Васек.

— Морской человек, — говорил самоед Савве Ивановичу про тюленя. — Они любят нас, с нами живут, мы их не бьем.

* * *

Вечером я обедал у Саввы Ивановича. Потом надо было ехать в театр, на открытие Оперы. Человек, подававший к столу, сказал нам, что в погребке спит Василий.

— Самоед, ему жарко, знать; вот и сейчас лежит выпивши там.

Мы пошли смотреть, открыли крышку погреба. На снегу лежал Василий, спал, а рядом с ним, распластавшись на льду, так же сладко спал тюлень Васька.

— Это они у себя дома, — смеясь, сказал Савва Иванович. — Наверное, видят сны и северное сияние, чум, очаг, тундру, океан. Как это все трогательно в жизни и как таинственно!..

Последние годы Мамонтова

Театр был переполнен. Он замер при первых звуках необычайного голоса Шаляпина. Все кругом померкло, — только он один, этот почти мальчик Сусанин. Публика плакала при фразах: «Взгляни в лицо мое, последняя заря».

Савва Иванович посмотрел на меня, сказал на ухо:

— Вот это артист...

За ужином, по окончании спектакля, у Саввы Ивановича были все артисты и гости. Рядом с дирижером Труффи сидел тот самый молодой высокий человек, который был в павильоне Крайнего Севера и смотрел на тюленя. Шаляпин был так оживлен, что я никогда раньше не видел такого веселого человека. Он рассказывал анекдоты, подражая еврею, грыз сахар, представляя обезьяну. Потом пел сопрано, подражая артисткам, представлял, как они ходят по сцене. Движения его были быстры и изящны. Он ушел, окруженный артистками, кататься на Волгу.

— Редко бывает такое музыкальный человека, — сказал дирижер, итальянец Труффи. — Немного в оркестр фагот отстал, он уже смотрит, сердится. Я его знает, это особая такая Федя.

— Надо ставить для него, — сказал Савва Иванович, — «Рогнеду», «Вражью силу», «Юдифь», «Псковитянку», «Опричника», «Русалку».

Уехав в Москву из Нижнего, Савва Иванович как-то заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице... Был озабоченный и грустный, что с ним бывало редко.

— Я как-то не пойму, — сказал он мне, — есть что-то новое и странное, не в моем понимании. Открыт новый край, целая страна, край огромного богатства. Строится дорога, кончается, туда нужно людей инициативы, нужно бросить капитал, золото, кредиты и поднять энергию живого сильного народа, а у нас все сидят на сундуках и не дают деньги. Мне навязали Невский механический завод, а заказы дают, торгуясь так, что нельзя исполнить. Мне один день стоит целого сезона оперы. Думают, что я богат. Я был богат, правда, но я все отдал и шел, думал, что деньги для жизни народа, а не жизнь для денег. Какая им цена, когда нет жизни. Какую рыбу можно поймать, когда нет сети, и не на что купить соли, чтобы ее засолить. Нет, я и Чижов думали по-другому. Если цель — разорить меня, — то это нетрудно. Я чувствую преднамерение, и я расстроен.

Помолчав, Савва Иванович сказал, переменяв тему:

— Тюлень ваш имел успех. В Нижнем был Государь. Когда он был на выставке, шел дождь, началась буря, град, стекла повыбило. В нашем Северном отделе тюлень выскочил и закричал «ура!». Государь был изумлен. Самоеду Василию приказал выдать часы и сто рублей и построить дома в селениях самоедов на Новой Земле.

— Но я должен вас огорчить, Костенька, тюлень так потолстел, так объелся рыбы, что умер от разрыва сердца. Что было с Василием! Он так рыдал. Мы с ним хоронили тюленя. Он его закопал у самой воды, в песке на Волге, и говорил какую-то свою молитву, смотря на воду. Я не мог видеть и тоже плакал.

В новом театре, построенном Солодовниковым, открылась Частная опера С.И. Мамонтова. «Фауст» шел в таком составе: Фауст — Мазини, Мефистофель — Шаляпин, Маргарита — Ван-Зандт, Валентин — Девойд. Пели Сильва, Броджи, Падилла и

другие знаменитости Италии. Поставлены были оперы: «Рогнеда», «Опричник», «Псковитянка», «Хованщина», «Аскольдова могила», «Орлеанская дева». Кажется, не было опер, которые не шли бы в театре С.И. Мамонтова. Шаляпин поражал художественным исполнением и голосом очарованную оперой Москву.

Как-то я писал портрет Мазини. Во время сеанса зашел Савва Иванович. Мазини встал и встретил его дружественно. Посмотрев на портрет, сказал:

— Ma bellissimo ritratto!¹

И вдруг спросил Савву Ивановича:

— А тебе я нравлюсь? Нравится, как я пою?

— Еще бы! — ответил Мамонтов.

— Да, но я не так пою, как мой учитель Рубини, которому я не достоин завязать ремень на его сапоге.

— Я слышал Рубини, — сказал Савва Иванович.

— Как, ты слышал Рубини? — схватив Мамонтова за руку, спросил Мазини. — Ты его слышал!?

— Да, слышал, в Риме.

— Он пел лучше меня?

— Пел изумительно, — ответил Савва Иванович, — но не лучше Анжелло Мазини. Мазини недоверчиво смотрел на Савву Ивановича...

* * *

Прошел год. Я жил вместе с Врубелем в мастерской на Долгоруковской улице в доме Червенко. Рядом была мастерская Серова. В час дня ко мне пришел В.А. Серов и, входя, сказал:

— Ужасно! Знаешь, Константин, сегодня утром Савва Иванович арестован.

— Как арестован? — удивились я и Врубель. — За что?

— Арестован, и так странно, — сказал Серов. — Он только что приехал из-за границы. Его вывели жандармы и увезли куда-то.

«В чем дело — думаем. — Политика? Но Савва Иванович даже не говорил никогда о политике. Растрата? Он жил скромно и даже был несколько скуп, не кутил, не играл. В чем дело?»

Никто не знал, ни сыновья его, ни брат, за что арестован Савва Иванович. Арестовал его прокурор Курлов.

Я просыпался ночью и все думал о Савве Ивановиче — что это значит? Пронеслась моя жизнь с ним, и никак я не мог найти причин его вины. Это должно быть дела неудачи, растраты — не может быть. Он держал оперу. Платил умеренно — не говорил о тратах. Жил как-то другим искусством.

На другой день утром ко мне приехал В.Д. Поленов и сказал, что был у Анатолия Ивановича (брата С.И.) и тот ему говорил, что он видел брата и что тот не мог ничего объяснить, не знает, в чем дело.

— Непонятно, — говорил В.Д. Поленов.

В это время я делал проект для парижской Всемирной выставки, кустарный отдел, и для утверждения его должен был ехать в Петербург к министру С.Ю. Витте. Витте был расстроен арестом Саввы Ивановича и первый мне сказал:

¹ Но портрет великолепный! (ит.).

— Я не знаю, в чем дело; его травили газеты, писали, что чижовский капитал растратил. Он молчал, не отвечал на газетные нападки. И знаете, что он, будучи неотвественным душеприказчиком Чижова, из миллиона двухсот тысяч создал семь миллионов, на часть которых построены им в Костроме лучшие технические училища.

— Он же честный человек, — говорю я Сергею Юльевичу.

— Я знаю, — сказал Витте.

И, прощаясь со мной, как-то в сторону, думая о чем-то, добавил:

— Сердца нет...

В.А. Серов поехал в Петербург к Государю. Государь сказал Серову:

— Жалко старика. Мне сказали, что он виноват. Суд скажет правду.

— Не думаю, что виноват, — сказал Серов.

— Я немедленно прикажу, пускай Савва Иванович живет дома до суда, — сказал Государь Серову.

У Мамонтова были отобраны деньги и имущество.

Он был освобожден судом, и помню, как в этот вечер мы шли с ним за Бутырскую заставу, в его керамическую мастерскую, где он ранее лепил вазы. Долго звонили у калитки. И в конце концов найдя собачью лазейку в заборе, пролезли во двор и разбудили дворника.

В мастерской было две комнаты. Я пошел в лавку к заставе, купил калачей, колбасы, баранки, селедку, послал с письмом на извозчике дворника за Врубелем, Серовым, поставил самовар.

Сидя за столом, мы смотрели друг на друга. Савва Иванович, смеясь, говорил мне:

— Ну, Константин Алексеевич, вы теперь богатый человек, а я вот разорен совершенно.

Он был все такой же, ничем не изменился.

Савва Иванович жил на своем керамическом заводе в маленьком деревянном домике. Он лепил вазы, и Врубель помогал ему. Они делали замечательной красоты обжоги.

Прошло три года. Государь вызвал к себе в Петербург Савву Ивановича.

— Савва Иванович, — сказал Государь, обняв его, — я хочу помочь вам вернуть ваше положение и средства.

— Нет, — ответил Мамонтов, — нет тех средств и положений, которые были бы равны словам, сказанным вами. Больше мне в жизни ничего не надо.

Когда Савва Иванович был болен — это было в 1917 году, — я навестил его.

— Ну что ж, Костенька, скоро умирать. Я помню, умирал мой отец, так последние слова его были «Иван с печки упал». Мы ведь русские.

Через неделю Савва Иванович скончался.

Сутробы. Так замело снегом дорогу, что не знаешь, и где она. На белых снегах темными гребнями стоят леса. Ночной снег сыплет на нас из мглы неба. Завтра праздник Рождества Христова.

Едем мы со станции ко мне, тихо везет нас возчик в розвальнях, разглядывая дорогу. Едет впервые со мной художник Листократов и архитектор Кузнецов, человек большого роста, прозванный за дородство догом. А художник роста небольшого, стриженный бобриком, с румянцем, глаза серые, и неизвестно отчего дрожат руки.

Дом у меня небольшой, деревянный, сени, кухня, комната в два окошка. Дальше еще комната, только холодная, не топится, заколочены досками двери и окна. В кухне живет сторож Петр, молодой парень из соседней деревни. Выселки в три двора. Дом стоит одиноко у леса. Есть сарай для лошади. Вот мы зимой и собрались поехать на праздник из Москвы.

* * *

Приехали. В комнате тепло, топится лежанка. На стол поставили закуски, пирог, гуся — все, что привезли с собой из Москвы.

До чего хорошо это уехать далеко из Москвы зимой в деревню. Как сказка: тишина, леса. Пахнет снегом. Совсем другой мир. Горит лампа, а окна замерзшие блестят в узорах мороза. А за ними темная синяя ночь. Приятели, самовар, разговоры про-
стые...

— Беловскую колбасу с чесноком надо в бумагу завернуть и в печку, — говорит архитектор Вася, — гуся тоже.

— Это верно, — соглашаюсь я.

— А знаете что, — говорит архитектор Вася, — пора и окорок запекать, я сейчас на кухню иду... Разговляться в двенадцать часов ночи будем.

— Правильно. Валяй...

* * *

На кухне сидели мои приятели, крестьяне-охотники, Дворченков Серега и Павел Груздев. У Дворченкова глаза, как черные тараканы, и нос вбок, а у Павла Груздева рот пуговкой и глаза серые. Хорошие люди и мои приятели, охотники.

Печка топится, дрова трещат, щи из свинины, ветчина в тесте запекается.

— Слышите, что вот Петр сторож говорит: у вас здесь в мороз дом так трескает, что спать ему не дает, — удивляется архитектор Кузнецов.

— Да ведь это завсегда. Мороз, потому, — заметил Павел.

— А то и дворовой постукает, ему, нечистому, тоже стужа-то не нравится, — сказал Дворченков.

— Это какой дворовой? — недоуменно спросил архитектор Кузнецов.

— Дворовой есть, амшайник тоже балует... — и Дворченков засмеялся.

— Домовой тоже попугивает, — заметил Груздев, — постукивает здорово.

— А на кой же им леший пугать, и кто видел их? — сказал Кузнецов, пробуя ветчину и посматривая на меня.

— Я лешего видывал, — равнодушно сказал сторож Петр.

— Видел! Да где же ты его видел?

— Шел я тут вот надясь, прямо вот тут, у огорода, смотрю, а он из-за сарая согнулся так, глядит на меня, оцетинился весь, вот как шишка елова, рожа красная, здоровый, вот роста как вы, Василий Сергеевич, зубы ослабья, ржет тихонько. Я гляжу, чего это, думаю, а он, глядь, сквозь стену в косяк сарая и ушел.

Василий Сергеевич недоумевал:

— Как — ушел сквозь? Кто ж такой?

— Кто ж, домовый, кому боле. Идет сквозь стену, ему везде ход.

— Место здесь глухое, неча говорить, всякое есть. Колдова разная тоже, — подтвердили и мои приятели-охотники.

— Место, действительно, как-то в стороне, всё леса, когда ехали, жутко что-то, — сказал и Листократов.

* * *

Тем временем вынесли из кухни гуся жареного, окорок, мы ставим на стол, покрытый белой скатертью. В графинах разные настойки. Приятели мои, охотники, принесли крынку мороженых сливок, лепешки деревенские, туболки, творожники, сметану, грузди, рыжики, всё на стол. Тепло в комнате, в лежанку подбрасывают дровец. Василий Сергеевич разделся, остался в валенках и в егерской фуфайке. Сели все за стол, не едим, дожидаемся полночи, наступления праздника. Грибок один-другой съели, а мясного нет; никак нельзя.

— А какая же это колдова разная тут у вас? — спросил архитектор Василий Сергеевич.

— Тут-то? — ответил Дворченков. — Э-э, да всякая есть. У нас жил здесь наш хуторский, дядя Семен, так он знал эдакое-то разное. Колдун, потому. Племяш у него был, сродственник, он к ему и пришел, говорит: «Дяденька Семен, поучи меня эдакому-то, ты знаешь. Что тебе стоит, поучи». А он, Семен-то, и позвал из-под печи, — и вот лягушь выползла, во какая большенная, страсть. Он и говорит племяшу своему: «Полезай в ее сквозь, боле меня знать будешь». Тот — вот напугался! Прямо дрожит весь. Лягушь глядит на его, рот открыла, куда тут. Он бегом от дяденьки-то такого...

— Хороша история, — говорит архитектор Вася.

— Да, он эдакое знал, — продолжал Дворченков. — Пошел это он на Ивана Купала на Ремжу, вот что мельница брошена у Феклина бора, где летом налимов вы ловили, — а там по плотине и у колес, у мельницы-то, глядит он — чертей что сидит, ух ты! Косые, кривые, кто с рогами, кто без рог, говорят ему, Семену-то: «Талала — Талала, посылай нас на дела». А Семен им велит: «Ну, чего ж, идите в лес игольник считать...»

* * *

В двенадцать часов встали, с праздником поздравили друг друга, разлили вино, чокались, закусывали. Ну, ветчина хороша, пирог с груздями, рыжики в сметане.

— Неужели на Ремже эдакие штучки, — удивлялся Василий Сергеевич, — а я там рыбу удил в омуте.

— Верно. И днем там жутко, — сказал я. — Я топор брал с собой. На всякий случай. Заросло все, там уж ночью не половишь. Какой лесище, яма, гущера.

— Семен колдун был как есть, — говорили мои приятели-охотники. — Как он Настасьеву дочь испортил, ужаси до чего. Ее как выдавать, так она до венца жениха свою, Андрея Уткина, зачала целовать, хватает его почем зря, смотреть срамно. Вот до чего испортил, никуда не годится, хоть плюнь.

— Это бывает, — заметил художник Листократов, смеясь.

— Талала, Талала, давай нам вина, — смеясь, говорил архитектор Вася, наливая всем в стаканы.

Но только он хотел выпить, как из пустой соседней комнаты в стену к нам раздался страшный удар.

Все замолчали, смотря на стену. «Тра-та-та-та» — застучало в соседней комнате.

— Хорош домик, — сказал архитектор Кузнецов.

В соседней пустой и холодной комнате как будто кто-то плясал.

— Что же это такое, — прошептал Листократов, бледнея.

— Берите ружье, — кричал взволнованный Кузнецов, — ведь это убить может, слышали, как ударило! Ведь это в балку ударило, я ведь архитектор, знаю! Что делается!

— Сейчас фонарь возьмем, надо поглядеть — чего тут.

Опять раздался стук, сильнее, еще сильнее, и снова ударило в стену. Охотники взяли фонарь и ушли.

* * *

Вернулись все в снегу.

— Чего там, никого не видеть, и следа нет. Где ж, там все забито, кому быть. Это ведь попутывает. Бывает эдак-то...

Василий Сергеевич, взяв пустую бутылку за горлышко, с опаской подпрыгнул к стене и, стукнув в стену бутылкой, отскочил, сказав: «Раз». Потом подпрыгнул, опять к стене, стукнул, сказал: «Два». Затем, стукнув опять и отскочив, сказал: «Три» и встал среди комнаты. Оборотясь к стене, сказал: «Талала, Талала, ты добрый или злой? Если злой, отвечай». В стену застучало: «Та-та-та-та».

— Злой, — сказал Василий Сергеевич и спяну закричал: — Давайте керосину, поливай скорей, жечь надо! Жги дом, черт с ним. Что вы, не видите, что ль, где живете? Едем! — и он начал одеваться, весь красный, потный и взволнованный.

— Чего вы, Василий Сергеевич, — уговаривали его охотники, — куда в темь таку ехать.

— Запрягай! — приказывал, не слушая, Кузнецов. — Это что ж такое!

Он, покачиваясь, кинулся на крыльцо, но тут же вернулся и сказал:

— Благодарю вас. Посмотрите-ка, хороша лошадка.

Действительно, странно запрягли лошадь, мордой к сиденью саней, а на зад надели дугу и подвязали оглобли. В темной ночи она стояла у сарая.

— Ведь ее запрягаешь так, — говорил Дворченков, — а она вон как. Темно, потому, под праздник завсегда эдак-то. Да и то сказать, мало выпили, вот над нами он и балует... Это что — пустяковина... Да и не свой ли это попутывает...

Василий Сергеевич, сев за стол, налил в стаканы вино, все выпили... Еще и еще...

А там и заря занялась, заалели узоры на окнах...

Милая, вздорная, святочная быть...

По первой пороше

Вот скоро установится погода. Снег уже падает, но тает быстро. А вот как подморозит, то и на охоту — по первой пороше. Когда только наследит сначала всякое зверье, тут-то и самая охота, все видно, чей след, бери только.

Так говорили мои друзья, охотники, собираясь ехать из Москвы ко мне в деревню. Говорили — там леса, зайцев, лисиц много, есть волки. Приятели мои все вырядились охотниками, взяли лыжи, шапки такие с ушами. У приятеля архитектора Кузнецова — валенки высокие, белые. На кожаном поясе — большой охотничий нож, новый, из магазина. Другой приятель, Павел Александрович Сучков, одет, как Садко из оперы, пенсне мешает только, как-то не идет. Он захватил с собою старинную подзорную трубу, в которую его дед смотрел в даль, как Наполеон шел к Москве. Еще один мой приятель, гофмейстер, тоже оделся любопытно, на зеленых шнурах висели флаги, свистки, крючки для подвешивания убитых зайцев и большой компас. Жил я в дремучих лесах, там и заблудиться легко, компас необходим.

Еще были взяты капканы.

— Я и пули беру на всякий случай, — сказал мне Сучков.

Я его спросил:

— Что, Павел, ты пули сам льешь?

Он пристально посмотрел на меня сквозь пенсне и ответил:

— Довольно пошлостей.

Серьезный был человек.

* * *

Собрались, на вокзале закусили, выпили. Пассажиры посматривали на нас. Один сказал:

— На полюс, знать, едут.

Сели в вагон, едем. В окнах мигают зимние леса, белеет первый снег. Из флагов мы пили коньяк, говорили: «Ни пера, ни пуху», чтобы не сплзнуть охоту. С флагами покончили и, чтобы узнать, сколько в них помещается, налили в них вновь из бутылки. Настроение было чудное.

— Достань-ка, Павел Александрович, твою подзорную трубу, — сказал архитектор Кузнецов.

Сучков достал трубу и раздвинул. Труба была, действительно, длинная. Смотрели, наставляя в окно, и гофмейстер, и архитектор Кузнецов. Потом сказали, что ничего не видно. Павел Сучков тоже смотрел.

— Странно, — сказал он. — А в Москве все видно.

— В Москве — другое дело, — сказал Кузнецов.

— Но позвольте, — вступился гофмейстер. — То есть как же. Какая глупость! Не все ли равно!

Оказалось, что переднее стекло упало внутрь трубы. Когда исправили, все смотрели, и я сказал, что вижу бегущего вдали зайца.

— Где? Дай сюда трубу! — кричали все и смотрели все, но зайца никто не видел.

— Все штуки твои! — сказал, сердясь, Павел Сучков и убрал трубу.

Все на меня рассердились.

Впрочем, это верно, что зайца я не видал.

К вечеру, поздно, приехали на небольшую станцию, вышли из вагона. Падал хлопьями снег. Платформа, крыши сараев — все в снегу. У дверей низенького вокзала тускло горят фонари. Нас никто не встретил, подводы не было.

Входим в вокзал.

— С приездом! — говорит буфетчик. — Давненько не были, а я из Архангельска семгу хорошую припас.

— А где она? — спросил Василий Сергеевич.

— На погребце-с.

И буфетчик, наклонившись к нам, прошептал:

— Что же, нешто это пассажиры, плюнуть стоит, хоть буфет закрывай. Верите ли, кой-кто чаю стакан спросит, а то воду дуют...

Пассажиры были крестьяне, одетые в тулупы. Один, одетый побогаче, спал на скамье, другой, раскачивая его за плечо, будил. Потом посмотрел на всех, махнул рукой и сказал:

— Опять машину пропустил.

— Ну и спит мертво, — заметил буфетчик. — Кажинный раз этак-то. Его надоть уметь будить. — Выйдя из-за стойки, он подошел к спящему, наклонился и сказал на ухо:

— Лавка отперта.

Тот вскочил, с испугом смотрел на всех.

— Правильно, — заметил Сучков, закусывая у буфета. — Все понять надо.

— Наконец-то! Да где ты пропал? — говорю я возчику, всему засыпанному снегом. — Час тебя ждем.

— Пропал? Пропадешь! — ответил возчик Баторин. — Вот метель, глаза липнут. На Некрасихе-то моста нету боле, в объезд ехал, эвона куда, на Ремжу.

Выходим к подводе. Метель, розвальни замело снегом.

— Не обождать ли? — говорим.

— Чего ждать. Дорога знамо, доедем, — уговаривает Баторин. — Вот пороша-то хороша. Давеча ехал, так под Ремжей следов нахажено, и чего — не поймешь. Вроде как ведмедь здоровый.

Сучков и гофмейстер молча стали вынимать ружья из чехлов.

— Не беспокойтесь, — сказал Сучков, — у меня пули разрывные.

— Откуда здесь медведи? — говорю я. — С чего ты это, Баторин. Пугаешь зря.

Едем молча. Огромный лес, перед нами, во мгле, сыпет метель, бьет в лицо, слипаются глаза. Едем долго.

— Дороги-то не поймешь, — остановив лошадь, сказал Баторин. — Ишь, круча. Влево надоть, вернее.

Останавливаемся, опять едем, молчим. Вдруг около нас что-то огромное бросилось в сторону, со страшным треском. Как-то вздохнув, оно несло, удаляясь все дальше в глубину леса. Лошадь наша взвилась в сторону, мы вылетели из розвальней в снег, под горку. Лошадь умчалась, храпя. Я свалился в кусты, холодный снег набился за шею.

— Что это? — говорил кто-то. — Где вы? Тише, в чем дело? Где же шапка?

Мы поднимались, подходя друг к другу.

— Но я ничего не вижу. Пенсне нету, — бормочет Павел Александрович. — Ничего нету.

— В последний раз сюда еду, даю честное слово, — сердился архитектор. — Ну и медведина, должно быть, был. Если бы не метель, посмотрели бы на него...

Мы собрались вместе. Тишина. Сыпал снег. Было что-то жуткое в глухом лесу. Гофмейстер свистнул в свисток. Неприятно как-то. Странно раздался свист в тишине ночи...

Долго мы стоим, слушаем, не вернется ли возчик. Ни звука.

— Пойдемте туда, в ту сторону. Может быть, мы встретим его, — предложил Сучков.

Идем. Дороги нет. Долго идем прогалинами. Стало светлее. Метелица кончалась; казалось, как бы край леса. Справа, вдали, сквозь сучья елей, видим мы, мелькнул огонь, погас, потом опять вспыхнул. Мы остановились и решили идти на огонь. Вскоре мы увидели старый сарай и около него костер. Перед огнем сидел здоровый парень в тупле и глядел сердито в нашу сторону. Мы подошли, он, не глядя на нас, молча ел из котелка вареную картошку.

— Заблудились, — говорим. — Чего это ночью ты, любезный, здесь сторожишь что?

— Я-то здесь по своему делу, а вы по што?

— Мы-то охотники. Заблудились. Из Москвы.

— Видать, что заблудились, по ночи в лесу шляетесь!

— Да ты что, взбесился? — крикнул гофмейстер.

— Я-то не взбесился, может, сам бешеный. Погуляй до утра, а завтра в остроге будешь чай пить.

— Да что ты, дурак!

— Я-то не дурак, а ты, может, Филька-вор!

— Хороша пороша, — сказал, смеясь, Василий Сергеевич.

— Я этого молодца завтра в тюрьму отправлю, — негодовал гофмейстер.

— Эх ты, старый черт. Да завтра ты упокойник будешь...

Парень встал и пошел в лес, как-то боком, хромяя, и, удаляясь, кричал:

— Убивцы! Знаю, кто вы! Не уйдете, поджигалы, жулики!.. Церковь ограбили... убивцы... сторожа убили... вот погоди... народ соберу... на вилы посадим!.. — слышалось издали.

Тепленка погасла. Мы послушали и стали уходить от сарая.

— Этот парень за кого-то нас принял, — сказал Сучков. — Он глуп, а толпа в деревне сдуру поверит...

Метель совсем стихла. Край елового леса стал виднее. Внизу бугра видны были темные пятна прогалин. Это была речка. Мы шли краем. Вдали, внизу, показался темный большой амбар.

— Мельница Ремжа! — сказал я.

Небольшая бедная мельница глухо шумела колесами. Мы пошли в избу. За столом сидели помольцы.

— Здравствуй, Лисеич! Чего это ты? Откуда пробираешься? Домой, знать, в час какой запоздался?

— Да вот, — рассказываем мы, — что приключилось. Лошадь унесла.

— Лошадь у его неча, хорошая.

— Еще бы, — говорим мы. — Да ее медведь напугал.

— Какой медведь! Это вы сбились, лесовик пошутил. Лосиху спугнули. Я выходил с помолу из сарая, слышал, как она стрелой по лесу-то неслась, вот тут, рядом, через речку махом, вас напугалась. Озябли вы, поди. Я сейчас чаю стготовлю. Санька! — крикнул мельник.

Дочери мельника хлопотали у стола.

— Филька-то тут крутит, — говорили тем временем помольцы. — Вор, ловок больно, все боятся. Подождет.

— Какой Филька! — удивились мы и рассказали помольцам о встрече с парнем в лесу.

— Да он какой из себя глядеть?

— Здоровый, — говорим. — Молодой, прихрамывает.

— Так ведь это Филька и есть. Каторжник, у Спаса церковь ограбил, сторожа убил. Ловят его. Хромой, а не поймают, вот оно что.

Павел Сучков посмотрел на помольцев, на мельника, а потом на всех нас и сказал с усмешкой:

— Ах, какая приятная пороша в этой местности...

Татьяна московская

На 3-й Мещанской, в Москве, в деревянном доме жили мы на квартире, сдаваемой «покомнатно» молодой женщиной Татьяной Федоровной. То было в моей юности, когда я еще учился в Школе живописи. Жил я у Татьяны Федоровны со студентами.

В Татьянин день, помню, нарядилась наша хозяйка, завила челку пышных черных волос, опустив ее на лоб до самых бровей; в завернутую косу вплела живой цветок; была весела и чему-то рада.

Квартиранты ее, студенты, мои приятели — Щербиновский, Новичков, Дубровин, Поярков — были все народ бедный. Один Щербиновский получал из дому от отца 25 рублей в месяц, и такую получку мы считали особенным, из ряда выходящим, случаем. Все мы пробавлялись кое-как уроками, я еще рисовал всякие маленькие заказы и продавал за гроши этюды с натуры. Собирая с нас буквально медяки за квартиру и стол, Татьяна Федоровна никогда не жаловалась на нужду. Ни раздражения, ни упрека.

Странно, удивительно текла наша жизнь. Никто и не думал о недостатках, никто не тосковал от лишений. О богатстве никто из нас и не думал. Мы жили другим. Но как могла справляться бедная Татьяна Федоровна с теми скудными грошами, которые ей платили мы, студенты, — Бог ведает. Иногда она уносила что-то в заклад, но старалась не показать этого.

А в тот Татьянин день мы увидели убранныю квартиру, лощеные полы, стол, покрытый всевозможными пирогами, обильной едой, богато убранный живыми цветами. Откуда только могла достать Татьяна Федоровна так много цветов? Это ведь дорого стоит.

Нарядная, в белом платье, распорядилась наша хозяйка. На стол ставили жареного гуся, окорок, рябчиков, заливное из рыбы, бутылки с винами.

Татьяна Федоровна была раньше замужем за военным. Мы это знали, но никто не смел ее спросить, отчего она разошлась с мужем. У нее были красивые, ясные, улыбающиеся выразительные глаза. Когда кто-нибудь хотел себя показать очень умным человеком, с направлением, и завирался, Татьяна Федоровна смотрела на него так пристально и серьезно, что умник замолкал. Татьяна Федоровна никого не осуждала, ни про кого не сказала худо.

Как-то раз студент Новичков сказал про другого медикуса, жившего у нее раньше, теперь окончившего университет, имевшего богатую жену и богатую практику, что он не заплатил Татьяне Федоровне старого долга, хотя она из-за него заложила какой-то соболий воротник, оставшийся после покойной матери, генеральши.

— Он отдал долг, — сказала Татьяна Федоровна.

— Вы неправду говорите, Татьяна Федоровна, — возразил Новичков.

— Ну, заплатит. Довольно, Новичков. Я не люблю об этом. Скучно.

Татьянин день у нас шел особенно весело, как-то свободно, и что-то родное было во всем. Татьяна Федоровна неплохо пела, немного картавя, и аккомпанировала себе на гитаре.

Мы, студенты, изредка ходили в Большой театр, на галерку, слушать оперу, и все пели, подражая Хохлову, «Демона». Любили и «Фауста» и студенческую «Быстры, как волны...».

* * *

Вдруг в передней раздался смех. Кто-то пришел. Слышим голос Татьяны Федоровны:

— Откуда вы, Иван Иванович! Как я рада! Я думала, что вы пропали...

— Умираю, умираю, — отвечал мужской голос. — По убеждению, все по убеждению. Земский врач, вот оно что, под Архангельском тощица, запил, ей-Богу, запил.

В комнату с хозяйкой вошел рослый блондин, доктор Иван Иванович. За ними другой, заспанный, мрачный человек.

— Это приятель мой, позвольте представить. Прозвище Утюг.

— Гаудеамус, — сказал нам доктор. — И я когда-то жил здесь, в этом раю, у ангела-хранителя Татьяны Федоровны. Господи, вот вы у меня где засели.

Доктор говорил, ударяя себя в грудь. Татьяна Федоровна смеялась.

— А где рыбы-то? — вдруг спросил доктор приятеля.

Утюг бросился в коридор и принес рогожный кулек.

— Двинские стерляди, вам, Татьяна Федоровна.

Доктор стал вытаскивать из кулька замерзших больших стерлядей.

— Иван Иванович, а вы не женились? — внезапно спросила его хозяйка.

Иван Иванович прямо так и сел.

— Нет, — сказал он. — Но зато мы с Утюгом чуть не спились.

— Ничего, — ответил хриплым голосом Утюг. — Не сопьемся...

— А где же масло? — спросил доктор. — Я масло вам, Татьяна Федоровна, привез, холмогорское.

Утюг тащил мешок.

Мрачный человек Утюг, маленького роста, коренастый, ходил как-то усами вперед, а ноги где-то сзади. Он больше всех хлопотал за обедом. Зажгли лампу под розовым абажуром. Комната осветилась, и как-то радостно было.

— До чего я вас люблю, Татьяна Федоровна, — говорил доктор. — До того... Прямо вот... Эх, давайте, друзья, запоем. Вали, начинай.

Проведемте, друзья,
Эту ночь веселей,
Пусть студентов семья
Соберется тесней.

Потом как-то особенно пела Татьяна Федоровна:

Святой Татьяны день
Душой своей примите,
Во братстве скованный,
Он истину найдет.
И, истину любя,
Народу вы служите,
И к свету разума
Счастливый мир придет...

— Истина, истина... А я вот за истину в одиночке сидел... Сослан был... — сказал, выпив водки, мрачный Утюг.

— Как? За что?

— За митральезу¹... Вот за что.

— Как за митральезу?.. За какую? Что за ерунда? Почему?

— Был я студентом. И была у меня любовь. Вот на Татьяну Федоровну похожа... Красота. И-их, и любил я ее... Ну, что говорить... Раз в Татьянин день я с друзьями загулял. Пели, пили, вот как сейчас... На бульваре, на Тверском, студенты-друзья меня спрашивают: «А куда же ты митральезу девал?» А студентов было много и, должно быть, среди них переодетый «шпик». Я просто и ответил: «Дома осталась».

— Ну и что же?

— А вот... Татьяна Федоровна немного картавит, «р» не выговаривает. Это так идет к ней... А моя говорила так скоро, ну, как стреляет. Ее еще отец «митральезой» прозвал. Ну, у меня обыск... Где митральеза? Ищут. Что делается, сказать невозможно... Я на мою показываю — «вот митральеза»... Не верят. Посадили. Правда, не долго сидел. Сослали. Будто бы потом, и верно, у кого-то нашли митральезу... Понравилось мне на Севере... Там и остался. Митральеза ко мне приехала... Натальей звали... Милая Наталья...

И Утюг мрачно выпил водки.

Студенты запели:

¹ От фр. mitrailleuse — пулемет.

Полно, брат, молодец,
Ты ведь не девица,
Пей, тоска пройдет.

— Не верю, ничему не верю, — говорил мрачный Утюг. — Не верю в истину, в справедливость. Ни в какие передовые слова. Все ерунда... Есть только совесть...
— А где же ваша митральеза теперь?
— Нигде, — мрачно ответил Утюг. И добавил: — Ну, довольно.
Утюг запел:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,
Тогда бы не было сомненья.

— Во всем оккультика виновата! — сказал вдруг, подняв палец, Утюг.
— Ну, довольно тебе, — остановил его доктор. И встал.
— Господа, — сказал он. — Позвольте мне сказать вам очень серьезное. Вы студенты, и все вы юны. В вас еще машина жизни цела, не истрепалась. И колеса, зубцы... новы и целы. У вас душа еще светлая... Вы поймете... И вот я прошу вас, умоляю, уговорите Татьяну Федоровну, Татьяну нашу, которую мы празднуем...

Татьяна Федоровна встала и опустила гитару, побледнев.

— Прошу вас, уговорите ее выйти за меня замуж...

— Идите за него замуж, Татьяна Федоровна, идите, — хором кричали мы все.

— Ага, ага, я прав, — сказал Утюг. — Начинается судьба, оккультика-то есть...

Татьяна — есть красота, высота. Встать! — закричал он вдруг.

Мы все встали.

— В душе человеческой, — говорил Утюг, — есть высокие, святые стороны. А то и такие... хоть плюнь. Разные есть. А у вас, Татьяна Федоровна, они прекрасные... А все же, доктор, прости меня, она за тебя не пойдет замуж... Не судьба... Оккультика не та... А может, и та... За-муж! Татьяна Федоровна! — скомандовал он вдруг нашей хозяйке. — Идите замуж за доктора!

— Замуж. Какая я жена? Нет, я не жена... Я не могу без них... без юности... — говорит Татьяна Федоровна, а сама и смеется, и плачет.

Прошло много времени, и вспомнил я как-то нашу Татьяну Федоровну летом в Москве, в жаркий летний день.

Поехал туда, где она жила, но ее там уже никто не знал: съехала с квартиры давно. Я зашел в соседнюю лавочку купить папирос. Старик-лавочник дал мне пачку.

— Не знаете ли, — спросил я старика, — здесь, по соседству с вами, жила Татьяна Федоровна. Не знаете ли, куда она уехала?

— Как же-с, как же-с, знавал... У меня забирала на книжку. Правильная женщина была...

— Куда же она уехала?

— Никуда не уехала. Вот уже три года, как померла...

Какое горе я почувствовал сразу... Что-то дорогое ушло.

— А где же ее похоронили? — спросил я старика.

— Э-э, хоронили! Вот хоронили-то ее по первому разряду, ведь она знатная дворянка была, генеральская дочь. Чего духовенства было, страсть сколько... Покров золотой... Я прощаться ходил. Во-о, студентов... Что было! Плакали. Особенно один, сказывали, дохтур, рослый такой, страсть убивался... Я глядел ее в гробу, чисто живая спит, красавица...

— А где же могила ее? — спросил я.

— Где? В Питер увезли. Ведь она знатная, говорю, из Питера была родом...

Так оказалось, что незабвенная наша Татьяна была не московской, а петербургской...

Метелица

Сегодня метель.

В окнах моего деревенского дома белым-бело. Сыплет крупа; метелица без конца. В пяти шагах ничего не видеть.

— Эх, насилу пробрался к тебе, право, — входя, говорит с веселым смехом крестьянин-охотник Сергей, по прозвищу Баран.

— Я тебе, Лисеич, трех косачей прихватил. Надьсь на чучелов нагнал, пристрелил...

— Как же ты в такую пургу приехал? Ведь дороги не видеть. Садись, чаем угощу. Рад тебя видеть.

— И я рад, Лисеич, что к тебе заехал.

— Постой, я скажу Афросинье, чтобы самовар... Да кое-что подбодрила б закупить... Озяб ты.

Я пошел на кухню. Сергей со мной. Разворачивает кулек:

— Батюшки, и что же это?

А в куле не косачи-тетерева, а две курицы и петух.

— Ах ты, мать честная, — говорит Сергей. — Чего же это? Вот что делают надо мной, плутовню какую. Я тебе трех тетеревов вез, а это что... курье! Их ты, что б их... Все девки, знать, балуют. И что делать? А, плутня какая!

Дед, сторож мой, сидевший на кухне, сказал:

— Погоди ты, Баран, за баб в ад тебя черти потащут.

Баран рассмеялся, оскала белые зубы, говорил:

— Не иначе, что баба курей положила, — сказал он. — Я-то сказал сдуру, к Лисеичу еду, тетеревей ему заверните... А она вот тебе, все для смеху.

— Смотри, — говорит мне сторож-дед, глядя в окно. — Вон и еще идет к тебе, с ружьем, Герасим, знать.

Весь засыпанный снегом, с лыжами, вошел охотник Герасим Дементьевич, нанес в теплую кухню холода и снега.

— Ну и манна небесная, — сказал Герасим, смеясь. — Насилу дом нашел. Вышел с утра, думал, пороша хороша. Ну, а вот тебе что... Какая охота. Насилу с кручи сошел. Пропадешь...

Охотники поздоровались:

— Как ты пробрался, Сергей?

— Да вот, сейчас приехал.

— Вот как я с кручи на лыжах спускался, напоролся: сидит один... Лесину выбрал здоровую и пилит. Ну и лошадь тут же: значит, лес тащит. В десяти шагах от него прошел, а кто — не разберешь. Под метелицу ворует. Что делать, знать, нужда...

* * *

Милые люди были мои друзья-охотники. Жила в них природа, всегда веселый и живой смех. Простая жизнь их была полна событий охоты, таинственных настроений лесных и какого-то мудрого понимания жизни. У них не было тоски о невзгодах и корысти, а всегда простая радость жизни.

Посумерело рано, а метелица все метет, метет... Синеют окна. Зажигаем лампу, камин. Самовар ворчит. Друзья мои охотники сидят за столом. Хорошо жить на свете, без обиды и злых людей.

— Что я вам скажу, — рассказывал охотник Сергей, — недавно что я страху натерпелся, страсть. Вот послушайте. Брал я на осень бочку в Гарусове: капусту рубить... У мужичка ослобонилась... Я и вспомнил, ну, дай, думаю, отвезу ему назад бочку-то. Дорога хорошая, и его кстати проведею: приятель мой, да и сродни. Поехал... И вот метель, как сейчас. Ну, дорогу-то я знаю. Еду... Смотрю, мост. Думаю, что такое, не знамо место, моста такого не видал. Остановился на мосту, гляжу: новый мост, знать. Вдруг слышу голос из-под мосту: «Трогай, что стал». Вот день, как сейчас был. Чего это? Слез. Погляжу, думаю, кто под мостом там сидит. Пошел. Смотрю. Никого нет. Что, думаю, такое? Только сел на розвальни, опять слышу: «Трогай, не мешай с Акулькой полюбовничать». Напугался я. Поехал... Думаю, что такое, прямо понять невозможно. Страх меня берет. Еду, говорю: «Прости мои согрешения. Никогда боле не буду с Акулькой». Слышу голос: «То-то, не будешь». Батюшки, испугался пуще. «Не буду, — говорю, — нипочем, ей-ей. Ну ее, Акульку». Вдруг на меня бочка валится. Оглянулся, а из-под бочки-то на меня сама Акулина глядит, вот смеется, надрывается. «Вижу, как ты любишь-то меня», — и хохочет.

Мой сторож-дед, который, посмеиваясь, вязал сеть, сказал:

— Ты, Баран, вороватый парень и плут. Расскажи, как у вдов Кордовских вино-то крали.

— Ну, пустое, — заметил Баран.

— Расскажи.

— С краю-то деревни нашей жили две вдовы. Дружно жили, обе толстые. Жили у дороги проезжей. И тихонько торговали водочкой... Без акцизу, значит. Только как-то раз, в вечер, гуляем мы, парни молодые, идем это мимо их дома, а они обе на завалинке сидят и орешки щелкают. Мне в голову и вошло: хорошо бы выпить, — а не на что. «Постой», — думаю. Так прошли мы с парнями мимо и назад на деревню. Я и говорю парням: «Вот что, сейчас вино будем пить». Зашел я с парнями к себе во двор, взял дугу, подвязал к ей колоколец, бубенцы, говорю парнишке молодому, Санька его звать, парнишка смышленный, веселый. «Вот что, — говорю ему. — Санька, ты возьми эту дугу, ступай ты задами, леском, чтоб не видали в деревне, ступай за версту кверху, на дорогу выходи там. Держи дугу над собой и беги сюда, будто лошадь едет, позванивай да перед деревней-то сверни в лес»... У вдов-то сзади дома садик-огород был: кружовник, малина. Пришли парни и легли тихонько в канавке, за садом-то. Лежим. И слышим: далеко по дороге колокольчик. Значит, Санька бе-

жит. Ближе, ближе. Смотрим: обе вдовы в сад из дома — шасьт и под фартуком что-то несут, в сад... Вынули обе бочонки из-под фартуков и положили в кружовник, в кусты. Отряхнулись и домой. Мы и взяли бочонки. Я пошел на улицу. Иду мимо вдов — они сидят. Говорю: «Исправник-то, вона, остановился: чего это, куда глядит». — «И где? И где?» — спрашивают они и сами в дом побежали. Вот плутня какая. Вина попили.

Мои охотники посмеялись.

— А то, помню, я в молодости, — разговорился Баран, — староста у нас на селе богатей был. Большой дом, крашен, чисто в доме. Именины жены справлял. Гости, угощение. Старшина приехал, тоже богатый мужик, дьякон, гости... Староста сердитый был, насупленный; на службе ране в солдатах служил. Он нам, парнишкам, и велел: «Ежели где что заметите, или где ругают меня, придите, скажите, значит, мне». И вот, как раз, когда у него именины, мальчишки стучат к ему в крыльцо и говорят: «Дяденька Семен, у Дарьи мыша в ловушку попала».

— Ступайте, — говорит, — чего вы.

А сам пряник дает. У него пряников-то на столе много... Мальчишки опять к нему.

— У Ерлычева сейчас слышали, что будто у отца дьякона шуба не енотова, а из собачины сшита.

— Стану я собачью шубу носить, — рассердился дьякон. — Чего это у тебя парнишки озорничают.

— Ступайте, — гонит их староста. — Чего тут лезете...

А тихонько-то пряник сует им.

— Дураки, малы, зря и болтают...

Парнишки в одну избу, в другую зайдут послушать. Ну и к старосте опять. Только открыли дверь — староста кричит:

— Чего еще... Ступайте. Неча лезть.

А парнишки кричат:

— Баторин говорит: старшина завсегда кагор пьет и за девками бегать горазд.

— Вон, пострелы! — кричит на них староста. А сам вышел на крыльцо и пряников им дал много.

— Не ходите, — говорит, — нипочем боле. Будя.

Потом вышел опять, кричит:

— Позовите Сергея Барана.

— Меня, стало быть. А я молодой был. Прихожу я в дом, к старосте. Вижу: гости оделись, все в шубах... уезжают. Кричат, ругаются: «Ты охотник, какой мех у нее, говори», — спрашивает старшина меня. А жена его полу шубы отворачивает, мех показывает.

— Хохуля, — говорю я. — Выхухоль. Лавливал их немало.

— Что? — говорит дьякон. — И я говорил, выхухоль.

— Сам ты хохуля, много знаешь...

— А у его какой мех, у дьякона, — говорит староста. — Покажь-ка...

Я посмотрел и говорю: «Не пойму... Собачина, знать».

Дьякон — их как рассердился, кричит:

— Енот! Стану я собачину носить... Сбесились вы, что ли?.. У меня-то, у дьякона соборного...

Все выходили на подводы.
— А может, кошка, — сказал кто-то.
— Совсем вы забыли, с кем говорите, — обиделся дьякон вконец. — С дьяконом говорите...

* * *

В эту минуту на крыльце моего дома кто-то запел:

А по улице метелица метет...

Сергей Баран встал.

— Ну, пора... прощайте... Надо идти, Акулина за мной идет.

— Что же, Акулина, раньше не зашла к нам? — сказал я молодой красивой бабе, с поклоном вошедшей в кухню.

— Я тут у Горохова засиделась. Он мне сродни. У вас-то по охоте беседа... Что я вам... помешаю, — говорила Акулина, смеясь, и положила на скамейку кулек.

— Вот, ведь это Баран смешал у Горохова, тот курей приготовил отвезти на станцию, а Баран перепутал... Одно слово, баран.

Акулина засмеялась и, поклонившись, сказала:

— Ну, счастливо. Иди же скорей, Баран... Боишься метели, что ли?

И они ушли вместе, весело смеясь.

Московские чудаки

Помню, в Москве, в молодости, у меня было много приятелей-артистов. Замечательные были люди артисты драматические. Гордые, любили свое искусство, наблюдательные, все видели, подмечали, посмеивались.

Один из таких артистов, Решимов, и рассказал мне забавную историю.

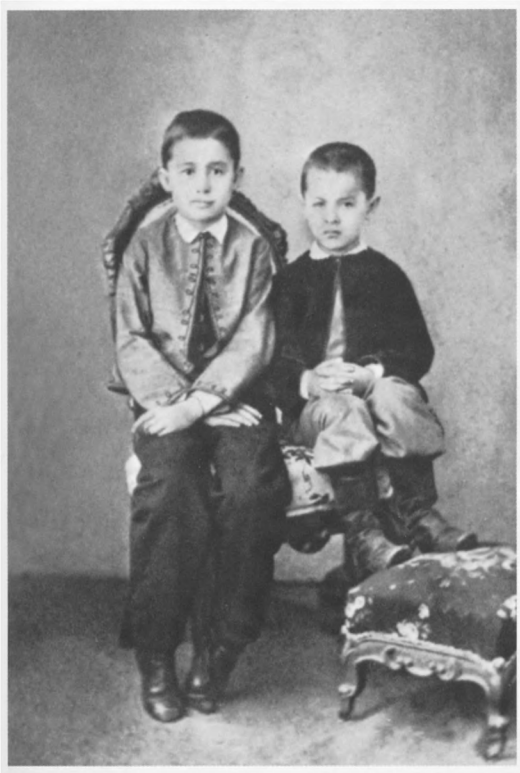
<Богач Шибает>

В Замоскворечье, в особняке с большим садом, жил богач Шибает, человек лет пятидесяти, холостяк. Жил один, окруженный прислугой. Любил свой дом и большой заросший сад при доме, обнесенный деревянным забором. Был раньше охотником, но потом засиделся дома. Были у него приятели, закадычные друзья, люди его лет — дьякон приходской, артист Пров Михайлович Садовский, ювелир Чевышев, судебный пристав Степанов, начальник пробирной палаты Винокуров. Все тоже степенные холостяки: хотели жениться в свое время, да «не вышло»...

В шибаетовском саду большие березы, липы, бузина, акации, нечищенные дорожки и большая беседка. У беседки — бассейн с проточной водой. Там плавали стерляди. А перед беседкой стояла статуя Дианы. Летом приятели обедали в беседке.

Хороший человек был Шибает, помогал сиротам, студентам, но никогда об этом не говорил, не хвастался своей щедростью и богатством. Из себя он был сильный брюнет, с круглым лицом, карими глазами, всегда гладко причесан. Внушительный мужчина. Знаток и любитель вин.

Коровин Алексей Михайлович,
отец К.А. Коровина.
1880-е гг.

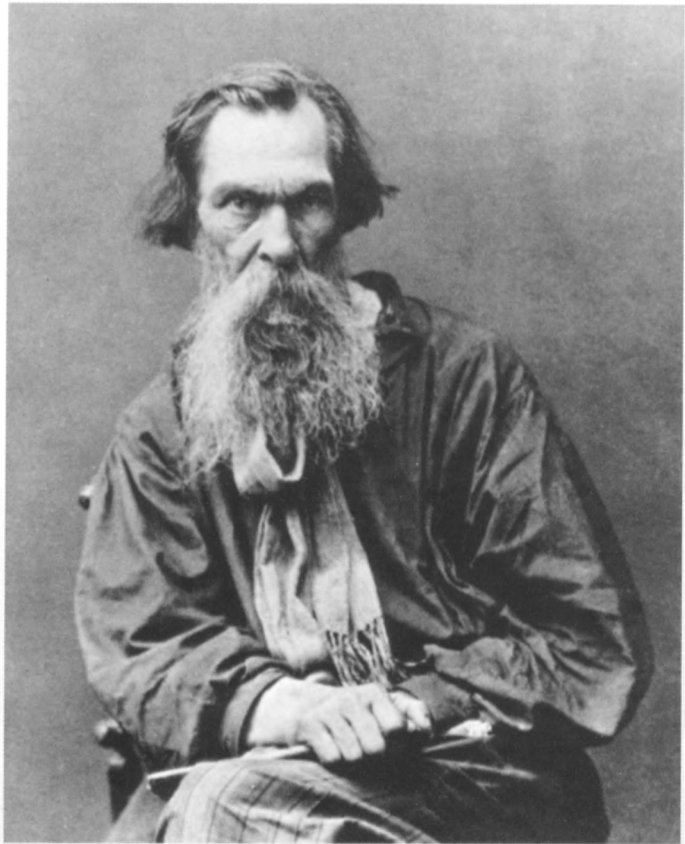


Константин Коровин (справа)
с братом Сергеем.
1860-е гг.



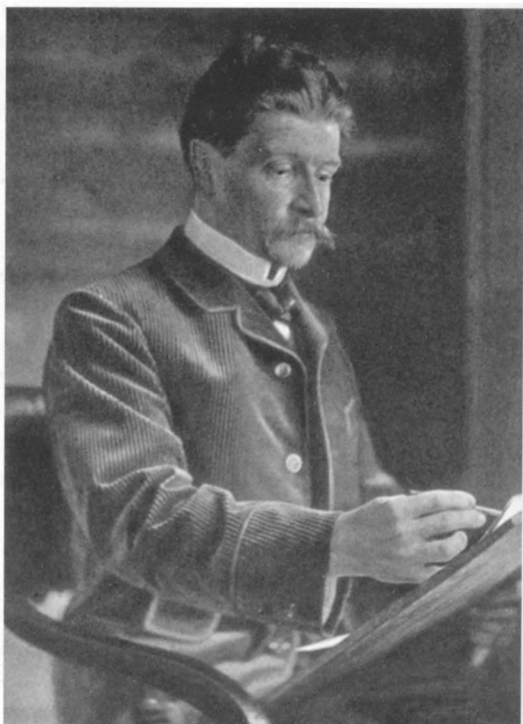
Живописец С.А. Коровин, брат К.А. Коровина.
1880-е гг.

А.К. Саврасов. 1897 г.



В.А. Серов. Автопортрет.
1885 г.

М.А. Врубель за работой.
1900-е гг.





И.И. Левитан.
Конец 1880-х гг.

В.А. Серов.
Левитан в одежде бедуина.
1887 г.



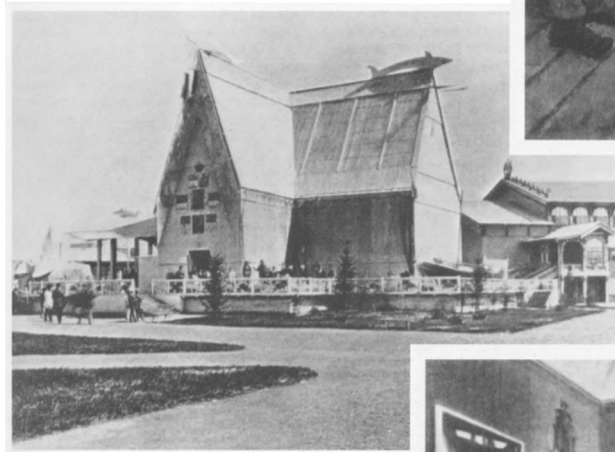
В.Д. Polenov.
Этюд головы Христа к картине
«На Тивериадском
(Генисаретском) озере».
Портрет К.А. Коровина.
1888 г.



У С.И. Мамонтова.
Слева направо сидят:
И.Е. Репин, С.И. Мамонтов,
М.М. Антокольский.
Стоят: В.И. Суриков,
В.А. Серов, К.А. Коровин.
1890-е гг.

С.И. Мамонтов и В.Д. Polenov.
Конец 1890-х гг.

К.А. Коровин.
Фактория на Мурмане.
Панно для павильона «Север»
на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде.
1896 г.



Павильон «Север»
на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде.
Выполнен по эскизам
К.А. Коровина.
1896 г.



Экспозиция павильона «Север»



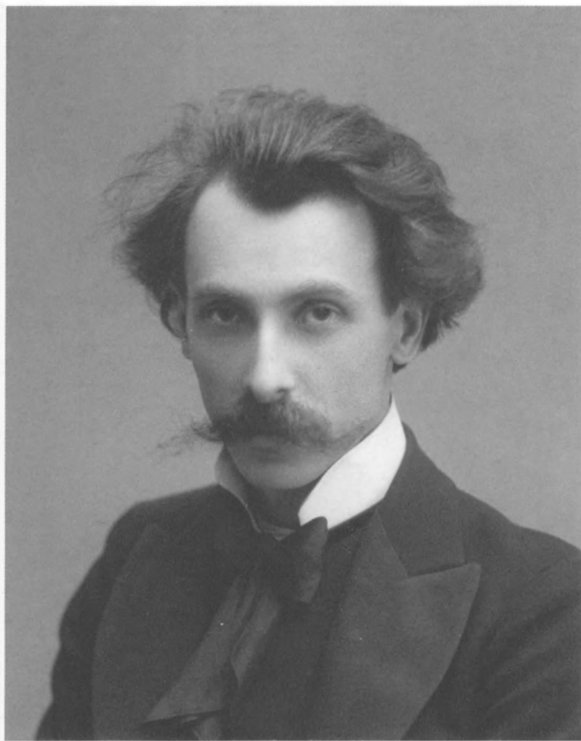
Алеша Коровин, сын К.А. Коровина.
Москва, 1910-е гг.

К.А. Коровин.
Москва, 1910-е гг.



Анна Яковлевна Коровина
(урожд. Фидлер),
жена К.А. Коровина, с сыном Алешей.
Москва, 1910-е гг.

И.К. Крайтор. 1913 г.



Страница письма К.А. Коровина
И.К. Крайтору от 18 ноября 1915 г.
Москва

^{сметка}
порт Космерб и Раздольицка



"2м Мала на!!!"

Я уезжаю сны.
На и Кошмар Серикова се
знаю. Прому Кош
пикауера передаю мой
Коклар Пешу Швилову
Перодотемину и передаю
ему что в сущности я
очень рад что вы
целый год - и что так
Кебелюс Кошмар и вы
Космерб и целую

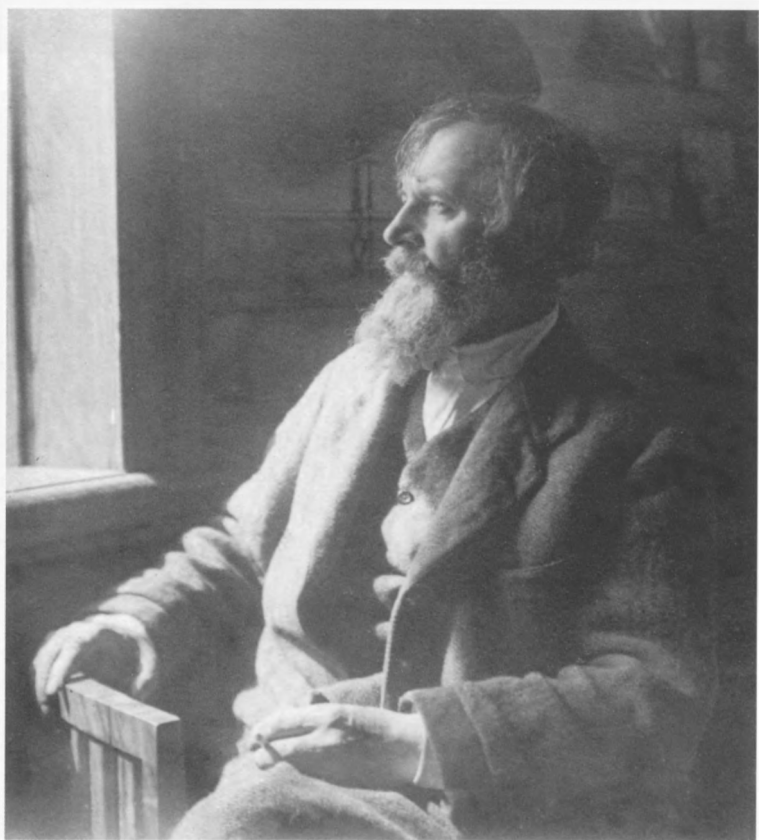
Каволене - и Москва
Кешаювину мой некий
Локаом -

Знаете я уезжаю в
это воскресенье в
Кривин и еду в Архангельск
и в Якутск - то есть
в центр
Ваша утренняя
в Архангельске

Коровин
Москва 18 ноября
1915 г.
Чемпион Космерб 1200
Сарев 700 -



К.А. Коровин
среди преподавателей
и студентов
Московского училища
живописи, ваяния
и зодчества
Москва, 1917 г.



К.А. Коровин. 1920-е гг.



Le Village (1^{er} acte)

Maquette de C. KOROVINE

К.А. Коровин. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
 Русская частная опера М. Кузнецовой-Массне. Париж, сезон 1928/29 г.

SNEGOUROTCHKA

maquettes de C. KOROVINE

Les Bouffons



Les Bouffons

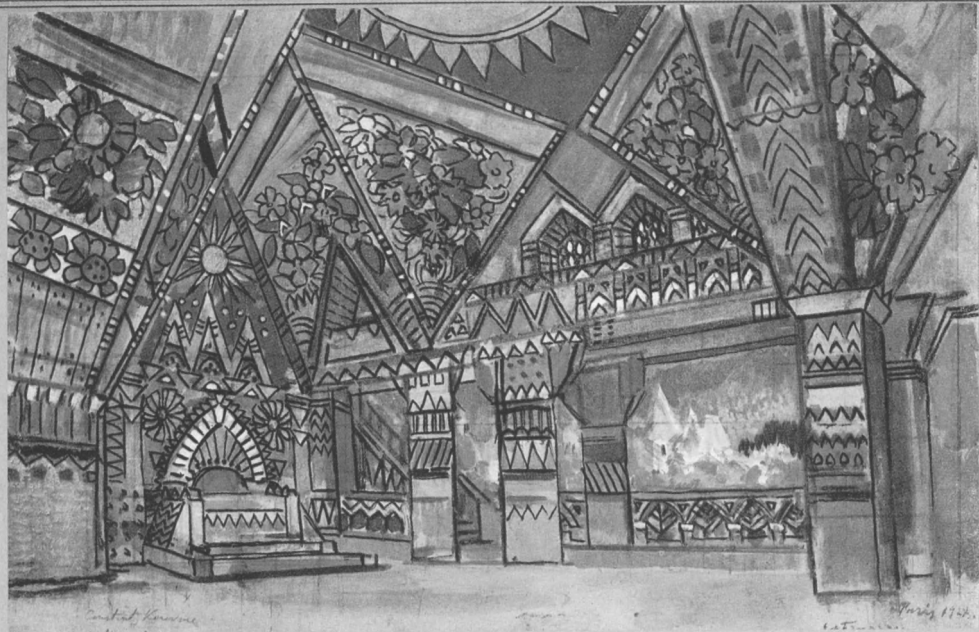
Maquette de C. KOROVINE

К.А. Коровин. Эскизы костюмов к опере Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка».
 Русская частная опера М. Кузнецовой-Массне. Париж, сезон 1928/29 г.

К.А. Коровин.
Портрет С.П. Дягилева



К.А. Коровин.
Эскиз декорации к опере
Н.А. Римского-Корсакова
«Снегурочка».
Русская частная опера
М. Кузнецовой-Массне.
Париж, сезон 1928/29 г.



Le Palais (2^{ème} acte)

Maquette de C. KOROVINE

Рукопись К.А. Коровина «Охота...
рыбная ловля... Коля Куров».
Париж, 1925 г.

Страницы из рукописи К.А. Коровина
«Охота... рыбная ловля... Коля Куров».
Париж, 1925 г.
Публикуется впервые

К. Коровинъ.
Фаескади.
Охота и др.
Рыбная ловля и др.
Коля Куровъ.

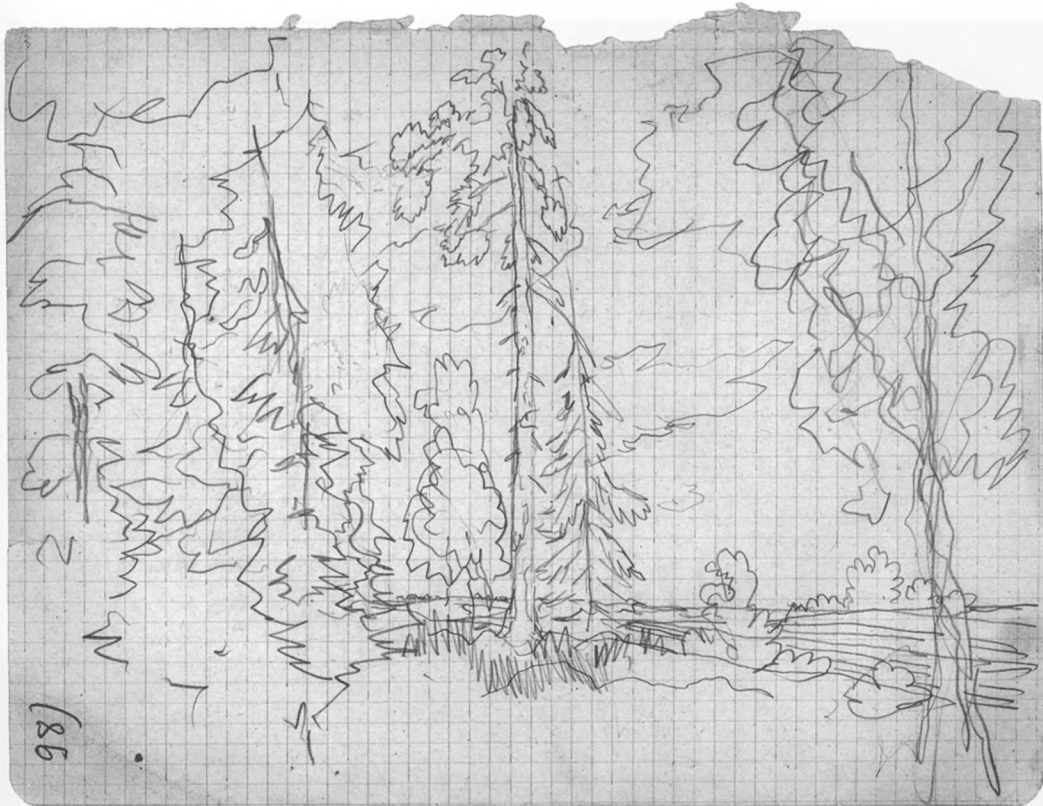
Внизу под рисунком надпись:
«Удомля — Островно Тверской губ.
1919–20-е годы.

Голод. Дом Циолковских,
где до революции жили Левитан,
Богданов-Бельский, Жуковский.
Имение Островно.
Здесь до отъезда за границу
жил К.А. Коровин с семьей

На странице справа внизу: Гурзуф



Удомля — Островно Тверской губ.
1919–20 годы — Голод — Коля Циолковские — Дедов
Коля Левитан — Богданов-Бельский — Жуковский





Страница «Иллюстрированной России» с воспоминаниями К.А. Коровина. Париж, 1932 г.

№ 14 (360)
Суббота 2 апреля 1932 г.
Цена отд. № 3 франка.
9-ый годъ издания
Основана
М. П. Мироновымъ
Редакция и Гл. Контора
112^{bis}, Rue Cardinet,
PARIS (17^e)
Тéléphone : Carnot 27-37
Редакторъ А. Н. КУПРИНЪ

LA RUSSIE ILLUSTRÉE
**ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ
РОССІЯ**

№ 14 (360)
Samedi 2 Avril 1932
Prix du numéro: 3 fr.
9-ème année
M. MIRONOFF, fondateur
Rédaction et Administration
112^{bis}, Rue Cardinet
PARIS (17^e)
Téléphone : Carnot 27-37
A. KOUPRINE, Directeur

Дѣло объ убійствѣ Распутина ¹⁾

ПЕРЕПЕЧАТКА ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Copyright by „La Russie Illustrée“ Paris

Константинъ Коровинъ



Святая Русь

Воспоминанія

Москва, 17 октября 1905 года. Манифест Государя. Россія отнынѣ конституціонная монархія. Самодержавіе ушло въ исторію. Объявлены свободы. Государственная Дума получила законодательныя права.

И ликовала Москва. Народъ вышелъ на улицу, никто не могъ усидѣть дома, поздравляли другъ друга, цѣловались, словно Пасха.

Вскорѣ приступили къ организаціи выборовъ въ Государственную Думу. Ищутъ, стараются выбрать умныхъ, мудрыхъ людей. Россія жила въ праздническомъ и обновленіи, гдѣ чувствовалось братство и сознаніе взаимнаго добра.

Вотъ на переломѣ нашей жизни въ Петербургѣ явился таинственный старецъ Распутинъ. Пришлося и мнѣ кое что услышать о немъ.

Однажды въ Петербургѣ послѣ спектакля сижу я у директора Императорскихъ театровъ Теляковского за чаемъ. Спрашиваю: — Что это за Распутинъ такой? — Да, говоритъ Теляковский, страннѣйшій человекъ. Привезъ его къ Наследнику. Онъ боленъ. Лежитъ. У него слабая вена. Наслѣдственная, говорятъ, болячка. Кропотливою ногой. Когда Распутинъ подалъ къ Наслѣднику, мальчикъ расхохотался.

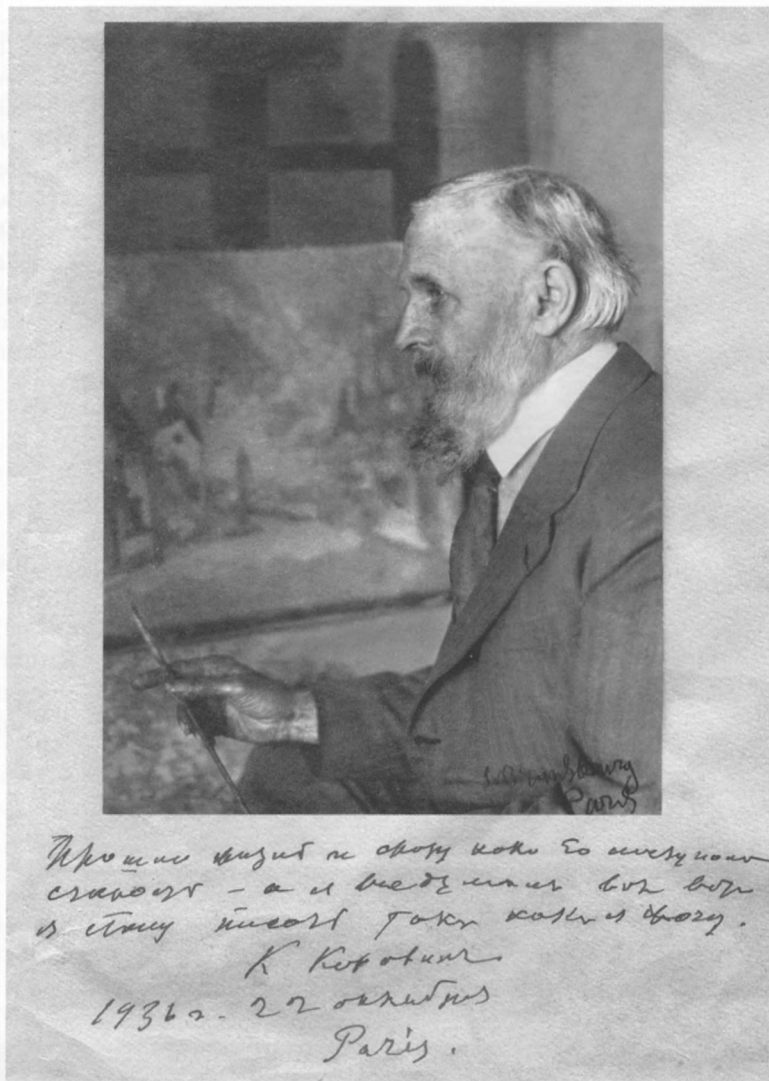
двѣ дѣвочки, старшей — лѣтъ шесть. Ея дѣти.

Въ самомъ началѣ войны у нея убили мужа и двухъ сыновей. Среда военная. У отца еще мать жива, сестры. Жалованіе небольшое, и его нѣтъ!

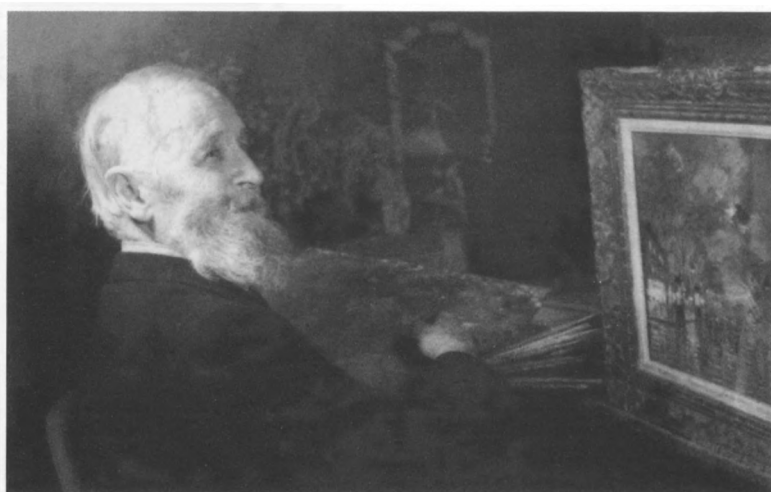
Она вдова, ходитъ узнать, нельзя ли получить пенсіи или пособіе какое. Но ни куда отбѣга нѣтъ. Она все ждетъ. — Идите къ Распутину, изучилъ ее содержатель номерова на Мойскѣ, гдѣ она оставалась на время въ Петербургѣ.

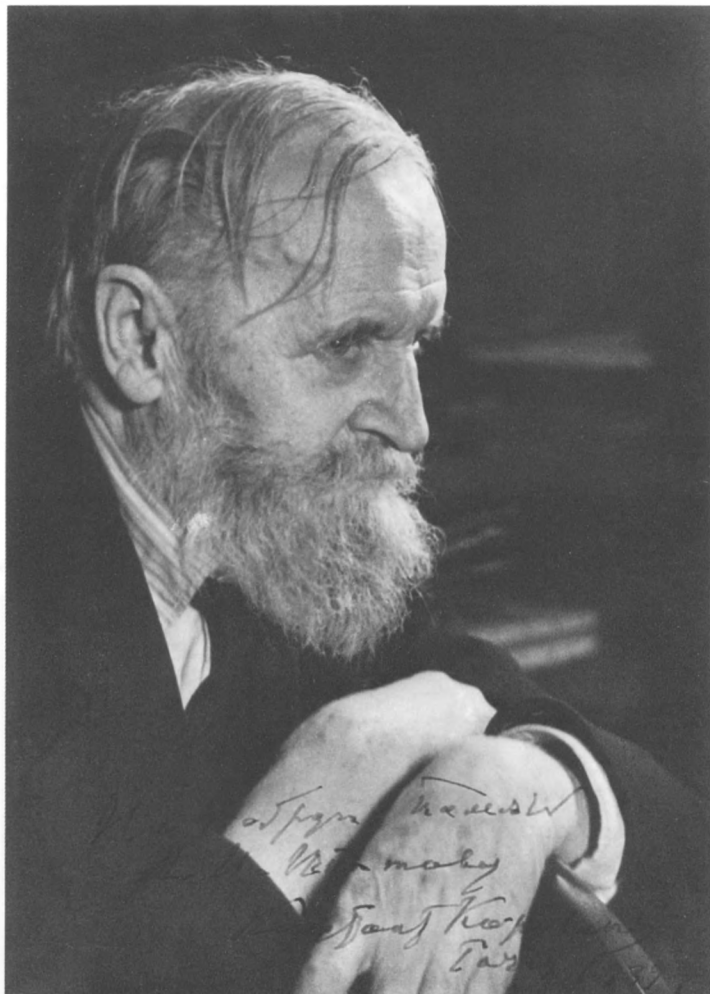
— Пошла, говоритъ, я. Домъ на Гореховой. Подъѣздъ. Около — народъ. И въ большой комнатѣ, куда пришла я, много про-

К.А. Коровин.
Париж, 1936 г.
Внизу надпись:
«Прошла жизнь,
и сразу как-то
наступила старость,
а я все думал:
вот-вот я стану писать
так, как я хочу.
1936 г., 22 октября,
Paris»



К.А. Коровин
за работой над своей
последней картиной
Париж. 1939 г.





К.А. Коровин.
Париж, 1939 г.
Внизу надпись:
«На добрую память
А.И. Юпатову.
Констант. Коровин.
Paris, 1939 г.».
Юпатов Алексей
Илларионович (1911–1975),
художник-график.
Выходец из Латвии,
из семьи старообрядцев



Могила К.А. Коровина
в Сент-Женевьев-де-Буа

С утра он в погребке отбирал бутылки иностранных вин лучших марок — шампанское, ликеры, мадеру, токай-ром и прочее — и отдавал приказ слугам зарыть их в саду в разных местах по горлышко, чтобы только виднелась свечащаяся верхушка. Бутылки зарывали за деревьями, в траве, и в других местах сада, поодаль от беседки.

К вечеру приезжали гости, все друзья. Начинался холостяцкий обед. За обедом — все новости, случаи. Патриархальная была Москва, не было особенных событий — пожар в какой-нибудь части или попался жулик, только и всего.

В сумерки, после обеда, в хороший день брали трубу охотничью и трубили сбор охотников. С терраски беседки хозяин возглашал, смеясь:

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник прибегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф-паф, ой-ой-ой,
Умирает зайчик мой.

После того и хозяин, и гости разбежались по саду. Это назывался загон. Искали спрятанные бутылки. И первый, кто находил, лалял собакой.

Трубила труба, бутылки приносили к столу, к подножью статуи Дианы, под которой стоял с гитарой старый цыган, кривой Христофор, гитарист знаменитый. Если то была бутылка с ликером допель-кюммель, Христофор запевал хриплым голосом, гости подтягивали:

Папа Пий десятый
И девятый Лев
Пили допель-кюммель
И смущали дев...

Снова гон, новая бутылка — мадера. Христофор поет:

Да здравствует мадера,
Веселие друзей.

Так пьют мадеру и прочие вина. Гости почему-то называли место у беседки Ривьерой.

* * *

Но вот сосед Шибаева, человек простой, торговый, солидный, подсмотревший из своего сада на эти охоты, задумался. Так задумался, что поехал к московскому обер-полицмейстеру Огареву и доложил, что у Шибаева дело неладно. По соседству происходит какой-то раскол или секта. Не иначе, что это фармазоны работают, потому статуя с рогами, и — страшно подумать — дьякон участвует, а собаки лают, вино ищут. Просто понять нельзя, что делается.

Огарев человек солидный — сажень росту, — тоже задумался, сказал:

— Понять невозможно. Да ты постой, ведь я-то Арсения Григорьевича Шибаева знаю лично, ведь он коммерции советник, не хвост собачий. Пустыки ты мне говоришь.

— Истинно докладываю...

— Постой, — сказал Огарев. — Я к тебе сам приеду. Сам в щелочку погляжу из твоего сада...

* * *

В саду шибаевского соседа полицмейстер сидит на корточках у забора и смотрит в щелку. Видит: правда. Протрубила труба, и все опрометью бегут. И хозяин. Ищут, нашли. Несут к столу. Стол у подножия статуи Дианы. Торжественно ставят найденную бутылку. На столе фрукты, кругом садятся в садовые плетеные кресла и в хрусталь разливают вино.

Бутылку выпили — снова гон. Вновь протрубила труба, снова ищут, бегут. Полицмейстер и видит в щелку-то, что недалеко, у куста, выглядывает из травы, поблескивает горлышко бутылки с голубым ярлыком. А мимо бежит знакомый судебный пристав Степанов, — не видит. Полицмейстер не выдержал и закричал:

— Постой! Куда ты, Петр Сергеевич? Вот она, тут, гляди!

Тот опешил, остановился и говорит из-за забора:

— С кем имею удовольствие разговаривать?

— Да постой ты, говорю... Чего, слепой, не видишь. Вон она, у куста-то выглядывает...

Судебный пристав — он, правда, был бестолков, — спрашивает:

— Да где выглядывает?

— Слепой, леший! Не видит. Вот я сейчас найду.

И господин полицмейстер изволил сам, хотя и грузно, и с одышкой, но перелезть через забор.

У Шибаева все просто ошалели.

— Скажи ты мне одно, Арсений Григорьевич, — говорит полицмейстер хозяину. — Кто такой эту охоту выдумал? Ну и ловко!

— Да вот, — говорит, — Пров Михайлович Садовский.

— Молодец, Провушка, веселое дело. Вот это весело. Ну-ка, начинай сначала...

* * *

И опять по саду побежали гости. Начался гон. Бежит и огромный полицмейстер, шпоры звенят. Нашли бутылку и лают собакой.

— Коньяк, да какой дух... Не коньяк, а солнце.

— 1811 года, — говорит хозяин.

Пел Христофор, звенела гитара. Полицмейстер сказал:

— Вот что, друзья: охота ваша дозволяется, но у этой девицы рога нынче же отколотите.

Он показал на Диану.

— Да это не рога, ваше высокопревосходительство. Это луна-с на богине Диане.

— Все равно долой, какая там богиня!.. А то, знаете, какое дело может быть? Кверху пойдет. Ведь ничем не остановить. Что бумаги перепишут, газетчики что делать зачнут. Им только попадись... Куда дойдет, и Сибирью запахнет из-за вашей Дианы... Господи, помилуй... А ну, позови-ка соседа...

* * *

Пришел сосед. Началась охота. Гости пили и веселились. Понравилось это соседу, торговому человеку, и он захотел у себя такую охоту устроить. Только жена ему сказала, что греческую девку поставить в саду не позволит.

— Ишь, она почти гольем...

И как он был патриот, то надумал поставить бюст самого московского генерал-губернатора с усищами. Охота тоже была устроена по-другому: с гостями, дамами и девицами, и с бенгальским огнем. Народ останавливался на улице, интересовался посмотреть, что в саду делается. Лазили и на забор: именины, знать. Но только хозяин вскоре получил приказ: бюст губернатора снять. Он так опешил, что не знал, что и думать. Забеспокоился, расстроился, не спал ночей, писал прошения. Что же это такое? У соседа белая баба с рогами стоит, и ничего. А ему за любовь к отечеству запрет.

После всех этих прошений и Шибаев, и сосед получили серьезную бумагу: «Охота воспрещается», а в саду каждого поставили будочника.

* * *

Приуныли именитые купцы. В сад не идут. Гостям говорят — хозяина дома нет. Шибаев похудел, сделался мрачным и уехал за границу, на настоящую Ривьеру, а в доме его поселились родственники, люди тихие, молчаливые.

На Ривьере Шибаев не повеселел.

— Рай земной, — говорили ему встретившиеся знакомые.

— Рай-то рай, и вино хорошо. Только его надо пить там, в саду у меня. Там оно как-то лучше играет...

— Да ведь море-то здесь какое!

— Море ничего, голубое. У меня в саду тоже море было, собственное. Бассейн, а в нем стерлядки... Стерлядки разварные, соус капорцы... А нуте-ка, поймайте здесь стерлядку? И объясните вы мне, почему я каждый день во сне мой забор вижу, бузину, дорожку, березину каждую? — говорил он знакомым.

— Да чего же хорошего, Арсений Григорьевич, в заборе косом, в щелях весь. Эдакой срамоты тут не увидишь.

— Да, верно, что не увидишь... Забор деревянный, кривой; а у него крапива растет, акация. А весной за ним, за садами, Москва-то река разливается... А вдали церковки блестят, далеко...

Одним словом, тосковал-тосковал он на Ривьере и снялся снова в матушку-Москву.

* * *

Приехал он в свой особняк за Москва-рекой поздно вечером. Слышно в отворенное окно в сад — кто-то вздыхает.

«Не статуя ли тоскует», — посмеялся Шибаев и пошел тихонько посмотреть. Слышит, шепотом говорят.

— Спасибо истуканше. Попил я винца здесь, э-х, вино... Шипит, сквозь тебя всего шипит...

Это дворник, а с ним будочник, оба сидят в кустах и смотрят на статую Дианы.

— Пойдем, Гаврила, — сказал дворник будочнику. — Поползаем в том краю, в уголке-то у забора, поищем, не найдем ли еще бутылку.

— Пойдите, братцы, — окликнул их Шибаев. — А ну-ка и я поищу с вами...

Москва. Апрель месяц

В окно, из своего деревянного домика в Сущеве, у большого сада, вижу заборы, акации, липы и веселую зеленую загородку большого сада особняка хозяина дома, окна которого выходят на улицу.

На дворе большая конюшня с желтой крышей и каретный сарай. Двор мощен булыжником, кое-где, по краям, зеленеет весенняя травка. Хозяин дома — человек солидный, серьезный, директор правления железной дороги, лет пятидесяти, с проседью. Глаза серые без улыбки, лицо бледное, одутловатое и как будто посыпанное мукой. Болен хозяин. Уже не ездит он каждое утро на вороных на службу. Говорят — обезножел.

Хозяин человек был неразговорчивый. Как-то, придя ко мне, посмотрел на мои картины и сказал:

— Зайдите-ка ко мне, посмотрите у меня картину Айвазовского... Волна так написана, что прямо вот-вот выльется из картины... Что вы пишете сад этот (а я писал из окна этюд), сарай тоже... Что хорошего? Какая красота — заросль? Тут будут строить большой дом, пятиэтажный. Шехтель мне проект делает. Это все этим летом срубят.

— Этот сад срубят? — спросил я, огорченный.

— Обязательно, этого запущения не будет больше. Что в нем крапивы одной — не оберешься...

И, немного кряхтя, поднялся с кресла, как-то беспокойноводя глазами в разные стороны.

— Вот, — сказал он. — Что-то ноги плохи у меня стали. Насилу хожу. Завтра Захарьина жду, обещал приехать, ассистентов присылал. Приказали, чтобы все часы в доме остановить. Маятники чтобы не качались. Канарейку, если есть, — вон. И чтобы ничего не говорить и чтобы отвечать, когда спросит, только «да» или «нет». И чтобы поднять его на кресле во второй этаж ко мне, а по лестнице он не пойдет. Вот что. Вот какой. И именем-отчеством не звать, сказали ассистенты, он не любит и не велит. А надо говорить «ваше высокопревосходительство». Вот что. А то и лечить не будет.

И хозяин с озабоченным видом ушел.

В окне я вижу сад. За зеленой загородкой, в весеннем солнце, как в бисере, вишни и их розовые цветочки.

Так радостно светят на солнце, сквозь ветви деревьев, главы церкви Утоли моя печали, и ложатся синие тени по двору, и желтые акации блестят, светясь, на темных заборах, окружающих сады.

И вот вижу я, как вошли в калитку дома молодые люди в цилиндрах, и один — небольшого роста — в шубе с бобровым воротником, в очках, с темной бородкой. Хозяин стоит у каретного сарая. Кучер и дворник выкатывают пролетку. Хозяин стоит покорно и смиренно, опустив руки и голову, а кучер надевает на него хомут, как на лошадь.

«Что за история», — думаю я, — и говорю приятелю своему, художнику Светославскому:

— Сережа, посмотри, что это делается с хозяином-то нашим! Его запрягают в пролетку.

— Пойдем, посмотрим во двор, — говорит Светославский.

Только мы хотели выйти на крыльцо, а горничная бежит к нам, запыхавшись:

— Анатолий Павлович просил вас подождать выходить, пожалуйста. Захарьин не велел...

Запрягли хозяина. Под мышкой он держал оглоблю. Захарьин шел по двору впереди. За ним — два ассистента. А потом хозяин вез пролетку по двору, заворачивая крѣгом. Захарьин поднимал руку в белой перчатке, шествие останавливалось на пять минут, а потом опять хозяин вез, как лошадь, пролетку.

Удивлялись мы, смотря в окно. Странное было зрелище.

* * *

Дня через три после весеннего дождя опять я стал писать свой этюд из окна своей квартиры.

Весеннее солнце светит, горят весело зеленые кустики за загородкой. В каретном сарае настежь открыты ворота. А в нем сидит на пролетке хозяин в шубе и меховой шапке.

Он ест апельсины, бросая корки на пол сарая. Пролетка не запряжена в лошадь. Кучер Емельян стоит около и, улыбаясь, беседует с ним. Покуда я писал этюд из окна, хозяин все ел апельсины и бросал корки в сторону. Вдруг послышался звонок у калитки дома. Хозяин встрепенулся. Поправив рукой бороду, рот вытер салфеткой. Кучер побежал к калитке отпирать. В нее вошел Захарьин и двое ассистентов.

Один из них нес большой сверток, плетенку, завернутую тщательно в розовую бумагу. Видно, что из хорошего магазина. Захарьин прошел к сараю и пристально посмотрел на хозяина. Тот с каким-то особенно виноватым видом сидел перед профессором. Ассистенты развернули привезенный пакет. В нем были большие яблоки, которые поставили перед хозяином. Тот взял яблоко и стал есть, а Захарьин смотрел на него. Потом подошел к нему близко и пристально смотрел в лицо, поднимая веки пальцем. Хозяин поворачивал голову то кверху, то книзу.

Все это делалось молча. Захарьин вышел с ассистентами и за воротами дома сел в коляску, запряженную парой вороных, покрытых сеткой.

Я вышел во двор и подошел к сараю, поздоровался с хозяином, а тот все ел яблоки.

— Анатолий Павлович, — спросил я. — Что это такое, вы то в сарае яблоки кушаете, то коляски возите?

— Что? Ведь вот, вы видали, что делается, — ответил мне хозяин. — Как лошадь, а? — пролетку возил? А сегодня утром не видали, я ведь в шесть часов вон энту бочку-то (показал он) — по двору катал. Целых два часа, нате-ка. Гимнастика, что ли, и сам не пойму. Уж очень лошадей-то неохота быть. Подумайте, ведь я не кто-нибудь, а директор правления. На праздники хотел яичко съесть, сказать должно, что аппетит-то у меня явился, это верно, так он как на меня затопает ногами да закричит: «Молчать!» Вот тут что поделаешь. Лошадей продал, жалко было. Вот ездить теперь не велит. Пешком ходить надо. Нуте-ка, к вокзалу-то, правление-то там. Хорошо, никто не знает, только вы видите. А то засмеют.

— Вот одно заметно, — говорю я. — Лицо-то у вас изменилось. Бледность пропала.

— Да ведь, должно быть, он знает. Только одно обидно. Лекарства никакого не дает. А вот за это-то самое, что бочку катаешь, пролетку возишь, что яблоки ешь, — тышши ведь платить надо. Вот что! И платишь. Что с ним сделаешь? Сказать-то ведь ему ничего нельзя...

* * *

Жаркий вечер лета. Июль месяц. Сад густо зарос зеленью. И уже не видно за ним красивой церкви Утоли моя печали.

Сижу я в саду с приятелями и вижу, как в калитку во двор пришел хозяин с портфелем под мышкой, и с ним милovidная дама в белой широкой шляпе, сбоку спускалась роза ей на лицо. Хозяин прошел по саду и остановился у капельной бочки, которая была наполнена дождевой водой. Он посмотрел в бочку, и дама рукой брызнула ему водой в лицо.

Хозяин рассмеялся.

* * *

Я прошел в сад к хозяину, сказал:

— Ну вот, что ж, Захарьин-то вылечил вас, Анатолий Павлович.

— Да, да. Совсем себя чувствую человеком. Даже разрешил мадеру с водой. Полстаканчика. Замечательный человек. Так благодарен. Совсем другой стал. Одно: на лошадь сесть нельзя. Ходи пешком; так верите ль, что я испытал: вот с Анной Федоровной, — показал он на даму, — из «Мавритании» извозчика нанял, еду, а сам молюсь. «Господи, — говорю, — не встретить бы его. Вот увидит, что будет». Гляжу, а он напротив и катит. Я-то голову за ее спрятал. Видел он меня или нет? Вот теперь вы знаете, у меня какая забота. Я у него через неделю быть должен. Так сейчас трясусь. Если видел, ведь он меня выгонит...

Я говорю:

— А что ж, сад-то когда рубить будете?

— Не буду, не велел.

— Как же, — говорю. — Что же это за лекарство такое? Ведь вы доходный дом строить хотели.

— Не велел. Вот вам и доходный дом. В другом месте, говорит, строй. А это, говорит, для дыхания вам необходимо. Вы, говорит, родились здесь, привыкли. Вам, говорит, сад необходим. Вот; что с ним поделаешь. У меня на Тверской дом есть. А он не велит там жить. Знаете ль, у меня в зале вы были, Айвазовского смотрели, так там зеленые обои были, так он мне самому велел переклеить белыми. Сам, говорит, переклеивай. А зеленые, говорит, нельзя. Вот вы и возьмите, он — профессор, все видит. Но ведь и спасибо скажешь. Другую жизнь увидал. И совсем по-другому все кажется. Ну, обедать иду. Яблоки, а мяса никакого. И, заметьте, — навсегда...

И он, смеясь, ушел с дамой.

А я сказал в душе профессору Захарьину спасибо, что сад-то, по его милости, не срубили.

В Москве были замечательные люди, ученые, всесторонне образованные люди, высокой души, большого сердца, притом оригиналы и чудачки.

На семнадцатом году моей жизни, помню я, когда была жива еще моя мать и брат Сергей, я учился в Школе живописи, ваяния и зодчества, и как-то я почувствовал, что у меня сильно заболело горло. Была зима. И брат мой Сергей пошел искать доктора. Жили мы в то время у Сухаревой башни, Колокольников переулочек, в маленькой бедной квартире, окна которой приходились вровень с землей. Неподалеку от Колокольников переулочка, у церкви, был дом-особняк. Вот в подъезде этого дома жил доктор Азарев. На дверях была прибитая медная дощечка, на которой было написано: «Доктор медицины. Горло, ухо, нос».

Азарев вошел ко мне в пальто нараспашку, во фрачном жилете, в белоснежной рубашке и белом галстуке. Огромного роста блондин, с голубыми глазами. Большие красные руки выглядывали из рукавов пальто. Войдя, он пристально посмотрел на меня, а потом на стену, на которой висели приколотые кнопками мои летние этюды и рисунки с натурщиков.

— Это ваша работа, картины? — спросил доктор.

— Мои, — ответил я.

— Очень плохо, — сказал доктор и, обернувшись, взял стул и сел против меня.

— Да, вы правы, — сказал я. — Плохо. Я не люблю их, я никак не могу достигнуть света.

— Скажите: «А-а», — приказал доктор.

— А-а...

— Громче.

— А-а, — громче повторил я.

Доктор встал, написал записку и послал брата к нему на дом принести оттуда что-то, по записке. Он сидел против меня и, молча, смотрел.

— Горло у меня болит, — говорю я, — как больная трубка, и сильно болит. Доктор, посмотрите, пожалуйста, горло.

— Да, болит, — ответил он. — И сильно, но мне смотреть не надо.

— Как же, — говорю я. — Может быть, у меня дифтерит?

— У вас дифтерит и есть.

— Вы же не видали, — говорю я взволнованно. — А может быть, скарлатина?

— У вас и скарлатина, — сказал доктор.

«Вот так история, — подумал я. — Станный доктор, не смотрит горла».

— Вы же не видели, — говорю я, волнуясь. — А может быть, жаба у меня?

— У вас и жаба, — равнодушно подтвердил доктор.

Вернулся мой брат. Принес склянку какой-то жидкости и большую связку ваты. Я смотрел на доктора с испугом. Он взял вату, смочил ее жидкостью и велел брату вытереть себе руки этой ватой. Он вытер мокрой ватой и ручки дверей. Сказал брату:

— Вам быть в этой комнате нельзя. Он болен.

И моей матушке сказал тоже, что входить ко мне нельзя.

— Сегодня ночью у него будет сильный жар.

Он подошел ко мне, поднял рубашку и приложил ухо к сердцу, долго слушал. Потом принес стол из другой комнаты, поставил около меня. Достав чистую ска-терть, постелил на стол. Сказал:

— Я через час приеду...

И уехал.

«Как все странно, — подумал я. — Странный доктор. У меня и жаба, и скарлатина, и дифтерит. Что ж, как же это?»

Ровно через час он вернулся.

Принес корзину, развернул ее, вынимал оттуда и ставил на стол: банку зернистой икры, большой кусок белорыбицы, жареную пулярку, какое-то желе, компот, биск-вит, сбитые сливки, моченые вишни и яблоки, чернослив. Он поставил передо мной тарелку — а также и перед собой, — сел напротив, положил мне огромный кусок белорыбицы и сказал:

— Кушайте.

А сам, сидя напротив меня, ел с хлебом сардинки и смотрел на меня. Я ел послуш-но, но сказал доктору:

— Я не могу, это так много. Я никогда столько не ел.

— Тсс... — сказал доктор. — Потрудитесь кушать, всё. Нужно топить печку.

— Какую печку? — спросил я.

— Печку вашего организма.

Я ел насильно икру, пулярку, моченые яблоки, чернослив, но хлеба мне доктор не давал. Я никогда не видал, чтобы кто-то так много ел, как доктор напротив меня.

— Кушайте, — все говорил он и накладывал все больше и больше.

— Но я не могу...

— Нельзя-с. Потрудитесь кушать.

И он опять накладывал на тарелку сбитые сливки. Я ел, но чувствовал себя плохо. Доктор встал, собрал со стола все, положил в корзину, потом сказал мне:

— Сегодня у вас будет температура, жар. И так как вы художник и особенный человек, то вам необходима красота. И сегодня перед вами здесь будет красавица, такая красавица! Я приеду в десять часов. Без меня ничего не пить, ни воды, ни чаю, словом — ничего.

Вынув из кожаной сумки какие-то длинные светлые ножички и ножницы и серебря-ные трубочки, он положил сбоку на столе. Я посмотрел на эти инструменты. Испугался.

Доктор уехал. Вскоре от него пришел человек, принес завернутый в бумагу бюст Шекспира и сказал:

— Доктор прислали-с. Велели поставить перед больным.

«До чего странно», — подумал я.

Я смотрел на поставленный бюст и был в странном состоянии. В ушах у меня какие-то звуки «тии-тии, и-и-и, тюи», и искорки бегут от глаз. Какая-то икра, кажет-ся, я засыпаю, забываюсь и чувствую сильный жар.

Очнулся. Вечер. Горит лампа с большим абажуром, и предо мною сидит молодая красивая женщина с белой повязкой на голове и с большим голубым крестом на

грудь, вся в белом. Она встает, приближается ко мне и подносит в ложке лекарство, говорит:

— Откройте рот.

Я стараюсь, но не могу. Подходит доктор, у которого на лбу надет блестящий кружок. Он какими-то щипчиками открывает мне рот, ставит близко лампу, держит голову и смотрит в этот кружочек мне в горло. Кричит:

— Откройте рот, больше. Говорите: «А-а».

— Не могу.

Он вставляет мне в рот какой-то шар, и я чувствую холод в горле. И куда-то падаю, забываюсь. Опять просыпаюсь. Опять мне женщина подносит лекарство, и рядом доктор.

— Какая красота! — говорит доктор, показывая на женщину.

Я вижу, как он в руках держит серебряные трубочки, как вытирает их мокрой ватой. А уж инструменты лежат в баночке. Из-за лица красивой женщины, которая близко, голубые глаза доктора пристально смотрят на меня, улыбаясь. Доктор протягивает руку с длинным ножичком мне ко рту...

Я почувствовал укол, доктор вскрикнул:

— Молодец! Болезнь кончена.

Я задышался.

— Кончена, — говорил доктор. — Какая красавица, посмотрите, ведь вы художник...

Действительно, я почувствовал облегчение.

— Вы были очень больны, — сказал он. — Но перед вами магистр наук, ассистент профессора Варвинского, кончивший с золотой медалью Венский университет.

Да, я чувствовал себя хорошо, хотя в горле еще была острая боль. Доктор убирал инструменты, завертывал в вату.

— А ведь вы не обиделись на меня, — сказал он, — когда я сказал, что работы ваши плохи...

И при этом он позвал мать и брата:

— Болезнь кончена, — сказал он им. — Но он должен лежать три дня. Не обиделся на меня. Его работы прекрасны. А у него, я понял, есть дар характера, который помог болезни: незлобливость, важная вещь в болезни.

Доктор навещал меня часто. Однажды я спросил его — что значит, что он меня так кормил насильно перед болезнью и зачем он прислал мне бюст Шекспира...

— Зачем? — сказал он. — Я у вас видел книжки — их не стоит читать. Вот кого надо читать.

«Какой особенный доктор...» — думал я.

Потом он сделался моим приятелем, и не раз я обращался к нему за помощью. Однажды, уже много лет позже, Федор Иванович Шаляпин приехал ко мне и говорит:

— Константин, у тебя есть приятель, доктор Азарев. У меня очень болит горло, я бы хотел, чтоб он посмотрел.

— Я сейчас скажу ему по телефону. Он придет.

Доктор приехал.

— Скажите: «А-а», — сказал доктор Шаляпину.

Шаляпин сказал: «А-а».

Азарев посмотрел на него и сказал:

— У вас нет болезни.

Шаляпин возмущился.

— То есть как же это — нет болезни? У меня же горло болит, я-то ведь это чувствую.

— Откройте рот, — сказал доктор.

Он подвел его к окну и, посмотрев ему в горло, сказал:

— Прекрасное горло, горло Шаляпина... Но болезни нет, — сказал он, смеясь. —

Перед вами магистр наук, болезни нет.

Он взял свою сумочку, сказал:

— Всего хорошего, Федор Иванович, всего хорошего...

И уехал.

— Это же черт знает что у тебя за доктор, — закричал Шаляпин. — Это сумасшедший.

Но тут же забыл все, и мы с ним поехали к «Яру».

Горло у него действительно не болело...

Ульян Карягин

Магистр наук, доктор медицины Николай Петрович Азарев, был известен в Москве среди простого народа, мелких служащих, торговцев, купечества. Его любили. Он принимал больных в Обществе Русских Врачей и при Красном Кресте, в лечебнице. Пациентов было много. Сотни. Он их быстро разделял по болезням. Сестры милосердия бегали кругом него, едва успевая исполнять его распоряжения.

— Удивительно, — сказала мне раз старшая сестра милосердия, когда я приехал за ним на прием, чтобы потом ехать к нему на дачу, — удивительно, как это он сразу видит, чем кто болен, и никогда не ошибается.

Тут он позвал меня к себе в кабинет, и я увидел до пояса раздетого старика с большой бородой и густыми волосами с проседью.

— Вот, не угодно ли вам посмотреть? Оригинальный больной, — сказал Николай Петрович.

Старик пристально взглянул на меня темными глазками из-под нависших бровей. Тут я увидел, что нос старика покрыт большими картошинами, они немножко качались, когда он поворачивал голову.

Азарев смотрел на него:

— Вот нос! Выросли на носу грибы. Жалуются.

— Да, господин доктор, жалуюсь, верно. Оно тут прямо, нос-то... Я ведь его вижу, а он все растет. Ведь дразнят меня. Я ведь хоша внимания не обращаю, а как вот надьсь сидел на мосту, а Василь Захаров, кровельщик, идет. А сидел я на мосту — праздник, рыбку ловил. Я-то хоша ее не ем, а для внуков, у меня ведь внучат много. А он идет по мосту и говорит: «Сидит Ульян на мосту, с картошиной на носу». Ну вот у меня сердце зашло... Вот до чего. Я встал, сила у меня есть, да в реку его и бросил. Ну чего тут... урядник... все галдят... Ведь обидно, верно. Сажать хотели в тюрьму, да спасибо протоиерей заступился. Три дня сидел. Верно.

— А рыбу вы, Ульян, не едите? — спросил Азарев.

— Нет, ни рыбы, ни мяса никогда не ем. Посты держу, только вот без вина не могу. И вот это, — вынул из кармана табакерку. — Табак... грех... Табак нюхаю и вино пью.

— А лет вам сколько? — спрашивал доктор и записал в книгу.

— Вот что, — ответил Ульянов, — про года говорить не люблю. Лет сто помню с хвостиком, а хвостика не помню.

— А что же вы больше кушаете?

— Я-то.

— Вы-то.

— Вот... Ем-то я чудно. Тоже дразнятся, не за один нос, а за еду тоже. И супруга моя третья, Прасковья Михайловна, смеется. Ем я, значит, что Господь посылает. Земляники много у нас по лесам, так когда она идет, так я ее только с хлебом ем. Много. Молочком приправляю. Огурцы тоже. Морковь. Ну, малина — на малину перехожу. Кто, когда что. А зимой кашу, горох и, главное, тюрю. Вот я тюрю делать умею... Ну и тюрю... Конечно, квас тоже первое. И вино надо при этом, обязательно. Скажу вам, утром, натошак, косушку водки прямо пью: без этого не человек. В шесть часов встаю завсегда и, значит, воду два стакана пью тоже. Зимой миску снегу, медом приправляю. В одиннадцать часов тюрю, полбутылки обязательно, а остальную на ночь, без этого мне и не уснуть нипочем.

— И давно вы так пьете?

— Почитай с четырнадцати лет. Было одна. Делянками лесными торговал, место-то у нас лесное. Слыхали, муромские леса, так это там. Деньги мы компанией большие зашивали, ну, маленько я и ошибся. Стали пить не менее, как по четверти в день. Я инда распух, да и все. Бросил... Вижу, тяжесть во мне вошла и нос начал расти, картошина-то росла по носу. Бросил, значит, и пошел одна за свежим сенцем, лошади дать. А конь у меня был сильный. Ну, наклал я в катوشку сена-то свежего, взвалил на плечи, да и хочу положить у лошади. Снял лукошко, а в нем одни черти, гляжу! Батюшки, думаю, махонькие такие, гладкие да зеленые... Я бегом домой, а у меня у крыльца плетень. В двери стучу, а сердце прямо не на месте, вот напугался. И из плетня-то двое, да ружья-то на меня поднимают: «Стреляй, — говорят, — его, носатого черта». Я вбежал в избу, да и сел за стол, под иконы. А жена-то тюри дает. Я ем тихо. Поднял глаза, а эти, двое, с черными глазами против меня и сидят, да опять на меня ружья поднимают. Батюшки... Тут не помню. Связали меня... Ну, белая горячка, говорят. Сила во мне есть. Потолок-то я разобрал — убег... Только в больнице, во Володимире, очухался.

Старик рассказывал. Азарев подошел к нему, обнял его и слушал трубочкой сердце, потом приложил трубочку к спине, хотел слушать.

Отняв трубочку, смотрел в недоумении на спину. Когда он приложил трубочку, кожа на спине сморщилась, отнял — разгладилась. Он снова прикладывал и отнимал, и кожа тряслась по спине, как у лошади, когда та отгоняет мух. Азарев сел опять записывать в книгу.

— По батюшке-то вас как? — спросил он.

— Ульянов Тимофеич, — ответил пациент.

— Ульянов Тимофеевич, я вас покорнейше прошу сделать для меня одолжение, завтра пожаловать ко мне откушать. Я буду вам очень благодарен, если вы покажете мне, как готовить тюрю, которую вы кушаете.

Пациент Ульян хитро засмеялся:

— Даже с полным моим удовольствием.

Доктор с особым вниманием провожал пациента, а вернувшись, был задумчив.

— Ну вот, — сказал он мне, — в первый раз вижу организм, на котором законы природы отразились особым образом. У него, несмотря на годы, организм юношеский и мускулы зверя. Он будет показан на докладах врачей и многое откроет науке. Удивительный человек.

Вскоре пациент Ульян готовил у доктора на даче тюрю. Азарев ел с ним.

Лидия Васильевна, жена Азарева, и я смеялись. Магистр с Ульяном поедали какие-то невозможные блюда: лук с капустой, вода, настоящая на зеленых еловых шишках, тертая сырая морковь с постным маслом. Ульян не мог смотреть, как едят мясо, котлеты или курицу, и всегда говорил:

— Уж увольте, — позвольте выйти... Эх, грех какой.

И уходил из-за стола, крестясь.

Часто Ульян уверял нас, что никогда не испытал в жизни никакого горя.

— Слышите, — говорил мне доктор Азарев. — Вот откуда долголетие... Испытание горя рождает все болезни... А он никогда не был ничем болен. Жил в лесу, торговец лесом. Лесной человек. Он ни за что не хочет сказать, сколько ему лет. Мнительность. Он и паспорт потерял нарочно. Не хочет знать времени, огорчаться старостью.

— А когда, — говорил Ульян однажды Азареву, добро и хитро улыбаясь, — занемогу, я дождика жду. Разденусь, да и выйду на дождь. Под капель становлюсь. Вот помочит гольем-то меня, как рукой снимет. Ведь это нарочно дождик сделан для людей, чтобы их гольем мыть. Польза большая. Особенно в лесу хорошо купаться этак... А зимой снегом трусь.

И вот через несколько дней увидел я в саду на даче Азарева, как стоят под летним дождем два человека, доктор и пациент, под самым ливнем.

— Вот нос-то не сымает мне, — говорил мне Ульян. — Жилы, говорит, от носу-то прямо в сердце идут. Нельзя, говорит, Ульян, отымать, а то опять похорощеешь и на женский пол смотреть зачнешь. Ишь какое дело-то. Помрешь, говорит, тогда. Кто знает, говорит, может, погонишься за которой и помрешь... Это верно. Куда уж. Неча говорить. Не идет давно мне боле на ум женский пол. Все, знать, через нос.

* * *

Пример Ульяна подействовал, как видно, на магистра наук Азарева.

Летом он стал поедать громадное количество земляники, малины, вишни, яблок. Я ему как-то сказал:

— А ведь это от Ульяна у вас.

— От Ульяна, — согласился он. — Это замечательный человек. Инстинкт гигиены. Он повлиял на меня: я не ем больше мяса, он прав.

— А где же он сейчас?

— В Киевскую Лавру уехал, за просфорами. На зиму просфоры привезет. «Надо, — говорит, — их размачивать и зимой есть. Святость в них большая, и человеку хвори не будет...» Вот вы подумайте, какой особенный Ульян. Лесной человек.

Прошло еще два года. Ульян заболел воспалением легких.

В Москве, на Живодерке, в своем деревянном доме лежал он в жару, бредил и губами жевал край одеяла.

Азарев приехал к нему со мною. Он сидел около него до вечера и давал ему лекарство. — Выздоровеешь, Ульянов, — говорил Азарев. — Помяни мое слово, выздоровеешь. И Ульянов, действительно, выздоровел.

Но через девять месяцев Ульянов захворал снова. Азарев не отходил от него и на столе заводил музыкальный органчик, который привез с собой, но Ульянов больше не выздоровел. Лесной человек отошел в вечность ста одиннадцати лет...

Московская весна

Весна. Радостно сияет солнце. Московские крыши очистились от снега. По желобам бежит вода на мокрую мостовую. Синие тени ложатся от домов. Греет весеннее солнце. Весело освещаются вывески, синие, голубые. Горят на солнце зеленые и красные крыши, блистают золотые маковки церквей на прозрачном небе.

Москва к весне изменилась, освежилась, повеселела. Грачи кричат над высокими деревьями садов. В Охотном ряду толкотня, рынок завален разной снедью: куры, гуси, поросята, ветчина, рыба, икра, бочки грибов. Пахнет рогожей, рыбой, хлебом, смазными сапогами. Разносчики с мочеными грушами, квасом, извозчики едят с лотков грешники, посыпая солью. Гимназисты в шинелях со светлыми пуговицами, за спиной ранцы, идут из гимназий.

Скоро Пасха.

Таинственно и грустно звонят колокола церквей.

* * *

В весне есть ожидание обновления жизни, таинственное действие радостного зова, живого, отрадного, какого-то счастья, дружбы, любви, дороги дальней, нечаянной радости. Каждый день весны есть какой-то праздник души. Человек делается добрее, веселье наполняет душу. Даже на кладбище делается веселее, и думается: «Вот и я умру, а как-то не может быть, как же это так, весной-то». Весной хочется жить.

Весной даже умники улыбаются. И прелестные женщины весной еще прелестнее.

Пахнет и дышит земля. Леса оживают и льют свою свежесть, в полях цветы светятся, как крошечные солнца.

* * *

На Кузнецком Мосту, одетые в длинные пальто в талию, в шелковых цветных фулярах на шее, в лощеных цилиндрах на голове, в перчатках, играя палками с золотыми набалдашниками, фланируют рядами актеры Малого и Художественного театра.

Отдельной группой идут певцы Императорской оперы, с ними еще певцы, прозванные «зиминские ребята». Актеры почему-то их прозвали «без пяти минут Шаляпины»...

У певцов поля шляп с одной стороны загнуты на глаза. Певцы иначе одеваются, чем драматические артисты, более ярко, как-то под итальянцев. Говорят громко, и часто слышатся слова «бешеный успех, дикий восторг». Вся эта компания направляется в кондитерскую Трамбле кушать сбитые сливки.

По Кузнецкому Мосту мчатся в лощенных пролетках и колясках, запряженных рысаками, богатые граждане — московские купцы. Все знают друг друга. Актеры изящно раскланиваются со знакомыми, приветливо улыбаясь, поблескивая глазами.

— Ты видишь, видишь, — говорит помощник режиссера Лаврушка, — Батрушин-то один едет. Рожки получил — оставила. Рожа-то какая кислая. Видишь?

— Ха-ха-ха, — смеялся другой. — А видел, какая у нее нитка жемчуга? Такая только в Абиссинии одна, другая у сиамской королевы, а третья у ней.

Блестят зеркальные стекла магазинов Кузнецкого Моста. В витринах, как бы расплавленные весенним солнцем, сверкают драгоценности. Артисты останавливаются.

— Видишь, цветные камни какие, — показывает режиссер в окно на витрину Фаберже. — У Ленки-то рубин... Вот рубин!.. Как кровь! Это ему в Баку при мне поднесли. У Чилипочули. Оказывается, это первый в мире рубин. Счастье. Понравился.

— Да неужели? — удивляется другой артист. — Как же это? Я вчера его видел. В карты играли, никакого рубина не было.

— Он заложил. И представь: двадцать пять рублей дали только. Никто не верит, что настоящий.

— В цветных камнях никто ни черта не понимает, это верно, — говорит другой актер. — В Казани я играл Кина. Ну, понимаете, бенефис... Мне подносят сапфир шах Насреддин. Я посмотрел: велик очень, не обратил внимания. Шестьдесят карат. Думаю, в чем дело, какая-то пуговица. Странный перстень. Оказывается — сапфир. Что стоит — не знаю. А потом мне и говорит один ювелир, на пароходе встретил, ехал по Волге: «Уступите, — говорит, — мне». Я говорю: «Извольте». — «Сколько?» А я, знаешь ли, не знаток, сказал: «Не знаю. Ну, как вы думаете, что стоит?» А он и говорит: «Хотите двести тысяч?» Вынимает деньги и кладет на стол. Представь мое удивление! Ну, Волга!.. Какие-то люди, карты.. Ну, понимаешь, я играю и проигрываю!

— Все? — спрашивают друзья.

— До копейки! Представь, пароход был куплен ими, все проследили, гнались за мной и обыграли... Сапфир стоил двенадцать миллионов. Одна шайка работала.

— Это что, — говорит толстый актер. — Вот я три тысячи шестьсот верст по шпалам шел, и не потому, что мне денег не отдал антрепренер, нет, а по внутреннему убеждению... Помните, какой я был толстый, весил одиннадцать пудов. А в Сызрань, когда пришел, прямо на базар, взвешивают меня в лавке хлебной — три всего пуда. Каково! Играл жен-премьера. Юноша! И как играл. Театр дико выл. А потом вскоре, черт его знает отчего, неизвестно, через месяц опять девять пудов. В чем тут дело?

На Кузнецкий заворачивает коляска. Толстый кучер серьезно держит на вожжах рысака. Именитый фабрикант едет с актрисой — роскошен ее наряд, талия, как у осы, блестят на шляпе, отливая золотом, перья паради. В глазах актрисы — кротость небес, она говорит нежно:

— Дорогой, когда будете президентом Московской Автономной Республики, не забудьте меня.

— Никогда, — отвечает с хрипкой в голосе Савва Матвеевич. — Я прикажу для вас создать театр. У меня вот где будут все, — показывает он, сжимая в кулак руку.

— Ах, какая у вас маленькая рука, я и не замечала раньше. Дайте руку... Ах-ах... ну посмотрите, на ней веснушки. Вы как весна... Вы молоды, вы еще цветете... Милый... — говорит артистка.

Коляска останавливается у Фаберже. Актриса нехотя перебирает ожерелья и диадемы.

* * *

Весенние сумерки, я вижу из окна, как далеко, за вокзалами, розовеет в вечерней мгле лес Лосинога Острова, Сокольники.

— Какая погода, — говорит, входя, Василий, рыболов и охотник. — Что сейчас на реке делается... Дома нипочем не усидишь. Вчера в Хорошеве ночевал, на реке, что птиц летит, кричат, поют все, значит — разговаривают. Рады весне-то. Рады, что в Расею прилетели. Воля... Хорошо у нас теперь.

— Поедьте на Чермянку, в Медведку, — предлагает мне Василий. — Ай в Кузьминки. В Архангельском тоже хорошо.

В душе быстро проходят и наполняют радостью сердце — берега, лес и овражки песочной Чермянки.

— Едем, — говорю я Василию.

* * *

В ночи мы уже идем от Всехсвятского лесом. Кричат в болоте без умолку лягушки, трещит коростель. Несказанная красота входит в душу. На берегу небольшой речки зажигаем костер, а за кустами, на зеленом небе, светится серп молодого месяца. Тишина...

— Эка ночь! — говорит Василий, — отрада какая. А меня-то Машка бросила. Вот ругала. «Бродяга ты, — говорит, — бездельник, тебе бы только шляться». А на руке у ней, гляжу, — колечко с бирюзой... Пушай... Ей плевать на то, на отраду-то весеннюю. Ну, меня теперь не найдешь. Потому верно, что я бродяга. Говел, говорил, что грех во мне силен: бродяга я. Поглядел на меня батюшка, старичок, и говорит: «Ступай, — говорит, — что бродяга — не грех, а главное, не предавайся злобе. Более ничего. Вот тебе...»

Я слушаю Василия, и, кажется, слушает его и серп молодого месяца, и лесная тишина.

В светлый канун

В холмистых отрогах Валдая, под горой, в еловом лесу, у берега большого озера, стояла деревянная церковь. Тихий, мирный край! Вечер. Не колыхнет большое озеро. Тишина. Вдали, за озером, полоска другого берега, и ровно, рядами, видны избы деревень. На гладкой поверхности воды всплескивают большие рыбы. А по лесному берегу, слышно, бурльчит тетеревиный ток и кукуют кукушки.

Сегодня пасхальная заутреня. Я с друзьями приехал святить кулич и пасху. Но покуда, до заутрени, приятель мой архитектор Василий Сергеевич сидит в челне,

черпает деревянным ковшом воду со дна и выплескивает за борт. Он посмотрел на озеро и сказал:

— Челн-то старый, протекает... Обязательно утопимся. Мы с вами поедем, Константин Алексеевич. А ты, Николай, оставайся. Посиди здесь. А то втроем ехать невозможно — утопимся.

— Ну что ты, Вася, челн большой, — говорит другой мой приятель, Николай. — Я тоже поеду. Я очень люблю на лодке кататься. Сейчас тихо, ничего, не утонем.

— Не угодно ли вам — на лодке любит кататься. Где же это ты на лодке катался?

— Я-то, брат. Э-э... Всегда на Чистых прудах в Москве катался. Там и с Анфисой познакомился. Она институткой была тогда. Хорошенькая какая... Я и втюрился.

Сказав, Коля грустно пошел по песчаному берегу и запел:

И весна мне не на радость,
Коль зима в душе моей.

— Смотрите, смотрите, — закричал он, — какая рыба вон выскочила вот сейчас. Вот поймать бы!

Наловив маленьких рыбок-живцов, мы укладывали в челн кружки и удочки, собирались поймать судака. Мы все поместились на челн. Я сел на корме сзади, оттолкнул челн веслом, похожим на лопату, и медленно отъехал от берега.

Челн был зыбкий. Тихо правя, удалялся я от берега. Коля, сидевший впереди, запел:

Не влюбляйся в черный глаз,
Черный глаз опасный,
Ты влюбляйся в голубой,
Голубой прекрасный.

И вдруг, неизвестно почему, нос челна погрузился в воду вместе с Колей и всеми нами. Вода холодная, но мелко: выше живота. Мы ошалели. Дно челна оказалось в стороне. Быстро мы шли к берегу. Вода — как лед. Становилось глубже. Архитектор кричал на Колю.

— Из-за тебя все. Страстная неделя, канун праздника этакого, а ты такие песни поешь! Вот и опрокинуло.

В это время ударил колокол церкви.

Озябшие, мокрые, мы побежали к погосту, пошли в первый дом.

В коридоре нас встретила с испугом девушка, дочь дьякона.

Мы стали объяснять, что вот на озере опрокинулись, хотели рыбу ловить. Она смотрела на нас с удивлением. Вышла дьяконица.

— Войдите, войдите, скидавайте сапоги-то. Вот беда какая... Хорошо, не утопи, господа. Отклева вы? Отец дьякон уж в церкви давно. Вот перемениться в чего. Валенки найду.

В маленькой кухне мы снимали сапоги, полные воды.

— Вот какой-нибудь дифтерит из-за тебя получишь, — говорил сердито архитектор Вася Коле.

— Дифтерит, не дифтерит, — сказал Коля, — а вот зубы у меня что-то занули. Что бы теплого выпить... Ух, озяб...

Дьяконица поставила самовар.

— Погрейтесь здесь, у печки, — говорила она. — Ишь грех какой! Вы уж сами здесь похлопочите, мне в церкву надо.

— Благодарим, матушка, нам бы выпить бы тепленького.

— Вот я все поставила вам, а выпить-то нечего: вина у нас нет в заводе.

— Матушка, у нас возчик стоит у церкви, там у него кулич, пасха: мы святить приехали.

— Ничего, господа хорошие, освятим. Вот только вы-то не простудитесь. В студеную воду этакую попали, грех какой!

И она с поклоном ушла, оставив нас на кухне.

Мы разложили на печке мокрые штаны и сапоги, взяли висевшую шубу и, сидя на печке, покрыли ноги.

— Это верно, что грех, — сказал Василий Сергеевич. — И всегда, когда с тобой поедешь, всегда такая-то история выходит. Поешь под самый праздник разную ерунду.

— Ну нет, уж это не от того, — говорит Коля. — Это авария. Аварии всегда бывают, с кораблями даже...

— Ишь беда с вами какая, — сказал тут наш возчик, Иван Захарович, входя на кухню. — Как это угораздило. Ведь хорошо, что на мели, а то озеро глубоко. Хозяйка мне ключ дала. Печку затоплю: одежину высушить надо, а то утреню-то пропустите. На этакой праздник неудача вышла.

— Челн худой, — говорит Коля.

Мы переодевались в принесенное сухое платье: плисовые штаны, валенки. Рас-тапливали печь хворостом, возчик Иван Захарович, смеясь, рассказывал:

— Одна со мной эдакое дело было: чуть не утоп. И тоже под праздник. А за что? Ловили рыбу на озере этом, только повыше, увидели, лец идет. «Давай перекинем сеть, — говорит мне земляк, — леца-то возьмем». А я и скажи: «Хитер лец-то, черт его возьмет». Вот как нас сразу взяло, да и перевернуло. А там глубина! Вот воды нахлебались... Плыли, за челн держались. Ну, ветерком кое-как к берегу и пригнало. Вот молились... Ау... Бросил я чертыхаться на воде-то.

Василий Сергеевич пил горячий чай и говорил Коле:

— Вот, вот, видишь. Верно он говорит. Из-за тебя все. Песенки твои! Глаза черные, голубые... Все — бабье... Вот и искупались.

— Да ведь я же не чертыхался, — оправдывается Коля робко.

— А про баб на озере еще хуже петь.

— Это верно, — говорит возчик. — Про баб на озере... греха не оберешься: тоже сковырнет.

Высохнув, переодевшись, мы вышли из дома.

Была тихая звездная, весенняя ночь. По сырой дорожке мы шли к церкви. Сквозь ветви радостно мерцали у паперти восковые свечи. Пахло весной, лесом, землей.

Навстречу из церкви выходил священник, выносили хоругви и прозвучало «Христос Воскресе!».

Освятители кулич и пасху, познакомились с дьяконом, разговлялись у него. Дьякон был большого роста, веселый человек.

За трапезой он говорил Коле:

— Ежели на челн садишься, бросай, Миколай Александрович, помыслы о грехах. Про женщин, говорю. Как на воду поехал, оставляй их на берегу, прямо забудь.

— И я ему говорю — брось петь, а он еще что — басом заведет «целовался да с твоей жено-о-о-й».

— На воде? — спросил дьякон.

— На воде.

— На озере?

Отец дьякон помолчал, пристально посмотрел на Колю и, подняв палец, добавил:

— Перековырнет. Обязательно!

Любители живописи

Помню, в России, когда наступали теплые дни весны и лета, мои приятели-художники всегда писали в природе с натуры этюды, а я писал и картины: пейзажи, цветы, фигуры среди окружающей природы. Проходящие и проезжающие мимо интересовались посмотреть, что это делает человек, сидящий под зонтиком, — перед ним белый холст, который он замазывает красками.

Подходили, долго смотрели, а многие останавливались передо мной и так пристально, прямо в упор глядели на меня. Бывало, я просил их: «Посторонитесь, если можно. Вы загораживаете, я это вот место списываю».

— А чего это? — спрашивали озабоченно и угрюмо.

— Планты снимает, знать, машина здесь пойдет?

— Куда пойдет-то?

А то мужики говорили тревожно, что, знать, землю назначено отбирать.

Но были и такие, более сметливые, которые объясняли другим:

— Чего планты... Не видишь, нешто, бугор списывает. Вот кусок-то желтый — песок. А это вот лес. А наверху небо... Вишь, тучи идут.

— Чего бугор... А почто? Станет он бугор списывать, на кой он ему, песок-то... Это, знать, он лошадь сымает, Сергеева жеребца.

Смотрели...

* * *

Вот теперь, здесь, в половине мая, после дождей и весенних холодов, когда заблестело приветливо солнце, поехал я в Сен-Жермен.

Я видел там красивое место и запомнил его. Поехал.

В зеленом овражке, от дороги прошел тропинкой вниз и нашел место, где устроился писать.

Невысокие стены каменной загородки, за которыми возвышается прекрасный сад с чудесными формами дерев. Сад в молодой весенней зелени. Узоры ветвей кладут голубые тени на светлый домик в саду, на его пестрые жалюзи. Эти тени среди блеска солнца весело играют переливами фиолетовых тонов. А над домом клубятся облака на матовом синем небе.

Вот это-то я и начал писать, торопясь поймать облака и разницу цветов дома и зелени.

Трудно. Все быстро меняется, а формы так тонки, требуют внимания. Я писал широкими кистями облака и, торопясь, уже наметил красноватую калитку и часть зелени, когда увидел, что слева, с большой дороги, по тропинке спускаются ко

мне два типичных француза, оба небольшого роста, хорошо одеты, в синих костюмах.

Оба кавалера средних лет — у одного шляпа канотье — подошли ко мне и сели сзади на травку. Я писал, они молча смотрели.

Вдруг один из них заговорил... по-русски.

— Смотри, что делает. Дома-то надоело, так наружу вышел.

— А что он пишет? Не поймешь.

Помолчав, другой ответил:

— Как — чего пишет, не видишь, что ли: пароход. Вишь, труба красная и дым идет.

— Как — пароход. Чего же?.. Здесь и реки нет, и воды никакой.

— Это верно, воды нет. А ему что. У него синяя краска наготове, он реку-то дома накатает!

— Не поймешь. Тут ведь это что?.. Непонятно... У нас, бывало, помню, ясней писали. Все видать, а здесь, у французов, чего это: намазано туда-сюда. Это всякий может. Дай мне краски, и я этак нашпарю... У нас придешь, я помню, на Передвижную, все отделано как есть. Забыл я, как художник-то этот? Картина большая такая, называется, кажется, «Домашний портрет», там была барыня написана, али девочка, у ней на руках кукла. Кукла хорошая, большая. Так на подошве-то у куклы номер вдавленный — так вот прямо как живой написан. Я и близко смотрел, и издали... Удивление, до чего верно: тюелька в тюельку. Добросовестность была. А это чего? Понять невозможно. Смотри, смотри, ишь мажет. Наскоро работа. Не старается ничего. Не может гладко-то выводить.

— Чудно ты говоришь, постой, — перебил его приятель. — Я ведь в живописи понимаю кое-что. Самую эту декотировку он будет дома делать. Ведь это видать: он эту местность списывает, и непонятней, нарочно чтоб было. Потому картина, которая в глаза лезет, и все понятно — цена не та. Это всякий знает... Тут, брат, нужно с заковырой, знатоком быть, чтобы разобраться. Дело это трудное. Я видал картину — тоже не поймешь ничего, а хорошо. Справился, цена-то — ан, на-ка, тридцать тысяч. Вдвое меньше этой, ей-Богу. За что-нибудь берут же деньги... А вот что с Владимиром Григорьевичем недавно было. Купил он, значит, квартиру. Квартира во втором этаже. Хорошо... Шесть комнат, два кабинета да туалет, ванна. Ну, отвалил денег кучу. У него хлопок где-то застрял, он за него деньги-то и получил. Да ты знаешь его. Он в Москве с Пекиле жил. Она тоже вроде иностранки... У ней в Ялте дом был. Женщина серьезная, толстая... Ну, он на ней и женился. Женщина умная и во всем понимает. И в живописи тоже. Ну, квартиру-то обставлять она взялась. То шкаф купит, то кушетку. Мебель хорошую покупает. А в большой гостиной, над диваном, он решил картину повесить и сам поехал покупать. Купил. Рама золотая, шикарная. Картина большая. Получил я письмо, пишет, приезжай. Ну, я приехал, он мне и говорит:

— Вот что. Ты ведь в живописи понимаешь, я помню, ты на выставки ездил, картины покупал. Так вот скажи, какая штука вышла. Купил я вот эту картину, хочю Генриетте угодить. Но вот какая история: как вез я ее из магазина, привез домой, а где у ней верх и где низ, забыл дорогой. Вот скажи, что это будет? Вот это голубое — небо, что ли?

Я смотрю на картину, понять ничего невозможно, спрашиваю его:

— Что такое изображает, не пойму?

— Как — не поймешь? Мать кормит ребенка.

— Да неужели, — говорю. — Ноги видать несколько, а ребенка нету.

И говорю ему:

— Зачем же вы, Владимир Григорьевич, такую картину берете, вам бы попонятнее купить.

А он в ответ:

— Вижу, много ты понимаешь. Мне, брат, показывали картины разные. Только эта, говорили, лучше. За нее я шесть тысяч отдал, а через год-два шестьдесят стоить будет. А потом может до шестисот долезть. Мало ли — что неясно. Жаль, что вот ребенка не видать. Ее лучше просто называть «Мать».

— Вот, стой, — я говорю. — А подпись-то слева вбок: это, значит, низ.

Он так и повесил ее на стену, в таком положении.

Только потом он опять мне пишет: приходи обязательно сегодня обедать.

Ну, я приехал. Генриетта Ивановна сердится. А он ей прямо показывает на меня.

— Вот это он научил меня, — говорит, — повесить так.

А она мне:

— Посмотри, мой-то дурака картину верх тормашка повесил. С ума сошла. Это вот мамаша наверху, а здесь он внизу лежит. Совсем не карашо.

Ну, через недельку гостиную обставили и назначили заседание деловое и еще какое-то Объединение. Только заседание, значит, идет, а все на картину глаза пялят. Тот говорит одно, другой — другое. Спорят. Ссорятся даже. А один присяжный поверенный, знаток в картинах, хвалит картину. Только, говорит, не так повешена. Вот тут и разberi. Ужинали, весь вечер про картину говорили.

— Если, — говорит один, — вам картина не нравится, давайте меняться. Хотите, я вам, — говорит, — за нее другую дам: у меня есть картина — «Буланже верхом» или Айвазовского — корабль тонет...

Согласился он меняться, взял Буланже — верхом едет. До чего же рассердилась Генриетта Ивановна:

— Не хочу, — говорит, — чтоб в квартире у меня на лошадях скакали.

* * *

Тут другой перебил приятеля:

— Смотри-ка... Видишь — ты говорил — пароход... Ведь это он дом соседний списывает. Вон, видишь, — калитка. Все ясно становится.

— Ну, дом как дом. Только то скажи, зачем это он дом списывает, кому такая картина нужна? Кто купит? Мне даром не надо. Зачем я на чужой дом буду у себя в квартире глядеть. Надо ему сказать. Зря время теряет...

— Ну что ты, разве можно. Ему заказали, наверно, а то разве он стал бы... Походи, за картинку-то содрал немало. Гляди-ка, он старый. Что ты его учить лезешь.

— Давай спросим у него, что стоит картина.

— Что ты, неловко.

— Картины, картины... Ну их к бесам. Скоро двенадцать... Поедем-ка завтракать. Икорки спросим.

— Помню я, у меня была картина Волкова. Эх! И картина хороша. Вот в такую пору, вроде как по весне... У окошка сидит такой человек, вроде как тоже не поймешь, кто — но сурьезный из себя. Сидит один в трактире и гольем водку пьет, закуски никакой. Картина называется «Не дело». Так я ее в конторе повесил, где

счетная часть была, чтоб понимали, что можно, а чего нельзя... Без закуски. И всем картина эта нравилась, до чего...

— Смотри-ка, совсем ясно становится. Ишь ты, как он это кисточкой-то. Только одно, по-моему, глаже писать надо. А что, если ему сказать. Скажи-ка ему, ты умеешь.

— Да что ты! Он еще к черту пошлет. Художники — ведь они народ особенный. Не от мира сего...

— Ну, пойдем; есть хочется.

— Смотри, видишь, как он живо небо-то перекрашивает. Кто знает, может, он какой-нибудь не настоящий.

— Настоящий, не настоящий, а я вот что думаю: в свободное время я тоже куплю все эти инструменты, краски, кисти, масло, холст и накатаю картину...

И любители живописи отравились завтракать.

Белка

Жизнь прошла, пролетела... И мелькают в душе воспоминания. Незначительные, простые, но милые. Впечатления прошедшей жизни. Там, в России, они казались окружающими пустяками. Но почему-то память о них радует, радует так светло...

* * *

Жил я далеко от Москвы, в глухом месте, у небольшой речки, за которой начинался огромный бор, Красный Яр. Речка Нерль была маленькая, как ручей, она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в камышах и кустах и переходя в большие плесы, которые лежали по низу луга, у самого леса.

С горки были видны эти большие, как бы лежащие, зеркала воды, в которых отражался огромный лес. По обрывам был желтый песок. Зеленый и серый мох густо и сочно лежал у больших корней сосен. Иван-чай стройно высился, покрытый лиловыми цветами.

Какая красота была в этих бережках и в этих светлых струях вод кристальной речки.

В солнечные дни отражения огромных сосен и елей в воде были веселы, радостны, мощны.

Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над камышом. Ласточки со свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду.

Каким разнообразным пением птиц, какими звуками был полон красивый бор. Цветами был покрыт луг, и мне казалось, что это рай.

Я думал: «Какой же может быть рай другой?» Это и был рай.

* * *

А в бору жил мой приятель, прелестный человек, лесничий. Жили там и медведь, изящнейшая рысь, чудной барсук и мелкие зверьки — заяц, белка, ёж.

Вот эти-то три последние зверя особенно трогательно вспоминаются мне. Они шутя сделались моими друзьями. Их ум, душевные особенности, любовь и сердце меня поразили, когда я их приучил к себе.

Однажды на базаре невзрачный мужичок, выйдя из трактира, подошел ко мне, посмотрел серыми глазами и сказал:

— Барин, слышь, хочешь, я тебе живую игрушку уступлю. Увидишь, до чего занята. Только дешево не отдам.

И он из-за пазухи вынул желтую прехорошенькую белку. Она большими острыми круглыми глазами смотрела на меня.

Он дал мне ее в руки. Она преспокойно сидела.

— Ручная, брат, белка... Вот до чего ласковая. Спасибо скажешь. Игрунья... От тебя не уйдет. Орешками кормить будешь. А пусти, так она сама прокормится, к тебе придет. Этакой умный зверь. Вот подумай — а лесной, дикий. Я ее ведь тут недалеко нашел. Из гнезда ушла маленькая. Знать, мать-то коршун взял. Я люблю с ними заниматься, ну и привыкают. Только дорого, менее красненькой не отдам.

Я вынул десять рублей.

— Хорошо, спасибо. Хороша белка. Какая большая.

Крестьянин вынул платок, в один край завязал деньги в узел. Отдал мне белку.

— Барин, — сказал он неожиданно. — А ты знаешь, она понимает, что я ее продал тебе. Ты ее не обидишь, от кошки убережешь. Эта белка радости много дает. Не поймешь, а вроде как любовь в ей есть. Поверила человеку. Значит, не боится и благодарит. Бери ее, клади в карман, скажи: «Умри» — и носи домой. А за красненькую спасибо... Деньги, конечно. Я как тебя увидал, намекнулось мне, что ты ее купишь.

Я посадил белку в карман.

— Умри, — сказал крестьянин и засмеялся.

И белка на самом деле свернулась, как бы умерла.

Я пошел в лавку, купил орехов.

В трактире белка сидела передо мной и с изумительной красотой, держа в лапках орех, обтачивала его зубами, достала зерно. Потом быстро, обжевав по мне, села на плечо и грызла орех. Я взял ее, посадил в боковой карман, сказал: «Умри», и белка спряталась.

В моем деревенском доме, где была охотничья собака Феб, я показал белку. Феб немножко понюхал, не обратил внимания, и я выпустил ее на стол. Она, быстро прыгая, взгромоздилась на занавеску окна. Окно было открыто, белка пропала за окном. Я выбежал на террасу, пошел к окну — белки нет... Пропала. Я всюду смотрел, на деревьях, вдруг сзади белка села мне на плечо. Я с ней опять пошел в дом.

На большом столе у себя я прибрал все, так как боялся, как бы она не наелась красок, не попала бы лапками в палитру. Сестра моя и гостивший доктор изумились привязанности белки, хотели погладить, но она не далась. Это было удивительно. Неужели правду сказал крестьянин, что она понимает, что она продана мне, что я ей хозяин.

Когда я лег спать, белка от меня не отходила. Я ей сделал гнездо; взял корзинку, наложил сосновых веток и сена, но она не желала быть в корзинке. Она спала со мной. Когда я ее хотел тихонько покрыть маленькой подушкой, она во все глаза смотрела на меня, и сделать это было невозможно. Она с быстротой молнии отскакивала в сторону.

Оказалось, что это игра. Я увидел, что это ей нравится: она нарочно садилась мне на грудь и делала вид, что не смотрит. Накрыть ее подушкой было невозможно. Я видел, как это ее веселит. Я ее сажал на руку, хотел как бы прихлопнуть другой рукой: невозможно, она уже была у меня на голове. Разыгралась. Но когда я ей говорил: «Ну, довольно играть, спать, умри», белка засыпала у меня на плече.

Я боялся ее во сне задавить, но, оказалось, что я напрасно беспокоился, так как она отлично со мной спала. А утром она выбегала в окно в огромный бор до вечера. Какая странность, удивлялся я, зачем же она возвращается. Как это странно и как удивляло меня и удивляет сейчас. Она привязалась к человеку какими-то неведомыми законами любви.

* * *

Но вот, в начале августа, белка из лесу не вернулась. Я очень страдал и думал, что ее застрелили. Охотник Герасим, мой приятель, сказал:

— Кому стрелять... Она желтая, никому не нужна. Я их зимой бью. Желтую не купят.

Я в тот день сидел на террасе, где был накрыт чай, со своими приятелями. Вдруг появилась моя белка. Приятели удивились. Она бегала по столу, опустила лапку в варенье, попробовала его, потом опять спрыгнула с террасы, побежала на беседку, прыгнула на сосну. Тут мы увидели, что там, вытянув шейку и смотря круглым глазом, робко притулившись, сидит другая белка. Моя белка была около нее, они сидели вдвоем. Потом другая белка живо пропала, прыгая с дерева на дерево. Моя же белка спустилась, прыгнула через собаку Феба, села ко мне на плечо.

* * *

Наступили дожди, стала непогода. Пожелтели листья берез, и опали осины. Оголились леса. Белка редко уходила из дома. К Покрову я уехал из деревни в Москву.

Я повез ее в клетке, которую купил в Москве. Клетка ей не понравилась, так что я ее вез часть пути в кармане. И всю зиму в Москве жила она со мной.

Когда я поздно возвращался с работы, из театра, она знала стук калитки, как я отворяю, и с невероятной радостью встречала меня в коридоре, бегая по мне кругами. Ждала, когда я выну ей кедровые орехи или какой-нибудь гостинец.

Странно, что только доктору, которого видела у меня в деревне, позволяла она погладить себя; к другим не шла. Она не приставала, не просила, не надоедала, но ей нравилось, что ею любовались. Как странно, какой меры и такта был этот миленький зверек.

Шла долгая зима. Я выходил с ней гулять на двор, где был сад. Она забиралась на деревья, но, должно быть, привыкнув к теплу дома, гуляла недолго и лезла ко мне в карман.

* * *

Ранней весной я уехал в деревню.

В первый же день белка ушла и не возвращалась неделю. Потом объявилась и привела с собой другую белку, от которой беспрестанно возвращалась домой и уходила опять. Она возвращалась все реже. Моя белка была самка — кавалер ее победил. Белка пропала.

Опять осень, и пурга первого снега. Уныло на душе. Серое небо. Дымят вдали черные овины. Тетушка Афросинья рубит капусту. Солят на кухне грузди...

Я взял ружье и пошел по лесной тропинке к реке. Стая мелких птичек, чижиков, осыпала ветви оголенных берез. Улетают от нашей суровой страны.

Вдруг на меня прыгнула белка и весело забегала кругом. Она уже посерела. Я так обрадовался. Она прыгнула и взбежала на сосну. Я взглянул кверху, увидел, как шесть белок прыгали с ветки на ветку. Я посвистел, на зов она опять вернулась ко мне.

— Прощай, Муся. Твои дети, должно быть?..

Феб посмотрел пристально. Она была уже серая, но он догадался, что это наша белка.

Больше я ее не видал.

* * *

Когда я вернулся домой с реки из опустелого леса, то застал приехавших на рыбную ловлю приятелей. С огорчением я рассказал им про белку.

— Какого черта. Есть чего расстраиваться. Ведь она баба была, — сказал мне приятель Вася. — Так они, бабы, все такие.

Звери

На нашей тайной земле человек — создание подобия Господа, мудрый искатель справедливости. У меня в жизни было много встреч с людьми, и большими, и я видел много этих людей, озабоченных и обремененных исканиями правды и справедливости. Я уважал всегда этих людей и верил им. Но сам, к сожалению, не был умудрен в искании истины. Окружающая жизнь с ее простым бытом как-то увлекала меня, и я задумывался о пустяках.

Вот и сейчас я хочу только рассказать о том, как у меня в деревне, в моем деревянном доме, у большого леса, в глуши, жили со мной домашний баран, заяц и ёж. И так скоро ко мне привыкли, что не отходили от меня.

Как-то, сидя вечером у леса, я увидел, как по травке шел ко мне небольшой зверек — ёж. Прямо подошел ко мне. Когда я его хотел взять, он свернулся в клубок, ошетинился, ужасно зафыркал и зашипел. Я накрыл его носовым платком.

— Нечего сердиться, — говорил я ему. — Пойдем ко мне жить.

Но он еще долго сердился. Я ему говорю: «ёжик, ёжик», а он шипит и колется. Моя собака Феб смотрела на него с презрением. Оставил ему в блюдечке молоко, и он без меня его пил.

Так он поселился жить у меня в дровах, у печки, и я его кормил хлебом и молоком. Постепенно он привык выходить на стук рукой по полу.

* * *

Заяц, которого мне принесли из лесу и продали, был небольшой. Голодный, он сейчас же стал есть капусту, морковь. Собаку Феба он бил нещадно лапами по морде, так ловко и часто, что Феб уходил обиженный. Скоро заяц вырос и потолстел. Ел он целый день и был пуглив ужасно. Постоянно вода длинными ушами, он все прислушивался и вдруг бросался бежать опрометью, ударялся башкой в стену. И опять, как

ни в чем не бывало, успокаивался скоро. В доме он все же не боялся ни меня, ни собаки, ни кота, ни барана большого, который жил со мной и почему-то не хотел никогда уходить в стадо. Заяц знал, что все эти его не тронут, он понимал, что эти, так сказать, сговорились жить вместе.

* * *

Я уходил неподалеку из дому, к реке, лесу и писал красками с природы природу. Помню, Феб нес во рту складной большой зонт. Заяц прыгал около, а баран шел за мною в стороне.

Заяц не отходил от меня, боялся, должно быть, что поймают и съедят. Когда я писал с природы, Феб спал на травке около, или искал по речке, или вспугивал кулика, а заяц сидел около меня и все водил ушами и слушал. Но ему надоедало, что я сижу и пишу. Он вдруг начинал стучать по мне лапами и довольно больно. При этом как-то особенно глядел, будто говорил:

— Довольно ерундой заниматься. Пойдем гулять.

Слово «гулять» знали Феб, заяц и баран. Они любили гулять со мною.

* * *

А ёж появлялся ночью, и было слышно, как он ходил по полу, по всем комнатам, как уходил на террасу, в сад, пропадал. Но стоило мне постучать рукой, ёж вскоре же возвращался. Баран ужасно боялся ежа, поднимал голову с большими завернутыми рогами, начинал топтать передними ногами, как бы пугая того, а потом бросался бежать во все стороны.

Заяц не мог никогда прыгнуть на стул, кушетку, постель. И когда я ложился спать, заяц садился около, вставая на задние лапы, но прыгнуть ко мне не мог никогда. И приходилось его брать к себе за длинные уши. Я клал его на постель. Он очень любил спать со мной, плотно ко мне прижимался в ногах, вытягивался и спал. Но уши его ходили во все стороны, и во сне он все слушал.

* * *

Как-то раз заяц разбудил меня. Он бил меня передними лапками по ногам. Я увидел, что заяц сидит, оробев, вытянув голову, и уши его прямо поднялись над головой.

Была зима. Я проснулся. Было четыре часа ночи.

Заяц был в отчаянном волнении. Он весь распластался и прятался, желая подлезть мне под спину. Потом соскочил на пол, сидел и слушал, потом бросился под комод, а задние лапы остались снаружи. Я встал и вытащил его за ноги из-под комода. Заяц отчаянно заплакал, закричал, как ребенок.

А утром сторож моего дома, дедушка Афанасий, говорил:

— Эва-то. Вот на што. Ныне в ночь на помойке за сараями эдаких два волчины приходили. Голодно, знать. Чего наследили, и у крыльца были. Думали, Феб не выйдет ли, али баран. Съесть хотели. Голодно, знать, стало. Поди-ка, выйдут тебе. Тоже знают. Феб и сейчас не идет. Как нюхнул в дверь — нет, не пошел.

— А баран, — говорю я, — чует то же, поди.

— Нет, прямо дуrom лезет. Ума у барана ничуть. Дурак. Только и умеет, что бодаться да жрать.

Я сказал дедушке, что заяц чуял ночью, напугался страсть как и меня разбудил.

— Вот ты и поди. Что в животных положено. Как этта они врага слышат. А вот в человеке не вложено эдакого.

— Как же, — говорю я деду. — А заяц-то не понимает, что человек ему первый враг. Ведь человек его ест.

— Да вот это верно. Но этот, твой-то, верно, знает, что ты его любишь и уж нипочем не съешь. Ну, как это и чего? Заметь, ведь он тебя сторожит. Да чего еще и ёж — в дровах-то спит, у печки, так и тот всю ночь шипел ноне. И он волка чуёт. А баран — ничего, хоть бы что. Дурак, как есть. Удивление, вот по осени тута, у балкона, в саду, змеину в аршин поймал. Держит ее во рту, та вертится. А он ее всю и съел. Вот спроси, и Павел видел. Диву дались.

— Должно быть — уж, — говорю я.

— То-то и нет. Змею съел. Вот ведь, не ужалила его.

* * *

Зимой я надолго уезжал из деревни. Оставался один сторож-дедушка при доме. Он любил моих зверьков, а Феба я брал с собой в Москву.

Дед говорил мне:

— Скучно зимой-то. Ночи долгие, а с ними повадней. И все как-то вроде как свои, родные.

И когда я приезжал, зверьки оживали. И были радостны со мной. Жили они в комнате дедушки, рядом с кухней. Спали вместе все. Баран — в огромной шерсти, теплой. У его живота спали кот, заяц и индюшки, которых в сильные морозы брали в дом.

Так по весне приехал я с приятелями своими, охотниками, к себе в деревню.

Заяц вырос и растолстел. Баран стал совершенно круглым, оброс густо-темной шерстью и бодался. Ёж ушел под дом и показывался только иногда ночью.

Приятели, с которыми я приехал, взяли у меня краску вермильон и выкрасили барану рога. Красные рога были ужасны. Вечером, когда мимо изгороди моего сада шло в деревню стадо, баран выбежал за ворота. Он всегда встречал овец. Те, увидав барана с красными рогами, бросились бежать опрометью во все стороны, кто куда. Баран гонялся за ними. Мне показалось, что ему как-то нравится, что его боятся. Коровы бегали за ним, желая бодаться.

— Это чего, — говорил пастух. — Это-то что ж? Чисто черт, рога красные. Всех разгонял, поди собирай.

Барану рога отмывали бензином. Глядя на зайца, охотник Герасим говорил:

— До чего здорово вырос! Этак-то ведь он лопнет. Ему бегать надо, а он все в доме.

Приятели вздумали зайца гонять, но что ни делали, заяц не бежал.

Но все-таки придумали: в саду раздался залп из ружей, и я видел в окно, как через изгородь, через дорогу мчится заяц в моховое болото, а за ним — баран.

Наутро баран и заяц были дома.

— Вот что чудно-то, — говорил утром мне сторож-дед. — Проснулся я — чуть светает. Гляжу, а из мохового-то болота, вона тама, заяц-то прыгает, к нам идет. А за ним баран. Дивно ведь это. Подумай, зверь лесной, а дорогу к дому помнит, ведет за собой барана. А баран-то дорогу домой нипочем не найдет. Ума-то в ём ни чуточки нет.

Племянница

Вспоминаю я одно лето в Москве. Была жара. С утра я работал в декоративной мастерской, которая помещалась на самом верху Большого театра. Она была под самой крышей, которая раскалялась днем. В таком пекле я чувствовал себя несчастным, думал — есть люди, живут на даче, в природе, купаются и пьют воду с лимоном и сахаром. Ух, как пить хочется.

— Василий, — кричу я. — Где сельтерская вода?

— Чего вода, — отвечает Василий. — Тута чисто в печке сидим. Усе бутылки лопнули.

— Ну-ка, сбегай поди. На вот деньги. Купи сельтерской и лимонной воды.

Василий уходит и скоро возвращается. Говорит мне:

— Вас внизу какой-то человек дожидается. Велел, чтобы вы сейчас вниз к нему спустились.

— Кто же он такой? Сказал он тебе?

— Ничего не сказал. Видать, что хромой. Ему сюда не дойти.

— А лицо у него толстое?

— Чего вот. Прямо шар.

«Это Чича», — подумал я.

— Пейте воду и уходите все, — приказал я. — Приеду завтра в девять часов утра.

Переодеваясь, я видел, как радостно рабочие пили из горлышек бутылок. Мы вместе бежали вниз из душной мастерской.

Мой приятель Николай Дмитриевич Чичагов, судебный следователь, прохаживался внизу в вестибюле театра. Увидав меня, сказал, смеясь:

— Невозможная жарница. Как ты это можешь работать там, под небесами? Едем сейчас в Кусково, к Жеребкову. Там пруды — будем купаться, есть окрошку, а завтра вернемся.

— Я не знаю Жеребкова.

— Как не знаешь? Александра Григорьевича! Помнишь, ужинали в «Праге»? Ты же говорил — «остроумный человек». Человек замечательный, душа. Но строгий, и теперь стал моралист, не любит пошлостей, анекдотов. Просил приехать к нему на дачу. Пишет мне, что соседняя дача там, в Кускове, его погубила. На этой даче живут какие-то люди, которых он раньше никогда в жизни не видал и не предполагал, что такие существуют на свете. Пишет: «Приезжай и спасай меня; они отняли у меня мою племянницу».

— Какую племянницу? — спросил я.

— Очень милую, молодую, которой он в свои преклонные годы отдал все внимание, заботы и гордится ею. Знаешь, так бывает, надо же для кого-нибудь жить.

Вспомнил я Кусково, деревянные купальни на тихом пруде, где до воды спускались огромные ветви ив, где кричит иволга и пахнет липой и водой.

— Поедем, Чича, — согласился я.

Тарахтим на извозчике на Курский вокзал. Чичагов, закрывая глаза, весело смеясь, говорит:

— Понимаешь... «Дача полна исключительно аморальными людьми», — так и пишет.

— Что же это за люди?

— Жеребков говорит, что какие-то юноши и женщины. Приезжают ночью или поздно вечером и начинается черт знает что. Каждый день именины, рождения, кутеж, пляс, пение, и поют такую ерунду:

Генерал-майор Батьянов,
Ах, Батьянов генерал,
Генерал-майор Батьянов,
Да Батьянов генерал...

и так всю ночь... Он говорит — вынести невозможно, хочу уезжать.

— Стой, — крикнул Чичагов извозчику. — Зайдем в лавочку, невозможно, пить хочется.

На Садовой, около загородки, где акации жалкого сада покрыты пылью, вывеска «Овощная лавка».

В лавке пахнет капустой и керосином. За прилавком лавочник в фартуке, облокотясь, разговаривает с околоточным. Тот хрипло говорит сквозь зубы, а на губах блещит квас:

— Никакого покоя нету, а в эдакую жару пьет кто — что. И столько народу пьяного...

— Зельтерской нету, — говорит мне лавочник. — Выкушайте говорковский квас хороший, в жару эдакую очень хорошо.

— Это верно, — вставляет околоточный, — им одним, верите ли, ей-Богу, спасаясь... Вот жара какая...

* * *

На террасе дачи Александра Григорьевича, к которой мы подошли, какой-то человек в чесучовом пиджаке, увидав нас, посмотрел с испугом и ушел на верх дачи. Мы вошли на террасу, постучались в дверь. Слышим голос:

— Что вам угодно?

— Дома Александр Григорьевич?

Молчание. Потом спрашивают оттуда:

— По какому делу?

— Скажите, что Чичагов приехал.

Дверь отворилась.

— В чем дело, любезный? Я приглашен. Он дома? — спрашивает Чичагов.

— Дома, — отвечает человек мрачного вида, — только я-с не «любезный», а инженер путей сообщения. Идите, он там, — указал он на дверь комнаты и ушел.

Дверь заперта. Мы постучали. Дверь немного приоткрылась, и выглянул Александр Григорьевич. Он как-то особенно разглядывал нас, испуганно. Это был человек высокого роста, полный, лысый. На висках торчали седые волосы. И ярко, и испуганно светились серые глаза. Лицо было красное, губы опустились вниз, и выражение было какое-то лошадиное.

— Входите, входите, — сказал он тихо.

В небольшой комнате окно было завешено пледом. На столе горела лампа, лежал большой букет роз, обернутый прозрачной бумагой, коробки конфет, перевязанные лентами, конверты, бумага. Видимо, хозяин писал и был озабочен.

— Рад, что приехали, — сказал он.

— Окрошку заказал. — И, отвернув плед у окна, послушал, вода серыми глазами во все стороны.

— Примолкли, сукины дети, заскучали... Ага... не нравится... — сказал он, показав пальцем в направлении соседней дачи. — Понимаете ли, прислугу подкупил. Кто эти, — спрашиваю у ней, — аморальные прохвосты, которые здесь живут? Прислуга-дура — не знает. Говорит — студия. Странно... какая студия? Не знает. Но я все узнал, все имена и фамилии этих их дам. Ну, и устроил им праздник. Заскучали голубчики... растерялись немножко... Ходят как в воду опущенные... ха... ха...

И он, покраснев, смеялся.

— А где Надежда Ивановна? — спросил Чичагов.

— Уехала, — ответил Жеребков озабоченно, — к тете уехала. Дача эта. Говорю ей: «Ведь это подонки общества, морали никакой. Подумай, что поют». Представь — а она мне отвечает: «Ккак весело там!» Понимаешь? Но я с нею битых три часа говорил, доказывал, говорил о прогрессе, цивилизации и в конце концов убедил ее. Убедил. Согласилась, наконец, и уехала отдохнуть от этого соседства...

— Ну, брось, — говорит Чичагов. — И что ты сидишь здесь один взаперти?

— Работа, брат. Пишу. Пишу письма. Женщинам. Их женщинам, понимаешь. Любовные письма пишу. Посылаю каждый день письма, конфеты... От любовников, понимаешь. Сочиняю, меняю руку. Смотри — сколько... — И он поднял пачку писем на столе. — Утром рано еду в Москву и раздаю знакомым, чтоб передали — кто куда едет. Кто в Киев, Одессу, Петербург. А оттуда они приходят сюда, к ним... Рассылаю конфеты, букеты их барышням... Все изменилось. Перестали петь. Уже неделю молчат. — И он опять приоткрыл плед и послушал, сказав: — Молчат... Не нравится, значит. Вот увидишь, всех перессорю. Как в банке пауки перегрызутся. Погодите. Тонкая, брат, работа... Ни в одном деле никогда не был так занят, как теперь.

— Ну, брось, — сказал Чичагов. — Пойдем купаться.

На пруду как в зеркале отражаются большие деревья, и вечернее солнышко освещает деревянные купальни. Мы прошли по мостику. В купальне пахло водой. На деревянных лавочках какой-то кудрявый молодой красавец одевался. Он был высокого роста; элегантно завязывал галстук. Надев шляпу и взяв трость, он прошел внутрь купальни, согнулся и смотрел в щелочку соседней купальни. Обернувшись к нам, он весело звал рукой, сказав:

— Сосед, пойдите сюда.

Александр Григорьевич подошел.

— Посмотрите-ка, — сказал молодой человек, — купаются... Прехорошенькая одна... Интересно. Это я дырочку провертел... — И франт рассмеялся.

— Это что же вы делаете, милостивый государь, — сказал Жеребков строго. — А знаете ли, какая за это ответственность: 136-я статья Устава Особого положения и 232-я Уголовного...

— Пустяки, — сказал, смеясь, молодой франт.

— То есть как — пустяки? Позвольте, позвольте... А если моя жена купается?

— Ерунда. Какая жена. Жена неинтересна, немолода... Вот племянница ваша очаровательна... Я прямо влюблен. Красота. Афродита...

— Какое же вы имеете право? — говорил, задыхаясь, Жеребков.

— Какое право? Бросьте ерунду. Я теоретик искусства, эстет... Вы же не понимаете красоты. У вас нет возвышенных чувств... Купаетесь с пузырями... Вас не восхищает красота. Вы не эллин, а обыватель...

Он, проходя, сказал мне тихо, смеясь:

— Ну и сердитый сосед у нас — я ведь все нарочно, там никто и не купается.

— Видели? — говорил Жеребков, волнуясь. — Вот этот голубчик с соседней дачи. Какова скотина, а? Слышали, а она с ними познакомилась. Странное время... Нравы — ужас!

* * *

Вечером на террасе дачи сидим за столом и едим окрошку. Уже спустились сумерки, на столе горит лампа. Тихо, слышно только, как трещат в траве кузнечики, и пахнет сеном.

На соседней даче послышались голоса, веселый смех и звуки гитары. Жеребков насторожился. И вдруг женский голос запел:

Раз один повеса,
Вроде Радомеса,
Стал ухаживать за мной.
Говорит: люблю я,
Жажду поцелуя,
Ну, целуй, пожалуй,
Черт с тобой...

Александр Григорьевич побледнел, опустил ложку и водил глазами во все стороны. Голос пел:

Дум высоких, одиноких,
Непонятны мне слова.
Я играю, слез не знаю,
Мне все в жизни — трин-трава.

И мужские голоса подпевали:

Ей все в жизни трин-трава...

Жеребков встал, бросил салфетку и быстро сказал:

— Едемте, едемте сейчас, едемте в Москву...

Он переоделся и взял под мышки портфель. Спустился с террасы и быстро пошел на станцию. Мы пошли за ним. Рядом со мной инженер путей сообщения.

Он мне тихо сказал:

— Вот... Умный человек... мораль одолела. А ведь голос-то ее... Это племянница пела...

Когда, спеша, мы шли на станцию, было слышно — смех и пение с соседней дачи. Мне хотелось вернуться туда, где пели эту ерунду. Это веселье так сливалось с легкой ночью, какой-то правдой и радостью жизни.

Прошли годы. Весной утром приехала ко мне высокая молодая женщина — на лице ее были горе и слезы, — сказала мне:

— Прошу вас, Коровин, поедemте, попишите его, его часы сочтены.

Я взял холст, краски и поехал с ней. Дорогой купил пучок фиалок.

Худой красавец, еще молодой, лежал на постели. Я положил фиалки к его красивым бледным рукам. Он пристально смотрел на меня, когда я писал. В его прекрасных глазах была видна смерть. Вдруг я увидел — это он, тот франт, который был в купальне в Кускове...

Я сказал ему:

— Помните купальню в Кускове?

Он как-то горько улыбнулся.

На другой день я приехал и увидел у подъезда большую толпу молодых артистов. Прекрасный режиссер Вахтангов умер.

Первая любовь

Был у меня приятель, человек здоровый, роста богатырского, лицо такое серьезное, а сам веселый, смеялся как-то особенно: закрывались его желтые глаза, лицо краснело, и, бывало, закатится смехом. Был он архитектор, и звали его Вася. Страсть у него была к рыбной ловле на удочку.

Летом он приехал ко мне в деревню, один, никого не захватил с собой. А в деревне у меня гостил в это время другой приятель, доктор Иван Иванович, доктор хороший, клинический врач. На кожаной куртке всегда носил большой знак доктора медицины. Человек был тоже очень серьезный. Лицо такое ровное, блондин, глаза белые. Большие баки, расчесывал ровно. Любил живопись. Картину смотрел долго, бывало, скажет:

— Да, это не наука.

Приятель Вася что-то был очень мрачен. Взял стакан чаю и сел у окошка. Глядел в зеленый сад, где звенели малиновки. Хорошо летом в деревне.

— Что, — говорю я, — что с тобой, милый Вася? Ты как день неясный, опечалился чему?

— Да, да-с, — сказал он, опустив голову. — Если бы вы, Константин Ликсеевич, были человек серьезный, я бы вам рассказал, а то у вас всегда все шуточки, а ведь жизнь серьезна. В ней так нельзя, шуточками все. Приходится подумать. Не знаешь, что и откуда приходит. Вот женщины, возьмите. Знаете ли, что они все с гандибобером?

— Как, Вася, что это, гандибобер?

— Вот видите, я серьезно говорю. А вы на шутку хотите поворачивать. Я уже вижу, с вами нельзя серьезно говорить ни о чем.

— Слушай, Василий Сергеич. Постой. Я, честное слово, не знаю, поверь мне, что такое гандибобер?

— Тогда что же с вами говорить. Вы не знаете ничего. Софья моя была женщина хорошая, правда. А вот, черт знает, что с ней сделалось.

— Что же случилось?

— Но вот послушайте. Увидите, что.

— Что же, Вася, случилось?

— А то — узнать ее нельзя. Я думал, что нездорова. Нет, не поймешь. Знаете, что она мне сказала?

— А что?

— А то. Вы, говорит, на меня смотрите, как на самку. Я думаю: что такое? «Какую самку?» — спрашиваю. А она молчит.

Доктор Иван Иванович встал с тахты. Близко подошел и пристально смотрел на приятеля Васю.

— А ко мне по делу, — продолжал приятель, — приехал клиент. Я архитектор ведь, дело большое. Все раньше было обдумано, переговорено. Ну, и говорит мне: «Сегодня все кончим. Приезжайте в ресторан “Прага”. Там мы подпишем условия. Жена моя там будет и зять. Я вас познакомлю с ними».

Деньги-то на постройку у отца. Он мне говорит, а у меня в голове «самка». Сами посудите, расстроился я. И не знаю, почему я и скажи клиенту: «А что вы на жену, как на самку, смотрите?» Он встал, скоро простился и уехал. А через полчаса записку присылает — обед откладывается. Ну хороша штучка.

И Вася смотрел на меня, прищутив один глаз.

— Вот оно что.

— Пустяки, — успокаивал я приятеля. — Мало ли что. Ну, ей кажется, что ты мало отдаешь ей души. Вот уезжаешь от нее.

— Уезжаешь. Она терпеть не может деревни. Я звал ее, дак не едет. Говорит — тощица.

— Любишь физически, — сказал доктор.

— Позвольте, позвольте, — горячился приятель Вася. — Что такое — «души», «физически», вот вы, как и она, ерунду порете. Я-то понял, в чем дело.

— В чем же, Вася?

— А в том, что она в библиотеку записалась. Да-с. И спрашивает меня: «Тебе нравится Катюша Маслова, из Толстого, “Воскресение”?»..» Я ей отвечаю: «Нет, придумано. Да и в чем дело?» — говорю ей. Мы раньше, помнишь, читали на даче. А она мне говорит: «Раньше я не понимала, а теперь поняла». Ночью спрашивает меня: «Кто я, по-твоему? Лиза из “Дворянского гнезда” или Вера из “Обрыва”?» Я ей говорю: «Вот что, Софья, прошу тебя, не сделайся ты душой из Чистопрудного переулка» (я живу у Чистых прудов). Вот вам смешно, а мне совсем не шутки. Понимаете, начиталась. Так озлилась, что уехала от меня к своей матери.

— Неужели на нее так влияет прочитанное? — говорю я.

— Бывает, — вставил доктор Иван Иванович.

— Вы говорите, прочитанное влияет. Вот как влияет... Государь приезжал на днях в Москву, знаете ли, войну объявлять. Так вы не заметили, как вся Москва разыгрывала «Войну и мир» Толстого?.. Прочтите-ка первые страницы, не заметили? Да-с. Не заметили? Много есть таких. Прочтут, начитаются и дудят в одну дудку. Что прочитал — таким и ходит. Умным таким. А своего ничего нет.

— Не знаю, ничего не вижу тут особенного. Женщина спросила, к какому типу она подходит, — сказал я. — Пустяки, не обращай внимания, Вася.

— Э, да-с. Вы так думаете. Вот вы и финтите. А художник вы. Смотрите на самку. Какая ерунда получается. Не обращай внимания, говорите. Не обращайтесь. А вы после этого будете в дурачках ходить у ней. А мне что-то не хочется.

— Верно, — заметил доктор. — Не годится.

— Прав, — сказал Вася, указав на доктора. — Как Софья сказала мне, не знаю, почему, я вспомнил одну Ольгу. Раз я видел ее. Знаете, я взял да к ней и поехал. «Вот, говорю, — что вышло со мной». А она слушает меня, пристально так смотрит. А я ей говорю: «Я еду к вам, на рыбную ловлю, на Глубокие Ямы. Как хорошо там, на реке». Ольга и говорит — так особенно говорит: «У вас сейчас глубокая яма. Тут, — и положила мне на грудь руку. — Это, — говорит, — вы хорошо придумали, но не все. Возьмите, — говорит, — меня туда с собой. Или я приеду». Я удивился. «А мать что скажет? Брат и все?» — «Ничего, — говорит, — вы приятелям скажете, что обнову нашли».

* * *

В это время пришел крестьянин-рыболов Павел.

— Здравсте, Василий Сергеич, — говорит Павел. — И вот хорошо, в самый раз в Ильин день приехали. Глядел я с горки, на Глубоких Ямах, что сомов играет. Под грозу, знать. Плещают весь омут. Один, ух, здоров, видал я, пудов на восемь. Вот с тебя будет. Боле.

Василий Сергеевич открыл глаза и вдруг сказал:

— Его на утку ловить надо. Знаешь, Павел, на галку жареную поставим, на воробьев.

И Вася, взяв ружье, пошел с Павлом застрелить галку и воробьев.

Пропал Вася на Глубоких Ямах. Прошел день, другой — его нет. Я обеспокоился. Приехал Павел, на лошади. Говорит:

— Василий Сергеич приезжать велел на Глубокие Ямы. Ух, и сома поймали. Здоров. Барыня с ими там. Она пымала.

Я поехал с доктором. У большого леса, который шел в гору, лежали, как зеркала, Глубокие Ямы. С одной стороны из воды, где отражался темный лес, выглядывали бревна старой разрушенной мельницы. Заросль, и иван-чай лиловыми цветами высился над водой. Сбоку, у берега, стоял старый сарай, из которого вышла поразительной красоты юная женщина. Светлые волосы, как лен, ложились на щеки, солнце освещало добрые голубые глаза. Когда я подошел, она, покраснев, сказала:

— Посмотрите, какого я поймала.

Я рассмеялся. Она протянула мне руку, смеясь, говорила:

— Да нет, другого. В воде. Пойдемте. Я ждала показать вам. Я его пушу опять на свободу.

Из сарая вышел Вася.

— Пойдемте, пойдемте. Смотрите, какая штука. Вот так черт.

Когда мы подошли к берегу, девушка тянула веревку, и показалась огромная голова сома.

Ольга близко подвела сома к берегу и, наклонясь, говорила:

— Сом, а сом. Я тебя поймала и вот пушу опять. Ступай туда, в омут, к водяному. Когда мне будет плохо, скажи ему, слышишь, сом, а сом. Скажешь?

И странно было видеть это красивое лицо девушки рядом с мордой чудовища, которое смотрело на нее маленькими белыми глазками. Она отвязала веревку, сказала:

— Ну, иди, — и толкнула морду рукой. Сом повернулся, зашатал лентами на своей спине и медленно пошел, пропал в глубине.

В разговоре с сомом в Ольге было что-то красивое и детское.

* * *

Доктор Иван Иванович поехал вместе с Ольгой Александровной. А я и приятель Вася пошли пешком.

— Знаете, что, — говорит мне дорогой Вася. — Понять не могу, что со мной. Вот первый раз в жизни чувствуешь, вот в этом месте, — показал он на грудь, — такое чувство, такой красоты, счастья, радости, что никогда у меня не было раньше. Похоже было, как-то вроде, когда слышал сонату Шуберта. Но это сильнее. Что-то, что не пойму. Так хорошо. В этом месте, вот тут, — показал он на грудь. — Должно быть, тут душа находится.

— Вася. Ты, должно быть, влюблен.

— Что вы, — испугался Вася. — Вот так штука. Никогда не было раньше. Заметьте, всё кругом, все — лес, небо, дождь шел, — все по-другому, все в какой-то неведомой красоте. Все не так. Все по-другому.

— Все я смотрел, как ходит Ольга. Как она красиво ходит. А она посмотрела мне в глаза, и вдруг вот тут, внутри у меня, сделалось так хорошо, и я поцеловал ее в голову. Подумайте, я сплю на сене, и она близко... А я утром, когда умывались с ней у реки, руку робко поцеловал. Только и всего, что смотрел. Увидал, что она какая-то другая, и так мне хорошо, так хорошо, как никогда не было.

Я увидел, что глаза его наполнились блеском слез.

— Что ты, Вася?

— Простите. Это я так, — сказал он, вытирая платком глаза. — Это первый раз со мной в жизни. Слушайте, Константин Алексеевич. А не эта ли штука, которая вот тут, внутри у меня, — называется любовь?

— Да, Вася, должно быть, — засмеялся я почему-то. — Это и есть любовь. И предств, притом мне кажется, что у тебя — первая.

— Неужели?

И он, сев на землю и закрыв глаза, смеясь, сказал:

— Вот так история. И что они надо мной разделяют — понять невозможно...

Подмосковная дача

Летом мы живем на даче,
Невозможно нам иначе.
Будь хоть беден, хоть богат,
Город летом — сущий ад.

Из оперетки «Хан Намык»

В Москве жара, духота. Уже к вечеру, после делового дня, москвичи спешат на вокзалы, на дачные поезда. Каждый везет к рукам узелки, бисквитный пирог, вино на дачу, на привольное лоно природы.

Прекрасны были окрестности Москвы. Долины, леса, за которыми прятались уютные домики дач. Бежали речки с кристальной водой, и были особенные деревен-

ские деревянные дачи с террасами, построенные крестьянами, которые отдавали дачникам внаем.

И вот одна подмосковная дача с приветливым садом стояла отдельно от других, у леса. Вечером на ее террасе горела лампа с розовым абажуром, которая выделялась на темном лесе, а в лесу пел соловей.

На даче этой жила актриса Ольга Александровна, очаровательная женщина, с большой черной косой и тонкой тальей, женщина справедливая, гордая и восторженная. Приезжали к ней гости — артисты и ее друг, высокий немолодой блондин со светлыми глазами и красным лицом: говорил всем, что она его племянница. Были у нее и другие друзья, но этот «дядя» был самый солидный и богатый. Часто приезжал «дядя» с друзьями, и тогда долго пировали на даче, было весело, звенели гитары и слышалось пение:

Для тебя я сплету диадему
Из волшебных фантазий и грез
И на шейку твою я надену
Ожерелье из жемчуга слез.

И все это пели ей, для нее. Хороши были вечера на даче под Москвой, и эта дача, стоявшая у леса, была как-то особенно поэтична. Дачники, гуляя вечером, останавливались и слушали пение и знали все, что там жила артистка, очаровательная, и не верили, что этот высокий господин с белыми глазами и лысый был ее дядя. Люди любопытны, и им надо все знать. «Она хорошенькая, — говорили дачники, — а он урод, да и пьет, ну, конечно, у него деньги, она жгучая брюнетка, а он лысый блондин, никакой не родственник, а просто так».

— Хороша барыня живет, чего еще — поет ловко, брови дугой, за ней все и шьют, добрая, кажинному нищему подаст, а он-то скупердяй, на чай на станции, когда отвезем, в обрез норовит, гривенник, «отвязаться», — говорили крестьяне.

Так и жили люди на дачах. Природа дивная, прогулки, пикники, леса, речки быстрые, купанье, катанье на лодках при луне, довольство. Жили-поживали москвичи на дачах под Москвой.

* * *

Были именины Ольги Александровны. Поваром приготовлен большой обед. На террасе накрыты столы. Приехали гости и «дядя». Сама актриса Ольга Александровна в кремовом платье, в заплетенной косе красные маки. Стол пышно покрыт васильками. Гостей много. Терраса увешана бумажными цветными фонариками. Из-за леса выплыла луна. Весело светится большой жбан крушона. Слышен смех гостей. Идет пир. Гремят гитары и пение.

Ночь, поздно, а гости все подчуются, веселятся, пируют. А в деревянном сарае у лесочка деревенские парни трут мелом рожу и руки толстому мужичонке Сергею, женой пробкой мажут ему усы и брови.

Кончился пир. Уезжают гости. Убрали столы. Потухли фонарики. Дача замолкла. Луна круглым ликом светит над лесом. Кузнечики трещат в траве. Ночь. Вдали за лесом блестит дорога.

К даче подходят деревенские парни и стучат в окно, говоря:

— Дяденька, барин, выйдите на минутку.

Тот отворил окно.

— Что вам угодно? — спрашивает так строго.

— Худое дело, — говорит ему парень, — нехорошо, выйдите на минутку.

Дядя надел пальто, туфли. Тихо вышел на террасу.

Парень ему говорит на ухо; дядя побледнел.

— Где? — спрашивает.

— Вот тут, близко, в саду у вас.

Дядя идет тихонько с террасы в сад с парнями. Видит, при луне на дорожке лежит человек: рожа белая и белые руки. Рожа ужасно страшная — мертвец.

— Нехорошо, барин, — говорят ему парни. — В ответе бы не быть.

— Молчите, — говорит дядя. — Вот что: утяните вы его отсюда, туда, в лес, к дороге. Я вам не пожалею, только никому ни гу-гу...

— Ладно, — говорят парни.

Дядя им дает бутылки вина, закуски.

— Тащите, — говорит, — скорее, завтра поговорим.

Пируют парни. Покойник пьет, как надо. Выпили. Хорошо б еще.

На даче не спят. Артистка вся бледная, в отчаянье ломает руки. Глаза горят в испуге. Это он.

— Это он, это он, Владимир, — кричит артистка, — несчастный Владимир, он застрелился. Мы не слышали. Это все ваше пьянство. Это он, он любил меня. Владимир, ты застрелился, прости меня.

— Успокойся, успокойся, молю, — волнуется дядя. — Не Владимир, рожа другая, усы черные.

— Усы черные, — рыдает актриса. — Ах, это Петрусьян — он. Ах, бедный, несчастный. Он смотрел, видел, как я весела, он все понял, взвесил, несчастный, не выдержал и погиб. Не выдержал. Бедная я! Он любил меня и пропал, пропал.

— Успокойся, дорогая Ольга, успокойся — это не Петрусьян. Петрусьян худой, а у этого круглая рожа.

— Ах, — вскрикивает Ольга, — знаю, знаю кто. Свербович. Он, он. Ах, как я несчастна, я не виновата.

— Постой, постой, Ольга. Свербович в Одессе женился, дочь родилась.

Ольга, вскочив с постели, смотрит пристально на дядю.

— Это откуда же вы знаете, что он женился? И вы изволили молчать!

— Прости, но я не знал, не знал, что тебя интересует этот прохвост. Прости.

— Вы про всех говорите — прохвост. Вам не нравятся мои друзья... Ах, Боже, — вскрикивает Ольга Александровна, — я знаю, кто. Бедный, это ужасно. Черные усы, брови, это Миша, Миша Клинов.

— Нет, нет, успокойся, молю. Успокойся, Олечка. — Дядя становится на колени и целует руки.

— Он, он, он...

— Да нет, успокойся. Мишка Клинов не застрелится никогда. Чтобы он застрелился — это смешно.

— Из-за меня?

— Да, из-за тебя.

— Ну, простите, плохо же вы меня знаете.

В это время постучали в окно.

— Барин, выгляньте-ка.

Дядя отворяет окно. Парни тихо говорят:

— Уволокли, очинно устали, барин, маленько бы винушка с вашей милости.

Нас — осемь. Тащили его, вот устали, тяжело.

Дядя наскоро дает водку, вино, закуски и деньги. Парни позвали девок. Идет веселье. Покойник пьян.

— Я ведь сам был судебный следователь... Ты подумай, Ольга, какую я несу ответственность. Подумай, я жертвую всем для тебя, всем своим положением, честью, свободой. Все для тебя, Ольга. Его тащат за ноги за версту, а если он еще жив, что тогда? На основании сто двадцать третьей статьи Уголовного Уложения, семь тысяч семьсот шестой параграф Сенатского решения от шестнадцатого февраля...

— Довольно, умоляю, довольно, — перебивает его Ольга. — Но какое горе стряслось. А если это Сергей, я не переживу.

— Какой Сергей? — спрашивает дядя.

— Сергея ты не знаешь. Бедный Сергей, ты уже не будешь гладить мои руки, говорить им: «Голуби, голуби».

— Ольга, вот выпей, — подает ей взволнованный дядя рюмку, в которую дрожащими руками каплет капли из пузырька.

Ольга пьет.

— Успокойся, умоляю, какие «голуби»?

— Какие голуби? Вы грубы. Но Сергей эстет. Он мои руки называл «голуби». И его нет, нет больше. Утащили за ноги. Он еще, может быть, жив. Спасите его, — кричит Ольга. — Вы ответите перед судом, вы жестоки, я пойду, я найду его.

Актриса накидывает на себя кимоно и ищет ногой туфли.

— Опомнись, Ольга, — кричит дядя, — ты меня погубишь, меня завтра арестуют. Черт знает, какое дело будет. Весь суд поднимется на меня, все враги мои.

* * *

Дядя в волнении провел день в Москве. Расстроен. В суде спрашивают приятели: «Что с тобой?» Едет на станцию, дорогой на извозчике перелистывает Уставы и Уложение. Говорит про себя: «Разве я виновен буду, если его утащили? Почему в саду оказался? Кто он? А если Ольга права? — Петрусьян! Брови черные, похож. И влюблены в нее черт знает, кто и сколько их!»

На дачу вечером приходят парни. Дядя спрашивает:

— Смотрели?

— Глядели, — говорят парни.

— Лежит?

— Чего ж, лежит.

— И никто не видал?

— Где ж, ведь лес велик.

— Положить к дороге надо на вид. Понимаете, его найдут и возьмут.

— Чего ж, на виду лежит, у последней купальни в кустах, к лесочку, и дорога тут.

Опять дядя дает вина и денег. Говорит:

— Помалкивайте, я сам пойду посмотрю.

— Ну, Серега, — говорят парни, — пойдем в сарай морду красить. Нынче сам барин пойдет глядеть, ты уж лежи смирно в последний раз, а завтра скажем, что закопали тебя.

— А сколько дал-то он вам? — выпивая, спрашивает «покойник» парней.

— Да вот мало еще, — говорят парни, — красенькую. Вот тебе рублевка с полтиной выходит.

— Чего — рублевка с полтиной? Эк вы, сволочи, я-то три дня покойником хожу, харю красите, а вы только вино пьете, нешто вам. А я главный...

— Ну, завтра, когда закопаем, боле даст.

Лежит Сергей в кустах ночью, негодует, говорит:

— Целковый с полтиной, ну вас, — и сел. — Ну ёго к черту, да, может, он боле дал, врут. Ну, погоди, я узнаю. — Закурил папирску, встал и пошел.

Дядя оделся, надел пальто и туфли, голову завязал ее кружевной шалью, взял палку и взаполночь пошел смотреть труп самоубийцы. Думает: узнаю, не Петрусьян ли. Только он подошел к лесу, как из него вышел Серега, рожа белая, черные усы. Дядя обмер и пустился без оглядки на дачу, вбежал в кухню. Прислуга напугалась:

— Барин, барин, что вы?

Серега стучал в дверь террасы. Ольга Александровна, увидав в стекло двери белую рожу, бросилась, крича:

— Помогите.

— Чего надо тебе? — кричала горничная Сереге.

— Мне дяденьку, барина, — говорил Серега, — барина спросите, сколько их милость Ильюшке на чай дали. Я всего получил рупь с полтиной, третий день покойником работаю, чего же, для утехи. Скажите барину-дяденьке, он тута, что менее пятерки нипочем не возьму, потому еще закапывать хотят.

В театре, в ложе, дядя спрашивает племянницу Ольгу Александровну:

— Скажите, пожалуйста, это кто же Сергей, который руки вам гладил, — «голуби, голуби» — интересно?

— Сыск начинается! — сказала холодно актриса и, надев мантию, вышла из ложи.

На охоте

Как-то летом, во Владимирской губернии, шел я на охоту с приятелем, охотником-крестьянином Герасимом Дементьевичем, человеком особенным.

Он всегда любил со мной поговорить, и красивые глаза его смеялись. В рассказах его были загадки, мудрость и какая-то особая черта благородства. Кое-кто звал его колдуном.

— Колдун ты, Герасим Дементьевич, — говорил ему и я.

— Да, колдун, — смеясь, отвечал Герасим. — Э-э, ты сам колдун, Лисеич, как это ты вчера четырнадцать чирков взял на Вепреве? На-ко что.

Герасим навывк говорить с господами охотниками.

Собака моя, Феб, любила Герасима. Как-то он пришел, и Феб, большой пойнтер, прыгнул ему на колени. Это было забавно.

— Ну, значит, пойдём от Плечова теперь вправо, на Любилки, потом мелочами, на Святой Ключ, а оттуда — на Лихое, — говорит мне по дороге Герасим.

Каким чувством красоты и как наполняется душа моя при воспоминаниях о берегах печальной родины моей.

— Герасим, — спрашиваю я. — Почему это так Лихое прозвано?

— Да как знать, — отвечает Герасим. — Овраг там больно велик, зарость, трясина. Сказывают, допрежде было там селение на горе. И жил, значит, там при барине охотник-пскович. Вот что и я. И находился он у барина. Крепостной, значит, был. При собаках господских. Скучно барину жить в деревне. Зима, что делать? Ну, и придумывает он то ли, се ли. Не то для утехи, а не то и в пользу заворачивает. Что в голову придет. Пытает, значит, чтобы жизнь на веселье поставить. И себе довольство получить. Что ли придумал сам он или сказал кто, но только позвал он к себе псковича и говорит:

— Серега, — говорит, — здесь в овраге, у казенника, слон живет белый. Мой друг, почтенный камер-советник, когда от меня из гостей ехал, то с мосту его видал. И письмо он теперь пишет, чтобы я на примете то имел и его изловил.

Хитрый был пскович Сергей. Глазом не моргнет. Прямо барину говорит:

— Есть такое дело здесь. Ночью, знать, камер-советник ехал.

— Да, — говорит барин, — он ночью уехал от меня.

— Верно, — говорит Сергей. — А только собаками его нипочем не затравить. Где же страсть такую? Надо его прикармливать хлебом три года, пирогами, да тверезому человеку его нипочем не увидеть. Надо и народ фряжским вином поить, дабы он и докатился. В самый раз выйдет, и пымают его. К тому сказать вам, барин, что слон этот белый — тайный враг правды человеческой. И видать его тому открыто, кто верность держит крепко.

Задумался барин на Серегины слова.

— Ты мне о верности еще поговори! Я сам знаю, как и кто. Чего говоришь? На конюшню захотел?

А на конюшне-то господа пороли.

— Я, — говорит, — тебя... Подать сюда фряжское вино, сейчас! Я тебя одарю, ежели покажешь мне белого слона. А то узнаешь.

Ну, барин поит народ. Поймать слона охота ему. Сам пьет. Ну, тот, другой, видют слона. А барин ничуть. Плохо дело, думает пскович. Пороть будут. Только письмо курьер из Питера привез. Печати черные. Тот друг-то его, камер-советник, помер. Белый слон к ему в Питер пришел. Да в самые его хоромы. Ну, тот напужался и помер. Бросил пить барин вино фряжское. И псковича в плети взять хотел. Но тот утек. Да на разбойное положение встал. И сжег его поместье. Вот как было от слона того белого.

— Эх, Герасим, — говорю я, выслушав рассказ, — всегда ты надумаешь заковыку. Недаром тебя колдуном прозвали.

Герасим рассмеялся.

Идем мы опушкой у большого леса. Старается моя собака Феб.

— Смотри, ведет, — говорит мне Герасим.

Тр-р-р! — вылетел черныш, и кладет Герасим черныша в ягдташ.

— А не любишь ты, Герасим, господ, — говорю я.

— Что ты, Лисеич! — отвечает Герасим. — Нешто можно. Господа есть хорошие. Да и то сказать — бывают, конечно, разные. Только вот, видать, что теперь у господ в голову таракан влез.

— Как таракан? — удивился я.

— Вот что так. Таракан у них в голове елозит туды-суды.

— Что ты, Герасим! Какой таракан?

— Да вот и от этого таракана горя натерплются, беда. Потому что в голове у них таракан играет почем зря.

Я остановился и глядел на Герасима. А он смотрел в сторону серьезно и озабоченно.

— Какую ты еще сказку надумаешь, колдун?

— А это верно, сказка, — сказал Герасим. — Только пострашней белого слона будет. Ты знаешь, Ликсеич, что ко мне господа приезжают. Охотники, значит, общество охоты из Москвы. Бывает, сразу много приедет. То на рысей, на волков и на дичь разную, пскович я. Так вот, у меня стоят они в горнице. Ну, и два, три дня гостят. Конечно, выпьют хорошо. Им отрада охота. Все люди они в достатке своем. Кто барин, а кто фабриканты-заводчики. Разные господа. И разговоры, бывало, прежде все про охоту. Кто что. Ну, не без того, чтобы приврать. Охотнику нельзя без этого. Такие разные случаи, и верить невозможно. Ну, так уж заведено, говори, всем весело. Смех. Радость. А теперь не то. Все другое пошло. Смеху нет ничего. Всурьез все. И про охоту речи нет. А спорют вот, до упаду прямо. И друг дружке чуть кулаком в морду не лезут. Охота, видно, им народ в дело поставить. И жисть начисто переменить. Начальство все послать на покой. А самим управлять. Только вот тут-то у них спор и выходит. Один одно, другой другое. И кажинный знает, как дело поставить. Один мужикам всю землю отдает, другой — лес. Третий кричит: «пропьют», четвертый — «вино запретить», а сам, заметь, тут же рюмку наливает и пьет. А один такой серьезный, молчит, водицы у меня спросил. Дай, говорит, Герасим, водицы. Я только воду пью. И ем хлеб один, черный. Как вы все в крестьянстве, стыдно, говорит, жрать ветчину, балык, разносолы разные. Пора понять, говорит, что равняться надо с народом. А я ему на это говорю: «Барин, а куда ж тады свиной мне деть? У меня три есть. И поросят много». А он мне: ты уж не крестьянин, говорит, а буржуй. «Чего это? — думаю. — Как не крестьянин я? Пашу землю и веду крестьянство. Что такое «буржуй»?» Вижу, барин с тараканом. А другой: «Что это у тебя?» — показывает на угол. «Иконы, — говорю, — барин». — «Бог?» — «Нет, — говорю, — барин. Икона это, а не Бог». — «А ты, — говорит, — дурак, кланяешься им, а ведь это доска. Богомаз на их намазал. Ты их купил и вот на корячках лоб бьешь. Чего тебе они дали? У тебя изба, пол кривой, щели. А у меня четыре дома в Москве, полы паркетные. А я в их не верю. В иконы эти». — «Барин, — говорю я, — это верно. Доска. Намазано на их, точно. Отец купил. Только одно, что на их намазано, это то, что оттуда глядят, купить нельзя. Не купишь. Ни деньгами, ничем». Ух, рассерчал он. Ну, они на меня, почитай, все — «Вот дурак. Да деньгами кого хочешь купишь!» «Что ты, — думаю я. — Таракан-то у них как играет. Нехорошо что-то». А они мне: «Мы народу служим. Народ в свободу произведем. Каждый что хошь делает. Только рекрутов в солдат более не давать. Вот что». «Э, — думаю, — таракан какой у них, беда». Так ведь кто

бы говорил, а то ученый да фабрикант богатеиший. Это что? На охоту не идут. Все спорют. Со станции весь буфет разобрали. Пили, спорили, вот ведь дело какое. И все друг дружке наперекор говорят. А Павел Александрович, из военных он, глаза у него, как у рака, сердится. Им и говорит — «Всех вас на телеграфных столбах, что от Москвы до Питера идут, перевешать надо. Тогда бы воздух очистился». Удивление. А они все — «ха-ха-ха-ха!» Смешно им. Не сердчат. Вот и ты, Лисеич, смеешься. Да, вот это-то самая страшная сказка и есть. Пойдем вниз, Ликсеич, — перебил себя Герасим. — Здесь место — отрада, Ключ-Свят. Пойдем. Вода хороша.

* * *

В овражке, у высоких ив, я увидел деревянный ветхий крест. Среди зеленых ветвей он синел на солнце. В колодце было видно дно, и такой прозрачности вода, что будто ее и не было. Как отрадно лежать в тени высоких ив. Клубятся белые облака над лесом, и на сухой траве лежат тени. Пахнет медом и травой.

Герасим развел тепленку, повесил котелок, готовит чай, вынул из ягдташа дары жизни — колбасу, пеклеванный хлеб, сахар.

«Как хорошо жить!» — подумал я.

Сидит Герасим, ест колбасу и пьет чай с блюдца. Его желтые глаза смеются.

— Чего ты смеешься, колдун?

— Да чудно, Лисеич, сколько прошли, одного черныша добыли. А тебе что. А другой скажет: то-сё, и дичи мало, не туда его ведешь, ну, значит, виноват выходишь. Мало нашли, верно. А все от разговору с тобой.

— Хорошо, — говорю, — у колодца здесь, чисто в раю.

— Ну вот, и я так считаю, — согласился Герасим. — Правда то. А скажи-ка другому, он те дураком окрестит.

— Ну, что ж, Герасим, эти охотники-господа на охоту-то ходили?

— Нет, — ответил Герасим.

— Но ведь только, ты знаешь ли, они правду ищут.

— Кажинный человек до самой смерти правды ждет. Какой кто, а ждет. Да что ты, Лисеич! В эдаком месте, в отраде такой, про их вспомнил. Таракан у них в голове играет. Чудно слушать. Как это им охота начальством стать. Почет получить. Но все сулят, обещают. Помню я, такой человек, вроде что барин, сказал мне одна: «Ты, — говорит, — Герасим, слушай. Я тебе секрет скажу. Всем обещай, кому что, кому деньги, кому утеху, всем говори, что вот какой он умный. А он и все тебя любить зачнут. Обещай. Ничего не давай, обещай только, вот увидишь, как тебе кланяться будут». «Верно, — думаю, — есть правда в этом». Я нарочно и попытал. Говорю одному, Захару-угольщику. Бедный мужик. «Я тебе, может, лошадь опосля куплю». Их, он рад! Другому: «Леску похлопочу, у лесника попрошу. Сарай поставишь, — говорю. — Житницу». Их, он и рад! Почет мне. На что хитер Мартьянов. Я ему. «Покажу, — говорю, — делянку леса, наживешь охапку». Он и чаем меня, и водкой потчует. А я и делянки не знаю. Ха-ха! Верно барин говорил: обещай только. Все за тебя. Верят.

— А ты тоже, Герасим, веришь?

— Я-то? — засмеялся Герасим. — Нет. А будет все же много от таракана господского. Дела эдакого много будет. Потому что нужда, нехватка. За эдаких цепляются. Сулят то и это. Люди правды ждут. Нехватка, работает, работает, сломается в труде,

старость, а что, все нужна да нужна. Детев много. Как быть? Ну, и верит, сердца ждет, добра, души человеческой — правды.

— Герасим Дементьевич, а в чем правда есть и где она? — спрашиваю я.

— А вот в этом самом месте, — отвечает Герасим. — Вот тут. В радости, в воде этой, в душе человеческой. Вот она, тут. Верой здесь кто-то крест ставил, благодарил, значит, что ему отраду воду эту испить в жисти пришлось. И назвал он Ключ-Свят. Так, значит, от души это вышло. В душе, в совести правда заложена, и в ключе воды она дадена.

Что-то было русское в словах Герасима. Какая-то печаль и мир.

А кукушка куковала, сколько кому жить осталось на нашей тайной земле.

Московская канитель

Моего приятеля-архитектора, Василия Сергеевича Кузнецова, выбрали директором Литературно-артистического кружка в Москве. Артисты его все знали и любили за его веселый нрав, твердость характера и дородную внешность. У Кузнецова был приятель и друг, композитор Юрий Сатковский. Такие были друзья закадычные, что водой не разольешь...

Москва жила. Театров много, артистов тоже, писателей, поэтов, художников, всего много. После 12 часов ночи, когда закрываются театры, кружок был полон гостей. Ужины, дружеские беседы, певцы, актеры, актрисы, словом — жизнь лилась. Лилось и вино, играли чувства!

В новом изящном фраке, при белом галстуке, явился серьезный, с таким серьезным лицом, новый директор Василий Сергеевич.

В этот вечер он был впервые дежурным старшиной. Многие его поздравляли с назначением, был ужин, за ним сидели и другие директора кружка, артисты Сумбатов-Южин, Рыбаков, Правдин, Климов, Бакшеев, словом — много. Поздравляли нового директора. На столе холодный поросенок и водка, потом шампанское.

Ужины в кружке шли долго. «Не скоро пили предки наши», и ровно в три часа ночи приехал Юрий Сергеевич Сатковский. Директор Кузнецов, увидев друга, на радостях расцеловался. Пир шел: холодная водка, балык, грузди, семга, чего только не было... Но Василий Сергеевич посмотрел на часы и сказал Юрию Сергеевичу:

— Ты меня извини, Юрий, уже десять минут четвертого, я должен тебя оштрафовать на три рубля.

— За что?

— Правило: после трех ночи вход для гостей закрыт...

— А ты не можешь снять с меня штраф? — спросил Сатковский.

— И рад бы, да не могу, я — директор.

— Хорошо, — согласился композитор. — Я уплачу.

Встал и ушел.

И уплатил штраф. Но в штрафной книге Юрий Сергеевич написал: «Плачу три рубля в удостоверение того, что директор Кузнецов дурак».

При этом расписался полностью.

Кузнецов, уходя в компании, наскоро подошел к кассе. Кассир дал ему штрафную книгу. Кузнецов подписал: «Скрепил — директор Кузнецов» — и уехал с компанией дальше.

Прошло несколько дней. Было назначено очередное заседание директоров кружка. Председателем всегда был князь Александр Иванович Сумбатов — артист Южин. Поэт Брюсов, тоже директор, говорит на собрании:

— Не в порядке дня должен сообщить, что шнуrowая штрафная книга испорчена, и дирекции кружка нанесено оскорбление в лице директора Кузнецова.

Брюсов подал книгу Василию Сергеевичу. Тот прочитал, побледнел и рот сделал дудкой.

— Ах, какая скотина! — воскликнул он. — Вот животное!

— Да ведь вы скрепили, — заметил не без ехидства Брюсов.

— Да я его к барьеру! — кричал Кузнецов.

Директора успокаивали.

Неприятно то, что эта книга штрафная поступит в проверочную комиссию, а потом в опекунский совет об отчислении благотворительного сбора и т.д., — все будут читать.

— Нельзя ли это, — говорил, волнуясь, добрый председатель Сумбатов, — ну, как-нибудь это уничтожить. Ну, попросить Юрия Сергеевича, чтобы он поправил журнал — чтоб не так заметно.

За «неблаговидный поступок» исключить из кружка Сатковского не могли, так как директор сам подтвердил правильность его записи.

Василий Сергеевич ходил мрачнее тучи.

— Вася, — говорил ему приятель Коля Курин. — Неужели ты можешь застрелить Юрия на дуэли? Подумай.

— Как собаку!

* * *

Но дуэль не так-то проста. Секундантов много, но никто не идет. Обедают, пьют водку, а потом говорят Кузнецову:

— Ты сам скрепил.

Никак нельзя секундантов найти.

— Теперь я понял, что такое друзья, — говорил Кузнецов. — Вот секундантов — нет!

— Да ведь ты скрепил, — говорили ему.

— Что ж, что скрепил. Что из этого?

— Тебе бы не скреплять, — сетовали приятели. — Ты бы его на месяц за оскорбление личности посадил. Мировой бы судья присудил.

— Позвольте, — говорил приятель Коля. — Я присяжный поверенный. Извините, оскорбления нет, это личное мнение.

— Какое личное мнение, — сердился Кузнецов. — Позвольте, «дурак» — это не оскорбление? Чего же тогда еще?

Шли дни в обсуждении прискорбного случая, думали, как «смыть обиду». Вася Кузнецов похудел и раздражался.

— Позвольте, — горячился он. — Напиши он просто «дурак Кузнецов». Это одно, а он написал — «директор». Вот что... За это я его пристрелю или он у меня в кандалах по Владимирской дорожке потанцует пешком тридцать тысяч верст в Нарым. Похудеет немножко.

— Ведь он все же был твоим другом, — уговаривают его. — Подумай.

— Мне нечего думать, — кричал Вася. — Или дуэль, или пускай прокурор подумает. Штрафная книга-то шнуровая, прошнурована, и печать. Посмотрите-ка на печать — что там?

— А что там, Вася?

— Там герб, вот что. Георгий Победоносец. Поняли, чем это пахнет?

— Это верно, — сказал адвокат Коля Курин. — Там он на коне топчет змия. Верно, что герб.

— Ага! Поняли?.. Это дельце-то какое? Политическое!

И Вася прищурил глаз, смотря пристально.

— Ну, это ерунда. Почему политическое?

— И что ты, Вася, так сердисься? Ведь это просто бестактная выходка спьяна. Брось сердиться.

— А что он, не видел, куда писал? Это ведь не на заборе писать!

— Да, это верно, на заборах черт-те что пишут, — согласился адвокат Коля.

— Значит, или дуэль, или судиться будешь с Юрием?

— Обязательно. И дуэль, и судиться, — ответил Вася.

— Но когда ты убьешь на дуэли Юрия? Кого же тогда судить?

Архитектор не ожидал такого вопроса и задумался.

— Действительно, выходит ерунда, — подтвердил тут Коля Курин.

— Я думаю дуэль после суда назначить.

— Да ведь Юрий в кандалах уйдет по Владимирской. Где же ты его догонишь?

— Это верно, — согласился Вася. — Это надо взвесить. Вот ведь какую историю устроил. Выхода нет.

Тут кто-то и научил архитектора Васю написать письмо Льву Николаевичу Толстому, «писателю земли русской». Вася очень обрадовался.

Письмо писали — сам Вася и адвокат Коля Курин, а обсуждать написанное поехали к адвокату Гедиминову. Гедиминов был другом артистов, хлебосолом и знаменитым адвокатом-оратором. Он пригласил обиженного Васю и всех друзей к себе, принял запросто, в халате. Гедиминов — кудрявый брюнет большого роста, с красивой физиономией.

За роскошным обедом обсуждался вопрос, как писать Толстому. Прежде всего — писать ли «ваше сиятельство», «граф» или как? Вася достал из кармана черновик письма, который он написал, и прочитал:

«Обращаюсь к светлому уму великого писателя, поставленный в трудную минуту жизни ссорой с другом в сверхъестественное положение. Беру на себя смелость беспокоить вас дать совет, хотя дело, о котором пишу вам, вышло по пьяной лавочке, но все же...»

— Нельзя, нельзя «по пьяной лавочке», — закричали кругом. Он все же граф...

— А почему, — протестовал Кузнецов, он сразу поймет все, он всю Россию насквозь видит.

В это время распахнулась дверь, и появился композитор Юрий Сергеевич. На его круглом, как блин, лице открылся маленький ротик, и он сказал, обращаясь к Васе:

— Дубина ты стоеросовая. Хорош, нечего сказать!

Гедиминов встал и, сверкая глазами, горячо заговорил:

— Прошу вас, у меня... Я не позволю... Какое ты право имеешь писать в общественном месте? Это ведь не дома. Степень обиды, как нарушение права, юриспруденция не позволяет...

— Ну, завел ерунду, — перебил его Юрий. — Я ничего не писал.

— Как — не писал? — спросили все. — Как! А кто же?

— А черт его знает, кто! — говорил Юрий. — Должно быть, этот... сосед по ужину... которому я предложил внести за меня штраф, — он из Одессы, баритон, фамилия какая-то греческая... А где он теперь, я не знаю.

Вскоре друзья помирились и под руку ходили вечером в Литературном кружке. Чтоб видели, что помирились. Много пировали, много говорили, объясняли.

Но кто же грек, баритон в Одессе? Нашелся один, который знал его. «Я знаю, — говорил, — это Ахвертино!»

— Как — Ахвертино? Его не было при этом! Да он, хотя и поет, но не баритон.

— Позвольте, — сказал кто-то, — вон он сидит, видите, за столом. Сейчас спросим.

Вася прямо подошел к компании, где сидел Ахвертино, и строго спросил:

— Это вы изволили писать в штрафной книге?

Тот быстро ответил:

— Да, я, а что?

— Как — что? Оскорбление!

Ахвертино уверял, что «нет».

Тогда все пошли смотреть штрафную книгу. Читают: «Вношу три рубля в подтверждение того, что директор Кузнецов — чудака». Видно было, что кто-то переправил слово «дурак».

Кузнецов кричал:

— Я не позволю, это подлог, уголовщина! Под суд!..

Тогда адвокат Ахвертино, серьезно и деловито согласившись с ним «в вопросе о криминале», предложил, подав ему перо, написать слово, как оно было прежде.

Долго держа перо, директор Вася смотрел на штрафную книгу, потом на Ахвертино, наконец быстро написал: «Остаюсь при особом мнении» и расписался.

Все сказали:

— Вот это умно... Молодец, Вася, ловко ты это...

И Вася Кузнецов вновь повеселел и при встрече говорил:

— Что, взяли? Кто теперь-то в дураках ходит: кружок или я?

Дядя Го-го

Далеко расстелились луга, поймы реки Клязьмы. Среди зеленых долин блестят рябью поверхности озер. И темные стога сена, разбросанные далеко, дремлют у зарослей ивняка. Тихий серый день начала осени. С горы небольшого монастырского бора я и приятель мой, Абраша Баранов, спускаемся по песчаной дороге в пойму, к месту охоты.

Как радостно на душе, как бодро, как дышится свежим воздухом, наполненным ароматом лугов, запахом сена! Как вольно, просторно кругом! А мы так молоды, и у меня ружье — двустволка и новая пороховница на зеленом шнуре. Я отсыпаю порох прямо в стволы ружья и забиваю паклю шомполом. Насыпаю шестой номер дроби — на уток. Собака моя, сеттер, уж ищет понизу у кустов, в зарослях. А вдаль видно, как разливается широкая река Клязьма, поворачивая к обрывам темного леса.

Чайки легко взвиваются над поверхностью вод, и крикливо плачут чибисы: «Тюи, тюи, тюи...» Они такие красивые, тонкие, с хохолками на голове, мы их не стреляем — жалко.

Ровный кошений луг, огромный стог сена. Абраша Баранов бежит к стогу и ружьей зовет меня. Я вижу — вдали, вытянув шею, летит стая уток. Мы оба прячемся за стог. Утки в полете то спускаются к земле, то поднимаются ввысь и пролетают над нами высоко. Мы следим за ними, и они скрываются за лесом. Вдруг видим — летят две прямо на наш стог. Мы оба стреляем и видим, как одна утка пошла вниз и упала на краю, у воды озера. Мы бежим туда, где спустилась утка. Собака в осоке, как шелковая лента, вертится, ищет... Останавливается, качает хвостом и несет нам кровавого селезня. Абраша завертывает его голову под крыло и кладет его в ягдташ.

Заряжаем ружья и, увидав стаю летящих уток, ложимся в кусты. Они высоко пролетают над нами. Мы, притулившись, стреляем в них, но они далеко завернули кругом и опять полетели мимо, далеко.

Вдруг из-за кустов соседнего берега, опустив крылья, стая уток появилась над самой поверхностью озера и села на воду. Мы оба стреляли подряд, по сидячим и — влет. Две утки лежали на зыби воды, а третья, раненая, упала у кустов и поплыла. Собака погналась за ней, утка нырнула. Убитые утки лежали на поверхности посередине озера. Мы показывали их собаке, бросали палочки, землю, но собака не шла в воду. Она бегала по кустам и нашла утку — раненую, но к убитым не шла. Мы решили достать уток. Стали снимать длинные сапоги.

— Плыви один, — говорит мне Абраша, — у меня сапоги трудно снимаются.

Я разделся. Вода холодная. Смело плыву саженками и за зыбью воды не вижу уток.

— Бери правой! — кричит мне с берега Абраша.

Как собака, я беру в рот крылья уток и плыву к берегу. Как холодно, ух, как холодно! Одеваюсь. Озяб ужасно. С волос течет вода на спину. Вот озяб!..

— Пойдем к мельнику, — говорю я.

Мельник Василий Иванович держал мельницу на маленькой речке Шахе, близ бора в лощинке. Мы быстро шли, огибая край леса. Мелкие кусты березняка и порубь. Тр...тр...тр-рр... — раздалось впереди, и над нами в синеве неба вылетели тетерева. Абраша выстрелил. Прямо к ногам моим упал тетерев. Я забыл, что озяб, и крался к севшему в траву тетереву. Собака стояла.

— Пиль! — говорю я. Собака сделала шаг, и тетерев вылетел.

Пошел мелкий дождь. Мы снова заторопились к мельнику.

В маленькой избе было тепло. Чай и брусничное варенье. В окно видна запруда, уходящая в лес вода. Нити дождя, хмурое небо.

— Сколько уток ночью садится здесь, — говорит нам мельник. — К моим дворовым подлетают. Вот ружье бы, прямо из окна стреляй... А что у нас на Хохулево озеро — страсть их, этих уток, много! Я ехал от Спаса, так с горки видать... ну, масса...

— Это где? — спросили мы.

— Да вправо от бора, версты четыре отсюда. У Спаса праздник годовой, ну, ярмарка. Я туда ездил колеса купить, дак что вышло. Вот из Порецкого, знаешь, дядя Го, дядя Афанасий Савинов дак там был и чего сделал. Рассерчал. Так всю ярмарку и разнес. Народу переколотил, палатки туды-сюды разбросал... Вот старик, а сила в ём,

вот ужаси, что силы есть. Ну, дак связали его насилу, увезли. Ну, тоже насыпали и ему... Вот осерчал.

— Дядя Афанасий, — сказал Абраша, смеясь, — чудак. На что же обиделся он?

— Да вот, он тоже колеса покупал, что и я. Он скупой, все торговался. Но купил и надел колеса новые к телеге-то. А ему и говорит шорник:

— Ты, — говорит, — возьми мази да смажь, а то поедешь, они скрипеть зачнут, нехорошо...

А тому денег жаль, скуп.

— Доеду и так, — говорит, — дома смажу.

— Да, дома смажешь! А дорогой-то до дому поедешь, а они дорогой-то скрипеть зачнут. Го-го... го-го.

А его-то дразнят так: «дядя Го». Гнусав он.

И как он так рассерчал — палатку-то ему всю мигом разнес. Ну, все на него. А он как даст одному-другому — гора кругом его лежит народу. Всех бьет, как хочет. Вот что вышло... Глядь-ка, — вдруг переменял разговор мельник, показывая в окошко, — за ольшаником что чирков село, смотри, иди от сарая скорей.

Мы взяли ружья, вышли из избы, согнувшись, прячась за кусты, подошли к запруде. Перед нами на поверхности сидели, плавая, чирки, и в мелком дожде дым от выстрелов расстелился пред нами. Мельник сел с лопатой на челн, поехал краем воды и ловил убитых чирков.

Мы вернулись в дом, пришла и мельничиха с сыном. В корзинах лежала мокрая брусника и грибы. Мельничиха и сын промокли от дождя, переодевались за загородкой, и мельничиха говорит:

— Лесничий, вот... пьянее вина, у крыльца болтается и в дом никак не войдет... Авдотья мне говорит: из гостей он всегда так придет, выпивши...

И мельничиха захопотала — жарить уток, чистить рыбу, варить уху. Мельник вынул из шкафа бутыл, в ней настойка полынная — для здоровья.

Когда поставили на стол жареную дичь и уху, ватрушки, хлеба и грибы, то, перекрестившись, сели все за стол.

— Гляди-ка, — говорит Абраша, — показывая в окно, — кряковые сели... вон они, вон две.

— Ну, довольно, — говорю я, — пускай живут. Кончится дождик, мы пойдем на пойма, к долгому озеру.

Выпив полынной, я спросил мельника:

— Ну что же, дядю Го посадили в тюрьму за драку на базаре?

— Его не одна сажали, — ответил мельник, — только его начальство любит, губернатор... Ну, и отпускают...

— За силу любят, — говорит Абраша, — богатерь.

— Да, верно то, — подтвердил мельник. — Было одна вот как. Купил он у купца Мартьянова во Володимере ситцу, на все семейство. Значит, да. Да ситец-то ему и продал Мартьянов гнилой, обманул, значит. Так он-то, Савинов, дядя Го, на Пасхе его и встретил, в церкви Покрова Пресвятыя Богородицы. Поздоровкался да руку ему и пожал: благодарю, говорит, тебя, Мартьянов, за ситец. Да так ему руку-то пожал — тот креста пальцами сложить не может и посеичас... Пальцы-то разошлись туды-сюды. Он на него в суд. Ну, суд. Глядят — видят, что пальцы никуда, в разные стороны идут, не годятся... А он ситец показывает — тоже не годится, говорит. Ну, и ничего. Отпустили.

— Он мне из родни... — говорит Абраша. — Ты видел его у меня в Добрынском, когда он к отцу приходил.

— Да, помню я этого старика, — огромного роста, сердитый. Помню.

— Так вот, — продолжал Абраша, — я был мальчишкой. Раз мы гуляли зимой, на масленице, в селе. Парни молодые, как бы посмеяться, что бы устроить. Ночью подошли мы к его дому. У него хороший дом. Я и постучался палкой в ставню. В доме было темно. Стучу и говорю: «Дядя Афанасий, выглянь-ка, староста за овсом прислал». Смотрим — он огонь засветлил в доме. Значит, проснулся, встал и отворил окошко. Голова лохматая высунулась и спрашивает: «Что надоть?» А я ему говорю прямо в лицо: «Го-го...»

Он головой как затрясет, да как заорет «Караул!» — прямо на все село. Мы бегом. Да он выскочил, да за нами босиком, с топором бежал. Ну, мы насили убегли, спрятались на кладбище. А то бы всех перебил.

* * *

Дождь кончился. Весело освещало солнце мокрые луга. Белые облака спустились далеко, за край поймы. Голубое небо радостно сияло. На берегу Клязьмы ровно лежали желтые пески. Кулики-песочники перелетали, покрикивая. Заворачивая к лесу, широкая Клязьма подмывала берега, и с обрыва седые ели упали к самой воде. На тихом омуте реки плескались большие рыбы. Так было отрадно идти по берегу. Соседний лес освещало вечернее солнце. Лес опрокинулся в ровной поверхности воды, и бездонное небо глубоко синело.

Из-за леса, с поворота реки, выплыл челн. Ехало трое рыбаков. Мокрые сети лежали в челне. Они, увидав нас, подъехали к берегу и вылезли, сказав нам:

— Вот промокли. Нет ли у вас спичек? Вот... живой нитки нет, промокли до чего...

Мы спустились к ним.

— Сложим костер, — сказал старик-рыбак, — погреемся.

Живо набрали хворосту, и запыхал костер. Рыбаки повесили котелок на шесте и бросили в него щепотку чаю.

— Смотри-ка, у меня кисет промок, покурить бы...

Мы дали им папирос.

— Вот спасибо, — сказали рыбаки, закуривая от уголька.

Один, встав, пошел к лодке, вернулся с рыбой и сказал:

— Стерлядки невелики, и то редко даются. — Живые стерляди вертелись в руках. — Вот, барин, возьми.

— Да что вы! — говорим мы. — Продай, ни што.

— Бери, барин, — говорит старик-рыбак, — редкая рыбка-то. Вот, барин, за лесом тута надьсь цыгане стояли. Едем мы ночью, тоже промокли. И вот у них слезли. Они все к нам. «Дайте рыбки, погадаем...» — говорят. Ну, и стакан водки подносят. А у них веселье, вольный народ. Песни поют, кони ходют, телеги, шатры. Живут они на воле... Вот одна — хороша, молодая и, эх, красива, платок на ей шелковый, красный. «Слышь, — говорит мне, — в это место брось сеть». А тут речка маленькая входит. «Поймаешь на золотой», — говорит. Я говорю ему: «Андрей, — вот ему, — показал он на другого рыбака, — бросим!» А он: «Ну что, река малая, тут бырь, что взять?» Ну, а я бросил сеть. Так вот, цыганка, гляди-ка. Двадцать шесть больших

стерлядей взял. Ну, это что? Удивление. Пятьдесят рублей получил за их, — вот, поди, какой народ!.. Веселый, волю любит. Я и спросил ее: «Чего же, молодуха, здесь, в лесу, в телегах живете? Дома-то хуже? Аль дома нету?» А она и говорит мне: «Так любим; в раю живем... Месяц выйдет — любовь наворожит, туманами закроет, утро зарей загорит, и запоет душа песни»...

Говорит этакое все, а сама глазами водит туды-сюды, — ну и девка, чисто зверь!..

Болото

В августе месяце приехали ко мне в деревню, где был у меня деревянный дом и сад, далеко от Москвы и от станции, мои друзья, на охоту. Место глухое, кругом все леса.

Друзья решили звать меня на охоту еще дальше, на Берендеево болото. Привезли с собой большую карту и разложили ее на столе. Павел Александрович, страстный охотник и человек серьезный — шуток не любил, — привез он с собой еще и большой компас, чтоб не заблудиться. Берендеевы болота — огромны, и на карте прямо пустое место — всё в ровных черточках. С краю есть, кое-где указаны, селения, но мало: Пундога, Папой, Рявка, Гаврилово. Приятели смотрят на карту и по компасу сверяют направление.

— Место-то там непроходимое, — говорит охотник Герасим Дементьевич, крестьянин, мой приятель. — Я бывал там. И что? Топь и топь. Ну, может, дальше и всякое есть, только как пройти. Не заплутать бы... Бывает это там, эдакое-то...

— Какая чушь! — возражал Павел Александрович. — У меня компас. Английский. Ехать отсюда нужно на Рявку или на Гаврилово. С компасом не заблудимся.

— Рявку не знаю, — ответил Герасим. — Надо на Овсурово ехать, а там недалече до болота. А Гаврилово под Ростовом, там и охоты-то никакой нет.

— В таком болоте дичи масса, наверно, — говорят приятели, глядя на карту.

— Может статься. Болото велико, но летом непроходимо, и невесть куда оно идет. Лосей много. Да и всего есть, да взять-то как?

— Это же морской компас у вас, — говорит приятель мой, архитектор Василий Сергеевич. — Как же по нему по земле ходить?

— Какой вздор! — серьезно заметил гофмейстер.

Приятель Павел Александрович, высоко подняв черные брови, тоже сердито сказал:

— Ну, довольно, довольно этих шуток и пошлостей.

Долго собирались охотники. Разбирали патроны, захватили пули, штуцер, потом длинное ружье на уток. Наконец собрались и поехали. Дорогой остановились еще раз проверить направление. Почему-то по компасу выходило, что едем не туда. Но возчики и Герасим, смеясь, уговаривали:

— Верно едем, на Овсурово, к Берендеевым болотам.

Был чудный осенний день. Весело светились дали. Сжатые пашни и леса ярко горели осенним убором листвы. У ложбинки болота собаки спугнули уток, а вдали показалось большое Вашугино озеро.

— Стой! — приказал Павел Александрович.

Все вылезли. Гофмейстер вынул карту. На озеро смотрели в большой морской бинокль, положили компас на карту и были в недоумении: на карте озера нет, не указано.

— Да. Странно... — сказал Сучков. — Не туда едем.

— Но это не болото, — серьезно заметил гофмейстер. — Что же вы хотите от карты?

На самом деле Берендеево болото, к которому мы подъехали, оказалось совсем не болотом, а ольховым низкорослым лесом. Лес этот растет на кочках, и между кочками — вязкая топь.

Мы бодро пошли, прыгая с кочки на кочку, придерживаясь за деревья, все дальше и дальше. Вдруг увидели, что кочки и деревья как-то гнутся и уходят из-под ног в жидкую кругом трясику. Павел Александрович провалился по пояс первый. Я смотрю — кочки уходят из-под ног. Хотел прыгнуть на другую, к корням дерева, и увяз...

Гофмейстер кричал: «Сюда, поскорей!» Герасим подавал ему сломанную олешину, и с архитектором тащили его за руки, упираясь в кочку у большой орешины. Тина, какая-то желтая сметана, резко выделялась на зеленом охотничьем костюме гофмейстера.

— Назад идем! — кричал гофмейстер.

— Куда иттить? — с хитрецей спрашивал Герасим.

— Где компас? — кричал кто-то.

— К черту компас! — орал Василь Сергеевич. — Благодарю вас, хорошенькое болотце нашли.

— Верно, — говорит Герасим. — Пропадешь. Говорил же, — какая тут охота!..

Когда выбрались из болота, то с горки было видно — далеко, до самого горизонта, синела эта ольховая заросль...

Гофмейстер смотрел испуганно серыми глазами, весь в тине, на веках светлыми пятнами засохла грязь. Я вспомнил, что как-то видел в музеях восковые фигуры, на которых от времени треснул воск и из вставленных глаз кругом торчала вата... Выражение у него было такое же.

Тут еще, ко всеобщему горю, заморосил дождик. Озябшие, мокрые, мы решили ехать до ближайшей деревни, в Пундогу или Рявку.

— Эдаких тут и нету, — сказал Герасим.

— Как нету? — возмутился Сучков.

— Полноте, Павел Лександрыч, этак по колпасу никак нельзя. Поедем на Овсурово, к Барану, тут недалече.

Охотник Семен, по прозвищу Баран, принял нас с радостью.

— Э-эка, — сказал, — как наохотились, видать, что досыта! — И его веселые глаза смеялись.

Чтобы согреть нас, он затопил печь хворостом. На столе появились все закуски, захваченные из Москвы друзьями: коньяк, водка, колбасы, сардинки. Хозяин подал на стол лосиную солонину...

— Эк, — говорил он, — куда зашли! Нешто возможно. Хорошо, что так, а то здесь по болоту и в упокойники недолго. Знать, в топь ушли...

Охотники, выпив и закусив, пришли в себя. Разговорились о неудаче.

— А, наверное, все-таки в таком болоте дичи много. И даже — неизвестной.

— И чего ее есть! — подтвердил хозяин Баран. — Всякая есть. Лосей много. А еще больше — чертей болотных. Сам видал.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер.

— Нет, барин, есть. Заведет, и прощай. Я знаю болота эти. Это я по зиме обхаживал, бывал в них, знаю. Лосей бивал немало. А вот на днях пошел краем, и завело...

Павел Александрович достал карту и спросил хозяина о селениях Няндома, Пундога, Рявка.

— Не слыхивал, — ответил хозяин, — эдаких-то мест.

Василь Сергеевич смотрел на карту и вдруг закрыл глаза и расхохотался:

— Ну и карта! Смотрите, внизу написано: Архангельская губерния. Ха-ха-ха...

Гофмейстер и все мы посмотрели на карту.

— А верно, — сказал Сучков.

— Ну, не угодно ли, — загорячился гофмейстер. — Географическое общество! Я им говорю — дайте мне Берендеево болото, а они Архангельское болото дали. Не дурачье ли? Какое невежество!

— Допрежь там, на болоте Берендеевском, — сказал хозяин, — разбойники жили, и атаманом у них девка была. Колдунья. Повечор песни пела. И так пела звонко да сладко, что к ней кажинный в болото идет, на голос. Прямо лезут — хоть што. Ну, и попадут в топь, плутают, а разбойники их и обирают, значит. Оберут, да и утопят. Сколько народу через то пропало. Это я слыхал от стариков. Зимой-то я проходил за лосями много раз через все болото. Но есть места, и зимой непроходимые, ключи такие, реки подземные. Тоже тянет туды. Ну, одна я, проходя там, на становище ихнее набрел. Место чистое, лесок, горка. Видать, что жилье стояло. Сруб обгорелый, канавка, а со мной всегда топорище. Я его на случай ношу. Я топорищем-то и стал копать. Ну и бога их выкопал. Вот страшный: голова, нос большой, а глаза — прямо из гвоздя сделаны. И гвоздь какой, прямо светится. Дак я его на санках домой привез. Мне жена покойная говорит: чего, говорит, ты в дом, говорит, Баран, тащишь? Нешто можно, икона у нас...

Ну, я его держу, поставил к лошадям, а лошади-то глядят на него да ржут. Приехал ко мне, што вы, охотник, барин эдакий из Питера, и глядел на его. И говорит: это, говорит, идол старый. Я — ученый, знаю, говорит. Это — скотий бог. Это, говорит, допрежь в старину было. Ты, говорит, за его деньги возьмешь. И покажи я его уряднику, а урядник-то исправнику сказал. Исправник ко мне. Сейчас, говорит, ты его сожги, а то в Сибирь попадешь! Ну, керосином облили, сожгли.

— Какой вздор! — сказал гофмейстер. — Какое невежество. Его надо было в музей отдать.

— Барин, да нешто можно? — сказал хозяин. — Кому отдать? На его глядеть-то страшно. Кто эдакого возьмет? Кому надоть?

— А жаль, — сказал архитектор, — интересная штука была, должно быть... Что же глаза-то страшные?

— У него не один глаз, у него глаз-то много... А я вот теперь уже опаской ходить в болото стал, потому кружить меня стало. Знать, сердчает бог-то ихний, что сожгли его. Вот меня завело раз. Дак я старичка встретил, махонький такой. Глухой, немой. Я думаю — заплутал старик. Говорю ему: «Куда идешь-то?» А он ничего — молчит, показывает рукой: «Не слышу». Я ему говорю: «Заплутался, сердешный?» А он мне, немой-то, смотрит на меня, да как крикнет: «Заплутал ты!..»

Да как свистнет, прямо сквозь меня свист-то этот прошел. Ведь это што? Вот я от него бег, вот бег! Слышу, а он за мной на четырех бежит. Вот оно што... Насилу убег... Вот и походи-ка там, в болоте-то... Вот оно какое...

Выдра

Всякий знает, что лето лучше зимы. Охота летом хороша, но и зимой тоже занята. Особенно хорошо зимой, когда друзья-охотники приезжают в гости. Охота бывает и неудачна, холодно, морозы, уши мерзнут, но зато вечера в теплом доме в деревне хороши. Горит лампа, теплется камин, рассказы друзей... Живу я в глухом месте далеко от Москвы, станция далеко, кругом леса; мой деревянный дом стоит на горке у леса, а внизу река, небольшая. За рекой огромный лес тянется на сто верст больше. Селенья редки. Попадаются деревеньки небольшие, дворов шесть. Деревенская соседка моя, тетушка Афросинья, хорошо варит брагу, пенистую. А муж ее Феокист на речке сделал во льду прорубку — воду брать. Хороша вода в реке Нерли, вкусная. А в колодце хуже.

И сказала мне Афросинья, что пошла поутру на прорубь воду брать, утром рано, и вот видит она, что у прорубки лежит эдакий зверина, морда кошачья, усищи, сам гладкий, лапы, как у гуся, а хвост рыбий. «Вот поболее собаки вашей». Он увидел ее да в прорубку прысь... и ушел. И у ней ноги подкосились.

— Глазищи у его, как у кошки!

— Тебе показалось, тетушка Афросинья, — говорю я. — Откуда зверь такой возьмется?

— Нет, — говорит Афросинья, — видала, ей-ей. Феокист-то говорит, не иначе, что это выдра.

Афросинья была женщина серьезная. «Врать не станет, — думаю я. — Не какая-нибудь потрясучая, говорил мне дедушка, “а мужнина жена”».

Я сижу в деревне один, скучно. Пишу картины с натуры: зиму. Холодно, руки мерзнут. «Пошлю, — думаю, — телеграмму охотникам — друзьям». Пишу: «Выезжайте скорей, выдра, одиннадцать часов», — телеграммы ведь сокращенно пишут. А сам пошел смотреть на реку к прорубке. Снегу много. К той стороне речки, где густой лес весь в хлопьях снега, к бережку большая прорубь. Вижу, действительно, следы на снегу у прорубки и у елей. Лапы большие с перепонками, и снег сбит полосами, как будто кто ползал, и чешуя рыба поблескивает. Афросинья говорит мне:

— Если это что ни что, водяной ежели, а то зверина страшный.

— Ленька, — кричу я слуге своему.

Ленька приходит заспанный.

— Ну, что ты, опять спал? — говорю я.

— Да ведь скучно, — говорит Ленька. — Делать нечего.

— Скучно... А вот палитру опять не вычистил. Слышал, зверина в проруби живет у нас тут, у леса?

— Да, слышал. Афросинья говорила. Феокист-то прорубь большой пробил на бочаге у леса. Он говорит, нарочно, говорит, большой, пускай, говорит, когда Василь Сергеевич приедет, налимов тут ловить будем. Там есть налимы, говорит.

— А если это враки... ей показалось? Может быть, кошка была?

— Нет, Афросинья врать не будет. Может, это бобер?

— Как — бобер? Бобров ведь тут нету.

Дедушка говорит, что бобры раньше были, недалеко здесь, у Иванова озера, камчатские.

— Пошлю телеграмму.

Приписал: «бобры...».

— Отвези, — говорю Леньке, — с Павлом на станцию. Вот телеграмма.

* * *

В Москве получил телеграмму приятель мой Павел Александрович Сучков. Поехал к гофмейстеру, тоже охотнику. Тот прочел телеграмму, рассердился ужасно, сказал:

— Какая ерунда! Какой у него в голове вздор, и всегда это у него. Выдра, бобры одиннадцать пудов. Вздор! Телеграфист, должно быть, перепутал. Вместо слова «часов» написать «пудов».

Павел Александрович задумался: «Если это окажется, что это пошлые шутки, то я больше с ним не знаком. Но все же, вероятно, если не бобры, то выдра».

Сам думаю: «Странный зверь. Приедут гости-охотники, чего бы доброго, не убили бы этого зверя. Живет, бедняга, зимой в воде, снег кругом, холодище, живет тут недалеко, рядом со мной, и вот я же послал убивать его... Ничего он мне дурного не сделал... Наверное, красивый, милый зверь... Нет, я не дам его убивать. Да им и не убить. Пулей надо. Пулей не попадешь».

— Не нерпа ли это? — говорит мне дедушка. — Та-то невелика, а этот-то зверина большенный, Афросинья говорит. Знать, выдра. Злющие они, выдры-то.

Сидим с дедушкой на кухне. Афросинья готовится к приезду гостей, разводит тесто для блинов. Ленька пошел за щучьей икрой, которую называет почему-то сиговой.

Дома у меня тепло. В комнате сторожа, рядом с кухней, спит здоровый толстый баран с густой черной шерстью, закручены большие рога, глаза белые. Домашний приятель баран. Глуп невероятно. Ест баранки сколько угодно и умеет только бодаться: думает, что это очень хорошо. Пойнтер Феб любит барана, лежит у него под животом, спит — от барана тепло.

Вечером пришел ко мне охотник, крестьянин Герасим Дементьевич. Я был рад, рассказал про зверя.

— Выдра... — сказал Герасим.

— Охотники, — говорю, — приедут из Москвы, Павел Александрович и другие.

— Ништо, — говорит Герасим. — Только выдра чутка больно. Ружье чует. Зря бьют. Куда ее?

— Герасим, — говорю я, — не надо ее убивать. Зачем? Пускай живет тут. Она, должно быть, красивая.

— Какая красивая... Да что вы, Кинстинтин Лисеич. У ней морда — глядеть невозможно; морщенная. Да баб-то злющих недаром народ выдрой зовет.

— Да теперь ее боле не увидишь, — говорит дед. — Афросинья ходила по воду вечер, а там бабы с вальками пришли, белье полощут. Вот что.

— Значит, приедут друзья мои — скажут, что я их обманул. Хотел показать им. А теперь ее напугали, полощут белье.

— Погоди, Лисеич, я ее покажу им. Я знаю. Попугаю из лесу, у берега нора есть, рыбки побросаю. Она пониже, на быстрине живет, где река не мерзнет. А в прорубке — это она охотилась, за рыбой лазила.

Масленица. Мы уж в заботе о приезде гостей-охотников. Достали, что возможно: и щучьей икры к блинам. Ничего нет лучше — угощать приятелей-друзей. Хлопота-

ли до поздней ночи. Разбудили меня утром. Слышу на кухне разговор. Приехали охотники. Я встал. Входят. Трут руки... Смотрят все на меня... Павел Александрович, подняв руку, сказал:

— Если это твои штуки и все ерунда — телеграмма тоже, — то мы не позволим: довольно пошлостей, шуток твоих! А если, — говорил он, выпучив глаза и подняв черные брови до причесанных гладко волос, — если выдра есть, то здравствуй!

И он подошел, обняв, расцеловался со мной, и все другие.

От гостей пахивало коньячком. Все были веселы. Блины, разговоры. Говорили про бобров, нерп, росомах. Угощали тетку Афросинью, Феоктиста, Герасима, дедушку, Леньку. Решили вечером идти убивать выдру. Гофмейстер, Павел Александрович и их приятель, Хренов, страстный охотник, — все легли спать. Василий Сергеевич серьезно и задумчиво что-то мастерил. Шушукался с Феоктистом на кухне.

— Уберите, — кричал, — барана. Этот болван ничего не дает делать, бодается. То же, завели дурака себе. Его бы пора на плиту. Не я твой хозяин, — говорит он барану, — а то бы давно на котлеты пошел. Уберите его к черту.

Барана привязали на веревку.

— Никому не говорите, — тихо сказал мне Кузнецов. — Я ее на крючок поймаю раньше их. Поняли?

И он мне показал огромный крючок, на котором сидела рыбина, и, взяв ружье, пошел с Феоктистом на реку. Феоктист почему-то захватил вилы.

Охотники ждали вечера, так как Герасим сказал, что выдра выходит чуть свет или ночью. Охотники снаряжали патроны картечью и пулями и были все серьезны и со мной деловиты. Шуток не было. Герасим ушел, сказав:

— Вернусь к вечеру.

Сумерело. Пришел Герасим и говорит:

— Рано еще...

Охотники дожидались, сидели молча, говорили как-то о постороннем. Я спросил, правда ли говорят, что Родзянко охотник. Мне ничего не ответили. Изредка один, другой из гостей, встав, подходил к столу и деловито выпивал рюмку коньяку и опять садился и молчал.

— Пора, — сказал Герасим.

Охотники оделись, взяли ружья. Когда вышли на крыльцо, Герасим сказал шепотом:

— Потихе. Курить нельзя.

Шли глубокими сугробами. Ноги в валенках уходили по колено в снег. Подходя к речке, Герасим тихо, по одному, рассадил всех в кустах берега под елями и ушел.

Лес угрюмо дремлет. Спускается ночь. Юпитер блестит на небесах, сияя над лесом. Тишина. Медленно идет время. Темнеет. Из проруби лезет зверь, ужасный. На морде усы и на спине щетина, длинный хвост. Быстро ползет к бугру. Открылась канонада. Я даже не стреляю — так удивлен. Невероятно, невиданно! Чудовище! Зверь быстро полз вверх на бугор и пропал в кустах за елями. Герасим выходит к проруби. Идет по следу. Подходят охотники. Смотрят.

— Ранен, — говорит Герасим. Зажигает спичку: на снегу пятна крови. Герасим берет снег — в нем кровь. Мне как-то было тяжело: ранили зверя.

— Не уйдет далеко, — кричат охотники.

— Завтра утром найдем, — говорит Герасим.

— Ну и зверина! — удивляются охотники.

Василий Сергеевич тянет шнурок у проруби, вытаращив глаза, и выбрасывает на снег большого налима.

— Какой восторг! — говорит гофмейстер. — Всюду звери!..

— Спасибо, — говорит мне Павел Александрович и жмет руку. — Ага, это класс... Какой черт. А? Я его пулей раз-раз. Не уйдешь, — крикнул он, посмотрев на лес.

Охотники были веселы и довольны: уха из налима! Хренов говорил, что точь такого убил в Сызрани на реке, только хвост поменьше.

— Там называется по-другому, не выдра. Ее не едят, рыбой пахнет.

— Прекрасный будет ковер из нее, — говорил гофмейстер.

Все были веселы. Хренову велели выпить со мной на «ты». Павел Сучков говорил про меня, что я охотник и понимаю.

— Но только разные штуки его — ерунда. Но какова вещь? А? Лезет прямо из воды. Понимаете. А? Я в первый раз вижу эту выдру.

— Поискать бы след, да темно, — говорит Герасим. Месяц на ущербе да тучи находят.

Угощали Афросинью, Феоктиста, Герасима.

— Наслаждение, — говорил гофмейстер. — Обстановка и всё — поэзия! Напиши же, пожалуйста, эту картину, — сказал он мне.

Утром встали рано. Но за ночь пала порошь: потеряли след. Пошли искать зверя. Сделали загон. Убили шесть зайцев, но зверя нет. В удивлении рассказывал гофмейстер, что тетерев вылетел у него из-под лыж из снегу. От неожиданности он пропуделял, но зато застрелил двух зайцев. Убили глухаря и тетеревов. А Вася застрелил лисицу.

— Черно-бурую... — говорил он.

— Не черно-бурая, — отвечали ему.

— Как — не черно-бурая?.. А спина-то, смотрите, — темная.

Герасим был героем. Его задарили и подпоили. Масленица... Блины ели. Вся деревня пила вино. И Феб, баран — все ели блины.

Зверь ушел, но ничего. Вася наловил налимов. Дичь и рыбу завертывали в рогожные кульки. Герасим сказал мне:

— А богат, знать, генерал-то. Смотри-ка, отвалил мне 25 рублей!

Все уехали в Москву, довольные охотой.

* * *

Ранней весной я с холстом, красками, мольбертом в большом лесу за речкой выбрал место писать картину. Солнце. Весна... Зеленые ели и мутные кусты ольхи. А за ними светлый разлив реки и кое-где, в ложбинах, горит ярко-белый снег, залитый весенним солнцем. Синие тени. Какая жизнь, какая красота! Я быстро кладу краски на холст светлых пятен и голубых теней и вижу в кусту, недалеко, что-то лежит длинное, темное... Подошел. Вижу, длинный холщовый мешок набит соломой. Впереди, где шире, вставлены ровные прутья с двух сторон.

— Ах, ты... Да ведь это зверь-выдра! Ах, Герасим!..

Говорю Герасиму при встрече:

— Ну и плут ты!..

И оба смеемся.

— Как же это ты след-то... кровь ведь была?

— Да, — отвечает Герасим. — Курья кровь-то... Я пузырек взял. А то не поверят. Масленица... Скучные б стали. А то каждый думал: «Я попал». Коврик уж готовили... Пущай... Охота — зверь! Весело.

— Как же ты это приспособил?

— В сарае шил, с Ленькой работали. Я тянуть — бечевку у вас взял... долгую, что через реку ставили рыбу ловить с лодки.

Нет уж больше моих друзей-охотников, и не знали они, что их обманул Герасим, и в обмане его они радовались, что видели выдру, и впечатления от охоты унесли в вечность.

Фонарь

Осенняя ночь. Тучи тоскливо повисли над домами города. Дождь бьет по стеклу окна моей комнаты. Ярко светит фонарь, освещая башни чужого города. Пролетает прошлое, далекое время. Уныло на душе.

И вдруг я вспомнил Москву, Сущево, фонарь... И радостью сердечной вспоминалась юность и забавный случай с фонарем, простым, уличным, нашим, на деревянном столбе фонарем. Шел я с Мясницкой, из Училища живописи, ваяния и зодчества, с вечерового класса, с приятелем своим Щербиновским.

Была осень, дождь, мокрые мостовые, площадь... Тускло сквозит огонек в окнах трактира с синей вывеской. Едут ломовые, один за другим, окутанные рогожей от дождя. Лениво понукают лошадей. Слышится: «Н-ну... ы-ы-ы... ны...»

Над церковью в темных тучах слышен крик кучаами летающих галок. Пахнет сыростью, квасом, рогожей. Идем мы, шагая через лужи, под мышкой у нас большие папки с рисунками вечерового класса.

— Тебе нравится рисовать голого натурщика Петра? Мне нравится.

— А мне отвратительно. Что хорошего? Ноги синие, худые, и живот!

«Странно, — подумал я. — Левитану тоже не нравится, а он хорошо рисует...»

Сергей Анисимович Щербиновский был красавец, высокого роста. Его черные кудри выбивались из-под шляпы, и карие глаза улыбались. Он был деликатный и добрый и знал, что он очень красив. Писал он и рисовал всегда усердно и аккуратно, но, к сожалению, получал на экзаменах живописи и рисунка дальние номера, плохие отметки. Это его удивляло, и он не понимал, в чем дело. Щербиновский был со средствами: он получал от отчима 50 рублей в месяц — это тогда нам казалось огромными деньгами. Мы ниоткуда ничего не получали, давали грошовые уроки и продавали свои этюды.

Но жизнь — смена дня, утра, вечера — зачаровывала нас настроением, и мы не думали о нашей бедности и тяжести жизни. Главное, самое главное — это вот мотивы природы. А люди как-то так, при ней. Они что-то говорят, все как-то около чего-то важного, а самое важное, это — вот написать эти мокрые крыши, эти сумерки, выразить эту печаль, тоску, взять этот тон этой площади, со скученными домами, где в лужах отражаются огни окон. Как хорошо, уныло! Даже печаль отрадна. О, юность, как прекрасна ты!

Поворачивая по Мещанской улице от церкви Троицы на Капельках, мы шли переулком. Длинные заборы, за заборами темные сады. Фонарщик, похожий на кра-

дущегося вора, с маленькой лестницей за спиной, подошел к уличному фонарю и, приставив к нему лестницу, влез. Открыл фонарь и зажег фитиль масляного фонаря. Фонарь осветил темный деревянный забор, ветви бузины и пожелтелые березки за забором. Я остановился.

— Смотри, — говорю я, — как красиво, какая интимность, как приветливо светит фонарь, — таинственная печаль в этом уходящем заборе, какая тайна... Вот что бы я хотел писать. Найти это чувство, это настроение...

— Что тут хорошего? — сказал мой товарищ. — Странно. Да и написать нельзя огонь. Да это глушь какая-то, пустыня, забор, мокрый тротуар, лужи, бузина. Гадость. Да ты это нарочно говоришь?

— Нет, — ответил я, — нет... не нарочно.

И подумал: «Или он ничего не понимает, или я какой-то совсем другой...»

— А что же тебе нравится? — спросил я, идя вдоль забора.

— Как — что? Многие картины мне нравятся. Ну, «Фрина» Семирадского, «Русалки» Маковского...

Не знаю, отчего вдруг мне стало как-то одиноко. Мы шли...

Фонарщик снова остановился, мрачно посмотрел на нас и пошел. Поставив опять лесенку, зажег другой фонарь.

— Этот вот еще лучше, — говорю я, — вот отсюда, завтра же приду сюда — напишу фонарь.

Фонарщик, обернувшись, посмотрел еще мрачнее и недоверчивее.

— Чего это вы на фонари глаза пялите? — сказал он хриплым голосом. — Ишь што! Фонарей не видали? Чего надоть?

— Да вот он... — сказал Щербиновский, показав на меня, — смотрит — фонарик выбирает, на котором лучше повеситься.

Фонарщик, взяв лестницу и насупившись, пошел, остро взглянув на нас.

За забором, где среди деревьев сада молчаливо спал огромный дом с колоннами, ряд темных окон охватывал чувством молчания. Там, может быть, живет — таинственная, как и все вокруг, — она. У ней темные волосы падают на плечи, она прекрасна, и я хотел бы ей сказать, что жизнь — красота... И любовь — красота... И в ней — красота... И в мечтах этот дом с темными окнами — мой, и она там ждет меня, чтобы я сказал ей, как я люблю ее. Юность, юность!

...Мы шли и только хотели перейти улицу, как из переулка, видим, идет городской и с ним — фонарщик. Идут прямо на нас. Подойдя к нам, городской, подняв голову, строго сказал:

— Пожалте в участок.

Мы остановились.

— Пожалте сичас, нече тут...

— Почему? — говорим мы.

Городовой, ничего не отвечая, вставил в губы блестящий свисток, и на всю улицу раздался дребезжащий свист. Из калиток ворот соседних домов бежали дворники. Нас окружили и повели в участок. Это было так неожиданно, что мы подумали, что нас приняли за каких-то других.

Выйдя на Суцесвскую площадь, где была каланча пожарной части, нас ввели в ворота и по лестнице во второй этаж дома. Пройдя душный коридор, ввели в большую комнату.

На потолке висела лампа, а сбоку сидели трое за столом и что-то писали. Когда нас ввели, то они бросили писать и смотрели на нас. Из двери соседней комнаты вышел в расстегнутом куртке, небольшого роста квартальный, с сердитым лицом, стриженный бобриком, и, став против нас, смотрел на нас молча. Потом сказал:

— Чего это? Дайте-ка сюда.

И, протянув руку, он взял у нас папки с рисунками, открыл их на столе и смотрел. Один из писарей, увидав рисунки, сел на стол и захохотал. Квартальный смотрел то на нас, то на рисунки, так строго смотрел, в недоумении. Писаря прямо ржали от хохота. Фонарщик глядел, открыв рот.

— Чего вы? — сказал квартальный. — Смешного здесь ровным счетом ничего нет. Который руки хотел на себя наложить? Слышь ты, который? — спросил квартальный.

Писаря тихонько фыркали и отвернулись к окну.

— Брось, Григорь, чего смешного? Который, спрашиваю, к фонарю ладился?

— Вот этот, — сказал, закашлявшись, фонарщик, показав на меня.

— Вы кто будете? — спросил нас квартальный.

Мы рассказали, что шли из Школы и вот пошутили, сказав фонарщику пустяки.

— Ну и шутки!.. — сказал квартальный, покачав головой. — А это что за картины такие, неприличные... Гольем все?

— Да это в школе рисуем, классная работа... это натурщики.

Квартальный сел и писал, так серьезно и долго. Потом спросил:

— Ваше удостоверение личности?

Я ответил, что живу здесь, недалеко, рядом почти, в доме Орлова. Он посмотрел на меня и спросил:

— Это вот эдакие картины вы в Училище рисуете?

Писаря расхохотались.

— Да что вы, черти, чему радуетесь? — крикнул квартальный. — А ежели это самое показать дочери али жене, сыну, ну, что тогда, каким колесом они пойдут?!

Квартальный опять неодобрительно посмотрел на нас и на рисунки.

— Потрудитесь подписать протокол!

Мы подошли и, не читая, подписали свои имена.

— Картины эти останутся здесь, а я пойду с вами до дому, тут недалеко дом Орлова, — проверить правильность вашего показания.

Он ушел в дверь соседней комнаты. Наступило молчание.

Квартальный вышел в пальто, мигнул городовому, пошел с нами, а также и городской.

— Послушайте, господин надзиратель, — говорит дорогой Щербиновский, — поверьте, что это недоразумение, уверяю вас.

— Какие недоразумения? Что за шутки! Свидетели говорили: вынул из кармана веревку, на фонарь накидывает. Этот, говорит, фонарик хорош, подходящий, чтобы повеситься... Хороши шутки!

В это время в тихой осенней ночи раздался голос. Кто-то пел:

Не тоска, друзья-товарищи,
В грудь запала глубоко —
Дни веселия, дни радости
Отлетели далеко...

Когда квартальный вошел ко мне в комнату, то увидел на стене висящие этюды красками и рисунки гипсовых голов, нагих натурщиков и всю обстановку, сел за стол и долго смотрел.

— Послушайте, молодые люди, я тоже несу на себе службу. Вижу я вот на стене картины. Вижу, что верно — это дело учения. А сразу, что кажется, в голову лезет невесть что. И все же я ума не приложу, к чему это голые-то... Ум раскорячивается, понять нельзя... Боже мой, сколько их! Зачем это?

— Да ведь как же для чего, как же мерки снимать? — сказал Щербиновский. — Человек-то ведь голый, все люди-то голые... Вот на вас мундир — видно, что надзиратель. На губернаторе другой, а на генерал-губернаторе — третий. А ведь если так взять, то все голые люди-то...

— Это верно, — согласился квартальный. — Да-к вот оно что! Так бы и сказали. Теперь я понял...

— Ну да, — подтвердил Щербиновский, — на всех мундиры делать будут потом.

— А когда на обмундировку поступите? — спросил квартальный.

— На будущий год, — ответил Щербиновский, — когда курс кончим.

— Ну вот, хорошо. Теперь все ясно. Значит, при должности будете. Хорошо. И вот старушка рада будет, — показал он на мою мать. — Вы, матушка, не волнуйтесь, я ведь не обижать их пришел...

— Скажите, господин надзиратель, — спросил я, — кто это поет тут? Слышно, голос хороший. Вот сегодня, когда сюда шли, слышали.

— Как же, э-э-э... знаю. Арстант поет в остроге. Поет хорошо, все его жалеют. Ну вот — попал.

— Да за что же? — спросили мы.

— Да вот... тоже молодой... за девчонку попал!.. Приют был такой дворянский, а там девицы в обучении, сироты дворянские. Ну, и одна ему на ум попала... Влюбимши, значит, был. Ну, значит, он и подкупил печника, да и пришел в приют за него печи топить, туды, в приют-то. Да что, спрятался там да ночью ее оттуда, из приюта-то, скрасть хотел. Значит, оба убежать хотели. А заперто кругом. Через забор пробовали, а по заборе-то гвозди. Он в ворота, а сторож, дворник, значит, ну, тут ему — «стой, куда?» Да хотел в свисток свистнуть. А тот ему свистнул, да прямо в висок. Ну, и наповал. Убил. Убег. Но поймали. На машине хотели уехать... Судили, и вот... песни поет...

Мой Феб

Иногда вспоминаются незначительные события. И так это странно, что в жизни много было такого, от чего в скорби и тяжести горя холодела душа и меркла надежда жизни. Таких тяжких часов было так много, но не они волнуют в воспоминаниях. А совсем иные, трогательные случаи, незначительные, проходящие около жизни.

Однажды как-то, по делу устройства кустарной выставки в Петербурге в залах Таврического дворца, приехал я в Москву к гофмейстеру Николаю Александровичу Жедринскому. Не застал его дома, и мне предложили: «Подождите, он скоро приедет».

В гостиной, где я стал ожидать, был и другой посетитель — симпатичный, молодой еще и скромный на вид человек. Мы посмотрели друг на друга, закурили папиросы. Он посмотрел на часы, сказал:

— Я вот час уже жду. Приедет ли Николай Александрович?

— Я подожду, — сказал я, — мне необходимо его видеть. По серьезному делу...

— Да, — сказал сосед по ожиданию, — у меня не дело... а так — пустяки... По охоте... Николай Александрович ведь охотник.

— Да, — говорю я, — он охотник. И я тоже охотник...

— Вот как, вы тоже охотник? А я ветеринар, и дело, видите ли, неприятное. Я служу в учреждении, городском. Отправляю на тот свет друзей человека, брошенных собак, беглых, у которых нет хозяина. Тяжелая обязанность... Впрысну ампулу, ну, и прощай. Жаль. Хорошие бывают собаки... Вот и теперь — месяц держу пса, никто не является — нет хозяина. Ну, и обязан отравить. А собака — пойнтер, молодой, красавец... какие глаза! Умные... Не могу убить... Чудная собака... Вот и пришел спросить, не возьмет ли Николай Александрович. Он ведь охотник. Редкая собака.

— Послушайте, — сказал я, — отдайте ее мне, пожалуйста. Я охотник. Я заплачу. Не убивайте, отдайте мне эту собаку...

— Пожалуйста, — сказал радостно ветеринар. — Ваш адрес, нынче же пришло. Увидите, собака дивная. Не могу убить. Никаких плат не надо. Дайте двугривенный на чай дворнику, пришло вам сегодня же.

Он записал мой адрес, сказав:

— Прощайте, должен бежать. Я рад, вот случай. Поверьте, собака отличная. Невозможно убить ее: жаль.

И ветеринар ушел.

Когда пришел Жездринский, сказал мне:

— Вздор. Разве бросят хорошую собаку. Что ты? Ерунда наверное.

От него я поехал скорее домой. Думаю: без меня приведут собаку, не застанут, уведут назад, отравят, адреса я не взял.

Сижу дома один, дожидаюсь собаку. Все не ведут... Дворника послал купить молока, хлеба, колбасы — накормить собаку. Гляжу в окно. Уже поздно, сумерки... Вдруг — слышу звонок на кухне. Отворяю дверь: стоит татарин, а на веревке большая собака, кофейно-пегий пойнтер. Дивная голова, уши длинные. Смотрит на меня.

— Здравствуй, пес, милая собака...

И сердце бьется от радости.

— Такой умный собака, — говорит татарин, — толко хозяин нет. Тэбэ Бог молить будет.

— Скорее кормить...

Налил молока, крошил хлеба. Собака голодная, ест. Колбасу прямо глотает.

— Тубо, тише, — говорю я.

Дворник-татарин получил на чай, сказал:

— Прощай, собака. Барин жизнь вертал...

И ушел. Я сел на постель, собака легла около на полу.

«Какая красота, какие глаза!.. Совсем еще молодой пес».

Он морду положил на пол и слушает. «Но как его зовут?» — подумал я. Я встал, открыл шкаф и достал книжку, охотничий календарь. Читаю собачьи клички... «Загоняй», «Лебедка»... Это не то, это борзые... А вот... И перебираю названия. Говорю отдельно каждое. Собака лежит смиренно. Только в конце прочел:

— Феб...

Собака вскочила.

— Феб, Феб, — повторил я.

Собака подошла ко мне.

— Ты Феб, — говорю я, — Фебушка... Феб...

Феб положил мне голову на колени и смотрел. Как я был рад — у меня собака!

Лег спать. Феб лег подле, на коврик. Кто-то шел по лестнице, было слышно за дверь. Феб тихо заворчал.

«Сторожит меня», — подумал я.

— Феб, вьен иси!¹

И Феб прыгнул на постель и разлегся в ногах.

Утром, когда я проснулся, Феб подошел ко мне, близко к лицу, посмотрел в глаза. Когда я вставал, он радовался и что-то бормотал. Вертел хвостом и, прыгая, лаял. Я пошел с ним на улицу. Феб шел со мной, не обращая внимания на встречных собак.

Пришел мой приятель, доктор. Феб так обрадовался, прыгал вокруг, бурлил, визжал и лег на спину.

— Он понимает, — сказал доктор, — я люблю собак. Он это чувствует. Хороший пес... молодой.

Доктор взял, свернул кусок газеты, плюнул на нее, бросил и сказал:

— Апорт!

Феб схватил газету и принес доктору.

— Ученый, — сказал доктор...

Была осень. Надо было мне ехать в Петербург по делу. Феба взял с собой. Там, на Театральной улице, у меня была квартира, где контора Императорских театров и где жил директор В.А. Теляковский. Теляковский любил собак.

— Хороша собака, — сказал мне Владимир Аркадьевич.

Уезжая опять в Москву, Теляковский посоветовал мне оставить собаку у него, так как я скоро пять должен был приехать в Петербург.

Много было у меня дела с постановками опер и балета в Москве для Большого театра и в Петербурге для Мариинского. Еду опять в Петербург с курьерским поездом. Ранним утром выходят пассажиры на станции Бологое. Выхожу и вижу: платформа покрыта снегом, синеют деревья в инее. Укутанные в шубах, идут пассажиры... Утренний холодок... Большая станция Бологое светит огнями окон. На станции тепло. Чай со сливками и бологовские булочки... крендели. Несут газету «Новое время». Свеженькая газета, только что пришла из Петербурга... Садимся опять в вагоны. Убраны постели, спальные места. Поезд идет, в окнах виден рассвет, розовеют леса и поля, ровно покрытые снегом. У всех пассажиров газеты.

На последней странице читаю: «Выставка кровного собаководства, манеж. Награды: лучшая собака выставки и первая золотая медаль, как лучший пойнтер — Феб, владелец К.А. Коровин».

¹ От фр. *viens ici* — поди сюда.

«Что такое, — подумал я. — Что значит?» Читаю опять: «Феб, владелец Корвин...». Что такое? Феб мой там, у Теляковского. Странно. Как мог попасть Феб на выставку?.. Непонятно. Опять перечитываю заметку — «Фебушка, неужели это ты?.. Брунда, не может быть».

Пассажиры собирали чемоданы, поезд подходил к Петербургу.

Тихое зимнее утро. Извозчик везет меня на санках по Невскому проспекту. Широкая улица прекрасного города, и в дымке мороза, сбоку, северное солнце освещает уходящие дома улицы. Скрипят сани по мерзлому снегу. У памятника Екатерины Великой поворачиваю на Театральную улицу и останавливаюсь у подъезда. Швейцар, в красной ливрее, помогает выносить мои чемоданы. Я бегу по лестнице и думаю: «Зайду к Теляковскому». Вхожу в большой приемный зал. На стенах висят портреты императриц: Елизаветы Петровны, Екатерины... Один портрет с собакой.. Вижу, выходит Владимир Аркадьевич. Улыбаясь, говорит мне:

— Вот какой вы! Всё медали получаете, и собака ваша тоже. Феб-то каков!

— Я прочел сегодня... Что значит?

— Знаете, — говорит мне Теляковский, — я послал вашего Феба на выставку. Уж очень хороша собака. И подумайте, там ведь собаки какие... Царская охота вся!.. А ваш Феб — первая собака!..

— Удивительно, — сказал я.

— Англичане присудили. Они понимают. Не удивляются, что нет у него родословной. Это по-русски. Родословные растеряли...

И Теляковский рассмеялся...

Я переоделся и поехал на выставку.

В манеже, куда я пришел, слышался лай собак. В разделенных перегородками стойках, на цепочках, в ошейниках, с разными тьюфьями, подстилками, лежали, лаяли и вертелись собаки разных пород. Издали у одной стойки стояла толпа. Подойдя, я увидел плакаты и букеты цветов. А на толстой ржавой цепи, на досках — моего Феба. Он лежал, свернувшись клубочком.

— Феб, — сказал я, подойдя.

Он вскочил и бросился ко мне, положил мне лапы на плечи.

— Это ваша собака? — обратился ко мне какой-то военный.

— Моя, — ответил я.

— Очень рад познакомиться. У меня к вам есть дело. Пойдемте в контору.

В конторе военный сказал мне:

— Его высочество приказал узнать мне у владельца этой собаки, не уступит ли владелец собаку. Вам предлагают тысячу рублей.

— Не могу, — ответил я. — Продать собаку невозможно. Поверьте, не могу. Вероятно, вы это поймете.

— Да, я понимаю вас, — сказал военный. — А знаете, англичане, которые были жюри, сказали, что она так хороша всем складом, что и в Англии она была бы первая. Это такой красавец! И как странно — нет ее родословной.

Я рассказал, как я приобрел собаку.

— Невероятно, — удивился военный. — Вас ждали, вы не уйдете теперь. Прошу вас, пойдите к собаке, вам передадут награды.

Я стоял около Феба, который опять положил мне лапы на плечи, и его глаза говорили: «Ну, возьми меня отсюда, пойдём».

В это время музыка заиграла туш. Ко мне шли какие-то люди, они несли на подушках золотую медаль, серебряный ошейник, кубок и охотничьи ножи и вилки.

* * *

В 1905 году я был в Петербурге.

Феб остался в Москве с прислугой.

В Москве началась так называемая революция. Когда я вернулся в Москву, то, подъехав к дому, где я жил, увидел, что квартира моя во втором этаже и соседняя квартира, кажется, Тесленко, разрушены артиллерийскими снарядами. Я поднялся во второй этаж к себе. Горничная с испуганным лицом отворила дверь. Феб, увидав меня, обрадовался. Что-то бормотал. На шее у горла я у него увидел раны. Пришел дворник, сказал:

— Вот какое дело вышло... С приездом вас, барин. Стреляют и стреляют. Вот против, с жандармских казарм.

В комнате моей была разрушена стена. Белая штукатурка лежала на полу. Письменный стол перевернут. Из ящиков разбросаны бумаги, а деньги, которые были в столе, пропали. И не было медали Феба.

Ночью Феб лежал около меня; он был печален и все слушал.

* * *

Феб жил со мной в деревне. Он любил охоту, и много мы ходили с ним с ружьем по прекрасным долинам страны моей. Когда я писал с натуры картины, Феб не отходил от меня. Но раны на шее его медленно заживали, и Феб кашлял.

Прошло время, постарел Феб и стал глохнуть. Он все клал свою красивую голову ко мне на колени, и я гладил ее. Мне все казалось, что он что-то хочет мне сказать. И к осени он был как-то тих и нежен со мною. Пристально смотрел мне в глаза.

Вечером он пришел ко мне и лег со мной; положил голову на лапы и все смотрел в мои глаза. Потом ушел, и утром — нет Феба. Я вышел и звал его, его не было. И вдруг я увидел у сарая, среди малины, что-то белеет. Я подошел: там лежал мертвый Феб. Недалеко стояла плошка, в ней осталась нетронутая еда. Была осень. Я был один.

Тетка Афросинья, когда узнала, что Феб околел, заплакала. Я вырыл в саду могилу Фебу и надел на него тяжелый серебряный ошейник, который получил он на выставке. И, опуская Феба в могилу, горько плакал. У морды его я положил белый хлеб и баранки, которые он так любил при жизни. Закрыв ему мертвые красивые глаза и засыпал его землей.

Я пишу о Фебе, а на столе предо мной стоит большой серебряный бокал. Это он получил на выставке и принес в дом мой. Я взял с собой этот бокал, уезжая из России. Нет у меня теперь дома. И жалею я, что не придется мне лежать там, в земле родной, рядом с лучшим другом моим, Фебом, там, в саду моем, где жила иволга. Может быть, еще в каких-то неведомых странах, я возьму твою милую голову, Феб, поглажу, а ты мне пробормочешь по-собачьи, как прежде. Должно быть, Фебушка, ты хотел сказать мне, но не мог — хотел сказать, должно быть, про сердце чистое, про великую дружбу и святую верность.

Осенней порой

Моросит мелкий дождь. Сумрачно. Упавшими листьями покрыто крыльцо моего дома. Зажигаю лампу. Комната моя осветилась. В окна видны темные ели и тоскливые дали лесов. Окутанная платком, в больших сапогах, пришла из деревни соседка моя, тетушка Афросинья. Принесла крынку молока.

— Один ты, Лисейч, скушно, поди, тебе. Ненастье... И-и дорога... ноги ползут. Вот когда морозом-то прихватит — туды-сюды. А то чего... мокрехонько.

— Ну, как Феоктист? — спрашиваю про ее мужа.

— На печке лежит. Поясница болит. Это к погоде у его. Да ведь смолоду сломан был, в пильщиках жил. Да.

— Спасибо, — говорю, — тетенька Афросинья, груздей вы мне насолили бочонок да капусты кочанной. Гости приедут: есть — будет, чем угостить.

— Чего еще... Вот валуев да белянок наготовлю, да рыжиков. Сейчас только засолила тебе, рыжиков-то, бочонок. А Каморова говорит: «Не надо, — говорит, — рыжиков, не солю». А то муж-то ее, как рыжика увидит — пить вино zaczynaет. «Скажи, — говорит, — ему, не уродились ныне. А то пьет». Вот оно что... Гриб такой — на вино зовет. И Феоктист тоже такое: как рыжик увидит — ну, давай стакан. А валуй, ну, тоже гриб... Никто не удержится. Уж кто не пьет — так выпьет. Солить надо крупной солью да анису-травы положить. Кто хошь выпьет, не удержится ничем. А груздь, белый, опенок — ничто, не зовет на вино ничуть. Это постный гриб.

— Мастерица вы, тетушка Афросинья. Пирогі тоже хороши. Руки у вас золотые.

— Ну, что... И то сказать, верно. Вот и ваши гости, тоже другой и то и это ест, не разбирает, а вот Юрь Сергеич с понятием, и любо глядеть. Тихо, скромно нальет рюмочку, положит грибок, поглядит, выпьет, — ну и закусит. Видно, не зря понимает. Такому барину и служить много приятности есть. Видать, что с понятием барин кушает. А то, ну...

И тетушка Афросинья поморщилась и сказала:

— Ну, что я, ничего... Подам сейчас вам пирог да куру холодную. Сейчас накрою. Дедушка хворосту принесет, затопит вашу печь, камин. Повеселее станет... Самовар согреет...

И Афросинья ушла.

Повернувшись в дверях, сказала:

— А Леньку-то отправили, знать?..

— Да, в Москву послал с письмом да купить кое-что.

— Ну, ну, он смиренный. Ничего не пьет. Только говорит про вас, что все, говорит, у его в голове пустяки. Рыбу ловит, охота, деньги зря бросает...

— Да неужели?

— Вот, вот. И гости у его все такие... В голове у них тоже... все пустое.

— Да неужели?..

— Вот, вот. Да Бог с ним. Он-то ничего — смиренный.

— Смиренный, — говорю, — только дурковат малость.

— Что делать...

И тетка Афросинья ушла.

Сторож-дедушка принес большую охапку хвороста для камина. С ним пришла собака моя Польшон. Весь мокрый, подбежав ко мне, Польшон мокрые лапы положил мне на колени.

— Пошел, ты мокрый. Где ты шляется? — говорю я.

Собака пойнтер ходила кругом, вертя хвостом.

— На реку бегает, — сказал дедушка. — Болотная собака. Погода, не погода — ему все одно. Гоняет по воде за утками. Хоть бы что...

— А заяц-то где? — спросил я.

— Заяц у печки в дровах с бараном спит. Вот, заметь, дружно живут, но баран зайца боится. Кочерьжку дал — баран тоже кочерьжку любит. Погрызть кочерьжку охота... Куда тут... заяц не даст. Прямо по морде ему лапами бьет. Вот часто!.. Нипочем барану кочерьжку укусить не даст. Сам ест — боле ничего. Не велит — чисто хозяин. Баран его слушает. Меня бодает — зайца нет... Боится. Ну, вот, что это?.. Ну, заяц озорной. Сапоги новые, а он их грызть норовит. «Э-э, — думаю, — постой». Взял за уши, хвостом его драть. «Вот тебе сапоги, вот тебе сапоги. Сапоги — восемь целковеньких. А ты что?» Понял. Ничуть — больше. Наука нужна кажинному.

— А барана-то ты, дедушка, не учил, не порол его?

— Порол, — ответил дед. — Как же, не одна, порол. Ничего. Без понятий... Разума в баране ничуть нету. Хоть что. Возьмите, это что же такое? Иконы поднимают, водосвятие, Дарья и Прасковья, Григорьева дочь, икону большую несут, а он их с разбегу рогами сзади — раз!.. А они — чуприк — обе упали. Ну, тут его Феоктист прямо поленом по лбу огрел. Убьет, думаю. Нет, хоть бы что. Не отучишь. Голова чисто камень. Да и то сказать: он себя опоганил. Его теперь и резать нельзя. Куда он?.. Ведь он змею съел. Все видели... Вот у елки поймал и съел. Вот что. А после этого кто его есть станет... Ну, вот вы хоша, ежели котлеты из его... Хоша какой повар готовит — станете есть.

— Нет, — говорю я, — невозможно.

— Ну, вот ума в нем нет ничего. Баран и баран, сам себе портит.

В кухне залаяла собака.

— Знать, идет к нам кто-то.

— Герасим пришел, — говорит тетушка Афросинья, ставя на стол самовар. — Нитки живой нет, мокрехонек...

— Дай ему валенки, переодеться что.

— С ним еще лесничий с Шахи.

— Ну, вот я рад, — говорю, — приятели. Тетушка, достаньте в шкафу перцовочки.

Оба мои приятели входят. Герасим смеется.

— Эх, ну и погода. С утра вышел, думаю, достану глухаря, зайду к Лисеичу. Ну, вот поди...

Лесничий высокого роста, Андрей Иванович, сказал, здороваясь:

— Давно я к вам собирался. Хотел звать к нам, приехать хотели. Списать пустыню нашу, говорили.

— Помню, — говорю. — До чего хорошо у вас там. Никуда бы и не уехал. Какой лес, речка. Кругом никого. Волки воют... Помню... Садитесь... Вот перцовка. Озябли, поди?

Рад я был друзьям.

— Тетенька Афросинья, позови Феоктиста. Чай чтоб приходил пить. У вас сапоги мокрые, — говорю лесничему, — переоденьтесь. Скидавайте скорей. Дедушка, — кричу, — тащи валенки, давай пальто...

Больше уж не будет таких вечеров никогда, да и мало, где они есть.

— До чего хорошо у вас в лесу, — говорю я, — красота... Я бы никогда не уехал оттуда. Только бы картины писал.

— Да, — согласился лесничий, — верно, хорошо летом. Раздолье. Рядом речка, вода чистая, все дно видно, песок. Рыба ходит. Встанешь, искупаешься, дом рядом. А лес какой, воздух, жизнь — воля...

— Рай, — говорю я.

— Да, вот одно только, что все начеку надо быть. А к ночи пуще. Убьют — вот и рай.

— Да что вы? — удивился я, — кто же?

— Как кто — люди. Я ведь лесничий. Сторожу лес. Ну, еще то, думают, деньги есть. Да и бывают деньги, казенные. Вот оно в этом-то все и дело. Как бы деньги отнять.

— Это верно, — сказал Герасим. — Вот, Лисеич, говорят и про тебя — богатый. А не воруют у тебя. Я раз пришел — никого нет. Летом было, все ушли. Смотрю — а у тебя в саду, на террасе, самовар, ложки серебряные. А в доме и одежда хорошая... и все. И часы у тебя золотые, на руке кольцо дорогое. И вот ничего. Слыхал я — на станции говорили: его, говорят, не тронут. Всегда стакан поднесет. Полтину даст. Значит, его не трожь.

— Что ты, Герасим, я что-то не слыхал. Неужели здесь грабят? Не слыхал. И не думал. Действительно, живу я здесь в лесу тоже, глухое место. Деревня далеко. И ничего что-то.

— Да, все знают. Вот постой. Спросим дедушку.

Дед-сторож, белый как лунь, сидел в сторонке за столом, пил чай и слушал.

— Ну, сторож, скажи-ка: что, ходят к Лисеичу эдакие-то, что украсть или вроде?

— Как же, ходят. Ко мне приходят. Вот зимой больше. Всё вроде за лекарством. Ну, вот им поднесешь, покормишь и двугривенный дашь; папиросы тоже... Да кто знает? Иной бродяга, конечно. Но ничего... Да вот и сейчас в сарае двое спят. А то и в беседке, бывает.

Я удивился.

— Что ты, дедушка. А ты мне ничего и не говоришь.

— Да ведь почто... Это знамо дело: они тоже сторожат. Ведь вас нипочем не обидят. И неча... Велено, значит. Такой указ у них на вас: его не трожь. У нас в сарае-то пять пудов, почитай, судака сухого. Даем... Ну, и для болести настойки: перцовка, полынная. Ну, и болести! — сказал он, покачав головой. — Выпить охота — ну, и говорят: «Вот живот болит, до ужастя», — говорят. Ну, им подносишь стакан. «Хорошо?» — спросишь. «Лучше, — говорят, — ну, дай еще». Вот как...

Герасим, лесничий, Афросинья — все смеются.

— Чудно, — говорю я, — а кто же в сарае-то спит?

— Да кто знает — прохожие. Они сами не знают, кто они, не помнят родства. Они ничего — тихие. Кто что, а наш заяц покажет: ночью начнет лапами стучать. Будит меня. Ну, значит, кто-то есть, враг близко. Не то волк, а не то кто ходит. Ну, я выйду с ружьем. Хоронит Бог.

— В первый раз слышу, — удивлялся я.

— Сбруя висит у нас хорошая в сарае, не заперта... Не берут, не воруют...

— Как не воруют. А сыр у меня в лукошке висел — украли.

— Да ведь это свои... парни деревенские. Девочек угощали. Ну, и морды им били...

И-их ты: все синие стали. Боялись, что сыр-то украли: приезжать не станет. А без его скучно. Ну и доход тоже, и лечить бросит. Тогда где выпьешь. Вот...

— Ну и лечение, — сказал Герасим и засмеялся.

— На лечение, — говорит дедушка, — ровно четверть в день выходит. Я-то знаю. Я сам настой веду, справляю: перцовку, полынную, анис, мятная... Вот они там стоят, готовые. Я готовлю, — говорил дед серьезно и деловито.

Приятели мои, посмотрев на меня, все смеялись.

«Чудно», — подумал я и сказал:

— Дураком я выхожу, вот что.

Смеются.

— Да нет, — сказал Герасим. — Чудно, это верно. Но заметь, Лисеич, не дают тебя в обиду. Вот что. «Что делает, — про тебя говорят. — Чего-то списывает... красками. А то записывает». Ну, и глядят... понять нельзя — что такое. А глядеть хорошо. То костер спишет, месяц глядит, ночь. То воду, то щук списал. Как живые. Антересно. Ну, и говорят: «Пуцай живет». Начальник станции сказал Казакову: он, говорит, жисть славит. Вот и поди. От его, говорит, вреда нет.

— Да, — сказал лесничий, — это совсем часть другая. А наше дело — совсем наоборот. Лес, лесничий. Не даю леса воровать. Кому надо — знаю. Бедность, не гляжу: бери. А вот другой: и не надо, норовит. Значит, я враг его выхожу. Я пугаю. Живу в стороне. Деревня далеко. Глухо. Собака хороша. Травили... Умная собака, не ест с отравой. Вот недавно. Гляжу — все трое ходят. Ночью стучат в окно: «Пусти ночевать». — «Не могу. Идите в деревню». Сам не сплю. Значит, чучело у меня, человеком одето вроде: рубаха, рожа — маска, волосы, картуз. Повесил его на двери у конюшни на веревку. Вроде как удушенный. Собаку в дом взял, а сам на чердак залез с ружьем. Гляжу: ночью лезут сзади через забор во двор, значит. Крадутся... В руках дубье... Увидали: висит удушенный. Остановились. А у меня веревочка в чучеле. Я дернул. Он рукой махнул. Вот они бежать, на забор... Я раз из ружья, другой. Холостым. Вот они бежать!.. Я другой стеганул дробью далеко, по ногам. Вреда нет. Вот что. Только ночью не спим. По очереди сторожим: жена, сестра, мать, я. А то сожгут. Ну, теперь легче много. Придумала сестра. В Переяславле купил старую шинель, фуражку. После покойного исправника. Ну и сделал чучело. Маску, фуражку надел. И у окошка сажаю. Видать снаружи: сидит вроде у меня, чай пьет становой. Прежде, кто ни едет — обязательно лезут ко мне: нет ли вина, и то давай, и это. А теперь увидят — и дальше скорей, никто не идет. Кто ежели по делу — я в другой горнице приму.

— Верно, — сказал Герасим. — Я сегодня видал. Прямо гляжу: что, думаю, исправник у его сидит? Я сначала увидел, тоже уйти хотел. Поедем, Лисеич, завтра, если разгуляется ненастье, к нему. Картину напишешь.

— Поедьте, — говорит лесничий. — Теперь хорошо... Шука, налим на омуте берет. Половим.

— Очень рад, — говорю. А сам думаю: «Какая красота — жизнь».

— Надо картечи взять, — говорит Герасим. — Гусей там садится много, к озеру повыше.

Мы стали готовиться к отъезду. Герасим заряжал патроны. Я собирал краски, кисти, холсты, удочки. Вышел на крыльцо: темный сад. Тихо... Пахнет павшим листом и землей. Заяц прыгает около меня. Я сошел с террасы. Заяц сел и водил ушами. С другой стороны, где моховое болото, виден просвет неба, и печально светит серп месяца среди оголенных ветвей. В темной выси слышится шум: улетают от нас, от холодной зимы, птицы в теплые страны. Заяц бьет меня лапами по ногам.

— Что ты, толстый? Побегай немножко...

И я хлопнул в ладоши. Заяц прижался к земле и положил уши на спину. Я пошел через лужок к елям. Подошел к изгородке сада. Мутной полосой лежали туманы, и что-то тайное было в них, особенное, родное.

Повернувшись, увидел темным силуэтом мой дом, и свет в окнах оживил мрак ночи. Туман, и свет окна, и ночь, и месяц — все как-то поет душе чувством родной печали, тайны несказанной, красоты неразгаданной доли.

— Ишь ты, гулять ходил, — говорит дед, посмотрев на зайца. — Со мной тоже ходит. А в деревню нипочем не идет: от ворот назад лупит, к сараю, и забьется в хворост. А вот к реке, в лес — любит, идет, ничего не боится. А в деревню — нет.

— Герасим, — говорю, — отчего это наш заяц не белеет, октябрь ведь?

— Снег, значит, не скоро. А то сразу... Завтра, зная, погода на ясное выйдет: видать, туман лег в болото.

В моей большой комнате-мастерской ложимся спать. Ушли Афросинья и Феоктист, теплится камин. Лесничий Андрей Иванович говорит:

— В такие ночи лес объезжаю — привык. Вот еду раз и слышу, кто-то плачет. Слышу, плачет женщина. Я ближе. Слышу, плачет дальше. Я туда, вот рядом. Гляжу — никого нет. Думаю: «Это бывает, дерево о дерево скрипит». Только отъехал — слышу, кто-то бежит по лесу, кричит: «Убили, убили». Кто это?.. Я на голос еду. Никого. «Что такое», — думаю. Вдруг лошадь бросилась в сторону и понесла меня. Не удержу. Вынесла на дорогу. Вижу, на дороге человек стоит. Я к нему. «Куда, — говорю, — идешь?» — «На Ловцы. А вот чего-то в лесу не ладно; пугает, бегают, плачет. Я с тобой пойду. Что-то неладно в лесу». Я ему и говорю: «Я тоже слышал. Не поймешь, что такое». Идет рядом. Вдруг он в сторону, в чащу ударился. Бегом. Лес-то густой. Понять нельзя. Подъехал к дому. Рассказал. Жена мне говорит: «Должно быть, убили кого-нибудь». И что ж, правда: в Ловцах жил вдовец, еще не старый, с достатком. И женился. Взял молодую, красивую из Выселок. Бедная она была. Вышла замуж, а другого на уме держала. Ну, родные выдали, конечно. Вот она пошла на Выселки к матери, а он не пускает — «часто ходишь!». Она на своем поставила, пошла. А он проследил. Видит, она в лес с дороги свернула. Он по лесу за ней и видит, к ней парень подошел... Он за ней, значит, да ножом ее в спину. Парень убежал... И она бежать. Гонял за ней по лесу, нагнал да и кончил. Этого-то парня на дороге я и встретил. А жена пропала — не нашли. Два года прошло... И парень тот тоже ушел и пропал. Мужа сослали в Сибирь. Прошло шесть лет... Больше... Только что ж — муж вернулся, а парень-то тот в Астрахани на Волге богатейший стал и женился на ней, которая будто убита была, и так жил. Двое детей у него, сыновей. Узналось дело. Муж-то прощает, а закон нет. Ее в тюрьму, судили. Оправдали. Он подал прошение Государю: просит разрешения поставить монастырь в лесу, у нас-то, у реки; дает пятьсот тысяч. Нет, не разрешили, и денег от него не взяли. Так он деньги-то фельшару дает, который ее рану вылечил. Отдал. А фельшар взял из них десять рублей,

а остальные не берет. Характерный тоже. В казну — казна не берет: царь не велел, бояться. Куда деньги деть? Отдает мужу ейному — муж не берет. Тоже характерный. Нашел начальника: тот деньги взял на богоугодное заведение. Начальника выгнали со службы, а деньги ему назад...

Так-то — любовь и туда и сюда поворачивает, а закон свое велит. Не выдержал человек — запил с горя и помер...

* * *

Наутро было солнце. Дали лесов синели, ярко блистали желтые мелкоколосья. Красные осины горели рубинами. Стога сена, как сторожа, чередками стояли в лугах, и дымили черные овины.

* * *

Весело было ехать по кривым дорожкам проселка, заезжая в леса у сжатых полей. Собака моя Польшон бежала впереди и возвращалась, поглядывая на меня.

— Постой, Лисейч, — сказал Герасим.

Мы стали.

— Ну-ка, возьми ружье. Чего-то тут, погоди... собака-то, я вижу, прихватывает...

Я слез с тарантаса и пошел за Герасимом. Собака шла впереди, вдруг остановилась и опять пошла.

Порубь, мелкий лес. Собака, крадучись, шла вперед и стала. С треском вылетели, как темные шары, глухари. Герасим и я выстрелили. Глухарь падает вблизи, и Польшон несет во рту огромную птицу. Глаза собаки как-то особенно растопырились, и Польшон ходит кругом меня важно.

— Давай, давай, молодец, — говорит Герасим и берет глухаря. — Вот и охота, Лисейч, выводок. Эх, здоровые...

— Стой...

Герасим бежит, я слышу выстрел. И собака несет глухаря.

Дорогой Герасим говорит:

— Летом бывал я здесь. Не было глухарей, ничуть. Это из бора переселились, на ягоду. Здесь брусники много...

Спускаемся к речке. Мост гнилой, старый. Остановились.

— Это мост нешто, — говорит дедушка, — не переедешь нипочем.

— Как же теперь?

— Пониже брать надо. Ишь, река-то как напухла, полная... не переехать...

Едем ниже.

— Может, брод тут есть?

Едем краем, справа лес идет в гору.

— Это, от видать, переезжали здесь. Ну, Господи, благослови...

И дедушка хлопнул вожжами. Лошадь идет по реке, и наш тарантас опускается в воду.

— Выноси, милый...

Вижу, ноги мои в воде.

— Стой! — кричу я.

— Ну, ну, и-и-и...

Вода по колени. Лошадь сильно тянет. Видна только ее спина, потом стало мельче.

— Слава Те... — говорит старик.

— Утки, утки, — кричат сзади.

Низко над нами пронеслись утки, шумя крыльями. Чувствую, у меня в сапогах вода. Выехали из реки, слезли на бережку и стали разуваться. Лесничий снял сапог и выливает воду. Обертывая портянками, надевает опять — не лезет.

— Затопим тепленку.

Собираем хворост.

— Давай можжухи, а то сырость одна.

Костер горит, дымит можжуха. Греем портянки, чулки.

— Тепло... — говорит Герасим, — нече сапоги надевать.

— Надо водкой натереть ноги, — советую я лесничему.

— Чего натирать... — смеется Герасим, — надо в нутро пустить, а бутылки три опосля, тогда помогает...

— Ну, тогда не доедем до завтра... — сказал дедушка.

— А ты что ж, промокли ноги? — спрашиваю я его.

— Не-е... Я-то ноги поднимал.

Костер трещит. Так хорошо у реки. Крутом лес. Темными кучами стоят зеленые ели среди серых, опавших ольх. Около нас частые кусты. Среди синих ветвей, на кустике висят ягоды, как сережки — розовые, черные: волчья ягода.

— Ишь, гляди, уж плывет...

Большой уж, подняв голову, плыл у берега. Извиваясь, пополз по песку бережка. Я подошел. Уж свернулся и зашипел, гордо подняв голову. Синие глаза его горели.

— Смотри, Лисеич, не трожь его, грех... Они тоже знают... это не змея.

— Что знают, дедушка?

— То знают.

— А что?

— А то, ежели он около дому живет, все хорошо, и пожара не будет... Ушел... ну, знай, — быть беде. Вот что.

— А вот у нас нет у дома...

— Как нет? Под домом живут четыре, здоровые... Там, где печь. Не кажут, барана боятся — сожрет. Я им молоко ставлю — молоко любят.

— А вот ты мне не сказал.

— Не надоть... и ты не говори, не надоть. Горохов убил ужа, ну вот — в тот год и помер... Это верно... Вот ёж змею загрыз, а ужа ничуть не трогает.

— Пора ехать, — говорю я.

Лесничий с дедом впереди. Герасим, беря вожжи, обернулся ко мне:

— Лисеич, здесь волки... следы я глядел у реки, на песку... Их четверо, свежий след... Возьмем собаку, а то они тут близко.

Мокрый Польшетрон сидел в тарантасе, в ногах, и нюхал воздух, скуля. Я держал его за ошейник.

— Польшетрон не поддастся, — сказал я.

— Летом да, а осенью волки смелы.

Темный лес стоит впереди нас стеной. Когда въехали в него, стало свежей. Дорога грязная, в лужах, и тарантас стучит, прыгая по оголенным корням деревьев. Проехали маленький мостик, сбоку межевая яма. Около — столб. На нем, на белом фоне, черный орел.

— Казенник... — сказал Герасим. — Тут ток по весне глухариный. Туда-то, ниже, болото большое.

Навстречу едет телега, сидят четверо татар в тюбетейках, лежат в возу большие кули с товарами. Парнишка-возчик хлестал пару лошадей. Поравнявшись с нами, татары поклонились, поднеся пальцы ко лбу.

— Крепко веру держат, — сказал Герасим. — Вина не пьют. Правильный народ... Честный, не плут. Заметь, Лисеич, есть с тобой нипочем не станет.

— Да неужели?

— Да. У меня стоял один целый месяц. Нипочем не ест. И вот, станет на колени, подымет руки и час молитву держит. Как глухой... ни на кого не глядит.

— Скоро приедем, — кричит лесничий.

Мы взяли вправо, по мелкой поросли в колдобинах пиленого леса. Спускаясь с горки, увидели огромный сосновый бор. Внизу стоял дом лесничего. Двор огорожен большим деревянным забором, а перед домом — речка и мост. Спускаемся к мосту.

— Смотри, — говорит Герасим, — вон, в окно, видишь, становой сидит.

У дома нас встретили жена и сестра лесничего, видимо, были рады нам.

— Здравствуйте... а мы-то думали, что запоздался. Вот радость.

Женщины надели чистые платья, хлопотали и бегали впопыхах, ставя на стол угощение.

У лесничего чисто в доме. Кухня отдельно, спальня тоже. На окнах занавески, икона в углу, стулья, ломберный стол и лавки. На полу циновки и большие, с цветами, часы. Собака моя сразу подружилась с овчаркой лесничего. Лошадей поставили на двор. Дедушка был рад, что остался с нами.

В соседней комнате у окна, в пальто и в фуражке, сидело чучело станового, маска с красной рожей, с оскаленными зубами. Когда Польштраун увидал — шархнул в сторону и, подняв голову, залаял. Потом тихонько подошел, понюхал. И, отскочив, опять залаял. Уж очень физиономия невыносимая.

Обед — утки с груздями... Да что говорить... Особенно хороши маленькие опята, маринованные, белые грибы тоже, тетерев с брусничным вареньем, уха из налимов, молоко, гонобобелевый квас. Да, забыл, раки еще, лец в сметане, маковые лепешки, чай с коньяком, с черникой. А Герасим готовится на гусей, норовит на вечер к озеру пойти: на перелет. А я устраиваю удочки на налимов, иду ловить с моста живцов на хлеб. Попадаю сразу. Рыба не пугана. Ловлю и кладу их в ведро с водой. Вижу дно реки — песок, и вижу, как идет стая язей; один большой поднялся и схватил хлеб. Попался... рвется на удочке, блестя золотой чешуей. Я вытянул, снял его и пустил; он плеснул в воде, пропал. Из-под моста тихо, как тень, вышла щука, — точно оловянная игрушка, — недвижно стояла в воде и пропала мгновенно.

Я вернулся в дом. Опять чай, пирожки с капустой и яйцом, варенье. Красавица — сестра лесничего говорит:

— Теперь я стрелять стала лучше. Коршуна влет застрелила пулей. Было жалко... Только он кур ворует. Ну, ничего... поди не грех... Коршун...

К вечеру, забрав снасти, мы с лесничим пошли у большого леса. Огромные ели выпустили корни по берегу во мху. А снизу шел лужок, переходя в болото. Там, где кусты и заросли, подходит река. На фоне вечерней зари резко выделяются ветви темных елей.

Выбрав место на реке, где глубина, мы поставили донные с живцами и жерлицы на щук. Поставили, подошли к лесу и легли на мху, у большой ели.

Тихо... Осенняя зорька розовела. Солнце уходило. Темный лес не колыхнет...

И видим мы, как краем леса идут двое, одетые по-городски. У одного шляпа и в руках зонтик, а другой в картузе, тоже с зонтиком.

— Кто бы это, — тихо сказал лесничий.

— Пойди погляди, уехал ли становой, — слышим мы голос молодого. — Вот черт...

— Да чего он тебе, — слышен голос старшего.

— Ну его... Морда. Сам я видел: Мария Ивановна чашки убирала, а он глядит, зубы скалит. Он холостой тоже, к ней лезет. Отчего, скажи, второй день у лесничего гостит?

— Так мало ли что. А ты иди, скажи: вот, мол, отец прислал... Пирог бисквитный отдашь. Поди, пирог-то весь прокис. Ну, выдумай что-нибудь по делу, про лес поговори.

— Боюсь, он догадается, все испортит полицейский крючок. Ну и морда. Противный до чего.

— Ты вызови ее и спроси, то и се, письмо получила ли? Ответ?

— Письмо-то я в чай положил, когда жена лесничего товар забирала в магазине. Может, не нашла. Надо Андрея Ивановича вызвать. Да подите вы...

— Я тебе говорил, сваху надо, а ты свое.

— На кой черт сваха. Да что вы, дядя. Я студент, люблю ее... А вы — сваха...

— Ну вот, второй день с тобой чисто звери по лесу кругом ходим, в стогу живем.

— Поймите же, дядя, не могу я морды этой видеть. Становой он, что ли. Как он смотрит... Глаза лупит, а зубы как у лошади. Ступайте, дядя. Зайдете в дом, поговорите, а я в стогу подожду. Ну потом позовете меня.

Старший пошел, а молодой повернул в лес.

— Это вот кто: Рогожин, студент, — говорит лесничий. — Политехник. Отец торговлю ведет в Переяславле. Двое сыновей. Ну этот, Володя, он к Маше, к сестре равнодушен. Стихи ей пишет. Когда жена ездит в Переяславль товар выбирать, он письма туда кладет... Вот что: я пойду сейчас, да туда, к становому, и сяду. Дверь затворю, а вы ступайте тоже. Когда их позовут, вот я ему и буду говорить, будто становой.

Лесничий скоро пошел домой, я за ним.

Лесничий сидит в комнате, где чучело станového. Позвали. Входят гости: дядя и студент. Здороваются, ставят на стол бисквитный пирог и конфеты. Вдруг из другой комнаты становой говорит:

— Еще охотники, знать, приехали.

— Не охотники, — отвечают ему, — переяславские гости. Владимир Павлович Рогожин, по делу завернули.

— Рогожин, студент, знаю, пьяница, — протянул голос в другой комнате.

— Как — пьяница! — удивился студент.

— Это кто же говорит-то? — спросил дядя.

— Становой говорит.

— Это совсем зря. Он не пьет, — сказал дядя.

— Мария Иванна тоже хороша. Вот до чего меня замарьяжила. А теперь тебя закрутит. Не верь ей, Рогожин.

Студент смотрел в недоумении на закрытую дверь комнаты, откуда мрачно говорил голос. Мария Ивановна взяла за руку студента и, заливаясь смехом, говорила:

— Не верьте, не верьте, Владимир Павлович. Он чучело, болван.

— Это я-то, становой, чучело! Да я вас сейчас в кандалы закую!

— Это что же такое, — сказал дядя. — Господи, что это делается!

Студент, в совершенной ярости, бросился в комнату и, отскочив, крикнул:

— Что за черт!

— Что делается, Господи, — кричал дядя. — Пропал Володечка, пропал. Ушлют в Сибирь. Ай-ай-ай, батюшки.

— Постой, дядя, это ведь чучело. А я-то дурак. Мария Ивановна, вот я дурак.

Дядя близко подошел и смотрел на чучело станového.

— Маша, — сказал лесничий сестре. — Поди и похлопочи. Гости-то ничего еще не ели. Самовар сейчас, скорей.

Студент, волнуясь, говорил:

— Мария Ивановна. Ну, как это я, не разберешь, вижу, сидит становой, знаете, зайти боялся, думал, помешаю. Простите, знаете, не знаю, что со мной делается. Мария Ивановна, я вот так страдал, так страдал, сознаюсь, я ревновал вас к этому чучелу. Ей-Богу, ревновал. Вот лучше теперь, легче на душе.

Лесничий принес самовар.

— Маша, дай-ка наливочки. Какой становой-то у нас сердитый. А ведь все Маша, она его завела.

— Я-то до чего напугался. Думал, ну, пропал Володя. Вот сердце упало: ведь дядя ему. Хорошо, что чучело, а то бы... беда...

— Да на что он вам нужен?

— Как же, бояться все. Все верят, прямо как живой. С ним жизнь в лесу куда легче стала.

— А вот прохожие шли, говорили: это, говорят, жених сидит, гостит у лесничего.

— Да, правда, — подтвердила жена лесничего, смеясь. — И я слышала.

— Я становой была бы... Вот он все дело испортил. Студент, потому...

И Мария Ивановна, смеясь, выбежала из комнаты. Студент Рогожин встал и тоже вышел за ней.

— Поверил, чудак, — сказал лесничий.

Вскоре вошла Мария Ивановна, за нею студент. Мария Ивановна подошла к столу.

— Что же вы ничего не кушаете? — сказала она мне, взяла кусок пирога и дала моей собаке и, наклонясь, поцеловала ее голову. Лицо ее было серьезно. Она посмотрела влажными глазами и сказала мне:

— Судьба...

И вышла снова. Студент за нею.

Странно, но как будто что-то прекрасное улетало куда-то далеко, далеко... Гости уезжали, говорили: «До завтра, прощайте, до свиданья». Проводив гостей от ворот, Маша и семья пошли в дом.

А я устроил фонарь, осветил холст и начал писать дом лесничего, а за ним темный лес. Сбоку, у края леса, выглядывал месяц.

Тихо кругом. Вижу, идет Герасим. На нем висят убитые гуси.

Медиум

Помню, однажды летом в деревне Владимирской губернии, в моем доме, который стоял у большого леса, где протекала внизу речка Нерль, часто приезжали ко мне мои друзья. И вот однажды вечером, когда у меня гостили Федор Иванович Шаляпин, художник Валентин Александрович Серов, композитор Терещенко, архитектор Мазырин и архитектор Кузнецов, Мазырин рассказывал за вечерним чаем, что он спирит и вот в Москве был замечательный спиритический сеанс. Среди других спиритов и медиумов участвовал и он. Мы все очень заинтересовались.

— Послушайте-ка, Анчутка-то, оказывается, спирит, — сказал Шаляпин. — Это ведь вещь серьезная.

Мазырина прозвище было Анчутка. Еще с давних пор его прозвали в Школе живописи, ваiania и зодчества, где он проходил курс вместе со мной и был мой школьный товарищ. Был он небольшого роста, румянький. Имел круглые черные глаза, и если бы на него надеть платок, то был бы просто вылитая девица.

— И ты веришь, — спросил я его, — что спиритизм это не ерунда?

— Не только верю, — сказал Мазырин, — но совершенно убежден. Последнее явление на сеансах в Москве, где присутствовали и иностранцы, была, брат, материализация духа.

— Это что ж такое? — спросили его.

— Это трудно вам объяснить, — ответил он. — Да притом я вижу, что вы смеетесь, а смешного здесь мало.

— Ну что же, ну что же было? — спрашиваем.

— А вот что. Вот когда мы сели все за стол и положили руки, то стол постепенно начал двигаться, потом прыгать, так что мы за ним все бегали, не отнимая рук, а потом он поднялся на воздух и стучал по полу. А по азбуке выходило «Аделаида». А Аделаида была тетка покойная хозяйки дома.

— Аделаида, — сказал Шаляпин. — Это, черт его знает, какое-то иностранное имя. Ну и что же?

— А гитара, которая стояла в углу комнаты далеко, поднялась, полетела по воздуху и надо мной прозвонила: «Трам-трам-трам».

Мы смотрели в удивлении. Спрашиваем:

— Прямо пролетела по воздуху без веревки?.. Ну, это замечательно. И трам-трам-трам... Это ловко.

— Ты, значит, медиум? — спросил Шалапин.

— Я-то не медиум, — сказал Анчутка, — но там был один из Швейцарии, так видно, что медиум. У него из рук, когда мы сомкнулись, так и сыпались искры.

— А вот тут у нас, — говорю я, — в лесу есть курган, древний курган, должно быть. Весь он зарос густым ельником, высокий. И там вот ночью огонь показывается и ходит. И видение в белом. Много раз видели. Вот сейчас я позову, у меня здесь два приятеля-охотника пришли узнать, так как на завтра мы на охоту пойдем. Так вот они вам расскажут, какая здесь штука кажется.

— Я позову охотников.

Один из них был Павел Груздев, а другой Герасим Дементьевич Тараканов. Охотники народ смысленный. Пошел я к ним и сказал:

— Вот что. Сегодня у кургана, где огонь кажется, там жуткое место, надо взять, Герасим, у меня банку, знаешь, сухой спирт, который я беру на ночь рыбу ловить. Ты пойдешь туда, от дорожки-то направо кургана, да возьми с собой простыню, я тебе дам, зажги в кустах спирт, а перед ним встань сам, да простыню-то над собой, вот так, руками высоко подними. Да немного качайся. А когда я крикну: «Идет», — ты вперед так перед огнем-то прыгни и опять стой на месте. Когда Шалапин к тебе близко подойдет, то ты кинься на него. А ты, Груздев, затуши спирт. Поняли?

Они смеются.

Рассказывали за чаем друзья мои, охотники, что страсть такая у кургана, прямо огонь. Герасим говорит:

— Шел я как-то, запоздал ночью, а огонь горит. Так мигает. Я так сробел. Обернулся — он ко мне ближе, весь белый. Я думаю, что такое? Уж боюсь глядеть. Только меня сзади как схватит за плечи, и вот зачало трясти, прямо душу вытрясает. Я говорю: «Господи! Расточатся врази», — да бегом. А слышу, за мной бежит. Я упал. Смотрю, бежит. И вскочил опять... Так на силу-то прибежал вот сюда, к кухне... Ну, отстало. Вот сейчас-то шел другой дорогой, боязно той-то идти.

— Да, верно, — говорит Груздев, — чего еще... место тут такое, что днем идешь к кургану-то, вот за рыжиками, рыжиков там много, так и то оторопь берет. Говорят, в старину-то в кургане етом воеводу закопали, а он, знать, колдуном был. Так это вот его штуки.

— Вот интересно, — говорит Анчутка. — Надо сделать цепь, сомкнуться и его вызвать. Не иначе, когда он показывается, то это и есть материализация.

— Вот какая штука, — говорит Шалапин. — Вот это вещь. Но что гитара над тобой летала и над тобой прозвучала «дзынь-брынь» — ты это врешь.

— Как хотите, — сказал Анчутка.

— Ну, дай честное слово, — говорит его приятель архитектор Вася Кузнецов.

— Честное слово, — говорит он.

— В таком случае, — говорю я, — не иначе, что ему открыто. У него свойство такое, натура, так сказать. Медиум... И поэтому надо будет идти к кургану сегодня же.

— Это ведь надо, в 12 часов, в полночь это завсегда больше кажет-то. У нас-то в округе знают. Вот тут, в Охотине, так часто видят. Старый барин жил, Полубояринов. Росту-то вот с вас, Федор Иванович. Ну и сердит... Так он и посейчас в халате там по ночам ходит. Старики-то помнят еще, когда было право господское. Идет Полубояринов, старый уж, как увидит мужика, подзовет, спросит: «Ты что?» А он говорит: «Ничего, барин». Ну, даст ему по морде и пойдет. Такой уж нрав был. Нынче-то уж, конечно, этого нет. А то в Хозареве, в овраге, дом стоял. Он и сейчас еще разваленный остался. Там по ночи-то всегда русалка поет. Днем-то она в реку уходит, а по ночи в доме песни поет:

Не ходи ко мне, мой милый,
Нет крови во мне живой!..

Приближалось уж позднее время. Охотники пошли спать, а я рассказал всем, кроме Анчутки, что будет видение.

В половине двенадцатого ночи мы все сходим с террасы. Темная июльская ночь. Тишина. Большой сосновый лес темнеет кучами среди мелкого леса. Мы тихо идем дорожкой. Поворачиваем по тропинке в сторону кургана. Вдруг...

— Смотрите, смотрите, — кричит Анчутка.

Среди кустов, таинственно мелькая беглым пламенем, горит и как бы движется синий огонь.

— Сомкнемся скорее, сомкнемся! — кричит Анчутка. — Явление чрезвычайное, это я сейчас же сообщу... Материализация духа!

И он заставляет нас взять друг друга за руки. Перед огнем, как из земли, выросла высокая, таинственная, освещенная фигура. Было, действительно, фантастично и неожиданно. Шаляпин задумчиво молчал, скрестив руки и опустив голову.

Шаляпин пошел к видению.

Анчутка бросился бежать.

— Стой, — кричим мы, — ты куда? Бежать? Ты все затеял — стой!

И мы поймали архитектора Мазырина.

Фигура светилась. Шаляпин шел к ней.

— Не ходи, — кричал Анчутка, — не ходи. Это материализация. Задушит. Непременно задушит. Пойдемте отсюда скорей.

— Стой, — говорит ему Василий Сергеевич и держит Анчутку. — Это ты все. Ты медиум... Твои штуки... с чертом работаешь...

— Нет, нет, — говорит Анчутка, запыхавшись. — Нет, не я. Это вот он, это Федор Иванович. В нем это есть... Должно быть, он. Он все молчит... он медиум!

Шаляпин подходит к видению, и упал. Упал так, как умеет падать Шаляпин: при- вык на сцене. К нему бросился призрак, и все погасло. Настала тьма.

Анчутка кричал:

— Он погиб... — и хотел убежать опять.

— Стой, — кричали ему. — Ты все затеял. Идем...

Мы подошли к Шаляпину. Он лежал у дорожки на траве. Мы поднимали его. Он загадочно молчал. Анчутка держал его под руку и, волнуясь, говорил:

— Успокойся, успокойся, пожалуйста. Это материализация. Это ничего... успокойся...

— В чем дело? — сказал Шаляпин. — Что ты дрожишь?

— Да ведь как же, ты упал. Я испугался. Задушит!

— Когда упал? Да ты что, бредишь!

Пришли домой, сели у меня в большой комнате за стол. На открытом вороте рубашки Шаляпина были на шее два красных пятна. Анчутка отозвал меня в коридор и с испуганными черненькими глазами говорил мне:

— Посмотри... Ты видел. На шее пятна. Он его душил. Хорошо, что мы пришли вовремя. Я сейчас еду. Я сегодня же к утру все доложу нашему спиритическому обществу. Мы все сюда приедем.

Как ни уговаривали мы Анчутку остаться, он не мог успокоиться и уехал рано в Москву, когда мы спали.

Через три дня утром получая газеты со станции, мы прочли в «Русских ведомостях», в «Русском слове», в «Новостях дня» сообщение «Видение Шаляпина». Опять через два дня было написано краткое сообщение, где сообщалось, что швейцарские спириты выезжают в Россию на место явления спиритической материализации видения Шаляпина. Мы Шаляпина говорим: «Медиум».

— Ну, медиум, — будили мы его утром, — пора вставать. Пойдем купаться.

Кузнецов, приехав в Москву, рассказал в обществе актеров все как было. Анчутка, узнав, обиделся ужасно, так как ехали иностранные спириты, и в Москве вышла маленькая книжка «Видение Шаляпина» и успешно продавалась во всех книжных магазинах, и вся Москва, от мала до велика, спрашивала:

— Слышали, Шаляпин-то медиум. Ведь это что такое. Сколько одному отпущено. А? А я вот, хоть тресни... ничего не видал.

Ловкий предприниматель, автор книжки, был доволен. Нажил. Спрашивали издателя:

— Что вы написали, «Видение» — ведь это оказалось вздором. «Русское Слово» само опровергло. По рассказам очевидцев, это была шутка.

— Ну, что вы хотите, какая шутка? Мне же сам лично говорил не кто-нибудь, а медиум, архитектор Мазырин, человек почтенный. Я тут ни при чем.

Звериные тайны

Как-то давно летом в Москве ко мне пришел мой знакомый, некто Бартельс, охотник-рыболов, и позвал меня ловить рыбу на удочку-спиннинг и для того поехать с ним в Фаустово, недалеко от Москвы, на Москва-реку, где была большая плотина.

* * *

Среди больших полей широкая Москва-река в запруде синела в прекрасный солнечный день. Через плотину с шумом падала вода. Внизу река несла от плотины свои воды. Над поверхностью нижнего омута плескалась большая рыба. Это был тересняк. Он еще звался ерех, белизна, конь.

Это большая рыба, наподобие судака или даже лосося, была со светлой серебряной чешуей и на спине имела большое перо. Она не очень ценилась, ее коптили, продавая за сига. Дешевая рыба.

Хорошо пахнет водой, лугами, сеном. Я приготовил снасть и вижу, как на широкой поверхности реки всплеснула большая рыба, распуская по воде круги.

— Это шереспер играет, — сказал мне Бартельс.

Приятно сидеть на плотине; под ногами падает вода. Берег — песчаная отмель, и на нем небольшие, изящные белые чайки. Поднимаются над водой, останавливаются в воздухе, протяжно покрикивая. Потом спускаются к самой воде, так грациозно и легко. Маленькая чайка тихо летит над поверхностью реки...

Загляделся я на чайку и вижу: под ней, в воде, у самой поверхности, плывет большая рыбина. Эта рыбина вдруг сразу извернулась и ударила по воде, а чайка тут же поймала в воде маленькую рыбку и улетела на песок.

С берега, смотрю, поднимается другая чайка, тоже высоко взлетает и смотрит вниз на воду. А под водой я опять увидел большую рыбу, которая плыла за ней. «Что же это такое? — подумал я. — Чайка осматривает воду, видит мелкую рыбу, опускается на воду, ищет шереспера и ведет его, чтобы он ударом по воде приглушил мелкую рыбешку: выходит, вместе охотятся...»

Я гостил в доме своего драга и профессора, прекрасного художника В.Д. Поленова.

Мы часто гуляли с ним по берегу Оки, которая текла вниз его дома. Я как-то заметил на берегу этих чаек и рассказал ему о своем наблюдении на плотине, в Фаустове.

На другой день я взял удочку-спиннинг и блесны и пошел с Поленовым туда, где накануне сидели чайки. Я закинул спиннинг и поймал шереспера. Крупная рыба билась на удочке, я вытащил шереспера на песок. Маленькие чайки летали надо мной, отчаянно крича, в волнении: я поймал их приятеля-охотника. Они просто плакали, подлетая близко ко мне. Я освободил рот шереспера от крючка и пустил его в реку обратно. Чайки успокоились.

А когда, через час, я поймал там на блесну щуку, чайки не обратили на это никакого внимания.

На Трубной площади в Москве, где по воскресеньям был базар, шла торговля охотничьими принадлежностями, ружьями, птицами, голубями. Крестьянин предложил мне однажды купить гончую собаку. Собака была красивая, большая. А другой продавец держал на руках непородистую, уродливую таксу, с кривыми лапками.

— Купи, барин, собаку, — сказал он, — она зайца гонит.

— Как — зайца гонит? — удивился я.

Маленькая такса жалостно смотрела на меня карими глазками. Я купил и таксу, привез их к себе в деревню. Они как-то сразу привыкли ко мне. Я собачий человек, а собаки чувствуют, кто их любит.

В деревне у меня хорошо. Мой охотник, пойнтер Феб, не обратил на новых собак особого внимания, но деревенская собака, дворняга Шарик, у которого хвост был завернут невероятным крючком, веселый, сразу подружился и с таксой, и с гончей, которую звали Бурмистр.

Шарик собака невозможная: целую ночь на месяц лает. Не дает спать. Ничего не поделаешь: выпустил я ночью Бурмистра и таксу. Шарик замолчал. А утром дедушка — сторож моего дома — говорит мне:

— Новые-то собаки наши, гляди-ка, какого зайчину-русака пымали. Из лесу при-тащили. Во собаки!

Днем собаки спят, свернувшись. Устали за ночь. Но когда кто-либо из крестьян ехал или шел мимо сада, Бурмистр, такса и Шарик просыпались и лаяли: сторожат меня. Каждого проезжего считают долгом облаять ужасно. Будто так обязательно надо. А к вечеру опять пропадают.

Сторож-дед зовет меня утром:

— Гляди-ка, — говорит. — Наши-то опять зайчину тащат.

Заяц-русак лежит у крыльца. А собаки, высунув языки, стоят около. Смотрят. Вот мы какие, собаки-то. Опять принесли. И опять русака.

— Как же это они зайца поймать могут? — удивляюсь я.

Дедушка тоже говорит:

— Кто их знает, хитрость какая? И махонький-то этот, такс криволапый, тоже тут.

Каждое утро собаки притаскивают зайца. Дедушка доволен. Говорит: «Чудное дело!» — и кормит собак хлебом.

* * *

Пришел мой приятель, охотник-крестьянин Герасим Дементьевич. Тоже дивился:

— Чудное дело, — говорит. — Где же зайца поймать в лесу? Да и в болоте если — трудно. А пошто махонький, кривоногий, с ними? Как он поспеваает? Не борзые собаки. Чудное дело... И заметь, Лисеич, — все русаков таскают. Прямо удивление.

Вечером поздно Герасим вернулся ко мне.

— Ну, — говорит, — и собаки! Видал я, как они работают. Диву дался. Бурмистр в моховом болоте идет, косолапого маленького за собой ведет. Причует след, и косолапый залает тоненьким голоском, до того чудно, и по следу бежит. Ну, где же ему! Заяц думает: что такое? — отбежит немножко и сядет. А косолапый ближе. Заяц опять бежит. Чудно ему. Косолапый мене зайца. Опять отбежит заяц. А Бурмистр и Шарик залягут в кусты. Прямо на ходу. У русака-то ход прямой. Понимают. Косолапый все бежит да лает. Гонит, значит. А заяц тихонько от него прыгает. Да прямо Бурмистру в лапы. А Шарик тут. Они его — цоп! Вот ведь плутня какая, подумаешь. Сговорились. Дожидаются потом косолапого и несут добычу домой. Тебе, значит, хозяину, служат. Ведь не едят, заметь. Какое дело! Почему так русака выбирают? Понять нельзя. Потому, значит, у русака ход прямой. Вот что, Лисеич. Подумай, как у них башка работает.

* * *

Я уехал из деревни в Москву. И узнал с огорчением, что таксик пропал. Пастух сказал, что его волк унес. И кончилась собачья охота на зайца. Дедушка-сторож мой тужил, качал головой, говорил:

— Ну, и собака была! Хошь кривоногая, а ума в ней что. Да, зайчины я поел досыта. Да и шестнадцать рубликов со станции за зайчину набрал. Спасибо кривоногой. Царство ей... Тьфу! Нельзя так про собаку, — и дедушка плюнул.

На выставке куроводства в Москве я купил гнездо японских кур — петуха и четыре курицы. Маленький белый петушок и белые маленькие куры. Петух, сердитый и гордый, так петушится около кур, себя показывает, важно, как султан в гареме. Ночью ровно в 12 часов кричит «Ку-ку-ре-ку». Почему петухи вообще кричат ночью — неизвестно.

Привез я этих кур в деревню к себе, и через неделю их всех перетаскал ястреб.

— Курятник таскает, — сказал мне мой сторож, дедушка Афанасий, — ястребина здоровый, белый, чисто серебряный... Большой, как орел.

В версте от меня, на берегу реки, среди порубки лесной, стояла высокая сосна, — оставлена была одна сосна, седая, гнилая, и на обнаженной верхушке ее сидел большой серый ястреб. Со мной не было ружья. Под сосной я увидел много белых перышек и оторванных крылышек в крови. От моих кур японских. Я посмотрел наверх: «Это ты, красавец, моих кур ворует. Ну, погоди...»

Я пришел домой, взял ружье, зарядил крупной дробью, надел длинное пальто, спрятал под пальто ружье и пошел к сосне. Только я вышел из лесу, ястреб, увидав меня, раскрыл белые крылья и улетел. «Погоди, — думаю, — не уйдешь». Опять дома переоделся, взял шапку у дедушки, надел рваный тулуп, взял ружье, спрятал под тулуп, пошел. Сидит ястреб на сосне. Увидел меня, улетел. Я ружье спрятал в хворост неподалеку от сосны.

На другой день переоделся в кацавейку, надел картуз, шею завязал шарфом. Взял корзину, вроде как за грибами. Пошел к сосне. Ястреб увидел меня и улетел.

Через неделю я пошел пешком на станцию. Думаю: пройду округою, заверну к сосне, посмотрю. Очень меня ястреб задел за живое. Иду, вижу, сидит на сосне, не летит. Подошел к самой сосне, а он сверху и смотрит на меня. Я свистнул, хоть бы что. Поднял шишку с земли, бросил. Ястреб никакого внимания на меня. Я хлопнул в ладоши — ничего, не улетал. Ходил кругом сосны, искал камня. Камня нет. Ушел на станцию. Там получил письмо, послал телеграмму и вернулся домой. Дома я жалуюсь дедушке-сторожу:

— Ястреб, что кур-то наших таскает, вот что со мной делает. Как бы застрелить его?

— Эх, да, — смеясь, сказал дед, — он те знает. Ежели бабой переоденешься, ну, тады еще, можно думать, что застрелишь, а то он хитер. Вор — потому, но и зорко видит.

Верно, думаю. У тетушки Афросиньи попросил одежду, платья; она все принесла мне в узле. Переодеваюсь, надеваю башмаки, юбку, кофту, платки навязываю, другим платком завернул бороду, усы, оделся, посмотрел в зеркало — похож на бабу, похож. Взял корзину, а ружье в юбку запрятал и пошел. Ястреб увидал и улетел. Когда я шел домой, деревню обошел, бабой одет, неловко — узнают. Жалуюсь охотнику Герасиму, приятелю своему, тот смеется. Говорит:

— Хитер он, видит, что ты, понимает, погоди, — говорит, — я его хлопну.

Через неделю пришел Герасим.

— Чудно, — говорит. — Ну и ястребина! Не подпускает нипочем, не подойдешь. Я с ночи сидел, утра дождался. «Прилетит, — думаю, — сядет на сосну». Картечью зарядил ружье. Вижу — летит. Не сел, высоко пролетел. На-ко вот что. Я залез в хворост, забился, сажу. Почему он? Видит, что ли? Только летал высоко, а не сел. Этакая птица хитрая.

Лето, погода хорошая. Приехали ко мне из Москвы приятели — гости. Обед устроил на террасе, которая выходила в большой сад. За обедом гости, разговоры,

смех. Вдруг рядом, у самой террасы, мелькнули с шумом перед нами большие серые крылья, прямо сверху, и огромная птица схватила курицу, быстро поднялась и улетела. Все удивились, выскочили из-за стола в сад, ястреб уж был далеко, и видно было, как в когтях у него висела добыча.

— Ну и ястреб, — удивлялись мои гости, — прямо около нас схватил. Разбойник-ястреб живет недалеко, ничего с ним не поделаешь.

* * *

К вечеру ко мне пришел какой-то парень с большим мешком за спиной. В мешке что-то ворочалось. И говорит мне парень:

— Лесничий прислал вот. Велел отдать вам птицу, что вот в мешке. Большенная птица, глаза, как у машины. Сердитая, а смиренная, ничего.

И он, развернув мешок, вытащил огромного филина. Филин, мигая большими круглыми глазами, смотрел на нас, поворачивая голову. Чудовищно огромный филин.

— Надо его посадить повыше, а то бы собаки не загрызли, — сказал парень.

— На беседку его, — говорили друзья. — Вот там, в елках.

Филина посадили на крышу беседки.

— Нет ли мелку? — сказал парень.

Достали мел, и парень от лап филина провел мелом черту по крыше до краю беседки.

— Теперь не улетит, — сказал парень, смеясь, — на веревке жил у лесничего. Вот будет думать, и тут за ногу привязали. Дурак, потому. Нипочем не улетит.

Филину дали мяса. Он распустил огромные крылья, почуяв мясо. И как-то особенно зацелкал и зашипел. Мясо глотал большими кусками. Но тут же я увидел, как над ним с беспокойством летали птицы: сороки, вороны, голуби, и через десять минут, неизвестно откуда, взялся ястреб. Птицы кричали и кружились над ним в выси. А филин поворачивал голову, даже как-то совсем назад, и щелкал. Высоко над филином я увидел и злодея своего, белокрылого ястреба. Кучи птиц летали над ним.

Наступила ночь. В полночь филин таинственно крикнул.

«Фу-фу. Фу-фу-фу-у-у» — громко и жутко.

Но, странно, петух, который всегда с курами на нашестах кричал ночью «Ку-ку-ре-ку», — молчал. Услышав крик филина, мой ручной заяц заволновался ужасно, забился за диван и не вылезал.

Утром я хотел пойти кормить филина, пришел на кухню, а бабушка-сторож говорит мне:

— Эва-та, наш-то, леший, улетел. Ночью. Знать, птицы его одолели больно, чего все время над ним кружат. Хотят его одолеть. Да где ж им, этакого. Улетел.

Я пошел в беседку и вижу, внизу, в траве, большие распростертые серые крылья разорванной птицы. Это был белый коршун. Я с удивлением смотрел на него. Ночью был, видно, бой между коршуном и филином, и филин одолел.

* * *

Поздней осенью, ночью, меня будит мой приятель, Василий Сергеевич Кузнецов, говорит: «Слушайте, слушайте, что делается!» — и смотрит вверх на потолок. На крыше дома раздался громко и жутко крик филина.

— Это филин, — говорю я ему с удивлением.

— Ну, знаете, берите-ка скорее ружье. Хороши птички тут у вас живут. Лешим орет. Я-то думал — что такое? Понять нельзя. Каждый раз, как ни приедешь, что-нибудь особенное.

— Пойдем посмотрим, — говорю я.

Одевшись, мы тихо вышли. Темная ночь. На крыше дома таинственно горели глаза филина.

Он защелкал, поднялся с крыши, и могучие его крылья прошумели над нами.

Сидел пастух на лужке у лесочка. Седые пряди волос падали на загорелое лицо старика. Около него лежал рожок, свирель, длинная дудка, обмотанная лыком.

— Твоей работы свирель? — спросил я старика.

— А как же, в ей самая хитрость. Тут вот, в свистульке, в горлышке. Вишь вот, завернута, — берегу ее, а то...

— Хорошо играешь ты, старина. Слушаю я поутру. Красиво. Сам ты выгучился?

— Эка, сам. Поди тут. Сам. Рожок-то сработать — издавна идет. Да исстара принята игра, еще от отцов и дедов перенимали. Давно друг дружке передают, пастухи-то. Давно это в рожок играли. И-их, давно. Скотина рожок любит, то-то. И звери любят, и птица.

— А вот когда ты играешь, что же, небось, тоже слушают.

— Верно, вот журавли любят. Это да. Видал, пляшут, и вот чудно. Птицы тоже любят. Да заметь еще — волчица любит. Видал не раз — слушает. Волчата любят, высунутся из-под хвоста и слушают.

— Ну что же, поймали их, поди? — спросил я. — Волчат-то?

— Не-е, пошто, это свои.

— Как — свои? Да что ты, дедушка, — удивился я.

— А как же, вестимо, свои. Вот тут сейчас, в болоте, волчиха с волчатами. Вот около нее и овцы ходят — знают ее, вся скотина знает. Рядом ходят. Знают, что своя, не боятся. Она тоже нашу скотину сторожит.

— Как — скотину сторожит?

— А вот, сторожит. Тут-то хитрость ее: она доброй ходит, прямо вот рядом с овцами, сама как овца. На меня поглядывает — вот, мол, я какая-токая. Понимает, умная, смекает. Ежели сбалует здесь, что утащит, украдет овцу, я скажу мужикам — я знаю, где волчата-то ее. Ну, волчат тады и убьют. Потому она ходит грабить далеко, туда, в большие стада, где волков близко нет, и тащит оттуда добычу. А здесь не станет нипочем и от других бережет, других волков гонит. А то на нее подумают. Она боится: убьют волчат-то. И вот, заметь, и дети ее, волчата, когда вырастут, тоже эту нашу скотину не тронут нипочем. Так у них положено. Я давно пасу, сызмальства. Всю повадку волчью знаю.

— А хорошо бы, дед, посмотреть на волчат.

— Не найдешь, — ответил пастух. — Ты пойдешь, а им знать дадут. Они меж собой говорят. У ней, у волчихи, — стража.

— Какая стража?

— Вот какая: умственно все сделано. Значит — болото, кочкарник, топь. Лесок, сосенки малые, потом речка сухая, и тут ее выводок — волчата. И тут же и гнезда журавлиные. А журавль завсегда чередом на часах стоит — день и ночь. Волчиху, значит, боятся. Лисица не подойдет нипочем. Барсук яйца не возьмет журавлиные —

волчихи боится. А часовой глядит и скажет, коли что. Ястреб летит — знать дает. Ты на горе живешь, далече, а дом твой видать и деревню видать. Вот что: ты сейчас здесь со мной сидишь, ружье у тебя, собака. Они знают, и волчиха знает, а собака твоя понимает — журавля не берет, потому — глаза бережет она. Ульян у нас был, парнишка, в Заозерье жил. Он снова журавля и убил. Тащит его домой. Мертвый журавль. Сел отдохнуть, а журав-то его вдруг как в глаз клювом хватит — раз. Глаз вытек. Дошел Ульян до дому, да и помер. Вот что журавль!..

Вот как у зверей устроено. Выводок волчий завсегда, где журавли или дерябасойка. Где кто идет, деряба орет. Глухарь, кукура тоже дерябу любят. Выводок свой тоже поблизости ведет. Деряба сторож...

Рассказы деда-пастуха были просты. Лукаво улыбаясь, он сказал:

— Вот по осени волки выть зачнут. Жутко. Доля их горькая. Воят. Просят у Бога защиты от людей.

Дед вынул из котомки ватрушку и, откусивши, жевал, смотря вдаль.

В ясном дне тонули дали. Какой далекий край! Просторно растянулось моховое болото. И синими полосами за ними идут бесконечные леса. «Кру, кру, кру», — раздалось в болоте. Крик журавлиный.

— Слышь, — говорит дед, — знай, что коршун близко. Слышь, часовой кричит. Знать, волчихи нет. А то не станет эдак-то, по коршуну. Если хошь, барин, я тебе их покажу. Волчат. Только нипочем никому не говори.

— Ладно, — говорю, — спасибо. Не скажу.

— Ружья не бери. Собаку отведи домой. Я подожду здесь.

* * *

Оставив дома Феба, я доехал из дому к пастуху, со сторожем, дедушкой Афанасием. Долго шли мы с пастухом по моховому болоту. Ноги вязли во мху. Идти трудно. Белыми ягодами клюквы были обильно покрыты кочки. Малорослые сосенки серебри и делали болото ровно седым.

— Теперь топь, — сказал пастух. — Надо ее скорей. Бегом. А то качает. Не провались, смотри.

Я быстро шел по рыжей траве, которая, волнуясь, уходила под ногами, и вскоре вступил на твердую землю. Деревья были выше. Журавли кричали «Курлы, курлы», другие ответили дальше.

Дед-пастух шел впереди, по бугорку с чистым лесом, у которого был навален седой хворост от старой порубки.

Пастух, согнувшись, шел краем валежника. Остановился. Махнул мне рукой. Я тихо пошел к нему, нагнувшись. Он пристально смотрел на кучку лежащего хвороста. Я, нагнувшись, посмотрел — ничего. Валежник гнилых сучьев, внизу — серый мох. И вдруг вижу — близко кругленькие серые муфты, ровные, большие уши, и глаза подряд смотрят на меня. Острые мордочки высунулись из шерсти. Серые, как мох, такие хорошенькие волчата. Как какие-то замечательные игрушки, детские глазенки смотрят на меня пристально, замеревши, недвижно.

Какая красота! И вдруг пропали мгновенно. Дед дернул меня за рукав и сказал уходить. Журавли кричали всё — «Курлы, курлы, кру-кру...»

— Видал, — сказал пастух, когда мы прошли топь обратно. — Пойдем. А то, слышь, журавли волчиху зовут. А то сам придет.

— Кто — сам?

— Волк.

— А я-то ружье оставил.

— Так ведь он не тронет. Попугает, нешто. Он ведь не дурак. Зря не бросится. Вестимо, не больно нравится, что ребят смотрят.

* * *

Я ехал домой. У меня в глазах были волчата. Какие замечательные, очаровательные, какие глазенки, дети. Неужели эти красавцы будут злейшие волки? Не может быть. Их бы я взял к себе.

Обернулся, посмотрел на болото. Оно далеко.

Дорога идет у края ржи. Мелькают васильки, кричат перепела, и на горке показался мой деревянный дом. И пышно серебрились большие березы моего сада.

Подъезжая, увидел у ворот гостей — Андрей Иванович Бартельс, Василий Княжев и мой приятель, охотник Герасим Дементьевич.

* * *

Мой приятель, Василий Княжев, поэт в душе. Станный человек. Зимой проводил время на Хитровом рынке, ни на какую службу не шел. Одно, что он делал, в магазине Бартеса и в других лавках рыболовных принадлежностей: правил бамбуковые удилица на спиртовой лампочке. И этим жил. Летом я пригласил его погостить к себе.

С весны Василий Княжев уже не мог жить в городе. Он отправлялся в бродяжничество и проводил дни в лесах и по деревням. Природа для него была каким-то волшебным очарованием. Я слушал его рассказы и поражался красоте души его. Это был самый счастливый человек, которого я видел за всю свою жизнь. Благородной души был Василий. Независимый и непокорный. Определял он мне в разговорах людей с такой неожиданной ясностью, что меня поражало. Он был рыболов и целые дни проводил на реке. Приехав без меня, он уже наловил раков.

— Василий, откуда это ты только раков достал?

— Вот, какое удивление, — ответил он. — Нашел я на лодке рыбу порченую, кто-то бросил. Я и пустил около лодки. Неглубоко. Дак вот, заметь, сверху-то реки, по воде, по дну, смотрю, раки чередой ползут, да сколько. Вот дивно. Они санитарями, не иначе. Реку-то чистят. Вот что.

Хорошо летом в деревне. Обедаем на террасе. Андрей Иванович Бартельс держит магазин в Неглинке. Рыболовных принадлежностей. Немец. Человек полный. Слысиной. Застенчивый и деликатный. Пьет водку из стакана. Голубые глаза поднимает к небу. И, улыбаясь, кланяется, выражая удовольствие. Другие пьют и морщатся.

— Хороши раки, — говорит Бартес. — Молодца — Василий. Места ваша красота. Прямо Эльдorado. Когда ехала сюда сегодня, у моста рыба большой наплеснул. Ужасно большой. И сколько перепелка тут — ужасно много. Благодарю вас. Нельзя больше водочка.

— Верно, перепелов много, — сказал Герасим Дементьевич. — Не запомню, никогда столько не было ране. И еще подлетело много маленьких ястребов. С апреля. Прямо кучами. Все дивятся. На станции говорили, оттого, что ниже по Волге хлеб не уродился.

— Верно, — подтвердил я. — Вся средняя полоса России, Самарская, Саратовская губернии не имели с мая дождя. Все травы, пшеница, погибли. Земля как камень. Вся в трещинах. Газеты пишут — голод. Пропали хлеб и травы.

— Правда, — подтвердил Василий. — Читал. А вот перепела, птица, в апреле прилетела. Наперед знала, прилетела сюда. Ну-ка, как это она узнала? Вот я говорю, что птица все вперед знает. А человек и зверь ничуть.

— А я не верю, что птица знает, — рассмеялся Бартельс. — Мозга в голове у ней с орех. А это вот, правда, удивительно. Понять невозможно. Странная вещь.

— Чего птицы! — сказал охотник Герасим. — Лоси вперед тоже знают. Сухое лето, я еще парнишкой был, Берендеево болото в сорок верст, торф горел и лес. А лоси все за месяц в Овсурово ушли. Все явились. Звери тоже знают.

— А вот я сегодня утром у мохового болота пастуха видел, старик. Хорошо он на свирели по утрам играет. Занятный старик. Говорил мне, что птица и волк любят слушать свирель.

— А, знаем его, — сказал сосед Феокист. — Он никольское стадо пасет. Лука Григорьев, прозвище «волчий пастух».

— Знаем, — подтвердил и Герасим. — Его отец был вроде колдун. Вот играл в рожок. Так, верно, того звали «волчий пастух». Моя мать сказывала: видали раз, как он играл, а против его волчина стоял, слушал. Верно то. И этот прозван по отцу. Говорили, что у того собаки две, овчарки. Были. А когда помер, дак они в лес ушли. Волки были. Вот что. Он их падалью кормил. Так верно — тот рожком всяких птиц собирал. На рожок легели. Играл хорошо. Как это он с тобой говорил, Лисеич. Он с охотником говорить не станет. Не любит охотников. Охотника волком зовет. Заметь, облаву на волков делали, узнал Лука. Дак всех волков увел. На свист ушли. Вот его волки любят. У него ни одной овцы не пропадет. Ни телка. А волки завсегда рядом, тут, около его.

Хотелось мне рассказать про волчат, но я молчал.

— Свирель. Рожок. Верно, — сказал как-то загадочно Василий. — Ну, а я вот без свирели птиц позову сейчас.

И он встал из-за стола, подошел к краю террасы, посмотрел в сад, вставил пальцы в рот, засвистал и защелкал. И вдруг в разных местах моего сада тоже засвистели птицы. И я увидел, запрыгали в кустах синицы, малиновки, и сад огласился веселым птичьим звоном.

— Это дело нетрудное, — сказал Василий. — Птицы — это музыканты. А вот волка на дудку позвать, да из него собаку сделать. Это будет тогда — вот когда рак свистнет...

Наступила ночь. Я посмотрел в окно моей комнаты. Вдали, за ржаными полями, лежал туман над болотом. А там, в хворосте, в болоте, прелестные дети, волчата. Какая их доля? Все против них, и всем они враги. И мне стало жаль маленьких красавцев-волчат.

Ералаш

Вышел со станции Ярославского вокзала. Вечер. Москва в снегу. На улицах блестят фонари, окна домов горят огнями. Синий снег. У вокзала наперебой извозчики на санках зазывают пассажиров: «Пожалте, барин, подвезу». Зима, все как-то изменилось. Нет пыли и грохота города. Санный путь. Пахнет снегом, морозом. На санях едут обыватели, держат дам за талии. У лихачей и санки такие, с узкими сидениями, нарочно сделаны, даму держать, чтоб не упала.

Парой вороных едут именитые москвичи; кучер, как бочка, рукава голубые, а кафтан застегнут сзади на частый ряд серебряных пуговиц. Шапка с павлиньими перьями, кони покрыты синей сеткой с кистями. От коней идет пар.

— Берегись, — кричит кучер басом.

А он едет с ней, держит ее крепко рукой, в ее ушах блестят каратники. Из трактира выходят обыватели; за ними валит из дверей пар — в трактире тепло.

Театральная площадь. В театр едет публика, дамы одеты в капоры, розовые, белые, воздушные. Итальянская опера. В Охотном ряду, как дрова, лежат мерзлые поросята, рыбы — белуга, севрюга, осетрина, навага; дичь, рябчики, тетерева, зайцы, утки. Стоймя стоят мерзлые свиные туши. Лавочники рады зиме, бьют себя в ладоши, греются.

Проезжаю мимо Храма Василия Блаженного. Еду к себе. Темная Москва-река, барки белеют, покрытые снегом. Моя мастерская. Из окон виден Москворецкий мост, Кремль, Балчуг. Крыши покрыты снегом, в крышах темные круглые слуховые окна. И я вспомнил, как в Париже именитый иностранец показывал мне фотографию именно Балчуга, с видом Кремля, и говорил гостям, что когда Москва покрывается снегом и он заносит улицы и дома московские до самых крыш, а из этих окон — слуховых — жители выходят погулять по снегу. Но это очень опасно, так как по Москве зимой бегают волки и медведи. Особенно опасно ночью...

Я убеждал всех, что это вздор, что этого никогда не бывает, и видел — не нравилось иностранцу, как я говорю. Так ему хотелось, чтоб удивлял гостей его рассказ особенностью жизни московской. И он любезно мне заметил, что я, вероятно, не видал отрицательных сторон русской жизни, так как не прогрессист.

— Жан Террибль¹, ваш царь московский, — продолжал мой иностранец, — победил татарские орды и сделал всех татар дворниками, дал им лопаты, и они с тех пор очищают снега Москвы. Но не успевают. Жители часто засыпаны снегом совсем.

* * *

Верно, что татары были в Москве дворники. Верно и то, что пишу я что-то не прогрессистское: все как-то про времена тираннии.

Надо писать по-другому. Попробую прогрессисту угодить. Какой я, в сущности, писатель. Не пойму, что и надо. Мне бы хотелось быть писателем настоящим, матерым, а не то, чтобы каким-нибудь. Попробую вот так:

Театральная площадь. Зимний вечер, блестят фонари у Большого театра. Опера. Обыватели, замученные непосильным трудом, подъезжают на санях к театральному подъезду. Околоточные надзиратели с саблями наголо высаживают публику из саней, ведут в театр и дорогой выпрашивают взятки. Сбоку, по крутой лестнице, робко пробираются на галерку студентки, курсистки, интеллигенция. Холод — на босу ногу, бедняжки. Театр блестит огнями, у оркестра ходит директор театра — в мундире, густые эполеты, в орденах. Белые лосины, и в сапог засунута нагайка. Ходит — поглядывает на музыкантов: надо артистов в руках держать, тоже народ, ох! И публике угодить надо.

Оркестр играет:

Эх, раз пошел ли, мой сивый грай, пошел,
Эх, распошел ли, хорошая моя...

¹ От фр. Jean Terrible — Иван Грозный.

Все не зря. Дают Вагнера: «Гибель богов». Надо ведь в антракте публике угодить, не заскучала бы. Ведь вот профанация какая при царизме была.

Идет опера, а другие звуки сливаются с пением оперных певцов: то с Волги стон раздается, то бурлаки идут бечевой. Вот ведь что. Аплодируют тенору, студенты орут и стучат босыми ногами об пол. А в фойе буфет, и там ни оршаду, ни лимонаду: одна водка. А пить хочется. Театр-то казенный, ну и спаивают обывателя. Вот что.

Публика, обыватель, из театра едет прямо в баню — париться. Бьют себя вениками, вроде как грешники каются. А из бани прямо едут в трактиры — чай пить, баранки и калачи.

Калачи с зернистой икрой недурны были, очень недурны...

* * *

Вижу, опять пишу что-то не то: ералаш выходит. Нипочем мне прогрессисту не понравиться. Зачем это я про икру зернистую? Совсем зря, не надо бы...

* * *

Вот как надо о проклятых временах писать.

Едят в трактирах белорыбицу, белугу, пьют шампанское и пустыми бутылками бьют зеркала. Хорошо в зеркало ахнуть бутылкой. Зачем в ём харя какая-то кажется. Бей его, мажь горчицей.

В трактирах отравленных тухлой рыбой, рыбьим ядом, умерших в корчах отвозят на кладбище, где метель и вьюга. Известно всем, что на кладбище ветер свищет, все безмолвие хранит... Плохо. Какая жизнь! Не жизнь, а сибирская каторга.

Снега очень много — про-тестую, хотя, конечно, тогда снежные горы делали...

Очень москвички от блинов и пирогов полнели. Так мужья их с крутых гор пускали. Ну и весело было. Вот она с крутой горы кубарем катится, прямо шаром. Визжит, а кругом ржут. Конечно, на такие катания панталоны шили густые, из кружевов Марии Антуанетты. Богатые купцы, вроде Морозова, не катали так жен — стеснялись. Когда супруга полнела, то каталась в карете, в ростепель московскую, по мостовым. Худела. Говорила: «Ехала я в карете, бултыхалась, бултыхалась — совсем расшляпилась». Все норовили на французский лад сказать, мода такая была. Под французенку себя показать.

А бедняки живут под мостами Москва-реки. Им туда милосердные люди блины приносят, держат за пазухой для тепла, чтоб блин горячий был. Те едят. А доброхотные даятели смотрят и жалеют бедного, вздыхают.

— Ешь, говорит, помяни, говорит, родителей покойных...

Бедняк говорит:

— Будя, не могу больше...

— Нет, мол, ешь, поминай родителей.

Беда. И бедным-то как трудно.

* * *

Богач Балдушин говорит текстильщику, своему приятелю:

— Сережа, — говорит, — я тебя с артисткой на днях видал. Это ты што?

— Да спасаю ее, — отвечает фабрикант-текстильщик. — Она артистка замечательная, из студии. Талия вот как у рюмки этой. Только испортили ее. И вот что во

мне есть? Что я? Ни красы во мне нет, рост разве... А вот нравлюсь ей... И сам не знаю, отчего нравлюсь. Она ведь драматическая. Это ведь не фунт изюму. Как она про общественность говорит, если бы слышал. Прямо как с нами в одно дышло запряжена, передовая, идейная... Только вот одно: глаза у ней стоят.

— Как — стоят? — удивился Балдушин.

— Да так. Вот она смотрит прямо, а если в сторону глядеть, должна вся оборотиться. Глаза стоят.

— Отчего бы это? Ведь молодая.

— От алкоголя это у ней, актеры споили в студии, водкой поили, и остановка глаз вышла...

— И что же?

— А то, что я ее спасу. Я взял и поехал с ней к «Яру». И вижу, что ей нравлюсь. И боюсь: а вдруг она на деньги мои лезет? Да я ей говорю: «Я толстовец, плехановец. Уйду, — говорю, — в народ». А она мне: «Я, — говорит, — с вами пойду». Вот ведь что заманчиво. А потом я и открыл ей глаза. Говорю:

Как цветы, дорогие наряды
Я к ногам твоим брошу шутя...

— Сто тысяч в год на булавки хочешь? — я ей говорю. Одно только — глаза у ней стоят. Водка-то не скоро выкуривается. Сам Захарьин глаза на место взялся ставить. Тыщу за визит плачу... Каратниками я ее, брат, обвешал... Только она мне и сказала:

— Жалко, — говорит, — Сережа, что ты за убеждения не пострадал еще...

А зима все суровее. Вьюга, метель. Снег сыплет. Москва под снегом уже до макушек куполов. Остановились пути сообщения: все покрыто снегом. Даже неизвестно, где, собственно, была Москва. Выглядывают кое-где маковки церковей да крыши высоких домов, слуховые окна чердаков. И так все заметет снегом, всю Россию, что делается не видно и черты еврейской оседлости.

А москвичи от жительства своего под снегом — получили характер оригинальный, веселый, дружелюбный, хлебосольный. Приятные люди были москвичи. Подумать надо, ну-ка, каково полгода в снегу жить. Только москвичи и под снегом жили неплохо. Москвичи тоже хороши были. А все же завидовали за границе.

— В снегу живем, — говорили. — Как от него отстать.

Помню, бывало, вылезет обыватель в шубе из чердака в слуховое окно погулять, видит кругом: ни пути, ни дороженьки. Ходит по снегу, ищет: ой ты, гой еси, как бы куда пойти, время провести. Ну и слышит под ногами, под снегом, музыка, машина играет — значит, ресторан «Прага». Поют цыгане — значит, «Яр», «Стрельна». Где кричат «долой» — университет. Где поют: «Сусанин, Сусанин, чиста моя вера» — редакция «Московских ведомостей», где ругаются — участок. Так привыкли обыватели, попадают через чердак куда надо.

Но много неприятностей через снег выходит: люди пропадают. Генерал среди бела дня пропал. Прокурор из Окружного суда пробивался в ресторан «Прага» пообедать — пропал, куда делся, неизвестно. Потом только открылось — волки его съели.

Днем туда-сюда, а вечером волки стадами бегают, народ заедают до смерти. Я, конечно, это проглядел, но мне все это за границей прогрессисты рассказали. Я что-то таких снегов не помню.

Недурно было зимой в Москве под снегом жить. В гости друг к другу ходить. Хорошо в домах московских. Топятся лежанки, тепло... Соберутся гости... Играют в прятки, в жмурки... В революцию с фантами. А то сами в гости уйдут, кто куда. Кто к Осману в клуб, играть в баккара, кто на балы, вечера, танцы... Только вот игра в революцию с фантами боком вышла.

* * *

Боярин Морозов и барон Кобыло-Ковалов говорили:

— Попробуйте революцию с осетриной, под музыку в трикотон сыграем с фантами.

Тут сделали заседание, и сразу разошлись: один хочет революцию с фантами играть, другой говорит: необходимо трикотон.

Ну, решили все-таки попробовать хоть недели на две, для начала. Такая скука под снегом жить. И до того разыгрались в революцию, разговорились, что боярин Морозов охрип, а Кобыло-Ковалов совсем голоса даже лишился. Ораторов образовалась тысяча. Говорит всяк, что хочет: свобода слова.

Околоточные пробовали глотки снегом забивать, но ничего не вышло — тает снег от внутреннего жара. Как быть? Пришли в Купеческий клуб, искали — нет ли там Минина Пожарного. Нету там, никого не нашли. Что делать? Замучились. Никак ораторов унять невозможно: разговорились до страсти. Каждый говорит: я главный. Профессора — мы главные, без нас дураками останетесь. Студенты говорят — мы самые главные, без нас вы не нужны. Сапожники — без нас пропадете, сапогов не дадим. Походи-ка по снегу. Половые то же говорят, банщики то же, солдаты то же: «Чего енералы без нас могут. Мы главные». Все главные... Только и говорят: «главные»... И конца этому не видно.

А Кобыло-Ковалов говорит мне, что 15 января 1923 года будет конец.

— Чему конец?

— Чему — революции.

— Кто это говорит?

— Я говорю, — ответил мне с апломбом Кобыло-Ковалов.

Вижу, опять главный говорит, и даже скучно стало.

А текстильщик Сережа приуныл. Глаза у актрисы кругом ходить опять начали: на всех смотрит, стреляет. Лучше было, когда на месте стояли.

— А то что ж это, — говорит Сережа. — Каратники на ней мои, а она на других глаза пялит. Пойми мои страдания...

* * *

Так и замучились москвичи с революцией до невозможности.

В снег, что ль, залезть от нее? Залезешь — за ноги тащат, студенты тащат на сходку — иди на митинг. Гонют... А то бабушку революции встречать велят. Хорошо, что еще дедушки нет. Говорили-говорили, митинговали-митинговали.

Но потом все и замолчали. Ну, говорят тихонько:

Ну вас с вашим вече,
Скоро жрать уж будет нече...

Грустно, тихонько говорили друг другу: игра-то в революцию и хороша, может быть, только уж очень она нам боком всем вышла. Кончился московский ералаш.

Колька

Уж проходит ноябрь, так печально и грустно кругом. Молчит темный сад. Черные ветви лип повисли над беседкой. Упавшими листьями клена завалено крыльцо и терраса моего дома. Стало все как-то бедно, сиротливо. На реке вода полная, глубокая, серая, злая. Лодка как-то жалко лежит на берегу. Пожелтели травы берега, и повисли осоки. Скользят ноги на синей, грязной дороге. В деревне бабы, окутанные теплыми платками, в тулупах, закрывают соломой избу — на зиму, для тепла закрывают. И грустно, горько глядят жалкие окна избенки. На долгую зиму залезает туда семья крестьянина с детишками.

Давно Авдотья не получала письма от мужа, с войны.

— Нет от Андрея вести. Убили, не убили — кто знает.

Около стоит сынишка Колька. Горят глазенки мальчишки. Слушает, как рассказывает мать. На ногах у него большие, грязные сапоги отца. Он поглядел на мать, пошел за избу, едва передвигая ноги, и сел у плетня. Задумчиво смотрел на сапоги и тихонько говорил:

— Тятка... убили, знать, тебя... Тятка, а может, нет?

И Колька рукой гладил сапог. И глядел на грязную дорогу, которая идет далеко, заворачивая в темный лес...

И каждый день сидит Колька у плетня и все смотрит вдаль, на поворот дороги... Он гладит холодными ручонками отцовские сапоги, и в глазах у Кольки блещут слезы, текут по носу. Рукавами ватной кацавейки трет он нос.

Мать велит Кольке заварить корове пойло, нарубить хворосту, сходить за водой. И Колька опять норовит к плетню уйти — поглядеть. Любил Колька отца... У кого бы спросить о нем? Спросил раз у кузнеца, а тот пьяный.

— А чего, — говорит, — тебе, ежели и убили. Война... Не пишет письма, значит, убили.

Даст пойло корове Колька, посмотрит ей в глаза — корова не знает, баран тоже. Собака соседняя, кривая, Волчок, тоже не знает. Любил ее Колька — помнил, отец ее гладил... И Колька гладил собаку.

Придет в избу, положит в углу избы тяткин тулуп и ляжет на него. И тулуп-то вроде как отцом кажется ему. Сапоги поставит рядом рваные, большие, отцовские. Как-то лучше душе, теплой, отцовское-то около... И смотрит ночью Колька открытыми глазами в темь, и кажется ему, отец приехал. На нем рубаха новая, пояс. И глядит на него отец, и Колька баранку ест — отец дал. Хорошо с отцом быть Кольке. И собака кривая тут же. Помнит Колька, как отец ему маковые лепешки привез. Сам не ел, все ему отдал. Сидит отец за столом и долго деньги считает — серебро и бумажки.

— Семь рублей, — говорит, — мало получил.

И ему семитку дал. Только у Кольки семитку эту украли. А теперь к матери придут бабы, торочут, торочут — «сирота», говорят, показывая на Кольку...

А мать плачет.

Упало сердце у Кольки: убили отца, значит, думает.

Пришло письмо Семену, а от отца все нет ничего...

Уж выпал снег. Приехал я как-то из Москвы в мой деревянный дом, и вечером вошел ко мне в комнату дедушка, сторож моего дома. И говорит:

— Вот, пришел Колька, Авдотьян, что с краю, к вам.

— Это Колька, у которого отец на войне?

— Да, — говорит дедушка. — Этот самый. Ведь он, помните, с ребяташками ходил с вами, когда вы списывать картину ходили. Ящик ваш носил, а то зонтик. До войны. Больно об отце тужит, убили, знать, отца-то на войне, об ем слуху-то нет.

— Позови его сюда, — говорю я дедушке.

Тихо вошел ко мне Колька и в руках держал шапку. Он вырос и большими кариными глазами смотрел серьезно и пристально на меня.

— Здравствуй, Коля, — говорю.

Он молча стоял и смотрел. Большие ресницы глаз у него слиплись, и худые бледные щеки как-то вздрагивали.

— Кистинтин Ликсеич, — сказал Колька, — я хотел тебя спросить... Знать, отца мово убили на войне?

Дедушка вышел.

— Слышь, вот что, — продолжал Колька, — ежели так вышло, что убили его, то, значит, он таперь там, у Бога, у Престола, значит, сидит... И вот еще што, скажи, сделай милость, таперь мне — где эта война есть и как туда дорога идет? По машине, значит, ехать надо... Так што я хочу попытать, значит, отца найтить. А ежели што, пушай меня кончают. Так што я тоже у Престола, должно, сидеть буду... Эту муку я тута нипочем снести не могу. Чего мне тута делать и зачем мне тута зря болтаться.

— Как? Ты, значит, на войну хочешь ехать, Коля?

— Во, во. Да как это надоть ехать, дело мне не знамо.

— Коля, тебя не возьмут — ты же мальчик, — говорю я, — молод ведь ты.

— Н-е-ет, возьмут. Я чего-нибудь буду там пособлять. Дратсья мне где же, а так, кому што надо, носить я могу али пошлют куда.

— Как же это ты отца найдешь? Где он, в какой части, ты знаешь?

— Знаю. Сапер он, более ничего. Это вы не говорите тут, а я уйду. Вот собаку вот тоже охота, кривого-то, взять. Он тоже отца знал, он бы рад был... Я и полушубок возьму, и сапоги евоные, новые есть.

Колька говорил так просто и ясно, и восторженное лицо его было бледно, и искрились большие глаза. Он поднимал руку кверху над собой, когда говорил: «у Престола буду сидеть с отцом и я»...

— Сидеть... Почему сидеть?

И, смотря на него, я не знал, что ему ответить.

Потом сказал:

— Послушай, Коля, у тебя мать, ты один сын, ты ее жизнь, на кого же она останется?.. Ты ее надежда, подумай, мать-то оставишь...

— Да, это все верно, — сказал Колька равнодушно, — только я никак не могу... Чего здесь делать? Только я уйду, вы не говорите никому. Прощайте, — вдруг сказал Колька и ушел.

Через три дня дедушка-сторож, утром, сказал мне:

— Колька-то в ночь ушел и собаку кривую увел с собой.

— А как же мать-то, что же она? — спрашиваю я у дедушки.

— Плачет... — ответил дедушка, — говорит, ничего с им не сделаешь, давно затеял. Отец, говорит, зовет меня. Чего... Сапоги взял его новые и тулуп. Мать думает, вернется, он ведь вне себя, пройдет. Да нет. Слышь, на машину сел, с солдатами. Жандар на станции видал, так сказывал — конвойный его взял. Нельзя, знать, по эдакому делу отказ чинить.

— Ведь он мальчик, — говорю я. — Сколько Кольке лет?

— Тринадцать, — ответил дедушка.

Через месяц, вечером, вошел ко мне сторож-дедушка и сказал, что мать Колькина, Авдотья, пришла, и принесла письмо мне прочесть — от мужа получила.

Ко мне вошла Авдотья, женщина высокого роста, подала мне письмо и фартуком закрыла глаза. Я читаю:

«Любезной супруге моей Авдотье Михайловне земным поклоном кланяюсь. Любимому сыну моему Миколаю Григорьеву шлю отцовское благословение, на послушание матери своей и почтение родительское. Сохранять в вере святой. Штыковою раною сквозь лежу в госпитале втором Гренадерского дивизиона. Рукою не мощью, жду часа преставиться к Престолу Творца Всевышнего. Отдай, Авдотья, сапоги новые Миколаю, пускай сенца вставит, по ноге, может, придется. Суконну поддевку продай, смотриай, обманом не обманись. Мене двенадцати не отдавай».

Зима. Засыпало снегом. Вижу я, на деревне в сумерках светятся огоньки в окнах изб деревенских. В окне избы Авдотьи не горит огонь. Стоит Авдотья в рваном тулупе у плетня и смотрит в даль дороги, на поворот, в лес. Долго смотрит. И пойдет домой, наклоня голову. Затеplit лампаду у иконы, покроет скатертью стол, накрошит редьки, польет квасом, сядет за стол, напротив положит ложку. И говорит:

— Поешь, Андрюша... Найдет ли Колька тебя? Где найти?.. Убили, знать, тебя вороги. Не хочу я чай без тебя пить, не буду. Говорил Колька — найду отца. Да где же?.. Мал он еще. «До Престола дойду, а найду», — говорил. Где ж найти... Эх, горе... вот оно што... Рать на рать идут... Пошто велел Арханген?.. Поешь со мной, Андрюша, люб ты мне, ох, люб. Светел, как сине утро. Ишь, краса в тебе какая — нездешняя, кровины нет капли в тебе, полил землю родиму...

И все говорит, говорит Авдотья. Заполночь уже. К утру заснет за столом...

Утром затопит печь и ничего для себя не печет — неохота. Кому есть, для кого готовить. Пожует краюху хлеба и пойдет к плетню — посмотреть на дорогу дальнюю...

Никуда не ходит в гости. Да и к ней никто не идет. Скушно.

— Эх! — говорят. — Авдотья горе мыкает. Все ждет — думает, муж приедет. Да, приедешь оттелева. Эка там чего: немцы, турки, арапы, еще хранцуз да штанглинец с им. И-и... И сколько их на Рассею идут... Где ж тут вернуться. Нет, не вернется.

Потом деревенские говорили:

На холмах Галиции к утру смолк вой артиллерии. Шел долгий бой. В окрестностях Кременца снесен артиллерийским огнем какой-то городок. Кусок церковки белеет, как срезанная пасха; мусор разбитых домов, щебень, грязь, глина... Кой-где торчит остаток печи... Стаи воронья носятся и с криком опускаются кучей, отыскивая добычу. Из глины и мусора выглядывает грязный сапог и в нем часть ноги: расшиб снаряд, и человека нет. Около сапога — собака кривая, Волчок. Не дает клевать воронам ногу... Смотрит Волчок одним глазом, и в глазу кривой собаки скорбь тяжкая и недоумение. Глядит, сядет, поднимет морду кверху и тихонько завоет...

Издых кривой Волчок у сапога друга своего Кольки...

Баба-Яга

I

Едем со станции до дому. Ко мне в деревню. Со мной приятели — охотники. Ехать восемь верст. Метель. Метет мягкий снег. Ползут розвальни.

Со мной — мой приятель Василий Сергеич. Отвернулся, закутался, сидит, молчит. Лошадь стала. Снег бьет в глаза.

— Чего, и не знамо что, куда ехать, — говорит возчик Батранов. — Иде и мост, не знаю. Чего еще поехали, надо бы переждать. А тут что?

— Да не замерзнем, — говорю я, — тепло, трогай.

— Где ж замерзнуть? А ехать куда, вот что. Ничего и не видать.

— Поезжай назад, — говорит мрачно Василий Сергеич.

— Назад, — отвечает возчик Батранов, — а где зад-то? Эх, грех неровный. Трогай, — дергает Батранов лошадь.

Поехал и опять стал.

— Знать, лес, — говорит Батранов. — Вот справа. Видать маненько. Во соснину. Лес, знать. Н-ну!

Лошадь тихо пошла. Розвальни качнулись, наклонясь, и задели пень. Батранов слез. Взял за узду лошадь. Пошел, мотая перед собой руками. Остановился.

— Я пошарю пойду — что тут. И кликну вам.

И он ушел. Долго ждали. Потом крикнул:

— Справа надоть.

Я откликнулся ему. Он подошел, сел и круто взял вправо.

— Как бы с кручи не чертануть, — сказал он про себя.

— Стой! — крикнул Василий Сергеич.

И Батранов опять стал, вылез и пошел. Возвращаясь, говорит:

— Эвон, там, в теми, что — огонек будто в окошке. Э-эвона, там. Я поведу лошадь.

И мы тихо едем среди невероятной мглы. И только перед глазами белые хлопья бьют в лицо. За шею, за ворот набивается снег. Батранов встал. Перед нами что-то темное.

— Эх, во что, — говорит Батранов. — Заехали. Далече. Прямо к Бабе-Яге. Вот сейчас поведу. Завернем за сарай. Эвона, тут, видать, оно и есть. Выселок, значит. Она тута, Баба-Яга.

— Какой вздор, — осердился гофмейстер. — Какая Баба-Яга. Что за чушь!
— Верно, барин. Она тута. Вона, огонек светит. Я знаю, эта самая. Ну и баба, эх-вдова.

Приятель вылезли из розвальней и стояли передо мной как враги.

— Ну ее к черту! — кричал приятель Вася. — Это какая-то ловушка. Опять какой-то вздор, чушь!

Генерал сердился. Ему в рот попал снег с рукава Сучкова. Он поперхнулся.

— Ехали на охоту, а приехали... к Бабе-Яге! Только у тебя такие истории.

Я тоже рассердился.

— Да что вы, на самом деле, обалдели все? Я в первый раз про нее слышу. Я сам не знаю, что эта баба, и что за баба такая... И притом — я боюсь щекотки, смертельно боюсь.

— Опять ерунда. Щекотка. Нет, нет, довольно. Я с тобой больше на охоту не еду, — кричал Павел Александрович.

— Щекотка — это русалки. Я тоже терпеть не могу этого вздора. Кругом метель, неизвестность, а тут чепуха такая, — сердился гофмейстер.

— Во, — говорит Батранов, подходя. — Она самая. К ей попали. Эка, куда заехали, на Выселки. Сейчас поведу лошадь. Садитесь. Хорошо, что попали. А то просто пропадай.

И он тихо вел лошадей.

* * *

В щелях закрытых ставень виднелся свет. Батранов остановился у крыльца большого дома. Мы вылезли и поднялись по широкой деревянной лестнице к двери и постучали. В коридоре слышался смех.

— Слышь, — сказал тихо возчик. — Вы, мотряй, не говорите — Баба-Яга. Это ведь ее так прозвали. А она-то лекарка. Э-эх, красива.

Дверь открыла простоволосая девчонка. Войдя в коридор, мы встретили высокого роста, очень полную женщину, молодую. Черные как смоль волосы были зачесаны назад, в большую косу. Веселые темно-серые глаза улыбались. Увидев нас, она засмеялась. И маленькими кистями рук хлопала себя по коленям. Смеясь, говорила:

— Откуда это вас позанесло? Охотники. Идите, идите. Рада гостям.

Девчонка веником стряхивала с нас снег. Большая чистая горница, пол покрыт циновками, венские стулья, скамьи. В углу большой стол накрыт скатертью. Самовар. За ним сидели лесник-объездчик, какой-то черный солидный купец, с золотой цепью на жилете, и дьячок от Спаса Вепрева. Они встали и поздоровались с нами. В комнате было тепло. Мы сели за стол и достали закуски. Хозяйка, улыбаясь, ставила графины, говорила: «Озябли, чай кушайте», угощала нас. Она смеялась и как-то быстро отводила в сторону глаза. Как жемчуг были ее зубы. И маленький рот красиво улыбался. Она была очень полна. Белое лицо окаймляли черные волосы.

Павел Александрович Сучков надел пенсне и смотрел на хозяйку, подняв брови до пробора волос.

— В какую пургу попали! — говорила хозяйка. — Запутались, знать?

— Мы так счастливы, — сказал гофмейстер. — Среди пурги, и вдруг — вы! Так прекрасны! Это среди пурги-метели. Очарование. Ваше здоровье!..

— Я рада, — взяв рюмку, сказала она, — гостям таким, охотникам. Где ж дожидаться? Вот метель помогла. А то где ж? Не приехали б.

И так ласково смотрела на нас.

— И мы так рады, — говорили мои приятели. — Это просто волшебю.

— Бога видеть нельзя, — сказал вдруг чернюй купец.

— То есть, вы это к чему? — удивленно спросил гофмейстер.

— А до вашего приезда, — ответил купец, — вот он, Семен Петрович, главный лесник и объездчик, говорил, что такое Бог? Вот и вышел у нас разговор. «Нет в живых человека, который мог бы Меня видеть», — вот что сказал Бог Моисею.

— Ну, чего вы, право? — сказала хозяйка. — Яков Наумыч, гости, вона, ничего не кушают.

— Это верно. Вот выпьем. Это вот рябиновая. Легенькая. Ну, за хозяйку!..

Выпили за хозяйку. И она, выпив рюмку, сверкнула глазами.

— А позвольте спросить, — сказал Василий Сергеевич, — вам известно, что мы от обезьяны происходим?

— А кто сотворил? — спросил дьячок. — А создал кто? Обезьяну-то кто сотворил? Ну-ка, скажите. Кто эту самую обезьяну создал? И зачем? Ну-ка?

Приятель мой Вася смотрел на дьячка, держа рюмку, и, закрыв глаза, рассмеялся:

— А верно! Зачем обезьяну-то? И зачем нужно было происходить от обезьяны? — Он хохотал. — Вот, Павел, был бы ты обезьяна, на хвосте бы рюмку держал.

— Довольно пошлостей, — крикнул строго Сучков.

— А позвольте вас спросить, — не унимался Василий Сергеевич, — почему у Павла Александровича вот на руке волосы? Почему?..

— Вот, вот, — подтвердил объездчик. — А у меня на груди.

И, открыв ворот, он показал грудь.

— Верно, — подтвердил чернюй купец. — Волосья растут где и не надо.

В это время чей-то голос на печке как-то странно сказал:

— Ну, буде вам, право. Ишь, вас метель кружит. В голове вертит. Заворачивает. Ух, ух, лихо. Сейчас наружи мороз, слышь, ветер в трубе воег, зло сулит.

Мы замолчали. И услышали вой ветра — протяжный и злобный.

Станный голос продолжал:

— И-ых, она, Баба-Яга, ха-ха-ха-ха. Вдова... Ха-ха.

У печки стояла хозяйка и улыбалась. Она сказала:

— Мне двадцать три года. Вдова я. Как мне теперь жить одной? Кругом лес. Метель метет. За кого и свататься, не знаю. И не знала я ране, что молодцы волосьями обрастают. На облизьяну переходят. Батюшки! Как в эдакой доле вдовьей горе мыкать? Кажи-ка, Бабушка-Яга...

Невозможный голос из-за печки басом ответил:

— Ох ты, поди. В банку зови. Погладь, помой. Пару поддай, потом поминай. Ухват бери. Хватай. В печку сажай. Уж-ты, поди. Дай, дай, в печку сажай. Жги, говори. Ух, милой, не играй со мной. Будя... Я Баба-Яга, костяная нога, масляна.

Хозяйка оперлась о печку, улыбаясь. Белые зубы красавицы блестили. Гофмейстер стоял и, мигая, смотрел на хозяйку.

Сучков и приягель Вася смотрели на печку, за печкой, искали, — никого не было. Дьячок смеялся.

— Покажи, Прасковьюшка, господам Бабу-Ягу, — сказал купец.

— Нет, пошто, — сказала красавица Прасковья. — Ну пошто на ночь пугать господ хороших. В другой раз заедут. Тогда покажу. Баню затоплю. Порадуются. — И она, смеясь, ушла в дверь.

Приятель Вася смотрел на всех с недоумением.

— Да-с, вещицы забавные, — заметил Сучков, глядя под печку.

— В чем же дело? — горячился гофмейстер. — Кто говорил этот вздор? Удивительно, презабавно и непонятно.

— Я тоже не понимаю, — сказал я. — Скажите, — обратился я к новым знакомым, — что это такое? Кто это говорил за печкой?

— Кто говорил? — смеялся дьячок. — Не узнать нипочем сразу. Вот Прасковья Васильевна и нас напужала, да так ловко, вот до чего. А в Петрове купца одного довела до того, что он в бочку залез да целый день сидел в бочке.

В это время открылась дверь, и огромная охапка сухого сена просунулась в горницу. Голос мужика сказал:

— Куда им стелить-то, сено?

Сено упало на пол. А за ним стояла Прасковья Васильевна и, весело смеясь, сказала уже своим голосом:

— Эх, гости дорогие. Охота скуку прогнать. Пошутим, повеселей станет на сердце. Святки ноне, ну, Баба-Яга и завертывает дела.

И хозяйка смеялась.

— Восхитительна, — сказал гофмейстер и, шаркнув ногой, поцеловал маленькую пухлую руку Прасковьи Васильевны.

II

На полу большой горницы красавица хозяйка наша, Прасковья Васильевна, постлала сено, покрыла простынями, принесла пуховые подушки. Лесничий и дьячок простились с нами и ушли домой. Черный купец остался ночевать и поместился на лежанке у печки. Приятели мои расположились на полу. Василий Сергеевич лег с краю, к стенке, рядом положил ружье. Сказал мне, что ружье на всякий случай.

— С какой стати, зачем это ты, Вася, ружье?

— Вы меня не учите. Местечко здесь глухое. Заметили, как у хозяйки-то глазки ходят во все стороны?

И он лег с краю на сено, не раздеваясь, и ружье положил рядом.

Гофмейстер разделся, вынул из чемодана халат, туфли и хотел лечь. Но стал слушать. В трубе жутко выл ветер.

— Скажите, Василий Сергеевич, — спросил он, — вы архитектор, как это сделать, чтобы в трубе и в печке не выло? Ветер этот чтоб не выл?

— Ничего не поделаешь с трубой, — ответил архитектор Василий Сергеевич. — Сколько мы об этом думали, сколько писали, но ничего не выходит. Конечно, если сверху закрыть, ну, тогда не будет выть.

Я лег на мягкое сено. Как хорошо в большой деревянной горнице деревенского дома. Пахнет сосной. Даже вой ветра в трубе приятен. И эта хозяйка, Баба-Яга, среди бури, пурги, в этом теплом доме делала счастливым прият.

Вошел Павел Александрович, сказал:

— Как? Вы уже легли спать. Ага! А я там, у ней, был. Очаровательна. Она фельдшерица, овдовела девятнадцати лет, жила в Ярославле. Не желает жить в городе, надоело — говорит. Я понимаю.

— Я знал мужа-то ее, — сказал черный купец. — Он был доктор, втрое старше ее. Помер за шестьдесят, капитал ей оставил. За ней сколько ходят, сватают — не идет. Она еще девчонкой махонькой была, так у ней и тогда голос хорош был. Ее в театр звали представлять. Она лечит ловко, к ней сколько идут, какие деньги дарят, помощи только. Я тоже лечусь у нее.

— А чем же вы больны?

— Я-то. Да я... по лесной части, лесом торгую. Ну, в лесу как-то на пилке дерево меня ударило. Подвернулся неладно. Ну, так, значит, по спинехватило, я и обезножел. Так вот, она меня в бане парила, да вальком катала по спине. Ну, и вот совсем, почитай, прошло. Жисть увидал. Я тоже вдовый... Я ей намекал... Нет, не идет. Так, посмеяться можно, но чтоб замуж — нет. А лечит хорошо.

Павел Александрович сидит за столом и закусывает.

— Да-с... — сказал он, — эта женщина-класс... Красота... Послушали бы, как она напекает в два голоса... Да-с, в два, и мужской, и женский. Вот-с!

— Во-во. За это самое ее Бабой-Ягой и зовут. С земским начальником ехала, значит, она. А он с ей поиграть захотел. У лесочка, значит, а она его как схватит, да мужиком крыть зачала, так и едак, как хочет. Вот он вырвался, побег от нее. А она спряталась в лесу. Он ходит, глядит — нет ее. Да к тарантасу. Сел, да домой скорей. А она потом его видела по делу. Любезная и ласковая такая. И-их, он помнит, боится. Баба-Яга выходит... Верно. Ее все боятся, уважают...

Павел Александрович снял валенки, разделся, затушил лампу и лег.

— Спокойной ночи, приятного сна... ходить по саду, нюхать жасмин, целовать, что мил... — сказал нежный голос с печки.

— Что за черт, кто это говорит?

Сучков вскочил, зажег лампу. Приятель Вася сказал:

— Ну, начинается...

— Чего вы? — сказал черный купец, — это Прасковья Васильевна шутит.

Посмотрели на печку — никого нет.

— Занятно... — сказал Сучков, опять ложась.

Утро. В окнах белым-бело. Метелица метет. Несут самовар. Пришел Батранов. Говорит: «Все то же, ветер только стих». Гофмейстер озабоченно спрашивает:

— Где же валенки мои?

Все ищут. Нет ни у кого валенок.

— Где же валенки? — спрашиваем у Батранова и у служанки.

— А кто ж их знает? Прасковья Васильевна уехали к обедне ранней, велели сказать вам, метель идет, чтоб оставались. Праздник ноне. Какая, говорит, охота. Все звери в норы улезли. Знать, она валенки спрятала. Чтоб не уехали.

— Это, должно быть, верно, — говорит купец. — И у меня нету. Не во что ноги обуть.

— Она угощение готовит, — говорит Батранов. — На кухне стряпухи пироги каки пекут, чего ехать. Пурга.

Умывались холодной водой, огуречное мыло. Полотенца были вышиты красными петушками. Стряпуха-служанка поднесла к чаю горячие оладьи, лепешки в масле, сливки, сотовый мед. Поглядела на наши ноги и, смеясь, ушла.

Сели за стол. Хорошо: оладьи, мед сотовый.

Отворилась дверь, и вошла Прасковья Васильевна, зарумянилась морозом. В шелковом платье, на плечах большая белая шаль. Тщательно причесанная, веселая. На руках надеты кольца. И, приветливо улыбаясь, говорила:

— С праздником. Да что же это, батюшки, как же это? Где валенки?

— Я боялась, уедете, — добавила она, смеясь. — Принесите скорей!

— Очаровательная шалунья, — сказал гофмейстер. — Вы понимаете, мы охотники. Приехали на охоту и вот попали к вам.

Гофмейстер смеялся, надевая валенки.

— А что это вот там, вдали, за домик? — спросил приятель Вася, показывая на окно.

— Это баня моя, — ответила хозяйка.

— Мала что-то, — сказал приятель Вася.

— Почему мала? Деревенская баня, — сказал я.

Вася сделал серьезное лицо:

— Позвольте вас спросить, с кем вы говорите, Константин Алексеич? Вы с архитектором говорите. Да-с. Я — двадцать тысяч бань построил! Вы думаете, баню просто строить? Нет-с, не просто. Я когда баню строю — на верхний полоч яйцо кладу, пару поддаю. Яйцо сварилось — баня не годится, ломай. Вот что. Баню строить — надо понимать.

— Двадцать тысяч бань — и где же это вы? Что-то много, — удивился гофмейстер.

— Много двадцать тысяч, Вася, — подтвердил и я.

Вася как-то обиженно посмотрел в окно и сказал:

— Ну, не двадцать, а десять тысяч построил.

— Ну, где же эти бани, десять тысяч? Много, — сказал гофмейстер.

— Много, — говорю и я.

Приятель Вася, зажмурив глаза, рассмеялся.

— Это верно, много. А все же, как вам угодно, три тысячи я построил.

— Много, много, Вася, — говорю я.

— Знаете что, Константин Алексеич. Вы всегда так, не верите. Но вот что. Хотите верьте, хотите нет, триста бань я построил.

— Раз, два, три, четыре, пять... — отсчитала хозяйка и, смеясь, сказала: — Триста много.

— Врешь, — сказал Павел Сучков, — много.

— Как вам угодно, — ответил Вася серьезно.

Прасковья Васильевна наклонилась, облокотясь на стол. А голос за печкой сказал:

Ах, не ври, говори,

Со мной в баню иди...

Приятель Вася отскочил от печки и сказал со смехом:

— Что такое! Опять Баба-Яга! Верно, я построил три бани.

— Ну, вот это верно, — согласилась, смеясь, и Прасковья Васильевна. — Баба-Яга помогает.

— Как это вы говорите, Прасковья Васильевна, другим голосом? — пристали мы все к ней. — Покажите.

Прасковья Васильевна задумалась. Лицо ее было серьезно и печально.

— Наша деревня, Ратухино, — сказала она, — сгорела дотла. Я еще была маленькой девочкой. Кое-кто построился опять, а отец мой бросил, да и уехал жить в Ярославль. Знал он дело плотничье. Понемножку в Ярославле работал. То там, то тут найдет дело. Стал домишки малые кое-кому строить на краю города. Ну, и скопил денежонок. И себе домишко построил. Тут я учиться стала. Да на курсы пошла. Уговорил меня студент, который подготовлял меня к экзамену. Кончила я тут фельдшерницей. Было мне семнадцать. Поступила в больницу. А там доктор. Хороший человек. Замуж за себя зовет. Мне нравится. Он не молод, говорю отцу, матери. Они — иди, говорят.

Любит меня доктор, чувствую я, не верит мне. Зря не верит. Все говорит: «За что ты меня любишь? Я старик. Конечно, тебе велели родители выйти. Положение мое и все такое». Конечно. Вижу я, ему тяжело. Не верит. И потому скучно ему. И все зря. Он в клуб вечером уйдет, я дома сижу. Скучаю. Ну, кой-кто из подруг, знакомых зайдет. И, что я ему ни говорила, не верит.

У нас в саду сзади дома баня была. Как-то, помню, пошла к вечеру я в баню. Открыла дверь — а там, смотрю, студент, репетитор мой сидит. Из Питера приехал. Увидел меня — и прямо в ноги упал. Плачет, бьется. «Вы, вы замуж вышли, — говорит, — а я вас люблю. Умираю. Люблю вас».

Я его подняла, с собой посадила на лавку.

— Успокойтесь, — говорю.

И нравится он мне. Потерялась я вся. А в маленькое окно поглядела — вижу, муж с крыльца идет в сад. Я ему и говорю:

— Василий Алексеевич, муж идет.

Он испугался да под печку залез. А я на полоч прыгнула. Залегла к стенке, притаялась. А дверь заперта. Стучит муж. Я молчу. Он дверь-то сшиб с крюка да вошел. Испугалась я. Переменила голос, да под мужика, водовоза нашего Вавилу, и крикнула: «Вавила, ты черт. Ждала тебя, лешего».

Муж удивился и ушел.

Я подождала, тихонько вышла, через забор перепрыгнула и домой пришла... А потом муж захворал сахарной болезнью и по весне о крыжовину палец занозил. Рана больше, больше. Ничем остановить нельзя. Антонов огонь. И помер. А студент со страху пропал.

Во мне от этого разу голос другой и явился. Вот я и говорю теперь Бабой-Ягой.

* * *

Просто и трогательно рассказала Прасковья Васильевна страницу жизни своей. — Прасковья Васильевна, — сказал весело Сучков, — а нет ли здесь достать гитару где.

— Попробую. Есть, у трактирщика.

Прасковья Васильевна вскоре вернулась с гитарой.

— Что жизнь? — сказал Сучков, — откуда что идет, неизвестно.

— Хи-хи-хи-хи-хи-хи, — передразнил его приятель Вася.

— Это тебе никогда не понять, — сказал Сучков, поведя пальцем перед носом архитектора Васи. — Это «хи-хи» кавалерическое. Это высоко для тебя. Понял?

И он стал настраивать гитару, перебирая струны.

— Спойте, чаровница, — сказал он.

Прасковья Васильевна вся зарделась. Запела:

За леса ложатся туманы.
Печалью мое сердце полно.
К ночи померкли дреманы,
Что любил я — угасло давно...

Люби. Иди. Любовь-любовь.
Зову — приди, скорей, скорей...

И, блеснув глазами, она убежала из комнаты.

Мы, когда она пела, смотрели на ее рот: он улыбался. И звуки голоса ее были где-то около...

В дни юности

Я вспомнил годы юности, пролетевшие там давно, в дивной стране моей, когда музы нежные нам тайно улыбались, когда легкокрылая нам изменяла молодость. Я вспомнил 1882 год. Был Великий пост. Таяли снега на крышах, и в мастерской прекрасного художника, Алексея Кондратьевича Саврасова, нашего профессора, в окна были видны посиневшие леса, Сокольники, Большой бор, который далеко лежал на горизонте. В весеннем солнце блестели вдали подмосковные церковки и большие дома казенных зданий — учебных заведений, института, казарм. Весна, ростепель. Видна Мясницкая улица, церковь Фрола и Лавра, по улице едут извозчики, одни на санях, а уже есть и на колесах; дворники кирками бьют зазеленелые глыбы на мостовых. У меня и у Левитана, учеников Саврасова, — длинные сапоги. Сапоги у нас, чтобы ходить за город, под Москву, в природу, писать этюды с природы. А в природе под Москвой прямо чудеса весной: Москва-река, ледоход. Разлилась река, прилетели грачи, кричат по садам монастырским. Жаворонки поют в выси весеннего неба, Панин Луг, Останкино, Сокольники, Новая деревня, Перервы, Петровско-Разумовское, Кунцево, Кусково, и сколько их, мест неизъяснимой красоты.

Прошел экзамен. Большой, третьей экзамен. Я и Левитан за рисунок получили серебряные медали, у меня рисунок первый номер. Я горд. Так весело на душе весной.

— Сегодня пойдем в Сокольники, — говорю Левитану. Маленький ящичек с красками берем в карман. Записать этюды весны.

В Москве, на углу Дьяковской улицы и Садовой, была гостиница, называемая «Восточные номера». Почему «восточные» — неизвестно. Это были... самые захудалые меблированные комнаты. У парадного входа — чтобы плотнее закрывалась входная дверь, для тепла — приспособлены были висевшие на веревке три кирпича...

В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, студент. На втором этаже И.И. Левитан, бывший в это время, как и я, учеником Училища живописи, ваяния и зодчества. Мы шли с Левитаном из школы, с Мясницкой. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне:

— Зайдем к Антоше (т.е. Чехову).

В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар. Тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван и стол были завалены листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к экзамену в университете. Он сидел на краю дивана. На нем была серая куртка — в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди — студенты.

Студенты горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечая на обращаемые к нему вопросы.

У него было большое открытое лицо, с добрыми, смеющимися глазами. Беседа с кем-либо, он иногда пристально взглядывал на говорившего, но тотчас же опускал голову и улыбался какой-то особенной, кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь, внушала особенное к нему доверие — от него как бы исходило веяние чести, сердечности... Несмотря на его молодость, даже юность, в нем уже тогда чувствовался какой-то добрый дед, к которому хотелось прийти и спросить о правде, поведать о горе и поверить ему самое важное, что есть у каждого глубоко на дне души. А Антон Павлович был прост и естественен, в нем не было ни тени рисовки или любования самим собой. Прирожденная скромность, особая мера такта, даже застенчивость — всегда были присущи Антону Павловичу.

Был весенний солнечный день. Левитан и я звали Антона Павловича пойти в Сокольники, в просеки, на круг. Мы сказали о полученных нами медалях. Один из присутствующих студентов спросил:

— Что же, медали на шее будете носить? Как швейцары или городовые?

Ему ответил Левитан:

— Нет, их не носят... Это просто так... Дается знак отличия при окончании Школы. Это простое поощрение.

— Как на выставках собаки получают... — прибавил другой студент.

Студенты были большие спорщики, в оппозиции ко всему.

— Если у вас нет убеждений, — говорил один студент, обращаясь к Чехову, — то вы не можете быть писателем.

— Нельзя же говорить, что у меня нет убеждений, — сказал другой. — Я даже не понимаю, как это можно не иметь убеждений...

— У меня нет убеждений, — ответил Антон Павлович.

— Вы говорите, что вы человек без убеждений. Так сказать, без направления. Как же можно написать произведение без идеи? У вас нет идей?

— Нет ни идей, ни убеждений... — ответил Чехов.

Странно спорили студенты. Они были, очевидно, недовольны Антоном Павловичем. Было видно, что он не отвечает какой-то их теории, их идейному и поучительному толку. Видимо было, что они хотели управлять, поучать, руководить, влиять. Они знали все — все понимали. А Антону Павловичу все это, видимо, было очень скучно, и он на настойчивые вопросы отвечал отдельными словами, повторяя, что у него нет убеждений, нет идей.

— А почему вы, позвольте вас спросить, подписываетесь «Чехонте»? К чему такой китайский псевдоним?

Чехов засмеялся.

— А потому, — продолжал студент, — что, когда вы будете доктором медицины, вам будет совестно за то, что вы писали...

— Вы правы... — отвечал Чехов, продолжая смеяться.

И прибавил:

— Поедьте-ка в Сокольники... Прекрасный день, весна, там уж, поди, травка зеленая выглядывает. Воздух какой. Поедьте. А то ведь засидимся, так поумнем, что не будешь знать, куда себя деть. — И он улыбался.

И мы отправились в Сокольники.

От Красных Ворот мы сели на конку и проехали мимо вокзалов, мимо Красного пруда, деревянных домов с зелеными и красными железными крышами. Мы ехали по окраине Москвы... Дорогой Левитан продолжал прерванный разговор:

— Как вы думаете, — говорил он, — вот у меня тоже так-таки нет никаких идей... Можно мне быть художником или нет — вопрос.

— Невозможно, — ответил студент, — человек не может быть без идей.

— Но вы же крокодил, — сказал студенту Левитан, — как же мне теперь быть? Бросить живопись?

— Бросить...

Мы смеялись, студенты сердились.

— Какая же идея, если я хочу написать сосны на солнце, весну?..

— Позвольте... Сосна — продукт, понимаете? Продукт стройки. Понимаете? Дрова — народное достояние... Это природа создает для народа... Понимаете? — горячился студент, — для народа!

— А мне противно, когда рубят деревья... Они такие же живые, как и мы, и на них поют птицы... Они, птицы, лучше нас... Я пишу и не думаю, что это дерево... Я не могу думать... Но вы же крокодил, Цапка, — говорил Левитан.

Антон Павлович смеялся.

— Вот скоро Сокольники, мы уже подъезжаем...

Сидевшая рядом с Левитаном и со мной какая-то тетка из мешанок протянула ему маленькую просфорку и сказала:

— Съешьте, красавчики... (Левитан был очень красив). Батюшка мой помер... Нынче сороков. Помяните его.

Мы рассмеялись. Левитан взял просфору и спросил — как звали отца, чтобы знать, кого поминать.

— Да вы што, нешто попы?

Баба была немножко навеселе.

— Студенты, студенты... Эх, народ. Под мышкой книжка, боле ничего... Тоже.

Мы приехали к кругу в Сокольники.

Выходя из вагона, баба, ехавшая с нами, обернувшись к Левитану, сказала на прощанье:

— Помяни родителя. Звали Никита Никитыч... А как семинарию окончишь, волосы у тебя будут хороши... Приходи в Печатники... Анфису Никитишну все знают... Накормлю, небось голодные, хоша ученые.

Антон Павлович смеялся. Студенты были серьезные. У студентов была какая-то придавленность. Казалось, что забота-старуха по пятам преследовала их. Они были полны каких-то навязчивых мыслей, идей. Что-то тяжелое и выдуманное тяготело над ними, как какая-то служба, сковывающая их молодость. У них не было простоты, уменья просто отдалиться минуте жизни, они не впечатлялись окружающим и они не видели весны.

Когда Левитан, указывая на красоту леса, говорил: «Посмотрите, как хорошо», — один из студентов ответил: «Ничего особенного... Просто тоска... Лес, и черт с ним, что тут хорошего. Глушь, тоска».

— Ничего-то вы, Цапка, не понимаете, — говорил Левитан.

Мы шли по аллее. Лес был таинственно прекрасен. В лучах весеннего солнца верхушки сосен красноватыми огнями сверкали на глубоком темно-синем небе. Без умолку свистели дрозды, кукушки вдаль таинственно отсчитывали, сколько кому осталось лет жизни на нашей тайной земле.

Студенты, с пледом на плечах, тоже оживились и запели:

А мы пьем за того,
Кто «Что делать?» писал,
За идею его,
За его идеал.

Антон Павлович и Левитан шли рядом. А впереди шли студенты.

И издали видно было, как длинные их волосы лежали на их плечах, что было модно и обязательно в то время.

— Что это там летит?.. — крикнул один из них, обращаясь к Левитану.

— Это, вероятно, сокол... — пошутил Антон Павлович.

Летела ворона.

— А в Сокольниках, должно быть, и нет больше соколов... — прибавил Чехов. — Я никогда не видал, какой сокол, сокол ясный. О чем задумались, соколики? Должно быть, соколики были милые люди...

Мы подошли к краю леса. Перед нами была просека, лежал путь железной дороги. Показались столы. Самовары дымились. Пили чай. Мы тоже сели за один из столиков. Чаепитие было принято в Сокольниках с ранней весны. Сразу же к нам подошли разносчики... Баранки, булки, сухари, балык, копчушки...

— Пожалуйста, господа хорошие...

Около нас за другим столом находились торговцы, типа Охотного ряда, и недружелюбно оглядывали нас.

— Вы студенты? — заговорил один, видимо пьяный, обращаясь в нашу сторону, — которые ежили... — И он показал нам кулак.

Другой уговаривал его не приставать к нам.

— Не лезь к им... Чего тебе... Может, они и не студенты. Чего тебе?

— Слуга служи, шатун шатайся... — говорил в нашу сторону пьяный, с осоловевшими глазами, артельщик...

Видно было, что мы не нравились этой компании. Трудно понимаемая вражда к нам, «студентам», прорывалась наружу.

Антон Павлович вынул маленькую книжечку и что-то быстро записал в нее. И помню, он сказал мне, когда мы шли обратно:

— А в весне есть какая-то тоска. Глубокая тоска и беспокойство. Все живет, но, несмотря на жизнь природы, есть непонятная печаль в ней.

И когда мы расстались с нашими студентами, он сказал, улыбаясь мне и Левитану:

— Поверьте. Эти студенты будут отличные доктора, народ они хороший. И я завидую им, что у них головы полны идей. Я, должно быть, не такой, как надо. А может быть, и мы все не такие. Что-то нам мешает.

Много прошло времени после этой прогулки нашей в Сокольники, и однажды, по приезде в Крым, в Ялту, весной 1904 года, я был у Антона Павловича Чехова в доме его в Верхней Алуште. На дворе дачи, когда я вошел в калитку, передо мной, вытянув шею, на одной ноге, стоял журавль. Увидав меня, он расправил крылья и начал прыгать и делать движения, танцуя — как бы показывая мне, какие выкрутасы он умеет разделявать.

Антон Павловича я застал в его комнате. Он сидел у окна и читал газету «Новое время».

— Какой милый журавль у вас, — сказал я Антону Павловичу. — Он так забавно танцует.

— Да, это замечательнейшее и добрейшее существо... Он любит всех нас, — сказал Антон Павлович. — Знаете ли, он весной прилетел к нам вторично. Он улетел на зиму, в путешествие, в другие, разные страны, к гиппопотамам, и вот опять к нам пожаловал. Его мы так любим, Маша, сестра, и я... — не правда ли, странно это и таинственно... Улетел и прилетел опять... Я не думаю, что это только за лягушками, которых он в саду здесь казнит... Нет, он горд и доволен еще тем, что его просят танцевать. Он артист и любит, когда мы смеемся его забавным танцам. Артисты любят играть в разных местах и улетают. Жена вот улетела в Москву, в Художественный театр.

Антон Павлович взял бумажку со стола, свернутую в короткую трубочку, закашлялся и, сплюнув в нее, бросил в банку с раствором.

В комнате Антона Павловича все было чисто прибрано, светло и просто, немножко как у больных. Пахло креозотом. На столе стоял календарь и веером вставленные в особую подставку много фотографий — портреты артистов и знакомых. На стенах были тоже развешаны фотографии, тоже портреты, и среди них Толстого, Михайловского, Суворина, Потапенки, Андреева и других. В комнату вошла Мария Павловна и сказала, что прислуга-кухарка заболела, лежит, что-то у нее сильно голова болит. Антон Павлович сначала не обратил на это внимания, но потом внезапно встал и сказал:

— Ах, я и забыл... Ведь я доктор!.. Как же, я ведь доктор!.. Пойду посмотрю, что с ней.

И он пошел на кухню к больной. Я шел за ним и, помнится, обратил внимание на его подавшуюся под натиском болезни фигуру: он был худ, его плечи остро выдавались, свидетельствовали об обессиливавшем его злом недуге...

Кухня была в стороне от дома. Я оставался на дворе с журавлем, который опять танцевал, и так развеселился, подпрыгивая, что расправил крылья, полетел ввысь, сделал круг над садом и опять опустился передо мной.

— Журка! Журка!.. — позвал я его, и он быстро подошел ко мне и боком смотрел своим острым глазом на меня, вероятно, дожидаясь награды за искусство. Я поддал ему пустую руку. Он посмотрел и что-то прокричал. Что? Вероятно — «мошеник». Или еще что-нибудь худшее, так как я ничего ему не заплатил за представление. После я показал Антону Павловичу бывшие со мной только что написанные в Крыму картины, думая его немножко развлечь. Это были спящие ночью большие корабли и крымские розы. Он попросил меня их оставить.

— Оставьте... Я еще хочу их посмотреть. Один... — сказал он.

Антон Павлович собирался ехать в Москву. Я не советовал ему делать этого — он казался совсем больным и сильно кашлял. За обедом он говорил мне:

— Отчего вы не пьете вина? Если бы я был здоров, я бы пил. Я так люблю вино. На всем лежала печать болезни и грусти.

Я сказал ему, что хочу купить в Крыму маленький кусочек земли и построить себе здесь мастерскую, но не в Ялте, а где-нибудь около.

— Вот хорошо, — сказал он. — Хотите, в Гурзуфе. Там у меня есть небольшой домик. Я там жил два года, у самого моря. Слушай, Маша, я подарю эту землю и домик Константину Алексеевичу. Хотите? Только там очень море шумит. Вечно. Я жалею, что уехал. Все шумело море. Это мешало мне думать, что я болен. Там хорошо. Когда буря, я и не слышал сам, что я кашляю.

Я поблагодарил Антона Павловича и сказал ему, что у самого моря я не могу жить, у меня сердце что-то болит.

Это была последняя моя встреча с Антоном Павловичем Чеховым.

Былая Москва

Осень. Москвичи уже переехали с дач, и Москва оживилась. Прошли, улетели жаркие летние дни. Охотный ряд завален рыбой, дичью, капустой, арбузами, огурцами. Короче становятся дни осенние. В сумерках фонарщик зажигает фонари на улицах. Магазины полны товара и ярко мерцают. Утром в длинных пальто, с надетым на спине ранцем из тюленьей кожи, идут в гимназию гимназисты. На Моховой студенты толпятся в воротах университета. Волосы у всех длинные — в то время была такая мода. Актеры в цилиндрах, с тростями гуляют по Кузнецкому Мосту и весело переговариваются со знакомыми. Трактиры битком набиты народом, пьют чай. За заборами — сады дремлют в осеннем уборе. Галки в вечернем небе с криком носятся стаями и садятся на кресты московских церквей.

Возвратился из-под Москвы художник Осип Григорьевич Волков. Летом написал картину и в квартире своей, за Москва-рекой, развернув ее, прикреплял гвоздями на подрамник. Поставив на мольберт, смотрел долго.

«Позову всех, — думал он. — Что скажут».

Осип Григорьевич хотел написать непременно картину-гвоздь на выставку. Сюжет хороший, да и что стоит картина без сюжета. В них нет нутра, человеческой мысли, идеи нет. Сюжет необходим. Осип Григорьевич хотел поразить зрителя, доказать, и газеты чтоб писали. А то — выставка картин, а гвоздя нет. Сюжет выдумать трудно. Намек человечеству надо дать. Мрачное или жалостливое, что за душу берет. Это не цветочки или пейзажики, про любовь или поэзию разводить. Это все пустое. Нужна картина, чтобы за душу хватала.

Художник Осип Григорьевич жил в Замоскваречье, на горке в Кривоколенном переулке, в большом деревянном доме купца Бахрушина. Был художник человек серьезный. На голове у него росли волосы особенно как-то, врозь: кверху фонтаном, брови большие, насупленные, глаза серые, сердитые, а потом — нос, небольшой, картошкой. Под ним шли, топырьась, большие усы. Носил он большую широкополую черную шляпу и шарф на шее. У пальто всегда был поднят воротник. Вся фигура его была как-то молчаливо задорна. В Замоскваречье все знали Осипа Григорьевича. Писал он портреты и картины с сюжетом. Сюжеты были особенные, трогательные, и лица в картинах были с выражением: «Муж вернулся невзначай и тянет из-под

постели за ноги пожарного в каске»; дева ночью кладет ребенка на крыльцо богатого дома; деревенские мальчишки играют на балалайке, а называлась картина — «Будущие музыканты»; очень толстый дьякон просто один сидит у окошка и пьет водку: картина называлась — «Не дело». Большое впечатление произвела картина: у забора, на сучке дерева висел удушенный, на земле разорванное письмо и трубка, из которой еще шел дым; картина почему-то называлась «Из-за нее». Картина — младенец, на руках у кормилицы в голубом кокошнике, показывает на глобус пальцем, а мать гладит его по головке; отец самодовольно улыбается. Почему-то эту картину Осип Григорьевич назвал «Будущий землемер», но его уговорили, и он переменял название. Назвал — «Будущий ученый».

Долго обдумывал сюжеты Осип Григорьевич. Как написать картину «Будущий инок». Просто, если читает книги Священного Писания, то неизвестно, что еще из него выйдет. Много читают книги-то. А что получается? И вот он написал картину летом, которую и привез. Картина изображала: на лугу, в зеленой траве, под развесистым дубом, веселая компания. В невероятных костюмах какие-то фантастические гусары в эполетах. Молодые люди, девицы справляют пикник и вина пьют прямо из бутылок. На разложенной скатерти — закуски, колбасы, рыбы, гусь жареный, окорок, арбуз, ананасы, пряники, и на одной ноге стоит танцовщица в голубой парче и в красном лифе. Одну ногу подняла, а в руке у нее бокал с шампанским. Но купеческий сын отвернулся, держит рукою себя за голову и, шагая, уходит от веселых друзей. Идет в ворота старинного монастыря, где монах, наклонив голову, показывает ему на ворота рукой. Туда идет купеческий сын, в сюртуке, на жилете большая цепочка. А из кармана другой рукой он выбрасывает деньги — сторублевки и трешники летят по воздуху.

Эта картина называлась — «Будущий инок».

Трудно было написать такую картину. Знакомые Осипа Григорьевича, купцы, говорили разное: «Еще неизвестно, будет ли он инок опосля жизни такой. И потом, почему купеческий сын?»

Много раз переписывал картину Осип Григорьевич. То инока будущего напишет гусаром, то молодым барином-франтом, а когда пришел знакомый квартальный, то сказал, что деньги бросать никак нельзя, на ветер пускать, на них притом орел, и прочее. Соблазн народу выходит, и казне неудовольствие. А потом публика скажет: «Что дурак деньги бросает. Они в кажинном случае нужны. И монастырю тоже».

А другой его приятель заметил, что не видать, крепка ли в нем вера, просто это, может, спьяна. Да и нельзя понять, почему такой человек, в таком разе, решился жисть такую бросить. А еще можно было написать эдакую картину и обязательно другую: эти же самые товарищи его и плясавица его выманивают из монастыря. У одного в руках на подносе водка, у другого прочие вина, закуски, а плясавица в таком разе ногу подняла. А он нипочем не идет. Вот тут тогда видать будет ясно, что крепко, инок, как есть! а то — неизвестно.

А еще третью картину надоть, что он увидел соблазн, да их всех прямо дубиной по мордам лупит. Так что куда что полетело. Это будет всем понятно, что надо, значит. Не выманишь нипочем его. Вот оно и видать, что вера крепка в нем.

Несогласен был Осип Григорьевич на три картины. И потом неладно это — по мордам дубиной. Не полагается. И переписывал картину Осип Григорьевич, и не выходило. И решил компанию оставить как есть, плясавицу с поднятой ногой тоже,

а инок с наклоненной головой идет мимо, исподлобья одним глазом поглядывает. И назвал картину — «Соблазн».

— Неизвестно, — говорил знакомый квартальный. — Танцовщица больно худа. Ворочаться неохота. Надо ее маленько в этом месте пошире, пополний. И обязательно надо Христофора из «Яра» с гитарой, чтоб играл. И Настю. Вот тогда задумаются. И закуска неладно написана. Вот в этом месте водка в графине чтоб светилась, и осетрина чтоб видна была. Отдельно чтоб. И стерлядку тоже хорошо поместить...

Растерялся Осип Григорьевич с картиной. Говорили, что инок не соблазнится, ничо чем. А другие негодовали на картину. И удивлялись, почто им нужно его соблазнять. На кой им он дался? Они сами по себе жизнь ведут очень даже хорошо.

Осип Григорьевич надумал переделать сюжет. И переписал танцовщицу на пляшущего пьяного квартального. Инока закрасил. Картина понравилась всем, и очень вышла веселая. Квартальный до невозможности обиделся. До того, что донес по начальству о нарушении основ. Картину велел к себе прислать сам полицмейстер. Позвал и художника. Увидав, рассмеялся и сказал:

— Хорошо. Только не достигает цели. Чин мал. А картина хороша. Вот что. Напишите вы, господин художник, меня, только — как есть. И будет суцья правда. Скажу вам, что я всегда так, как пожар захватим вовремя, да потушим, я обязательно с брандмайором, Григорием Сергиным, у «Яра» пляшем, и картину эту я у себя в кордегардии повешу. И правильно вам казна заплатит, что надо.

Осип Григорьевич был как-то недоволен вообще, что сюжеты трудно даются. Особенно когда знакомая его, живущая на углу переулка, Марья Федоровна, говорила, что картины хороши, но глядеть страшно, а приятель его, приходский дьякон, обижался:

— Да, Осип Григорьевич, все-то ты картины пишешь. И все с подковырой. Вот и меня изобразил толстейшим. А что же, нешто толстый человек уж и так плох? А худой — хорош? Это ведь неизвестно. Это в тебе пустое. С подковырой. И неправдоподобно вовсе. Где это видано, чтоб вино прямо так пить. А водку без закуски — и того чудней. Все это в тебе в нутро лезет. От греха осуждение. Всю жисть ты в подковыре видишь и хулишь. И меня, и квартального расчехвостил, просто зря, на утеху зубоскалам. Во-о, сейчас, слышь, разносчик кричит на улице: «Калачи горячие хороши», а я что. Вот бы позвал, купил бы и съел бы калач. А вот скажу правду — тебя стесняюсь. Боюсь. Скажешь про меня — дьякон обжора, сластоежка, как тут быть, на тебя и потрафить нельзя. И каждый у тебя беспременно виноват будет. При тебе вот выпьешь стакан вина, значит — алкоголик выйдешь. А сам ты, Осип Григорьевич, и коньяк дуешь, и портвейн, — тебе можно, потому что ты правильный, а прочие перед тобою виноваты. И я, и квартальный. Во-о, что в человеке заведено. Подковыра эта в тебе сидит глубоко...

Задумался Осип Григорьевич: «А может, оно и правильно; во мне есть эта самая подковыра».

И не мог он заснуть в эту ночь. Встал и сел у окошка. Была темная осенняя ночь. На улице горел фонарь. А у забора, прислонясь, стоял ночной сторож.

— Сторож, — позвал Осип Григорьевич.

Тот подошел к окошку.

— Хочешь покурить?

— Чего ж. Можно от скуки и покурить, — согласился сторож.

Осип Григорьевич бросил ему папироску.

— А что, поди, спать-то охота. Сторожить-то надоест?

— Да ведь как сказать. Оно, бывает, скука возьмет. Вот зима придет, стужа. Да и интересу мало, служба такая. Ежели бы поболее жулья. Ну, а то мало стало. Не антересно.

— Какой же интерес в жулье?

— Э-э, — говорит сторож, — а как же, все веселее. Лови его, — тоже надо хитрость иметь. А то пьяные тоже бывают. Антересно. Тащат в участок. Драка какая, все веселей. А то ходи ночью без дела — скука и берет.

— А бывают случаи повеселей когда?

— Да вот, на днях, — засмеялся сторож. — Только, конечно, не сказывайте. Вона, в доме, что с переулка, — показал сторож. — Вона, второй, купца Ершова. Так что вышло. Со второго этажа из окошка, прямо по веревке, гляжу, ночью мужчина эдакой спускается в палисадник. Я-то шажком-шажком к нему. Как он на зель-то спустился, а я ему — «Стой, любезный». Гляжу, а это — свой. Начальник мне. Ну, наш. Ну, конечно, понять можно. Не по лихому делу, а по женской части, значит, конечно. Он мне и говорит: «Гаврила, пуце всего — молчи. Не узнал бы вот в этом доме, что живет, — показал он на ваш дом. — Там такой подковыра живет, такой человек, беда. Он, — говорит, — как узнает, то беспрременно картину такую спишет. Не уйдешь от его, нипочем. Всю жисть сгубит». Красенькую мне дал. Спасибо. Я вот сапоги себе купил. Может, подковыру-то вы знаете, так не сказывайте.

— Знаю, не скажу ему, — согласился Осип Григорьевич. — А то верно, что спишет.

Дал сторожу еще папиросу и задумался.

— А кто же это во втором этаже-то живет? Не Марья ли Федоровна?

Задумался Осип Григорьевич. Достал коньяк, налил стакан и опять позвал сторожа в окно. Угощал его коньяком и старался узнать, кто она. Оказалась, точно, Марья Федоровна.

И всю ночь до утра сидел у окна Осип Григорьевич. Выпил и коньяк, и все, что было у него. А утром пришел его приятель, отец дьякон, и удивился, что Волков без закуски с утра водку пьет. Спросил с тревогой приятеля:

— Чего это с тобою, Осип Григорьевич, приключилося?

— Прости, отец. Сегодня я уезжаю, — сказал Осип Григорьевич. — В иноки поступаю.

И не писал Осип Григорьевич больше картин с сюжетами. И так прошло много времени. И забыли все про художника Волкова.

Мурман

Тяжелы и мрачны волны океана. С грохотом бьют об огромные скалы берега и в красных переливаются, как кровь, сполохах Северного сияния. Жутко и мрачно кругом.

Я завешиваю окно моей комнаты в доме купца Мерзлютина, в Териберской гавани, на небольшой фактории. Невозможны эти красные сполохи. В комнате как будто все покрыто кровью. Хлеб, тарелка, чай в стакане — неприятно есть и пить. Закрыв окно. Какая-то полоса легла, острая, и горит, как плавленая сталь. Еще закрываю. В доме тихо. А назавтра и днем будет сплошная темная ночь и, может быть, опять эти красные сполохи.

Я не знал, что есть такое Северное сияние, жаль, что не уехал раньше. Теперь мне понятно, отчего уехали давно все поморы. Никого не осталось, все становище пусто. И Мерзлютин уехал. А помню, говорил он, что жутко зимой-то, когда сполохи пойдут. Но они до сих пор были такие прекрасные, голубые. Я так любил смотреть, когда горело все небо и качались эти сияния, разбегаясь и переливаясь бесконечно. И вдруг вот это... Я взглянул на мою руку, а она точно покрыта кровью, такая неприятная рука, страшная.

Я встал и загородил снизу окно подрамником холстом, на котором писал.

Океан шумит. Никого нет. Хоть бы урядник Василий Иванович пришел. И слышу, как сзади фактории, там, в стороне становища, кто-то воет или поет. Так странно. Я встал, открыл дверь — воет. А снаружи, где идет лестница, земля то ярче, то бледней горит в красном расплавленном свете. А небо за скалами темное, бурое, угрюмое...

Когда придет в последний рейс «Ломоносов», сейчас же уеду. Снизу у лестницы показалась фигура, как будто налитая кровью, прозрачная и странная. Слышу:

— Константин Алексеевич... К вам иду. Насилу Сувой переехал, море бьет. Хорошо, что сполохи помогают, а то не попадешь. Вчера тьма была, а ноне хорошо. Иду... Язычков вам несуде мужики, копченой. Только что изготовили.

— Василий Иванович, — говорю я, — идите, я рад.

— Ишь, — говорит, — завесились. Да и верно. Вам без привычки-то. Поди, не нравится тут. А я ведь семь лет, и то мне эти красные сполохи... ух, не по сердцу.

— Василий Иванович, — говорю я, — что это там, у амбаров, в становище воет?

— Эх, — отвечает урядник, — это вот завсегда фильмана воют, карелы тоже. Как красные сполохи, они завсегда за свои песни берутся. Чисто волки. И то сказать, всех жителей они в скуку вдаряют. Нельзя не выпить. Я вам пуншу бутылку принес шведского. Хорош. Много лучше рома. Ром-то чижел больно, а пунш веселит. Рупь с четвертью бутылка. Поглядите-то, языки-то какие олени. Закуска важнецкая. А семга... Невелика, а что надо...

Урядник вынул бутылку, другую — поставил на стол.

— А это-то что же? — спросил я, показывая на другую бутылку.

— А это наша веселуха... Водочка... Да ведь, и правду сказать, и нельзя. Вот это вы загостились, а через три дня уедете, пароход придет. А я вот — на восьмой год оставайся. Так это что. Ссылка. Больше ничего. Вот в Кеми-то городе, житье, в карты дуют — боле ничего. И ссыльные тоже. Чего им. Сколько рубликов получают. У них под Новый год маскарад, кадрили, а я вот здесь мыкайся. Меня тоже оттудова сослали. Если вам сказать, Константин Алексеевич, всю правду, так это что...

Урядник выпил стакан водки, отрезал оленин язык и, откусив кусок, пристально смотрел на меня:

— Ссылным лучше. У них там своих разных курсисток... Бабыя... сколько хошь. Здесь без женщин — при этаких-то сполохах — никак невозможно. Потому душа друг другу крепче здесь свертывается... Подумайте, ведь это что такое. Идешь, сам на себя посмотришь — будто в крови весь. Жена — тоже. Семга — тоже. Вот водки рюмка. Откройте окно — она будто чисто кровь налита. Пить-то как? Ведь это что? Одурь берет! Вот потому-то и воют. Поморы хитрейшие. Мерзлютин-то уехал. Старовер он, с капиталом. Вот дайте ему, что хошь дайте, нипочем не останется. Оттого-то тут никто и не живет.

— Да, Василий Иванович, это верно. Это я в первый раз вижу. Все голубые были, а теперь красные. Отчего это?

— А черт их знает, — говорит урядник, — конечно, какие-нибудь ученые знают, а я не слышал. Сполохи и сполохи...

— А к утру их не будет?

— К утру?.. Да кто их знает. Здесь ведь все одна ночь сейчас. Когда и спать, неизвестно. К утру-то, конечно, кончаются. Но и днем тоска... Все ждешь. Долго ведь. Забудешь, есть ли и солнце... Я ведь сам-то архангельский. Но ведь это что, там ведь чисто рай, нет этой тьмы кромешной. И жизнь другая. Люди смеются. А ведь здесь... Хоть на фильманов посмотреть; ведь это как звери. А лопари чисто черти болотные. Ему ничего и не скажи — сейчас за нож берется. Двадцать два получаю, а ссыльные двадцать шесть. А что же я? Урядник, туда-сюда ступай. Там драка, вот и иди по каменной тундре, того гляди сверзишься. Ну, конечно, и пьешь. А он-то в Кеми на меня и написал: пьет. А сам не пьет, что ли? Тоже пьет. Да здесь все пьют. Нешто можно без этого самого. Слышите, вон воют...

И он подошел к окну, отвернул плед, и в комнату опять ворвался кровавый свет.

— Ишь, — сказал урядник, — китолов в бухту зашел, знать, норвежский. Прячется от волны. Расходился океан-то... Буря...

Я встал и посмотрел в окно. Корабль с парусами, на мачте большая бочка. Это китолов. Он освещался красно от сияния сполохов, то пропадал, темнел, то опять горел рубином. Так таинственно, особенно, и как-то печально, одиноко стоял корабль в темном заливе, отражаясь в воде.

— А вот летом, — говорил за столом урядник. — Кит — дурак, как, значит, прилив был, река высоко поднялась, вот здесь, за Сувоем, он за рыбой в реку-то и заплыл. Вот жрет, мойвы там тьма; он хлебало свое открыл и жрет, фонтан пушает, а отлив и пришел. Он не успел назад в море уплыть. На брюхе и застрял в реке, на камнях, у самого становища, тут. Поморы видят, да к нему. Топорами ему голову пробили да на канат привязали, к сараям, к столбам, где рыбу сушат. Сало хотели с него взять, да не во што. Вот кит здоров был, шестьдесят шагов длиной. Он, значит, помер и стух, дух от него идет, дух тяжкий, дышать невозможно. Все становище убежало, жить нельзя. Птицы его едят, и что их налетело — тучи... А еще акулы кругом кишат, реку нельзя переехать, того гляди, сожрут... Как-то норвежцы прознали. Приехал пароход. Купили за пустяки и увезли его к себе на завод. Только как пароход тащил его по океану, так киты спознали и плыли за ним до самого Вардэ.. Упокойника, значит, провожали. А потом вернулись сюда и тут вот, в заливе, все фонтан пушали. Интересно. Ночью все карбасы повернули. Серчали, значит. Рыба с понятием. Поморы боялись долго выезжать — перевернут, ну, и прощай; акулы сожрут. В океане тоже много этого разбоя есть, что и на земле. На земле, конечно, начальство не дает озорничать, а то бы... Как, значит, сюды, в Кемь, меня послали, на Мурманск, я увидал, что политики сосланные живут себе, ничего не делают, прямо как господа. Жалованье идет им от казны. На меня кричат — то не так, это не так, а им ничто — живут себе, на охоту ходят, гуляют... Я думал-думал, как бы мне на политику перейти, позвал одного из них тихонько, к себе чай пить, ну, и угостил тоже водочкой. Выпили. Говорю ему, что хочу перейти на их положение. Он говорит — можно. Я, говорит, тебе прошение напишу, — а он ловкий, шустрый такой, сам из писарей. Ну и написал. Принес мне и говорит и прошение подает:

— Вот тут, — говорит, — подписывайтесь: унтер-офицер запаса, 26-ти лет, консталис, максималис и еще чего-то...

— Ну, написал, подписал: урядник Василий Иванов Гвоздев.

— Пошли, — говорит, — в Архангельск, губернатору.

Губернатор у нас Энгельгардт. Я, значит, с пароходом и послал. Жду.

Только меня вызывает к себе исправник покойный и говорит:

— Вот, тебя вызывают в Архангельск, в канцелярию губернатора, явиться 18 августа.

Поехал. Пришел в канцелярию, а там такой чиновник худенький за столом сидит, Шварц его зовут. Он смотрит на меня, достал мое прошение, говорит:

— Это вы подали прошение?

— Так точно, — отвечаю, — я подал.

— Что это вы написали?

Я говорю:

— Я писал, писал, что охота мне на положение политика стать, потому — я женат, и дочь родилась, то жалованье...

Он говорит:

— Это?.. вот это вы подписали: «конститалис, максиммалис». Что это такое?

Я и не знал, что ответить. Думаю, вот чего это Курчевский научил.

— Вы, — спрашивают меня, — урядник?

— Так точно, — говорю.

— Унтер-офицер? Так вы в тюрьму попадете.

— Батюшки, — думаю, — что написал? — Ваше благородие, — говорю, — помилуйте, у меня семейство, дочь родилась.

А он взял прошение мое, разорвал и бросил в корзинку под стол. Встал и ушел.

Я назад уехал, в Кемь. Исправник-то меня и послал в Териберку, сюда. А здесь што — только пьяных да драки размай, и самому попадет... Вот жизнь... Вот што, — покачав головой, сказал урядник, — как это ваше художество идет, не знаю, а в нашем деле правды ни черта нет. Вот што хочешь, а живи.

— А что же вам Курчевский сказал потом?

— А ему што, он зубы скалит, смеется, боле ничего.

— Василий! — слышался женский голос за окном.

Урядник встал и отворил окно.

— Иди скорее! — кричала ему жена. — Китолов норвежский тебя зовет, иди-и-и. Он по берегу болтается, пьяный... Иди.

Урядник взял фуражку, сказал:

— Прощайте, завтра приду, — и быстро побежал по лестнице вниз.

О прибрежные скалы с шумом бились волны Ледовитого океана...

Собачья душа

Зима; серое небо, дождь. А там, далеко, в России, лежат снега... И цел ли мой деревянный дом у большого леса, в саду? Сутробами замело до самых окон. Глухая терраса покрыта снегом. Мороз на окнах. Топится ли камин мой? И нет в моей мастерской друзей моих, и не будет — все они умерли. Целы ли красавицы-березы и за частоколом мой малиновый сад? Приходят ли ночью на помойку волки и спит ли задумчивый Феклин бор? Может быть, уж его срубили. И нет тетушки Афросиньи и моих друзей-охотников.

Мрачно лежит моховое болото, развернувшись снежной пустыней в мелколесье.

— Тоби, — говорю я моей собаке, — какого маленького я нашел тебя здесь, когда твоих братьев бросали в реку. Я выпросил тебя, и ты был последний, которого не бросили. А теперь ты чудная собака, и глаза у тебя, как вишни. Тоби, ты сердитая собака. Верно сторожишь меня от других собак, которые живут на нашем дворе: черный Том, овчарка Ле Гро и мопс Петька. Ты, должно быть, думаешь, Тоби, что, если бы не ты, они меня съели бы?

Мой Тоби уверен, что я потому жив и цел, что существует он и его великое сердце, которое так любит меня.

— Тоби, я так люблю вас, собак, что иногда думаю, что не собака ли я. Я, конечно, не собака, но свойства души моей — собачьи. Я тоже, как и ты, всегда любил и люблю людей. И сейчас, на старости лет, и вот пишу эти разные строки и строчки потому, что не хочется мне быть одному без людей и хочется им сказать, как проста и прекрасна жизнь. Как очаровательны люди в их быте. И этот быт, который я описываю в дивной стране моей, России, был прекрасен. И вы, которых уж нет, как были просты и искренны, забавны и хитры.

Но почему так всегда чаровала меня жизнь разная, печальная и счастливая? Почему я так восторгался этим раем земли, называемым жизнью? Как мог, я восхвалял ее — в своих картинах, в своих писаниях. Что-то похоже в душе моей на собаку.

Жаль, Тоби, что ты не был там со мною, в России. Это же замечательно. Такие травы, цветы на лугу к реке. Какая вода прозрачная!.. Лес... Пение птиц, стрекот кузнечиков... Частокол у сада, гнилой сарай и бесконечная даль. Бесконечная... Как бы ты бегал там, сколько интересных вещей: кроты, полевые мыши, зайцы, ежи — да чего только нет!

А здесь, Тоби, мне все некогда. Я надеваю на тебя ошейник, а когда холодно — жилетку с пуговицами, которую сам сшил из кофты, чтобы ты не простудился. Выйдем с тобой на минутку на прогулку, у каменных стен прекрасного города. Всегда на минуту. Тоби, ты не видал даже сада, тебя и пускать нельзя. Как тебяпустишь — ты бежишь за всеми собаками. Мчатся автомобили, не слушаешься, бегаешь как оголтелый. Я тревожусь, опять приведу в свою комнату, где из окна виден каменный дом. Все тот же, уже девять лет. Я даже хотел отдать тебя, Тоби, инженеру молодому, которого ты любишь, который приходит ко мне учиться живописи. Но ему ты не нужен, у него есть свои дела и много огорчений.

Но странно, Тоби любит всех, которые ко мне приходят. У него какие-то таинственные выборы. Он обожает доктора. Встречает, слышит, когда он идет по лестнице, прыгает, визжит, ложится на землю и от радости Бог знает что делает. Прыгнет, чтоб немножко лизнуть в лицо доктора. Не удастся. Потом достает туфлю и приносит, и треплет ее беспощадно, как какую-то зверюку, показывает, что вот он умеет делать.

Когда я был болен и доктор приходил ко мне, брал трубочку и слушал грудь, наклонив голову, Тобик утихал и сидел смирно, пристально смотрел, поворачивая свою красивую мордочку то в одну, то в другую сторону. Когда доктор, сидя передо мной, говорил со мной, Тобик прыгал ко мне на постель, садился там, пристально смотрел, слушал.

Еще двух человек, кроме доктора, обожал Тобик — одного морского инженера и сына Шаляпина, Федю. Странно, что Тобик слышит, когда они идут еще по большо-

му двору огромного дома. Он уже бежит к двери и ложится около, когда они еще не поднимались по лифту.

Я всегда удивлялся этим чудесным свойствам собак. Особенно чутьем к человеку отличаются фокстерьеры.

* * *

Помню, давно, до войны еще, у моего знакомого, князя Щ., был фокс.

Князь уехал с женой в Дрезден, а фокса оставил в Москве. Князь остановился в Дрездене на горе за Эльбой, у своего знакомого. Однажды он поехал со своими знакомыми в город, в Оперный театр. Кончилась опера, и князь, выходя из театра, увидел, что идет сильный дождь. Швейцар с зонтиком проводил его к экипажу. Князь увидел у своих ног собаку. Это был его фокс. Он пришел из Москвы в Дрезден. И нашел князя у театра, ночью. Фокс был худ, жалок, болен.

Я как-то не совсем верил этому рассказу.

Но вот уже здесь, в Париже, один из обитателей огромного дома около Порт Сен-Клу подарил фокса своему приятелю, жившему в Бордо. Тот увез его к себе, а осенью владелец фокса, возвращаясь домой к себе, «к порту», увидел на лестнице вернувшегося фокса. На шее у него висела оборванная веревка. Он был печален, худ и жалок. Он пришел домой, где родился. К хозяину.

* * *

Между хозяином и собакой договоры — какие-то высшие, без слов; договоры чувства и любви. Высшие договоры.

Собаки, хотя и разных пород, все же собаки. Я заметил, что собаки не любят пришедших людей, плохо одетых. Помню, что собаки не любили трубочистов, там, у нас, в России. Как и дети. Трубочиста боялись, не верили. В России не презирали бедности. И собаки тоже не различали бедных и богатых.

Собаки любят, когда собираются люди вместе и друзьями, когда они смеются. Они любят дружбу людей. И часто собаки уходят, когда в доме плохо, когда ложь и обман живут в доме. Они делаются грустными, потерянными, и шерсть на них лохматится. Они болеют.

Собаки обладают свойством глубоких проникновений и предчувствий грядущего. Они понимают с поразительной тонкостью настроение и тревогу человека.

Было тяжело видеть собак, как они печальны и в отчаянии, во время революции в России. Они были потерянными существами, покинули дома, бегали по улицам и не шли к человеку.

Я заметил, что с человеком любят жить и птицы. У меня в саду жили иволги, поблизости дома иволга вила гнездо. Также и горлинки, ласточки вили гнезда на моей террасе и не пугались, когда я смотрел их птенцов. Они знали, что я люблю их, они только боялись детей.

В России были собаки-дворняжки. Это были замечательные псы, веселые, богато покрытые шерстью, и хвост всегда лихо завернут крючком, как крендель. Они звонко и весело лаяли. Не были злы, но пугали, неожиданно бросаясь к ногам. Они считали долгом облаять каждого прохожего и проезжего. Они легко переносили суровую зиму и голодали подолгу. Спали они, где придется, свернувшись колечком. В холод и голод они несли службу человеку, исполняли свой долг.

Крестьяне обращались у нас с собаками плохо. Конечно, не все. <Собаки> переносили побои и прощали их. Сука бережно прятала место, где она родила щенят. Трудно было найти их. Потом, когда они подрастали, она приводила их всех. Она боялась людей и детей.

Я заметил, что собаки бесились от дурного с ними обращения. Бешеная собака страшна и чудовищна. Она как бы мстит за горе и несправедливость дурного с ней обращения. Глаза бешеной собаки — ужас, кошмар. Я видел однажды одного кучера, больного водобоязнью, бешеного. Он кусался и лаял. Одна молодая девушка хотела на прощанье поблагодарить доктора, у которого была, и вдруг впиалась в его руку зубами. Это был припадок бешенства. Она была укушена крысой.

В жизни есть какие-то возмездия за злые чувства и несправедливость. Есть законы возмездия. Они тайны. И мне кажется, что это мало разгадано людьми, и мне даже кажется, что злоба могла бы совсем исчезнуть с земли, если бы дьявол непонимания был разгадан.

Основа жизни — любовь, и собаки как-то понимают это. Такт собаки, ее ум и любовь к человеку поразительны и говорят о величии и цене жизни...

Хотел я писать о зиме, о природе, о друзьях и как-то раздумался и написал совсем не то, что хотел. Все оттого, что Тобик сидит около меня и смотрит на меня своими дивными глазами. Они говорят — ну что ты все ерунду пишешь. Не то пишешь. Пиши, как хорошо гулять, про лес, про речку, про луг широкий, про сад, про то, что смешно, весело, про жизнь, радость, солнце, дружбу. Не надо писать, что плохо; никогда, не надо. Пиши, что хорошо. Пиши про счастье. Не пиши про горе и глупость. Не надо.

— Но как же, — говорю я, — Тоби, согласишься, мы же от глупости страдаем.

— Нет, не от глупости, а от непонимания, — ответил глазами Тоби.

Потом соскочил с постели на пол и прыгнул к окну. Посмотрел в окно и заворчал: «Бух, бух, бух». По улице шла собака Легро, большая собака, его враг. Тоби поднял голову, залаял. Подбежал ко мне в волнении, опять к окну и ко мне. Тоби звал меня идти. Ему необходимо подрасть с собакой Легро.

Тоби не боится никакой собаки.

А когда он был со мной в балагане, где я смотрел слонов, он удивленно ворчал, рассердившись: ему хотелось подрасть и со слоном.

Когда бывает со мной, он никого и ничего не боится.

Телеграммы

Приятельи мои решили на Рождество ехать ко мне в деревню, в мой деревенский дом. Там хорошо, лес, зима, от Москвы далеко, пустыня зимняя, неизвестность. В Москве надоело. Театры, рестораны, кружок — приелось.

Приятельи мои были охотники, хотя, в сущности, охотником был только Павел Александрович Сучков. Архитектор Василий Сергеевич больше был рыбовод. Юрий

Сергеевич Сахновский — композитор, музыкант, не был охотником, но любил ездить ко мне. Николай Васильевич Курочкин все собирался сделаться охотником, но так ничего и не вышло. Решили пригласить еще знакомого, настоящего охотника, Караулова. Он даже медведя застрелил, охотник настоящий. У него и лицо такое, охотничье, брови большие, как из пакли, усы тоже, глаза карие, лицо загорелое, даже зимой.

— Теперь зимой рысей много, — говорю я.

— А почему рысей? — спрашивают.

— Потому, я ходил по лесу, хвосты нашел. Рысиные хвосты. Они к зиме бросают хвосты, теряют. Я рысиных хвостов набрал, стекло от лампы чистить хорошо. Рысь зимой без хвоста бегаёт.

— Вздор говоришь, всегда вздор, — сказал бодро Павел Сучков.

Коля прибавил серьезно:

— У него там волков до черта.

А Василий Сергеевич надеялся ловить в прорубках налимов, ночью. Коля Курочкин был рад ехать.

— До чего я замучился, — говорил. — Одна меня так заела, не знаю, как отделаться.

— Какая? — спрашиваю.

— Да ну ее к черту, не стоит говорить. Знаешь, бабы сначала кажутся прямо как ангел, а потом такая, понимаешь, ерунда выходит, понять ничего невозможно.

— Ты ее захвати с собой, она развлечется, — советовали мы ему.

— Что вы, невозможно. Она поет.

— Вот и хорошо, что поет.

— Но у ней никакого слуха, понимаешь. Ужас.

— Так как же ты, музыкант, это допустил?

— Так я же не знал, что она поет. Как все в жизни сложно. Надоели эти истории. Я поеду с удовольствием в деревню.

* * *

На отъезд сбор назначен на Ярославском вокзале.

Поезд отходит в 9 вечера. Я увидел у буфета странного человека. Не узнал сразу. Караулов. На плечах у него был огромный сверток бечевки. С красными кусками кумача. Он пил чай. Пассажиры, проходя, останавливались, поглядывали на него. Бечевка с красными лоскутами — это для загона, обкладывать зверей.

Приехал Коля. В пальто. Котелок и резиновые калоши.

— Что же это ты, так, ведь там сугробы. И котелок. Ведь холодно. Мороз. Замерзнешь.

— Ерунда, — ответил Коля.

Приехали Сучков и Василий Сергеевич. Вот это охотники. Сразу видно. Валенки до пояса, шапки с ушами, белые полушубки с меховыми отворотами. Одеты, как Садко в опере. Носильщики несут багаж. Клетку для попугая, какой-то большой фонарь, ловушки для мышей.

— Павел, зачем клетки?

— Оставь, — сказал Павел Александрович быстро и пошел мимо.

Первый звонок. Вышли на перрон. Носильщики несут наш багаж в вагон. Только хотели войти в вагон, высокая дама с черными глазами и с сердитым лицом берет Колю за рукав, отводит в сторону и что-то часто говорит ему.

Уж второй звонок. Я посмотрел в окно вагона. Дама все говорит что-то Коле, так сердито. Смотрю: она старше его. Вдвое.

Третий звонок. Коля отскочил от дамы и прыгнул на ступеньки в другой вагон третьего класса.

Поезд тронулся. Мы сидим в вагоне. Коли нет.

— Должно быть, остался, — говорит Василий Сергеевич.

Проехали Мытищи, Пушкино. Вдруг — Коля.

— Где был?

— Я, брат, ушел в самый конец поезда.

— Это твоя певица?

— Она, брат. Как бы, черт, не приехала, брат. Вот озлилась.

— Обязательно приедет. Вы адрес дали? Завтра же приедет.

— Вот беда! — сказал Коля. — Черт-те што.

Подъезжаем к станции Сергия Троица. Остановка десять минут. Пассажиры выходят. Пьют чай. Буфет. Коля ушел к телеграфу.

Сели. Опять едем.

— Брось, — говорит Юрий Сергеевич Коле. — Что молчишь? Приедет, ну и пускай.

— Теперь не приедет, — мрачно сказал Коля. — Я, брат, телеграмму дал. Срочную. Написал, брат, попал под поезд.

— Как!

Мы все удивились.

— Так.

— Да что ты, с ума сошел?

— Я, брат, знаю, меня нечего учить. Подписал телеграмму «министр Хилков».

— Хилков! Ха-ха-ха. Министр путей сообщения!

— Телеграфист посоветовал. Крепче, говорит, будет. Теперь ни за что не приедет.

Поезд остановился у Рязанцево.

— Вылезайте, скорее, — говорю я. — Приехали.

Зима. Мороз. На небольшой станции у входа горят фонари. Снег. Иней на деревьях. К нам подходят возчики, Феоктист, Павел, берут багаж, говорят: «С приездом вас».

На станции пассажиров нет. Багаж кладут в розвальни. Виден темный лес, стеной. Над ним чуть просвет зимнего утра. Холодно. Едем большим лесом. Скрипят полозья по мерзлому снегу. Мороз щиплет лицо.

— А что, рыси есть здесь? — спросил Павел Александрович возчика.

— Рыси есть, — ответил Павел.

— Видал?

— Как же, видал. Не тут, а в Остееве. Злые, здоровые.

— Что ж, — интересуется Василий Сергеевич. — Какие же они?

— Эх, вот что кошки, громадные, хвоста нету только. И злющие, на голову с дерева бросаются.

- И что же?
- Ничего. Ежели пьяный, голову отъест. Боле ничего.
- Хороши штучки, — сказал Василий Сергеевич. — А трезвого не трогают?
- Где ж тверезого. Нешто можно, боятся. Ежели их много, то, вестимо, сожрут.
- Приятно, — сказал приятель Вася.
- Раненая бросается, — сказал Караулов. — Я читал в охотничьем журнале.
- У нас ружья в чехлах, — заметил Кузнецов.
- Что ж, зарядим, — сказал Павел. — Тут, под Остеевом, и волки бегают.

* * *

Светает. Заворачиваем мимо леса. Все кругом покрыто инеем. Вот виден и сад. Большие березы, и промелькнул огонек в окне моего дома. Заезжаем в ворота, сарай, колодец. Встречает с фонарем сторож, старик.

Входим в кухню. Тепло, радостно. Собака. Баран. Заяц. Все рады нам.

Ах, хорошо было в моем деревенском доме.

Большая комната, мастерская, длинный стол, на нем лампа, самовар, трещит камин. Окна синие, в узорах мороза.

Пьем чай. На больших тахтах у стен комнаты друзья располагаются спать.

Коля говорит:

— У меня на ноге палец онемел.

— Три его скорей.

— Черт-те что, — говорит Коля. — Зачем это в природе сделан холод такой? Ух, у меня и голова озябла. Как ледышка.

— То-то разговорился. Вправляй ее, скорей, в камин.

Выпив перцовки и закусив, приятели расположились на тахтах. Дедушка-сторож убрал со стола. Ручной заяц сидел и грыз сухарь.

— Слышите? — сказал Караулов.

Все замолчали. Вдали, у леса, послышались какие-то звуки. Как бы протяжный вой.

— Это волки, — насторожившись, сказал Караулов.

— Э, что вы! — засмеялся дедушка. — А заяц-то, скажет. А он ничего, сухарь грызет. Какие волки. Нет.

— А что же это?

— А кто ее знает, бывает. Это не поймешь. Лес кругом...

* * *

Я уже засыпал. И что-то было в душе отрадное, где-то все там, далеко осталось — Петербург, Москва, а здесь так хорошо. Этот дом, камин, мои приятели, собака, заяц, что-то дорогое, свое, милое. И далеко-далеко доносится звук колокола, родного, пролетающего... А в окно видно, близко, ветви орешника, покрытые инеем. И в темном небе мерцают остро звезды.

Проснулся утром. Приятели встают. На столе самовар. Пришла тетенька Афросинья. «С праздником вас», — говорит.

— Вот, грибков каких, Юр Сергеич, я заготовила. Ну, гриб к грибу. Закуска прямо — ну!

На столе горячие оладьи. Ветчина.

Ко мне входит приятель Коля, озабоченный.

— Что ты грустный? — говорю я ему.

— Знаешь, что. Я, брат, боюсь, как бы она все-таки не приехала. Я хочу в деревню к Павлу уйти, а то она нагрянет. Вы скажите, что меня здесь нет. Пропал, и все тут.

— Ты же телеграмму дал.

Пришел сторож со станции, подал за чаем срочную телеграмму. Читаем: «Если он жив, пусть знает. Люблю, люблю. *Анфиса*».

Коля стоял, вытянув лицо, и мигал.

— Ага! — сказал Сучков. — Любит. Понял: любит! Она теперь, брат, тебя не выпустит. Пропал.

Коля глядел испуганно. Он бросился к столу и начал писать.

— Надо послать. Сейчас. Где Феоктист? Вот телеграмма.

«Он умер. *Хилков*».

И Коля отдал записку и деньги на телеграмму:

— Скорей, поезжай, посылай.

— Ты что же это делаешь? — говорят приятели и хохочут. — Теперь она приедет обязательно. Пойми. Хоронить приедет.

— Вот что, — советовал Караулов. — Надо еще дать депешу. «Тело отправили в Москву. *Хилков*».

— Верно, — согласился Коля.

— И ничего не верно. Ерунда, — говорит Василий Сергеевич. — Нужно дать телеграмму: «Отвечайте немедленно: кто покойник. *Министр Хилков*».

— Правильно. Надо же его из мертвецов вывезти, — горячился Павел Сучков. — А чего ты молчишь?

И я тоже внес свою долю в общее веселое творчество: «Пьем с горя. Покойник поправляется. Отвечайте».

Все телеграммы отправили.

На стол ставят жареного гуся. Грузди. Волвянки. Опенки. Графины. В них березовая и польнная.

Юрий Сергеевич в рубашке, шитый ворот цветочками. Поддевка суконная, сборки сзади. Караулов в меховой куртке, Сучков в охотничьем казакине, обшитом зеленым кантом. Коля в сюртуке. Василий Сергеевич в белом камзоле, перевязанном черкесским поясом с ножом, которым он режет ветчину.

Юрий Сергеевич, выпив рюмку, сказал:

— Хорошо, холодная.

— Пойду, — говорит Караулов. — Посмотрю порошу. Следов поищу. Льжки взять. Пойдете со мной, Павел Александрович?

— Обязательно, — отвечает Сучков. — Скажи, — обращается он ко мне. — Где это ты здесь собирал хвосты, рысиные?

— Кто-то едет, — сказала тут тетушка Афросинья, глядя в окно.

В ворота въехала повозка. В ней сидела женщина. Коля побледнел. Мы вышли из-за стола и бросились к окну, смотреть.

— Это не она, — сказал Коля радостно.

— Барышня приехала, спрашивает вас, Кистинтин Ликсеич.

Я и Павел Александрович пошли на кухню.

Там стояла приезжая незнакомка, невысокого роста, со вздернутым носиком, блондинка.

— Вот приехала, — сказала она. — Меня послала Анфиса Карловна узнать, что случилось с Николаем Васильевичем на поезде. Они очень беспокоятся.

— Пожалуйста, — говорим мы.

Она разделась в коридоре.

— Озябли, вероятно?

— Нет, ничего, — ответила блондинка. — Я в шубе.

Павел Александрович говорит:

— Николая Васильевича тут нет. В Москву увезли. Такой болван, знаете, пролезал по вагонам, искал нас, ничего не видит, ну и попал в буфера. Его раздавило.

— Почему же болван? — обиженно сказал Коля, стоящий в дверях.

— Барыня просили, — говорит блондинка. — Ежели помер, дак фотографию чтоб прислали, потому она собирает. У них много патретов таких. Письмо тоже ей не оставил ли? Они другого теперь взяли в лепетиторы, чтобы пенью учили. Куда Николаю-то Васильевичу! Он, говорят, жигулястый был. Царство Небесное.

— А вы-то его не знаете?

— Нет, не видала.

— Только потому и говорите, — вновь обиделся Коля.

Светило солнце. Голубые тени в лесах весело лежали от деревьев, на ярком снегу. Россия... Какой вздор! А было весело...

Свое

Недалеко за рекой, на мшистом бугорке, у Феклина бора, росли зеленые елочки, веселые, маленькие, так густо росли друг к другу. Это был миниатюрный лес, как игрушечный. А под этими елочками лежал яркий, пушистый мох.

И мне захотелось выкопать большой кусок земли с этим леском и посадить его в большой ящик вместе со мхом и мелкой травкой. Думал, что зимой буду смотреть у себя в комнате на этот кусок красоты. Зимой снега, и нет этой радости лета, которая щедро украшает землю. Я уже заказал ящик из цинка, рассчитывая на глубину земли в полтора аршина, чтобы корням мелких елочек было свободно расти. Думал, буду поливать зимой и увезу в Москву непременно. Возьму песку и внизу сделаю проточную воду, как и здесь, где они растут; сделаю речку.

Но моей затее помешал театр, работа, а там ударили холода.

Будучи в деревне у себя зимой, я вспомнил лето и эти маленькие елочки и пошел на лыжах по снегу посмотреть то место у Феклина бора, тот бугорок. Мороз, огромные сугробы снега. Спустился к реке, прошел замерзшую реку. Мрачно задумавшись, стоит Феклин бор. Огромные ветви елей опустились к сугробам. Весь бугорок с веселыми елочками покрыт снегом; их и не видно.

Думаю: «Как же эти елочки, как там, под снегом, живут? Холодно, озябли?» Вернулся домой. Взял заступ и ящик и поехал копать снег, вырыть елочки и посадить их в ящик — пусть они живут у меня дома, в тепле. Думаю: «Буду поливать их, они будут рады. Это выйдет — вроде лета. И дождик сделаю: буду брызгать сверху».

Откопал снег глубоко. Вижу — елочки маленькие и такие зеленые, хорошенькие. Глубоко окопал землю. Два приятеля помогали мне работать. Этот большой кусок земли с маленьким лесом, мохом привез домой в ящике. Дома земля растаяла.

Думаю: «Вероятно, елочки чувствуют тепло, думают — лето. Елочки, наверно, рады». Солнышко глядело в окошко, и маленький лес весело освещался. Потом я из пульверизатора так сверху брызгал на них водой, как будто дождь. Вижу, на третий день мох что-то пожелтел, а травка позеленела немножко. Надо было уезжать по делу, и я наказал — как поливать елочки. Но когда вернулся, через неделю, то вижу — лес мой не такой веселый и мох совсем пожелтел. «Что значит, — думаю, — неужели лучше им жить в снегу, в холоде?»

Пришедший ко мне приятель, крестьянин-охотник Герасим Дементьевич, смотрит на лес мой и смеется.

— Эх, Лисеич, — говорит, — чего ты это... Елочки-то махонькие, а ведь они живые. Што люди. У них и сердце есть, и глаза, они ведь видят все. Где же им, они видят, у тебя жить хоша и тепло, да неволя. Ведь она махонькая, а понимает. Горе у ней, думает: как я здесь вырасту эдакая-то, как Феклин бор, как братья мои? Знает — не вырасти ей... Сызмальства горе берет. Ведь это не герань. Посади-ка березину в банку, нипочем расти не будет, да и снегу нет. Ей обязательно снег дай. Вот што. Пустое затеял...

«Верно говорит Герасим», — думаю. И взял я елочки из ящика, опять раскопал снег и опустил их на прежнее место.

А летом пошел и увидел свои елочки, они уж выросли, веселые и зеленые. И, как брошь золотая, под елочкой блестит ящерица.

* * *

Василий Харитонович Белов, маляр в моей декоративной мастерской при Императорских театрах, человек был особенный, серьезный. Лицо в веснушках. Смолоду был у меня, служил в солдатах и опять вернулся ко мне. Василий Белов был колорист — составлял тона красок, и я ценил в нем эту способность.

В Крыму у меня был дом в Гурзуфе, хороший дом, большой, на самом берегу моря. И много друзей приезжало ко мне. И вот на отпуск поехал со мной Василий Белов. Очень ему хотелось увидеть, где это море и что за море такое есть. Хороший дом был у меня в Гурзуфе: сад, кипарисы, персики, груши, виноградные лозы обвивали дом и самое синее море около. Шумит. Краса кругом. «Брега веселые Салгира...» Приехали. Но Василий Белов ходит, смотрит, что-то невеселый.

— Ну, что, — говорю, — Василий Харитоныч, море — как тебе, нравится?

— Ничего... — отвечает Василий, — только чего в ем...

— То есть как это? — удивился я. — Не нравится тебе?

— Так ведь што, — отвечает он задумчиво, — а какой толк в ём, нешто это вода?

— А что же? — удивился я.

— Э-эх... — вздохнул Василий, — ну и вода. Соль одна, чего в ей. Вот у нас на Нерли — вода. На покосе устанешь, жарко летом, прямо пойдешь к речке, ляжешь на брюхо на травку и пьешь. Ну, вот это вода... Малина! А это чего, тошнота одна...

— Василий, — говорю, — посмотри, какая красота кругом... Горы, зелень...

— Чего — горы! — говорит Василий. — За папиросами в лавочку идешь, то вниз, то кверху. Чего это? Колдобина на колдобине... Нешто это земля? Камни

накорезены туды-сюды. А у нас-то, эх... р-о-овно, вольно. А тут чисто в яме живут. Море... Чего в ем есть? Рыба — на рыбину не похожа, камбала, морда у ней на одну сторону сворочена, хвоста нет, чешуи нет. Сад хорош, а антоновки нету, лесу нету, грибов нету...

— Да что ты, Василий, здесь же персики и виноград растут. Ведь это лучше...

— Кружовнику нет... — сказал задумчиво Василий.

— Как нет? Виноград же лучше крыжовника!

— Ну, што вы. Н-е-ет, у нас кружовник, который красный, который желтый...

Кружовник лучше...

— Да ты что, Василий Харитоныч, нарочно, что ли, говоришь?

— Чего нарошно, верно говорю. Татарам здесь жить — ничего еще, чего у них утром — выйдет и кричит «Ла-ла-ла-ла...» А у нас, у Спаса Вепрева, выйдет дьякон отец Василий, да «многие лета» ахнет, — ну голос! Паникадило гаснет! А это што — море... а пить нельзя. Купаться тоже пошел, как меня в морду хлестнет, волна, значит, прямо захлебнулся и колени ушиб. У нас-то в реке песок, на берегу травка, а тут везде камень — боле ничего.

Я смотрел на Василия, он удивлял меня.

— Тебе, значит, — говорю, — здесь не нравится?

— А чего здесь хорошего? Тут горы, а тут море. А земли нет. А у нас идешь-идешь, едешь-едешь, конца-краю нет... Вот это я понимаю. А то што: поезжай по дороге — все одно и то же, и дорога одна, боле и нет.

— Ну, а что же все-таки тебе здесь нравится? — озадаченно спросил я у Василия Белова.

— А вам чего тут нравится? — спросил он меня, не ответив. — Чего нравится тут? Калачей нету, это не Москва.

— Вот дыни у меня растут, — говорю я. — Ел ты, хороши ведь дыни!

— Хороши... — сознался нехотя Василий, — только наш весенний огурец, с солью да с черным хлебом, мно-о-ого лучше.

— Ну, а шашлык?

— Хорош, а наша солонина с хреном много лучше...

«Что такое», — думаю я.

— Ну, а черешня? — спрашиваю.

— Э-э-э... куда черешне до нашей вишни владимирской... Погодить надо... Шпанская...

Я растерялся и не знал, что сказать.

— Ежели б горы сровнять, — продолжал Василий, — тогда туды-сюды. А то што это? Да и зимы здесь нет, снегу нету, на санках не поедешь, вино кислое. А у нас кагор, наливки...

— Постой, постой! — говорю я. — Здесь мускат...

— Мускат... Это ежели патоку пить, она еще слаще... Это не вино. Мне вчера Асан, вот что к вам приходил, татарин, дак он мне говорил: мы, говорит, вина не пьем, закон не велит. Им Мугомет, пророк, только водку пить велел, а ветчину, свинину, нипочем есть нельзя. Татары народ хороший, как мы. Только ежели сказать ему: «Свиное ухо съел», ну и шабаш... Тогда тебе больше здесь не жить, обязательно убьют или в море утопят, секим-башку, значит...

— Это кто же тебе сказал?

— Асан. И из-за этого самого раньше сколько воевали, стра-асть. С русскими воевали. Русские, конечно, озорные есть... придут вот на край горы из Расеи и кричат вниз, сюды, к им: «Свиное ухо съел...» Ну, и война...

— Это тоже Асан тебе рассказал?

— Да. Он говорил. Он в Москву ездил, дык, говорит, што у нас там девки хороши, у них нет таких-то... Это верно. Што тут: какие-то желтые, худые. Идет с кувшином от колодца, воды наберет пустяки... А у нас, наша-то, коромысло несет, два ведра на ем, а сама чисто вот маков цвет. А зимой наши девки все, от снегу, што ли, чисто сметана — белые... и румянец, как заря, играет... Покажи вот палец — смеются, веселые. А здесь брови красют, ногти, глядеть страшно. Наши на всех глаза пляют, а здесь попробуй — глядеть нельзя, а то секим башку. Строго очень... Тут и травы нет ничего... Овец-то за горы гоняют, к нам. А то чего здесь? Сел я третева дня у дорожки, на травку, вот напоролся — она чисто гвозди железные, хоть плачь. Наши-то здесь говорят: мы, говорят, на Илу ездим, вино там пить, трактир есть. Чай, щи, хлеб черныи, ну и место ровное, хорошо. Видать дале-е-е-еко... Да и куда видать, и чего там и невесть. Далее-еко!.. Какая тут жисть, нет уж, поедемте домой, — сказал мрачно Василий Харитоныч, — тут и дождика-то нет...

Что скажешь на это?

Новый год

Завтра первое января. Новый год. Ясная, зимняя ночь. Глубокое небо усыпано звездами. Сбоку, у темного бора, месяц. Мороз, холодно. Тишина. Снегом замело и дорогу, и тропу к крыльцу дома моего. Ветви елей у террасы покрыты тяжело снегом. Повисли до земли. Месяц льет свет на ясные снега. И кладет сад большие тени до самого дома моего. Огонь из окон освещает орешник, покрытый белым инеем.

Идем с реки, я и со мной Василий Княжев. Поймали в прорубках на реке налимов. Руки онемели от холода. У крыльца берем снег и трем им руки. Так холодно, что больно даже. Входим в дом. Тепло, собака радуется и прыгает кверху. Щеки и руки горят как в огне.

— Вот какой мороз, а ишь, попались, — говорит сторож-дедушка, беря у нас налимов. — Они замерзлые. Как камни.

Брошенные налимы стучаются об стол.

Тепло в доме. В комнате сторожа-дедушки, в углу, на соломе, лежит баран и около него сидят индюшки и спят. Их берут в тепло, чтобы не замерзли. В мастерской моей, на столе, стоит лампа с красным абажуром. Топится камин, лежит хворост и в нем сидит заяц. И грызет хворост. Заяц всегда что-нибудь ест. Стол накрыт скатертью с узорами, самовар, и в большой крынке мерзлые сливки. Окна темно-сини, в инее. Только еще семь часов вечера, а гости приедут в десять часов. Тетенька Афро-синья готовит окорок, поросенка и пироги.

— И до чего озяб я на реке. Вот до чего, — говорит Василий Княжев, стоя у камина и держа в руке стакан чаю. — Хорошо бы в чай-то прибавить рюмку алкоголя, рому, что ль. Согреться. А то бы не захворать.

— Алкоголик ты, Василий, — говорю я.

— Есть отчасти, — отвечает Василий, смеясь.

Василий смеется как-то хрипя и шипя, будто гири у часов переводят.

— Всегда с охотниками. Да и по рыбе, на реке, в стуже станешь алкоголиком. Охотники-рыболовы, хоша и не стужа, а с ними пей, боле ничего. Помню, когда в Царицыне на верхнем пруде Поплавский осетра поймал. Да ведь тридцать один фунт. А осетр с серьгой царской, серьга в жабру вдета была. И год поставлен. Значит, императрица Екатерина Великая пуцала. Так вот пили, вот пили. Все общество рыболовства, собравшись, было. Осетра отварного готовили. Ну, и пили. Председатель Бахрушин, да ведь и подумать надо, осетра поймал, просто, вот на простого червячка. Стоял на мостике около дачи, где общество находится, и ершей ловил. И вот, осетр клюнул. Дак ему сам Бахрушин за обедом, когда осетра-то подали, значит, ели, дак он взял эту самую царскую серьгу, из жабры вынул, из осетра-то, значит, взял вилку, да ухо Поплавского проткнул, мочку. И серьгу ту ему вдел. Носи, говорит, на здоровье. Ну, музыканты гимн играли. Ну, и хором пели «Стеньку Разина». Но только тут вышло неладно. Потому, что жена у Поплавского, толстая такая, не позволила серьгу ему эдакую в ухе носить. Он, говорит, в опекуновом совете при детях состоит. Не годится, говорит, ему серьга. И верно, серьга велика была. Что вы, говорит, с ним делаете? Домой его хотела везти. А тот — нет, нипочем не едет. Уезжай, товарищ, одна. А жена-то и говорит: «Ишь, чему рады, осетра поймал, так их в Охотном сколько хошь купишь, рады случаю, чтоб выпить подо что...» А муж Поплавский так рассердился... Она, говорит, ничего не понимает, ничего не чувствует. Это, говорит, не жена мне, ей общество наше, Первое московское рыболовство, ничто. А она, в ответ, говорит: «На вас и глядеть-то смешно, как ребята малые, сидите целый день на пруде и на поплавки глаза пялите. Это курам смех. Осетра поймали, царского... Матушка царица-то узнала бы, Екатерина-то, дак она бы вас плетью всех с пруда... Это курам на смех, а не то, что...» Ну, тут все члены общества вот до чего обиделись, даже плакали. А жены, которые были, — все за нее. Вот што было. Вот что через осетра того вышло...

— Ну, и что же потом, Василий?

— Потом, — продолжал Княжев, — я с им ловил щук по весне, на Сенеже. Так он с женой разошелся. И говорит мне: «Ищу, — говорит, — я женщину такую, которая любит рыбу ловить. Чтобы такую найти, которая на лодке со мной бы вместе сидела, понимала эту природу всю и счастье в жизни это охотничье. Не нашел еще только...» Да и где ж найдешь? Эдаких-то и нету, — сказал грустно Василий Княжев.

Отворилась дверь, и в комнату вошла тетенька Афросинья. Она несла пирог, лицо у ней было серьезно и деловито. Пирог поставила на стол. За ней шел ее муж, Феоктист. Тоже очень серьезно. Нес запеченный окорок. За ним охотник Герасим Дементьич нес жареного поросенка. Сказал: «С наступающим», — поставил на стол, молча, важно, и пошли все, повернувшись, из комнаты. Потом вошли опять. Несли грибы на тарелках, кочанную капусту, огурцы, все поставили на стол и серьезно и молча ушли. Опять вернулись. Впереди шел сторож-дедушка. Нес два графина настоящие, за ним Герасим и другие несли графины и бутылки. Я говорю:

— Герасим Дементьич?

Он так молча посмотрел и сказал:

— Сичас...

И ушел.

«Отчего, — подумал я, — они так важно несут к столу и ставят? Как-то особенно, озабоченно, молчаливо и важно. А если скажут, то тихо, точно какой-то ритуал».

Дедушка вернулся и в дверях сказал:

— Уху-то подавать Афросинья будет, кадры приедут. А вот у нас в беседке, в саду, чего-то стучит. Чисто лошадь. Герасим ходил глядеть — там и нет никого.

В это время под окнами слышались бубенцы. Гости приехали. Я и Василий пошли встречать. Приятели вылезали из саней и розвальней. Кряхтят. Говорят: «Ух ты, и мороз».

— Здравствуйте, — говорит мне Павел Александрович, одетый в доху.

Новые мои знакомые, два профессора-охотника, озябли ужасно. Один говорит: «Феноменально холодно».

Слышу, за террасой, в густых елях, где беседка, кто-то стучит так странно.

— Герасим, — крикнул я, — кто это стучит в беседке?

— Я сам не пойму, — отвечает Герасим.

— Где стучит? — спрашивает приехавший Василий Сергеевич.

— В беседке, — говорю.

— Начинается, — сказал Василий Сергеевич, входя в кухню.

Борода у доктора Иван Ивановича в инее. Брови, усы у гостей заледенели. Лица красные, озябли. Раздеваются, входят и лезут к камину греться. Доктор Иван Иванович советует сейчас же чай глотать, только без коньяку.

— Ну, уж это, извините, — говорит Кузнецов. — Эти ваши научные штучки бросьте...

— Это вопрос спорный, — говорит профессор Камчадалов.

— Это для вас спорный, — ответил доктор. — Алкоголь вреден.

— Вздор! — сказал резко Павел Александрович, наливая в чай перцовку.

Доктор, впрочем, не возражал и тоже лил ром в чай.

— Наука свидетельствует истину, всегда только истину, — говорил профессор-блондин, наливая в чай коньяк.

— Наука, какая наука?.. Ваша философия не наука...

— То есть, как же это не наука? — сморщив брови и подбоченившись, спросил профессор Камчадалов. — А что же?

— Белиберда, — ответил Кузнецов.

— То есть как это? — ошетинились оба профессора.

«Батюшки, — думаю я, — поссорятся, непременно поссорятся».

Вошел Герасим и поставил на стол большую миску.

— Садитесь, — предлагаю я. — Уха. Герасим Дементыч, зови всех. Садитесь за стол.

За стол сели все. Последней пришла тетушка Афросинья и старик-дед. Профессоров посадил отдельно от Василия Сергеевича, на другую сторону стола, а то поругаются.

Приближался Новый год. Новые мои знакомые, профессора, были очень довольны, что приехали на охоту. Блондин, кушая уху, говорил: «Феноменально». Камин пылал. Было жарко в комнате, и я открыл форточку в окне в комнате рядом. На часах было без трех минут двенадцать. Павел Сучков, держа стакан вина в руках, встал. Посмотрев на часы, сказал:

— Охоту понять надо. Да-с! Охота — это отцов наследство...

Часы били двенадцать.

— С Новым годом!.. — говорили гости.

В это время в форточку из темного сада донесся какой-то стук, как будто кто-то плясал в беседке.

— С Новым годом!.. — говорили гости.

— С Новым годом! — отвечаю я.

— Герасим Дементьевич, — спрашиваю его, — а что это там стучит?

— А кто его знает. Я ходил глядеть — не видать ничего, темно... Чисто лошадь, а никого нет.

Все замолчали. Станный стук продолжался.

— Вот и Новый год, — сказал приятель Василий Сергеевич. — А у вас, Константин Лисеич, — все эти штучки. Стучит, а что стучит — неизвестно. Вот попробуйте-ка теперь в полночь в эту беседку, пойдите-ка... Тогда узнаете Новый год.

— А что же это стучит? — спросили профессора.

— Вот пойдите, попробуйте, — узнаете тогда. Это вам не философия...

— Эдакое дело, — сказал в это время вошедший в комнату Феоктист. — Вот ведь! Ах, дурак, баран-то! Ведь он мешает Новый год встречать, я его в беседку и посадил. Ишь, скучает, ну, и долбит в дверь рогами. Сейчас пуцу.

И Феоктист ушел...

Тайна

Недалеко от дома моего, в деревне, протекала речка Нерль. Небольшая речка.

Она шла, извиваясь, узкая и быстрая, в красивых берегах, то около песчаной осыпи, покрытой хвойным лесом, то у самого леса, переходила луга и большие болота, входила в большие плесы и в глубокие бочаги. И они лежали, как круглые, огромные зеркала, отражая берега и лес. Эти заводи были очаровательны. У берега на лугу, покрытом цветами, паслись стада.

Река в болотах шла, разветвляясь на несколько рукавов, в зарослях ивняка и покрыта была густой тиной и какими-то водорослями, похожими на маленькие седые деревья, усеянные розовыми, как бисер, цветами. Были места, покрытые пенюфарами, купавками, болотными лилиями. Эти места мои друзья-охотники называли «окрошкой». Среди тины и зарослей открывались чистые плесы, чистые и глубокие — до тридцати аршин глубины. Но по зарослям, как бы по берегу, нельзя было ходить: он утопал под ногами, — и это было опасно. Этими настилами заросла река на большое пространство.

Там было много утиных выводков. Болотные курочки, коростели, цапли, выпь. У кустов, ближе к твердому берегу, водились дупеля и бекасы, и я встречал змеягдюк совершенно черного цвета, как уголь. Бывали ужи, почему-то тоже черные. Вода реки была кристально прозрачная, мягкая и вкусная.

В зарослях видно было, как в реке стеной шли, заворачиваясь, ярко-зеленые бодяги, которые заматывали весь шест, когда я ехал на челне. Летом, при солнце и жаре, приятно пахло водой и тиной, пахло летом... Зеленые и голубые стрекозы носились над водой, садясь на череду и осоку. Стояли рядами так называемые камыши с темными длинными шишками. Огромные, пудовые жуки жили там. Стаями ходи-

ли золотые язи и гладкие линии, большие караси и темные окуни. Мелкой рыбы не было. Когда я ловил с челна рыбу на удочку, все думал, что попадет какая-нибудь особенная рыба из этих глубоких плесов. И действительно, раз поймал большого карпа, в пять фунтов, с крупной чешуей, красивого цвета, с желто-светлыми глазами. Его золотая чешуя перемешивалась с серебряными и перламутровыми бляхами. Там же поймал совершенно черного окуня с белыми глазами и красными, как кровь, плавниками.

* * *

Вот однажды, выйдя на речку Нерль, недалеко от своего дома, где на лужке, на берегу, была моя лодка, наполовину вытасченная на берег, я увидел на корме лодки несколько рыб. Кто-то, должно быть, ловил и бросил. Рыбы испортились, стухли. Корма лодки была в воде. Я взял железный черпак, снял им этих рыб и бросил в воду. Они тут же потонули, и мне было видно, как они легли на дно, где был песок.

Солнечный июльский день. Я пришел писать с натуры пейзаж. Вышел из лодки, взял холсты, ящик с красками, мольберт, зонтик, пошел по берегу против течения. Пройдя четверть версты, подошел к другой небольшой речке, Ремже, которая шла от мельницы Ремжи. Ремжа была много меньше Нерли и впадала в нее. Я повернул по Ремже влево и пошел по зеленому лугу, где шла речка.

Найдя красивое место у самой речки, я сел писать картину. Поставил мольберт, раскрыл зонтик и увидел, нечаянно, что около противоположного берега, по песку под берегом быстро один за другим идут по дну раки. Целой вереницей, по течению, к реке Нерли, куда впадает Ремжа. Я подумал: «Куда это так спешат раки?»

Встал и пошел по берегу, вниз по течению, не упуская раков из виду. И увидел, что они поворачивают в Нерль, то пропадая в глубоких местах, то появляясь на мелких. Они шли к оставленной лодке, откуда я бросил испорченную рыбу...

Когда я подошел к лодке, раки уже облепили брошенную рыбу кучей и, вонзаясь в нее клещами, мололи ее. Их все прибывало. Я с лодки смотрел за их работой. Странно: в то же время снизу реки, куда бы должен был идти запах испорченной рыбы, не шло ни одного рака. Меня это поразило. Что значит? Как мог проникнуть запах рыбы далеко в речку Ремжу? И как раки из этой Ремжи могли бежать в другую реку? И в то же время — почему ни один рак не шел снизу, где запах должен был быть сильней? Что за свойство у рака, что за непостижимое чутье?

Я позвал приятелей посмотреть это странное явление. Те были поражены и кстати потом положили сеть на дно, а потом набросали рыбу. Наловили раков больше двух сотен. Раки были хорошие. Когда, вскоре, дня через три, бросили опять на сеть протухшую рыбу, чтобы ловить раков, ни одного рака не пришло. Значит, раки поняли, что их ловят, и другим рассказали.

* * *

На той же Нерли, далеко от моего дома, в глухом месте, были большие широкие плесы. Назывались они Глубокие Ямы. Как-то летом я поехал туда. Оставил на берегу, среди кустов палатку, думал прожить неделю. За этим плесом была высокая гора, покрытая осинником и елями. Лес отражался в реке, темня всю заводь. «Потому-то, — подумал я, — они и назывались Глубокие Ямы».

Место было, как рай. Я писал с натуры красками. Со мной был приятель мой, рыбак, охотник, поэт и скиталец, — Василий Княжев. Он любил эту жизнь. Он говорил: «В красоте природы кружиться, лучше жисти нет».

Это была жизнь, поразительная тайной прекрасного ощущения.

Чудеса созерцания — утра, вечера, ночи, — какое-то слияние чистой красоты с ее же тайной гармонией.

* * *

С вечера горит костер, подвешен чайник. Пьем чай. Берег — чистая травка, и река тут же. А ночью спим в палатке, ни души кругом. Собака с нами, мой Феб. Феб любил такую жизнь. Комаров мы выгоняли из палатки с вечера, прожигая ветви можжуки.

Василий на берегу к вечеру чистил пойманную рыбу. Клал в котелок — варить уху, требуху от рыбы бросал с берега в воду, рядом, близко.

Когда мы ели уху, был тихий летний вечер. И внезапно увидели мы у берега волнение и легкий всплеск. Два небольших сома подошли к самому краю берега и трепали эти рыбы отбросы, а подальше мы увидели огромного сомищу, пуда в два, который лежал на дне неподвижно. Мы резали куски рыбы и бросали в воду. Сом едва двигался и ел брошенную рыбу. Мы подошли к самой воде. Огромный сом ел из самых рук... Мы были поражены. У него распускались в воде усы, и белые, как бисеринки, глаза чудовища смотрели на нас.

Василий говорит мне тихо:

— Ведь это што... Ведь это он людев не видал никады. Узнал бы их, тогда бы... А тут никого не бывает, глядите-ка, весь омут лесом завален... Тут никто и не ловит, он и не знает. Узнал бы, бросил бы дурака ломать. Ну и чуден, глядите, рыбу-то цельненькую, небось, не ест, велит: разрежь, кусочками давай. Чисто Феб ваш. Дашь баранку — не хочет есть, а кусочками ломаешь — всю съест тут же... Ведь это што.

* * *

Через день Василий смеется на берегу, идет ко мне. Говорит:

— Вот чудно. Наш-то чертила у меня сейчас из рук выхватил кусок. Ну чего это — не видано дело. Ведь ежели купаться, ведь эдакой за ногу схватит, утопит. Неужто мы так его и не поймаем?

— Нет, — говорю, — Василий, нельзя, — и подумал: «А ведь верно говорит Василий — место глухое, не видать людей, не знает обмана... Сом верит человеку. Чуть не из рук ест. Как странно».

И, глядя на сома, на добродушную огромную голову, на ленты его плавников на спине, вспомнил, что сказал Александр Сергеевич Пушкин:

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит...

И вспомнил я свое детство. Раз на дороге у Кускова, под Москвой, навстречу мне вышел на задних лапах огромный медведь. Я испугался ужасно. И на плечах своих тащил медведь пьяного своего хозяина — поводыря. Тот спал и, поправляясь, дергал рукою цепь, спяну, должно быть. И у бедного, печального, озабоченного медве-

дя от дерганья пьяного хозяина около кольца из носа шла кровь. А он, бережно держа лапами, тащил своего мучителя. Проходя мимо меня, когда я сидел в овражке у дороги, он грустно пробормотал: «Бу-бу-бу-бу».

Это он, должно быть, хотел сказать мне про горькую тайну жизни...

* * *

Тайны. Как-то раз в Петербурге я был в мастерской скульптора Павла Трубецкого, в его огромной мастерской, где он работал памятник императору Александру III. За обедом подошла огромная собака. Оказалось, что это волк, настоящий наш волк. Волк положил мне голову на колени и смотрел в глаза мне, прося. Я не знал, что это волк, и гладил его по голове. Тогда он положил и лапы мне на колени. Трубецкой его стащил за шиворот.

— Он пристает, — сказал он мне.

Павел Петрович кормил его орехами, которые волки очень любят. И когда после обеда я сидел на лестнице около статуи огромной лошади, князь крикнул:

— Волчок, Волчок.

Волк, до того лежавший в углу с собаками, встал, подошел и сел рядом со мной на лестницу, положил голову мне на плечо. Князь сказал:

— Добрый волк. Ты знаешь, он добрее собаки. Он вегетарианец, мяса не ест, как и я. Это ты ел, помнишь, в Париже, — тэт де во¹. Это ужасно...

Я вспомнил, правда, как заказал себе в ресторане тэт де во. Павел Петрович встал и ушел.

Особенный и хороший, талантливый человек Павел Петрович.

Я видел раз в саду, около его мастерской — когда он вышел, — воробьи и галки слетелись к нему и сели на плечи. Он любил зверей и птиц и не ел никогда мяса. Я заметил, что звери относились к нему с особой нежностью.

Я знаю здесь, в Париже, лейтенанта флота — полный вегетарианец. И не знаю непонятную радость и любовь моего Тоби к нему. Он как-то опускает уши, прыгает к нему на колени, садится и не уходит. И ни к кому так Тоби не ласков, как к нему. Нет ли тут тайны?

* * *

Во время огромных снеговых заносов на юге России птицы с южных степей спустились все вниз, к самому морю. И в Крыму было много снега. Дрозды летели к домам и забивались в самые сакли татар.

На моей даче в Гурзуфе набились во все комнаты дрозды и пичужки, а утром рано пришли ко мне в комнату, к двери, печальные и покорные, огромные птицы — дрофы. Вошли ко мне, как какие-то монахини, и грелись...

Пришли ко мне, пришли к татарину Тефику и Осману.

Почему они знали, что я, Тефик и Осман их не уьем, не съедем, не продадим, когда другие их били палками и резали? Они не пришли на дачи, где их изжарят. Почему они знали, что потом, когда стает снег, я повезу их, связанных в больших корзинах, в степь, выпущу на волю? Тайна... Мало мы знаем тайн... Если мы бы больше знали тайн, может быть, было бы лучше на земле.

¹ От фр. tête de veau — вареная телячья голова с чесночным соусом, излюбленное блюдо французов.

Московские особняки

Во многих улицах и переулках Москвы среди садов стояли приветливые деревянные особняки с воротами и калитками, чистые, крашенные, веселые, одноэтажные. Там жили москвичи с достатком. Это как-то было видно по самой постройке.

На дворе, мощенном булыжником, была конюшня и каретный сарай. Дворник жил в дворницкой, в отдельном небольшом домике. Кучер помещался в кучерской. Москвичи держали хороших лошадей, рысистых, для выезда. Хозяева таких особняков были люди положительные, деловые. Дела были солидные, негромкие, тихие и доходные. Контора для дел была отдельно — в центральной части города.

Про таких москвичей говорили, что это люди с понятием. Любили хороший выезд, понимали, что едят, как приготовлено, понимали в винах, уважали сигару. Иногда обедали в ресторанах, но больше дома.

Такие москвичи были в обращении с дамами учтивы и приятны. Увлекались сильно, влюблялись, задумывались, вежливо вздыхали. Но чтобы совсем в любви голову потерять — этого не было. Почему-то при понятиях своих предпочитали оставаться на холостяцком положении.

От этих москвичей никто не слышал грубого слова, резкого мнения, осуждения. Когда говорили они про какую-либо даму, как-то растопыривали глаза и, глядя в сторону, удивлялись:

— Ну, разве... Может ли быть... Она так мила, так очаровательна. Это вряд ли... Вы, милый, не верьте, все сплетни...

Себе на уме были такие москвичи.

Жизнь шла в удовольствие. Театры, обеды в ресторанах и дома, друзья за обедом, разговоры, новости. Друг друга и знакомых они называли всегда по имени и отчеству, никогда по фамилии, учтивей выходило:

— Петр-то Петрович поехал вчера к Илье Семеновичу на Миусы, да из саней его и выбросило: вороной жеребец. Идет разносчик — дурак — мимо, да как заорет «Рыба живая», — ну, вот... Вороной как вспрыгнет, так и выбросил. Ногу вывихнул. Рядом там, недалеко, Мария Федоровна живет, в окно она в лорнет посмотрела. Ну, к ней принесли его. А у ней Сергей Матвеевич был, сейчас же доктора привез своего. Шульц или Франц, как его... Такой шустрый... Только он ногу и вправил Петру Петровичу задом наперед. Петр Петрович прямо выл от боли. Плакал. Ему только за сорок, он собирался жениться, искал себе подругу под пару. Если нога-то так останется — что ж тогда... Какое дело! Отчего бы это? Подумайте... Разносчик — дурак — орет. Как им не запретят — не понимаю. Безобразия такое!..

В особняке в Дурновском переулке, владелец особняка такой солидный человек, моложавый, с проседью немножко. Говорит приятелям за завтраком:

— Илья-то Семеныч вчера купил по случаю картину, да ведь какую, подумайте, — Рафаэля... За бесценок.

— Да неужели? — удивляются гости. — Рафаэля? Может ли быть.

— Говорят. Он ведь в живописи знаток. Купил он эту картину, да и везет к себе на рысаках. Жеребец у него прямо зверь. Только стал у Арбата заворачивать на углу, а разносчик — дурак, — конечно, как заорет: «Грешники горячие», — жеребец испугался, прыгнул и оглобли поломал. Илья Семеныч прямо с Рафаэлем из саней на мостовую хлясь... Ногу и вывихнул... Тут поблизости к Марье Васильевне завезли, а у ней Фриц или как его... Франц — доктор... Она уж больше году у него лечится. Ну, ногу он ему вправил. Орал Илья Семенович — боль страшная, а картину в руках держал, не отдает. Так он живопись любит, и притом — Рафаэль ведь, подумайте...

В особняке на Разгулье хозяин говорит приятелям за обедом:

— Да ведь вот случай, подумайте! Сергей-то Матвейч — деньги к деньгам — везет ему... Купил картину по случаю за пустяки, везет ее домой. Видит — напротив едет Илья Семенович. «Стойте, — кричит Сергей-то Матвейч, — вот вас-то, — говорит, — мне и надо». Ну, остановились. «Посмотрите, Илья Семеныч, — говорит Сергей Матвейч, — я вот картину купил, посмотрите, пожалуйста». Ну, и показывают ему картину-то. Илья Семенович посмотрел да как крикнет: «Рафаэль!!!» А жеребец-то вороной у Сергея Матвейча как прыгнет — они оба из саней кувырк, лошади бросились, тащат их. Народ собрался. У обоих ноги повывихнуло. Но тут их поблизости к Варваре Андреевне увезли. А там доктор Франц или Шульц, что ли, ловкий такой... Он ноги-то им вправил, только задом наперед. Вот дело какое вышло... Вот они орали. Теперь наново им переставляют вывих-то...

— А картина-то действительно Рафаэля? — интересуются гости.

— Нет, оказалось, не Рафаэля, как его... забыл я художника... перепутал... Это, кажется, Липа-Филиппа или Клевера, что ль... забыл я.

— Должно быть, Филиппа Липа, тоже знаменитый мастер.

— Кажется, вроде что-то. Только цена уж не та.

Владелец особняка в Кривоколенном переулке говорит друзьям за обедом:

— Вот как в жизни все трудно и сложно. Капитал большой, годы молодые еще. А вот Сергей-то Матвеевич говорит: «Веры, — говорит, — не купишь. Веры у меня в них нет, в особ» — в женских особ, значит. Хочет он верить, ах, как хочет, чтобы они не на деньги его шли, а на него самого. И в этом раздумье находится он вот уже лет военадцать. Доктор при нем — Шульц или, как его... Фриц, как его... Только он его и надоумил — прикинуться бедным, чтобы веру в них получить, так сказать... От женского пола, искренность увидеть, и ясно чтобы все было.

— Ну, и что же, прикинулся? — спрашивают друзья.

— Да. Притворился. Вот бедный, такой бедный, и лицо делал такое скучное, как у бедных. Его Фриц-то, доктор-то его, и возил в полночь — в рестораны, в «Яр», в «Стрельну», в «Мавританию», в разные. Так там певички окончат свою работу, отпоют, ну, он и присматривает — понравиться хочет, внимание обратит какая, может быть... В зале или в саду дожидается. А доктор-то Фриц научил, должно быть, Женю Крошку, Огонек и Шуру Ветерок, Сашу Пароход, чтобы занялись с ним.

— Ну, и что же?

— Оделся он плохо. Войдет в сад к разъезду, поздно, сядет сбоку за столик, спросит стакан чаю, грустный такой сидит... Ну, какая посмотрит, спросит:

— Это что вы чай пьете?

А он говорит:

— А что ж?

— Шампанское спросите, угостите.

— Где ж... Я не пил шампанского никогда, да и не в средствах...

— Вы же Березов?

— Нет, ошибаетесь, мадам...

Узнают его, как ни бьется, ничего не выходит. Доктор-то Фриц видит, что дело не идет, говорит ему:

— Повеселей немножко...

А тот так в роль вошел — бедного-то, прямо что хочешь, бедней его нет никого. Женя Крошка, Ветерок говорят: «Невозможно, ничего не поделаешь...» Такой грустный, бедный, плачет, не ел неделю, говорит, ничего, зубы болят. Лицо такое у него — глядеть жалость. Женя дала ему двугривенный...

— Ну, и что же, взял? — спрашивают гости.

— Взял!

— Да неужели?

— Уж очень в роль вошел... Его Фриц, доктор, в Париж повез. Там-де найдет. Но там еще хуже вышло. Старушки смотрят, жалеют, а ему старухи-то на кой черт. А для молодых лицо уж очень грустное, не подходит. Так ничего и не вышло...

* * *

Зимний вечер. У хозяина особняка в Лужковом переулке собрались приятели.

— Был со мной случай такой, — рассказывал хозяин. — Нажил я. Хорошо нажил. Пришел вечером в сад, там хоры поют, шансонетки. В Нижнем был. Пела одна певичка, шансонетка, на сцене. И послал я ей под салфеткой с верным человеком, чтобы передали, когда отпоет, десять тысяч рублей. На тарелку положил, ну, и салфеткой прикрыл, как водится. Деньги ведь хорошие. Неизвестно, от кого. Так сделал, что она не узнает. Вскоре познакомился с ней. Она мне и рассказала:

— Деньги мне кто-то прислал, много. Что-то страшно, — говорит, — не знаю, куда их деть.

А я ей говорю, шутя так:

— Отдайте в приют бедным детям.

Сам думаю — не отдаст, конечно. А на другой день она, веселая, подходит ко мне, из сумки вынула — показывает квитанцию.

— Внесла, — говорит, — в приют. Как приятно было. Спасибо, — говорит, — вам, что научили.

Узнал я, верно, внесла. Спросил я у ней:

— Зачем себе ничего не оставили, ну хоть бы половину?

— Нет, лучше все, — говорит. — Деньги, — говорит, — такие чистые, не мои. Хорошо в душе было, когда деньги я давала. Так хорошо, — показала она на грудь, — как не бывало раньше.

Сознаюсь, понять я не мог, что она за женщина такая. Нравилась мне. Только вижу, я ей не нравлюсь ничуть, а деньги у меня просит. И опять, чтоб в приют отдать, не для себя. Что за блажь!.. И вот она мне совсем разонравилась... Ну, как все это разобрать? Скажите, как вы думаете?

Хозяин и приятели-москвичи задумались.

Меценат

Летят воспоминания к берегам бесценным родины моей... И, как калейдоскоп, сменяются картины ушедших далеко забытых дней.

Начало Великого поста. Помню я с детства пост Великий. Кругом делалось тише, скромней, даже на улицах. Говорили и смеялись не так громко, и не было видно пьяных. Пост Великий. А дома за столом капуста кочанная с маслом, суп грибной, жареные снетки белозерские, солянка с рыбой, и уж нет мяса и в помине. За чаем сахар постный, разноцветными кубиками, изюм. Моя няня, уже старушка, в большом черном платке, строго постится, рыбного не ест, ходит и к утрени, и к вечерне в церковь...

Нравится мне Великий пост потому, что в саду за забором, где недавно были сугробы — не пройдешь, теперь — большая лужа, оттепель. За частыми сучьями лип видно, как просветило голубое небо, какое-то другое, чистое, весеннее. Как хороши эти просветы, как радуют! В душу входит что-то, чего не расскажешь, невозможно рассказать.

А утром, за чаем, в корзинке румяные из теста жаворонки, с черными глазами из коринки, — как радостно! И еще хлебные кресты. Это все предвещало весеннюю радость, разлуку с долгой, суровой зимой.

Помню, когда в мою комнату утром вливалось солнце, золотило лучами своими косяк окна и мой стол с тетрадками. А на окне, между рамами, на белой вате, пестрели нарезанные шерстинки ярких цветов.

Мне казалось — до чего хорошо жить, — идет весна. Мечтал, как я пойду далеко, в Медведково, в лес, на реку Яузу, к мельнице, а ружье-одностволка висит на стене и пороховница. Я каждый день чищу ружье.

Весной летят птицы, особенные, неизвестные. Летят только очень высоко. И сколько их? А в Медведкове на лугу, за кривой сухой сосной, — даль голубая. До чего хорошо идти в высоких сапогах по лугу! Придешь к речке Чермянке, она чистая, в овражках около еще лежат снега, — шумит, быстро мчится вода сквозь красные прутья кустов. Вдруг вот вылетит птица, какая-то особенная, с длинным носом.

У меня в детстве был приятель, Коля Хитров. Он ходил в форме со светлыми оловянными пуговицами. Я сначала думал про него, что он с железной дороги. Оказалось — нет, какая-то школа военная. У Коли были очень большие красные губы и серые глаза. Он ходил со мной за город в Кусково, в Кузьминки, в Кунцево: я ему и показал эти райские места, он не видал их раньше.

Случилось — на пруду у Перервы, у берега, стоял плот. Небольшой, деревянный. Мы достали с Колей шест — нам было необходимо, разумеется, переехать пруд. Поехали. Только Коля стал с краю плота. И плот перевернулся, и мы оба очутились в воде. Холодно. Ухватились оба за край плота и как-то, болтая ногами, доплыли до берега назад. Ух, как было холодно! Бегом бежали в деревню, в трактир, на печке сушили платье, пили чай в овчинных рваных тулупах, которые дала нам трактирщица.

Приехали домой поздно, сапоги были сырые, и оба заболели горячкой. Жар, болело горло. Коля и я выздоровели, но больше ко мне отец его не пускал.

Отец был тоже в мундире со светлыми пуговицами, с бородкой, бакенбардами, серьезный. Увидав меня, рассердился и, погрозив мне пальцем, сказал мне: «Дурак! Жаль, что отец тебя не порет».

* * *

Редко, конечно, приходилось уходить на волю. Очень трудно доставались деньги. Дела моего отца уже были не те, он собирался уехать из Москвы куда-то на службу. Бывало, няня Таня даст гривенник, мать тоже — вот и все. Где деньги возьмешь! Копил я, и когда накопишь полтинник, ну, тогда хорошо. Уж очень все дорого, не по средствам. Надо кончик для удочек купить, коробочки, пистоны — никак не справишься. У Коли никогда больше пятак нет.

Только вышел у меня сверхъестественный случай.

В мае, весной, шел я по берегу Москва-реки за Москву, к Симонову монастырю. Взял с собой краски, попросил у брата Сережи две кисти и кусок ватманской бумаги и сел рисовать у реки барки, а вдали — Симонов монастырь. Он такой красноватый. Белые облака клубились в небе. Весна, благодать. Сижу и рисую, раскрашиваю.

Подошел какой-то немолодой человек, седой, вроде как из купцов, и смотрит, что я рисую. А потом говорит мне:

— А сколько стоит эта ваша картина?

Я ответил: «Не знаю».

— Хотите пять рублей?

Я думаю: «Что он, с ума сошел?» — и говорю ему:

— Хорошо. Только... это дорого очень, не стоит...

А он достал бумажник, вынул и дает мне бумажку — пять рублей.

— Только прошу вас, сделайте кресты на куполах монастыря, а то без крестов нехорошо.

Я нарисовал кресты.

— Ну, прощайте. Благодарю вас.

Он картинку взял, благословил меня рукой и так пристально посмотрел мне в глаза. Тут я подумал, что это, должно быть, священник. Так у него пуговицы у ворота застегнуты, как у монаха. И ушел.

Пять рублей я положил в карман. Немного прошел, сел на берегу Москва-реки, достал опять их и смотрю — пять рублей. Я опять спрятал, боялся — потеряешь! Пошел к Москве и опять сел и посмотрел — пять рублей.

На углу Пречистенской в Москве — булочная Филиппова, кондитерская. Зашел туда: пирожные, конфеты. Пирожные — пятачок пара. Я купил три пары и ел, все съел. Даю пять рублей, мне дают сдачи. Конфеты лежат... шоколадки, такие маленькие лепешечки, как пуговицы. Покупаю фунт и несую домой. Все шупаю в кармане деньги: целы ли. А потом открываю коробку с шоколадом и ем понемножку. Иду — вижу магазин, там материи, платки. Думаю: куплю платок няне Тане. Зашел, купил платок — розовый, с зелеными листьями и голубыми цветами. Шесть гривен отдал — дорого.

Иду — опять магазин, рыбный. Висят балыки, икра в банках. Зашел. Спрашиваю икру. Думаю: куплю матери и брату Сереже. Говорю: «Фунт». Завернули икру. Дорого: рубль с чем-то. Задумался: отдать назад — неловко. Отдал деньги.

Иду — и вдруг вижу — ружейный магазин. Долго смотрю в окно. Зашел. Коробку пистонов, дробь трех номеров и бронзовая пистонница маленькая, до того хороша!

Приспособлена так — подает по одному пистону. Сама подает. Купил, дорого. Вижу, у меня денег осталось рубль с чем-то. Что я наделал! На эти пять бы рублей куда бы я поехал. А теперь...

Пришел домой. Мать удивилась и брат Сережа тоже. Какой это человек дал мне пять рублей? Странно!.. Рисовать я не умею, а просто так, да еще благословил... Странный человек.

А когда пришла няня Таня, я торжественно отдаю ей платок. Мне так нравится. Няня Таня смеется и говорит мне:

— Костя, я ведь старуха, как я такой платок надену, засмеют меня. Это девичий ведь платок, что ты.

А я думаю про себя: «Таня-няня тоже девица, все говорят про нее, что девица она». Я ей и сказал:

— Таня, ты же девица.

— Да, — ответила Таня, — правда, старая только. Нельзя платок мне такой. Я вот хочу в черное себя всю одеть и принять послушание.

И няня Таня заплакала, положила платок на стул и быстро вышла из комнаты.

Ночью я думал: «Что это за человек дал мне за рисунок мой пять рублей и не жалко ему было?.. Какой особенный человек!» Потом счел деньги, остатки. Вижу — малость осталось: рубль десять копеек. И зачем я истратил так много?

Встал и посмотрел пистонницу, дробь, опять спрятал в стол. В углу икона и зеленая лампада горит. Я лег в постель и смотрел на икону, и думал: «Спасибо тебе, человек, что дал мне пять рублей...» Говорю: «Матерь Божия, пошли ему доброе. Я купил себе пистонницу, дробь, только вот платок доброй няне не такой. Что делать».

* * *

Пошел я осенью к Бабьегородской плотине с удочкой на Москва-реку — ловить пескарей. Иду по берегу, выбираю место. Нашел среди кустиков и закидываю удочку. Смотрю на поплавок — не берет. Я пошел дальше по берегу. Вижу вдали Симонов монастырь, то место, где я рисовал красками. Сел на бережку у реки и закинул удочку. Поймал окуня. Только хотел взять из банки червяка, вижу — тот человек подходит ко мне и узнал меня, и глаза у него смеются.

— Здравствуйте, — говорит он мне.

— Здравствуйте...

Я смотрю на него и спрашиваю:

— Скажите мне, кто вы такой?

— Я-то? — ответил он, — а зачем вам знать?

— Да так, у нас все дома удивляются — мать и брат — что вы дали мне пять рублей за мой рисунок. Он не стоит таких денег.

— Ну нет. Знаете ли, он так всем нравится. Я сделал к нему рамку, очень хорошо вышло. Все удивляются, что я так дешево купил. Я очень рад, что встретил вас опять. Я считаю, что я вам должен еще пять рублей. Вот, — сказал он мне, — и полез в карман и подает мне опять пять рублей.

— Скажите пожалуйста, кто же вы такой? — спросил я, — вы священник? Я не хочу брать у вас еще денег, мне совестно...

— Берите, — сказал он, смеясь, — я не священник, а совсем наоборот, я вот тут с краю Москвы — показал он рукой — кабак держал, а теперь стар, живу на покое. —

У меня два сына, вот постарше вас. Один учится — архитектор будет, так вот он тоже рисует. Говорил мне, что картинка ваша хороша. Вот что, мальчик, — сказал он мне, — дело ваше правильное, дает радость чистую... желаю вам учиться с прилежанием. Скажите мне ваш адрес, где вы живете.

Я дал адрес и поблагодарил его. Когда я был в Школе живописи в Москве и на экзамене за свои летние работы-этюды получил благодарность от преподавателей и награду на краски, то какой-то ученик старшего проектного класса архитектуры подошел ко мне и сказал:

— У отца моего есть ваш набросок «Симонов монастырь».

— Как? — удивился я, — Это ваш отец?

— Да. Но он умер... — сказал мне архитектор. — Он мне велел съездить к вам, чтобы купить картину. Я ездил, но мне сказали, что вы уехали из Москвы.

— Так вот что, — сказал мне архитектор, — отец велел купить у вас картину побольше, за пятьдесят рублей. Может быть, вы согласитесь отдать мне этюд из этих, — показал он на мои работы. И он выбрал у меня этюд.

— Кто же был ваш отец? — спросил я. — Он мне сказал, что он кабатчик.

— Не совсем, — сказал, смеясь, сын-архитектор, — он служил по акцизу, чиновник был, в шутку называл себя кабатчиком.

— А я думал, что он священник. Знаете, он благословил меня.

— Да, видите что, мать схоронена на кладбище в Симонове, он туда каждый день ходил к ней на могилу по берегу реки. Вот и встретил вас. Мать моя, умирая, сказала отцу: «Благослови прославляющего жизнь». Вот он так и чудил иногда. Он был веселый...

Первая любовь

Москва. Давно то было. В воздухе пахло весной. Солнце. Блестели купола старой церкви Харитония в Огородниках. Рядом с церковью были небольшие деревянные дома с двориками, крыльцами, у которых густо насажена сирень. Двор кой-где мощен булыжником, гнилой забор соседнего сада, бузина выпустила маленькие, как бисер, листочки. Весна. Синее небо. Летят белые облака.

У крыльца дома, где я жил, — большая бочка, полная капельной воды. Я и Тата, девочка из соседнего дома лет десяти, смотрим в бочку. Замечательно. Видно небо, как бегут облака. Я вижу себя и Тату. Когда пальцем взволновать воду, все делается смешно, так забавно прыгают глаза, нос, наши лица.

У Таты на голове маленькая шапочка пирожком и белый воротничок на жакетке. У Таты матовое лицо, темные, как слива, глаза, большие ресницы. И когда она смотрит на меня, то часто мигает ими.

Тата так нравится мне, что выразить нельзя.

Мне одиннадцать лет. У Таты сестра Аня, старше ее. Тата меня зовет «Костю», а я ее — «Тата».

Тата такая хорошенькая, и я близко смотрю на нее, потом опять в бочку и говорю ей:

— Тата, можно вас поцеловать?..

Тата посмотрела на меня, часто заморгала ресницами и сказала:

— Не знаю, я спрошу маму...

Я подумал: «Ну, вот, мама наверно скажет, что нельзя».

* * *

Через лазейку в заборе мы попадали в соседний двор, где был сад и где жила Тата. Очень хорошо в доме у Таты, так чисто. Какие-то пузатые комоды, столики, горка с фарфоровыми куколками, занавески на окнах и всюду салфеточки вязаные, часы высокие, и тихо ходит большой маятник.

С Татой мы читали книги, стихи, смотрели альбом с портретами.

Мать Таты была высокая, серьезная и добрая женщина. Увидав меня, она всегда старалась угостить: то рахат-лукум, то чернослив, то орехи. У Таты не было отца — он умер, но она показывала мне его портрет в военном мундире. Это был человек с выпуклыми глазами и с баками. Тата говорила, что папа был такой хороший-хороший...

* * *

Я был один на дворе, где больше еще распустилась бузина и сирень была зеленая. Весело грохотали по мостовым извозчики, и блестела церковь Харитония в Огородниках.

Вдруг я вижу — Тата подъехала на извозчике со своей матерью к воротам, наряженная, в шляпе с лентами, и картонки в руках. Она кивала мне головой.

После обеда Тата пришла ко мне и спросила мою мать:

— Дома Костю?

— Он там, — сказала мать.

У нас в квартире было хуже, чем у Таты, бедней. Не такая мебель, не было этих салфеток и горки с фарфоровыми куколками за стеклами. Я обрадовался Тате. Она взяла меня за руку, подвела к окну, где видны были зеленые листья сирени и где солнце острыми лучами светило на нее, и вкрадчиво и серьезно сказала мне:

— Костю, мама — когда я спросила, можно ли тебя поцеловать, сказала: «Нельзя: ты будешь его целовать тогда, когда у него вырастут усы. А если ты будешь его целовать сейчас, то на носу сделаются пупыри, такие гадкие... Нос делается большой, и выпадут ресницы».

«Это ужасно», — подумал я.

Я был очень взволнован и, когда ушла Тата, я поискал зеркальце — не нашел. Подошел к большому зеркалу и смотрел на себя. Усов — никаких. Чуть-чуть какой-то пушок есть, но он в другом месте — на щеках. Нет усов. Невозможно...

«Все это верно, — подумал я. — Но как же на Пасхе-то, когда красное яйцо, ведь христосуются. Я помню, в прошлом году со мной христосовались и Аня, и ее мама, и Тата — и никаких пупырей. Как все странно».

* * *

Распустилась сирень. У подъезда нашего крыльца стояли ломовые, вытаскивали мебель, матрасы, стулья, и я узнал, что это переезд на дачу.

Я ехал с отцом отдельно в пролетке на извозчике. Брат Сережа с матерью. В руках у меня была наша собачка Мулька. Это была маленькая черненькая собачка, которая страшно беспокоилась — куда-то ее увозят. Но когда мы приехали в лес от Крестовской заставы, то отец остановился, я пустил Мульку, и мы пошли пешком. До чего было прекрасно. Дорожки, зеленая трава, распутившиеся березки. Замечательно. И я совершенно был поражен, когда подошли к мосту и я с него увидел речку, бегущую воду, зеленые луга и у столбов моста стайку маленьких белых рыбок.

Боже, до чего хорошо! До чего хороша эта деревянная дача с террасой, синие старые бревна. Ломовые стаскивают с воза мебель, ставят стол. А уж на стол принесли молоко, мать поставила стаканы, плюшки, пеклеванный хлеб.

Я взял стакан молока, хлеб и вышел. Передо мной лужок, я ем хлеб, пью молоко и иду по этому луку... Вот речка. Она извивается — ольховые кусты низко нависли над самой водой, зеленые, яркие, и отражаются в воде. Какая радость!.. Я никогда и не видал раньше такой речки. И так недалеко от Москвы.

Утром проснулся, бревна, маленькая комната, в окно блестит солнце и зеленый, зеленый сад... А кругом какие места! Кривая сосна на луку, старая, гнилая, а за ней голубая даль. Вот там, должно быть, думаю я, там и есть мыс Доброй Надежды. Я непременно поеду туда.

— Ты не ходи далеко, — говорит мне мать, — а то заблудишься.

Но все же я пошел.

У самой сосны, старой, уже засохшей, такой чистый лужок, сухая земля. Я лег у сосны и подумал: «А Тата осталась там, в Москве... Отчего она не приехала сюда, я бы с ней пошел туда, где эта даль, мыс Доброй Надежды... Она все видит тот же двор, мостовую. Разве это можно сравнить — Москву. Там скучно. Бедная Тата... Я напишу ей письмо, напишу: “Попросите маму, чтоб она вас отпустила к нам. Я не буду вас целовать — никогда. Но только приезжайте, пожалуйста, с мамой. Я люблю вас, Тата”».

Я встал и пошел. Все иду, какие-то пашни, опять луг, а туда уже книзу я спускаюсь и в кустах вижу, как идет маленький ручей. Я подошел к нему. Видно все дно и цветные камешки, трава, осыпанный бугор. Такой узенький ручей, что, если разбежаться, можно перепрыгнуть. Я снял сапоги и перешел вброд. Вода холодная, но так приятно ногам в воде.

Я остановился в воде и вдруг увидел, как к ногам моим стайкой подошли по дну серые рыбки — пескари.

Возвратясь домой, я просил отца купить мне удочку. Отец обещал.

* * *

Я послал письмо. Прошло несколько дней — и вдруг, только что сойдя с террасы, я увидел, как через мост по речке едет пролетка, в ней сидит отец и Тата с матерью... Я так обрадовался, что побежал навстречу через луг и кричал: «Тата! Тата!»

Я показал Тате сухую сосну и повел ее в голубую даль, к мысу Доброй Надежды. Она собирала цветы — большой букет — и подносила их к своему лицу.

— Костю, какие чудные цветы! Я их нарву побольше, привезу домой, поставлю в банку и буду думать о вас... А вы?

А я говорю:

— Я не знаю... Тата, а ведь усы у меня не скоро вырастут, как вы думаете?

— Это ничего. Но вырастут непременно, Костю.

* * *

Когда со мной бывала Тата, на даче, в Медведкове, мы вместе ходили много и бегали по луку босиком, по воде ручья, на песочке. Сидя за столом на даче, ели сухари, пили молоко. Все время было особенное чувство красоты и радости. Все кругом преображало волшебное очарование. Веселье и радость.

Когда уезжала Тата, пропало дорогое, бесценное, родное...

Я получил письмо: Тата прощалась со мной. Она уезжала с матерью далеко и надолго в Саратовскую губернию к родным. Загрустил я и опечалился.

А осенью с отцом мать и я переехали из Москвы в Мытищи. Это неподалеку от Москвы, где отец получил какую-то службу поблизости Мытищ.

Новая жизнь в деревне, дружба с товарищами, крестьянскими мальчишками, охота, школа захватили меня. Я реже и реже стал вспоминать Тату.

Прошло много лет. Как-то летом, идя из мастерской Малого театра и проходя в ворота на Красную площадь, я вошел в часовню Иверской Божьей Матери, залитую огнями свечей.

Сбоку от меня стояла довольно высокая женщина. Я взглянул на нее и узнал: Тата! Женщина опустилась на колени и, встав, повернулась и пошла из часовни. Я пошел за ней и на ступенях лестницы, выходя из часовни, сказал:

— Тата!..

Она остановилась и остро смотрела на меня.

— Костю! — вскрикнула она. — Костю, я не узнала вас!..

Она взяла меня под руку и пошла от часовни. Идя со мной по тротуару, говорила, все так же остро смотря мне в глаза:

— Вы, Костю, теперь знаменитый художник. Так давно не видала вас. Про вас пишут газеты, вы уж теперь, наверно, не такой, наверно, загордились, зазнались, ухаживаете в театре за актрисами. Да, да... Наверно?

Я смотрел на нее.

— А я вышла замуж. Мой муж служит в городском ломбарде, и я там тоже служу. Он старше меня, но он очень хороший человек. А вы, Костю, сколько получаете жалованья?

Я как-то промолчал и спросил:

— Тата, помните луг в Медведкове, старую сосну, ручей? Я не раз был там и видел этот луг в цветах и вас — улетевшее, светлое видение: призрак любви моей...

— Вы всегда и раньше были такой — странный...

— Какой? — спросил я.

— Костю! Вы всегда можете бывать в театре?

— Могу, — ответил я, — но не бываю.

— Как странно... А вы можете достать абонемент, амфитеатр партера, третий ряд? Вы, наверно, можете достать контрамарки. Да? А вы знаете, мама ведь умерла моя, вот уж скоро год.

У подъезда, на Балчуге, где была моя мастерская, я остановился.

— Тата... Я достану вам абонемент. Дайте ваш адрес. Я непременно пришлю вам билеты в театр...

И простился с Татой...

Мастерская моя показалась мне мрачной и ненужной. И я вновь вышел на улицу. Крикнул проезжавшему извозчику — и поехал в Медведково.

В Медведкове у ручья была лесная тишина. Лето, жаркий день... Стоя в ручье босиком, я смотрел на воду... Тихо журчал ручей — и светлое журчание его напоминало мне о прошедшем прекрасном, о мысе Доброй Надежды...

У колодца

В начале марта солнце уже светит как-то радостно. В лучах его есть веселье весны. В окно сбоку я вижу за большой елью ветви орешника. Они золотым узором блестят над голубой далью бесконечного мелколесья. Перед окном, близко, снегири в красных жилетках, красавцы, прыгают с ветки на ветку. Солнце освещает их. Они так восхитительны, так украшают сучки и ветви сада моего. Я говорю моему слуге, Леньке:

— Посмотри-ка, сколько снегирей, видишь, какие веселые. Рады, что весна скоро...

— Ведь их не едят, — говорит Ленька серьезно, басом, и подает мне длинную записную книжку, где Ленька записывает расходы.

Я беру книгу и читаю. Написано: «Керосину, керосину, керосину, керосину, керосину, керосину».

— Что же это такое у тебя? Все «керосину, керосину».

— Сегодня на станцию поеду, — говорит медленно Ленька, — надо в лавку Мартьянову платить.

— Отчего ж ты всю книгу исписал керосином?

— Так, у нас карасину сколько выходит!.. Вы всю ночь пишете, две лампы горят...

— Ну, ладно! — говорю я, — возьми деньги в верхнем ящике и купи сразу два пуда керосину.

— А во что взять-то его?

— Ну — в бидон.

— Он худой... течет, в него ведь стреляли Пал Лисандрыч с Карауловым, цель ставили; на двести шагов стреляли из малопульки.

— Ну, ведро достань.

— Как же... ведро опоганишь, от его карасином пахнуть будет.

— Много же ведер у нас, — говорю я.

— Да много, — говорит мрачно Ленька, — их все в колодце оставили. Там что-то нехорошо, говорят...

— Что нехорошо? — спрашиваю я.

— Дедушка говорит, что нельзя воду из него брать. Афросинья опустила ведро, а его как дернет!.. Она посмотрела в колодец и сказала: «Ишь, леший дергает...» А ей из колодца тоже говорит кто-то: «Ишь, леший...» Она воду теперь на деревне берет.

— Что ты? — говорю я. — Неужели ты веришь такой чуши?

— Я, — говорит Ленька, — не верю. Только они боятся воду брать. Оттуда кто-то тоже говорит, прямо вот как человек... Я сам слышал...

— Что за ерунда, постой.

И стал надевать валенки, пошел в переднюю. Говорю Леньке:

— Пойдем. Давай ведро.

У колодца колесо и перекладина, на ней веревка. Я зацепил ведро, оно быстро пошло в колодец, раскручивая веревку с переладины. Стукнулось о воду. Глубокий колодец. Я завертел колесо, поднимая. Ведро застряло. Не шло кверху.

— Вот! — сказал Ленька.

Дедушка, сторож дома моего, тоже пришел и смотрел.

— Ну, что, — говорю я, — задело?

— Вот, вот, — говорит бабушка, — с чего это? Боле месяца не пускает, хоть што тут. И молитву Феоктист читал, ан, ну, вот возьми...

— Это что-нибудь бросили туда, — сказала я и опять сильно повернул колесо. Ведро пошло.

Ленька помог мне, стал вертеть ручку. Ведро поднималось. Я смотрел в колодец и сказал:

— Идет.

Из глубины колодца голос ответил: «Идет». Я наклонился и сказал: «Кто ты там?» Голос ответил: «Кто ты там?» И так ясно, свежо и совсем другим голосом. Впечатление было, что, правда, будто кто-то сидит на дне.

— Пускай опять ведро, — сказал я Леньке.

Голос из глубины тихо сказал: «Пускай опять...»

— Это верно, — с улыбкой говорю я, — там кто-то сидит...

— Кто его знает, — подтвердил бабушка, — только вот не пускает ведро-то. Ведь чего еще, восемь ведер там оставили. Ты сюды тащишь, а он туды тянет, — вот што. И прямо человеческий голос... и где? — в колодце. Ты ему говоришь, а он тебе тоже наперекор. Вот и узнай, чего это... Живешь, а вот эдакое и заведется...

Это было, конечно, эхо. Голос его был так молод, так манящ, так бодр, что воображение рисовало какого-то юношу, сидящего там, глубоко в колодце...

Должен сознаться — где-то в глубине души и я готов был верить, что в колодце и впрямь поселилось таинственное существо...

Среди суеты и шума жизни, больших работ в театре мне было всегда отрадно уехать в глушь, где стоял дом мой, на трех десятинах земли.

Какое восхищение! Живет радость. Этот дом мой и сад около дома, вроде куска леса, внизу речка в кустах черемухи, утро, вечер, смена созерцания, солнце, лето, зимой метут метели, вьюги. Летом сад, как рай. Пение птиц, малинник, березы у сарая. Какое утро! Мне никогда не было скучно в деревне. Ко мне приезжали и приходили мои друзья-охотники. Их рассказы были полны особенных впечатлений, таинственных настроений природы, особенностей русского духа.

Мне казалось, что я живу в раю.

Вот и теперь пришел ко мне крестьянин Герасим Дементьевич и говорит:

— Лисеич, один ты, поди, скучаешь?

— Нет, — отвечаю я, — видишь — картину пишу.

Герасим подошел и смотрит мою картину. Помолчав, говорит:

— Хитрое дело... Ишь, списал, свечи горят, а там, в окне, сумереет. Эвона месяц из-за лесу выходит. Ну, скажи, Лисеич, и кому такая картина нужна? Скушно ведь... Ты бы написал, как бурмистров гончий кобель за зайцем лупит. Вот это была бы картина. Вот, Лисеич, услышал — один ты, ну и пошел проведать. И вот что вышло, послушай. Иду это я, знаешь, у леса, где курган, на Кусковке, значит, обрыв большой. Иду. Слышу, в овраге внизу, под обрывом, кто-то так жалобно «Ох-ох» кричит. Я подошел к краю, гляжу — внизу человек. По снегу на четвереньках елозит. Поду-

мал: «Чего это он здесь?», — да крикнул. Он встал и глядит кверху на меня, плачет да охает жалостно. Гляжу: это Семен-угольщик.

— Семен, — кричу ему, — чего это ты?

А он снизу кричит:

— Помоги, пропадаю...

Я сбоку по отлоге спускаюсь к нему. Узнал меня, говорит: «Герасим, помоги, чего это со мной, прямо незнамо как с кручи-то я сорвался...» Круча-то велика, летом бы насмерть убился. Говорю: «Чего это ты, Семен, пьян, что ли?» А он говорит: «Чего пьян... Шел от Пречистой, говею я, шел, призадумался — какие грехи у меня, думаю, что попу говорить буду. Иду и считаю грехи-то. Ну, был выпивши, — насчитал восемь раз. Да, под Покрова, верно, сильно пьян был. Ну, еще что? Бревно, верно, из казенника спер: надо было у печки в избе подпор поставить, а то печь кривит. Ну, какой грех, все одно в лесу сгниет. Ну, и еще, верно, в пятницу молочище с кашей хлебал. С кузнецом поругался, ну и еще... А как-то вроде голос во мне и говорит: “А Акульку-то помнишь, сукин сын...” Да как ахну с обрыва кубарем и лечу прямо вниз. Так и эдак, по сучьям, бьет в лицо, ух ты... И ударило оземь, хлоп... Хорошо — снег... Вот ведь что...»

— Вот из-за баб-то как выходит, — говорит, смеясь, Герасим. — Сбился с дороги, снег, сугробы...

— Куда ты, — говорю, — Герасим Дементьич, Семена довел? Хороший мужик.

— Куда? К вам привел, на кухне сидит сейчас. Может, дашь, Лисеич, какого лекарствия, рожу-то он раздрал...

Вошел Семен, высокого роста, черный, курчавый. Перекрестился на икону. Лицо исцарапано.

— Ненароком к вам, — говорит, — зашел. Больно ногу зашиб.

— Садись, — говорю, — Семен, чай пить — озяб поди.

— Чего озяб... — сказал Семен, — с кручи летел, жарко было. Да вот нога...

— Постой, — говорю я, — покажи-ка ногу.

Семен снял большой валенок и засучил плисовые штаны. Коленка опухла.

— Ничего, Семен, — пройдет.

Семен, выпив чай, перевернул стакан на блюдце, встал, сказал:

— Ну, домой надоть выбираться.

Вдруг он крикнул:

— Ух ты... — и опять сел. — Ух, нога... Вот ведь что. Верно, бабье — блуд. Я и не знал... Ох, больно. Хошь кричи. Как дойду ли...

Семен идти не мог.

— Оставайся, — говорю я, — Семен, ночуй, а завтра в Петров отвезут тебя, в больницу.

* * *

Утро. В доме никого. Все ушли. Я надел шубу и вышел на крыльцо. Смотрю, а все у колодца. Герасим что-то смеется, а Семен так серьезно, нагнувшись, кричит в колодец:

— Заладил одно — «Грех, грех, грех», — сердится Семен и опять кричит в колодец.

Я подошел и говорю Семену:

— Вот в колодце-то у меня оракул сидит.

— Не слыхано дело, — говорит Семен.

— Да это эхо, Семен. Что скажешь — то оно тебе то же в ответ.

— Вот, вот, — соглашается Семен, выпучив глаза. — Ну, и дурак же! Я ему: «Грех», и он заладил — «грех, грех, грех». А какой грех? Я вдовый, и она тоже вдовая. Акулина-то...

— Ну, легче нога-то? — спросил я Семена.

— Маненько полегче. До фельшера Герасим довезет...

И до чего чуден народ. Такого и нет нигде...

Русские художники-пейзажисты

Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов

В моем воспоминании являются живые образы любимых людей. Еще в раннем детстве я помню Льва Львовича Каменева. Это был высокого роста скромный юноша. Он приходил в наш дом в Рогожской улице, в Москве, приносил показывать моему отцу и матери свои небольшие картины — этюды, написанные с натуры.

Эти пейзажи, сделанные в окрестностях Москвы, меня, семилетнего мальчика, поражали и очаровывали.

Мой дед, Михаил Емельянович Коровин, увидав, что Л.Л. Каменев питает страсть к живописи, дал Каменеву пять тысяч рублей для поступления в Академию Художеств в Петербурге. Л.Л. Каменев служил в конторе моего деда.

Мой дед, как мне потом рассказал Каменев, сказал ему:

— У тебя, Лев, есть охота и страсть к искусству. Учись, но знай — путь твой будет тяжел и одинок. Знай, Лев, много горяхватишь ты. Мало кто поймет и мало кому нужно художество. Горя будет досыта. Но, что делать. И жалко мне тебя, но судьба, значит, такая пришла. Ступай.

И Каменев уехал в Академию художеств в Петербург, окончил ее с золотой медалью и был послан за границу.

Когда мне было пятнадцать лет, и я уже был в московской Школе живописи, ваяния и зодчества, где и брат мой, Сергей, то на лето я и брат, художники Эллер и Сильверстан уехали близ Звенигорода в Саввинскую слободу — там на горе стоял старый монастырь Саввы Звенигородского. Внизу, к лугам, расстилалась красавица Москва-река. Место было прекрасное.

В Саввинской слободе уже давно жил в преклонных годах Лев Львович Каменев. Когда мы там поселились, то пришли с братом Сергеем к Каменеву. Я его не узнал. Он был седой и понурый старик. Очень обрадовался нам и вспомнил, когда мы были детьми. Вспомнил дом и деда моего, и отца, и Рогожскую улицу. Его большая фигура, одетая в блузу, была как-то тяжела. Он медленно передвигался, и в грустных глазах его было что-то тяжелое, надорванное. На стене висели приколотые кнопками небольшие этюды. В них сквозила какая-то неземная поэзия русских лесов, дорог, холмов, покрытых кустами, и освещенные вечерним солнцем деревни и монастырь Св. Саввы. Большая картина, которую он писал, была совершенно другая — приглаженная, пухлые цветные деревья и что-то сладкое, не похожее на этюды.

Помню, потом Л.Л. Каменев, угрюмый и нелюдимый, часто звал меня к себе пить чай. Я приходил к вечеру, он угощал меня медом, ватрушками и рассказывал мне про моего деда и отца, который уже умер. И когда говорил про деда, то крестился.

— Хороший был у тебя, Костя, дед. Таких людей теперь и нет. И правду сказал мне он: «Лев,хватишь ты горя». Правду сказал. Я горя хватил досыта. Вот, один остался. Две жены схоронил. Одна-то ушла. Кому надо, и правду сказать. Вот в деревне все нужду мыкаю. Здесь схоронил. И двое детей. Давно. Захворали, померли. Один, Костя, так ты, как это так — тоже живопись... Кто тебя это надоумил — в художники?..

Помолчав, он вздохнул и сказал:

— Эх, дед умен был у тебя. И любил он музыку. Да и живопись. Понимал. Богат был. А все-таки, ты как знаешь, нохватишь горя. Ведь оно, искусство, никому не нужно. Так, разве один-другой. И никто не понимает. Мало кто...

— Какие у вас, Лев Львович, прекрасные этюды. Вот эти, — показал я, где они висели.

— Да, этюды ничего, — ответил Лев Львович. — Вот этот, — показал он на стену. — Но они кому же нужны? Никто и не поймет. Никто не купит. Вот картину пишу, видишь, флейцем глажу, полирую, — сказал он, смеясь. — Вот как отделаю под орех, может, купят, а то и нет. Алексей-то Кондратьевич Саврасов, какой художник. Какой! Такого и нет, и за границей мало. И что ж? Ну, рубль, в кармане, мало кому нужно. Эх, Костя,хватишь горя. Норовят ведь задаром купить. И раму, такую золотую. Пейзаж считается — только швейцарский вид; гора, барашки чтобы были. А разве есть пейзаж в России? Нет. А кто богат, норовят за границу уехать. Там виды настоящие. А у нас нет. У нас скука. Верно говорю я. Не видят красоту-то свою. Не видят, скучают. Вот недавно я у Васильчиковых был, тут недалеко. Имение, прекрасное, какой сад! Так что же. Молодая вышла ко мне. Голова обернута полотенцем, бледная, мигрень от скуки. «Не дождусь, — говорит, — когда с мужем в Баден-Баден уеду».

А я ей говорю: «Что вы, Марья Сергеевна, посмотрите — красота какая, весна. Аллея липовая. Тень от нее какая к реке. А река светлая». Вдруг она мне:

— Если вы мне еще будете говорить, то я поссорюсь с вами. Это скука. Тут и дорожек нет настоящих гулять под зонтиком. Тоска.

— Вот и возьми. Какие же им картины нужны? Саврасов написал «Грачи прилетели». Ведь это молитва святая. Они смотрят, что ль? Да что ты, Костя, никому не нужно. Прав был твой дед: «Хватишь, Лев, горя», — сказал мне, правду сказал. Умный был человек Михаил Емельянович. — И Каменев перекрестился большой рукой. — Да ведь вот что. Помню я, какой художник там был — Коро. Ах, художник. И что ж? Поняли его у самой его могилы. Все так. Твой-то отец, Алексей Михайлович, — продолжал Каменев, — хорошо рисовал. И мать тоже. Вот ты и брат твой оттого и полюбили искусство. Толькохватишь горя — увидишь. И чем лучше будешь, тем и горя больше...

Долго я думал потом, и ночью, о словах Льва Львовича. Но не совсем верил, и юное сердце мое не принимало горя. Я радовался жизни и природе и принес показать свои работы Льву Львовичу Каменеву. Каменев смотрел долго и серьезно и, посмотрев на меня, сказал:

— Ну, что ж? Да. Но это никому не нужно — что ты пишешь. Тут дорога, курица ходит, и сарай. Это — плетень, лужа, травка. Опять сарай. Это что ж такое? Вот еще

сарай. Это не пейзаж. Что ты! Нужно деревья, вода, даль, возвышенность, а это? Чудно.

«Вот такая история, — подумал я. — Но мне так нравится плетень и сарай, кусок сена. И совсем не нравятся эти пухлые деревья». Долго я думал, придя домой. Думал, что же это значит, этюды Каменева восхитительны, а картины совсем не то. Что же это такое? Эллер¹ и Сильверстван пишут какие-то пейзажи, кудрявые, зеленые, мне совсем не нравятся. Да и места такие выбирают, которые мне тоже не нравятся.

Как-то раз у избы, где жил Каменев, стояла коляска, запряженная парой прекрасных лошадей, и около ходил кучер в бархатном камзоле с голубыми рукавами. Шапка — с павлиньими перьями. К Каменеву приехал какой-то князь и Васильчиковы. Вечером меня и брата позвал к себе Лев Львович. У него был накрыт стол, сидел крестьянин, хозяйин и хозяйка дома, священник, дьякон, два монаха, и на столе была колбаса, селедка, калачи, баранки, водка и кагор в бутылке.

— Вот, — говорит Каменев, — вот спасибо. Вот ведь что, спасибо царю. Купил у старика картину. Вот и деньги привезли. Тысячу рублей. Ждал ли я. Господи! — и Каменев плачет, крестясь. — Спасибо, спасибо, царь, тебе. Дай Бог тебе... Теперь на деньги-то эти я пять лет, нет, больше, жить буду. И писать.

Но Каменев не прожил пяти лет и умер в ноябре осенью в том же году.

* * *

Алексей Кондратьевич Саврасов был профессором в Школе живописи, ваения и зодчества в Москве, где я учился. Это был мой профессор, автор картины — «Грачи прилетели». И многих других восхитительных картин, которые редко кто видел, так как они были не в галерее, а в частных собраниях.

А.К. был огромного роста и богатырского сложения. Большое лицо его носило следы остатка оспы. Карие глаза выражали беспредельную доброту и ум. Человек он был совершенно особенной кротости. Никогда не сердился и не спорил. Он жил в каком-то другом мире и говорил застенчиво и робко, как-то не сразу, чмокая, стесняясь.

— Да, да. Уж в Сокольниках фиалки цветут. Да, да. Стволы дубов в Останкине высохли. Весна. Какой мох! Уж распустился дуб. Ступайте в природу, — говорит он нам. — Там — красота неизъяснимая. Весна. Надо у природы учиться. Видеть надо красоту, понять, любить. Если нет любви к природе, то не надо быть художником, не надо.

— А как, Алексей Кондратьевич, нужна в пейзаже даль — деревья большие и воды? — спросил его однажды ученик, Мельников.

— Не знаю, — ответил Саврасов. — Не надо, а может быть, и надо. Я не знаю. Можно просто написать, что хочется, — хорошо только написать. Нужна романтика. Мотив. Романтика — бессмертна. Настроение нужно. Природа вечно дышит. Всегда поет, и песнь ее торжественна. Нет выше наслаждения созерцания природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна. Да, тайна. Прославляйте жизнь. Художник — тот же поэт.

— А как же писать, с чего начинать? — спрашивают его ученики.

— Не знаю, — опустил глаза, говорит Алексей Кондратьевич. — Нужно любить. Форму любить, краски. Понять. Нужно чувство. Без чувства нет произведения. Надо быть влюбленным в природу — тогда можно писать.

¹ Правильно: Эллерт.

— А если я влюблен в музыку, — говорит ученик, — то все же, не умея, не сыграешь на гитаре.

— Да, да, — ответил Саврасов. — Верно. Но если он влюблен в музыку, то выучится и будет музыкант, а если нет, то трудно, ничего не будет.

Мы слушали Алексея Кондратьевича и были в восхищении. Шли в природу и писали с натуры этюды и говорили друг другу, указывая — «это не прочувствованно», «мало чувства», «надо чувствовать», — все говорили про чувства.

* * *

Как прекрасны вечера, закаты солнца, сколько настроения в природе, ее впечатлений. Эта радость, как музыка, восприятие души. Какая поэтическая грусть.

— Вот, говорят, в Швейцарии настоящий пейзаж? — спросил как-то Саврасова кто-то из учеников.

— Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. Прекрасно, — сказал Алексей Кондратьевич. — Но кому что. А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет, разнообразие, весна какая, и осень, и зима. Поет, все поет. Только небо прекрасно в Италии... А пейзаж в Швейцарии. А у нас нет разве неба, гор нет? Как быть? Да, плохо, нет озер... Да... А там Женевское озеро.

Саврасов опустил голову в раздумьи.

Помолчав, Алексей Кондратьевич встал, надел пальто, взял палку и собрался уходить из мастерской.

У дверей он остановился и, подумав, сказал:

— Там, в Италии, было великое время искусства, когда и властители, и народ равно понимали художников и восхищались. Да, великая Италия. Теперь во Франции прекрасные художники. И у нас было искусство. Какое! Какие иконы. Новгородские. Прошло. Забыли. Мало, очень мало кто понимает. Жаль. Что делать? Да, бывает время, когда искусство не трогает людей. Музыка тоже. Глохнут люди. Странно, что люди есть, которые понимают и чувствуют искусство, музыку, живопись. Да, а есть глухие, вечно слепые, не слышат и не видят. Есть такие. И их больше. Это совсем другие люди, и думают они как-то иначе. Я заметил это. Как быть?

И Саврасов, повернувшись, ушел в дверь.

А.К. Саврасов

Осенью, по приезде моем из Саввинской слободы, перед окончанием Училища, когда мне было двадцать лет, А.К. Саврасов все реже и реже стал посещать свою мастерскую в Училище. Говорили, что Саврасов болен. Однажды мы, ученики его: Мельников, Поярков, Ордынский, Левитан, Несслер, Светославский, Волков и я, приехавшие из разных мест, показывали друг другу свои летние работы, этюды. Неожиданно к радости нашей в мастерскую вошел Саврасов. Он очень изменился, в лице его было что-то тревожное и горькое. Он похудел и поседел, и нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно: на ногах его были серые шерстяные чулки и опорки; черная блуза повязана ремнем; на спине был плед; шляпа с большими полями, грязная и рваная, шея повязана красным бантом.

— Ну, что? — сказал он, как-то странно улыбаясь, — давно я не был у вас. Да, да... давно. Болен я, и вообще...

Мы показывали ему свои работы, с каким-то трепетом ждали, что он нам скажет, удивленные его печальным взглядом и странностью одежды. Раскладывали на полу этюды.

А.К., сидя, смотрел их, прося некоторые поднять и держать в руках.

— Как молодо, как прекрасно, свежо! А вот тут «замучено», старался очень — не надо стараться... Муза не любит. Да, да... А вы знаете, муза-то есть, есть... редко с кем она в дружбе, капризна муза. Заскучает и уйдет. А как вы думаете, муза легкомысленна или серьезна? — И Саврасов как-то вопросительно посмотрел на нас и, странно улыбаясь, добавил: — Муза — умная дама и дружна бывает с самым легкомысленным человеком... Как странно!.. Ну да. Прекрасно, молодо, мне нравится, что вы никому не подражаете... А вот недавно погас юный, как вы, Васильев... Это художник был огромный, я поклонялся этому юноше. Умер в Крыму — горловая чахотка. Я просил одного дать ему под картины денег, нет — боялся, пропадут деньги... Да, да — боялся. И погиб юноша... Сколько он стоил, Васильев-то? Никто не знает. И, вообще, — как расценивать? — в голосе его была горечь. Вот это... — показал он на пол, где лежали этюды... — Я не знаю, что стоит серенада Шуберта или две строчки Александра Сергеевича Пушкина:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

Да, да... Ничего не стоит... На ярмарке вот все известно, что стоит. Вот, да, да... А так это вот — ничего не стоит...

Саврасов как-то рассеянно посмотрел кругом и продолжал:

— А я долго не был, хворал несколько. Да... Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа, возвышайтесь чувством... Велико искусство...

И Саврасов встал и как-то торопливо пошел. У двери он остановился, обернулся и, растерянно улыбнувшись, сказал:

— Я не совсем здоров... Ну, до свиданья...

И ушел.

Алексей Кондратьевич все не приходил. Вечером как-то солдат Плаксин, убиравший мастерскую, сказал мне:

— Да ведь он запил, запой у него случился. Человек ён голова, добрейший. Летом-то вот он писал здесь картины... Хороши!.. Пьет, пьет, а закуска цела.

Плаксин встал передо мной, уперся в метлу и так серьезно продолжал:

— Пьешь ежели, то закуси, а ето что без закуски, оченно вредно... У нас во втором взводе и... полковник был, и... человек-душа прямо — сторел, себя вином сжег, без закуски потому... Ты выпил, значит, — дэк закуси, оченно пользительно. А они не евши. Водка — она прямо кого хошь в гроб кладет, не глядит, будь ты хошь генералом или вот што я. Ей все одно — сгубить.

В марте, когда уже чувствовалось дуновение весны и снега разрыхлялись, дворники кирками кололи московские тротуары, шел я с вечернего класса, пробираясь к

себе в Суццево, где жил. Великий пост. Колокольный звон уныло разносился над Москвой. Задумывалась душа.

Переходя у Самотеки Садовую улицу, я сзади себя услышал голос: «Костенька».

И, оглянувшись, увидел Алексея Кондратьевича: в короткой ватной кофте с пледом на плечах. Что-то было мрачное в его огромной фигуре. Я подошел к нему — он ласково улыбался.

— Что? — спросил, — с вечерового домой идешь?

— Здравствуйте, Алексей Кондратьевич, — обрадовался я.

— Вот что, Костенька, пойдем. Пойдем — я тебя расстегаем угощу, да, да... Деньги я получил. Пойдем...

И он взял меня за руку.

— Пойдем вот сюда, — показал он на угловой трактир.

Проходя мимо ряда извозчичьих саней, лошадей с подвязанными на мордах мешками с овсом, мы вошли на крыльцо деревянного дома трактира. Сразу, когда вошли, пахло теплом, чаем, запахом пива. В трактире было много народа, больше извозчиков. За длинной стойкой в жилете и голубой рубашке навывпуск — хозяин, а за ним на полках бутылки. Бойко половые в белых рубахах носят подносы с чайниками и бутылками.

Саврасов прошел в глубину, где было просторнее, выбрал стол у окошка, сказал мне:

— Садись...

А сам пошел к стойке и стал о чем-то говорить с хозяином.

Когда он возвращался ко мне, то при свете ламп я увидел, что одет он странно, на него посматривали, оборачивались сидевшие за столами.

«Что это такое?.. — подумал я, — что с Алексеем Кондратьевичем случилось, что он так странно одет?..»

Подойдя, Саврасов снял с шеи большой намотанный на ней шерстяной шарф, сбросил плед, снял шляпу и положил около на стул. Воротник его грязной рубашки был повязан ярко-красным бантом... «Как странно!..»

— Да, Костенька, — сказал он, — да, мы с тобой сейчас расстегаи... Тут умеют... И уха. А сначала тарань...

Расторопный половой поставил тарелки и большую копченую селедку и подал в графине водку и рюмки. Алексей Кондратьевич оставил одну рюмку, сказал половому:

— Убери. Подай грузди.

Налил из графина рюмку, и я увидел — когда он ее подносил ко рту, как дрожали его большие пальцы. Выпив, взял рукой кусок тарани и ел с пальцев, глядя на меня темными глазами, особенными. Глаза, как какие-то пуговицы, а не глаза, глядели на меня. Он опять жадно пил и ел долго, молча. И вдруг сразу оживился, глаза изменились, как будто он проснулся, что-то вспомнил и улыбнулся. Сказал:

— Деньги... да, да, деньги... Я деньги сегодня получил. Немного. Не платят много. Но приятные деньги. Да, да... Человек приятный, понимает, не слепой, серьезный. В душе любовь у него, с чувством человек. Вот видишь ли, Костенька, какой я чудной, никак одеться не могу, все вроде пошло. Галстук красный, надену — думаю лучше, все же я артист, ну... пускай смотрят. А вот ему все равно, понимает, ему все равно — какой я, он понимает, что жизнь гонит кого как. Он уважает искусство — картину

уважает... Видно, когда смотрит, ясно видно. Скупой, конечно, но деньги его приятны. А вот есть тяжкие деньги, есть такие деньги за картину, с соусом, а соус такой — с упреком, поучением, и видно, что благодетель. Он, конечно, поднадуть хочет тебя, в нем человека йоты, одной йоты нет... Ну, доволен, доволен — Бог с ним, все равно, спасибо и тому. Павел Михайлович Третьяков — большой человек. Скажи, Репин — его картину купила бы Академия или вельможи наши? — нет не купили... И Репин не мог бы писать. Кто собрание сделал — Третьяков, фабрикант. Это не просто. Это — гражданин. Это — человек. Он мыслил, любил, Россию любил. Хочет взять у меня картину. Елки по овражку идут, вниз спускаются к родничку. Трудная вещь, зеленая. Ничего. Не кончена, не могу окончить, лета жду, зимой не могу. Пришел я к нему в контору. Говорю: «Да вот, Павел Михайлович, нужно мне полтора ста рублей, очень нужно». А он смотрит на меня и платком нос трет, и думает, и говорит мне:

— Вы бы, Алексей Кондратьевич, окончили бы елки-то. Хороша картина... Ну и получили бы сразу все. Да... Подождите, — говорит... — Эх-ма, я сейчас вернусь и принесу вам из конторы деньги.

И ушел.

«Как странно...» — подумал я, и сделалось мне как-то страшно и унижительно. Я взял и ушел. Рукавишникову говорил он: «За что на меня обиделся Саврасов?» И нашел он меня, да, нашел. Только елки уж я отдал другому. Хороший человек... Да, да... Всем чужие мы, и своим я чужой. Дочерям чужой...

Саврасов налил водку и выпил.

— Куда? Куда уйти от этой ярмарки? Кругом подвал, темный, страшный подвал, — я там хожу...

Глаза Алексея Кондратьевича остановились и тупо смотрели куда-то. В них была жуть. Я взял его большую руку, взволнованный, сказал:

— Не пейте, Алексей Кондратьевич, вам вредно... не пейте...

— Молчать, щенок! — яростно вдруг крикнул он, вскочив. В его глазах блеснул синий огонь. Он быстро пошел по трактиру к стойке буфета, как-то топая по полу опорками. Одна опорка соскочила с ноги, он нагнулся, стал растерянно тянуть чулок и упал.

Я подбежал к нему, надел опорку на ногу и помог ему встать.

У стойки он платил деньги и еще пил. Вернулся к столу, обмотал шею шарфом, надел плед, шляпу, сказал мне: «Пойдем».

Фонари светились у крыльца трактира.

— Прощай, Костенька, — сказал он, — не сердись. Не сердись, милый мой... Не сердись — болен я. Я приду к вам, когда поправлюсь. Вот довели меня, довели... Пойми, я полюбил, полюбил горе... Пойми — полюбил унижение... Пойми. Я приду. Прощай. Не провожай меня.

И, повернувшись, пошел, шатаясь, у забора переулка и скрылся в темноте ночи.

Проходя к дому в Сущево, вижу за забором темный сад. И в ветвях деревьев слышу шелест птиц. Дома лег в постель и думал: «Подвал... Алексей Кондратьевич, Алексей Кондратьевич!.. Как страшно!..»

Утром солнце светило в окно.

— Смотри, Костя, — сказала мне мать. — Встань, посмотри в сад, грачи прилетели.

И я видел, как больное лицо матери обращено вверх на деревья сада. И я ушел к себе в комнату и, уткнувшись в подушку, горько заплакал.

В.Д. Поленов

Академик живописи В.Д. Поленов окончил С.-Петербургский университет по историко-филологическому факультету. Одновременно учился живописи в Академии художеств в Петербурге и кончил Академию художеств совместно с И.Е. Репиным. За программную работу «Воскрешение Христом дочери Иаира» тот и другой получили поездку за границу для совершенствования в искусстве.

Перед окончанием Московского училища живописи и ваяния мы, пейзажисты, узнали, что к нам вступит профессором в Училище В.Д. Поленов. На передвижной выставке был его пейзаж: желтый песочный бугор, отраженный в воде реки в солнечный день, летом. На первом плане большие кусты ольхи, синие тени, и среди ольх наполовину ушедший в воду старый гнилой помост, блестящий на солнце. На нем сидят лягушки.

Какие свежие, радостные краски и солнце! Густая живопись.

Я и Левитан были поражены этой картиной. Я тоже видел синие тени, но боялся их брать, — все находили: слишком ярко.

Я и Левитан с нетерпением ждали появления в Школе Поленова. Натурный класс, ученики все в сборе. Он пришел. В лице его и манерах, во всем облике было что-то общее с Тургеневым. Он принес с собой сверток, из которого вынул старую восточную материю и белый лошадиный череп. Тщательно прибил материю к подставке, где ранее помещался натурщик, и повесил на фоне материи лошадиную голову.

Мы, ученики, поставили мольберты и заняли места.

— Я вам поставил натюрморт, — сказал Поленов. — Вы будете его писать после живой природы.

И ушел.

Половина учеников недоумевала. Говорили — в чем дело? Живая натура лучше, потом — почему череп лошади? Голову человека писать труднее, это ерунда, и прочее. Осталось в классе учеников менее половины: писать натюрморт было не обязательно, потому многие и ушли.

Я спросил Левитана, будет ли он писать.

— Да, пожалуй, — согласился он.

Я и рядом со мной А.Я. Головин начали писать череп.

Через два дня пришел Поленов и сказал ученикам, что отношения красок они берут не те.

— У вас нет того разнообразия, как в натуре. Отношение неверно.

Я в первый раз услышал об отношении красок.

Поленов подошел ко мне, сел на мое место, посмотрел работу и сказал:

— Вы колорист. Я недавно приехал из Палестины и хотел бы вам показать свои этюды.

Я сказал, что я очень рад.

Он вынул из кармана маленький бумажник, достал визитную карточку и подал ее мне, а также записал мой адрес.

«А Поленов — какой-то другой», — подумал я.

В большом особняке дома, у сада, в Купальне, куда я пришел, Поленов показывал мне свои этюды Палестины. Они были разнообразны. От самых маленьких, не более вершка, до больших. Они были колоритны, талантливы. Генисаретское озеро, храм Соломона, часовня Гроба Господня и много других.

— Я начинаю большую картину, — сказал он мне, — «Христос и грешница». У меня к вам просьба. В свободное время вы немножко попозируйте мне, полчаса. Я с вас немного напишу. Мне нужно.

У Поленова в большой комнате-мастерской было особенно нарядно. Висели старые восточные материи, какие-то особенные кувшины, оружие, костюмы. Все это он привез с Востока. Это все было так непохоже на нашу бедность.

И когда я вернулся домой, контраст с моей комнатой в Суцееве был велик и резок. Я вспомнил Саврасова. Как эти люди были разные!..

Поленов был хорошо одет, по-европейски, а я, в наше Училище нельзя было прийти в крахмальной рубашке или повязать себе галстук. Это было нарушение каких-то особых традиций.

Когда Левитан надел белый галстук, Е.С. Сорокин сказал ему:

— Ты что, на свадьбу нарядился. Сними, а то попадет!..

Поленов в классе нам показывал фотографии художника Фортуну, испанца, — Фортуну был в то время в славе, — и говорил нам:

— Вот Фортуну отличный художник, пишет мозаикой, один за другим отдельно накладывая каждый мазок, разные — по тону и цвету.

Действительно, Фортуну хорошо рисовал. Но почему-то я, смотря на фотографии его живописи, думал: «Какое внимание и ловкость, но не трогает меня, не увлекает». Я сказал это Поленову. Тот удивился.

— Вы импрессионист? Вы знаете их?

— Нет, — ответил я. — Не знаю ни одного.

Поленов был потому в недоумении, что совершенно так же ему ответил и Левитан. Тогда он стал говорить нам об импрессионистах.

Как-то Поленов пригласил меня к Савве Ивановичу Мамонтову.

За вечерним чаем, где были Васнецов, Поленов, Репин, я увидел впервые Мамонтова — особенного человека. Он был веселый, простой.

— Пойдемте в мастерскую, — предложил Савва Иванович. — Я вам покажу портрет одного испанского художника. Вот Илья Ефимыч видел и говорил, что испанцы молодцы в живописи: все пишут ярко, колоритно.

Смотрю, а в мастерской на мольберте стоит мой этюд — голова женщины в голубой шляпе на фоне листьев сада, освещенных солнцем. Этот этюд взял у меня раньше Поленов.

— Да, — сказал Репин, посмотрев мой этюд. — Испанец! Это видно. Смело, сочно пишет. Прекрасно. Но только это живопись для живописи. Испанец, правда, с тем-перamentом...

Савва Иванович смеялся, смотря на меня, потом сказал:

— Но, послушай, а если это не испанец, а русский, тогда как?

— Как русский? Нет, это не русский...

— Вот он испанец! — сказал Савва Иванович, указывая на меня. — Чего вам еще? Тоже брютет, чем не испанец?..

И Савва Иванович, обняв меня, захохотал.

Васнецов, подойдя, сказал:

— Разыграл нас Савва. Нет, это, правда, написали вы?

— Да, — говорю я. — Это я.

— А вот, представь, — сказал Поленов. — Поставил я этот этюд на выставку Общества поощрения художеств, и все были против. Не приняли его.

* * *

При вступлении в Училище В.Д. Поленова, как я уже сказал, среди учеников и преподавателей появились какие-то особые настроения. Ученики из натурального класса Перова, Владимира Маковского, И.М. Прянишникова, Е.С. Сорокина, т.е. «жанристы», не работали у Поленова — и нас, пейзажистов, было мало. «Жанристы» говорили, улыбаясь, что пейзаж — это, вообще, вздор, дерево пишут, можно ветку то туда, то сюда повернуть, куда хочешь, все сойдет. А вот глаз в голове человека нужно на место поставить. Это потруднее. А колорит — неважно, и черным можно создать художественное произведение. Колорит — это для услаждения праздных глаз. Пейзаж сюжета не имеет. Всякий дурак может писать пейзаж. А жанра без идеи быть не может. Пейзаж — это так, тра-ля-ля. А жанр требует мысли.

Между учениками и преподавателями вышел раздор. К Поленову проявлялась враждебность, а к стати, и к нам: к Левитану, Головину, ко мне и другим пейзажистам. Чудесные картины Поленова «Дворик», «Бабушкин сад», «Мельница», «Зима» — обходили молчанием на передвижных выставках. «Гвоздем» выставок был Репин — более понятный ученикам.

Ученики спорили, жанристы говорили: «важно, что́ писать», а мы отвечали — «нет, важно каќ писать».

Но большинство было на стороне «что́ написать»: нужны картины «с оттенком гражданской скорби».

Если изображался священник на заданных эскизах, то обязательно толстый, а дьякон — пьяный. Дьякон сидит у окошка и пьет водку. Картина называлась «Не дело».

Другое полотно: художник, писавший картину зимой, упал и замерз, палитра вывалилась у него из рук. Это полотно написал Яковлев. И назвал: «Вот до чего дошло!» Человек с достатком изображался в непривлекательном виде. Купец почитался мошенником, чиновник взяточником, писатель — умнейшим, а арестант — страдальцем за правду.

Среди молодых художников был Рябушкин, который написал небольшую картину «Чаепитие». Эта замечательная вещь была полна бытовой прелести и в то же время некоей подлинной неумышленной жути, какая и была в России. Написал как

художник, не задумываясь о сюжете. Но на нее никто не обратил внимания. А спустя долгое время она поразила всех.

Ученики Училища живописи были юноши без радости. Сюжеты, идеи, поучения отягощали их головы. Прекрасную жизнь в юности не видели. Им хотелось все исправлять, направлять, влиять. И спорить, спорить без конца.

* * *

Поленов участвовал на экзаменах искусств с равным правом голоса, как и преподаватели-жанристы. Но с этим не могли примириться: пейзаж — несерьезное искусство. Пейзажист не может быть судьей рисунка. Поэтому было изменено положение об окончании курса учеников. Пейзаж не мог быть программной задачей для окончания, и первый пострадал от этого Светославский. За его большой пейзаж-картину ему не дали звание классного художника.

И мы все — Левитан, Светославский, Головин и я — окончили Школу со званием неклассных художников.

Поленов мне сказал однажды:

— Трудно и странно, что нет у нас понимания свободного художества...

И Поленов ушел из Училища в отставку.

* * *

По выходе из Училища живописи, ваяния и зодчества в Москве В.Д. Поленов писал свою большую картину «Христос и грешница» и для собрания материалов для картины еще раз ездил в Палестину.

Он несколько раз показывал мне свою картину во время работы. Я как-то не совсем понимал, почему такой замечательный художник русского пейзажа, природы русской, так увлекался сюжетом давней истории и делал огромную картину на евангельскую тему.

Мне кажется потому, что принято было в это время писать большие картины. В.И. Суриков, прекрасный художник, писал всегда на исторические темы, иных картин он не признавал. Его большие картины «Боярыня Морозова», «Казнь стрельцов», «Меньшиков в ссылке» писались годами, и до окончания работы Суриков никогда никому их не показывал, тщательно оберегая, даже не говоря никому, что он пишет.

В этом была какая-то особенность, чисто бытовая, и все, кто писал картины для передвижной выставки, никогда не показывали их во время работы. Картина появлялась на выставке неожиданно. Об этом все говорили и писали газеты, и такая картина составляла гвоздь выставки. Мне казалось, что и Поленов тоже под влиянием этого писал такой «гвоздь».

Василий Дмитриевич показывал мне свою картину, как я уже сказал ранее неоднократно, и хотел узнать мое мнение. Василий Дмитриевич подружился со мной и как-то раз летом пригласил меня поехать с ним под Алексино на реку Оку, посмотреть место на Оке, где он хотел построить себе дом, чтобы жить в нем и лето и зиму, жить в природе. По дороге на пароходе до Алексина В.Д. Поленов рассказал мне про свою жизнь за границей и про свои замыслы в живописи. О том, что он хочет написать целый цикл картин из жизни Христа Спасителя.

За обедом на пароходе он налил мне и себе по рюмке портвейна и сказал мне:

— Вот прощу вас, тебя, будь со мной на ты.

— Василий Дмитриевич, я счастлив быть с вами на «ты», но вы мой учитель, и я прошу вас говорить мне «ты», так как вы старше меня, и это будет красиво...

— Ну, хорошо, — согласился Поленов. — Вот что, Константин, — сказал он, — прошу тебя серьезно, скажи мне правду — что, тебе нравится моя большая картина «Христос и грешница»? Скажи искренно, что в ней тебе кажется не так.

— Вот что, Василий Дмитриевич, мне все равно, что там действие, момент сцены и что женщина испуганно смотрит на Христа, который решит ее участь, убьют ее камнями или нет. Но в картине есть пейзаж, написанный по этюдам, как бы с натуры. В нем есть солнце страны. Но ваши картины и этюды с натуры русской природы мне больше нравятся. Ваша картина, вернее, ее тема, заставляет, так сказать, анализировать вопросы жизни, тогда когда искусство живописи имеет одну цель — восхищение красотой.

Поленов пристально смотрел на меня.

— А может быть, ты и прав. Я как-то и не думал об этом.

Спустя месяца три в мою мастерскую на Садовой улице в Москве, которая была в доме Арцыбушева, пришел Поленов и очень серьезно сказал:

— Я к тебе по делу. Вот что. Прошу тебя, не можешь ли ты дать мне возможность здесь у тебя в мастерской работать с натуры, ну, модель — мужчину или женщину, все равно. Но только давай мне уроки. Я мешаю краски несколько приторно и условно. Прошу тебя — помоги мне отстать от этого.

«Что такое?» — подумал я.

— Хорошо, — отвечаю, — только лучше, конечно, писать тело.

Поленов писал в моей мастерской натурщика-старика, и я тоже. И я помню, что всегда старался искать верные контрасты красок. Поленов мне помог обратить на это более глубокое внимание. И не он, а я все больше постигал тайну цвета...

— А верно... — один раз сказал Поленов, — хитра и таинственна натура в красках. Как жаль, что ты все пишешь декорации в театре, жаль, что твоя живопись, для которой ты не имеешь времени, редко появляется на выставках.

— Мою живопись, — ответил я Поленову, — как-то мало понимают, да и кому она нужна? А декорации я так же пишу, как и всё, и думаю, что это такое же чистое искусство. И я рад этому.

— Да, — сказал Поленов, — тебе начинают подражать. Чуть не каждый день я читаю газеты и всегда вижу, что тебя ругают. Как это странно. В чем дело? Почему твоя живопись волнует? Я понять не могу. У меня в доме сестра, жена, они жалеют, что ты пишешь декорации, и, представь, все спорят о живописи. Не сюжеты волнуют их, а именно сама живопись. Странно...

* * *

Вскоре ко мне приехал из Парижа мой приятель художник Цорн и остановился у меня. Поленов познакомился у меня с Цорном. В то время Цорн был в славе. Мы поехали вместе обедать к С.И. Мамонтову. Когда за обедом подали уху из стерляди — кусок большой рыбы лежал в тарелке, в прозрачной ухе, Цорн смотрел и не ел. Он испугался, побледнел и спросил Поленова, который сидел рядом с ним:

— Что, не змея ли это?

Как мы ни уговаривали его, что это рыба, — Цорн не ел.

Тут же за столом сидел огромного роста итальянец, тенор Таманьо. Он услышал про змею и тоже испугался и сказал:

— Остия! Это невозможно...

Как мы ни уговаривали, брали все в ложку кусок стерляди, показывали — «вот видите» — и клали в рот рыбу, ни Цорн, ни Таманьо не могли есть.

В Третьяковской галерее Цорн долго смотрел картины, особенно Сурикова, и сказал мне, что он поражен и восхищен этим собранием живописи.

— Я вижу особенность и силу собранных произведений, в них есть чисто русские свойства.

Поленов показывал ему свою картину «Христос и грешница». Но Цорн смотрел на висевший рядом на стене большой этюд, написанный с натуры Поленовым, «Зима в Олонецкой губернии» (откуда он родом), — деревенские избы на фоне высокого леса.

— Как это прекрасно, — сказал Цорн.

— Это потому, — ответил я, — что похоже на Швецию, на вашу родину.

— Нет, — ответил Цорн, — тут дивные краски...

Цорн, я и Поленов были приглашены на вечер к князю В.М. Голицыну. Кажется, он был в это время губернатором Москвы. Князь сам приехал и пригласил Цорна и нас. Его жена, Софья Николаевна Голицына, рисовала и писала красками. Народу на вечере было много, много дам света. Приехали посмотреть знаменитого художника-иностранца.

За большим круглым столом расположились гости за чаем.

— Теперь такая живопись пошла, — говорила одна дама. — Ужас! Все мазками и мазками, понять ничего нельзя. Ужасно. Я видела недавно в Петербурге выставку. Говорили, это импрессионисты. Нарисован стог сена, и, представьте, синее... Невозможно, ужасно. У нас сено и, я думаю, везде — зеленое, не правда ли? А у него синее! И мазками, мазками... Знаменитый, говорят, художник-импрессионист, француз. Это ужас что такое! Вы вот хорошо, что не импрессионист, надеюсь, у нас их нет, и слава Богу.

Я смотрю — Цорн как-то мигает.

— Да. Но и Веласкес импрессионист, сударыня, — сказал он.

— Неужели? — удивились дамы.

— Да, и он (Цорн показал на меня) — импрессионист.

— Да что вы. Неужели? — вновь изумились дамы. — А портрет Софи написал так гладко!..

Дорогой до дому Цорн спрашивал меня:

— Это высший свет?

— Да, — говорю я.

— Как странно...

Цорн молчал. А на другой день утром он собрал свои чемоданы и уехал в Петербург, к себе, в Швецию.

С большим чувством признательности я вспоминаю своих учителей живописи. Милого друга, Василия Дмитриевича Поленова. Какой скромной души был этот прекрасный художник. Как он любил нас, Левитана, меня и Ф.И. Шаляпина, для которого рисовал костюм Мефистофеля. Он говорил мне, что хочет написать земную жизнь Христа. «Никто меня так не поражает, — говорил он, — как образ Спасителя».

— Говорят, Алексей Кондратьевич Саврасов умер, — сказал я как-то Поленову, — в Ростокине под Москвой. Один. Это мне рассказал швейцар Училища, Плаксин. Он был на похоронах, и был Павел Михайлович Третьяков, больше никого. Говорят, что его покровителем был какой-то человек, который давал ему холсты, краски, кисти и ставил водку. И он писал бесконечно какие-то картины.

— Прекрасный художник был, — сказал Поленов. — Я познакомился с ним и говорил, но он как-то застенчиво отклонялся, и видимо было, что он был болен. В огромной России Академия художеств, московская Школа живописи, киевская, одесская. А как мало художников. И какая трудная жизнь их. А знаешь ли, должно быть, это секрет жизни. Поэт, писатель, художник. Их забывают. Как ненастоящих. Гаснет и умирает много энергии, которая восхищала, потом делается дешевой. Кажется, не только у нас, нигде не бывает много истинных артистов.

Три года назад я получил письмо здесь, в Париже, что умер Василий Дмитриевич Поленов.

Письмо было от его жены, Наталии Васильевны. Она трогательно написала мне, что Василий Дмитриевич, умирая от старости, был в полном сознании. «За два дня до смерти он сказал мне, — писала жена. — Достань мне этюд Константина, речку в Жуковке. И повесь здесь, передо мной на стене. Я буду смотреть. А если умру, напиши ему в Париж поклон, скажи, что увидимся, может быть, опять на этой речке...»

Жук...

Дождь. Пароход «Самолет» отошел от Рыбинска. Пассажиры сидят в столовой, в рубке. В окна видна Волга, баржи с хлебом, лесом, воблой. Приятно в дождь в большой кают-компании. Чай, закуски, стерлядь кольчиком. Пассажиров немного, больше на Ярославль, чиновники, ярославские жители, купцы, судейские, есть и в форме, знакомы между собой. Человек, видимо, торговый, из купцов, говорит:

— Ну, весь Рыбинск хлебом завалили. Запасы велики. На армию все, на войну. Петр Гаврилыч хлеб-то ставит, сдает. На пристани с барок прямо в вагоны cedют зерно, мешками тянут на подводы, день и ночь. На фронт все. Из Петербурга генерал приехал, старичок, роста небольшого, но важнейший, со звездой. На пристани начальство, губернатор, городской голова Ермаков показывает зерно генералу, мешки открыты стоят. А генерал, старичок-то, посмотрел на мешки и говорит:

— Дайте-ка, — говорит, — вон тот мешочек, что несет крючник на берег.

Ну, того остановили.

— Откройте, — говорит.

Открыли. Он взял, генерал-то, зерно на руку, а на руке белая перчатка. Потряс в руке зерно:

— Прекрасная, — говорит, — пшеница.

А городской голова Ермаков наклонился к генералу и говорит:

— Это, — говорит, — ваше превосходительство, не пшеница, а рожь.

А генерал ему:

— Все равно, — говорит. — Солдатики съедят...

И Петру Гаврилову тут же сказал:

— Вы, — говорит, — тоже защитник родины, рожь поставляете, так не плутуйте, будьте, — говорит, — верны, как солдат отечеству.

Петр-то Гаврилыч покраснел и ответил:

— Это вот все, что здесь видите, ваше высокопревосходительство, все зерно это, что здесь, рыбинское купечество пожертвовало на войну, верным солдатам отечества...

Тут генерал поглядел на него и руку ему дал:

— Благодарю вас.

И губернатору сказал:

— Я обязан призывать к чести, как могу, в великие дни войны.

— Так точно, ваше высокопревосходительство, — ответил наш Петр Гаврилыч-то, — понимаю я, что обязаны... И мы свою обязанность исполняем: вчера, — говорит, — телеграмма мне с фронта пришла: мой единственный сын, Андрюша, убит на войне, положил живот за отечество.

Генерал притих. Вот как бывает.

— Да, — говорил тем временем другой пассажир, молодой белобрысый человек. — Земля наша круглая, такой, значит, шар, тяжелый, и гуляет себе в пространстве, которому нет конца и начала. Вот тайная штука какая. И люди на земле живут. Вот мы. И ссорятся. Что это такое? Отчего народ такой сердитый? Беда просто!

— Вы что же хотите этим сказать? — спросил его другой пассажир, на вид человек сердитый, вроде как из чиновников. Черномазый.

— Да так — ничего. Чудно только. В бесконечном пространстве на земле живут и друг дружку колошматят. Будто так и надо.

— Да вы, собственно, что говорите...

— Я говорю: зачем это в бесконечном пространстве все ссориться. Не надо бы.

— А ежели человек какой спросит вас: ты у окошка сидишь и чай пьешь? Что ответите?

— Чего же? Сижу, скажу, и чай пью. Что же?

— Хорошо. А он возьмет да тебя по носу — жик. Ты тогда что?

Белобрысый удивился.

— С какой стати он меня по носу — жик?

— Не кстати, а просто — зачем ты у окошка сидишь и чай пьешь. Вот и жик... Тогда ты что?

— Дурацкое дело. С какой стати. Глупо.

— Глупо? А он по носу — жик. Вот тебе и в бесконечном пространстве... Как ты об этом подумаешь?

— Подумаю — «дурак» и уйду.

— Куда уйдешь-то? Нет, ты здесь, на земле. Он тебя найдет — и по носу опять — жик.

— Ну тогда я ему в морду дам. Это уж верно.

— Вот тебе и драка выходит. Понял?

Пассажир в фуражке с кокардой, немолодой и важный, читавший книгу, отложил ее в сторону, послушал, что говорят, и сказал:

— Знаете, господа молодые люди — довольно странно вы говорите. Что это? По носу жик! Это просто хулиганская выходка. Ну, отправить в участок, составить протокол за оскорбление личности. При чем здесь бесконечные пространства?

— Да, верно, — сказал черномазый. — Нас с вами отправят. А если это, допустим, какой-нибудь Навуходоносор? После победы, ну, над какими-нибудь там халдеями, пирует, отдыхает. Крутом тимпаны, трубы. Он лежит на леопардовых шкурах, кругом курильницы, у ног жены вертятся. Навуходоносор устал, ну, и вздремнул немножко. А прохожий, какой-нибудь халдей, или дурмадур, или кто там, все равно, видит, Навуходоносор спит — и он его по носу жик. Ну, и что же? Скандал. Война обязательно, потому — такой штуки стерпеть невозможно никому.

Крутом рассмеялись.

— Ну, знаете, — сказал человек с кокардой, — какой вздор вы говорите! Навуходоносор! По носу жик!

— Конечно, вздор, — согласился черномазый. — Просто я картину видел такую. Не помню, какой художник. Лежит эдакой человек, кто его знает, какого племени, курильницы дымят, бабы голые — жены его — в ногах вертятся, а он лежит на шкурах под балдахин. «Победитель» картина называлась. Ну, я думаю, а если его какой-нибудь озорник по носу — что только будет? Беда!

— А я вот, все-таки, понять не могу, — сказал белобрысый, — почему так ссорятся человеки? Живет каждый немного на земле, земной шар круглый, катается в бесконечном пространстве день и ночь, зла никому ничуть не делает, для людей все готовит, кормит, прямо чисто мать родная. А человеки дерутся. И ничего не сделаешь с ними...

— Вздор! — возмутился человек с кокардой. — Причины войны сложны, не просто так... И говорить так нельзя.

— Это все верно, — согласился белобрысый. — А только страшно. На небо глядеть не страшно. И хорошо... Вот на Волгу посмотреть — широко, хорошо. Вон солнышко освещает бережок — хорошо... Тоже дети... на них глядеть хорошо... И женщины тоже — хороши. У нас в саду нынче антоновка уродилась — ну и яблоки — хороши!.. А тут — на тебе — по носу жик!..

Крутом засмеялись.

— А вы бы, по-вашему, как бы нужно было поступать? — спросил чиновник в кокарде.

— Я не знаю. Я так говорю — не знаю... Просто, когда подумаешь, как это устроена земля и бесконечное пространство кругом и все добро так сделано, хорошо на земле, — то просто, кажется мне, не стоит ссориться. Только и всего. Это очень просто, много приятнее и дешевле.

— Так ведь все этого хотят, только не выходит.

— Эге, — засмеялся купец. — Да как ты говоришь, а у вас на заборе гвозди понатыканы зачем? Чтоб не воровали яблоки-то, а? А эдак у тебя все возьмут, и яблоки, и дом, и жену, и детей. А ежели ты сдачи дашь — то побоятся. Вот что.

Белобрысый задумался.

— Ну, опять же выйдет, что жик, — сказал он.

— А то как же?

— А вот как... Давно бы понять надо, что на земле, в бесконечном пространстве, при тайне эдакой и жизни нашей короткой, другое в голове держать нужно. Почтене иметь, разумение для загадки великой и прекрасной, при короткой жизни нашей, чтоб отходить смертью в вечность. Пора бы понять это. Чтить ее, тайну эту. Землю, солнце и небо, и тайну эту великую не огорчать, а жить дружно, без злобы. И просто это очень, но не хотят.

— Молоканин, надо думать, — прошептал кто-то, — или штунда...

— Да это все сказано давно, мил человек, — сказал другой. — Да не выходит.

— Ты вот скажи, как сделать-то, — сказал купец.

— Да, верно. А уйти никуда живому с земли невозможно. Круглая она. Вот и ходи кругом, не уйдешь никуда. А не то — мало ли убежало бы! Велено — вот и живи, а уж как хочешь.

И белобрысый покачал головой.

Замолчали. Я вышел из кают-компания на палубу. Широкая Волга несла свои воды. Проглядывало солнце. По берегу шли поля, леса, селения. Отрадно и радостно было смотреть на берега широкой реки. Около меня стоял купец и смотрел на плоты, которые гнали по Волге. Купец приставил свои руки ко рту и закричал:

— Чьи плоты-те?

С плота кричали:

— Га-аври-ло-ва-а-а... Сво-ло-ча... День-ги-и... вто-ро-о-ой ме-сяц... не пла-а-тит... сте-е-рва...

— Мои плоты-то, — сказал мне купец, обернувшись ко мне, и засмеялся. — Не платит... Ишь чего?.. Заплати-ка таперь! Знаю, плоты разобьют, деньги пропьют... Знаем мы, когда платить надоть. На Покрова плачу, ну и ступай... А вот этот-то, белобрысый, чего он, с дурью впрямь или заучился так? От науки у него в голове метафизика завелась? Его беспременно под арест посадить надо, чтобы маленько поостыл. Тогда у него червяк-то этот из головы повылезет...

Встреча

Много я скитался по свету. И не раз я видел весну в других странах. Но такой весны, как у нас в России, — я нигде не видал.

Москва. Я смотрю в окно моей мастерской, и мне в окно видна разлившаяся Москва-река. Чудно и торжественно. На берегу стоит Кремль — соборы, башни, как будто бы какая-то давняя дивная сказка. За Кремлем гаснет розовая заря. Галки носятся в вечернем небе, то стаями поднимаясь кверху, то быстро опускаясь к самой земле, с каким-то особым радостным криком. В их полетах есть какой-то праздник, птичий бал.

В реке, в талой грязной дороге, в движении народа, идущего через мост, в зажигающихся к вечеру уличных фонарях, во всем окружающем чувствуется весна.

Странно, я видел много стран. И нигде нет такого отрадно-печального чувства, необычайного замана, глубокой красоты, мечты тревожной, как в весеннем вечере России.

Это чувствовалось именно в Москве и ее окрестностях. В Петербурге другая весна.

Потемнело в моей мастерской. А в окнах еще лежит свет зари вечерней. Как-то отрадно и грустно мне, и я думаю — пойду по берегу к Бабьегородской плотине на Москва-реку. На окраине Москвы деревянные дома, с одинаковым рядом окон. У ворот на лавочках сидят обыватели, женщины в ситцевых платках, какой-то телеграфист, мужики с дровяного склада. Все луцат подсолнух, смотрят вдаль, на Москва-реку. А вдали церковь, какое-то казенное здание, институт или богадельня, а перед набережной ряд тумб. Проезжает извозчик, похлестывая убогую лошаденку, сидит какая-то женщина, везет клетку с канарейкой. И опять пустая улица. Городовой с книжкой ведет какого-то оборванца. И все как-то просто. И во всем, в природе и людях, чувствуется щемящая радость.

«А зайду-ка я, — думаю, — неподалеку в лавочку к Березину. Там всегда собираются по весне особые люди — рыболовы на удочку».

У Березина в лавочке висят веревки, сети и как лес стоят камышовые прутья. В шкафу висят разноцветные поплавки заграничной работы, а на прилавке в ящиках под стеклом синие стальные крючки разных номеров. Дальше, в комнате Березина, горит лампа, сидит приятель мой Василий Княжев и правит на спиртовой лампочке тонкие концы камыша для удилиц. Кругом сидят какие-то люди — мастер железнодорожный, чиновник пробирной палатки, служащие детского приюта, нестриженный и небритый, знаменитый москворецкий рыболов Сергей Петрович Поплавский. Простые люди — все страстные охотники-рыболовы. Приходят к Березину посмотреть на реку, которая видна из окон, и поговорить о рыбе, про случаи, которые были в жизни. А случаи всегда были особенные.

Василий Княжев, как только начиналась весна, оживал. Его темные глаза все посматривали вдаль. Он был поэт и бродяга в лучшем смысле этого слова; никакое дело, никакие деньги не могли удержать его весной...

— Эх, — говорит Василий, — в Косине озеро, и вода в ём — вот чиста как хрусталь! Это что! И глубина в ем, дна нет...

— Ну и врешь, — говорит немец План, — не может этого быть, чтобы дно нет.

— Да вы, немцы, все так... Вам дно давай, Бога покажи, какой он, из чего он сделан. А вот озеро-то мерил монах, так тридцать семь сажен, а рядом двенадцать — это что! Там, значит, горы, на дне-то, и ходы разные, и не иначе, что озеро это соединено с водой святой, потому что вода у него синяя. А там недалеко — другое озеро есть, у деревни, в ём вода совсем другая. Вода как вода, а у этого — голубая, да чиста до чего — удивленье!..

— Это правда, что вода в этом озере, в Косине, точно голубая, — сказал Березин. — Его и зовут Святое озеро.

— Не потому оно святое, — перебил Василий, — что вода в ём голубая, а то чудно, что оно целит вот от дела какого, от горя... Прямо искупался раз, и готово, как нет, начисто горе снимает, как не было. Жила его, значит, водяная от сердца земли идет. Вода-то такая в ём. Может, из этой самой воды слеза людская сотворена, может, эта вода слезы радости земной есть. Ты вот, Карл Андреич, все знаешь, немец, конечно. А вот, слеза-то — чего это в человеке?

— Там карася фунта на два есть. Какой карася, прямо золотая карася. Какое горе с тебя снимало... Это пустяка дурацкая... — говорил План, смеясь.

— Нет, постой, — не сдавался Василий. — У тебя горе свое, а у меня свое. Постой. Вот скажи — рога тебе баба ставила?

И Василий посмотрел пристально на Плана в ожидании ответа.

— Что ты, с ума сошла, какие рога? Эмма Августовна разве станет такой пустяки думать?

— А я вот женат был, — тряхнул головой Василий. — И так жену любил, так любил... что вот глаз отвести не могу, все на нее гляжу. И деньги были у меня. А она по весне ушла с жуликом... И прямо места не найду, горе есть. Да меня в Косино и отвез монах один. Я прямо разделся, да в озеро. И сразу у меня все, как не было. Прошло... И горя нет. И домой не пошел. Но она меня нашла. То ли, се ли, говорит, давай жить опять, я тебе не изменяла. А я на ее смотрю и узнать не могу. Нарядилась она, шляпу надела такую... А я смотрю, пристально смотрю и думаю: «Кто это? Какают другая, чужая». И говорить с ей не могу более: ску-у-у-чно. Вот вода-то в Косине — все смывает... Чистота такая — всю грязь из души выполоскала...

— Это верно, — сказал Поплавский. — Вот меня дома бранят все, и жена, и сыновья, все за рыбную ловлю. Одно спасенье: уйду на речку и живу на берегу. Посидишь, ну и полегчает. В реках есть это тоже: водой-то речка тоже горе уносит. Да вот теперь пост Великий, Страстная неделя. Никак нельзя. А то хорошо в грусти жизни нежинская рябиновая. Тоже помогает... Я как что — ею спасаюсь. И вот что я заметил и от всех, можно сказать, рыболовов слышал, какие кренделя получаются. Выходит так: на охоте, на рыбной ловле, как с собой кто коньяк, ром возьмет, ни черта не выходит. Что такое? Только рыба не берет. А ежели вот рябиновая или просто вот смировка, белая головка, — идет. Прямо берет рыба! Слышит, что ли, она? Только прямо скажу, что лец любит водку. Я его всегда ловлю под Хорошевым, ловлю выпивши... Трезвый, что хочешь, — не идет ничем...

Толстый План смеялся:

— Это же что же такое? Я там и пьяний ловил, и трезвый — ничего не попал. И что такое русский голова только выдумает, такой чушь... И верит... Смешно.

— А ты не веришь, Карл Андреич? — спросил Василий.

— Конечно, такой чушь верить невозможно.

— Ну, а помнишь, ты на Сенеже тонул пьяный?

— Это верно — тонул, помню.

— Когда выпили мы две четверти, у тебя в лодке оставили их пустые. Когда волна лодку твою опрокинула, кто тебя спас? Эти пустые бутылки. За них ты держался...

— Это правда.

— Я их закупорил, — сказал Василий. — И оставил в лодке. Подумал: пьян, в волну такую едет. Бутылки-то помогут.

— Это верно, — согласился План, — без бутылка бы утонул.

— Вот то-то.

— Так, — сказал чиновник пробирной палаты. — А вот это, что есть? Весна, река пошла. А вот мы зашли к нему в лавочку, к Березину. Охота в нас, страсть эта к рыбе, к реке, к воле. Нешто рыба нужна нам? Ее сколько хочешь в Охотном ряду купишь. Нет, другое есть что-то... Другое манит. Идешь к речке и думаешь: там на реке вечер и утро — красота такая. Как-то вроде и жить без нее не стоит, без красоты этой...

— Да, — согласился и железнодорожный мастер. — Дело это — рыбу удить — пустое. Я не говорю никому, а то засмеют. Жена, знакомые на меня сердятся за это.

А вот я с поездом ехал, и царь ехал. Значит, ехали в Сарово, к угоднику Божию. А я сам из той стороны, родился в селе. А потом отец в Москву увез, и в Москве я учился. И помню, в детстве, там одно место, называлось Ключ Свят, в лесу большом, у бугорка. Хорошо место. Лес, и такой бочажок под дубом круглый с водой был. Вода чистая. И над ключом кто-то поставил деревянный крест. Помню — старый он был. И к тому ключу ночью лоси ходили воду пить. Мы мальчишками, когда грибы собирали, тоже, бывало, зайдем воды испить. Говорили, что ранее и сам Преподобный ходил туда и будто крест он поставил... Вот недавно, когда царь приехал, и я там был, и что вышло. И дуба нет, и часовня на том месте поставлена, и кругом дома, церкви. И ключа я не нашел. Лесу нет, а сад. Дорожки песком желтым сыпаны, красное сукно растелено, духовенство... Паникадила горят, народу чтб... Тысячи! Травы прямо не видать, все песком покрыто. Вот что стало — узнать нельзя. Отчего они ключ тот, как он ране был, не оставили? Крест-то самодельный, и дуб был. Я сказал как-то одному монаху, а он мне так строго ответил: «В голове у тебя глина, значит, и малOVER», — говорит. Ушел я от торжества того и утром рано пошел на речку. Утро хорошее, вода тихая. Закинул у кустика удочку, одну, другую и гляжу на поплавки. Вдруг вижу, ко мне человек подошел, стал сзади и говорит мне:

— Я вам не мешаю? Можно посмотреть?

— Нет, не мешаете, — говорю, — садитесь только, а то рыба-то видит.

Он сел.

— Вот, кажется, на левой удочке у вас клюет, — говорит.

Вижу, верно, клюет. Я подсек, большая рыба. Тащу леща. А он говорит:

— Что это за рыба?

«Вот, — думаю, — чудной, чего пристает? И рыбы не знает...»

— Лещ, — говорю.

— Никогда, — говорит, — не ел.

«Вот, — думаю, — чудной...»

— Хорошая рыба, — говорю.

— Приятно, — говорит, — рыбу ловить?..

— Да, — говорю, — а у вас удочки-то нету?

— Нет, — говорит, — нету.

— Вот, — говорю, — я на вечернюю зорю пойду вот туда, где лес. Там река поглубже, дак приходите вечером, когда солнце садится, я для вас удочку захвачу. Половите...

— Благодарю вас, — говорит, — только мне некогда.

— А что же вы, при деле, что ль, каком?

— Да... — говорит, и вздохнул. — Маршрут у меня...

Потом помолчал и говорит:

— Продайте, — говорит, — пожалуйста, мне эту рыбу, леща...

Я говорю:

— Да что же — так возьмите.

— Нет, — говорит, — не могу. Вот, — говорит, — ведь и денег-то у меня нет. Я, — говорит, — сейчас приду или, — говорит, — пришло. Уступите, пожалуйста.

И ушел.

Так через полчаса двое подходят, таких, военных, и говорят:

— Вы, — говорят, — рыбу продаете?

— Нет, — говорю, — я не продаю.

— А не знаете ли, кто здесь на реке рыбу продает?

— Не знаю, кто продает...

— А нам сказали, что тут рыбу поймали большую, дак хотят ее купить, очень нужно...

— Дак это я поймал леща, — говорю.

— Продайте, пожалуйста.

— Да что же... возьмите так, — говорю. — Тут уж был один, хотел купить, я ему отдавал, дак он не взял. Да и денег у него не было.

— Вот, — говорят, — будьте добры... — и протягивают мне пять рублей — золотой.

Я говорю:

— У меня сдачи нет.

— Все равно, — говорят, — берите пять рублей. — Только, — говорят, — рыбу-то дайте.

Я думаю: «Что такое, чудно как...» Смеюсь и говорю:

— Двугривенный — больше не стоит.

— Дайте, — говорят, — пожалуйста, ваш адрес. Я приду — потом сдачи дадите.

Я дал адрес. Они подхватили леща-то, да и пошли скоро.

После обеда пришел ко мне домой один из этих-то, которые были на реке. Ну, я ему сдачи даю — двадцать копеек с него взял. А он смотрит на меня так жалостливо...

— Возьмите, — говорит, — все пять рублей.

Я думаю: «Что за народ чудной. Богатый, знать...»

Говорю:

— Нет, зачем же... Это не стоит.

— Прошу вас, — говорит он мне тихо, — пожалуйста, только никому не говорите, ведь это у вас был, когда вы этого самого леща-то поймали, сам Государь император...

Аня

Пасха поздняя, в конце апреля. Мы молодые, студенты, живем вместе в деревянном доме в Фурманном переулке в Москве, у Чистых прудов. Квартиру держит хозяйка Татьяна Федоровна Хорунжина. Живем вместе, приятелями: Новичков, Щербиновский, Ордынский, прозванный за доброту «братичек», Ловдовский, Дубровин и я — ученик Училища живописи в Москве.

Приготовлена большая пасха. Татьяна Федоровна хлопочет справить праздник, угостить — любила нас, молодежь. На куличе сверху сахарный барашек.

— Агнец Божий необходим... — говорила Татьяна Федоровна.

Пришла барышня Добрушина, с темными локонами, часто мигающими ресницами и карими глазами. Пришли и другие барышни — пианистки из Консерватории, хорошенькие, говорили все как-то очень серьезно. Блондинка Вера Чижова, с голубыми глазами, прищурилась. Так ей казалось красивее.

Еще пришел юнкер Бельбасов, родственник Татьяны Федоровны. Мундир с иголочки, шпоры. Он посмеивался над нами, а мы над ним, почему — неизвестно. Но все же мы его немножко ревновали к барышням. Красив и ловок был юнкер Бельба-

сов. Рейтузы у него были в обтяжку, он ловко вынимал портсигар серебряный с желтым шнурком, папиросу бросал в рот. Сядет, бывало, курит и пускает дым кольцами. Мы же никак не могли. Не выходило.

— Пошляк! — говорил про него Дубровин, завидуя, что он нравился барышням.

Все мы собрались к заутрене в Кремль, в Успенский собор, и кто принесет от заутрени горящую свечу, с тем все должны были христосоваться по три раза...

О, юность!

А барышня, если принесет зажженную свечу, получала брелок и яичко серебряное с голубой лентой.

Все студенты, друзья мои, были по очереди равнодушны к барышням. И я тоже. Никак и понять не мог: с какой поговорю — готово, равнодушен. Так нравились, выразить невозможно.

И нет таких уж больше на свете барышень, как те, московские, какие были тогда... Может быть, и не так, но в дивных днях юности казалось так...

* * *

Торжественная служба в Успенском соборе. Полно народа. С пением выносят хоругви. В весенней ночи блистают кадила и золотые ризы священников. А вдали, в Замоскворечье, как большие свечи, освещаются огнями колокольни и церкви Москвы. И, как бисер, горят огоньки плошек...

Белый как лунь, в бриллиантовой митре, стоит старенький митрополит Московский. Вваливается народ с хоругвями в собор. Слышен проникновенный голос митрополита:

— Христос Воскресе!

Владыка подымает крест. Гудит Кремль и вся Москва...

Я говорю Ордынскому:

— Братичек, а у тебя свечи-то нет.

— Нет, — отвечает кротко Ордынский, — денег нет...

— Ну, бери мою, — говорю я.

Он берет зажженную свечу, и мы идем из храма. Огромная толпа народа. До чего дивно хороши наши знакомые. Как освещаются их милые девичьи лица огнем свечей, которые они бережно несут, заслоняя от ветра.

Анюта Добрушина говорит мне:

— А у вас свечи нет...

— Да я отдал братичеку. — Вон он как старается, несет...

— Зачем же отдали? С вами никто не будет христосоваться.

— И вы? — сказал я.

Она посмотрела на меня:

— А вам не все равно...

— Еще бы...

— Вы отстаньте... — говорит она тихо. — И я тоже тихонько отстану...

Я пошел тише, она тоже.

У меня забилось сердце.

На углу, у Чистых прудов, Аня остановилась у ворот дома. Я подошел к ней близко, и она похристосовалась со мной. Я видел ее низко опущенные дрожащие ресницы.

Потом шли вместе и молчали. Какая-то особая красота чувства вошла в меня, и эта весенняя ночь, дома, улицы, сухой тротуар, сад за забором — все преобразилось сразу, особым, живым, неведанным ранее миром...

Мы медленно шли. Впереди смеялись друзья. В переулке не было плошек, и как-то таинственно спала улица.

Впереди быстро прыгал через тумбы юнкер Бельбасов, ловко выкидывая ноги в реищуах, и останавливался как вкопанный.

Барышни кричали «браво», студенты тоже кричали:

— Молодчина, Бельбасов!

Он, смеясь, сказал:

— Идиотусы. Сегодня праздник великий. Живите до завтра, а завтра всех к барьеру. К барьеру! Поняли? Всех на пулю нанижу.

Мы пришли к себе. В коридоре я снимал пальто с Ани и видел ее профиль. Никогда раньше не замечал, что она так красива... Матовое лицо, темный локон растеялся по щеке...

В большой комнате было уже накурено, за столом сидели гости Татьяны Федоровны: доктор высокого роста, блондин с баками. Увидев нас, он встал и крикнул:

— Студизусы, начинается...

Ордынский все еще нес восковую зажженную свечку, хотя в руке его оставался только огарочек. Доктор бережно взял свечу и тихо поднес ее к большой миске. Крюшон в миске замелькал бегущим синим огоньком.

— Крепко! — кричал другой доктор. — Доливай.

И лил из четверти белое вино.

— Это что ж такое? Зажгли крюшон от свечи святой. Что вы, Иван Иванович! — сказала Татьяна Федоровна доктору.

Тот опешил, водил белыми глазами:

— Это верно... Только, постойте... Как хотите, но вино веселие есть, а веселие — благо. В веселии пити — нет зла.

— Верно! — кричали кругом студенты.

— Ну и врешь, — сказал другой доктор, — в вине есть грех. Я сын протоиерея, из семинарии перешел в университет. Медицина, поняли?

— Ерунда! — кричали студенты.

Братичек Ордынский как-то испуганно взял огарок свечи, посмотрел на Татьяну Федоровну и, став в углу на стул, прилепил его к иконе. Наши барышни обступили его и целовали каждая по три раза, христосовались. Он стоял почему-то бледный и мигал кротко.

А я все время думал, как бы мне сесть за столом рядом с Аней. Вдруг она подошла сама ко мне и сказала:

— Сядемте рядом...

От радости и счастья у меня забилося сердце.

— Вы сядете со мной, — подойдя, сказала мне тихо Вера Чижова.

«Как же мне быть?» — подумал я.

— Я... я... уже согласился сесть рядом с Аней Добрушиной...

Вера, холодно взглянув на меня, повернулась и ушла.

— Кавалеры, приглашайте ваших дам, — кричал Бельбасов.

Я подошел к Добрушиной и сел с нею рядом за стол.

— Встать! — крикнул Бельбасов.

Все встали и запели «Христос Воскресе!».

Что-то было родное, невозвратное в этой весенней ночи, в Татьяне Федоровне, в пасхальном столе, в куличе, в заливном, в этих студенческих лицах, в светлых глазах плечистого доктора, в юных глазах наших барышень...

Ловко разливая большой ложкой вино в стаканы, юнкер Бельбасов крикнул:

— Балбесов требует тост за Татьяну Федоровну, владычицу юности. Ура!

— Ура! — подхватили все.

— За красавиц нежных, воздушных. Ура! Ура!.. — крикнул Бельбасов.

Все чокались.

— За эскулапов! — кричал Бельбасов. — За идиотусов — студентов! Ура!..

— Ура! — кричали, смеясь, все.

И нежно смеялись рядом со мной карие глаза Ани... Все это было когда-то. Когда была моя юность...

Садовский и Огарев

Помню Москву, когда наступила ясная пора весны. В мае москвичи уезжали на дачу, в прекрасные московские окрестности.

Помню, какая-то работа задерживала меня там, весной в Москве, в моей мастерской на Тверской. Недалеко, тоже на Тверской, был большой дом Английского клуба, на воротах львы, описанные Пушкиным в «Евгении Онегине». Старинный был дом. Высокие комнаты, терраса, большой сад. Туда я ходил после работы обедать. Мало было посетителей, но всегда я встречал там артиста Малого императорского театра Михаила Провыча Садовского. У него всегда был на террасе Английского клуба отдельный столик, и он долго, до позднего вечера, засиживался за обедом.

К Михаилу Провычу за стол присаживались друзья его, знакомые, почитатели. Михаил Провыч простодушно рассказывал увлекательные случаи, которые ему приходилось наблюдать в Москве. Он часто приглашал меня пообедать вместе. Садовский любил Москву и никуда не уезжал летом, и террасу в Английском клубе с садом называл «моя Ривьера».

Как-то раз за обедом Михаил Провыч рассказал, что он был на новоселье у почтенного приятеля своего, московского обер-полицмейстера Огарева, на даче, у Петровского парка, у деревни Коптево. Там новый дом, перед домом большая площадка и сад.

— Вот, ты ведь знаешь, Миша, — говорит за завтраком Огарев. — Кур я обожаю. Так у меня здесь на даче индюк медальный, на выставке купил. Ну и индюк!.. Дымчатый. Красавец... Дак вот, сукин сын какой, что сделал со мной. Я смотр пожарным произвожу вот здесь, на плацу, — новое обмундирование, брандмейстеры. Знаешь, блестит — люблю я это, чтоб чисто было, форма... А мне Мандель, портной, новую шинель сшил. Ну, подкладку дал; верно, что красную поставил. Малиновую бы надо, генеральскую, а он красную... Я это вышел на балкон к пожарным и, как полагается, говорю: «Здорово, ребята». А он, индюк-то, откуда ни возьмись, индейский черт, прямо по воздуху, да в меня как вцепился — вот сюда. Ведь срам какой! Я его по голове, понимаешь ли, за соплю его тяну. Оттащу, а он пуще. Да ведь больно бьет.

Смешно тебе, а я, брат, бегом на балкон... Вот это в Индии порода какая... Вот хоть льва или птицу взять — ведь это што ж такое, страна какая. И народ, поди, тоже там... Наших взять — не в пример: у нас все тихо, скромно, порядок.

— Вот что, Михаил Провыч, — продолжал полицмейстер. — Сейчас я поеду в Лефортовскую часть, там мне надо жуликов сортировать. Хочешь, поедем со мной, мне повадней. А потом поедем в «Мавританию» пообедать к Натрускину.

— Хорошо, — согласился Михаил Провыч, — мне посмотреть жуликов интересно. Может быть, играть придется жулика в театре.

— Интересного мало. Мелкота. Нет эдакого настоящего жулика, крупного, вроде Шнейера, повывелись теперь. Эдаких-то я сам люблю. А теперь мелочь, ничтожество.

В пролетке, на паре вороных, с пристяжной на отлете, едет московский полицмейстер с артистом Императорских театров Садовским. На улицах городские вытягиваются в струнку, здороваются знакомые, снимая шляпы, останавливаются и смотрят, провожая глазами полицмейстера. Говорят:

— Знать, на пожар едет...

* * *

Лефортовская часть выкрашена желтой краской. На широкой лестнице входа, усеянной шелухой подсолнухов, лениво сидят пожарные в медных сверкающих касках. Увидав полицмейстера, вскакивают с лавок и вытягиваются, отдавая честь. Пройдя скучные залы с длинными столами, с сидевшими за ними писарями и просителями, входят в арестантскую. Там солдаты тюремные, в черных мундирах, с саблями наголо.

— Введи! — входя, крикнул полицмейстер Огарев.

Из двери ведут арестантов, одетых разное. Наклоня голову, они останавливаются. Чиновник подает Огареву бумагу, Огарев садится, читает, говорит Садовскому:

— Садись, Михал Провыч.

— Это который? — спрашивает Огарев. — На восемь тысяч свистнул? Который это Смякин?

— Выходи... — толкают солдаты арестанта.

Арестованный Смякин выступает.

— Да ты что, а, мать честная. Взбесился? На восемь тысяч! А? Да я тебя сейчас под суд, к следователю... Да я... в тюрьме сгною... Да ты што. Чего ты это скрал?

— Мискроскоп... — отвечает, ворочая головой, арестант Смякин.

— Чего?.. — удивился Огарев.

— В университете украл, в лаборатории... Форточник он, ваше высокопревосходительство, — докладывает чиновник.

— Как же это ты, толстый, в форточку пролезашь, сукин сын? Как это, подумай...

— Отвечай, — приказывает чиновник Смякину.

— Да ведь... я ведь... гляжу, а там — в окно гляжу... а там... это самое... ученые-то смотрят в мискроскоп-то... Я гляжу тоже в окно-то... Вот, кабы, думаю, мне бы однава бы поглядеть... Помрешь в бедности-то нашей, не выдавши мискроскопа-то... И вот меня сласть берет — поглядеть да поглядеть, прямо места себе не найду... Я и говорю сиротке махонькой, Насте: «Настя, — говорю ей, — погляди-ка, ученые-то в мискроскоп смотрят... Вот бы, — говорю, — нам бы поглядеть при бедности такой... в его

бы... Махоньякая, — говорю, — ты, вот в окошко бы тебе влезть... Тебе што достать-то этакую машинку...» Она дитя без понятия. Ночью пошли — ну и достала... Я ведь поглядеть только, опять на место хотел поставить... Ей-Бо...

— Вот ты слышишь, Михал Провыч? — Хотел опять на место поставить! А сам продал в железную лавку за рубль... Ах, сукин сын, да я тебе!.. Что делать с ними? Да ты што. Што ты понимаешь в этом микроскопе? Там ученые, сукин сын, мужи, профессора, Ломоносов сидит, Пирогов сидит... «Где микроскоп?» — ищут. — Нет микроскопа. Без дела болтаются... А тут больной, может, генерала Черняева привезли. У него глиста вертится или мало ли што. Как узнать — микроскопа нету, без него ничем не узнаешь. Помирать должен из-за тебя, сукина сына. Да и ученые без толку, им-то поглядеть охота из-за науки... А што ты понимаешь... Ах ты... Где микроскоп-то? — крикнул Огарев.

Расторопный чиновник принес большой микроскоп, поставил на стол у окна. Полицмейстер и Садовский подошли туда. Чиновник посмотрел в микроскоп, поворачивая сбоку винт.

— Извольте посмотреть, выше высокопревосходительство.

Огромного роста полицмейстер наклонился, посмотрел в медную трубу.

— Чего это? — сказал он. — Пружины какие-то. Ну, посмотри-ка, Михал Провыч.

Артист тоже посмотрел.

— Видишь? — спросил Огарев.

— Вижу, похоже, что пружины.

— Это женская шерсть, ваше превосходительство, — серьезно сказал чиновник.

— Постой. Что говоришь? Дай-ка посмотрю...

Наклонился и опять посмотрел в микроскоп.

— Что ты говоришь, ерунда какая... Это пружина вот как из дивана. Это чего же, какая же... от собаки, что ли, шерсть...

— Это шерсть Юлии Пастраны, ваше высокопревосходительство, — сказал чиновник. — Ее в саду у Лентовского показывали... Борода у ней.

— Это чего еще? Какой Юлии Пастраны? Ты посмотри, Михал Провыч, что делают со мной... Ты подумай. Ведь это чего выдумали. А! Подумай, теперь эти стрекулисты, писаки газетные, узнают... Что пойдет... По всей Москве закричат. Смятение умов начнется. Ах, сукины дети... Откуда эдакий вор нашелся, это што за стрюцкий? Да где ты нашел шерсть этакую?

— Ей-ей, не виноват, ваше... ство... Это она там... была... Это ученые глядели... Я тут ни при чем... Простите, ваше высокопревосходительство, если б знал... Господи...

— Ну вот тепер какое дело выйдет. Надо его к главному следователю отправить. Микроскоп... а что из этого будет? Ух, и надоела мне эта регистрация жуликов, вот до чего... А эти насколько скрали? — показал он на толпу.

— На шестнадцать рублей сорок копеек все-м...

— Ваше... ство... — жалостливо кричат жулики, бросаясь на колени. — Праздник... Лето пришло... простите... Господи, ежели б знали... Будьте милостивы.

Полицмейстер посмотрел на жуликов, потом, обернувшись к Садовскому, сказал:

— Миша, отпустить их, што ль?

— Конечно... Отпусти.

— Ну. Брысь с глаз моих. Ступайте.
И жулики быстро разбежались.
— Ну, едем, Михал Провыч. Видишь службу мою. Ведь надоест... И сколько народу этого.

* * *

В ресторане Натрускина за столиком в кабинете, где видны распутившиеся листья березы, как бисер блистающей на солнце, полицмейстер режет свежие огурцы на тарелке и кладет приятелю своему, артисту Садовскому.

— Белорыбицы сюда еще, да редиски. Вот, Миша, польем маслом, уксусу немножко и... Порционной подать!

Вытянувшись, стоит Натрускин, подмигивает половым. Те живо подают водку во льду и большие рюмки. Выпив с Садовским «порционной», закусывают белорыбицей.

— Хороша холодная водка, — говорит Огарев, — а огурчики-то — парниковые... Вот что! Забудешь эдакое дело, мрак этот — жуликов. А должность велит все знать. Ну, что у вас, Натрускин, веселенького? Три дня не был здесь.

— Ничего не вышло такого, ваше высокопревосходительство. Все в порядке-с. Случилось позавчера: Болдушкину в кабинете Носкин — так разок по морде дал.

— Пошто это он? — спросил полицмейстер. — Человек он серьезный... Фабрикант. Так-то.

— Дэк ведь ему Носкин что не скажет: то хорошо, Фаже хорошо поет, — а Болдушкин все свое: Пикеле лучше. Ну, он ему и дал: «Вот, — говорит, — тебе твоя Пикеле...»

— Пристав знает?

— Никак нет.

— До князя бы не дошло...

— Помилуйте, помирились. Конечно, это как полагается, глаз немножко поси-
нел, но все ничего. А вот Морозкин вчера цыганку Мотю... она ведь молоденькая
еще, — через забор швырнул. Ну, ничего — в бузине застряла. Руку очаряпала силь-
но. Ну — получила... Тыщу... Простила...

— Постой, постой, — сказал Огарев. — А... нет, постой, я его проучу... Морозкина
— проучу... Вот, Михал Провыч, люблю я, когда чувства играют в человеке, знаешь,
люблю, когда Амур стрелой сердце вертит... Это цыганку за забор бросают, дак што
же — душа играет... Хорошо, — играй!.. Дак вот, цыганку бросал — двадцать тысяч
велю отдать в приют сиротский. Миша... я ведь купцам-то вдовый дом построил...
Сиротский дом — мой. Разве возьмешь так-то деньги? А вот когда играют они —
плати. Сиротам плати... Заставлю!..

Маї

Как много красоты в жизни. Как много чувств, непостижимых чувств, радости и огорчений. Прекрасна весна, восхитителен месяц май. Согретая солнцем земля оживает и горит улыбкой обновления. Забываешь тяготы и мрак, холод и суровые бури.

На кладбище, у погоста — и то как-то веселее. Распустились березки, ярким бисером блестят зеленые листья. И весело бегут розовые облака, далеко спускаясь за леса и долины. Задумывается душа и отлетает горе. Май. Прекрасный месяц май.

* * *

У террасы дома моего распустилась сирень. Поздно. Над темным лесом догорает зеленый отблеск зари. Тихая ночь. Так тихо, что я слышу, как бьется мое сердце. Пахнет весенним цветом деревьев и сирени. За садом, к реке, звонко льется песня соловья. Но почему печаль в звуках песни его? И какая дивная тайна в красоте песни соловья ночью весной? Сам соловей — простой и серый: в его облике небольшой птички, в его глазах, небольшой изящной голове есть какая-то изящная робость. Какой-то птичий волшебник.

Заключенный в клетку и закрытый в темноте, он поет свои песни про мир счастья, и слушает человек, и соловей знает, что его слушают... Что за странность, какая тайна? Может быть, его слышат живой и мертвый?

Песнь соловья — тайна неразгаданной любви, непонятой и вечной... Льет аромат распутившаяся сирень, и ночной воздух, и деревья, весь очарованный мир внимает соловью... неизъяснимо прекрасна жизнь. И плачет душа человека слезами восторга... Что в этом, какая тайна жизни? Что за симфония в природе, возвышенная и прекрасная?

Серая птичка — соловей, своим маленьким голосом как много ты даришь и как много говоришь истины. И сам ты — истина... И влажные глаза Аполлона задумчиво смотрели вдаль, когда ты пел, соловей.

В каждой озабоченной душе человека ты вызываешь тревогу, позабытую тайну любви.

* * *

Майская ночь... В бесконечном своде небес мерцают далеко и радостно звезды. Темным силуэтом спит дом мой. В стеклах окон мутно отражается поздняя потухающая заря. Тихо. Ни души кругом. Я слышу, в коридоре стучит лапками, идет мой приятель ёж. Он подходит ко мне, подняв свою свиную мордочку, и нюхает воздух. Я погладил его колючую щетинку; он зафыркал и ушел. По дорожке у сарая слышу шаги — кто-то идет. Это сторож дома моего, старик, несет крынку молока. Вбегает собака Феб и кладет мне лапы на колени.

— Уйди, ты мокрый, — говорю я ему. — Где ты шлялся?

— Вот ты што хочешь, — говорит мне старик, — надо ему в воду лезть! Иду по мосту, а он нет, через речку вплавь... Воду любит, водяная собака, значит...

И дед смотрит на меня.

— Неужто тебе, Кинстинтин Лисеич, не скушно одному-то, а? Я вот, когда один, так скучаю шибко. Ну, и рад, когда придет кто. А то в деревню сам иду. Повадней с людьми-то.

— Хорошо, — говорю, — дедушка, соловей поет тут у нас.

— Э... э... да вот он завсегда здесь, по весне-то, в черемухе бьется. Заметь, вот спать пойдешь. Так к утру он тут, у окошка, поет. Прилетит. Знает, што ли, он, что ты его любишь, или у них так Богом положено, штоб людям петь? А тут вот поет. Не боится, што пымают.

* * *

Я слышу, у крыльца дома тихо говорит со стариком-сторожем женщина:

— Куда мне теперь... сироты мал-мала... — и плачет, как-то всхлипывая. — Убили, чего ж...

Я подхожу и спрашиваю:

— Кого убили?

— Да вот, Серегу Уткина, мужа ее, на войне убили... Письмо отделева пришло. На штыках его враг поднял. Пишут товарищи. Чего тут — война... — говорит дедушка.

Помолчав, женщина опять сквозь слезы причитает:

— Трое детей-то, куда деть, мал-мала... Кольке-то девятый пойдет, смышленьш он, спрашивает — пошто отца убили? Говорю ему: война, а он: пошто война? Вот и скажи ему, ничего и не скажешь...

И женщина, плача, уходит:

— Прощайте.

А в глубине небес радостно мерцали звезды, и был торжествен свод небесный в ночи весенней. Под обрывом к реке светлыми пятнами нежно дремлет черемуха, и в ветвях ее, там, где-то в глубине, поет соловей. Другой мир... И в нем — иной призыв...

Какой контраст со страданием жизни человека!..

* * *

Правду сказал дед. Рано утром, чуть свет, проснулся я и слышу, как у открытого окна, рядом с моей мастерской, защелкал соловей. Я тихо подкрался к окну и вижу — он на ветке сирени, у самого окна. Подняв свою изящную головку, заливается трелью, наполняя все кругом радостным звуком. Его маленькая шейка немножко дрожит, и гимн утру отличается от ночной песни, в которой была тайная печаль, неразгаданная...

Я спросил у своего приятеля — что, соловей поет, желая нравиться самке?

— Нет, — ответил приятель, — он поет для себя.

А другой приятель уверенно сказал: «Для своей подруги жизни».

— А знаете, вы... — говорил мне приятель, Вася Кузнецов. — Вы все так возвышенно на все смотрите... А дело гораздо проще. Все ерунда. Вот и петух поет ночью в 12 часов, все они поют. Это для кур или как? Для чего? Как, по-вашему?

Он прищурил один глаз и смотрел на меня, ожидая ответа.

— Не знаю, — ответил.

— Вот не знаете, а вот поют: «Камаринский мужик, заголя... бежит» — это вам как, нравится?

— Не очень... — говорю я.

— Да-с? А вот, вы знаете, в Москву приехала Люся. Кто она — не знаю. Певица-шансонетка, говорят. И вот, юбка у ней на аршин ниже ног, она ее в руках держит, а как отпустит, то запутывается в ней ногами. Падает и визжит... Так вот все в Москве с ума и посходили — нравится! За ней прямо стаями ходят. Она как в юбке запутается, взвизгивает, — они бросаются поднимать. А она хохочет... А один, банкир, говорят, ей миллион подарил. Вот вам. А она только визжит. Вот вам и соловей. Вот тут и разберись, кто как поет... Да-с...

Приятель Вася меня озадачил, и я не знал, что ответить.

* * *

А вечером поздно опять на черемухе у реки пел соловей. И чувства тайной красоты наполняли душу.

Приятели мои сидели молча на террасе у дома моего и как-то задумались. Доктор Иван Иванович разглаживал баки рукой, глядел в темный сад и сказал медленно:

— Д-а-а-с... Соловей поет... А вот, заметьте, поет у реки, в кустах. Сырость, туман... голосовые связки каковы — не охрипнет... Ларингита не получит. Не осипнет... А вот я ехал сегодня к вам, в буфете на железной дороге стакан пива выпил. И вот, чувствую, — уже охрип. Как это все в природе розно.

— Да-а, докторов нет у них... — согласился приятель Вася, — за визиты вам не платят... А вот, если бы мы в перьях были, вы бы не получали за визиты-то... И университетов не было бы и клинических докторов... Тогда бы ты как? — сказал он Ивану Ивановичу.

— Хорош бы ты в перьях был, орал бы петухом...

— А что ж, петух плох, по-вашему, да? Соловей поет, конечно, хорошо, но только вот его песенки где у меня сидят... — сказал он, похлопав себя по затылку. — Я хорошо помню эти его штучки... Лиза меня водила слушать соловья, а я дурак был, молод еще... Так до того дослушались соловья-то вашего, что женился сдуру. Вот песенки-то его до чего доводят...

Все смеялись.

— Петух, по-вашему, не соловей, — продолжал Вася, — петь не умеет? А яйца красные вот на столе чьи? Ну-ка, без петуха были бы они? А? Чем христосоваться стали бы?

ЁЖ

Как сон далекий вспоминается детство, лето, Москва... Неужели это было? Какая-то добрая сказка, промелькнувшая в жизни...

Отец мой и мы по большей части жили летом в Москве. И редко я бывал в детстве на природе, на даче под Москвой, в Петровском парке, куда отец иногда брал меня с собой к сестре своей, Марье Михайловне Ершовой, моей тетке.

Когда я ехал с ним из Москвы, за Тверскую заставу и за Триумфальные ворота, то ровное шоссе и спрятанные в садах цветные домики дач поражали меня своей неизъяснимой красотой — какой счастливый мир...

Мы поворачивали с большого шоссе около Петровского дворца на дачу к тетке. Я смотрел на синеющую даль. Туда мне хотелось попасть, там — что-то самое важное, самое счастливое...

На даче у тетки было хорошо. Но не нравилась мне желтая загородка, такая ровная, у сада. И желтая бочка для воды, и куртины в саду, где посреди был поставлен железный раскрашенный журавль, с поднятой кверху головой, пускающий из горла воду... Дорожки, посыпанные желтым песком. Рядом другая, чужая, дача, тоже выкрашенная в желтый цвет и украшенная финтифлюшками, зеленая крыша на террасе... Все это хорошо, чисто, но как-то не то...

Мне хотелось бы увидеть избушку в дремучем лесу, жить там одному, с собакой Дружком, который сидит привязанный на цепи.

Дружок такой лохматый, большой и добрый — зачем его держать на цепи? Я ему кое-что подворовываю со стола за обедом. Меня за это ругает няня Таня.

Я, конечно, Дружка спускаю с цепи погулять, но все это не то.

Вот, говорят, есть река Волга — огромная. А я и не знаю, где, не видал. Хороша, должно быть, река Волга. Я бы сделал лодку небольшую и поехал бы по Волге, оста-

навливался бы на берегу, разводил костер, ловил рыбу, ел уху... Одно скверно: говорят, на Волге разбойники есть. Но ничего. Я бы закопался на берегу в песок по горло, а они как пойдут, я их из песка самострелом — «раз!» У меня самострел есть и стрелка, а в нее иголка вставлена... Стреляет — не слышно откуда и ничего не видно... Вот какой я!..

А еще хотелось мне жить в маленькой избушке, с Дружком, в лесу. Страшно... Вдруг ночью пришел бы волк или медведь? Что тогда делать? Выйти нельзя — съедят. А они смотрят в окошко на меня да зубами щелкают...

Эх, хорошо бы ружье. Я просил отца купить — на охоту пойти, за дичью, не хочется рано, говорит, еще, когда вырастешь, тогда куплю... Когда это вырастешь? Долго ждать...

Так я мечтал на даче у тетки в Петровском парке. И за обедом, когда было так хорошо и была клубника со сливками, я рассказал как-то свои желания уйти в дремучий лес и жить там в избушке с Дружком. На это тетка сказала, что я глупый мальчик и что если бы я желал так жить в Петровском дворце, который тут недалеко, рядом, и хотел бы сделаться вельможей, то это ей больше понравилось бы...

Я не знал, что такое вельможа, и не мог никак понять. Но тетя моя была такая хорошая, добрая, такая на ней косынка и так хорошо причесаны ее седые волосы, что я всегда думал: «Она говорит, что нужно». Однажды, когда за загородкой сада играл старик на шарманке, она дала мне 20 копеек и велела ему отдать, сказав:

— Отдай бедному музыканту.

Я с особой радостью исполнил это. Музыкант был старый, сморщенный, бритый, с красным шарфом на шее и дурно говорил по-русски.

С тех пор я полюбил ее еще больше.

И, все-таки, меня тянуло в лес. Мы с Дружком поймали бы дикую корову, такую, как у нас была Сметанка. Я привязал бы ее к избушке и доил бы, пил бы молоко... Одно смущало: вдруг корова-то дикая да станет бодаться. Как быть?

Иногда меня пускали гулять с Дружком одного. Дружок в ошейнике, и я его водил на плетеной веревке.

Раз пришел я к Петровскому дворцу. Там площадь, стоят скамейки. Большой дворец — пустой, никто в нем не живет, но сбоку, где растут акации, я увидел с дорожки в окне дворца — сидят двое в мундирах, оба седые, и на шее у каждого по большой медали. Сидят они за столом, самовар — пьют чай.

«Вот это вельможи», — подумал я и засмотрелся. Они тоже посмотрели на меня в открытое окно. Один, обернувшись к окну, сказал:

— Это твоя собака?

— Да, — ответил я, — моя. Дружок называется...

— Хорошая, — говорит, — собака. Отдай, — говорит, — ее нам.

— Нет, — говорю, — нельзя.

— Это не твоя собака-то. Ты, должно быть, ее украл?

Я как услышал, так изо всех сил пустился бежать с Дружком домой.

Когда я прибежал на дачу, то увидел на террасе Лариона Михайловича Прянишников, двоюродного брата своего Мишу Ершова и тетку и рассказал им с волнением о вельможах с медалями. Они смеялись.

— Это не вельможи, — сказала тетка, — а швейцары, сторожа. Ах ты, глупый!

Ларион Михайлович Прянишников был высокого роста, худой юноша. Все, что он ни говорил, мне нравилось невероятно.

— Вот что, — сказал он мне, — после обеда мы пойдем, Костя, я тебе покажу дремучий лес, тут, недалеко.

Я едва дождался обеда, чтобы скорее попасть в лес. Пошел Прянишников, Миша, я и Дружок. Мы пошли по шоссе к заставе. У заставы, раскрашенной черными и белыми полосами, стояли солдаты. Там мы свернули с дороги и пошли лугом. Большой лес стоял вдали ровной стеной... А слева было видно большое поле Ходыньское. Подошли к самому лесу, перепрыгнули канаву. Ну и лес увидел я! В первый раз в жизни. Вот до чего огромный, дремучий. И в нем никого нет, никого... До чего хорошо! Дружок с радостью бегал.

«Отчего же это живут все в Москве и в лес сюда не ходят?.. Значит — бояться, — подумал я. — Отчего живут на даче, где сделаны дорожки, куртины, — как некрасиво. Тут нужно жить, в лесу...»

— А что, медведь — живет здесь? — спросил я у Прянишникова.

— Что ты, Костя, рядом Москва, — его убьют ведь... Тут никаких зверей нет.

«Жаль», — подумал я. И все спрашивал у Миши и Лариона Михайловича, что значит, что в лесу никого нет.

— В лесу хорошо, но скучно, — ответил мне Миша, — и дорожек нет. Но на даче лучше. В парке много гуляют. Там чисто, песком посыпаны дорожки.

«Ну нет, — подумал я, — ерунда. Лес лучше.»

Когда садовник, помню, ножницами у нашего сада стриг акацию, я спросил его, зачем стрижет, жалко ее и стало гораздо хуже. Он сердито посмотрел на меня и сказал:

— А ты, барчук, дурак.

Вот и все...

Лес становился все чаще и спускался вниз, и сквозь деревья показалась внизу, у зеленого луга, Москва-река. У песчаной отмели стояли барки. Вдруг Дружок заворчал и, подняв голову, залаял, отскочив от куста. Мы посмотрели в куст, там шипело и фыркало.

— Ёж! Смотрите, ёж! — сказал Прянишников.

Свернувшись в клубок, ёж был, как шар. Растопыривши щетину, отчаянно шипел и фыркал.

— Надо его взять домой, — сказал Миша.

* * *

Ежа завязали в платок и принесли домой.

Дружок был, видимо, доволен, что нашел ежа.

На даче у тетки все смотрели на ежа. И соседи пришли. Ёж шипел. Его посадили в пустой деревянный ящик. Я положил туда травы, хлеба и мятный пряник. Кухарка Настасья сказала:

— Бедный... может, у него в лесу-то дети остались... теперь помрут...

Ночью я не мог спать.

Жалко мне ежа: у него дети в лесу, маленькие, и тоже все в щетинке. Умрут в лесу...

Я встал и оделся, снял с подушки наволочку, насилу посадил в нее ежа, наколол пальцы, и тихо спустился с лестницы. Прошел кухню и вышел наружу. Бегом побежал к дороге. За мной Дружок. Думаю: как обойти заставу — там солдаты отнимут ежа. Перешел через дорогу, пошел по полю. Дружок рядом бежит. Слева серп месяца, впереди лес, ближе, ближе. Сердце бьется, а ёж все шипит.

Вот и канава, и лес. Как жутко!

Перелез через канаву. В лесу еще страшнее, будто вот кто-то сзади схватит. Лег на траву, трава мокрая, роса. Тихо кругом, только ёж шипит.

Разворачиваю наволочку. Пустил ежа на траву, схватил Дружка за ошейник — и назад, через канаву.

Бежал за Дружком домой что есть сил. Боялся оглянуться: вдруг кто-нибудь из лесу гонится за мной.

Бежал и так устал, что лег в поле. Лес уж далеко. И вижу, из леса вышел кто-то, люди, женщины в белом и еще кто-то. И женщина запела так хорошо.

Дружок залаял. Люди бросились бежать опрометью и спрятались в лесу.

Когда я подходил к даче, то увидел, что у террасы свет. Громко говорят. Тетка кричит.

Когда я подошел, все, увидав меня, закричали:

— Вот он! Куда ты ушел? Да ты что? Как ты смел? Дурак! Сумасброд!

И чего только ни кричали.

— Зачем ушел, отвечай? — набросилась на меня тетка. — Отвечай!

Я только ответил:

— Ёж. У него дети. Маленькие, в лесу.

Сенежское озеро

По Николаевской железной дороге, в двух часах езды от Москвы, у станции Подсолнечная, есть большое Сенежское озеро. Любители рыбной ловли на удочку ездят туда из Москвы.

Прекрасное Сенежское озеро...

С одного берега — высокий еловый лес стеной спускался к самой воде. Открывалась возвышенность, на которой было раскинуто село со старой церковью. Седая череда и камыши густо, островами, лежали вдаль и говорили о каком-то далеком крае. И дальше синело своими волнами озеро. Белые чайки и крачки носились над водой. Гагары, ныряя, покрывали, веселили озеро.

У дороги, у самой воды, стоял одноэтажный большой дом — вроде гостиницы для приезжающих рыболовов. К самому озеру шла деревянная платформа, где была запруда. Внизу плоты на воде с причаленными лодками для рыболовов. За право ловли, лодку и стоянку в гостинице брали в день один рубль. Заведующим домом и лодками был Кузьма Николаевич. Он же ставил самовары посетителям и продавал

мелкую рыбу, живцов, для ловли окуней и щук, которых много было в озере Сенежском. Приезжие скоро знакомились, размещались по комнатам, где были деревянные нары с матрасами, набитыми соломой.

Когда Кузьма Николаевич видел, что идет рыба, он посылал и мне, и другим рыболовам письмо: «Приезжайте, жор. *Ваш доброжелатель Кузьма*». «Жор» — значило, что рыба сильно брала на удочку.

И я приезжал. Помню, озеро тихое. Солнце опускалось за лес. Какое-то особое чувство наполняло душу при виде большой воды. Колокол ко всеобщей разносился по озеру. Хорошо было на душе.

* * *

В доме я встретил компанию рыболовов. Они подготавливали удочки, смотрели их погиб, у каждого были свои секреты, и каждый гордился своей снастью, какую по большей части делал сам. Смотрели, как лакирована удочка, как сделаны на ней перевязки шелком. Удочки были красивые. Особенные поплавки, длинные, белые из лебединого пера, из хвоста дикобраза, или толстые: из пробки. Они были выкрашены, как игрушки. Все это веселило, и было красиво, когда поплавки ложились на воду.

Среди рыболовов был один человек огромного роста. Его большая спина была внушительна. Бобриком стриженные волосы, доброе широкое лицо с серыми серьезными глазами. Он плохо говорил по-русски. Это был немец Пеге, старший мастер на какой-то фабрике, рыболов страстный.

За столом самовар, все разложили привезенные закуски, поставили бутылки с водкой, настоянной на черносмородинном листе, анисе, зубровку, пиво, маринованные щуки, копченые лещи, окуни. И каждый просил попробовать, как у него это приготовлено. Душевные люди рыболовы. Охотники, вообще, душевные люди. За столом разговоры — тут уж нечего было спрашивать, что правда, что нет, но каждый рассказывал какой-нибудь особенный случай. Рыбы, по рассказам, были такие, что Россия выходила вроде Африки: попадались на удочку чуть не крокодилы...

* * *

Рано-ранехонько Кузьма Николаевич будил нас. Утро, чуть свет. Свежий холодок. Озеро тихое. Мы выходили и клали на лодки снасти, груз и весла, опуская их в воду. Каждый выбирал свое заветное место, где стать на озере в лодке.

Я поместился в лодке с Пеге и с доктором-хирургом, известным в Москве. Со мной и Василий Княжев, мой приятель-рыболов, которого я взял из Москвы. Опустили груз; стали на глубине восьми аршин. Весело легли поплавки на поверхность зеркальной воды. Розовые облачка глубоко отражались в воде.

Осветились верхушки дальнего леса. Прилетали птицы, и брызнуло солнце по камышам.

— Подсачек! — крикнул хирург, и удочка его согнулась от сильной рыбы.

Большая щука лежала в лодке, билась.

— Фунтов десять, — сказал Княжев.

Пристально смотрел Пеге на поплавки. Хирург, закинув удилище с живцом, помолчал, спросил Пеге:

— А что у вас, у немцев, самое главное, самое важное и самое нужное?

Толстый Пеге глядел на поплавки и молчал. Потом, обернувшись, ответил:

— Отечество.

— А... да... Ну, да — отечество. А по-моему, дети.

— Дети?... Дети и блоха имеет.

Доктор-хирург удивился.

— Позвольте, а любовь, семья? Как, по-вашему?

— Дети — это карашо... Но дети это еще не шеловек. И какие дети, когда нет отечество?..

— Как же это, не человеки — дети? А кто же?

— Конечно. Надо, чтобы из него шеловек стал.

— Какой — человек стал? Он же, когда вырастет, будет человек.

— Ну, неизвестно... Шеловек должен быть такой, когда ему карашо, он должен делать так, чтоб и другому было карашо. А если ему карашо, а другому плёхо, — тогда он не шеловек, а сволоча... А без отечества нет никакой любовь и ничего нет. Только остается слеза из глаза. А русский шеловек скажет: «самое главное — деньги». Это глупо.

— Ну, нет... — сказал хирург, — неверно это. Русский никогда этого не скажет.

— Хотите пари на дюжин пива, — сказал Пеге, — что русский шеловек скажет «деньги главное»?

— Идет! — ответил хирург.

Но опять согнулась удочка, — хирург тащил большую рыбу, которая плескалась и выпрыгивала.

— А что ж, по-моему, деньги тоже очень нужны, — сказал Василий Княжев. — Как без денег? Вот у меня никогда не водится. А то бы купил, это бы... да и бабы по-другому смотрят...

Солнце стояло высоко. Жарко. Рыба брать перестала. В лодке лежат щуки и большие окуни. Мы выбрасываем их на пристань. Кузьма Николаевич подбирает и кладет в новые рогожные кульки, завязывает каждому отдельно его улов.

Хирург поймал вдвое больше нас и торжественно улыбается.

В комнате самовар, закуски. Мы сняли платье, остались в рубашках, окна открыты, в окна видны зеленые ивы, на озере вдали показалась синяя зыбь... Хорошо на озере Сенежском.

Кузьма Николаевич с нами пьет чай, держа блюдечко всей пятерней, и дует на горячий чай.

— А что, — спросил я, — Кузьма Николаевич, — скажи-ка, что самое важное, самое нужное, самое ценное в жизни?

Кузьма Николаевич хитро посмотрел на меня, подул в чай и, опустив блюдце, улыбаясь, ответил:

— Деньги-с. Не Бог, а пол-Бога есть.

— Ха-ха-ха... — затрясся Пеге от смеха. — Я выиграл пари, дюжин пива... Простите, пожалуйста, меня, господин профессор: я выиграл...

Доктор-хирург посмотрел кругом на всех нас и тоже засмеялся.

— Ну, угостил ты меня, Кузьма, — эх, черт, ахнул. Проиграл. Верно ведь — проиграл. Не Бог, а пол-Бога...

Кузьма Николаевич сказал:

— А что же, на деньги ведь все купишь. И человека купить можно.

— Ха-ха-ха... — смеялся Пеге. — Чудака... Я вот ездил в Ганновер, у меня там родные, я, знаете, только три дня мог пробыть. Так соскучился по Россее, по водочка, по такой вот народа, по волю и замечательный жизнь. Нигде нет такой жизнь, как в Расеи, нигде нет такой свободы. А вот денег, должно быть, мало, должно быть трудно. Какой поль-Бога деньги? Деньги — это меновой знак — за труд и талант...

— Тащи дюжину пива! — сказал хирург.

Кузьма Николаевич встал из-за стола и принес в руках дюжину холодного пива из погреба.

— Ви знаете, — сказал Пеге. — Я так люблю своя жена, но только я такой тольский, а она такой длинный, худой... Она, когда была со мной на своя родина, то все говоришь: «Поедем домой, в Россию...» Я ей говорил: «Какой домой, тут домой». А она говоришь: «Я там маленький помню, так лужки такие зеленые, на них теперь цветочки растут, я веночки сплету, сыну на голёвку надену, у него русая голёвка... Поедем домой...»

Долго еще спорили рыболовы и о значении денег, и о доме, и об отечестве. А Василий Княжев под конец сказал:

— Когда живешь, деньги нужны. Как хочешь, а нужны. И сколько около их эдакого всякого... И до чего плутни... Глядишь, когда богатый, дак на него-то, как глядят, лицо делают такое приятное... Чисто Богу молются... И так уж угодить хотят, никто ему никогда и «нет» не скажет... все только «да». А вот, отчего это, скажите пожалуйста, господин доктор, отчего это я таких вот бедных видал, до ужаса... Эх, если б я богатый был, вот бы я... Одну бы белорыбицу ел. Вот до чего люблю... Дорога белорыбица, не поднять мне... Эх, деньги-денежки...

То — незнамо что

Помню я, как-то давно, в ночлеге на охоте, у псковича, один из деревенских жителей, охотник, такой таинственный человек, бывалый, торговый, рассказал странную сказку. Будто в старину было такое царство-государство, и жил в нем народ особенный, трудно было его понять. Так трудно, что даже совсем невозможно. И трудно было и угодить ему. Неизвестно было, чего он хочет. Много думали волхвы и кудесники и догадались малость, что хочет он жить у Бога за пазухой. Вот с тех пор и осталась пословица. Так и теперь говорят: «Хорошо живет, как у Христа за пазухой». И все хотели жить лучше. А хорошему ведь конца нет. Ну, и жил себе народ, поживал, Богу молился и пел: «Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...»

И рассказчик засмеялся.

Я подумал — какой особенный человек. А он сказал:

— И очисти ны от всякие скверны...

— Сам бы себя очистил. Бога одолевает.

И продолжал:

— Построил он себе много церквей, чтобы Богу молиться. И в церквях пели «за царя мы все подыдемся». А царь у них был Додон, человек серьезный. И заметил он, что в церкви поют «за Додона все подыдемся», а домой придут, так гудят втихомолку — «на Додона все подыдемся».

«И чего это такое? — подумал царь Додон, — что за народ у меня такой, что понять его никак невозможно. До того чуден, ум раскорячивается. Кажись, приволье: жениться хочешь — женись, выпить охота — пей, вино тебе прямо из хлеба гоню, чисто как кристалл светлый; кабаков, трактиров — сколько хочешь; работать — работай, когда вздумаешь; хочешь — богатей, хочешь — бедней... Не пойму я, чего ему надо».

И позвал Додон своего тайного обер-советника и говорит ему:

— Вот что, мой верный обер-тайный советник. Пооди туда, незнамо куда, и узнай то, незнамо что.

Тайный обер-советник, как услышал это самое, то глаза у него завертелись, точно кубари. Но, верность долгу храня, советник сказал:

— Точно так, слушаюсь...

Повернулся направо кругом и пошел.

Идет и идет и думает сам: «Иду незнамо куда...»

И зашел. Видит — лес дремучий, такой лес — красота, высокий, и птички в лесу поют...

«Эх, — подумал советник, — и с чего это Додону на ум накатывает?.. Жить бы да жить, а вот теперь иди незнамо куда...»

И видит, в лесу бежит избушка на курьих ножках. Чо такое?

И крикнул ей советник:

— Стой, куда ты?

Смотрит тайный советник, в избушке ни окон, ни дверей.

«Это что же такое? — думает обер-советник, — до чего чудна наша страна — у кого хошь — ум раскорячится. Что за избушка такая?»

— И чего это ты, избушка, бегаешь зря? — говорит советник. — Живет в тебе кто?

— Я живу... — отвечает голос из избушки.

— А кто ты-то?

— Я-то?

— Да, ты-то?

— Я-то? Правда.

— Чего же ты, Правда, там сидишь? Вылезай наружу.

— Как вылезти-то? Я ведь заколочена... ни окон, ни дверей нетути... Да и боюсь вылезти — убьют...

— А ты знаешь, с кем говоришь-то?

— Я-то?

— Да, ты-то.

— Знаю.

— А кто я?

— Ты-то?

— Да, я-то.

— Знаю — с дураком говорю...

— Ах ты, лахудра! — рассердился советник, — да как ты смеешь со мной так говорить? Паскуда! Да я тебя... сожгу сейчас...

— Ну вот, нельзя правды сказать. Если б ты умный был, я бы тебе сказала, отчего ты дурак. Может, понял бы — поумнел. А то так и останешься.

И избушка убежала.

«Что же это такое? — думает обер-советник, — нешто я и впрямь дурак какой? И вот ведь, что заводится в лесу у нас — дрянь какая. Поджечь бы ее, да ведь бегает как — не догонишь...»

Огорчился и пошел обер-советник дальше по лесу в раздумье.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Вот видит он лужок у Лукоморья, а на лужке дуб зеленый растет, и сидит на нем Кот Ученый, такой седой, серьезный, в очках, и пишет усердно, водит пером по бумаге. Напишет, прочтет, сбросит вниз наземь и пишет снова.

«Чего это? — думает обер-советник. — Прямо чудеса у нас! А кот хороший».

— Кыс-кыс... — позвал советник.

Кот посмотрел и оцетинился.

«Ишь, сердитый какой! А грамотный... чудеса какие!...»

— Кыс-кыс...

Советник подошел к коту и почесал его за ухом.

— Ты чего это пишешь?

— Да вот, — говорит Кот, — пишу, день и ночь пишу. Начало хорошо — конца нету. Конец есть — начала нету...

— Экой кот-то ты ученый, — сказал советник.

— Я, — говорит Кот, — не простой, а председатель кошачий...

— Эва что... А пишешь-то чего это?

— Пишу я то — незнамо что. Да не выходит.

— Чего это ты? — говорит советник. — На кой тебе. Ты ведь печенку любишь, чего тебе? Ловил бы мышей.

— Да нет, ты ведь понять того не можешь. Ишь, ты в мундире, прислужник тирании.

Вздыхнул Кот.

— Вот думаю пойти, тут недалеко живет кудесник главный, хочу у него спросить совета... Недалече тут, в любимых Хамовниках живет. Допрежь там хамы жили, а теперь он. Вот человек... он сквозь тебя сажен на три в землю смотрит.

— Пойдем вместе, — говорит советник, — мне повадней... Узнаем у него «незнамо что».

Идут оба — самый тайный обер-советник и с ним Кот Ученый.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Идут, идут и видят сад и дом такой с колоннами. На крыльце сам кудесник сидит и лапти плетет. Лакей в перчатках лыко ему подает. А в сторонке детки кудесниковы, веселый народ такой, молодой, какого-то человека, такого смиренного, лупят доской по голове, лупят прямо по чем зря. Смеются, чертыхаются. Им потеха, а он хоть бы што — не обижается.

Удивился советник, испугался. Идти в ворота боится: как бы с ним эдакого-то не случилось...

— Пойдем, — говорит Кот, — не бойся — это он в обучении у кудесника живет: супротивность из его вышибают.

— Вот оно что-о-о?... А жалко все ж... Как мочалят сердягу!..

Ну, вошли в ворота. Обер-советник поклонился кудеснику.

— Так-то и так-то, — говорит, — как бы узнать у вашей милости «то — незнамо что»...

Кудесник пристально посмотрел на обер-тайного советника и сказал:
— Все хотят узнать это самое... «незнамо что»... да не могут. А пора бы...
— А вот меня сам царь Додон послал... Пооди, говорит, туда, незнамо куда, узнай то, незнамо что. Вот тут-то как быть, узнать-то как?
— Вот тебе лапти, отдай Додону, — сказал кудесник. — Пускай в лаптях-то походит, дак сам узнает.

Взял лапти обер-советник, и Кот тоже подошел, замурылкал.

— Брысь под лавку! — крикнул кудесник, — пшел...

Вот и все.

И пошел обер-тайный советник потом опять в путь-дорогу. Идут и молчат. Устал советник, присел. Говорит Коту:

— Есть хочется, замучился я.

— Хорошо, — говорит Кот, — я тебе сейчас мышей наловлю.

— Да ты что, с ума сошел. Я мышей не ем.

— Попробуй, — говорит Кот, — хороши мыши.

— Эка дура Кот, — думает советник, — без понятия...

А кот говорит ему:

— Другую жизнь нужно заводить. Я не простой какой-нибудь кот, а председатель дум котových... Постановление сделаем — всю печенку, что в царстве Додонове — нам. И еще всех кошек тоже нам. Блудливы мы, коты-то. Вот жизнь будет!.. Погодите, веселие одно настанет. По крышам будем за кошками бегать свободно...

Пришел тайный обер-советник назад во дворец к Додону и доложил царю, что был незнамо где и видал незнамо что. И рассказал про избушку на курьих ножках, про кудесника и кота, и лапти кудесника отдал царю.

Задумался Додон, взял лапти и сказал:

— Ну, вот что, дорогой, довольно колбасы... Довольно!..

Взял, надел лапти и ушел из дворца, и куда ушел, доселе не знают. Невесть куда...

Володя

В России времена года были определенно ясны. Весна — так весна, лето, что ж и говорить — лето в России — это было лето. Зима так зима. А осень...

«Людям скучно, людям грустно...»

Но в сущности и в осени была бодрость, красота прощания с райским летом. Вся земля русская пахла хлебом. Запасались на долгую зиму. Сидеть в зимние вечера в теплом доме, на посиделках с соседями, гостями, друзьями, варить брагу, угощать пирогами с капустой, грибами. Угощать, обязательно угощать. Ходить в гости друг к другу. Нельзя не ходить в гости — невозможно.

— Какой же это человек, он и в гости не ходит, — говорили. — Не угощает...

Эдаких-то людей, уродов, и не было. В России угощали все. В России был быт, и быт был как-то связан с природой. Природа русская, времена года играли роль в жизни. Природа заставляла любить себя. Созерцать. Песня, литература, рассказ, любовь, само построение души было связано с природой и с временем года. Настроение от природы было там внутри человека, было красотой его, наполняло душу. Сама грусть была не как грусть — а как отрадная печаль; она пела душе, как лира.

Пела природа русская звуками несказанных чувств, и сливалась она с душой, как молитва. Россия пела...

Для меня, скажу искренно, эти настроения были священны, дороги, родны, и нигде я их не чувствовал, только в России. И не было выше восхищения, как созерцание русской природы. И мне всегда хотелось как-нибудь, как я мог, красками или пером, передать эти настроения русской природы...

* * *

На террасе моего дома, летом, в деревне, где в саду пела иволга, сидел мой родственник — студент Володя. У него большие красные губы, как-то оттянуты вперед. Серьезный молодой человек. Он медленно, в раздумье, ест клубнику со сливками, смотрит вбок на газету, читает, потом тоже медленно и важно говорит доктору Ивану Ивановичу:

— С точки зрения социального сознания масс, введение земского обложения...

Проходя мимо террасы с работы, я тащил зонтик, холст, краски. Остановился.

— Володя, — сказал я. — Ты не пойдешь со мной, покуда холодок, надо малину полить, а то в полдень опять жара будет. Дождя не было две недели. Пойдем, польем.

Володя сердито посмотрел на меня и, встав, пошел со мной в сад и, с еще более сердитым лицом, взял лейку.

Мой родственник считал унижением поливать малину, и я знал, что меня он считает так... ненужным человеком, но все же полезным ему в жизни. Ему казалось, — я это чувствовал, — что я просто живу, как-то нечаянно. Растет у меня в саду и клубника, и малина, и он ее любит есть, между прочим, но он считал меня не таким, как нужно, а себя считал именно таким — умным, разговорчивым, передовым.

* * *

Этот милый мой родственник влюбился нечаянно в актрису на вторых ролях, и тут с ним случилась перемена: он совсем бросил ораторствовать о демократизме, социализме, прогрессе, империализме, капитализме, милитаризме, национализме, — сразу забыл все «измы», и говорил только:

— София Павловна... София Павловна играла... будет играть... хочет играть...

И пошло: роли подходящие и неподходящие, изгиб тот, изгиб не тот, антрепренер в Одессе обиделся, контракт порвала. Она теперь едет сюда, едет туда...

Актриса однажды странно сказала:

— Я захочу, заведу себе мужика... Когда захочу... Я одного любила и для искусства бросила...

— София Павловна, София Павловна, — вытянув губы, говорил мой родственник. — Это человек особенный... Вы знаете, из-за нее шестеро застрелились, седьмой тонул. Вы понимаете?

Через две недели я узнал, что Володя — режиссер. Я привык, конечно, к этим штукам, так как с двадцати лет работал в театре. Но все ж удивился немного.

* * *

Как природа сменяется у нас, так переменился мой родственник — режиссер. Переменился и внешне. Пиджак короткий, волосы завиты барашком, галстук — широкий бант, штаны в полоску. Политику бросил.

— У Софии Павловны изгиб, — говорит он. — Ни у кого такого нет.

Горит мой родственник театром, будто там родился. У него изменилась походка, выражение лица.

Студентом раньше он был молчаливым и как-то особенно водил глазами, глядя вбок, как бы что-то высматривая; ходил скоро, вроде как бегом, всегда с книжками и прокламациями. На извозчике ехал, как-то согнувшись, робея.

Когда же сделался режиссером, горел энергией, кричал, стучал кулаком по столу, бросая тетради ролей, говорил, что есть только четыре начала: начало совокупности, начало символическое, саркастическое и демократическое...

— Есть еще ерундическое... — сказал ему один мой приятель, барон Клодт, которого он не любил за его насмешки.

Обалдев от увлечения актрисой, Володя только и говорил о Софии Павловне и ее ролях и становился перед всеми в вызывающую позу, сложив на груди руки, как Наполеон.

Однажды осенью, в Москве, в декоративную мастерскую Малого театра, где я писал декорации, пришел ко мне мой родственник Володя. Лицо такое бледное, худое, и рассказал мне серьезно и важно, что разочаровался в Софии Павловне.

Когда он ехал с нею из Киева, в вагоне 3-го класса, София Павловна на какой-то станции, где поезд стоял десять минут, встретила своего знакомого коммивояжера. Разговорилась с ним и велела носильщику вынести из вагона ее чемодан. И пропала с коммивояжером, даже не простившись с Володей.

— На какой станции-то? — спросил я.

— Не помню. Это все так скоро случилось, я растерялся... Был страшно расстроен...

— Хорошо, что не застрелился, а то бы восьмой дурак был...

Он удивился и сказал мне:

— Странно, как вы на все так легко смотрите... Удивительно. Вас не трогают трагедии жизни...

— Да верно, мой друг, — согласился я. — Но есть еще в жизни и комедии...

— Знаете, — прервал он меня важно, — я теперь себя посвятил литературе. Начиная писать романы.

Свою разлуку с Софией Павловной Володя называл «драматический разрыв». Он снова резко изменился, принял другой образ. Стал полон мыслями о себе. На лице его было написано, что он знает что-то важное, нужное... Ходил медленно, важно, ноги ставил как-то врозь. Ходил покачиваясь, солидно. Так ходят миллионеры. Губы выставлял вперед. Помолчав, важно так, как эксперт, делал короткие замечания. Видно было, что он — писатель...

— Внутри горит священный огонь... — как-то сознался мне он.

Он сам себя убедил, что он писатель, стал носить шерстяную черную блузу и штаны заправил в сапоги. Я и друзья мои удивлялись переменам, с ним случившимся, и посмеивались. Он покорно отвечал:

— Пускай... я все перестрадаю...

А режиссером-то как ругался, орал, прыгал, подняв руки, чуть не дрался.

В те времена провинциальные актеры боялись его, слушали, что говорит, потом уныло шли в буфет и пили водку. Качая головой, говорили:

— Черт его знает, говорит, говорит, а что говорит — не поймешь. Но теперь время такое, все новое ищут...

Глядя на Володины перемены, я удивлялся энергии, которая его охватывала. Я думал: «А есть мимикрия в человеке. Какое приспособление. Казаться, а не быть. Я часто видел это в жизни...»

Поздняя осень. Утро. Дымят овины. Я приехал в деревню. В сарае около дома мой сосед Феоктист рубит капусту. Тетка Афросинья укладывает ее в бочку, посыпая солью.

А напротив сидит на лавочке Володя и ест кочерыжку.

Увидав меня, у ворот двора, он подошел ко мне и сказал:

— Конец, хорошо, начало еще не написал.

— Вали, — говорю, — начинай с конца, все равно...

— То есть как же это? — удивился он.

— Жарь, — говорю я, — все равно...

— Господи, до чего хорошо у вас, — говорил приехавший со мной приятель-охотник Караулов. — Гляди-ка, — говорит, — чего это, сколько... ишь ты... дроздов летит. Это они к рябиннику...

И спешно вынимает ружье из чехла.

— Василий Васильевич, — говорю я приятелю, — у меня закон: нельзя стрелять в сад. Заповедный сад. У меня здесь во ржи к речке выводок тетеревов. А я его не трогал...

— Правильно, — согласился Караулов.

В комнате Володи, посередине, стоял большой стол, весь покрытый рукописями, лежавшими между бутылками пива. Под столом тоже пустые бутылки пива. Пол засыпан рваной, в комках, бумагой. Видно было, что он здорово принялся за литературу.

— Я начинаю так... — говорит мне Володя. — «В несвободной стране — свободная любовь...»

И он умно посмотрел на меня.

— Вот что, — сказал я. — Вечером поговорим. На охоту иду...

Лиловыми мутными полосами стоят обнаженные осины. Темные ели выделяют-ся на лесном мелколесье. На полянке пожелтевшей травы стога сена. Мы с Карауловым сидим у стога, гончий пес Бурмистр смотрит на нас. Серый осенний день. Хорошо у стога, как-то интимно. Едим пеклеванный хлеб с сыром, бросаем Бурмистру, он глотает не жуя.

— Родственник-то ваш не охотник, не любит охоту, — говорит Караулов.

— Да, не любит.

— Он говорил мне за чаем: «Этой ерундой заниматься, когда можно дичи купить на Охотном ряду сколько хочешь...» А я ему: «А природа, картины какие видишь, когда на охоте ходишь?» А он говорит: «Какая природа, скука... Это, — говорит, — для дикарей, для людей несознательных. А я, — говорит, — сам писатель. Всегда, когда читал, всегда, где про природу писали, не читаю, пропускаю. Если бы была у нас свобода, то писатели никогда бы про природу не писали. Пиши про природу, разрешается, сколько хочешь. А я пишу, — говорит, — про свободную любовь и боюсь — запретят». А он серьезный такой, он ученый, что ли?

— Да, — согласился я. — Серьезный.

— А где же он пишет? В каких журналах?

— Пишет тут, в комнате. А где печатать будут — не знаю.

* * *

За бесконечными лесами, далеко, солнце осветило пригорок. Белой точкой блистала церковь, и так манила к себе голубая даль. Я был там как-то. Это погост. Там церковь и кладбище. И сразу как-то в душу вошли воспоминания. Я вспомнил мать, ее — больную, печальную, и смерть ее, и смерть отца...

И подумалось мне: какая странная, тайная жизнь наша... И как радостно было смотреть на даль. В ней надежда и жизнь. Есть что-то другое, есть другая жизнь, такая простая, нужная, жизнь — наша русская, честная. Она давно ушла от нас...

В Крыму

I

В Крыму, в Гурзуфе, я нашел прекрасный кусок земли у самого моря, купил его и построил дом, чудесный дом. Туда ко мне приезжали гости, мои приятели — художники, артисты, и многие все лето гостили у меня.

Я редко бывал в Гурзуфе. Мне нравилась моя мастерская во Владимирской губернии, там была моя родная природа. Все нравилось там — крапива у ветхого сарая, березы и туман над моховым болотом. Бодрое утро, рожок пастуха и заря вечерняя... А на реке желтые кувшинки, камыши и кристальная вода. Напротив, за рекой, Феклин бор, и конца нет лесам: они шли на сто четыре версты без селений. Там были и рѳдные мои мужики. Я любил мужиков, везде, где бы их ни видал, — в русских уездах, губерниях, в их манящих селах и деревнях...

* * *

А в Гурзуфе, в Крыму, были татары, скромные, честные люди, тоже мужики. И при них начальник был — околоточный Романков.

— Усе, усе я понимаю, — говорил он, — погляжу и посажу, у меня не погуляешь... Усе улажу, кого хошь в клоповник посажу...

Он называл арестантскую «клоповником», а также «кордегардией».

— Я вот Романков, — говорил он, — а вот в Ливадии сам живет...

— Думбадзе? — спросил его мой приятель-насмешник, барон Клодт.

— Не... — и Романков засмеялся.

Он был небольшого роста, опухший, голос хриплый, лицо круглое с серыми глазами, как оловянные пуговицы, под глазами синяк заживающий, и на роже свежие царапины и веснушки. Верхняя губа как-то не закрывала зубы. Лицо сердитое, и пьян с утра.

— Это вот мундир у меня, Господи, ей-ей, старый, в грязи, продран... ей-ей... Что получаешь? Сорок два... Чего?.. ей-ей... Это ведь что ж, гибель какая... Как жить?.. Хосударь приезжает в Ливадию, ей-ей... Как встречу?.. Мундир... двадцать пять рублей, не менее. Одолженье сделаете. Взаимы... Не дадите, буду знать, через кого Хосударя не встречаю... ей-ей... Хвоздевич спросит: вот скажу — не справил... Не я прошу — служба просит... ей-ей...

Романков приходил ко мне каждый день.

— Чего вы тут делаете? Розы разные, картины списываете. А чего это? Об вас никакого положения дать нельзя... Тоже вас бережем, сохраняем... а кто знает, под Богом ходим... Списываете... Вот там, гляжу надясь, далеко, у скал сидите. А что, ежели кто да снимет вас из нагана? Вы со стульчика-то кувырк, значит... ножки вверх. А кто в ответе: Романков в ответе, все я... Ей-ей, гляди да гляди!..

Он вздыхал:

— На вас чин-то какой?

— Статский советник.

— Мал... Мы и действительных высылаем...

* * *

Позади моей дачи в Гурзуфе был базар — небольшая площадь и двухэтажные дома с вывесками, трактиры и кофейни. Тут Романков каждый вечер царил, не стесняясь:

— В Ливадии он, — говорил Романков. — А тут — я. Порядок нужен.

Вечером на базаре разыгрывались бои: Романков таскал из трактиров пьяных за шиворот в «кордегардию».

* * *

У меня был приятель, татарин Асан, молодой парень-красавец. На затылке маленькая круглая шапка, вроде ермолки. Темные глаза Асана всегда смеялись, и он ими поводил, как арабский конь. Когда он смеялся, его зубы светились, как чищенный миндаль.

Неизвестно почему, околоточный Романков избегал Асана. Асан с ним был почиттелен, изысканно вежлив, сержезен. Но глаза Асана смеялись...

Романков почему-то не смотрел на него и уходил, когда Асан был у меня.

— Что тебя не любит Романков? — спросил я как-то Асана.

— Меня? Э-э-э... он? Любит меня, во любит! Твоя — моя, любит, как брат. Я его не боится — он меня не боится... как брат.

Асан хитро смеется.

— Хороший начальник Романков. Судить любит, драка любит, вино любит, все любит... Его татарин учил. Хороший начальник.

— Как же это татарин учил? — спросил Асана барон Клодт.

— Так, — говорит Асан, — так, немного... На лодке возил на Адалары, знаешь? Два брата Адалары? Пустые горы, там стриж-птица живет, воды нет — никого нет... Никуда не поедешь — прямо гора. Я привез его крабы ловить и оставил. Три дня он там отдыхал. Кричал, никто не слышит... Ну, привез его опять назад. Такой стал хороший начальник, как надо... Я ему сказал: «Будешь хороший начальник! Не твоя — не моя. А то татарин увезет опять, совсем туда — крабов ловить...» Вот...

* * *

Как-то утром я писал на балконе розы и море с природы. На лестнице, которая шла от дома к морю, стоял околоточный Романков, в новом мундире, и, вытянувшись, держал руку у фуражки, отдавая честь.

«Что такое с ним?» — думаю я. Я опять обернулся: Романков снова вытянулся и отдал честь.

Что такое?..

Я ушел в комнату с балкона и говорю своим приятелям, Клодту и Сахновскому:

— Что-то с Романковым случилось...

Все мои приятели пошли посмотреть. Околоточный стоял навытяжку и отдавал честь, выпучив глаза.

— Что с вами, Романков? — спросил его Юрий Сергеевич Сахновский.

— Не могу знать — приказано! — громко ответил Романков.

После завтрака я и приятели мои сидели в столовой. Вдруг отворилась дверь, вошел Романков и с испуганным лицом хрипло крикнул:

— Идут-с, идут...

Мы встали. В дверях стоял богатырского роста исправник Хвостович и смотрел испуганно за собою, в открытую дверь.

Что такое, что делается?..

К еще большему нашему недоумению, в дверях показался невысокого роста господин в котелке, седенький, невзрачный незнакомец.

— Хотелось бы повидать... — тихо сказал вошедший, — художника Коровина... Хотелось бы...

— Вот он, — сказали приятели, показывая на меня.

— Здравствуйте, дорогой Константин Алексеевич, — сказал вошедший ласково. — Я от Владимира Аркадьевича приказ получил: к вам поехать на поклон. Я музыкант... музыкант... Танеев, — брат у меня тоже музыкант... Согрешил я, Константин Алексеевич, — оперу написал... Это что ж такое... оперу... Вот тут у меня она...

И он вынул из кармана большой сверток.

— Я ведь сосед ваш, в Ливадии, недалеко... Сговоримся, вы ко мне, может, пожалуете, я вам поиграю... Если у вас есть инструмент, я и тут помузыкаю...

Мои приятели посмотрели на стоявших за Танеевым людей в мундирах — Хвостовича, Романкова и еще каких-то с раскрытыми ртами — и рассмеялись. Танеев оглядел нас всех с удивлением:

— Как у вас тут весело... Приятно, когда весело... смеются...

— Пожалуйста к нам, пожалуйста. Я уже получил письмо, — сказал я, — от директора и сделал наброски декораций. Я их отправил в Петербург, чтобы показали вам. Но, должно быть, вы уже были здесь.

Танеев был рад познакомиться с музыкантами — Сахновским, Варгиним, Куровым. Они разговорились. Когда музыканты разговорятся — надолго: до обеда, за обедом, после обеда... Вечером я посмотрел с балкона и увидел у подъезда полицейских, с ними Хвостович и Романков.

— Скажите, что значит... — спросил я у Танеева, — полицейские стоят тут. Зачем? — Пускай стоят.

Когда Танеев уехал, Варгин объяснил мне, что этот Танеев — брат композитора Танеева, тоже композитор. Но также и личный секретарь Государя. Тут я понял, почему вся эта церемония.

Романков после этого уже не приходил ко мне и бегал от меня, как от Асана.

II

Ночью я писал из окна кафе базар.

Трактиры освещены, из окон слышна музыка. По лестнице в трактир и из него шатался народ. Вдруг — свалка, гам. Из трактира вылетает пьяный прямо на мостовую. Драка. Вижу — Романков держит двоих за шиворот. Те вырываются. Романков бьет, его тоже бьют. Потом все смолкает. Лезут опять в трактир, потом опять кричат: «Караул!». Драка. И так весь вечер.

— Что же это такое? — говорю я Асану.

— Ну что, любит твоя — моя начальник — надо себя показать...

— Да ведь и его бьют...

— Ну, что... Любит — бьют. Ну, потом мирятся — пьют... Вино пьют...

* * *

Но ожил и повеселел Романков, когда ко мне в Гурзуф приехал гостить Федор Иванович Шаляпин. До того Шаляпин понравился Романкову, что околоточный говорил:

— Для Федора Ивановича, ей-ей, в нитку расстелюсь, это людей таких, ей-ей, негу ниде... Это чего — бох! Прямо расшибусь для его... ей-ей...

С Шаляпиным случилась неприятность. Он плыл с военным министром Сухолиновым на миноносце, и Федора Ивановича продуло. У меня, проснувшись утром, он почувствовал себя плохо. Не может ни головы повернуть, ни подняться с постели, страшные боли.

Рядом жил доктор — он жил лето и зиму в Гурзуфе. О нем стоит сказать несколько слов.

Архитектор, который строил мою гурзуфскую дачу, Петр Кузьмич, был болен туберкулезом. Доктор его вылечил — архитектор стал толстый, как бочка, такой же, как доктор. А лечил его доктор водкой и коньяком — оба пьяны каждый день с утра.

— Туберкулез выходит из такого человека... — говорил доктор. — Ему не нравится, ну и уходит.

Посмотрев на Шаляпина, доктор сказал:

— Прострел.

И прописал Шаляпину коньяк.

Когда я пришел, доктор и его пациент дружно дули коньяк. Так, серьезно, молча, лечил наш доктор и ушел от Шаляпина поздно, еле можаху... А Федор Иванович что-

то говорил мне перед сном: про номера Мухина в Петербурге, про самовар, на самоваре баранки греются... придешь из бани, хорошо в номерах Мухина... Говорил, говорил, да и заснул.

Утром Шаляпин уже двигал головой, но прострел еще сидел — и Федор Иванович встать не мог, опять доктор лечил целый день, и опять ушел еле можаху.

Навещал Федора Ивановича и околоточный Романков. Приносил газеты и письма, держал себя почтительно.

Я говорю Шаляпину:

— Околоточный неплох...

— Да, хорош.

— И доктор тоже неплох у нас...

— Да. Но как же это... Две бутылки коньяку в минуту... Он же этак море выпьет — и ничего.

* * *

Вскоре Федор Иванович вышел из своей комнаты в сад у моря, где была терраса. Она называлась «сковородка», так как была открыта и на ней жарило крымское солнце. На краю террасы, в больших ящиках, росли высокие олеандры, и розовый цвет их на фоне синего моря веселил берега гор.

— Вот там, эти горы — Адалары, — говорил Шаляпин, лежа на кушетке. — Это острова. Там же живет какой-то фотограф. В чем дело? Я хочу просить, чтобы мне их подарили. Как ты думаешь?

— Думаю, что отдадут «Пустынные скалы».

— Да. Я их взорву. Сделаю ровную площадь, навезу туда земли, посажу пальмы, выстрою там себе дом. Попрошу у Сухомлинова старые пушки — они же им не нужны, — и поселюсь на острове.

— А зачем вам пушки? — спросил доктор.

— Зачем? А затем! Ко мне туда ни один корреспондент не сунется. Пушечки-то не понравятся. Я буду жить один. Как хочу. Один.

— А как же ты будешь на материк выходить? — спросил я. — Бури, море бьет.

— Я туннель сделаю, под морем, на сушу.

— Туннель. Он выйдет на чужую землю. Ты вылезешь из тоннеля, а тебе владелец земли скажет: «Куда лезешь, назад!»

— Верно. Так и знал. В этой же стране жить нельзя. Нельзя жить. Позвольте мне выйти с острова, а мне говорят — нет, не позволяем. Это же черт знает что!

Федор Иванович сердился.

— Это верно, — подтвердил околоточный Романков, бывший здесь же. — Чего еще, ей-ей, на кой они? Кому Адалары нужны? Чего там? И не растет ничего. Их море бьет. Там камни на камнях. Ежели хотите, Федор Иванович, мы сейчас их возьмем. Фотограф там сидит, сьмает эдаких разных, что туда ездют. Я его сейчас оттуда к шаху-монаху! Мигом! Чего глядеть, берите!

— Это, наверно, вулканические возвышенности, — сказал доктор. — Вы сровняете их, дом построите, прекрасно. Ну, а вдруг извержение, дым, лава, гейзеры хлещут...

— Ну вот, гейзеры... Нельзя жить здесь, нельзя.

— Там деревья расти не могут, ветер норд-ост...

— Ну что это такое? Жить нельзя. Воды нет, нор-ост...

— Взорвать-то их можно, — заметил архитектор Петр Кузьмич. — Но там может оказаться ползун.

— Это еще что такое? — удивился Федор Иванович. — Ползун. Что такое?

— Тут все ползет, — говорил околоточный Романков. — Усе. Гора ползет у море, дорога, шассея ползет. В Уялте так дом Краснова у море уполз.

— Верно, — подтвердил архитектор. — Анапа, город греческий, весь в море уполз.

— Знаешь ли, Константин, — посмотрел на меня Федор Иванович. — Твой дом тоже уползет.

— Очень просто, — утешил доктор.

— А вот Монте-Карло не ползет, — сказал Федор Иванович. — Это же не страна! Здесь жить нельзя.

— Это верно. Вот верно. Я — что? Околоточный надзиратель, живу, вот, сорок два получаю, уехал бы куды. Чего тут зимой — норд-ост, тверезый на ногах устоять не можешь. Ветер прямо бьет, страсть какая.

* * *

Федор Иванович поправился и в коляске поехал в Ялту.

За ним сзади скакал на белой лошади в дождевом плаще околоточный Романков. Плащ развевался, и селедка-сабля прыгала по бедрам лошади.

— Эх, — говорил позже Романков. — Этакий человек, Федор Иванович, вот человек. Куда меня прямо, вот околоточного ставит, прямо на гору подымает. Вот скоро Романков что будет, поглядят. А то судачут: Романков-то пьет, пьяница...

* * *

Но в гору Романков так и не поднялся. Однажды приехала в Гурзуф, по дороге из Симферополя, коляска. Остановилась у ресторана. Из коляски вышел пожилой человек очень высокого роста, немолодая дама. Пожилой человек снял шляпу и стряхнул пыль платком, сказав даме:

— Ах, как я устал.

Околоточный Романков был рядом и заметил, сказав:

— В коляске едут, а говорят — устал. Не пешком шел.

Пожилой человек услышал, пристально посмотрел на околоточного и строго сказал ему:

— Иди под арест. Я за тобою пришло.

И ушел с дамой в ресторан.

Романков опешил.

— Кто этот барин? — спросил он кучера.

Кучер молчал.

— Чего. Немой, что ли, молчишь. Скажи, рублевку дам, ей-ей. Пять дам, ей-ей. Кто?

Кучер молчал.

— Двадцать дам, не пожалею, скажи.

Но кучер молчал. Романков глядел растерянно.

— Эва, горе. Во-о, горе. Ох, и мундира на нем нет. Кто? Батюшки, пропал, пропал я.

И он шел, мотая головой, говоря:

— Вот что, что вышло.

Ночью за Романковым приехал конвой, и его увезли в Симферополь.

Так его в Гурзуфе и не стало.

А кто был этот высокий барин, я не знаю и сегодня...

Лоботрясы

Окрестности Москвы были прекрасны. Они постепенно обстраивались дачами, и эти деревянные дачи были летом поэтичны. Летом в Москве — духота, жара. Москвичи уезжали по железным дорогам на ближайшие от Москвы станции.

Были излюбленные места: Кунцево, Перово, Царицыно, Пушкино, Перловка, и все новые места открывались москвичами. Понравилось Томилино по Рязанской железной дороге, и там на приволье, в лесу, близ речки, строили дачи. И какие дачи! Из сосны, с резьбой, финтифлюшками. Внутри дача разделялась на комнаты. Из зала через стеклянную дверь выходили на террасу; на террасе обедали, пили чай. Терраса спускалась в сад, полный сирени и жасмина. Эти дачи были как новые игрушки, выглядывающие из леса. В даче пахло сосной, из лесу и из сада неслись ароматы цветов и сена.

Хорошо было жить на даче — как в раю.

* * *

Недалеко за лесом, по лугу, покрытому кустами, вилась речка с песчаным дном и кристальной водой. Туда ходили купаться на приволье. Купален не было. Выбирали место не глубокое и не мелкое; недалеко, через реку, деревянный мост и высокий бугор соседнего берега. Купались по очереди: от такого-то часу женщины, а потом мужчины.

Я приезжал в Томилино к профессору, магистру наук, доктору Азареву. По соседству с ним была другая дача, там жил чиновник из конторы Императорских театров в Москве. С его женою и двумя сыновьями я познакомился.

Один из них — младший — был Коля. Он часто сидел на крыльце дачи, все время чистил ружье-двустволку и глядел в стволы — чисто ли. Этот-то Коля, как я узнал, собирается на охоту в Петров день.

Другой брат его, Саша, проходил драматические курсы при школе Императорских театров в Москве. Это был курчавый блондин, в глазах его было что-то легавое, с упреком, на шее большой кадык — когда Саша говорил, кадык ходил то вниз, то вверх.

Коля, младший, поведал мне, что ему хотелось бы уехать на охоту подальше от Москвы и дач — в леса глухие. Я обещал поехать с ним во Владимирскую губернию, к приятелю своему, Абраше Баранову, где много дичи, уток, бекасов, тетеревов и дупелей. Горели глаза моего нового приятеля Коли Хитрова. Мы оба дождались Петрова дня и ходили вместе купаться на речку.

Коля Хитров никак не мог выучиться плавать и купил себе бычьи большие пузыри. Но и с пузырями захлебывался.

Глядя на эти пузыри, его брат Саша выдумал такую штуку.

На даче скучно, жара. Как бы это повеселее жить? Притом жившая на даче артистка Соня Ремизова сказала про Сашу его отцу, что он все орет по ночам песни и не дает спать.

«Скажите вашему лоботрясу, чтобы он бросил эти пения, а то я пожалуюсь...»

Саша взял один пузырь, развязал веревку, выпустил из него воздух, наклал внутрь горсть жесткого гороху. Потом опять надул. Горох трещал в пузыре, когда его встряхнут. Саша попросил меня написать на пузыре рожу пострашнее. Я написал рожу лаком-сикативом, который скоро сохнет, — ужасную рожу. Приклеили лаком паклю: вышли волосы. Это делали мы в чулане, чтобы никто не видал. Вышла голова — ужас!

Она долго сохла на чердаке. А когда высохла, Саша купил в Москве длинную бечевку и привязал ее к пузырю. Он достал еще гирю-пудовик. Гиря с ручкой.

Ночью мы пошли все на реку, где купаются, работали при луне. Гирю Саша опустил посередине реки, на дно, свободный край бечевки пропустил через ручку гири.

И вот голова-пузырь стала плавать на речке. Бечевку мы протянули далеко меж кустов берега, сели и потянули. Голова ушла в воду. Мы отпустили часть бечевки, и голова-пузырь сразу выскочила на поверхность и, качаясь, затрещала. Опять потащили бечевку, голова спряталась в воду.

— Хорошо выходит, — говорил Саша. — Приспособили хорошо. Выскочит, затрещит и опять в воду. Готово. Репетиция кончена...

Бечевку натянули и привязали к кусту. Голова была под водой — не видно.

* * *

Ждем утра. Пришли рано.

Ждали, когда пойдут купаться. Сидим в кустах тихо. Видим — идут. Актриса Соня Ремизова, подруги, дачницы. Полотенца в руках, на головах. Идут такие нарядные, веселые. Видим, раздеваются на берегу. Входят по очереди в воду, плавают, плещутся, смеются. Так хорошо.

Вдруг среди них выскакивает лохматая голова... Затрещала и мгновенно пропала в воде... Отчаянный крик, визг... Выскакивают из воды, опрорхивают бегут по берегу. Кричат: «Утопленник, утопленник...» Отбежав, глядят на воду, волнуются, тихо подкрадываются к платью, хватают и бегут с радостью, что можно одетыми, а не голыми, добежать домой, на дачу...

На дачах поднялся шум. Что делается!.. Все собрались, кричат, идут на речку, смотрят с моста. Саша тоже с ними.

— Утопленник выскакивал... Какая страшная рожа... Боже мой, Боже... Кто такой? Мужчины дачники купались позже. Ничего не видали. И говорили:

— Вздор, чушь. Показалось.

И мужики из деревни тоже говорили:

— Чего утопленник. Он бы выплыл, он померший. Как он головой качать может? Трещит — пустое все.

* * *

Мы решили назавтра пугать приятеля моего, магистра наук, папашу Сашиного и других купальщиков.

Но, видим, вечером на мост пришел дьячок. Сел на мосту и закидывает в речку удочку — одну, другую. Вечер тихий. Хорошо расположился, вынул табакерку, понюхал табачок. Сидит, сморкается, смотрит на поплавки. Саша из кус-

тов отпустил бечевку, голова выскочила на поверхность воды, закачалась на воде и затрещала. Дьячок вскочил. Глядя на воду, поспешно прибрал удилице и бегом побежал с моста. Остановился на бугре и пристально смотрел на воду реки до самой темноты.

* * *

Наутро мы долго сидели в кустах. Никто не идет купаться. Скучно. Ждем долго. И видим, едет хорошая коляска с парой вороных.

Сидят господа, солидный такой человек и полная дама с зонтиком. С ними двое молодых людей. Как только коляска въехала на мост, на поверхность реки выскочила голова, треща, покачалась и пропала. Почтенный человек схватил сзади кучера за кушак и что-то закричал. Молодые люди открыли рты! Проехав мост, они остановились, замахали руками и горячо говорили. Более всех волновалась дама. Оказалось, что ехал из своего имения московский предводитель дворянства, чуть ли не сам Самарин с супругой и сыновьями. Узнав это, Саша немножко испугался, присмирел. Но, конечно, у молодых начинающих актеров страха нет. Он сказал:

— Черт с ним, с предводителем. Интересно выдуманно: путаются хорошо...

* * *

Наутро, только что мы хотели профессора пугать, смотрим — народу, народу у моста, толпа, полиция, исправник, дачники, мужики в воде неводом ведут, ловят, значит, утопленника. Только как не заведут невод, нет его. Саша-актер уже на мосту. Говорит им:

— Я видел его. Только, наверное, отнесло, надо ниже искать по реке.

Искали и ниже, но ничего не нашли.

Мы стороной советуем ему вынуть голову-пузырь ночью, а то дело дрянь выйдет.

— Ерунда, — говорит Саша. — Я попутая профессора и папашу.

* * *

По дачам пошли рассказы. Один такой хороший человек, инспектор какой-то школы, обедал на террасе своей дачи и говорил гостям, как его топил утопленник, как схватил за ноги и тянул в воду, — «насилу вырвался, слава Богу», — и выпивал при этом рюмку водки.

Дачники собирались вместе, говорили: «Ужасно, что делается». Один будто бы купался и наступил на скользкий труп. Он на дне. А актриса видела его рожу около себя и боялась ночью спать. Ее сторожили актеры, защищали, дежурили ночью на даче. И пили на террасе всю ночь для бодрости.

В общем, было весело. Все перезнакомились. Приезжали гости из Москвы, ходили и смотрели на реку с моста. Исправник составил акт и послал рапорт начальству.

В Москве тоже узнали, но не очень верили. Известно, что Москва и слезам не верит.

Тогда-то Саша пошел ночью искать бечевку и пузырь. Но нет ни бечевки, ни пузыря. Украла.

Один мужичок Серега из деревни посмеивался:

— Это, — говорит, — подшутили господа какие ни на есть...

И принес исправнику лопнувший мокрый пузырь, сказав, что нашел на берегу. Вот этот самый.

Исправник рассердился ужасно, кричал: «Найду этих самых, все в Сибири будут». И доложил по начальству.

* * *

Предводитель опять ехал по мосту в свое имение. Остановился и сердито смотрел из коляски на реку у моста. Сыновья его также смотрели, сердито наморщивши брови, как папаша. Долго смотрели.

А дьячок говорил:

— Нет, довольно. Я в этом месте больше не ловец. Будя.

А Саша же Хитров, юноша без страха, выдумывал новую «штучку», как бы раздразнить актрису Сою Ремизову. Посылал ей письма от антрепренера, предлагал играть первую роль в пьесе Шекспира «Пустое сердце». Соня Ремизова ездила в Москву, купила все сочинения Шекспира, но пьесы «Пустое сердце» не нашла и сердилась ужасно.

Саша Хитров очень радовался, готовил ей на день рождения, сидя на чердаке, фейерверки и говоря нам:

— Я ее угощу бенгальским огнем. Узнает тогда меня. Я покажу ей лоботряса...

А Коля все время очень боялся, что его сошлют в Сибирь.

Так он и уехал в Москву, захвативши свое ружье, которое ни разу не выстрелило.

Но когда Саша пустил свой бенгальский огонь, должны были быстро уехать с дачи и он, и я, и Соня Ремизова.

На охоту

Познакомился я как-то с ученым человеком. Он был к тому же и охотник. Приезжал ко мне в деревню. И почему-то другие мои друзья-охотники его невзлюбили. Так бывает — невзлюбят, и все тут.

Начали ученого заедать. Спорили с утра до ночи и выводили его из терпения. Один мне его называл оболтусом, другой говорит: «Это же олух Царя Небесного». Почему Царя Небесного — непонятно.

Особенно один портил настроение ученому — нарочно городил страшную чушь. Ученый выходил из себя, кричал: «Белиберда. Сапоги всмятку». Даже охрип. Он полоскал горло бертолетовой солью и говорил мне: «Откуда они у вас взялись?»

— Охотники, — говорю, — не обращайтесь внимания.

Но приятели мои не унимались и с утра сердили ученого.

— Ну, знаете, — говорил мне ученый, — это же смешно. Я умываюсь без мыла, а мне говорят, что это и видно. «У вас лицо оттого такое». — «Какое?» — спрашиваю. А эти господа отвечают: «Женственное». Что такое? Глупо феноменально.

— Не обращайтесь внимания, — говорю.

Собрались мы на охоту, в отъезд. За пятнадцать верст, на озеро Вашутино.

Зову своего слугу Леньку.

— Вот что, — говорю, — Алексей. Надо три подводы. Позови Феоктиста. Ученого надо посадить к Юрию Сергеевичу. Доктора с Кузнецовым, гофмейстера с Карауловым.

Ленька записывает.
— Что ты все записываешь?
— Да ведь как же, — отвечает Ленька. — Забудешь.
— Вот что, лучше профессора посадить с доктором.
— Что вы, — говорит Ленька. — Поссорятся...
— Отчего?
— Да ведь доктор говорит, что он не профессор и не ученый, а так. Я, говорит, скоро выведу его на свежую воду.
— Ну, тогда с Кузнецовым.
— Разве можно? Тут они вчера купались, поругались, страсть как.
— Когда же это?
— Вчера. «Отчего вы, — говорит ему Кузнецов, — бледный такой... Все через разврат ваш». Тот ему отвечает: «Я женат, какое вы имеете право говорить со мной!» Ну, и пошло... Ругались, страсть; профессор даже захлебнулся в реке.
— Как же быть?
— Я с ним поеду, — говорит Ленька.
Когда пришел Феоктист, я сказал ему, что поедем через Некрасиху.
— Невозможно, — отвечает Феоктист, качая головой. — Никак нельзя.
— Почему?
— Что вы? Там спуск крутой. Василий Сергеевич править зачнет. Перетопит в реке всех.
— Что ты? Зачем?
— Верно. Для смеху. Шептуна топить будет. Ему что посмешнее выдумать.
— Какого шептуна?.. А с кем генерала посадить?
— С кем — и не придумаешь. С ученым лучше.
— Постой, я пойду, спрошу.
— Отлично, — соглашается гофмейстер. — Он очень милый. Только попроси его, пожалуйста, чтобы меньше говорил. Так много говорит, что в ушах у меня «ти-ти-ти», как барабан трещит.
«Как трудно все», — думаю я и ухожу.
— Постой, — говорит вдогонку гофмейстер. — Вот что! Я в уши вставлю, у меня есть такие шарики. Я за границей их купил. Отличные. Для сна. Так уши закрываются — ничего не слышно.

* * *

Но оказалось, что ученый не желает ехать с гофмейстером.
— Я, — говорит, — не могу его слушать. Это отсталый человек. Неразвит до абсурда. Феноменально. Представьте, он мне говорит: «Когда я жил на даче, то у меня оказался дальний родственник. Такой говорливый, с идеями. Я сейчас же все серебро, ложки, вилки, кольца жены, дочери спрятал подальше в саду, в пустырь». Я с ним ехать не могу...
— Надо шесть подвод, — говорит Феоктист. — Ведь это что? Генерала можно Карауловым. Он смирный.
Караулов не хочет. Я, говорит, поеду с Кузнецовым.
— Кузнецова надо одного, — советую я. — А то опасно. Он дорогой что-нибудь увидит, покажется, начнет стрелять. Горяч. Вы знаете, какой он неосторожный.

Караулов смеется.

— Знаю. Я ходил с ним. С ним нельзя. Убьет. Я у него из патронташа ночью сегодня всю дробь из патронов высыпал. Пускай теперь стреляет. А то нельзя. Убьет. Только вы не говорите ему.

— На Вашутино озеро я не еду, — говорит тем временем Кузнецов. — Нет, благодарю вас. Это опять тонуть. Я помню этот челн. Хорошо, мелко было, по горло, а то бы... Нет, довольно этих штучек.

— Герасим идет, — сказал, глядя в окно, Василий Сергеевич. — Вот хорошо. Он знает. Скажет, куда на охоту ехать.

Вошел Герасим — охотник, крестьянин, снял с плеча ружье и поставил в угол. Глаза Герасима смеялись. Моя собака, пойнтер Феб, ласкалась к нему и ходила кругом. Он погладил ее и сказал:

— Здравия желаю. Ноне день — на охоту зовет. Не жарко.

— Вот-вот, — говорят приятели. — Скажи, Герасим Дементыч, куда лучше ехать. Хотели на Вашутино, Василий Сергеевич не хочет. Говорит — опять тонуть.

Карие глаза Герасима смеются.

— На Вашутине вечером перелет, — говорит он. — А сейчас все утки в середине озера держатся. Надо на челне, кустами обить. А то не допустят. А ежели с Василием Сергеевичем ехать — значит тонуть, беспременно.

— Это почему же? — спросил Кузнецов.

— Такая тут посуда, челн, утлый. А у вас рост в сажень. Ну и не держит — опасно.

— Я сам говорил — утопимся. Ученому хорошо, он жигулястый.

— Позвольте, — оцетинился ученый. — Что такое — жигулястый? Я не позволю. С какой стати...

— Вот ежели на Ратухине вылезти, да по речке на Святой Ключ, на Грезино, Любилки, да на Кресты оттуда. На Ведьмовы болота — вот там можно что встретить. Ну и стрельнуть.

* * *

Когда я вспоминаю эти все места, которые помянул Герасим, их прозвища, то мне в душу льется несказанная отрада чувств. Какие места!.. Я не увижу вас больше. Но они еще есть, они живут, и кто-то видит их, но не я. И не друзья мои — охотники. Их уж нет в живых.

Но вот они, около меня, говорят, ссорятся, смеются, и я вижу тропинки, проселки, идут мимо в тихий вечер, и деревню Грезино, и речку у леса, и каждую былинку травы. Как был бы я рад испить воды родной страны моей, ключа святого.

* * *

Мы разместились в деревенских тарантасах и выехали на проселок. Простор, клубятся облака в небе, видны дали лесов. Около повозок бегут собаки, рады, что едем на охоту. Бегут, возвращаются и посматривают на нас — целы ли мы. Едем среди ржи, мелькают васильки. Вдруг сзади, слышу, кричит доктор Иван Иванович:

— Постойте, постойте.

Ленька подбегает ко мне, говорит в волнении:

— Иван Иванович велели... У вас аптечка... ему надо скорей... С генералом чего-то худо... Помирает...

Все остановились. Я и Юрий вылезли из тарантаса, бежим к задней подводе. Сидит там гофмейстер и мигает. Доктор Иван Иванович, нагнувшись, слушает его, приставив ухо к груди, а рукой грозит нам. Все смотрят.

— Солнечный удар, — говорит доктор. — Скорее достаньте валерьянки.

Я тороплюсь, открываю аптечку, даю пузырьки.

— Воды! — кричит доктор.

Ленька достает стакан.

— Коньяк, — говорит. — Воды нет...

— Все равно, давай...

И доктор капают в стакан и подносит гофмейстеру. Тот пьет и, мигая, смотрит на всех нас.

— Надо помочь ему выйти, — говорит доктор. — Надо, чтобы он лег.

Мы все помогаем ему слезть с тарантаса. Доктор держит его под руку. Мы поднимаем его и кладем на траву у дороги.

— Скажи, пожалуйста, — говорит мне гофмейстер, — что это они делают со мной, зачем?

— Ты нездоров, — говорю я. — Ты не бойся, пройдет, скоро пройдет, это от жары, не беспокойся.

— Что? — говорит гофмейстер. — Я не слышу, говори громче. — И он хочет из ушей достать шарики.

— Смирно-смирно, — говорит доктор. — Лежите смирно.

Доктор смотрит озабоченно в уши. Потом обернулся к нам:

— Удар, он оглох, ничего не слышит.

— Да это шарики! — говорю я, — что вы! Он в уши вставил, чтоб не слушать ученого.

— Я не позволю, — кричит ученый, — в чем дело, довольно, какие шарики?

— Выньте шарики, — кричу я гофмейстеру на ухо.

Тот вынул шарики, смотрит на нас в недоумении.

— Скажите, доктор, в чем дело? — спрашивает гофмейстер. — Зачем все это?.. Я совершенно здоров. Но вот этот коньяк, такая гадость, зачем вы велели мне пить?

И гофмейстер сел.

Кругом все хохотали.

— Эдак и охоту просмеём... Ехать пора, — сказал Герасим Дементьевич, — доктор опосля полечит.

Все сели опять на подводы и поехали рысцей.

Смех друзей раздавался в летней тишине. Отстав, ехал доктор Иван Иванович и что-то серьезно объяснял ученому. Тот слушал его, нахмутив умно брови.

Приятелю

Хорошо было летом жить на даче. Служилый люд Петербурга уезжал в окрестности, где была особенная северная красота белых ночей. Прекрасные Петергоф и Царское Село, милая Черная речка, Парголово и много других мест. Дачники были там разнообразны: военные, чиновники разных рангов и степеней.

Помню, был такой немолодой, солидный отставной, кажется, полковник, человек из себя очень толстый и фамилию носил подходящую — Брюханов. Любил по-

жить, повеселиться, выпить, любил компанию. Был он уже в отставке, и как-то собрались у него приятели, тоже отставные. Часто бывало — собирались. Лето, дача в Парголово. Семья где-то за границей, а он в Парголово один. Жарко. Надо завтракать ехать — не хочется. Надо одеваться — а дома в рубашке, продувает. Хорошо. Прислугу отпустил, ушла куда-то.

— Давайте дома закусим, — говорит хозяин Брюханов, — достанем чего-нибудь. Посмотрели в буфет: есть вино, водка. Закуски — никакой.

— Вот что, — говорит хозяин, — здесь недалеко, вот на углу, слева, живет повар, у него кой-что есть. Хорошо готовит. Ты помоложе, Коля, — обратился он к приятелю, — помоложе нас. Поди, друг, — у него отличное есть беф-буйи¹ Возьми... Три порции. Закусим, посидим дома, отлично...

Брюханов вынул из стола бумажник, достал сторублевую — мельче денег нет, — и дает приятелю Коле. Тот берет деньги — «хорошо, схожу», — и уходит.

Брюханов и его приятель — бывший вице-губернатор, милейший друг, — достали скатерть, постлали на стол, поставили тарелки, рюмки, вино, сидят и дожидаются.

А Коля что-то не идет. Ждут, посматривают в окно, «что такое?» — думают.

— Странно... — говорит вице-губернатор.

— Да, — соглашается Брюханов, — непонятно...

Проходит два часа — не идет Коля...

— Эге! — говорит вице-губернатор.

— В чем дело? — удивляется Брюханов.

— Под суд его, сейчас же под суд! — уже кричит вице-губернатор. — Взял сто рублей и где-нибудь играет в карты!..

— Знаешь, я так потрясен, — волнуясь, говорит Брюханов. — Это же черт знает что такое! Я не ожидал... Сто рублей! Подумай! Он же был начальником канцелярии министерства...

— Постой! — перебивает его вице-губернатор. — Дай сейчас. Где бумага?.. Сейчас же я его к прокурору...

Вице-губернатор садится к столу и начинает строчить. Читает, рвет, пишет снова.

— А у тебя есть пятнадцатый том Уложения? Дай-ка! — обращается он к Брюханову.

— Здесь нет...

— Как это? Отчего нет свода законов?..

— Да с какой стати на даче? Зачем он мне здесь?

— Обязан, — говорит вице-губернатор. — Всегда должен иметь...

А сам пишет:

— Какая статья-то? Черт ее!.. 163-я?.. или как?.. ну, какая?

— А черт ее знает! Ты же губернатор... я же не знаю...

— Все обязаны знать. Ну, как ее... О злоупотреблении доверием.

— Да, да, — загорячился Брюханов. — Верно. Пиши: свистнул сто рублей!.. беф-буйи!.. Пиши: никогда не предполагал даже, чтобы он мог поступить так... и с кем же?.. Со мной, кто всегда его угощал, выручал!.. Он заставляет нас с тобой пить уже

¹ От фр. *bœuf bouilli* — вареная говядина.

по пятой без закуски! Он же с ума сошел! Поставить нас в такое положение... А! Подумай... Невозможно.

— Тюрьма, тюрьма! — кричит вице-губернатор, выпивает рюмку водки и снова строчит...

* * *

А друг Брюханова, чиновник Коля, между тем добросовестно нашел повара. Повар солидный, седой старик.

— Беф-буйи? Нет беф-буйи. Я вам-с расстегайчики готовые и форели. Попробуйте. Присядьте. И у меня коньячок для вашего превосходительства, царский, 1811 года... Скушайте...

— Вчера, — морщится Коля, — я выпил. Теперь чувствую себя как-то...

— А чем изволили ошибиться? — спрашивает повар.

— Есть не хочется что-то, аппетиту нет...

— А все же, разрешите узнать, на коротких напитках или на вине?..

— Всего было...

— Что ж, дело поправимое, — говорит повар и ставит на стол капусту, подает водку. — Холодная-с, капуста с хрустом, хлеб-с черный... А потом поросенок холодный-с, прямо улыбается... Ну, чего же беф-буйи?.. не стоит-с...

Пряатель Коля сидит за столиком у окошка, за окном сад. Хорошо...

— Да, — говорит он. — Послал меня за беф-буйи. «Поди, — говорит, — друг. Ты, — говорит, — помоложе...» Да что, я разве мальчик ему? Я не моложе их, я положение занимал действительного... Понимаешь! Да-с, сходить... Ну, что же, схожу... А беф-буйи — подождете...

Коля выпивает шестую и закусывает холодным «улыбающимся» поросенком...

* * *

— За это, — кричит вице-губернатор. — За это — Сибирь!

— Знаешь, — говорит Брюханов, — вот я... не одет. Ты помоложе... Сходи туда, на углу, вот там, налево — повар, в сером доме. Может быть, что случилось с ним... Это же невероятно... сто рублей!..

— Ну, положим, я не моложе... но изволь, пойду...

И вице-губернатор уходит.

* * *

— Ваше высокопревосходительство!.. дорогой!.. — обрадованно встречает Коля губернатора. — Наконец-то, как я рад! Повар, вот он. Ну, знаете, беф-буйи вздор... Холодная водка, кочанная капуста, расстегай, форели... Идите, садитесь, приветствую... Как рад!..

— Но позвольте... а как же, все-таки, этот... беф-буйи?.. — колеблется вице-губернатор.

— Ваше высокопревосходительство... дозвольте... — говорит повар, — его превосходительство изволили пожаловать прямо, чтоб вот сказать правду — в сером виде... А сейчас, вот поглядите; в лице краска играет... жизнь!.. Беф-буйи... это чего? Разве можно для гостя такого?.. Откушайте для начала — сиг вот. Утром поймали... Просит-ся — скушайте, ваше высокопревосходительство. Прямо как ждал вас...

Вице-губернатор выпивает рюмку и оживленно говорит:

— Да, сиг... Это понять надо! Свежесть какая!..

...Они уже выпивали по восьмой, а их еще ждал коньяк 1811 года.

* * *

Брюханов мрачнее тучи ходил в рубашке и в кальсонах по комнате. Остановившись, смотрел на фотографии, висящие на стене, говорил:

— Вы понимаете! Это же ведь черт знает что такое! Это ведь криминал, явный криминал... Всем расскажу, всем... Их обоих туда... Не угодно ли, с какой стати, пью без них натошак? Что я, извозчик, что ли? Пойду к повару, узнаю — тогда...

И Брюханов стал раздраженно одеваться. Достал из шкафа белые брюки. Прощлогодние, надел. Застегнуть нельзя. Что такое? Потолстел... Снял опять штаны, сердился. «Уж пять часов!» Неприятно — водка натошак... Надел другие штаны — городские, черные. Как-то все не ладится. «Возмутительно, непонятно...»

Наконец оделся, взял шляпу, трость и вышел.

На мосту через речку остановился. Тихий вечер. По реке плывет лодка. Какой-то молодой человек греб, а на руле сидела молодая девушка. Они чему-то смеялись.

«Вот, — подумал Брюханов, — смеются. А я...»

Он долго смотрел вслед удалявшейся лодке.

И когда она скрылась за поворотом реки, он почувствовал себя глубоко несчастным.

* * *

— Я не мальчик! Посылать меня за беф-буйи! — говорил Коля вице-губернатору, поднимая бокал коньяку 1811 года.

— А я? — возмущался вице-губернатор. — С какой стати! Кто я? Я не моложе его...

И, посмотрев на часы, вдруг сказал:

— Опоздал. Еду. Необходимо...

— И я с вами, — поднялся и Коля. — И мне нужно в Петербург.

И он, расплатившись, вышел с вице-губернатором.

* * *

Когда Брюханов пришел к повару, он увидел остатки поросенка, сига и недопITYе рюмки.

— Мне не это страшно, — сказал Брюханов повару. — Не беф-буйи, не поросенок, не коньяк. Другое страшно. Я не верю отныне более в дружбу... Не верю...

И Брюханов потребовал себе коньяку.

Старый Спас

На отлогом берегу Клязьмы, где синели, уходя вдаль, муромские леса, на зеленом холме стоял с золотой главой белый Старый Спас, древний храм. Какой красотой, приветом и миром веяло от него. Вечером, когда я его увидел, белые стены его освещали последние лучи зари. За ним темнели во мгле дремучие леса, и река Клязьма внизу, проглядывая между холмами, отражала розовый вечер небес.

Старый Спас, одинокий, оставлен. Один раз в году в нем была служба Спасу Некротворному. В тот день Спаса, около него было торжище — ярмарка. Шла торговля лошадьми, телегами, колесами, сбруей. Были раскинута палатки со снедью, пряниками, орехами, патокой, ситцем. Крестьяне из соседних сел и деревень приезжали в тот день. Только и видел Спас тогда у себя богомольцев, а потом заштатный храм пустел, и только из бедной сторожки выходил звонарь-сторож и ударял в колокол в вечеру и в полночь.

Далеко и торжественно разносился по долам и лесам звон Старого Спаса. В звоне его, помню я, было что-то отрадное, как бы напоминание чего-то забытого, такого родного, мирного, чему верила и чего ждала душа. В нем был родной дом, отчизна, что-то самое нужное — отец, мать, дружба...

Румяной зарей светился Старый Спас и замирал в сиянии вечера, — несказанная красота чудной, таинственной нежности... Там, где-то во мне, я говорил Старому Спасу: «Как забыт ты, одиноко... Как чист и торжествен ты в пустыне лесов... В стране моей родной...»

Медленно ударял колокол, и замирал звук его в сумраке вечера. Усталый, я лег у заросшей дороги. Так глухо, тихо кругом. Померкла над лесом вечерняя заря, и на Спасе погасли розовые лучи солнца. Задремала земля, и во мгле летнего сумрака белел Спас... Так тиха пустыня кругом...

Чу, на речке крикнул кулик, и опять все смолкло. Я встал, взял ружье, пошел по дороге к Спасу. Собака моя, пойнтер, бежит около. Огромные стены Спаса, вверху темнеют узкие окна старого собора. По лесенке звонницы сходит сторож-звонарь. Остановился, смотрит на меня.

— Здравствуй, — говорю я, — вот с охоты зашел... Нельзя ли переночевать тут?

— У меня мала сторожка-то... — отвечает звонарь. — А вот ежели на сене в сарае, чего ж — можно. А откелева ты?

— Из Москвы, — говорю. — С Гороховца иду.

— По охоте, значит... Ну что ж, пойдем в избу. Я изготовлю испить чаю, рад охотнику.

— Вот, — говорю я. — Хорошо бы просфорок достать...

— Нету, — отвечает сторож, улыбнувшись. — Ведь здесь никого не бывает... Место это брошено... Погост был, службы нет, да упокойников-то не везут сюды уж давно... Хоронить далече. Не едут. По месяцу человека не увидишь. Бывает, редко, — кто веру помнит, придет, ну вот вроде как ты. Помолится другой, ну даст пятак. И все тут. Какие просфоры... Нет... Ну и живешь, покос свой, огород, огурцов посадишь, капуста своя, грибов наберешь... Ну и все тут. Живу хорошо, нече... Привязался к Спасу — он вроде свой, живой... Вестимо, тоже в горести живет. Забыт, значит... Прежде-то э-э-э... Говорил мне один башковитый такой человек, торговый старик, умник старый. Он, Спас-то, в поче-е-е-те был. Сам царь Иван Васильевич Грозный приезжал сюда. В речке тут, что в Клязьму входит, вот тут, купаться приезжал... Да... И рать кругом его, и воеводы. Вот тут царь молился, в притворе храма, при звоне покаянном взывал: «Верую, прости раба грешнаго, ниспошли священный гнев в сердце рати православной... Спаси Русь, опрокинь, Господи, врага под ноzi наши...» И все тут падали ниц, вот тут, перед ним... А ноне за штатом... Нету правды... Пойдем в избу, я тебе самовар сготовлю, попьем чайку.

В убогой сторожке, с одним окном, низким потолком, сел я на лавочку, у оконца, и сторож поставил на стол самовар. Положил хлеб, картошку в миске, соленых огурцов.

— А что ж, — спросил я. — Знать, ты не женат?

Он отпил чай, как-то особенно повернул длинный нос в сторону и, глядя в потолок, ответил протяжно:

— Нет, не женился... Он меня на монашество ставит...

И при этом он показал большим пальцем в сторону Старого Спаса.

— Почему ставит? Трудно жить так, одному.

— Да... верно... и нет, — ответил звонарь. — Я ведь не один, а с им. Как ты его оставишь-то? Вишь, он какой старый... сколько слез он на себя взял... Э-э... как его бросить. Он теперь чисто сирота, дитя старое. Я его и подмету, сор почищу, паутину достану, ну и позвоню... Он и рад... Эвона куда звон-то идет, до Володимера. По лесам, долам стелется. «Помни час твой...» Разбойник слышит — нож бросает. Сквалыгу — совесть возьмет, деньгу отдаст, не обманет. Слышит жена — боится, верность блюдет... В звоне-то его сказ есть, совесть будит, и человеку хорошо. Люди в злобе жить норовят, а звон правду держит. А то бы...

Вздохнув, он поставил блюдце на стол и сказал:

— Верно, хотел я жениться, да не берет душа. Сиротскую долю с им веду. Не могу без его. Жалко мне его... Я ведь и в Москве был. Там это што. И Кремь — головья золотые... Ан нет. Мой, вот этот, лучше. А уж вот беден... одинок, кругом чистый лес. Его цыгане любят... — вдруг сказал он.

— Как цыгане? — удивился я.

— Да, каждый раз стоят тут. И чего — на самой заре, только вот чуть свет, стоят вот тут, против, и вот поют... Ему поют... и хорошо поют, до чего хорошо. А то плясать ему зачнут... и пляшут.

— Как же это цыгане... плясали ему? Я что-то этого никогда не слышал...

— Ловко плясали, — ответил сторож. — Пляшут и потом на землю упадут, все головами к ему, и закроют лицо руками. Полежат так, поплачут, а потом соберутся, поговорят, ну и уедут... Полну корзину ему оставят с хлебом, пряниками, маком, баранками. Ну, простятся со мной, скажут: бери себе... Понимают бедность мою. Я-то один не ем. Странники тоже есть — делюсь.

— Слушаешь ты меня, охотник, — перебил себя сторож. — А ничего не ешь. Поешь, чего есть...

И он молча стал есть со мной картошку и грибы.

— Не пьешь вино-то? — спросил я.

— Нет, — ответил сторож. — Нешто можно...

Я хотел покормить собаку. Он достал расколотый горшок, сказал мне:

— Постой, я щец полью...

Я наломал хлеба, он полил его щами. Из ягдташа я достал колбасу, нарезал, угостил сторожа и дал Фебу.

После чая я пошел спать в сарай. Сторож проводил меня туда. Ветхий сарай, деревянные толстые столбы держали крышу. Стены — плетенье из прутьев. Внутри сено. Я забрался на сено и лег.

— Слышь... в полночь я ударю в большой, — сказал звонарь и ушел.

Феб, повернувшись несколько раз, лег рядом со мной.

Тихо. Слышно, как трещат кузнечики в траве. Мне было почему-то так хорошо, так отраднo в сарае. Рассказы сторожа про Спаса, как про какое-то живое существо, убедили меня. И я смотрю в щель на белые высокие стены Спаса при луне и теряющийся в ночи огромный купол.

Проснулся. Надо мной гул колокола. Далеко, качаясь, разносилось оно, замирая постепенно в ночи... В душу входила неведомая красота. Звук колокола замирал вдали, замолк...

Утром рано проснулся я. Солнце осветило лес и пригорок, как бисером осыпанный цветами. Старый Спас торжественно блистал. Он был прекрасен и одинок. Сколько видел Старый Спас: нашествие татарских орд... И видно было, что на холмах кругом него были селения, а теперь синее дремучий лес.

— Пойдем, искупаемся, — сказал мне звонарь. — Покажу тебе речку, тут она недалече, вот за им...

Спускаюсь по зеленому холму вниз от Спаса. Среди больших дубов блеснула речка и помост маленькой мельницы. Звонарь подвел меня к реке, и я увидел дно в мелких камушках, а воды как будто и не было. Она была так прозрачна, что я никогда раньше не видал такой реки. У берега лежали ровно большие камни, спускаясь в самую реку. Это было что-то вроде лестницы.

Вода была холодна. Плывая, я видел все дно. Хотел встать, но оказалось глубоко. Опустился в воду с головой и открыл глаза, и как будто через стекло увидел песок и камушки, другой мир... Проплыв, я опять нырнул, и большие рыбы, быстро, как стрелы, пронеслись мимо, и их золотая чешуя ослепительно блистала в воде на солнце. Это было волшебнo красиво. «Это язи...» — подумал я. Вода попала в рот, но какая странная вода. Я вздумал выпить — это не вода, пить нельзя. Похожа на раствор соды.

— Какая вода странная... — сказал я на берегу звонарю, когда мы оделись.

— Ее не пьют, — ответил он, — она вот недалеко из болота прет. Чай из нее нипочем не выпьешь. А купаться пользительно. Вот, в это самое место царь-то, Иван Васильевич Грозный, купаться приезжал, и князья-бояре купались. И Андрей Боголюбский тута купался, и князья Суздальские. Вода завсегда холодная, и зимой ее льдом не берет нипочем... А теперь никого нет, никто и не едет. Спаса-то все забыли...

Придя со звонарем к мельнику пить чай, я был поражен: все глубокое дно омута видно, как аквариум. Все водоросли, бодяги, камни, рыбы. Широкие лежи плыли один за другим. Я присел за стол. Я не мог оторвать глаз от чудесной воды.

— Вот, барин, — сказал мне старик-мельник, — дочь нашла... Белье полоскала тут вот, у моста. В воде вот нашла, гривна, што ль, это?

И мельник достал из шкафчика и подал мне круглый металлический брусок, шириной в палец. С одной стороны был выбит орел и что-то написано.

— Говорят, — сказал мне мельник, — что это старый рупь. Татарин давал мне за его рупь. Дочь не отдает.

— Не продавай, — сказал я мельнику, — он стоит дороже. Я узнаю и приеду, скажу тебе.

— Отдам, — говорит дочь мельника, смеясь, — ежели ситцу на платье дадут, чтоб только виточки голубые были...

Я все смотрел в окно на омут, волшебный край!

И, простившись с мельником и с звонарем, отправился в путь через лес на Гороховец. На повороте я обернулся. И далеко увидел Старого Спаса.

— Прощай, забытый Старый Спас!

И будто он услышал меня, и протяжный удар колокола пронесся и замер над простором лесов...

В жару

— Ну и жара! — говорит мне, сидя на крыльце дома моего в деревне, Василий, приятель мой, слуга и рыболов. Около него лежит на блюде вычищенная рыба, большие караси.

— Это где ж ты, Василий, карасей поймал таких? Огромные, я таких и не видал.

— Вершу вчера ставил вот тут, у леса, в зарости. Там болотина, ямы глубокие. В полую воду весной туда река заходит, вот там эдакие и живут караси. Это што? Здоровы! Жарево-то в сметане хорошее будет. Василь Сергеич увидит, разгорится ловить, а там-то и не закинешь удила. Трава-а, тина. Как и живут там?.. прямо чертово болото. А вот, любят. Всяк свое любит.

— Молодчина ты, Василий. Вот спасибо. А ты-то как поймал?

— Так... Иду это я вчера там и гляжу на эти самые прудочки у леса. Топь, ольшина, солнце через листву на воду падает... и вижу: они от жары-то наверху и стоят, рты открывши, дышат... Эко, думаю, рыбины какие... Чего это, не поймешь сразу. Я вечер взял вершу, набил туда хлеба, да конопляным маслом полил. Ну, и бросил туда... А утром ныне ташу — полна верша... Вот жду, тетенька Афросинья придет, пожарит. Гостям вашим удовольствию. Ведь они вкусные. Эдаких-то карасей я сам в первый раз вижу. — здоровы!

— Вот ведь какое место здесь. Я его на охоте, когда ходил, нашел. Вот и поселился.

— Чего ж еще — рай место... На людей не угодишь. Понятия нет, что в раю живут, — сказал как-то озабоченно Василий. — Дураки, потому.

— Кто дураки-то? — спросил я, удивившись.

— Кто? Да все дураки.

— Как все дураки? И я?

— Да ведь вы-то Ваня. — И Василий, как-то шипя, засмеялся.

— Что ты, Василий? Какой Ваня?

— Да ведь это что... я так... У нас эдаких-то, как вы, Ваней зовут. Вас ведь каждый объегорит, как хочет. Вас знают, картины пишете, деньги не держите... туды-сюды... вот и живете тут. Вас не трогают, а то бы... Живете-то в глуши. Что это? Пустыня. Не запираетесь... Вас не трогают.

— Что ты говоришь, Василий? Я что-то не пойму. И приятели мои тоже дураки, значит.

— Чего приятели? Языком только чешут. Сегодня одно, завтра наоборот. Из одной печи, да не одни речи...

— Ну, Василий, что-то ты сегодня с левой ноги встал.

— И жара нынче будет... Сейчас пять часов утра, а поглядите, солнце-то в тумане, красное... Купаться пойти.

— Пойдем, — говорю я.

За садом моим, который, в сущности, был куском леса, мы спустились к воде. На реке летел розовый легкий туман, освещенный солнцем. Ольховые кусты, зеленая осока блестели в утреннем солнце, отражаясь, как в зеркале, в тихой воде реки. Зеленые стрекозы летали над водой. Желтые купавки блестели, освещаясь солнцем, на синем фоне глубокого неба, опрокинутого в реке. Вода теплая, пахнет болотом, сеном, водой, летом, какими-то особыми духами, несказанной нежности лета.

— Хорошо здесь, — говорю я Василию. — Вода-то до чего чиста.

— Чего ж, рай, — отвечает Василий. — Так ведь нешто это понимают? Нет. Настоящего-то в голове у людей нету. Им ведь этого не надо. Деньги — вот... плутни, нажива.

— Ну, что ты!

— Верно, — говорит Василий. — Они ведь не рады Божьему миру. Им мало. Подавай это, чтобы смотреть... распоряжаться тем и этим... кого бы гнуть, бить, ругать. Вот это им радость. И все ведь это будто для людей работают. Хитростью живут. Тьфу!..

И Василий плюнул, стоя в воде, около себя.

Василий вышел из воды на берег, искупался, не вытираясь, надевал рваные ситцевые штаны. Мокрые волосы упали на лицо. И его темные глаза как-то смотрели вбок.

— Хитрят. Дураки. Опасаются, копят... А ведь все отымут, обязательно отымут.

— Кто же отнимет?

— Как кто? Люди же! Погодите, что будет!..

— А ты откуда же знаешь, что будет? Загадки говоришь.

— Вы-то не знаете, — сказал Василий, — вам не скажут. А мы-то знаем...

Одевшись, я сидел на берегу и смотрел на Василия. Он подошел к лодке, сказал:

— Надо лодку всю в воду опустить, а то течь даст. Жарко!

Он опрокинул борты лодки в воду. Вода медленно вливалась и залила лодку до краев.

— Вот, теперь разбухнет — хорошо...

Я смотрел на Василия, на лодку. Лень, истома. Так хорошо после купания. Кругом тишина, иволга свистит в саду. Собака моя Феб приплыла с той стороны реки, вылезла и отряхнулась, подбежала ко мне и остановилась, мордой к самому лицу. Потом подошла к Василию, повилила хвостом. Василий погладил Феба.

— Василий, что же это ты говоришь? Значит, грабеж будет.

— Обязательно, — ответил лениво Василий, раскуривая остаток папиросы.

— Значит, и мой кусочек земли, и дом возьмут у меня?

— Возьмут, все возьмут...

— Кому нужно? Здесь всего три десятины. Песок, сосны, ели... малины немножко, я сам сажал. Ты посмотри, кругом тут сколько лесу, земли? Конца-краю нет. Что

ж, это у меня — пустяки! Кому нужно? Ведь это я так живу в глуши, а другие не станут. Скажут — ску-учно... Пустяки...

— Мало что... — отвечает Василий, глядя в небо. — Всё будут брать. Нужно — не нужно, а отымать будут. Ишь, глядите, что уток-то летит, во-о-на!..

Утки, вытянув шеи, как палки, пронеслись стаяй над нами, — крылья вниз, — и ровно опускались вдали на реку.

— Надо Павлу Лесандрычу сказать... Из кустов-то зайдут, стрельнет уток.

— Пойдем.

Поднялись по круче, пошли к дому. Розовой дремой покрыт бугорок. Мелкие березки. Жарко. Хочется пить...

— А откуда ты все знаешь, что будет? — спросил я Василия.

— Да ведь у нас-то все говорят. На Хитровке говорят, на станции, все рабочие говорят... Вам где ж знать?.. Вам-то ничего не будет. Это вот богатым... Богатых-то никто не любит.

— А как же, сам говоришь, у меня этот мой дом отнимут?

— Обязательно, — ответил Василий.

— А говоришь, ничего не будет.

— Жисть у вас не возьмут. А других — их-ты!

— Ерунду говоришь... не может быть!

— А вот кольцо у вас на руке, часы золотые — они возьмут... Возьмут!..

— А ты возьмешь, Василий? — спросил я.

— Я-то нет, — засмеялся Василий. — Я знаю, у меня-то их тоже возьмут. А они-то, дураки, не знают. Зависть...

— Глупо же, — говорю.

— А, конечно, ума нет. А только есть это у людей — тащи... давай... Шарап, значит... А у них всё возьмут, тоже... всё... Ну, и опять... «на колу мочало, начинай сначала». Ишь, глядите, встали гости ваши, чай пьют на террасе.

* * *

— Опять сегодня жарница, — сказал приятель мой Павел Александрович. — Посмотри, вон вороны на сарае рты открыли...

— Идите, — говорит Василий, — Пал Лесандрыч, что уток село... вона, к болоту... стая больша-ая...

— К ним нешто подойдешь. Там топь! — сказал охотник, мой сосед, Герасим Дементьич. — Они тоже хитрые, знают, что их зажарют тут.

Хорошо — чай со сливками, после купания. Приятели мои сидят в рубашках, ворота открыты, снулые глаза, как у дохлой рыбы. Все жара. Какая охота? Собака не берет, чутья нет.

— Послушайте-ка, — говорю я, — вот Василий Бывалый что говорит? Будто скоро в России шарап будет. Всё тащить друг у друга начнут — и дом мой возьмут. Вот он... — показал я на Василия.

— Это он от жары. У него мозги растаяли, — сказал приятель мой, архитектор Кузнецов. — Ерунда...

Овражки

Вспомнил я Саратовскую губернию. Поля! поля... Среди них проселки, пустынные дали. Едешь по пыльной дороге, спускаешься к оврагу — там кучки деревьев, ивняк. Остановился ямщик, несет ведра свежей воды, поить лошадей, а потом снова едем, опять поля... Подсолнухи высокие опустили тяжелые головы. Зеленою полосой сочных листьев лежат арбузы. Травы. Цветами засыпаны поля, пахнет пшеницей и коноплей. Высоко в ровном небе парят ястреба. Жара...

Виден большой ровный густой сад.

Едем к нему, за ним крыша дома. Огромные стога соломы, каменная изгородь, ворота...

Въехали во двор. Скучные длинные конюшни. Лает собака, привязанная на цепи, и — никого. Крыльцо с колонками. В окнах крыльца цветные стекла — голубые, красные. Вхожу. Жужжит муха. Появляется босой человек и говорит:

— Пожалте сюда, в горницу.

Снимает чемоданы — все в пыли. Хочется пить. Я спрашиваю:

— А где Михал Николаич?

Вижу, на столе молоко, покрыто салфеткой. Наливаю стакан и пью. Какое дивное молоко.

— Они на реке, — говорит человек. — Катамаран ставят.

«Что такое, — думаю, — катамаран?» Ух, как жарко!

* * *

Как-то вечером на конюшне оседлали мне лошадь. Я выехал из ворот по ровному полю, по заросшей, брошенной дороге, не зная куда. Просто прокатиться верхом.

Погасала заря. Солнце спустилось за длинные синие тучи. Кончался жаркий день. От земли поднимался запах трав, пшеницы, клевера.

Было что-то отрадное, зачарованное в вечере лугов. И конь будто заодно со мной радовался воле простора, запаху трав и дуновению приближающейся ночи.

Все хорошо на земле — и лес и степь. Все прекрасно и совершенно. Еду, еду и вижу кучи серого ивняка. Мелкие листики его серебрятся в вечере. Овраг. Маленький ручей журчит среди плакучих ив. На той стороне внизу овражка небольшая изба, крытая соломой, в одно оконце. У избы на завалинке сидит старый старик, в синей самотканой рубахе, а лаптях. Около — колья, на них опрокинутый кувшин, висят лапти, крылечко, за частоколом малина, и среди малины пчельник — деревянные ульи, старые. И все так бедно в овражке.

Я слез с лошади и провел ее вниз. Дед молча смотрел на меня. На нем высокая шляпа, коричневая, деревенской работы. Я расседлал лошадь и пустил ее.

Берега овражка поросли кустами, трава покрыта мелкими цветами. Странно, в этой бедной природе был мир такой красоты, будто это предел желанный.

Я сел к деду на завалинку и смотрел на вечер, на серый ивняк, который узором мелких листьев нежно дремал на погасающей заре вечера. Внизу потемнели глухие ветви, и журчал ручей.

Перед нами горит тепленка и дымит огонек ее. Дед бросает в котелок какую-то травку, посматривает на меня, наливает чашку, подает мне и говорит просто:

— Испей чайку мово. Откеле ты, барин, приехал?

— Да вот, — говорю, — от Зацепина.

— Вот что... Я сам тоже оттелева... Сумаровский я. Да я от их и в солдаты взят. Давно-то... На Севастополе мне под Малаховым руку-то по плечо палашом француз отхватил. Давно... Дом-то в Сумарове уж не тот. А ране хорош был... И барыня тоже, помню, хороша была. Добрая. Вот тут у меня в избе хоронилась... пряталась, значит...

— Чего же пряталась? — спросил я.

— Давно-то... Пришел я с войны, а руки нет. В работе не то уж. Никого у меня, ни жены, ни отца, ни матери. Один, значит. Ступай, говорят, неча тебе здесь по крестьянству. Ну, вот, чего, думаю. Вспомнил, у меня дед был. И вот, стар он, а у него пчельник... вот этот самый... он тут был, жил, значит. Я по оврагу к ему. А он рад был — меня увидал, вот рад. Обнимал и плакал. «Не уходи от меня, поживи тута. Я скоро помру». И помер. С тех пор я тута и живу. Живу, ничего, не замают. Кому надо?... Вот, одна, давно то было, вдруг слышу, ночью ко мне в окошко стучится кто-то. Думаю, кому бы тут быть? Поглядел — вижу, барыня, Сумарова. Молодая.

— Вот, что, — говорит, — спрячь меня тута, у себя. Я от мужа бежала. Я, — говорит, — другого люблю. Помоги мне, пожалуйста. Я тебе награду дам. Спаси меня.

— Во чего... Что ж, — говорю, — только невзглядно житье мое. Нелюбо вам, барыня, покажется.

— Ничего, — говорит, — я наверх залезу, под крышу. Ты травки туда понатаскаяй мне. Я и лягу спать там.

— Там вот, — показал дед на верх избы, — туда лазила и спала. Дала мне денег и велела, чтоб купил я ей крестьянское платье. Ну, я аккуратно все и купил. Штобы свои не узнали, далеча ходил. Ну, в крестьянской одежде она. Кто ее узнает? И в Петров она ездила, и в Аткарск. И письма оттуда давала в Питер. Ко мне сюда никто не идет, кому надо?... только дети... Оставят их у меня матери, когда жнивье, ну, хлеба мне дадут... Вот любила она это место у ручья, умывалась и говорила: «Хорошо тут».

— Только, одна, в вечер, што ты, приехал верхом парень молодой. Бравый. Вроде как крестьянин, красивый такой. Только, гляжу, рейтузы на ем военные. И вот она рада была. Смотреть чудно. Они как вцепились друг в дружку. Смотрят — глаз не спуская, обнявшись, и целуются, и потом опять смотрят... Вот тут, у ручья, вот на бережке этом... Поздно уж было. Я спать ложусь. Поглядел — а они все друг на дружку глядят, глаз не отводят. Эво што... думаю, любовь... И мне-то как весело стало... Утром умываются у ручья, смеются. Этот самый из котелка чай мой пьют, хлеб едят. Ходил, достал молока им да яиц... Вот тут, в ивняке, сидят, книжку читают. А то уйдут далече, по полям... Вот ведь какая любовь в них, любо смотреть. Господь Праведный эдакую-то любовь посылает.

А в Сумарове беда. Барин — муж — всех созвал, и городничего, и станового, и духовенство, и все думают, как бы изловить ее, барыню-то, куда делась? Из дворни мне один говорил, кухонный мужик:

— Барин-то десять тысяч дает, штобы нашли, показали, где она, барыня. Не видал ли кто?

«Эх, — думаю, — не узнали бы. Надо будет им сказать. А уж осень. Стужа. Дело к зиме. Как быть?» И говорю им:

— Я пойду на погост. Меня псаломщик звал — улыи собрать. Да послужить ему по дому. Прокормлюсь, а вы, господа, здесь живите.

— Скажи, дед, — говорю я, — а как же лошадь-то, куда ж он ее дел? Он ведь верхом приехал?

— Вот, постой, што вышло. Лошадь он оставил в овражке, што и ты. Расседлал ее и узду снял. Ну, и пустил. А она и рада — ходит себе и воду пьет. Куда ушла — и невесть. Он ее бросил. Все забыл. У него в голове она, барыня, была. Любовь... все забудешь. Но только собрались они уходить. Простились со мной, и он денег дал мне. Чуть свет ушли из избы в тулупах, в валенках. Это я им все купил. Далече ходил, чтоб незнамо было. И ушли. Вот скушно мне стало одному, без них-то. Деньги спрятал за печь, одежду наверх, а рубаху его, што осталась, возьми и надень. Пошел раз в Сумарово. Сиж у кухонного мужика, чай пью. А он глядит на меня, да и говорит:

— Рубаха-то на тебе господская.

Я говорю:

— Нет. Так это...

— Как, — говорит, — так, — и щупает рубаху. — Да это, — говорит, — чистый шелк. Откеле это она у тебя?

Он, эта, вышел да дворецкому сказал. Тот пришел, девка хоромная тоже пришла, щупают рубаху. Я уйти хотел, меду даю им.

— Пора, — говорю, — мне домой.

— Нет, постой.

Меня к барину введут. Барин толстый такой, сердитый.

— Скидавай, — говорит мне, — рубаху.

Я скинул. А на ней метка. Читают: «корнет Кривцов». Вот те раз! Кто да што, где взял? Меня заперли в темную. Да ко мне сюда вот, в избу, начальство, обыск. Его рейтузы нашли, а на них опять — «корнет лейб-гвардии Кривцов». Сапоги старые — а на них шпоры. Беда!

— Говори, — кричит, — это што? Где он, отвечай.

Я все исправнику начисто. А он мне и говорит:

— Вот што. Не говори нипочем, когда тебя спрашивать будут. Пропадешь и ты, да и их жалко. Значит, говори, что нашел. — А сам пишет все в бумагу.

Привели меня в дом. Много начальства. И сам барин сидит. А исправник докладывает:

— Ты говоришь, што увидел лошадь и у лошади нашел штаны, рубашку, куртку?

— Да, — отвечаю, — у лошади.

— И седло тоже?

— Да, и седло. — Вру, как и он.

— И самого видел, как он бежал? — спрашивает исправник-то.

— Видал, — говорю, — далече уж.

— Што ж он, без рубахи и штанов, голый, значит? — кричал барин.

— Да, надо полагать, — говорю я.

— Ну, а барыня-то с ним, тоже голая-то, што ль, дурак?..

— Уж этого я не знаю. Не видел.

— Ну, а сумочка-то откуда у тебя?

— Нашел... Да кто знает... время много, забыл...

— Но постой, дурак. Барыня была с ним? Ты узнал — это была моя жена?

— Нет, не узнал, — вру.

— Ну, ступай!

И отпустили меня. Пришел я домой, поглядел за печь — денег нет. Думаю — слава те, Господи. Хорошо, што денег-то нет, а то б пропал.

* * *

— Ну, что ж, так ты больше про них, дед, и не слышал?

— Не слышал... А барин в Питер уехал, дом заколотил. Много прошло время... Только раз, по весне, смотрю в окошко и вижу — странник-монах с палочкой, так, с проседью человек, и котомка у него на спине. Наклонился вот здесь, у ручья, и воду пьет. Я вышел. Он посмотрел на меня и говорит:

— Здравствуй, Дмитрий.

Меня-то Дмитрий зовут. Я гляжу. Э, да это Алексей Михалыч, этот самый барин, корнет. Он подошел ко мне и обнял меня. И на глазах его я вижу слезы.

— Чего ты эта, Алексей Михайлыч, монах? А барыня?

А он говорит:

— Вот тут она ходила... — и заплакал. Нагнулся низко и поцеловал землю у порога...

* * *

Я оседлал лошадь. И поехал. Поздно... Далеко стелются ровные поля, пропадая во мгле ночи. Как щит, вышла торжественно-красная луна. От топота копыт с треском вылетел стрепет...

Компас

Охотники народ особенный. Привлекает их в охоте не одна добыча, а страсть — быть в природе, ожидание неожиданных случаев и приключений. А потом разговоры, — разговоры эти услышишь только на охоте.

Мои друзья, охотники, любили приезжать ко мне в глухое место — я жил в деревне, далеко от Москвы, где расстились леса и долины дивной природы русской. И когда они приезжали ко мне, всегда какая-нибудь ерунда выходила.

Вот, несмотря на новый компас, который купил приятель мой, охотник Павел Александрович Тучков, — мы все же заблудились на охоте. И привел нас этот компас в совсем неизвестное место.

Компас был английский, круглый, толстый, в футляре, и владелец его нес на шнуре. Одно только — стрелка в компасе была очень вертлява, повертится и станет.

Павел Александрович говорил, когда шли на охоту, что идем на Север. А как пришло время возвращаться — двинулись по компасу на Юг.

Идем, идем, а дома как-то и признака нет, — места совсем другие.

Развернули, положили карту на землю в лесу, на нее поставили компас, — выходит что-то не то. И куда идти — неизвестно.

— Ну вот, я так и знал, — сказал Кузнецов. — Жара сегодня, компас испортился.

— То есть как — испортился?

— Испортился, прокис, что ли.

— Какие пошлости! — возмутился Павел Александрович. — Вздор и глупо.

Он зачем-то поднес компас к носу и понюхал.

— Ну, что?

— Странно... что-то есть... Действительно, должно быть, что-то испортилось.

Приятель-охотники тоже нюхали компас и говорили, искоса посмотрев на него:

— Да, странно... действительно, прокис...

Опять шли на юг — так сказать, возвращаясь назад. По стрелке. А дома все нет... Поздно, устали: вышли на охоту в четыре часа утра, а уж вечер, солнце садится... Мы тоже сели отдохнуть. Павел Александрович стал развинчивать компас — «там магнит должен быть». Внутри — пружины, колеса, а магнита нет.

— Герасим Дементьевич, — говорил я охотнику-крестьянину. — Заблудились мы, должно быть, как думаешь?

— Да кто ее знает... знать, заблудились. Я здесь не бывал, место-то неприметно.

— Ночевать в лесу — комары заедят, — жаловались мои друзья.

Отдохнули, встали и пошли. Сумерело. Тихо было в лесу. В небе темнели тучи, повисли над лесом. Сверкнула зарница — и вдали послышался гром.

— Благодарю вас, — сказал Кузнецов. — Гроза в лесу... с ружьями... Это значит — покойнички будем.

— Ничего, — говорю, — Вася, у тебя шелковый картуз. Электричество обходит.

— Обходит, да! А вот — за каким чертом по компасу шли?

— Тише... тише... постойте... — говорит мой приятель Караулов. — Слышите — кто-то едет?..

Уже стемнело. Мы остановились. Действительно, кто-то как будто ехал — шумит вдали. Мы стоим, слушаем, а тот кто-то все едет. Ближе, ближе, — и вдруг капли дождя падают на нас...

Дождь становился сильней. Блеснула молния. Раздался сильный удар грома, раскатился по лесу. Собаки стояли около.

— Ружья оставьте дальше, — кричал Василий Сергеевич. — А мы отойдем. Это не шутки, в лесу с ружьями!..

— Под елки надоть лезть, — говорил Герасим.

— Читали Франклина? — кричал Василий Сергеевич. — В лесу-то что с ним было, помните?

— Нет, не читали, а что?

— Что? Убило, вот что!

Кузнецов приставил ружье к дереву, а сам, отойдя, залез под густую ель. Раздался сильный, с треском, удар грома, и дождь полил как из ведра...

— Гоните собак, — кричал Василий Сергеевич. — Они притягивают тоже.

Мрачно темнел лес. Дождь лил, чувствую, за шею потекло, по спине. Все приумолкли.

— Разожжем ли костер? — спрашиваю я у Герасима.

— Можуху надо искать. А то не возьмет.

Дождь утих.

— Василий Сергеевич, жив ли? — кричал Караулов.

Мы вылезли из-под ели. Мокрые. В сапогах вода.

В это время где-то внизу, в лесу, залаяла собака.

— Неча... слышите... идем! — сказал Герасим. — Жительства близко... Слышь, собака.

Мы все как-то ожили. Бросились, промокшие, вниз.

— Вона, свет в окне вздули, — кричал Герасим. — Сюда идите...

Мы пробирались краем обрыва. Показался свет в окне, дом лесника.

— Дом, — обрадованно говорили все.

Собака лаяла, наши ей ответили. Подошли к дому, ворота — заперты. Мы стали стучать в ворота. Слышим, кто-то идет, спрашивает:

— Чего надо?

Калитка отворилась. На пороге стоял лесник, пожилой человек, с мохнатой головой.

— Чьи вы, откелева?

— Дальние. Из Букова, — сказал Герасим Дементыч.

— Идите.

За столом в доме лесника в углу сидел молодой человек, в форменной куртке со светлыми пуговицами. Пил чай. Мы торопились раздеться, снимали сапоги. Лесник принес кое-что переодеться: кафтан, шубу, старые валенки. Караулов достал из ягдташей бутылки, колбасу и наливал в чашки. Говорил:

— Согреться надо.

— Запоздали, охотники? — спросил молодой человек в куртке.

Пришла лесничиха. Сказала ласково:

— Ишь, охотники... знать, водило вас по лесу-то?

— Да, — ответил Герасим серьезно, — видать, что водило.

— Что водило? — спросил озабоченно Василий Сергеевич. — Это что еще?

— Тут водит... и вот заведет — беда... Пейте чай. Я еще подогрею, — говорила лесничиха.

— Благодарю вас, — сказал Кузнецов. — Водит... Хороши местечки у вас тут.

— Вздор, — выпив рюмку водки, сказал Павел Александрович. — Шутки все...

— Нет, простите. Это не шутки, — заметил молодой человек в куртке. — Я не верил, думал, всё ерунду говорят... А сам попал. Землю мерил — лесные участки — две недели меня водило, вот тут, недалеко...

— И неужели вы, молодой человек, землемер, верите, что кто-то водит, лесовые разные?..

— Нет, не верю. А вот теперь ночью... ну-ка, пойдите к оврагу в лесу... Там мостик есть старый, яма на реке... Там в старину раньше мельница была. Останьтесь там ночевать одни. Какая вас хватит жуть... А что это такое, жуть?.. Отчего она входит? Ну-ка, скажите.

— Я никакого такого лесового никады не видал, — сказал Герасим, — но есть место... ох!.. Когда запоздаешь, так идешь по ем... прямо волосья на голове становятся сами... и кажинный раз... И что такое, думаю, почто это?.. А вот и незнамо... Чисто за тобой кто идет, пугает, так что оглянуться боязно. А вот никого нет... А чего это?

Лесничиха принесла крынку молока и поставила на стол.

— А заводит у вас тут в лесу, тетенька? — спросил Василий Сергеевич лесничиху.

— Тута у нас кругом лесу, лесу, — все лес... и заведет... И кто знает, как кружит... Вот, спросите его, — показала она на мужа.

— А ты видал лесового когда? — спросил Василий Сергеевич лесника.

— Лесового не видал я никады. А заводило меня немало в лесу. Вот на покосе, у леса тут, недалече, у речки — покос. Пойду рано-рано. Ну, возьмешь бутылку, от усталости сил набраться. Ну, взял раз и спрятал в стог. Косишь, косишь... Полудня пришло. Закусить надо. Достал из кошелки ватрушки, яйцо, грибков-груздей. У стога, думаю, отдохну, закушу. Полез, ищу бутылку, глотнуть. Глотнул — чего... вода! Вот это кто? Он, сукин сын, лесовой выпил. Да чего еще — слышу, в лесу смеется.

Я туды. Думаю, постой... Да с косою за ним. А он дале, смеется. Бегу. Устал. А он дале... Ну, вернулся... И закуски нет. Вот что он делает, а? А видать — нет, не видал. И какой он — не знаю. Только жулик — это видно, лесовой-то.

— Сапожник, недалеча, Серега живет. Мастер хороший, — вступила в разговор лесничиха. — Сапоги шил новые для тракторщика Треухова. В Ловцы понес ему. Ну, отдал. Ну, тот ему заплатил, да и sprыснули сапоги, выпили. А Серега разгулялся, да все деньги и пропил. На утро ра-а-но домой пошел, выпивши. Идет и песни поет... Только на мостик ступил, в овраге тут... слышит, а за ним кто-то идет и говорит — «Пропил сапоги-то...» Серега оглянулся и видит, за ним сапоги-то его идут одни... Он с моста — прямо в воду и орет: «Караул!...». Слышно нам. Вот он, — указала она на своего мужа, — и побег, да его и вытащил. Его в Петров возили, в больницу. У его горячка от страха приключилась.

— Ну, это черт знает, что такое! — сказал, встав, Василий Сергеевич. — Сапоги одни ходят.

— Как к вам ни приедешь — все чертова чепуха начинается. Места находите! Невиданно.

— Это компас привел. Я-то тут при чем.

— Да уж и компас. Я теперь по компасу этому твоему ни шагу, — сказал Тучкову Василий Сергеевич.

— Позвольте, позвольте... — обиделся Павел Александрович.

И, обратившись к землемеру, протянул ему компас.

— Вот, посмотрите, — плох компас? Прошу вас.

Землемер посмотрел на компас, повертел в руках и сказал:

— Это не компас.

— Как — не компас?

— Нет, это беговые часы, для скачек.

— Что ж это такое? Как же это? А ты, Павел, нас водишь! — засмеялись мои друзья.

Павел Тучков взял часы, спрятал их в футляр, обиженно посмотрел на всех нас и сказал:

— Ну, довольно, довольно...

На реке

Жара с утра. Небо ровное. Хоть бы облачко. В окно видны улицы. Железные крыши, зеленые, красные. Скучные, ровные окна спасских казарм. На углу вывеска — «Дьяковское подворье» и овощной лавки. Палисадник, жидкие акации, покрытые серой пылью. Слышно в окно, как тарахтят по мостовой проезжающие извозчики. Далекий гудок поезда, подъезжающего к вокзалу. Думаю, хорошо бы уехать по железной дороге — там леса, речка. Но не могу — пишу для театра декорации балета «Спящая красавица». Огромные декорации прекрасной Франции. Не похоже на нашу природу, где мой дом в деревне. Там — большие густые березы, ели, за частоколом моховое болото, колодец, сарай, малиновый сад и бесконечные дали лесов.

Нигде нет такого дома, как у меня: весь из сосновых бревен — и пол, и потолок. И пахнет сосной. А еще клубника, а трава какая? Под горку все покрыто розовой

дремой. Пахнет медом. А утром тетка Афросинья приносит деревенские ржаные лепешки — масляные, жесткие, замечательные лепешки.

Приятели мои, охотники-рыболовы, любят ко мне ездить. А женщины — нет, скучно им. Нет ни «круга», как на дачах на эстраде, крытой, вроде раковины, где играет музыка, ни крокета, ни дорожек в саду, посыпанных песком, ни куртин. Это везде — и в Пушкине, и в Перловке, и в Кунцеве.

А у меня просто сад, вроде леса. Зато у меня фиалки настоящие, лесные. И гуща, есть места — не продерешься. А птиц сколько в моем саду! У меня, например, ночью филин орет, как леший. Хохочет. А под горой, за рекой, раз ночью что-то орало такое, что я сам не понял и напугался. Говорил мне мой приятель-охотник крестьянин Герасим Дементьич, что это лось орет. Ну, и действительно — так орал, ужас берет. Гостивший в это время у меня профессор с женой, философ и метафизик, уехал сам и увез жену.

* * *

Декоративная мастерская Большого императорского театра была под самой крышей театра. Жара такая, что, работая, я обертывал голову мокрым полотенцем. И бесконечно хотелось пить. Как в печке.

— Вот что, — говорю я старшему маляру, Василию Белову. — Сегодня суббота, поеду я до вторника в деревню...

— Вот хорошо, — говорит Белов, — тута прямо сторишь. Меня бы взяли, хоша бы искупаться.

— Едем, Василий, очень рад, собирайся.

Василий сразу снял фартук. И крикнул другим мастерам:

— До вторника всех начисто домой.

Слышно было, как радостно все бежали из мастерской вниз по железной лестнице. Василий Белов поехал сказать семейству, что уезжает. А я поехал в рыболовный магазин Бартельса — купить крючков для рыбной ловли.

— Вот жара! — сказал мне в магазине Андрей Иванович Бартельс. — Теперь рыба не идет.

— А вот у меня, я сегодня вечером еду, всегда на реке Нерли ловятся.

— Да неужели? — удивился Бартельс.

— Поедемте, Андрей Иванович. Буду рад.

Бартельс обрадовался и сказал:

— В праздник никакой покупатель нет, оставлю дома жена.

— Собирайтесь. Приезжайте на вокзал к девяти часам.

* * *

— Знаете, — говорил мне дорогой в вагоне немец Бартельс. — Я захватил колбас. Сама делал. Такой колбас, вот попробуйте, — и он достал из корзины колбасу и отрезал ножом мне и Василию.

— Хороша колбаса!

— А вот у нас в мастерской, — сказал Василий Белов, — крыс, крыс до ужаси. Говорили, будто их переловить польсмейстер в театре приказали. Продали да колбасу делали. Ежели не знавши, что ешь, — Господи, помилуй!

— Это не может быть, чтобы полицмейстер такой штука занимался, — сказал Бартельс.

— Это он всегда, — говорю я, — такие истории рассказывает. Откуда это ты, Василий Харитонович, слышал?

— Да ведь вы никогда ничему не верите. Это ведь польсмейстер не тот. У нас в театре свой есть. Он и велел крыс ловить. А колбасу, конечно, он не делал. Он не колбасник. Говорят, евреи делали эту колбасу.

— Почему евреи?

— Говорят...

Большого ума человек был Василий Белов. Помню, когда у меня гостил Федор Иваныч Шалапин, он с Василием Харитоновым Беловым часами разговаривал. Белов не был доволен беседами и говорил мне:

— Что ему? Только смех да смех.

Белов человек был серьезный. Потрафить ему было трудно. Был он из солдат, от меня и на службу ушел. Был на японской войне, говорил:

— Чего ж, они на горах сидят, хитрые! Не идут на чисто поле. Мы бы их тогда...

Рано утром мы приехали на станцию. Большие леса розовели в утренней заре. Над рекой внизу расстился туман. Плоскотный мост. На поверхности тихой воды легали чайки.

— Смотрите! — говорит Бартельс. — Вон, глядите, идут язи. Я сейчас приду сюда ловить.

— Там у меня лучше, — говорю я, — под самым лесом Глубокие Ямы.

Благодать в деревне. У крыльца дома моего, когда мы подъехали, собаки радостно встретили нас. Лаяли, прыгали. Дедушка-сторож говорит:

— Самовар готов, с приездом, сейчас крынку принесу.

Возчики отпрягали лошадей.

— Пушай, — говорят, — погуляют, покуда утро. А то слепень заест.

Как все просто. Жизнь! Какая радость — утро. Пахнет сеном, рожью. А за малиновым садом далеко синеют леса, на сарае трещат сороки. В саду свистит иволга. И лето, лето...

Андрей Иванович наскоро разбирает снасти. Выпив на террасе для приличия стакан чая, он взял с собой бутылку пива, колбасу, удочки и пошел, торопясь, на реку.

Я проводил его до конца сада:

— Ступайте, — говорю, — вон у большого леса обрыв песчаный. Там Глубокие Ямы.

На террасе возчики и Белов пили чай. Ватрушки, деревенские лепешки, варенье, сливки.

— Отчего, мы говорим, барин этот рыбу удить пошел? Взяли бы бредень, мы бы завели — вот и рыба. А то сиди! Дивуемся мы, пошто это удят рыбу? Чего попадетса? Пустое дело! А бредень — во рыбы что возьмет.

— Это времяпрепровождение, через женщин все, — хмуро сказал Василий Белов, опрокинул стакан, положил наверх огрызок сахара, встал и ушел.

В большой комнате я брал краски, кисти, собирался идти писать с натуры. Говорю Василию Харитоньчу:

— Почему это времяпровождение через женщин — рыбу удить?

— Чего же, верно, через их, — отвечает Василий. — Жена его дома пилит — и то, и это, все не так, — ну, он и бросится на реку. Чтобы не слушать. На реке-то отходит. Вода уносит. Замывает. Заметьте, ни одна женщина рыбу удить с вами не пойдет нипочем. Не любит. Да и чего тут? Вот вы живете — ну, еще это ничего: картины списываете, туды-сюды, деньги платят. А то кто жить тут станет? Лес и лес. Вот на даче музыка играет. Танцы, наряды, разгулянья. Тот то скажет, этот это. А ваша жизнь — один, более ничего. Кто к вам ездит? Неутешники. Жены-то нешто с ними поедут? Нет. Кто это по охоте ходит да рыбу удит — у того ни черта не будет!

И Василий, махнув рукой, ушел.

У самого леса, где песчаный обрыв, где корни огромных сосен выступали на желтом мху, где высились стебли иван-чая и лес отражался в темном омуте реки, Андрей Иваныч сидел, раскинув удочки. На ровной поверхности реки выглядели цветные поплавки. Бартельс пристально смотрел на них, вытирая руки полотенцем. Подойдя, я спросил тихо:

— Ну, как, берет?

Он показал рукой вбок, и я увидел в воде у берега на веревке «кукан». Много было поймано рыб.

— Ух! — сказал Бартельс. — У меня большой рыб оборвал. И какой, не знаю. Такого места я никогда не видал. Это красота. Эльдorado. Смотрите, вон берет.

Белый поплавок из пера медленно опускался. Бартельс подсек, и удилице гнулось в его руке. Большая рыба водила в воде. Золотой язык лежал в подсачке на зеленом берегу. Я сел рядом и спросил:

— А что, Андрей Иваныч, вот женщины не любят рыбной ловли?

— Ужасно не любят, — ответил Бартельс. — Никогда в магазин ничего не покупают. Моя жена, когда бил барышня, говорил: «Как я люблю рыбку поймать». А потом никогда со мной не шел на реку. И так на меня всегда сердится. Сначала я обижалась, а потом уходила один на речку, а жизнь дома стала такая скучная.

Уж наступил вечер. Красный, как шар, таинственный, вышел месяц, над дальними лесами. И я наскоро, на холсте, старался найти лиловый тон неба и цвет месяца. Ели силуэтами темнели над старым сараем. Была тишина, и замирала природа в сумраке вечера. Сбоку засветилась, блистая, Венера.

— Василий, — говорю я, — что же Андрей Иваныч не идет?

— Да нешто его с реки сгонишь? — отвечает Василий.

Василий пошел и тут же вернулся.

— Пришел. И что рыбины наловил! Они с Афросиньей уху варят.

За ужином видно было, как рад Бартельс охоте и рыбе. Выпив рюмку перцовки, он говорил:

— Благодарю вас покорно. Такая счастливая дня. Такой рай вы живете здесь. Рай земной. Я так шаслив сегодня. Я пойду ночью ловить. Уж позвольте. Туда же пойду, к лесу.

— Не ходи, батюшка, — говорила Афросинья. — Там водяной балуется. Он тебя бы в воду не столкнул.

— Ха, ха, — засмеялся Бартельс, — я, матушка, не верю ни в водяной, ни в черт. Вот злой человека бывает — это правда, я верю.

— Ишь какой! А злого-то человека кто учит? Он, нечистый.

— Это правда. Правда.

Над дальними лесами все выше и выше серебрился месяц...

Сом

Серое небо. Ровными рядами идут синие тучи. В свежести воздуха и в запахе дыма от овинов что-то бодрое входит в душу. В саду у меня пожелтели листья клена и легли на деревянную лестницу террасы. Ровно стоят стога скошенного сена по лугу. Черной стаей грачи перелетают по сжатому полю. Свежий день. Собака моя, Феб, смотрит на меня.

— Пойдем на охоту, Фебушка, — говорю я.

Феб прыгает в радости, и вертится, и лает. Надеваю большие сапоги. Феб в радости фурчит носом и кладет лапы мне на колени.

— Ну, пойдем, пойдем... — говорю я собаке. — Постой, ты мне мешаешь.

Воздух, как струя живая, наполняет грудь. С проселка я перехожу сжатое поле, спускаюсь вниз под горку. С краю бугра краснеют кусты рябины и, перелетая, трещат дрозды. Внизу, в кустах ивняка, видны желтые мелкие камушки ручья. Быстро бежит вода. И как она чиста! Останавливаются глаза, и смотришь почему-то долго на дно ручья.

Иду у заросших кустов, среди них видны бочажки. Впереди бежит Феб, вижу вдруг — он отскочил от воды. Я подумал: «Должно быть, змея...» — и пролез сквозь кусты посмотреть. В круглом небольшом бочаге плеснуло у самого берега. Что-то странное я увидел — точно большой мешок, в темных пятнах, ворочался в воде, у самого берега. Половина мешка ушла под берег, и чудовище вертело широким, как лента, хвостом.

«Сом, — подумал я. — Из реки зашел».

Я опустил и ногой в сапоге толкнул его. Сом повернулся в омуте. На огромной голове — белые маленькие глазки в упор смотрели на меня.

— Откуда ты пришел, леший? — сказал я.

Он, повернувшись, опять ушел под берег. Ручей был мелок — как он мог попасть туда?

«Вот, — думал я, — приедут приятели мои, буду показывать сома».

Отойдя от ручья, пошел по берегу. Ручей переходил в болото. Высокая трава на кочках, а вдали, среди кустов, блестела вода реки. Ноги вязли в болоте все глубже и

глубже. Феб, вертя хвостом, шел впереди, поднимая голову, причувывал. Повернулся и стал. «Далеко», — думаю. Пошел к нему. Невозможно — глубоко, едва вытаскиваю ноги. Холодная вода наливается в сапоги.

Ближе и ближе подхожу к собаке. Феб стоит как вкопанный. От самой его морды вылетает дупель и, раненный, падает за речкой, у старого брошенного сарая.

Под ногами качается земля, и тонут ноги. Выбирая места, где гуще трава, я пробирюсь к берегу. Неожиданная радость: я вижу с правой стороны рыбацкий челн у реки. Он полон воды.

— Феб, — говорю я, — там, там, дупель, достань, там! — показываю на ту сторону реки. — Достань.

Феб смотрит на меня и плывет по реке, нюхая воздух.

Надев ружье на шею, я тяну челн на берег, покачивая его набок, — вода льет из него.

Вывлив воду, опять толкаю его на реку и сажусь в него. Куском шеста отталкиваю от берега и гребу им скоро, скоро. Но вижу — быстро в старый челн набирается вода. Доеду ли до берега? Уж близко.

Вдруг челн опускается носом в воду, и я опускаюсь вместе с ним. Холод. Держусь рукой за край челна и гребу. Вот берег, у берега глубоко... Хватаюсь за траву, вылезая. Ремень от ружья на шее душит. Ух, как холодно... Только спина почему-то сухая.

На берегу Феб держит во рту дупеля и ходит кругом меня, как-то особенно разводя от удовольствия карие глаза. Бегу в сарай. В углу навалено немного сухого сена, достаю из кармана коробку спичек — мокрая. Открываю коробку. Не зажгутся. Еще в ягдташе коробка новая, там спички суше. Но обо что зажечь? Край коробки сырой. Беру в сарае кусок сухой палки и тру о бревно. Тру долго, пробую — согрелось дерево. Прикладываю к теплому месту край коробки... Озяб ужасно, зуб на зуб не попадает. Снова тру и тру палку. Выбираю спичку посуше — не зажигается. Выбираю другую — вспыхивает огонек. И я зажигаю сено. Отделяю горящее, подкладываю. Какая радость!

В сарае горит костер, кашляю от дыма, кладу щепы, палочки, бегу к кустам, ломаю сучья можжевельника... Окостенел, дрожу весь.

Раздеваюсь и голый бегаю за хворостом. Уж около сарая тоже горит костер. Греюсь у самого огня — грудь, коленки. Тепло. Только спина как лед.

А Феб все приносит мне того же дупеля, кладет передо мной и смотрит на меня в недоумении. Сушу платье, но оно такое мокрое.

«Захвораю, — думаю я, — воспаление легких...»

И кладу на самый костер штаны, куртку. От них идет пар, а потом и дым. Глеют края...

«Черт с ним, — думаю я, — пускай горит».

Надеваю на себя почти горячие штаны и куртку. Как-то сразу становится лучше. Чувствую себя человеком.

Вдруг вспоминаю сома, который в омуте. Ничего ему! — в воде всегда, и зимой сидит.

— Сом, я тебя выпущу в реку, а ты помолись за меня своему богу...

Рубашка высохла, хотя наполовину сторела. Но замечательно в рубашке. Рубашка необходима человеку.

* * *

Как-то в Москве зимой, вечером, в компании друзей, кто-то сказал про одного знакомого: «В тихом омуте черти водятся». И вдруг вспомнил я деревню, лето, ручей и тот бочаг, где я видел сома, которого хотел выпустить в реку на свободу.

Я рассказал о чуде друзьям своим, охотникам, и они решили поехать в деревню ко мне как-нибудь на праздниках, и того сома достать из бочага.

* * *

Рождество. Все занесло снегом.

Долго искали бочаг по ручью. Но по кустам я узнал место. Клади доски и разбивали пешней лед. Очистили весь омут, опустили туда сеть и наметку, водили ими в воде, но сома не было.

— Ушел в реку, — говорили друзья. — Или ты сказал кому, его и поймали.

— Нет, я в тот же день и уехал. Никому не говорил.

— Где же он?

— Ен тут, — сказал хитро охотник-крестьянин Герасим, — в норе, под берегом.

Постой, я постукаю.

И Герасим, взяв пешню, стал стучать кругом по берегу омута. В омуте что-то закачалось, — и сом показался на поверхности.

— Бей его пешней! — сказал кто-то.

— Нет, нельзя, нельзя! — закричали все.

Наконец, сома поймали в сеть, и мы все несли его на реку к проруби. Он мгновенно пропал в воде.

Возвращаясь с реки в дом, почему-то все мы испытывали приятное чувство — вот отпустили сома на свободу. Как такому чуду жить в маленьком бочаге, пусть живет на приволье, в реке.

* * *

Как-то летом, утром, я шел под буторком у ручья и зашел, пробираясь кустами, посмотреть тот омут. Сел на бережок, смотрю на воду и задумался. Вдруг вижу: наверху воды показалась широкая плоская голова сома. Она медленно двигалась к листьям купавы, на которых сидела зеленая лягушка. Сом брызнул хвостом по воде и пропал.

— А мы-то старались, — сказал я, — тебя отпустить на свободу! А ты опять здесь? Удивление...

При встрече с друзьями я рассказал им, что сом-то с полой водой опять вернулся в маленький омут. Все удивлялись, находили это странным.

А охотник-крестьянин Герасим Дементьевич, смеясь, сказал:

— Чудно! Чего, нешто он дурак какой. Ему, поди, чай, годов-то сколько. Ишь он какой здоровый. Он знает, где ему лучше, где сытней. Тут он в омуте, у болота, лягушек ест. Ишь он толстый какой! Вы его жалеете, на свободу пускаете, а она ему пошто? Ему в яме-то лучше нравится...

Ночь и день

Поздний вечер. С краю, у большого леса, я поставил палатку, в палатке просторно, стоит складной стол, походная постель, ящик с холстами и красками. Утром буду писать с натуры. Место красивое, глухое, лесное. Большой песчаный обрыв покрыт лесом, седые ели спустились до самой речки. Отоленные ветви их, покрытые белым мохом, как кружева, выделяются на синих тенях обрыва. Последние лучи солнца замирают на верхушках леса. Деревья, как опрокинутые, отражаются в реке, так глубоко...

Глушь...

— Не сказывай никому, — говорю я крестьянину Григорию Тараканову, который привез меня, — я дня три здесь проживу в палатке. Картины буду списывать. А-то придут — будут мешать.

— Чего... не скажу, — отвечает Тараканов, — списывай. Чего тут... только место — заросль, кому нужно? Сюда никто и не ходит. По осени тут волки воют. Тута и не рыбачут, вся река лесом завалена. Осыпь... Так и называется — пустошь.

— Чего тут... — подтверждает приехавший со мной Василий Княжев, рыбоволов, и как-то недовольно смотрит на поставленную палатку. — Место самое скушное. Лучшее бы у мельницы стали, все же там какое ни на есть жительство...

— Ну, так значит, через три дня приеду за вами, — говорит Тараканов.

— Вот, на дорогу, — говорю я ему, наливая стакан водки.

Он пьет, закусывает колбасой и, смеясь, говорит:

— Эка охота у вас списывать эдакое-то... Пустошь и пустошь — боле ничего.

Он, простившись, тронул телегу, завернул с лужка в лес и скрылся.

— Вот что, — говорю я Василию, — надо костер развести. — Чайник повесим, чаю попьем. Калачи в корзинке достань, ватрушки, да фонарь надо зажечь. Я напишу это место... вот месяца серп вышел.

Василий взял топор и пошел в лес рядом за полянкой. Среди тишины позднего вечера слышен был стук топора, а по заводи ровно кричала выпь, точно кто дул в пустую бутылку.

Разложив складной мольберт, я достал холст и краски и пристроил фонарь. Василий тащил из лесу сухие деревца, складывал их у речки, подложил можуху — и костер запылал.

Темным силуэтом возвышался лес по обрыву, и красиво узорились ветви темных елей на фоне зеленого потухающего неба. Четко светил серп месяца, и было что-то таинственное в природе — какой-то далекий край, родной, отрадный...

Василий принес стакан чаю.

— Ну-ка, достань, — говорю я, — там коньяк есть, в чай немножко польем.

Василий живо пошел в палатку.

— Налей себе, а то что-то ты приуныл...

— Нет, я ничего... Конечно, у вас дело такое... картины сымать... — говорил Василий, пив чай с блюдца, — по правде ежели сказать, место — ох, скушное, да и ведь и жутко...

— Чего ж жутко-то, ведь у нас ружье, револьвер...

— Да ведь кто знает...

— Ну, Василий, достань-ка колбасу, в кастрюльку ее — пожарим на костре, поедим горячего с хлебом.

— Это можно... — говорит Василий и бежит в палатку.

Лес совсем потемнел, все изменилось. Я убрал палитру, кисти положил на траву около палатки, холст вставил в ящик. Думаю: «Как это днем покажется...» Люблю я писать ночью, но ошибаешься...

Только я потушил фонарь и хотел выйти из палатки, Василий смотрит на меня темными глазами и так серьезно говорит:

— Слышите, зарядите ружье... Чего-то ходит недалеко по бугру-то...

Я взял ружье, зарядил картечью и вышел. Мы оба слушаем. По той стороне в самом деле что-то потрескивает. Костер тускло освещает осыпь обрыва. Ясно слышу — кто-то лезет между сухими елями... Ничего не видно...

И опять полная тишина. Только кузнечики стрекочут за палаткой.

Мы сидим в палатке, едим колбасу, и оба смотрим в открытый полог, где темная ночь и краснеет догорающий костер.

— Ночью-то всегда есть это самое... — говорит Василий, — особенно в эдаких-то местах...

— Ну что «это самое»? — спрашиваю я. — Может, это заяц или барсук?

— Да кто его знает... — говорит Василий. — Ночью-то разные звери выходят из нор, которые ночные...

— Все, — говорю, — известно, все звери.

— Не... — сказал Василий, качнув головой, — есть которые не виданы, — оборотни есть... В ночную пору ходют... Я видал раз. Вот как крысы, а боле собаки, бурые...

— Где же это ты видал?

— Недалече от Москвы видал. Шел по дороге, а она бежит. Слышите? — вдруг насторожился Василий.

Слышно было, как сбоку, где заворачивала река, ясно плеск воды, кто-то переплывал реку и вздыхал.

— Чего это?! Берите ружье скорей!

Мы оба вышли из палатки. Что-то забелело вдали.

Я подошел к костру и подбросил хворост. Костер осветил все вокруг. Вдали, на реке, как-то прыгая, шло к нам белое...

— Лошадь, — сказал Василий. — А может, и не лошадь... — Что-то неприятное было в этой прыгающей лошади. Она остановилась и издали смотрела на нас.

— Ишь, чего тут... — сказал Василий, — откуда лошадь? Стрельните разок, поугайте.

Я выстрелил из ружья вверх, и лошадь повернула и пропала в лесу.

— Ишь, чего тут есть... Да, тут уж не посидишь...

— Лошадь, — говорю я, — на ногах-то путы у ней, знать, отбилась, из ночного ушла.

— Да, да... — сказал Василий, покачав головой, — чего тут, Константин Лисевич, — место такое нашли... Пугает нас, значит, более ничего...

— Как пугает, да что ты, Василий?

— Эх, оно-то?.. В лошадь обернет, а то во што хочешь.

— Что ты, Василий, сколько раз ты один в лесу ночевал, сам же мне рассказывал... и веришь в оборотней.

— Есть оборотни, есть... не говорите... Это не лошадь, да и место здесь дикое — горы, лес, ямы... Чего еще? Их здесь жительство...

Костер потухал. Я пошел в палатку и лег на постель.

— Ну, спите, — сказал Василий, — а я посижу... А то чего бы не было...

— Ерунда, ложись спать, Василий...

* * *

Я проснулся рано, чуть свет. Над обрывом, среди елей, розовели, как длинные ленты, утренние облака. Роса лежала на травке у леса. Вдали, над заводью реки, белой полосой тянулся туман.

Василия не было. «Искупаюсь, — думаю я, — вода теплая, все дно видно, песок». До чего хорошо, Боже! Верхушки горы, лес, освещаемые солнцем. Непрестанно кукует кукушка, трещит коростель. Вижу, снизу, с реки, по берегу идет Василий с удочкой. В руках у него висит, блестя чешуей, рыба.

— У-у-у, — крикнул я пострашней.

Он остановился и опять пошел.

— Василий! — кричу я.

Он бежит ко мне и говорит:

— Ну, и рыбы здесь что! Смотрите-ка!

И он поднимает леща и голавлей. Рыба отблескивает всеми цветами на фоне густых елей леса.

— Может, это оборотни? — с улыбкой говорю я.

Василий смеется, как-то шипя, и пальцем поправляет усы.

— Да вот ведь чего. Ночью робь берет. А сейчас — все прошло. В ночи-то есть эта... нечисть. Верно, есть. Вона лошадь-то, тута. Эвона она. Ноги у ней спутаны, а ночью-то страшно. Заблудилась, что ль, кто знает? Сейчас костер подпалю, — говорит Василий. — Чай сготовлю.

Как приятно ходить по траве босыми ногами. Мелкая травка на бережку. Палатку осветило утреннее солнце.

Я бы хотел всю жизнь жить так. Какая красота, воля! Воздух утра несет ароматы леса, цветов! Какой свежестью пахнет река! На заводи блеснула большая рыба, рядыми пошли длинные синие полосы по ровной, как зеркало, воде.

Белая лошадь со спутанными веревкой передними ногами, прыгая, подошла к палатке. Старая лошадь. На одном глазу бельмо!

— Смотри, Василий. Оборотень-то, — показал я на лошадь. — Старая она, больная.

— Да вот поди. А ночью — страх, и все так, — говорил Василий, разжигая костер. Потом повесил чайник и рассмеялся.

— Чего ты? — спросил я.

— Верно — чудно. День и ночь. Все разное. Ночью — жуть, а днем — радость. Вот что я вспомнил. Допрежь-то спознался я с одной. Баба молодая, хороша. Зубы белые, глаза чисто вот вишни черные. Был я парнишка молодой. На лесном складе служил в Зарядье. Ну, и она там при конторе была. Прислуга, значит. Только на меня поглядывает, да и говорит: «Приходи, Василий, чай пить ко мне в сторожку, попозже». Пришел. Она меня и пирогом, и колбасой, да и вино подносит. А я не пил тогда. Молод. Ну, и начала меня по голове гладить да целовать. «Не бойся», — говорит, — и лампочку задула. Темь. Маленько от окна свет ударяет. Она прямо вот на меня

смотрит. Я гляжу. Видать немного, лицо-то. Гляжу — а зубы у нее большие, чисто вот у лошади. А глаза черные, чисто черт! Как я от нее вырвусь — да в окно! И бег, вот бег! Вот до чего в ночи страшна показалась... А днем глядеть — ничего. Днем она прямо, вот, — чисто картина, хороша.

* * *

Песчаный обрыв, освещаемый солнцем, отражался в речке. Я начал писать. Лошадь стала у речки передо мною. Ее худоба, замученный вид был так печален, все ее существо выражало одну скорбь. На содранной и больной спине сидели мухи, и она встряхнула кожей. Я встал, взял дождевое пальто и покрыл ее.

Пока я писал картину, лошадь, стоя рядом, дремала.

«Отслужила ты службу людям, — подумал я, — старая, брошенная».

В это время на горе, над обрывом, кто-то крикнул:

— Эва! Вот она, стерва, иде. — И я увидел двух крестьян: молодого парнишку и седого старика. — И-и, Пронька, на веревку, я сейчас сойду...

— Ваша лошадь? — спросил я старика.

— Наша, да вот неделю ищем. Ишь, стерва, пропала, не хоцца помирать-то. Постой, ноне шкуру сымут. Буде гулять. Живодер ждет. Бери, Пронька, привяжи...

И Пронька завязывает веревку на шее лошади.

— А сколько живодер-то платит? — спросил я.

— Чего, известно... Трешник.

— Продай мне ее, — говорю я. — Я тебе полтину накину.

— А тебе куда она? Она опоена. Где же, ей не встать. Дарма ест. Чего тебе в ей?

— А тебе-то что? Я куплю. Жалко, что ль, тебе?

— Чего ж, бери. Только вот живодеру-то я уж сказал.

— Ну, скажи — не нашел, издохла в лесу.

— Это верно. Мы и думали — сдохла.

— Василий, — говорю я, — лошадь-то эту я купил. Ну-ка, поднеси деду стаканчик.

Василий налил стакан водки, а я заплатил деньги за лошадь. Старик выпил стакан, крикнул и, закусывая, как-то деловито посмотрел на меня серыми глазами и сказал:

— Слышь. Драть кады будешь, шкуру-то, с живой норови. Кожа-то крепче будет...

В деревне Грезино

Был у меня приятель, крестьянин Владимирской губернии, села Боголюбова, Абраша Баранов. Молоды были мы оба и учились живописи в Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице. Я, помимо Школы, рисовал и писал больше с натуры, разные виды. Ездил за Москву в окрестности, любил природу, проводил много времени с ружьем. На охоту тоже всегда брал с собой небольшой ящик с красками и дощечками, на которых писал небольшие этюды. Но нигде я не был дальше Останкина, Мытищ, Кузьминок, Кунцева, Перова и Перерв. Все — поблизости Москвы. Левитан привез этюды с Волги, — мне они казались каким-то

чудесным, далеким краем, недоступным для меня. Поехать так далеко казалось невозможным. Да и дорого.

Абраша Баранов, рассказывая мне про свои края, про леса муромские, про реку Клязьму, уговаривал меня уехать на лето в деревню Грезино, поблизости от его села.

— Деревня, — говорил он, — всего шесть домов. А недалеко — большие луга, поймы, там течет Клязьма, широкая река, с красивыми берегами.

И весной, после экзаменов, я в первый раз поехал с Абрашей Барановым так далеко от Москвы.

Приехали к нему в Боголюбово — мне как-то не понравилось: большое село, в ровном поле, внизу по лугу шла река в скучных берегах. И мы тут же уехали верст за восемь, переехали большую Владимирскую дорогу и потом, среди деревьев, увидели на возвышенной полянке одиноко стоявшие избы крестьян, с высокими сарайчиками.

Мы подъехали к крайнему дому крестьянина Гавриила Ивановича. Сам Гавриил Иванович — седой старик небольшого роста — принял нас радушно, кланялся, говорил: «Пожалуйте, вот рад, вот рад...» Мы сказали ему, что хотим поселиться тут, в деревне. Он предложил нам всю его просторную горницу, которая называлась «холодная», — летнюю, так как зимой они жили в другой избе — рядом, с большой печью.

Гавриила Иванович был стар, а тетенька Афросинья, жена его, помоложе.

Нигде я никогда не видал такого радушия, как у русских крестьян. Гавриила Иванович хорошо помнил крепостное право и любил говорить про барышень, господ своих.

— Вот тута оне жили. И дом был — это место, — показал он к лесу, — но сгорел дом-то... А это самое, где я живу теперь, то завсегда жил тута. Это кухонная изба прозывалась, моя, значит. Я-то повар был у них, у барышень-то.

— Ну что, Гавриила Иванович, — спросил я как-то вечером за чаем, — а барышни-то, поди, секли мужиков, ежели что не так?

— Не-е-е... что вы! — ответил Гавриила Иванович и замотал головой, — не-е-е... нешто можно? Оне ведь девы чистые были... Сироты бедные. Отца их убили на войне, пенсия была — осемь рублей в месяц. Я ходил в Володимер — получал. Одна — утонула через молодца, и он-то тоже утоп. А другая — померла. Вот красива была — чистый херувим! Когда помирала, мы все смотрели на ее, а она на небо глядела, будто что там видела. Все вверх, вверх глядела. Вздохнула и закрыла глаза... Я ей и ручки на груди сложил. Секли!.. и что скажете, право!.. Оне что ни на есть госпожи были и играли на арфе — вот до чего хорошо... и пели — чисто ангелы...

— Что ж, они разве всё здесь жили? Зимой, поди, в Москву ездили?

— Нет. Почитай с самого измальства тут были. Только езжали во Володимер на праздник, к губернатору, али в гости — играть на музыке. Ну, и приедут назад, книжки разные привезут — читают. Всё тут жили. В детстве, верно, во Володимере учились.

— Что же замуж-то не вышли? Красивые, говоришь, были? — просил Абраша Баранов.

— Красивые, — сказала тетенька Афросинья. — Я тоже маненько помню. Только кто возьмет? Бедность... Они тоже гордые были: кого примут, приедет ежели, а то скажут — дома нет...

— Приезжали к ним, значит?

— Приезжали... редко... Посидят, да уедут. Приглашали их играть в город. Ну, ездили. Платья белые тюлевые, кринолины широкие, ленты, цветы белые...

— А деньги-то брали за игру, за музыку?

— Кто знает. Ежели деньги были когда малые, то мужикам отдавали: кому корову, кому лошадь, али што. А то лекарство — лечили тоже нас. Одна вота барин приехал — што ты... — сказал, поглядев на меня, Гаврила Иванович, — тоже охотник. Дак вота какава беда — утоп... Вот тут, к большому лесу заводина есть — Погана Лужа прозывается, омут. Допрежь, в старину, мельница там была. Место... ух — жуткое!.. Русалка там по вечеру поет. Ну-у... што было. Барышня-то, моя, Надеждой ее звали, его спасти хотела, да тоже и утопла. И узнала другая-то, Аня звали другую, — што крепко, значит, сестра-то его любила... Вот и все.

* * *

Когда мы с Абрашей приходили с охоты, приносили дичь, уток, тетеревов, дупелей, Гаврила Иванович радовался и готовил нам поразительные обеды.

Гаврила Иванович и тетенька Афросинья пили водочку маленькой рюмкой, — это уж полагалось, — и когда уходили спать, то всегда говорили:

— Ну уж што... благодарны вам, ничего... Спокойной ночи.

Всегда Гаврила Иванович и тетенька Афросинья обедали и пили чай с нами, и Гаврила Иванович придумывал, что приготовить из дичи. Солил грибы, огурцы, рыбу жарил в муке, клал сметану, ходил со мной на Клязьму — ловить рыбу, показывал, где что ловить надо, и главное — где судака поймать. Это первая рыба. Еще стерлядь, но ту поймать трудно, она на уду не идет.

Гаврила Иванович кормил нас так, что я нигде так и не ел. Утки делал с груздями, разварной судак с огурчиками, с острогоном, и все в деревне выучились от него готовить. Все женщины крестьянки были поварихи в этой небольшой деревне.

* * *

Как-то вечером, под осень, мне Гаврила Иванович принес рукописную поваренную книгу. Старая осталась у него от прежних времен. И там было сказано, как готовить квас, напитки — из крыжовника, гонобелея, брусники, смородины.

— А где ж сад-то? — спросил я.

— Вот тут был. Разорили... Ребятишки разорили... Сад был хороший, яблоки, клубника, ягод што... Да ведь не удержал, воля пришла! Ну, да ведь все уж и померли... Всё разобрали.

В книжке сбоку было написано:

Она одна лишь разумела
Стихи неясные мои...

Как странно и как красиво прозвучали во мне слова, написанные уж выцветшими чернилами. Читая их, я как-то взглянул в окно, где под горкой луговины стояли старые липы сада и шел густой лес у мелкого ручья. Серебряный месяц белел на вечернем небе. Как тени, мелькали передо мной Надя и Аня — эти барышни в кринолинах, в локонах... Я воображением рисовал их с арфами. А за арфами видел этот

лес и тон вечернего неба, где светил белый месяц. Как все миновалось, кануло в небытие... Прошел день, и грустно догорает вечерняя заря. Кукушка кукует, и в душе печаль. Все уходит, отлетает... Того, что было, уж нет и не будет. Пролетает время, и за ним — след печали, воспоминаний и надежд. Обманом сладостным ласкает воспоминание угасших дней...

Я рад был всегда слушать Гаврилу Ивановича про умерших барышень. Мечтами юности я летел к ним, как к живым... Я их сравнивал с теми, которых я знал, которые учились в Школе, где они занимались живописью. Но рассказы Гаврилы Ивановича про его пречистых барышень, которые жили здесь давно, — были другие.

* * *

— Гаврила Иванович, — говорит как-то раз приятель Абраша вечером за чаем, — вот крепостное право ты помнишь. Ну, ладно. Вот я крестьянин, но вот барину не понравился или барышням твоим этим. Ну, вот хоть волосы у меня длинные, не стриг давно... Вот они меня за это на конюшню и пошлют драть. Какое же это право? А ведь было это. Ну, а ты хвалишь господ.

— Мои барышни ничего за это не сказали бы. Что ж, волосы, верно, у тебя обросли. Ежели б я барин был, то верно — сказал бы тебе: постригись. Вот тетка Афросинья у нас хорошо стрижет. Пускай пострижет.

— А я не хочу. Хочу вот длинные волосы носить.

— Да ты что, дьячок, что ли? — сказал Гаврила Иванович.

— Все равно, не хочу волосы стричь.

— Ну, на какого барина бы попал... А то бы он тебя поучил плетью, — неожиданно сказал Гаврила Иванович.

— Какое же это право? — спросил Абраша в удивленье.

— Так неужто ты так в город поедешь, эдакий-то, в космах... Засмеют ведь.

— Не понимаешь ты, что я говорю... Права такого не должно быть! Понимаешь ты?

Гаврила Иванович смотрел на него и мигал.

— Вот если ты своим барышням, господам, обед не стготовил, — они велели тебя выдрать на конюшне, а то и продать... Продавали тогда крепостных-то, слышал? Право было, понимаешь?

— Как же не стготовлю. Пошто? — ответил Гаврила Иванович. — Я ведь повар. Вот когда хворал, то верно, — шибко хворал... Так они готовили и меня кормили, прямо вот из ручек своих, и лечили, доктора привезли. Я ведь вот вам — все пожарю, кушайте на здоровье... Я ведь повар. Чего же?

— Ничего не понимает! — горячился Абраша. — Слышал ты, продавали людей? Корову продают и человека продают — крепостного! Повара продадут!.. Ты ведь раб был! Понял?

— Да, да, верно. Чего ж еще?.. Вот на праздник, приход недалеча, пойдешь помолиться к Успенью, ну и помолишься: «Прости, Господи, раба грешного...» — и домой пойдешь. Радость, будто что свалилось... Вот радость!

— Вот ты и растолкуй ему! — с сердцем говорит Абраша.

— Ты чего серчаешь, Абрам Ефимыч? Полно... Ведь барышни-то, они эти, мои, покойницы-то, — они господа были... Понял? Господа-то тоже обормоты бывают. Только мои-то барышни — господа были, боле ничего...

Каждый вечер мой приятель Абраша Баранов затевал разговоры с Гаврилой Ивановичем. Однажды спросил Гаврилу Ивановича, рад ли он был свободе, когда пало крепостное право.

— И-и-и!.. — ответил Гаврила Иванович, — рады!.. все рады были... Барышни-то померли раньше, наши-то. Ну, приехали начальники, писали, писали, переписывали, два дня жили, я-то пироги пеку им, курей. Ну, вино пили... Давай еще! — «Нет больше...» Вот они меня как по зубам хватят: давай, более ничего. Ну, я убежал, на мельнице схоронился. Вот что, думаю...

— Невозможно! — перебил его Абраша, — ничего не понимает. Засели в нем эти барышни!.. Стар...

— Вот что, Абрам Ефимыч, ежели совести нету, то все одно — какое право ни заводи, одна чертова будет!.. — сказал дед, махнул рукой и ушел из комнаты.

Гусиная охота

Сентябрь. Дождливые дни. С утра все небо белое, ровное, будто смыто. И моросит мелкий дождик. Деревянная терраса дома моего — мокрая, потемневшая. На ней намело много желтых листьев с клена. Зеленые сосенки покрыты, как бисером, каплями дождя. Тихо, не кольхнет лист. Все дождь и дождь... Целый день.

Закутанная в большой платок, подобрав высоко платье, в мужских сапогах, вся промокшая, пришла тетенька Афросинья, с большой корзиной. Корзина полна грибов, груздей, рыжиков. Вынимает их на кухне, раскладывая на столе.

Приятель мой, Василий Сергеевич Кузнецов, умывается у крыльца. Ему мой слуга Ленька поливает из ковша воду на руки. Тот плескает воду себе в лицо. Лицо такое красное, сердитое, глаза желтые. Он серьезно смотрит на меня и кругом. Полотенцем, обшитым внизу красными петушками, вытирает лицо и шею и говорит:

— А у вас барометр показывает «ясно»... Хорошо «ясно» — третий день дождь лупит. Испорчен ваш барометр.

— Испорчен? Ты же сам все время стучишь по нему, да и доктор Иван Иванович...

— Стучим, стучим! Что ж он, стрелки не ворочает: дождь лупит третий день, а он все на «ясно» стоит...

— Вот, — говорит мой слуга Ленька. — Афросинья за грибами ходила, говорит, что у Никольского поля, у реки, гуси дикие сидят. И-их, сколько.

— У Никольского поля? — мгновенно загорелся Василий Сергеевич. — Это недалеко. Вот что... Довольно чаями заниматься, едем. Я возьму картечь, ваш художественный зонтик. Ступай, скажи, Ленька, Феоктисту, чтоб запрят телегу.

— Ванька, — обернулся Василий Сергеевич к доктору, — едем на Никольское поле... Ты зайдешь из-за лесу и гусей на меня погонишь. Понял? А я их картечью — «раз, раз...». Хорошо гуся — они теперь жирные.

— Ладно, — соглашается доктор, — едем. Только ты меня не ахни картечью. Горяч очень... Дурацкое-то дело — не хитрость...

Оба приятеля, сидя в телеге с большим моим художественным зонтиком, ехали на Никольское поле. Кузнецов, одетый в непромокаемую накидку, в большом зеленом картузе; доктор в тулупе, чтобы не промокнуть. Дождь лил не переставая.

— Ружье-то у тебя заряжено? — спрашивает доктор дорогой Кузнецова.

— Нет еще, надо зарядить.

— Не надо, погоди. Потом зарядишь.

— Когда потом, вон уж поле видно.

Выезжая из-за леса, Феоктист остановился и говорит:

— Эвона, глядите, гуси-то у речки на лугу ходют.

— Ну, — говорит Кузнецов доктору, — теперь заходи сбоку, от кустов, а я отсюда к ним полезу...

Доктор вышел из зарослей и, замахав руками, закричал. Гуси побежали по берегу и, растопырив крылья, летели на бегу, не поднимаясь от земли, прямо на Василия Сергеевича. «Раз-раз...» — раздались выстрелы. Гуси бросились в сторону, в реку, и, хлопая крыльями по воде, скрылись в зарослях камышей. Один гусь лежал на берегу убитый.

Василий Сергеевич торжественно привез гуся. Гусь был большой и белый. Странно только: у дикого гуся серые лапы, а у этого были желтые.

— Не домашний ли гусь? — спросил я.

— Бросьте ваши штучки! — ответил обиженно Кузнецов. — Я его влет — «раз-раз!»

— Положим, не влет, — сказал доктор Иван Иванович, — они бежали, я их пугал. А то бы...

— Ну, довольно. Домашние, домашние! А орал как — слышно, что дикие!..

— Я их как погнал, — не унимался доктор, — так они от меня ходу... Будь у меня, ну, что-нибудь, ну, хоть бы полено... я бы двух сшиб...

— Дикие, значит, — сказал Ленька, смеясь.

— А ты, чего еще? — сердится Василий Сергеевич, — что тут смешного? Знаете, вы так, Константин Алексеевич, Леньку распустили... во все лезет, где и не спрашивают! Это невозможно.

Жареный гусь с капустой был замечателен. Василий Сергеевич, одетый в рубашку, сам разрезал его, наточив большой нож, и всем раскладывал по тарелкам.

«Хорош гусь. Ну, и гусь. Эх, жирен!..» — говорили все.

— Чисто домашний... — сказал Ленька.

— Вот! — вскочив и бросив вилку, крикнул Василий Сергеевич. — Вот до чего распустили этого олуха!

— Откуда здесь домашний? — примирительно сказал сосед-лесничий. — Нешто только генеральши из Гарусова, да далече до Никольского луга — как они придут?

— Не сердчай, Василь Сергеич, — сказала тетка Афросинья. — А вот пошто у тебя лицо-то синим пошло?

— Верно, — говорю я, — уши что-то у тебя синие. Я думаю, озяб на охоте, промок от дождя.

Встав и посмотрев в зеркало, Василий Сергеевич сказал:

— Не понимаю... странно... Ванька! — обратился он к доктору, — что такое? Доктор Иван Иванович снял с шеи салфетку, подошел к Кузнецову, пощупал пульс, вынул из кармана часы и, жуя гуся, посмотрел ему в глаза:

— Пустяки. Пульс отличный...

Он опять сел за стол, налил настойки, выпил и сказал:

— А хорош гусь, надо сказать охотнику спасибо.

— Верно.

И все выпили, поздравляя Василия Сергеевича с полем.

— Лапы-то желтые и у диких, конечно, бывают... — вставил опять Ленька.

— Вот слышите: он опять!.. До чего обнаглел!

Василий Сергеевич вытер лицо салфеткой. Что за притча? Салфетка позеленела...

Он побледнел и, показывая салфетку, растерянно сказал доктору:

— Что ж это, Ваня? Что ж это такое, погляди?..

Доктор в изумлении посмотрел на салфетку, потом на Кузнецова, подвел его к окну, поглядел ему в лицо, пощупал пульс и посоветовал выпить стакан анисовой водки.

— Это оттого, что ты серчаешь, Василь Сергеич, — утешал Феоктист. — Пущай, ежели и домашний гусь. Ишь, всего съели! И слава Богу, и на здоровье. Чего серчать?..

— Дался им этот гусь! Домашний! Домашний! Вот этак в Москву приедешь, в кружок приедешь, каждый будет спрашивать: «Расскажи, как домашнего гуся убил...» Нет уж, извините, это не пройдет...

Он опять вытер салфеткой лицо.

— Что такое? — удивлялись все.

— Вот до чего вы доводите меня! — сказал Кузнецов.

— Да ведь это ничего, это картуз линяет... — равнодушно проговорил Ленька.

Принесли мокрый картуз; действительно — с картуза капали зеленые капли.

* * *

Наутро погода разгулялась. Из-за утренних туч светило солнце. Барометр верно показывал на «ясно».

В осеннем утре есть своеобразная бодрость. Хороши эти смены природы. Все так и надо: и ненастье с дождем, скукой, грязными дорогами, верстовыми столбами, и после стужи, дождя, теплый дом, — и как-то сильней дружба, рад человеку... Хороши смены природы русской...

— Барыня приехала из Гарусова, — войдя в комнату, сказал Ленька.

Вася поспешно схватился за свою охотничью куртку, доктор торопливо стал напивать сюртук. Я пошел в переднюю встретить приезжую.

* * *

Барыня из Гарусова была небольшого роста светлая блондинка, полная, с добродушным лицом. Она ласково сказала:

— Вот... простите... заехала к вам... думаю, заеду, хотя и не знакома — дальние мы соседи. Мы-то зимой в Ярославле живем, а по летам сюда приезжаем.

На руках у ней были кружевные митенки. Ручки пухлые, в кольцах.

— Вот слышала я, — продолжала она, садясь за стол, — что вы охотники хорошие, живете здесь. Я к вам насчет гусей своих.

Василий Сергеевич настоужился.

— Гуси у меня ушли по реке кверху по болоту... Там все чередой поросло, заросли... Их назад не пригонишь. Там и не пройти никому. «Как быть? — думаю. — Поеду, — думаю, — попрошу охотников, может, они их застрелят, так уж пополам поделим... половину мне и половину охотникам». Их десятка три есть. Гуси хорошие... До заморозков их и не найти. А тогда мужики поймают, перебьют...

— Позвольте, сударыня, — обиженно сказал Василий Сергеевич. — Бить домашних гусей, я лично на себя это взять не могу! Никак! Да-с. Они — это уж их дело. Как хотят, а я стреляю только диких...

— Вот как... я не подумала... я не хотела вас обидеть...

— Ну, хорошо, — смягчился Василий Сергеевич, — только для вас. Но дайте расписку: «Я, нижеподписавшаяся, поручаю застрелить своих гусей, и прочее и прочее».

— Домашних-то?.. — опять некстати сказал Ленька, — их просто... Их позвать: «Тега-тега-тега...» — ну, и стреляй!..

— Да уходи отсюда! — сердито заревел Василий Сергеевич. — Черт!

Долго писали расписку. Василий Сергеевич диктовал в соседней комнате. Слышно было: «Я, нижеподписавшаяся, вдова действительного статского...» Потом: «Загонщик, клинический врач, доктор медицины Московского университета...»

* * *

Наутро Василий Сергеевич приказал Феокисту запречь тарантас. Серьезно смотрел в большой бинокль.

— Диких бы не убить, — говорил доктор, — она не возьмет...

— Да, верно... — задумался Кузнецов.

Наконец, собрались с доктором и поехали.

А к вечеру вернулись мрачнее тучи. Нет гусей нигде...

Позвали охотника-крестьянина Герасима Дементьевича, тот говорит:

— Много гусей летит, выводки, должно быть, большие были. Только где их найдешь? Трудно ведь взять-то, они сторожкие, дикие, не подойдешь.

— А я дикого убил... — упрямо сказал Кузнецов.

* * *

Вечером прибежал Ленька, задыхаясь.

— Скорей, идите! Гуси, и-их много! Все у сарая, здесь недалеко сидят...

Наскоро собрались охотники, схватив ружья.

— В ответе бы не быть... — сказал Герасим.

— Что ты, вот расписка! — кричит Кузнецов. — Без дураков.

— Чудно... — смеется Герасим. — Никогда домашних бить-то не приходилось...

* * *

Из-за старого сарая, ползя по траве, охотники пробирались кустами на берегу реки. Раздались залпы выстрелов. Восемь гусей остались на месте, и у всех лапы желтые.

А через часок приехал верхом из Гарусова молодой человек, студент, племянник блондинки. Привез в подарок гуся и передал письмо:

— От тети.

Тетя писала, чтоб мы не беспокоились, так как гуси все, за исключением одного, вернулись домой.

— Теперь кто прав?! — торжествующе спросил Василий Сергеевич, прищурив один глаз. — Кто? Гуси-то дикие! А вы говорите — желтые лапы.

— Я это гляжу, — не ко времени вдруг прорвало опять Леньку, — вижу, они на реке-то далеко. Я их из-за сарая: «Тега-тега, тег-тега», — а они и подплыли...

— Слышите, что говорит? А? И откуда вы достали такого остолопа? Хорош слуга! — сердито вскричал Василий Сергеевич. — Всю охоту, всю радость жизни портит! Куда деваться от этого сукина сына?!

Герасим лукаво покосился на него и как бы про себя сказал:

— Чьих же это мы ухлопали?..

Семен-каторжник

Как грустна вечерняя заря осенью! Ровной далекой полоской стелется она над сжатым полем и замирает в темных ветвях оголенного сада.

Старый дед, сторож моего дома, сидит в уголке на полу и вяжет сеть. Лампа освещает его наклоненную седую голову. Когда я проходил мимо к двери, он окликнул меня:

— Куда ты, Лисеич, собрался с ружьем на ночь?

— Да вот, — говорю, — хочу к леснику пройти. А то что-то скучно дома одному.

— Одному-то скучно. Я вот — вяжешь сеть-то, и вспоминаешь то — это, и все не радость. Покойников вспомнишь, да что и не надо. Ежели бы знать, то и это не так выходило. Если б знамо вперед было, поворотил бы, другое было бы... Не дадено человеку знать, значит, вперед-то. А то бы...

— Верно, — говорю, — не дано. Пойдем, запирай дом. Пойдем со мной к леснику чай пить с медом.

— Пойдем, чего ж. Он человек вот что ни на есть твердый. Вино не пьет.

Заперев дверь дома на замок, мы пошли. Спускались к речке. На седых зарослях ольхи мелькала белым пятном собака моя, Феб, задумчиво отражалась заря в темной глубине реки...

Тихо горел огонек с краю леса в доме лесничего. У крыльца дома стояли двое крестьян и лесничий.

— Лисеич, здравствуй, — сказал мне приветливо лесник. — Дело какое! Я сейчас. Вот, лес воруют. А я отвечай.

Стоящие мужики молчали.

— Чего уж, вижу — да не гляжу. Так нет, днем, прямо на виду, пилят. Ну, и попали на самого. Что я теперь должон? Лесничий такой-сякой... Эх вы! Аккуратно надо. Знаю — нужда. Меня-то во что ставите? Скажет — помогаю. Что мне, жалко, что ли, леса? Да не велено. Понять надо. Я, что ль, не велю? Мой лес-то, что ль? Мой?.. Ну, пойдем, Лисеич. Им что ни говори — вот прямо, чисто дерево, молчат.

В большой горнице лесника горела лампа. За столом сидел кудлатый старик. Когда мы вошли, он взглянул на нас и встал. Это был высокого роста старик. Его большие карие глаза озабоченно посмотрели на нас.

— Сиди, Семен Тихоньч, — сказал лесничий. — Это, вот, сосед. С Анисимова. Свои люди. Рад, Лисеич, садись. Ставь самовар, — сказал лесничий жене. — Попьем чайку с медом. Ох, одолевают меня. Да нужда, лес крестьянину нужен. Что делать? Тащат...

Севший с краю стола кудлатый старик как-то озабоченно и робко посмотрел на лесника.

— Ничего, Семен, — сказал лесник. — Ты не робей. Это свой барин, охотник, — показал на меня лесничий. — Не бойся. Вот скажи-ка ему о жисти, что в жизни-то бывает.

Семен как-то особенно сжал руки на груди. Я, опустив голову, молчал. Какая-то особая, робкая, скорбь была в этом высоком и старом человеке. Что-то особо приятное, духовное, сразу приковало меня к нему непонятным чувством симпатии. «Какой особенный человек», — подумал я.

— Ну, пещерный житель, — смеясь, сказал лесничий, — попей чайку. Он вина тоже не пьет, что и я.

— Пещерный житель? Почему? — спрашиваю я. — Разве вы в пещере живете?

— Да, барин, — ответил старик. — Пожалуй, что и так. Вроде что пещерным выхожу. Живу в лесу здесь недалече, под бугром, к речке. Меня не найти нипочем. Так вход в логово себе сделал в земле. Но вот приходит время пропадать: зима скоро, замерзнешь. А то бы...

— А вы что ж, хоронитесь от кого? — спросил я прямо.

— Хоронюсь, верно то! Так что хоронюсь, — ответил он и прямо и пристально посмотрел мне в глаза. — От людей хоронюсь! Людей боюсь боле всего. Страшен, вот страшен человек мне. Нет ничего страшнее человека.

— Есть ведь люди и неплохие, — сказал я. — Вот я как-то не боюсь людей.

— Верно, есть, хорошие есть люди. Но им до тебя нет заботы, дела до тебя нет, пропадай — им все одно. Верно, есть разные, но мне страшен человек, люди страшны. Я от них хоронюсь. Одному лучше. Барин, как на свете-то, на земле жить как хорошо. Ведь это что! Солнце светит, радость какая. Хоть вот небо взять поутру, глядеть на него. Ведь это что! Река хоша! А лес? Эх, и радость глядеть. А люди? Ух, беда. Все горе, везде горе, злоба. А ведь людям-то свобода от Бога дана. Живи, как хошь, — почто он злобу любит? Вот скажи, зачем?

— Обидели тебя сильно, знать... — сказал я.

— Люди-то. Они только и знают друг дружку обижать. Первое это дело у их. Барин, я ведь на каторге был шестнадцать лет. И вот в июле этот год вернулся сюда, на родину, значит. Ну, и никого нету... Померли и жена, и двое детев. Все взяли, говорят — чего пришел, каторжник. Он вот знает, — показал он на лесничего, — гонят, уходи, боле ничего. Да я бы и сам не остался, неохота мне с людьми боле жить, жутко, страшно. Когда без них, один, — лучше.

— Шестнадцать лет, — говорю я. — За что же? Значит, было преступление?

— То-то, что не было. Суд был — нет ничего страшнее суда человеческого, а Божьего — не знаем. Тот, может, еще страшнее... Только за что ж он, Господь, человекам дал эдакий рай, зелень, солнце, краску такую? Знать, он — Бог-то, добрей людей.

— Судили-то, значит, тебя за что ж, в каторгу-то?

— Топор... — ответил Семен. — Я плотничал. Ну, у попа в Заозерье — погост там — сарай рубил, значит — сруб. Ну, кто-то, злодей, значит, и убил в те поры

псаломщикову жену и выкрал одежину. Обворовали, значит, топором убили. А топор — мой. Ну, сидел в остроге до-о-олго... Суд потом. На суде барин в белой жилетке, в мундире, говорил, говорил. «Не сознается, — говорит про меня, — это, значит, самый злодей», — говорит. Ну, суд идет. Говорят, говорят, то и ето, сознавайся. Я говорю ему: «Барин, чего вы на меня наговорили, я не убивца, зря на меня наговариваете, барин». Ну, вышли все потом, присяжные, завсегдатаи, али заседатели, сказали — виноват, убивца, значит, я. Так вышло. Ну и увели меня опять в острог, в кандалы, и шабаш. Гоняли, возили и далеко угнали, в Сибирь, на конец света прямо. Народ там, верно, и-и страшон, злодеи... Я им говорю: «Я не убивца, не убивал», — а они смеются, и ну меня бить. И что только говорят: «Не наш, — говорят, — ты — сволочь. Шпана ты, жулик». Ну что говорить: начальство тоже невзлюбило меня. Тяжкая жисть...

— Ну и что, отбыл наказание?

— Нет. Меня на двадцать годов осудили и навечно там оставаться. Только этот самый работник псаломщиков, что неподалеку-то жил в деревне Гнезды, тамошний он, захворал. Так, значит, совесть, что ли, его заела, только пришел в город к начальству и все, как есть, рассказал, как это он убил псаломщицу, да и доказал, значит, — кольцо с руки ее принес, да и крест, что снял. Ну, псаломщик признал. Суд был...

Помолчав, он продолжал:

— Ну, меня, значит, в город в кандалах вели. Долго опять в тюрме был. Кандалы сняли. Бумагу прочли мне — довольно, значит, мучить меня. Опять отправили дальше, и там мне бумагу дали — значит, ступай куда хочешь, ай оставайся. Денег дали — двадцать шесть рублей на дорогу. Ну, я и пешком шел, и ехал, и опять что вышло. Присел это я на дороге со своим попутчиком. Прихватили меня, значит, кто ехали на тройке. Зима, холодно. Тем-то холодно, уж, стужа, Сибирь...

Помолчав, он отхлебнул чай с блюдца:

— Вот люди, значит, попутчики. Еду я. Поглядели мою бумагу и остановились, и схватили меня за руки, и другие шарют всего, а ямщик смеется. Деньги отняли, бумагу тоже, меня из саней выбросили и айда, уехали. Вот. Вот что люди.

— Ну, как же ты теперь не работаешь, живешь в лесу, в пещере?

— Да. Да ведь вот, бумагу, значит, отняли. Опять сидел почитай год. Уже новую получил бумагу. Весной получил. Уж легче пробираться было. Шел, кору ел, траву. Иду и иду. Пришел. Теперь вот тут не трогают. Бумагу берегу. Начальство тутошное знает, жалеет... Но я не кажусь... От людей-то хоронюсь...

— А лет-то тебе сколько? — спросил я.

— Лет-то? Вот только стар я кажусь, а мне сорок семь годов. Работать, говоришь, да? — помолчав, сказал он, — работать как же?.. Опять чего бы не вышло от людей. Боюсь людей.

— Да почему же? — говорю я.

— Эх, барин, это вот вышло. А все-таки люди друг дружке горя хотят... отнять хотят, завиствуют, никого не жалеют. Твое, мое, отдашь — не отдашь... Нет, неохота с людьми мне быть больше. Куда деться, зима наступает, хочу берлогу вырыть. Залезть в ее. Может, как и перебыюсь... А с людьми — нет, досыта спознался... Будя...

Как-то зимой приехал я к лесничему. Я спросил лесника, куда девался Семен. Лесничий пристально посмотрел на меня, сказал:

— А чуден Семен. Много правды в нем есть. Вот что, дай слово, Лисеич, не говори никому... Пристроил я его тут, у себя. Только он под полом, у печки, поместился. Живет там, людей чтоб мене видеть. Ну и ходит на реку — где подале. Рыбу — пробьет прорубку — и ловит... Ну, и живет.

— Позови его, — говорю я леснику.

— Нет, не надо, он очень просил. Неохота ему людев видеть, надо уважить. Пускай. Такой уж уродился...

— Ну, а в церковь он ходит когда? — спросил я.

— Нет, не ходит. Бог, говорит, есть, только знать про него не дадено людям...

Охотники

Поздняя осень, теплится камин. В окнах моей деревенской мастерской темная ночь, хотя всего только восемь часов. За большим столом сидят мои приятели-охотники.

Василий Сергеевич Кузнецов изредка попивает чай. На столе патроны для ружья. Он высыпает мелкую дробь и набивает патроны крупной дробью, так как осенью дичь крупней. Настроение у него такое серьезное, лицо красное. Это человек богатырского роста; одет он в фуфайку профессора Егера.

Утром на охоте с ним вышел случай: убил на перелете утку, вот просто утку, а нос у нее — куриный, и рассердился ужасно. Говорил мне, что у меня здесь всегда такие истории выходят. Показывал утку охотнику-крестьянину Герасиму, тот сказал: «Такие бывают редко, я сам бивал таких-то... Прямо утка-кряква, а нос куриный, и жарить не стоит, потому рыбой пахнет».

Напротив него сидит за столом другой мой приятель, Николай Васильевич Курин, сочинитель и критик. Худой, бледный, лицо такое испуганное, так серьезно смотрит в пенсне черными глазками. Говорит важно так, медленно и тоже расстроен: получил письмо в Москве: «Дорогой, милый, приеду в среду, сожгу поцелуями, помнишь ли ресторан “Петергоф”? *Твоя Крошка*». От кого письмо — не знает, и никакую крошку не помнит. Но все же решил лучше уехать на среду. Приехал ко мне.

Третий, сидящий за столом, — охотник-крестьянин Герасим Дементьевич Тараканов, умный мужик. Карие глаза его смеются.

— Это бывает, — говорит Николай Васильевич, — это помесь утки с курицей. Ее бы не жарить тебе; я ее бы отвез в музей естественных наук. Это открытие назвали бы твоим именем, слава была бы.

— Не одна же эта утка, есть еще такие. Вот Герасим говорит, что он бивал тоже, — замечает Кузнецов.

— Я-то знаю, брат, естественную историю, на зубок знаю. Не слышал что-то, не читал нигде про таких уток.

— А ты что куришь? — перебивает Василий Сергеевич, — тут патроны, а ты куришь...

— Что ж, ты дробь насыпаешь, не порох... — и Коля встает из-за стола и обиженно уходит из комнаты.

— Картечь тоже нужна, — заявляет Василий Сергеевич. — В прошлом году здесь, в Красном Яре, на самой макушке сосны глухарь сидел. Я бы его картечью сшиб, а у меня бекасинник...

— Картечь обязательно, — соглашается Герасим, — и пулю надоть. Сейчас лоси есть, на лося напороться можно. Его картечью не возьмешь...

— Пули Павел завтра привезет.

Приоткрылась дверь; вошли Коля и сторож дома моего, дедушка.

— Я вышел на крыльцо, — сообщил Коля, — ночь, зги не видать. Темно. А там в лесу кто-то как свистнет.

— Да, — подтвердил дедушка, — кто-то есть.

— Ночь воробьиная, — сказал Герасим, — заплутал, знать, кто. Я пойду послушаю.

— Пойдем все! — встав, забеспокоился Василий Сергеевич и, одевшись, захватил ружье.

Вышли на крыльцо, тихо в ночи. Вдруг неподалеку во тьме кто-то сказал: «Иди...» «Иди-и-и, иди-и-и» — протяжно пронесся голос в другом месте, и слышались шаги.

— Кто идет? — строго крикнул Василий Сергеевич.

Никто не ответил, опять тишина.

— Это какие-нибудь голубчики тут у нас... — прошептал мне тихо Василий Сергеевич.

— Знать, заплутал кто... — заметил Герасим.

— Иди скорей! — сказал голос ближе.

— Кто тут шляется? — крикнул Василий Сергеевич, но никто не отвечал.

Долго ждали. Тишина. Мы все пошли назад в дом. Дедушка запер дверь на крючок, помотав головой. Только мы вошли назад в дом, услышали: в дверь, которую запер сторож, кто-то постучал. Собака моя, пойнтер, залаяла. Мы вернулись опять к двери. Василий Сергеевич спросил:

— Кто тут? — но никто не ответил. Открыли дверь — никого... Из темной ночи голос сказал:

— Чего, ничего не видать, куда зашли...

— Подходи! — позвал Герасим.

— Чего это тут будет?.. — подходя к двери, сказал высокий парень с круглым лицом, а с ним сзади другой — худой, повязанный на шее туго красным шарфом. — Заплутали, это што... не видать прямо, вот...

— Заходи! — звал Герасим. — Откелева вы?

— Мы-то, да мы печники из Рязанцева. Беда... еще как сумерело, по дороге идем, глядим. К горе, видать, на повороте, вот два волчина сидят, и-их здоровы. Мы назад. А они забежали, значит, да опять впереди бегут. Мы от их к лесу, к реке, да на елку от них залезли. Видим — они через поле в моховое болото ушли. Сидим мы на елке-то, а темно уж, видим — вдали огонек светит, это у вас, знать. Ну, мы, Господи, помилуй, ходу... А на тебе... темно прямо вот до чего... Ну и заплутались...

— Идите, идите сюда. Где вы волков-то видели? — обрадовался Василий Сергеевич.

— Да недалече. По реке ежели, тут канавка, где мостик на ей, верста, не боле.

— Вот видите... а вы говорите... Волки-то где — здесь близко. Надо еще картечью патроны набить, — беспокоился Василий Сергеевич.

— В такую ночь попробуй-ка, выйди тут... сожрут нипочем... — как-то обиженно сказал Коля Курин. — Жить здесь тоже не очень удобно...

— Чего, Миколай Васильевич, боишься, чего в тебе есть им... ишь худой какой... Это от Василь Сергеича съедят... — говорил, смеясь, Герасим.

— Поди, вот ночью, тебя, Вася, обязательно съедят... — сказал я.

— Вот вы все шутите. Погодите — дошутитесь... — волновался Вася.

— А велики волки? — интересовался Герасим.

— И-и-и... велики. Во! — показал печник, — лохматые...

— Это тогда медведи... — сказал Коля.

— А кто их знает, может, и ведмеди... — согласились печники. — Нешто узнаешь... они сидят. А когда побежали — далеко, не видать. Может, и ведмеди...

— Это недурно... — заметил озабоченно Василий Сергеевич.

— Медведи в Остеее есть. Это недалече. Как не быть, место лесное. За Рязанцевом есть тоже, — сказал Герасим.

— Хороши штучки рассказывают. А вы изволите помалкивать, — сказал, поглядев на меня, Василий Сергеевич.

— Как же, Вася, — оправдывался я, — здесь всё есть: лоси, рыси, всё. Волки, медведи, выдры, вепри...

— Походи-ка вот ночью — сожрут... — сказал серьезно Коля.

Герасим засмеялся.

— Смейтесь... досмеетесь... Эти штучки ваши... Неизвестно, что это, волки были или медведи. Чего ты смеешься, Герасим? А они не знают.

— Так чего ж, нешто узнаешь, мы печники... Видать, что зверь, — ворочается, лапы толстые, морда — вот что боров...

— Это медведи. Да, медведи... — беспокоился Кузнецов, надо облаву сделать. Рогатины нет.

— Вот что, Василь Сергеич, завтра поране пойдем с печниками, поглядим след, — утешал Герасим. — Видать сразу будет — кто, что.

— Правильно, — согласились все.

— Ну и место тут у вас, — закрыв глаза, неожиданно рассмеялся Василий Сергеевич. — Каждый раз что-нибудь выйдет... Что такое? Звери, а то черти, видения, лесовые, дворовые, водяной... И каждый раз, как к вам ни приедешь, — всегда это... Что такое?..

* * *

Рано утром приехал Павел Александрович Сучков. Все радостно встретили приятеля. Помогая ему выйти из тарантаса, Василий Сергеевич говорил ему:

— Павел, вот здесь, вот за елками, на дороге два медведя...

— Брось, довольно. Здравствуй. Смотри, мороз, все бело. Ну, как вы здесь?

— Отлично, — говорю я. — Вася вчера на перелете утку убил — помесь с курицей, нос куриный. Вот странно...

— Довольно. Прошу, довольно. Бросьте...

— Нет, правда, — сказал Коля Курин, — помесь.

— Ну, позвольте, позвольте, вы уже университет кончили, и какой вздор, пошло-сти... Довольно...

Видимо, Павел Александрович был рад приезду. День солнечный. По бревнам стены бодро играет утренним светом солнце. Самовар шипит, на столе тетенька Афросинья ставит мед, лепешки, варенье, оладьи. Как хорошо жить на земле!

За чаем Коля не унимался и обиженно заявил:

— Я никаких пошлостей не говорю. Он сдуру зажарил ее, курицу-то эту. Это редкий экземпляр для науки — помесь такая...

— Это верно, Павел, — говорю я. — Вася вчера убил утку, ну вот как кряковая утка. А нос куриный...

— Понимаешь, два медведя, вот спроси Герасима, тут вот, на дороге, вместе сидели и ушли в болото моховое. Слышишь? — говорил Кузнецов.

Павел Александрович молчал, ел оладьи и равнодушно смотрел на всех. Потом, как бы очнувшись, сказал:

— Да чуть не забыл... Вот вам, Николай Васильевич, письмо от супруги вашей. Мне перед отъездом принесли...

Коля испуганно взял письмо и отошел к окну. Прочитав, взял себя за голову и провопил в отчаянии: «Боже мой, Боже мой... вот не угодно ли...» — читал: «Немедленно потрудись сообщить, кто такая эта особа “Крошка”».

— Анфиса пишет... Понимаешь? — говорит Коля, глядя на нас.

— Так отвечай жене — кто она.

— Я же не знаю...

— Не волнуйтесь, — успокаивал Павел Александрович, — она вас... эта крошка... спутала. Это бывает. Со мной бывало не раз.

— Вот что, — заметил Герасим, — надо поторопиться, а то следы замнут. Сейчас по дрова ездют.

— Какие следы? — поинтересовался Павел Александрович.

— Да вот, говорят — не то волчьи, не то медвежьи — верней. Вчера видали — вот тут, недалеко.

— Это все твои штучки... — сказал мне Павел Александрович.

— Эх, Павел Александрович, чего вы, не верите... А в жисти всяк бывает, чего и не ждешь...

Италия

Обернутый в плащ, с надвинутой на лицо шляпой, ночью пробирается герцог Козимо Медичи по узким улицам Флоренции на Пиацца делла Синиория, чтобы спрятаться в тайник пьедестала, над которым возвышается закрытая чехлом статуя Бенвенуто Челлини «Персей».

Рано собирается народ на площади. Согнувшись, сидит герцог, дожидается — что скажет толпа о создании его любимого мастера. «Я узнаю, как он думает, как чувствует народ. Поймет ли он, — беспокоится герцог, — величие духа моего Бенвенуто?»

Волновался герцог, вероятно, более самого Бенвенуто, которого не было на площади.

«А если не поймут?.. — думал герцог, и гневом наполнялась душа аристократа. — Но я поверну его. Санта Синьориа¹, Матерь... молюсь — пошли народу сознание красоты, дай им, моим флорентинцам, подняться из убожества духа, дай им постигнуть высоту искусства».

Долго сидит герцог, переставляя удобнее согнутые ноги. Утренний холод пробегает по спине.

* * *

Тихо шепчутся слуги во дворце: кто та донна, кто любовница, к которой ушел герцог? А может быть, он ушел молиться, а может быть — ночное свидание с генуэзскими друзьями? Пуста постель герцога.

Бодро осветило солнце Пьяцца делла Синьориа. Народ толпится. Торжественно протрубили трубы, и спала завеса: изящную бронзу Бенвенуто осветило солнце. Вставив в уши рупоры, герцог сказал про себя: «Вените адоремус»², — и слышит: ахнула площадь криками восторга... И герцог, держа рупоры у ушей, почувствовал, что у него из глаз льются слезы несказанной радости и счастья, и губы шепчут: «Народ... народ мой... народ, я рад, я рад...»

Чувствует, что его сзади кто-то толкнул. В темноте тайника он протянул руку: собака, его собака, нашла его и залезла к хозяину. Он в радости гладит ее, целует морду и говорит:

— Элла, народ понял, слышишь, Элла, я счастлив. Народ мой вырос, да, высоко, он понял Бенвенуто, он будет господин, как я... Я хочу, чтоб он был, как я... Я подниму его до понимания жизни и красоты.

И слышит герцог, как восторгается народ, и шумит Пьяцца делла Синьориа. И льются слезы у герцога. Верный пес лизнул лицо хозяина. А герцог все слушает и придерживает руками рупор, и слышит он — говорит женщина близко:

— Бенвенуто, за твое создание я бы пошла за тобой всюду, отдала бы тебе себя...

Знакомый голос... дрогнул герцог.

— Грацие!³ — крикнул он громко.

— Ай! — услышал герцог. — Донна упала в обморок...

— Грацие, Грацие! — кричала около толпа. — Персей сказал: «Грацие»... Колдовство... Грех... Святую воду, скорей, святую воду!

Герцог вылез из тайника и, встав, крикнул народу:

— Это я сказал «грацие» — вам и ей. Донна сказала, что за создание красоты она пойдет за Бенвенуто, чтобы согреть его энергию.

И он обнял стоявших около литейщиков и рабочих.

И народ, подняв герцога на руки, понес его во дворец.

— Я самый счастливый человек в мире, — говорит Козимо Медичи.

* * *

Но где же создатель «Персея», где сварливый Бенвенуто Челлини? В жалкой остерии⁴ у Арно, на краю города, Бенвенуто Челлини сидел с трактирщиком и какой-то девчонкой. Он не пошел на праздник своей славы; много было врагов у Бенвенуто.

¹ От *ит.* Santa Sinioria — Святая Госпожа.

² От *лат.* «Venite adoremus» — «Приходите, да будем поклоняться».

³ От *ит.* grazie — спасибо.

⁴ От *ит.* osteria — трактир, харчевня.

— Сакраменто!¹ — сказал Бенвенуто. — Узнали кинжал. По ручке узнали мою работу. Тюрьма... Я бы и поныне сидел: солонка помогла. Как я показал солонку Папе Павлу — загорелись глаза у старика, задрожал. Я отдал солонку ему — он меня и выпустил. О, если б я был сын Зевса и Данаи, я бы испепелил негодяев, врагов моих, головой Медузы.

* * *

— Фиренце — пронти!² — крикнул кондуктор у вокзала Флоренции.

Была ночь. Носильщик вынес мои чемоданы. Еду. Редкими фонарями освещается дорога. Тихая ночь. Светится дорога, покрытая белыми квадратными камнями. Еду узкими улицами города, мимо дворцов Медичи. Ночь, никого на улице. Останавливаюсь у дверей гостиницы. Портье несет мой чемодан в комнату. Я — один. В окно видны — широкий уличный фонарь и узкая длинная улица. Италия... Флоренция... Какая-то особая красота новизны, неизвестности. На окнах пунцовые портьеры. Я раздеваюсь.

Час ночи. Не могу заснуть. Опять одеваюсь и ухожу. Портье пропускает меня. Смотрит вслед. Куда — думает — уходит ночью молодой иностранец?

Выхожу. Улица. Ни души. Иду. Тихо шумит вода. Бронзовый кабан пускает из пасти воду; огромные здания: ровные, высокие, окна в железных решетках; выступающие нетесаные камни; линии необычайной красоты и благородства.

Вверху дворца светится окно; там виден плафон, в темных красках, блестит позолота. Над ровной крышей — темное, глубокое небо Италии, сверкают далекие звезды.

Площадь. И в арках Лоджии, наклоня голову, стоит молчаливо Персей и держит отрубленную голову Медузы. Пьяцца делла Синьория. А за горой Фиезоли светит месяц, бросая таинственно лучи по краям зданий красавицы Фиренце. Шлем и лицо Персея осветил месяц, и оно казалось мне среди теней окружающих зданий дивным видением красоты.

— Кто был ты, правитель города, как мог постигнуть талант создателя и дать ему возможность свершить подвиг его? Какой тайной души ты верил, любил артиста?

Мимо проходил полицейский. Посмотрев на меня, он говорит:

— Прекрасное создание.

И показывает на «Персея».

— Да, синьор.

— Неплохой ювелир... Доброй ночи, синьор...

И проходит мимо.

* * *

— Бенвенуто, — говорит девчонка в остерии, наливая из кувшина вино, — ты же убил, убил человека, и тебе не жалко?

— Нет, — отвечает Бенвенуто, — мне жаль? Нет. Я убил низменную тварь, наемного убийцу, убийцу за деньги. Нет, мне не жаль. Ты не смей мне говорить, что жаль убить такую тварь. Нет, ты не понимаешь, где истина, мавериамиа³.

¹ От *ит.* Sacramento! — Проклятие!

² От *ит.* Firenze — prontil! — Флоренция — на выход!

³ Правильно: *ma verita mia* — но правда за мной (*ит.*).

— Слышишь, Бенвенуто, не шуми! — сказал, вернувшись, хозяин остерии. — Уходи скорей. Сейчас прошли монахи святого Иннокентия. Говорят: статуя твоя — дьявол. Она сказала — все слышали — сказала народу: «Грацие»... Вот они донесут папе, тогда ты узнаешь...

* * *

— Я был в восторге, — говорил Козимо Медичи прекрасной донне, когда вы сказали, что пойдете за Бенвенуто, за его созданием, что готовы принадлежать ему. Это нескромно, донна. Опасайтесь, артисты капризны...

Гордая донна, покраснев, ответила:

— Я не думаю, чтобы у Бенвенуто не было вкуса...

* * *

— Бенвенуто, странно мне, — говорил Козимо Медичи, — что ты не был на площади Синьории в день твоего торжества. Что с тобой?

— Много врагов... Я не Персей. Я бы их испепелил головой Медузы. Я не был там.

— Бенвенуто, но там была донна Беатриче, она выражала восхищение твоим созданием...

— Я знаю. У нее такая хорошенькая горничная...

И Бенвенуто расхохотался.

* * *

Прошли века, времена изменились. Художники понимали, что свобода — в них самих, что она самое ценное для вдохновения. И вельможи прежних, забытых времен, не поучали художника — им даже в голову не приходило того, они были его духовными друзьями. Изменились вельможи, изменились художники...

* * *

Дивной сказкой казалась мне Италия. И красавица Флоренция, палаццо Медичи, Микеланджело.

Таинственная Венеция. Ночь. Сажусь в черную гондолу у качающейся воды канала. В удивлении смотрю на высокого гондольера, как, стоя, нагибается он над веслом. На повороте темного канала он говорит:

— Оээ... берегись...

Соседняя гондола тихо проходит мимо нас. Площадь Святого Марка.

Комната гостиницы, из которой мне видна большая стена, розоватая, огромного Дворца дождей. Я пошел по площади Святого Марка. «Прежний мир, — думаю я, — великие, прекрасные тени...»

Вернувшись в отель, у фонаря, при входе, я услышал:

— Константино...

Передо мной стоял в плаще человек. Он бросил через плечо назад сигару.

— Мазини!

— Послезавтра приедет Мамонтов, — сказал он. — Свидание здесь.

— Да. Я получил телеграмму.

— Буду петь в Москве. Я люблю Москву. Пойдем, Константино, в ресторан. Там есть старик — он поет старые песни.

Старик сидел у окна небольшого ресторана и рассеянно смотрел в окно на лагуну, где черные гондолы рядами стояли у берега. В руках у него была гитара. Лунный свет освещал край окна.

Сев за стол, Мазини приказал подать вино, сыр и фрукты.

— Садись, Джованни, — пригласил Мазини старика.

И, обратившись ко мне, сказал:

— Он поет, как тогда пели — давно. Послушай!

— Бэлла, бэлла, соррентина¹... — запел старик слабым голосом. В нем было что-то особенное, непохожее на других певцов.

— Не то... — сказал Мазини, — дай гитару... — Мазини пел со стариком что-то совсем другое, что я никогда не слышал.

— Мой учитель Рубини знал, как пели прежде. Ты знаешь, Константино, я тоже пел на улице. Твой Мамонтов — это синьор, он понимает искусство...

В звуках дивного голоса Мазини, в его карих глазах, в его лице было что-то общее — и с ночью Италии, и с черными гондолами, и с этими дворцами Венеции и Ватикана.

Еретики

Помню осень, когда строилась Архангельская железная дорога. Посмотрев однажды на разложенные на столе в доме С.И. Мамонтова большие картины Архангельской губернии, я увидел большие пространства тундры и кое-где густо настрихованные оазисы — жилища человека.

— Здесь, вероятно, никого никогда не бывало? — спросил я у Саввы Ивановича.

— Да, вряд ли, — ответил мне Савва Иванович, смеясь. — Это те места, которые называются «куда Макар телят не гоняет...».

— Вот бы я хотел туда поехать! — сказал я. — Посмотреть — что это такое. Вот тут церковка, крестик — селение, интересно должно быть. Талмыга называется.

— А скажите Чоколову (инженер, строивший дорогу), он вам устроит поездку.

Придя вечером домой, на Долгоруковскую улицу, в свою мастерскую, я решил поеду туда. Железная дорога до Вологды, а оттуда по времянке или рекой доберусь. Интересно...

Ночью я записывал — что с собой взять: фонарь, удочки, ружье, пули, меховую куртку, аптечку, шкатулку с красками, холсты... Наутро покупал что нужно в дорогу. Звал приятелей ехать со мной, но никто не едет. Встретил случайно в «Эрмитаже» за обедом Павла Сучкова.

— Едем, — говорю, — Павел Александрович, на Север.

Он серьезно слушает меня, строго. Я, уговаривая его, даже сказал, что туда теперь, к осени, и белые медведи заходят.

— Довольно, — возмутился Павел Александрович. — Всегда это у тебя — вздор, ерунда.

¹ От *ит.* «Bella, bella sorrentina...» — «Прекрасная, прекрасная соррентинка...».

— Ну, олени есть. Может быть, и черно-бурые лисицы, песцы, соболи, бобры, медведи бурые...

— Едем! — вдруг согласился Павел, — только брось вздор. Я беру штуцер, три бутылки рому. Запиши еще...

Павел Александрович смотрел кверху и думал — что взять туда, в тундру.

— Запиши: коньяк, подзорную трубу.

— Зачем?

— Оставь. Пиши: ацетиленовый фонарь, соль — два пуда.

— Ну, соль-то там найдем, — говорю я. — Зачем два пуда?

— Оставь. Необходимо. Солить мясо оленей, рыбу.

На другой день Павел Александрович привез ко мне в мастерскую на Долгоруковскую кульки. Там были все больше бутылки, ацетиленовый фонарь, капканы, консервы, пустой бочонок и клетка.

— К чему бочонок, к чему клетка? — спросил я.

— Оставь. Ничего не понимаешь... Бочонок — для рыбы. А клетка — там узнаешь... Погоди.

Охотник был Павел Александрович; он все хотел поймать какую-нибудь невиданную зверюгу.

* * *

Приехав в Вологду, остановились в гостинице «Золотой якорь». Дождь лупит целый день.

Павел Александрович разговорился с буфетчиком — хозяином гостиницы — и с инженером Свентицким, который ехал тоже на «временку», на Архангельскую дорогу. Тот ему сказал, что до Талмыги уже проложен путь и идет поезд в два вагона. Но только нам одним не дойти от железной дороги к селению — тайга, леса непроходимые. Можно заблудиться.

— Надо проводника взять знающего, а то погибнете...

К вечеру, за обедом, образовалось много знакомых у Павла Александровича. Кулек с ромом и коньяком — опустел. Надо было забирать новый. За обедом была чудная уха из нельмы и хариусов, которых много в реках у Вологды. Один охотник уговаривал нас остаться здесь и ехать на Кубино озеро — стрелять гусей, лебедей. Уже начался перелет. Но мы наутро поехали с инженером Свентицким дальше.

Новые небольшие вагоны узкоколейной железной дороги. Проехали постройки станции; они, как новые игрушки, из светлого дерева, но людей нет. Только стекльщики вставляют стекла в окна. Из вагона видны пожелтевшие деревья — темной стеной стоят еловые леса. Вот и бесконечное море далей, мелкий лесок стелется паутиной по желтоватому мху. Это — тундра. Большие темные пятна озер — огромные... И опять тундра...

— Да-а-а... недурно... — сказал Павел Александрович, глядя в окно, — ровно...

— Тут не пройдешь, никто не пройдет, потому — здесь чарусы, а они — бездонные. Провалишься, и потом нет вас навсегда. У нас при постройке насыпей, когда возили карьер, пропали и лошади, и телеги, и люди... — сказал инженер Свентицкий. — Тут еще и реки есть подземные...

Проехав целую ночь, к утру остановились у станции. Инженер сказал нам:

— Здесь нужно вылезать, отсюда близко до места, которое вы ищете.

На станции мы узнали, что тут живет доктор, находящийся при постройке дороги. Милейший человек, как все русские доктора. И притом — охотник. Остановились у него. Он был так рад нам, но селения — Талмыга — не знал. Очень заинтересовался, посмотрел на карту и сказал:

— Ну как туда пройти? Есть ли тропы? А то лес, топь...

За обедом была уха, жареный глухарь, который назывался там кукура.

Доктор узнал, что есть один здесь рабочий из села Няндомы, поблизости. Послал за ним. Пришел такой особенный человек, говорит скороговорочкой — не все поймешь. Сказал — пройти туда трудно, но можно. Но живут там еретики, народ другой веры, и он не бывал там.

— А как же там церковь на карте показана? — спрашиваю.

— Мало что церковь. Только говорят — еретики. И кто их знает, народ такой — мяса не едят и рыбу тоже, зверя не мают, скотину не бьют. Спрошу, как тропу найти, попытаю узнать.

Человек этот водки не пил, не курил и есть с нами за стол не сел. Когда он ушел, инженер сказал нам:

— Здесь всё секты разные, староверы.

Наутро пришли двое проводников. Долго мы шли с ними по рельсам дороги и свернули с насыпи в лес.

— Вот, — говорят, — тропа.

Я смотрел и никакой тропы не видел. Лес еловый, тонкий, высокий, ели частые, с оголенными ветвями в белом мху. Идти трудно — ноги проваливаются. Тысячелетия падал лес и рос опять. Никто его не рубил. Медленно шли мы за проводниками, у которых сзади за кушаками было заткнуто по топору. Открылась полянка, и я увидел озеро в лесу. Тут же, сбоку, треща крыльями, вылетели глухари и сели на ели. Доктор и Павел Сучков выстрелили. С озера поднялись стаи уток. Я тоже выстрелил — утка упала в воду. И около охотники стреляли подряд.

— Ишь, прямо вот не сидячего сшиб! — сказал проводник мне.

— А почто у вас топоры? — спросил я.

— Колун нужен. Ежели запугаешь — ну, теплину задуть али еретика встретишь...

— Какого еретика? — удивился я.

— Да белошея... Их тут штб...

— Какого белошея?..

— Медведя... Он хоша и не захамит, а все ж, бывает, ползет...

Собрали дичи полный ягдташ. Но только что отошли от озера, как опять залетали тетерева.

От озера была тропа, а через речку — что-то похожее даже на мост. Показался лужок с высокой травой, потом опять лес. Мы шли и шли...

Вышли на дорогу пошире. Лес был реже в луговинах, и место пошло в гору. На горке, среди островов, зеленели высокие ели. Показались постройки — большие деревенские дома.

Старая деревянная большая часовня; внутри иконы, деревянный крест. Среди часовни — колодец, с чистой, как кристалл, водой. Лавки по стенам и деревянные ведра.

— Пойдем в новый дом, — сказали проводники. — Слышь, только — курить нельзя, а то прогонют.

Поднялись по лестнице на второй этаж дома, где окна были высоко. Вошли в широкий коридор. Из двери вышла женщина и, увидав нас, ушла быстро в кладовку. Отворив дверь, мы вошли в большую чистую горницу. Пол покрыт цветными циновками. Высокий, в белой рубахе, крестьянин, расчесанный на пробор, встал, взял рукой себя за длинную черную бороду и молча смотрел на нас.

— Вот с машины пришли, — сказал проводник, — про кукуры ладились. Чаю ищем, где испить.

— Чаю не-не... Тут — не. Пойдем — покажу. Мы не пьем траву, нету. Пойдем суды. У земельца есть посуда. Чаю не пьем...

И он, взяв шапку и накинув кацавею на плечи, повел нас задами домов. Взошел с нами в небольшую избу. В избе печь. За столом сидели трое крестьян и пили горячий настой. Пахло мятой. Оказалось — пьют мяту. В избе на веревочке висела сухая трава. На полках — пузырьки с настойкой.

Высокого роста, русый, как оказалось, хозяин встал и сказал нам с поклоном:

— Спаси Бог. Добро. Честь гостям. Садитесь.

Он поставил к столу лавку, достал чашки — «угощать травкой», как сказал он.

— С машины по кукурам зашли... — говорили наши проводники.

— С машины. Вот оно? Честь. Садитесь.

Сев за стол, я увидел — на полке у него стоит глобус. Много книг. Думаю: «Должно быть, учитель».

Мы сказали ему, что мы из Москвы, охотники.

— Добро, — ответил хозяин. — Машина. Только радости от ее не будет нам. Пойдет порча, издермит народ весь, изгадит. Крепости не будет. Я ездил только в Архангел по зиме. Ну, и радости нету, нет. Вино, блуд, обман, злоба. Нам эдакого ничего не надо.

Все сидящие мужики посмотрели на нас.

— По округу — там всё матерные слова, и на сплаве на реке Двине — матерщина, и по машине и к нам придет невесть што. Хоронились мы от городов, по зиме кой-кто бывал, но мало, и в городе срамота такая — лихо берет. Как бы поскорей убежать, думаешь. Народ прямо, что вот хуже зверя, а девки — стыда вот эстолько нет, — показал хозяин на кончик пальца. — Вино чисто воду хлещут, табачище курют, одурь берет. Говорят, говорят, а что скажет — все врет.

И хозяин сверкнул гневно большими голубыми глазами.

Мы переглянулись. «Вот, — думаю, — зашли куда» — и сказал:

— Может быть, мы вам помешали, что зашли?

— Пошто, не-ет, я рад гостям, небось. Защита у меня при себе от ворога. Тута, — и он положил сухую большую руку на грудь.

Павел Александрович слушал, подняв высоко брови, и просил, наливая в мятный чай из фляжки коньяк, провожатых выпить.

— Не пьем, — сказали провожатые. — Ежели кагор — то можно. В Няндоме кагор бывает лют. А вина — нет, не пьем.

Доктор выпил коньяку из стакана и, смеясь, спросил:

— Что это у тебя в пузырьках на полке, лекарства, да? Я — доктор, тоже знаю лечить людей. Учился. Что это за лекарства?

— Это-то? — спросил хозяин.

— Да, это, зеленый настой — что такое?

— Оно — да, из тайги, капюра. А это самое и есть, что из яйца орла морского. Найди-ка. Всякую болезнь сымает. Ослеп — прозреешь, вот что! И зеленое семя — тайга. Выпьешь — иди сто верст, сила, устали нет. Выпил вот полчашки — спишь три дня, три ночи. Понял?

Доктор немного задумался, встал и осмотрел пузырьки.

— Хочешь, — сказал доктор, — я все их выпью, все твои лекарства, — и ничего не будет.

— Брось. Помрешь. Разве можно? Молод, бодвитый, видать, ты. Полно.

Двое гостей крестьян, тихо простившись с нами, вышли с хозяином из избы.

— К знахарю попали мы, — сказал доктор. — Занятный человек.

— Еретик, — сказали провожатые. — Он знает! Дочь когда хворала у попа, в Няндоме, он за ним зимой ходил; вылечил девку. Только веры он другой. Тут все такие.

Хозяин вернулся и предложил нам творог, соленые огурцы, грибы и лук. Поставил на стол миски.

— Мяса не ешь? — спросил его доктор.

— Нет. Нешто я зверь? Эко чего. Кровь нельзя трогать. Кровь — за кровь.

— А что это у вас глобус, книги? Вы учились?

— Учился. У меня ссыльный жил, прохожий человек, — хороший, праведный.

Это — его. Он привез мне из Вологды, когда ему вышло прощение.

— А за что он наказан был?

— Да так. Написал он прошение царю, знать, что вера у нас мала. Ежели люди во зле и друг дружку бить норовят, значит, чего-то этого нет. Нету крепкой веры. Понимал бы человек тайну Творца, неведомую тайну великую, он бы другую веру имел, и злобу бы бросил. Вера в нем мала. Почитай, что и нет ее, нету в ём любви ровно ничего. А любовь-то — это и есть все. Все — одна любовь. Боле ничего. И вышло то, что, значит, он — еретик, этот-то, ссыльный. А он — попов сын. Его в Соловецкий монастырь справили, потом отпустили. Потому, сказали, что ума в ём нет ничего. Так и в бумаге прописано было: «Легкомысло он», значит — дурак. Любви нету в человеках, а любовь — все. Она без начала, без конца. И она у тебя в совести вложена, и жизнь только от ее. И все, и кровь от ее, красота от ее, и все она родила — любовь. Вот что. Любовь вечная. И все человеки поймут то, и будут петь все разом, все человеки, хвалу вечной любви, когда будет это — после Суда Страшного. А жена дана как цветок на этом древе любви.

— Хороши цветки! — сказал Павел Александрович.

— Постой, — перебил доктор, — так ты веришь? Вот часовня у вас, иконы?

— Да, — ответил хозяин. — Верю. Бог. Только пошто — не сказано. Нешто можно покров сымать? Вишь, тело, — показал он на руку, — а там кровь течет. Она — вечная. Любовь — кровь...

Вернувшись на станцию, за ужином у доктора, мы говорили все об этом хозяине.

— Вот возьмите, — сказал доктор, — в тайге, в тундре, какой странный человек, какая вера в нем в любовь вечную...

— Еретик, — сказали проводники. — Их знают. Они ничего, вреда от них нет...

Антонов огонь

Осень. Поздно иду я из деревни Буково, от охотника, приятеля своего, Герасима Дементьевича. Сбоку, у ягдташа, висит убитый заяц. Сумрачные осенние тучи грустно нависли над обнаженными лесами. Темнеет овин у сжатого поля, показался край деревни, горит в окне избы тусклый огонек. Дорога грязная — лужи. Все как-то бедно, сиротливо. В природе затаенная тоска, печаль.

Против меня по дороге, вижу, идет в полушубке кто-то. Поравнявшись со мной, говорит мне:

— Это ты, Лисеич? Здравствуй.

— Ульян? — говорю я. — Куда идешь?

— Да в Никольское, в баню к Моторину: поясница болит, не разогнешься. Попаюсь в бане — мож, пройдет... А к тебе, Лисеич, в полдень гости приехали — русский, здоровый, доктор, што ли, он?

— Иван Иванович?

— Ну вот, он самый, а с ним то-о-олстый, поп, знать, што ли?

«Кто, — думаю, — толстый? Это, должно быть, Юрий Сергеевич».

— Ты бы, — говорю я Ульяну, — пошел бы к Ивану Ивановичу — он доктор, он бы полечил тебя.

— Не-е... — говорит Ульян, — баня верней. Постегаю венником спину, ну и пройдет. А то я одна был в Петрове у доктора-то, ну чего... Говорю, голова болит шибко, а он мне — покажи, говорит, язык, высунь. Ну, я ему высунул язык, а он мне — скверный у тебя, говорит, язык, дрянь. Ну, лекарство дал. Иду домой и думаю, с чего язык мой дрянь, я и не матершинник и не знаю, пошто так он язык мой. Это вот Сережка Кольцов, у него язык, верно, — на кого хошь наплетет... И ругаться... вот на все лады. А я? Ругаться не горазд... Ишь, русака какого стрельнул!.. Ну, здоров. Прощай, Лисеич.

И Ульян пошел. Кричит мне вдогонку:

— Я тебе завтра утром рыбки достану, принесу-у-у.

— Ладно... — кричу я ему, — приноси-и-и...

* * *

Хорошо, когда есть дом, приятели. Когда в природе так уныло, в душу входит неразгаданная печаль. Радостно войти к себе в теплый дом, собака тоже рада, бросилась — виляет хвостом, ласкаясь к гостям. А приятели сидят за столом, горит лампа, теплится камин, самовар на столе.

— Где ты пропал? — говорят. — Ну и дорога, ехали! Нас на Некрасихе под горку вывалило. Вот об сучок я себе руку содрал. Видишь, распухла, — показывает мне руку Юрий Сергеевич.

— До свадьбы заживет, — смеется доктор Иван Иванович.

— Ты не доктор, а енот, — сердится Юрий Сергеевич. — Говорю ему — посмотри руку, поищи лекарства — у него, вон, в шкапу. Я ведь пианист, понимаешь, рука... Видишь, ободрано, и кругом красное... А он никакого внимания...

— Ничего нет... — говорит лениво Иван Иванович. — Ну, ободрал, царапинка, кожу ободрал, только и всего...

— А красное кругом — почему? — спрашивает Юрий.

— Красное хорошо. Если б синее было, тогда бы другое дело.
— А что, если б синее?
— Ну, тогда — гангрена.
— Недурно. Это, значит, антонов огонь?
— Да, антонов огонь.
— Так предупреди же! — волнуется Юрий Сергеевич.
— Предупредить невозможно.
— То есть как же это?..
— Ну скажи, не скотина ли Ванька, а? Доктор! Нет, правда, может начаться антонов огонь?..
— Если у тебя есть сахар, диабет, — я ведь не знаю, — то может быть антонов огонь.

И Юрий Сергеевич, налив в чай коньяк, посмотрел в мою комнату, где я снимал охотничьи сапоги.

— Нет, ты слышишь, что он говорит?
— Слышу, Юрий, слышу, — отвечал я из соседней комнаты. — Диабет — это не шутки.

— И я говорю. А ему хоть бы что. Хорош клинический врач!

Выйдя к приятелям, я старался помирить их.

— Пустяки, — говорю, — лицо у тебя, Юрочка, круглое, веселое. Живот, действительно, велик... Я, конечно, не знаю, но у кого сахар — диабет, те всегда раздраженные, нервные, ты же человек жизнерадостный, веселый.

— Ну, простите, — сказал Иван Иванович, — и у жизнерадостных бывает. И главным образом вот у таких, вот с таким брюхом.

— Ну вот! Видишь! Приятный доктор? А? Хорош? — сердится Юрий Сергеевич. — Это называется милый друг!

— А ты думаешь, приятно постоянно возиться с больными? Я приехал сюда, к нему, отдохнуть дня два, а тут... новый пациент! Ручку себе изволили оцарапать, и как истеричка испугался.

— Постой, постой, — обиделся Юрий Сергеевич, — постой! Да ты что? Я тебя спрашиваю как доктора — посмотри мою руку, серьезно это или нет, ведь болит! А ты не смотришь, да еще издеваешься...

— Ну довольно... — уговариваю я. — Пустяки, пройдет.

— Неизвестно... — сказал Иван Иванович.

— Ты слышишь, какая скотина? Слышишь?..

* * *

В это время тетенька Афросинья накрывала на стол — обедать. Принесла горячий пирог с капустой, пирожки с маком, с вареньем... Поставила на стол маринованные грибы.

— Вот, Юрий Сергеевич, для вас грибки-то у меня. Вот опяты, валуи, красны головы, белые — гриб к грибу, вот закуска... — говорила тетенька Афросинья.

— Тебе этого ничего нельзя! — строго сказал Иван Иванович. — Бульон без хлеба, ветчины вот немного с жиром. Сладкого ничего, пирог — нельзя.

Юрий сел за стол, на который ставили закуски, переяславские сельди, а Феоктист — настойки разные, брагу в кувшине, моченые яблоки.

— Это все тебе яд! Нельзя! — сказал доктор, налив себе большую рюмку анисовой и положив на тарелку маринованных грибов и пирога.

Юрий смотрел на него, мигая, и молчал. Потом тоже налил себе рюмку анисовой и, глядя на Ивана Ивановича, разом выпил и сказал:

— Раз! Вот тебе антонов огонь! — опрокинул вторую, — два! Вот тебе антонов огонь. Три. Вот тебе, скотина, антонов огонь...

И ел пирог, гневно смотря на Ивана Ивановича.

— Я не отвечаю, — сказал Иван Иванович.

— Не отвечаешь? — передразнил его Юрий.

— Пей... ну что ж, ты сокращаешь себе жизнь...

— А на сколько?

— Ну, на сколько? Вынь да положь...

— Почему же? Наука-то, значит, ваша, медицина, ни к черту не доехала. Доктор должен знать: рюмка водки сокращает, положим, жизнь на двадцать пять минут, или на час... Не можете проверить, сосчитать у вас там, в клинике?.. Медицина-то, значит, не наука...

— Ну, поехал... — сказал, махнув рукой, Иван Иванович.

— Не можете?.. — горячился Юрий. — Не знаете? Ничего не знаете! Хороша наука!..

— Постой... А у вас это наука — музыка? Тра-ля-ля-ля-ля... тра-та-та.

— Слышишь, а?! Ты — енот! Да ведь это искусство — музыка. Небесное искусство. А ты же — доктор, мятные капли, касторка, аспирин... Пора бы знать!..

Друзья ссорились и пили с горя.

* * *

Проснувшись утром, приятели мои были мрачны. Умываясь, голову мочили водой. Молча сели за стол.

Тетенька Афросинья подала к чаю горячие оладьи.

— Кушайте, пока не остыли, — угощала она друзей.

— Чижало, — глядя на оладьи, сказал Юрий Сергеевич. — Что-то я себя чувствую скверно.

— Ну, довольно, довольно, — заметил Иван Иванович. — Опять начнет про антонов огонь, про медицину. Надоело.

— Какой там к черту антонов огонь! Внутри — горит, в душе. И какой мрак. И оладьи, вот оладьи — все равно, есть они или нет.

— Не в душе, а пониже — в брюхе! Перцовка, полынная, коньяк, пироги. Ведь ты назло мне все пил, — сказал доктор Иван Иванович. — Вот тебе возмездие.

— Неужели от полынной?

— И от перцовки, и от коньяку, и от пирогов, — подтвердил доктор. — Это, брат, называется чревоугодие.

— Да неужели? — притворно удивился Юрий Сергеевич. — А я-то и не думал. Черт! Какой минор в душе!

— Брось, и у меня тоже. Не иначе, как придется выпить по рюмке. Авось, на мажор пойдет.

Утро осеннее было ясно. Сад у дома моего блестел ветвями берез и липы. Синели далекие леса, и среди прозрачных небес в лазоревом свете высоко летели стаи журавлей.

Приятеля мои сидели на лестнице террасы.

— Хорошо им, — сказал Юрий Сергеевич. — Вон летят. А я вот какой толстый. Нет у них перцовки, нет у них Антона и его огня и всей этой нашей ерунды...

Осенней порою

Рано разбудили меня приехавшие приятели. Как-то весь дом мой деревенский сразу оживился. А сегодня праздник Покров. Солнце, такое веселое утро. По стенам комнаты блистают золотые его лучи.

— Вставай! — кричат приятели. — Какой день, красота, тепло!

Дед-сторож моего дома тащит мне высокие охотничьи сапоги, вымазанные салом. Собака в радости прыгнула ко мне на постель и урчит носом.

— Ну и денек ныне, чисто лето, — говорит дедушка. — Глянь-ка, видать далече. Лес-то голый. Эвона светит Всех Скорбящих Радость.

Я смотрю в окно. За обнаженными лесами далеко светится точка церкви. Говорю:

— А я там, кажется, и не был.

— Да ведь это далече, у Котрости, — говорит дед. — Летом-то ее не видать. А вот теперь опал лист, и видно. Вона вправо-то Святой Ключ, а под горкой — Сеча. А вона лес высокий — это Могилки.

— На Могилках-то я был, — говорю.

— Какие еще Могилки? Вставай, скорей, — говорил Павел Александрович, входя ко мне в комнату. — Знаешь, до чего у тебя хорошо. Неизвестно, почему. Но есть что-то — простота, глушь, далекий край. Если бы я был свободен, я бы жил именно так, как ты.

— Чем же ты несвободный человек? — удивляюсь я.

— Ну, брось, довольно, не будем говорить.

Приятеля мои, охотники, умываются с дороги. Рожи у всех веселые, красные.

По случаю праздника Покрова тетенька Афросинья нарядилась как пава. Новый желтый платок в цветах, синий казакин, зеленый фартук. И видно мне в окно, как она выходит из погреба, и рядом — ее муж Феоктист в новом тулупе, на шее туго повязан красный шарф.

Бревна сарая и опавший сад, серые сучки крыжовника за частоколом под солнцем — такая красота осени! Я забываю о приехавших приятелях, пристраиваю холст на мольберте у дома и торопливо выжимаю краски на палитру.

— Постой, прошу, тетенька Афросинья, и ты, Феоктист, — постоитте немножко тут, я напишу с вас, недолго.

С неохотой смотрит на меня тетка Афросинья и говорит:

— Сейчас приду, вот к чаю-то я им сливок поставлю. Приду сейчас.

Приятеля мои недовольны, что я пишу. Но не протестуют, молчат. Только Караулов подходит ко мне и говорит:

— Не помешаю ли я, если на ворота сарая прибью картоны, вот эти — цель. Пристреляться нам из ружей. Я привез новое английское ружье «ланкастер». Узнать надо бой.

— Стреляйте, — говорю.

На ворота сарая прибили большой лист. Посередине черные круги. Приятели ходят от сарая, отсчитывая шаги. Слышу смутно — что-то говорят, смеются.

— Ленька, — говорю я слуге, — вон идет Дарья. Попроси, пускай мне попозирует. Возьми платок у Афросиньи, пусть Дарья наденет. Она свободна.

Но тетенька Афросинья платка не отдала Дарье.

— Ничего, уж — я постою, — сказала она. — Пуцай меня списывает.

Тороплюсь писать. Чувствую, что нарушаю праздник. Приятели на меня никакого внимания. Стреляют в ворота сарая. Только слышу зычный бас Василия Сергеевича.

— Вашему «ланкастеру» до моего «туляка» далеко.

«До чего труден цвет старых бревен сарая! — думаю я, составляя тон. — Какой сухой рисунок. Красный шарф Феоктиста и скворешник блестят на солнце сильнее всего, горят. Нет в красках силы такой».

Подходит Василий Сергеевич и говорит мне на ухо, смеясь:

— Знаете, у Павла-то ружье Пэрдэ, двадцать шесть дробинок на восемьдесят шагов в кружке. У Караулова «ланкастер», двадцать две дробины. А у меня шестьдесят одну дробиночку принесло в кружок. Что, выкусили! Тульское ружье, мое-то, русское! Не очень им теперь нравится. Молчат, расстроились.

— Молодец, Вася, — говорю я рассеянно.

— Не скажете? — шепчет на ухо Василий Сергеевич.

— Нет, — говорю. — А что?

— Честное слово, не скажете?

— Честное слово.

— Я два заряда дроби всыпал.

И Василий Сергеевич важно отходит от меня к сараю, где охотники смотрят на пробитые дробиной мишени.

В комнате, когда я принес картину, она как-то была другая. Темен сарай, солнца нет. Я опять иду писать и все ищу солнца, радости, усиливаю тени. Но уж нельзя писать больше: все как-то изменилось. Бревна уже не те и не горят сучья березы.

Долго смотрю я в мастерской начатую работу.

— Эх, Лисейч, — говорит мне Герасим. — Завтра тоже ведро будет. Этаким же день. Завтра наладишь. А теперь на охоту пора.

— Это ерунда, — говорит, входя, Караулов. — Дробь оттого не доносит, что я свой «ланкастер» жирно намазал. А вот, погоди-ка, я его вытру, — обращается он к Василию Сергеевичу.

— У него ружье тульской работы, и, представьте, бой отличный, — подняв высоко брови, удивляется Павел Александрович.

— Да-с, тульское, на заказ сработано. Инженером Фуфоновым. Главный инженер был. Да-с. Ах, у него жена-а была — черная коса, во-о! — показал руками Василий Сергеевич. — Вот красавица! Я был в Туле. Покупаю самовар в магазине и вижу — вот женщина-красавица. А он, Фуфонов, рядом, тоже в магазине. Я этот самовар-то покупаю, а все на нее гляжу. Загляделся. Тут познакомился. Он мне ружье-то и продал. Другого такого нет нигде. Только у меня. Когда умирал, вызвал меня телеграммой. «Вот, — говорит мне, — умираю, бери себе ружье. Мне стоило полтора, бери за сто рублей. Только для тебя отдаю. Помру — не оставь жену мою». Вот какой человек!

Приятели мои и Герасим смеялись.

— Ничего я не вижу смешного, — обиделся Василий Сергеевич.

— Не сердчай, Василий Сергеевич, — говорит Герасим. — Чудно больно. Что же это он перед смертью торговался?

— Вася, — спросил я, — что же, Фуфонов-то умер?

— Тут же вскоре умер.

— А с женой-то что же было? Где же она-то? — спросили друзья Василия Сергеевича.

— А с какой стати я все обязан вам объяснять?

— Это верно, — сказал Герасим. — Погода какая! Чего тут! Всего не переговоришь. Пойдемте, вот по мелочам, по моховому болоту, вон туды, — показывает Герасим в окно. — По краю пойдём. Тетеревьё бывает. С утра по клюкву прилетают.

* * *

Синеет грязная дорога проселка. По краям желтая осенняя травка и стебли дикой рябины. Стелется мелкоколесье осинником и липняком. А далеко видна, радостно светится церковь. Какое-то особое чувство мирного и родного покоя входит в душу.

Герасим, подняв руку, тихонько машет нам. Охотники остановились. Сбоку от него, в кустах у кочек, стоит собака, подняв переднюю лапу. С треском, растопыря крылья, вылетели белые куропатки. И после выстрелов далеко веером летят над мелкоколесьем. Пойнтера, Феб и Польшон, ходят около охотников, держа во рту больших птиц, не сразу как-то отдавая их. Герасим гладит собак и кладет дичь в ягдташ.

На пригорке, у зеленой елки, среди зарослей мелкого ольшаника, сидят охотники на привале. Радостно светит весеннее солнце. Коричневый армяк Герасима, зеленые и белые куртки охотников весело выделяются на сучьях деревьев. На мелких веточках, как серьги, висят ягоды, красные с черным. Волчья ягода. А далеко на горизонте светится церковь Всех Скорбящих Радости.

Смеясь, пьем из рюмок, наливая из фляжек водочку, закусываем колбасой с пеклеванным хлебом. Хорошо. Собаки сидят около, и им бросают кусочки колбасы и хлеб.

— Вот теперь пойдём прямо по мелочам. Прямо на церковь Скорбящих, — говорит Герасим. — Может, на глухарей попадем.

— Вот будет радость, — говорил Караулов. — Есть в охоте — радость. Все забудешь. Лес, болото, река — всему рад. Все бы обнял... Воля — свобода. А в городе — гляди в оба: деньги с утра в голову лезут, все вроде как-то виноват в чем, виноватым ходишь.

— Верно говоришь, — сказал Павел Александрович, — я тоже на охоте другим становлюсь. Странно. Там у меня все то, да не то кажется. Говорят не то кругом, думают не то.

— Ха-ха, — говорит Василий Сергеевич, — верно. У меня дома одна ерунда. Вот моя Ольга, я ей говорю: нельзя так, денег много выходит, я в долги залезаю, расстроен, а она смеется. Терпишь, терпишь и не выдержишь — рассердишься. Ну, тогда Ольга говорит: тебе на охоту пора. Знает, что у меня на охоте все пройдет. И опять неделя-две, месяц — не жизнь, а радость. Совсем другой.

— И вот верно это... — сказал Герасим, — это вот до чего правильно. Когда в голове закисает: и то не то, и это... ну, иди на охоту — все как рукой сымет. Заметь: вот поругался, а на охоте вспомнишь — чудно! И сразу видать, что зря ругался. Кто знает — ветром, что ли, раздувает, только легче жить становится. Горе-то охота отводит от человека.

Сказка

Сказка та была только присказка, и когда была — не указано.

Было такое царство-государство, привольное и раздольное, святое, лихое, удалое. И народ жил там, друг на дружку поглядывал, серебро-золото копил-припрятывал, песни пел про волю вольную. И нрава был удалого — ежели супротив ему что покажется, то шапками того ворога-супротивника закидывал начисто...

Ну, в этом самом царстве-государстве был-жил царь Додон. На народ свой тоже поглядывал и держал его в строгости. Но частенько задумывался. Позовет царь своего верного обер-камерсоветника, вздохнет и скажет:

— Вот скажи, мой верный обер-советник, мне по уму, по совести, что делать, никак я не пойму народа мово любезного, и по такому случаю не раз ум у меня раскорячивается. Что за народ мой возлюбленный, не пойму его, не приложу ума-разума... Что ему хочется? Казнить неохота мне, дело это такое, душе неподходящее. Волю дашь — он хуже смущается, в голове заворот идет и конца нет сумлению, и не знаешь, чего и хочет он.

— Трудно дело царской державности, — отвечает обер-советник. — Тяжело бремя власти... А в голове у народа завелась, от сытости или с досады какой, такая правда-истина — по норову его — что охота ему, чтобы было все не по хорошу мило, и по мило — хорошо. А вот как узнать, что мило ему и что хорошо, трудно. И как от его-то выведать?.. И знает ли он сам-то? Ответ такой держать пред тобой, царь-государь, мало моего разумения. А лучше собрать кудесников и старшин, людей мудрых, соль земли царства твоего; вот они и скажут по совести и рассудят норы народа твоего. Разберут дело начисто, честь честью...

— Вот-то что... — сказал, задумавшись, Додон. — Эвона куда дело заворачивает. Так, так... Ну, а ежели у кудесников у моих не хватит разума этот норы постичь народный, или норова такого дурацкого понять нельзя — тогда как? Честь честью можно с теми, кто честь имеет. А ежели чести нет — тогда как? Ну, что же ты молчишь? Отвечай! — крикнул царь Додон и в гневе стукнул жезлом о половицу дубовую.

Упал в ноги царю Додону обер-советник.

— Страшна твоя немилость...

— Ну, пошел... слышал я это. Надоело, будя. Сейчас на корячки нороят. Вставай! Эх, моркотно с вами, вертунами, жить. Не на правде, а на хитрости нороят... Вели дать мне рубаху набойную да одежину сермяжную. Пойду я сам по городу, по дворам за околицу да послушаю; что народу мому любезному любо-дорого. И узнаю, куда душа его просится, на какое дело руки его чешутся.

Снял Додон корону свою ковану, надел платье сермяжное, взял в кошель три грошика да три копейки, казну жалеючи, и пошел из дворца-терема в калитку потайную.

Идет царь Додон по граду улицей, на столицу свою любитесь. Зашел на площадь — площадь Торговую. И что товару навалено, бочонков накатано! Зазывают купцы народ — похваляются, по пузу себя поглаживают, мошной потряхивают. Ударило Додону в нос икрою паюсной, семгой свежей, блинами сметанными.

— Поустал я ходить, закусить бы мне маленечко...

Подает он купцу грош-копеечку.

— Икорки мне бы малость со блинком попробовать...

— Ишь чего захотел! — закричал купец. — Ах ты старый хрыч, грошова душа! Куда лезешь, сладоежка старая, с кем равняешься? Заедало беспортошное, сермяга ненасытная! Тоже к икре тянется салфеточной — нешто брюхо у тебя боярское? Иди в Обжорный ряд, нахлебайся тюри досыта, а не лезь со грошами медными без понятий...

Ударили слова молодца-купца торгового прямо по самому сердцу царскому, и забыл Додон про одежду свою — сермягу мужицкую. Заорал он на весь базар:

— Заковать сейчас, — кричит, — в кандалы сына сукина, позвать мне мово мастера заплечного, рубить головы купцам начисто...

Схватили Додона удалцы-молодцы приказчики.

— Эка стар-старик! Ума нет в нем ни крохотки, а сердит больно по капиталу, не по разуму...

Повели Додона на суд праведный. Что за старик такой с душой разбойницкой, всем купцам хочет рубить головы прямо начисто. Глядит народ на Додона, потешается, за животики от смеху хватается.

Сидит Додон во сырой тюрьме, а с ним лихи молодцы удалые — душегубы, воры, жулики. Над им потешаются.

— Эж, — говорят, — вороват старик, чего захотел — икры паюсной! На грош да на копейку. Не Додон ведь ты — ешь, что хочется! Тот, небось, чай пьет с накладкою, щи жирнющие, говядину разваристу, а у нас-то щи — сморщичи, а говядина — мочалится.

А один рабойничек:

— Погоди, — говорит, — старик, кончат царство Додоново, угощу тебя тады икрою с семгой, сапоги возьму со скрипом новые, чтобы девкам по милу нравиться, и поставим жисть по-нашему, поживем в сказке, а не в присказке...

«Эко дело начинается... и почто я пошел с народом познаваться, как я скажу, что я Додон-царь народу эдакому... Снимут мне голову бесстыжие...» Шибко Додон задумался.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Смутилось царство Додоново: нет нигде царя Додона. Гадают волхвы-кудесники, ищут министры-советники, по городам, по горам, лесам, за околицей. Нет нигде ни слуху, ни вести. Весь народ дивуется, ждет царя — волнуется, куда делся царь, не ведают.

Пришла в тюрьму толпа лютая, перебила стражу тюремную.

— Выходи, — кричат, — на свободу народную, разбойнички. Все теперь ровня-ровная. Дели добро все поровну. Без Додона — жисть теперь вольная. Ешь и пей, чего хочется.

— Ну, иди скорей, — говорит вор-разбойничек Додону, — захватим, приберем товару купецкого, а тебя икрой-семгой, старика, попотчует...

И как вышел из сырой тюрьмы царь Додон, запечалился. Видит — весь народ его бьет друг дружку, неиствует. Переспорить друг дружку старается, орет почем зря несуразицу, а кто от устали — языки повысунул.

Идет стар-Додон, пробирается к терему-дворцу своему царскому и видит — у дворца того народа тьму-тьмушую. Расшибают погреба, пьют вино заморское, а советники пропали начисто. Матросы в хоробах пляшут с девками, потешаются и орут:

— Ах ты воля наша, волюшка, миновали дни черные, проклятые...

Глядит царь Додон, позадумался, и глядит на него девка глазами бесстыжими. Говорит Додону:

— Что, старинушка, призадумался, знать, грустишь о жисти прожитой?

— А ты, молодушка, — спросил Додон, — не тужишь о своей жисти нынешней?

— Нету теперь своей жисти — ни прошлой, ни нынешней, а все — все всеобщее... И жисть по милу поставлена, а по-хорошему — навсегда заказана. Тебе все равно по старости, а мне, ах, любо-дорого, крутить да завертывать при такой лихой воле-волюшке... И плясать всю ночь до утра, пока свалишься.

Эка, вот что нравится, это сама сказка зачинается, а не присказка...

Призадумался Додон. Пробредают, думает, всю страну победную, заговорщики... Растеряют счастье, говорки безголовые, счастье светлое, народное, прогуляют с девками беспутными. Ведь и что по милу-то им хорошо. Красоту жизни-радости, алтари чести-разума, заплуют не в любви, а в срамоте похоти, распутством своим похваляющиеся. Это и есть самая сказка лютая. Про нее гусяры пели исстари... Что ж вы, мои советники верные, не сказали мне правду-матушку, а все на корячках вокруг меня елозили? Награждал я вас сдуру, обманщики. Опрокинь, о Господи, на вас проклятье, холопы неверные, бесталаннные...

И пошел Додон, с горя шатаясь и слезами горькими обливаясь. И вдруг видит пред собой Додон девицу, и такую свет-красавицу, что ни словом сказать, ни выразить, красоты такой невиданной.

— Ты пошто, пошто, красавица, солнце светлое, здесь среди смуты тяжкой появилась? Знать, ты не здешняя? Ране тебя было здесь не видано. И как величать тебя именем-отчеством?

— А ты, знать, царь Додон, наш батюшка, — сказала красавица. — Я как есть порода здешняя, и живу я здесь завсегда сроду отроду, и как звать меня по имени-отчеству — сама я того не ведаю...

— Ах ты свет, солнце ясное, краса невиданна, счастье жизни, радость безмерная...

— Что ты свет, стар-царь Додонушка, — отвечает красавица. — Какое я счастье невидано? Я живу в скорби, в горести, и всегда-всегда гонимая. И в чем вина моя — я не ведаю. Никому зла не делала. За что на меня, скажи, погоня лютая?

— Как же это ты доселе жива осталася, не растерзала тебя голь кабацкая, богатеи обжорные, твари похотливые? Покажись ты, красавица невидана, народу моему в

смуте его тяжкого разумения. Может, увидит красу такую, он опомнится и бросит свою злобу — зависть лютую...

— Не гожусь я для дела такого, волнения житейского, — сказала красавица. — Они глядят, как живые покойники, и гусярам не внемлют, не слушают...

И пропала мигом красавица, как не было, и кругом царя Додона — тьма тьмущая, тяжкая... И ни единого кругом сердца любовного. И слышит царь, во тьме кто-то плачет тихонько, всхлипывает, и рука чья-то за сермягу во тьме тянет, дергает.

— Чего тебе надобно? — говорить Додон, — в землю меня тянешь.

— Дай, батюшка, полушку-копеечку, схоронить сынка надобно... Убили его, казнь лютой замучили...

— Так почто ж убили твою молодца, за что извели сына родного?

— Так уж, знать, положено, бьют друг дружку не жалеючи. Куда деться мне теперь, батюшка?.. Одна я осталась одинешенька...

— Да кто ты будешь-то, матушка?

— Мать-сыра земля я... Пойдем-ка со мной, поторопимся...

И ушел в сыру землю царь Додон на веки вечные...

* * *

— Эх, тепло как! — говорит Додон. — Это что же — черти полосатые?.. Гляди — кипят в огне грешники?

— Это ад! — кричат ему черти. — Куда ты зашел, царь Додон, погретися?

— Эх, вы черти прочерти. А чего, у вас не больно страшно в аду-то кажется... На земле-то страшней, окаяннее...

«Вернись!»

Под утро в кабинете загородного ресторана «Мавритания», под Москвой, догорали свечи канделябр. На мокрой скатерти большого стола блестели бокалы между бутылками шампанского. В окнах синело утро. Разъехались друзья Николая Ракитина, молодого человека, сына фабриканта, который сделал пирушку по случаю своего отъезда за границу. Уехали друзья и хоры цыган. Остались двое — Ракитин, высокий кудрявый блондин, и купец Кузнецов, его знакомый и земляк. Ракитин сидел на подоконнике окна, расстроенный и грустный и, полулежа на кушетке, Кузнецов поглядывал на Ракитина:

— Молод... молод... Да, я молод, — мягко и грустно сказал Ракитин, — да, я моложе его и ее...

— Ушла, — басом сказал купец Кузнецов, — ну и черт с ней. А то бы...

— А что — то бы? — спрашивает огорченный Ракитин.

— А то бы разорила вас, дорогой. Вот что «то бы»...

Тот пристально смотрит на Кузнецова, с каким-то удивлением и любопытством.

— Разорила бы, дорогой, до нитки разорила бы...

— Значит, она, по-вашему, честно поступила, что ушла, бросила меня?

— Что такое — честно, нечестно... Прекрасно поступила. Но не обижайтесь на меня. Как бы вам объяснить... это все не то, не то... не настоящее...

— Что — не то?

— Прежде всего, милый, у вас «не то». Не интересно ей. Не сердитесь, дорогой. Прошу — поймите и не сердитесь.

Ракитин проводил рукой по густым волосам, как бы причесываясь, смотря на знакомого в недоумении.

— У ней, батюшка, теперь свой автомобиль и бриллианты... И на дверце автомобиля — дворянская корона и буква Б, в вензелях. Да... Шик какой. Автомобиль «итала», марка такая.

— Да, верно. Я видел, — проехала по Кузнецкому, верно. А любовь, любовь... Я люблю ее, где же честь?

— Честь. Честь при вас. У вас честь. А у ней — автомобиль и вензель «Б». Вот — поняли.

— Как странно говорите вы. Она же певица, получает оклад. Я ей предлагал деньги, она всегда обижалась, хотя брала. Я не знаю, не могу себе объяснить ее измену. Но только... я так страдаю... Я не знал раньше, что так бывает... что женщины без сердца, что ли, или не знаю, что сказать... Так странно...

— Молоды вы, да — молоды. Пройдет. Не будете теперь больше в дурачках гулять.

— Как, в каких дурачках? — удивился Ракитин. — Почему это? Я любил и был счастлив, хотел жениться...

— А она хотела?

— Нет, не хотела...

— Вот видите. Она порядочная женщина. Когда бы вы женились на ней, было бы еще хуже.

— Что хуже?

— Рога... понимаете, — рога... Были бы вы рогоносцем... Вы не понимаете? Вы самый счастливый человек.

— То есть как? Какая чушь. Почему?

— Нет, не чушь. Поймите, вы свободны и молоды, а то бы была не жизнь, а ерунда... Тоска, ложь, обман, сцены и объяснения... Это ужасно. Это так часто бывает, почти со всеми. Ерунда... такая случается. Вот послушайте. На передвижной выставке картин вы не видели картину, черт ее?.. забыл, какой художник написал ее... забыл... Он написал, знаете, лето, дача так... вот как здесь, в Петровском парке. Ну, дача, зелень, конечно, терраса, на террасе стол, самовар стоит. Ну, а спереди — скамейка садовая, и на скамейке сидит она — одна какая-то, такая барыня. Белое платье, кружева, рукава широкие открыты. Вроде как в капоте. И рукой облокотилась на спинку скамейки. Держится за голову, и лицо такое бледное, глаза закрыты. Так, видимо, страдает в мечтах. А вдали, за загородкой, идет парень и поет. Так... в жилетке, красная рубашка и с гармонией. Картина называется «Вернись»... Это что значит? А то, что ее он бросил. Она, конечно, любила и любит. Значит — вернись. Так потому и называется. Я всех знакомых спрашивал, кто видел эту картину: «Скажите, пожалуйста, — спрашивал я, — а что парень, который идет за загородкой, что он поет?» Кого ни спросишь — никто не знает. А вы как думаете, что?

— Не знаю... — ответил огорченный Ракитин.

— А я узнал.

— Как же это вы узнали?

— А я, знаете ли, подошел к заведующему выставкой и спросил цену картины.

— Продана, — отвечает.

Думаю: как быть? И говорю ему, заведующему: «Прошу вас, — говорю, — я бы хотел заказать художнику повторение этой картины. Только интересуюсь знать, что поет этот парень с гармошкой?»

Пришел на выставку через неделю. А мне заведующий подает записку. На ней написано только:

Чай пила, баранки ела,
Позабыла, с кем сидела...

Вот и разберитесь, картина-то такова. «Вернись». Глубина какая. Как узнать, кто прав, кто виноват... Не догадаешься... Но написано ловко. Забыл... художник-то, ну как его... Черт! забыл!

— Жаль, я не видел... — сказал Ракитин. — Я бы хотел узнать, как фамилия художника.

— Я вам узнаю, — сказал Кузнецов. — Я бы хотел, чтобы он написал меня, так: в аллее осенью... серое небо, осыпаются листья. Я сижу на скамейке, и тоже, чтоб он поставил на выставку и назвал «Вернись»... Пускай она увидит... Может, проснется совесть. Только парня с гармошкой не надо... и самовар тоже ни к чему...

— Можно, — сказал Кузнецов. — Я узнаю, найду художника. Это вы хорошо придумали. Пускай поглядит. Только не надо, чтоб вас одного сажать на скамейку, и лицо грустное не надо. А я с вами на скамейку Зойку посажу, да голую... Она сложена... ну, как Венера... Прямо Венера. А вы с гармошкой. Вот тогда она пускай посмотрит... Задумается...

— Ну что вы... это невозможно. Зачем?

— Как — зачем? Когда вы грустный будете нарисованы на картине «Вернись» — это ни черта не стоит. Она рада будет, будет показывать знакомым. Ему покажет: вот, мол, как он из-за меня страдает... Цену себе набивать будет. Как его нажгла — рада будет. А тут тпру... — сказал Кузнецов, как останавливают лошадь. — Тпру... дудки. Не похващаешься. Непременно надо такую картину. И еще надо на скамейку шампанского бутылки три поставить и назвать ее «На — выкуси»... Вот тогда она поймет.

— Что вы, разве можно? Это вульгарно, — сказал Ракитин, — и грубо...

— Грубо? Да? А она с вами поступила нежно, не грубо? Да вы что...

Опустив голову, Ракитин сидел на подоконнике. За ним темнели березы парка в утреннем рассвете, и звенели малиновки.

— Знаете, — сказал он, — Василий Сергеевич, — я рад. Вы, по правде, говорите все, конечно, не то. Я ведь любил... любил... Обожал... Но странно, позвольте мне вас обнять. Что-то есть в вас, во всей ерунде, которую я слышу, есть что-то доброе... И мне идет в душу странное... другое, искреннее участие. Есть что-то дружелюбное. Мне показалось сразу — да то ли это, что я так любил? Показалось, и как-то мне стало сразу тут хорошо... — показал он на грудь. — Спасибо вам...

Он встал и, подойдя к Кузнецову, сказал:

— Позвольте мне с вами выпить на «ты». Мы раньше не знали друг друга. Вы старше меня, но мне так как-то от вас веет дружбой, что я не могу не ценить...

И Ракитин крикнул в дверь:

— Бутылку Помери... — и, обняв за шею купца, поцеловал его в лоб.

Выпив на «ты», Ракитин говорил:

— Вот что... прости меня, Василий Сергеевич, я тебе надоел. У меня в душе драма, горе... А ты все слушаешь и мне хочешь помочь. Я понимаю...

— Постой, — перебил его Кузнецов, — ерунда. Это бывает. Ты молод. Но бывает, когда и не молод. Бывает. Я старше тебя. Я вот не верю, никому не верю... Ты видал мою Ольгу? Хороша?

— Да, красивая Ольга Николаевна... — сказал Раkitин.

— Так вот... я теперь только понял: я на всякий случай за двумя ухаживаю, на примете держу. Если Ольга начнет в сторону поглядывать, то знает, что у меня — обновочка наготове...

И купец захохотал.

— Я, брат, тужить не буду.

— Но тут... — сказал грустно Раkitин, — другое. Тогда нет любви, единой любви... нет свободы любви... Я ей верил, верил... Любил...

— «Верил, верил...» Послушай, милый Сергей, — перебил его Кузнецов, — прости меня, прости... Я ей тоже верил.

— Ты? Кому — ей?

— Да ей... Да, я. Знай — она была моей женой...

— Женой? Как? Что ты говоришь?!

— Так! А она к тебе убежала... Я страдал, стреляться хотел. Меня выручила Ольга... Понял? Ольга явилась...

И оба прителея, выпившие на «ты», смотрели друг на друга...

Первый снег

Надо признаться, осенняя пора — скучна. Быстро несутся серые темные тучи, сад поредел, стал унылый. Аллея лип мрачная. Намело павших листьев и на лестнице, и на деревянной террасе моего дома. За частоколом видно сжатое поле, кучное. В саду ни звука, как-то замерло — все улетели певуны. Еще недавно трещали дрозды в рябиннике, а вот — пролетит мимо ворона, каркнет — только и всего.

К вечеру тучи желтеют, доносится запах дыма от овина и слышно вдали стук цепов — молотьба ржи. Вдали по проселку едет воз сена. Все как-то тоскливо, бедно. Сарай и избы деревни стоят темные, скучные. На реке вода покрыта зыбью, злая, свинцовая. Осока упала, качается от ветра у воды. Лодка моя у берега в кустах полна воды, тоже какая-то скучная, сиротливая.

В сердце — грусть. Один я. Ко мне давно никто и не едет. В Москве теперь лучше: театры, веселье. Ходят в гости друг к другу, рестораны, новости разные, шумят политики.

Иду по тропинке около леса. Возвращаюсь в дом. Около меня припрыгивает мой ручной заяц. Припрыгнет, сядет и слушает.

— Ты что за мной все шляешься? — говорю я ему. — Ишь, толстый! Побелел. К снегу готовишься? Хитрость какая!..

Заяц прыгает около моих ног, не отходит. Лес кругом, а он не уходит — боится. Непонятно. Любит дедушку — сторожа моего дома, тот его кормит кочерыжками, репой и морковью. Но я каюсь ему лучше. Без меня он спит в дровах, в хворосте на кухне. Когда я приеду, спать идет со мной, просится на постель. Прыгнуть сам не может. Надо брать за уши и тащить к себе. На окно прыгает, а на постель не может. Я смотрю на него и ругаю.

— Вот я тебя за жарю и съем. Обжора! Вот погоди, лопнешь.

Заяц сидит передо мной, поставит уши и слушает. Но он знает, что его в обиду не дам.

Собаку мою, пойнтера Феба, он не боится. Феб не обращает на него никакого внимания. Заяц ему не противен, как моя ручная лисица, которая была у меня, и барсук. Когда те подходили к Фебу, он тихонько рычал, а заяц, когда Феб лежит на полу, устраивается у его живота и спит.

Больше всего заяц боится деревенских мальчиков. Он от них бросается бежать опрометью, как и от чужой собаки.

Я водил его в лес много раз, но он не уходил. Ушел барсук, лисица, даже белка ручная, которая не раз возвращалась. Но заяц привык к дому и не уходит.

Когда я пришел домой и сел на террасе, заяц около дома, в саду, зарылся под опавшие листья и затаился там.

А когда за домом, далеко, в калитку шел сторож-дед, заяц выскочил из-под листьев и побежал его встречать. Почему он, не видя, слышал, что калиткой стукнул дед? Войди другой — он не показался бы из своего убежища. Забавно, что заяц, когда лаяла собака сторожа дома, тоже принимал участие и беспокоился.

С моими друзьями-охотниками, приезжавшими ко мне, он был дружен, сидел у них на коленях, позволял себя гладить. Но оставался недолго, и в лес не шел даже со сторожем дома моего. Только — со мной.

Когда я писал с природы картину, заяц любил сидеть около и все слушал, двигая ушами. Когда подходили деревенские мальчики посмотреть, что я «списываю», заяц волновался ужасно: лез ко мне на колени и от страха плотно прижимался ко мне.

Заяц не боялся домашнего барана. Если баран норовил съесть капусту, которую давали зайцу, — заяц отчаянно бил барана лапами по морде.

Заяц не любил кошек, но не боялся их.

Когда заяц спал со мной — то так крепко, что я перетаскивал его за ноги, и он не слышал. Но когда далеко за деревней ехали по мосту, он просыпался и будил меня, стуча лапами по мне, по ногам. Боюсь ошибиться, но мне казалось, что просыпался заяц только тогда, когда ехали ко мне. Конечно, можно признать вздором, что я пишу, но я так наблюдал.

Обоняние у охотничьих собак чудесно, но и слух зверьков удивителен. Отдаленный крик филина приводил зайца в оцепенение, и он бросался бежать, залезал в дрова и хворост.

Наутро, когда я проснулся, в окнах было бело. За ночь выпал снег. Какая красота. Светло. Какая бодрость в воздухе!

Пахнет снегом, потемнели леса.

Заяц рад больше всех снегу. Все время у крыльца, прыгает, ложится, домой не идет.

— Во пороша-то хороша... — говорит сторож-дед. — Жди, к тебе, Лисеич, Гарсим придет. Сейчас самая охота. Ишь, наш Васька как рад, гляди-ка, снегу-то. Домой не загонишь. И не ест ничего. Снегом напихался. Знать, ему надобно, белый стал... подлаживается, чтобы не видали. Как все устроено у Господа — и зайца хоронит. Э-эх, человеку не дано...

Верно сказал дед: пришел ко мне охотник, крестьянин Герасим Дементьевич.

— Ну, Лисеич, — сказал Герасим, — и чего... Вот что: у Глубоких Ям, по ту сторону, где глухарей выводок нашли, помнишь, — что наследили рыси... Сосчитал — шесть. Вот охота! Но по деревьям, знать, ушли. Я дале не искал, а значит, их там место. А у Поповки — волчий след, в утро прошел. Должно, видать — в моховое болото ушел.

— Видал ли ты рысей-то, Герасим Дементьевич? — спросил я.

— В этот раз не видал, — ответил Герасим, — а за прошлый-то год убил одну в овраге. Куда ее? Шкурку-то отдал я одному из Москвы. Ведь они есть велики, и вот злые... Орут вот, как кошки, а хвоста нет. А на деревьях их не увидишь, к дереву припадет — не видать. Глаза отводит.

— А не слышал ты, что кто приучил рысь, вот как я — зайца?

— Не слышал. Где ж, она злая, нешто ее приучишь. Зайца-то легко... Рысь, где же, она загрызет...

— А я видал, — говорю, — рысь большую, ручную. Ну вот просто как кошка.

Герасим посмотрел на меня с недоверием.

— Видал в Москве, у Арсения Абрамовича Морозова, — говорю я, — большая рысь, на ухах кисточки, красавица. Глаза большие. Сидела у меня на руках, и я ее гладил. А она мурлыкала, вроде вот, как кошка.

— Да что ты? — удивился Герасим. — Чудно... Вот, Лисеич, что, дело какое. Очень жисть этих зверьков тоже тяжкая. Человек на их нападает, куда деться им, житье трудное. Человеку тоже друг от дружки спастись надо. Выходит, что человек тоже в зле живет.

— Говорили в старину, — говорю я, — что человек человеку волк.

— В старину... — сказал Герасим, — сказано было? А пошто же доселе так осталось?

И Герасим засмеялся.

— А то и то: человек-то человеку много хуже, чем волк. Волки-то друг дружку не обижают. Дай-ка волю человеку, сними-ка сабель, штык, да закон — хуже волков друг дружку заели бы, замучили... Скажи — пошто вот заяц живет с тобой, не уходит в жисть свою прежнюю?

— Я сам, — говорю, — удивляюсь.

— А вот зверь — а с понятием. Он чует, что ты, Лисеич, любишь его, не погубишь, жалеешь. Вот что... Заметь — зверь малый расстался с волей для тебя, сердце его малое привязалось к дружбе, с человеком жить, что и собака...

— Но я кормлю его...

— Это не все. Вот и дед кормит его, более еще, без тебя-то. А он с тобой все. Знает, что ты его кормить велишь, хозяин ты, и обижать не дашь. Как дитя малое чувствует...

Заяц сидел на подоконнике. Он вдруг весь вытянулся, высоко поставил уши и слушал. Его светлые раскосые глаза настороженно застыли.

— Смотри-ка, заяц слушает, — говорю я Герасиму. — Не едет ли кто?

— Ишь ты, — подойдя к окну, сказал Герасим, — верно ведь: кто-то в ворота заворачивает. Это к тебе, Лисеич...

Посмотрев в окно, я увидел тарантас. В нем сидел человек небольшого роста, закутанный в шерстяной шарф, в котелке, — Валентин Александрович Серов.

Я встретил гостя у крыльца. Заяц прыгал, увидав знакомого, — Серов летом был у меня, написал этюд с зайца. Тот послушно ему позировал.

Валентин Александрович любил животных и хорошо их рисовал.

Герасим Дементьевич уговаривал нас пойти на охоту в порошу. Говорил:

— Теперь следы нахожены новые. Пойдемте. Тут на поле, к склону, к кустарникам, недалеко. Зайцы есть, залегли. Возьмем пару. Жаркое будет.

— Невозможно, я не могу, — сказал Валентин Александрович, показав на сидящего у него на руках зайца. — Застрелишь такого и будешь каяться. Ты, Константин, всю охоту испортил.

— Чего ведь это... — говорит, смеясь, Герасим, — это свой теперь, а те дикие.

— Нет, — говорит Серов, — не могу. Как-то неловко стрелять в таких. Смотри-ка — сидит, не уходит... Почему? Странно. А? Узнал меня!..

* * *

Года три тому назад в Париже, в магазине русских работ, художественной индустрии Елизаветой Михайловной Мухановой была сделана выставка картин русской живописи из частных собраний. Приглашенный в качестве участника, я накануне ее открытия был там и увидел, как с трогательным вниманием несколько незнакомых мне дам искали место — где бы повесить картину Серова «Заяц». Это был тот этюд, который Серов написал летом с моего зайца. Этюд поместили на стене в хорошо освещенном месте.

Когда окончилась развеска картин, мы с пожилой дамой вышли вместе из магазина. По дороге моя новая знакомая мне рассказала, что она и муж ее хорошо знали Валентина Александровича и что картина «Заяц» принадлежала им. Этюд этот висел у них в доме.

— А что же, — спросил я, — ваш супруг придет завтра на открытие?

— Нет, — ответила печально дама. — Его расстреляли в России...

Простившись со мной, дама спустилась в метро.

Идя домой, я вспоминал Серова, своего ручного зайца, осень позднюю, свой сад и дом — там, в стране родной... Вспомнил как давний сон... И подумал: «А зайца моего тоже, наверно, расстреляли».

Дурак

Грязной дорогой, поздней осенью, ехал я со станции с приятелем своим — драматическим артистом. Телега возчика кренилась дорогой из колеи в колею по проселкам. Колеса вязли в лужах. Далеко над лесами светилась узкая полоска осенней зари. Такая грусть...

Вез нас молча, закутанный в армяк, крестьянин — попутчик из соседней деревни.

— Ы-ы-ы... ну... — помыкал он лошаденку. — Трогай...

Лошадь стала.

— Вот, чего тут... — сказал возчик, — кака лошадь... старуха. Хорошу лошадь на войну взяли... сына тоже угнали... На кой ляд эта война-то пошла... — И он дергал вожжи. — Царь-то нешто не видит, как мужик живет. Поругались цари-то: отдай, говорит, твое царство. А нашему: отдай, говорит, твое... Ну, и пошло! Ну, значит,

теперь силком пошло — кто у кого отымет царство-то... А я осину спилил в казеннике, так меня лесничий застал, да три с полтиной штрафа... Вот тебе што. Три-то с полтиной у меня нету. А он, вот, лесничий-то, так и так меня. Чего, говорит, у самой дороги пилишь... А ведь вот не знает, как я ее — ежели из лесу — до дороги-то допру, с эдакой-то вот животиной... — показал он на лошадь. — Она и с дороги-то возьмет ли еще, не знаю...

— Ну, что же, штраф-то уплатил? — спросил я у мужика.

— Нет, у меня нету, пушай сажает. Только не посадит, попугает, помучает — боле ничего.

И опять мы ехали молча. Уж зорька потухала за далекими лесами.

— Да... эх, мать честная... — сказал крестьянин, спускаясь с пригорка, — ы-ы-ы... ну... сердешная, чего... От сына-то нет вести... Помер он аль жив, невесть... У меня было двенадцать рублей, так ему, когда пошел на войну, отдал десять, сахару на дорогу купили, чаю, чайник жестяной, иголки, нитку, пуговиц... А то как же, надо все... А три с полтиной теперя нету, как хошь. Ну, сажай, пусть сажает, отсижу... Я уж сидел, черт с ним, с анафемой. Да это не наш лесник-то, я на объездчика попал... Старается, себя показывает перед начальством... Анафема... Осину-то жалко, она сгниет — боле ничего. Эх, трогай, грех неровный... — понукал он лошаденку.

— Я тебе дам три с полтиной, — сказал я возчику.

Он как-то сразу повернулся весь, откинулся и посмотрел на меня серыми глазами с удивлением.

— Да ну? — сказал он, — вре... Правду дашь? — Он снял обеими рукавицами большую рваную шапку и поклонился. Помолчав, сказал: — Отдам, значит, теперь им, анафемам... Только осину мне не отдадут. А я уж лучше отсижу, пушай... Я на трешницу куплю опосля пяток эдаких-то. Надо мне — и печь подпереть, да и сзади кренит избу — не упала бы, вот что... Да я уж думал — пушай падает: сына угнали... Вот одно — внук есть. Старуха тоже... Жена сыновья ушла в работницы, внука жаль... Эх, ну, трогай, грех неровный... Скоро вот за мостом... дотягивай... Живот тоже — в чем душа держится... Отслужила, знать, службу, сердяга, едва идет...

У крыльца дома моего я отдал три с полтиной крестьянину и еще рублевку за подводу. Он пристально смотрел на деньги. Сначала прятал их в дырявую шапку, потом вынул, думал — куда спрятать. Запихал за голенище грязного сапога.

— Ну, ладно... — сказал он как-то тихо. — Вот што: я тебе, барин, возка три хворосту привезу. Оно немного — я знаю, но вот уж живот-то у меня... — показал он на лошадь, — плох... Вот кады снег подет, тады привезу, легче будет... Ты потерпи, недолго... сдел милость. Я-то пойду отсижу. А деньги... то-се надо... Внуку портки, лапотки, сахарку надо, чего-ничего, то-сё... Спасибо тебе, барин.

* * *

Вечером за чаем сидели у меня сосед мой, крестьянин, Феоктист Андреевич, приехавший со мной артист и слуга мой, Ленька. Феоктист сказал мне, что крестьянин, который привез меня, — Кузьма из Никольского.

— Версты четыре отселе... из деревни, бедный он, все сам через себя. Потому — с дурью он. Почитай, что полгода по каталажкам сидит. От дури... То за лес — ворует,

ума эстолько нет. Рубит у дороги, не хоронясь... Через лошадь свою все. Дерево выберет ядреное, а ей не сvezти... Сидит. Пилит, рубит дуром. В непогоду надо, в ночь, когда ветер воет. А он прямо вот... тихо, кругом слыxать. Прямо на виду. Дурак, значит, выходит, — куда ему! Ну и сидит... На станции жандару, — смеясь, говорил Феоктист, — жандару сказал: «Во, — говорит, — што. Царя, когда увидишь ежели, скажи, — говорит, — ему — полно воевать-то, на кой она ляд, война-то...» Ну что ж, его земской вызвал — ну, сидел в тюрьме, с месяц сидел. Видют — дурак, ну и отпустили.

— Ну что за охота говорить о дураках? Вот я приехал на охоту, — сказал мой приятель, артист, — хорошо бы узнать, где здесь водопой.

— Водопой? — переспросил Ленька, — какой водопой?

— Ну, какой водопой, ну, где лоси и олени здесь воду пьют.

— Ну, это неизвестно, — сказал я, — река здесь кругом и болота, ручьи... Много воды, кто ж их знает, где они пьют, где их водопой...

— Хороши охотники, — заметил, огорчась, артист. — А я был уверен, что на водопое возьму лося.

— Да ведь есть такое место, — сказал Феоктист.

— А где же? — спросил я.

— Да вот, — уверял Феоктист, — есть. Много про то я слыxал. Тут недалече, на Ремже, повыше мельницы, с версту отседа, не боле. Там, под кручей, видали лосев — по ночам пьют воду, мельник сказывал. Там лоси завсегда держутся... Глухо место, и днем нипочем не пролезешь, заросль такая и топь... беда. Там, в версте, лесник этот самый, что поймал Кузьму, живет. Вы знаете его, Кинстинтин Лисеич, вы у него картину списывали.

— Как же, знаю, — ответил я. — Андрей Иванович человек хороший.

— Пойдемте к нему, — предложил артист.

— Ночь тихая, — говорю я, — что ж, пойдемте.

* * *

Было еще не поздно. Мутная осенняя ночь, тишь кругом. Пахло сырým листом, землей, когда мы шли краем леса у речки. Сапоги вязли в разрыхленной тропинке. Темнели леса, потеряв покров листьев. Серое небо светилось в тучах, за которыми прятался месяц. За ветхим мостом через речку показался стеной большой темный лес. Широкий проселок поворачивал кверху, и лес все становился больше и больше. С краю его мы увидели огонек в доме лесничего.

Приветливо нас встретил Андрей Иванович, захопотала жена ставить самовар. К столу подали меду, лепешки, грибы.

— Вот рад! — говорил лесник.

— Мы к вам ночью норовили, — сказал артист, — слышал я, что здесь недалече водопой, лоси пить приходят.

— Есть, есть... — сказал лесник, — это точно. Только где ж — пройти туда невозможно. Топь. Пытали. Вот Казаков со станции тоже хотел лося стрелнуть. Нет, не подойдешь... он сам едва из топи живой ушел. Ведь там глубь какая... А вот лосям можно, они знают, как где прыгнуть. А где ж человеку до их... Я ведь видал, он чисто стрела махает; глядеть красиво: рога-то на спину кладет и летит — чисто птица. Ну, и краса...

— А я надеюсь пройти, — сказал актер. — Опасность — это моя стихия... Люблю жить на краю гибели.

Лесник посмотрел на него пристально и заметил:

— Барин, видать, что вы франтовой. Только нет, не пройтись и вам. Прямо нипочем — утянет. Там ступил — ну, и прощай, и нет тебя. Глубина...

— Андрей Иванович, — спросил я, — а что, Кузьма никольский осину, говорят, свистнул у тебя в лесу. А теперь, говорят, ему штраф.

— Э-э... кто тебе сказал? — удивился лесник.

— Да он сам, — говорю я.

— Эка дура, ах, ты Господи. Это ведь я его пужаю... Что с него взять? Завтра велью ему ее увезти. Чуден мужик... Да он и не мужик. Кровь-то его чья — невесть, он ведь из шпитального дома. Раздают оттеле детей-то по деревне... Незаконный. Чуден... У него и надела нет, все купи, арендуй, где ж справиться... А еще язык у него прямо вот вредный. Ведь это чего: пришел в Караш к попу: «Вот, — говорит, — ты, батюшка, грамотей, напиши письмо царю». А поп ему: «Что ты, царю писать?.. кто ты такой?.. нешто знатный...» А тот говорит: «Нет, я никакой, а вот, пиши, потому я, — говорит, — человек тожа его подданный, пиши ему — нешто войну вдет, потому што его обманывают все... Пуцай, — говорит, — сюды приезжает, дак я ему покажу — сколько земли порожней, и... счегу нет. На кой ему чужая земля нужна, когда со своей не управишься... вот на етой-то животине, што у меня. Што, напишешь?.. У меня сын был, а таперь, — говорит, — чужу землю забирать пошел...» Ну, вот, этакий человек, возьми его. Ну, опять сажали. Посидит — отпустят. Тут свидетели говорят тоже, что лес тащит. Не за лес ему влетает — язык больно долгий, вот что.

После чаю и беседы, взяв ружья, мы пошли с лесничим посмотреть то место, которое придумал мой приятель-артист, — водопой, где лоси. Ласково проглядывала сквозь облака полная луна. Какой-то печалью далекого края, обещанием и заманом тайным манила к себе дорога в темном лесу, в таинственных лучах сияния луны. Мы шли и в тихой ночи слышали шаги друг друга.

Лесничий остановился. Ниже под нами был сплошной и далеко идущий мутный лес, пропадающий во мгле дали. Тихо кругом. Мы стояли и слушали.

— Вот... — сказал тихо лесничий, — во-о-н, подале, где светится маленько... это и есть место...

— Пойдемте... — сказал артист.

Мы спускались с пригорка, между кустов и чащей зарослей и подошли к краю. Виден был кочкарник и кривые деревья ольхи. Шагнув вперед, артист упал на бок, поднялся. Я попробовал ногой — нога тонула между кочек.

— Не пройти... — сказал артист.

Мой слуга Ленька тоже пошел и свалился на кочку.

— Нет, не пройти, — сказал Ленька громко.

Вдали послышался треск... что-то шумело по воде, уносясь дальше и дальше.

— Слышь... — тихо сказал лесничий, — были... Слышь, лоси...

Мы слышали вдали треск сучьев. Настала тишина...

— Ушли... — сказал лесничий. — Ну-ка, вот ты и возьми их. Они тоже знают...

Северный край

За широкими полями, переходящими в бесконечные песочные отмели, серебрилось большое Кубенское озеро. Облака клубились над ним, освещаемые розовым вечерним солнцем. Белые чайки с криком носились надо мной, когда я подходил к озеру.

Тихий день. Озеро Кубено далеко уходило от ровного берега вдаль и сливалось на горизонте с небом. Широкое озеро. Вдали как бы посреди воды выступал метко, освещаясь солнцем, старый храм и ровно отражался в тихой глади озера. Такая красота! Далекий край. Россия... И какой дивной, несказанной мечтой был он в своем торжественном вещании тайн жизни...

Когда я подошел по ровному песку широкого пляжа к воде, мне показалось сразу — огромная глубина, бездна отраженных небес и облаков. А потом я увидел, что воды мало у края, мель, — песок пляжа далеко уходил в озеро.

Тихо. Озеро не колыхнет. «Искупаюсь», — подумал я. И, раздевшись, вошел в воду. Мелко. Я дальше — все мелко и мелко. Воды с вершок. Прошел чуть ли не версту, и воды было по колено.

Я лег и смотрел по поверхности воды. Это был какой-то другой мир, мир небес и тихой зеркальной воды.

В прозрачной воде, сбоку от себя, я увидел двух плывущих больших серебряных рыб, плывших друг за другом. Потом стайку маленькой рыбешки. Я был далеко от места, где разделся, и мне показалось, что озеро можно пройти по колено.

Одеваясь, я увидел, что по отмели пляжа перелетали кулики, и их острый крик веселил пустынный берег. Чайки, пролетая, как бы падали в воду, ударяясь о поверхность тихого озера и хватая маленькую рыбу.

В деревне, где я остановился, хозяин дома сказал мне, что точно, озеро мелко.

— В середине немного выше роста человека будет, а утонуть можно. Когда ветер гуляет — тонут рыбаки. Буря большая бывает. Вот по осени здесь охота, приезжай тады, и что утей... гусей, лебедяй... Берег-то вот чисто снегом крыт, что их сядет. Место привольное здесь, рыбы много, нельма вот хороша. Снетком тебя угощу, есть тут. Только подале снеток в Бел-озере скустей. Там его завод, самый что ни на есть снеток — там. То озеро — Белозерское — глубокое, и вода в нем другая — белая. Купцы московские или питерские возили с него, с Бел-озера, в бочках снеток-то, хотели его завести у себя в их озерах. Ан нет — он жить у них не хочет, а только вот в Бел-озере живет. Вот и возьми. Исстари цари московские любили снеток есть белозерский — в посту, да с блинами на Масленой. А то как бывает: весь снеток пропадет разом, и нет его. Уйдет, что ли, куда — никто не знает, невесть... Нет снетка. А глядишь — опять пришел, полно озеро. Вот. И куда уйдет — никто не знает. Воля здесь, простор... Я был разок в Москве, ну, что... духота! Удивлялся — и как народ там живет!.. Старый у нас монастырь-то стоит на озере. Видал. На камнях стоит и Каменный называется сам. Давно то было — князь Вологодский ушел от брата свово, и княжество свое брату отдал, и построил этот монастырь. И возлюбил народ князя того за жисть праведную. Позавидовал брат меньший, приезжал к нему на ладьях, одежи княжеские привозил в серебре-золоте. «Вернись, — говорит, — княжить со мною будешь... Чего, — говорит, — тебе монахом быть?..» А тот — нет. Зависть вошла к брату-то, за любовь народа, и послал он к князю злодеев лютых. Те в ночь

приехали на ладьях и ослепили князя-монаха... Выжил он. Грустил брат его, прощения просил, а тот ему сказал перед смертью: «Не я слепой, а ты. Ты не зрел красоты озера... Если бы ты видел красу его, то ты б не ослепил меня...»

— Охотник ты будешь, — сказал мне хозяин за обедом, — слышь, по ту сторону берег лесной. Ехал я по рыбе однаво, дак вот видел: вышла медведица... А я-то придулился в камыши и гляжу, ночь светлая, месяц светит, сети у меня заставлены. Я сижу и вижу, как медведица-то сваво пестуна купала. Чисто мать... Тихо-онько-то его в воду-то опускает да мурлычет, знать, говорит ему что-то. Тихо, по саму морду окунула, да и морду — с головкой-то, значит. Схватила его, да бегом. Ведь ты што думаешь — это она с его блох снимала. Дак знаешь — потом другого несет. Купала, а потом — что ль меня учуяла, стоит, держит их в лапах и нюхает. Замурлыкала и ушла.

— А что, — спросил я, — вина-то ты не пьешь?

— Редко, — ответил хозяин. — У нас-то ведь не пьют в доме вина-то.

Я говорю:

— Неужели? А как же?

— У нас нельзя при детях пить в доме. А кто выпить хочет — в кабак поди. Ну, и ходют кто. В кабаке выпьет перед обедом, а домой закусывать бежит. У нас бабы такие, дома пить не велят.

Женщины северных крестьян были строгие: они вели хозяйство и блюли дом, и никогда не брали в рот хмельного. В доме была чистота, дома большие, пол в горнице устлан цветными циновками. Крестьяне не спали на полу, и кухня была отдельно. Курить в доме тоже было нельзя, и я, со своими красками, кистями, холстами для живописи, как-то нарушил чистоту и порядок дома.

Познакомившись с деревней, с рыбаками, я с одним из них ездил лучить рыбу с остройгой. Он был ловок и бил остройгой нельму. Она похожа на белую семгу.

Крестьянин-рыбак однажды вечером сидел у меня. Пили чай. Он рассказал мне, что здесь исстари помнят, что сам царь Иван Васильевич Грозный езжать сюда, в Вологду, любил.

— На Москве-то тревоги много в жисти было... Татарей боялись. Проснется царь ночью — не спится, ну, и пойдет поглядеть с башни Ивана Святого, не идут ли орды татарские. Ну, и уезжал сюды к нам, на отдых. Сюды-то татаре не придут — далече. Да еще в те поря тут Аника-воин жил. И-их, здоров... Его ни пищаль, ни меч не брали, а он даст разá по уху — ну, и вся рать падает. Вот что... Это вон камни-то средь озера он наносил, где ноне Каменный монастырь-то стоит — на его камнях. Во сила была — Аника-воин.

— Ну, уж это ерунда... — говорю.

— Ну, вот. Вот и ты тоже маловер выходишь. Городские-то все такие...

— Говорят всякое такое... — сказал хозяин дома. — Вот зимой видать от меня-то, из окон, — по озеру путь идет. Рыбу везут, навагу, с Бела моря. Велик гуж. Держаться вместе норовит, чтоб не замерзнуть. По деревням греются, сбить пьют. Чаю-то допрежь не было. Сахару тоже. Патока с имбирем, варил дядя Симеон. Я помню — хороша патока была... Тута и ехали с гужом. А теперь в Архангельск гонют гужом ссыльных, это те, что в Бога не веруют, ученые. Неужто у вас в Москве эдакие-то есть? Мне такой один говорил: икона, говорит, не Бог. А ему Беляев и сказал: это верно, да только и купцы держут икону в лабазе и в лавке. Говорят: «Обману на-

учишься и мошенству, поглядишь на ее, икону-то, ну, и складней, не так уж берешь...» Она чего — не Бог, а помогает...

— Я на себе видал это самое, — продолжал рыбак. — Я это однова нажулил покупателя, цену загнул за рыбу, а он, как баран, уж деньги на стол кладет. Я этта деньги беру у его, а на меня Преподобный Савватий из иконостаса глядит. Вижу — серьезно таково глядит-то. И мне как под сердцем червяком вернет, я и сказал покупателю-то: «Ты лишок дал за рыбу-то...» А он потом говорил про меня: «Эк, рыбак, дура...» Вот ведь што...

В это время постучали в дверь, и вошел высокого роста молодой человек, сказав:

— Я к тебе, рыбачок, — не уступишь ли рыбы? Жена сюда прислала.

— Вот, — сказал рыбак, — сейчас с ним поедем, — показал он на меня. — Наловим, опосля приходи.

Садясь со мной в челн на озере, он, перебирая сети, сказал мне:

— Вот этот приходил-то — это самый ссыльный. Чудно глядеть... Парень — красавец, видал — рост какой... А вот в Бога не верит. И пошто это так войдет в человека?..

Взявшись за весла, он сильно ударил по воде, сказав:

— Ну, с Божьей помощью. Хорошо б стерлядку взять. В реку поедем, на ту сторону, там стерлядь двинская заходит.

Какая красота была на широкой, тихой реке, в ровных берегах, и вдали на отлогих возвышениях, как светящиеся точки, освещенные избы далеко раскинутых деревьев. Россия!.. Какая ширь!.. Какой красой лежат луга прибрежные, покрытые, осыпанные цветами! Какой запах трав, воды!..

— Гляди, — сказал рыбак, показав мне на кусты в заводи реки. — Гляди-ка, шест качает: это значит — зашло в сеть, рыба будет.

Пристально смотрю я. Над бегущей водой, светлой, как кристалл, летают тучами цветные стрекозы. Трухтаны с криком перелетают реку, и на отмели ходят, качаясь, большие кулики-сороки.

Тихо в челне плывет рыбак в заводину и подъезжает к краю шеста, от которого идет далеко поставленная сеть. Схватив сразу шест, он, быстро перебирая руками, втаскивает в лодку мокрую сеть. И я увидел завитую крючком, закутанную в сети большую рыбу, одну, другую... и много серебряных лещей.

— Вот, — сказал рыбак, — твое счастье. Гляди-ка, трех стерлядок взяли. Хороша рыба.

Поставя опять сеть и отъехав к берегу, рыбак набрал хворосту и разложил костер. В котелок, зачерпнув воды, он очистил стерлядь, насыпал соль и нарезал хлеба.

— Вот, попробуешь двинскую стерлядь. Ведь у вас-то, на Волге, стерлядь есть, да не та. У вас-то это шип, а стерлядь — вот тут.

Наступили сумерки, и в светлом небе загорелись звезды. Тихо было кругом. Приятель-рыбак сушился у костра и все угощал меня:

— Ну-ка, поешь еще стерлядки-то. Хороша.

Дожидаюсь опять вынимать сеть, лежа у костра на траве, рыбак сказал мне:

— Погляди, эка краса, звезды горят. И чего это? И сколько их, не сочтешь. А парень-то молодой, что приходил за рыбой, он говорит — Бога нет...

Метель

Метет метель. Зима. Белым-бело. Третий день нельзя носа высунуть на улицу. Легит с небес крупа, бьет в лицо, щиплет, колет. Приятели мои, охотники, приехали ко мне на охоту. И вот сидят в моем деревенском доме. Какая охота? Метель.

В доме тепло, горит камин, приятели как-то соскучились. В шести верстах от меня положена привада на волков, в моховом болоте.

Пскович Герасим Дементьев говорит, что «осемь волков по ночи ходят. А теперь, как знать, следу нету, не ушли бы...».

— Вот, — говорит приятель мой, охотник Павел Александрович, — странно как-то. В Москве не бывает так — метель такая. Как-то незаметно. А это тут — невозможно. Тоска.

— А вот вы знаете, метель эта что делает. Она закруживает человека. Вот как меня раз закрутила, — сказал другой мой приятель, Василий Сергеевич. — Сидел я раз на станции в Удомле, из Петербурга ехал. На Бологом замело путь — дальше поезд не идет. Я боком на Москву хотел пробраться по Рыбинской и на Удомле застрял. Ну, пассажиры сидят, дожидаются. Блондинка одна была такая, тоже поезда дожидается. Все познакомились. Блондинка такая веселая, носик кверху. А я молодой студент был из Академии художеств, из Петербурга, там архитектурный курс проходил. На Рождество в Москву ехал — домой к себе. Молодость, конечно. Вдруг она, блондинка, и говорит мне: «Село здесь рядом. Сходите, — говорит, — черт с ней, с метелью, что здесь сидеть? — наймите тройку, поедемте со мной в Рыбинск...» Ну, мы тройку, да и айда — всем кавалерам носы-то и наставили. И мамашу свою она оставила, уехала со мной. Весело было, как-то и метели не видно. До чего она мне нравилась!.. А как метель-то прошла, я на Москву в одну сторону, а она через Рыбинск. Приехал домой. Дом у отца в Москве у Печатников был, близ Сокольников. Рады были мне отец и мать. Устал я с дороги, рано спать лег. Проснулся дома. Утро так хорошо, Москва. Мать хлопочет, угощает... «Иди, — говорит, — чай пить — калачи горячие, баранки...» Я это умываюсь у ракушки — и вдруг... вспомнил блондинку. Сразу как-то в жар меня бросило. «Что я наделал, — думаю, — как быть?» Смотрю в окно: солнце, весело, палисадник, тени синие лежат на снегу от сада, и церковь Трех Святителей видна. Как-то сразу я вспомнил, что я ей говорил. Батюшки!.. обещал на ней жениться, когда в Москву приеду. И деньги ей дал на кольца обручальные, чтоб купила... Ее Александра Тимофеевна зовут, а фамилия как?.. Забыл... «Что я наделал, — думаю, — как метель меня закружила!.. Она ведь здесь, надо увидеть. Черт, лучше, чтоб не было!..»

И вот я поехал по адресу, нашел его в кармане, и что-то такое тяну из кармана: подвязка от ее чулок. Вспомнил — это я у ней выпросил на память. Подвязка голубая... Не знаю, отчего, меня опять как-то в холод ударило...

Приехал на Садовую, Фурманский переулок, кажется. Дом такой грязный. Спрашиваю дворника:

— Есть, — говорит, — такая, барин. Во — здесь во втором этаже лестница деревянная...

Дверь показалась. Постучал я в дверь. Отворяет она. Неодетая. Я вошел, и еще какая-то там лежит на диване и на меня смотрит. Вошел. Увидав меня, она хохочет. Я ее спрашиваю. Блондинку:

— Что ж, мамаша-то ваша приехала?

— Какая, — говорит, — мамаша?

— Как, — говорю, — какая? А которая в Удомле осталась.

— Это не мамаша, говорит, а так...

— Как же так, а что же?

— Смотри, — говорит она подруге своей, — мы с ним на тройке со станции в Рыбинск ездили. Любовь моя, — говорит, — жениться на мне, дурак, хочет. На кольца двадцать пять рублей дал. Студент!.. Думает, я пойду за него...

Другая смеется тоже.

— Жениться хочет... ха-ха... Эдаких-то у нас шематонов много.

— Подвязку мою взял, — говорит блондинка.

— Вот она. — Я вынул подвязку из кармана и отдаю ей.

— Ну, — говорит, — давай мне красненькую, я новые, розовые, куплю.

Я дал десять рублей. А она и говорит мне:

— Приходи сегодня на Тверскую вечером, в 10 часов, в булочную Филиппова.

А теперь ступай, нам некогда.

— Ну, что же, вероятно, вы были рады, что все так вышло? — спросил его мой приятель, гофмейстер.

— Да, — замылся Вася, — да, я был рад. А чего-то было и обидно.

— А на Тверскую-то ты, к Филиппову-то, пошел? — спросил его приятель мой, Коля Курин.

— Да, пошел. А она с каким-то толстым сидела за столиком. Здоровается со мной и говорит толстому: «Это мой жених». Тот — противная рожа такая — смеется. И что же говорит мне: «Позовете меня на свадьбу?» А потом встали, не простясь со мной, уехали.

Все приятели засмеялись.

Как-то хитро улыбнувшись и прихлебывая из стакана чай, охотник-пскович, крестьянин Герасим сказал:

— Это метелица метет, и в ней это самое есть: закруча, это верно. С пути сбивает. Был у нас на Покрове становой. Жил там. И вот такой что ни на есть становой — серьезный, строгий. И был он женат, и детей у него трое. Один в Ярославле учился. Только вот однова по дороге, что на Переславль лежит, значит, грабеж вышел. Ну, и смертоубивство тоже. Поехал он, а метель... Ну, на самое место происшествия был, глядел, составил, значит, протокол, и всякое такое — и назад домой. И вот его дорогой закрутило... Сбился с пути-дороги, а ночь наступила, да мороз. Он струхнул — не замерзнуть бы... Вдруг видит — огонек. Он туды. Выселки, глядит, всего три дома. А там одна вдова жила, из купчих женщина. Дородная такая, казовая. Он к ней заехал, и шабаш. Каждый день становой к ей ездил, и стан забыл, и семейство свое, службу потерял. Я знал его. Он тоже иной раз зимой по зайцам баловал. Так он мне и сказал:

— Герасим, — говорит, — ежели б не метель, я бы человеком был... А меня метель-то в те поря загнала к ей, ну, и шабаш. Жалею я. И что я теперь?.. Я вроде у ней как в холуях. Так меня и зовет: становой! Становой, съезди, дрова накопи, печь затопи, подмети... Вот что...

Сын его в Ярославле околачивается, прислугой при трактире Фролова. Видал его я. Отец ничего не дает и не едет. Вот она, как метель-то завертывает...

— Я сам, брат, раз, — сказал Коля Курин, посмотрев на меня, — на вдову попал. Не помню, метель, что ль, была, но знаете... черт-те што что было.

— А что же? — спрашивают приятеля.

— А то, что вот насилу живой ушел... Я так вот заехал, не я собственно, а кучер, за овсом заехали. А она меня — чай пить. Прямо говорит мне: «Какой вы, — говорит, — худой...» А она полная такая. «Мы, — говорит, — с вами крайности, а крайности всегда сходятся...»

Вдруг моя комната сразу осветилась. Золотые лучи солнца заблестали, ярко осветив ветви ели у окна. Все наскоро одевались, выбегая на крыльцо. Какой волшебной красотой горел в розовом сиянии запушенный снегами сад. Узорным кружевом опускались ветви клена у крыльца дома моего, и бирюзовое небо радостно сияло над занесенными избами деревни. Прошла метель... Как-то сразу веселей, по-другому.

Приятель Коля начал было рассказ про вдову.

— Ну, довольно, — сказал ему приятель Вася.

— Да, — подтвердил охотник гофмейстер, — рассказы эти, правда, похожи на метель. Что-то так закручивают неприятно...

Вся закутанная в платках, в полушубке, в комнату вошла тетенька Афросинья. В руках у нее, обернутый в салфетку, на большом блюде лежал пирог.

— Насилу дошла... — сказала она, — ишь, что снегу намело... Вот пирог горячий с грибами. Откушайте. Этка метель мела, и не запомнишь такой... Это што, конец света, думали, приходит. Эта радость — солнышко Божье глядит. Вот я пойду, стовлю вам уху...

* * *

Наступили сумерки. Над далекими лесами таинственно вышел месяц. Среди опущенных ветвей сада и больших елей он был каким-то молчаливым другом, задумчивым, приветливым и желанным.

Как прекрасны смены дней бегущих в стране моей родной... Как много в ней настроений, как сердечно поет природа ее душе моей, таинственным, несказанным очарованием.

Отряхая лыжи от снега, на крыльце мы увидели псковича Герасима Дементьевича. Все вышли к нему. Он посмотрел на нас, снял рукавицы, хлопнул одну о другую и сказал: — Волки ушедцы...

Железнодорожный случай

Давно это было, в дни беспечной младости. Мне один мой приятель рассказал про нечаянный случай из своей жизни, с ним происшедший, называя его железнодорожным случаем. Приятель мой Николай Петрович Собакин, которого прозывали мы просто Кокоша, был симпатичный молодой человек. Другие говорили про него «ничего себе, говорливый молодой человек». Он был брюнет, лицо такое веселое, черные усики, черные глазки, выражение несколько испуганное, ротик, когда говорил, дудочкой, несколько сюсюкал. Выражение лица было такое, что будто в чем-то оправдывался. Фигура стройная, подвижная. Когда говорил, то вынимал изящно длинными пальцами толстый серебряный портсигар с желтым шнуром и браво закуривал папиросу. Был он помощник присяжного поверенного, увлекался и часто влюблялся, как полагается молодым людям.

И вот однажды рассказал он нам, приятелям своим, что случилось с ним на железной дороге. «Такой железнодорожный случай», как сказал он нам.

Случилось то, что патрон его, присяжный поверенный, послал его из Москвы в Петербург по делу курьерским поездом. В вагоне поезда, в купе второго класса, он увидел, что рядом с его купе ехала очаровательная молодая пассажирка. В то время, когда кондуктор приготовлял в купе постели, Коля Собакин вышел в коридор вагона и увидел, что соседка по купе тоже вышла в коридор и смотрела в темное окно вагона, за которым была ночь и летели искры паровоза. Соседка, несмотря на позднюю осень, пыталась открыть окно. Оно не открывалось. Коля предложил услуги и помог открыть окно. По этому случаю соседка и Коля разговорились, но из другого купе вышла полная немолодая дама и тоже хотела открыть окно. Коля, как галантный кавалер, помог открыть окно и полной даме. Но Коля разговорился с первой молодой дамой, кстати ей попала искра от паровоза в волосы, и он тушил эту искру и сидел у ней в купе. Она рассказала ему, что эта ее поездка в Петербург последняя свободная, так как в Петербурге она выходит замуж за человека, и этот человек очень похож на него. Но что Коля Собакин веселый, так как ее жених очень серьезный человек.

В эти последние часы свободы вышло так, что она с Колей Собакиным в купе так разговорилась, что села к нему на колени, курила папиросы и целовалась с ним по случаю прощанья со свободой.

— Но она такая хорошенькая, — говорил Коля Собакин, — то есть прямо игрушка, как куколка.

Но на остановке у какой-то станции носильщик принес багаж в это купе, и вошла высокая старуха, занять второе место в купе. Коля Собакин ушел в свое купе, рядом. В своем купе Коля увидел, что над ним уже поместился пассажир на верхнем месте и спал. Коля Собакин лег не раздеваясь. В темноте он думал о своей знакомой очаровательной соседке.

— Я так влюбился, понимаете ли, — говорил он нам, — что все на свете забыл, и так страдал, что она выходит замуж. Лежу и думаю, — говорил он, — принесло это, черт, пассажирку, если б не она...

Долго думал Коля Собакин, спать не может, красавица-соседка не идет из головы. Случай такой редкий. Поезд летит. Остановится на станции и опять мчится. И думает Коля: «А что, если я тихонько открою дверь, наверно, эта старая пассажирка уж дрыхнет. Я тихо зайду в дверь, ох, как она нравится мне». И Коля, встав, вышел в коридор. Он тихонько открыл дверь соседнего купе и ползком, снизу, влез в купе. Она лежит. Он слышит ее дыхание. Темно. Он тихо говорит прямо ей в лицо:

— Я, я пришел, я сосед, милая, люблю, люблю, как я вас увидел, я уже любил.

— Кто вы? — спрашивает тихо лежащая.

— Я ваш сосед.

— Да, да, — шепчет лежащая, — я, да, помню, вы отворили окно, молодой человек, вы меня видели, вот, да, что же.

— Я так страдаю, — шепчет Коля.

— Успокойтесь, успокойтесь, зачем, вы так молоды и такой бедовый. Не бойтесь. Наверху — спит.

— Только, понимаете, я чувствую, что-то не то, — говорит Коля, — целую не то, руки какие-то толстые и голос что-то другой. Я думаю, что это спросонья, что ль. Нет. Батюшки! Да ведь это другая.

— Понимаете ли, — говорит нам Коля Собакин, — я не в то купе попал, насилу я от нее отделался, да к себе скорее. А она за мной: «Куда вы?», — говорит. Тут я увидел ее. Батюшки! думаю, это другая, ужас. Я закрываю купе, скорей, а она говорит: «А нет!.. Я не позволю... молодой человек... вы сами...» Я захлопнул скорее купе и запер.

Лежу да думаю: что делать? Она мне сделает сцену, когда в Петербург приеду. И при той. А там еще жених встречает. Лег я это, и сердце так колотится. Скверно себя чувствую. Думаю: вот что, вылезу на станции и поеду со следующим поездом. Жалко, ту не увижу, хотя она мне указала в Петербурге, кондитерскую, где ее можно видеть. Все равно жених встречать будет, недаром она говорила «кончатся дни моей свободы», верно говорила.

И Коля Собакин встал, выпустил воздух из дорожной подушки, которая называлась почему-то «думка», положил ее в свой чемодан, надел калоши, пальто. И, как только поезд подошел к станции, он спустился со ступеньки вагона на платформу, увидел толстую даму, которая закричала ему: «Куда?» Коля Собакин бегом бежал по перрону на станцию. Там заспанный буфетчик посмотрел на него. Коля выбежал со станции, видит площадь, стоит извозчик, спит, он к нему, говорит:

— Вези меня в гостиницу.

— Вам в какую?

— Это Тверь? — спросил Коля.

— Чего — Тверь, ишь ты. Это Волочек. А вам в Тверь? Чего вы!..

— Поезжай скорей в гостиницу, — приказывает Коля.

— Тута петербургские номера есть, али Кукуевские?

— Все равно, поезжай скорей.

— Чего вы, барин, Тверь говорите, может, вы деньги не отдадите?

— Сколько?

— До ей, почитай, версты с две. Надо два-то рублика, с вашей милости. Ночное время.

— Хорошо, вези.

— Давайте деньги вперед.

Коля вынимал деньги.

— Скорей, — кричал он извозчику.

— Прибавить надо будет, барин.

— Скорей, прибавлю, — горячился Коля.

Ехав, он глядел назад, никто не ехал за ним. «О, Боже, — говорил Коля, — надо же мне было попасть в другое купе, вот уж не везет-то».

Ночь была холодная, руки озябли, мороз. Кругом покрыто белым инеем. Лезет Коля в карман, нет перчаток, в боковом кармане что-то жесткое, достал молоточек, чем выстукивает доктор. Думает, что такое, кто это ему положил? Должно быть, в Москве. Паспорт тоже, темненький, это его.

В Кукуевской гостинице заспанный коридорный отвел ему номер и спросил паспорт. Коля приказал его разбудить в восемь часов утра. В восемь утра коридорный разбудил Колю Собакина, подал самовар, баранки, и на подносе, около стакана, лежал Колин паспорт, в темном, рябинкой, переплете. Коля посмотрел паспорт и ахнул. Написано в паспорте: доктор Сергей Николаевич Голубков. Коля бросился к пальто: похоже, барашковый воротник, синеватое, как у него. «Ах, — думает Коля, —

Боже, что же это такое!» В это время кто-то постучал в дверь, и вошел полицейский пристав. Коля Собакин несколько растерялся.

— Будьте так добры, доктор, — говорит пристав, — у нас тут нет, почитай, докторов, есть один, ничего, да в отъезде. Я по соседству здесь живу. Окажите такое одолжение. Жена заболела, кашель. Посмотрите, рядом живу. Сделайте милость. Паспорт я ваш прописывал, вижу, доктор. Вот, думаю, обращусь. Помогите, прошу.

«Я прямо не знаю, как быть, думаю, латынь я учил. Пойдемте, — говорю, сам думаю, молоточек у меня есть, буду слушать».

Больная такая худая женщина. Ну, я ее стучаю молоточком. Говорю так, нарочно, важно: «Ничего особенного».

А муж, пристав, уж приготовил чернила, бумагу, лекарства прописывать — рецепт. «Черт-те что», — думаю и вспомнил я, принимал гимназистом кали броматум, аква дистиллятум и — прописал. Он мне рублевку сует. Я говорю, не беру. Пришел в гостиницу, взял чемодан да на вокзал. Приехал, вижу, какой-то поезд отходит. Носильщик говорит: «Видно, барин, опоздали». — «Опоздал», — говорю.

— А когда поезд на Петербург идет?

— Долго, — говорит, — вечером. Вы, знать, Малюхин будете?

— А что? — говорю я.

— Ваши-то все уехали на Осеченку, на охоту с собаками, говорили мне, что ежели приедет Малюхин, посади его до Осеченки, на товарный. Вот сейчас товарный пойдет, так я вас устрою.

— Ладно, — говорю, — все равно, с Осеченки я уеду до Петербурга.

Взяв мой чемодан, он понес его на платформу. Кондуктор посадил меня в вагон товарного поезда. Когда я вылез на первой же станции Осеченка, то увидел, что станция маленькая, сзади идет большой лес. Ко мне подходит возчик с кнутом.

— Пожалуйста, барин, — говорит. — Вы, знать, к Ялычеву на охоту приехали.

— Да, — говорю, — только скажи-ка, любезный, когда поезд на Петербург идет?

— Прошли поезда-то, теперь ночью пойдет.

— А на Москву?

— А на Москву-то в шесть часов.

— Вот, — говорю я, — скажите Ялычеву, что я телеграмму получил, нужно ехать мне дальше.

— Ладно, — говорит, — барин, на чаек бы с вас, я ведь ждал.

Дал я ему на чай.

Долго дожидался поезда. Взял билет на Москву и сел в вагон, когда подошел поезд. Сажу я в купе второго класса, против меня такой, с проседью, симпатичный человек, закурил папиросу, посмотрел на меня и сказал:

— Вот я вчера ехал в Петербург, с курьерским, какие жулики бывают. Или растяпы. Я, понимаете, спал, а пассажир, сосед, мое пальто надел и ушел. Вот на этой станции, кондуктор говорил. Главное, у меня паспорт в кармане был.

«Вот, — думаю я, — черт, что!» Батюшки! а пальто-то его на мне надето. И мое висит тут, рядом. А сосед говорит:

— Далеко еще до Москвы-то. Вздремнуть надо. Хорошо, — говорит, — просторно, одни едем.

Лег он и спит, всхрипнул. Я пальто его снял. Оставил паспорт его в кармане. Надел свое пальто, взял чемодан и тихонько вышел из купе и сел в другое. Место было свободное.

— Ну и что же, все так и кончилось? — спросили мы Колю Собакина.

— Нет! — сказал Коля — Это еще не все.

Жена доктора Голубкова, которой муж рассказал чудесный случай с его пальто, на другой день была сама не своя. Ну, женщина, конечно. «Вы, — говорит она мужу, — изволили в Петербурге быть, да?!» Доктор удивился тону супруги. «В Петербурге, а что?» — «Вы лжец! Я несчастная!» — упала в истерику, как полагается. Доктор не понимал, в чем дело, а жена ему кричала: «Лжец, лжец!» А у него прием, больные, он в отчаянии. Жена уехала с дочерью к своей мамаше. Написала ему, что он скрыл от нее, что был в Волочке. В паспорте отмечено. Доктор был поражен. Ездил в Волочек, узнал у пристава, что был у него доктор Голубков, хвалил ему доктора пристав. Говорил: «Вот доктор, вот доктор, лекарство такое, кали броматум, что болезнь как рукой сняло».

— Как же это ты, Кокоша, все узнал? — удивились мы.

— Узнал, да я лечился у него — так расстроился, пришел к нему и рассказал все. Он был рад, жена — тоже, только удивлялся: как это кали броматум от кашля помогло.

Мороз

— Ну и мороз сегодня, — ставя на стол самовар, говорит тетенька Афросинья.

К утру в деревенской моей мастерской — холодно. Окна сплошь в узорах мороза. В них ничего и не видно. Я лежу, смотрю на стекла. Какой художник — мороз! Горы, леса. Вставать как-то не хочется. Слышу запах дыма. В комнате рядом, в мастерской, приятель, Василий Сергеевич, кричит:

— Эк дыму напустил Ленька!

Слуга Ленька медленно так говорит:

— Дым не идет в трубу что-то, от морозу, должно быть.

Я наскоро одеваюсь, иду в мастерскую, дым. Приятели мои еще лежат на тахтах и молча смотрят. Приятель Вася, в егерской фуфайке, сует в камин газеты. Они пылают, а дым идет назад из камина. Он, кашляя, отскакивает. Приятели мои, Сучков и Юрий Сергеевич, мигая от дыма, встают и молча одеваются.

— Камин ваш... ни к черту! — говорит Павел Александрович, надевая пенсне и глядя на камин.

— Камин я делал! — говорит Василий Сергеевич.

— Колено, должно быть, сломалось в трубе, — говорю я.

— Колено сломалось! — повторяет приятель Вася Кузнецов. — Нет, уж простите, колено сломаться не может. С кем вы разговариваете, вы с архитектором разговариваете, да-с. Вот видите, прогрело сейчас трубу, вот дым уж и вытягивает. Я-то знаю-с. Это значит — мороз за сорок градусов, вот что-с. Вы с архитектором разговариваете, да-с.

Приятель мой, архитектор Вася, человек огромного роста, с красной физиономией. Он говорил все так серьезно и деловито, потом, взяв с гвоздя полотенце, пошел в коридор умываться.

В комнате все еще стоял дым. Хотели открыть форточки — невозможно.

— Заиндело... — сказал Ленька.

Отворили дверь в коридор, и все, взяв полотенца, простыни, махали ими, выгоняя дым в коридор. Тетенька Афросинья, ставя на стол олады, вздыхая, говорила:

— Эх, и мороз... и-и-и!.. Лиха зима! Куры бы не померзли. Дедушка их на кухню перетаскивает, рады сердешные... Петух молодой, знать, намерз, все головой трясет.

Я и Юрий Сахновский пошли посмотреть на кур. Куры тихо сидели в комнате сторожа-дедушки, нахохлясь, а дедушка, как-то серьезно посмотрев на Юрия Сергеевича, сказал:

— В эдакую стужу надоть киндарь-бальзам пить. От морозу всегда пил его, и купцы в Нижнем пили все, и в дорогу брали с собой, чтоб не смерзнуть.

* * *

Утро. Сквозь морозные окна, во мгле, блестят желтые лучи солнца. Как-то хорошо в комнате. Самовар, трещат дрова в камине, чай со сливками. Лица у моих приятелей свежие, розовые, как херувимы восковые, которых вешают на рождественскую елку. Но почему-то все такие серьезные.

Медленно говорит Ленька:

— Серега Кольцов в такой мороз приехал со станции. Вот мороз тоже был... У него уши отмерзли и раскрошились, как баранки, а потом летом выросли опять.

— Ну и врешь, — сказал доктор Иван Иванович серьезно.

— Нет, правда. Я сам видел. Только уши были поменьше уж...

— Во-первых, не уши, а уши, — сказал Иван Иванович серьезно.

— Ну, довольно этого вздора, нужно подумать, что же в такой мороз — никакой охоты! — задумавшись, сказал Павел Александрович, глядя в окно.

— Вороны на лету замерзают... — процедил Ленька протяжно.

— Опять ерунда, тогда бы ворон не было, — заметил серьезно Василий Сергеевич. — Вот градусник у вас замерз. Это ты его испортил, — сказал он, глядя на Леньку.

— Чего ж, вы сами его велели кипятком полить — он и лопнул...

— Ух, ты, ну и стужа... — потирая руки, говорит, входя, Герасим Дементьевич — деревенский охотник. — Во, и мороз... А ловко на лыжах, прямо сами едут... Гладь... крепко, снег ровный.

— Герасим! — обрадовались мы. — Садись, — говорим.

— Подлей ему в чай коньяку, озяб, поди. Как же это ты пришел?

— Узнал, — говорит Герасим, — со станции сказывали, что приехали вы. Думал, пойду. Теперь вот погреюсь, ну и пойдёмте, Пал Лександрыч, вот за край мохового болота. Сейчас заяц крепко лежит, в мороз-то близко подпускает. Вся тетерея теперь в снегу сидит, прямо на лыжах на ее наедешь... В снегу сидит — греется. В снегу-то тепло...

— Верно, — говорю я, — тетерева в снег зарылись глубоко. Не мерзнут там.

* * *

Лес был покрыт густым инеем. Тишина. Какое-то особенное царство мороза. Узоры ветвей четко белели кружевом, выделяясь ровно на синем небе. Синие тени ложились от нас по белым снегам, когда мы шли краем лесных релок. Впереди Герасим

идет по следу и останавливается, поднимает руку. Мы подходим к нему. Он тихо говорит нам: «Петля... расходись...» И только мы отошли на лыжах, Герасим крикнул: «Береги!...» Раздались выстрелы, и я увидел, как мелькнул заяц и пропал под горкой сугроба. Герасим быстро шел и, наклонясь в кустах, поднял зайца.

Я как-то сразу вспомнил моего ручного зайца, и стало грустно среди ледяного покрова снежного царства. Что-то есть, должно быть, совесть, что ли, только я шел дальше с приятелями, и еще поднимались зайцы и опрометью бежали от нас. И я выстрелил нарочно мимо...

— Эх, упустил, Лисеич, — крикнул Герасим. — Прямо вот в руках был, чего это ты?

Я помалкивал. У зарослей, покрытых инеем, среди глухих зарослей леса, из-под ног у самых лыж приятеля Васи вылетел черныш. От удивления он крикнул: «Черт!» — и выстрелил. Видно было, как вдали над лесом черным пятном летел тетерев.

— Глядь, у тебя ухо-то бело чего-то, — сказал Герасим Василию Сергеевичу.

Тот тер рукой ухо.

— Снегом надо... Ты смотри.

— Больно что-то, — сказал Василий Сергеевич, растирая снегом ухо.

— Три, три, — говорили ему.

— Не бойся, — смеялся Павел Сучков. — Ухи новые вырастут.

— Ну, довольно этих шуток, — завязывая шарфом уши, сказал Василий Сергеевич. — Холодно.

Герасим, наклонясь, смотрел на снег и, подняв палец, тихо шел к нам. Лицо его выражало напряжение. Подойдя, тихо, шепотом, сказал:

— Лоси... только прошли...

В мертвой тишине вдали был слышен легкий треск, точно кастаньеты щелкают.

— Шесть лосев... — сказал Герасим.

— Хороши охотнички, — вздохнул Василий Сергеевич, — пуль-то не взяли. Дурачье!.. Наши бы были...

— Наши-то не наши, — смеясь, сказал Герасим. — Да... поди-ка за ними. Они тебя угонят, домой не придешь... Ветер нужен. Без ветра-то и не подойдешь... в службу такую. Нешто за лосем пойдешь...

* * *

Голубело кругом, когда мы возвращались домой новой дорогой. Розовела даль. Дремали леса в сумерках зимнего вечера, в сказке окружающей зимы был таинственный заман. Мы все холодели и стучали себя рукавицами.

— А вот, может быть, смерть от мороза не страшна, — сказал Иван Иванович. — Кто знает? Есть что-то: замерзающий засыпает.

— Верно, — подтвердил Василий Сергеевич. — Я чувствовал, когда лосей слушали, как-то ко сну клонило.

— Слышь-ка, — сказал Герасим, — надо влево брать. Теперь заплутать не дай Бог. Мороз-то тоже заводит, ему тоже заморозить кого охота. Ух, зол мороз.

— Недурно... — сказал Павел Александрович, спускаясь круто вниз. — Э-э-х, — зевнул он. — Правда, что-то тянет на сон.

— Сон-сон-сон... — повторило эхо по оврагу.

— Слышь, стой! — сказал Герасим. — Это да, дороги-то нет. Замело. Глубокие Ямы. Эва, куда зашли. Река справа. Идем сюда, я теперь знаю. Идем.

И он ускорил шаги, поднимаясь по оврагу. Когда показалась деревня, Герасим остановился, посмотрел на нас и, оскалив ровные белые зубы, засмеялся.

— Чего ты? — спрашиваю я.

— Ну и страху взял я. Вот прямо застыл весь... Я ведь более часу шел — иде, не знаю. Думаю: батюшки, заплутали. Сразу в голову ударило: пропали! Вам не сказал. Мороз какой. Ты заметь, как идешь, а тебя в дрему тянет, отдохнуть бы, прилечь. Совет... Вечер, краса какая! Я знаю — это он, мороз, зазывает к себе.

За сугробами угрюмо, покрытые снегом, как глаза, светились окна в темных избах деревни, освещенные тускло огоньком. Они, как старухи в белых платках, смотрели из-за бугра. Приветливо было в доме моем, когда мы пришли. Человеку нужен дом, человеку нужна дружба, друзья.

— Теперь бы вот тоже, — сказал дедушка-сторож, — киндарь-бальзам, в стужу-то пить. От простуды... Я-то, когда при капитале был, его завсегда пил... Нету лучше киндарь-бальзаму... Выпьешь, такая мягкость в тебя войдет, будто и костей нет... Бывало, молодой кады был, — впустишь стаканчик в нутро. Грехи!.. Кругом девчаты в глазах, прямо винтом вертят... — засмеялся дед, уходя.

Под праздник

Колокольный звон разносится над Москвой. Обедня поздняя. В окно из моей мастерской виден Кремль. Река Москва покрыта белой пеленой снега. Розовеют в морозном воздухе башни и соборы кремлевские. Зима. Так бодро и весело светит зимнее солнце. По Москворецкому мосту едут сани, розвальни; на них навалены зеленые елки. Это к празднику Рождества Христова. Ко мне пришли мастера-работчие из декоративной мастерской Императорских театров, пришли прощаться — уезжают в отпуск на праздники, на Святки. Едут в деревню, к себе домой; в новых «спинжаках», сапоги новые с набором и при кожаных калошах. Такие молодцеватые, причесанные на пробор маслом. Я думаю: «Туда едут, где растут эти елки, в деревню...» Охота вспомнилась душе.

— Как, — спрашиваю, — Василий Харитонов, что у вас там, зимою есть волки?

— Бывают... — отвечает Василий медленно.

— Э-э... чего, — говорит другой, — он коломенской... Волки — это у нас. Мы — рязанские, у нас и-и-и... волков во много. Прямо по деревне зимой бегают...

— Хорошо у вас в деревне, — говорю я. — Лучше, чем в Москве.

— Недолго ежели, — говорит мастер, — ну, ничего. А то скушно в деревне, серо. Где ж до Москвы... Чего там... Приедешь домой, свои значит, родные. Ну рад — отец, мать, сестра. Вот говоришь им — театр, значит, ну, то-сё, служба. Конечно, говоришь, представления идут кажинную ночь, опера. Спрашивают, как кто жалованье получает. Ну, скажешь. Есть такие — тыщу рублей в месяц... Ну хоша взять вот Шаляпина. — Не верют. Ну, тут хоть божись, нипочем не поверют. А спросят — платит-то кто им? Ну скажешь: казна али царь. Ну и шабаш: больше и слушать не станут.

— Это верно, — сказал Василий Харитонович, смеясь. — Вот, — говорит, — ежели что, вот артист значит, поет али пляшет, а еще ежели танцовщица, сказать, то получает жалованье этакое большое, то спрашивают — за что? Ну, гово-

ришь, за его самое — поет, пляшет. — Вот сердчают. Нешто за это платют, говорят... и пойдет. Одного разá меня бить хотели, ей, ей... Деревня-то серая дура, где ж, чего там...

— Верно, — сказал рязанский парень. — Это самое, верно. У меня сестра приезжала, значит, в Москву да гостила у меня неделю. Ну, это самое... приехала, значит, назад домой да девкам нашим и рассказала, значит: балет она глядела в Москве-то. Я ее на колосниках на сцене пристроил. Глядела. Ну, значит, это самое... она в сарае нашим-то девкам в деревне и показала, как в балете-то ноги заголяют. И-и-и, что было! Узнали это самое, ну и за волосья поучили — отец и мать. Поучили хорошо... Бросили девки эдак-то плясать... А то бы...

— Конечно, в деревне без понятиев, там это самое ни к чему... — сказал равнодушно Василий Харитонович.

— Действительно, — подтвердил рязанский. — Господ там нет, купцов тоже, и капитал какой? Нет эдакого-то, что в Москве.

— Ну, а если вот как балерина так затанцует, как наши, то понравится же им?

— Убьют! — сказал Василий Харитонович, равнодушно смотря в окно.

— Да что ты, за что? — удивился я.

— Кто знает. Может, и так сойдет, а то неровен час...

* * *

Быстро бегут санки извозчика. Ровный путь. Блестит на солнце заледенелая Красная площадь. Едучи в Большой театр, я остановился у ресторана «Петергоф». Рядом университет. За соседним столом — двое студентов и какой-то лохматый человек в пенсне. Графины водки, пиво. Студент с рыжими волосами в форменной тужурке держит на вилке соленый огурец. Мрачно выпивает рюмку и говорит лохматому человеку:

— Вот огурец. Да, огурец. Ну, априори — что такое огурец. Ну, вот и молчишь, а Этьен сказал, что безразличие есть обман. Да, обман. Ну, момент несознания... Вообще, так...

— Струбентунус волевой любви... — несет чепуху лохматый человек, — и ну ее к черту! — Он выпивает залпом рюмку водки и тыкает вилкой в селедку.

— И я говорю, понимаешь. — Если Наташка не придет завтра, то к черту ее! Викторovich прав, брат, прав. Денег у него ни копыя и сидит в Ляпнике. Я дал ему свое пальто — пошел он к тетке: дала двугривенный, и все тут. А Буханов и Курчевский это, брат, белая подкладка... Сволочь!.. Философия права, а? Как тебе это понравится, а? Филососфия? Какого права? Никакого права нет. Что такое право?.. А Наташа — дура, конечно. А этот... как его... ну, черт... как его...

— Да кто? — строго подняв лохматую голову, спрашивает его сосед.

— Медик... — сказал другой студент, — скотина! Как забастовка, он лю-лю — домой. Сволочь!

— Всякая мораль, понимаешь, мораль — противна христианству. Подумай, что будет с этикой, моралью, когда не будет греха... Ну, все к черту, и никаких испанцев. Ну, когда мир честен, высок, достижения, все идеалы налицо, прямо вот как поджаренный, готовый, вот как эта колбаса... Ну, юриспруденция тогда к черту. А юридический факультет зачем?.. Ха-ха. Пуф.

— Верно, — выпив рюмку водки, сказала лохматая голова.

— И, вообще, есть только энергия и больше ничего, — отчеканил, выпивая рюмку водки, другой сосед.

— Наташе я еще покажу!.. — выпив рюмку, мрачно и тупо сказал его приятель.

— Ты куда, куда стремишься, лекарь-девушка, вперед... — запел студент.

— Довольно! — орали вокруг.

— Я, брат, Сакья Муни, — раздавался чей-то голос в общем шуме. — Будда я, брат, вот что. Знаешь, мне кто ни говори, я того начисто сшибаю, какую хочешь мне истину подноси, я ее в два счета, от руки... и ее нет. Расчеховшу что хочешь. Вот, смотри, видишь, я наливаю стакан, видишь. И пью... — Нирвана. Понял. Нирвана.

В ресторан вошли три студента. Один с красной физиономией. Голубые хитрые глаза его улыбались.

— Что вы, черти, опять напились? — спросил он.

— Да... напились. А как же... Как жить?.. Страдать?.. Ни свободы, ни прогресса... Жить так нельзя!..

...Выпьем мы за того,
Кто «Что делать?» писал...

— запел студент.

— Довольно, — кричали студенты, — молчи. Педеля идет...

Иду Охотным рядом. Хрустит снег под ногами. Лица у прохожих румяные. Мороз. Усы и бороды в инее. Обыватели, закутанные в шубы, женщины в платках едут на извозчиках. Перед Рождеством оживает Москва — готовится к празднику.

В Охотном ряду кипит работа у купцов. Как дрова, навалены, лежат мороженые поросята, свиные туши, судаки, осетры, севрюга, белуга, навага в больших корзинах. На прилавках семга, белорыбица, балыки. В бочках и большими крутами лежит черная икра — паюсная, салфеточная, в огромных мисках — зернистая. Пучками разносчики проносят рябчиков, уток, гусей. Большие бочки с солеными грибами — рыжиками, груздями. Огурцы, огурчики маринованные, капуста кочанная, моченые яблоки, вишня, дули сухие, дули моченые, меды сотовые, пряники, целые ушаты сметаны, творогу, сыр. Мясники в больших фартуках, побрякивая, рубят топорами мясо, солонину, свинину, баранину, белугу и бросают на весы. Репа, брюква, капуста, свекла, морковь... навалены в корзинах.

— Снетки-и-и белозерские, — кричат купцы, — сельди переяславские копченые, селедка голландская, белорыбицы.

— Пыжалте, — кричат молодцы-приказчики, — севрюжка свежая, икра первый сорт, сам бы ел, да деньги нужны... Пжалте, барышня.

— Пельсины-лимо-о-ны... хороши.

Идет торговля. Подъезжают, заворачивают на санях к Охотному ряду, обыватели; городовые, околоточные, с серыми, как пуговицы, глазами, околоточные нарядные — прислужники тирании, покрикивают на кучеров: «Держи право. Который, куда прешь. Держи...» Вороны, галки кружатся в морозном дне над Охотным рядом, садясь на лавки, и подбирают крошки от людского довольства.

— Поросеночка! — кричит купец, — барыня, пожалте. — Не поросенок — сметана, глядит, улыбается.

— Ветчина тамбовская, стерлядь живая, двинская... — Идет торг, покрикивают купцы, бьют в ладоши — греются. — Пжалуйте яблоко-Рязань, клюква морожена, орехи грецкие, халва-а-а... Шпанские каленые, мериканские, кедровые...

— Зайцы свежие... — кричит с другой стороны, — глухари, куропатки, индюшки паровые, пулярки...

— Масло сливочное, головизна, яблочки крымские, виноград, корюшка, студень говяжий, расстегаи с грибами, с рыбою.

Трудно и вспомнить все то, что кричали кругом купцы-лавочники, проходя Охотный ряд. В лавках по ряду, с глубокими внутри проходами, заваленными всякой снедью, перед большими иконами в кованных ризах, горели цветные лампы угодникам Божьим. Какой Россией, жизнью, бытом русским шумел Охотный ряд... Что-то нужное, настоящее было в нем. И где я ни был — в разных странах, в больших городах Европы — тоже везде было похоже на Охотный ряд: рынки. Но не было так обильно, и почему-то я любил смотреть на них... так мне нравилась вся эта смесь, рыбы, овощи... И мне всегда хотелось писать их красками на холстах. Я покупал на праздник целую бельевую корзину всякой всячины и отправлял в деревню, угощал приезжающих приятелей; крестьяне, соседи, так любили есть сушеных судаков.

А приятели-артисты кушали ботвинью с балыком и белорыбицей. Но такого печеного хлеба, какой пекла тетушка Афросинья, и пироги с грибами — с груздями, не было нигде. Перед ними не годились Егоровские расстегаи.

Надо это было все ценить — всю эту былую обильную жизнь. Ценили мало — может быть, теперь только мы оценили...

Заря

Много зеленых елок было в моем саду.

Зима. Сумрачно. Злые тучи синеют в сумерках над угрюмым лесом. Спит в тиши заколдованное царство лесное. Среди опущенных ветвей, занесенных снегом, приветливо проглядывает красная вечерняя заря. В ее замирающем свете — тайная надежда и печаль, как будто она хранит в себе там, где-то, за далью лесной, самое нужное сердцу — таинственное недостижимое счастье...

— Слышь, Кискинтин Лисеич, — говорит мне дед-сторож, стоя на крыльце дома моего в деревне. — Слышь, у Некрасихи бубенцы звенят. Знать, с горы съезжают. Это к тебе едут гости.

— А что ж, ты рад гостям-то? — спрашиваю я деда.

— Да как же, праздник ведь завтра эдакой большой. Господи, помилуй. Ведь я все тут один живу, рад теперь, давно один, всякому человеку рад. Вот без тебя когда — долго вечер зимний... Сидишь, ну, поговоришь с собакой, вот заяц наш, все же рад и им, не один как-то, живая тварь около. Тоже и им скушно без тебя. Баран вот — ну, это дурак точно, во дурак. В ём нету это самое... не чувствует он любви никакой. Жрать бы да бодаться, боле ничего. А собака, ну... собака тебя жалеет, что вот человек добрый. И заяц тоже понимает долю одинокую... Слышь, вот едут, уж у сарая. Самовар готов, к столу понесу. Поди, озябли дорогой гости-то...

Бодро въезжают в ворота подводы-розвальни. На синем снегу вечера видны темными силуэтами закутанные в шубы приятели.

Боюсь, надоел я читателю своими приятелями-охотниками. А их уж нет, но они все еще живы в моем воспоминании, так же, как и мой дом деревенский, далеко отсюда... Одиноким дом, стоящий у леса и реки... Цел ли он?

Весело смеясь, вылезают друзья-охотники из саней.

— Как я рад, что опять приехали сюда к вам, никогда не была зимой так далеко... — говорит немец Андрей Иванович — рыболов и охотник.

— Да, приехали — почему, непонятно. От праздников, из Москвы, к вам. Почему такое? Вот тянет в деревню к вам — неизвестно почему. Теперь не лето, снег, глушь — а тянет, — смеясь, радуется Василий Сергеевич. — Какая штука оказывается, странно штука. Вот у нас у всех — жены. Юрий-то холостой. И все они рады, что мы уехали на праздник. Вот вам... Ни одна не сказала: «Зачем едешь от праздника?» Особенно рада была Колькина Анфиса, прямо мне сказала: «Увезите его, пожалуйста, на охоту подальше».

— Вот врет-то... — возмутился Николай Васильевич Хитров. — Ничего подобного. Врет, и не говорила вовсе она «на охоту», так как я не охотник, и не говорила «подальше» — все врет.

— Моя жена тоже очень рад, когда я на охоту езжу, — сказал Андрей Иванович.

Охотники расположились за чайным столом. Завтра праздник Рождества Христова, сегодня постный день. А на кухне слуга мой Алексей разбирает с тетушкой Афросиньей провизию. Вынимает из кульков гуся, белорыбицу, а поросенок и окорок ветчины, покрытый толстым тестом, печется в печке, и композитор Юрий Сергеевич дает советы, как и что жарить, сам смотрит и пробует — поспело ли. А водка и вина заперты наглухо...

— Отчего это, — спрашиваю я, — женщины не любят зимой деревни? Так хорошо здесь — праздник, тишина...

— Нет, нет, они терпеть этого не могут... Зима, говорят, — так скучно... — сказал Андрей Иванович. — Если бы лето, ну, другое дело. А то мой жена ни за что не поедет. Летом на даче хорошо — музыка играет и лодка катается по реке, дорожки ровны — гулять хорошо. А тут, ничего, говорят, нет хорошего — только мужики.

— Разве женщину понять возможно? — говорит Василий Сергеевич. И добавляет, смеясь:

— А может, они нам всем на праздник там рожки ставят...

— Нет, это я не поверю, — засмеялся Андрей Иванович. — Я когда молодой бывал, то тоже подумал это. И так делал: поеду на охоту и вернусь случайно. Никогда нишево. Она спит, покушает колбаска и спит...

Когда пришел в комнату Юрий Сергеевич, то серьезно объявил:

— Окорок тамбовский... будет замечательный.

— А вот ты скажи, Юрий, — спросил Сосновского Василий Сергеевич, — вот ты холостяк... Отчего вот с нами не едут сюда, в деревню, ну вот, скажем, моя Ольга. Зову — не хочет. И вот Николаева Анфиса — тоже никогда не едет.

— Во-первых, они вас отлично знают, и вы им надоели... — сказал Юрий, смеясь. — Вы тоже их знаете, а они без вас рады — они там себя показывают...

— То есть как это — показывают... — удивился Коля.

— Так: твоя Анфиса показывает себя святой, возвышенной и умной. Там разные профессора, лекции, заседания... Она же личность, свободная личность. Так и говорит про себя: я — личность. Ну, одному она говорит, что она с тобой замучилась, что

ты глуп, невыносимо, изменяешь ей. Тот, конечно, жалеет ее: она личность. Другому она говорит, что ты замечательный человек, писатель великий, ее безумно любишь и без нее пропадешь. Она тебя сделала писателем, и только это чувство ее с тобой связывает. Только. Этот тоже ее жалеет, она же личность. Ну... и при случае наставит тебе рога...

— Пойдите, пойдите, — подняв высоко брови, говорит удивленный приятель Коля. — То есть как же это — рога? Какое ты имеешь право?..

— А знаешь, это все верно, что говорит Юрий, — перебивает Василий Сергеевич. — Они себя показывают такими хорошими... Дурачков ищут...

— Это ошчень грустно, — сказал Андрей Иванович. — Когда еще одна любовник — это еще нишево. Но когда много, то надо из дома бежать.

— Я отчего холостой? — сказал Юрий. — Не выходит жизни, понимаете. Я не нравлюсь женщинам, а обманывать меня трудно: я вижу, я вообще не верю. Скучно же тогда со мной.

— Я думаю, что это ты оттого холостяком застрял, что талию потерял. Толст уж очень...

— Нет, не потому... — заметил все время молчавший доктор Иван Иванович. — Я живу с женой, не знаю... как сказать, хуже, чем кошка с собакой. А в чем дело — не могу разобрать. А ведь я ее от мужа отбил — она замужем была. Нравилась, отбил. А теперь сидит она дома. Приду — она салфетку вяжет. Обед готов. Если приду с кем-нибудь из знакомых — недовольна. Говорит мне: «Как деньги скоро выходят... Вот куда пять с полтиной делись... Должно быть, ты в карты проиграл...» А я никогда и в карты-то не играл. Я говорю ей: «Позвольте вам сказать — я в карты не играю, не играю — поняли, сударыня». А она мне говорит: «Успокойтесь, не горячитесь, мне тоже муж мой прежний говорил — “не играю”, а сам дом проиграл...» Это, знаете, выдержать невозможно. Не могу. Бегу из дому, ну сижу в «Метрополе» или в «Московском», у Егорова в трактире... Жить нельзя...

— А это... позвольте вас спросить, — что такое? — спросил Василий Сергеевич. — Вы знаете, у меня друзья — весь Малый театр, Художественный, все актеры. Остужев первый любовник, Бакшеев — второй любовник. Так и в контракте пишут: первый любовник, второй любовник. Это что ж такое? Все любовники! Значит, так полагается. Потом — благородный отец. Это муж с баками, всегда такой расстроенный. Уж роль такая. И всегда он в дураках. Что это такое? И столько историй из этого выходит.

— А почему же муж всегда в дураках, позвольте?.. — сразу как-то обиделся приятель Коля. — У меня, брат, две дочери, я тоже благородный отец.

— Значит, ты не любовник, значит, в дураках живешь...

— Как странно, — раздумчиво сказал Иван Иванович. — А вот приедешь сюда — глушь, тишина, лес кругом, и как-то вспомнишь Москву — все другое: толчея, заботы, огорчения, а радости нет. Я как-то подумал, видя свою жизнь и других тоже. Подумал, есть ли счастье вообще? Говорит пословица: «человек — кузнец своего счастья». Значит, жизнь хороша, когда можно сковать счастье. Значит — умно кругом, честно. А вот попробуйте-ка — жизнь не выходит. Я что-то нигде не вижу, все как-то случайно, вроде как ошибся выходит, — все не то. Все ждешь лучшего, ждешь чего-то... Так и пройдет жизнь. Значит — я не кузнец, — сказал серьезно доктор Иван Иванович. — Вот что. И, по правде сказать, кузнецов этих самых что-то тоже не видал...

Вспоминается мне зима, темная зимняя ночь. В деревянном доме моем тепло... И нет больше дома у меня, и друзья мои ушли в вечность... И не было ни у меня, ни у них в жизни той зимней зари, которая радостно светила за лесом, среди ледяной земли. Той тайны счастья и веры, которая была обещанием с юности. Прощальная заря уходящего дня потухала в тайной грусти! А, может быть, снизойдет заря и воссияет свет разума, и снизойдет любовь к нам — без лжи и обмана...

«Этот самый Пушкин...»

Зима. Вся Москва покрылась пушистым снегом. Белым-бело. На Садовой улице в сумерках горят уличные фонари, уходя вдаль. Свет их освещает ветви деревьев, покрытые густым инеем. За палисадниками улицы прячутся потемнелые в ночи дома. В освещенных окнах чувствуется какой-то тихий покой. И будто там так уютно и счастливо. Зима в Москве вначале всегда была так нова, так заманчива, и от нее пахло миром и покоем. По улицам едут в санях москвичи. Зима все изменила. Не слышно больше шума колес. Потемнели тумбы тротуаров, и весело мчится тройка по Тверской-Ямской, звеня бубенцами, и замирает вдали улицы веселый смех седоков.

Еду я на извозчике поздно, еду с Тверской из Английского клуба, где ужинал в компании с Александром Александровичем Пушкиным, сыном Александра Сергеевича — великого поэта. Александр Александрович, одетый в заштатную генеральскую форму, был скромный человек. Говорил про отца своего, которого он помнил смутно, так как был мал, но помнил его ласки, и его панталоны в клетку, и его красноватый сюртук с большим воротником. Помнил мать в широких платьях, помнил, что кто-то говорил, кажется, отец, что любит зиму и Москву. Помнил переднюю в доме, отца и мать, когда они приезжали с картонками, раздевались в передней и ему подарили игрушку — петушка, который пищал.

— Да вот в Москве, — сказал Александр Александрович, — знают отца, читают. И в Петербурге тоже. А то и не знают вовсе...

— Да что вы? — удивился я.

— Да, да, — сказал Александр Александрович Пушкин. — Уверяю вас — не знают. И студенты не знают. Спросите у любого из них: читали? — Мало. Ну, «Капитанскую дочку» знают, нравится. А другое — не знают.

— Знать трудно, конечно, но я как-то не слыхал, что не знают Пушкина.

Александр Александрович как-то наклонил голову, опустил глаза, и на больших белках его глаз был синеватый оттенок Востока.

— А в вашем образе, в лице, в глазах есть черты Африки, — говорю я ему.

Он посмотрел на меня, улыбнувшись добрыми и прекрасными глазами, и сказал мне:

— Ну, это... нет! Я вот какой африканец: так люблю Москву за то, что в ней настоящая зима, все покроется инеем, какой зачарованный покой. В Петербурге у нас нет. Я терпеть не могу жары. Я бывал и в Италии, и на Ривьере, бывало, дождусь-не дождусь, когда опять приеду в суровую Россию. Вот тоже — не люблю я пальмы эти. Не знаю, отчего это их ставят все всюду в ресторанах? Неужели елка, береза хуже

пальмы? Нет, лучше. Я когда читаю про тропические леса — меня берет ужас. Эти лианы!.. Нет, наш русский лес лучше... Вот я остановился здесь у дальних родственников. Кот там — таких русских серых котов больше нигде нет. Какой друг дома! Там лежанка, сядешь погреться — он ко мне всегда придет, мурлычет. Есть ли в Африке коты? — спросил Александр Александрович.

Как-то, помню я, в библиотеке Английского клуба, где он любил бывать, я увидел его. Он вынимал из высокого стеклянного шкафа старые французские книги и перелистывал их. В его образе, в голове, когда он читал страницы книги, было что-то другое: лицо его было внимательно и задумчиво-кротко. В лице был какой-то дервиш и что-то тихое, благородное и робкое. И образ великого отца его вставал передо мной.

Как-то, помню, мне сказал Александр Александрович, что отец его, конечно, писал и много наговорил на себя.

Писал о любви — это опасно! А сам он, как я слышал, в своей молодости, сам он был сговорчивый и скромный. Странно то: восемнадцатилетним юношей он написал стихотворение «Прелестнице». Надо удивляться, как это можно думать так в восемнадцать лет!

Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь!

Ведь это глубоко, такое постижение в такие годы...

Ехав на извозчике из Английского клуба к себе в мастерскую, на Долгоруковскую улицу, поздно, я все думал о Пушкине, и мне казалось, что много было непонимания, которое тушило огонь души его!

Моя потерянная младость...

Как много в словах этих, в смысле их, тяжелого, глубокого горя...

Странно. Что-то есть, вот-вот около... Около жизни. В юности — но есть, рядом, тут, около... скорбь. Отсутствие счастья... Что-то мешает тайне прекрасного, какое-то непонимание. В печали тайной гаснет непонятый мой верный идеал...

В мастерской на Долгоруковской улице, когда я вошел к себе, я застал М.А. Врубеля, который жил со мной. Он проснулся, когда я вошел. Я рассказал ему, что был в клубе и видел сына Пушкина — Александра Александровича.

— А знаешь что, — сказал мне Врубель, — Пушкин не был счастлив, и вряд ли он нравился им...

— Кому «им»? — спросил я.

— Женщинам. Цыгане. Алеко... Странно... что-то есть... Посмотри впереди себя, — сказал Врубель, — я здесь сегодня вечером работал.

И Врубель отвернул большой холст.

На нем я увидел как-то остро и смело написанные в твердом рисунке ветви деревьев, покрытые инеем. В окне они были видны. Какой ковер, в особенном ритме, форма рисунка деревьев.

— Завтра надо будет мне написать тут, сверху, — сказал Врубель, — «Кондитер Шульц — мороженое».

— Что ты? Зачем? — удивился я.

— Да, да, — сказал Врубель. — Это вот там сбоку, на улице, на углу, живет немец. Он просил меня — ему нужно.

— Отдай ему без этой надписи. Это так красиво.

— Н-е-ет, ему нужна она. Он платит мне 25 рублей.

Долго я не мог заснуть. В углу моей большой мастерской горела зеленая лампада. На кушетке, свернувшись под пледом, спал Михаил Александрович Врубель — великий художник, кончивший Петербургский университет, два факультета, с золотыми медалями. И вот — он никому не нужен... Никто как-то не понимал его созданий. Как-то делалось одиноко, жутко. Зачем все академии художеств, искусства? Брань невежественных газет, критиков. А завтра он будет своей изящной, дивной формой писать на этой картине вывеску «Кондитер Шульц»... Что-то в этом есть жестокое и жуткое...

Утром рано я ушел в Школу живописи, ваяния и зодчества на Никитской, где я был преподавателем в высшей мастерской оканчивающих учеников Школы.

— Ваша очередь, — сказал мне инспектор, — задать эскиз на тему историческую или, словом, какую вы хотите.

В канцелярии Училища я написал на листе бумаги:

«Зима в произведениях Александра Сергеевича Пушкина», и лист этот с написанной темой был повешен в классной мастерской.

Придя в мастерскую, я заметил, что ученики недовольны темой и объясняли мне: «Что же это, все стихи? Лучше бы Пугачева в “Капитанской дочке”». А вечером родственники мои, студенты Московского университета, мне определенно сказали, что Некрасов гораздо лучше Пушкина, что у Пушкина все вздохи и ахи про любовь, потому что этот камер-юнкер нравился в то время кисейным барышням, и только.

Когда я был у Антона Павловича Чехова и рассказал ему об этом, о встрече с Александром Александровичем, Антон Павлович как-то странно сразу наклонил голову и засмеялся, сказав:

— Верно. До чего верно. Кисейным барышням, ахи, охи про любовь... Верно, все верно... — и он засмеялся.

После спектакля в Большом театре я наверху, в огромной мастерской под крышей, писал декорацию к опере «Руслан и Людмила». Старший мастер, Василий Белов, составлял колера в больших тазах. Я сажу напротив, на лавочке.

— Кто, — спрашиваю я, — сочинил «Руслана и Людмилу»? Знаешь, Василий?

Василий Белов так серьезно посмотрел на меня и по-солдатски ответил:

— Этот самый Пушкин, что с Тверского бульвара. От Страшного монастыря.

— Это памятник ему, — говорю я.

— Знаем — сочинитель. Его вот застрелили...

— Зря, — говорю я, — дуэль была.

— Эх, да, — сказал Василий и рукой взял себя за рот и так значительно, серьезно сказал: — Да, да, скажут вам... Господа-то не скажут правду-то... а мы-то знаем... Он

такие песни зачал сочинять, прямо вот беда. А студенты, народ озорной, только дай им, сейчас запоют. Ну и вот его за это шабаш...

— А ты знаешь, что он написал? Ну хоть одну песню.

— А как же... — ответил Василий. — Нас училка в деревне всех выучила.

Прибежали в избу дети,
Тятя, тятя, наши сети
Притащили мертвеца.

Эх, ловко это она научила. Под ее все теперь у нас, парни, девки, кадрили танцуют. «И в распухнувшее тело раки черные впились...» Ловко каково! А вот отчего он без шапки стоит, знаете ли вы? — вдруг спросил меня Василий и, смотря на меня, прищурил хитро один глаз.

— Нет, не знаю, — удивился я — Отчего?

— А вот потому и голову наклонил, и без шапки, значит, снял и говорит, значит: «Прости, — говорит, — меня, народ православный...»

— Что ты, Василий. Кто тебе сказал?

— Чего сказал... там написано, на памятнике сбоку.

— Да что ты, Василий, где? Там этого ничего не написано...

— Нет, написано. Слух пройдет по всему народу, вот что. А ты уж смекай, как знаешь.

Двадцать лет со мной работал Василий Белов. Он был колорист, маляр. Я ценил его. Он составлял цвета по моим эскизам и готовил краски. Любил поговорить. Но ничего с ним не поделаешь: на все у него был свой взгляд. Особенный, уверенный. Во время так называемого освободительного движения Василий Белов пришел ко мне и сказал:

— Вот теперь вашему Пушкину шапку наденут...

— А почему? — спросил я.

— Полно шапку ломать... Теперь слобода всем вышла...

Ямщик

Летит время. В тайне жизни сменяются настроения, а душу не покидает надежда. И пролетают воспоминания ушедшего времени, краса страны родной.

Зимней ночью еду я на праздник Рождества к приятелю. Высоко в мутном небе светит месяц. Кругом — белая пустыня снегов. Тройка. Ровно звенит под дугой колокольчик. Около меха воротника шубы пьешь холодный морозный воздух. Как привольно и как бодро на душе!

Под бугром показались рядами темные леса. Ближе и ближе бегут они ко мне, возвышаясь, и кладут темные тени по дороге. Высокие ели зубцами темнеют в ночном небе. Задумчиво кругом...

Спустившись вниз, тройка шагом идет по оврагу.

— Вот это самое место, — говорит ямщик, — здесь и было...

— Что было-то? — спрашиваю ямщика.

— Да ведь вот... Дело такое вышло... Эх, и красива была она, барыня-то... Значит, вот недалече тута жила, у барина тутошнего, Покровского. Барин он али што, только без дела жил. Эй, лихие!.. — крикнул ямщик.

Тройка подхватила по ровному месту. Ямщик, обернувшись, сказал мне:

— Значит, дело такое. Он тоже ее украл у мужа законного. Хороша была. Ну, тогда муж-то и узнал — куда она ушла, и в это самое место, под мостом, что проехали, и засел... спрятался... Ну, и выбрал, значит, ночь темную, тоже зимой, да... И перегородил веревкой, прямо вот железной, что ли. А Покровский-то барин и ехал, с ей, значит. Ну и тпру... Стал. Веревка-то не пукает... Испугался, Покровский-то, бегом, и ее бросил. Убег. А она-то сказала мужу-то своему: «Видишь, — говорит, — на какую тлю я тебя сменяла...» И заплакала. Он его-то догнал, да и приволок к ей. Похлестал его маненькой плеткой. «Вот что, — говорит, — беги с ей опять. Ты, — говорит, — в бегунах живи, бегай и дале». И все тут.

— Что же ты говорил, пошаливают в овраге? Разбойники?

— Чего разбойники. Не-е-т... Это так, ера кабацкая баловала. Эй, вы, лихие!.. — крикнул ямщик на лошадей. — Вот приедем, барин, скоро в трактир Фураева, погреться часок надо.

— Ладно, — говорю, — погреемся.

— Эдак-то едешь в ямщиках, чего не наслушаешь, чему не надивишься. За прошлый год вез я, это, кто его знает, кого. Также в Гороховец вез, об эту же пору, на Святках. Фонарь, значит, на случай — с дороги бы не сбиться — с собой взял. Ночь темная, остановился, зажигаю, значит, фонарь, и вижу — седок-то сидит, значит, и ест гуся прямо целого. Гуся-то держит жареного и жрет. Рожка у его красная, зубы чисто у лошади, а глаза белые... Эка, думаю, какой леший. Спросил его: «А вы в Гороховец к кому едете?» — «Я, — говорит, — к себе еду». — «Я тоже гороховский, — говорю, — вас что-то не видывал никады. Как вы прозываетесь-то?» Обернулся, поглядел на его, а он, гляжу, поросенка цельного жрет. Да так!.. зубами инда стучит. Потом говорит мне: «Зовут-то меня как? А Черт Иваныч Растрига, слышал? Так это вот я самый и буду». — «Э-э... — думаю, — кого везу...» Вот меня робь взяла. Еду и молитву держу: «Помилуй и спаси...» У трактира Фураева остановился, что на тракте, — лошадей покормить да отдохнуть. Ну, значит, и он вошел в трактир. Вот здоров! Смотрю — монах. Вот ведь что. Чай пьет и водку хлещет. Запряг, значит, лошадей, попоил, а его нет. Куда делся, невесть. И Фураев ищет: нет нигде, пропал! До утра остался — нет его. Вот и поди тут, с чего это?

— А что ж это, по-твоему? — спросил я.

— Чего ж, видать, он самый — Черт Иваныч.

— Ну, это ерунда... — говорю. — Просто ушел и не заплатил тебе.

— А нет. Это как есть Черт Иваныч. Жрал-то как! Монахом притворился. В господах-то, и-и-х... этих оборотней много. То они то, то его. — У Фураева-то, — продолжал ямщик, — тоже дочь убежала. И-и-и... горя он взял. С женатым... А она и не знала. Обманщик. Эх, лихие...

— Обманул. Ну и что же?

— Чего ж, мать от раку в животе померла, Фураева-то жена, с горя. А он-то — ера кабацкая, пьяница, бродяга — писарь при волостном, боле ничего. Эй, лихие, воронье...

Тепло в трактире Фураева. Похудел хозяин, поседел. И как-то нерадостно встретил меня.

— Ну что, — спросил я, — как уха налимыя?

— Да, уха... — рассеянно ответил Фураев. — Я что-то ныне и мерей не ставил. Что ж, я теперь вдовый, один с дочерью. Другая-то, Анна, в Гороховце, значит, у тетки пребывает. Хочу дело бросить. Надоело чего-то... Да стар становлюсь.

Когда его младшая дочь подавала мне чай, я как-то заметил, что в доме, в трактире, все изменилось. Когда я и ямщик погрелись, выпили чаю, я простился с Фураевым. Он меня и не спросил, куда я еду, и ничего не сказал про охоту. Загрустил.

* * *

Мчится тройка. Ровно стучат копыта лошадей, звенит колокольчик. Темные леса муромские стоят задумчивой стеной.

— Это самое, барин, дело такое женское — беда... — сказал ямщик.

— А что же? — спросил я.

— Да ведь вот это самое... как это ежели сказать правду... У нас тут, при семинарии што ли, самый начальник их... Жена у его. Ну, и беда... И то, и это, и шубу он ей новую шьет, и из Москвы везет то и это. А она с двумя гоняет. Я-то знаю — возил. Эй вы, кони удалые!.. Эй!.. Жалко мне что-то стало его, он смирный такой. Еду это я с ним, эх, думаю, скажу ему. И говорю: вашу, говорю, супружницу возил надысь, когда вы в отъезде были, к казначею. Еще, говорю, к подьячему. А он — ера.

— Ну и что же? — спросил я.

— Ну, говорю ему, а ему хоть бы што. Говорю — ночью возил. А у его в разуме-то шарик играет. Я сразу не понял: она с им вместе работает — деньги берет, вот что. Он-то ера, кот. Эх, лихие соколы!..

— К нам в Гороховец приезжал, — продолжал ямщик, — прошлый год. Их, барин, во барин. Гусар. Пьян завсегда. Вот я с ним покатался... Когда ездит, завсегда песни поет, да и ловко так. Ну, он чего работал, батюшки. Одна-другая, прямо вот, чисто он медом мазанный, рвут его бабы на части...

Вдруг ямщик круто осадил лошадей и, обернувшись ко мне, сказал тихо:

— Глядите... вона, чего это мелькнуло... чего-то в лесу горит... Ишь, двое перебежало.

— А что? — спросил я.

Ямщик, нагнувшись, достал из-под сиденья железную палку.

— Попужайте, барин... Есть у вас чего... револьверт...

— Есть, — говорю.

— Достаньте, — сказал ямщик тихо. — Под Гороховцом-то балуют...

Я вынул револьвер. Ямщик ехал шагом. Дорога была узкая, огромный лес покрывал дорогу тенью. В стороне я увидел, как мелькнул огонь. Сбоку леса стояли люди, их освещал огонь фонаря. Когда подъехали ближе, стало видно, что среди стоявших кто-то лежал.

— Ельчев, ты, што ль? — крикнули стоявшие.

— Я, — ответил ямщик. — Чего это?

— Чего? Мертво тело.

— Замерз, что ли? — спросил мой ямщик.

— Не-е... Убили...

— Кого убили-то?

— А кто его знает...

Проехав мимо, ямщик дернул лошадей и крикнул:

— Эй, вы, лихие...

Тройка мчалась.

— Вона что... Убили...

Навстречу нам тоже пронеслась тройка.

— Следовательно, — сказал ямщик. — Осемь верст до Гороховца.

— Часто это у вас тут шалят-то? — спросил я.

— Не-е... — ответил ямщик. — Под праздник — расчет, ну, значит, под праздник
завсегда выходит. Эх, лихие!..

Справа показалась белой пеленой ровно идущая Клязьма, и мелькал с церквами
городок. Кое-где в домах освещались окна.

— Знаешь Баранова, — говорю я ямщику.

— Баранова. Во, к кому едешь, — сказал ямщик.

— Знаешь его, возил, поди?

— Как же, он холостой. Эх, лихие!..

И ямщик лихо подкатил к подъезду деревянного дома.

Сквозь ветви сада, покрытые инеем, приветливо светился абажур лампы в окне
дома...

В двухтомнике «То было давно... там... в России...» впервые в полном объеме представлено литературное наследие великого русского художника К.А. Коровина, накопленное за годы его вынужденной эмиграции (1922–1939). Подавляющее большинство его произведений (а это мемуары, воспоминания о бывшей Москве и ее знаменитостях, рассказы об охоте и рыбной ловле) никогда не появлялось в печати на родине, в России. Коровина-писателя открыл читателям Советского Союза И.С. Зильберштейн, выпустивший совместно с В.А. Самковым в 1971 г. объемистый том «Константин Коровин вспоминает...», подготовленный в основном по газетным и журнальным публикациям парижских эмигрантских газет и журналов. Материал был подобран, распределен по темам и озаглавлен по замыслу составителей. Текст сопровождался обстоятельными научными комментариями. И хотя книга выдержала два переиздания с разницей в несколько лет (в 1990 и 1999 гг.), ее можно назвать лишь первым знакомством с Коровиным-писателем. Прежде всего потому, что она смогла вместить только девяносто один рассказ из более чем четырехсот, написанных Коровиным за рубежом. К тому же издание пострадало от многочисленных купюр, вполне понятных в условиях политической цензуры.

Настоящее издание строится по хронологическому принципу (рассказы 1929–1939 гг.). Исключение составляют мемуары «Моя жизнь» (1935 г.), с которых начинается книга первая, и воспоминания о Федоре Шалапине «Встречи и совместная жизнь» (1938 г.), которые предваряют раздел книги второй «Из неопубликованного», куда входит рукопись «Охота... рыбная ловля... Коля Куров». Самостоятельный раздел «Письма» подготовлен сотрудниками Отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи. Письма К.А. Коровина к И.К. Крайтору и С.Ф. Дорожникову, публикуемые впервые, проливают свет на неизвестные ранее обстоятельства, подтолкнувшие Коровина к отъезду за границу, а также свидетельствуют о том, в каких условиях проходила его жизнь в Париже: здесь и трудности быта, и проблемы со здоровьем, творческие планы и литературные замыслы.

Примечания подготовлены Т.В. Есиной при участии Т.С. Ермолаевой.

Большую помощь в подготовке рассказов К.А. Коровина к изданию оказали сотрудники Отдела литературы русского зарубежья Российской государственной библиотеки А.И. Бардеева и В.П. Шумова.

Мемуары

Моя жизнь — Впервые: Новое Русское Слово. Нью-Йорк, 1970. 19, 26 июля; 2, 9, 16, 23, 30 августа; 6, 13, 20, 27 сентября; 4, 11, 18, 25 октября. Входит, с многочисленными разночтениями, вставками и купюрами в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по авторизованной машинописи (архив М. Вейнбаума. Йельский университет, США).

Печатается по правилам современной орфографии и пунктуации. Для удобства чтения устранены явные опечатки. Без изменения остались некоторые галлицизмы, встречающиеся в тексте, что оговаривается в постраничных примечаниях: Так в рукописи.

При подготовке рукописи была принята следующая система обозначений: квадратные скобки — зачеркнутое автором, угловые — редакторские конъективы.

С. 27

...графа Бестужева-Рюмина, казненного декабриста... — здесь имеет место недоразумение. Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801–1826) — подпоручик, член Южного общества, один из руководителей восстания 14 декабря 1825 г., не был графом, и у него не было ни жены, ни детей. Семейное предание о том, что дед К.А. Коровина является незаконнорожденным сыном Бестужева-Рюмина, может относиться к отцу декабриста, московскому помещику Павлу Николаевичу Бестужеву-Рюмину (?–1826).

С. 28

...над садом показывалась... комета — описываемые события, вероятно, относятся к 1874 г. Именно тогда можно было наблюдать яркую комету Коджиа, названную по имени астронома Ж.-Э. Коджиа, обнаружившего комету.

С. 29

Плюсовицкий, Поляков, Латышев — знакомые отца К.А. Коровина.

Фрегат «Паллада» — название повести И.А. Гончарова (1855); в основу повести легли путевые очерки автора, совершившего в 1852–1855 гг. кругосветное путешествие в качестве секретаря адмирала Е.В. Путятина. Прочитав в детстве эту книгу, Коровин стал мечтать о путешествиях, решил сделаться моряком. Но больше всего ему хотелось отыскать свой мыс Доброй Надежды — название, которое заворожило все его существо. Все его помыслы были обращены к «синей дали», за которой «розовые облака» и то единственное место на земле, где живут в согласии люди и звери, где нет злобы и зависти.

офени — бродячие торговцы мелким товаром, коробейники. Название получили от греков-переселенцев (XV в.), занимавшихся в России в основном торговлей и называвших себя «афинянами». На русский манер их стали называть «офинянами», «офинеями» или «офенями».

девья кожа — сладкое лекарство от кашля.

С. 31

Кокарев — Кокорев Василий Александрович (1817–1889), знаменитый русский предприниматель, благотворитель, меценат, видный общественный деятель и публицист; почетный член Академии художеств, собиратель русской и зарубежной живописи, создатель галереи (1861), носившей его имя.

Чижов — Чижов Федор Васильевич (1811–1877), математик, писатель, переводчик, крупный предприниматель, финансист и благотворитель. Несколько лет (1840–1847) пробыл за границей, в основном в Италии, где занимался историей искусства. Здесь же близко общался с поэтом Н.М. Языковым (1803–1846/47) и писателем Н.В. Гоголем (1809–1852). Под его редакцией вышло одно из изданий сочинений Гоголя (1867). В описываемое время — один из создателей (наряду с И.Ф. Мамонтовым; см. прим. ниже) первой частной железной дороги от Москвы до Ярославля и Вологды, что, собственно, и привело к разорению деда К.А. Коровина. Движение поездов от Москвы до Сергиева Посада было открыто в 1862 г. Чижов являлся одним из главных инициаторов и руководителей Московского купеческого банка и Московского купеческого общества взаимного кредита; он стал во главе крупных капиталистов, купивших от правительства Московско-Курскую железную дорогу, организовал Товарищество архангельско-мурманского срочного пароходства. Огромное свое состояние (около шести миллионов рублей) он оставил на устройство в Костромской губернии лучших технических училищ.

Мамонтов — имеется в виду Мамонтов Иван Федорович (1800–1869), крупный промышленник, инициатор строительства Ярославской железной дороги, отец Саввы Ивановича Мамонтова.

С. 32

видение креста — знамение креста можно истолковать как приближение катастрофы — предвестие разорения семьи, а может быть, и страны, ведь Коровин писал воспоминания уже в зрелом возрасте, и можно предположить, что он вкладывал в мемуары осмыс-

ление поздних лет. Интересно, что в рассказе «Детство» Коровин описывает видение креста не в связи со смертью деда, а в связи с арестом отца, который попал в тюрьму по доносу одного из своих единомышленников. Правду нельзя отделить от вымысла, но символ остается тем же. Крест — предвестие катастрофы (см. прим. к с. 27).

С. 33

...граф разжалованный... — имеется в виду Павел Николаевич Бестужев-Рюмин, чьим незаконнорожденным сыном, согласно семейным преданиям, был прадед К.А. Коровина.

С. 34

Волковы, Остаповы, Алексеевы — родственники К.А. Коровина.

С. 37

...ямщина была кончена — разорение дела Коровиных — ямщины — произошло в 1875 г.

С. 41

«Там на невиданных дорожках следы невиданных зверей...» — неточная цитата из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1818–1820): «Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей...».

С. 42

«Ах ты, воля, моя воля...» — песня возникла, по всей вероятности, в связи с высочайшим манифестом императора Александра II от 3 марта 1861 г. об отмене крепостного права.

С. 43

«Благими намерениями вымощен ад» — выражение приписывается английскому писателю и лексикографу Сэмюэлу Джонсону (1709–1784).

С. 44

семитка — монета в две копейки.

кубарь — *здесь и далее*: детская игрушка в форме шара или цилиндра (обычно деревянного) с приделанной к нему остроконечной ножкой, на которой она вертелась, как волчок. Игра была известна еще древним грекам. На Руси игра с кубарем также издавна являлась одной из самых распространенных. Отличительная черта русских игр с кубарем — то, что они проводились чаще всего зимой — кубарь гоняли по гладкому льду, как в хоккее, где вращающийся кубарь служил шайбой.

С. 45

повадные — от «повадный»; *здесь и далее*: привлекательный, приятный, любезный, общительный.

С. 47

Московская школа живописи, ваяния и зодчества — возникла под названием Школа живописи и ваяния в 1832 г. В 1843-м на ее основе было учреждено Училище живописи и ваяния, а в 1865 г. к нему присоединилась архитектурная школа. Училищу живописи, ваяния и зодчества было предоставлено право присваивать оканчивающим ученикам звание классного или неклассного художника (с таким аттестатом художник не имел права преподавать в классе).

С. 48

В деревне Охотино, где я жил перед войной... — в Охотине в 1897 г. Коровин построил небольшой деревянный дом с мастерской; сюда приезжают его друзья, и здесь же развивается действие многих его рассказов. Художник очень любил это место, окружающую природу, крестьян, с которыми он подружился. В доме всегда находилось место и для «братьев меньших» — собак и разных зверушек. Собаки, белка, заяц, еж, баран и барсук — яркие персонажи многих «деревенских» рассказов Коровина. Возможно, домик в Охотине был для него воплощением детской мечты о мысе Доброй Надежды. См. также прим. 25 на с. 790 кн. 2 наст. изд.

С. 49

гуммиарабик — клеящее вещество, входящее в состав акварельных и гуашевых красок.

С. 53

Шла война с турками — имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг.

«Цыганы» — поэма А.С. Пушкина (1824).

...читал историю Карамзина — Н.М. Карамзин (1766–1826) создал величайший труд «История государства Российского» в 12 томах (1816–1829).

Соловьев В.С. (1853–1900) — русский религиозный философ, поэт и публицист.

пеклеванный хлеб — черный хлеб, выпеченный из мелко размолотой и просеянной ржаной муки.

лямпопо (лимпопо) — здесь и далее: танец живота; название танца ассоциируется с африканской рекой Лимпопо.

«Охотники на привале» — картина В.Г. Перова (1871).

«Птицелов» — картина В.Г. Перова (1870).

«Пьяное духовенство» — имеется в виду картина В.Г. Перова «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861).

«Пугачев» — имеется в виду картина В.Г. Перова «Суд Пугачева» (1879).

«Купанье лошадей» — имеется в виду картина И.М. Прянишникова «Спасов день на Севере» (1887).

«Охотники на зайцев» — имеется в виду картина И.М. Прянишникова «Конец охоты» (1884).

«Пленные французы» — имеется в виду картина И.М. Прянишникова «В 1812 году» (1874).

«Купцы в ножовой линии» — имеется в виду картина И.М. Прянишникова «Шутники. Гостинный двор в Москве» (1865).

«Вечеринка студентов» — имеется в виду картина В.Е. Маковского «Вечеринка» (1875–1897).

«Адвокат» — возможно, имеется в виду картина В.Е. Маковского «Деловой визит» (1881).

«Охотники в избе» — имеется в виду картина В.Е. Маковского «В избушке лесника» (1886–1887).

«Крах банка» — картина В.Е. Маковского (1871).

«Четыре руки» — имеется в виду картина В.Е. Маковского «В четыре руки» (1880).

«Друзья-приятели» — картина В.Е. Маковского (1878).

«Благотворители» — имеется в виду картина В.Е. Маковского «Посещение бедных» (1874).

«Грачи прилетели» — картина А.К. Саврасова (1871).

«Дворик» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878).

«Бабушкин сад» — картина В.Д. Поленова (1878).

«Мельница» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Старая мельница» (1880).

«Большая девочка» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Большая» (1886).

«Генисаретское озеро» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1888).

«Христианская мученица» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Христос и грешница (Кто без греха?)» (1887).

Частная опера Мамонтова — Московская частная русская опера открылась в 1885 г. Была организована и финансировалась С.И. Мамонтовым. Просуществовала до 1914 г. (с перерывами в 1888 и 1891–1895 гг.). Первая негосударственная оперная антреприза, имевшая постоянную труппу и достигшая в своих спектаклях высокого художественного результата. Основу репертуара, по замыслу Мамонтова, составляла русская опера (Н.А. Римский-Корсаков, А.С. Даргомыжский, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский). Главным художественным руководителем, а часто и режиссером выступал Мамонтов в сотрудничестве с художниками и режиссерами П.И. Мельниковым, М.В. Лентовским, В.П. Шкафером и др. Сценография в Мамонтовской опере была доведена до совершенства; с Мамонтовым постоянно работали В.Д. Поленов, М.А. Врубель, В.М. Васнецов и А.М. Васнецов, И.И. Ле-

витан, В.А. Серов, С.В. Малютин, В.А. Симов. В 1884 г., познакомившись с С.И. Мамонтовым, Коровин получил от него приглашение стать художником Московской частной оперы. Для нее он создает декорации на протяжении четырнадцати лет. На сцене Коровин стал создателем нового типа декоративного оформления, активно включенного в художественную ткань спектакля, в котором организация пространства, костюм неразрывно связаны со сценическим действием и музыкой.

«Жизнь за Царя» — эта опера Н.А. Римского-Корсакова была оформлена И.И. Левитаном для Частной оперы С.И. Мамонтова в 1885 г.

...мне «Аиду», а потом «Снегурочку»... — опера Дж. Верди «Аида» (1870) в декорациях К.А. Коровина была поставлена в Частной опере С.И. Мамонтова в 1885 г.; премьера оперы «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова (1881) по пьесе А.Н. Островского (1873) прошла 8 октября того же, 1885 года. Постановка отличалась великолепным художественным оформлением, осуществленным В.М. Васнецовым совместно с И.И. Левитаном и К.А. Коровиным.

Савина — имеется в виду Салина Надежда Васильевна (1864–1956), исполнительница роли Снегурочки, получившая эту роль по рекомендации П.И. Чайковского.

Леватович — имеется в виду Любатович Татьяна Спиридоновна (1859–1932).

С. 60

...верно сказал офицер... — имеется в виду М.Ю. Лермонтов, поручик Тенгинского полка.

«Создания искусств мечтою сладостной наш ум не шевелят...» — неточная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Дума» (1838):

Мечты поэзии, создания искусства

Восторгом сладостным наш ум не шевелят...

...надо ставить «Бориса», «Хованищину»... — премьера оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов» в Частной опере Мамонтова состоялась в 1898 г.; премьера оперы «Хованищина» с Ф.И. Шаляпиным в роли Досифея — в 1897 г.

С. 61

«Лакмэ» — премьера оперы Л. Делиба (1883) в Частной опере С.И. Мамонтова состоялась в 1885 г.

«Лоэнгрин» — премьера оперы Р. Вагнера (1848) в Частной опере С.И. Мамонтова состоялась в 1885 г.

«Отелло» — премьера оперы Дж. Верди (1886) в Частной опере С.И. Мамонтова состоялась в 1886 г.

баккара — здесь и далее: элитная игра казино с высокими ставками.

...встретил С.П. Дягилева... — знакомство Дягилева с Коровиным, судя по всему, состоялось в 1898 г.

...мы затеяли... издать журнал «Мир Искусства» — первый номер журнала «Мир Искусства», обложку которого выполнил К.А. Коровин, вышел в 1898 г.; журнал выходил с 1898 по 1904 г.

В 1900 году я был приглашен профессором в Училище живописи, ваяния и зодчества... — в комментариях к изданию «Константин Коровин вспоминает...» приводится другая дата — 1901-й.

С. 62

Стасов и «Новое время» — имеется в виду художественный и музыкальный критик В.В. Стасов и его статьи в консервативной газете «Новое время».

...арестован Савва Иванович — С.И. Мамонтов был арестован в начале 1900 г. из-за недостачи в кассе Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. На все его имущество был наложен штраф, а сам Савва Иванович был помещен в тюрьму. Благодаря стараниям известных художников и музыкантов через короткое время он был переведен под домашний арест. Уже в июне 1900 г. оправдан судом. Последние годы провел в болезни и бедности.

...душеприказчик Чижовских капиталов — о Чижове см. прим. к с. 31.

Серов... писал... портрет Государя... — имеется в виду портрет Николая II. Известен не один портрет российского самодержца кисти В.А. Серова. Судьба одного из них, работы 1900 г., весьма драматична. Этот портрет был заказан художнику самим императором и предназначался в подарок императрице Александре Федоровне. Находился в Зимнем дворце в личных покоях Николая II и Александры Федоровны. После взятия дворца в октябре 1917-го этот портрет исчез. В те же дни его нашли на площади перед дворцом, «но уже в неузнаваемом виде: он был весь в дырах, от живописи оставался один тонкий слой, и черты лица едва можно было различить, — и видно, над ним всячески издевались — топтали ногами, скребли и царапали чем-то острым!» (Бенуа А.Н. Мой дневник. 1916–1918. М.: Русский путь. 2003. С. 204–205). Там же, в примечании, Бенуа пишет: «Эта печальная руина была сдана в Музей Александра III (теперь Государственный Русский музей. — Т.Е.). К счастью, в Москве, в Третьяковской галерее, хранится абсолютно точное повторение этого портрета, сделано самим Серовым» (Там же. С. 205).

Северный павильон на Нижегородской выставке — выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде посвящалась Русскому Северу.

...работа в качестве консультанта-художника при устройстве Всемирной парижской выставки... — на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. Коровину и Головину была поручена художественная организация русского кустарного отдела.

...я получил... высшие награды от французского правительства — за сконструированный К.А. Коровиным павильон кустарной промышленности и тридцать художественных панно французы наградили его орденом Почетного легиона, двумя золотыми и несколькими серебряными медалями.

...предложение вступить в театр как художник... — приглашение сотрудничать в Императорских театрах было сделано В.А. Теляковским Коровину, по всей вероятности, в 1900 г. По этому поводу ходили слухи, что Коровин воспользовался арестом Мамонтова (см. выше, прим. к с. 62) и ушел к Теляковскому.

«Звезды» — балет был поставлен в Большом театре в январе 1898 г. Сценарий и декорации написал К.Ф. Вальц.

Гринвуд писал... — Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907), редактор-издатель консервативной газеты «Московские ведомости».

Ленский Александр Павлович (1847–1908) — актер, режиссер и педагог.

...портрет поэта Валерия Брюсова... — неоконченный портрет поэта работы М.А. Врубеля (1906; уголь, сангина, мел) находится в Государственной Третьяковской галерее.

Фарфоры Попова и Гарднера... — частный фарфоровый завод англичанина Ф.Я. Гарднера был основан в 1754 г. в селе Вербилки под Москвой. Славился производством массовой и дорогой высокохудожественной посуды (гарднеровский фарфор). Производство на фарфоровом заводе А.Г. Попова сложилось на основе предприятия, созданного бывшим комиссионером Гарднера, Карлом Мелли. В 1804 г. Попов приобрел у Мелли завод, находившийся неподалеку от Вербилки, в селе Горбуново, в 1811 г. Таким образом, Попов был первое время преемником технических достижений Гарднера, но в художественном отношении стремился к самостоятельности. На заводе делали как посуду, так и декоративные статуэтки. Фарфоровый завод Попова существовал до 1870-х гг.

барбизонцы — группа французских живописцев-пейзажистов, работавших в местечке Барбизон (Barbizon) близ Парижа в 30–60-х гг. XIX в.

Крапивиново — возможно, опечатка; в издании «Константин Коровин вспоминает...» исправлено на: Тропинин.

Сучков Павел Александрович — наст. фам. Тучков; друг К.А. Коровина, один из главных персонажей его рассказов об охоте и рыбной ловле.

«Коти» — крупнейшая в мире французская фирма по производству парфюмерии и косметики, созданная в начале XX в.; название получила по псевдониму основателя — Франсуа Коти.

С. 70

Бушнев — возможно, опечатка; в издании «Константин Коровин вспоминает...» исправлено на: Басин.

Бруней — возможно, опечатка; в издании «Константин Коровин вспоминает...» исправлено на: Бруни.

Воспоминания 1917 г.

С. 71

Клуб Сезанна — после революции 1917 г. в доме Юшкова в Москве, где с 1844 г. размещалось Училище живописи, ваяния и зодчества (Мясницкая, 21), были организованы Первые Государственные художественные мастерские, в конце 1920 г. переименованные в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). Там же был организован рабфак и несколько клубов: студия «Искусство движения», которой руководила преподавательница ритмики В.И. Цветаева, сестра известной поэтессы, а также клуб имени Поля Сезанна, на заседаниях которого выступали А.В. Луначарский, Е.М. Ярославский, В.В. Хлебников, С.А. Есенин и др.

камлоты (от фр. camelot) — ткань из шерсти ангорской козы, плотная, грубая хлопчатобумажная или шерстяная ткань из черных и коричневых нитей. Из камлота шили мужскую крестьянскую одежду. Очевидно, Коровин так называет крестьян.

«*Черные дни миновали...*» — слова из песни «Смело, товарищи в ногу». Автор — профессиональный революционер, химик и поэт Леонид Петрович Радин (1860–1900). Слова и музыку песни он написал в одиночной камере московской Таганской тюрьмы; впервые эта песня прозвучала 4 марта 1898 г. — ее пела колонна заключенных пересыльной тюрьмы, среди которых был и автор песни. Ее первая публикация (без указания автора) состоялась в Женеве (1902).

С. 72

Покупал стички... у Сухаревой башни... — Сухарева башня сооружена в 1692–1695 гг. по инициативе Петра I близ свободы стрелецкого полка Л.П. Сухарева, который остался верен государю во время стрелецкого бунта 1689 г., подготовленного царицей Софьей. Однако башня стала называться Сухаревой позднее, а в то время именовалась Сретенской. На первых порах помещения башни занимали караульные стрельцы Сухаревского полка. Вместе с колокольней Иван Великий стала самой высокой постройкой в Москве (более 60 м). Архитектор М.И. Чоглоков. Некоторые специалисты считают, что Чоглоков, возможно, строил по указаниям Петра и по его наброскам. Башня была устроена наподобие символического корабля с мачтой: ее восточная сторона означала корабельный нос, западная — корму; все это вполне походило на петровский замысел. Как Спаская и Троицкая башни Кремля, она была украшена часами, и ее главу венчал двуглавый орел. После расформирования стрелецких полков в конце XVII в. Яков Брюс по указу Петра I в Сухаревой башне основал первую астрономическую обсерваторию. Здесь же в 1700–1715 гг. помещалась Школа математических и навигацких наук (Навигацкая школа), позднее переведенная в Петербург. Однако московская математическая школа под руководством Магницкого, которая была приготовительным училищем для петербургской Морской академии, сохранялась до 1752 г. До 1806 г. в Сухаревой башне размещалась Московская контора Адмиралтейств-коллегии. В разное время башня служила и архивохранилищем, и водонапорной башней, а в 1925–1934 гг. здесь работал Московский коммунальный музей, ставший предшественником Музея истории Москвы.

Издавна на площади у подножия башни, стоявшей на въезде в Москву, крестьяне с возов торговали всякой снедью, чтобы не платить таможенную пошлину за въезд в столицу. В 1812 г., после вторжения Наполеона, Сухаревский рынок был узаконен московским градоначальником графом Ростопчиным. Торговать здесь разрешалось чем угодно, но только по воскресным дням и до наступления темноты. Из романа «Война и мир» мы знаем, что Пьер Безухов купил здесь пистолет, чтобы убить Наполеона. Сухаревка, как и Хитровка (см. ниже, прим. к с. 201), стала одним из самых неблагополучных мест Москвы, где свободно торгова-

ли краденым. Здесь можно было за копейки купить антикварные вещи и ценные букинистические издания. С победой советской власти судьба Сухаревки была предreshена. В 1919 г. был низвергнут орел на башне, а в декабре 1920 г. Ленин подписал указ о закрытии Сухаревского рынка. Однако в условиях нэпа рынок продолжал функционировать, но под другим названием — Новосухаревский. Здесь появились торговые павильоны по проекту архитектора-конструктивиста К.С. Мельникова. В начале 30-х рынок все же был снесен. В июне 1934 г. снесли и Сухареву башню. В ноябре того же года на Сухаревской площади была установлена монументальная доска почета колхозов Московской области. В честь этого события Сухаревскую площадь переименовали в Колхозную. Старое название возвращено в 1990 г.

С. 74

Бабушка революции — здесь и далее: Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) — одна из организаторов и руководителей партии эсеров; принадлежала к ее крайне правому крылу.

С. 76

...в доме поезда Троцкого — личный поезд Троцкого (по примеру царского эшелона) был сформирован 7 августа 1918 г. из двенадцати вагонов: пассажирских 1-го класса и салон-вагонов. В этой крепости на колесах размещались секретариат, телеграф, электростанция, библиотека, типография, баня, вагон-гараж с пятью автомобилями зарубежных марок и двумя бронемашинами. Впоследствии поезд пополнился еще и двумя самолетами. Обслуживали поезд 232 военнослужащих, в основном латыши. Для них были сшиты специальные костюмы из черной кожи, на рукавах они носили мегаллические эмблемы, изготовленные на Монетном дворе. При поезде имелись ревтрибунал и расстрельная команда (тоже из латышей). Помимо охраны в поезде имелаь многочисленная обслуга: врачи, шоферы, связисты и большое количество стенографисток. Тридцать хорошо подобранных музыкантов составляли личный оркестр председателя РВС. Наконец, к поезду прицепляли специальный вагон-рефрижератор. Когда вся страна корчилась от голода, в нем возили мясо, битую птицу, зелень и большой запас шоколадных конфет. За годы Гражданской войны поезд Троцкого проделал по разболтанным шпалам и рельсам 105 000 км — больше двух с половиной окружностей экватора.

С. 78

Эйнем — здесь и далее: московская кондитерская фабрика «Эйнем» была открыта в 1867 г. Основатель — Фердинанд Теодор фон Эйнем, немец по происхождению. В 1922 г. переименована в «Красный Октябрь».

С. 79

...бриллиант Тэта... — здесь и далее: сценическая бижутерия французской фирмы «Тэт». Изделия очень красивые, камни, использовавшиеся при их изготовлении, практически не отличались от настоящих бриллиантов. В Петербурге существовал магазин «Тэт», в котором продавались украшения с фальшивыми бриллиантами.

Кобарев — Кобарев Леонид (Ленька), слуга К.А. Коровина.

С. 82

одень — здесь: кладь.

казовые — здесь и далее: лучшие, как напоказ.

«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный...» — неточная цитата из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836): «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!».

С. 83

«Все пропьют бедняки до рубля...» — строчка из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

Князь Сумбатов, он же артист Малого театра Южин... — имеется в виду Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857–1927), актер и драматург, директор Малого театра.

...болгарского Фердинанда — Фердинанд I (1861–1948), болгарский царь (1908–1918).

С. 84

Всерабис — Всесоюзный (до 1925 г. — Всероссийский) профессиональный союз работников искусств.

Из моих встреч с А.П. Чеховым — Впервые: Россия и Славянство. 1929. 13 июля. Перепечатано под названием «Мои дни с А.П. Чеховым» в: Литературное наследство. М.: 1960. № 68. Входит также в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 90

Ждет теперь Станислава... называется: «Станислав, не бей меня в морду...» — по всей вероятности, имеется в виду орден Св. Станислава 3-й степени, который носили не на шейной ленте, а в петлице.

С. 91

...тетка из мещанок протянула ему красное пасхальное яйцо... — в рассказе «В дни юности», где повторяется схожий эпизод, женщина дает Левитану просфору (см. с. 518 наст.изд.).

...приехали к кругу в Сокольники — в конце XIX в. на конечной станции трамвая в Сокольниках стоял концертный павильон под названием «Круг». Это было великолепное здание круглой формы (архитектор Д.Н. Чичагов).

С. 91–92

Выпьем мы за того... — *здесь и далее:* куплет популярной студенческой песни «Проведемте, друзья, эту ночь веселей»:

Выпьем мы за того
Кто «Что делать?» писал,
За героев его. За его идеал.

«Что делать?» — роман Н.Г. Чернышевского (1863).

С. 93

Жена... улетела... в Художественный театр... — имеется в виду О.Л. Книппер-Чехова, артистка Московского Художественного театра.

С. 94

...я жил в Гурзуфе и построил себе там мастерскую — ныне Дом творчества им. К.А. Коровина.

Как я выбирал «Мисс Европу» — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1930. 15 февраля. Печатается по журнальному тексту.

Врубель — Впервые: Россия и Славянство. 1930. 19 апреля. Печатается по газетному тексту.

У К.А. Коровина было еще одно воспоминание о художнике Врубеле под названием «М.А. Врубель» (Возрождение. 1936. 26 января, 2 февраля). Именно этот рассказ вошел в издание «Константин Коровин вспоминает...» под названием «Встречи у Мамонтова». В настоящее издание не входит.

С. 98

магазин Дарзанс — располагался на Кузнецком Мосту в известном на всю Москву доме Татищева, славившемся магазинами; магазин купца Дарзанса «Город Париж» поражал современников универсальностью товаров.

С. 99

Получив от Кушнерева наказ иллюстрировать Лермонтова... — надворный советник И.Н. Кушнерев в 1869 г. открыл в Москве переплетное заведение, достаточно скоро превратившееся в одно из крупнейших издательств, специализирующихся на издании изящной литературы (знаменитая Типография т-ва «Кушнерев и К^о»). Большая заслуга в этом принадлежат П.П. Кончаловскому, назначенному заведующим издательством. Он активно привлекал к работе молодых художников, ставших впоследствии его друзьями, — В.А. Серова, К.А. Коровина, А.М. Васнецова и М.А. Врубеля.

...свои знаменитые иллюстрации к «Демону» — именно Врубель поручил Кончаловский сделать иллюстрации к юбилейному изданию М.Ю. Лермонтова 1891 г. Созданные Врубелем образы Демона и Тамары поражают до сих пор.

С. 100

...для Нижегородской Промышленной выставки... — см. прим. к с. 63.

С. 101

А шестая-то держава... — выражение «шестая держава» подчеркивало независимость и могущество прессы.

Выставка «Мира Искусства» в Петербурге — «Мир Искусства» — художественное объединение конца XIX–начала XX в. Его возникновению предшествовал «кружок самообразования», организованный в конце 1880-х гг. Его ядро составляли выпускники частной гимназии К.И. Мая — А.Н. Бенуа, Д.В. Философов, В.Ф. Нувель. Позже к ним присоединились Л.С. Бакст, С.П. Дягилев, Е.Е. Лансеро, А.П. Нурок, К.А. Сомов. Их первым публичным выступлением стала «Выставка русских и финляндских художников», организованная в 1898 г. в Музее Центрального училища техники рисования барона Штиглица. Наряду с членами кружка в выставке участвовали А.М. Васнецов, М.А. Врубель, К.А. Коровин, И.И. Левитан, С.В. Малютин, М.В. Нестеров, А.П. Рябушкин, В.А. Серов и другие художники. В ноябре того же года начал выходить журнал «Мир Искусства», давший название новому художественному объединению. Обложку первого номера журнала выполнил К.А. Коровин (см. прим. к с. 61). «Мир Искусства» организовывал художественные выставки. Первая прошла в январе–феврале 1899 г. в Музее барона Штиглица, в 1900–1903 гг. в Петербурге состоялось еще четыре выставки журнала. Картина Врубеля «Сирень» экспонировалась на Третьей выставке «Мира Искусства», которая проходила с 10 января по 6 февраля 1901 г. в залах Академии художеств.

Врубель умер — М.А. Врубель умер 1 апреля 1910 г.

А.Я. Головин — Впервые: Россия и Славянство. 1930. 3 мая. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 103

Парижская выставка 1900 года — см. прим. к с. 64.

С. 104

«Ледяной дом» — премьера оперы А.Н. Корещенко (1870–1921) состоялась 7 ноября 1900 г. в Большом театре.

«Волшебное зеркало» — премьера балета (муз. А.Н. Корещенко, балетмейстер М.И. Петица), состоялась 9 февраля 1903 г. в Мариинском театре. Декорации и эскизы костюмов выполнил А.Я. Головин.

Рассказ старого монаха — Впервые: Возрождение. 1930. 24 июня. Рассказ имеет подзаголовок: *Из воспоминаний художника*. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Схожий сюжет повторяется в рассказе «Северный край». Печатается по газетному тексту.

Арестанты — Впервые: Возрождение. 1930. 23 июля. Рассказ имеет подзаголовок: *Заметки художника*. Печатается по газетному тексту.

С. 108

...«*Это сорок мучеников*» — на иконе «Сорок мучеников Севастийских» изображены сорок воинов-христиан, принявших в 320 г. от римлян мученическую смерть за веру во Христа. Православная церковь отмечает их память 22 марта.

Дом честной — Впервые: Возрождение. 1930. 3 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

Мельник — Впервые: Возрождение. 1930. 10 августа. Рассказ имеет подзаголовок: *Заметки художника*. Печатается по газетному тексту.

С. 113

гонобобель — *здесь и далее*: то же, что голубика; в народе ее называют также пьяной ягодой.

Крѣз — последний царь Лидии (595–546 до н.э.). В годы своего царствования считался одним из богатейших людей, и его имя стало нарицательным. Крылатая фраза «богат, как Крѣз» дошла и до наших дней.

С. 114

постав (постава) — пара мельничных жерновов или вальцов, один из которых неподвижен, а другой вращается на нем, размалывая зерно.

Печенский монастырь — Троицкий Печенгский мужской монастырь, основан в 1532 г. преподобным Трифоном Печенгским, просветителем лопарей.

Апельсины — Впервые: Возрождение. 1930. 31 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 115

От зари до зари... — слова из старой студенческой песни:

Есть в столице Москве
Один шумный квартал —
Он Козихой Большой прозывается.
От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницы студентов шатаются,
А Иван Богослов,
На них глядя без слов,
С колокольни своей улыбается.

С. 116

...в это время он писал под псевдонимом Чехонте — таким прозвищем наградила А.П. Чехова учитель Закона Божьего. Первое печатное произведение Чехова появилось в 1880 г. в журнале «Стрекоза». С этого времени началась его непрерывная литературная деятельность. Он сотрудничает с юмористическими журналами «Зритель», «Будильник», «Свет и тени», «Мирской толк», «Осколки». Пишет в основном короткие рассказы, юморески, сценки, подписываясь псевдонимом Антоша Чехонте, Балдастов или Человек без селезенки. В 1884 г. вышла первая книга театральных рассказов Чехова «Сказки Мельпомены», в 1886-м — «Пестрые рассказы», в 1887 г. — «Невинные речи», сборник «В сумерках». Тогда же Чехов начинает сотрудничать с газетой «Новое время». С началом регулярного сотрудничества с газетой «Новое время» (1886–1893) Чехов отказывается от псевдонима и подписывается полным именем. Получив признание читателей и критики, Чехов оставляет свой прежний жанр небольших газетных очерков и фельетонов и становится по преимуществу сотрудником таких ежесемечных журналов, как «Северный вестник» (1887–1890), позднее «Жизнь». Но основное время он посвящает сотрудничеству с «Русской мыслью», где впервые были опубликованы «Палата № 6», «Человек в футляре», «Дом с мезонином» и другие рассказы.

Трухмальные ворота — или Триумфальные ворота, помпезное творение архитектора О.И. Бове. В старой Москве существовали «Старые Трухмальные» ворота (на площади Маяковского, где ныне находится памятник поэту) и «Новые Трухмальные», возведенные в честь победы над Наполеоном (нынешняя Триумфальная арка на Кутузовском проспекте).

С. 117

Петровский дворец — Петровский путевой (подъездной) дворец. Построен по приказу Екатерины II в 1776–1780-х гг. в честь успешного завершения русско-турецкой войны 1776–1780 гг. как загородная резиденция для отдыха знатных особ после утомительной дороги из Петербурга в Москву. Архитектор М.Ф. Казаков. Позади дворца в начале XIX в. был разбит Петровский парк.

С. 121

кавалерист-сумец — кавалерист 1-го гусарского Сумского генерала Сеславина полка.

Толстовцы — Впервые: Возрождение. 1930. 20 сентября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 122

Калибан — персонаж пьесы У. Шекспира «Буря» (1610–1611) — получеловек-получудовище.

На смерть Репина — Впервые: Возрождение. 1930. 4 октября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 124

Умер Репин — И.Е. Репин умер 29 сентября 1930 г.

«Грозный» — картина И.Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1884–1885).

«Николай Чудотворец» — картина И.Е. Репина «Николай Мирликийский (Николай Чудотворец)» (1884).

«Пушкин в лице» — картина И.Е. Репина «Пушкин на акте в Лицее 8 января 1815 г.» (1911).

С. 125

«Видь на Волгу: чей стон раздастся...» — *здесь и далее*: из стихотворения Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

Трагик — Впервые: Возрождение. 1930. 12 октября. Рассказ имеет подзаголовок: *Московское воспоминание*. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 125

театр Корша — крупнейший частный драматический театр в России. Основан в Москве театральным предпринимателем Ф.А. Коршем. Открылся в ноябре 1882 г. премьерой спектакля «Ревизор». Театр славился сильной труппой. На его сцене в разное время играли П. Орленев, В. Давыдов, И. Москвин, М. Иванов-Козельский, А. Остужев, Н. Радин, М. Климов, М. Блюменталь-Тамарина, Л. Леонидов, В. Топорков, А. Кторов и др. В 1900–1909 гг. главным режиссером театра был Н. Синельников. В числе лучших спектаклей можно назвать: «Горе от ума» Грибоедова, «Иванов» Чехова, «Маскарад» Лермонтова, «Гроза» Островского, «Гамлет» Шекспира, «Тартюф» Мольера, «Дети Ванюшина» Найденова, «Дни нашей жизни» Л. Андреева и др. В репертуаре, однако, преобладали типично коммерческие, развлекательные пьесы, фарсы, мелодрамы; каждую неделю ставился новый спектакль. В сезоне 1925/26 г. Театр Корша был включен в сеть государственных театров. Назывался Театром комедии (б. Корш), Московским драматическим театром. Закрыт в 1932 г.

Васина супруга — Впервые: Возрождение: 1930. 28 октября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 127

Вася — Василий Сергеевич Кузнецов, архитектор, друг Коровина и Шаляпина; один из главных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле.

...*моя сестра*... — двоюродная сестра К.А. Коровина Варя Вяземская. Фигурирует в нескольких рассказах. Она живет в деревенском домике Коровина в Охотине (неизвестно, было ли так на самом деле) и, обладая строгим характером, удерживает друзей от розыгрышей и дурачеств, постоянно имевших место, когда на даче у Коровина собиралась вся компания.

Русалка — Впервые: Возрождение. 1931. 18 января. Печатается по газетному тексту.

С. 132

«*Да воскреснет... расточатся врази...*» — православная молитва Честному Кресту.

Копченое небо — Впервые: Возрождение. 1931. 21 февраля. Рассказ имеет подзаголовок: *На рыбной ловле — с натуры*. Печатается по газетному тексту.

Никон Осипович — мельник, друг К.А. Коровина, один из основных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле.

музыкант-композитор — имеется в виду Ю.С. Сахновский, композитор, дирижер, театральный и музыкальный критик, друг К.А. Коровина, один из главных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле.

музыкальный критик Коля Куркин — он же: Куров, Курин, Курицын, Курочкин, Петушков — один из главных персонажей рассказов об охоте и рыбной ловле. На самом деле — Николай Николаевич Куров, музыкальный критик и верный друг К.А. Коровина. Известно, что и в Париже он продолжал дружить с Коровиным и художник умер буквально у него на руках. В рассказах Коровина Коля Курин — это вечная мишень для розыгрышей и насмешек друзей, однако он ни на кого не обижался и всегда отстаивал свое достоинство.

Утопленник — Впервые: Возрождение. 1931. 8 марта. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

...я поступил в театр писать декорации — К.А. Коровин был приглашен в Частную оперу С.И. Мамонтова в 1885 г.

Зибель — персонаж трагедии «Фауст» И.-В. Гёте и одноименной оперы Ш. Гуно (1859).

«Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча...» — русская народная песня «Коробейники» (народное переложение начала поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», 1861).

Базаров — персонаж романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862).

Алеша Карамазов — персонаж романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879–1880).

коробейник — персонаж песни «Коробейники» (см. выше).

Фома Гордеев — персонаж романа М. Горького «Фома Гордеев» (1899).

Чацкий — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1822–1824).

Лель — персонаж оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1881).

медаутопленник — возможно, неологизм Коровина; имеется в виду то обстоятельство, что за спасение утопающего полагалась медаль.

Вера из «Оврага» — имеется в виду героиня романа И.А. Гончарова «Обрыв» (1869).

Вышитое сердце — Впервые: Возрождение. 1931. 28 марта. Печатается по газетному тексту.

Встреча — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1931. 11 апреля. Рассказ имеет подзаголовок: *Пасхальный рассказ*. Печатается по журнальному тексту.

беспоповка — т.е. старообрядка.

Соловьи — Впервые: Возрождение. 1931. 12 апреля. Печатается по газетному тексту.

...я ей такую евразийку покажу... попросту алексеевка... не новостянка... не возрожденка... отчасти евлуженка... вернее, смирновка... плехановец... завязтая антониевка... — речь идет о расколе, произошедшем к началу 30-х годов в среде русской эмиграции в вопросах как общественной (философские и политические взгляды), так и внутрицерковной жизни. При этом эмигрантские газеты «Последние новости» и «Возрождение» превратились в арену ожесточенной полемики.

Евразийство — общественно-политическое движение в русской эмиграции 1920-х годов; основано в 1921 г. Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким, П.П. Сувчинским (в первоначальной организации евразийского движения принимали также участие Г.В. Флоровский и

А.А. Ливен). Основой евразийского движения является идея Евразии — самобытного мира, обусловленного естественными географическими, этническими, языковыми, психологическими особенностями. Московское царство, Российская империя и СССР признавались евразийцами державами, исторически предназначенными объединить евразийское пространство. В конце 20-х годов в евразийстве ведущую роль стали играть П.П. Сувчинский, Л.П. Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский, П.Н. Малевский-Малевич, П.С. Арапов и др., деятельность евразийцев становится политически ориентированной и просоветской. В 1929 г. произошел так называемый кламарский раскол, евразийское движение покидают его основатели Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий. В 1930-е гг. деятельность евразийцев прекращается (Лосский Н.О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. М., 2008. С. 383).

Алексеев Николай Николаевич (1879–1964) — философ, правовед, профессор Московского (1917–1918) и Таврического (1918) университетов; Эмигрировал в 1920 г.; преподавал в Константинополе, Праге, Берлине; в начале 30-х переехал в Париж. В 1926–1926 гг. — активный участник евразийского движения (см. выше).

Евлогий (в миру Георгиевский Василий Семенович; 1868–1946) — митрополит; с 1920 г. в эмиграции, с 1921 г. — управляющий русскими приходами в Западной Европе. В Париже с 1923 г.; приверженец Московского Патриархата. В 1945 г. написал ходатайство о воссоединении с Московским Патриархатом и получил соответствующий указ с назначением экзархом Московского Патриархата после подписания акта примерения (2 сентября 1945 г., Париж) в присутствии митрополита Николая Крутицкого, однако ответа на просьбу об отпущении под юрисдикцию Московского Патриархата не получил и продолжал считать себя экзархом Константинопольского Патриархата (см.: Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе. 1920–1995: Биографический справочник. М., 2007). Ректор Свято-Сергиевского богословского института в Париже (1925–1946).

Смирнов Иаков Георгиевич (1854–1936) — протопресвитер (с 1931 г.); при митрополите Евлогии — настоятель Александро-Невского собора в Париже (1898–1936); благочинный русских приходов во Франции (1921–1936), а затем Парижа и его окрестностей (1926–1936), председатель епархиального совета (1924–1926).

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) — политический деятель, философ и теоретик марксизма.

Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович; 1863–1936) — митрополит, с 1920 г. в эмиграции (в Сербии). Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви (Синодальной) (1921–1936). В 1934 г. от Местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сергия (Страгородского) получил запрет в священнослужении, однако законным запрещение не признал и до конца своих дней находился вне канонического общения с Московским Патриархатом.

репетилы — Репетилов — персонаж комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1822–1824), резонер.

С. 148

Альгамбра — архитектурный ансамбль (мечеть, дворец и крепость), возвышающийся над городом Гранада в Андалусии, на юге Испании; одноименный стиль декоративно-прикладного искусства (вазы, ткани, оружие, ювелирные украшения).

допель-кюммель — сладкая анисовая водка с приправами.

Мажордом — Впервые: Возрождение. 1931. 22 апреля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...» Печатается по газетному тексту.

С. 149

...у Омона пела — Шарль Омон, французский антрепренер. В 1901 г. открыл в Москве, в трехэтажном здании на углу Триумфальной площади и Тверской, театр «Буфф-мини-атюр» (ныне в этом здании находится Концертный зал им. П.И. Чайковского).

С. 151

институт ботэ — институт красоты (фр. beauté — красота).

«Вниз по матушке по Волге» — русская народная песня.

«Сам породил, сам и убью!» — «Я тебя породил, я тебя и убью!» — фраза, принадлежащая Тарасу Бульбе из одноименной повести Н.В. Гоголя (1834–1835, дораб. 1842).

Октябрь в деревне — Впервые: Возрождение. 1931. 5 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 151

булочная Бартельс — Иоганн Карл (Иван) Бартельс — московский купец немецкого происхождения, владел несколькими булочными и кондитерскими в Москве.

С. 153

казенник — *здесь и далее*: лес, принадлежащий царской казне.

С. 154

царя нет... Он убит... — ошибка К.А. Коровина: действие рассказа происходит в 1917 г., тогда как расстрел императора и его семьи произошел в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.

Дураки и умные — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1931. 16 мая. Рассказ имеет подзаголовок: *Из калейдоскопа воспоминаний*. Печатается по журнальному тексту.

Человечек за забором — Впервые: Возрождение. 1931. 23 мая. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...» Печатается по газетному тексту.

С. 159

«*Псковитянка*» (1872), «*Снегурочка*» (1885), «*Садко*» (1897) — оперы Н.А. Римского-Корсакова.

С. 160

Суворин — см. ниже, прим. к с. 253.

Грингмут — см. выше, прим. к с. 65.

«*Русские ведомости*» — одна из крупнейших газет, выходивших в Москве (1863–1918), орган либеральной интеллигенции.

«*Хованицина*» — опера М.П. Мусоргского (1872–1880, завершена Н.А. Римским-Корсаковым, 1883).

«*Моцарт и Сальери*» — опера Н.А. Римского-Корсакова (1897).

«*Опричник*» — опера П.И. Чайковского (1872).

«*Рогнеда*» — опера А.Н. Серова (1865).

Когда я поступил художником в Императорский театр... — см. выше, прим. к с. 64.

«*Отелло*» — опера Дж. Верди (1886).

«*Руслан и Людмила*» — опера М.И. Глинки (1842).

«*Фауст*» — опера Ш. Гуно (1859).

Финн — персонаж оперы «*Руслан и Людмила*».

С. 161

При постановке «Демона» Рубинштейна я поехал на Кавказ — см. рассказ «Демон» на с. 51–54 кн. 2 наст. изд.; опера А.Г. Рубинштейна «Демон» (1875) по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова.

Синодал — *здесь и далее*: князь, жених Тамары, персонаж оперы А.Г. Рубинштейна «Демон» (1871); либретто П.А. Висковатого по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова (1829–1841). Первая постановка осуществлена 25 января 1875 г. в Мариинском театре.

«*Здесь я под чинарой...*» — в либретто (1875) П.А. Висковатого: «Я под чинарой...»

Карла Маркса — Впервые: Возрождение. 1931. 7 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 164

ланинская вода — фруктовая столовая вода. Названа по имени основателя московского завода искусственных и минеральных вод (1852) купца 1-й гильдии, потомственного почетного гражданина Москвы Н.П. Ланина. Вода продавалась оптом и в розницу в его собственном магазине «Ланинские воды», а также в других магазинах города под фирмой «Н.П. Ланин». Продавал он и виноградные вина.

«Московский листок» — одна из самых популярных газет в России конца XIX—начала XX в. Его тиражи исчислялись десятками тысяч, а читательская аудитория охватывала всю страну. Возникший как орган «обывательских интересов», он через несколько лет смог значительно повысить свой уровень и стать в один ряд с наиболее серьезными газетами своего времени. «Московский листок» возник в 1881 г., через двадцать лет после отмены крепостного права. Реформы Александра II повлекли за собой множество самых разных последствий, в том числе и «демократизацию культурной жизни». Появился новый театральный зритель, новый посетитель музеев — и новый читатель. Эти люди первого пореформенного поколения, малограмотные, малообразованные, стали на рубеже XIX—XX вв. основными «заказчиками культуры». Именно на них первоначально ориентировался редактор-издатель «Московского листка» Николай Иванович Пастухов (1831–1911).

Белов Василий Харитонович — реальное лицо, помощник К.А. Коровина в декораторском деле — умел искусно смешивать краски по замыслу Коровина; будучи и сам колоритной личностью, является персонажем многих рассказов художника, своего рода олицетворением народной смекалки.

капелла Славянского — образована в 1868 г.; основатель — Агренов-Славянский (наст. фам. Агренов) Дмитрий Александрович (1833–1908), русский певец (тенор), хоровой и оркестровый дирижер. Он и его жена, Ольга Христофоровна Агренова-Славянская (1847–1920), были собирателями народных песен. На концертах многие песни звучали в их обработке. Выступления капеллы осуществлялась как в России, так и за рубежом. В состав хора, в зависимости от программы концерта, входило от двадцати пяти до трехсот человек: мужчины, женщины, а также дети. Репертуар составляли русские народные песни, песни других славянских народов (чешских, сербских и др.; видимо, отсюда и псевдоним: Славянский). Выступления капеллы отличались эмоциональностью и зрелищностью — дирижер и певцы выступали в стилизованных боярских костюмах. За сорок лет существования капеллой было дано около десяти тысяч концертов в России, на Балканах и в различных странах Центральной и Западной Европы, Америки и Африки.

С. 165

...японцев-то не победили наши — имеется в виду русско-японская война 1904–1905 гг. 24 января 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. В ночь на 27 января японцы неожиданно атаковали русские корабли в Порт-Артуре и корейском порту Чемульпо. Русская армия не была готова к войне и испытала ряд унизительных поражений у Лаояна, Мукдена и в Порт-Артуре. В мае 1905 г. японцы фактически уничтожили пришедшую из Кронштадта русскую эскадру в решающей морской битве при Цусиме. Война закончилась в августе 1905 г. Портсмутским миром на унизительных для России условиях.

стриюцкой — *здесь и далее*: подлый, дрянной, презренный человек.

«Черные дни миновали...» — см. выше, прим. к с. 71.

С. 166

«Дочь фараона» — балет на музыку Цезаря Пуни. Хореография Мариуса Петипа. Впервые поставлен в 1862 г. в Петербурге.

Фундуклей — *здесь и далее*: от греческой фамилии Фундуклей, известной на Руси еще с XVIII в.; очевидно, для Василия Белова персонажи оперы Дж. Верди «Аида» ассоциируются с историей Древнего мира.

Пещера — Впервые: Возрождение. 1931. 22 июня. Печатается по газетному тексту.

Печной горшок — Впервые: Возрождение. 1931. 1 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 171

Риальто — мост через Большой канал в Венеции, один из самых древних и самых известных мостов.

Юрий Сергеевич М. — имеется в виду Ю.С. Сахновский; см. выше, прим. к с. 134.

«А мрамор сей, ведь Бог» — неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828): «Но мрамор сей ведь бог!..».

Луна — Впервые: Возрождение. 1931. 2 июля. Печатается по газетному тексту.

Гаудеамус (лат. *gaudeamus* — будем радоваться) — *здесь и далее*: название средневековой студенческой песни на латинском языке. Была популярна и в последующие века среди студентов различных стран, в том числе и в дореволюционной России. Начинается словами «*Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus*» («Будем радоваться, пока мы юны»); восхваляет жизнь, молодость и науку.

Чингисхан — Тэмуджин, Темучин (ок. 1155–1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206 г.), организатор завоевательных походов против народов Азии и Восточной Европы.

абцуг — в азартной карточной игре каждая метка, пара карт направо и налево.

...*есть вещи и без яиц ваших такие...* — имеется в виду философское яйцо — символ бесплодных философских схоластических споров, особенно характерных в эпоху средневековья; в основе вопрос о том, что первично: курица или яйцо.

Случай с Аполлоном — Впервые: Возрождение. 1931. 2 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

...*общество людей хороших и почтенных создало в Москве Училище живописи, ваяния и зодчества...* — см. выше, прим. к с. 47.

Випнер, не то Гринер — Випнер Юрий Францевич (1824–1891), инспектор Училища живописи, ваяния и зодчества в 1881–1884 гг.

Маковский — неясно, кто имеется в виду: Константин Егорович (1839–1915), художник, или его брат, Владимир Егорович (1846–1920), тоже художник. Был еще Сергей Константинович Маковский (1877–1962) — поэт, художественный критик, историк искусства.

«*Украинская ночь*» — картина А.И. Куинджи (1876).

«*Люблю ваш сумрак неизвестный...*» — стихотворение А.С. Пушкина (1825).

«*И Терек прыгает, как лвыца...*» — неточная цитата из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон» (1829–1841): «И Терек, прыгая, как лвыца...»

...*я стипендиат князя...* — как один из лучших учеников, Коровин получал стипендию генерал-губернатора Москвы князя В.А. Долгорукова.

В огромном чудесном зале Растрелли — имеется в виду Большой зал Екатерининского дворца в Царском Селе.

С.С. Голицына — вероятно, ошибка; скорее всего, имеется в виду С.Н. Голицына, жена В.А. Долгорукого.

Зверь — Впервые: Возрождение. 1931. 5 августа. Печатается по газетному тексту.

Герасим мудрый — Впервые: Возрождение. 1931. 23 августа. Печатается по газетному тексту.

война под Карсом — крепость Карс во время русско-турецких войн XIX в. стала одним из главных объектов борьбы и переходила из рук в руки. В 1807 г. русские войска безуспешно штурмовали Карс. В 1827 г. город был взят штурмом. В 1855 г. турецкий гарнизон под командованием Измаил-паши отбил атаки русских войск, но после пятимесячной осады капитулировал из-за голода. В ноябре 1877 г. Карс был взят русскими войсками и по Сан-Стефанскому мирному договору 1878 г. отошел к России.

Святая простота — Впервые: Возрождение. 1931. 18 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 183

кн. *Сумбатов* — см. выше, прим. к с. 83.

Литературный кружок — *здесь и далее*: имеется в виду Литературно-художественный кружок (1898–1920), одним из основателей которого был К.А. Коровин (наряду с К.С. Станиславским, М.Н. Ермоловой, Г.Н. Федотовой, Н.А. Никулиной, С.И. Мамонтовым, А.П. Чеховым, И.И. Левитаном и др.). В Уставе Московского литературно-художественного кружка 1898 г. говорится, что кружок призван «способствовать развитию литературы и изящных искусств». Еженедельно здесь проводились лекции, доклады и диспуты. Подробно о деятельности кружка см.: «Константин Коровин вспоминает...», прим. 455. С годами просветительская деятельность кружка стала угасать, и в начале 1914 г. возник другой кружок — Алатр (см. прим. к с. 189 кн. 2 наст. изд.).

железка — азартная карточная игра.

памятник М.Д. Скобелеву — памятник был поставлен на народные средства в Москве, на Тверской площади, в 1912 г. Автор — скульптор-самоучка подполковник П.А. Самонов. Генерал был изображен в белом мундире верхом на белой лошади (так он всегда ходил в бой, веря, что в белой одежде он никогда не будет убит), с поднятой саблей. По бокам от основной композиции, на двух более низких платформах пьедестала, располагались бронзовые фигуры воинов, образующие батальные сцены. По имени народного любимца площадь переименовали в Скобелевскую. В 1918 г., после принятия ленинского декрета о монументальной пропаганде, памятник был уничтожен. Ныне на этом месте находится памятник Юрию Долгорукому.

Репин, Врубель, Серов — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1931. 26 сентября. Рассказ имеет подзаголовок: *Из воспоминаний*. Печатается по журнальному тексту.

С. 188

муль (от *фр.* moule) — съедобная ракушка.

эскарго (от *фр.* escargot) — *здесь и далее*: улитка и блюдо из улиток.

Верни-ретушэ Лефран — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1931. 17 октября. Печатается по журнальному тексту.

С. 191

пуантилизм (от *фр.* point — точка) — художественный прием в живописи: письмо раздельными четкими мазками в виде точек или мелких мазков.

сиккатив — закрепляющая жидкость для масляных красок или пастели (защитная пленка).

лак ретушэ — спиртовой лак, изобретенный в XIX в. для дописывания или переписывания неудавшихся мест картины; используется с большой осторожностью.

Вор — Впервые: Возрождение. 1931. 18 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 192

верша — *здесь и далее*: рыболовная снасть, обычно сплетенная из ивовых прутьев, в виде узкой круглой корзины с воронкообразным отверстием.

С. 193

шматон (*шаматон*) — *здесь и далее*: бездельник, шалопай.

Лесничий — Впервые: Возрождение. 1931. 29 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 197

двенашена — бревно в двенадцать аршин.

восьмик — восемь аршин.

Плясавица — Впервые: Возрождение. 1931. 12 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 201

...на машину — скорее всего, имеется в виду чугунка, железная дорога.

Пума американская — Впервые: Возрождение. 1931. 20 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 201

Хитровка — одно из самых неблагополучных мест в центре Москвы. Здесь с 1824 г. располагался Хитровский рынок с многочисленными ночлежными домами. Площадь просуществовала вплоть до реконструкции района в 60-х годах XX в.

С. 202

говоровский квас — *здесь и далее*: хлебный квас Говоровского завода.

зверинец Гаснера — *здесь и далее*: Гаснер Карл Иванович, владелец паноптикума в Москве.

гужеды — бранное прозвище кучеров.

леспердон — точное значение установить не удалось.

С. 203

Огарев Николай Ильич (1820–1890) — полицмейстер Москвы (1856–1886). Известный московский чудака, любитель пожарного дела, балетоман. Ему посвящен рассказ «Московской полицмейстер» (см. с. 308–311).

По небу полуночи — Впервые: Возрождение. 1932. 7 января. Печатается по газетному тексту.

С. 205

фиксатуар — помада для волос.

исенит — значение установить не удалось.

С. 206

...Смольный монастырь... кончила с шифром — Смольный институт для благородных девиц был первым в России учебным заведением для женщин. Основан И.И. Бецким по указу Екатерины II в 1764 г. в Санкт-Петербурге, при Воскресенском Смольном Новодевичьем монастыре под названием «Воспитательное общество благородных девиц». В институт принимали дочерей дворян и готовили их для придворной и светской жизни. В программу входило обучение словесности, истории, географии, иностранным языкам, музыке, танцам, рисованию, светским манерам и др. Обучение продолжалось 12 лет и делилось на четыре возраста по три года каждый. Ученицы были обязаны носить особые форменные платья определенного цвета: в младшем возрасте — кофейного, во втором — голубого, в третьем — серого и в старшем возрасте — белого. По окончании института шесть лучших выпускниц получали высшую награду — «шифр»: золотой вензель в виде инициала императрицы, который носили на белом банте с золотыми полосками. Некоторые воспитанницы становились фрейлинами двора.

оршад — *здесь и далее*: прохладительный напиток различных способов приготовления.

«По небу полуночи ангел летел...» — первая строчка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831).

С. 207

«Сквозь волнистые туманы...» — первая строчка стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» (1826).

«Ах, Аннета, вы ли это...» — городской романс.

«Чувиль, мой Чувиль...» — русская народная песня.

С. 208

«Нива» — популярный еженедельный журнал; печатался с 1869 по сентябрь 1918 г. в Петербурге (с августа 1914 г. — в Петрограде) в издательстве А.Ф. Маркса.

Новогодний волк — Впервые: Возрождение. 1932. 14 января. Печатается по газетному тексту.

С. 210

пешня — *здесь и далее*: ломик с деревянной ручкой, служащий для прорубки лунок во льду для ловли рыбы.

Мои ранние годы — Впервые: Россия и славянство. 1932. 23 января. Печатается по журнальному тексту.

С. 211

...*нравилась музыка и чтение...* — в газетной публикации явно ошибочно вместо слова «чтение» стоит «пение».

«Скажи мне, ветка Палестины...» — первая строчка стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ветка Палестины» (1837). *Пометка*: Селим — Иерусалим. Стихотворение навеяно пальмовой веткой, привезенной из Иерусалима, с которой друг Лермонтова А.Н. Муравьев стоял на службе в Вербное воскресенье.

С. 212

Это была картина Перова — речь идет о картине В.Г. Перова «Сельский ход на Пасхе» (1861).

«Проводил» — картина Н.Я. Ярошенко (1891).

С. 214

...я окончил Школу неклассным художником — см. выше, прим. к с. 47.

Пювис де Шаванн — Пюви де Шаван (Puvis de Chavannes), Пьер (1824–1898) — французский живописец, мастер монументально-декоративной живописи, представитель символизма.

Детство — Впервые: Возрождение. 1932. 7 февраля, 1 марта. Печатается по газетному тексту. Рассказу предпосылается заметка от редакции:

«Редакция обратилась к К.А. Коровину, по случаю исполняющегося пятидесятилетия его художественной деятельности, — с просьбой написать для газеты краткую автобиографию. “Детство” — первый очерк из этой биографии знаменитого художника».

С. 215

...*водил ее крзгом...* — здесь и далее: значение выражения установить не удалось.

С. 216

ямское дело... зачалло с проведением железной дороги... — см. выше, прим. к с. 37.

двуголовье — имеется в виду двуглавый орел на российском гербе.

С. 218

«Русский бог» — стихотворение П.А. Вяземского (1828).

С. 219

...*Сергей убежал на войну к генералу Черняеву сражаться за братьев-болгар...* — Черняев Михаил Григорьевич (1828–1898), генерал-лейтенант русской армии, главнокомандующий русско-сербским войском в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

С. 220

сыроз печени — цирроз.

С. 221

дигиталис — лекарственное растение, наперстянка, препараты которого употребляют-ся при болезнях сердца.

...*прадед ваш Емельян, доверенный графа Рюмина-декабриста...* — см. выше, прим. к с. 27.

...*кровный сын...* — см. выше, прим. к с. 27 и 33.

«Аленький цветочек» композитора Гартмана — балет на музыку Ф.А. Гартмана в декорациях и костюмах К.А. Коровина был поставлен в Мариинском (1907) и Большом (1911) театрах.

...к *какому-то Рабенек...* — возможно, имеется в виду кто-то из семейства Рабенек, владельцев Щелковской мануфактуры.

В Училище — Впервые: Возрождение. 1932. 20 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 222

муштабель — легкая деревянная палочка с шариком на конце, служащая живописцу опорой для руки, держащей кисть, при выполнении мелких деталей картины.

С. 223

«*Крестьянин в поле*» — имеется в виду картина П.Ф. Яковлева «После градобития» (1884).

«Зимний лес», «Покинутая» — картины П.Ф. Яковлева с такими названиями установить не удалось.

С. 224

«Дорога среди сосен» — имеется в виду картина И.И. Левитана «Сосны» (1880).

булочная Филиппова — здесь и далее: Филиппов Дмитрий Иванович (1855–1908), из династии булочников Филипповых, владелец пекарен и булочных в Москве и Петербурге.

С. 227

Бестужевские вы... — намек на происхождение от декабриста Бестужева-Рюмина (см. прим. к с. 27).

...вот гороховые-то за ним и смотрят — гороховые — имеются в виду городовые.

Святая Русь — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1932. 2 апреля. Печатается по журнальному тексту.

С. 228

Манифест Государя — Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанный Николаем II в момент наивысшего подъема Октябрьской всероссийской политической стачки. Провозглашал гражданские свободы и создание Государственной думы (см.: БЭС. М.; СПб, 2004. С. 688).

С. 229

...таинственный старец Распутин — Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1872–1916), фаворит императора Николая II и императрицы Александры Федоровны; убит в ночь с 16/29 на 17/30 декабря 1916 г. князем Ф.Ф. Юсуповым, В.М. Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем.

Молодость — Впервые: Возрождение. 1932. 12 апреля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 231

цибик — ящик чаю весом от 40 до 80 фунтов.

...с фабрики Збука — пуговичная фабрика купца К.А. Збука.

гречневики — то же, что грешники — блины из гречневой муки.

дули — груши.

крупа в баню идет — крупа — презрительное прозвище солдат, которых кормили в основном кашей.

Антроповы Ямы — в XIX – начале XX в. название пустыря и прудов (по фамилии первого арендатора участка) в районе Селезневской улицы в Москве. С 1922 г. 1-м и 2-м Антроповыми переулками называются бывшие Иверский и Крестовский переулки.

трынка — карточная игра.

«В одной знакомой улице / Я помню старый дом...» — первые строки романа «Затворница» (муз. Н.И. Казанли, стихи Я.П. Полонского; 1846).

С. 232

...по пути к Троице-Сергию... — путь богомольцев в Троице-Сергиеву лавру.

С. 234

«Нива» — см. выше, прим. к с. 208.

Смерть отца — Впервые: Возрождение. 1932. 17 апреля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 237

Азарев — имеется в виду доктор медицины Н.А. Лазарев. Рассказ о нем «Магистр Азарев» см. на с. 423–426.

С. 238

С господином Гоголем уху ели — сведений, подтверждающих этот эпизод, установить не удалось.

На Севере диком — Впервые: Возрождение. 1932. 1, 10, 25 мая. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

Названием рассказу послужила первая строчка известного стихотворения М.Ю. Лермонтова «На севере диком стоит одиноко...» (1841).

С. 238

штуцер (от нем. Stutzen) — *здесь и далее*: двустольное нарезное ружье, предназначенное для охоты на крупного, зачастую опасного для охотника зверя. Основное достоинство штуцера в том, что второй выстрел можно сделать, не отрывая приклад от плеча.

С. 239

...поедем к Егорову завтракать — Егоров — владелец трактира в Москве.

самоеды (от саамск. самэ-емне) — земля саамов (см. ниже, прим. к с. 245); старое название саамских племен Северной Руси; позднее перенесено на ненцев, энцев, нганасан и селькупов.

С. 243

кумжа — рыба семейства лососевых.

С. 245

Печинский монастырь Св. Трифона — см. прим. к с. 114.

лопарь (от фин. lare, larrea — сторона или от швед. lapp — место) — название «лопари» получил небольшой по численности народ, проживающий в основном в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии. Часть живет в России, на Кольском полуострове. Нынешнее название — саамы или, по самоназванию кольских лопарей, саами.

С. 246

Лоэнгрин — рыцарь Грааля, главный персонаж одноименной оперы Р. Вагнера (1845–1848).

Велес — Впервые: Возрождение. 1932. 5 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 249

Велес — бог у древних славян, владыка лесов и животных.

С. 250

«Да воскресни» — см. выше, прим. к с. 132.

С. 251

поступил... на тоню — *тоня* — поморское название рыбацкого стана на берегах Белого моря с комплексом разнообразных построек и сооружений; рыбный промысел.

Хозяин мой — Впервые: Возрождение. 1932. 19 июня. Печатается по газетному тексту. В конце рассказа указана дата написания: 8 июня 1932 г.

С. 253

Суворин и его «Новое время» — «Новое время» — одна из крупнейших русских газет (1868–1917). Выходила в Петербурге, с 1869 г. — ежедневно. Первоначально — либеральная, с переходом издания к А.С. Суворину (1876) — консервативная.

Манифест от царя... Выборы в Государственную думу — см. выше, прим. к с. 228.

В лесной сторожке — Впервые: Возрождение. 1932. 3 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 256

Массая — *здесь и далее*: масса.

Крыша Мира — Впервые: Возрождение. 1932. 13 июля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Рассказ напечатан с посвящением: *Посвящаю памяти Вари Паниной*. Печатается по газетному тексту.

С. 260

...лиц, похожих на сартские — сарты — исконное оседлое население Средней Азии (персы, таджики, узбеки), вошедшее в состав узбеков.

ситец московский — имеются в виду текстильные предприниматели Морозовы.

С. 262

Варвара Панина — Панина Варвара Васильевна (1872–1911), знаменитая исполнительница бытовых романсов и цыганских песен.

Московская жара — Впервые: Возрождение. 1932. 24 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 263

Гуниади Янус — Гуниади-Янос — минеральная слабительная вода.

С. 264

пургатив — пургатив, слабительное средство.

С. 265

Володя — под этим именем выведен в рассказе Василий Сергеевич Кузнецов (см. прим. к с. 127).

Ливьянский мертвец — Впервые: Возрождение. 1932. 17 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 266

кондитерская Флей — известная в дореволюционной России кондитерская фирма К.Д. Торопова «Флей», имевшая магазины в центре Москвы.

...она... у Корша служила — о Театре Корша см. выше, прим. к с. 125.

Похороны мумии — Впервые: Возрождение. 1932. 31 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 271

...профессора Захарьина — Захарьин Григорий Антонович (1829–1897), терапевт, доктор медицины, профессор Московского университета. См. рассказ о нем в цикле «Московские чудачки» (см. с. 420–422).

С. 272

Живодерка — так в просторечии назывался Староживодерный переулок в Москве. Улица сменила несколько названий: в конце XIX в. стала называться Владимиро-Долгоруковской (в честь В.А. Долгорукова, московского генерал-губернатора), в 1922 г. была переименована в улицу Фридриха Адлера, с 1931 г. по настоящее время носит имя Л.Б. Красина. До революции об этой улице ходила дурная слава: здесь всегда были поножовщина, грабежи, дурной запах... Тут проживало множество цыганских семей, откуда вышли известные исполнители цыганской песни в знаменитых ресторанах «Яр» и «Стрельна».

С. 374

«Развлечение» — еженедельный литературный и юмористический журнал; выходил в Москве с 1859 по 1905 г.

Отрада земная — Впервые: Возрождение. 1932. 4 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 274

Еруслан — персонаж старинной русской сказки «Сказка о славном, могучем богатыре Еруслане Лазаревиче».

С. 276

«Живописная Россия» — прекрасно оформленное издание в двадцати томах, в подготовке которого принимали участие видные деятели русской науки и культуры; издавалось товариществом М.О. Вольф с конца 1870-х по начало 1900 гг.

С. 277

«Веселися, Сионе...» — православный пасхальный кондак: «Светися, светися, новый Иерусалиме: слава бо Господня на тебе возсия, ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

В дороге (18-й год) — Впервые: Возрождение. 1932. 29 сентября. Печатается по газетному тексту.

Новая Земля — Впервые: Возрождение. 1932. 12 октября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Рассказ имеет подзаголовок: *На севере диком*. Печатается по газетному тексту.

С. 281

самоеды — см. выше, прим. к с. 238.

малица — мужская одежда оленеводов, коренных народов Севера: длинная, без разрезов рубаха с капюшоном из оленьих шкур мехом внутрь.

Утеха — Впервые: Возрождение. 1932. 23 октября. Печатается по газетному тексту.

Живая тень — Впервые: Возрождение. 1932. 6 ноября. Печатается по газетному тексту.

Лошадиная голова — Впервые: Возрождение. 1932. 11 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 291

...у одного лошадиная голова — юный Коровин смешивает изображения на двух иконах: «Сорок Севастийских мучеников» и «Святой Христофор». На иконе Святой мученик Христофор, пострадавший за христианскую веру при императоре Деции (ок. 250 г.), изображался с собачьей головой (песьеглавец), так как, по преданию, он был родом из страны кинокефалов (людей с собачьими головами). На Большом Московском соборе 1667 г. изображение Святого с песьей головой подверглось запрету. В 1707 г. Петр I отдал распоряжение о соблюдении иконописных правил, что были приняты на Соборе. В связи с этим вплоть до XIX в. Святой Христофор изображался с головой, похожей на лошадиную. Православная Церковь празднует день памяти Святого мученика-воина Христофора 9/22 мая.

Чуркин — Впервые: Возрождение. 1932. 25 декабря; 1933. 14, 29 января. Печатается по газетному тексту.

Этот персонаж впервые появляется в рассказе «Встреча» (см. с. 144–146 наст. изд.). По Коровину, Чуркин — благородный разбойник, своего рода русский Робин Гуд. Образ был навеян, очевидно, симпатией простого люда к этому человеку. Реальное лицо — Василий Чуркин, известный в 1860–1870-х гг. разбойник. Был родом из деревни Гуслицы Богородицкого района Московской губернии, из старообрядческой семьи. Работал на текстильной фабрике, но был выгнан за кражу, после чего стал разбойничать вместе с братом в лесах Владимирской губернии, отличался жестокостью. Фельетоны о нем под названием «Разбойник Чуркин» печатались в «Московском листке» Н.И. Пастухова (см. выше, прим. к с. 164) на протяжении трех лет (1882–1885) и значительно подняли тираж газеты. В финале поднадоевшего начальствующим лицам во главе с губернатором Москвы кн. В.А. Долгоруковым «сериала» главное действующее лицо бесславно гибнет. У Коровина же концовка повествования о Чуркине овевана романтическим ореолом.

С. 300

омшайник — *здесь и далее*: сухое место под домом или специальный домик, куда на зиму переносят ульи с пчелами; сухое зимовье.

С. 301

тепленка — *здесь и далее*: небольшой костер.

Святочный рассказ — Впервые: Возрождение. 1933. 7 января. Печатается по газетному тексту.

С. 305

Князев — имеется в виду Василий Княжев.

С. 307

Николай Осипович — имеется в виду Никон Осипович (см. выше, прим. к с. 134).

Московский полицмейстер — Впервые: Возрождение. 1933. 7 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 308

Кончак — половецкий князь из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» (завершена Н.А. Римским-Корсаковым и А.К. Глазуновым в 1890 г.).

Две Татьяны — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1933. 11 февраля. Имеется подзаголовок: *Татьянин день*. Печатается по журнальному тексту.

С. 311

Татьянин день праздновал Московский университет — 25 января 1755 г., в день Святой Татьяны, был подписан Указ императрицы Елизаветы Петровны об учреждении университета.

С. 312

бал в Собрании против Охотного ряда — парадные балы московского дворянства проходили в Колонном зале Благородного Собрания в центре Москвы. Построен в 1780-х гг. архитектором М.Ф. Казаковым. После революции 1917 г. был переименован в Колонный зал Дома союзов.

Пусть льется веселия глас... — неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Вакхическая песня» (1825): «Что смолкнул веселия глас?»

С. 313

Нет справедливости... сказал... Моцарт — неточная цитата из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина («Моцарт и Сальери», 1830, опубл. в 1839). Слова «Все говорят: нет правды на земле. / Но правды нет — и выше» принадлежат Сальери.

Мертвецкая — Впервые: Возрождение. 1933. 12 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 314

«Возле речки, возле моста...» — видимо, студенческая песня на мотив русской народной песни «Возле речки, возле мосту».

С. 315

«Дубинушка» — русская народная песня, песня русских бурлаков. Музыка народная. Слова написал А. Ольхин. Получила известность после ее исполнения Ф.И. Шаляпиным.

«Плачет белой кровью о прошедших днях...» — песня Э.И. Губера «Новгород» (между 1838 и 1840):

Белой плачет кровью
О былых боях
И поет с любовью
О старинных днях.

«Милый Саша, / Плоха на небе участь наша...» — неточная цитата из стихотворения Т.Г. Шевченко (1858):

Милый Саша,
Плоха на небе участь наша,
И если подданных ты любишь,
Так их богатства поубавь,
А если хочешь в рай ввести,
Так всех их по миру пусти...

С. 316

нечаевец — последователь идей революционера-террориста С.Г. Нечаева.

Самотека — Самотечная площадь в Москве.

«Земля и Воля» — нелегальная газета, орган одноименной народнической организации. Издавалась в Санкт-Петербурге (1878–1879), всего вышло пять номеров.

Лучинушка — Впервые: Возрождение. 1933. 26 февраля. Печатается по газетному тексту.

С. 320

«Привал кавалерии» — балет в одном действии И. Армсгеймера; хореография М. Петипа; премьера состоялась 21 января 1896 г. в Мариинском театре. Петипа сделал этот балет для любимой дочери — Марии.

Человек со змеей — Впервые: Возрождение. 1933. 15 марта. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 321

Грибной рынок — в России, как ни в одной стране, грибы стали традиционным национальным блюдом, причем сушеные и соленые издавна были предметом экспорта в другие страны. Во многих городах России перед Великим постом устраивались специальные грибные рынки. В Москве такой рынок открывался в первую неделю Великого поста. В простонародье его называли «на льду», так как располагался он по левому берегу Москвы-реки между Большими Москворецким и Устьинским мостами, где стояли возы с грибами, сухими и солеными. Около открытых бочонков с солеными грибами толпились народ — пробовали красные боровые рыжики, отварные белые, синеватые грузди.

Сирень и шкаф — Впервые: Возрождение. 1933. 24 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 325

Помери — марка французского шампанского.

С. 326

хипесница — женщина недостойного поведения.

Московский звон — Впервые: Возрождение. 1933. 16 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 327

«Рейморда» — балет А.К. Глазунова «Раймонда», хореография М. Петипа; премьера состоялась 19 января 1898 г. в Мариинском театре.

С. 328

«Лакмэ» — *здесь и далее*: премьера оперы Л. Делиба «Лакмэ» (1883) в декорациях и костюмах К.А. Коровина состоялась в Частной опере Мамонтова в 1885 г.

...был в 1900 году со мной в Париже при устройстве большой выставки — см. выше, прим. к с. 64.

С. 329

«Я не сержусь...» — романс Р. Шумана на слова Г. Гейне (1840).

Наполеон... говорил: «*На стенах этого азиатского города я напишу свободу и справедливость*» — неточная цитата из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» (1863–1869): «На древних памятниках варварства и деспотизма я напишу великие слова справедливости и милосердия...» (т. III, гл. XIX).

Тетеревиный ток — Впервые: Возрождение. 1933. 29 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 330

гофмейстер — управляющий двора, стряпчий — придворный чин III класса в Табели о рангах, введенный в 1722 г. в Российской империи. В обязанности гофмейстера входило управление дворцовым хозяйством и штатом придворных.

С. 331

Чацкий, Молчалин, Софья — действующие лица комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» (1822–1824).

Эрос (Эрот) — в древнегреческой мифологии бог любви.

Правда — Впервые: Возрождение. 1933. 28 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 333

«Э, греми, слава, трубой...» — «Греми, слава, трубой. Мы дрались, турок, с тобой...» — припев солдатской песни времен русско-турецкой войны 1877–1878 гг. «Вспомним братцы, как стояли мы на Шипке в облаках».

С. 334

вина фюдосии — скорее всего, имеется в виду завод крымских вин в Коктебеле, открытый в 1879 г.; выпускал шампанское «Новый Свет», мадеру, широкий ассортимент марочных вин и коллекционных коньяков.

С. 335

стрекулист — пронырливый человек, ловкач.

Стриж — Впервые: Возрождение. 1933. 11 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 336

«Новое время» — см. выше, прим. к с. 253.

Ежов Николай Михайлович — беллетрист и журналист. С середины 1890-х гг. печатал в «Новом времени» фельетоны о московской жизни под псевдонимом «Не фельетонист».

С. 338

минитрия — мимикрия.

«**Страшный**» **огород** — Впервые: Возрождение. 1933. 13 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 339

...убит *Адрей Боголюбский* за то, что неправильно Писание понимал — князь Андрей Боголюбский был убит в 1176 г. По историческим источникам, убит своими приближенными.

С. 340

«От великого до смешного один шаг» — Наполеон действительно произносил эту фразу во время бегства из России в 1812 г. На самом деле фраза звучит так: «Вообще смешное соприкасается с великим» и принадлежит Ж.-Ф. Мармонтелю (1723–1799), французскому писателю, другу Вольтера.

Мериме — Мериме (Mérimée), Проспер (1803–1870), французский писатель.

Месяц ясный — Впервые: Возрождение. 1933. 9 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 343

«Ночь светла над рекой...» — романс «Ночь светла» на слова Н.М. Языкова, музыка Н.И. Шишкина (1885). По поводу авторства песни существуют разногласия; так, автором слов считается Яков Пригожий (1840–1920), аранжировщик и пианист московского ресторана «Яр», музыки — М.Д. Шишкин, автор романсов («Живет моря отрада» и др.).

С. 344

...от круга в *Сокольниках*... — см. выше, прим. к с. 91.

Кокоша — Впервые: Возрождение. 1933. 22 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 346

...во время *Шамиля* — Шамиль (1799–1871) — третий имам Чечни и Дагестана. За двадцать пять лет правления (1834–1859) объединил горцев Западного Дагестана и Чечни, а затем и Черкесии в теократическое государство Имам. До взятия в плен при штурме Гуниба в 1859 г. князем А.И. Барятинским энергично вел борьбу против царских войск. Был выслан в Калугу, затем в Киев. Получив обещанное еще на Гунибе разрешение совершить паломничество в Мекку, предпринял хадж. По пути умер. Время Шамиля называлось у горцев временем шарията, его падение — падением шарията.

четура — цапля.

С. 347

долгуша — разновидность длинного экипажа, линейка.

Зинаидка — Впервые: Возрождение. 1933. 30 июля. Печатается по газетному тексту.
С. 350

«...расточатся врази...» — см. выше, прим. к с. 132.

В деревне — Впервые: Возрождение. 1933. 13 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 354

...Серов и самого царя списывал — см. выше, прим. к с. 63.

С. 355

по машине — см. выше, прим. к с. 201.

Осень — Впервые: Возрождение. 1933. 29 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 356

Боккаччио — Боккаччо, Джованни (1313–1375), итальянский писатель Раннего Возрождения.

С. 357

яз — согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля, «...перебой, род плетня поперек реки, залива, с воротами, в кои вставлена плетеная верша, морда либо вязенный вентер, на который иногда ставится на хворостине колоколец, и рыба, попавшись, сама звонит. Яз обычно идет накось и не во всю ширину реки, покидая по руслу простор».

С. 358

панье — фижмы, каркас из ивовых или стальных прутьев или из пластин китового уса для придания пышности женской юбке.

Левитан — Впервые: Возрождение. 1933. 17, 18, 22 сентября. Имеется подзаголовок: *Наша юность*. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 360

Арбинский — в кн. «Константин Коровин вспоминает...» исправлено на: Ордынский (Михаил Ордынский в 1879–1880 гг. получил в Училище живописи, ваяния и зодчества диплом учителя рисования в гимназиях).

С. 366

...в котором году... император Павел Петрович переехал в Гатчину... — переезд Павла I в Гатчину произошел в 1782 г.

С. 367

барбизонцы — см. выше, прим. к с. 69.

«Жизнь за Царя»... «Снегурочка» — см. выше, прим. к с. 59.

С. 368

Монастырь Св. Саввы — в 1399 г. Преподобный Савва (принял постриг от Преподобного Сергия Радонежского, был одним из его учеников и сподвижников) основал близ Звенигорода, на горе Сторожевской, обитель, которая впоследствии получила название Саввино-Сторожевского монастыря.

Лебеди — Впервые: Возрождение. 1933. 8 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 372

милитировать — здесь: управлять хором, исполнять обязанность регента.

Ночь — Впервые: Возрождение. 1933. 22 октября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 375

...помнишь, сердце шито — см. рассказ «Вышитое сердце» на с. 140–143.

Осенней порой — Впервые: Возрождение. 1933. 5 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 377

...в саду у Омона — см. выше, прим. к с. 149.

черныш — птица семейства бекасовых.

С. 380

Московское общество охоты — основано в 1862 г.; общественная организация, существовавшая на членские взносы и добровольные пожертвования. Общество проводило охоту с привлечением царствующих особ во главе с Александром III, чье имя впоследствии и получило.

Собаки и барсук — Впервые: Возрождение. 1933. 19 ноября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 383

Упоминание об И.С. Тургеневе знаменательно — Коровин тем самым считает себя как бы литературным преемником его «Записок охотника».

Савва Иванович Мамонтов — Впервые: Возрождение. 1933. 26 ноября, 3, 17, 18 декабря. Имеет подзаголовок: *Воспоминания*. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 383

...С.И. Мамонтов предложил мне работать в театре — знакомство К.А. Коровина и С.И. Мамонтова произошло в 1884 г.; в 1885-м Мамонтов пригласил Коровина оформителем спектаклей в созданную им Московскую частную оперу.

С. 385

...большой диван Федора Васильевича Чижова — см. выше, прим. к с. 31.

...сделав эскизы к опере «Аида»... — см. выше, прим. к с. 59.

С. 387

...поэме «Снегурочка»... — А.Н. Островский называл свою пьесу поэмой.

С. 389

В Абрамцеве... в... доме Аксакова... — усадьба Аксаковых представляла собой центр литературной жизни Москвы в середине XIX в. В 1870 г. С.И. Мамонтов приобретает эту усадьбу и продолжает «дело» Аксакова. Здесь собирается литературно-художественный кружок, участники которого спорят об искусстве, читают вслух, разыгрывают спектакли.

С. 390

шишига — нечистый дух, сатана, бес; злой кикимора или овиный домовый; по отношению к людям — праздный шалопай, лазутчик, соглядатай.

С. 391

Торожев — возможно, имеется в виду Владимир Петрович Погожев.

С. 392

«Виндзорские кумушки» — «Виндзорские насмешницы», комедия У. Шекспира (написана в 1597 г., опубли. в 1602 г.).

С. 394

Донон — ресторатор в Петербурге.

С. 395

Панаевский театр — открыт в Петербурге, на Амралтейской набережной, в 1888 г. Был построен на деньги путейского инженера, любителя искусств В.А. Панаева. Постройка разорила Панаева, и театр впоследствии сменил нескольких владельцев, однако название за ним сохранилось. В театре выступали оперные, драматические, опереточные и другие труппы. Здесь, в частности, выступал Ф.И. Шаляпин. Здание сгорело осенью 1917 г.

«Борис» — опера М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (1874). С Шаляпиным в роли Бориса в Париже в 1908 г. опера приобрела подлинно международное признание.

«Опричник» — см. выше, прим. к с. 160.

«Грозный» — имеется в виду опера Н.А. Римского-Корсакова «Псковитянка» (1872).

«Руслан» и «Фарлаф» — опера М.И. Глинки «Руслан и Людмила» (1842).

...на Песках... — Пески — исторический район Санкт-Петербурга.

Померищиков — имеется в виду П.П. Домерищиков, заведующий монтажной частью Мариинского театра (1882–1897).

С. 396

аршинные — значение установить не удалось.

Павильон Крайнего Севера — Впервые: Возрождение. 1933. 24 декабря. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 397

опера «Лакмэ» — см. выше, прим. к с. 61; премьера в «Опера Комик» в Париже состоялась в 1883 г.

«Ковер-самолет» — картина В.М. Васнецова (1880).

«Витязи» — картины с таким названием у В.М. Васнецова нет; здесь, очевидно, Коровин спутал две картины: «Витязь на распутье» (1882) и «Богатыри» (1881–1898).

...в Нижнем будет Всероссийская выставка... — см. выше, прим. к с. 63.

С. 399

...жюри... постановило снять дивные панно Врубеля как нехудожественные — художники, участники выставки, во главе с В.А. Серовым и К.А. Коровиным бурно отреагировали на это требование и решили забрать свои работы с выставки. Положение спасло лишь участие Мамонтова, о чем Коровин пишет ниже (см.: Комаровская Н.И. О Константине Коровине. Л., 1961. С. 66).

...открытие оперы — см. выше, прим. к с. 59.

Последние годы Мамонтова — Впервые: Возрождение. 1934. 1 января. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 400

«Фауст» — см. выше, прим. к с. 160.

С. 401

«Рогнеда» — см. выше, прим. к с. 160.

«Опричник» — см. выше, прим. к с. 160.

«Псковитянка» — см. выше, прим. к с. 160.

«Хованщина» — см. выше, прим. к с. 160.

«Аскольдова могила» — опера А.Н. Верстовского, либретто М.Н. Загоскина. Первая постановка состоялась в Большом театре 16 сентября 1835 г.

«Орлеанская дева» — опера П.И. Чайковского по одноименной трагедии Ф. Шиллера, либретто П.И. Чайковского. Впервые была поставлена 25 февраля 1881 г. в Мариинском театре.

...делал проект для парижской Всемирной выставки... — см. выше, прим. к с. 64.

С. 402

...чижовский капитал растратил — см. выше, прим. к с. 62 и 63.

...Савва Иванович скончался — С.И. Мамонтов скончался 6 апреля 1918 г.

Колдова — Впервые: Возрождение. 1934. 7 января. Печатается по газетному тексту. Рассказ имеет подзаголовок: *Святочная быль*.

С. 403

беловская колбаса — здесь и далее: в XIX в. в доме на углу Маросейки и Златоустинских разместился один из известнейших московских гастрономов — магазин купца А.Д. Белова. «На доме Хвоцинского красуется золотая вывеска, отмеченная свиной головой: такова странная эмблема гастрономии, которую отличил ее купец Белов. Лет 30–40 назад эта свиная голова торговала на всю Москву почти без конкуренции, а ее собственник... покупал дома в Москве». Продукция Белова была своего рода и знаком качества, и подтверждени-

ем достатка и состоятельности. Когда гость желал польстить самолюбию хозяина, то, пробуя сыр или колбасу, прямо говорил: «Вот сейчас видно, что беловский товар».

амшайник — то же, что *омшайник*; см. выше, прим. к с. 300.

туболки — пироги с творогом (ватрушки).

По первой пороше — Впервые: Возрождение. 1934. 21 января. Рассказ имеет подзаголовок: *Охотничий рассказ*. Печатается по газетному тексту.

Татьяна московская — Впервые: Возрождение. 1934. 4 февраля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 410

Быстры, как волны... — «Быстры, как волны, дни нашей жизни...», популярный в студенческой среде романс на стихи малоизвестного воронежского поэта А.П. Серебрянского.

С. 412

«Коперник целый век трудился...» — популярная старая студенческая шуточная песня.

Метелица — Впервые: Возрождение. 1934. 11 марта. Печатается по газетному тексту.

С. 416

«А по улице метелица метет...» — песня «Вдоль по улице метелица метет...» (муз. А. Варламова, сл. Д. Глебова).

Московские чудаки — Впервые: Возрождение. 1934. 18 марта, 15, 29 апреля, 13 мая. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 416

пробирная палата — *здесь и далее*: до революции 1917 г. пробирные палатки были учреждены во всех городах Российской империи, где производилось изготовление золотых и серебряных изделий и их торговля. В 70-х годах XIX в. многие пробирные учреждения были упразднены, однако в 1882 г. пробирные палатки были созданы вновь в одиннадцати наиболее крупных центрах — пробирных округах. К 1896 г. название «пробирная палатка» было заменено наименованием «окружное пробирное управление».

С. 417

допель-кюммель — сладкая анисовая водка с приправами.

С. 419

капорцы — каперсы.

С. 428

Живодерка — см. выше, прим. к с. 272.

Московская весна — Впервые: Возрождение. 1934. 1 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 429

грешники — блины из гречневой муки.

фуляр — тонкая, легкая и очень мягкая шелковая ткань, а также шейный, головной или носовой платок из такой ткани.

«зиминские ребята» — очевидно, речь идет об артистах оперы С.И. Зимина, который стал преемником Частной оперы С.И. Мамонтова.

кондитерская Трамбле — кондитерская была открыта в начале 1850-х гг. на углу Петровки и Кузнецкого Моста; славилась своими мармелодами, изготовленными из различных фруктов.

С. 430

...играл Кина — Кин, Эдмунд (1787–1833), английский актер, прославившийся исполнением ролей шекспировского репертуара (Ричард III, Гамлет, Макбет, Яго и Отелло). А. Дюма-отец написал о нем пьесу «Кин, или Гений и беспутство» (1836). Видимо, речь идет именно об этой пьесе.

жен-премьер — драматический артист, исполняющий роли первого любовника.

В светлый канун — Впервые: Возрождение. 1934. 8 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 432

И весна мне не на радость... — припев старинного русского романса «Он уехал» на слова С. Донаурова (в переводе А. Апухтина; автор музыки неизвестен, обработка Б. Прозоровского).

Любители живописи — Впервые: Возрождение. 1934. 10 июня. Печатается по газетному тексту.

С. 436

Буланже... верхом — Буланже, Жорж (1837–1891), французский генерал, в 1886–1887 гг. — военный министр. Прославился во Франции во времена Третьей Республики. В 1887–1889 гг. возглавил движение, названное его именем, — буланжизм. Был прозван «человеком в седле», так как, обладая эффектной воинственной внешностью, любил появляться перед парижанами верхом на коне.

Картина Волкова — вероятнее всего, имеется в виду художник Волков Иосиф Петрович (1850–1897), ученик В.Г. Перова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества; название картины установить не удалось.

Белка — Впервые: Возрождение. 1934. 24 июня. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

Звери — Впервые: Возрождение. 1934. 1 июля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

Племянница — Впервые: Возрождение. 1934. 15 июля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 444

Генерал-майор Батьянов... — Батьянов (Ботьянов) Михаил Иванович (1835–1916), генерал-майор свиты Его Величества, командующий 3-й Маньчжурской армией во время русско-японской войны 1904–1905 гг.

С. 446

Купаетесь с пузырями... — бычьи пузыри служили своего рода спасательным кругом для начинающих плавать.

С. 447

Прекрасный режиссер Вахтангов умер — Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922), основатель Третьей студии МХТ (переименованной позднее в Театр им. Евг. Вахтангова).

Первая любовь — Впервые: Возрождение. 1934. 29 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 447

...знак доктора медицины — утвержден в феврале 1871 г. Знак представляет собой серебряный российский Государственный герб, обвитый снизу серебряными дубовой (справа) и лавровой (слева) ветвями. На месте переплетения ветвей — золотая гиппократова чаша, к которой ползут по ветвям две золотые змеи. Носился справа, ниже всех наград, если таковые имелись. Его выдавали только врачам-мужчинам. Выпускницы Высших женских врачебных курсов получали другой серебряный знак — с монограммой «ЖВ» — женщина-врач.

...день неясный, опечалился чему... — неточная цитата из «Сказки о царе Салтане...» А.С. Пушкина (полн. название: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; создана в 1831 г., издана в 1832 г.):

Что ты тих, как день ненастный?

Опечалился чему?

С. 448

Катюша Маслова — героиня романа Л.Н. Толстого «Воскресение» (1889–1899).

Государь приезжал... в Москву... войну объявлять — Николай II объявил всеобщую мобилизацию 18 июля 1914 г.

...вся Москва разыгрывала «Войну и мир» Толстого — «Древняя традиция предписывала русским царям начинать войны с поездки в Москву для благословения Господня в историческом местонахождении царей, Кремле. Во всяком случае, когда царь и его семья прибыли в Москву 17 августа (1914), город показал больше восторженного энтузиазма, чем Петербург. Миллионы людей вышли на улицы, толпились на балконах, в окнах и на крышах или висели с веток деревьев, когда Императорская процессия проходила по улицам к Кремлю через Иверские ворота» (*Massie R.K. Nicholas and Alexandra. New York, 1967. P. 266. Пер. с англ. Т.С. Ермолаевой*).

Подмосковная дача — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1934. 4 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 450

«Хан Намык» — «Черный тюрбан» — опера А.И. Улуканова (1912) по комедии С.И. Мамонтова «Черный тюрбан» (1884).

На охоте — Впервые: Возрождение. 1934. 5 августа. В конце статьи стоит дата: *19 августа*. Печатается по газетному тексту.

С. 454

чирок — чирок-свистунук — один из наиболее многочисленных видов уток, особенно в лесной и лесостепной полосе; во многих местах превосходит по численности крякву, с которой имеет весьма сходный ареал.

С. 455

фряжское вино — так назывались итальянские красные вина.

Московская канитель — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1934. 18 августа. Печатается по журнальному тексту.

С. 458

Юрий Сатковский — имеется в виду Ю.С. Сахновский (см. прим. к с. 134).

Кузнецов — *здесь и далее*: имеется в виду В.С. Кузнецов (см. прим. к с. 127).

Дядя Го-го — Впервые: Возрождение. 1934. 19 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 464

бырь — *здесь*: быстрина в потоке.

Болото — Впервые: Возрождение. 1934. 2 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 467

скотий бог — Велес (см. выше, прим. к с. 249).

Выдра — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1934. 8 сентября. Имеет подзаголовок: *Охотничий рассказ*. Печатается по журнальному тексту.

С. 470

Родзянко — имеется в виду Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924), один из лидеров партии октябристов, крупный помещик; в 1911–1917 гг. — председатель III и IV Государственной думы, в 1917 г. — председатель Временного комитета Государственной думы.

Фонарь — Впервые: Возрождение. 1934. 16 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 473

«Фрина» — картина Г.И. Семирадского (1889) принесла художнику звание академика.

«Русалки» — картина К.Е. Маковского (1879).

С. 474

«*Не тоска, друзья-товарищи...*» — романс (1899) М.И. Глинки на слова А.А. Дельвига «Не осенний частый дождичек...».

С. 475

На машине хотели уехать... — см. выше, прим. к с. 201.

Мой Феб — Впервые: Возрождение. 1934. 23 сентября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 475

...по делу устройства кустарной выставки в Петербурге в залах Таврического дворца... — Всероссийская кустарно-промышленная выставка прошла в Таврическом дворце в 1902 г.

С. 477

Много было у меня дела с постановками опер и балета в Москве для Большого театра и в Петербурге для Мариинского — всего К.А. Коровиным было оформлено для Частной оперы Мамонтова и Императорских театров 64 балета и 84 оперы (за эту работу в художественных кругах Коровина прозвали каторжником).

С. 479

В Москве началась так называемая революция — имеется в виду революция 1905 года.

Осенней порой — Впервые: Возрождение. 1934. 7, 14 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 486

можжуха — вид можжевельника.

С. 488

донная (удочка) — крючковая снасть с наживкой, применяемая для ловли рыбы со дна или в непосредственной близости от него.

жерлица — рыболовная снасть для ловли хищной рыбы, преимущественно щук, на живца.

Медиум — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1934. 20 октября. Печатается по журнальному тексту.

С. 491

«*...Расточатся врази...*» — см. выше, прим. к с. 132.

Звериные тайны — Впервые: Возрождение. 1934. 21 октября, 4 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 493

тересняк... он же: ерех, белизна, конь — в книге Л.П. Сабанеева «Рыбы России» встречается название «конь», или, правильнее, «подуст»; по наблюдениям автора, эта рыба принадлежит к числу весьма обыкновенных рыб, встречается в Москве-реке, Оке и других судоходных реках (см.: Сабанеев Л.П. Рыбы России: В 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 398–415).

Ералаш — Впервые: Возрождение. 1934. 11 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 503

«*Гибель богов*» — опера Р. Вагнера; входит в тетралогию «Кольцо Нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид», «Гибель богов», 1854–1874).

Мария Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена (1770–1792) Людовика XVI; казнена во время Французской революции 1789–1799 гг.

С. 504

каратник — бриллиант.

«*Московские ведомости*» — газета Московского университета, издавалась в 1756–1917 гг. (до 1842 г. — 2 раза в неделю, затем 3 раза, с 1859 г. — ежедневно). До 1909 г. принадлежала Московскому университету. До середины XIX в. — самая крупная газета в России. В 1779–1789 гг. газету арендовал Н.И. Новиков. В этот период в «Московских ведомостях» наряду

с материалами о внутренней жизни и иностранными известиями, публиковались статьи по литературе, искусству, науке, статистические материалы, библиография. При газете выходили приложения. В 1840-х гг. (редактор Е.Ф. Корш) «М. ведомости» приобрели литературно-общественное значение. С 1863 г. под редакцией М.Н. Каткова (до 1887 г.) и П.М. Леонтьева (до 1875 г.) газета приняла реакционный характер.

С. 505

прогрессисты — члены либерально-монархической Прогрессивной партии, или Партии прогрессистов. Образована в 1912 г. в результате раскола Союза 17 октября. Ее лидерами были крупные московские промышленники — А.И. Коновалов, И.Н. Ефремов, братья Рябушинские и др.

трикотон — перчатки для тонких работ при повышенных температурах; сочетание высокой чувствительности и защиты от механических повреждений.

Колька — Впервые: Возрождение. 1934. 18 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 507

семитка — см. выше, прим. к с. 44.

Баба-Яга — Впервые: Возрождение. 1934. 25 ноября, 2 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 515

антонов огонь — то же, что гангрена.

С. 516

«За леса ложатся туманы. / Печалью мое сердце полно. / К ночи померкли дреманы, / Что я любил — угасло давно...» — найти не удалось.

В дни юности — Впервые: Возрождение. 1934. 8 декабря. Печатается по газетному тексту. Имеет подзаголовок: *Чехов*.

С. 516

третьей (экзамен) — экзамен за треть года (триместр).

церковь Флора Лавра — имеется в виду церковь свв. Фрола и Лавра в Москве.

С. 517

...в Сокольники, в просеки, на круг — от шести просеков, расходящихся от проезда Сокольнического круга. Название появилось в 1840 г. (до 1927 г. — 3-й Сокольничий Лучевой просек) и дано было по их радиальному (как лучи) положению относительно Сокольнического круга (см. прим. к с. 91).

Чехонте — см. выше, прим. к с. 116.

С. 518

В рассказе «Из моих встреч с А.П. Чеховым» женщина дает Левитану красное пасхальное яйцо, а не просфору (см. с. 91).

С. 520

Дом Чехова был не в Верхней Алуште, а в Верхней Аутке.

...жена вот улетела в Москву... — Ольга Леонардовна Книппер, актриса Художественного театра. Чехов и Книппер обвенчались в 1901 г.

Белая Москва — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1934. 15 декабря. Печатается по журнальному тексту.

Мурман — Впервые: Возрождение. 1934. 16 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 525

фильманы — вероятно, от *швед. film* — финн и *map* — человек, собственно «человек из Финляндии»; *фильман* — кочевой лопарь-оленеvod протестантского вероисповедания.

С. 526

карбас — большая лодка с парусом, предназначенная для рыбного промысла и перевозки грузов на Севере.

Собачья душа — Впервые: Возрождение. 1934. 31 декабря. Печатается по газетному тексту.

Телеграммы — Впервые: Возрождение. 1935. 6 января. Печатается по газетному тексту. С. 532

министр Хилков — Хилков Михаил Иванович (1834–1909), министр путей сообщения (1895–1905).

Свое — Впервые: Возрождение. 1935. 13 января. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 536

«Брега веселые Салгира» — строка из поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821–1823).

Новый год — Впервые: Возрождение. 1935. 20 января.

С. 539

...тели «Стеньку Разина» — народная песня на основе стихотворения Д. Садовникова «Из-за острова на стрежень...» (1883). Песня стала популярной уже в 1890-х гг.; входила в репертуар Федора Шаляпина и Надежды Плевицкой.

Первое московское рыболовство — Московское общество любителей рыболовства было основано в 1862 г.

Тайна — Впервые: Возрождение. 1935. 27 января. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 543

«В темнице там царица тужит...» — из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1817–1820).

С. 544

памятник... Александру III — памятник работы скульптора П.П. Трубецкого, выполненный по заказу Николая II. По его приказу на пьедестале было написано: «Любящий сын — возлюбленному отцу». Был установлен в Петербурге на Знаменской площади (пл. Восстания) в 1909 г. Автор отдал этой работе восемь лет, создал 14 вариантов, два из которых в натуральную величину. Однако фигура Александра III, грузно сидящего в мешковатой одежде на тяжелом коне, воспринималась многими современниками как оскорбление царского достоинства и насмешка над самодержавием. Однако памятник демонтировали с площади только в 1937 г. Он был передан Русскому музею, во дворе которого простоял несколько лет. Позднее он нашел свое пристанище во дворе Мраморного дворца, одного из филиалов Русского музея. Во время Великой Отечественной войны памятник едва не погиб от прямого попадания снаряда, но его спас накат из бревен и деревянная обшивка, заполненная песком.

Московские особняки — Впервые: Возрождение. 1935. 10 февраля. Печатается по газетному тексту.

Меценат — Впервые: Возрождение. 1935. 17 февраля. Печатается по газетному тексту. С. 548

...из теста жаворонки... — ежегодно к 22 марта, дню праздника Сорока мучеников Севастийских, принято делать постную выпечку в форме птичек. Праздник также ассоциируется с приходом весны.

С. 549

Симонов монастырь — Симонов (Успенский) мужской монастырь в Москве; основан в 1370 г. учеником и племянником Преподобного Сергия Радонежского — Преподобным Федором, уроженцем города Радонежа, на землях, которые пожертвовал боярин Степан

Васильевич Ховрин (в монашестве инок Симон, откуда и происходит название монастыря). Расположен на высоком левом берегу Москвы-реки. Являлся крепостью, защищавшей столицу с юга. В конце XIV—начале XV в. князь Дмитрий Донской и его сыновья оказывали монастырю покровительство. Монастырь играл большую роль в культурной жизни России. Выходцы из Симонова монастыря основали Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри под Вологодой. В XVI в. здесь жил и писал свои сочинения Максим Грек.

С. 550

Бабьегородская плотина — от названия местности Бабий городок на правом берегу Москвы-реки (между нынешней Крымской набережной и улицей Большая Якиманка). Связано с укреплением берега сваями, которые вбивались в землю подвесным молотом — так называемой бабой. Бабьегородская плотина была построена выше Большого Каменного моста между Берсеневской и Пречистенской набережными. С 1836 г. для увеличения судоходных глубин во время весеннего ледохода разбиралась, после паводка собиралась. Плотина была разобрана в 1937 г. после сооружения канала имени Москвы и ввода в эксплуатацию Перервинского гидроузла.

Первая любовь — Впервые: Возрождение. 1935. 24 февраля. Печатается по газетному тексту.

У колодца — Впервые: Возрождение. 1935. 3 марта. Печатается по газетному тексту.

Русские художники-пейзажисты — Впервые: Возрождение. 1935. 10, 17, 24 марта, 7 апреля. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 558

Саввинская слобода — см. выше, прим. к с. 368.

С. 559

флейцем глажу — флейц — плоская широкая кисть из мягкого волоса, употребляемая в живописи и малярном деле для выравнивания свежеокрашенной поверхности (в реставрации — для покрытия картины лаком).

С. 562

«Я помню чудное мгновенье...» — стихотворение А.С. Пушкина, посвященное А.П. Керн, было написано в 1825 г.

С. 565

«Воскрешение Христом дочери Иаира» — за исполнение этой картины И.Е. Репин и В.Д. Поленов получили возможность поехать за границу для совершенствования в искусстве.

С. 567

Общество поощрения художеств — Общество поощрения художеств было основано в Санкт-Петербурге в 1821 г. (до 1875 г. называлось Общество поощрения художников) группой дворян-меценатов (И.А. Гагарин, П.А. Кикин, А.И. Дмитриев-Мамонов и др.) с целью содействия распространению искусства в России и оказания помощи художникам. При Обществе был создан Музей прикладного искусства. Издавало журналы. Просуществовало до 1929 г.

«Дворик» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Московский дворик» (1878).

«Бабушкин сад» — картина В.Д. Поленова (1878).

«Мельница» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Старая мельница» (1880).

«Зима» — имеется в виду картина В.Д. Поленова «Зима. Имоченцы» (1880).

«Не дело» — картину с таким названием установить не удалось.

«Вот до чего дошло» — картину П.Ф. Яковлева с таким названием установить не удалось.

«Чаепитие» — картина А.П. Рябушкина (1903).

С. 568

окончили Школу со званием некласных художников — см. выше, прим. к с. 47.

«Боярыня Морозова» — картина В.И. Сурикова (1887).

«Казнь стрельцов» — имеется в виду картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881).

«Меньшиков в ссылке» — имеется в виду картина В.И. Сурикова «Меньшиков в Березове» (1883).

...Василий Дмитриевич... хотел построить себе дом, чтобы жить в нем и лето и зиму, жить в природе — эта мечта осуществилась. Ныне это музей-усадьба «Поленово» на Оке.
С. 570

С.М. Голицын — имеется в виду Голицын Владимир Михайлович (1847–1932), князь, губернатор Москвы.

С. 571

Саврасов умер — А.К. Саврасов умер 26 сентября 1897 г.

умер Василий Дмитриевич Поленов — В.Д. Поленов умер 18 июля 1927 г.

Жик... — Впервые: Возрождение. 1935. 14 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 574

молоканин — член секты молокан; **молокане** — одна из русских сект «духовных христиан», отвергающая священников и церковь и совершающая моления в обычных домах. Впоследствии подпали под влияние штундистов (см. ниже).

штунда (от нем. Stunde — час (моления, чтения Библии)) — название русской религиозной секты, возникшей под влиянием протестантизма ок. 1862 г. Получила распространение на Юге России.

Встреча — Впервые: Возрождение. 1935. 21 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 575

Бабьегородская плотина — см. выше, прим. к с. 550.

...царь ехал... в Сарово, к угоднику Божию — 17 июля 1903 г. император Николай II с семьей побывал в Сарове на торжествах по поводу перенесения мощей Святого Серафима.

С. 578

...сам Государь император — имеется в виду Николай II.

Аня — Впервые: Возрождение. 1935. 28 апреля. Печатается по газетному тексту.

С. 578

Татьяна Федоровна Хорунжина — на самом деле Хорунжева (см. рассказы «Татьяна московская», «Татьянин день»).

Садовский и Огарев — Впервые: Возрождение. 1935. 5 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 583

...шерсть Юлии Пастраны — Юлия Пастрана (1834–1860), бородатая женщина из паноптикума Карла Гаснера (см. прим. к с. 202). Ребенком была найдена в Мексике вдали от населенных мест. В 50-х гг. XIX в. демонстрировалась в Европе, в России — в 1858 г.

...в саду у Лентовского — Лентовский Михаил Валентинович (1843–1906), известный антрепренер и артист, в судьбе которого принимал горячее участие М.С. Щепкин. Начал выступать в провинции, в 1863 г. переехал в Москву и служил недолго в Малом театре. Играл самые разнообразные роли, от Гамлета до исполнителя цыганских песен в оперетках и обозрениях, которые писал сам под псевдонимом Можарова. Устраивал в летних садах Москвы и Петербурга дорогостоящие феерии и гуляния, что привело его к разорению.

Май — Впервые: Возрождение. 1935. 12 мая. Печатается по газетному тексту.

Ёж — Впервые: Возрождение. 1935. 19 мая. Печатается по газетному тексту.

С. 588

Большой дворец — *пустой* — очевидно, Коровин имеет в виду последствия трагических событий в день коронации последнего русского императора в 1896 г., когда на Ходынском

поле, напротив которого был поставлен Путьевой дворец, произошла массовая давка и гибель людей. Здесь в трагически памятный день Николай II принимал делегации от крестьян и варшавских дворян, вместе с императрицей присутствовал на обеде для московского дворянства и волостных старшин. См. также выше, прим. к с. 116.

Сенежское озеро — Впервые: Возрождение. 1935. 26 мая. Печатается по газетному тексту.

То — незнамо что — Впервые: Возрождение. 1935. 2 июня. Имеет подзаголовок: *Сказка*. Печатается по газетному тексту.

В собрании А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» (1855–1864) есть сказка под названием «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».

С. 593

«...Прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны...» — молитва Святому Духу.

Царь Додон — персонаж оперы «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова по «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина (1834). Первая постановка прошла 24 сентября 1909 г. в Оперном театре Зиминой в Москве, а уже 6 ноября того же года опера была поставлена в Большом театре.

Володя — Впервые: Возрождение. 1935. 9 июня. Печатается по газетному тексту.

В Крыму — Впервые: Возрождение. 1935. 16, 19 июня. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 600

кордегардия — помещение для караула, охраняющего крепостные ворота или въезд в усадьбу.

С. 601

Гвоздевич, Хвостович — Михаил Михайлович Гвоздевич, исправник в Ялте.

С. 602

...брат у меня... музыкант... — Сергей Иванович Танеев был не братом А.С. Танеева, а троюродным дядей.

...оперу написал... — речь идет об опере А.С. Танеева «Метель», художественное оформление которой было поручено К.А. Коровину. Премьера состоялась в 1916 г. на сцене Мариинского театра (см.: «Константин Коровин вспоминает...». С. 567).

С. 603

военный министр Сухомлинов — Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926), генерал от кавалерии (1906), начальник Генштаба (1908–1909), военный министр (1909–1915).

С. 604

«Пустынные скалы» — имеются в виду Адалары — два небольших скалистых острова в Черном море неподалеку от Гурзуфа.

С. 605

...дом Краснова у море уполз — Краснов Николай Петрович (1864–1939), архитектор. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1886 г. Получил распределение в Ялту. Уже через год был назначен главным архитектором Ялты. Построил в городе женскую гимназию (1898), павильон и церковь при мужской гимназии (1894–1898), здание Крымско-Кавказского горного клуба, торговые ряды Стахеева, костел. Выполнял частные заказы. Возвел в Крыму более шестидесяти построек, большая часть которых — дворцы, виллы, особняки. От Главного управления уделов Романовых получил заказ на генеральную реконструкцию всех дворцовых строений и строительство нового дворца в царском имении. В октябре 1911 г. за возведение Ливадийского дворца Н.П. Краснов получил титул Архитектора Высочайшего Двора и был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. В 1913 г. был избран Петербургской Академией художеств академиком и утвержден в чине надворного советника. В 1915–1916 гг. спроектировал и построил в Массандре санаторий имени императрицы Александры Федоровны «для выздоравливающих и переутомлен-

ных» офицеров, получивший название «лазарет для офицеров». 9 февраля 1917 г. архитектор был удостоен титула действительного статского советника. После революции оказался почти без средств, эмигрировал, какое-то время жил на Мальте. С 1922 г. и до последних дней жил и работал в Белграде.

Лоботрясы — Впервые: Возрождение. 1935. 23 июня. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 608

...сам Самарин с супругой... — имеется в виду московский губернский предводитель дворянства, член Государственного совета Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932) и его жена Вера Саввична (урожд. Мамонтова).

На охоту — Впервые: Возрождение. 1935. 30 июня. Печатается по газетному тексту.

Прятели — Впервые: Возрождение. 1935. 7 июля. Печатается по газетному тексту.

Старый Спас — Впервые: Возрождение. 1935. 17 июля. Печатается по газетному тексту.

В жару — Впервые: Возрождение. 1935. 21 июля. Печатается по газетному тексту.

Овражки — Впервые: Возрождение. 1935. 28 июля. Печатается по газетному тексту.

С. 622

катамаран — плот; двухкорпусное судно, соединенное сверху палубой.

Компас — Впервые: Возрождение. 1935. 4 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 626

Бенджамин Франклин (1706–1790) — американский просветитель, государственный деятель, один из авторов Декларации независимости США и Конституции 1787 г., ученый. Как естествоиспытатель известен трудами по электричеству. Установил электрическую природу молнии и предложил молниеотвод. Умер не от удара молнии.

На реке — Впервые: Возрождение. 1935. 11 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 628

«Спящая красавица» — балет П.И. Чайковского по сказке Ш. Перро. Хореография М. Петипа. Премьера состоялась в 1890 г. в Мариинском театре.

С. 630

японская война — русско-японская война 1904–1905 гг.

плоткотный мост — наплавной (плашкоутный) мост.

брёвень — небольшой невод, которым ловят рыбу в мелководных местах, идя вброд.

С. 631

кукан — бечевка или тонкий прут, на которые надевают под жабру и в ротовое отверстие пойманную рыбу.

Сом — Впервые: Возрождение. 1935. 18 августа. Печатается по газетному тексту.

С. 634

намётка — специальная рыболовная снасть, предназначенная для ловли рыбы на реках во время весеннего половодья.

Ночь и день — Впервые: Возрождение. 1935. 25 августа. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

В деревне Грезино — Впервые: Возрождение. 1935. 1 сентября. Печатается по газетному тексту.

Гусиная охота — Впервые: Возрождение. 1935. 8 сентября. Печатается по газетному тексту.

С. 644

митенки — женские перчатки без пальцев.

Семен-хаторжник — Впервые: Возрождение. 1935. 15 сентября. Печатается по газетному тексту.

Охотники — Впервые: Возрождение. 1935. 22 сентября. Печатается по газетному тексту.
С. 649

фубайка профессора Егера — тонкое шерстяное нижнее мужское белье, названное по имени Отто Йегера, немецкого теоретика гимнастики.

Италия — Впервые: Возрождение. 1935. 29 сентября. Входит в издание «Константин Коронин вспоминает...». Имеет подзаголовок: *Воспоминания*. Печатается по газетному тексту.

С. 652

...статуя... «Персей» — итальянский скульптор Бенvenuto Челлини в 1545–1554 гг. по заказу папы Клементя VII отлил бронзовую статую «Персей с головой Медузы».

С. 654

«Солонка» («Сальера») — изделие из золота Бенvenuto Челлини; была создана им в 1540–1543 гг. в Париже по заказу короля Франции Франциска I. 26-сантиметровое ювелирное изделие оценивается ныне в пятьдесят миллионов евро.

Папа Павел — Павел III, папа Римский (в миру Алессандро Фарнезе, 1468–1549). Его понтификат (1534–1549) считался одним из самых удачных в истории папства. Обладал администраторским талантом, стремился вывести церковь из кризиса, поддерживал развитие наук и искусства. При нем Микеланджело закончил работу над фреской «Страшный суд» в Сикстинской капелле, а Коперник преподнес папе свой труд «Об обращениях небесных сфер».

...если б я был сыном Зевса и Данаи, я бы испепелил негодяев... головой Медузы — сыном Зевса и Данаи был Персей. Согласно мифу, он совершил множество подвигов, и в частности сумел отрубить голову страшному чудовищу Медузе Горгоне, один взгляд которой обращал человека в камень.

Бреггики — Впервые: Возрождение. 1935. 6 октября. Печатается по газетному тексту.
С. 656

...инженер, строивший дорогу... — Чоколов Семен Петрович (1848–1921), инженер путей сообщения, участвовавший в строительстве Вологодско-Архангельской железной дороги. В 1887 г. его портрет исполнил В.А. Серов в три-пять сеансов.

С. 657

чарусы — чаруса — топь, непроходимое болото.

С. 659

...с машины пришли... — см. выше, прим. к с. 201.

С. 660

капура — значение слова установить не удалось.

Автонов огонь — Впервые: Возрождение. 1935. 13 октября. Печатается по газетному тексту.

Осенней порой — Впервые: Возрождение. 1935. 20 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 664

«ланкастер» — английское ружье Чарльза Уильяма Ланкастера, потомственного английского оружейника. В 1845 г. он унаследовал заведение своего отца и вскоре стал одним

из лучших мастеров не только в Англии, но и во всем мире. В 1852 г. он создал переломное ружье с затвором нового образца, долгое время считавшимся самым надежным и прочным. Недостатком системы Ланкастера были сложность изготовления (его двустволки делались только на заказ) и дороговизна самих ружей. Так, в России за ружье Ланкастера платили в конце XIX в. до тысячи рублей.

С. 665

«туляк» — ружье тульской работы; такие ружья (тульские бескурковки) выпускались на Тульском оружейном заводе в течение нескольких десятилетий начиная с 1905 г. под наименованием модели «А». Они были хорошо исполнены и стоили значительно дешевле аналогичных западных образцов.

ружьё Пёрдэ — Джеймс Пёрде (Purdey), известный оружейник, в 1860 г. выпустил переломное ружье, стволы которого запирались специальной рамкой, двигавшейся в колодке ружья и заходившей в два подствольных крюка.

Сказка — Впервые: Возрождение. 1935. 27 октября. Печатается по газетному тексту.

С. 668

икра салфеточная — икра из красной рыбы, приготовленная особым образом в крепком соляном растворе. После того как раствор стекал, икру укладывали в рогожные кульки и прессовали. Затем ее тщательно уминали в дубовые бочонки, выстланные внутри салфеточным полотном (отсюда и название). Икра превращалась в плотную массу, которую можно было резать, как сыр.

«Вернись!» — Иллюстрированная Россия. 1935. 2 ноября. Печатается по журнальному тексту.

С. 671

«итала» — автомобиль 1907 г. выпуска, созданный специально для автопробегов и снабженный дополнительными баками для бензина, масла и воды; мощность — 35–45 лошадиных сил.

Первый снег — Впервые: Возрождение. 1935. 3 ноября. Печатается по газетному тексту.

Дурак — Впервые: Возрождение. 1935. 10 ноября. Печатается по газетному тексту.

С. 679

шпитальный дом — императорский Воспитательный дом в Москве. Заложен в 1764 г. по инициативе просветителя И.И. Бецкого как благотворительное закрытое учебно-воспитательное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Крупнейшее здание Москвы дореволюционного периода, состоящее из нескольких корпусов. Ныне в зданиях Воспитательного дома расположена Военная академия Ракетных войск стратегического назначения и Российская академия медицинских наук.

Северный край — Впервые: Возрождение. 1935. 17 ноября. Входит в издание «Константин Коровин вспоминает...». Печатается по газетному тексту.

С. 681

...лучить рыбу с острогой... — т.е. бить рыбу ночью острогой, освещая воду лучом света (от горящей лучины, факела и т.п.).

башня Ивана Святого — имеется в виду колокольня Иван Великий на территории Московского Кремля.

Аника-воин — здесь: неудачливый вояка; задира и хвастун, терпящий поражение.

С. 682

шип — рыба осетровых пород (помесь осетра и белуги или севрюги и осетра).

Метель — Впервые: Возрождение. 1935. 24 ноября. Печатается по газетному тексту.

Железнодорожный случай — Иллюстрированная Россия. 1935. 30 ноября. Печатается по журнальному тексту.

С. 688

кали броматум, аква дистиллатум — правильно: kalium bromatum, aqua distillata — бромистый калий, дистиллированная вода (*лат.*). Водный раствор калия бромида; микстура, назначавшаяся как успокоительное средство.

Мороз — Впервые: Возрождение. 1935. 1 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 690

релка — небольшое возвышение на низменности (бывает в заболоченных низинах).

Под праздник — Впервые: Возрождение. 1935. 8 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 694

Сакья-Муни — одно из имен Будды.

нирвана — состояние, при котором отсутствуют страдания, страсти; состояние умиротворенности, «высшего счастья».

педеля — педель (от *ср.-век. pedellus, bidellus, др.-верх.-нем. pital* — служитель, надзиратель) в дореволюционной России надзиратель за студентами в университете.

Заря — Впервые: Возрождение. 1935. 15 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 696

Николай Васильевич Хитров — имеется в виду Н.Н. Куров.

Сосновский — имеется в виду Ю.С. Сахновский.

«Этот самый Пушкин...» — Впервые: Иллюстрированная Россия. 1935. 21 декабря. Печатается по журнальному тексту.

С. 699

«Не привлечешь питомца музы...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Прелестнице» (1818).

«Моя потерянная младость...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило» (1820).

С. 700

«Руслан и Людмила» — премьера оперы М.И. Глинки в Большом театре в костюмах и декорациях К.А. Коровина и А.Я. Головина состоялась в 1904 г.

Страшный монастырь — имеется в виду Страстной монастырь в Москве. Женский монастырь во имя Страстной Иконы Божией Матери был основан по указу царя Алексея Михайловича в 1654 г. и располагался на месте нынешнего киноконцертного зала «Пушкинский». После революции 1917 г. был упразднен, затем в его стенах находился антирелигиозный музей. В 1937 г. все монастырские здания снесли, а площадь переименовали в Пушкинскую в ознаменование столетия со дня смерти поэта. В 1950 г. здесь был разбит сквер и сюда же с Тверского бульвара перенесли памятник А.С. Пушкину.

С. 701

«Прибежали в избу дети...» — из стихотворения А.С. Пушкина «Утопленник» (1828).

Во время так называемого освободительного движения — имеются в виду революционные события 1905 г.

Ямщик — Впервые: Возрождение. 1935. 22 декабря. Печатается по газетному тексту.

С. 702

ера (кабацкая) — от «ярыга» (ерыга, ярыжка, ярыжный человек) — *здесь*: пьяница, беспутный человек, голь кабацкая.

СОДЕРЖАНИЕ

Т.С. Ермолаева. К.А. Коровин в зарубежье (1922–1939)	5
--	---

Мемуары

Моя жизнь	27
<i>Воспоминания 1917 г.</i>	70

Рассказы (1929–1925)

Из моих встреч с А.П. Чеховым	89
Как я выбирал «Мисс Европу»	94
Врубель	95
А.Я. Головин	102
Рассказ старого монаха	104
Арестанты	106
Дом честной	109
Мельник	112
Апельсины	115
Толстовцы	121
На смерть Репина	124
Трагик	125
Васина супруга	127
Русалка	131
Копченое небо	134
Утопленник	136
Вышитое сердце	140
Встреча	143
Соловьи	146
Мажордом	149
Октябрь в деревне	151
Дураки и умные	156
Человечек за забором	159
Карла Маркса	163
Пещера	167
Печной горшок	170
Луна	173
Случай с Аполлоном	176
Зверь	178

Герасим мудрый	180
Святая простота	183
Репин, Врубель, Серов	187
Верни-Регушэ. Лефран	189
Вор	192
Лесничий	196
Плясавица	199
Пума американская	201
По небу полуночи	204
Новогодний волк	208
Мои ранние годы	211
Детство	
<I.>	215
II. Тигр	219
В Училище	222
Святая Русь	228
Молодость. <i>Далекий быт</i>	230
Смерть отца	234
На Севере диком	238
Велес	249
Хозяин мой	252
В лесной сторожке	256
Крыша Мира	259
Московская жара	262
Листвянский мертвец	266
Похороны мумии	271
Отрада земная	274
В дороге. <i>18-й год</i>	278
Новая Земля	281
Утеха	284
Живая тень	287
Лошадиная голова	290
Чуркин	293
<i>Смерть Чуркина</i>	302
Святочный рассказ	304
Московский полицмейстер	308
Две Татьяны	311
Мертвецкая	314
Лучинушка	318
Человек со змеей	321
Сирень и шкаф	324
Московский звон	327
Тетеревиный ток	330
Правда	333
Стриж	336
«Страшный» огород	339
Месяц ясный	342
Кокоша	345
Зинаидка	349
В деревне	352

Осень	356
Левиган	
<i>Наша юность</i>	359
<i>Наши встречи</i>	367
Лебеди	370
Ночь	373
Осенней порой	377
Собаки и барсук	380
Савва Иванович Мамонтов	385
Павильон Крайнего Севера	397
Последние годы Мамонтова	400
Колдова	403
По первой пороше	406
Татьяна московская	409
Метелица	413
Московские чудаки	416
<Богач Шибает>	416
<i>Профессор Захарьин</i>	420
<i>Магистр Азарев</i>	423
<i>Ульян Карягин</i>	426
Московская весна	429
В светлый канун	431
Любители живописи	434
Белка	437
Звери	440
Племянница	443
Первая любовь	447
Подмосковная дача	450
На охоте	454
Московская канитель	458
Дядя Го-го	461
Болото	465
Выдра	468
Фонарь	472
Мой Феб	475
Осенней порой	480
Медиум	490
Звериные тайны	493
Ералаш	501
Колька	506
Баба-Яга	509
В дни юности (<i>Чехов</i>)	516
Былая Москва	521
Мурман	524
Собачья душа	527
Телеграммы	530
Свое	535
Новый год	538
Тайна	541
Московские особняки	545

Меценат	548
Первая любовь	551
У колодца	555
Русские художники-пейзажисты	
<i>Л.Л. Каменев и А.К. Саврасов</i>	558
<i>А.К. Саврасов</i>	561
<i>В.Д. Поленов</i>	565
Жик	571
Встреча	574
Аня	578
Садовский и Огарев	581
Май	584
Ёж	587
Сенежское озеро	590
То — незнамо что	593
Володя	596
В Крыму	600
Лоботрясы	606
На охоту	609
Друзья	612
Старый Спас	615
В жару	619
Овражки	622
Компас	625
На реке	628
Сом	632
Ночь и день	635
В деревне Грезино	638
Гусиная охота	642
Семен-каторжник	646
Охотники	649
Италия	652
Еретики	656
Антонов огонь	661
Осенней порой	664
Сказка	667
«Вернись!»	670
Первый снег	673
Дурак	676
Северный край	680
Метель	683
Железнодорожный случай	685
Мороз	689
Под праздник	692
Заря	695
«Этот самый Пушкин»	698
Ямщик	701
Примечания	705

Коровин К.А.

«То было давно... там... в России...»: Воспоминания, рассказы, письма: В двух кн. Кн. 1. «Моя жизнь»: Мемуары; Рассказы (1929–1935) / К.А. Коровин. Сост., вступ. ст. Т.С. Ермолаевой; прим. Т.С. Ермолаевой и Т.В. Есиной. — М.: Русский путь, 2010. — 752 с., ил.

ISBN 978 5-85557-347-1

ISBN 978 5-85557-348-8

«То было давно... там... в России...» — под таким названием издательство «Русский путь» подготовило к изданию двухтомник — полное собрание литературного наследия художника Константина Коровина (1861–1939), куда вошли публикации его рассказов в эмигрантских парижских изданиях «Россия и славянство», «Иллюстрированная Россия» и «Возрождение», мемуары «Моя жизнь» (впервые печатаются полностью, без цензурных купюр), воспоминания о Ф.И. Шаляпине «Шаляпин. Встречи и совместная жизнь», а также еще неизвестная читателям рукопись и неопубликованные письма К.А. Коровина 1915–1921 и 1935–1939 гг.

Настоящее издание призвано наиболее полно познакомить читателя с литературным творчеством Константина Коровина, выдающегося мастера живописи и блестящего театрального декоратора. За годы вынужденной эмиграции (1922–1939) он написал более четырехсот рассказов. О чем бы он ни писал — о детских годах с их радостью новых открытий и горечью первых утрат, о любимых преподавателях и товарищах в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, о друзьях: Чехове, Левитане, Шаляпине, Врубеле или Серове, о работе декоратором в Частной опере Саввы Мамонтова и в Императорских театрах, о приятелях, любителях рыбной ловли и охоты, или о бывлой Москве и ее знаменитостях, — перед нами настоящий писатель с индивидуальной творческой манерой, окрашенной прежде всего любовью к России, ее природе и людям. У Коровина-писателя есть сходство с А.П. Чеховым, И.С. Тургеневым, И.А. Буниным, И.С. Шмелевым, Б.К. Зайцевым и другими русскими писателями, однако у него своя богатейшая творческая палитра.

В книге первой настоящего издания публикуются мемуары «Моя жизнь», а также рассказы 1929–1935 гг.

УДК 882,0

ББК 84(2Рос)6

Коровин Константин Алексеевич

«ТО БЫЛО ДАВНО... ТАМ... В РОССИИ...»

ВОСПОМИНАНИЯ, РАССКАЗЫ, ПИСЬМА

*Книга первая*Редактор *Т. Есина*Компьютерная верстка *Л. Фирсовой*

Подписано в печать 24.02.10. Формат 70х100/16. Бумага писчая.
Гарнитура MinionC. Усл. печ. л. 60,63. Тираж 3000 экз. Заказ № 534

ЗАО «Издательство «Русский путь»
109240, Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2. Тел.: (495) 915-10-47. E-mail: info@rp-net.ru.
Сайт издательства: www.rp-net.ru. Сайт магазина «Русское Зарубежье»: www.kmrz.ru

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»»
105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 46